



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

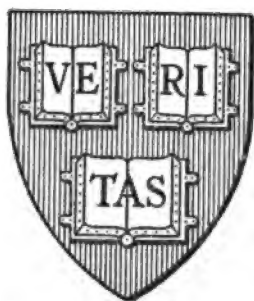
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

May 4354. 2.1020



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



РУССКАЯ
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

Л. Н. ТОЛСТОГО.

**ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛЮГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.**

Часть первая.

СОВРАЛЪ

В. Зелинскій.

— (ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.) —

МОСКВА.

Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1903.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіємъ Аполлоновичемъ Велинскимъ.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. **Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ ороеографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ.** Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, обнимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ ороеографическихъ правилъ, ороеографическаго словаря и списка всѣхъ словъ съ буквою ъ. Такъ какъ изложеніе ея алфавитное, то она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто. А именно: при помощи приложеннаго въ началѣ книги „Указателя“ открывается страница на букву, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ параграфѣ читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извощикъ, извозчикъ, извощикъ или извозчикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ ороеографическомъ словарѣ подъ буквой ж—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается весьма легко и быстро.

2. **Справочникъ по русскому правописанію.** Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 3-е. М. 1903 г. Ц. 50 к.

3. **Справочникъ по русскому правописанію.** Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. **Справочникъ по русскому правописанію.** Выпускъ IV. Правописаніе, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ, стоятъ 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. **Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку.** Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 5-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

6. **Вступительный курсъ зрительнаго диктанта.** Книга для элементарныхъ ороеографическихъ упражненій (печатается).

7. **Зрительный диктантъ.** Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 12-е. М. 1902 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику ороеографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія ороеографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣстственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ ороеографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильнаго письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже испра-

РУССКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

Л. Н. ТОЛСТОГО.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

1
Часть первая.

СОВРАЛЪ
В. Зелинскій.

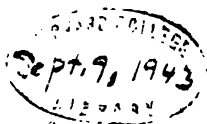
2.
— (ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.) —

МОСКВА.

Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1906.

Slav 4354.2.1020

✓



Prof. George K. ...

10/10/43
10/10/43
10/10/43

7

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе.	стр. V
„Графъ Левъ Николаевичъ Толстой“. Статья А. С. Венгерова.	XIV

Критика пятидесятихъ годовъ.

1854 годъ.

„Дѣтство и Отрочество“. Критическая статья изъ „Отечественныхъ Записокъ“.	1
---	---

1855 годъ.

Статья П. Анненкова, подъ заглавіемъ: „О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности“.	5
Статья изъ „Библіотеки для Чтенія“, по поводу предыдущей статьи П. Анненкова	12
Статья изъ „Отечественныхъ Записокъ“ о разсказѣ „Записки Маркера“.	15
„Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ“. Статья о немъ изъ „Отечественныхъ Записокъ“	17
„Рубна Лѣса“. Разборъ изъ „Отечественныхъ Записокъ“.	18
„Набѣгъ“ и „Рубка Лѣса“. Статья С. Дудышкина.	20

1856 годъ.

О Л. Н. Толстомъ вообще.—„Метель“.—„Два Гусара“. Статья А. В. Дружинина изъ „Библіотеки для Чтенія“.	43
Статья изъ „Библіотеки для Чтенія“ о „Военныхъ Разсказахъ“	70
Статья Н. Чернышевскаго, подъ заглавіемъ: „Дѣтство и Отрочество“ и „Военные Разказы“. Сочиненія графа Л. Н. Толстого	73
Статья о „Военныхъ Разказахъ“ изъ „Отечественныхъ Записокъ“	89

1857 годъ.

	СТР.
„Утро Помѣщина“. Статья изъ „Современника“	100
Выдержка изъ критической статьи К. С. Аксакова о Л. Н. Толстомъ.	108
Статья А. В. Дружинина изъ „Библіотекѣ для Чтенія“.	111

1858—1860 г.

Маленькая выдержка изъ критической статьи Ап. Григорьева.	113
---	-----

Критика шестидесятихъ годовъ.

1861 годъ.

Коротенькая выдержка изъ статьи Ап. Григорьева	114
„Замѣтки новаго поэта“ (И. И. Панаева) о журналѣ „Ясная Поляна“	115

1862 годъ.

Статья Ап. Григорьева, подъ заглавіемъ: „Общій взглядъ на отношенія современной критики въ литературѣ“.	117
„Ясная Поляна“. Статья изъ „Современника“.	155
„Ясная Поляна“. Статья Е. Маркова, изъ „Русскаго Вѣстника“, подъ заглавіемъ: „Теорія и практика Яснополянскон школы“. (Педагогическія замѣтки тульскаго учителя).	177
„Прогрессъ и опредѣленіе образованія“. Статья Гр. Л. Н. Толстого. Отвѣтъ на предыдущую статью Е. Маркова: „Теорія и практика Яснополянскон школы“.	199
Указатель страницъ, на которыхъ упоминаются имена и предметы, имѣющіе отношеніе къ литературѣ	215

Предисловіе къ первому изданію.

Предлагаемый сборникъ критическихъ статей о произведеніяхъ Л. Н. Толстого служитъ продолженіемъ серіи изданныхъ мною раньше сборниковъ о Тургеневѣ, Достоевскомъ, Некрасовѣ и Пушкинѣ.

Въ настоящую первую часть сборника вошло 20 критическихъ статей. Всѣ онѣ, за исключеніемъ помѣщенной въ началѣ книги статьи — „Біографическія свѣдѣнія о Л. Н. Толстомъ“, слѣдуютъ другъ за другомъ въ хронологическомъ порядкѣ и разбираютъ первоначальныя произведенія Л. Н. Толстого, появившіяся въ нашей литературѣ съ начала пятидесятихъ годовъ по 1862 годъ. Кромѣ того, въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ книги помѣщено нѣсколько указаній на статьи, не вошедшія въ эту часть сборника.

Хотя значеніе и цѣль издаваемыхъ мною сборниковъ критическихъ статей уже достаточно успѣли выясниться предыдущими 10-ю выпусками, но по поводу одного замѣчанія объ этихъ книгахъ со стороны двухъ рецензентовъ, я считаю нужнымъ сказать здѣсь нѣсколько словъ относительно того, почему я издаю свои критическіе сборники именно въ такой формѣ, а не въ какой-либо другой.

Первые выпуски моихъ сборниковъ встрѣчены были нашей печатью весьма сочувственно и почти единогласно признаны ею пригодными и полезными для изучающихъ русскую литературу. Въ рецензіяхъ же о послѣдующихъ выпускахъ начали между прочимъ появляться разные совѣты и указанія относительно улучшенія этихъ сборниковъ; но всѣ эти указанія, къ сожалѣнію, до того не согласны между собою и даже діаметрально противоположны другъ другу, что я вовсе

не могу вывести изъ нихъ чего-либо общаго, могущаго служить мнѣ руководствомъ при составленіи дальнѣйшихъ выпусковъ. Одинъ рецензентъ, напримѣръ, говоритъ, что я не имѣю права сокращать статей, а другой, напротивъ, совѣтуетъ помѣщать только самое существенное, а остальное налагать собственными словами; одинъ находитъ лучшимъ, чтобы въ сборники входили всѣ безъ исключенія критическія статьи, когда-либо появившіяся въ печати; а другой говоритъ, что не слѣдуетъ наполнять книгу разнымъ ненужнымъ хламомъ, а ограничиться только выдающимся; одинъ желалъ бы, чтобы я, посредствомъ какихъ-либо разъясненій въ самомъ текстѣ или въ выноскахъ, руководилъ читателя въ массѣ разнорѣчивыхъ критическихъ взглядовъ, другой же ставитъ мнѣ въ особенное достоинство то, что я не беру на себя роли руководителя и не направляю по-своему читателя... И все въ такомъ же родѣ. Ну, какъ я долженъ въ такомъ случаѣ поступить? Какому указанію отдать предпочтеніе и чѣмъ совѣтомъ руководствоваться? Такъ какъ большинства согласныхъ указаній нѣтъ, а всѣ совѣты рецензентовъ совершенно противоположны между собою по смыслу и, слѣдовательно, исключаютъ другъ друга, то въ остаткѣ получается пока только то изъ нихъ, что согласно съ моимъ личнымъ взглядомъ на составленіе и изданіе критическихъ сборниковъ. Мое же личное мнѣніе и взглядъ на этотъ предметъ остаются пока и теперь такими же, каковы они были въ самомъ началѣ моего литературнаго предпріятія. Когда мною готовился къ изданію первый выпускъ сборниковъ критическихъ статей, то по отношенію къ этому роду литературнаго труда я представлялъ себя какъ бы въ воображаемой роли бібліотекаря специально по критической литературѣ, — посредника между этой литературой и интересующеюся ею публикой. Этимъ я предназначалъ себѣ главнѣйшую задачу облегчать публикѣ доступъ къ критической литературѣ, разбросанной по разнымъ періодическимъ и непериодическимъ изданіямъ. Для болѣе отчетливаго уясненія моего взгляда на этотъ предметъ, я прошу читателя вообразить меня фактически служащимъ въ какой-либо обширной бібліотекѣ и за-

вѣдующимъ въ ней только однимъ отдѣленіемъ критическихъ книгъ, гдѣ, значитъ, лежитъ на мнѣ обязанность удовлетворять приходящихъ въ библіотеку съ требованіемъ критическихъ книгъ и статей. Приходить въ библіотеку человекъ и, положимъ, спрашиваетъ: „Нѣтъ ли у васъ такой-то критики о Некрасовѣ?“—Есть, отвѣчаю ему, и, указывая на отдѣльную группу изъ заранѣ найденныхъ и сгруппированныхъ мною по мѣстамъ книгъ, объясняю, что въ этой группѣ онъ найдетъ не только ту книгу, которая сейчасъ ему нужна, но и разныя другія книги, разбирающія произведенія Некрасова; кромѣ того, еще прибавляю, что, на случай, если бы ему понадобились когда-либо такія книги о Некрасовѣ, которыхъ не имѣется въ этой библіотекѣ, онъ можетъ справиться у меня, гдѣ такія книги находятся. Вотъ въ этомъ только посредствѣ состоитъ вся моя главнѣйшая задача и по отношенію къ собиранію мною критическихъ статей и изданію сборниковъ ихъ. Мое дѣло—собрать въ одно мѣсто разрозненную критическую литературу о томъ или другомъ писателѣ, чтобы облегчить другимъ затрудненія и хлопоты по разысканію этой литературы по различнымъ изданіямъ и библіотекамъ,—затрудненія и хлопоты, не всегда вѣнчающіяся успѣхомъ, не говоря уже о провинціи, гдѣ мало или почти совсѣмъ нѣтъ порядочныхъ библіотекъ, но и тамъ, гдѣ существуютъ обширныя библіотеки. И если я взялся за такое дѣло въ выясненныхъ мною границахъ, то изъ этого вовсе не вытекаетъ по отношенію ко мнѣ непремѣннаго обязательства разъяснять противорѣчія критическихъ взглядовъ, опредѣлять направленія и критическія школы, одобрять или неодобрять ту или другую критическую статью, освѣщать ту или другую литературную эпоху. Это дѣло не собирателя критическихъ статей и не библіотекаря, а—дѣло исторіи литературы, и какъ таковое представляетъ предметъ совершенно отдѣльнаго изслѣдованія, независимаго ни отъ какихъ сборниковъ, такъ какъ исторія критики имѣетъ дѣло съ сущностью критическихъ статей, съ ихъ внутреннимъ содержаниемъ, а не съ тѣмъ, какъ и гдѣ онѣ напечатаны, вмѣстѣ ли собраны или порознь существуютъ въ литературѣ. Един-

ственное же отношеніе, какое исторія критики имѣетъ къ критическимъ сборникамъ, такъ это то, которое она имѣетъ и ко всѣмъ вообще книгамъ, журналамъ и газетамъ, откуда перепечатаны тѣ или другія критическія статьи.

Но нѣкоторые рецензенты моихъ сборниковъ совѣтъ иначе смотреть на этотъ предметъ. Они ставятъ въ вину сборникамъ то, что помѣщенные въ нихъ разнорѣчивые отзывы критиковъ объ одномъ и томъ же авторѣ или его сочиненіи производятъ сумбуръ въ головѣ неопытныхъ читателей, не умѣющихъ ориентироваться въ хаосѣ противорѣчивыхъ взглядовъ и сужденій. Если послѣднее и правда, то справедливо ли обвинять въ этомъ сборникъ или издателя сборника? Представьте себѣ, что такой же неопытный читатель, не зная о существованіи моихъ сборниковъ или просто не желая ими пользоваться, непосредственно обратится къ тѣмъ изданіямъ, въ которыхъ находятся нужная ему критическія статьи, — тамъ онъ сумѣетъ ориентироваться? Очевидно, дѣло не измѣнилось бы нисколько оттого, что читатель рылся бы въ библиотекахъ по разнымъ журналамъ и перечитывалъ въ нихъ разнорѣчивыя критическія статьи. Но ни одному изъ такихъ читателей, вѣроятно, не пришло бы въ голову сѣтовать на библиотекаря, отыскивашаго по его требованію нужная ему критическія статьи, за то, что въ русской литературѣ нѣтъ прагматической исторіи русской критики. Когда въ литературѣ нѣтъ не только общаго критерія исторіи литературнаго движенія, но даже и такого авторитетнаго и безпристрастнаго комментарія критическихъ взглядовъ, къ которому каждый могъ бы отнести съ довѣріемъ, тогда прочтаете ли вы въ сборникѣ разногласныя критическія статьи или въ тѣхъ журналахъ, гдѣ онѣ первоначально появились и откуда перенесены въ сборникъ, — это совершенно безразлично по отношенію къ вашимъ силамъ и умѣнью ориентироваться въ ихъ разномысліи. Нѣтъ силъ ориентироваться въ сборникѣ, не прибавится ихъ, если вы будете читать тѣ же статьи и по разнымъ другимъ изданіямъ. Итакъ, кажется, совершенно ясно, что сборники не при чемъ, если неопытные читатели блуждаютъ въ критическихъ противорѣчіяхъ, такъ какъ и

безъ сборниковъ происходило и, вѣроятно, еще долго будетъ происходить это блужданіе. Но чтобы поправить дѣло и во всякомъ случаѣ не оставить неопытныхъ читателей моихъ сборниковъ блуждать во тьмѣ кромѣшней, гг. рецензенты въ этихъ именно интересахъ и хлопочутъ, чтобы заставить меня приняться за *объясненія* и *освѣщенія* того еще неизслѣдованнаго пути, по которому блуждаетъ сама русская критическая мысль. Очевидно, гг. рецензенты заранѣе увѣрены, что какъ только я послушаюсь ихъ и начну издавать сборники съ личными своими комментаріями, то на неопытныхъ читателей сразу ниспадетъ свѣтъ, и они станутъ на путь истины. Одинъ изъ рецензентовъ (уважаемый критикъ г. Скабичевскій) даже подбодряетъ меня, говоря: „А, вѣдь, какъ немного нужно, чтобы привести все это въ ясность“. И чтобы воочію показать, *какъ для этого немного нужно*, читаетъ мнѣ примѣрный урокъ на тему, почему Бѣлинскому не понравились „Мечты и Звуки“ Некрасова (см. „Новости“ 1886 г., № 243). Я же думаю совсѣмъ другое. Я не согласенъ съ тѣмъ, что для этого „немного нужно“: я, напротивъ того, убѣжденъ, что для этого *очень много нужно*, что это слишкомъ серьезная и отвѣтственная работа, и что, слѣдовательно, она не каждому по плечу; что если бы при сборникахъ критическихъ статей неотложно прилагалась и исторія критики, то за такую работу могъ бы осмѣлиться взяться только человекъ, стоящій выше литературныхъ партій и обладающій большимъ талантомъ, обширною эрудиціей и солиднымъ знакомствомъ съ самыми тончайшими изгибами русской литературы. Вѣдь, если бы каждому собирателю критическихъ статей вмѣнено было въ непремѣнную обязанность вмѣстѣ съ тѣмъ быть и судьей критическихъ противорѣчій, тогда каждый составитель, безъ сомнѣнія, судилъ бы и объяснялъ эти противорѣчія по своему, т.-е. въ предѣлахъ личнаго своего разумѣнія, не выходя при этомъ изъ субъективной сферы яготѣнія къ однимъ взглядамъ и антипатіи къ другимъ. И сколько ни нашлось бы такихъ дѣятелей, ровно столько же явилось бы у насъ и различныхъ, противорѣчащихъ одинъ другому комментаріевъ на критическую литературу. А, вѣдь,

каждому извѣстно, что гдѣ существуетъ объ одномъ предметѣ нѣсколько различныхъ сужденій, то въ самомъ счастливомъ случаѣ только одно изъ нихъ можетъ быть истиннымъ, а то и всѣ до одного могутъ оказаться ложными.

Положимъ, не принимая во вниманіе всего высказаннаго мною, я дѣйствительно пустился бы въ освѣщенія и разъясненія различныхъ противорѣчій, заключающихся въ собранныхъ мною критическихъ статьяхъ,—скажите, для кого эти разъясненія были бы необходимы и обязательны? Образованные читатели въ нихъ не нуждаются; для неопытныхъ же читателей они составляли бы одно изъ двухъ: или еще одинъ лишній противорѣчащій голосъ въ видѣ прибавки къ хору другихъ противорѣчащихъ другъ другу голосовъ (такъ какъ гдѣ и чѣмъ я заявилъ свою компетенцію, чтобы мой голосъ имѣлъ силу рѣшающаго?); или, если бы читатели вполне поддались моему руководству, то вышло бы такъ, что тѣ критическіе разборы, которые съ моей точки зрѣнія оказались бы болѣе справедливыми, талантливыми и авторитетными, принимались бы читателями за нѣчто непреложное и для нихъ обязательное, а на все остальное ставился бы могильный крестъ. Этого ли желаютъ гг. рецензенты?

Еще скажу, что я вовсе не согласенъ съ тѣмъ мнѣніемъ, будто различные критическіе взгляды производятъ сумбуръ въ головѣ читателей. Съ такимъ мнѣніемъ можно было бы согласиться только въ томъ случаѣ, если бы предположить, что критическія разсужденія читались бы дѣтьми или ужъ такими мало образованными людьми, которые не смыслятъ даже, о чемъ идетъ рѣчь, которые не только не читали, но и не слыхали о томъ литературномъ произведеніи, по поводу котораго написаны читаемая ими критическія статьи. Но посудите, много ль изъ такихъ найдется охотниковъ до критики? Тотъ же читатель, который находитъ интересъ въ критикѣ, само собою разумѣется, уже не только знакомъ съ предметомъ критическаго разбора (повѣстью, романомъ, стихотвореніемъ и т. д.), на который ему интересно изучить взгляды критики, но въ его головѣ уже сложился нѣкоторый личный его, непосредственный взглядъ на то ли-

тературное произведеніе, съ которымъ онъ сроднился, т.-е. прочиталъ его, прочувствовалъ и продумалъ о немъ. Этотъ взглядъ служить читателю какъ бы посохомъ, въ рукахъ съ которымъ читатель и отправляется въ путешествіе по дебрямъ разногласныхъ критическихъ разборовъ; тутъ этимъ посохомъ читатель ощупываетъ ненадежныя мѣста, и поэтому не рискуетъ вполне заблудиться и уничтожиться въ хаосѣ противорѣчій, а хоть на какую-нибудь дорогу да выберется. Я хочу сказать этимъ, что читатель приступаетъ къ чтенію критическихъ статей съ нѣкоторымъ предвзятымъ критеріемъ (истиненъ онъ или нѣтъ—все равно), съ нѣкоторою, такъ сказать, мѣркою, къ которой онъ прикладываетъ и истину и неправду, и которая, будучи часто даже не вполне сознаваема людьми, тѣмъ не менѣе служить имъ маякомъ, освѣщающимъ путь при отысканіи истины. Такъ толпа, не знающая законовъ искусства, посредствомъ сравненія многихъ картинъ умѣетъ отличать лучшія. Такимъ образомъ, читатель во все время чтенія и сопоставленія между собою разнородныхъ критическихъ взглядовъ на какое-либо произведеніе, ни на одну минуту не упускаетъ изъ виду своего непосредственного голоса души на то же самое произведеніе. Иначе и быть не можетъ, потому что этотъ голосъ, исходящій изъ глубины собственнаго существа читателя, именно есть та самая срединная точка, вокругъ которой толпятся и кружатся всѣ эти критическія несогласія и съ которой при сравненіи и взвѣшиваніи каждое изъ нихъ должно столкнуться порознь. Нужды нѣтъ, что эта центральная точка, черезъ столкновеніе съ другими точками, въ результатѣ можетъ потерять центръ тяжести и очутится внѣ сфероточія, а на ея мѣсто станетъ та точка, которая при сравненіи съ другими точками, окажется наиболѣе тяжеловѣсною.

Поэтому я думаю, что необъясненное извнѣ разнорѣчіе критическихъ взглядовъ не только не приноситъ читателю вреда, а, напротивъ, способствуетъ самостоятельному выясненію истины. Но придетъ ли читатель къ истинному результату или нѣтъ, во всякомъ случаѣ это блужданіе по критическимъ противорѣчіямъ дастъ серіозную самостоятельную

работу для его мысли и мало-по-малу втянетъ его въ болѣе тѣсную сферу литературнаго движенія. Это обстоятельство я имѣлъ въ виду еще съ самаго начала моего литературнаго предпріятія. Вотъ что по поводу этого я говорилъ, между прочимъ, въ предисловіи къ первому выпуску сборника критическихъ статей о произведеніяхъ Тургенева:

„Не внося въ книгу ничего личнаго, субъективнаго, а собравъ только разнообразныя критическія выдержки, болѣею частью несогласныя между собою, я имѣлъ въ виду дать читателямъ плодотворную умственную работу, состоящую въ сравненіи и комбинированіи тѣхъ или другихъ отзыовъ объ одномъ и томъ же произведеніи по отношенію ихъ къ своему собственному непосредственному мнѣнію о томъ же произведеніи. Читая какое-либо разсужденіе одного лица, мы естественно становимся на точки зрѣнія его логики въ данномъ случаѣ и, будучи слабы въ критической мысли или совершенно незнакомы съ предметомъ разсужденія, невольно соглашаемся со взглядами и выводами разсуждающаго лица, даже и въ томъ случаѣ, когда эти выводы бываютъ не всѣмъ правильны. Другое дѣло, когда объ одномъ и томъ же предметѣ предстанутъ предъ вами два или болѣе не всѣмъ согласныя между собой мнѣнія, — въ этомъ случаѣ даже самый апатичный умъ не соглашается безусловно съ тѣмъ или инымъ мнѣніемъ, безъ самостоятельной борьбы, хотя бы и самой ничтожной. Нельзя согласиться съ тѣмъ или другимъ мнѣніемъ, не подумавъ о немъ, не сравнивъ его съ другимъ противоположнымъ ему мнѣніемъ. Въ подобныхъ случаяхъ трудно остаться уму пассивнымъ: необходимо примкнуть либо къ одному, либо къ другому мнѣнію, или найти часть истины какъ въ томъ, такъ и въ другомъ, или же, наконецъ, не согласиться ни съ однимъ изъ нихъ; а для этого необходимы основанія, причины. Вотъ почему такую важную роль въ развитіи мышленія играютъ правильныя и оживленныя диспуты и вообще споры“.

В. Зелинскій.

Второе изданіе первой части „Русской критической литературы о произведеніяхъ Л. Н. Толстого“ отпечатано съ перваго изданія безъ измѣненій.

1898 г.

Въ *третьемъ* изданіи первой части „Русской критической литературы о произведеніяхъ Л. Н. Толстого“ статья *Θ. И. Булгакова*: „Графъ Л. Н. Толстой и критика его произведеній“ замѣнена статьею того же содержанія *С. А. Венгерова*: „Графъ Левъ Николаевичъ Толстой“.

30 апрѣля 1903 г.

В. Зелинскій.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой *).

(Биографическія свѣдѣнія).

Левъ Николаевичъ Толстой — знаменитый писатель, достигшій еще небывалой въ исторіи литературы XIX в. славы. Въ его лицѣ могущественно соединились великій художникъ съ великимъ моралистомъ. Личная жизнь Т., его стойкость, неутомимость, отзывчивость, одушевленіе въ отстаиваніи своихъ идеаловъ, его попытка отказаться отъ благъ міра сего, жить новою, хорошею жизнью, имѣющею въ основѣ своей только высокія, идеальныя цѣли и познаніе истины — все это доводитъ обаяніе имени Т. до легендарныхъ размѣровъ. — Богатый и знатный родъ, къ которому онъ принадлежитъ, уже во времена Петра Вел. занималъ выдающееся положеніе. Не лишено своеобразнаго интереса, что прапрадѣду провозвѣстника столь гуманныхъ идеаловъ (гр. Петру Андреевичу) выпала печальная роль въ исторіи царевича Алексѣя. Правнукъ Петра Андреевича, Илья Андреевичъ, описанъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ въ лицѣ добродушнѣйшаго, непрактичнаго стараго графа Ростова. Сынъ Ильи Андреевича, Николай Ильичъ, былъ отцомъ Льва Николаевича. Онъ изображенъ довольно близко къ дѣйствительности въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ въ лицѣ отца Николиньки, и отчасти въ „Войнѣ и Мирѣ“, въ лицѣ Николая Ростова. Въ чинѣ подполковника павлоградскаго гусарскаго полка, онъ принималъ участіе въ войнѣ 1812 г. и послѣ заключенія мира вышелъ въ отставку. Весело провелъ молодость,

*) С. А. Венгеровъ. Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, томъ 33.

Ник. Ильичъ проигралъ огромныя деньги и совершенно разстроилъ свои дѣла. Страсть къ игрѣ перешла и къ сыну, который, уже будучи извѣстнымъ писателемъ, азартно игралъ и долженъ былъ въ началѣ 60-хъ годовъ ускоренно продать Каткову „Казаковъ“, чтобы расквитаться съ проигрышемъ. Остатки этой страсти и теперь еще видны въ томъ чрезвычайномъ увлеченіи, съ которымъ Л. Н. отдается лаунъ-тенису. Чтобы привести свои разстроенныя дѣла въ порядокъ, Николай Ильичъ, какъ и Николай Ростовъ, женился на некрасивой и уже не очень молодой княжнѣ Волконской. Бракъ, тѣмъ не менѣе, былъ счастливый. У нихъ было четыре сына: Николай, Сергѣй, Дмитрій и Левъ и дочь Марія. Кромѣ Льва, выдающимся человѣкомъ былъ Николай, смерть котораго (за границую въ 1860 г.) Т. такъ удивительно описалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Фету. Дѣдъ Т. по матери, екатерининскій генералъ, выведенъ на сцену въ „Войнѣ и Мирѣ“ въ лицѣ суроваго ригориста—старога князя Волконскаго. Лучшія черты своего нравственнаго закала Л. Н. несомнѣнно заимствовалъ отъ Волконскихъ. Мать Л. Н., съ большою точностью изображенная въ „Войнѣ и Мирѣ“ въ лицѣ княжны Марьи, владела замѣчательнымъ даромъ разсказа, для чего, при своей перешедшей къ сыну застѣнчивости, должна была записаться съ собиравшимися около нея въ большомъ числѣ слушателями въ темной комнатѣ. Кромѣ Волконскихъ, Т. состоитъ въ близкомъ родствѣ съ цѣлымъ рядомъ другихъ аристократическихъ родовъ—князьями Горчаковыми, Трубецкими и другими.

Левъ Николаевичъ родился 28 августа 1828 г. въ Крапивенскомъ уѣздѣ Тульской губ. (въ 15 верстахъ отъ Тулы), въ получившемъ теперь всемірную извѣстность наслѣдственнымъ великолѣпномъ имѣніи матери—Ясной Полянѣ. Т. не было и двухъ лѣтъ, когда умерла его мать. Многихъ вводитъ въ заблужденіе то, что въ автобіографическомъ „Дѣтствѣ“ мать Иртеньева умираетъ, когда мальчику уже лѣтъ 6—7, и онъ вполне сознательно относится къ окружающему; но на самомъ дѣлѣ мать изображена здѣсь Т. по разска-

замъ другихъ. Воспитаніемъ осиротѣвшихъ дѣтей занялась дальняя родственница, Т. А. Ергольская. Въ 1837 г. семья переѣхала въ Москву, потому что старшему сыну надо было готовиться къ поступленію въ университетъ; но вскорѣ внезапно умеръ отецъ, оставивъ дѣла въ довольно разстроенномъ состояніи, и трое младшихъ дѣтей снова поселились въ Ясной Полянѣ, подъ наблюденіемъ Т. А. Ергольской и тетки по отцу, графини А. М. Остенъ-Сакенъ. Здѣсь Л. Н. оставался до 1840 г., когда умерла гр. Остенъ-Сакенъ, и дѣти переселились въ Казань, къ новой опекуншѣ—сестрѣ отца П. И. Юшковой. Этимъ заканчивается первый періодъ жизни Т., съ большою точностью въ передачѣ мыслей и впечатлѣній и лишь съ легкимъ измѣненіемъ внѣшнихъ подробностей описанный имъ въ „Дѣтствѣ“. Домъ Юшковыхъ, нѣсколько провинціального пошиба, но типично-свѣтскій, принадлежалъ къ числу самыхъ веселыхъ въ Казани; всѣ члены семьи высоко цѣнили комильфотность и внѣшній блескъ.

„Добрая тетушка моя“, рассказываетъ Т., „чистѣйшее существо, всегда говорила, что она ничего не желала бы такъ для меня, какъ того, чтобы я имѣлъ связь съ замужнею женщиной: *rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut*“ („Исповѣдь“). Два главнѣйшихъ начала натуры Т. — огромное самолюбіе и желаніе достигнуть чего-то настоящаго, познать истину—вступили теперь въ борьбу. Ему страстно хотѣлось блистать въ обществѣ, заслужить репутацію молодого человѣка *comme il faut*. Но внѣшнихъ данныхъ для этого у него не было: онъ былъ некрасивъ, неловокъ, и, кромѣ того, ему мѣшала природная застѣнчивость. Выѣстъ съ тѣмъ въ немъ шла напряженная внутренняя борьба и выработка строгаго нравственнаго идеала. Все то, что рассказано въ „Отрочествѣ“ и „Юности“ о стремленіяхъ Иртеньева и Нехлюдова къ самоусовершенствованію, взято Т. изъ исторіи собственныхъ его аскетическихъ попытокъ. Разнообразнѣйшія, какъ ихъ опредѣляетъ самъ Т., „умствованія“ о главнѣйшихъ вопросахъ нашего бытія—счастьѣ, смерти, Богѣ,

любви, вѣчности — болѣзненно мучили его въ ту эпоху жизни, когда сверстники его и братья всецѣло отдавались веселому, легкому и беззаботному времяпрепровожденію богатыхъ и знатныхъ людей. Все это привело къ тому, что у Т. создалась „привычка къ постоянному моральному анализу, уничтожившему свѣжесть чувства и ясность разсудка“ („Юность“). Вся дальнѣйшая жизнь Т. представляетъ собою мучительную борьбу съ противорѣчіями жизни. Если Бѣлинскаго по праву можно назвать *великимъ сердцемъ*, то къ Т. подходитъ эпитетъ: *великая совесть*.

Образованіе Т. шло сначала подъ руководствомъ грубо-ватата гувернера-француза St. Thomas (М-г Жеромъ „Отрочества“), замѣнившаго собою добродушнаго нѣмца Ресельмана, котораго съ такою любовью изобразилъ Т. въ „Дѣтствѣ“ подъ именемъ Карла Ивановича. Уже 15-ти лѣтъ, въ 1843 г., Т. поступилъ въ число студентовъ казанскаго университета. Это слѣдуетъ, однако, приписать не тому, что юноша много зналъ, а тому, что требованія были очень невелики, въ особенности для членовъ семей съ виднымъ общественнымъ положеніемъ. Казанскій университетъ находился въ то время въ очень жалкомъ состояніи. Профессора были, въ большинствѣ, либо чудаки - иностранцы, почти не знавшіе по-русски, либо невѣжественные карьеристы, иногда даже нечистые на руки. Правда, профессорствовалъ въ то время знаменитый Лобачевскій, но на математическомъ факультетѣ, а Т. провелъ два года на восточномъ факультетѣ, два года — на юридическомъ. На послѣднемъ тоже былъ одинъ выдающійся профессоръ, учивый цивилистъ Мейеръ; Т. одно время очень заинтересовался его лекціями и даже взялъ себѣ спеціальную тему для разработки — сравненіе „Esprit des lois“ Монтескье и Екатерининскаго „Наказа“. Изъ этого, однако, ничего не вышло: ему вскорѣ надобѣло работать. Онъ только числился въ университетѣ, весьма мало занимаясь и получая двойки и единицы на экзаменахъ. Неуспѣхность университетскихъ занятій Т. — едва-ли простая случайность. Будучи однимъ изъ истинно-великихъ мудрецовъ въ смыслѣ, умѣнья

вдуматься въ цѣль и назначеніе человѣческой жизни, Т. въ то же время лишенъ способности мыслить научно, т. е. подчинять свою мысль результатамъ изслѣдованія. Ненаучность его ума особенно ясно сказывается въ тѣхъ требованіяхъ, которыя онъ предъявляетъ къ научнымъ изслѣдованіямъ, цѣня въ нихъ не правильность метода и приѣмовъ, а исключительно цѣль. Отъ астронома онъ требуетъ указанія путей къ достиженію счастья человѣчества — а философіи ставитъ въ укоръ отсутствіе тѣхъ осязательныхъ результатовъ, которыхъ достигли науки точныя. — Бросивъ университетъ еще до наступленія переходныхъ экзаменовъ на 3-й курсъ юрид. факультета, Т. съ весны 1847 г. поселяется въ Ясной Полянѣ. Что онъ тамъ дѣлалъ, мы знаемъ изъ „Утра Помѣщика“: здѣсь надо только подставить фамилію „Т.“, вмѣсто „Нехлюдовъ“, чтобы получить достовѣрный рассказъ о жизни его въ деревнѣ. Попытка Т. стать дѣйствительнымъ отцомъ и благодѣтелемъ своихъ мужиковъ замѣчательна и какъ яркая иллюстрація того, что барская филантропія неспособна была оздоровить гнилой и безнравственный въ своей основѣ крѣпостной бытъ, и какъ яркая страница изъ исторіи сердечныхъ порывовъ Т. На этотъ разъ порывъ Т. былъ вполне самостоятельный; онъ стоитъ внѣ связи съ демократическими теченіями второй половины 40-хъ годовъ, совершенно не коснувшимися Т. Онъ весьма мало слѣдилъ за журналистикою; хотя его попытка чѣмъ-нибудь сгладить вину барства предъ народомъ относится къ тому-же году, когда появились „Антонъ Горемыка“ Григоровича и начало „Записокъ Охотника“ Тургенева, но это простая случайность. Если и были тутъ литературныя вліянія, то гораздо болѣе стараго происхожденія: Т. очень увлекался Руссо. Ни съ кѣмъ у него нѣтъ столькохъ точекъ соприкосновенія, какъ съ великимъ ненавистникомъ цивилизаціи и проповѣдникомъ возвращенія къ первобытной простотѣ. Мужики, однако, не всецѣло захватили Т. онъ скоро уѣхалъ въ Петербургъ и весною 1848 г. началъ держать экзаменъ на кандидата правъ. Два экзамена, изъ уголовного права и уголовного судопроизводства, онъ сдалъ благополучно, за-

тѣмъ это ему надобно, и онъ уѣхалъ въ деревню. Позднѣе онъ наѣзжалъ въ Москву, гдѣ часто поддавался унаслѣдованной страсти къ игрѣ, немало разстраивая этимъ свои денежные дѣла. Въ этотъ періодъ жизни Т. особенно страстно интересовался музыкою (онъ недурно игралъ на роялѣ и очень любитъ классическихъ композиторовъ). Превеличенное по отношенію къ большинству людей описаніе того дѣйствія, которое производитъ „страстная“ музыка, авторъ „Крейцеровой Сонаты“ почерпнулъ изъ ощущеній, возбуждаемыхъ міромъ звуковъ въ его собственной душѣ. Развитію любви Т. къ музыкѣ содѣйствовало и то, что во время поѣздки въ Петербургъ въ 1848 г. онъ встрѣтился, въ весьма мало подходящей обстановкѣ танцкласса, съ даровитымъ, но сбившимся съ пути нѣмцемъ - музыкантомъ, котораго впоследствии описалъ въ „Альбертѣ“. Т. пришла мысль спасти его: онъ увезъ его въ Ясную Поляну и вмѣстѣ съ нимъ много игралъ. Много времени уходило также на кутежи, игру и охоту. Такъ прошло послѣ оставленія университета 4 года, когда въ Ясную Поляну пріѣхалъ служившій на Кавказѣ братъ Т., Николай, и сталъ его звать туда. Т. долго не сдавался на зовъ брата, пока крупный проигрышъ въ Москвѣ не помогъ рѣшенію. Чтобы расплатиться, надо было сократить свои расходы до минимума — и весною 1851 г. Т. торопливо уѣхалъ изъ Москвы на Кавказъ, сначала безъ всякой опредѣленной цѣли. Вскорѣ онъ рѣшилъ поступить на военную службу, но явились препятствія въ видѣ отсутствія нужныхъ бумагъ, которыя трудно было добыть, и Т. прожилъ около 5 мѣсяцевъ въ полномъ уединеніи въ Пятигорскѣ, въ простой избѣ. Значительную часть времени онъ проводилъ на охотѣ, въ обществѣ казака Епишки, фигурирующаго въ „Казакахъ“ подъ именемъ Ерошки. Осенью 1851 г. Т. сдалъ въ Тифлисѣ экзаменъ, поступилъ юнкеромъ въ 4-ю батарею 20-й артиллерійской бригады, стоявшей въ казацкой станицѣ Старогладовѣ, на берегу Терека, подъ Кизляромъ. Съ легкимъ измѣненіемъ подробностей, она во всей своей полу-дикой оригинальности изображена въ „Казакахъ“. Тѣ же

„Казаки“ дадутъ намъ и картину внутренней жизни бѣжавшаго изъ столичнаго омута Т., если мы подставимъ фамилію „Толстой“, вмѣсто фамиліи Оленина. Настроенія, которыя переживалъ Т.-Оленинъ, двойственнаго характера: тутъ и глубокая потребность стряхнуть съ себя пыль и копотъ цивилизаціи и жить на освѣжающемъ, ясномъ лонѣ природы, внѣ пустыхъ условностей городского и въ особенности великосвѣтскаго быта, тутъ и желаніе залечить раны самолюбія, вынесенныя изъ погони за успѣхомъ въ этомъ „пустомъ“ быту, тутъ и тяжелое сознаніе проступковъ противъ строгихъ требованій истинной морали. Въ глухой стапницѣ Т. обрѣлъ лучшую часть самого себя: онъ сталъ писать и въ 1852 г. отослалъ въ редакцію „Современника“ первую часть автобіографической трилогіи: „Дѣтство“. Какъ все въ Т. сильно и оригинально, такъ необычайно и первоклассно начало его литературной дѣятельности. Повидному, „Дѣтство“—въ буквальномъ смыслѣ первенецъ Т.: по крайней мѣрѣ, въ числѣ многочисленныхъ біографическихъ фактовъ, собранныхъ друзьями и почитателями его, нѣтъ никакихъ данныхъ, указывающихъ на то, что Т. раньше пытался написать что-нибудь въ литературной формѣ. Нѣтъ никакихъ намековъ на раннія литературныя поползновенія и въ произведеніяхъ Т., представляющихъ исторію всѣхъ его мыслей, поступковъ, вкусовъ и т. д. Сравнительно позднее начало увѣнчавшагося такой небывалой удачею поприща очень характерно для Т.: онъ никогда не былъ профессиональнымъ литераторомъ, понимая профессиональность не въ смыслѣ профессіи, дающей средства къ жизни, а въ менѣе узкомъ смыслѣ преобладанія литературныхъ интересовъ. Чисто-литературные интересы всегда стояли у Т. на второмъ планѣ: онъ писалъ, когда хотѣлось писать и вполне назрѣвала потребность высказаться, а въ обычное время онъ свѣтскій человѣкъ, офицеръ, помѣщикъ, педагогъ, мировой посредникъ, проповѣдникъ, учитель жизни и т. д. Онъ никогда не нуждался въ обществѣ литераторовъ, никогда не принималъ близко къ сердцу интересы литературныхъ партій, далеко не охотно бесѣдуетъ о лите-

ратурѣ, всегда предпочитая разговоры о вопросахъ вѣры, морали, общественныхъ отношеній. Ни одно произведение его, говоря словами Тургенева, не „воняетъ литературою“, т. е. не вышло изъ книжныхъ настроеній, изъ литературной замкнутости.—Получивъ рукопись „Дѣтства“, редакторъ „Современника“ Некрасовъ сразу распозналъ ея литературную цѣнность, и написалъ автору любезное письмо, подѣйствовавшее на него очень ободряющимъ образомъ. Онъ припимается за продолженіе трилогіи, а въ головѣ его роятся планы „Утра Помѣщика“, „Набѣга“, „Казаковъ“. Напечатанное въ „Современникѣ“ 1852 г. „Дѣтство“ подѣйствовало скромными инициалами Л. Н. Т., имѣло чрезвычайный успѣхъ; автора сразу стали причислять къ корифеямъ молодой литературной школы, наряду съ пользовавшимися уже тогда громкою литературною извѣстностью Тургеневымъ, Гончаровымъ, Григоровичемъ, Островскимъ. Критика—Аполлонъ Григорьевъ, Анненковъ, Дружининъ, Чернышевскій—оцѣнила и глубину психологическаго анализа, и серьезность авторскихъ намѣреній, и яркую выпуклость реализма, при всей правдивости ярко-схваченныхъ подробностей дѣйствительной жизни чуждаго какой бы то ни было вульгарности. На Кавказѣ скоро произведенный въ офицеры Т. оставался два года, участвуя во многихъ стычкахъ и подвергаясь всѣмъ опасностямъ боевой кавказской жизни. Онъ имѣлъ права и притязанія на Георгіевскій крестъ, но не получилъ его, чѣмъ, видимо, былъ огорченъ. Когда въ концѣ 1853 г. вспыхнула Крымская война, Т. перевелся въ Дунайскую армію, участвовалъ въ сраженіи при Ольтеницѣ и въ осадѣ Силистріи, а съ ноября 1854 г. по конецъ августа 1855 г. былъ въ Севастополѣ. Всѣ ужасы, лишенія и страданія, выпавшія на долю геройскихъ его защитниковъ, перенесъ и Т. Онъ долго жилъ на страшномъ 4-мъ бастионѣ, командовалъ батареей въ сраженіи при Черной, былъ при адской бомбардировкѣ во время штурма Малахова Кургана. Несмотря на всѣ ужасы осады, къ которымъ онъ скоро привыкъ, какъ и всѣ прочіе эпически-храбрые севастопольцы, Т. написалъ въ это

время боевой разсказъ изъ кавказской жизни „Рубка Лѣса“ и первый изъ трехъ „Севастопольскихъ Разсказовъ“: „Севастополь въ декабрѣ 1854 г.“ Этотъ послѣдній разсказъ онъ отправилъ въ „Современникъ“. Тотчасъ же напечатанный, разсказъ былъ съ жадностью прочитанъ всею Россіею и произвелъ потрясающее впечатлѣніе картиною ужасовъ, выпавшихъ на долю защитниковъ Севастополя. Разсказъ былъ замѣченъ импер. Николаемъ; онъ велѣлъ беречь даровитаго офицера, что, однако, было неисполнимо для Т., не хотѣвшаго перейти въ разрядъ ненавидимыхъ имъ „штабныхъ“. Окруженный блескомъ извѣстности и пользуясь репутаціею очень храбраго офицера, Т. имѣлъ всѣ шансы на карьеру, но самъ себя „испортилъ“ ее. Едва-ли не единственный разъ въ жизни (если не считать сдѣланнаго для дѣтей „Соединенія разныхъ варіантовъ былинъ въ одну“ въ его педагогич. сочиненіяхъ) онъ побаловался стихами: написалъ сатирическую пѣсенку, на манеръ солдатскихъ, по поводу несчастнаго дѣла 4-го августа 1855 г., когда генераль Редъ, неправильно понявъ приказаніе главнокомандующаго, неблагоразумно атаковалъ Федюхинскія высоты. Пѣсенка (Какъ четвертаго числа, насъ нелегкая несла гору забирать и т. д.), задѣлавшая цѣлый рядъ важныхъ генераловъ, имѣла огромный успѣхъ и, конечно, повредила автору. Тотчасъ послѣ штурма 27 августа Т. былъ посланъ курьеромъ въ Петербургъ, гдѣ написалъ „Севастополь въ маѣ 1855 г.“ и „Севастополь въ августѣ 1855 г.“ „Севастопольскіе Разказы“, окончательно укрѣпившіе извѣстность Т., какъ одной изъ главныхъ „надеждъ“ новаго литературнаго поколѣнія, до извѣстной степени являются первымъ эскизомъ того огромнаго полотна, которое 10—12 лѣтъ спустя Т. съ такимъ геніальнымъ мастерствомъ развернулъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. Первый въ русской, да и едва ли не во всемірной литературѣ, Т. занялся трезвымъ анализомъ боевой жизни, первый отнесся къ ней безъ всякой экзальтаціи. Онъ низвелъ воинскую доблесть съ пьедестала сплошнаго „геройства“, но вмѣстѣ съ тѣмъ возвеличилъ ее какъ никто. Онъ показалъ, что

храбрець даннаго момента за минуту до того и минуту спустя такой же человѣкъ, какъ и всѣ: хорошій—если онъ всегда такой, мелочный, завистливый, нечестный—если онъ былъ такимъ, пока обстоятельства не потребовали отъ него геройства. Разрушая представленіе воинской доблести въ стилѣ Марлинскаго, Т. ярко выставилъ на видъ величіе героя простаго, ни во что не драпирующагося, не лѣзущаго впередъ, дѣлающаго только то, *что надо*: если надо—такъ прятаться, если надо—такъ умирать. Безконечно полюбилъ за это Т. подъ Севастополемъ простаго солдата и въ его лицѣ весь вообще русскій народъ.—Шумною и веселою жизнью зажилъ Т. въ Петербургѣ, гдѣ его встрѣтили съ распростертыми объятіями и въ великосвѣтскихъ салонахъ и въ литературныхъ кружкахъ. Особенно близко сошелся онъ съ Тургеневымъ, съ которымъ одно время жилъ на одной квартирѣ. Тургеневъ ввелъ Т. въ кружокъ „Современника“ и другихъ литературныхъ корифеевъ: онъ сталъ въ пріятельскія отношенія съ Некрасовымъ, Гончаровымъ, Панаевымъ, Григоровичемъ, Дружининымъ, Сологубомъ. „Послѣ севастопольскихъ лишеній столичная жизнь имѣла двойную прелесть для богатаго, жизнерадостнаго, впечатлительнаго и общительнаго молодого человѣка. На попойки и карты, кутежи съ цыганами у Т. уходили цѣлые дни и даже ночи“ (Левенфельдъ). Веселая жизнь не замедлила оставить горькій осадокъ въ душѣ Т. тѣмъ болѣе, что у него начался сильный разладъ съ близкимъ ему кружкомъ писателей. Онъ и тогда понималъ, „что такое святость“, и потому никакъ не хотѣлъ удовлетвориться, какъ нѣкоторые его пріатели, тѣмъ, что онъ „чудесный художникъ“, не могъ признать литературную дѣятельность чѣмъ-то особенно возвышеннымъ, чѣмъ-то такимъ, что освобождаетъ человѣка отъ необходимости стремиться къ самоусовершенствованію и посвящать себя всецѣло благу ближняго. На этой почвѣ возникали ожесточенные споры, осложнявшіеся тѣмъ, что, всегда правдивый и потому часто рѣзкій, Т. не стѣснялся отмѣчать въ своихъ пріятеляхъ черты неискренности и аффектаціи. Въ результатъ „люди ему опротивѣли,

и самъ онъ себѣ опротивѣлъ“ — и въ началѣ 1857 г. Т. безъ всякаго сожалѣнія оставилъ Петербургъ и отправился за границу. Неожиданное впечатлѣніе произвела на него Западная Европа—Германія, Франція, Англія, Швейцарія, Італія,—гдѣ Т. провелъ всего около 1½ лѣтъ (въ 1857 и 1860—61 гг.). Въ общемъ это впечатлѣніе было безусловно отрицательное. Косвенно оно выразилось въ томъ, что нигдѣ въ своихъ сочиненіяхъ Т. не обмолвился какимъ-нибудь добрымъ словомъ о тѣхъ или другихъ сторонахъ заграничной жизни, нигдѣ не поставилъ культурное превосходство запада намъ въ примѣръ. Прямо свое разочарованіе въ европейской жизни онъ высказалъ въ разсказѣ „Люцернъ“. Лежащій въ основѣ европейскаго общества контрастъ между богатствомъ и бѣдностью схваченъ здѣсь Т. съ поражающей силой. Онъ сумѣлъ рассмотреть его сквозь великолѣпный виѣшний покровъ европейской культуры, потому что его никогда не покидала мысль объ устройствѣ человѣческой жизни на началахъ братства и справедливости. За границей его интересовали только народное образованіе и учрежденія, имѣющія цѣлью поднятіе уровня рабочаго населенія. Вопросы народнаго образованія онъ пристально изучалъ въ Германіи и теоретически, и практически, и путемъ бесѣдъ со специалистами. Изъ выдающихся людей Германіи его больше всѣхъ заинтересовалъ Ауэрбахъ, какъ авторъ посвященныхъ народному быту „Шварцвальдскихъ Разсказовъ“ и издатель народныхъ календарей. Гордый и замкнутый, никогда первый не искавшій знакомства, для Ауэрбаха Т. сдѣлалъ исключеніе, сдѣлалъ ему визитъ и постарался съ нимъ сблизиться. Во время пребыванія въ Брюсселѣ Т. познакомился съ Прудономъ и Лелевелемъ. Глубоко-серьезному настроенію Т. во время второго путешествія содѣйствовало еще то, что на его рукахъ умеръ отъ чахотки, въ южной Франціи, любимый его братъ Николай. Смерть его произвела на Т. потрясающее впечатлѣніе. Вернулся Т. въ Россію тотчасъ по освобожденіи крестьянъ и сталъ мировымъ посредникомъ. Сдѣлано это было всего менѣе подъ вліяніемъ демократическихъ те-

ченій шестидесятихъ годовъ. Въ то время смотрѣли на народъ какъ на младшаго брата, котораго надо поднять до себя; Т. думалъ, наоборотъ, что народъ безконечно выше культурныхъ классовъ, и что господамъ надо заимствовать высоты духа у мужиковъ. Онъ дѣятельно занялся устройствомъ школъ въ своей Ясной Полянѣ и во всемъ Крапивненскомъ у. Яснополянская школа принадлежитъ къ числу самыхъ оригинальныхъ педагогическихъ попытокъ, когда-либо сдѣланныхъ. Въ эпоху безграничнаго преклоненія предъ новѣйшею нѣмецкою педагогіею Т. рѣшительно возсталъ противъ всякой регламентаціи и дисциплины въ школѣ; единственная метода преподаванія и воспитанія, которую онъ признавалъ, была та, что никакой методы не надо. Все въ преподаваніи должно быть индивидуально — и учитель, и ученикъ, и ихъ взаимныя отношенія. Въ Яснополянской школѣ дѣти сидѣли кто гдѣ хотѣлъ, кто сколько хотѣлъ и кто какъ хотѣлъ. Никакой опредѣленной программы преподаванія не было. Единственная задача учителя заключалась въ томъ, чтобы заинтересовать классъ. Несмотря на этотъ крайній педагогическій анархизмъ, занятія шли прекрасно. Ихъ велъ самъ Т., при помощи нѣсколькихъ постоянныхъ учителей и нѣсколькихъ случайныхъ, изъ ближайшихъ знакомыхъ и пріѣзжихъ. Съ 1862 г. Т. сталъ издавать педагогическій журналъ „Ясная Поляна“, гдѣ главнымъ сотрудникомъ являлся опять-таки онъ самъ. Сверхъ статей теоретическихъ, Т. написалъ также рядъ разсказовъ, басенъ и переложеній. Соединенныя вмѣстѣ педагогическія статьи Т. составили цѣлый томъ собранія его сочиненій. Запрятанныя въ очень мало распространенный спеціальнѣйшій журналъ, онѣ, въ свое время, остались мало замѣченными. На социологическую основу идей Т. объ образованіи, на то, что Т. въ образованности, наукѣ, искусствѣ и успѣхахъ техники видѣлъ только облегченные и усовершенствованные способы эксплуатаціи народа высшими классами, никто не обратилъ вниманія. Мало того: изъ нападокъ Т. на европейскую образованность и на излюбленное въ то время понятіе о „прогрессѣ“ многіе не на шутку вывели заключе-

ніе, что Т.—„консерваторъ“. Около 15 лѣтъ длилось это курьезное недоразумѣніе, сближавшее съ Т. такого, напр., органически-противоположнаго ему писателя, какъ Н. Н. Страховъ. Только въ 1875 г. Н. К. Михайловскій, въ статьѣ: „Десница и Шуйца гр. Т.“, поражающей блескомъ анализа и предугадываніемъ дальнѣйшей дѣятельности Т., обрисовалъ духовный обликъ оригинальнѣйшаго изъ русскихъ писателей въ настоящемъ свѣтѣ. Малое вниманіе, которое было удѣлено педагогическимъ статьямъ Т. объясняется, отчасти, тѣмъ, что имъ вообще мало тогда занимались. Аполлонъ Григорьевъ имѣлъ право назвать свою статью о Т. („Время“ 1862 г.): „Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой“. Чрезвычайно радушно встрѣтивъ дебюты Т. и „Севастопольскіе Разказы“, признавъ въ немъ великую надежду русской литературы (Дружининъ даже употребилъ по отношенію къ нему эпитетъ „гениальный“), критика затѣмъ лѣтъ на 10—12, до появленія „Войны и Мира“, не то что перестаетъ признавать его очень крупнымъ писателемъ, а какъ-то охлаждаетъ къ нему. Въ эпоху, когда интересы минуты и партіи стояли на первомъ планѣ, не захватывалъ этотъ писатель, интересовавшійся только вѣчными вопросами. А между тѣмъ, матеріалъ для критики Т. давалъ и до появленія „Войны и Мира“ первостепенный. Въ „Современникѣ“ появилась „Метель“—настоящій художественный перлъ по способности заинтересовать читателя рассказомъ о томъ, какъ нѣкто ѣздилъ въ мятель съ одной почтовой станціи на другую. Содержанія, фабулы нѣтъ вовсе, но съ удивительною яркостью изображены всѣ мелочи дѣйствительности и воспроизведено настроеніе дѣйствующихъ лицъ. „Два Гусара“ даютъ чрезвычайно колоритную картинку былого и написаны съ тою свободою отношенія къ сюжету, которая присуща только большимъ талантамъ. Легко было впасть въ идеализацію прежняго гусарства, при томъ обаяніи, которое свойственно старшему Ильину,—но Т. снабдилъ лихого гусара именно тѣмъ количествомъ тѣневыхъ сторонъ, которыя бывають въ дѣйствительности и у обаятельныхъ людей—и

эпическій оттѣнокъ стертъ, осталась реальная правда. Эта же свобода отношенія составляетъ главное достоинство разсказа „Утро Помѣщика“. Чтобы оцѣнить его вполне, надо вспомнить, что онъ напечатанъ въ концѣ 1856 г. („Отеч. Записки“, № 12). Мужики въ то время появлялись въ литературѣ только въ видѣ сентиментальныхъ „пейзанъ“ Григоровича и славянофиловъ и крестьянскихъ фигуръ Тургенева, стоящихъ несравненно выше въ чисто-художественномъ отношеніи, но несомнѣнно приподнятыхъ. Въ мужикахъ „Утра Помѣщика“ нѣтъ ни тѣни идеализаціи, также какъ нѣтъ — и въ этомъ именно и сказалась творческая свобода Т. — и чего-бы то ни было похожего на озлобленіе противъ мужиковъ за то, что они съ такою малою признательностью отнеслись къ добрымъ намѣреніямъ своего помѣщика. Вся задача автобіографической исповѣди и состояла въ томъ, чтобы показать безпочвенность Нехлюдовской попытки. Трагическій характеръ барская затѣя принимаетъ въ относящемся къ тому-же періоду разсказѣ „Поликушка“; здѣсь погибаетъ человекъ изъ-за того, что желающей быть доброю и справедливою барынѣ вздумалось увѣровать въ искренность раскаянія, и она не то чтобы совсѣмъ погибшему, но не безъ основанія пользующемуся дурной репутаціей дворовому Поликушкѣ поручаетъ доставку крупной суммы. Поликушка теряетъ деньги, и съ отчаянія, что ему не повѣрятъ, будто онъ въ самомъ дѣлѣ потерялъ ихъ, а не укралъ, вѣшается. Къ числу повѣстей и очерковъ, написанныхъ Т. въ концѣ 50-хъ гг., относятся еще упомянутый выше „Люцернъ“ и превосходныя параллели: „Три Смерти“, гдѣ изнѣженности барства и цѣпкой его привязанности къ жизни противопоставлены простота и спокойствіе, съ которою умираютъ крестьяне. Параллели заканчиваются смертью дерева, описанною съ тѣмъ пантеистическимъ проникновеніемъ въ сущность мірового процесса, которое и здѣсь и позже такъ великолѣпно удается Т. Это мнѣніе Т. обобщать жизнь человека, животныхъ и „неодушевленной природы“ въ одно понятіе о жизни вообще получило свое высшее художественное выраженіе въ „Исторіи

Лошади“ („Холстомѣръ“), напечатанной только въ 70-хъ годахъ, но написанной въ 1860 г. Особенно потрясающее впечатлѣніе производитъ заключительная сцена: исполненная нѣжности и заботы о своихъ волчатахъ волчица рветъ куски мяса отъ брошеннаго живодерами тѣла нѣкогда знаменитаго, а потомъ зарѣзаннаго за старостью и негодностью скакуна Холстомѣра, пережевываетъ эти куски, затѣмъ выхаркиваетъ ихъ и, такимъ образомъ, кормить волчатъ. Здѣсь уже подготовленъ радостный пафосъ Платона Каратаева (изъ „Войны и Мира“), который такъ глубоко убѣжденъ, что жизнь есть круговоротъ, что смерть и несчастія одного смѣняются полнотою жизни и радостью для другого, и что въ этомъ-то и состоитъ міровой порядокъ, отъ вѣка неизмѣнный. Слабѣ другихъ произведеній конца 50-хъ гг. первый романъ Т.: „Семейное Счастье“. Исходя изъ волновавшаго его личнаго мотива, Т. разрѣшаетъ здѣсь художественную задачу чисто-апріорнымъ путемъ, и рисуетъ не то, что было, а то, что *можетъ быть*. Онъ началъ испытывать въ то время сильное чувство къ Софьѣ Андреевнѣ Берсъ, дочери московскаго доктора изъ остзейскихъ нѣмцевъ. Ему пошелъ уже четвертый десятокъ, С. А. было всего 17 лѣтъ. И вотъ, ему казалось, что разница эта очень велика, что увѣнчайся даже его любовь взаимностью, бракъ былъ-бы несчастливъ, и рано или поздно молодая женщина полюбила бы другого, тоже молодого и не „отжившаго“ челоуѣка. Такъ оно и случается въ иронически-озаглавленномъ „Семейномъ Счастьѣ“. Въ дѣйствительности романъ Т. разыгрался совершенно иначе. Три года вынеся въ сердцѣ своемъ страсть къ С. А., Толстой осенью 1862 г. женился на ней, и на долю его выпала самая большая полнота семейнаго счастья, какая только бываетъ на землѣ. Въ лицѣ своей жены онъ нашелъ не только вѣрнѣйшаго и преданнѣйшаго друга, но и незамѣнимую помощницу во всѣхъ дѣлахъ, практическихъ и литературныхъ. По семи разъ она переписывала безъ конца имъ передѣльваемые, дополняемые и исправляемые произведенія, при чемъ своего рода стенограммы, т. е. не окончательно договоренныя

мысли, недописанные слова и обороты подъ ея опытною въ дешифрованиі этого рода рукою часто получали ясное и определенное выраженіе. Для Т. наступаетъ самый свѣтлый періодъ его жизни—упоенія личнымъ счастьемъ, очень значительнымъ, благодаря практичности С. А., матеріальнаго благосостоянія, величайшаго, легко дающагося напряженія литературнаго творчества и въ связи съ нимъ небывалой славы всероссійской, а затѣмъ и всемірной. Въ теченіе первыхъ 10—12 лѣтъ послѣ женитьбы онъ создаетъ „Войну и Миръ“ и „Анну Каренину“. На рубежѣ этой второй эпохи литературной жизни Т. стоятъ задуманные еще въ 1852 и законченные въ 1861—62 гг. „Казаки“, первое изъ произведеній, въ которыхъ великій талантъ Т. дошелъ до размѣровъ генія. Впервые во всемірной литературѣ съ такою яркостью и определенностью была показана разница между изломанностью культурнаго челоѣка, отсутствіемъ въ немъ сильныхъ ясныхъ настроеній—и непосредственностью людей близкихъ къ природѣ. Что мы знали до Т. о такъ называемыхъ „дѣтяхъ природы“? Въ лучшемъ случаѣ это были созданные по рецепту Руссо величавые дикари Купера, романтическія черкешенки Пушкина; почти столь же романтически разукрашенные Тамара и Бела Лермонтова. Т. показалъ, что вовсе не въ томъ особенность людей близкихъ къ природѣ, что они хороши или дурны. Развѣ можно назвать хорошими лиховаго конокрада Лукашку, своего рода *demi-vierge* Марьянку, пропойцу Ерошку? Но нельзя ихъ назвать и дурными, потому что у нихъ нѣтъ сознанія зла; Ерошка прямо убѣжденъ, что „ни въ чемъ грѣха нѣтъ“. Казаки Т.—просто живые люди, у которыхъ ни одно душевное движеніе не затуманено рефлексією. „Казаки“ не были своевременно оцѣнены. Слишкомъ тогда всѣ гордились „прогрессомъ“ и успѣхомъ цивилизаціи, чтобы заинтересоваться тѣмъ, какъ представитель культуры спасовалъ предъ силою непосредственныхъ душевныхъ движеній какихъ-то полудикарей. Зато небывалый успѣхъ выпалъ на долю „Войны и Мира“. Отрывокъ изъ романа, подъ названіемъ „1805 г.“ появился въ „Русскомъ

Вѣстникъ“ 1865 г.; въ 1868 г. вышли три его части, за которыми вскорѣ послѣдовали остальные двѣ. Признанная критикою всего міра величайшимъ эпическимъ произведеніемъ новой европейской литературы „Война и Миръ“ поражаетъ уже съ чисто-технической точки зрѣнія размѣрами своего беллетристическаго полотна. Только въ живописи можно найти нѣкоторую параллель въ огромныхъ картинахъ Паоло Веронезе въ венеціанскомъ дворцѣ дожей, гдѣ тоже сотни лицъ выписаны съ удивительною отчетливостью и индивидуальнымъ выраженіемъ. Въ романѣ Т. представлены всѣ классы общества, отъ императоровъ и королей до послѣдняго солдата, всѣ возрасты, всѣ темпераменты и на пространствѣ цѣлаго царствованія Александра I. Что еще болѣе возвышаетъ его достоинство какъ эпоса—это данная имъ психологія русскаго народа. Съ поражающимъ проникновеніемъ изобразилъ Т. настроенія толпы, какъ высокія, такъ и самыя низменныя и звѣрскія (напр., въ знаменитой сценѣ убійства Верещагина). Вездѣ Т. старается схватить стихійное, безсознательное начало человѣческой жизни. Вся философія романа сводится къ тому, что успѣхъ и неуспѣхъ въ исторической жизни зависитъ не отъ воли и талантовъ отдѣльныхъ людей, а отъ того, насколько они отражаютъ въ своей дѣятельности стихійную подкладку историческихъ событій. Отсюда его любовное отношеніе къ Кутузову, сильному не стратегическими знаніями и не геройствомъ, а тѣмъ, что онъ понималъ тотъ чисто-русскій, не эффектный и не яркій, но единственно вѣрный путь, которымъ можно было справиться съ Наполеономъ. Отсюда же и нелюбовь Т. къ Наполеону, такъ высоко цѣнившему свои личные таланты; отсюда, наконецъ, возведеніе на степень величайшаго мудреца скромнѣйшаго солдатака Платона Каратаева за то, что онъ сознаетъ себя исключительно частью цѣлаго, безъ малѣйшихъ притязаній на индивидуальное значеніе. Философская или, вѣрнѣе, исторіософическая мысль Т. большею частью проникаетъ его великій романъ—и этимъ-то онъ и великъ—не въ видѣ разсужденій, а въ геніально схваченныхъ подробностяхъ и цѣльныхъ картинахъ, истинный смыслъ ко-

торыхъ нетрудно понять всякому вдумчивому читателю. Въ первомъ изданіи „Войны и Мира“ былъ длинный рядъ чисто-теоретическихъ страницъ, мѣшавшихъ цѣльности художественнаго впечатлѣнія; въ позднѣйшихъ изданіяхъ эти разсужденія были выдѣлены и составили особую часть. Тѣмъ не менѣе въ „Войнѣ и Мирѣ“ Толстой-мыслитель отразился далеко не весь и не самыми характерными своими сторонами. Нѣтъ здѣсь того, что проходитъ красною нитью черезъ всѣ произведенія Т., какъ писанныя до „Войны и Мира“, такъ и позднѣйшія—нѣтъ глубоко пессимистическаго направленія. И въ „Войнѣ и Мирѣ“ есть ужасы и смерть, но здѣсь они какіе-то, если можно такъ выразиться, нормальные. Смерть, напр., князя Андрея Болконскаго, принадлежитъ къ самымъ потрясающимъ страницамъ всемірной литературы, но въ ней нѣтъ ничего разочаровывающаго и принижающаго; это не то, что смерть гусара въ „Холстомѣрѣ“ или смерть Ивана Ильича. Послѣ „Войны и Мира“ читателю хочется жить, потому что даже обычное, сѣренькое существованіе озарено тѣмъ яркимъ, радостнымъ свѣтомъ, который озарялъ личное существованіе автора въ эпоху созданія великаго романа. Въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Т. превращеніе изящной, граціозно кокетливой, обаятельной Наташи въ расплывшуюся, неряшливо одѣтую, всецѣло ушедшую въ заботы о домѣ и дѣтяхъ помѣщицу производило бы грустное впечатлѣніе; но въ эпоху своего наслажденія семейнымъ счастьемъ Т. все это возвелъ въ перлъ созданія. Безконечно радостнаго упоенія блаженствомъ бытія уже нѣтъ въ „Аняѣ Карениной“, относящейся къ 1873—76 гг. Есть еще много отраднаго переживанія въ почти авто-біографическомъ романѣ Левина и Китти, но уже столько горечи въ изображеніи семейной жизни Долли, въ несчастномъ завершеніи любви Анны Карениной и Вронскаго, столько тревоги въ душевной жизни Левина, что въ общемъ этотъ романъ является уже переходомъ къ третьему періоду литературной дѣятельности Т. „Анну Каренину“ постигла весьма странная участь: всѣ отдавали полную дань удивленія и восхищенія техническому мастерству,

съ которымъ она написана, но никто не понялъ сокровеннаго смысла романа. Отчасти потому, что романъ печатался въ реакціонномъ журналѣ, мелкіе интересы, выведенные въ первыхъ главахъ, были поняты многими какъ авторскіе идеалы—и въ эту ошибку впалъ даже такой, близко знавшій Т. человекъ и великій почитатель его, какъ Тургеневъ. На тревогу Левина смотрѣли просто какъ на блажь. Въ дѣйствительности душевное безпокойство, омрачавшее счастье Левина, было началомъ того великаго кризиса въ духовной жизни Т., который назрѣвалъ въ немъ съ самаго ранняго дѣтства. принялъ вполне опредѣленные очертанія въ психологіи Нехлюдова и Оленина, и только на время былъ усыпленъ полосою безоблачнаго семейнаго и всякаго иного счастья. „Если бы“, говоритъ онъ въ своей „Исповѣди“ объ этомъ времени, „пришла волшебница и предложила мнѣ исполнить мои желанія, я бы не зналъ, что сказать“. Ужасъ заключался въ томъ, что, будучи въ цвѣтѣ силъ и здоровья, онъ утратилъ всякую охоту наслаждаться достигнутымъ благополучіемъ; ему стало „нечѣмъ жить“, потому что онъ не могъ себѣ уяснить цѣль и смыслъ жизни. Въ сферѣ матеріальныхъ интересовъ онъ сталъ говорить себѣ: „ну, хорошо, у тебя будетъ 6000 десятинъ въ Самарской губ.—300 головъ лошадей, а потомъ?“; въ сферѣ литературной: „ну, хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—ну и что-жъ!“ Начиная думать о воспитаніи дѣтей, онъ спрашивалъ себя: „зачѣмъ“; разсуждая „о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія“, онъ „вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло?“ Въ общемъ онъ „почувствовалъ, что то, на чемъ онъ стоялъ, подломилось, что того, чѣмъ онъ жилъ, уже нѣтъ“. Естественнымъ результатомъ была мысль о самоубійствѣ. „Я, счастливый человекъ, пряталъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься на перекладняхъ между шкапами въ своей комнатѣ, гдѣ я каждый день бывалъ одинъ, раздѣваясь, и пересталъ ходить съ ружьемъ на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни. Я самъ не

зналъ, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нея и, между тѣмъ, чего-то еще надѣялся от нея". Чтобы найти отвѣтъ на измучившіе его вопросы и сомнѣнія, Т. прежде всего лихорадочно бросился въ область богословія. Онъ сталъ вести бесѣды со священниками и монахами, ходилъ къ старцамъ въ Оптину пустынь, читалъ богословскіе трактаты, изучилъ древне-греческій и древне-еврейскій языки, чтобы въ подлинникъ познать первоисточники христіанскаго ученія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ присматривался къ раскольникамъ, сблизился съ вдумчивымъ крестьяниномъ-сектантомъ Сятаевымъ, бесѣдовалъ съ молоканами, штундистами. Съ тою же лихорадочностью искалъ онъ смысла жизни въ изученіи философіи и въ знакомствѣ съ результатами точныхъ наукъ. Онъ дѣлалъ рядъ попытокъ все большаго и большаго опрощенія, стремясь жить жизнью близкой къ природѣ и земледѣльческому быту. Постепенно отказывается онъ отъ прихотей и удобствъ богатой жизни, много занимается физическимъ трудомъ, одѣвается въ простѣйшую одежду, становится вегетеріанцемъ, отдаетъ семьѣ все свое крупное состояніе, отказывается отъ правъ литературной собственности. На этой почвѣ безпримѣсно чистаго порыва и стремленія къ нравственному усовершенствованію создается третій періодъ литературной дѣятельности Т., длящійся уже около 20 лѣтъ. Еще не наступила пора дать сколько-нибудь объективную оцѣнку послѣдняго періода литературной дѣятельности Т., отличительною чертою котораго является отрицаніе всѣхъ установившихся формъ государственной, общественной и религіозной жизни. Это еще жгучая злоба дня, относительно которой всякій современникъ невольно выступаетъ либо защитникомъ, либо обвинителемъ; послѣдняя роль гораздо легче, потому что значительная часть взглядовъ Т. не могла получить открытаго выраженія въ Россіи, и въ полномъ видѣ изложена только въ заграничныхъ изданіяхъ его религіозно-соціальныхъ трактатовъ. Сколько-нибудь единодушнаго отношенія не установилось даже по отношенію къ беллетристическимъ произведеніямъ Т., написаннымъ за послѣднія 20 лѣтъ.

Такъ, въ длинномъ рядѣ небольшихъ повѣстей и легендъ, предназначенныхъ преимущественно для народнаго чтенія („Чѣмъ люди живы“ и др.), Т., по мнѣнію своихъ безусловныхъ поклонниковъ, достигъ вершины художественной силы—того стихійнаго мастерства, которое дается только народнымъ сказаніямъ, потому что въ нихъ воплощается творчество цѣлаго народа. Наоборотъ, по мнѣнію людей, негодующихъ на Т. за то, что онъ изъ художника превратился въ проповѣдника, эти написанныя съ опредѣленною цѣлью художественныя поученія грубо-тенденціозны. Высокая и страшная правда „Смерти Ивана Ильича“, по мнѣнію поклонниковъ, ставящая это произведеніе на ряду съ главными произведеніями генія Т., по мнѣнію другихъ преднамѣренно жестка, преднамѣренно-рѣзко подчеркиваетъ бездушіе высшихъ слоевъ общества, чтобы показать нравственное превосходство простого „кухоннаго мужика“ Герасима. Взрывъ самыхъ противоположныхъ чувствъ, вызванный анализомъ супружескихъ отношеній и косвеннымъ требованіемъ воздержанія отъ брачной жизни въ „Крейцеровой Сонатѣ“ заставилъ забыть объ удивительной яркости и страстности, съ которою написана эта повѣсть. Народная драма „Власть Тьмы“, по мнѣнію поклонниковъ Т., есть великое проявленіе его художественной силы: въ тѣсныя рамки этнографическаго воспроизведенія русскаго крестьянскаго быта Т. сумѣлъ вмѣстить столько общечеловѣческихъ чертъ, что драма съ колоссальнымъ успѣхомъ обошла всѣ сцены міра. Но другимъ достаточно одного Акима, съ его безспорно односторонними и тенденціозными осужденіями городской жизни, чтобы и все произведеніе объявить безмѣрно тенденціознымъ. Наконецъ, по отношенію къ послѣднему крупному произведенію Т.—роману „Воскресеніе“, поклонники не находятъ достаточно словъ, чтобы восхищаться совершенно юношескою свѣжестью чувства и страстности, проявленною 70-лѣтнимъ авторомъ, безпощадностью въ изображеніи судебного и великосвѣтскаго быта, полною оригинальностью перваго въ русской литературѣ воспроизведенія міра политическихъ преступниковъ. Противники Т.

подчеркиваютъ блѣдность главнаго героя — Нехлюдова, чрезмѣрное озлобленіе противъ высшихъ классовъ, приподнятость характера бывшей проститутки. Въ общемъ противники послѣдняго фазиса литературно-проповѣднической дѣятельности Т. находятъ, что художественная сила его безусловно пострадала отъ преобладанія теоретическихъ интересовъ, и что творчество теперь для того только и нужно Т., чтобы въ общедоступной формѣ вести пропаганду его общественно-религіозныхъ взглядовъ. Въ новѣйшемъ эстетическомъ его трактатѣ („Объ Искусствѣ“) можно найти достаточно матеріала, чтобы объявить Т. врагомъ искусства: помимо того, что Т. здѣсь частью совершенно отрицаетъ, частью значительно умаляетъ художественное значеніе Данта, Рафаэля, Гете, Шекспира (на представленіи „Гамлета“ онъ испытывалъ „особенное страданіе“ за это „фальшивое подобіе произведеній искусства“), Бетховена и др., онъ прямо приходитъ къ тому выводу, что „чѣмъ больше мы отдаемся красотѣ, тѣмъ больше мы отдаляемся отъ добра“. Съ другой стороны, можно выразить самому автору, что именно въ его-то произведеніяхъ послѣднихъ 20 лѣтъ „добро“ и „красота“ слились въ одно гармоничное цѣлое.— Послѣднимъ по времени фактомъ біографіи Т. является опредѣленіе св. синода отъ 20—22 февраля 1901 г.

С. А. Венгеровъ.

КРИТИКА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1854 г.

„Дѣтство и Отрочество“.

*) Повѣсть Л. Н. Т. „Отрочество“ мы читали, перечитали и готовы опять читать. Мы испытывали тѣ же чувства удовольствія безграничнаго, съ которыми познакомились два года назадъ, читая „Дѣтство“, повѣсть того же автора. Не знаемъ, что больше хвалить въ этихъ двухъ повѣстяхъ: талантъ ли автора неоспоримый, мастерство ли разсказа, или ту умную наблюдательность, которая такъ рѣдка. Сверхъ того, г. Л. Н. Т. во многихъ мѣстахъ своихъ повѣстей—истинный поэтъ. Всѣ эти достоинства поставили г. Л. Н. Т. сразу, какъ семь лѣтъ назадъ г. Гончарова, съ которымъ у него очень много общаго, въ число немногихъ лучшихъ нашихъ писателей послѣдняго времени.

Насъ поразило въ г. Л. Н. Т. то умѣніе писать, которое дается только долгими и трудными годами опытности. Ни одного слова лишняго, ни одной черты ненужной; ни одной фразы безъ картинки или безъ цѣли: это доказываетъ, что Л. Н. Т. трудится и долго трудится надъ своими произведеніями и не бросаетъ ихъ въ печать недоконченными. Обѣ повѣсти, по смыслу уже самаго заглавія „Дѣтство“ и „Отрочество“, обнимаютъ предметы очень широкіе. Дѣтство и отрочество могутъ быть или такіа, какъ они описаны у гр. Л. Н. Т., могутъ существовать и при совершенно другихъ условіяхъ. Всѣ недавно читали дѣтство и отрочество Копперфильда, написанное авторомъ, знаменитымъ своими описаніями дѣтскаго возраста; читали

*) „Отечественныя Записки“ 1854 г., № 11 („Журналистика“).

у того же Диккенса исторію множества другихъ дѣтей, развившихся подъ совершенно другими условіями, какъ, напримѣръ, несчастнаго Джо, въ послѣднемъ романѣ: „Холодный Домъ“. Слѣдовательно, это рама очень широкая, и въ нее можно вставлять какія угодно картины. Г. Т. написалъ на эту тему нашу русскую картину и сумѣлъ въ ней быть такимъ же глубокимъ наблюдателемъ общей человѣческой натуры, какъ и Диккенсъ—вотъ его главное достоинство. Англичанинъ пойметъ ее такъ же хорошо, какъ и русскій, хотя это и совершенно русская картина. Отъ этого же, въ исторіи дитяти, которую описываетъ г. Т., хотя и не всѣ найдутъ общественныя условія своего развитія, но въ то же время ее всѣ поймутъ и будутъ сочувствовать этому дитяти, потому что будутъ видѣть въ немъ себя, только подъ другими формами. Если жизнь деревенская, путешествіе на долгихъ въ Москву и пребываніе въ Москвѣ знакомятъ васъ съ эссенціею чисто русскаго общества, то въ первомъ пробужденіи ума, въ первыхъ наклонностяхъ дитяти и въ дальнѣйшемъ его развитіи мы видимъ исторію не одной русской, но и вообще человѣческой жизни.

Дѣтство, какъ обширная цѣпь разнородныхъ поэтическихъ и безотчетныхъ нашихъ представленій объ окружающемъ, дало автору возможность взглянуть на всю деревенскую жизнь въ такихъ же поэтическихъ чертахъ. Онъ выбиралъ въ этой жизни все, что поражаетъ дѣтское воображеніе и умъ, а талантъ автора былъ такъ силенъ, что представилъ эту жизнь именно такою, какъ ее видитъ ребенокъ. Все окружающее его входитъ въ его повѣсть настолько, насколько оно поражаетъ воображеніе дитяти, и потому всѣ главы повѣсти, повидимому, совершенно разрозненныя, соединяются въ одно: всѣ онѣ показываютъ взглядъ ребенка на міръ. Но большой талантъ автора виденъ еще вотъ въ чемъ. Казалось бы, при такой манерѣ изображать дѣйствительную жизнь подъ вліяніемъ дѣтскихъ впечатлѣній, трудно дать мѣсто взгляду не дѣтскому и вполне обрисовать характеры: подивитесь же, когда по прочтеніи этихъ разсказовъ, ваше воображеніе живо нарисуетъ вамъ и мать, и отца, и

няню, и гувернера, и все семейство, и нарисуетъ красками поэтическими.

Въ отрочествѣ безотчетность дѣтскаго представленія исчезаетъ; умъ начинаетъ какъ-будто что-то понимать, и какъ справедливо говоритъ авторъ, начинаетъ понимать, что, кромѣ родныхъ и семейства, существуетъ много другихъ людей, которые живутъ... Но „какъ живутъ, чему ихъ учать и кто ихъ учить, во что они играютъ и наказываютъ ли ихъ?“... Первый толчокъ, который получилъ умъ ребенка, во время дороги изъ деревни въ Москву, начинаетъ съ лѣтами развиваться быстрѣе, и характеръ ребенка завязывается. Сцена на балѣ въ Москвѣ, за которую „отрока“ посадили въ чуланъ, написана съ такимъ же великимъ знаніемъ, какъ и сцены дѣтства. Что-то борется, ломается въ ребенкѣ; неопредѣленные мысли, неясныя чувства, безотчетныя желанія, всѣ выражаются въ этомъ переходномъ возрастѣ—и они прекрасно изображены и поняты г. Т. Слабѣе и не вполне изображены тѣ вопросы, которые занимаютъ насъ въ отрочествѣ,—занимаютъ и въ то же время пугаютъ пробуждающуюся мысль. Что именно могло занимать мысль пятнадцатилѣтняго Николая, совершенно справедливо указано авторомъ въ XVIII главѣ „Отрочества“, но указано, какъ общая программа. Не такъ онъ выразилъ дѣтство и его смутныя представленія: они слились у него съ жизнію и случаями семейной жизни; не такъ онъ выразилъ и первое броженіе не установившагося характера: оно все видно на сценѣ на балу, въ забавахъ съ товарищами, въ ненависти къ Jegon'у; но первое развитіе мысли осталось пока только программой... Впрочемъ, въ „Отрочествѣ“ оно только и начинается: дальнѣйшее развитіе должно быть въ юности, гдѣ мы, конечно, и увидимъ его. Что поражало впервые пугливую мысль въ отрочествѣ, становится яснѣе въ юности, потому что дѣлается опредѣленнѣе. Г. Т.—истинный поэтъ, и на кого не подѣйствуетъ описаніе грозы въ „Отрочествѣ“, тому не совѣтуемъ читать стиховъ ни г. Тютчева ни г. Фета: тотъ ровно ничего не пойметъ въ нихъ; на кого не подѣйствуютъ послѣднія главы „Дѣтства“,

гдѣ описана смерть матери, въ воображеніи и чувствѣ того ужъ ничѣмъ не пробьешь отверстія. Кто прочтетъ XV главу „Дѣтства“, и не задумается, у того въ жизни рѣшительно нѣтъ никакихъ воспоминаній.

Въ доказательство нашихъ словъ, позволимъ себѣ привести описаніе грозы во время дороги, какъ отдѣльный и полный эпизодъ. Въ немъ читатель увидитъ и ту наблюдательность, о которой мы говорили, и ту поэзію, съ которой мы знакомы по стихотвореніямъ гг. Фета и Тютчева; увидитъ и мастерство г. Т. не говорить фразъ, ничего незначащихъ, но каждымъ словомъ рисовать новыя картины; увидитъ также и отсутствіе всякой аффектаціи въ разсказѣ и простоту необъяснимую. Кто не читалъ самой повѣсти, тотъ все таки не пойметъ изъ нашихъ словъ всѣхъ достоинствъ разсказа г. Т....“ (Приводится цѣликомъ описаніе грозы, составляющее по послѣднимъ изданіямъ сочиненій Л. Н. Толстого 2-ю главу въ повѣсти „Отрочество“, такъ и озаглавленную „Гроза“).

„Кто, слыша въ нашей литературѣ и особенно критикѣ много толковъ о художественности, не понялъ, (а это очень — немудрено), что такое писатель-художникъ, тому посовѣтуемъ прочесть произведеніе г. Т., и онъ пойметъ художественность лучше всякихъ разсужденій. Г. Т. преимущественно и даже исключительно художникъ: всѣ эти достоинства, о которыхъ мы говорили выше, служатъ г-ну Т., какъ вспомогательныя средства сдѣлать свой разсказъ художественнымъ. Это его цѣль, дальше которой онъ и не идетъ. Но ею-то и стоитъ полюбоваться: какъ выставить столько лицъ, сколько ихъ въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“, выставить въ идеальномъ свѣтѣ, и ни одно изъ нихъ не утрировать! какъ спрятать до такой степени мысль за цѣлый рядъ главныхъ лицъ, что сперва кажется, будто все произведеніе написано безъ всякой мысли! какъ умѣть изъ такихъ мелкихъ подробностей, разъединенныхъ между собою, составить цѣлую картину, полную жизни и тѣсно связанную въ частяхъ! Этого умѣнья, послѣ „Сна Обломова“ г. Гончарова, мы не встрѣчали въ нашей литера-

турѣ, и по манерѣ, съ которою написаны „Сонъ Обломова“ и два произведенія г. Т., они имѣютъ много общаго между собою.

„Отечественныя Записки“.

1855 г.

*) Изъ всѣхъ формъ повѣствованія, рассказъ отъ собственного лица автора или отъ подставного лица, исправляющаго его должность, предпочитается большею частію въ первыя эпохи дѣятельности ихъ—въ эпохи свѣжихъ впечатлѣній и силъ. Несмотря на относительную бѣдность этой формы, она представляетъ ту выгоду, что поле для картины и канва для мысли, по милости ея, всегда заготовлены впередъ, и избавляютъ писателя отъ труда искать благонадежный поводъ къ рассказу. Съ нея началъ г. Тургеневъ и на ней еще стоитъ гр. Л. Н. Т., два повѣствователя весьма различные по качествамъ своимъ и по направленію, но сходные тѣмъ, что у обоихъ чувствуется присутствіе мысли въ рассказахъ, и оба могутъ подать случай къ соображеніямъ о роли мысли вообще въ изящной словесности. Рассказъ отъ собственного лица освобождаетъ автора отъ многихъ условій повѣствованія и значительно облегчаетъ ему путь. Съ первыхъ приемовъ писатель уже становится въ положеніе человѣка, не слишкомъ озабоченнаго достиженіемъ предположенной цѣли, что позволяетъ ему иногда рѣзвиться передъ своимъ читателемъ, на просторѣ, а иногда даже кончить вояжъ на полдорогѣ. При рассказѣ отъ собственного лица немаловажное удобство состоитъ еще и въ томъ, что писатель самъ себѣ назначаетъ границы и можетъ избавиться отъ необходимости сообщить предмету описанія настоящій его объемъ, истинныя его очертанія. Отъ cadaго предмета онъ свободно беретъ только ту часть, которая или удачно освѣщена или живописно выдалась впередъ. Задача писателя, разумѣется, на поло-

*) „Современникъ“ 1855 г., т. 49, № 1, отд. III. Статья П. Анненкова, подъ заглавіемъ: „О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности“. (Замѣтки по поводу послѣднихъ произведеній гг. Тургенева и Л. Н. Т.).

вину облегчена всѣми этими привилегіями, но и это еще не все. Писатель, рассказывающій отъ себя, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и адвокатъ своего дѣла. Онъ искусно оправдывается передъ читателемъ въ своихъ недоговорахъ, и если успѣлъ возбудить его симпатію, легко получаетъ согласіе даже на сдѣлки съ лицами и характерами, которые въ строгомъ, художественномъ повѣствованіи никогда бы не могли явиться. Онъ вполне пользуется правомъ человѣка, состоящаго на лицо: съ нимъ всегда поступаютъ снисходительнѣе, чѣмъ съ отсутствующимъ. Однако-жъ, по закону равновѣсія, существующему вездѣ, даже въ отношеніяхъ между авторомъ и чтеніемъ его, выгоды, перечисленные нами, не бывають подъ силу. Если, съ одной стороны, ослабѣвають требованія и изысканія критики, то они дѣлаются строже и придирчивѣе съ другой. И во-первыхъ, рассказчикъ обязанъ выразить личное мнѣніе свое о каждомъ предметѣ, встрѣчающемся на пути его, чего никогда не требуется отъ правильного повѣствованія, гдѣ только важно общее впечатлѣніе; затѣмъ, примѣры и наблюденія его должны отличаться самостоятельностью, зоркостью и умомъ въ степени, какой другого рода произведенія не обязаны достигать; наконецъ, по участію живой личности автора во всѣхъ, такъ сказать, обстоятельствахъ повѣствованія, она сама должна обладать качествами, способными остановить вниманіе читателя.... Только на этихъ условіяхъ предоставляется право рассказчику свободно отдаться теченію и даже капризу своей мысли и своего вдохновенія. Случалось и, вѣроятно, еще много разъ будетъ случаться, что писатели, прельщенные выгодами формы личнаго повѣствованія, принимались за нее, не взвѣсивъ предварительно важности условій, съ ней сопряженныхъ.

Послѣдствія извѣстны. Кто не знаетъ, что рассказы наиболѣе вялые, ничтожные и пошло-притязательные, какъ въ нашей, такъ и въ другихъ литературахъ, обыкновенно начинаются съ „Я“... (Далѣе Анненковъ, съ точки зрѣнія сущности сейчасъ только высказаннаго имъ, разбираетъ на 19 страницахъ произведенія Тургенева).

„Отъ г. Тургенева переходимъ къ писателю, который особенно отличается твердой отдѣлкой своихъ произведеній, и который всего болѣе можетъ подкрѣпить своимъ примѣромъ замѣчанія наши о роли, какую призвана играть „мысль“ въ искусствѣ.

Авторъ „Исторіи четырехъ эпохъ“ далъ публикѣ еще только описаніе двухъ первыхъ эпохъ своихъ, именно: „Дѣтство“ и „Отрочество“, но уже способъ созданія его достаточно уяснился, и можетъ быть оцѣненъ критикой. Онъ, разумѣется, говоритъ отъ себя и про себя, но здѣсь обыкновенные недостатки формы личнаго разсказа могли быть отстранены съ успѣхомъ по существу дѣла. Авторъ передаетъ намъ дѣйствительное развитіе собственнаго нравственнаго существа съ той минутой, когда мысль, какъ синій огонекъ разгорающагося газоваго проводника, едва-едва теплится, не освѣщая еще вокругъ себя ничего, до тѣхъ поръ, пока съ развитіемъ организма, она все болѣе и болѣе крѣпнеть и начинаетъ ярко озарять предметы и лица. Само собой разумѣется, что строгость психическаго наблюденія, необходимаго при этомъ, уже должна была исключить произволь, развязность въ пріемахъ и игру съ предметомъ описанія. Разсказы гр. Л. Н. Т. имѣютъ строгое выраженіе, и отсюда тайна впечатлѣнія, производимаго ими на читателя. Съ необычайнымъ вниманіемъ слѣдитъ онъ за нараждающимися впечатлѣніями сперва ребенка, а потомъ отрока, и каждое слово его проникнуто уваженіемъ какъ къ задачѣ, принятой имъ на себя, такъ и къ возрасту, который столько же имѣетъ неразрѣшенныхъ вопросовъ, нравственныхъ паденій и переворотовъ, сколько и всякій другой возрастъ. Все это не могло остаться безъ послѣдствій. Полнота выраженій въ лицахъ и предметахъ, глубокія психическія разъясненія и, наконецъ, картина нравовъ извѣстнаго свѣтскаго и строго приличнаго круга, картина, написанная такой тонкой кистью, какой мы давно не видали у себя при описаніи высшаго общества, были плодомъ серьезнаго пониманія авторомъ своего предмета. Вмѣстѣ съ тѣмъ изображеніе первыхъ колебаній воли, сознаніе мыслей

у ребенка, благодаря тому же качеству, возвышаются у автора до исторіи всѣхъ дѣтей извѣстнаго мѣста и извѣстной эпохи, и какъ исторія, написанная поэтомъ, она уже заключаетъ, рядомъ съ поводами къ эстетическому наслажденію, и обильную пищу для всякаго мыслящаго человека.

Замѣчательная дѣятельность мысли была уже необходима, разумѣется, автору для представленія молодого существа, жизнь котораго есть только развитіе идей, въ чемъ, между прочимъ, дѣти сходятся со многими писателями—разница только въ значеніи и въ качествѣ идей. Но при участіи мысли въ созданіи—первый вопросъ, представляющійся обсужденію, всегда одинъ: какъ проявляется мысль у автора? Повѣствованіе гр. Л. Н. Т. имѣетъ многія существенныя качества изслѣдованія, не имѣя ни малѣйшихъ внѣшнихъ признаковъ его и оставаясь, по преимуществу, произведеніемъ изящной словесности. Искусство здѣсь находится въ дружномъ отношеніи къ мысли, постоянно присутствующей въ разсказѣ, и указать способъ, какимъ образомъ совершилось это примиреніе,—значить подтвердить живымъ примѣромъ основныя положенія нашей статьи. Прежде всего должно замѣтить, что авторъ всегда держится перваго жизненнаго условія всякаго художественнаго повѣствованія: онъ не пытается извлечь изъ предмета описанія то, что онъ дать не можетъ, и поэтому не отступаетъ ни на шагъ отъ простаго психическаго изслѣдованія его. Нѣтъ признаковъ противоэстетическаго смѣшенія цѣлей въ разсказахъ гр. Л. Н. Т.—ничего не приноситъ онъ извнѣ, заготовленнаго другими, такъ же какъ отстраняетъ отъ нихъ вліяніе какихъ-либо любимыхъ идей, почерпнутыхъ въ особенномъ представленіи общества и человека, болѣе или менѣе имѣющемъ похвальную цѣль. Онъ избѣгнулъ этихъ пятенъ современной литературы: оттого и содержаніе произведеній его имѣетъ здоровый видъ, убѣдительность и ясность почти физическихъ предметовъ. Онъ зорко смотритъ на себя и вокругъ себя, и мысль его въ обоихъ случаяхъ устремлена только на то, чтобъ показать сущность харак-

теровъ и происшествій за внѣшними подробностями, затемняющими ихъ значеніе для менѣе проницательныхъ глазъ. Когда достигаетъ онъ поясненія ихъ же природными свойствами, онъ останавливается, не заботясь о томъ, какой видъ начинаютъ они принимать послѣ того: работа его кончилась, и это мы называемъ художнической работой.

Затѣмъ любопытно посмотрѣть на самое приложеніе его психическаго анализа къ дѣлу. Едва вспоминаетъ онъ какое-либо дѣтское ощущеніе, какую-либо раннюю попытку ребяческой мысли, какъ въ то же время представляется ему давленіе этой мысли на самый характеръ молодого человѣка и цѣпь случаевъ, происшествій, вызванныхъ ею; другими словами, онъ облачаетъ ее въ форму искусства, даетъ ей плоть и настоящее бытіе въ области изящнаго. Въ какомъ вѣрномъ отношеніи находятся эти результаты съ первымъ поводомъ, родившимъ ихъ, читатель можетъ убѣдиться самъ въ разсказахъ гр. Л. Н. Т. Рѣдкіе писатели такъ логически послѣдовательны, такъ строго вѣрны своимъ идеямъ, и рѣдкіе такъ сильно убѣждены въ единствѣ мысли и поступка, какъ онъ. Все это показываетъ, во-первыхъ, истинное пониманіе сущности автобіографіи, а во вторыхъ, глубокое его познаніе самой природы того возраста, котораго онъ сдѣлался историкомъ. При этомъ живомъ художественномъ объясненіи дѣтства есть одна черта у автора, которая обнаруживаетъ его способность пониманія предметовъ чисто поэтически, именно онъ вѣруетъ въ жизненное дѣйствіе его организма и съ настоящимъ чувствомъ поэта уловляетъ ту минуту, когда природа сама по себѣ, безъ всякаго пособія со стороны, даетъ искру мысли, первый признакъ чувства и первую склонность.

Онъ слѣдитъ потомъ за ходомъ ихъ во всемъ ихъ извилистомъ полетѣ черезъ множество ощущеній и случаевъ, которые они окрашиваютъ своимъ цвѣтомъ. Какъ поступаетъ авторъ въ отношеніи самого себя, своей внутренней исторіи, такъ поступаетъ онъ и въ отношеніи внѣшней обстановки, гдѣ судьба опредѣлила ему находиться.

Онъ не обсуждаетъ тотъ кругъ, куда былъ поставленъ,

и который, не очень глубоко и серьезно понимая вещи, бережетъ только внѣшній видъ достоинства и благородства: онъ его описываетъ. Кругъ этотъ служить рамой для автора, гдѣ вращается повѣствованіе о его странствіяхъ дѣтской мысли, безпрестанно возникающей по закону собственной производительности. Отношенія между кругомъ и юнымъ наблюденіемъ, старающимся разгадать его и испытывающимъ на себѣ его вліяніе, составляетъ хронику, исполненную занимательности, перипетій и катастрофъ, которыя, къ удивленію читателя, оковываютъ его вниманіе, какъ перипетіи и катастрофы драматическихъ героевъ, и такимъ образомъ, изъ представленія параллельнаго хода жизненныхъ явленій и психическихъ движеній образуется у него рассказъ, исполненный мысли и вполне художественный. Само собой разумѣется, что если таково общее впечатлѣніе его рассказовъ, то и всѣ подробности ихъ отличаются тѣмъ же характеромъ.

У повѣствователя нашего уже почти нѣтъ малозначительныхъ внѣшнихъ признаковъ для лица, ничтожныхъ подробностей для событія. Наоборотъ, каждая черта въ тѣхъ и другихъ доведена до значенія, иногда до разумности, смѣемъ выразиться, поражающей даже и такіе глаза, которые отъ привычки къ темнотѣ мало способны къ различенію предметовъ. Отсюда рождается замѣчательная выпуклость какъ лицъ, такъ и происшествій. Авторъ доводитъ читателя, неослабной провѣркой всего встрѣчающагося ему, до убѣжденія, что въ одномъ жестѣ, въ незначительной привычкѣ, въ необдуманномъ словѣ челоуѣка скрывается иногда душа его, и что они часто опредѣляютъ характеръ лица такъ же вѣрно и несомнѣнно, какъ самые яркіе, очевидные поступки его. Обѣ части рассказа наполнены подобными изображеніями роли второстепенныхъ и третьестепенныхъ признаковъ въ жизни челоуѣка, но особенно высказалось это присутствіемъ мысли, наполняющей содержаніемъ все, до чего она коснулась, въ главахъ второго рассказа: „Отрочество“. Въ одной изъ нихъ, напримѣръ, авторъ рисуетъ способъ держаться двухъ подругъ, Любоньки и Катеньки,

и, не говоря ни слова о разности ихъ характеровъ, открываетъ несравненную сущность обѣихъ дѣвушекъ — въ манерѣ ходить, носить голову, складывать руки, говорить съ людьми и смотрѣть на подходящаго, возвышая такимъ образомъ незначительные внѣшніе признаки до вѣрныхъ, глубокихъ психическихъ свидѣтельствъ.

Происшествія въ разсказѣ имѣютъ точно такое же значеніе: вездѣ его переводъ мысли на дѣло, на существенность. Каждая дробная часть душевной, нравственной жизни отражается у автора въ такомъ же добромъ, мелкомъ, но грандіозномъ и вѣрномъ искусствѣ. Истина обоеихъ, какъ перваго повода, такъ и результата, особенно подтверждается тѣмъ, что въ разсказѣ гр. Л. Н. Т. нѣтъ признака анахронизмовъ или хронологическаго смѣшенія происшествій. Впечатлѣнія и событія дѣтства простѣе, наивнѣе, граціознѣе впечатлѣній и событій отрочества, которыя становятся сложнѣе, запутаннѣе, разсудочнѣе, и потому драматичнѣе. Вотъ почему мысль и оболочка ея въ области искусства, т. е. характеры, образъ и событія слиты у автора, и представляютъ одно цѣлое, дѣйствующее сильно и благотѣльно на читателя.

Мы возстали противъ авторскаго вмѣшательства вообще въ разсказъ, но, конечно, подобное изложеніе двухъ первоначальныхъ эпохъ жизни не могло быть сдѣлано иначе возмужалой рукой, которая вездѣ и проглядываетъ. Вмѣшательство автора тутъ, однакоже, отходитъ въ общую систему, которая, какъ можно замѣтить, присутствовала при сочиненіи разсказовъ. Оно допущено, какъ поясненіе того, что смутно лежитъ въ представленіи ребенка, но что уже лежитъ въ немъ — несомнѣнно. Авторъ дѣлается только толмачомъ дѣтскихъ впечатлѣній. Такъ, буря на дорогѣ, во второмъ разсказѣ, столь превосходно описанная, конечно, не такъ полно и подробно могла отразиться въ воображеніи ребенка, но она отразилась въ немъ цѣликомъ, грудой, уже заключавшей всѣ подробности, уловленные и опредѣленные впоследствии. Возмужалый авторъ только ихъ развилъ, извлекъ изъ темнаго представленія для ясной,

поэтической картины и ею пояснилъ себѣ то, что въ первые годы только чувствовалъ. Таково и вездѣ его вѣщательство.

Оставляемъ нѣкоторыя критическія замѣчанія до полного выхода произведенія гр. Л. Н. Т., но скажемъ теперь же, что если послѣднія двѣ части его разсказа, которыхъ ожидаемъ съ нетерпѣніемъ, будутъ надѣлены такой же дѣльной мыслью и такимъ же изложеніемъ многоразличныхъ ея проявленій въ жизни, то мы можемъ теперь же поздравить себя съ замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Конечно, послѣдующая работа автора гораздо труднѣе, чѣмъ та, которую онъ уже представилъ публикѣ: дѣтство и отрочество имѣютъ въ самомъ себѣ много такого, что подкупаетъ и привлекаетъ читателя: эпохи юности и возмужалости уже требуютъ изображенія характера, который, по сущности своей, по своимъ стремленіямъ и даже по своимъ паденіямъ, достоинъ былъ бы усилій и изысканій мысли. Тутъ предстоитъ опасность встрѣтить разнорѣчивыя мнѣнія о чловѣкѣ, чего вполнѣ можетъ избѣгнуть эпоха дѣтства, имѣющая въ себѣ полное оправданіе. Не будемъ однакоже загадывать напередъ, а скорѣе полагаться на природную силу таланта въ авторѣ, которую онъ особенно показалъ въ сферѣ искренняго разъясненія душевныхъ оттѣнковъ. Судя даже потому, что теперь имѣемъ отъ него, мы уже съ полнымъ убѣжденіемъ причисляемъ гр. Л. Н. Т. къ лучшимъ нашимъ разсказчикамъ, и ставимъ его имя на ряду съ именами гг. Гончарова, Григоровича, Писемскаго и Тургенева, именами, которыя, конечно, останутся въ памяти читателей и на страницахъ исторіи русской словесности, и будутъ почтены добрымъ словомъ какъ тамъ, такъ и здѣсь.

П. Анненковъ.

* * *

По поводу предыдущей статьи П. Анненкова въ „Библиотекѣ для Чтенія“ между прочимъ говорится:

*) „Нельзя не замѣтить, что высказанная авторомъ мысль о первоначальной формѣ разсказа исторически вѣрна (по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ) только въ отношеніи къ гг. Тургеневу и Л. Н. Т., да и то—г. Тургеневъ не начиналъ своего литературнаго поприща (*прямо*) съ разсказовъ *отъ собственнаго лица*, поэтому-то, какъ нельзя болѣе уместна оговорка автора—*большею частію*: безъ нея одно изъ основныхъ положеній его статьи опровергается на всякомъ шагу поразительными примѣрами. Не говоря уже о множествѣ личныхъ разсказовъ иностранныхъ писателей, разсказовъ, признанныхъ вполне художественными, обратимся къ нашей изящной словесности и напомнимъ г. П. А—ву „Капитанскую Дочку“. Мы позволили себѣ упомянуть объ иностранныхъ писателяхъ потому, что авторъ, доказывая, послѣ своего вступленія, выгоды и невыгоды личнаго разсказа, спрашиваетъ: „Кто не знаетъ, что разсказы, наиболѣе вялые, ничтожные и пошло-притязательные, *какъ въ нашей, такъ и въ другихъ литературахъ, обыкновенно начинаются съ Я...*“ Но оставимъ примѣры въ сторонѣ, помѣстимъ ихъ даже въ разрядъ исключеній изъ общаго правила—и все-таки намъ трудно согласиться съ авторомъ, и признать непреложнымъ признакомъ развитія писателя—переходъ отъ личнаго разсказа къ простому повѣствованію. Мысль, воображеніе и творчество дѣйствительно подлежатъ извѣстнымъ, присущимъ имъ законамъ, между прочимъ, и закону формы; но самый этотъ законъ, по существу своему безконечно разнообразный, исключаетъ всякую систематическую послѣдовательность. Какъ бы то ни было, общее правило г. П. А—ва примѣнимо къ гг. Тургеневу и Л. Н. Т. Примѣненіе начинается съ г. Тургенева, и надо отдать полную справедливость г. П. А—ву: онъ изучилъ литературный характеръ даровитаго нашего писателя и вдумался въ него глубоко, отчетливо и безпристрастно. Признавъ отличительною чертою этого характера *стремленіе къ выразительности*, авторъ *обсуживаетъ*

*) „Библиотека для Чтенія“ 1855 г., т. 129, № 2, отд. VI („Литературная лѣтопись“).

преимущественно внѣшнюю сторону таланта г. Тургенева, объясняетъ существо свойственныхъ ему юмора и поэтического элемента, проявившихся въ первыхъ его произведеніяхъ — въ разсказахъ отъ собственного или подставного лица...“ (Далѣе приводятся критическіе выводы Анненкова относительно произведенія Тургенева).

„На этотъ разъ всѣ сужденія г. П. А—ва объ авторѣ „Исторіи четырехъ эпохъ“ такъ вѣрны и доказательны, что мы не можемъ сдѣлать ни одного возраженія. Отличительными чертами г. Л. Н. Т. признается: *строгость психическаго наблюденія, полнота выраженія въ лицахъ и предметахъ, замѣчательная дѣятельность мысли, отсутствіе противу-эстетическаго смѣшенія цѣлей*. Относительно проявленія мысли у автора, г. П. А—въ говоритъ: „Повѣствованіе г. Л. Н. Т. имѣетъ многія существенныя качества изслѣдованія, не имѣя ни малѣйшихъ внѣшнихъ признаковъ его, и оставаясь, по преимуществу, произведеніемъ изящной словесности“. Кромѣ того, по мнѣнію г. П. А—ва, „рѣдкіе писатели такъ логически послѣдовательны, такъ строго вѣрны своимъ идеямъ, и рѣдкіе такъ сильно убѣждены въ единствѣ мысли и поступка, какъ г. Л. Н. Т.“.

Понятно, что рѣдкія литературныя достоинства г. Л. Н. Т. даютъ г. П. А—ву полное право заключить свою статью причисленіемъ автора „Исторіи четырехъ эпохъ“ къ *лучшимъ нашимъ разсказчикамъ*.

Прочитавъ статью г. П. А—ва, мы съ радостью принялись за отдѣлъ изящной словесности „Современника“, гдѣ, какъ нарочно, помѣщены: „Записки Маркера“ г. Л. Н. Т. и „Мѣсяцъ въ деревнѣ“, комедія въ пяти дѣйствіяхъ, г. Тургенева. Оставалось провѣрить на дѣлѣ воззрѣніе г. П. А—ва на *послѣднія* произведенія обоихъ авторовъ. Въ „Запискахъ Маркера“ насъ остановило на минуту заглавіе:—и дѣйствительно, изъ самаго разсказа видно, что маркеръ едва-ли могъ вести записки. Впрочемъ, дѣло не въ заглавіи, можетъ быть, даже случайно. Дѣло въ томъ, что коротенькій разсказъ г. Л. Н. Т. вполне подтверждаетъ всѣ положенія г. П. А—ва, и, кажется, большей похвалы

ему не придумаешь. Мы не станемъ рассказывать содержания „Записокъ Маркера“, потому что нашъ рассказъ ни къ чему не поведетъ, а выписывать заключительныя строки „Записокъ“ не хотимъ, — потому что считаемъ такую выписку—посягательствомъ на лучшую страницу „Современника“ *).

„Библіотека для Чтѣнія“.

*
* *

**) Небольшой рассказъ г. Л. Н. Т. „Записки Маркера“, напечатанный въ № 1 „Современника“ (1855 г.) проникнуть жизнью и правдою. Тонкая наблюдательность, художническое умѣнье видны въ построеніи рассказа, въ томъ взглядѣ, съ какимъ маркеръ смотритъ на постепенное развращеніе и разореніе юноши, явившагося въ бильярдную комнату ресторана столь благороднымъ и прекраснымъ. Характеры Нехлюдова (погибающаго юноши) и его пріятелей, героевъ бильярдной, очерчены прекрасно. И какъ превосходно все это рассказано! Вотъ, напримѣръ, коротенькая сцена. Нехлюдовъ недавно еще познакомился съ княземъ, который сталъ его руководителемъ въ многоразличной опытности веселой жизни:

„Амбиціонный былъ—то-есть Нехлюдовъ-то. А ужъ что касается чего другого прочаго, такъ вовсе не смыслилъ. Помню разъ:

— „Кто у тебя здѣсь есть? говорить князь Нехлюдову-то.

— „Никого, говорить.

— „Какъ же, говорить, никого?

— „Зачѣмъ? говорить.

— „Какъ, зачѣмъ?

— „Я, говорить, до сихъ поръ такъ жилъ, такъ отчего же нельзя?

— „Какъ, такъ жилъ? Не можетъ быть?

*) Еще по поводу статьи Анненкова: „О изящной мысли въ произведеніяхъ словесности (замѣтки по поводу послѣднихъ произведеній гг. Тургенева и Л. Н. Т.)“, см. рецензію въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1855 г., т. 98, № 2, отд. IV, („Журналистика“, стр. 116—119).

**) „Отечественныя Записки“ 1855 г., т. 98, № 2 („Журналистика“).

— „И заливается, хохочетъ, и усатый баринъ тоже хохочетъ. Совсѣмъ на смѣхъ подняли.

— „Такъ никогда? говорить.

— „Никогда.

— „Помирають со смѣху. Я, извѣстно, сейчасъ понялъ, что они такъ надъ нимъ смѣются. Смотрю, что, молъ, будетъ изъ него.

— „Поѣдемъ, говоритъ князь, сейчасъ.

— „Нѣтъ, ни за что! говорить.

— „Ну, полно; это смѣшно, говоритъ.—Поѣдемъ.

Поѣхали. Приѣхали въ часу первомъ. Сѣли ужинать, и собралось ихъ много, что ни на есть, самые лучшіе господа: Атановъ, князь Разинъ, графъ Шустахъ, Мирцовъ. И всѣ Нехлюдова поздравляютъ, смѣются. Меня позвали; вижу веселы порядочно.

— „Поздравляй, говорятъ, барина.

— „Съ чѣмъ? говорю.

— „Какъ, бишь, онъ сказалъ? съ посвѣщеніемъ ли, съ просвѣщеніемъ ли? не помню ужъ хорошенько.

— „Имѣю честь, говорю, поздравить. А онъ, красный, силить; улыбается только. То-то смѣху-то было. Хорошо. Приходятъ потомъ въ бильярдную, веселы всѣ, а онъ подошелъ къ бильярду, облокотился, да и говоритъ:

— „Вамъ, говоритъ, смѣшно, а мнѣ грустно. Зачѣмъ, говоритъ, я это сдѣлалъ; и тебѣ, говоритъ, князь, и себѣ въ жизнь этого не прощу. Да какъ зальется, заплачетъ. Извѣстно: самъ не знаетъ, что говорить. Подошелъ къ нему князь, улыбается самъ.

— „Полно говорить пустяки! Поѣдемъ домой, Анатолій.

— „Никуда, говоритъ, не поѣду. Зачѣмъ я это сдѣлалъ!

„А самъ-то заливается. Нейдетъ отъ бильярда да и шабашъ. Что значить человѣкъ молодой, непривычный“.

Сколько правды, наблюдательности, таланта въ этой сценѣ! Если г. Л. Н. Т. будетъ продолжать такъ, какъ началъ, то русская литература пріобрѣтетъ въ немъ писателя съ дарованіемъ истинно-замѣчательнымъ. Да и теперь мы вправѣ желать не того, чтобъ онъ писалъ лучше, а

только того, чтобъ онъ писалъ больше. Онъ обязанъ пользоваться талантомъ, которымъ одаренъ.

„Отечественныя Записки“.

„Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ“.

*) Лучшая статья въ юньскомъ № „Современника“ принадлежитъ г. Л. Н. Т. и называется *Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ*. Геройскія дѣйствія нашихъ войскъ при оборонѣ Севастополя всякому извѣстны до мелочей, и отнынѣ принадлежать навсегда исторіи. Мы ихъ знаемъ изъ официальныхъ донесеній и изъ множества частныхъ описаній: поэтому г. Л. Н. Т. не коснулся ихъ. Онъ выбралъ для себя другую точку, съ которой взглянулъ на эту удивительную картину. Прежде всего онъ беретъ за руку читателя, который не бывалъ въ Севастополѣ и не имѣетъ понятія о жизни въ осажденномъ городѣ, и ведетъ читателя изъ улицы въ улицу, потомъ изъ траншеи въ траншею и приводитъ на страшный бастионъ № 4-й. Онъ заставляеть читателя испытывать, одно за другимъ, всѣ чувства — отъ страха до гордости, и въ то время, какъ эти чувства смѣняются въ читателѣ, онъ показываетъ ему безстрашныхъ защитниковъ нашихъ редутовъ, которые смѣются, курятъ, заряжаютъ пушки и наблюдаютъ за непріателемъ. Эта-то противоположность и дѣйствуетъ сильно на читателя. Нужно отдать справедливость г-ну Л. Н. Т., что во всемъ этомъ описаніи онъ выказалъ много такта и знанія дѣла. Онъ не сказалъ ни одной восторженной фразы и заставилъ васъ восторгаться; описаніе его не изобилуетъ восклицательными знаками и, однакожъ, вы удивляетесь на каждомъ шагу, удивляетесь всѣмъ, начиная отъ матроса и солдата и кончая командующими генералами.

„Недалекій свистъ ядра или бомбы, въ то самое время, какъ вы станете подниматься на гору, непріятно поразить васъ. Вы вдругъ поймете — и совсѣмъ иначе, чѣмъ понимали прежде — значеніе тѣхъ звуковъ выстрѣловъ, которые вы слушали въ городѣ; какое-нибудь тихо-отрадное воспоминаніе вдругъ блеснетъ въ вашемъ воображеніи, собствен-

*) „Отечественныя Записки“ 1855 г., т. 101, № 7 („Журналистика“).

Зелинский. Критика Толстого.

ная ваша личность начнетъ занимать васъ больше, чѣмъ наблюденія; у васъ станетъ меньше вниманія ко всему окружающему, и какое-то непріятное чувство нерѣшимости вдругъ овладѣваетъ вами. Несмотря на этотъ подленькій голосъ, при видѣ опасности, вдругъ заговорившій внутри васъ, вы — особенно взглянувъ на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь подъ гору по жидкой грязи, рысью, со смѣхомъ бѣжитъ мимо васъ — вы заставляете молчать этотъ голосъ, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверхъ на склизкую глинистую гору“.

„Наконецъ вы добрались до бастіона, откуда виденъ онъ, то-есть непріятель, видны амбразуры его укрѣпленій, и откуда раздаются выстрѣлы.“

„Послать комендора, прислугу къ пушкѣ“ — говорить хладнокровно офицеръ — и человекъ 14 матросовъ живо, весело, кто засовывая въ карманъ трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформѣ, подойдутъ къ пушкѣ и зарядятъ ее. Вглядитесь въ лица, въ осанки и въ движенія этихъ людей: въ каждой морщинѣ этого загорѣлаго, скулистаго лица, въ каждой мышцѣ, въ ширинѣ этихъ плечъ, въ толщинѣ этихъ ногъ, обутыхъ въ громадные сапоги, въ каждомъ движеніи, спокойномъ, твердомъ, неторопливомъ — видны эти главные черты, составляющія силу русскаго — простота и твердость...“

И изъ описанія Л. Н. Т. вы дѣйствительно выносите эти убѣжденія.

„Отечественныя Записки“.

„Рубна Лѣсу“.

*) Разсказъ, подписанный буквами Л. Н. Т., который читатель встрѣчаетъ съ такимъ удовольствіемъ, хотя и довольно рѣдко, подъ прекрасными очерками, называется *Рубна Лѣсу* и переноситъ насъ въ другой край Россіи (передъ этимъ рѣчь идетъ о Севастополѣ), гдѣ также нѣсколько лѣтъ уже кипитъ война, не менѣе широкая и

*) „Отечественныя Записки“ 1855 г., т. 102, № 10 („Журналистика“).

упорная, хотя не въ такихъ размѣрахъ и не столь кровопролитная. Артиллерійскій юнкеръ рассказываетъ небольшой эпизодъ изъ экспедиціи въ Большую Чечню. Въ зимнее раннее утро дивизіонъ батареи выступаетъ для прикрытія колонны, назначенной на рубку лѣса. Съ первыхъ же страницъ авторъ широкими, рельефными чертами рисуетъ солдатскіе типы, которые выходятъ у него даже лучше и полнѣе очерченныхъ въ предыдущемъ разсказѣ (*Ночь весною 1855 г. въ Севастополь*). Типы покорныхъ, начальствующихъ, суровыхъ, отчаянныхъ, хлопотливыхъ солдатъ обрисованы мастерски. Надобно было бы выписать цѣлыя страницы, чтобы показать свойства этихъ типовъ и ихъ различіе. Разговоры ихъ—верхъ естественности: важный фейерверкеръ Максимовъ, охотникъ говорить свысока и употреблять въ бесѣдѣ выраженія, имъ самимъ плохо понимаемыя, забавникъ и привилегированный острякъ Чикинъ, молодецъ Антоновъ, сильно безпокойный во хмелю, смиренный и недалеый старикъ Ждановъ, охотникъ до пѣсенъ—все это лица, выхваченныя живьемъ, съ натуры, а разговоръ ихъ, кажется, только что подслушанъ и записанъ. Разсказъ Чикина о томъ, какъ онъ говоритъ мужикамъ, что „предводительствовалъ на Кавказѣ“, заставляетъ смѣяться отъ души. Между прочимъ, Чикинъ наставлялъ землякамъ, что въ горахъ Тавлинцы камень, вмѣсто хлѣба, ѣдятъ, и у нихъ по одному глазу во лбу, а мумры все рука-съ-рукой ходятъ, „такъ и родятся, такіе и отъ природы; ты имъ руки разорви, такъ кровь пойдетъ—все равно, что китаецъ—шапку съ него сними, она кровь пойдетъ“. Максимовъ спрашиваетъ: вѣрили ли земляки такому вздору? Чикинъ отвѣчаетъ: „Такой, право, народъ чудной, Ѳедоръ Максимычъ. Вѣрятъ всему, ей-Богу вѣрятъ! А сталь имъ про гору Казбекъ сказывать, что на ней все лѣто снѣгъ не таетъ, такъ вовсе на смѣхъ подняли; милый человекъ, что ты, говорятъ, малый, фастаешь? Видано ли дѣло, большая гора, да на ней снѣгъ не будетъ таять; у насъ, малый, въ ростопель, такъ какой бугоръ—и тотъ прежде растаетъ, а въ лощинахъ снѣгъ лежитъ. Поди ты!“ заключилъ Чикинъ подмигивая.

Собственно говоря, въ бесѣдахъ солдатъ и заключается весь рассказъ Л. Н. Т.; содержанія въ немъ нѣтъ никакого. Драматическую перипетію въ немъ составляетъ смерть одного солдата Веленчука, раненаго во время нападенія татаръ на отрядъ, отправлявшійся уже въ обратный путь. Являются, впрочемъ, въ концѣ рассказа портреты нѣсколькихъ офицеровъ; между ними замѣчательны: ротный командиръ Болховъ, которому ужасно надоѣлъ Кавказъ, и который все-таки ни за что не хочетъ съ нимъ разстаться; скромный и бѣдный прапорщикъ; капитанъ Крафтъ изъ нѣмцевъ, хорошій офицеръ, но охотникъ прихвастнуть; капитанъ Тросенко, кажется, родившійся на Кавказѣ и спрашивающій: „Что, хорошо тамъ, у васъ въ Россіи? А я никогда тула не поѣду!“ Но, повторяемъ, главные дѣйствующія лица рассказа, все-таки солдаты. Окончимъ разборъ нѣсколькими строками, въ которыхъ авторъ дѣлаетъ общій выводъ о свойствахъ русскаго солдата: „Я всегда и вездѣ, особенно на Кавказѣ, замѣчалъ особенный тактъ у нашего солдата, во время опасности умалчивать и обходить тѣ вещи, которыя могли бы невыгодно дѣйствовать на духъ товарищей. Духъ русскаго солдата не основанъ такъ, какъ храбрость южныхъ народовъ, на скоро воспламеняемомъ и остывающемъ энтузіазмѣ; его также трудно разжечь, какъ и заставить упасть духомъ. Для него не нужны эффекты и краснорѣчивыя рѣчи; для него нужны, напротивъ, спокойствіе, порядокъ и отсутствіе всего натянутого. Въ русскомъ—настоящемъ русскомъ солдатѣ никогда не замѣтите хвастовства, ухарства, желанія отуманиться, разгорячиться во-время опасности; напротивъ, скромность, простота и способность видѣть въ опасности совсѣмъ другое, чѣмъ опасность, составляютъ отличительныя черты его характера. Я видѣлъ солдата, раненаго въ ногу, въ первую минуту жалѣвшаго только о пробитомъ новомъ полубубкѣ“.

„Отечественныя Записки“.

„Набѣгъ“ и „Рубна Лѣсу“.

*) Современныя военныя событія сдѣлались въ нашей ли-

*) „Отечественныя Записки“ 1855 г., т. 103, № 12. Статья С. Дудышкина.

тературѣ источникомъ многихъ разсказовъ, чрезвычайно живописныхъ; они же были предлогомъ и къ установленію той новой манеры въ этихъ описаніяхъ, которую выработала литература въ послѣднее время. Каждое великое отечественное событіе всегда отзвывалось въ нашей словесности и выражалось въ описаніи сраженій, походовъ, въ историческихъ запискахъ очевидцевъ. Слѣдовательно, нѣтъ ничего удивительнаго, что и нынѣшняя великая война привела литературу къ тѣмъ же результатамъ. Но въ манерѣ описанія, собственно въ литературномъ отношеніи, мы видимъ разницу между записками современниковъ другихъ войнъ и между нынѣшними писателями, видимъ другіе приемы, другую наблюдательность, другой языкъ,носящіе на себѣ рѣзкую печать нашей эпохи литературы. Вотъ на это-то мы и хотимъ обратить вниманіе.

Долгое время въ нашей литературѣ Марлинскій, а потомъ Лермонтовъ были образцами, которымъ старались подражать всѣ, когда дѣло касалось изображенія личностей, взятыхъ изъ военнаго круга; долгое время нѣкоторые писатели были образцомъ того, какъ должно вести разговоръ съ простымъ солдатомъ, какъ излагать его бесѣду, какъ выражать его чувства и мысли. Эти чувства, эти мысли одни и тѣ же, какъ у прежнихъ писателей, такъ и у новѣйшихъ: та же любовь къ родинѣ, та же вѣрность долгу, та же непоколебимая готовность на защиту всего родного; словомъ, сущность, содержаніе тѣ же. И такъ-какъ эта сущность, это содержаніе всѣмъ и каждому извѣстны, то и мы считаемъ излишнимъ еще разъ повторять всѣмъ извѣстное. Мы будемъ говорить объ одной только литературной сторонѣ разсказовъ, въ которой замѣтимъ много новаго. Чтобъ начать сначала, мы должны обратиться къ одному разсказу, напечатанному еще въ 1853 году.

Авторъ этого разсказа, безспорно, одинъ изъ первыхъ талантовъ нашей современной литературы. Мы говоримъ о разсказѣ *Набѣгъ*, соч. г. Л. Н. Т. Въ разсказѣ было такъ много новаго, и разсказъ былъ такъ простъ и естественъ, что на него даже мало обратили вниманія, какъ на вещь,

которая не бросается въ глаза. Въ этомъ разсказѣ было высказано все, что впослѣдствіи тѣмъ же самымъ авторомъ было подробнѣе развито въ другихъ превосходныхъ военныхъ картинахъ, каковы: „Севастополь въ декабрѣ 1854 года“ и „Рубка Лѣсу“. Какъ все неподдѣльное съ теченіемъ времени пріобрѣтаетъ только больше и больше удивленія, такъ и первый разсказъ г. Л. Н. Т. можетъ быть названъ родоначальникомъ тѣхъ прелестныхъ военныхъ эскизовъ, въ которыхъ простота, естественность, истина вступили въ полныя свои права, и совершенно измѣнили прежнюю литературную манеру разсказовъ подобнаго рода. Въ этихъ разсказахъ мы замѣтили примѣненіе всѣхъ тѣхъ же началъ, которыя въ другихъ родахъ нашей литературы, въ новыхъ, на примѣръ, оказали уже столько благодѣтельнаго вліянія. Но не будемъ торопиться дѣлать заключенія, и прежде познакомимся съ фактами.

Когда былъ напечатанъ „Навыгъ“, авторъ его, г. Л. Н. Т., сдѣлался уже извѣстенъ своимъ первымъ произведеніемъ: „Дѣтство“. Прошлаго года въ ноябрѣ „Отечественныя Записки“ имѣли случай высказать свое мнѣніе объ этомъ удивительномъ произведеніи и тогда еще замѣтили, что авторъ по преимуществу художникъ въ душѣ; что онъ умѣетъ выставить лицо въ томъ идеальномъ свѣтѣ, который не переходитъ въ утрировку; что онъ умѣетъ спрятать свою мысль за цѣлый рядъ живыхъ лицъ, въ такой степени, что произведенія его кажутся написанными безъ всякой опредѣленной мысли; что на его произведеніяхъ мы можемъ учиться великому искусству — той художественности, которая, съ одной стороны, прикасается къ міру идеальному, съ другой, не чужда наблюдательности; что въ его произведеніяхъ мы видимъ то прочное творчество, которое, взявъ лица изъ современнаго намъ общества, умѣетъ сдѣлать ихъ личностями общечеловѣческими; что въ выведенныхъ имъ лицахъ вы можете изучать натуру чловѣка вообще, подъ маскою страстей и желаній, принадлежащихъ нашему времени и обществу. Эти великія способности талантливой натуры, обнаруженныя авторомъ въ разсказахъ „Дѣтство“ и „Отро-

чество“, могли бы, казалось, служить причиной болѣе внимательнаго изслѣдованія разсказа „Набѣгъ“; однакожъ, пока авторъ не развилъ тѣхъ же самыхъ положеній въ болѣе полныхъ формахъ, сущность его военныхъ разсказовъ оставалась необъясненною. Оставивъ въ сторонѣ все, что можно было бы сказать по поводу „Дѣтство“ и „Отрочество“, мы теперь припомнимъ только первый его разсказъ, „Набѣгъ“, бывший истиннымъ и счастливымъ нововведеніемъ въ описаніи военныхъ сценъ, о которыхъ мы намѣрены говорить.

Въ этомъ разсказѣ обращаетъ на себя невольно вниманіе капитанъ Хлоповъ. На этомъ капитанѣ Хлоповѣ сосредоточена, повидимому, вся любовь автора; онъ—герой разсказа, онъ же—и нововведеніе. Однако опредѣлить это лицо было крайне трудно автору, потому что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго. „У него была одна изъ тѣхъ спокойныхъ русскихъ фizioномій, которымъ пріятно и легко прямо смотрѣть въ глаза“.

Вотъ все, что можно сказать о капитанѣ Хлоповѣ. Онъ не Максимъ Максимычъ Лермонтова, но нѣсколько съ-родни ему; точно такъ же, какъ поручикъ Розенкранцъ не Печоринъ и не Мулла-Нуръ, хотя съ виду и походилъ на Мулла-Нура. Капитанъ Хлоповъ не похожъ на капитана Миронова въ „Капитанской Дочкѣ“, но тоже съ-родни ему. Чтобъ лучше узнать капитана Хлопова, нужно прежде познакомиться съ поручикомъ Розенкранцемъ.

„На немъ (Розенкранцѣ) былъ черный бѣшметъ съ галунами, такія же ноговицы, новые, плотно обтягивающіе ногу чувяки съ чиразами, желтая черкеска и высокая, заломленная назадъ папаха. На груди и спинѣ его лежали серебряныя галуны, на которыхъ надѣты были натруска и пистолеть за поясомъ, другой пистолеть и кинжалъ въ серебряной оправѣ висѣли на поясѣ. Сверхъ всего этого, была опоясана шашка въ красныхъ сафьяныхъ ножнахъ съ галунами, и надѣта черезъ плечо винтовка въ черномъ чехлѣ. По его одеждѣ, посадкѣ, манерѣ держаться и вообще по всѣмъ движеніямъ замѣтно было, что онъ старается быть похожимъ на татарина. Онъ даже говорилъ что-то на не-

извѣстномъ мнѣ языкѣ татарамъ, которые ѣхали съ нимъ, но, по недоумѣвающимъ, насмѣшливымъ взглядамъ, которые бросали эти послѣдніе другъ на друга, мнѣ показалось, что они не понимаютъ его. Это былъ одинъ изъ удалцевъ-джигитовъ, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову.

Эти люди смотрятъ на Кавказъ не иначе, какъ сквозь призму нашего времени, Мулла-Шуровъ и т. п., и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуются не собственными наклонностями, а примѣромъ этихъ образцовъ.

„Поручикъ всегда ходилъ въ азіатскомъ платьѣ и оружіи, имѣлъ кунаковъ не только во всѣхъ мирныхъ аулахъ, но и въ горахъ; по самымъ опаснымъ мѣстамъ ѣзжалъ безъ оказіи, ходилъ съ мирными татарами по ночамъ засаживаться на дорогу, подкарауливать и убивать горцевъ, былъ влюбленъ въ татарку и писалъ свои записки. Фамилія его была Розенкранцъ“.

Не таковъ капитанъ Хлоповъ.

„(Въ походѣ) на немъ былъ старый, истертый скюртукъ безъ эполетъ, лезгинскіе широкіе штаны, бѣлая папашка, съ опустившимся, пожелтѣвшимъ курпемъ (овчиной) и незavidная азіатская шашка черезъ плечо. Бѣленькій маштачокъ (маленькая лошадка), на которомъ онъ ѣхалъ, шелъ понурия голову, мелкой иноходью, и безпрестанно взмахивалъ жиденькимъ хвостомъ. Несмотря на то, что въ фигурѣ добраго капитана было не только мало воинственнаго, но и красиваго, въ ней выражалось такъ много равнодушія ко всему окружающему, что она внушала невольное уваженіе“.

Посмотрите, какъ разсуждаетъ о храбрости добрый капитанъ Хлоповъ! Слушая его, вы подумаете, что поручикъ Розенкранцъ, который связалъ престарѣлаго татарина въ разоренномъ аулѣ, азартнѣйшій изъ рыцарей.

„Вотъ, въ тридцать второмъ году (говоритъ капитанъ) былъ тоже неслужащій какой-то, изъ испанцевъ, кажется. Два похода съ нами ходилъ, въ синемъ плащѣ въ какомъ-то, да, наконецъ, и сложилъ тутъ свою голову.“

Здѣсь, батюшка, никого не удивишь.

— „Что, онъ храбрый былъ? спрашивалъ я его.“

„— А Богъ его знаетъ: все, бывало, впереди ѣздить; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.

„— Такъ, стало быть, храбрый, сказалъ я.

„— Нѣтъ, это не значить храбрый, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ...

„— Что же вы называете храбрымъ?

„— Храбрый, храбрый? повторилъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ:—*храбръ тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ*, сказалъ онъ, подумавъ немного“.

Но оставимъ частности, въ которыхъ, между тѣмъ, и выражается вся сила таланта г. Л. Н. Т., и постараемся яснѣе высказать мысль автора. Для этого мы должны привести одну сцену изъ разсказа, хотя и далеко не лучшую въ художественномъ отношеніи, но поясняющую основную мысль:

„Едва мы отступили сажень на триста отъ аула, какъ надъ нами со свистомъ стали летать непріятельскія ядра. Я видѣлъ, какъ ядромъ убило солдата... Но зачѣмъ разсказывать подробности этой страшной картины, когда я самъ дорого бы далъ, чтобы забыть ее.

„Поручикъ Розенкранцъ самъ стрѣлялъ изъ винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплымъ голосомъ кричалъ на солдатъ и во весь духъ скакалъ съ одного конца цѣпи на другой. Онъ былъ нѣсколько блѣденъ, и это очень шло къ его воинственному лицу.

„Хорошенькій прапорщикъ *) былъ въ восторгѣ: прекрасные черные глаза его блестѣли отвагой, ротъ слегка улыбался; онъ безпрестанно подѣвзжалъ къ капитану и просилъ его позволенія броситься *на ура*.

— „Мы ихъ отобьемъ, убѣдительно говорилъ онъ:— право, отобьемъ.

— „Не нужно, кротко отвѣчалъ капитанъ,—надо отступать.

*) Характеръ котораго съ необыкновеннымъ искусствомъ обрисованъ въ разсказѣ двумя-тремя словами.

„Рота капитана занимала опушку дѣса и лежа отстрѣливалась отъ непріятеля. Капитанъ, въ своемъ изношенномъ сюртукѣ и взъерошенной шапочкѣ, опустивъ поводья бѣлому маштачку и подкорчивъ на короткихъ стременахъ ноги, молча стоялъ на одномъ мѣстѣ. (Солдаты такъ хорошо знали и дѣлали свое дѣло, что нечего было приказывать имъ). Только изрѣдка онъ возвышалъ голосъ, прикрикивая на тѣхъ, которые подымали головы. Въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго: но зато въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. „Вотъ кто истинно храбръ“, сказалось мнѣ невольно.

„Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видалъ его *): тѣ же спокойныя движенія, тотъ же ровный голосъ, то же выраженіе безхитростности на его некрасивомъ, но простомъ лицѣ; только побольше, чѣмъ обыкновенно, свѣтлому взгляду можно было замѣтить въ немъ вниманіе человѣка, спокойно занятаго своимъ дѣломъ. Легко сказать: *такимъ же, какимъ и всегда*; но сколько различныхъ отбѣнокъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; по лицу же капитана замѣтно, что онъ и не понимаетъ, зачѣмъ казаться.

„Французъ, который при Ватерлоо сказалъ. „la garde meurt, mais ne se rend pas“, и другіе, въ особенности французскіе герои, которые говорили достопамятныя изреченія, были храбры и дѣйствительно говорили достопамятныя изреченія; но между ихъ храбростію и храбростію капитана есть та разница, что если бы великое слово, въ какомъ бы то ни было случаѣ, даже шевелилось въ душѣ моего героя, я увѣренъ, онъ не сказалъ бы его: во-первыхъ, потому, что, сказавъ великое слово, онъ боялся бы этимъ самымъ испортить великое дѣло, а во-вторыхъ, потому, что когда челоуѣкъ чувствуетъ въ себѣ силы сдѣлать великое дѣло, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнѣнію, особенная и высокая черта русской

*) Курсивъ у автора.

храбрости; и какъ же послѣ этого не болѣть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французскія пошлыя фразы, имѣющія претензію на подражаніе устарѣлому французскому рыцарству?“...

Повторяемъ: мы стараемся уяснить идею, и потому всѣ поэтическія частности, въ которыхъ выражена идея, по неволѣ, чтобы не быть многословными, опускаемъ.

Отъ этого перваго разсказа гр. Л. Н. Т. переходимъ къ другому, напечатанному два года спустя: *Рубка Лѣсу*. И мѣсто дѣйствія и самое дѣйствіе обоихъ разсказовъ—одно и то же. Точно также отрядъ русскій отправился въ горы Кавказа, въ первомъ случаѣ, для наказанія непокорныхъ горцевъ и разоренія ихъ аула; во-второмъ, для рубки лѣса. Самое описаніе двухъ разсказовъ одинаково; но лица другія, хотя опять выражаютъ совершенно одну и ту же мысль. Здѣсь главное, хотя и невидимо дѣйствующее лицо—русскій солдатъ, у котораго довольно мѣтко схвачено много характеристическихъ чертъ. Въ противоположность съ простымъ русскимъ солдатомъ поставленъ нѣкто капитанъ Болховъ, какъ въ предыдущемъ разсказѣ разыгрывалъ ту же роль Розенкранцъ. Этотъ капитанъ Болховъ, Богъ знаетъ, по какимъ побужденіямъ, явился на Кавказъ; онъ со-всѣмъ ужъ не Мулла-Нуръ съ виду, но въ душѣ у него очень много печоринскаго, и поэтому онъ имѣетъ вліяніе на кружокъ. Непремѣнно должно предположить, что онъ великій губитель женскихъ сердецъ: онъ все, кажется, извѣдалъ, и потому считаетъ долгомъ вездѣ скучать. Точно такъ же, какъ въ „Набѣгѣ“ разоблаченъ былъ Розенкранцъ и выставленъ на видъ капитанъ Хлоповъ, точно такъ вся ходульность и мишурность капитана Болхова была поражена подобной же сценой.

„Оставивъ солдатъ разсуждать о томъ, какъ татары ускакали, когда увидали гранату, и зачѣмъ они тутъ ѣздили, и много ли ихъ еще въ лѣсу есть, я отошелъ съ ротнымъ командиромъ за нѣсколько шаговъ и сѣлъ подъ деревомъ, ожидая разогрѣвавшихся битковъ, которые онъ предложилъ мнѣ. Ротный командиръ Болховъ имѣлъ состояніе и слу-

жилъ прежде въ гвардіи. Товарищи любили его: онъ былъ довольно уменъ и имѣлъ достаточно такту. Поговоривъ о погодѣ, о военныхъ дѣйствіяхъ, объ общихъ знакомыхъ офицеровъ, и убѣдившись по вопросамъ и отвѣтамъ, по взгляду на вещи, въ удовлетворительности понятій одинъ другого, мы невольно перешли къ разговору болѣе короткому. При томъ же на Кавказѣ между встрѣчающимися одного круга людьми, хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопросъ: зачѣмъ мы здѣсь? и на этотъ-то мой молчаливый вопросъ, мнѣ казалось, собесѣдникъ мой хотѣлъ отвѣтить.

— „Когда этотъ отрядъ кончился? сказать онъ лѣниво. — Скучно.“

— „А мнѣ не скучно, сказалъ я:—вѣдь, въ штабѣ еще скучнѣе.“

— „О, въ штабѣ въ десять тысячъ разъ хуже, сказалъ онъ со злостью:—нѣтъ, когда все это совсѣмъ кончится?“

— „Что же вы хотите, чтобъ кончилось? спросилъ я.“

— „Все, совсѣмъ! Что же, готовы битки, Николаевъ? прибавилъ онъ.“

— „Для чего же вы пошли служить на Кавказъ, сказалъ я:—коли Кавказъ вамъ не нравится?“

— „Знаете для чего? отвѣчалъ онъ съ рѣшительной откровенностью:—по преданію. Въ Россіи, вѣдь, существуетъ престранное преданіе про Кавказъ—будто это какая-то обѣтованная земля для всякаго рода несчастныхъ людей...“

— „Да, это почти правда, сказалъ я:—большая часть изъ насъ...“

— „Но что лучше всего, перебилъ онъ меня:—что всѣ мы, по преданію ѣдущіе на Кавказъ, ужасно ошибаемся въ своихъ расчетахъ, и рѣшительно я не вижу, почему вслѣдствіе несчастной любви или разстройства дѣлъ—скорѣе ѣхать служить на Кавказъ, чѣмъ въ Казань или Калугу. Вѣдь, въ Россіи воображаютъ Кавказъ какъ-то величественно, съ вѣчными дѣвственными льдами, бурными потоками, съ кинжалами, бурками, черкешенками—все это страшное что-то, а въ сущности ничего въ этомъ нѣтъ веселаго.—“

Ежели бы они знали, по крайней мѣрѣ, что въ дѣвственныхъ льдахъ мы никогда не бываемъ, да и быть-то въ нихъ ничего веселаго нѣтъ, и что Кавказъ раздѣляется на губерніи: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д., и я бы и вы не пріѣхали, право.

— „Да, сказалъ я смѣясь:—мы въ Россіи совсѣмъ иначе смотримъ на Кавказъ, чѣмъ здѣсь; это—испытывали-ли вы когда нибудь?—какъ читать стихи на языкѣ, который плохо знаешь: воображаешь себѣ гораздо лучше, чѣмъ есть.

— „Не знаю, право; но ужасно не нравится мнѣ этотъ Кавказъ, перебилъ онъ меня.

— „Нѣтъ, Кавказъ для меня и теперь хорошъ, только иначе...

— „Можетъ быть, и хорошъ, продолжалъ онъ съ какою-то раздражительностью:—знаю только то, что я нехорошъ на Кавказѣ.

— „Отчего же такъ? сказалъ я, чтобъ сказать что нибудь.

— „Я чувствую себя неспособнымъ къ здѣшней службѣ, я не могу переносить опасность. Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня:—безъ шутокъ. Хотя это непрощенное признаніе чрезвычайно удивило меня, я не противорѣчилъ, какъ, видимо, хотѣлось того моему собесѣднику, но ожидалъ отъ него самого опроверженія своихъ словъ, какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ.

— „И что смѣшно, продолжалъ онъ:—что здѣсь ужаснѣйшая драма разыгрывается, а самъ ѣшь битки съ лукомъ и увѣряешь, что весело.

— „Вино есть, Николаевъ? прибавилъ онъ, зѣвая. Этотъ натянутый разговоръ, худо скрытый смыслъ котораго очень ясенъ, былъ перебитъ слѣдующимъ разговоромъ солдатъ:

— „Это онъ, братцы мои! послышался въ это время встревоженный голосъ одного изъ солдатъ, и всѣ глаза обратились на опушку дальняго лѣса.

„Вдали, увеличиваясь и уносясь по вѣтру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понялъ, что это былъ противъ насъ выстрѣлъ непріятеля,—все, что было на мо-

ихъ глазахъ въ эту минуту, все вдругъ приняло какой то новый, почти величественный характеръ: и козлы ружей, и дымъ костровъ, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорѣлое, усатое лицо Николаева,—все это какъ будто говорило мнѣ, что ядро, которое вылетѣло изъ дула и летитъ въ это мгновеніе въ пространствѣ, можетъ быть, направлено прямо въ мою грудь.

— „Вы гдѣ брали вино? лѣживо спросилъ я Болхова, между тѣмъ какъ въ глубинѣ души моей одинаково внятно говорили два голоса—одинъ: Господи пріими духъ мой съ миромъ; другой: надѣюсь не нагнуться, а улыбаться въ то время, какъ будетъ пролетать ядро; и въ то же мгновеніе надъ головой просвистало что то ужасно непріятно, и въ двухъ шагахъ шлепнулось отъ насъ ядро.

— „Вотъ ежели бы я былъ Наполеонъ или Фридрихъ, сказалъ въ это время Болховъ, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мнѣ: я бы непремѣнно сказалъ какую-нибудь любезность.

— „Да вы и теперь сказали, отвѣчалъ я, съ трудомъ скрывая тревогу, произведенную во мнѣ прошедшей опасностью.

— „Да чтожъ, что сказалъ—никто не запишетъ.

— „А я запишу.

— „Да вы ежели и запишите, такъ въ критику, какъ говорить Мищенковъ, прибавилъ онъ улыбаясь.

— „*Тьфу ты проклятый!* сказалъ въ это время сзади насъ Антоновъ, съ досадой плюя въ сторону:—*трошки по ногамъ не задѣла.*

„Все мое старанье казаться хладнокровнымъ и всѣ наши хитрыя фразы показались мнѣ вдругъ невыносимо глупыми, послѣ этого простодушнаго восклицанія“.

Всякій истинный, дышащій правдой взглядъ на вещи, тѣмъ плодотворенъ въ художественной дѣятельности, что онъ мгновенно превращается во множество лицъ, и всѣ эти лица кажутся живыми, какъ жива истина, ихъ согревающая. Лишь только заученая маска, однообразная у всѣхъ, спала съ лица героевъ, которыхъ рядили черезчуръ ужъ

монотонно и неестественно, вдругъ всѣ они показали свои лица, характерныя и настоящія, какими они всегда были. Такъ въ томъ же самомъ разсказѣ авторъ представилъ уже намъ много лицъ типическихъ изъ солдатскаго кружка. Хотя всѣхъ ихъ авторъ коснулся только вскользь—какъ это онъ до-сихъ поръ дѣлалъ во всѣхъ своихъ военныхъ разсказахъ—однакожъ лица эти ужъ какъ будто намъ знакомы. Здѣсь мы почувствовали вновь вліяніе современной русской повѣсти на военные разсказы гр. Л. Н. Т.—Если первую черту этого вліянія можно назвать разоблаченіемъ мишурности и вычурности, которою въ прежнее время были одѣты Розенкранцы и Болховы, и желаніе противопоставить имъ лица простыя, каковы, напримѣръ, капитанъ Хлоповъ, Тросенко и имъ подобные, то вторую черту, заимствованную изъ современной же нашей литературы, мы должны назвать стремленіемъ къ типическимъ лицамъ изъ простонароднаго круга. Въ прежней нашей литературѣ—пробѣгите лучшіе разсказы—типъ русскаго солдата былъ однообразенъ. Не такъ поступаетъ гр. Л. Н. Т. Тамъ, гдѣ онъ говоритъ, какъ человѣкъ мыслящій, у него русскій солдатъ одинъ, и характеристика его одна; гдѣ же онъ представляетъ намъ лица, какъ художникъ, тамъ у каждаго своя личность; это разнообразіе лицъ даетъ ему средства подмѣчать характеристическія черты и создавать типы. Это, мы полагаемъ, вторая причина успѣха гр. Л. Н. Т. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ вообще о русскомъ солдатѣ:

„Духъ русскаго солдата не основанъ такъ, какъ храбрость южныхъ народовъ, на скоро воспламеняемомъ и остывающемъ энтузіазмѣ: его такъ же трудно разжечь, какъ и заставить упасть духомъ. Для него не нужны эффе́кты и краснорѣчивыя рѣчи, для него нужны, напротивъ, спокойствіе, порядокъ и отсутствіе всего натянутаго. Въ русскомъ—настоящемъ русскомъ солдатѣ, никогда не замѣтите хвастовства, ухорства, желанія отуманиться, разгорячиться во время опасности, напротивъ, скромность, простота и способность видѣть въ опасности совсѣмъ другое, чѣмъ опасность, составляютъ отличительныя черты его характера. Я

видѣлъ солдата раненаго въ ногу, въ первую минуту жалѣвшаго только о пробитомъ новомъ полушубкѣ; ѣздового, вылѣзающаго изъ-подъ убитой подъ нимъ лошади и растегивающаго подпругу, чтобы снять съ нея сѣдло“.

Но на этомъ не останавливается наблюдательность автора: ему, какъ художнику школы новѣйшей, нужны типы, и онъ сначала старается представить эти типы въ общихъ чертахъ, какъ программу, не болѣе. Въ этой программѣ видна мысль—а ее только на этотъ разъ мы и слѣдимъ въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Т.—хотя мысль уловить у такихъ художниковъ, какъ гр. Л. Н. Т., труднѣе всего. Рѣдко они обмолвливаются сухою, голою мыслью.

„Въ Россіи есть особенные типы солдатъ, подъ которые подходятъ солдаты всѣхъ войскъ: кавказскихъ, армейскихъ, гвардейскихъ, пѣхотныхъ, кавалерійскихъ, артиллерійскихъ и т. д. Чаще другихъ встрѣчающійся типъ солдата, типъ болѣе всего милый, симпатичный и большей частью соединенный съ лучшими христіанскими добродѣтелями—кротостью, набожностью, терпѣніемъ и преданностью волѣ Божіей, есть типъ *покорнаго* вообще.“

„Есть еще многіе другіе типы.“

„Типъ *начальствующихъ* вообще встрѣчается преимущественно въ высшей солдатской сферѣ: ефрейторовъ, унтеръ-офицеровъ, фельдфебелей и т. д. Типы эти разнообразны: *начальствующие суровые*—типъ весьма благородный, энергическій, преимущественно военный, не исключаяцій высокихъ повѣтическихъ порывовъ.“

„Типъ *отчаяннаго* точно такъ же, какъ и типъ *начальствующаго*, хорошъ въ *отчаянныхъ забавникахъ*, отличительными чертами которыхъ бываютъ непоколебимая веселость, огромныя способности ко всему, богатство натуры и удалъ; и ужасно дуренъ въ *отчаянныхъ развратныхъ*, которые, однако, нужно сказать, къ чести русскаго войска, встрѣчаются весьма рѣдко и ежели встрѣчаются, то бываютъ удалены отъ товарищества самимъ обществомъ солдатскимъ. Невѣріе и какое-то удалство въ порокъ—главныя черты въ характерѣ этого разряда“.

Далѣ идутъ типы: *покорныхъ-хлопотливыхъ, забавника, и проч.*

Когда гр. Л. Н. Т. перешелъ отъ общихъ опредѣленій типовъ къ частнымъ, когда у него явились на сценѣ Максимовъ, Антоновъ, Валенчукъ, рекрутъ — передъ нами обнаружилась и та *мягкая* наблюдательность автора, въ которой такъ чудесно слиты и юморъ, и добродушіе, и веселость, и прямой взглядъ на вещи, тотъ многосторонній талантъ гр. Л. Н. Т., которымъ надѣлены очень, очень немногіе. Опять пошли картина за картиною, одна другой лучше, одна другой поэтичнѣе. Но, къ сожалѣнію, мы теперь не можемъ вдаваться въ подробности, въ которыхъ такъ же много истинной поэзіи, какъ и въ „Дѣтствѣ“ и въ „Отрочествѣ“ — произведеніяхъ, взятыхъ изъ другого круга жизни. За одинъ разговоръ солдатъ у огня, ночью, послѣ смерти Валенчука (XIII и XIV главы „Рубки Лѣса“) мы готовы отдать иной многотомный романъ. Эти пять страничекъ проникнуты такой неподдѣльной поэзіей, что ихъ можно перечитывать по нѣскольку разъ.

Въ другой картинѣ, именно *Севастополь въ декабрь мѣсяцъ*, гр. Л. Н. Т. опять возвращается къ своимъ любимымъ лицамъ, которыхъ въ „Рубкѣ Лѣса“ онъ старался подраздѣлить на типы. Безъ всякихъ разсужденій, повидимому, въ одной простой картинѣ знаменитаго *Четвертаго Бастиона*, сказано вамъ гораздо болѣе, нежели можно сказать отвлеченными разсужденіями. Вглядитесь въ фізіономію простого солдата, вслушайтесь въ его отрывистыя фразы, и вы почувствуете, что гр. Л. Н. Т. нигдѣ не измѣняетъ своему вѣрному и простому взгляду на предметъ. Вы почувствуете, что онъ постоянно преслѣдуетъ одну и ту же идею, только, какъ художникъ, выражаетъ ее въ картинахъ:

„Пройдя еще шаговъ триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обстановленную турами, насыщенными землей, орудіями на платформахъ и земляными валами. Здѣсь найдете вы, можетъ быть, чловѣкъ пять матросовъ, играющихъ въ карты подъ брустве-

ромъ и морского офицера, который, замѣтивъ въ васъ новаго человѣка—любопытнаго, съ удовольствіемъ покажетъ вамъ свое хозяйство и все, что можетъ быть для васъ интереснаго. Офицеръ этотъ такъ спокойно свертываетъ папиросу изъ желтой бумаги, сидя на орудіи, такъ спокойно прохаживается отъ одной амбразуры къ другой, такъ спокойно, безъ малѣйшей аффектаціи, говоритъ съ вами, что, несмотря на пули, которыя чаще чѣмъ прежде жужжатъ надъ вами, вы сами становитесь хладнокровны, и внимательно рассматриваете и слушаете рассказы офицера. Офицеръ этотъ расскажетъ вамъ—но только ежели вы его разспросите—про бомбардированіе 5-го числа, расскажетъ, какъ на его батареѣ только одно орудіе могло дѣйствовать, и изъ всей прислуги осталось только восемь человѣкъ, и какъ на другое утро, 6-го числа онъ *палмз* *) изъ всѣхъ орудій; расскажетъ вамъ, какъ 5-го попала бомба въ матросскую землянку и положила одиннадцать человѣкъ; покажетъ вамъ изъ амбразуры батареи и траншеи непріятельскія, которыя не дальше какъ въ тридцать-сорокъ сажень. Одного я боюсь, что подъ вліяніемъ жужжанія пуль, высовываясь изъ амбразуры, чтобъ посмотрѣть непріятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этотъ бѣлый каменистый валъ, который такъ близко отъ васъ и на которомъ вспыхиваютъ бѣлые дымы, это-то и есть непріятель—*онъ*, какъ говорятъ солдаты и матросы.

„При этомъ офицеръ хладнокровно скажетъ: „Послать комендора, прислугу къ пушкѣ“—и человѣкъ 14 матросовъ, живо, весело, кто засовывая трубку въ карманъ, кто дожидывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформѣ, пойдутъ къ пушкѣ и зарядятъ ее. Вглядитесь въ лица, въ осанки, въ движенія этихъ людей: въ каждой морщинѣ этого загорѣлаго, смуглаго лица, въ каждой мышцѣ, въ ширинѣ этихъ плечъ, въ толщинѣ этихъ ногъ, обутыхъ въ громадные сапоги, въ каждомъ движеніи, спокойномъ, твердомъ, неторопливомъ, видны эти главныя черты, составляющія силу русскаго—простота и твердость; но здѣсь на

*) *Моряки* всѣ говорятъ палить, а не стрѣлять.

каждомъ лицѣ кажется, что опасность, злоба и страданія, кромѣ этихъ главныхъ признаковъ войны, проложили еще слѣды сознанія своего достоинства и высокой мысли и чувства.

„Вдругъ ужаснѣйшій, потрясающій не одни ушные органы, но все существо ваше, гулъ поражаетъ васъ такъ, что вы вздрагиваете всѣмъ тѣломъ; вслѣдъ затѣмъ вы слышите удаляющійся свистъ снаряда и густой пороховой дымъ застигаетъ васъ, платформу и черныя фигуры движущихся по ней матросовъ. По случаю этого нашего выстрѣла вы услышите различные толки матросовъ и увидите ихъ одушевленіе и проявленіе чувства, котораго, можетъ быть, вы не ожидали видѣть, это—чувство злобы и мщенія врагу, которое таится въ душѣ cadaго. „Въ самую *абразуру* попали, кажись, убило двухъ, вонъ понесли“, услышите вы радостныя восклицанія. „А вотъ онъ разсерчаетъ, сейчасъ пустить сюда“, скажетъ кто-нибудь; и дѣйствительно, скоро вслѣдъ за этимъ вы увидите впереди себя молнію, дымъ; часовой, стоящій на брустверѣ, крикнетъ *пу-у-шка!* и вслѣдъ за этимъ мимо васъ взвизгнетъ ядро, шлепнется въ землю и воронкой взброситъ вокругъ себя брызги грязи и камни. Батарейный командиръ разсердится за это ядро, прикажетъ зарядить другое и третье орудіе, и непріятель также станетъ отвѣчать намъ, и вы испытаете интересныя вещи. Часовой опять кричитъ „пушка“, и вы услышите тотъ же звукъ и ударъ, тѣ же брызги, или закричатъ „маркела“ (мортира), и вы услышите равномерное—довольно пріятное и такое, съ которымъ трудно соединяется мысль объ ужасномъ—посвистываніе бомбы, услышите приближающееся къ вамъ и ускоряющее это посвистываніе, потомъ увидите черный шаръ, ударъ о землю и разрывъ. Со свистомъ и визгомъ разлетятся потомъ осколки, зашуршатъ въ воздухѣ камни и забрызгаютъ васъ грязью. При этихъ звукахъ вы испытываете странное чувство наслажденія и вмѣстѣ страха. Въ ту минуту, какъ снарядъ, вы знаете, летитъ на васъ, вамъ непремѣнно придетъ въ голову, что снарядъ этотъ убьетъ васъ, но чувство самолюбія поддерживаетъ васъ, и никто не замѣчаетъ ножа, который рѣжетъ вамъ сердце; но зато

когда снарядъ пролетитъ, не задѣвъ васъ, вы оживаете и какое-то отрадное, невыразимо-пріятное чувство, но только на мгновеніе, овладѣваетъ вами, такъ что вы находите какую-то особенную прелесть въ опасности, въ этой игрѣ съ жизнью и смертью, вамъ хочется, чтобы еще и еще поближе упало около васъ ядро или бомба. Но вотъ еще часовой прокричалъ своимъ громкимъ голосомъ „марше!“ еще посвистываніе, ударъ и разрывъ бомбы, но вмѣстѣ съ этимъ звукомъ васъ поражаетъ стонъ человѣка; вы подходите къ раненому, который въ крови и грязи имѣетъ какой-то странный, нечеловѣческій видъ. У матроса вырвало часть груди. Въ первыя минуты на забрызганномъ грязью лицѣ его виденъ одинъ испугъ и какое-то притворное, преждевременное выраженіе страданія, свойственное человѣку въ такомъ положеніи; но въ то время, какъ ему приносятъ носилки и онъ самъ на здоровый бокъ ложится на нихъ, вы замѣчаете, что выраженіе это измѣняется выраженіемъ восторженности и высокой невысказанной мысли: глаза горятъ ярче, зубы сжимаются, голова съ усиленіемъ поднимается выше, и въ это время, какъ его поднимаютъ, онъ останавливаетъ носилки и дрожащимъ голосомъ съ трудомъ говоритъ товарищамъ: „простите братцы!“ еще хочетъ сказать что-то трогательное, но повторяетъ еще разъ: „простите братцы!“ Въ это время товарищъ матросовъ подходитъ къ нему, надѣваетъ фуражку на голову, которую подставляетъ ему раненый, и, размахивая руками, возвращается къ своему орудію...

Мы до сихъ поръ старались только опредѣлить характеръ писателя, его взглядъ, его направленіе—трудъ очень скользкій въ отношеніи къ такому автору, какъ гр. Л. Н. Т., который, казалось бы, рисуетъ передъ покорнымъ воображеніемъ читателя только однѣ картины своей чудесной фантазіи. Картины эти такъ хороши, что сначала не задаешь себѣ и вопроса: что кроется въ нихъ симпатичнаго, и почему онѣ такъ сильно привлекаютъ къ себѣ? Есть много картинъ строгихъ, правильныхъ—и холодныхъ. Не таковы картины разбираемаго нами автора, и потому должно было прежде

всего отдать отчетъ въ этой симпатіи. Лишь только опредѣленъ вѣрно взглядъ автора на вещи, лишь только читатель узнаетъ, чего хочетъ авторъ и куда онъ стремится—вся дѣятельность писателя вдругъ оживляется, какъ отъ какого-то магнетическаго соприкосновенія. Самый процессъ творчества дѣлается яснымъ. Отъ этого-то мы и говорили объ *идеѣ* въ произведеніяхъ г. Л. Н. Т. Теперь намъ уже понятно, что талантъ его, описывающій событія изъ совершенно много міра, въ который не пускаются наши лучшіе современные писатели, есть въ то же время талантъ очень близкій, родственныи имъ и по духу и по манерѣ. Передъ нимъ открыть иной міръ, но онъ изъ него старается взять то же, чего ищутъ въ другихъ положеніяхъ наши другіе писатели; то-есть преслѣдованіе всего мишурнаго, ложнаго, неестественнаго находить въ немъ явнаго гонителя, а истина, добро и лучшія свойства простого человѣка, своего защитника. Какъ ни обширно и ни обще это опредѣленіе, но на этотъ разъ мы не сумѣемъ выразиться лучше.

Г. Л. Н. Т. беретъ свои любимыя лица изъ того же простонароднаго круга, изъ котораго берутъ ихъ и всѣ другіе лучшіе наши писатели. Въ немъ мы видимъ товарища по труду гг. Тургеневу, Писемскому, Григоровичу. Островскому; въ созданныхъ имъ лицахъ видимъ живыхъ братьевъ лучшимъ типическимъ лицамъ упомянутыхъ нами писателей.

Полагаемъ, послѣ этого не нужно распространяться о томъ, что всѣ остатки „Капитановъ Фрегата“, Муль-Нуровъ Марлинскаго и „Героевъ нашего времени“, переодѣтые авторомъ въ Розенкранцевъ, Болховыхъ и имъ подобныхъ, низведены съ своихъ ложныхъ пьедесталовъ. Эти лица и подобныя имъ уже довольно давно, начиная съ 1840 года, въ нашей литературѣ, въ повѣстяхъ и романахъ начали терять по частицамъ свой блескъ. Не будемъ также распространяться и о томъ, о чемъ уже намекнули выше, что родоначальниковъ капитана Хлопова и простыхъ русскихъ солдатъ мы видѣли отчасти, хотя въ другой формѣ, и у Лермонтова въ Максимѣ Максимовичѣ и у Пушкина въ капитанѣ Мироновѣ. Но заслуга г. Л. Н. Т. состоитъ въ

томъ, что онъ заставилъ своихъ Розенкранцевъ и Болховыхъ помѣряться силами съ капитаномъ Хлоповымъ и ему подобными, свелъ ихъ лицомъ къ лицу, выбравъ для этого самое удобное, въ буквальный смыслъ, поле сраженія — и герои нашего времени окончательно и навсегда смутились передъ своими незначенитыми соперниками! Если прежняя литература изображала иногда Розенкранцевъ и Болховыхъ съ отрицательной точки зрѣнія, то г. Л. Н. Т. сдѣлалъ послѣдній и важный шагъ: онъ имъ противопоставилъ лица положительные, и этимъ покончилъ дѣло.

Но вотъ эта-то положительная сторона, конечно, и составляла сильный камень преткновенія таланту г. Л. Н. Т. Однакожъ онъ побѣдилъ трудности большею частью счастливо. Преимущественно ему удалось лица солдатъ и капитанъ Хлоповъ. У другого таланта, менѣе сильного, нужно было бы опасаться, съ этой стороны, увлеченія идеей, излишней идеализаціи. Но г. Л. Н. Т. умѣлъ удержаться въ границахъ, и гдѣ чувствовалъ пустое пространство, гдѣ не находилъ жизни, не старался наполнять это пустое пространство своими собственными мыслями. Онъ, какъ художникъ, позволялъ себѣ скорѣе останавливаться на характерахъ безличныхъ, но пріятныхъ, каковъ, напримѣръ, прапорщикъ Аланинъ въ „Набѣгѣ“, нежели надѣлать капитана Хлопова небывалыми чертами. Это намъ доказываетъ, что г. Л. Н. Т. истинный художникъ, у котораго талантъ господствуетъ надъ мыслью, а не мысль надъ талантомъ, у котораго инстинктъ художника господствуетъ надъ творчествомъ ума. Отъ этого у г. Л. Н. Т. въ разсказахъ нѣтъ лица, которое было бы положительно дурно, рѣзко-непріятно, какъ всѣ характеры, созданные однимъ систематическимъ умомъ, потому что этотъ умъ безпощаденъ и всегда любитъ крайности. Отъ этого-то выше мы сказали, что картины, изображаемыя г. Л. Н. Т., дышатъ тою мягкою наблюдательностью, которая даетъ полный просторъ и юмору, и веселости, и добродушію, которая отзывается на многіе звуки, а не на одинъ монотонный мотивъ. Это всегда и легко замѣтить у художниковъ при созданіи второстепенныхъ лицъ въ разсказахъ, гдѣ писатели даютъ

полный просторъ разгуляться своей фантазіи на свободѣ, не удерживая ея главною мыслию разсказа, при описаніи картинъ, такъ сказать, вставочныхъ. Этихъ второстепенныхъ лицъ у писателей нехудожниковъ почти никогда не бываетъ, то есть они такъ безцвѣтны, что ихъ нельзя назвать лицами. Писатель нехудожникъ слишкомъ усиленно и какъ то напряженно держится за мысль, которую развиваетъ, и понятно, что всѣ его усилія сосредоточиваются на одномъ, главномъ дѣйствующемъ лицѣ.

Г. Л. Н. Т. не представилъ намъ еще ни одной *повѣсти* въ настоящемъ смыслѣ слова, то-есть повѣсти съ *любовью*. Не знаемъ дальнѣйшаго развитія той біографіи, которой двѣ части мы прочли подъ названіемъ „Дѣтство“ и „Отрочество“, но въ приведенныхъ нами трехъ военныхъ картинахъ характеры обрисовываются другимъ чувствомъ—опасности, какъ пробнымъ камнемъ этихъ характеровъ. Всѣ эти разсказы безъ любви и, однакожъ, читаются съ высокимъ интересомъ. Вотъ фактъ, на который мы считаемъ долгомъ указать. Значить ли это, что рама повѣсти шире, нежели какъ ее обыкновенно понимаютъ—не знаемъ; но можемъ сказать положительно, что г. Л. Н. Т. мѣрялъ своихъ героевъ тою мѣркою, какою слѣдуетъ ихъ мѣрять. Введи авторъ въ эти разсказы любовь—нѣтъ сомнѣнія, капитанъ Хлоповъ и подобныя ему лица проиграли бы поле сраженія въ битвѣ съ Болховыми, Розенкранцами и другими блестящими лицами разсказовъ—потому что, къ сожалѣнію, на самомъ дѣлѣ, оно бываетъ такъ—и идея погибла бы. Дай торжество подобнымъ лицамъ авторъ—и онъ впалъ бы въ неестественный, натянутый тонъ, который происходитъ оттого, что писатель чувствуетъ, какъ подъ нимъ шатается міръ дѣйствительности: тогда то, обыкновенно авторъ старается всѣми убѣжденіями склонить читателя на сторону своего любимаго лица; но чѣмъ больше онъ убѣждаетъ и разсуждаетъ, тѣмъ больше онъ теряетъ достоинства художника.

Слѣдовательно, не имѣя пока повѣсти въ строгомъ смыслѣ, то-есть въ томъ, въ какомъ мы привыкли ее пони-

мать, мы не находимъ нужнымъ пускаться въ предположенія, какъ г. Л. Н. Т. сумѣлъ бы выполнить и всѣ условія, налагаемыя этой формой, какъ онъ сумѣлъ бы выбрать сюжетъ, который укладывается именно въ эту, а не въ какую-либо другую форму. Мы должны судить о томъ, что есть, и потому скажемъ, что, на основаніи всего нами прочтеннаго, ожидаемъ отъ г. Л. Н. Т. очень многого, а пока теперь вникнувъ въ силу и разнообразіе его таланта, продолжаемъ считать его однимъ изъ первыхъ нашихъ писателей. Въ ряду ихъ онъ имѣетъ свою особенную, исключительно ему принадлежащую характеристику.

Обратимся къ другой сторонѣ военныхъ разсказовъ.

Если въ изображеніи лицъ, въ манерѣ создавать характеры, мы видѣли огромное вліяніе нашей современной литературы, то еще больше замѣтимъ его въ *самомъ способѣ разсказывать*. Намъ бы очень хотѣлось привести на память читателю тѣ военные разсказы прежнихъ лѣтъ, гдѣ солдаты не говорятъ иначе, какъ избранными пословицами, шутить извѣстными шутками и прибаутками, объясняется отмѣнно-складно, какъ человѣкъ образованный, у котораго передъ глазами лежатъ, напримѣръ, „пословицы“ г. Снегирева, который начитался разсказовъ г. Даля или Скобелева, и думаетъ что онъ знаетъ языкъ простого человѣка. Неудивительно, что это было такъ въ военныхъ разсказахъ: такъ было тогда и во всей литературѣ. Языкъ простонародный былъ *terra incognita*, и потому всякій, кто скажетъ, напримѣръ, что „ученье свѣтъ, а неученье тьма“, или что-нибудь въ этомъ родѣ, считался уже знающимъ кое-что изъ русскаго простонароднаго языка. Языкъ крестьянина, языкъ солдата, языкъ купца, весь слагался изъ подобныхъ поговорокъ (даже у двухъ-трехъ извѣстныхъ писателей, которые считали себя знатоками въ этомъ дѣлѣ), такъ что представлялъ изъ себя что-то натянутое, неестественное, изъ разсказчика же дѣлалъ какого-то забавника и каламбуриста. Средину между пословицами и поговорками занимали обыкновенно цѣлыя фразы, выписанныя изъ печатныхъ книгъ, и рѣчь имѣла видъ какой-то пестрой смѣси

книжного, литературного языка и народных поговорокъ. Но съ того времени наша литература, обратившись къ изученію простонароднаго быта, начала изучать языкъ народный. Конечно, это изученіе было постепенное, и чѣмъ больше писатели всматривались въ бытъ, тѣмъ ближе къ цѣли подходилъ и самый языкъ. Последнее десятилѣтіе нашей литературы особенно много сдѣлало въ этомъ отношеніи, и мы такъ быстро развивались, что, постепенно хваля то одного, то другого писателя, спустя два-три года, уже замѣчали и недостатки въ тѣхъ, кого хвалили прежде безусловно. Въ этомъ языкѣ слышались фразы прямо записанныя съ изустной рѣчи, слышались фразы сочиненныя, слышалось желаніе передать даже самую темноту и неопредѣленность языка простолюдина, хотя онѣ могли имѣть значеніе, можетъ быть, только для филолога, но отнюдь не для литератора. Какъ бы то ни было, но въ этомъ замѣтенъ былъ трудъ, и трудъ большой, похвальный во всѣхъ отношеніяхъ.

Вдругъ въ это время литература обогатилась множествомъ рассказовъ, какъ мы уже говорили, изъ славныхъ событій нашей нынѣшней войны. Рассказчики очутились вдругъ между двумя крайностями: между преданіемъ прежнихъ военныхъ рассказовъ, которые сочинялись авторами по способамъ, нами выше изложеннымъ, и между простонароднымъ языкомъ, выработаннымъ новѣйшими нашими писателями, изучившими этотъ бытъ. Къ прежнему языку рассказовъ очевидно нельзя уже было возвратиться, и такіе писатели, какъ гр. Л. Н. Т., сразу сумѣли поставить себя на настоящую точку зрѣнія, и создали разговоръ простого солдата такимъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ. Но для этого нуженъ былъ талантъ г. Л. Н. Т. Другіе, желая быть до мелочей вѣрными языку, рѣшились записывать эти рассказы со словъ самихъ солдатъ, и мы получили такимъ образомъ прекрасные образчики того разговорнаго языка, котораго домогались, къ которому стремились такъ усиленно, и который давался очень немногимъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особеннаго вниманія рукописный

сборникъ солдатскихъ разсказовъ г. *Сокольскаго*, изъ котораго былъ напечатанъ разсказъ рядового Таторскаго, подъ названіемъ: *Восемь мѣсяцевъ въ плѣну у французовъ* и *Дѣло подѣ Журжею*, разсказъ тоже рядового Иванова, записанный г. *Кузнецовымъ*. Мысль счастливая, и мы увѣрены, что результаты ея будутъ чрезвычайно благотворны; оба разсказа въ этомъ отношеніи заслуживаютъ особеннаго вниманія. Всмотритесь въ постройку фразъ, повидимому, неправильную, чисто противорѣчащую требованіямъ синтаксиса, и вывѣстъ совершенно ясную; взгляните въ это отсутствіе напыщенности, которою страдали прежніе разсказы; вслушайтесь въ этотъ юморъ и эту наблюдательность, которая не оставляетъ солдата, когда онъ разсказываетъ самое трагическое свое положеніе, когда ему предстояло быть убитымъ или взятымъ въ плѣнъ, и вы какъ будто начнете понимать, что мы далеко еще не владѣемъ ключомъ къ этому таинственному, непричудливому, но ясному разговору простого человѣка. Вотъ тотъ языкъ, слѣдовательно, которымъ должно дѣйствовать на умъ и чувство простого человѣка! вотъ тотъ взглядъ на вещи, неподдѣльный, подѣ который старается поддѣлываться каждый писатель, какъ только начинаетъ говорить отъ имени простого человѣка! Изучите его прежде внимательно, и тогда уже посмотрите на сочиненный языкъ. Еслибъ мѣсто намъ позволило, мы привели бы и сравнили здѣсь нѣсколько прежнихъ солдатскихъ разсказовъ, и разсказъ, напримѣръ, рядового Иванова. Но пока, мы должны будемъ ограничиться одною выпискою изъ „Дѣла подѣ Журжей“. Въ прежнее время, въ угоду литературнымъ требованіямъ своего времени, писатель не рѣшился бы записать такой разсказъ со словъ солдата; онъ непремѣнно украсилъ бы его своими собственными разсужденіями, а языкъ выправилъ бы по книжнымъ правиламъ и далъ бы ему фальшивый лоскъ. Но другія времена... и тому, кто не видитъ въ нашей нынѣшней литературѣ ничего хорошаго—еще одинъ урокъ“. (Далѣе слѣдуетъ длинный отрывокъ изъ разсказа).

„Послѣ такихъ разсказовъ, мы вполне понимаемъ, какъ

глубоко вникнулъ г. Л. Н. Т. въ описываемый имъ быть, и почему въ разсказѣ его заключалась какая-то прелесть, которую сначала трудно было уловить. Въ разсказѣ, записанномъ г. Кузнецовымъ, вы чувствуете и человѣка и солдата вмѣстѣ, и когда вспомнишь, что простой человѣкъ такъ безыскусственно и не только безъ гордости, но и безъ сознанія особеннаго достоинства своего дѣла, разсказываетъ можетъ быть, лучший подвигъ своей жизни, что онъ не старается украсить разсказъ ни однимъ хитрымъ словомъ, и не желаетъ скрыть своихъ естественныхъ чувствъ—когда подумаешь обо всемъ этомъ, да припомнишь прежніе военные разсказы нашихъ писателей, невольно удивишься тому, какъ можно было допустить столько неестественнаго въ эти разсказы..

А намъ часто еще приходится слышать вопросъ: къ чему ведутъ эти повѣсти, драмы и романы, въ которыхъ дѣйствуютъ и разговариваютъ купцы, крестьяне, солдаты?..*)

С. Дудышкинъ.

1856 г.

О Л. Н. Толстомъ вообще.—„Метель“.—
„Два Гусара“.

**) Немногіе русскіе литераторы начали свою дѣятельность такъ счастливо, правильно и разумно, какъ началъ ее графъ Л. Н. Толстой, авторъ *Дѣтства*, *Отрочества*, *Записокъ Маркера*, *Севастополя въ декабрь*, *мартъ и августъ*, *Рубки Лѣса* и послѣднихъ произведеній, названныхъ въ заглавіи нашей рецензіи. Мы и не говоримъ уже о томъ, что даровитый повѣствователь имѣлъ счастье начать свою дѣятельность въ періодъ полного сближенія между русскими дѣятелями по литературной части, въ періодъ терпимости, дружелюбія и, по возможности, ясныхъ взглядовъ на искусство—это закулисные обстоятельства русской журналистики, о которыхъ публика можетъ не знать ничего, или

*) Еще въ 1855 г. упоминается о двухъ разсказахъ Л. Н. Толстого, напечатанныхъ въ 1854 г., въ „Отеч. Запискахъ“ (т. 98, № 1, отд. IV, стр. 57).
Примѣч. В. Зелинскаго.

**) „Библиотека для Чтенія“ 1856 г., томъ 139, отд. V. „Метель“.—„Два Гусара“. *Повѣсти графа Л. Н. Толстого.—Статья А. В. Дружинина.*

почти ничего, безъ большого для себя ущерба. Въ самой литературной карьерѣ графа Толстого, въ порядкѣ его произведеній, въ приѣмѣ имъ сдѣланномъ, мы не можемъ не видѣть правильнаго, многообѣщающаго развитія, необходимаго всякому сильному таланту. Авторъ „Дѣтства“, едва выступивъ на литературное поприще, не встрѣтилъ отъ публики ни холодности ни мгновеннаго сильнаго успѣха, всегда почти дѣйствующаго на молодыхъ писателей довольно вредно. Масса читателей прочла его первую повѣсть съ удовольствіемъ, запомнила начальныя буквы, которыми было подписано произведеніе, и затѣмъ сохранила свои похвалы до дальнѣйшаго времени. Люди привычныя къ пониманію поэзіи и зорко слѣдившіе за всѣми новыми явленіями въ отечественной словесности, одни привѣтствовали появленіе новаго таланта съ горячностью:—такимъ образомъ успѣхъ произведеній графа Л. Н. Толстого прежде всего начался въ кругѣ писателей и истинныхъ дилетантовъ по литературной части. Извѣстность, начавшаяся такъ разумно, съ каждымъ годомъ увеличивалась въ самой правильной постепенности. Повѣсть „Отрочество“ утвердила всѣ надежды, возлагаемыя на новаго писателя. „Записки Маркѣра“ показали въ немъ человѣка, хорошо понимающаго многія грустныя стороны современной жизни. Рядъ кавказскихъ сценъ, называвшихся, если мы не ошибаемся, „Набѣгъ“, привлекъ къ графу Толстому симпатію многихъ читателей военнаго званія. Полный, неоспоримый, завидный успѣхъ новаго повѣствователя начался съ его очерковъ Севастополя, при началѣ въ самомъ разгарѣ и при концѣ его знаменитой осады. Тутъ уже каждое слово, каждая мастерская подробность, каждое замѣчаніе талантливаго писателя, свидѣтеля великихъ сценъ великой драмы, было оцѣнено и встрѣчено общею симпатіею. Вся читающая Россія восхищалась Севастополемъ въ ноябрѣ, Севастополемъ весною, Севастополемъ въ августѣ мѣсяцѣ. Вся читающая Россія видѣла въ поэтическихъ разсказахъ графа Толстого не одни любопытные факты, сообщаемые очевидцемъ, не одни восторженные разсказы о подвигахъ, способныхъ воодушевить самаго без-

страстного рассказчика. Всякій читатель, одаренный здравым смысломъ, видѣлъ и зналъ, что на небольшомъ клочкѣ земли, приковывавшемъ къ себѣ взоры всего свѣта черезъ необыкновенныя дѣла, тамъ происходившія, находился настоящій русскій военный писатель, одаренный зоркимъ глазомъ, слогомъ истиннаго художника, писатель, готовый дѣлиться съ публикой исторіею всего имъ видѣннаго и пережитаго во время осады Севастополя. Замѣчательно, что изъ числа всѣхъ непріязненныхъ державъ, войска которыхъ бились подъ стѣнами нашей Трои, ни одна не имѣла у себя хроникѣра осады, который могъ бы соперничать съ графомъ Львомъ Толстымъ, авторомъ немногихъ замѣтокъ о Севастополѣ, небольшихъ по объему и далеко не охватывавшихъ всего предмета. Наше увѣреніе мы произносимъ со знаніемъ дѣла, ибо не только во время войны внимательно слѣдили за корреспондентами иностранныхъ газетъ, но даже имѣли терпѣніе перечитать большое количество рассказовъ и записокъ, набросанныхъ какъ зрителями, такъ и участниками севастопольской осады. О Турціи и Сардиніи говорить нечего—первая не имѣетъ писателей, вторая подарила намъ только небольшое число страницъ, преисполненныхъ самаго смѣшного бомбаста. Французская литература представила книгу бездарнаго Базанкура, книгу почти единственную за все время, ибо статей и брошюръ военно-ученаго содержанія мы считать здѣсь не можемъ. Англія была богата отличными корреспондентами газетъ, и изъ нихъ нѣкоторые, особенно знаменитый корреспондентъ газеты Times, превосходили графа Толстого великолѣпной художественностью изложенія, замѣченною всѣми европейскими читателями. И несмотря на огромность таланта, британскіе корреспонденты были все-таки ничѣмъ инымъ, какъ фельетонистами, хотя фельетонистами великаго дарованія. Они гнались за красотой слога, были бѣдны по части безпристрастія, наконецъ, смотрѣли на дѣло не глазами поэтовъ и мыслителей, а глазами восторженной театральной публики, опьяненной видомъ красныхъ мундировъ, сверкающихъ штыковъ, скачущихъ коней и стрѣляющихъ орудій. Они были

фразерами, сами того не вѣдая. Они довели страсть къ живописнымъ подробностямъ до такой степени, что, за этими подробностями, почти не выдали смысла великой трагедіи, передъ ихъ взорами совершавшейся. Недавно въ Англіи вышли особою книгою разсказы Росселя, корреспондента Times, разсказы, о которыхъ мы теперь упоминаемъ. Мы прочли ихъ сызнова, сызнова отдали полную дань похвалы ихъ блестящему автору, и все-таки остались при своемъ мнѣніи: замѣтки графа Толстого о Севастополѣ кажутся намъ произведеніемъ несравненно высшимъ. Эти замѣтки, въ которыхъ дѣйствуютъ вымышленныя лица, поражаютъ правдою и отсутствіемъ фразы, — письма великобританскаго разсказчика, въ которыхъ все списано съ натуры, озадачиваютъ внимательнаго читателя иногда стремленіемъ къ фразѣ, иногда положительною неправдою. Мы советуемъ людямъ, читающимъ по-англійски, самимъ провѣрить наши замѣчанія. Пусть они возьмутъ изъ Росселевой книги, на выборъ, ея блистательнѣйшіе пассажи, повергавшіе всю Европу въ восхищеніе — какъ, напримѣръ, начало инкерманскаго дѣла, кавалерійскую атаку подъ Балаклагою, атаку русскихъ гусаровъ на шотландскій полкъ сира Колина Кембелля, изображеніе поля инкерманскаго ночью, послѣ битвы. Все это великолѣпно, поразительно, показываетъ въ авторѣ истиннаго художника — надо въ томъ признаться, но во сколько разъ вѣрнѣе и трогательнѣе въ замѣткахъ графа Толстого изображеніе графской пристани, звѣздной ночи во время бомбардировки, перемирія для уборки тѣлъ, наконецъ, Володи Козельцова, семнадцатилѣтняго артиллерійскаго прапорщика въ первую ночь послѣ пріѣзда въ Севастополь. По части чисто-художественной, нашъ русскій авторъ иногда не уступаетъ своему англійскому сопернику; чтобы въ томъ убѣдиться, достаточно прочитать тѣ страницы „Севастополя въ августѣ“, на которыхъ разсказанъ переходъ братьевъ Козельцовыхъ съ сѣверной стороны на южную, въ темную ночь, при волнахъ, бьющихъ въ края моста, въ виду непріятельскаго флота, огни котораго какъ-то дерзко пробиваются сквозь мглу тягостной ночи!

Но не одной картинностью изображений силенъ нашъ русскій писатель. Мысль и поэзія неразлучны съ его очерками, и эта мысль есть мысль человѣка высоконравственнаго, эта поэзія не можетъ назваться театральною поэзіею. Англійскій писатель съ потрясающей вѣрностью рисуетъ намъ, въ какихъ изумительныхъ положеніяхъ лежали люди, убитые подъ Инкерманомъ — этотъ дагеротипный очеркъ, при всей его разительности, очевидно составленъ для празднаго читателя, говорящаго за чаемъ: „Я хочу знать все, все, — и въ чемъ былъ одѣтъ непріятель, и что подумали иностранцы, увидавъ шотландскіе полки, лишенные самой необходимой части одежды!“ До дагеротиповъ подобнаго рода графъ Толстой не доходитъ, его воздержность можетъ служить урокомъ всякому писателю, особенно начинающему. Изображая намъ перемиріе во время уборки труповъ, онъ не станетъ изображать намъ положеній, въ какихъ лежали жертвы недавняго боя, но онъ заставитъ читателя почувствовать то, что чувствовалъ самъ во-время сказаннаго зрѣлища. Англійскій корреспондентъ, рассказывая про кавалерійское дѣло подъ Балаклагою, несмотря на всю свою горячность, подступаетъ къ своей задачѣ словно къ описанію великолѣпной скачки съ препятствіями. Графъ Толстой скупъ на великолѣпныя описанія, ибо хорошо знаетъ, что война кажется великолѣпнымъ дѣломъ только для поверхностныхъ зрителей, дилетантовъ. Подвиги, имъ изображаемые, не имѣютъ въ себѣ никакого великолѣпія, кромѣ великолѣпія нравственнаго, если позволено такъ выразиться. Его герои не скачутъ на кровныхъ лошадяхъ при трубномъ звукѣ — они сидятъ въ душныхъ блиндажахъ, геройски переносятъ операціи, лежа на окровавленной госпитальной койкѣ, поддерживаютъ раненаго товарища и безстрашно идутъ на вылазку, во всей трогательной прозѣ военной жизни, въ фуражкахъ и розовыхъ рубашкахъ съ разстегнутымъ воротомъ, иногда даже въ стоптанныхъ сапогахъ, потому что недосугъ думать о сапогахъ, когда предстоятъ дѣла другого рода. Нужно ли сказывать, чьи картины вѣрнѣе и который изъ двухъ писателей оказалъ большую услугу массѣ своихъ согражданъ?

Превосходство нашего автора надъ многими хроникёрами крымской кампаніи заключается не въ одномъ складѣ его дарованія, преисполненнаго правды и разумности. Графъ Толстой, въ своихъ разсказахъ о Севастополѣ, важенъ какъ человекъ военный, какъ счастливѣйшій представитель образованнѣйшей части нашего достославнаго воинства. Онъ попалъ въ Крымъ не въ видѣ зрителя и живописца по приглашенію, не въ видѣ туриста, любящаго сильныя ощущенія, даже не въ видѣ литератора, явившагося на поле борьбы за новымъ вдохновеніемъ. Нашъ новый нувелистъ и дорогой товарищъ — русскій офицеръ, начавшій свою службу на Кавказѣ, много ночей спавшій у костра, рядомъ съ артиллерійскими солдатами, выдавшій въ свою жизнь военныя дѣла и уже присмотрѣвшійся къ той картинности военного быта, которая всегда неотразимо поражаетъ людей, незнакомыхъ съ жизнью воина. Для него русскій солдатъ интересенъ не въ однѣхъ массахъ и не въ одной полной парадной формѣ, такъ драгоценной англійскимъ корреспондентамъ: графъ Толстой знаетъ и любитъ солдата во всѣхъ видахъ и во всѣхъ случаяхъ солдатской жизни. Для его ума, изощреннаго раннимъ наблюденіемъ, извѣстное число военныхъ людей уже не представляется какою-то безразличною массою одинаково одѣтаго народа, сходнаго между собой по нравамъ, какъ и по костюму. Все общее, случайное, давно уже отброшено нашимъ правоописателемъ военного быта; все типическое, оригинальное, самостоятельное, прямо вытекающее изъ характера русскаго человека, предназначеннаго на военную дѣятельность, даетъ пищу графу Толстому, какъ поэту и какъ простому разсказчику. Оттого намъ какъ нельзя болѣе понятна та завидная популярность, какою пользуется нашъ писатель Л. Н. Т., то-есть графъ Толстой, между образованнѣйшими классами военного сословія. Можетъ быть, онъ самъ не догадывается о размѣрахъ этой популярности; но по нашему собственному опыту, довольно многостороннему по этой части, ея размѣры, увеличиваясь со всякимъ днемъ, уже достигли самой завидной степени. Огромная часть чи-

тателей, служившихъ въ вѣдѣнной службѣ, горячо интересуется дарованіемъ новаго повѣствователя. Служащая молодежь читаетъ произведенія его съ жадностью. Много разъ намъ приходилось своими ушами слышать отзывы такого рода: „Никогда, ни одинъ русскій писатель не умѣлъ такимъ образомъ изображать русскаго военнаго человѣка“. *Набѣгъ* и *Рубка Лѣса* привлекли къ графу Толстому вниманіе большей части кавказцевъ. Каждый изъ геройскихъ защитниковъ Севастополя съ наслажденіемъ читалъ севастопольскіе очерки, о которыхъ сейчасъ говорилось; военные молодые люди зачитываются вещами графа Толстого и, можетъ быть, недалеко отъ насъ пора, когда они будутъ гордиться его дальнѣйшею дѣятельностью. По послѣднимъ извѣстіямъ, въ Петербургѣ скоро выйдутъ въ свѣтъ, отдѣльною книгою, всѣ военные рассказы нашего автора—успѣхъ изданія намъ кажется несомнѣннымъ. Когда оно будетъ кончено, мы еще разъ поговоримъ о графѣ Толстомъ, какъ военномъ рассказчикѣ; теперь же намъ предстоитъ сдѣлать нѣсколько бѣглыхъ замѣтокъ по поводу его послѣднихъ вещей, недавно напечатанныхъ въ „Современникѣ“.

Подведя итогъ всему тому, что мы уже сказали о дарованіи молодого нашего повѣствователя, мы видимъ себя въ правѣ высказать мысль весьма утѣшительную. По независимости своего таланта, по разумности своего направленія, по отвращенію ко всякой фразѣ — качеству, до крайности рѣдкому въ наше время — графъ Левъ Толстой представляется намъ какъ одинъ изъ безсознательныхъ представителей той теоріи свободнаго творчества, которая одна кажется намъ истинною теоріею всякаго искусства. Невозможно предположить, чтобъ авторъ „Дѣтства“ и „Двухъ Гусаровъ“ дошелъ до этой теоріи путемъ долгаго опыта и изслѣдованіемъ вопросовъ о значеніи искусства; но всякій знаетъ, что натурамъ, блистательно одареннымъ, писателямъ, исполненнымъ истиннаго поэтическаго чутія, пониманіе правды дается вмѣстѣ съ самимъ талантомъ. Не одинъ очень молодой поэтъ, едва вступивъ на литературное поприще, открывалъ тѣ самые пути, около которыхъ

опытные критики ходили много лѣтъ, ничего не видя и ничего не открывая. Все дѣло въ свѣжести дарованія, соединенной съ тою стойкостью натуры, безъ которой никогда не предпринимается ничего прочнаго. По первымъ произведеніямъ Л. Н. Т., въ немъ не трудно было распознать писателя вполне независимаго. Самая тѣнь рутины не касалась его молодыхъ силъ. Онъ не зналъ многого, но зато и не заблуждался во многомъ. Для него какъ-будто не существовало прошлаго; всѣ мелкіе грѣшки нашей словесности, — ея общественный сентиментализмъ, — ея робость передъ новыми путями, — ея одностороннее стремленіе къ отрицательному направленію, наконецъ, остатки стараго дидактическаго педантизма, отнявшіе столько силы у нашихъ современныхъ дѣятелей, — ни мало не отразились на талантѣ новаго повѣствователя. Когда постоянный рядъ успѣховъ, наконецъ, доставилъ графу Толстому почетное мѣсто въ строю русскихъ писателей, онъ уже твердо стоялъ на своихъ ногахъ, не чувствуя никакого расположенія увлекаться подражаніемъ кому бы то ни было. Дорожа своею первой дѣятельностью, онъ ясно увидалъ, какъ бесполезно рисковать ею, устремляясь съ своею собственной дороги на путь чуждый. Ни къ сентиментализму, ни къ дидактическимъ фразамъ любви онъ не чувствовалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ далекъ и отъ другой крайности возрѣнія, вслѣдствіе котораго искусство чистое, но понятое черезъ чуръ исключительно, становится проводникомъ мелкаго дагеротипнаго реализма, не оживленнаго никакой дѣльной мыслию. Вѣря въ себя и въ свое призваніе, онъ отшатнулся отъ всѣхъ преходящихъ возрѣній, и пошелъ по той дорогѣ, куда влекла его сила таланта. Судьба, такъ благосклонная къ нашему автору при самомъ началѣ его поприща, не измѣнила ему и въ минуту кризиса. Теперь для насъ не можетъ быть сомнѣнія въ дальнѣйшемъ направленіи всей дѣятельности графа Толстого. Онъ навсегда останется независимымъ и свободнымъ творцомъ своихъ произведеній. Ему нечего бояться литературной рутины: онъ не будетъ писать сентиментальныхъ диссертаций на современные темы, и вмѣстѣ

съ тѣмъ, не станеть изображать какого-нибудь журчанья ручейка, если его собственное настроеніе не повлечетъ его къ журчащему ручью съ непреодолимою силою. Онъ будетъ прямъ и искрененъ въ проявленіяхъ своей поэтической фантазій. Если ему вздумается написать идиллію—никакой авторитетъ не склонитъ его передѣлать идиллію въ сатиру. Если вдохновеніе застанеть его въ минуты тяжелыя для души—графъ Толстой не станеть насиловать себя для идиллической картины. Весь міръ раскроется передъ нимъ съ своими свѣтлыми и темными сторонами, а онъ не устремится къ той или другой сторонѣ міра по чужому указанію. Оттого въ графѣ Толстомъ еще болѣе, нежели въ другомъ его сильномъ сверстникѣ—Островскомъ, мы видимъ правильное наступательное движеніе современной изящной словесности въ сторону истиннаго пониманія законовъ искусства. Г. Островскій, при всѣхъ его заслугахъ, при всей важности дѣла имъ совершеннаго, имѣлъ свои колебанія и склонялся къ дидактикѣ своего рода. Независимость и литературная самостоятельность автора „Дѣтства“ были постоянно одинаковы во всѣ періоды его дѣятельности. Нельзя не подивиться и не порадоваться этой несокрушимой стойкости направленія, устоявшей противъ всѣхъ искушеній, противъ всѣхъ иллюзій молодости, противъ литературныхъ преданій, наложившихъ свое вліяніе на души талантливыхъ, самыхъ опытныхъ нашихъ товарищей. Можно находить многіе недостатки въ произведеніяхъ Толстого, но направленію ихъ не можетъ сдѣлать упрека критикъ самый придирчивый. Тутъ нѣтъ ни преднамѣренной дидактики, ни идиллической несостоятельности передъ темной стороной жизни, — ни заранѣе накинутаго на себя мизантропіи, ни розоваго свѣта, ни безстрастія, ни сантиментальности. Тутъ все твердо и свободно. Преднамѣренно-поучительная мысль не выглядываетъ отовсюду, какъ кость какого-нибудь сухощаваго оратора, наставительныя умозрѣнія не портятъ своимъ присутствіемъ поэзіи свободной и чистой, — чистая поэзія не исключаетъ серьезнаго взгляда на дѣла жизни. Все строго и соразмѣрно съ своей цѣлью, всѣ стороны

міра равны передъ поэтическимъ взглядомъ писателя, — и самъ писатель твердо вѣрить, что ему дано отъ судьбы полное право идти въ ту сторону, куда зоветъ его загадочная и талантливая сила, называемая вдохновеніемъ.

Наши критики часто грѣшатъ тѣмъ, что любятъ, по поводу каждаго отдѣльнаго произведенія, дѣлать общіе выводы о направленіи писателя, только-что напечатавшаго это произведеніе. Метода поспѣшныхъ журнальных обзорѣній ведетъ къ сказанной погрѣшности и, слѣдовательно, ко всѣмъ вреднымъ результатамъ, отъ нея происходящимъ. По милости этой методы, у насъ всякій, сколько-нибудь порядочный писатель безъ всякаго дурного помысла выставляется человѣкомъ, поминутно мѣняющимъ свои воззрѣнія, прыгающимъ изъ одной крайности въ другую, непрерывно творящимъ работу Сизифа, взбѣгающимъ на ту вершину, гдѣ стоитъ храмъ Славы, а потомъ низвергающимся въ пучину безсилія. Въ замѣнъ того, у насъ очень мало статей, въ которыхъ разбирается писатель за извѣстное время своей дѣятельности, въ общей сложности своихъ произведеній. То, что мы теперь говоримъ, весьма важно, напри- мѣръ, въ отношеніи къ графу Толстому, какъ писателю замѣчательной самостоятельности. У него одна вещь безпрестанно дополняетъ другую, вяжется съ общою массою повѣстей и служитъ новымъ выраженіемъ той свободы творчества, о которой мы столько говорили. По „Дѣтству“ и „Отрочеству“, взятымъ отдѣльно, никакъ не угадаешь сочинителя „Очерковъ Севастополя“. Грустный реализмъ „Маркера“ совершенно не сходенъ съ тонкой прелестью „Набѣга“, „Метель“ не имѣетъ почти ничего общаго съ „Двумя Гусарами“. А между тѣмъ о каждой изъ этихъ вещей говорилось и въ журналахъ и въ литературныхъ бесѣдахъ, какъ о чемъ-то совершенно отдѣльномъ и вполне выражающемъ автора. Намъ случалось слышать жалобы на недостатокъ внѣшняго интереса въ „Метели“, на предубѣжденіе графа Толстого въ пользу стараго времени, предубѣжденіе, будто бы высказавшееся въ „Двухъ Гусарахъ“. О томъ же, сколько силы и смѣлости заключалось во всѣхъ

его произведеніяхъ, взятыхъ въ общей сложности, и говорилось рѣдко, а писалось еще рѣже. „Метель“ и „Два Гусара“, къ подробной оцѣнкѣ которыхъ мы теперь приступаемъ, дѣйствительно какъ будто написаны двумя разными лицами. Одна вещь полна тонкой, почти неуловимой поэзіи; вторая есть не что иное, какъ рядъ мастерски набросанныхъ сценъ самаго оживленнаго содержанія. Въ „Метели“ даровитый авторъ создаетъ цѣлую фантастическую картину изъ предмета, о которомъ прозаичный человѣкъ не способенъ сказать десяти словъ къ ряду;— въ „Двухъ Гусарахъ“ просто и почти жестко передаются событія, изъ которыхъ легко сдѣлать два романа. Тамъ—русская проза, подъ перомъ художника, по временамъ достигаетъ тѣхъ предѣловъ, къ которымъ и хорошій стихъ не всегда подходитъ; здѣсь—лица и событія истинно поэтическія, очеркнуты небрежными штрихами, широкими, но какъ будто рѣзкими по своему очертанію. Въ одной вещи авторъ раскрываетъ передъ нами область неуловимыхъ, личныхъ ощущеній, испытанныхъ имъ въ данный моментъ его дорожной жизни; въ другой онъ совершенно исчезаетъ самъ, оставляя жить и дѣйствовать своихъ героевъ. И между тѣмъ оба произведенія, совершенно несходныя ни по манеру разсказа, ни по замыслу, суть прямое послѣдствіе тѣхъ разнообразныхъ задатковъ, которыми такъ богаты первые произведенія графа Толстого. Человѣкъ, написавшій „Дѣтство“ и „Отрочество“, совмѣщалъ въ себѣ разныя стороны таланта, стороны для разработки которыхъ всей жизни его едва будетъ достаточно. Обладая въ одно время и поэтическимъ инстинктомъ и твердымъ взглядомъ на жизнь, — и даромъ могучаго анализа, и самобытной силой фантазіи, нашъ авторъ будетъ постоянно дарить своихъ читателей твореніями самаго многосторонняго значенія, твореніями, изъ которыхъ, какъ мы надѣемся, каждое будетъ представлять собою новую степень полного обладанія своимъ завиднымъ талантомъ.

Задача, которую далъ себѣ графъ Толстой, принимаясь писать „Метель“, принадлежитъ къ числу труднѣйшихъ

задачу искусства. Мы обманули бы и себя и автора, такъ нами уважаемаго, если-бъ сказали, что задача эта выполнена вполне удовлетворительно. У Графа Толстого много дѣятельности впереди, его трудъ надъ своимъ талантомъ только-что начинается. Много разъ еще придется ему возвращаться въ свой лагерь безъ рѣшительной побѣды, много разъ еще увидить онъ несоразмѣрность молодыхъ своихъ силъ съ трудностью задуманнаго предпріятія, но все это ничего не значитъ: тяжелая борьба нужна каждому таланту; успѣхи мгновенныя, удачи, добытыя съ легкостью, даются лишь однимъ міровымъ геніямъ. Вещи, въ родѣ „Метели“, но отъ начала до конца проникнутыя поэзіею самыхъ тяжелыхъ моментовъ человѣческаго существованія, до сихъ поръ удавались у насъ лишь Пушкину и Гоголю. „Евгеній Онѣгинъ“ полонъ отрывками въ такомъ родѣ. „Въ Капитанской Дочкѣ“ есть глава, не только по задачѣ, но и по нѣкоторымъ подробностямъ сходная съ „Метелью“. Почти то же находимъ мы въ иныхъ повѣстяхъ Гоголя и въ его „Мертвыхъ Душахъ“ (для примѣра укажемъ на главу съ дорожными воспоминаніями дѣтства). Изъ писателей современныхъ г. Тургеневъ, главная сила котораго заключается въ поэтическомъ складѣ таланта, обязанъ подобной задачею лучшими страницами „Записокъ Охотника“. Г. Фетъ, какъ талантъ высокопоэтический, съ большою удачею разработалъ не одну тему въ родѣ „Метели“. Но ни Фетъ ни Тургеневъ не давали своимъ вещамъ того размѣра, который приданъ „Метели“. Ихъ прекрасныя опыты выигрывали отъ своей краткости, ибо въ вещахъ, преисполненныхъ тонкаго поэтического интереса, одна страница, не достигающая цѣли, предположенной авторомъ, есть пятно на всемъ произведеніи. Пушкинское стихотвореніе „Бѣсы“ потеряло бы половину своей изумительной прелести, еслибъ въ немъ было хотя два стиха безъ поэзіи. Nocturno Фета никуда не годилось бы отъ одного прозаичнаго слова, поставленнаго для риемы. Съ прозой, въ родѣ „Метели“, ея авторъ долженъ обращаться какъ съ стихотвореніемъ, и причина тому весьма понятна. Въ чемъ собственно состоитъ задача разсказа „Ме-

тель“, это мы уже обозначили. Въ немъ авторъ рассказываетъ о томъ, какъ онъ заблудился въ дорогѣ, въ зимнюю ненастную ночь; какъ его ямщикъ кружилъ около дороги, наконецъ, увязался за обозомъ, также сбившимся съ прямого идти, и, наконецъ, послѣ долгаго утомительнаго перѣзда, съ разсвѣтомъ пріѣхалъ на станцію. Ясно, что при такомъ содержаніи дѣло не во внѣшнихъ событіяхъ, но въ драматическихъ положеніяхъ, не въ яркихъ картинахъ, но умныхъ мысляхъ. Зимняя ненастная ночь, про которую говорили мы, оставила въ душѣ поэта извѣстное неизгладимое впечатлѣніе, которое онъ, съ своей стороны, желаетъ передать читателямъ. Тутъ намъ и видна вся трудность темы. Всякое истинное и сильное впечатлѣніе поэта имѣетъ право быть переданнымъ, ибо въ основаніи его всегда лежитъ цѣлый міръ поэтическихъ ощущеній, тѣмъ болѣе неуловимыхъ и тонкихъ, чѣмъ предметъ ихъ немногосложнѣе. Графъ Толстой смѣло подходитъ къ своему дѣлу и ведетъ его мастерски, въ томъ надо признаться. Зорко подмѣчаетъ онъ всѣ мельчайшія поэтическія подробности внѣшняго и внутренняго міра, съ безконечной правдой рисуетъ онъ намъ картину за картиною, и мѣстами, какъ, напримѣръ, въ описаніи своего тревожнаго сна, возвышается до поэзіи, по истинѣ изумительной. Начало вьюги, описаніе обоза, сонъ, наконецъ, разсвѣтъ и прибытіе на станцію—все это способно привести въ сумасшедшій восторгъ всякаго читателя, чующаго поэзію; но, къ сожалѣнію, это одни слабо-связанные эпизоды, между которыми самъ авторъ часто выказываетъ свое собственное утомленіе. Во всемъ рассказѣ есть подробности ненужныя и мѣста необработанныя достаточно. Цѣль не достигнута съ одного разу—тогда, какъ по сущности задачи, безъ этого нельзя было обойтись. Съ той минуты, какъ читатель находитъ первую длину въ „Метели“,—все произведеніе уже, становится замѣчательнымъ эпизодомъ, но никакъ не оконченнымъ созданіемъ.

Мы не считаемъ ни полезнымъ ни нужнымъ распространяться о томъ, какими путями графъ Толстой долженъ бы былъ дѣйствовать для того, чтобъ сдѣлать изъ „Метели“

образцовое произведение, достойное стоять на ряду съ драгоценнѣйшими перлами русской поэзіи. Авторъ почти всегда есть хорошій судья своихъ собственныхъ произведеній; наша мысль становится еще вѣрнѣе въ ея примѣненіи къ трудамъ писателя, столь самостоятельнаго и спокойнаго въ своихъ приѣмахъ. Мы не скажемъ даже ни слова о томъ, что графъ Толстой и въ настоящее время можетъ поработать надъ „Метелью“, избравши для этой тонкой работы какіе-нибудь мѣсяцы полного уединенія. Сокративъ въ разсказѣ то, что не можетъ быть введено въ рядъ свѣтлыхъ образовъ, связавъ всѣ его эпизоды твердою нитью, пройдя по многимъ подробностямъ съ помощью своего поэтического рѣзца, авторъ можетъ сдѣлать многое, но ему одному приходится рѣшать—возьмется ли онъ за трудъ такого рода. Графъ Толстой долженъ писать много, какъ всѣ таланты, имѣющіе сказать многое. Очень вѣроятно, что ему нѣкогда смотрѣть назадъ, имѣя столько прямой дороги передъ собою,—и не мы станемъ обвинять его, если онъ забудетъ про „Метель“, и подойдетъ къ новымъ задачамъ съ новыми силами. Есть что-то здоровое, вдохновляющее въ пылкой молодой дѣятельности разума писателя не уклоняющагося ни передъ какою трудностью, не задумывающагося ни передъ какимъ новымъ шагомъ. Пускай онъ набрасываетъ свои эпизоды и тѣшится многосторонними проявленіями собственной силы. Пусть онъ открываетъ какъ можно болѣе широкихъ путей для своей дальнѣйшей дѣятельности. Иному дана быстрота, иному мѣшкотность творчества. Иной поэтъ можетъ сидѣть дни, обрабатывая одну страницу, другой этого дѣлать не въ силахъ. Кажется намъ, что пора усидчиваго труда еще не наступила для графа Толстого. Ему еще льстятъ и борьба съ своимъ дарованіемъ, и смѣлость натиска, и надежда на быструю побѣду. Онъ слишкомъ часто вдается въ эскизную живопись, какъ будто сочувствуя вопіющему парадоксу Брюлова о томъ, что *копотливость труда есть признакъ безсилія*. Парадоксъ Брюлова принесъ много вреда дѣлу художества, но онъ имѣетъ и нѣкоторую разумную сторону. Въ періодъ разгара молодыхъ силъ, художнику еще рано

возиться съ самимъ собою. Начинаящимъ талантамъ полезны быстрота и изобиліе эпизодовъ—черезъ нихъ его способности пріобрѣтутъ многосторонность, достоинство весьма важное для художника.

Глядя на „Метель“, какъ на этюдъ даровитаго писателя, мы не можемъ имъ не наслаждаться. Стройности въ немъ нѣтъ, это мы уже сказали. Но въ немъ есть жизнь, есть слогъ, есть то рѣдкое сліяніе могучаго анализа съ тонкой поэзіею, которое само по себѣ, безъ всякихъ постороннихъ примѣсей, ставитъ графа Толстого прямо въ ряды перво-классныхъ русскихъ писателей. Примирившись съ недостатками разсказа и признавъ его эпизодомъ замѣчательнаго писателя, мы получаемъ возможность перечитывать его съ пользою и наслажденіемъ. Результатъ нѣкоторыхъ страницъ таковъ, что, по вторичномъ ихъ прочтеніи, мы думаемъ о томъ, что въ нихъ изображено, какъ о фактахъ и впечатлѣніяхъ, пережитыхъ нами самими. Остановливаясь надъ красотами вещи, мы незамѣтно приходимъ къ уразумѣнію другихъ ея, если можно такъ выразиться, отрицательныхъ достоинствъ.

Вещи, въ родѣ „Метели“, по временамъ пишутся любителями искусства чистаго на заданную тему, иногда какъ противодѣйствіе дидактическимъ повѣстямъ, иногда какъ попытки къ воссозданію поэтическаго ощущенія, въ сущности своей не вполне прочувствованнаго. Оттого выходитъ или скука или явная неискренность въ картинахъ или анализѣ ощущеній. Въ „Метели“ нѣтъ ничего подобнаго. Авторъ мѣстами утомляется своей задачей, но онъ не говоритъ ни одного выраженія „для красоты слога“. Онъ иногда бьетъ дальше своей цѣли и ошибается, не вслѣдствіе бѣдности, а вслѣдствіе обилія подробностей. Его собственныя впечатлѣнія не смутны и не сбивчивы, но часто черезъ-чуръ изобильны, во вредъ общему ходу разсказа. Описаніе лошадей съ ихъ спинами, фізіономіями, кисточками на сбруѣ, колокольчиками, изображеніе извозчиковъ со всѣми частями ихъ наряда, совершенно вѣрны, но мѣстами излишни. Нѣтъ сомнѣнія, что второй разсказа превосходно высмотрѣлъ и воспринялъ ду-

пою все то, о чемъ онъ бесѣдуетъ съ нами, — но нельзя ошибаться и насчетъ того, что онъ не сдѣлалъ надлежащаго *выбора* изъ своихъ впечатлѣній. Его воображеніе напоминаетъ собою молодой и смѣшанный лѣсъ, который мѣстами гложетъ отъ собственной своей густоты. Поэтовъ часто сравнивали съ водолазами, ныряющими въ глубину моря за жемчугомъ, — подробное разсмотрѣніе всего процесса при ловлѣ раковинъ можетъ быть вполне примѣнено къ предмету нашему. Ловецъ, ныряя въ глубину, видитъ на днѣ моря множество раковинъ, но онъ долженъ, въ короткій моментъ своего пребыванія подъ водою, различить между ними тѣ, которыя стоитъ поднять. Въ иныхъ жемчужина слишкомъ мала, въ другихъ она едва начинаетъ формироваться. Молодой и горячій водолазъ обыкновенно забираетъ множество раковинъ, обременяетъ себя ношею и слишкомъ долго остается подъ водою, для малой выгоды. Его болѣе опытный товарищъ выноситъ гораздо менѣе добычи, но въ каждой раковинѣ, имъ добытой, имѣется по крупному зерну. Тоже и съ дѣломъ поэзіи. Прекрасно имѣть поэтическую душу; прекрасно бросаться съ полной отважностью въ сокровеннѣйшія глубины своего сознанія; прекрасно выносить оттуда жемчужины всѣхъ видовъ и размѣровъ. Все это ступени художественнаго совершенства. Но есть еще одна послѣдняя ступень — *выборъ* поэтическихъ перловъ.

Къ драгоценнѣйшимъ страницамъ „Метели“ мы причисляемъ воспоминанія автора, изнуреннаго и холодомъ и долгимъ переѣздомъ. Эти страницы мы здѣсь выписываемъ и этой выпискою заключаемъ нашъ запоздалый отзывъ. Въ нихъ сказывается вся сила нашего автора. Кто такъ пишетъ, тому не страшно глядѣть впередъ себя, на какія бы ни было поэтическія задачи... (Слѣдуетъ длинная выписка, начинающаяся словами: „Воспоминанія и представленія съ усиленной быстротой смѣнялись въ воображеніи“... и кончающаяся:... „И валежъ этотъ, какъ инструментъ пытки, сжимаетъ мою ногу, которая забнетъ,—я засыпаю“).

Задача „Двухъ Гусаровъ“ гораздо проще, чѣмъ задача

„Метели“, оттого все произведение уже вышло не этюдомъ, а прекрасной повѣстью въ двухъ отдѣленіяхъ, изобильною значительными красотою и страницами крайне поэтическими. Первая половина произведенія происходитъ въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія или вскорѣ послѣ кампаніи 12-го года. Лихой гусарь, графъ Турбинъ, одинъ изъ героевъ давидовской школы, представитель старыхъ гусаровъ съ красносизыми носами, приѣзжаетъ, промотавшись дочиста, въ небольшой городокъ, гдѣ его встрѣчаютъ съ почетомъ и нѣкоторымъ страхомъ. Онъ кутитъ за десятерыхъ, даетъ подзатыльники своему деньщику, очаровываетъ на балѣ барынь и барышень, *романсуетъ* съ одной изъ нихъ, вторгается въ ея карету, потомъ къ ней въ домъ, откуда убѣгаетъ въ чужой шубѣ, напивается у цыганъ, совершаетъ множество проказъ самаго необузданнаго свойства, и исчезаетъ изъ города на лихой тройкѣ съ колокольчиками и бубенчиками. „Бурцовъ, ера-забіяка“, безъ сомнѣнія, былъ бы приведенъ въ восторгъ дѣлами графа Турбина, но читатель нашего времени не старый гусарь „съ киверомъ на бекрень и винотѣчивою баклажкой“. Онъ готовъ отозваться о героѣ повѣсти, какъ о гнусномъ буйнѣ; но, къ счастью, между своими буйными подвигами, графъ Турбинъ мимоходомъ сдѣлалъ доброе дѣло, какъ Конрадъ лорда Байрона. Въ гостиницѣ, куда онъ прибылъ, живетъ молоденькій поручикъ Ильинъ, проигравшій казенныя деньги какому-то шулеру. Положеніе несчастнаго юноши обрисовано нашимъ авторомъ превосходно. Какая бездна правды, комизма и оригинальности въ этомъ небольшомъ отрывкѣ!

„Погубилъ я свою молодость“, сказалъ онъ (Ильинъ) вдругъ самъ себѣ, не потому, чтобы онъ дѣйствительно думалъ, что онъ погубилъ свою молодость—онъ даже вовсе и не думалъ объ этомъ, но такъ ему пришла въ голову эта фраза.

„Что теперь я буду дѣлать?“ разсуждалъ онъ. „Занять у кого-нибудь и уѣхать“. Какая-то барыня прошла по тротуару. „Вотъ такъ глупая барыня“, подумалъ онъ отчего-то. „Занять не у кого. Погубилъ я свою молодость“. Онъ

подошелъ къ рядамъ. Купецъ въ лисьей шубѣ стоялъ у дверей лавки и зазывалъ къ себѣ. „Коли бы восьмерку я не снялъ, я бы отыгрался“. Нищая старуха хныкала за нимъ. „Занять-то не у кого“. Какой-то господинъ въ медвѣжьей шубѣ проѣхалъ, булочникъ стоитъ. „Что бы сдѣлать такое необыкновенное? Выстрѣлить въ нихъ? Нѣтъ, скучно! погубилъ я свою молодость. Ахъ, хомуты славные съ наборомъ висятъ. Вотъ бы на тройку сѣсть. Эхъ вы, голубчики! Пойду домой. Лухновъ скоро прійдетъ, играть станемъ“. Онъ вернулся домой, еще разъ счелъ деньги. Нѣтъ, онъ не ошибся въ первый разъ: опять изъ казенныхъ недоставало 2,500 рублей. „Поставлю первую 25, вторую уголь... на семь кушей, на 15, на 30, на 60... 3,000. Куплю хомуты и уѣду. Не даетъ злодѣй! Погубилъ я свою молодость“

„Ильинъ только что кончилъ игру и, проигравъ всѣ деньги до копейки, внизъ лицомъ лежалъ на диванѣ изъ разорванной волосаной матеріи, одинъ за однимъ выдергивая волосы, кладя ихъ въ ротъ, перекусывая и выплевывая. Двѣ сальные свѣчи, изъ которыхъ одна уже догорѣла до бумажки, стоя въ ломберномъ заваленномъ картами столѣ, слабо боролись со свѣтомъ утра, проникавшимъ въ окна. Мыслей въ головѣ улана никакихъ не было: какой-то густой туманъ игорной страсти застилалъ всѣ его душевныя способности, даже раскаянія не было. Онъ попробовалъ разъ подумать о томъ, что ему теперь дѣлать, какъ выѣхать безъ копейки денегъ, что скажетъ полковой командиръ, что скажетъ его мать, что скажутъ товарищи — и на него нашелъ такой страхъ и такое отвращеніе къ самому себѣ, что онъ, желая забыться чѣмъ-нибудь, всталъ, сталъ ходить по комнатамъ, стараясь ступать только на щели половицъ, и снова началъ припоминать себѣ всѣ мельчайшія обстоятельства происходившей игры. Онъ живо воображалъ, что уже отыгрывается и снимаетъ девятку, кладетъ короля пикъ на двѣ тысячи рублей, направо ложится дама, налѣво тузъ, направо король бубень—и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а налѣво король бубень, тогда совсѣмъ бы оты-

грабля, поставилъ бы еще все на нее и выигралъ бы тысячу пятнадцать чистыхъ, купилъ бы себѣ тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фаянтъ купилъ бы. Ну что-же еще потомъ? да, ну и славная, славная бы штука была.

Онъ опять легъ на диванъ и сталъ грызть волосы“.

Графъ Турбинъ тронутъ положеніемъ мальчика; онъ идетъ въ номеръ шулера и предлагаетъ ему играть съ собою. На отказъ артиста отвѣчаетъ онъ ударомъ кулака, а затѣмъ кончаетъ дѣло съ обычной своею нецеремонностью. Деньги Ильина отобраны и возвращены законному владѣтелю. Въ первый разъ пробѣжавъ эту довольно жесткую сцену, мы посѣтовали на графа Толстого: по нашему мнѣнію, онъ могъ бы обработать ее гораздо занимательнѣе, если не мягче. Но при второмъ чтеніи мы почти отступились отъ своего приговора: въ самой рѣзкости и крутости разсказа показалось намъ нѣчто особенно подходящее къ личности графа Турбина. Съ отъѣздомъ стараго гусара, кончается первый эпизодъ повѣсти, о которой трудно забыть, разъ ее прочитавши. Фигуры Турбина, хорошенькой Анны Ѳедоровны, ея родственника, воображающаго себя кавалеристомъ, обманнаго юноши Ильина, и живы и правдивы совершенно. Сцена у цыганъ исполнена поэзіи; не одинъ изъ любителей цыганскаго пѣнія, ее читавшій, говорилъ намъ о ней почти со слезами. Эпизодъ скорѣе грѣшитъ краткостью, нежели чѣмъ-нибудь другимъ, — когда онъ кончается, намъ становится жаль и необузданнаго гусара и его провинціальныхъ знакомцевъ. Вторая половина повѣсти происходитъ въ наше время. Старый гусаръ умеръ. Ильинъ сдѣлался бригаднымъ генераломъ. Изъ старыхъ друзей читателя на сценѣ остаются лишь Анна Ѳедоровна и ея кавалеристъ родственникъ. Къ нимъ въ усадьбу приходитъ съ эскадрономъ сынъ графа Турбина, молодой гусаръ новаго поколѣнія.

Мы не намѣрены пересказывать читателю второго эпизода „Два Гусара“; тонкая поэзія описаній и великая сила анализа, въ немъ проявившіяся, требуютъ слишкомъ долгаго

труда для ихъ оцѣнки. Достаточно будетъ сказать, что графъ Турбинъ сынъ, красивый и изящный юноша, безъ всякой необузданности въ своемъ характерѣ, оказывается существомъ не въ примѣръ непривлекательнѣйшимъ, чѣмъ его родитель. При всей своей великосвѣткости, при всемъ своемъ наружномъ лоскѣ, юноша не сохраняетъ въ себѣ и тѣни отцовскаго благородства. Его нельзя назвать существомъ порочнымъ вполнѣ, но онъ сухъ и черствъ душою, въ концѣ разслабленъ пустой жизнью и жалкимъ воспитаніемъ. Онъ не стыдится жить почти на счетъ своего товарища, холодно отзываться о памяти своего родителя, извлекать выгоды изъ самыхъ ничтожныхъ предметовъ, и дѣлать другія дѣла, еще болѣе предосудительныя. Потерявши горячность отцовской крови, юноша словно потерялъ вмѣстѣ съ нею и всѣ добрыя качества сердца. Съ первыхъ страницъ онъ становится ненавистенъ читателю, и когда честный корнетъ Полозовъ называетъ его дурнымъ именемъ, мы чувствуемъ, что для этого сухого и презрѣннаго юноши не можетъ существовать никакого другого названія. Въ эпизодѣ, нами теперь разбираемомъ, есть опять поэтическія картины, опять лица вѣрно обозначенныя,—но главная его прелесть заключается въ томъ мастерствѣ, съ какимъ очертана вся личность молодого графа Турбина. Это типъ истинный, знакомый всякому. Авторъ обдѣлалъ его съ торопливостью, не потратилъ на него даже половины своей способности создавать живыя лица,—а между тѣмъ успѣхъ его труда истинно замѣчателенъ. Въ изображеніи всего лица, въ нѣсколькихъ мелкихъ подробностяхъ всей фигуры видны линіи, изобличающія твердую кисть могучаго мастера. Когда молодой Турбинъ говоритъ о производствѣ, показываетъ Полозову письмо какой-то дамы, переговариваетъ со своимъ нѣмецкимъ лакеемъ и располагается въ чужомъ домѣ не какъ гость, а какъ взыскательный хозяинъ—цѣлый типъ создается передъ нами. Впечатлѣнія, разъ сдѣланнаго такъ счастливо, уже не могутъ сгладить нѣкоторыя погрѣшности въ дальнѣйшемъ развитіи. Рисуя своего молодого героя, графъ Толстой безъ всякаго намѣренія столкнулся съ типомъ другого сухого душой юноши,

выведеннаго г. Тургеневымъ въ одной изъ его повѣстей за прошлый или предпрошлый годъ.

Мы говоримъ про Астахова — кажется, такъ называется герой Тургенева. Оба изображенія удались, но графъ Турбинъ несравненно живѣе, опредѣленнѣе Астахова. На этой дорогѣ авторъ „Двухъ Гусаровъ“ несомнѣнно опередилъ одного изъ самыхъ старшихъ своихъ товарищей. Обоихъ писателей мы любимъ до крайности, талантъ обоихъ истинно дорогъ нашему сердцу. Мы не имѣемъ никакого пристрастія къ одному изъ нихъ во вредъ другому. Но Астаховъ едва живетъ въ нашей памяти, мы даже не знаемъ навѣрное, такъ ли мы его называли. Графа Турбина мы никогда не забудемъ, имя его черезъ много лѣтъ не выскользнетъ изъ нашей памяти.

Слѣдуетъ намъ теперь сказать нѣсколько замѣчаній о мысли, заключенной въ обоихъ эпизодахъ повѣсти „Два Гусара“. Эта мысль есть мысль несомнѣнно независимаго художника, во никакъ не дидактика или современнаго моралиста; всякій ясно видитъ, что во всемъ произведеніи нѣтъ ни пристрастія ни преднамѣреннаго поученія. Старый гусаръ не принесенъ въ жертву молодому, и если молодой гусаръ оказывается непривлекательною персоною, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ его пороки были оправданіемъ отцовскихъ недостатковъ. Равнымъ образомъ видимъ мы, что графъ Толстой, рисуя два типическія лица, вовсе не представляетъ ихъ образцами цѣлаго даннаго сословія или относится къ нимъ съ слишкомъ общей точки зрѣнія. Эта слишкомъ общая точка зрѣнія есть ахиллова пята дидактиковъ, всегда готовыхъ олицетворить въ данномъ героѣ свои туманныя симпатіи или антипатіи къ цѣлому разряду смертныхъ. Старые гусары не всѣ сняты въ отцѣ Турбинѣ, молодые гусары вовсе не представлены въ лицѣ Турбина младшаго, — напротивъ того, каждое изъ двухъ лицъ живетъ своей собственной индивидуальной жизнью, разнообразною какъ всякая жизнь человѣческая. Авторъ вовсе не утверждаетъ, что кутила стараго времени прекраснѣе скромника временъ новыхъ, онъ никакъ не отнимаетъ у себя права, можетъ-быть, въ

послѣдующемъ своемъ произведеніи, взглянуть на тотъ же самый предметъ, съ какой ему захочется точки зрѣнія. Къ обоимъ своимъ героямъ онъ относится безъ гнѣва и пристрастія, безъ всякихъ лирическихъ дириамбовъ или хитроумнаго обобщенія. Для него оба Турбины — типы, взятые изъ извѣстнаго общества, изобилующаго самыми разнообразными типами. Нельзя относиться къ своимъ героямъ съ большимъ спокойствіемъ, скажемъ болѣе, съ большимъ артистическимъ безстрастіемъ. А между тѣмъ, кто посмѣетъ сказать, что мыслящему человѣку нечему выучиться изъ „Двухъ Гусаровъ“.

Теорія независимаго и свободнаго творчества, — какъ мы это покажемъ въ одной изъ послѣдующихъ статей нашихъ, — вовсе не исключаетъ здраваго и даже современнаго поученія, какъ о томъ думаютъ иные поклонники поучительныхъ теорій искусства. Никакое художественное созданіе, если оно хорошо выполнено, не проходитъ даромъ для читателя, имѣющаго умъ, фантазію и воспримчивость сердца. Кто-то сказалъ весьма остроумно и глубоко: „пусть человѣкъ, благородно мыслящій, напишетъ мнѣ десять строкъ, хотя бы о закатѣ солнца, — по этимъ десяти строкамъ всякій тотчасъ же узнаетъ человѣка, мыслящаго благородно.“ Всякій сильный талантъ, творящій свободно, имѣетъ свое почти волебное значеніе, до котораго не доберешься путемъ сухого умствованія. Пусть только читатель захочетъ поучаться, онъ найдетъ цѣлый курсъ житейской мудрости въ твореніяхъ cadaго истиннаго поэта. Иначе и быть не можетъ, потому что міросозерцаніе cadaго талантливаго, просвѣщеннаго и благонамѣреннаго писателя само собой высказывается во всемъ, надъ чѣмъ бы онъ ни трудился. Ему нѣтъ никакой надобности связывать себя извѣстными формулами и поучительными стремленіями: онъ долженъ передавать явленія окружающаго его міра такъ, какъ ясное зеркало передаетъ предметы передъ нимъ поставленные. Затемните ясность зеркальной поверхности, и всѣ образы будутъ вамъ казаться въ безобразномъ видѣ. Поэтическое зеркало графа Толстого поражаетъ своею безпримѣрною чистотою, оттого мы, не

обинуясь, признаемъ нашего автора однимъ изъ писателей нашихъ, предназначенныхъ на наиболѣе блистательную будущность. Намъ случалось не разъ слышать, какъ слишкомъ взыскательные цѣнители упрекали иное произведение графа Толстого въ отсутствіи современной мысли; мы, съ своей стороны, должны сказать, что каждая его страница кипитъ современностью поэтической, а не поучительно-преднамеренной. Во всякой вещи нувеллиста нашего сказывается намъ сильный и разумный человѣкъ нашего времени, писатель зоркій, правдивый, молодой по сердцу, молодой по убѣжденіямъ. Кто не способенъ оцѣнить моральной стойкости и твердости автора, тотъ едва ли способенъ оцѣнить что бы то ни было. Графъ Толстой положительно вѣрить въ свой талантъ и въ свое право относиться ко всѣмъ предметамъ съ какой ему угодно точки зрѣнія. Онъ не увлеченъ никакими авторитетами, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не вдается въ погрѣшность большинства молодыхъ писателей, то-есть не считаетъ себя непогрѣшимымъ учителемъ общества. Онъ имѣетъ свои твердыя, чистыя убѣжденія и крѣпко держится за нихъ, не воспринимая ни одной новой мысли безъ строгой оцѣнки. Его дальнѣйшее развитіе будетъ, можетъ быть, медленно, но оно не перервется ни минутами безсилія ни годами горькаго разочарованія. Онъ можетъ дышать легко и свободно, ибо не принадлежитъ ни къ одной литературной партіи, ни къ одному изъ временныхъ направленій, за его время возникавшихъ въ литературѣ. Его примѣръ будетъ въ высшей степени полезнымъ примѣромъ для многихъ начинающихъ литераторовъ. Мы однако же, повидимому, отклонились отъ хода нашей рецензіи и отъ „Двухъ Гусаровъ“. Нами было уже сказано, что эта повѣсть, повидимому, набросанная безъ всякой поучительной цѣли, можетъ навести мыслящаго человѣка на многія полезныя разсужденія, — и намъ кажется, что мы правы. Взглянемъ еще разъ хотя на вторую половину всей вещи. Ясно, что графъ Толстой, рисуя личность молодого графа Турбина, нисколько не мѣтилъ на роль учителя или обличителя современныхъ слабостей. Онъ не вдался въ сентиментальность

по поводу изящнаго, но испорченнаго юноши, не громилъ его какимъ-либо страстнымъ диерамбомъ, не обобщалъ въ его лицѣ всего современнаго юношества, не бичевалъ въ его особѣ никакихъ современныхъ пороковъ. А между тѣмъ результатъ его безпристрастнаго труда выходитъ во сто кратъ яснѣе результата отъ сентиментальныхъ или мизантропическихъ умствованій. Сухость сердца, великая язва поколѣнія нашего, никогда еще не была воплощена въ нашей легкой литературѣ такъ сильно и такъ отчетливо. Имѣйте только наклонность къ мышленію — и это воплощеніе заставитъ васъ подумать о многомъ, подумать и о дѣлѣ воспитанія, и о рано-начинающейся жизни нашихъ юношей, и о многихъ, многихъ сторонахъ нашей жизни! Неужели же мы, читатели, до такой степени крѣпкоголовы, что всякую истину надо класть въ наши головы не иначе, какъ сваривъ ее по известному способу, разжевавши и приправивъ поучительно-дополнительными соображеніями? Чтеніе не есть процессъ пассивнаго воспріятія чужихъ правилъ и чужихъ умозрѣній: то чтеніе достойно назваться полезнымъ, которое пробуждаетъ моральныя силы читателя и ведетъ его, черезъ созерцаніе житейской правды и искусства, къ роднику возвышенныхъ мыслей.

Изъ всего сказаннаго нами не слѣдуетъ предполагать, чтобы мы были защитниками вялаго безстрастія въ искусствѣ, того безстрастія, которое превращаетъ художество въ дагерротипную работу и ведетъ къ полному отрѣшенію поэта отъ интересовъ житейскихъ. Еслибъ мы даже и проповѣдовали подобное безстрастіе, трудъ нашъ прошелъ бы даромъ, ибо во всей исторіи европейской литературы, древней и новой, не бывало, нѣтъ и не будетъ истинныхъ поэтовъ, отрѣшенныхъ отъ міра съ его интересами. На дагерротипную работу способны лишь люди безталанные, — во всякомъ художественномъ изображеніи изображается всегда и человѣкъ его творящій, и среда, въ которой этотъ человѣкъ обращался! Наша критическая теорія есть теорія безпристрастнаго и свободнаго творчества, понятная не въ смыслѣ узкихъ ея почитателей, но въ смыслѣ, какой ей давали

вожди и рѣшители важнѣйшихъ литературныхъ дѣлъ, поэты высочайшаго значенія—Шиллеръ, Гёте, Краббъ, Вордсвортъ и Кольриджъ. Эта теорія, часто опровергаемая эфемерными противниками, рѣдко понятая самими критиками, и въ особенности мало извѣстная въ нашей литературѣ, твердо стоитъ одна изъ всѣхъ критическихъ теорій, и, намъ кажется, будетъ стоять вѣчно. По широтѣ своей, она совокупляетъ въ себѣ многое, что поверхностнымъ критикамъ кажется противоположностями; она совмѣщаетъ въ себѣ идеи, повидимому, несовмѣстимыя, ибо учить насъ свободѣ творчества, и никогда не мѣшаетъ развиваться таланту на какомъ бы то ни было пути, если этотъ путь имъ избранъ искренно. Она требуетъ всесторонняго развитія поэтическихъ силъ человѣка, и въ ея лозунгѣ — *всесторонность* — находится прибѣжище для всякаго писателя, дѣлающаго свое дѣло свободно. Она идетъ лишь противъ вассальства въ творчествѣ, противъ временныхъ авторитетовъ, увлекающихъ искусство въ мѣръ непричастный искусству, противъ элементовъ чуждыхъ поэзии, но усиленно вводимыхъ въ область, одной поэзии доступную. Наша теорія придерживается извѣстныхъ словъ Лессинга: у всякаго человѣка свой слогъ и свой носъ. Каковъ бы носъ ни былъ, нельзя и не слѣдуетъ его рѣзать! Но прикладнымъ и фальшивымъ носамъ эта теорія не даетъ пощады, потому что фальшивое и прикладное въ искусствѣ служитъ ко временному ущербу истины и самостоятельности искусства.

Мы знаемъ очень хорошо, что въ нашей литературѣ, еще весьма недавно находившейся подъ влiянiемъ теорій отрицательной и дидактической критики, находится нѣсколько почтенныхъ талантовъ, хранящихъ нѣкоторую современно-поучительную складку, наложенную на нихъ годами ихъ перваго развитiя. Съ ними мы будемъ часто спорить, но спорить какъ слѣдуетъ честнымъ оппонентамъ, ибо, во-первыхъ, отъ души уважаемъ ихъ дѣятельность, а во-вторыхъ, вовсе не видимъ какого либо неизмѣримаго разлада между ихъ понятiями и нашей теорiей. По идеямъ независимаго творчества, всякій истинный талантъ, по складу

своему увлеченный на дидактическую дорогу, будь онъ сатирикомъ или идеалистомъ, имѣетъ полное право свершать свое назначеніе, если оно искренно и проявляется въ художественной формѣ. Равнымъ образомъ, никакой писатель не можетъ быть увлекаемъ на дидактическій путь, если онъ желаетъ быть творцомъ вполне безпристрастнымъ. Тамъ, гдѣ пишетъ Скоттъ, найдется мѣсто и Гуду, гдѣ раздастся голосъ Гёте, можетъ существовать и романъ Гудкова. Но ежели бы Гудъ и Гудковъ вздумали кидать грязью въ Гёте и Скотта,—а нѣчто подобное было въ Германіи и даже въ Англіи,—имъ всякій можетъ сказать, что они идутъ противъ своего начала, оскорбляя себя самихъ въ лицѣ оскорбляемыхъ ими поэтовъ. Дидактическое направленіе въ литературѣ, какими бы видами оно ни проявлялось, всегда есть нѣчто временное и неспособное къ прочному отдѣльному существованію. Какъ вѣтвь одного могучаго растенія, какъ побочная отрасль теоріи свободнаго творчества, оно можетъ принести великую пользу обществу, но для этого надобно, чтобъ оно твердо прикрѣплялось къ своему основанію, не отрываясь отъ корня, давшаго ей рожденіе.

Есть еще одно условіе, которое мы постоянно будемъ имѣть въ виду, относясь къ дарованіямъ преднамѣренно-дидактическаго свойства. Для талантовъ юныхъ и еще не установившихся, всегда имѣется нѣкоторая прелесть въ роли учителя своихъ собратій и карателя людскихъ пороковъ. Рѣдкій поэтъ двадцати-двухъ лѣтъ отъ роду отказываетъ себѣ въ удовольствіи нахмурить бровь, кинуть яростный взглядъ на заблуждающееся человѣчество, а затѣмъ наложить на себя званіе исправителя людскихъ заблужденій. Такая забава не такъ невинна, какъ она кажется, ибо она ведетъ иногда къ извращенію таланта и къ совершенной потерѣ поэтической самостоятельности въ литературѣ. То, что сдѣлаетъ двадцати-двухъ лѣтній поэтъ-ребенокъ, могутъ сдѣлать и критики, и рецензенты, и фельетонисты. Проведя цѣлые годы въ однообразномъ высказываніи непрочувствованныхъ мыслей, растерявъ и свой талантъ и свои силы,—наши учителя человѣчества, наконецъ, придутъ къ понима-

нію своего заблужденія, но придуть къ тому слишкомъ поздно. Слишкомъ поздно увидятъ они, какъ много образованія и глубокихъ познаній нужно имѣть дидактику для того, чтобъ его голосъ слушали съ уваженіемъ, сколько зрѣлости, сколько рыцарства надобимѣть ему въ частной своей жизни затѣмъ, чтобъ его уроки возбуждали сочувствіе, а не посяніе. Слишкомъ поздно увидятъ они мизерность собственныхъ своихъ нравственныхъ качествъ, своего собственного знакомства со всѣми сторонами жизни. Они увидятъ, что оставили свѣтлый и широкій путь для пути труднаго и даннаго лишь немногимъ, что они, потѣшившись на первыхъ порахъ, въ послѣдствіи заплатили за свою юношескую искренность потерю всего своего значенія. Для такихъ молодыхъ писателей, ступившихъ на дидактическій путь безъ всякаго къ нему призванія, мы будемъ несравненно взыскательнѣе, нежели для ихъ зрѣлыхъ и искреннихъ сверстниковъ. Отдавая дань признательности просвѣщенному наставнику, мы не поклонимся наставникамъ эфемернымъ и непризваннымъ. Этимъ наставникамъ мы будемъ постоянно указывать одинъ и тотъ же путь, ихъ мы постоянно будемъ призывать къ тому, чтобы они вмѣстѣ съ нами признали законность той теоріи, которой вѣрилъ великій Гёте. Съ критиками, которые бы устремились вновь воздвигать въ нашей словесности павшія отрицательныя теоріи, мы будемъ спорить объ ученіи свободнаго творчества, — и надѣемся, что наши споры не будутъ безплодными словопреніями. Будущимъ нашимъ беллетристамъ, которые бы увлеклись дидактическимъ настроеніемъ, мы постоянно станемъ указывать на графа Толстого, самаго младшаго по годамъ, но самаго самостоятельнаго, самаго энергическаго изъ нашихъ талантливыхъ повѣствователей. Пусть его творческая независимость наведетъ ихъ на благіе помыслы, а пускай его строгое, блистательное, оригинальное положеніе внѣ всякихъ литературныхъ партій заставитъ задуматься не одного начинающаго литератора!

А. В. Дружининъ.

*) О графѣ Толстомъ на этотъ разъ мы не будемъ говорить съ подробностью, потому что за два мѣсяца назадъ уже охарактеризовали его достоинства, какъ военнаго рассказчика. Вся читающая публика оцѣнила его талантъ, и мы не считаемъ нужнымъ распространяться о томъ, что хорошо знаетъ сама публика. Но, можетъ быть, еще немногіе изъ читателей отдають себѣ полный отчетъ въ томъ, какой огромный шагъ сдѣланъ былъ графомъ Толстымъ, какъ живописцемъ военныхъ сценъ, по изученію дѣйствительной и вседневной жизни военнаго русскаго человѣка. До сихъ поръ между нашими литераторами было весьма мало настоящихъ военныхъ людей, — обстоятельство чрезвычайно невыгодное въ томъ отношеніи, что нравы и бытъ военнаго сословія, столь многочисленнаго въ Россіи, ускользали отъ пера нашихъ писателей, по ихъ малому знакомству съ этимъ нравомъ и бытомъ. Сколько не читай книгъ, сколько ни встрѣчай офицеровъ въ гостиной, сколько ни гляди на казармы и на солдатъ во время ученія, военной жизни (точно также, какъ и всякой другой жизни) не узнаешь изъ такихъ праздныхъ наблюденій. Лермонтовъ, самъ служившій въ офицерахъ и бывавшій подъ пулями, сдѣлалъ многое, но мы лишились этого человѣка, едва успѣвъ насладиться его первыми созданіями. Послѣ Лермонтова пришло время рутины, ничѣмъ неоправдываемой и ничѣмъ неизмѣняемой. Обыкновенно люди, мало знающіе и худо изучившіе свой предметъ, селятся прикрыть скудость свою обобщеніями и хитрыми выводами, въ которыхъ бываетъ все, кромѣ истины и дѣйствительности. По причинѣ малаго знанія и страсти къ обобщеніямъ, наша литература со времени Грушницкаго и Максима Максимыча до появленія рассказовъ графа Толстого, относилась къ русской военной жизни съ величавостью долговязаго младенца, нахватавшагося верховъ по книжкамъ, и селящагося судить о предметахъ, ему вовсе незнакомыхъ. Бытъ русскаго воина, его интересы и подвиги, его достоинства и слабости, его возвышенныя и темныя стороны — все это было незнакомо рѣд-

*) „Библиотека для Чтенія“ 1856 г., т. 140. „Военные Рассказы“. (Статья А. В. Дружинина?).

кимъ изъ нашихъ писателей, изрѣдка выводившихъ военнаго человѣка въ своихъ разсказахъ. Такіе писатели дѣйствовали двумя путями: или жили на счетъ Лермонтова, передѣлывая его типы на свой ладъ, или, что еще хуже, не зная ни военного быта ни военныхъ людей, составляли военнаго человѣка, подобно нѣмцу-критику, рисовавшему верблюдовъ не съ натуры, но изъ сокровенной глубины своего самосознанія! Но сокровенная глубина самосознанія вела лишь къ пустой дидактикѣ и карающему юмору, не каравшему ровно никого и ничего на свѣтѣ. Подъ вліяніемъ этой скудости и развелись въ нашихъ романахъ нигдѣ не существующіе типы юношей, непременно усатыхъ и самодовольныхъ, комическихъ безъ комизма, очертанныхъ безъ знанія дѣла. Старосвѣтскіе литераторы въ офицерѣ изображали непременно красавца и удалца, перваго любовника, Вельскаго или Лидина; повѣствователи новаго поколѣнія бросились въ противоположную крайность. Каждый рисовалъ не съ натуры, а *отъ себя*, по мастерскому выраженію Брюллова, и эта рисовка *отъ себя* происходила отъ того, что изъ художниковъ никто не изучалъ натуры, а бродилъ въ сумракѣ своего сокровеннаго самосознанія. Намъ говорить, что военные люди всегда щекотливы на сатиру, и что это обстоятельство связывало руки у правоописателей, но мы смѣемъ сказать, что, по странной игрѣ случая, эта дѣйствительная или воображаемая щекотливость принесла пользу словесности, избавивъ ее отъ цѣлаго ряда нелѣпныхъ созданій, цѣлой сотни ложныхъ типовъ. Кто изъ новыхъ писателей, послѣ Лермонтова и отчасти Гоголя, могъ знать и описывать военнаго русскаго человѣка? Кто изъ нихъ могъ бы сочинить хотя одну страницу изъ *Набѣга* и *Рубки Лѣса*? А между тѣмъ поползновеніе писать военныя сцены было у многихъ, только сцены эти писались бы отъ себя, изъ сокровенной глубины литераторскаго самосознанія. Нѣтъ, мы отъ души радуемся, что такихъ сценъ у насъ писалось немного.

Въ такомъ отношеніи находилась русская литература наша къ военному быту, когда графъ Толстой сталъ печат-

тать свои военные разказы, нынѣ собранные въ одну книгу и уже получившіе въ этомъ новомъ видѣ весь успѣхъ, какой мы имъ предсказывали. Первымъ появился *Набѣгъ*, разказецъ хорошенкій и какъ будто набросанный съ небрежностью, но разказецъ до такой степени исполненный поэзіи военной жизни, что многіе знатоки литературы, наслаждаясь поэзіей *Набѣга*, почти не отдали справедливости другимъ сторонамъ произведенія. Дѣйствительно, въ *Набѣгѣ* есть что-то особенно опьяняющее, волнующее душу и не дающее возможности остановиться на прозаической, всендневной сторонѣ разказа. Эта картина выступленія войскъ, приготовленій къ бою, ночлеговъ подъ открытымъ небомъ, ощущеній подъ первыми пулями, картина смерти и веселости, рыцарства и беззаботности, удалства и унылыхъ минутъ послѣ набѣга, была дѣйствительно плѣнительна, но не менѣе плѣнительны и вѣрны были лица военныхъ людей, выведенныхъ въ набѣгѣ. Розенкранца и капитана Хлопова еще не бывало въ нашей повѣствовательной литературѣ. Съ появленіемъ *Рубки Лѣса* слава образцоваго военнаго разказчика окончательно утвердилась за графомъ Толстымъ, въ то же самое время печатавшимъ свои *Очерки Севастополя*. Сильный талантъ, наблюдатель и мастеръ, военный человѣкъ, истинный воинъ по службѣ и призванію,—сказались читателю самому недалновидному.

Намъ, пишущимъ людямъ, стало радостно думать, что одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ сверстниковъ присутствуетъ съ русскими войсками на сценѣ дивныхъ севастопольскихъ подвиговъ, не только въ качествѣ зрителя и живописца, но въ качествѣ настоящаго воина, до тонкости знающаго военныхъ людей и военный бытъ, военныя радости и горести военнаго званія. Русская литература не могла имѣть въ стѣнахъ Севастополя лучшаго и надежнѣйшаго представителя. И когда осада кончилась, и когда авторъ *Рубки Лѣса* вернулся къ намъ не только цѣлый и здоровый, но еще съ *Севастополемъ въ августѣ* для декабрьской книжки „Современника“, онъ былъ встрѣченъ въ Москвѣ и Петербургѣ, какъ одинъ изъ первыхъ русскихъ пи-

сателей и чуть-ли не единственный знатокъ поэзіи военнаго быта. Рукопись, имъ привезенная, не обманула ожиданій нашихъ, и послѣдній очеркъ Севастополя вышелъ едва-ли не лучше двухъ первыхъ. Послѣ братьевъ Козельцовыхъ, Вланга, совѣстно вспоминать о военныхъ типахъ, когда-то выводимыхъ въ нашей литературѣ.

Передъ знаніемъ дѣла совершенно разрушились всѣ фантастическія понятія о военной жизни такъ, какъ они описывались до сихъ поръ въ литературѣ нашей. И что до крайности поучительно: у графа Толстого, въ его разсказахъ изъ военнаго быта, знаніе дѣла всегда идетъ объ руку съ несомнѣнной поэзіею. Тутъ-то и видна справедливость стараго сравненія поэзіи съ вѣковымъ и сильнымъ деревомъ. Чѣмъ глубже сидятъ корни дерева, тѣмъ выше вздымается къ небу его вершина. У насъ многіе поэты думаютъ противное. Не давши своей житейской опытности пустить корень въ глубину родной почвы, они думаютъ, что ихъ поэзія вознесется къ небу изъ глубины самосознанія и грубыхъ дидактическихъ теорій. Не заложивъ прочнаго фундамента, они уже придаютъ изукрашенный видъ крышѣ своей постройки. Оттого ихъ зданіе валится на-бокъ, оттого ихъ дерево чахнетъ и хирѣетъ и гнется къ землѣ, а они тому радуются. Это великое несчастіе дидактиковъ, утверждающихъ намъ, что верхушка вѣкового дуба должна стлаться по землѣ, а не возноситься къ небу. Въ землѣ долженъ сидѣть корень дерева; если же оно не возноситъ къ небу свои вершины, значить дерево или гнило или еще очень молодо...

Изъ „Библіотеки для Чтенія“. (Статья А. В. Дружинина?).

* * *

*) „Чрезвычайная наблюдательность, тонкій анализъ душевныхъ движеній, отчетливость и поэзія въ картинахъ природы, изящная простота—отличительныя черты таланта графа Толстого“. Такой отзывъ вы услышите отъ каждого,

*) „Современникъ“ 1856 г., № 12. Статья Н. Чернышевскаго, подъ заглавіемъ: „Дѣтство и Отрочество“ и „Военные Разсказы“. Сочиненія графа Л. Н. Толстого“.

кто только слѣдитъ за литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общимъ голосомъ, и, повторяя ее, была совершенно вѣрна правдѣ дѣла.

Но неужели ограничиться этимъ сужденіемъ, которое, правда, замѣтило въ талантѣ графа Толстого черты, дѣйствительно ему принадлежащія, но еще не показало тѣхъ особенныхъ оттѣнковъ, какими отличаются эти качества въ произведеніяхъ автора „Дѣтства“, „Отрочества“, „Записокъ Маркера“, „Метели“, „Двухъ Гусаровъ“, и „Военныхъ Разказовъ“? Наблюдательность, тонкость психологическаго анализа, поэзія въ картинахъ природы, простота и изящество,—все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у Тургенева.—опредѣлять талантъ каждаго изъ этихъ писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе недостаточно для того, чтобы отличить ихъ другъ отъ друга; и повторить то же самое о графѣ Толстомъ еще не значить уловить отличительную фizioномію его таланта, не значить показать, чѣмъ этотъ прекрасный талантъ отличается отъ многихъ другихъ столь же прекрасныхъ талантовъ. Надобно было охарактеризовать его точнѣе.

Нельзя сказать, чтобы попытки сдѣлать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности ихъ отчасти заключается въ томъ, что талантъ графа Толстого быстро развивается, и почти каждое новое произведеніе обнаруживаетъ въ немъ новыя черты. Конечно, все, что сказалъ бы кто-нибудь о Гоголѣ послѣ „Миргорода“, оказалось бы недостаточнымъ послѣ „Ревизора“, и сужденія, высказавшіяся о 1. Тургеневѣ, какъ авторѣ „Андрея Колосова“ и „Хоря и Калиныча“, надобно было во многомъ измѣнять и дополнять, когда явились его „Записки Охотника“, какъ и эти сужденія оказались недостаточными, когда онъ писалъ новыя повѣсти, отличающіяся новыми достоинствами. Но если прежняя оцѣнка развивающагося таланта непременно оказывается недостаточною при каждомъ новомъ шагѣ его впередъ, то, по крайней мѣрѣ, для той минуты, какъ является, она должна быть вѣрна и основательна: мы увѣрены, что не дальше, какъ послѣ появленія „Юности“, то, что мы

скажемъ теперь, будетъ уже нуждаться въ значительныхъ пополненіяхъ: талантъ графа Толстого обнаружить передъ нами новыя качества, какъ обнаружилъ онъ севастопольскими разсказами стороны, которымъ не было случая обнаружить въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“, какъ потомъ въ „Запискахъ Маркера“ и „Двухъ Гусарахъ“ онъ снова сдѣлалъ шагъ впередъ. Но талантъ этотъ, во всякомъ случаѣ, уже довольно блистателенъ для того, чтобы каждый періодъ его развитія заслуживалъ быть отмѣченъ съ величайшею внимательностью. Посмотримъ же, какія особенныя черты онъ уже имѣлъ случай обнаружить въ произведеніяхъ, которыя извѣстны читателямъ нашего журнала.

Наблюдательность у иныхъ талантовъ имѣетъ въ себѣ нѣчто холодное, безстрастное. У насъ замѣчательнѣйшимъ представителемъ этой особенности былъ Пушкинъ. Трудно найти въ русской литературѣ болѣе точную и живую картину, какъ описаніе быта и привычекъ большого барина старыхъ временъ въ началѣ его повѣсти „Дубровский“. Но трудно рѣшить, какъ думаетъ объ изображаемыхъ имъ чертахъ самъ Пушкинъ. Кажется, онъ готовъ былъ бы отвѣчать на этотъ вопросъ: „можно думать различно; мнѣ какое дѣло, симпатію или антипатію возбудить въ васъ этотъ быть? я и самъ не могу рѣшить, удивленіе или негодованіе онъ заслуживаетъ“. Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятьливость. У новыхъ нашихъ писателей такого равнодушія вы не найдете; ихъ чувства болѣе возбуждены, ихъ умъ болѣе точенъ въ своихъ сужденіяхъ. Не съ равною охотою наполняютъ они свою фантазію всѣми образами, какіе только встрѣчаются на ихъ пути; ихъ глазъ съ особеннымъ вниманіемъ всматривается въ черты, которыя принадлежать сферѣ жизни, наиболѣе ихъ занимающей. Такъ, напримѣръ, г. Тургенева особенно привлекаютъ явленія, положительнымъ или отрицательнымъ образомъ относящіяся къ тому, что называется поэзіею жизни, и къ вопросу о гуманности.

Вниманіе графа Толстого болѣе всего обращено на то, какъ однѣ чувства и мысли развиваются изъ другихъ? ему

интересно наблюдать, какъ чувство, непосредственно возникающее изъ даннаго положенія или впечатлѣнія, подчиняясь вліянію воспоминаній и силъ сочетаній, представляемыхъ воображеніемъ, переходитъ въ другія чувства, снова возвращается къ прежней исходной точкѣ и опять странствуетъ измѣняясь по всей цѣпи воспоминаній; какъ мысль, рожденная первымъ ощущеніемъ, ведетъ къ другимъ мыслямъ, увлекается дальше и дальше, сливается грезы съ дѣйствительными ощущеніями, мечты о будущемъ съ рефлексією о настоящемъ. Психологическій анализъ можетъ принимать различныя направленія: одного поэта занимаютъ всего болѣе очертанія характеровъ; другого—вліяніе общественныхъ отношеній и житейскихъ столкновеній на характеры; третьяго—связь чувствъ съ дѣйствіями; четвертаго—анализъ страстей; графа Толстого всего болѣе—самый психическій процессъ, его формы, его законы,—діалектика души, чтобы выразиться опредѣлительнымъ терминомъ.

Изъ другихъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ болѣе развита эта сторона анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играетъ слишкомъ второстепенную роль, обнаруживается рѣдко, да и то почти въ совершенномъ подчиненіи анализу чувства. Изъ тѣхъ страницъ, гдѣ она выступаетъ замѣтнѣе, едва ли не самая замѣчательная—памятныя всѣмъ размышленія Печорина о своихъ отношеніяхъ къ княжнѣ Мери, когда онъ замѣчаетъ, что она совершенно увлеклась имъ, бросивъ кокетничанье съ Грушницкимъ для серьезной страсти.

„Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь“ и т. д.— „Изъ чего же я хлопочу? Изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ уничтожать сладкія заблужденія ближняго, чтобъ имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить:

— „Мой другъ, со мною было то же самое, и ты ви-

лишь, однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надѣюсь, сумѣю умереть безъ крика и слезъ..." и т. д.

Тутъ яснѣе, нежели гдѣ-нибудь у Лермонтова, уловленъ психическій процессъ возникновенія мыслей,—и, однакожъ, это все-таки не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ тѣми изображеніями хода чувствъ мыслей въ головѣ человѣка, которыя такъ любимы графомъ Толстымъ. Это вовсе не то, что полумечтательныя, полурефлексивныя сцѣпленія понятій и чувствъ, которыя растутъ, движутся, измѣняются передъ нашими глазами, когда мы читаемъ повѣсть графа Толстого,—это не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ его изображеніями картинъ и сценъ, ожиданій и опасеній, проносащихся въ мысли его дѣйствующихъ лицъ: размышленія Печорина наблюдаемы вовсе не съ той точки зрѣнія, какъ различныя минуты душевной жизни лицъ, выводимыхъ графомъ Толстымъ,—хотя бы, на примѣръ, это изображеніе того, что переживаетъ человѣкъ въ минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потомъ въ минуту послѣдняго сотрясенія нервъ отъ этого удара:

„Только что Праскухинъ, идя рядомъ съ Михайловымъ, разошелся съ Калугинымъ и, подходя къ менѣе опасному мѣсту, начиналъ уже оживать немного, какъ онъ увидѣлъ молнію, ярко блеснувшую сзади себя, услыхалъ крикъ часового: „маршела“! и слова одного изъ солдатъ, шедшихъ сзади: „какъ разъ на бастіонъ прилетитъ“!

Михайловъ оглянулся. Свѣтлая точка бомбы, казалось, остановилась на своемъ зенитѣ—въ томъ положеніи, когда рѣшительно нельзя опредѣлить ея направленіе. Но это продолжалось только мгновеніе: бомба быстрѣе и быстрѣе, ближе, и ближе, такъ что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистываніе, опускалась прямо въ средину бастіона.

— Ложись! крикнулъ чей-то голосъ.

Михайловъ и Праскухинъ прилегли къ землѣ. Праскухинъ замурясь слышалъ только, какъ бомба гдѣ-то очень близко плещнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часомъ—бомбу не рвало. Праскухинъ испугался:

не напрасно ли онъ струсилъ? можетъ быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипитъ тутъ же. Онъ открылъ глаза и съ удивленіемъ увидѣлъ, что Михайловъ, около самыхъ ногъ его, недвижно лежалъ на землѣ. Но тутъ же глаза его на мгновеніе встрѣтились съ свѣтящейся трубкой въ аршинѣ отъ него крутившейся бомбы.

Ужасъ — холодный, исключаяющій всѣ другія мысли и чувства ужасъ — объялъ все существо его. Онъ закрылъ лицо руками. Прошла еще секунда, — секунда, въ которую цѣлый міръ чувствъ, мыслей, надеждъ, воспоминаній промелькнулъ въ его воображеніи.

„Кого убьетъ — меня или Михайлова? или обоихъ вмѣстѣ? А коли меня, то куда? въ голову, такъ все кончено; а если въ ногу, то отрѣжутъ, и я попрошу, чтобы непременно съ хлороформомъ, — и я могу еще живъ остаться. А, можетъ быть, одного Михайлова убьетъ: тогда я буду рассказывать какъ мы рядомъ шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нѣтъ, ко мнѣ ближе... меня!“

Тутъ онъ вспомнилъ про двѣнадцать рублей, которые былъ долженъ Михайлову, вспомнилъ еще про одинъ долгъ въ Петербургѣ, который давно надо было заплатить; цыганскій мотивъ, который онъ пѣлъ вечеромъ, пришелъ ему въ голову. Женщина, которую онъ любилъ, явилась ему въ воображеніи въ чепцѣ съ лиловыми лентами; человекъ, которымъ онъ былъ оскорбленъ пять лѣтъ тому назадъ и которому не отплатилъ за оскорбленіе, вспомнился ему, хотя вмѣстѣ нераздѣльно съ этими и тысячами другихъ воспоминаній чувство настоящаго — ожиданія смерти — ни на мгновеніе не покидало его. „Впрочемъ, можетъ быть, не лопнетъ“, подумалъ онъ и съ отчаянной рѣшимостью хотѣлъ открыть глаза. Но въ это мгновеніе, еще сквозь закрытыя вѣки, глаза его поразилъ красный огонь, съ страшнымъ трескомъ что-то толкнуло его въ средину груди; онъ побѣжалъ куда-то, споткнулся на подвернувшуюся подъ ноги саблю и упалъ на бокъ.

„Слава Богу! я только контуженъ“, было его первою мыслию, и онъ хотѣлъ руками дотронуться до груди; но

руки его казались привязанными, и какіе-то тиски сдавили голову. Въ глазахъ его мелькали солдаты, и онъ безсознательно считалъ ихъ: „одинъ, два, три солдата; а вотъ, въ подвернутой шинели, офицеръ“, думалъ онъ. Потомъ молнія блеснула въ его глазахъ, и онъ думалъ, изъ чего это выстрѣлили: изъ мортиры или изъ пушки? Должно быть, изъ пушки. А вотъ еще выстрѣлили; а вотъ еще солдаты—пять, шесть, семь солдатъ, идутъ все мимо. Ему вдругъ стало страшно, что они раздавятъ его. Онъ хотѣлъ крикнуть, что онъ контуженъ, но ротъ былъ такъ сухъ, что языкъ прилипъ къ небу, и ужасная жажда мучила его. Онъ чувствовалъ, какъ мокро было у него около груди; это ощущеніе мокроты напоминало ему о водѣ, и ему хотѣлось бы даже выпить то, чѣмъ это было мокро. „Вѣрно, я въ кровь разбился, какъ упалъ“, подумалъ онъ, и, все болѣе и болѣе начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавятъ его, онъ собралъ всѣ силы и хотѣлъ закричать: „возьмите меня!“ но, вмѣсто этого, застоналъ такъ ужасно, что ему страшно стало слушать себя. Потомъ какіе-то красные огни запрыгали у него въ глазахъ,—а ему показалось, что солдаты кладутъ на него камни; огни все прыгали рѣже и рѣже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Онъ сдѣлалъ усиліе, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видѣлъ, не слышалъ, не думалъ и не чувствовалъ. Онъ былъ убитъ на мѣстѣ осколкомъ въ середину груди“.

Это изображеніе внутренняго монолога надобно, безъ преувеличенія, назвать удивительнымъ. Ни у кого другого изъ нашихъ писателей не найдете вы психическихъ сценъ, подмѣченныхъ съ этой точки зрѣнія. И, по нашему мнѣнію, та сторона таланта графа Толстого, которая даетъ ему возможность уловлять эти психическіе монологи, составляетъ въ его талантѣ особенную, только ему свойственную силу. Мы не то хотимъ сказать, что графъ Толстой непремѣнно и всегда будетъ давать намъ такія картины: это совершенно зависитъ отъ положеній, имъ изображенныхъ, и наконецъ,

просто отъ воли его. Однажды написавъ „Метель“, которая вся состоитъ изъ ряда подобныхъ внутреннихъ сценъ, онъ въ другой разъ написалъ „Записки Маркера“, въ которыхъ нѣтъ ни одной такой сцены, потому что ихъ не требовалось по идеѣ разсказа. Выражаясь фигуральнымъ языкомъ, онъ умѣетъ играть не одной этой струной, можетъ играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придаетъ его таланту особенность, которая видна во всемъ постоянно. Такъ, пѣвецъ, обладающій въ своемъ діапазонѣ необыкновенно высокими нотами, можетъ не брать ихъ, если то не требуется его партіей,—и все-таки, какую бы ноту онъ ни бралъ, хотя бы такую, которая равно доступна всѣмъ голосамъ, каждая его нота будетъ имѣть совершенно особенную звучность, зависящую собственно отъ способности его брать высокую ноту, и въ каждой нотѣ его будетъ обнаруживаться для знатока весь размѣръ его діапазона.

Особенная черта въ талантѣ графа Толстого, о которой мы говорили, такъ оригинальна, что нужно съ большимъ вниманіемъ всматриваться въ нее, и тогда только мы поймемъ всю ея важность для художественнаго достоинства его произведеній.

Психологическій анализъ есть едва ли не самое существенное изъ качествъ, дающихъ силу творческому таланту. Но обыкновенно онъ имѣетъ, если такъ можно выразиться, описательный характеръ,—беретъ опредѣленное, неподвижное чувство и разлагаетъ его на составныя части,—даетъ намъ, если такъ можно выразиться, анатомическую таблицу. Въ произведеніяхъ великихъ поэтовъ мы, кромѣ этой стороны его, замѣчаемъ и другое направленіе, проявленія котораго дѣйствуютъ на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это — уловленіе драматическихъ переходовъ одного чувства въ другое, одной мысли въ другую. Но обыкновенно намъ представляются только два крайнія звена этой цѣпи, только начало и конецъ психическаго процесса,—это потому, что большинство поэтовъ, имѣющихъ драматическій элементъ въ своемъ талантѣ, заботятся пре-

имущественно о результатахъ, проявленіяхъ внутренней жизни, о столкновеніяхъ между людьми, о дѣйствіяхъ, а не о таинственномъ процессѣ, посредствомъ котораго вырабатывается мысль или чувство; даже въ монологахъ, которые, повидимому, чаще всего должны бы служить выраженіемъ этого процесса, почти всегда выражается борьба чувствъ, и шумъ этой борьбы отвлекаетъ наше вниманіе отъ законовъ и переходовъ, по которымъ совершается ассоціація представленій,—мы заняты ихъ контрастомъ, а не формами ихъ возникновенія,—почти всегда монологи, если содержатъ не простое анатомированье неподвижнаго чувства, только внѣшностью отличаются отъ діалоговъ: въ знаменательныхъ своихъ рефлексіяхъ Гамлетъ какъ бы раздвояется и споритъ самъ съ собою; его монологи въ сущности принадлежатъ къ тому же роду сценъ, какъ и діалоги Фауста съ Мефистофелемъ или споры маркиза Позы съ Донъ-Карлосомъ. Особенность таланта графа Толстого состоитъ въ томъ, что онъ не ограничивается изображеніемъ результатовъ психическаго процесса: его интересуется самый процессъ,—и едва уловимыя явленія этой внутренней жизни, смѣняющіяся одно другимъ съ чрезвычайною быстротою и неистощимымъ разнообразіемъ, мастерски изображаются графомъ Толстымъ. Есть живописцы, которые знамениты искусствомъ уловлять мерцающее отраженіе луча на быстро катящихся волнахъ, трепетаніе свѣта на шелестящихъ листьяхъ, переливы его на измѣнчивыхъ очертаніяхъ облаковъ: о нихъ по преимуществу говорятъ, что они умѣютъ уловлять жизнь природы. Нѣчто подобное дѣлаетъ графъ Толстой относительно таинственнѣйшихъ движеній психической жизни. Въ этомъ состоитъ, какъ намъ кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Изъ всѣхъ замѣчательныхъ русскихъ писателей онъ одинъ мастеръ на это дѣло.

Конечно, эта способность должна быть врождена отъ природы, какъ и всякая другая способность, но было бы недостаточно остановиться на этомъ слишкомъ общемъ объясненіи; только самостоятельною дѣятельностью развивается талантъ, и въ этой дѣятельности, о чрезвычайной энергіи

которой свидѣтельствуется замѣченная нами особенность произведеній графа Толстого, надобно видѣть основаніе силы, пріобрѣтенной его талантомъ. Мы говоримъ о самоуглубленіи, о стремленіи къ неутомимому наблюденію надъ самимъ собою. Законы человѣческаго дѣйствія, игру страстей, спѣшеніе событій, вліяніе, обстоятельствъ и отношеній—мы можемъ изучать, внимательно наблюдая другихъ людей; но все знаніе, пріобрѣтаемое этимъ путемъ, не будетъ имѣть ни глубины ни точности, если мы не изучимъ сокровеннѣйшихъ законовъ психической жизни, игра которыхъ открыта передъ нами только въ нашемъ общественномъ самосознаніи. Кто не изучилъ человѣка въ самомъ себѣ, никогда не достигнетъ глубокаго знанія людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, доказываетъ, что онъ чрезвычайно внимательно изучалъ тайны жизни человѣческаго духа въ самомъ себѣ; это знаніе драгоцѣнно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутреннихъ движеній человѣческой мысли, на которыя мы обратили вниманіе читателя, но еще, быть можетъ, больше потому, что дало ему прочную основу для изученія человѣческой жизни вообще, для разгадыванія характеровъ и пружинокъ дѣйствія, борьбы страстей и впечатлѣній. Мы не ошибемся, сказавъ, что самонаблюденіе должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, пріучить его смотрѣть на людей проницательнымъ взглядомъ.

Драгоцѣнно въ талантѣ это качество, едва ли не самое прочное изъ всѣхъ правъ на славу истинно замѣчательнаго писателя. Знаніе человѣческаго сердца, способность раскрывать передъ нами его тайны—вѣдь, это первое слово въ характеристикѣ каждого изъ тѣхъ писателей, творенія которыхъ съ удивленіемъ перечитываются нами. И, чтобы говорить о графѣ Толстомъ, глубокое изученіе человѣческаго сердца будетъ неизмѣнно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написалъ онъ и въ какомъ бы духѣ ни написалъ. Вѣроятно, онъ напишетъ много такого, что будетъ поражать каждого читателя другими, болѣе эффект-

ными качествами: глубиною идеи, интересомъ концепцій, сильными очертаніями характеровъ, яркими характерами быта—и въ тѣхъ произведеніяхъ его, которыя уже извѣстны публикѣ, этими достоинствами постоянно возвышался интересъ,—но для истиннаго знатока всегда будетъ видно—какъ очевидно и теперь—что знаніе человѣческаго сердца—основная сила его таланта. Писатель можетъ увлекать сторонами болѣе блистательными; но истинно силенъ и проченъ его талантъ только тогда, когда обладаетъ этимъ качествомъ.

Есть въ талантѣ г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведеніямъ совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замѣчательною свѣжестью — чистота нравственнаго чувства. Мы не проповѣдники пуританизма; напротивъ, мы опасаемся его: самый чистый пуританизмъ вреденъ уже тѣмъ, что дѣлаетъ сердце суровымъ, жестокимъ; самый искренній и правдивый моралистъ вреденъ тѣмъ, что ведетъ за собою десятки лицемѣровъ, прикрывающихся его именемъ. Съ другой стороны, мы не такъ слѣпы, чтобы не видѣть чистаго свѣта высокой нравственной идеи во всѣхъ замѣчательныхъ произведеніяхъ литературы нашего вѣка. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокаго уровня, какъ въ наше благородное время,—благородное и прекрасное, несмотря на всѣ остатки ветхой грязи, потому что всѣ силы напрягаетъ оно, чтобы омыться и очиститься отъ наслѣдныхъ грѣховъ. И литература нашего времени, во всѣхъ замѣчательныхъ своихъ произведеніяхъ, безъ исключенія, есть благородное проявленіе чистѣйшаго нравственнаго чувства. Не то мы хотимъ сказать, что въ произведеніяхъ графа Толстого чувство это сильнѣе, нежели въ произведеніяхъ другого какого-нибудь изъ замѣчательныхъ нашихъ писателей: въ этомъ отношеніи, всѣ они равно высоки и благородны; но у него это чувство имѣетъ особенный оттънокъ. У иныхъ оно очищено страданіемъ, отрицаніемъ, просвѣтлено сознательнымъ убѣжденіемъ, является уже только какъ плодъ долгихъ испытаний, мучительной борьбы, быть можетъ, цѣлаго ряда па-

девій. Не то у графа Толстого; у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексією и опытомъ жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свѣжести. Мы не будемъ сравнивать того и другого отгѣика въ гуманическомъ отношеніи, не будемъ говорить, который изъ нихъ выше по абсолютному значенію—это дѣло философскаго или социальнаго трактата, а не рецензіи—мы здѣсь говоримъ только объ отношеніи нравственнаго чувства къ достоинствамъ художественнаго произведенія, и должны признаться, что въ этомъ случаѣ непосредственная, какъ бы сохранившаяся во всей непорочности отъ чистой поры юности, свѣжесть нравственнаго чувства придаетъ поэзіи особенную, трогательную и граціозную очаровательность. Отъ этого качества, по нашему мнѣнію, во многомъ зависитъ прелесть разказовъ графа Толстого. Не будемъ доказывать, что только при этой непосредственной свѣжести чувства можно было бы разказывать „Дѣтство“ и „Отрочество“ съ тѣмъ чрезвычайно вѣрнымъ колоритомъ, съ тою нѣжною граціозностью, которыя даютъ истинную жизнь этимъ повѣстямъ. Относительно „Дѣтства“ и „Отрочества“ очевидно каждому, что безъ непорочности нравственнаго чувства невозможно было бы не только исполнить эти повѣсти, но и задумать ихъ. Укажемъ другой примѣръ—въ „Запискахъ Маркера“; исторію паденія души, созданной съ благороднымъ направленіемъ, могъ такъ поразительно и вѣрно задумать и исполнить только талантъ, сохранившій первобытную чистоту.

Благотворное вліяніе этой черты таланта не ограничивается тѣми разказами или эпизодами, на которыхъ она выступаетъ замѣтнымъ образомъ на первый планъ: постоянно служить она оживительницею, освѣжительницею таланта. Что въ мірѣ поэтичнѣе, прелестнѣе чистой юношеской души, съ радостною любовью откликающейся на все, что представляется ей возвышеннымъ и благороднымъ, чистымъ и прекраснымъ, какъ она сама? Кто не испытывалъ, какъ освѣжается его духъ, просвѣтляется его мысль, облагораживается все существо присутствіемъ дѣвственнаго душою

существа, подобнаго Корделии, Офелии или Дездемонѣ? Кто не чувствовалъ, что присутствіе такого существа навѣваетъ поэзію на его душу, и не повторялъ вмѣстѣ съ героемъ г. Тургенева (въ „Фаустѣ“):

Своимъ крыломъ меня одѣнь,
Волненіе сердца утиши,
И благодатна будетъ снѣгъ
Для очарованной души.

Такова же сила и нравственной чистоты въ поэзіи. Произведеніе, въ которомъ вѣетъ ея дыханіе, дѣйствуетъ на насъ освѣжительно, миротворно, какъ природа,—видъ и тайна поэтическаго вліянія природы едва ли не заключается въ ея непорочности. Много зависитъ отъ того же вліянія нравственной чистоты и граціозная прелесть произведеній графа Толстого.

Эти двѣ черты—глубокое знаніе тайныхъ движеній психической жизни и непосредственная чистота нравственнаго чувства, придающія теперь особенную фізіономію произведеніямъ графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта, какія бы новыя стороны не выказались въ немъ при дальнѣйшемъ его развитіи.

Само собой разумѣется, что всегда останется при немъ и его художественность. Объясняя отличительныя качества произведеній графа Толстого, мы до сихъ поръ не упоминали объ этомъ достоинствѣ, потому что оно составляетъ принадлежность, или, лучше сказать, сущность поэтическаго таланта вообще, будучи собственно только собирательнымъ именемъ для обозначенія всей совокупности качествъ, свойственныхъ произведеніямъ талантливыхъ писателей. Но стоитъ вниманія то, что люди, особенно много толкующіе о художественности, наименѣе понимаютъ, въ чемъ состоятъ ея условія. Мы гдѣ-то читали недоумѣніе относительно того, почему въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ нѣтъ на первомъ планѣ какой-нибудь прекрасной дѣвушки лѣтъ восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась въ какого-нибудь также прекраснаго юношу... Удивительныя понятія о худо-

жественности! Да, вѣдь, авторъ хотѣлъ изобразить дѣтскій и отроческій возрастъ, а не картину пылкой страсти, и развѣ вы не чувствуете, что если бѣ онъ ввелъ въ свой разказъ эти фигуры и этотъ патетизмъ, дѣти, на которыхъ онъ хотѣлъ обратить ваше вниманіе, были бы заслонены, ихъ милыя чувства перестали бы занимать васъ, когда въ разказѣ явилась бы страстная любовь,—словомъ, развѣ вы не чувствуете, что единство разказа было бы разрушено, что идея автора погибла бы, что условія художественности были бы оскорблены? Именно для того, чтобы соблюсти эти условія, авторъ не могъ выводить въ своихъ разказахъ о дѣтской жизни ничего такого, что заставило бы насъ забыть о дѣтяхъ, отвернуться отъ нихъ. Далѣе, тамъ же мы нашли нѣчто въ родѣ намека на то, что графъ Толстой ошибся, не выставивъ картинъ общественной жизни въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“; да мало ли и другого чего онъ не выставилъ въ этихъ повѣстяхъ? въ нихъ нѣтъ ни военныхъ сценъ, ни картинъ итальянской природы, ни историческихъ воспоминаній, нѣтъ вообще ничего такого, что можно было бы, но неумѣстно и не должно было бы разсматривать; вѣдь, авторъ хочетъ перенести насъ въ жизнь ребенка,—а развѣ ребенокъ понимаетъ общественные вопросы, развѣ онъ имѣетъ понятіе объ обществѣ? Вотъ этотъ элементъ столь же чуждъ дѣтской жизни, какъ лагерная жизнь, и условія художественности были бы точно такъ же нарушены, если бы въ „Дѣтствѣ“ была изображена общественная жизнь, какъ и тогда, если бѣ изображена была въ этой повѣсти военная или историческая жизнь... Въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ умѣстны только тѣ элементы, которые свойственны тому возрасту,—а патриотизму, героизму военной жизни будетъ свое мѣсто въ „Военныхъ Разказахъ“, страшной нравственной пытки—въ „Запискахъ Маркера“, изображенію женщины въ „Двухъ Гусарахъ“. Помните ли вы эту чудную фигуру дѣвушки, сидящей у окна ночью, помните ли, какъ бьется ея сердце, какъ сладко томится ея грудь предчувствіемъ любви?

„Простясь съ матерью, Лиза одна пошла въ бывшую дя-

дину комнату. Надѣвъ бѣлую кофточку и спрятавъ въ платокъ свою длинную косу, она потушила свѣчу, подняла окно и съ ногами сѣла на стулъ, устремивъ задумчивые глаза на прудъ, теперь уже весь блестящій серебрянымъ сіяніемъ.

Всѣ ея привычныя занятія и интересы вдругъ явились передъ ней совершенно въ новомъ свѣтѣ: старая, капризная мать, несудаящая любовь, которая сдѣлалась частью ея души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые мужики, обожающіе барышню, дойныя коровы и телки,—вся эта все та же, столько разъ умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой съ любовью къ другимъ и отъ другихъ она выросла, все, что давало ей такой легкій, пріятный душевный отдыхъ,—все это вдругъ показалось не *то*, все это показалось *скучно, не нужно*. Какъ будто кто-нибудь сказалъ ей: „дурочка, дурочка! двадцать лѣтъ дѣлала вздоръ, служила кому-то, зачѣмъ-то, и не знала, что такое жизнь и счастье.“ Она это думала теперь, вглядываясь въ глубину свѣтлаго, неподвижнаго сада, сильнѣе, гораздо сильнѣе, чѣмъ прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? нисколько не внезапная любовь къ графу, какъ бы это можно было предположить. Напротивъ, онъ ей не нравился. Корнетъ могъ бы скорѣе занимать ее; но онъ дуракъ, бѣдный, и молчаливъ какъ-то. Она невольно забывала его и съ злобой и съ досадой вызывала въ воображеніи образъ графа. „Нѣтъ, не то“, говорила она сама себѣ. Идеаль ея былъ такъ прелестенъ! Это былъ идеаль, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ея красоты, могъ бы быть любимымъ,—идеаль, ни разу не обрѣзанный для того, чтобы слить его съ какой нибудь грубой дѣйствительностью.

„Сначала уединеніе и отсутствіе людей, которые бы могли обратить ея вниманіе, сдѣлали то, что вся сила любви, которую въ душу каждаго изъ насъ вложило Провидѣніе, была еще цѣла и невозмутима въ ея сердцѣ; теперь уже слишкомъ долго она жила грустнымъ счастьемъ чувствовать въ себѣ присутствіе этого чего-то и, изрѣдка открывая та-

инственный сердечный сосудъ, наслаждаться созерцаніемъ его богатствъ, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что тамъ было. Дай Богъ, чтобы она до гроба наслаждалась этимъ скупымъ счастьемъ. Кто знаетъ, не лучше ли и не сильнѣе ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?

„Господи Боже мой!—думала она—неужели я даромъ потеряла счастье и молодость, и ужъ не будетъ... никогда не будетъ? Неужели это правда?“ и она вглядывалась въ высокое свѣтлое около мѣсяца небо, покрытое бѣлыми волнистыми тучами, которыя, застилая звѣздочки, подвигались къ мѣсяцу.

„Если захватить мѣсяцъ это верхнее бѣлое облачко, значитъ правда, подумала она. Туманная, дымчатая полоса пробѣжала по нижней половинѣ свѣтлаго круга, и понемногу свѣтъ сталъ слабѣть на травѣ, на верхушкахъ липъ, на прудѣ: черныя тѣни деревъ стали менѣе замѣтны. И, какъ будто вторя мрачной тѣни, осѣнившей природу, легкій вѣтерокъ пронесся по листьямъ и донесъ до окна росистый запахъ листьевъ, влажной зелени и цвѣтущей сирени.

„Нѣтъ, это неправда—утѣшала она себя—а вотъ если соловей запоетъ нынче ночью, то значитъ вздоръ все, что я думаю, и не надо отчаяваться“, подумала она. И долго еще сидѣла молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все освѣтилось и снова нѣсколько разъ набѣгали на мѣсяцъ тучки и все померкло. Она уже засыпала такъ, сидя у окна, когда соловей разбудилъ ее частой трелью, раздававшейся звонко низомъ по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять съ новымъ наслажденіемъ вся душа ея обновилась этимъ таинственнымъ соединеніемъ съ природой, которая такъ спокойно и свѣтло раскинулась передъ ней. Она облокотилась на обѣ руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой, широкой любви, жаждущей удовлетворенія, хорошія, утѣшительныя слезы, налились въ глаза ея. Она сложила руки на подоконникъ и на нихъ положила голову. Любимая ея молитва какъ-то сама пришла ей въ душу, и она такъ

и задремала съ мокрыми глазами. Прикосновеніе чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновеніе это было легко и пріятно. Рука сжимала крѣпче ея руку. Вдругъ она вспомнила дѣйствительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя увѣряя, что не узнала графа, который стоялъ подъ окномъ, весь облитый луннымъ свѣтомъ, выбѣжала изъ комнаты...

Графъ Толстой обладаетъ истиннымъ талантомъ. Это значить, что его произведенія художественны, то есть въ каждомъ изъ нихъ очень полно осуществляется та идея, которую онъ хотѣлъ осуществить въ этомъ произведеніи. Никогда не говоритъ онъ ничего лишняго, потому что это было бы противно условіямъ художественности, никогда не безобразить онъ свои произведенія примѣсю сценъ и фигуръ, чуждыхъ идеѣ произведенія. Именно въ этомъ и состоитъ одно изъ главныхъ требованій художественности. Нужно имѣть много вкуса, чтобы оцѣнить красоту произведеній графа Толстого; но зато человѣкъ, умѣющій понимать истинную красоту, истинную поэзію, видитъ въ графѣ Толстомъ настоящаго художника, то есть поэта съ замѣчательнымъ талантомъ.

Этотъ талантъ принадлежитъ человѣку молодому, съ свѣжими жизненными силами, имѣющему передъ собою еще долгій путь—многое новое встрѣтится ему на этомъ пути, много новыхъ чувствъ будетъ волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль,—какая прекрасная надежда для нашей литературы, какіе богатые новые матеріалы жизнь даетъ его поэзіи! Мы предсказываемъ, что все, данное донинѣ графомъ Толстымъ нашей литературѣ,—только залогомъ того, что совершитъ онъ впослѣдствіи, но какъ богаты и прекрасны эти залогомъ!

Н. Чернышевскій.

* * *

*) *Военные Разказы* графа Л. Н. Толстого. Санктпе-

*) „Отечественныя Записки“ 1856 г., т. 109, № 11, отд. 3 („Библиографическая хроника“).

тербургъ. Въ типогр. Главн. Шт. Е. И. В. по Военно-учеб. Завед. Въ 12-ю д. л., 382 стр.

Дѣтство и Отрочество. Соч. графа Л. Н. Толстого. Санктпетербургъ. Въ типогр. Главн. Шт. Е. И. В. по Военно-учеб. Завед. Въ 12-ю д. л., 306 стр.

Вотъ двѣ книги, о содержаніи которыхъ не разъ было говорено въ нашемъ журналѣ въ то время, когда рассказы и повѣсти эти являлись впервые въ печати. Теперь они изданы отдѣльно.

Не приписывая себѣ ничего излишняго, должно однакожъ упомянуть, что мы первые обратили вниманіе на блестящій талантъ гр. Толстого, что въ разборѣ его сочиненій, которому посвящена была не одна страница „Отеч. Записокъ“, талантъ этотъ былъ рассмотрѣнъ съ различныхъ точекъ. Такъ какъ мнѣніе наше о талантѣ г. Толстого остается прежнее, то мы и припомнимъ его здѣсь.

Прочитавъ первые военные рассказы автора, мы сказали, что они усвоили русской литературѣ нѣсколько лицъ новыхъ, живыхъ, дѣйствительно существующихъ и поставленныхъ на той твердой почвѣ, съ которой трудно ихъ сдвинуть. Передъ нами возсталъ живой типъ, и мы примирились съ цѣлымъ кругомъ лицъ, которыхъ предшествовавшая литература или обходила, или за которыхъ не успѣла взяться. Много военныхъ портретовъ живо нарисовались въ нашемъ воображеніи; притомъ рассказы, которыми началъ свое литературное поприще гр. Толстой, имѣли столько своеобразнаго, что рѣшительно не походили на военные повѣсти предшествовающаго періода.

Переходъ отъ военныхъ рассказовъ Скобелева къ рассказамъ гр. Толстого до того былъ рѣзокъ, что его трудно было бы и объяснить тому, кто не обращалъ вниманія на произведенія современныхъ писателей, заимствованныя изъ простонароднаго быта. Этими произведеніями выработался новый языкъ, ими создана и потребность выводить лица типическія и характерныя изъ этого быта. Сколько бы мы ни уважали, на примѣръ, произведенія Скобелева за ихъ неподдѣльный, горячій патріотизмъ, сколько бы ни любовались

въ нихъ находчивостью бывалаго человѣка, мы въ настоящее время не можемъ не видѣть постоянной аффектаціи его разсказовъ и однообразія выводимыхъ имъ характеровъ: у него какъ будто всюду дѣйствуетъ одно и то же лицо.

Эта слабость литературной стороны сдѣлалась чувствительною только въ наше время. Прежде не замѣчали ея, и солдатъ, потому что онъ солдатъ, долженъ былъ говорить не иначе, какъ избранными пословицами, шутками и прибаутками.

Всѣмъ этимъ движеніемъ нашей литературы г. Толстой воспользовался прекрасно, и извлекъ изъ него плоды, доставившіе ему репутацію даровитаго разсказчика.

Видѣвъ съ тѣмъ гр. Толстой началъ длинный романъ, котораго первыя главы, „Дѣтство“ и „Отрочество“, поразили всѣхъ мастерскою рисовкою картинъ, мѣткою наблюдательностію, до того тонкою въ психологическомъ отношеніи, что отъ нея, казалось, не ускользало ни одно изъ движеній души. Но романъ этотъ пока остановился на самомъ интересномъ мѣстѣ, когда дитя переходитъ въ возрастъ юноши и когда передъ нимъ открывается весь Божій міръ... Обо всемъ этомъ было уже нами говорено.

Теперь обратимся къ вновь изданнымъ двумъ томикамъ.

Послѣдующія произведенія гр. Толстого нисколько не измѣнили нашего мнѣнія, хотя разсказъ подъ названіемъ „Севастополь въ августъ“ несравненно ниже предыдущаго: „Севастополь въ декабрѣ“, а въ разсказѣ „Метель“ авторъ до того пристрастился къ мелкой наблюдательности, что забылъ о существованіи главнаго художественнаго правила, по которому отдѣлка мелочей есть дѣло второстепенное. Но мы не назвали еще статьи, заключающіяся въ „Военныхъ Разсказахъ“. Вотъ онѣ: „Набѣгъ“, „Рубка Лѣсу“, „Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ“, „Севастополь въ маѣ“, „Севастополь въ августѣ“.

Читатель видитъ, что мы не говорили о статьѣ „Севастополь въ августъ“; но повторяемъ: она слабѣе перваго разсказа о Севастополѣ, что, конечно, чувствовалъ и самъ

авторъ, потому что этимъ разказомъ и покончилъ свои военныя повѣсти.

Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на мастерство таланта, однообразіе статей дѣлалось поразительно, и интересъ исчезалъ... Какъ? спросать читатели: интересъ въ разказахъ исчезалъ въ то время, когда военныя дѣйствія принимали размѣры величавѣе и величавѣе, когда драма разыгрывалась сильнѣе и сильнѣе, когда оба войска употребляли уже послѣднія усилія, и оба полководца истощали послѣднія военныя соображенія? Можетъ ли это быть? Можетъ ли быть мало интереса въ *описаніи* талантливаго литератора, когда и въ безыскусственныхъ разказахъ очевидцевъ было такъ много занимательнаго? Послѣдніе дни обороны Севастополя; переправа черезъ мостъ, наскоро выстроенный по заливу, переправа, при которой не знаешь, чему болѣе удивляться смѣлости соображенія военачальника, дисциплинѣ ли и храбрости войска; картина страшнаго зарева надъ разрушеннымъ городомъ, надъ оставленными редутами, надъ заливомъ, покрытымъ тысячами войскъ, проходящихъ по мосту... Все это развѣ не картины, способныя поразить воображеніе самое тощее? Почему же испарялся интересъ изъ статей нашего повѣствователя-литератора? Но разказъ гр. Толстого „Севастополь въ августѣ“ именно и слабъ потому, что ничего этого нѣтъ въ немъ. Въ разказѣ есть то, что очень хорошо могло быть въ декабрѣ, въ январѣ, въ маѣ, но только не въ августѣ, когда мы оставляли Севастополь.

Слабость разказа объясняется двумя причинами, одинаково важными, двумя ошибками, одинаково содѣйствовавшими слабости картины.

Первая ошибка заключается вотъ въ чемъ. Весь интересъ обращенъ на молодого мальчика Володю Козельцова, только что выпущеннаго изъ корпуса и пріѣхавшаго сражаться на редутахъ Севастополя. Мальчикъ этотъ — полнѣйшее, олицетворенное невѣдѣніе и неопытность, какъ и слѣдуетъ быть человѣку, не выдавшему жизни. Чувства, которыя онъ испытываетъ, видя огонь, пули, бомбы и товарищей, привыкшихъ къ огню, пулямъ и бомбамъ — чувства эти для

насть не новы. Мы знаемъ ихъ уже изъ прежнихъ рассказовъ автора: изъ „Рубки Лѣса“, изъ „Набѣга“, изъ „Севастополя въ декабрѣ“; вдобавокъ тѣ же чувства могли бы быть возбуждены каждымъ сраженіемъ, какимъ-нибудь „набѣгомъ“, а не только такой страшной картиной, какъ „Севастополь въ августѣ“.

Это первая ошибка. Вторая состоитъ въ сущности самаго таланта гр. Толстого, въ рассказахъ котораго нѣтъ дѣйствія, а есть картины и портреты. Портреты дѣйствующихъ лицъ, преимущественно солдатъ, были уже изображены авторомъ въ первомъ рассказѣ, гдѣ мы познакомились съ тою хладнокровною стойкостью, съ тѣмъ пренебреженіемъ опасности, которая составляла силу защитниковъ Севастополя. Въ слѣдующихъ картинахъ, послѣ того, какъ портреты были уже очень хорошо обрисованы, мы ждали дѣйствія, жаждали рассказовъ о происшествіяхъ, а гр. Толстой, въ двухъ слѣдующихъ описаніяхъ „Севастополь въ маѣ“ и „Севастополь въ декабрѣ“, явился тѣмъ же психологомъ-наблюдателемъ, отъ котораго не ускользаетъ ни одна мелочь... Мелочь дѣйствительно не ускользнула, но общая картина исчезла, пропала; ея не было. Подъ Севастополемъ, какъ и въ простомъ, обыденномъ набѣгѣ на горцевъ, авторъ вздумалъ снова приковать насъ къ своимъ наблюденіямъ надъ психологическими явленіями въ душѣ юноши! Можно ли сдѣлать подобный промахъ? Дѣйствіе происходитъ громадное, а мы сидимъ съ юношей въ одномъ уголку картины и смотримъ не на общую картину приступа, сраженія и отступленія—нѣтъ, мы смотримъ, какъ чувства испуга, гордости и отчаянной храбрости мѣняются въ душѣ благороднаго юноши! Автору слѣдовало бы назвать свой рассказъ: „Прапорщикъ Володя Козельцовъ подъ Севастополемъ“, а не „Севастополь въ августѣ“, и тогда Володя Козельцовъ былъ бы еще однимъ прекраснымъ портретомъ въ числѣ нарисованныхъ талантливою рукою автора; мы были бы имъ довольны, а теперь на него мы сердимся, зачѣмъ онъ отвлекаетъ наше вниманіе отъ картины ужасной, потрясающей. Очевидно, авторъ не совладѣлъ съ этою картиною, съ которой смѣшивались чув-

ства личной храбрости и народной гордости, которая волновала не однихъ юношей, но и престарѣлыхъ вождей. Каждый испытывалъ свои особенныя чувства: гдѣ же они? Гдѣ жъ этотъ мастерской взмахъ кисти, который двумя, тремя словами рисуетъ то, на описаніе чего понадобились бы длинныя страницы?

На берегу пустынныхъ волнъ,
Стоялъ онъ, думъ великихъ полнъ,
И въ даль глядѣлъ. Передъ нимъ широко
Рѣка неслася...

И думалъ онъ ..
Здѣсь городъ будетъ заложенъ...

Неужели вы думаете, что цѣлый томъ исторіи объяснить лучше величіе минуты, въ которую Петръ выбиралъ мѣсто для новой столицы? Вотъ это-то и называется истинный поэтический приѣмъ, дающій вамъ чувствовать немногими словами картины и событія, на описаніе которыхъ человѣкъ, не обладающій талантомъ, употребить напрасну цѣлыя томы. Такой приѣмъ, такой выборъ минуты и мѣста нуженъ былъ и для того рѣшительнаго дня, когда, наконецъ, опредѣлено было оставить южную часть Севастополя...

Тутъ не въ томъ бѣда, что картина велика, и не знаешь, за описаніе какой подробности взяться; тутъ вся сила искусства сосредоточена на умѣннй найти пунктъ, съ котораго творческая фантазія вдругъ можетъ обозрѣть картину, и дать ее почувствовать трепещущему отъ изумленія сердцу читателя. Здѣсь нужна не мелкая наблюдательность, здѣсь нуженъ взмахъ орлиный.

Но, чтобъ лучше понять, чего, по нашему мнѣнію, недостаетъ въ талантѣ гр. Толстого, мы разберемъ другую его прекрасную картину, совершенно оконченную, подъ названіемъ *Метель*. Разборъ этотъ можетъ пояснить недостаточность предыдущей картины. Что такое *Метель*?

На это мы имѣемъ уже превосходный отвѣтъ въ картинѣ нашего великаго художника Пушкина, съ которымъ не мѣшаетъ всегда справляться, когда дѣло дойдетъ до художе-

ственныхъ вопросовъ. Вотъ его отвѣтъ: (Просимъ извиненія, что печатаемъ стихи, которые всѣ знаютъ наизусть; но что жъ дѣлать? Это нужно для сличенія).

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
Ѣду, Ѣду въ чистомъ полѣ;
Болокольчикъ динь-динь-динь...
Страшно, страшно поневогѣ
Средь невѣдомыхъ равнинъ.

Прежде, нежели станемъ продолжать выписку, попросимъ припомнить начало разсказа „Метель“. Путешественникъ выѣзжаетъ съ одной станціи передъ бураномъ, столь обыкновеннымъ зимою въ степныхъ губерніяхъ; вьюга захватываетъ его на дорогѣ; ямщикъ сбивается съ пути, ходитъ отыскивать слѣдъ, опять ѣдетъ, опять останавливается. Путешественникъ отъ скуки то засыпаетъ, то просыпается, то подслушиваетъ разговоръ ямщиковъ, то дѣлаетъ надъ ними наблюденія. Таково содержаніе разсказа. Наконецъ, къ разсвѣту авторъ пріѣзжаетъ на слѣдующую станцію.

Теперь будемъ продолжать Пушкина:

Эй пошелъ, ямщикъ!... „Нѣтъ мочи:
«Конямъ, баринъ, тяжело;
«Вьюга мнѣ слипаетъ очи;
«Всѣ дороги занесло;
«Хоть убей, слѣда не видно.
«Сбились мы, что дѣлать намъ!
«Въ полѣ бѣсъ насъ водить, видно,
«Да кружить по сторонамъ.
«Посмотри: вонъ, вонъ играетъ,
«Дуетъ, плюетъ на меня;
«Вонъ теперь въ оврагъ толкаетъ
«Одичалаго коня;
«Тамъ верстою небывалой
«Онъ торчалъ передо мной:
«Тамъ сверкнулъ онъ искрой малой
«И пропалъ во тьмѣ пустой“.

.

Кони стали... — Что тамъ въ ногѣ? —
 «Кто ихъ знаетъ: пень иль волкъ».
 Вьюга злится, вьюга плачетъ;
 Кони чуткіе храпятъ;
 Вонъ ужъ онъ далеке скачетъ:
 Лишь глаза во мглѣ горятъ!
 Кони снова понесли;
 Колокольчикъ динь-динь-динь...

У гр. Толстого путешественникъ, наконецъ, забывается сномъ, дремлетъ и видитъ деревню, въ которой онъ выросъ, видитъ домашнихъ... Словомъ, предъ нимъ возстаетъ прекрасная картина лѣтняго вечера, мастерски описанная. У Пушкина рассказъ ямщика о бѣсахъ наводитъ автора на слѣдующую, поразительную своимъ величіемъ картину:

Вижу: духи собралися
 Средь бѣлѣющихъ равнинъ.
 Бесконечны, безобразны
 Въ мутной мѣсяца игрѣ
 Закружились бѣсы разны,
 Будто листья въ ноябрѣ...
 Сколько ихъ! куда ихъ гонять?
 Что такъ жалобно поютъ?
 Домового ли хоронятъ,
 Вѣдьму ль замужъ выдаютъ.
 Мчатся тучи, вьются тучи;
 Невидимкою луна
 Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
 Мутно небо, ночь мутна.
 Мчатся бѣсы, рой за роемъ
 Въ безпредѣльной вышинѣ,
 Визгомъ жалобнымъ и воемъ
 Надрывая сердце мнѣ...

Между этими двумя картинами лежитъ цѣлая бездна, хоть и рассказъ гр. Толстого прекрасенъ. Но отчего же, читая балладу Пушкина, чувствуешь какой то просторъ, чувствуешь безпредѣльную степь, чувствуешь русскую зиму, и русскаго мужичка, и русскую жизнь? Отчего такъ щемитъ сердце, когда оканчиваешь чтеніе баллады? Недаромъ же русскій человѣкъ, чувствуя свою слабость и беззащитность противъ такой негостепріимной и неласковой при-

роды, населилъ ее вѣдьмами, домовыми и бѣсами, которые справляютъ свои свадьбы на гибель человѣку! Въ этомъ есть смыслъ глубокій и поэтический, и вмѣстѣ здравый народный смыслъ. Недаромъ ямщикъ говоритъ, что разыгрались бѣсы. Что жъ дѣлаетъ поэтъ? Выдвигаетъ ли онъ на первый планъ свою личность и наблюденіями надъ картиной, которая, впрочемъ, черезчуръ однообразна, старается опозитизировать ее? Нѣтъ, нисколько. Онъ отказывается отъ собственной наблюдательности, и переходя въ тонъ ямщика, въ смыслъ народа, который уже охарактеризовалъ и глубоко понялъ это явленіе, поэтъ даетъ просторъ всей фантазіи, и его фантазія творить чудеса. Мы ее понимаемъ, мы ей сочувствуемъ, и она производитъ на насъ то поразительное впечатлѣніе, которое дано въ удѣлъ творческой силѣ поэта, крѣпкаго на родной почвѣ. Намъ нѣтъ дѣла до того, дремлетъ или не дремлетъ поэтъ, когда говоритъ:

Вижу, духи собралися.

Нѣтъ нужды прибѣгать къ искусственной чертѣ, чтобы представить иную картину: иная картина нарисована уже была передъ нимъ испуганнымъ ямщикомъ, затеряннымъ въ этой безпредѣльной мглѣ...

Какъ же поступаетъ гр. Толстой? Онъ не забываетъ путешественника и его личности ни на минуту; онъ на ней старается сосредоточить интересъ, какъ въ картинѣ „Севастополь въ августѣ“ старался соединить его на Володѣ Козельцовѣ. Отсюда картина имѣетъ совершенно особый характеръ. Путешественникъ наблюдаетъ всѣ мелочи; видитъ, которая рѣсница у ямщика побѣлѣла, которое ухо занесло снѣгомъ у лошади, чрезвычайно тонко анализируетъ свою собственную дремоту и свой собственный переходъ отъ наблюденій ко сну. Какъ начинаютъ возникать передъ путешественникомъ первые признаки сновидѣній, тоже подмѣчено превосходно; сонъ необыкновенно хорошъ; но отчего жъ, читая всю эту картину, смотря на нее и любуясь ею, чувствуешь что-то какъ будто тѣсно, точно надѣлъ узкое платье, точно фантазія привязана къ какому-то до-

вольно мелкому предмету, и оттого она не может разгуляться на просторѣ? Дѣйствительно, фантазія привязана къ той мелкой наблюдательности, которая можетъ, наконецъ, произвести картину, но картина эта не всегда будетъ одно и то же значить, что поэзія. Картинность не есть еще послѣднее слово искусства, точно такъ же, какъ и истина: одна истина не есть опредѣленіе прекраснаго, несмотря на то, что такимъ общимъ опредѣленіемъ, казалось бы, можно было что-нибудь опредѣлить. Нѣтъ, поэзія выше картинности, выше картинъ, особенно, если въ этихъ картинахъ играетъ главную роль одна фантазія автора, основанная на личномъ его чувствѣ, на ощущеніяхъ, до него лично касающихся; когда изъ-подъ этихъ ощущеній не проглядываетъ нѣчто болѣе общее, принадлежащее цѣлому народу, а не одному лицу. Нѣтъ, поэзія не всегда тамъ, гдѣ есть истина, хотя поэзія и не можетъ существовать безъ истины, а истина существуетъ безъ поэзіи. Что въ самомъ дѣлѣ несправедливаго, неистиннаго въ картинѣ гр. Толстого? Строгость отдѣлки доведена у него здѣсь до послѣднихъ предѣловъ: нѣтъ черты, которая не была бы взята прямо изъ жизни, изъ наблюденій необыкновенно вѣрныхъ и тонкихъ, а между тѣмъ, всѣ эти черты, вся эта наблюдательность, какъ онѣ холодны кажутся, когда сравнишь ихъ съ широкой картиной, нарисованной Пушкинымъ, отъ которой въ одно и то же время и воображеніе далеко улетаетъ, и сердце бьется шибко, и умъ говоритъ вамъ: это истина, неподдѣльная, непреувеличенная!

Такая наблюдательность надъ частями, которой недостаетъ широкаго взгляда на цѣлое, такія картины, которыми невольно любуешься, но которыя не глубоко черпаютъ содержаніе жизни, составляютъ главный недостатокъ произведеній гр. Толстого. Эта наблюдательность, всегда мѣткая, не всегда порождаетъ поэзію. Для поэзіи нужно чувство шире, многообъемлюще. Поэтому въ произведеніяхъ разбираемаго нами автора тонко обрисованные характеры стоятъ какъ-то уединенно.

Для поэзіи нужно, чтобы писатель отзывался на многія

стороны жизни, отделился на многие вопросы, чтобъ сердце его сочувствовало многому; а у гр. Толстого мы не видимъ этого: у него точно одинъ умъ да фантазія работаютъ. Чувство у него рѣдко выступаетъ наружу, до того рѣдко, что мы не видѣли еще женскаго характера, имъ созданнаго, не видѣли еще даже и чувства любви—не говоримъ о другихъ проявленіяхъ этого могущественнаго рычага жизни. Вотъ почему мы съ нетерпѣніемъ ждемъ продолженія „Дѣтства“ и „Отрочества“. Тамъ, наконецъ, гр. Толстой долженъ будетъ ввести свое дѣйствующее лицо въ свѣтъ, столкнуть его со многими интересами, живущими въ обществѣ. Тамъ онъ, наконецъ, принужденъ будетъ покинуть дѣтскую и классную, и выйти на поприще болѣе широкое. Тогда, можетъ быть, разрѣшатся и наши недоумѣнія, почему талантъ этотъ, при всѣхъ тѣхъ силахъ, которыя онъ выказалъ, не могъ еще подняться выше рисовки отдѣльныхъ характеровъ, выше описанія картинъ. Въ картинахъ у него играютъ главную роль опять-таки личности, но не общество, не люди, которыхъ интересы сплелись и перепутались. Намъ разрѣшится также вопросъ, почему авторъ послѣ своего перваго разсказа „Дѣтство“ не сдѣлалъ ни шага впередъ на поприщѣ искусства, не создалъ ни повѣсти ни драмы, которыя захватываютъ такъ много жизненныхъ вопросовъ и ставятъ автора лицомъ къ лицу съ обществомъ, почему онъ постоянно до сихъ поръ ограничивается портретной живописью и разработкой одной психологій.

Для насъ все это еще остается загадкой, потому что, повторяемъ, силы въ этомъ талантѣ видимъ мы много; а кому дано много, отъ того много и требуется. При разборѣ сочиненій кого-нибудь другого, мы, можетъ быть, и не задали бы себѣ такого вопроса, который невольно приходится на умъ, когда читаешь произведенія гр. Толстого.

„Отечественныя Записки“ 1856 г.

1857 г.

„Утро Помѣщика“.

*) Въ прошедшемъ мѣсяцѣ, когда, по случаю изданія „Дѣтства“, „Отрочества“ и „Военныхъ Разказовъ“, мы выражали свое мнѣніе о тѣхъ качествахъ, которыя должны считаться отличительными чертами въ талантѣ графа Л. Н. Толстого, мы говорили только о силахъ, которыми теперь располагаетъ его дарованіе, почти совершенно не касаясь вопроса о содержаніи, на поэтическое развитіе котораго употребляются эти силы. Между тѣмъ, нельзя не помнить, что вопросъ о паосѣ поэта, объ идеяхъ, дающихъ жизнь его произведеніямъ, — вопросъ первостепенной важности. Нельзя также не замѣтить, что было бы очень легко опредѣлить границы этого содержанія, насколько оно раскрылось въ произведеніяхъ, бывшихъ извѣстными въ публикѣ въ то время, когда писалась наша статья. Но мы не сдѣлали этого, считая такое дѣло преждевременнымъ, потому что рѣчь шла о талантѣ молодомъ и свѣжемъ, до сихъ поръ быстро развивающемся. Почти въ каждомъ новомъ произведеніи онъ бралъ содержаніе своего разказа изъ новой сферы жизни. За изображеніемъ „Дѣтства“ и „Отрочества“ слѣдовали картины Кавказа и Севастополя, солдатской жизни (въ „Рублѣ Лѣса“), изображеніе различныхъ типовъ офицера во время битвъ и приготовленій къ битвамъ, — потомъ глубоко-драматическій разказъ о томъ, какъ совершается нравственное паденіе натуры благородной и сильной (въ „Запискахъ Маркера“), — затѣмъ изображеніе нравовъ нашего общества въ различные эпохи („Два Гусара“). Какъ расширяется постепенно кругъ жизни, обнимаемой произведеніями графа Толстого, точно такъ же постепенно развивается и самое возрѣніе его на жизнь. Настоящія границы этого возрѣнія было бы легко опредѣлить, — но кто поручится, что всѣ замѣчанія объ этомъ, основанныя на прежнихъ его произведеніяхъ, не окажутся

*) „Современникъ“ 1857 г., № 1 („Замѣтки о журналахъ“).

односторонними и невѣрными съ появленіемъ новыхъ его разсказовъ? Въ послѣднихъ главахъ „Юности“, которая напечатана въ этой книжкѣ „Современника“, читатели, конечно, замѣтили, какъ съ расширеніемъ сферы разсказа, расширяется и взглядъ автора. Съ новыми лицами вносятся и новыя симпатіи въ его поэзію, — это видитъ каждый, припоминая сцены университетской жизни Иртеньева. То же самое надобно сказать о разсказѣ графа Толстого „Утро Помѣщика“, помѣщенномъ въ декабрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Мы упоминаемъ объ этомъ разсказѣ не съ намѣреніемъ разсматривать основную идею его, — отъ этого насъ удерживаетъ увѣренность, что опредѣлять идеи, которыя будутъ выражаться произведеніями графа Толстого, вообще было бы преждевременно.

Тотъ ошибся бы, кто захотѣлъ бы опредѣлять содержаніе его севастопольскихъ разсказовъ по первому изъ этихъ очерковъ, — только въ двухъ слѣдующихъ вполнѣ раскрылась идея, которая въ первомъ являлась лишь одною своею стороною. Точно также мы должны подождать второго, третьяго разсказовъ изъ простонароднаго быта, чтобы опредѣлительнѣе узнать взглядъ автора на вопросы, которыхъ касается онъ въ первомъ своемъ очеркѣ сельскихъ отношеній. Теперь очень ясно для насъ только одно то, что графъ Толстой съ замѣчательнымъ мастерствомъ воспроизводитъ не только внѣшнюю обстановку быта поселянъ, но, что гораздо важнѣе, ихъ взглядъ на вещи. Онъ умѣетъ переселяться въ душу поселянина — его мужикъ чрезвычайно вѣренъ своей натурѣ, — въ рѣчахъ его мужика нѣтъ прикрасъ, нѣтъ риторики, понятія крестьянъ передаются у графа Толстого съ такою же правдивостію и рельефностью, какъ характеры нашихъ солдатъ.

Въ новой сферѣ его талантъ обнаружилъ столько же наблюдательности и объективности, какъ въ „Рубкѣ Лѣса“. Въ крестьянской избѣ, онъ такъ же дома, какъ въ походной палаткѣ кавказскаго солдата. Сюжетъ разсказа очень простъ: молодой помѣщикъ живетъ въ деревнѣ затѣмъ, чтобы заниматься улучшеніемъ быта своихъ крестьянъ.

Для этой, какъ онъ вѣруеть, святой и достижимой цѣли, онъ бросилъ все, — и столицу, и знакомства, и удовольствія, и честолюбивыя надежды на блестящую карьеру, — онъ хочетъ жить для блага своихъ крестьянъ, — это у него не фраза, а правдивое дѣло: онъ трудится неутомимо, онъ рвется изъ всѣхъ силъ. Каковъ же результатъ его усилій? Это мы видимъ изъ разсказа объ одномъ его „Утрѣ“, когда онъ, по обыкновенію, ходитъ по избамъ тѣхъ мужиковъ, которымъ случалось до него дѣло въ теченіе предыдущей недѣли, чтобы своими глазами видѣть состояніе семейства, разобрать, основательна ли просьба, и если основательна, то съ общаго совѣта придумать способъ, какъ исполнить ее. Каковы эти консультации и къ чему приводятъ онъ, читатель можетъ видѣть изъ первой сцены — въ избѣ Чуриса или Чурисенка. Мы выбираемъ этотъ отрывокъ потому, что фигура Чурисенка — одна изъ самыхъ законченныхъ, самыхъ рельефныхъ и вмѣстѣ самыхъ типичныхъ въ разсказѣ, который, вообще, представляетъ очень много-страницъ, дышащихъ правдою:

— „Богъ помощь! сказалъ баринъ, входя на дворъ.

„Чурисенокъ оглянулся и снова принялся за свое дѣло. Сдѣлавъ энергическое усиліе, онъ выпросталъ плетень изъ-подъ навѣса и тогда только воткнулъ топоръ въ колоду, и, оправляя поясокъ, вышелъ на средину двора.

— „Съ праздникомъ, ваше сіятельство! сказалъ онъ, низко кланяясь и встряхивая волосами.

— „Спасибо, любезный. Вотъ пришелъ твое хозяйство провѣдать, съ дѣтскимъ дружелюбіемъ и застѣнчивостью сказалъ Нехлюдовъ, оглядывая одежду мужика. — Покажи-ка мнѣ, на что тебѣ сохи, которыя ты просилъ у меня на сходкѣ.

— „Сошки-то? Извѣстно, на что сошки, батюшка, ваше сіятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотѣлось, сами изволите видѣть: вотъ онадысь уголъ завалился, еще помиловалъ Богъ, что скотины въ ту пору не было. Все-то еле еле виситъ, говорилъ Чурисъ, презрительно осматривая свои раскрытые, кривые и обрушенные сараи. — Теперь и стро-

пила, и откосы, и переметы только уронъ: глядишь, дерева дѣльнаго не выйдетъ. А лѣсу гдѣ нынче возьмешь? сами изволите знать.

— „Такъ на что жъ тебѣ пять сошекъ, когда одинъ сарай уже завалился, а другіе скоро завалятся? Тебѣ нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы — все новое нужно, сказалъ баринъ, видимо щеголяя своимъ знаніемъ дѣла.

„Чурисенокъ молчалъ.

— „Тебѣ, стало-быть, нужно лѣсу, а не сошекъ; такъ и говорить надо было.

— „Вѣстимо надо, да взять-то негдѣ: не все же на барскій дворъ ходить! Коли нашему брату повадку дать къ вашему сіятельству за барскимъ добромъ на барскій дворъ кланяться, какіе мы крестьяне будемъ? А коли милость ваша на то будетъ, насчетъ дубовыхъ макушекъ, что на господскомъ гумнѣ такъ безъ дѣла лежатъ, сказалъ онъ кланаясь и переминаясь съ ноги на ногу: — такъ, може, я, которыя подмѣню, которыя поурѣжу, и изъ стараго какъ-нибудь соорудю.

— „Какъ же изъ стараго? Вѣдь ты самъ говоришь, что все у тебя старо и гнило: нынче этотъ уголъ обвалился, завтра тотъ, послѣ-завтра третій; такъ ужъ ежели дѣлать, такъ дѣлать все заново, чтобъ не даромъ работа пропадала. Ты скажи мнѣ, какъ ты думаешь, можетъ твой дворъ простоять нынче зиму или нѣтъ?

— „А кто е знаетъ!

— „Нѣтъ, ты какъ думаешь? завалится она или нѣтъ?

„Чурись на минуту задумался.

— „Должонъ весь завалиться, сказалъ онъ вдругъ.

— „Ну, вотъ видишь ли, ты бы лучше такъ и на сходкѣ говорилъ, что тебѣ надо весь дворъ перестроить, а не однѣхъ сошекъ. Вѣдь, я радъ помочь тебѣ...

— „Много довольны вашей милостью, недовѣрчиво и не глядя на барина отвѣчалъ Чурисенокъ. — Мнѣ хоть бы бревна четыре да сошекъ пожаловали, такъ я, можетъ,

самъ управлюсь; а который негодный лѣсъ выберется, такъ въ избу на подпорки пойдетъ.

— „А развѣ у тебя изба плоха?

— „Того и ждемъ съ бабой, что вотъ-вотъ раздавить кого-нибудь, равнодушно сказалъ Чурисъ. — Намедни и то накатина съ потолка мою бабу убила!

— „Какъ убила?

— „Да такъ, убила, ваше сіятельство:—по спинѣ какъ полыхнѣтъ ее, такъ она до ночи замертво пролежала.

— „Что-жъ, прошло?

— „Прошло-то прошло, да все хвораетъ. Она, точно, и отъ роду хвѳрая.

— „Что ты, больна? спросилъ Нехлюдовъ у бабы, продолжавшей стоять въ дверяхъ и тотчасъ же начавшей охать, какъ только мужъ сталъ говорить про нее.

— „Все вотъ тутъ не пускаетъ меня, да и шабашъ, отвѣчала она, указывая на свою грязную, тощую грудь.

— „Опять! съ досадой сказалъ молодой баринъ, пожимая плечами:—отчего же ты больна, а не приходила сказать въ больницу? Вѣдь для этого и больница заведена. Развѣ вамъ не повѣщали?

— Повѣщали, кормилецъ, да недосугъ все: и на барщину, и дома, и ребятишки — все одна! Дѣло наше одинокое...

„Нехлюдовъ вошелъ въ избу. Неровная, закопченная стѣны въ черномъ углу были увѣшаны разнымъ тряпьемъ и платьемъ, а въ красномъ буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образовъ и лавки. Въ серединѣ этой черной, смрадной, шестиаршинной избенки, въ потолокъ, была большая щель и, несмотря на то, что въ двухъ мѣстахъ стояли подпорки, потолокъ такъ погнулся, что казалось, съ минуты на минуту угрожалъ разрушеніемъ.

— „Да, изба очень плоха, сказалъ баринъ, всматриваясь въ лицо Чурисенка, который, казалось, не хотѣлъ начинать говорить объ этомъ предметѣ.

— „Задавить насъ, и ребятишекъ задавить, начала слез-

ливомъ голосомъ приговаривать баба, прислонившись къ печи подъ полатами.

— „Ты не говори! строго сказалъ Чурись, и съ тонкой, чуть замѣтной улыбкой, обозначившейся подъ его пошевелившимися усами, обратился къ барину: — и ума не приложу, что съ ней дѣлать, ваше сіятельство, съ избой-то; и подпорки и подкладки клалъ—ничего нельзя издѣлать!“

— „Какъ тутъ зиму зимовать? Охъ-охъ-о! сказала баба.

— „Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатникъ настлатъ, перебилъ ее мужъ, съ спокойнымъ, дѣловымъ выраженіемъ:—да кой-гдѣ перемѣты перемѣнить, такъ, можетъ, какъ-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь—вотъ что; а тронь ее, такъ щепки живой не будетъ; только поколи стоять—держится, заключилъ онъ, видимо весьма довольный тѣмъ, что онъ сообразилъ это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурись довелъ себя до такого положенія, и не обратился прежде къ нему, тогда какъ онъ, съ самаго своего пріѣзда, ни разу не отказывалъ мужикамъ, и только того добивался, чтобъ всѣ прямо приходили къ нему за своими нуждами. Онъ почувствовалъ даже нѣкоторую злобу на мужика, сердито пожалъ плечами и нахмурился; но видъ нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса, превратила его досаду въ какое-то грустное, безнадежное чувство.

— „Ну, какъ же ты, Иванъ, прежде не сказалъ мнѣ? съ упрекомъ замѣтилъ онъ, садясь на грязную, кривую лавку.

— „Не посмѣлъ, ваше сіятельство, отвѣчалъ Чурись съ той же, чуть замѣтной улыбкой, переминаясь своими черными, босыми ногами по неровному земляному полу; но онъ сказалъ это такъ смѣло и спокойно, что трудно было вѣрить, чтобъ онъ не посмѣлъ прійти къ барину.

— „Наше дѣло мужицкое: какъ мы смѣемъ!... начала было всклипывая баба.

— „Ну, гуторь, снова обратился къ ней Чурись.

— „Въ этой избѣ тебѣ жить нельзя; это вздоръ! сказалъ Нехлюдовъ, помолчавъ нѣсколько времени. — А вотъ что мы сдѣлаемъ, братецъ...

„Чтобы помочь Чурисенку совершенно, а не на время, не кое-какъ, Нехлюдовъ предлагаетъ ему выселиться на новыя мѣста, на хуторъ,—тамъ онъ найдетъ себѣ готовую новую избу. Чурисенокъ не можетъ рѣшиться на это—ему дорогà родная изба, дорогъ родной дворъ съ ветлами, которыя посадилъ его отецъ, — да и разорительно было бы ему бросить свой удобренный участокъ, свой конопляникъ, чтобы получить на хуторѣ глинистую, неудобренную землю.

„Молодому помѣщику, видно, хотѣлось еще спросить что-то у хозяевъ; онъ не вставалъ съ лавки и нерѣшительно поглядывалъ то на Чуриса, то въ пустую, нетопленную печь.

— „Что, вы ужъ обѣдали? наконецъ, спросилъ онъ.

„Подъ усами Чуриса обозначилась насмѣшливая улыбка, какъ будто ему смѣшно было, что баринъ дѣлаетъ такіе глупые вопросы; онъ ничего не отвѣтилъ.

— „Какой обѣдъ, кормилецъ? тяжело вздыхая, проговорила баба:—хлѣбушка посяѣдали—вотъ и обѣдъ нашъ. За сыткой нынче ходить нѣколи было, такъ и щецъ сварить нѣ изъ чего, а что квасу было, такъ ребятамъ дала.

— „Нынче постъ голодный, ваше сіятельство, вмѣшался Чурисъ, поясняя слова бабы: — хлѣбъ да лукъ — вотъ и пища наша мужицкая. Еще, слава-ти Господи, хлѣбушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у нашихъ мужиковъ и хлѣба-то нѣтъ. Луку нынѣ вездѣ незародѣ. У Михайла-огородника онадысь посылали, за пучокъ по грошу берутъ, а покупать нашему брату нѣ откуда. Съ Пасхи почитай-что и въ церкву Божью не ходимъ, и свѣчку Миколѣ купить не на что.

„Нехлюдовъ ужъ давно зналъ не по слухамъ, не на вѣру къ словамъ другихъ, а на дѣлѣ всю ту крайнюю степень бѣдности, въ которой находились его крестьяне: но вся дѣйствительность эта была такъ несообразна со всѣмъ воспитаніемъ его, складомъ ума и образомъ жизни, что онъ про-

тивъ воли забывалъ истину, и всякій разъ, когда ему, какъ теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердцѣ становилось невыносимо тяжело и грустно, какъ будто воспоминаніе о какомъ-то совершенномъ, неискупленномъ преступленіи мучило его.

— „Отчего вы такъ бѣдны? сказалъ онъ, невольно высказывая свою мысль.

— „Да какимъ же намъ и быть, батюшка, ваше сіятельство, какъ не бѣднымъ? Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогнѣвили мы Бога, вотъ ужъ съ холеры почитай хлѣба не родить. Луговъ и угодьевъ опять меньше стало: которые показали въ экономію, которые тоже въ барскія поля попридрали. Дѣло мое одинокое, старое... гдѣ и радъ бы похлопоталъ — силъ моихъ нѣту. Старуха моя больная, что ни годъ, то дѣвчонокъ рождаетъ: вѣдь, всѣхъ кормить надо. Вотъ одинъ маюсь, а семь душъ дома. Грѣшенъ Господу Богу, часто думаю себѣ: хоть бы прибралъ которыхъ Богъ поскорѣе: и мнѣ бы легче было, да имъ то лучше, чѣмъ зѣбъсь горе мыкать...

— „О-охъ! громко вздохнула баба, какъ бы въ подтвержденіе словъ мужа.

— „Вотъ моя подмога вся тутъ, продолжалъ Чурисъ, указывая на бѣлоголового, шершаваго мальчика лѣтъ семи, съ огромнымъ животомъ, который въ это время, робко, тихо скрипнулъ дверью, вошелъ въ избу и, уставивъ исподлобья удивленные глаза на барина, обѣими ручонками держался за рубаху Чуриса. — Вотъ и подсобка моя вся тутъ, продолжалъ звучнымъ голосомъ Чурисъ, проводя своей шершавой рукой по бѣлымъ волосамъ ребенка: — когда его дождешься? а мнѣ ужъ работа невмочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолѣла. Въ ненастье хоть крикомъ кричи. А, вѣдь, ужъ мнѣ давно съ тягла въ старики пора. Вонъ Ермиловъ, Демкинъ, Забревъ, — всѣ моложе меня, а ужъ давно земли посложили. Ну, мнѣ сложить не на кого — вотъ бѣда моя. Кормиться надо: вотъ и бьюсь, ваше сіятельство.

— „Я бы радъ тебя облегчить, точно. Какъ же быть? сказалъ молодой баринъ съ участіемъ глядя на крестьянина.

— „Да какъ облегчить? Извѣстное дѣло, коли землей владать, то и барщину править надо—ужъ порядки извѣстные. Какъ-нибудь малаго дождусь. Только, будетъ милость ваша, насчетъ училища его увольте: вѣдь, какой у него разумъ, ваше сіятельство? Онъ еще младъ, ничего не смыслить.

— „Нѣтъ, ужъ это, братъ, какъ хочешь, сказалъ баринъ:—мальчикъ твой ужъ можетъ понимать, ему учиться пора. Вѣдь, я для твоего же добра говорю. Ты самъ посуди, какъ онъ у тебя подрастетъ, хозяиномъ станетъ, да будетъ грамотѣ знать и читать будетъ умѣть, и въ церкви читать—вѣдь, все у тебя дома съ Божьей помощью лучше пойдетъ, говорилъ Нехлюдовъ, стараясь выразаться какъ можно понятнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ почему-то краснѣя и заминаясь.

— „Неспорно, ваше сіятельство:—вы намъ худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы съ бабой на барщинѣ—ну а онъ хошь и маленекъ, а все подсобляетъ, и скотину загнать, и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужикъ, и Чурисенокъ съ улыбкой взялъ своими толстыми пальцами за носъ мальчика и высморкалъ его.

— „Все-таки присылай его, когда самъ дома и когда ему время—слышишь? непременно.

„Чурисенокъ тяжело вздохнулъ и ничего не отвѣтилъ“.

Эта сцена показалась намъ одною изъ лучшихъ въ разсказѣ. Но еслибъ мы захотѣли указать всѣ удачныя лица мужиковъ, всѣ правдивыя и поэтическія страницы, намъ пришлось бы представить слишкомъ длинный перечень, потому что большая часть подробностей въ „Утрѣ Помѣщика“ прекрасны.

„Современникъ“.

* * *

К. С. Аксаковъ въ статьѣ „Обозрѣніе современной литературы“, между прочимъ, говоритъ о Л. Н. Толстомъ:

*) „Въ числѣ писателей самыхъ молодыхъ по времени вы-

*) „Русская Весѣда“ 1857 г., книга 1-я.

ступленія своего на литературное поприще находится графъ Толстой (Л. Н. Т.). Но уже первыми своими произведеніями г. Толстой сейчасъ сталъ замѣтенъ между другими писателями. Произведенія его: „Набѣгъ“, „Рубка Лѣсу“, „Севастополь“, отличаются наглядностью живою, прямымъ отношеніемъ къ предмету, уваженіемъ жизни и стремленіемъ возстановить ее въ искусствѣ во всей правдѣ. Его сочиненія раздѣляются на два рода: въ однихъ первое мѣсто занимаетъ окружающій міръ природы, люди, событія; въ другихъ, напротивъ, на первомъ мѣстѣ личный міръ человѣка, внутренняя область его души. Изъ рассказовъ перваго рода мы уже назвали лучшіе. Слабѣе прочихъ: „Записки Маркера“ и „Два Гусара“. Вообще рассказы гр. Толстого изобилуютъ излишними подробностями: глазъ автора разбираетъ по частямъ ему представляющійся предметъ, такъ что теряется общая линія, ихъ связующая въ одно цѣлое; описаніе, освѣщая ярко какой-нибудь волосокъ на бородѣ, производитъ разладъ въ цѣломъ образѣ, и въ воображеніи читателя непріятно торчитъ какая-нибудь частица, которую авторъ облилъ яркимъ свѣтомъ.—Рассказы другого рода, рассказы личные, имѣютъ особое значеніе, больше психологическое. Здѣсь идетъ рассказъ о самомъ себѣ; это не значить, чтобы авторъ рассказывалъ именно о себѣ; мы это предполагать не имѣемъ права, и не въ этомъ дѣло; довольно того, что здѣсь я говоритъ о самомъ себѣ, что здѣсь идетъ личный рассказъ. Къ этимъ личнымъ рассказамъ относятся „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“. Здѣсь, съ самаго начала, кромѣ прекрасныхъ картинъ окружающей жизни,—впрочемъ, описаніе окружающей жизни доходитъ иногда до невыносимой, до приторной мелочности и подробности,—видимъ мы анализъ самого себя. Въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ анализъ имѣетъ нѣсколько объективный характеръ, ибо авторъ разсматриваетъ еще несовершеннаго человѣка, но въ „Юности“ этотъ анализъ принимаетъ характеръ исповѣди, безпощаднаго обличенія всего, что копошится въ душѣ человѣка. Это самообличеніе является бодрымъ и рѣшительнымъ, въ немъ нѣтъ ни колебанія ни невольной попытки извинить свои внут-

реннія движенія. Нѣтъ, авторъ строго относится къ внутреннему міру души, обращается съ собой безпощадно и твердо, и видишь, что онъ хочетъ одного—*правды*. Внутренній анализъ г. Тургенева имѣетъ въ себѣ нѣчто болѣзненное и слабое, неопредѣленное, тогда какъ анализъ гр. Толстого бодръ и неумолимъ. — Много вѣрнаго подмѣтилъ онъ въ изгибахъ души человѣческой, и это твердое желаніе обличенія себя во имя правды, само по себѣ уже есть заслуга, и оставляетъ благое впечатлѣніе. Но мы однако сдѣлаемъ здѣсь нѣкоторыя замѣчанія. Анализъ гр. Толстого часто подмѣчаетъ мелочи, которыя не стоятъ вниманія, которыя проносятся по душѣ, какъ легкое облако, безъ слѣда; замѣченные, удержанные анализомъ, онѣ получаютъ большее значеніе, нежели какое имѣютъ на самомъ дѣлѣ, и отъ этого становятся невѣрны. Анализъ въ этомъ случаѣ становится микроскопомъ. Микроскопическія явленія въ душѣ существуютъ, но если вы увеличите ихъ въ микроскопъ и такъ оставите, а все остальное останется въ своемъ естественномъ видѣ, то нарушится мѣра отношенія ихъ ко всему окружающему, и, будучи вѣрно увеличены, они дѣлаются рѣшительно невѣрны, ибо имъ приданъ невѣрный объемъ, ибо нарушена общая мѣра жизни, ея взаимное отношеніе, а эта мѣра и составляетъ дѣйствительную правду. Передъ вами стаканъ чистой воды; вы увеличиваете ее въ микроскопъ; передъ вами море, наполненное инфузоріями, цѣлый особый міръ; но если вы усвоите себѣ это созерцаніе, то впадаете въ совершенную ошибку, и передъ вами исчезнетъ видъ настоящей воды, тотъ видъ, который имѣетъ всю дѣйствительность и всѣ права на нее и находится въ мірѣ со всѣмъ міромъ: т.-е. стаканъ чистой воды. Итакъ, вотъ опасность анализа; онъ, увеличивая микроскопомъ, со всею вѣрностью, мелочи душевнаго міра, представляетъ ихъ потому самому въ ложномъ видѣ, ибо въ *несоизмѣрной* величинѣ. — Кромѣ того: ощущенія минутнымъ, проходящимъ по душѣ какъ дымъ, иногда вслѣдствіе того, что они-то именно совершенно несогласны съ характеромъ человѣка,—можетъ придать онъ состоятельность, которой они не имѣютъ. Наконецъ, анализъ

можетъ найти и то въ человѣкѣ, чего въ немъ вовсе нѣтъ; устремленный тревожно взоръ въ самого себя часто видитъ призраки, и искажаетъ свою собственную душу. Надо меньше заниматься собою, обратиться къ Божьему міру, яркому и свѣтлому, думать о братьяхъ и любить ихъ,—и тогда, не теряя самосознанія, станешь и себя видѣть и чувствовать въ настоящей мѣрѣ и настоящемъ свѣтѣ. Вотъ опасности душевнаго анализа, и въ разсказахъ гр. Толстого, которые мы высоко цѣнимъ, есть многіе признаки этихъ свойствъ анализа. Талантъ его очевиденъ, и мы надѣемся, что онъ освободится отъ этой мелочности и, можемъ сказать, микроскопичности взгляда, и талантъ его окрѣпнетъ и созрѣетъ.

К. Аксаковъ.

* * *

*) Въ „Библіотекѣ для Чтенія“, въ отдѣлѣ критики (стр. 7 и 8) А. В. Дружининъ между прочимъ говоритъ: „Графъ Толстой начинаетъ свое дѣло какъ человѣкъ, твердо держащійся за свою самостоятельность, на зло всѣмъ недавнимъ авторитетамъ“... Далѣе на 10 страницъ упоминается, что русская критика обогатилась талантомъ Толстого, независимымъ отъ дидактическихъ теорій. „Какъ же послѣ этого не радоваться за русскую литературу, продолжаетъ критикъ, и, основываясь на *здравости* всего ея поступательнаго движенія, не предвидѣть для нея истинно завидной, истинно блистательной будущности. Гораздо ранѣе появленія Толстого, Писемскаго и Островскаго, и въ обществѣ и въ словесности нашей открыто жили явные симптомы протеста противъ современно-дидактическихъ воззрѣній, навязываемыхъ намъ всѣмъ критикомъ гоголевскаго періода. Мы всѣ не были способны на воспринятіе теорій, совращавшихъ искусство съ его прямой дороги, мы готовили сильную реакцію противъ ученія, увлекавшаго насъ

*) „Библіотека для Чтенія“ 1857 г., 141 т., № 1. „Журналистика“. Статья А. В. Дружинина.

на какія-то неприступныя гуманическія вершины, и чрезъ то самое, т.-е. чрезъ недосыгаемость и туманность своихъ идеаловъ, поселявшаго въ насъ бесплодное недовольство той средой жизни, которую мы должны были любить и изучать съ любовью. Большая часть пишущихъ людей понимала необходимость жизни и примиренія съ жизнью, сознавала необходимость всего того, отъ чего ее отвращала новая критика, то-есть, необходимость свѣтлаго взгляда на вещи, веселаго простодушнаго смѣха, необходимость беззлобнаго отношенія къ дѣйствительности, необходимость любящаго, симпатическаго взгляда на людей и на дѣла людскія. Потому-то даже годы полнаго торжества дидактической критики принесли нашему искусству вредъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Критика сороковыхъ годовъ скорѣе мѣшала развитію писателей существующихъ, нежели содѣйствовала къ появленію новыхъ писателей—дидактиковъ. На литераторовъ, уже составившихъ себѣ имя и вновь появляющихся, критика Бѣлинскаго налагала стѣснительныя узы, но художниковъ, собственно ею созданныхъ, она не имѣла. Своихъ поэтовъ, своихъ литературныхъ адептовъ, она не создала,—эти послѣдніе, побѣгавши самое короткое время на дидактической кордѣ, исчезали съ лица земли и гибли вслѣдствіе своего собственнаго безсилія. Всюду кипѣли свѣжія молодая силы, всюду являлось сдержанное противорѣчіе узкимъ дидактическимъ требованіямъ господствующей критики. Чуть замолкъ голосъ Бѣлинскаго, чуть его поэтическое слово перестало служить самымъ непоэтическимъ изъ всѣхъ цѣлей, въ ряду русскихъ критиковъ даже не нашлось человека, желающаго продолжать его дѣло...“ *)

А. В. Дружининъ.

*) Въ этой же статьѣ еще упоминается о Толстомъ на 12 страницѣ.— Еще упоминается о произведеніяхъ Толстого въ „Современникѣ“ за 1857 г. № 1, въ статьѣ: „Петербургская Жизнь“. Замѣтки новаго поэта (И. Панаева), стр. 138.

1858—1860 г.

Въ 1858, 1859 и 1860 годахъ въ нашей критической литературѣ нѣтъ отдѣльныхъ критическихъ статей и рецензій о произведеніяхъ Л. Н. Толстого *), а лишь только встрѣчаются общія замѣчанія о Толстомъ въ критическихъ статьяхъ о произведеніяхъ другихъ писателей, въ родѣ того, какъ, напримѣръ, упоминается о немъ въ статьѣ А. Григорьева, подъ названіемъ: „Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики и искусства“, гдѣ критикъ, между прочимъ, говоритъ: „Только что рожденными художественными произведеніями вносится новое въ жизнь, только въ плоть и кровь облеченная правда сильна и сильна притомъ такъ, что никакой теоретической критикѣ не удастся представить ее неправдою: свидѣтельство на лицо во всемъ новомъ: въ Островскомъ, Семейной Хроникѣ, Писемскомъ, Толстомъ“...**).

*) По крайней мѣрѣ, мнѣ не удалось ничего найти, несмотря на мои тщательные поиски.

**) „Библіотека для Чтенія“ 1858 г., т. 47.

Зеллискій. Критика о Толстомъ.

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1861 г.

Въ журналѣ „Свѣточъ“, между прочимъ, упоминается о Толстомъ:

*) „Вы затруднитесь назвать вполне реалистомъ даже Толстого, говоритъ Ап. Григорьевъ, несмотря на его безпощадный анализъ движеній человѣческой души, на его безстрашную простоту отношеній къ созерцанію жизни и самой смерти, потому что анализъ видимо ведетъ и писателя и васъ къ результатамъ, далеко не успокаивающимъ“...

А. Григорьевъ.

* * *

**) Въ „Современникѣ“, подъ рубрикою „Петербургская жизнь“, въ *Замѣткахъ Новаго Поэта*, между прочимъ, говорится по поводу объявленія Л. Н. Толстого объ изданіи журнала „Ясная Поляна“. Вотъ этотъ отрывокъ юмористическаго діалога:

— „Ахъ, кстати о г. Камбекѣ, перебилъ меня мой товарищъ:—его самого, кажется, слѣдовало бы подвергнуть обличенію. Одинъ изъ моихъ наивныхъ провинціальныхъ знакомыхъ вздумалъ подписаться на „Петербургскій Вѣстникъ“, нѣкогда именовавшійся „Семейнымъ Кругомъ“. Этотъ „Семейный Кругъ“ или, по новѣйшему, „Петербургскій Вѣстникъ“ переданъ былъ г. Камбеку г. Станюковичемъ

*) „Свѣточъ“ 1861 г., № 4 („Критическое обозрѣніе“).

**) „Современникъ“ 1861 г., № 8. „Замѣтки Новаго Поэта“ (И. И. Панаева), стр. 343.

(ex-редакторомъ „Сѣвернаго Цвѣтка“). Мой провинціальный другъ жалуется, что онъ давно уже не получаетъ этого „Петербургскаго Вѣстника“ и никакого отвѣта на свои запросы г-ну Камбеку... что сдѣлалось съ этимъ „Вѣстникомъ“, — не извѣстно ли тебѣ?

— „Нѣтъ, понятія не имѣю; но зачѣмъ ты перебиваешь меня пустяками?... Да, мой другъ, если бы не эта вѣчно всѣмъ недовольная мысль, продолжалъ я, одушевляясь: — мѣшающая нашему наслажденію, мы отъ всего сердца смѣялись бы стихотворнымъ пародіямъ „Искры“; мы читали бы съ жаднымъ любопытствомъ собранія безыменныхъ анекдотцевъ, подъ заглавіемъ: „Намъ пишутъ“; ученый редакторъ „Русской Рѣчи“, совокупившейся съ „Московскимъ Вѣстникомъ“, на который мы нѣкогда возлагали такія надежды, знаменитый московскій доктринеръ г. Теокистовъ приводилъ бы насъ въ восторгъ своими глубокомысленными статьями, въ которыхъ онъ такъ ловко защищаетъ своихъ друзей, западно-европейскихъ доктринеровъ, противъ нашихъ *невыждъ*, не падающихъ униженно передъ ихъ авторитетомъ... Мы пришли бы въ умиленіе отъ объявленія Л. Н. Толстого (въ „Современной лѣтописи Русскаго Вѣстника“) объ изданіи съ будущаго года народнаго журнала, которому онъ далъ названіе своей деревни: „Ясная Поляна“, и который будетъ печататься въ этой самой деревнѣ... Впрочемъ, при этомъ извѣстіи, при этой отрадной новости, я рѣшительно задушаю въ себѣ всякое сомнѣніе, сдерживаю недовѣрчивость моей мысли, и отъ всей души привѣтствую смѣлую и благородную попытку г. Толстого, желая ему полного торжества на новомъ, трудномъ и еще доселѣ никѣмъ неизвѣданномъ поприщѣ...

— „Враво! воскликнулъ мой старый товарищъ: — нѣтъ сомнѣнія, что всѣ люди, не боящіеся развитія мысли, распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, будутъ способствовать успѣху такой благородной попытки. Да здравствуетъ на многія лѣта „Ясная Поляна!“

— „А, вѣдь, я убѣжденъ, что найдутся такіе либералы, и торые воскликнутъ: „не раненько ли? Вѣдь, наши добрые

мужички жили же себѣ до сихъ поръ, припѣваячи, подѣ властію такихъ просвѣщенныхъ помѣщиковъ, какъ Л. Н. Толстой... Вѣдь, онъ не одинъ такой; они не имѣли понятія о мысли, — привыкли къ безусловному повиновенію и были вполне счастливы, не имѣя никакого понятія о возможности для себя иной, какой-нибудь лучшей жизни. Что, если зароненная въ нихъ мысль пробудитъ въ нихъ недовольство своимъ положеніемъ, стремленіе къ потребностямъ, несвойственнымъ ихъ быту и т. д.?... хорошо ли это будетъ? Мы лишимъ ихъ внутренняго спокойствія, а удовлетворить ихъ потребностямъ не будемъ въ состояніи... Трудно, вѣдь, совладать съ мыслию, когда она разойдется, войдетъ, такъ сказать, въ задоръ... но какъ бы останавливать ее въ извѣстныхъ предѣлахъ? Вѣдь, море — эту не только свободную, даже своевольную стихію сдерживаютъ плотинами, скажутъ иные люди... Неужели же нельзя ничѣмъ сдержать человѣческую мысль?.. Вѣдь, не правда ли, найдутся такіе?

— „Разумѣется. А знаешь, что я предложилъ бы имъ для удержанія ея въ должныхъ размѣрахъ? сказать мой товарищъ, по минутномъ размышленіи. — Теперь ее нельзя усмирять средневѣковыми средствами: тюрьмами и пытками временъ Сильвіо Пеллико; объ инквизиціи и ауто-да-фе говорить нечего. Надо дѣйствовать противъ нея либеральными мѣрами, покуда она не переходитъ черту благоразумія и заносится въ область нелѣпныхъ утопій. — Что можетъ быть лучше литературныхъ протестовъ, въ родѣ знаменитаго протеста противъ г. Зотова сына?.. Что, если, напримѣръ, вся литература грянетъ противъ увлеченій мысли протестомъ, начиная отъ „Русскаго“ до „Петербургскаго Вѣстника“, отъ г. Каткова до г. Камбека? Что, если всѣ московскіе и петербургскіе доктринеры, литераторы и журналисты, начиная съ Θεоктистова и Н. Ф. Павлова до г-жи Утиловой (издательницы „Сѣвернаго Цвѣтка“) включительно, крикнуть въ одинъ голосъ: „Мы протестуемъ противъ мысли, выходящей за извѣстные предѣлы, положенные и утвержденные, противъ всякихъ увлеченій, крайностей, заблу-

жденій и утопій, угрожающихъ нашей цивилизаціи“, или что-нибудь подобное,—тогда, я полагаю, можно будетъ сдержать необузданность мысли, заставить ее присмирѣть и, какъ говорится, зажать хвостикъ... Какъ ты объ этомъ думаешь?

— „Блестящая выдумка! воскликнулъ я:—я непременно предложу ее, въ моихъ замѣткахъ, на обсужденіе либеральныхъ мыслителей и доктринеровъ нашихъ...“

Въ настоящее время нѣтъ никому спасенія отъ мысли, нѣтъ такого высокороднаго и крѣпкаго черепа, въ который бы не проникнулъ хоть одинъ блѣдный лучъ ея. Теперь всѣ вдыхаютъ въ себя, если не мысли, то, по крайней мѣрѣ, намеки на мысли, вмѣстѣ съ воздухомъ. Въ нашемъ и предшествовавшемъ нашему поколѣніи еще встрѣчались джентльмены, рѣшительно непогрѣшимые ни въ какой человеческой мысли. Теперь всѣ баричи обратились въ мыслителей. Удивительный прогрессъ совершенъ!“..

И. И. Панаевъ.

1862 г.

I.

*) Общій взглядъ на отношенія современной критики въ литературѣ.

Vox clamantis in deserto.

Напередъ увѣренъ, что и читатели „Времени“, и, пожалуй, сама редакція журнала обвинять автора этой статьи въ самой отчаянной парадоксальности или, по крайней мѣрѣ, въ явно-неблагонамѣренномъ желаніи уколоть почувстви-

*) „Время“ 1862 г., т. VII, № 1, отд. II. Статья А. Григорьева, подъ общимъ заглавіемъ: „Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой“. „Графъ Л. Н. Толстой и его сочиненія“.

тельнѣ нашу критику такимъ вопіющимъ фактомъ, что будто бы графъ Л. Толстой и его сочиненія принадлежать къ разряду „явленій современной литературы, пропущенныхъ нашею критикой“.

А между тѣмъ ни парадоксальности въ мысли ни злонамѣренности противъ критики нашей тутъ нѣтъ нисколько, а есть только настоящее дѣло.

Критика—скажутъ мнѣ—однако же сразу замѣтила появленіе въ литературѣ автора „Военныхъ Разсказовъ“, „Дѣтства и Отрочества“ и проч.? Да еще бы ужъ она и появленія—то такого новаго, оригинальнаго, сразу явившагося съ „словомъ и властію“ таланта не замѣтила!.. Она, пожалуй, даже „привѣтствовала“ новый талантъ, какъ дѣйствительно новый, свѣжій и сильный, пожалуй „заявила“ свое сочувствіе къ нему и проч..

Да, вѣдь, „привѣтствовать“ и „заявлять сочувствіе“—дѣло весьма легкое, штука, такъ сказать, казеннѣйшая изъ казенныхъ. Задача критики, если только она точно критика, не въ томъ только, чтобы „привѣтствовать“ и „заявлять сочувствіе“, хотъ у насъ и это иногда—подвигъ похвальный, часто смѣлый, на который рѣдко кто рѣшится первый, по крайней мѣрѣ, печатно: вѣдь, это не то, что брань, къ которой мы замѣчательно привыкли, потому что она „на вороту не виснетъ“. Чтобы заявить гласно сочувствіе къ явленію новому, къ которому сочувствія никѣмъ еще не заявлено, надобно имѣть много вѣры въ душѣ,—вѣры въ правду явленія и вѣры въ самого себя. Иное дѣло въ кружкахъ. Тутъ производство въ таланты и даже, съ позволенія сказать, въ геніи—подвигъ для насъ нисколько не трудный. Отъ всего, что бы въ извѣстномъ кружкѣ, большомъ или маломъ, но все-таки кружкѣ, ни сказалось, или правильнѣе—ни сболтнулось, всегда очень возможно отступить, если талантъ дѣйствительно обманетъ надежды, или если кружку почему-либо покажется, что онъ обманулъ его, кружковыя, надежды...

Но задача критики, повторяю, не въ томъ только, чтобы привѣтствовать и заявлять сочувствіе. Дѣло критики—уло-

вить и отрицать особенность, личность таланта, если особенность, личность проглядываютъ въ немъ. Либо вовсе не должно быть литературной критики, либо въ этомъ именно, т.-е. въ разъясненіи существа таланта, заключается ея прямая, настоящая и едва-ли не единственная обязанность.

Задача критики бываетъ часто очень нелегкая, въ особенности по отношенію къ талантамъ, хотя и дѣйствительно оригинальнымъ, но отличающимся преимущественно своими внутренними силами, своей, такъ сказать, виртуозностью, а не широтою, яркостью или общественнымъ значеніемъ концепцій.

О двухъ только родахъ литературныхъ явленій писать очень легко, а именно:

1) очень легко писать „ерунду“ (позвольте употребить это любимое, хотя нѣсколько халатное слово нашей современной критики) о вещахъ гениальныхъ, и

2) столь же легко умному человѣку писать очень умныя вещи о литературной „ерундѣ“. Сей послѣдней, т.-е. литературной „ерундѣ“, я придаю объемъ довольно значительный и обширный. Въ область ея „съ теченіемъ временъ“ могутъ попасть не только такія вещи, какъ „Подводный Камень“ г. Авдѣева, но, пожалуй, даже и трети двѣ похожденій или лучше сказать „полежаній“ Обломова. *Conditio vine qua pop*—разумѣется въ томъ, чтобы ерунда или принадлежала человѣку все-таки даровитому и умѣющему ловко и наглядно ставить передъ глазами живущіе въ воздухѣ общественные и нравственные вопросы, или со всей дерзостью посредственности скакала за самыя крайнія грани общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ.

Чувствуете-ли вы, что, напримѣръ, о „Полинькѣ Саксъ“, о „Подводномъ Камнѣ“ можно размахнуться гораздо задорнѣе, чѣмъ о „Семейномъ Счастьѣ“ Л. Толстого? Даже не только задорнѣе, а дѣйствительно горячѣе, если вы, какъ мыслитель честный, станете бороться съ животненностью парадокса, на которомъ основанъ „Подводный Камень“, или съ холодною ходульностью главной идеи „Полиньки Саксъ“.

Или вѣдь, напримѣръ, ни объ одной изъ простыхъ, живыхъ, вполне конкретныхъ женскихъ натуръ, созданныхъ Островскимъ, не напишете вы такого диамбамба, какимъ разорился нѣкогда г. Пальховскій по поводу изломанной „Ольги“ г. Гончарова, въ „Московскомъ Вѣстникѣ“. Вѣдь, о тихой и простой драмѣ „Семейнаго Счастья“ или о женщинахъ Островскаго нужно говорить только то, что до самаго предмета касается, а напротивъ, о барышнѣ Ильинской или о герояхъ и о героинѣ „Подводнаго Камня“, что касается до нихъ самихъ — ровно говорить нечего: зато и о развитости женской натуры, и о свободѣ половыхъ отношеній (*за и противъ*—это какъ угодно е sempre bene) наговориться можно вдоволь, изасось, такъ сказать, „сз засокомъ“...

Да-съ, мудреная вещь для критики живая, органическая, художественныя произведенія!

Хорошо, скажу еще разъ, если рама ихъ широка, какъ рама историческихъ картинъ, если въ нихъ кишить и волнуется цѣлый новый міръ, бросающій въ глаза каждому своими, хотя порою и „жестокими“, но всегда типическими нравами, открывая повсюду самыя широкія перспективы. Тогда ничего, если вы даже и ошибетесь въ разгадкѣ намѣреній художника, въ пониманіи значенія этихъ перспективъ; ничего, если вы увлечетесь одной какой-либо рѣзкой стороною явленій раскрывающагося въ произведеніяхъ міра: вы, если вы человѣкъ истинно серьезный и серьезно даровитый, по поводу ихъ все-таки напишете блестящія статьи о „Темномъ Царствѣ“. Что за дѣло, что вы увлеклись, что вы въ своемъ отрицаніи не видали и даже не хотѣли видѣть свѣтлыхъ сторонъ этого темнаго царства? Нужды нѣтъ. Вы, даровитый и честный теоретикъ, все-таки сдѣлали свое дѣло. То, что въ „Темномъ Царствѣ“ есть дѣйствительно *темнаго*, вы изслѣдили съ полною, честною и смѣлою послѣдовательностью. Въ своемъ голомъ отрицательномъ отношеніи къ жизни вообще и къ особенному міру художника вы не виноваты или виноваты только, какъ вообще всѣ теоретики виноваты противъ жизни.

Но что вы сдѣлаете съ вашимъ теоретическимъ отрицаніемъ въ отношеніи къ другимъ, болѣе или менѣе замкнутымъ художественнымъ мірамъ, — мірамъ, не растворяющимъ передъ нами широко настежь свои двери, требующимъ со стороны человѣка извѣстнаго углубленія, извѣстнаго посвященія въ нихъ?

А, вѣдь, такихъ замкнутыхъ художественныхъ міровъ и было и есть, да по всей вѣроятности и будетъ не мало, и, стало-быть, они суть необходимыя, органическіе продукты души человѣческой...

Я знаю, вы будете жестоко-последовательны! Вы разобьете эти міры діалектическимъ молотомъ: что, дескать, ихъ жалѣть?.. и увы! намъ, не теоретикамъ, не обладающимъ вашею храбростью отношеній къ жизни и къ душѣ человѣческой, останется только повторять съ уныніемъ пѣснь духовъ изъ Фауста:

Weh, Weh!
Du hast sie zerstört,
Die schöne Welt,
Mit mächtiger Faust! *)

пожалуй, даже съ напраснымъ призывомъ:

Baue sie wieder,
In deinem Busen baue sie auf! **)

Но пусть и напрасенъ въ отношеніи къ намъ призывъ — уныніе наше будетъ не за эти міры, а за васъ. Теоріи ваши, сдѣлавши свое дѣло, — дѣло вполне полезное и честное, — пройдутъ, а міры, къ которымъ были они прилагемы съ безпощадною последовательностью, останутся. Останутся и поэзія вообще и Пушкинъ въ особенности, да не только Пушкинъ, но даже и меньшіе въ этомъ царствѣ, такіе меньшіе, которые вамъ совсѣмъ уже не нужны, ко-

*) Увы, увы!
Ты его разбилъ,
Прекрасный міръ,
Могучимъ кулакомъ!

**) Построй его вновь,
Въ своей груди возсоздай его.

торые создавали совершенно замкнутые міры, если только міры ихъ окажутся дѣйствительно поэтическими мірами...

Поэтическими, т.-е. необходимыми и, можетъ быть, даже болѣе необходимыми, чѣмъ паровыя машины, пароходы и желѣзныя дороги!

Но произведенія Л. Толстого не принадлежать даже къ такого рода совершенно замкнутымъ, „ненужнымъ“ для нашей современной критики мірамъ. Если бы это было такъ, равнодушіе къ нимъ не требовало бы большихъ разъясненій... Но, вѣдь, Толстой—не лирикъ, какъ Тютчевъ, Огаревъ, Фетъ, Полонскій, хотя въ немъ и много лиризма. Это даже не повѣствователь исключительныхъ драмъ, совершающихся въ исключительныхъ обстановкахъ, не историкъ исключительныхъ, тонко развитыхъ, и притомъ, такъ сказать, тронутыхъ, надломленныхъ организацій, какъ Тургеневъ. Понятно охлажденіе теоретиковъ къ Тургеневу, и оно должно быть объясняемо ихъ послѣдовательностью. Но Толстой менѣе всего походитъ на Тургенева, стало-быть, и причинъ равнодушія къ нему надобно искать въ другихъ источникахъ, нежели тѣ, изъ которыхъ происходило охлажденіе теоретиковъ къ Тургеневу.

Толстой прежде всего кинулся всѣмъ въ глаза своимъ безопащнѣйшимъ анализомъ душевныхъ движеній, своею неумолимой враждою ко всякой фальши, какъ бы она тонко развита ни была и въ чемъ бы она ни встрѣтилась. Онъ сразу выдался, какъ писатель необыкновенно оригинальный, смѣлостью психологическаго приема. Онъ первый посмѣлъ говорить вслухъ, печатно о такихъ душевныхъ дрязгахъ, о которыхъ до него всѣ молчали, и притомъ съ такою наивностью, которую только высокая любовь къ правдѣ жизни и къ нравственной чистотѣ внутренняго міра отличаетъ отъ наглости. Этотъ приемъ изобличалъ въ художникѣ и возвышенную искренность натуры, и безспорно гениальное чутье жизни. Едва ли что подобное искренности этого приема найдется въ какомъ другомъ писателѣ, даже изъ писателей чужеземныхъ.

Приемъ этотъ всѣ болѣе или менѣе замѣтили, да и не

замѣтить. его было невозможно. Но никто, сколько мнѣ помнится, не потрудился взглянуть попристальнѣе въ источники этого приѣма и подумать посерьознѣе о его послѣдствіяхъ. Никто не задалъ себѣ вопросовъ: подлинно-ли искренность эта есть непосредственная, наивная; или въ ней есть тоже своего рода надломленность и тронутость? и чѣмъ эта безпощадная искренность отличается, напри-
мѣръ, отъ искренности, столь же несомнѣнной, столь же и даже до цинизма смѣлой реалиста Писемскаго, или отъ искренности Островскаго, которая такъ проста и такъ въ себѣ самой увѣрена, что никогда и не заботится даже показывать публикѣ, что вотъ, дескать, какая я искренность: любуйтесь или ужасайтесь *).

Между тѣмъ Толстой, разрабатывая свои психологическія задачи, постепенно дошелъ до такихъ нравственныхъ результатовъ, которые не только не имѣютъ ничего общаго съ требованіями и воззрѣніями теоретиковъ, но даже прямо имъ противорѣчатъ, до того противорѣчатъ, что остается совершенно необъяснимымъ помѣщеніе его „Люцерна“ и „Альберта“ въ „Современникъ“: такъ рѣзко эти произведенія расходятся въ духѣ и направленіи съ журналомъ теоретиковъ. Молчаніе о Толстомъ и о его лучшемъ произведеніи: „Семейномъ Счастіи“ за направленіе, которое ясно обнаружилось въ его дѣятельности — дѣло совершенно понятное. Но понятно только то, какимъ образомъ съ самаго начала теоретики не видали, куда поведетъ молодого писателя искренность его анализа? И „Люцернъ“, и „Альбертъ“, и „Семейное Счастіе“ — не крутой поворотъ какой-нибудь съ прежней дороги, а прямое продолженіе ея, прямой результатъ того психическаго анализа, который поразилъ всѣхъ въ „Военныхъ Разсказахъ“, въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“ — и нѣсколько утомилъ даже читателей, какъ и самого автора, въ „Юности“.

Дѣло въ томъ, что разъясненіе значенія анализа, отли-

*) Укажу хоть, напримѣръ, на чудовищныя мечтанія Бальзамина въ послѣдней части удивительной трилогіи о немъ, а изъ первыхъ вещей Островскаго на монологъ Милашина въ V актѣ „Бѣдной Невѣсты“.

чающаго произведенія Толстого, сравненіе его рода искренности съ другими и выводъ этой искренности изъ историческихъ данныхъ общаго нашего развитія, могли бы, можетъ быть, уяснить для насъ въ нашемъ сознаніи гораздо больше фактовъ, чѣмъ безконечное распластованіе „обломовщины“, чѣмъ даже всевозможныя обличенія всероссійскихъ иллюзій въ ихъ печальной несостоятельности.

Ну, прекрасно, мы—обломовцы, и достаточно уже казнили насъ за то, что мы обломовцы: мы несостоятельны во всемъ томъ, что великолѣпно называли убѣжденіями и достаточно опозорены за то въ лицѣ такихъ даже нашихъ представителей, которыхъ не легко было видѣть намъ позоримыми... Не говорю ни слова противъ этого критическаго приѣма нашихъ теоретиковъ. Онъ имѣетъ свое важное, даже великое значеніе, и притомъ (чего сами теоретики, можетъ быть, не подозрѣваютъ) онъ, этотъ приѣмъ, вытекаетъ прямо изъ нашей народной сущности, изъ свойствъ самой природы русскаго человѣка. Въ этомъ-то и заключается главнымъ образомъ его сила. Русскій человѣкъ—такъ ужъ его Богъ создалъ—не боится прилагать ножъ анализа и бичъ комизма къ какому бы то ни было *видимымъ* явленіямъ. Мы вонъ даже къ смерти, наименѣе комическому изъ всѣхъ видимыхъ явленій жизни, можемъ относиться съ такою прямою взгляда, съ какою относится къ ней Толстой въ одномъ изъ своихъ „Военныхъ Разсказовъ“ и въ очеркѣ „Три Смерти“, въ ней самой даже можемъ равнодушно подмѣчать комическія стороны, какъ подмѣчаетъ ихъ г. Горбуновъ въ двухъ изъ своихъ разсказовъ (*смерть старухи и визиты къ вдовѣ*). Комическое или, по крайней мѣрѣ, отрицательное отношеніе ко всему составляетъ, можетъ быть, высшее свойство нашего ума. Такъ что жъ тутъ, конечно, шадить намъ нашу несостоятельность, въ чемъ бы и въ комъ бы она ни проявилась?..

Но кромѣ того, что взглядъ теоретиковъ силенъ, онъ въ то же время и честенъ. Его даже и на минуту не поставишь на одну доску съ другими взглядами, выражающимися въ настоящее время въ нашей критикѣ. Онъ смѣло и прямо

смотреть въ глаза той правдѣ, которая ему является, неуклонно и безпощадно выводить изъ нея всѣ послѣдствія. Онъ не беретъ напрокатъ чужихъ, хотя бы и англійскихъ воззрѣній; онъ не способенъ тоже услаждаться и празднымъ эстетическимъ дилетантизмомъ. Онъ хочетъ *дѣла*, прямо имѣть въ виду *дѣло*, и все то, что не *дѣло* или что кажется ему не *дѣломъ*—отрицаетъ безъ малѣйшаго колебанія. Пусть его пониманіе *дѣла* односторонне, его захватъ узокъ. Это ничего. Чѣмъ уже захватъ мысленнаго горизонта, тѣмъ онъ доступнѣе взгляду массъ. Давно извѣстно *qu'il n'y a que des pensées étroites qui régissent le monde*. Широкая мысль, если она не въ обладаніи генія, расплывается часто въ безвоздушномъ пространствѣ. Узкая мысль видитъ передъ собою ближайшую цѣль и показываетъ ее другимъ: она бьетъ навѣрняка. Пусть у жизни есть свои тайны, пусть только на пути къ алхиміи обрѣло человечество химію съ ея благодѣтельными практическими приложеніями,—въ настоящую минуту взглядъ теоретиковъ торжествуетъ и *долженъ* торжествовать. Въ торжествѣ его участвуетъ одна изъ сторонъ народнаго духа, торжествуетъ, стало быть, все-таки непосредственная жизненная сила... Ей нуженъ былъ исходъ, и нашелся.

Да извинять меня читатели за это отступленіе въ пользу теоретическаго направленія. Оно вовсе не лишнее. Тотъ странный фактъ, что сочиненія графа Л. Толстого должны быть по всей строгой справедливости отнесены къ разряду явленій, незамѣченныхъ нашею критикою, равно какъ и самое образованіе разряда такихъ явленій,—можетъ быть объяснено только направленіемъ нашей критики.

Дѣло самое ясное, что для современной критики нашей литература перестала быть не только главнымъ и полнымъ, но вообще сколько-нибудь знаменательнымъ выраженіемъ жизни. Перестала ли она быть таковымъ для самой жизни,—это еще вопросъ; но что для критики, т.-е. для сознанія нѣсколькихъ, для сознанія избранныхъ, пожалуй, передовыхъ людей, перестала—это несомнѣнно. Въ самомъ цѣлѣ, для котораго изъ имѣющихъ силу критическихъ на-

правлений наших она составляет то, что составляла некогда для Полевого, Надеждина, Бѣлинскаго?.. Рѣшительно ни для кого. Вѣрующихъ въ литературу осталось мало, т.-е. вѣрующихъ въ нее какъ въ органическую силу, какъ въ живой голосъ жизни.

У литературы есть, пожалуй, защитники, призванные, авторитетные, такъ сказать, официальные. Это—поборники чисто эстетическаго взгляда, поклонники *искусства для искусства*. Но не ихъ разумѣю я, говоря о маломъ числѣ вѣрующихъ въ литературу. Литературные гастрономы (иного названія они не заслуживаютъ), эти господа всего менѣе способны видѣть въ литературѣ живую силу жизни. Какъ таковая, она бы ихъ и пугала и тревожила. Да направленіе чистыхъ эстетиковъ и не есть собственно направленіе. Основное начало ихъ (искусство для искусства) не имѣетъ за себя ни психологическихъ ни историческихъ данныхъ: оно порождено празднымъ дилетантизмомъ. Ни на одного великаго художника нельзя указать, который бы видѣлъ въ своемъ высокомъ дѣлѣ одно искусство для искусства; никакихъ пружинъ въ сложномъ механизмѣ души человѣческой не отыщешь для узаконенія шахматной игры въ поэзіи. Поэтому о чисто эстетическомъ направленіи критики и о его отношеніи къ литературѣ говорить рѣшительно не стоитъ. Надобно оставить мертвымъ хоронить своихъ мертвецовъ. Что такое литература для эстетическаго направленія,—это вопросъ совершенно неинтересный. Сегодня для него литература—Шекспиръ, Пушкинъ и т. д., а завтра, можетъ быть, по гастрономической прихоти, романы Анны Радклифъ или „Постоялый Дворъ“ г. Степанова.

Но что составляетъ литература для имѣющихъ силу и жизненность направленій,—это дѣло очень важное.

1) Для славянофильства, поскольку выразилось оно до сихъ поръ во всѣхъ своихъ изданіяхъ (а выразилось оно уже достаточно), литература была и будетъ всегда явленіемъ подчиненнымъ, а не самосущимъ. Наша литература: Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Островскій. Славянофильство съ большими ограниченіями и какъ-то *снисходительно*

принимаетъ Пушкина; видитъ заблудшую комету въ Лермонтовѣ; весьма плохо понимаетъ Островскаго, а въ Гоголѣ, ставя его выше всѣхъ другихъ нашихъ писателей, видитъ вовсе не то, что видятъ другіе. Въ одной изъ искреннѣйшихъ статей своихъ славянофильство чуть-чуть не положило всю русскую литературу къ подножію „Семейной Хроники“. Дайте славянофильству полную волю,—оно рѣшительно оставитъ насъ при одной допетровской письменности да при Гоголѣ и „Семейной Хроникѣ“ изъ всей новой литературы. Нѣтъ спора, что „Семейная Хроника“ есть произведеніе истинно-замѣчательное, даже высокое; нѣтъ тоже спора и въ томъ, что Гоголь былъ громадный талантъ; но дѣло-то въ томъ, что „Семейная Хроника“ принадлежитъ къ разряду тѣхъ исключительныхъ произведеній, которыя, сами по себѣ взятая, представляютъ явленія выше обычнаго, даже талантливаго уровня и которыхъ авторовъ вы однако усомнитесь, и притомъ совершенно справедливо усомнитесь, назвать великими писателями; что же касается до Гоголя, то этотъ великій писатель представляетъ въ настоящую минуту вопросъ чрезвычайно спорный, не по отношенію къ силѣ его таланта, а по отношенію къ значенію его произведеній. Великоруссы начали видѣть въ немъ малоросса, понимавшаго въ нашемъ великорусскомъ быту только отрицательныя стороны, а малороссы откидываютъ его къ великоруссамъ. Съ другой стороны, своимъ несочувствіемъ къ Пушкину, славянофильство похѣриваетъ въ нашемъ развитіи цѣлую полосу, которой онъ былъ блистательнымъ результатомъ, а малымъ пониманіемъ Островскаго отрицаетъ всю ту народную жизнь, которая органически сложилась изъ коренныхъ старыхъ и привзошедшихъ новыхъ стихій. Явное дѣло, что славянофильству, относящемуся такимъ образомъ къ самымъ крупнымъ литературнымъ фактамъ, дорогъ въ литературѣ только его собственный идеальчикъ. „Служи!“ говоритъ оно литературѣ (да и самой народной жизни, въ которой одно принимаетъ, а другое произвольно отвергаетъ) — и награждаетъ литературу по степени болѣе или менѣе усерднаго служенія. Обличитель-

ную литературу, напимѣръ, оно приняло подъ свое покровительство, какъ разъясненіе и кару официально-общественной гнили, но литературу отрицательную оно ненавидѣло. Тургенева оно похвалило нѣкогда за „Хоря и Калиныча“, въ то же самое время какъ назвало гнилымъ одно изъ блистательнѣйшихъ его произведеній въ отрицательной манерѣ („Три Портрета“). На Писемскаго славянофильство, долго о немъ молчавшее и какъ-будто не хотѣвшее признавать его существованія, возстало съ яростью за его Ананія въ „Горькой Судьбинѣ“, т.-е. именно за то, что въ „Горькой Судьбинѣ“, драмѣ весьма плохой въ художественномъ отношеніи,—и ново, и живо, и смѣло, и сильно. Въ настоящую минуту, единственное литературное явленіе, *безусловно* принимаемое славянофильствомъ, есть г-жа Кохановская. Все прочее въ литературѣ и, стало быть, въ жизни—потому что какихъ же нибудь сторонъ жизни да служить выраженіемъ литература,—все прочее, безъ исключенія даже Островскаго, или вовсе не подходитъ, или подходитъ только съ извѣстными ограниченіями подъ мѣрку теоріи. Ибо въ сущности славянофильство, несмотря на всю свою религіозную любовь къ народу, есть все-таки теорія, и свои теоретическія наклонности выражало не разъ даже и по отношенію къ быту народа, къ явленіямъ, которыя, какъ, напимѣръ, пѣсня, непосредственно изъ этого быта возникли, или, какъ драмы Островскаго, сознательно и полно его выражаютъ.

2) И—странное дѣло! Несмотря на разницу формъ выраженія, внѣшнихъ симпатій и тона, направленіе *теоретическое* и направленіе *славянофильское* удивительно сходны между собою въ томъ, что оба кладутъ жизнь на Прокрустово ложе; сходны въ смѣлой послѣдовательности взглядовъ; сходны въ равно-несомнѣнномъ благородствѣ образа мыслей и чувствованій, въ суровой гражданской строгости, въ трезвенномъ пониманіи общественныхъ обязанностей, сходны, наконецъ, въ томъ, что только они оба имѣютъ и могутъ имѣть дѣйствительную силу. Разница между славянофилами и теоретиками, т.-е. положимъ, между покойнымъ Хомяковымъ и г. Чернышевскимъ, между г. И. Аксаковымъ и

Добролюбовымъ, только въ томъ, что гг. Чернышевскій и Добролюбовъ, хотя точка отправленія ихъ есть собственно западная, по натурѣ своей гораздо больше русскіе люди, чѣмъ всѣ славянофилы. Они способны къ тому, чтобы сжигать за собою корабли, они смѣлѣе и безпощаднѣе въ приложеніи уровня *общиннаго* начала къ многообразнымъ фактамъ жизни. Храмъ этому общинному началу славянофилы строятъ въ старомъ византійскомъ стилѣ, а они въ простѣйшемъ казарменномъ. Славянофильство въ будущемъ можетъ быть и сильнѣе ихъ, потому что имѣетъ готовыя формы для своего идеала; а формы вообще, да притомъ готовыя, завѣщанныя вѣковыми преданіями, дѣло не малой важности. Но въ настоящую минуту теоретики—гораздо болѣе ихъ господа положенія. Передъ ними теперь все, кромѣ славянофильства и „Русскаго Вѣстника“, смолкаетъ и склоняется, даже въ послѣднее время „Библіотека для Чтенія“, этотъ послѣдній лагерь шахматной игры въ искусствѣ: противъ нихъ все оказывается безсильно, даже бывалая ѣдкость г. Павлова. Потому—смѣлы и прямы. А главнымъ образомъ, теоретическій взглядъ, силой своего отрицанія, вполне русскій. Не вся сущность русскаго, т.-е. русской жизни, захвачена взглядомъ теоретиковъ, но зато уже одна сторона, отрицательная, вполне имъ исчерпывается. Дальше идти некуда, въ отрицаніи, и взглядъ теоретиковъ нѣкоторое время еще будетъ передовымъ взглядомъ. Прибавить надобно еще, что кромѣ своей смѣлости и народности, онъ, по опредѣленности своихъ цѣлей, простъ и ясенъ до того, что кладезь всѣмъ въ ротъ жеванную и пережеванную пищу, не требуетъ никакихъ усилій мышленія, даже *отучаетъ* мыслить, даже постоянно смѣется надъ всякими усиліями мышленія, а массѣ, разумѣется, это и на руку. И понятно, да и впередъ толкаетъ. Наконецъ, вотъ еще что: теоретическій взглядъ глубоко презираетъ и жизнь съ ея органическими законами, съ ея исторіею, да и литературу, какъ органическое выраженіе органической жизни; но въ то же самое время въ немъ слишкомъ много практической смѣлки, чтобы онъ позволилъ себѣ слишкомъ рѣзко расхо-

дятся съ жизнью и съ ея выраженіемъ, литературою,—и онъ съ необыкновенною ловкостью подлаживаетъ, подстраиваетъ подъ свой тонъ всѣ знаменательныя ихъ явленія. Славянофильство просто отмечаетъ и въ литературѣ и даже въ быту народномъ всѣ явленія, несогласныя съ его идеаломъ, называя ихъ въ литературѣ гнилью, а въ быту народномъ порчею, уродливостью и т. д. Теоретики поступаютъ практичнѣе: они видятъ и заставляютъ другихъ видѣть только то, что имъ надобно, въ знаменательныхъ явленіяхъ жизни и литературы.

Замѣчательнѣйшій примѣръ подлаживанія и подстраиванія въ тонъ теоріи литературныхъ фактовъ — представляетъ отношеніе теоретиковъ къ Островскому. Долго, какъ извѣстно, журналъ, въ которомъ теперь съ полнотою и послѣдовательностью выражается взглядъ теоретиковъ, находился „безъ кормила и весла“. Западничество, котораго онъ былъ послѣднимъ порожденіемъ, уже умирало во дни его младенчества и совсѣмъ умерло, когда онъ росъ, ибо смертная хрипота этого направленія въ „Атенеѣ“ 1857 года не принадлежитъ къ признакамъ жизни, а „Наше Время“ въ наше время представляетъ очевидно разложеніе трупa. Но западничество, умирая, отнеслось враждебно къ новому слову литературы. Своимъ вѣрнымъ, хотя и дряхлымъ отрицательнымъ тактомъ оно почуяло, что идетъ сила новая, сила богатырская—и иначе, какъ враждебно, оно, по существу своему чисто отрицательное, не могло отнестись къ этой силѣ. Журналъ долго продолжаетъ тянуть старую пѣсню, и враждебнѣе всѣхъ другихъ, даже „Отечественныхъ Записокъ“, побѣдившихъ его только постоянствомъ, относился къ новому факту жизни и литературы. Но журналъ самъ по себѣ былъ молодъ и свѣжъ и охотно допускалъ въ составъ свой новые соки. Когда эти соки сдѣлались въ немъ преобладающими, условное положеніе стало для него очень затруднительно. Какъ отъ вражды къ новому, возраставшему въ силѣ своей факту, перейти къ его принятію, пониманію и узаконенію?.. Дѣло между тѣмъ разрѣшилось очень просто. Теоретики увидали въ новомъ литературномъ

фактъ то, что имъ было надобно, бессознательно закрыли глаза на то, что имъ вовсе было не надобно или, также бессознательно, въ ослѣпленіи своей вѣры (ибо у нихъ съ самаго начала выразилась живая стихія: вѣра) повернули это имъ ненадобное на изнанку. Островскій явился у теоретиковъ великимъ писателемъ, но только какъ изобразитель „темнаго царства“. Оборотъ необыкновенно ловкій, но, по всей вѣроятности, непреднамѣренный. Такъ вышло, такъ сдѣлалось...

Взгляни теоретики на Островскаго, какъ на народнаго поэта, т.-е. взгляни просто, а не подъ угломъ теоріи,— журналъ долженъ былъ бы порѣшить все свое западное прошлое. Теоретики своею вѣрою, какъ всякая вѣра, бессознательною, спасли его отъ такихъ вавилонскихъ жертвъ. Люди новые и свѣжіе, люди притомъ русскіе, они поняли, что за сила Островскій; но какъ теоретики, они поняли въ немъ только то, что подходило подъ ихъ взглядъ, и надобно отдать имъ справедливость, поняли такъ, что эту отрицательную сторону дѣятельности Островскаго понять невозможно. Статьи о „темномъ царствѣ“ произвели на массу читателей чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Писанныя человекомъ истинно-даровитымъ, горячимъ и честнымъ, онѣ имѣли за себя и большую долю правды...

Вѣдь, нельзя же сказать въ самомъ дѣлѣ, чтобы „жестокіе“ нравы, представляемые почти повсюду художникомъ, чтобы жизнь, которая сама себя забыла до того, что, по ея разумѣнію, „эта Литва, она къ намъ съ неба упала“, — нельзя же, говорю я, сказать, чтобы все это представляло собою „свѣтлое царство“... А этого и было достаточно, чтобы узаконить новый литературный фактъ во имя теоріи. На любовный характеръ семейнаго начала, на явныя симпатіи художника къ русской натурѣ, широкой ли, какъ натуры Любима Торцова и Петра Ильича, христіански ли чистой и великодушной, какъ натуры Бородинна и Мити, глубокой ли и въ запущенности, какъ натура Хорькова, и въ загнанности, какъ натура Кабанова; на величавость патріархальныхъ фигуръ благодушнаго Русакова и суроваго

Ильи Ивановича; на типы русских матерей, трогательные даже тогда, когда они, как мать Олимпиады Самсоновны, погружены въ тину непроходимой глупости; на симпатію поэта къ его королю Лиру — Большову; наконецъ, на цѣлый рядъ граціозныхъ, симпатическихъ и вмѣстѣ глубокихъ женскихъ натуръ, созданныхъ поэтомъ, на многоразличныя струны русской души, имъ первымъ тронуты, — на все это теоретики закрыли глаза. Только они, съ ихъ фанатическою вѣрою въ теорію, могли это сдѣлать. Все это имъ было не надобно. Опять повторяю: такъ имъ почувствовалось, и потому такъ вышло, такъ сдѣлалось...

Сдѣлалось же то, что теоретики узаконили новый литературный фактъ, чего не удалось видѣвшимъ въ Островскомъ народнаго поэта, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалось то, что теоретики стали во главѣ умственнаго развитія. Главенство ихъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока жизнь не разъяснитъ сама себя новыми явленіями и пока съ этими новыми явленіями они не станутъ въ явный разрѣзъ. Покажѣтъ же предъ глазами большинства они положительно правы. Только меньшинство, и притомъ весьма малочисленное, видитъ явленія, ими незамѣчаемыя.

„Какая гордость со стороны меньшинства!“ подумаютъ, можетъ быть, читатели. Да, вѣдь, милостивые государи, меньшинство со своей стороны указываетъ вамъ на факты. Разбейте прежде факты, которые я привелъ вамъ по поводу Островскаго; убѣдите меня, что Толстой, напримѣръ — явленіе вполнѣ замѣченное и оцѣненное, или что онъ явленіе справедливо-незамѣченное, что не стоило его замѣчать, — я откажусь, конечно, отъ своей упорной недовѣрчивости къ теоріи. Вѣдь, только то мѣрило хорошо, подъ которое подходятъ всѣ знаменательные факты жизни и всѣ вѣчныя инстинкты души человѣческой. Для того, чтобы я повѣрилъ въ теорію, я прежде всего попрошу у нея въ полное и законное свое обладаніе не только Пушкина, не только свѣтлыя стороны міра, изображаемаго Островскимъ, не только Толстого, но даже меньшихъ: Тютчева, Огарева, Фета, Полонскаго. Вѣдь, душа человѣческая столько же какъ и

теорія неумолима въ своихъ требованіяхъ, а, пожалуй, еще и неумолимѣе. Теоретики скажутъ, можетъ быть, что это душа ненормальная, развращенная; а я имъ отвѣчу, что вотъ уже семь тысячъ лѣтъ она такъ ненормальна и такъ развращена и что срокъ, когда по ученію Фурье, луна соединится съ землею и когда произойдетъ совершенный переворотъ въ мозгахъ человѣческихъ, ни мнѣ, ни имъ неизвѣстенъ.

3) Что касается до взгляда чисто-западнаго, то о немъ въ настоящую минуту нельзя говорить, какъ о дѣйствительно-существующемъ, живомъ направленіи. Взглядъ этотъ сдѣлалъ свое дѣло и дѣло великое, хотя исключительно-отрицательное: дѣло разъясненія и очищенія національности литературы. Сила его заключалась не въ немъ самомъ, а въ слабости и фальши противоположныхъ ему положительныхъ воззрѣній, да въ томъ еще, что онъ опирался въ свое время на живую силу, на литературу. Поминкамъ по этомъ великомъ покойникѣ я посвятилъ уже нѣсколько статей во „Времени“, къ которымъ я позволяю себѣ отослать читателей...

Дѣло въ томъ, что пока западничество опиралось на живую силу,—оно само было сильно. Какъ же скоро оно разошлось съ жизнью и выраженіемъ ея силъ, какъ скоро оно стало не замѣчать новооткрывавшихся силъ жизни или, не понимая ихъ, задумало враждовать съ ними,—оно пало. Фактъ очень простой и ясный. Паденіе застоя (раннее или позднее, это все равно) ждетъ всякое направленіе, какъ скоро оно начнетъ расходиться съ жизнью. Въ какихъ-нибудь десять-пятнадцать лѣтъ такъ много воды утекло, что весьма ученый журналъ „Атеней“ не встрѣтилъ въ массѣ рѣшительно никакого сочувствія, а нѣкоторыми антинаціональными выходками возбудилъ даже негодованіе, — что начатое добросовѣстно и энергично „Московское Обозрѣніе“ не прожило даже и года, что „Русская Рѣчь“ даже и по вступленіи въ супружество съ „Московскимъ Вѣстникомъ“ имѣетъ очень ограниченный кругъ читателей, что „Наше Время“ считается только по любви публики къ литератур-

нымъ скандальчикамъ. Время переѣнилось, и никакія усилія, никакіе авторитеты, никакія даже ученые и полемическія дарованія (что гораздо поважнѣе нашихъ самосоздающихся и саморазрушающихся авторитетовъ) не спасутъ уже отжившаго взгляда.

Ни одинъ взглядъ, безъ исключенія даже взгляда теоретиковъ, не презираетъ въ настоящую минуту такъ глубоко и жизнь и литературу, какъ издыхающее западничество. Что такое, напримѣръ, литература для г. Павлова, редактора „Нашего Времени“? Его собственныя повѣсти да литературный періодъ, который онъ прожилъ въ молодости. Ни Островскій, ни Писемскій, ни даже Тургеневъ для него не существуютъ. До-петровская письменность для него „темная вода во облацѣхъ воздушныхъ“. Что такое была литература наша для многоученаго и мрачнаго „Атеней“? Можетъ быть, тѣ странные, чтобы не сказать „срамные“ апологи, которые онъ печаталъ въ видѣ десерта промежду своихъ тяжело-ученыхъ статей... Что была наша литература для „Московского Обозрѣнія“? Разныя нѣмецкія и французскія брошюры?... ибо ко всѣмъ нашимъ явленіямъ оно, несмотря на свое кратковременное существованіе, успѣло уже отнестись съ озлобленіемъ до пѣны у рта. Что такое, наконецъ, наша литература для г-жи Евгеніи Туръ? Опять-таки, точно также какъ для г. Павлова, *во-первыхъ*, ея собственные романы и повѣсти, да, *во-вторыхъ*, романы, повѣсти и ученые сочиненія извѣстнаго кружка, весьма ограниченнаго даже и въ западномъ смыслѣ. А главное-то дѣло, что ея „Русской Рѣчи“ до русской литературы и до русской жизни собственно и дѣла нѣтъ: эти интересы слишкомъ мелки передъ интересами борьбы съ ультрамонтанствомъ!...

Что же сказать о послѣднемъ, совершенно случайномъ убѣжищѣ западнаго взгляда, о столбцахъ фельетона „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“,—столбцахъ, которые становятся иногда ристалищемъ для барда, являющагося подъ таинственнымъ именемъ *Гымала*?... Воззрѣнія этого барда,—уже какой-то явный анахронизмъ, лишенный даже всякаго

литературного такта. Вѣдь, только при полнѣйшемъ отсутствіи этого, столь же необходимаго въ литературѣ, какъ и въ жизни качества, возможно было, напримѣръ, по поводу изданія пѣсень Кирѣевскаго, ругаться заднимъ числомъ надъ міромъ нашихъ эпическихъ сказаній и вообще нашего народнаго творчества. Явленіе истинно-изумительное!.. И тѣмъ болѣе оно изумительно, что барды газеты-колоніи совершенно расходится въ этомъ пунктѣ со взглядомъ журнала-метрополіи, съ теперешнимъ направленіемъ „Отечественныхъ Записокъ“,—направленіемъ, болѣе славянофильскимъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ, чѣмъ само славянофильство. Многие, читая глумленія г. Гымалэ надъ богатырями и Змѣемъ-Тугаринимъ, встрѣтившись неожиданно-негаданно съ этимъ странно-несвоевременнымъ повтореніемъ давно всѣмъ извѣстной статьи Бѣлинскаго,—подумали: ужъ не шутка ли это? не сдѣлано ли это по особенному ордеру метрополіи, для заявленія, что, дескать, вовсе не наши барды дѣйствуютъ на столбцахъ газеты, что мы, молъ, сами по себѣ, а они сами по себѣ имѣютъ свое мнѣніе, высказываютъ свой взглядъ? Иначе никто не умѣлъ и не могъ объяснить себѣ какъ этой, такъ и другихъ поистинѣ удивительныхъ статей г. Гамылэ.

4) „Отечественныя Записки“, нѣкогда такъ долго и съ такою славою проводившія взглядъ западный во всѣхъ самыхъ крайнихъ его послѣдствіяхъ, потомъ, по удаленіи Бѣлинскаго, лѣтъ десять дышавшія непроходимую скукою „капитальныхъ“ статей о русской литературѣ, — въ послѣдніе два года рѣшились выступить въ обновкѣ. Заимствовавши у славянофильства его вѣру въ народъ и его убѣжденіе въ разобщенности народа съ образованнымъ классомъ,—онѣ рѣшительно не знаютъ до сихъ поръ, что дѣлать съ своей обновкой и какъ съ ней обращаться. Съ народомъ и съ его бытомъ онѣ познакомились очень недавно. Пораженные новымъ міромъ, который раскрылся имъ въ сказкахъ, собранныхъ г. Аванасьевымъ, и въ пѣсняхъ, набранныхъ у разныхъ собирателей г. Якушкинымъ, онѣ пришли въ такой неофитскій азартъ, что все неподходящее

подъ жизненный взглядъ и складъ рѣчи этихъ сказокъ и пѣсенъ перестали считать за литературу народа. Предложивши глубокомысленно вопросъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? и разрѣшивши его отрицательно, на томъ основаніи, что народъ Пушкина не читаетъ, — онѣ забыли въ своемъ пиеническомъ азартѣ два простыхъ обстоятельства: 1) что ни одинъ изъ первостепенныхъ европейскихъ поэтовъ не подойдетъ подъ рамку ихъ понятія о народномъ поэтѣ, а подойдутъ развѣ только второстепенные и третьестепенные — Борнсъ, Гейбель и т. д., и 2) что только большее распространеніе грамотности въ народѣ покажетъ, будетъ-ли народъ читать Пушкина или нѣтъ. Вообще о взглядѣ этого журнала нельзя говорить въ настоящую минуту какъ о чемъ-либо самостоятельномъ. Это клочки славянофильства, лишенные жизненной цѣлости и энергическаго духа славянофильства.

5) Наконецъ, взглядъ, выросшій первоначально на почвѣ западной, но значительно видоизмѣнившійся сообразно съ потребностями времени, примѣнившійся, приладившійся къ этимъ потребностямъ и довольно долго отвѣчавшій на нихъ съ несомнѣннымъ тактомъ и замѣчательною ловкостью, — представлялъ собою до послѣдняго года „Русскій Вѣстникъ“.

Начатый кружкомъ умѣренныхъ западниковъ, кружковъ уединеннаго Поръ-Рояля западничества, онъ не имѣлъ за собою кораблей, которые надо было бы сжечь, вступая на новый берегъ. Ни г. Катковъ ни г. Леонтьевъ не заявили себя въ литературѣ никакимъ рѣзкимъ фактомъ, по которому бы ихъ можно было прямо отнести къ направленію послѣдней эпохи Бѣлинскаго и „Писемъ объ изученіи природы“. Скромные и добросовѣстные ученые, извѣстные философскими, историческими или филологическими трудами, они являлись до изданія „Вѣстника“ только жрецами западной науки, окруженные нѣскольکو, какъ и подобаетъ жрецамъ, таинственнымъ нимбомъ.

Время, выбранное ими для изданія новаго журнала, было самое благопріятное. „Современникъ“ тогда еще не сложился, и, находясь „безъ кормила и весла“, служилъ пре-

имущественно гиподромомъ для фешенебельныхъ ристаній „многороднаго подписчика“; „Отечественныя Записки“ дышали, какъ выше упомянуто, мертвящей скукою „капитальныхъ“ статей о русской литературѣ, распространявшихъ до пересола замѣчанія къ хрестоматіи г. Галахова. Единственный чисто-литературный журналъ — не удивляйтесь! — былъ въ это время безалаберный и безобразный „Москвитянинъ“, гдѣ на каждую бочку меда, въ видѣ комедіи Островскаго или романа Писемскаго, приходилось по ведру дегтю, вродѣ твореній гг. М. Дмитріева, Кулжинскаго, Архипова и т. д., гдѣ постоянно всѣ передовые взгляды главнаго редактора и всѣ юношески-горячія и честныя стремленія молодой редакціи парализировались самимъ же главнымъ редакторомъ, его непонятною привязанностью къ старому хламу и его неохотою вести журналъ аккуратно и современно въ матеріальномъ отношеніи. Большая часть идей литературныхъ, которыя были проповѣдываемы и защищаемы тогда „Москвитяниномъ“, постепенно перешли въ литературу, но перешли какъ нѣчто стихійное. О журналѣ нѣтъ и помину — да и подѣломъ! Не вливаютъ вина новаго въ мѣхи ветхіе.

Въ эту-то минуту броженія однихъ силъ и застоя другихъ явился „Русскій Вѣстникъ“, и сразу сталъ передовымъ и первенствующимъ органомъ. „Русская Бесѣда“ явилась позднеѣ, да и явившись, не могла съ нимъ соперничать.

Журналъ началъ нѣсколько неопредѣленно, но очень ловко. Изъ туманной, хотя и глубокомысленной статьи главнаго редактора о Пушкинѣ трудно было понять отношеніе новаго органа мысли къ литературѣ и жизни: казалось только всѣмъ, что направленіе его и дѣльно, и серіозно, и невраздѣбно литературѣ. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ явилась даже комедія Островскаго („Въ чужомъ пиру похмелье“), что не мало содѣйствовало къ утверженію этой мысли... Между тѣмъ съ первыхъ же политическихъ статей журнала почуялось нѣчто новое, до тѣхъ поръ небывалое, серіозное и энергическое, готовое на всякую честную борьбу. Статьи эти были бы передовыми въ любомъ изъ

лучшихъ европейскихъ журналовъ, и вполне заслуживали названіе руководящихъ. Много нужно было времени для того, чтобы разоблачились агсапа *fidei*, чтобы вышла наружу англійская подкладка доктрины, да и самъ журналъ еще не высказывалъ такъ прямо, какъ въ послѣдствіи, своей англоманіи. Съ другой стороны, новое направленіе съ самаго же начала показало, какъ говорится, „зубы“, и притомъ очень острые. Письма Байбороды, — справедливо ли, нѣтъ ли заѣдалъ Байборода своихъ противниковъ, — на нашу еще не совсѣмъ твердую читающую массу имѣли большое вліяніе.

Вслѣдствіе всего этого, передъ авторитетомъ „Русскаго Вѣстника“ преклонялось все, кромѣ славянофильства — а для славянофильства еще не насталъ его *день*.

Въ эту первую эпоху своего существованія „Вѣстникъ“, хотя уже и начиналъ въ своемъ литературномъ отдѣлѣ угощать публику произведеніями г-жи Нарской и князя Кугушева, стало быть, свидѣтельствовалъ уже нѣкоторымъ образомъ или о своемъ крайнемъ безвкусіи въ литературѣ, или о своемъ къ ней крайнемъ равнодушіи, — но за превосходныя политическія статьи и за серіозное поднятіе многихъ общественныхъ вопросовъ читатели взглянули бы сквозь пальцы, какъ на чистую случайность, даже и на то, если бы журналу вздумалось вдругъ помѣстить въ отдѣлѣ изящной литературы даже „Прекрасную Астраханку“, или „Битву русскихъ съ кабардинцами“, — произведенія, отъ которыхъ, правду сказать, не слишкомъ далеко отстоятъ различные плоды „дамскаго“ и „кавалерскаго“ баловства, помѣщавшіеся и понынѣ еще зачастую помѣщаемые въ почтенномъ журналѣ.

Сначала такая литературная неразборчивость казалась всѣмъ случайностью. Но въ томъ-то и дѣло, что такъ только *казалось*. Подъ этою неразборчивостью таилось равнодушіе къ литературѣ. А къ литературѣ нельзя долго оставаться равнодушнымъ. Подъ равнодушіемъ къ литературѣ таится еще нѣчто другое...

Что же именно?

А вотъ видите ли: подъ равнодушіемъ къ литературѣ таится необходимо равнодушіе къ жизни, которой литература служить живымъ голосомъ. Вѣдь, неужели *точно* о литературѣ или, по крайней мѣрѣ, *только* о литературѣ идетъ толкъ, когда, напримѣръ, „Современникъ“ вдругъ объявить Пушкина поэтомъ побрякушекъ, или г. Дудышкинъ вдругъ ни съ того ни съ сего лишить Пушкина его народнаго значенія? Вѣдь, неужели тоже по одному только тупому безвкусію „Русскій Вѣстникъ“ безразлично готовъ помѣщать и Островскаго съ Тургеневымъ и Толстымъ, и произведенія г-жи Нарской, гг. Кугушева, Ахшарумова и tutti-quantі? Неужели этотъ многоученый и достопочтенный журналъ тоже только по безвкусію чуждается помѣщенія у себя произведеній въ народномъ духѣ, которыя, наскучивши лежать въ шкафахъ редакціи, вылетаютъ, наконецъ, изъ клѣтокъ на свѣтъ божій и съ немалымъ успѣхомъ появляются въ другихъ журналахъ? Не можетъ быть, чтобы все это дѣлалось *такъ*. Тутъ на днѣ дѣла лежатъ коренныя симпатіи и антипатіи, не къ невиннымъ, конечно, произведеніямъ литературы, а къ жизни, къ той жизни, которой литература является выраженіемъ... Даже и направленіе чисто-эстетическое, и то, несмотря на свою кастрированность, имѣетъ тоже свои симпатіи и антипатіи, имѣетъ основы болѣе глубокія, чѣмъ теорію шахматной игры въ искусствѣ. Подъ односторонними крайностями этого „невиннаго“ евнуха все-таки, хотъ можетъ быть и безсознательно, скрываются вопросы общественные, нравственные и психическіе. Помните ли вы, напримѣръ, что въ одно время у критиковъ этого воззрѣнія появилась манія говорить легкимъ тономъ о Зандѣ? помните ли вы, что недавно они заявили то же свое легкое мнѣніе о Шиллерѣ? Неужели же подобныя маніи и странныя заявленія порождены одними эстетическими требованіями? Полноте пожалуйста. Мѣщански - нравственному идеальчику противны протестъ Занда и порывистый, уносящій лиризмъ Шиллера; комфортъ это нарушаетъ, изъ границъ условнаго приличія выводить. Вотъ въ чемъ и вся штука.

Не только въ каждомъ вопросѣ искусства, но даже и въ каждомъ вопросѣ науки лежитъ на днѣ его другой вопросъ, вопросъ плоти и крови, вопросъ тѣсно связанный съ существенными сторонами жизни, и собственно только вопросы плоти и крови важны, потому что только въ такіе вопросы вносятъ плоть и кровь могучіе силами борцы. Человѣкъ столь великой души и жизненной энергіи, какъ Ломоносовъ, не писалъ бы доноса на Миллера за выходъ нашихъ варяговъ изъ чужой земли, и не длился бы этотъ вопросъ, безпрестанно возникая вновь, до нашихъ временъ—если бы подъ нимъ не скрывалось живого вопроса о значеніи и силѣ нашей національности. *Родъ* и *община* не дѣлили бы такъ рѣзко и враждебно насъ всѣхъ, служащихъ знанію и слову, если бы корнями своими эти „ученые“ понятія не вrostали въ живую жизнь, не опредѣляли бы такъ или иначе ея значеніе въ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ. Борьба за мысль чисто-головную невозможна или смѣшна, какъ ссора мольеровскихъ философовъ въ „*Le mariage forcé*“. Только за ту головную мысль люди борются, которой корни въ сердцахъ, въ его сочувствіяхъ и отвращеніяхъ, въ его горячихъ вѣрованіяхъ или таинственныхъ, смутныхъ, но неотразимыхъ, и какъ нѣкая сила, могущественныхъ предчувствіяхъ.

Тѣмъ болѣе относится это къ литературѣ, по сущности своей болѣе общедоступной, болѣе демократической, нежели знаніе. Въ ней интересы имѣютъ еще болѣе плотной, кровный характеръ. Интересы эти (симпатіи или антипатіи) возбуждаютъ въ ней одни только первостепенныя явленія, каковы, на примѣръ, въ нашей литературѣ Пушкинъ, Грибоедовъ, Гоголь, Лермонтовъ, Островскій, хотя, разумѣется, въ отношеніи къ такимъ, дѣлающимъ эпоху явленіямъ, симпатіи или антипатіи высказываются сильнѣе и очевиднѣе. Вообще никакое явленіе словесности не можетъ быть разсматриваемо въ его эстетической замкнутости и отдѣльности. Отразило произведеніе дѣйствительныя, живыя потребности общественнаго организма, — вы, конечно, уже задаете себѣ вопросы о значеніи этихъ потребностей; вы-

разило оно собою какія-либо насильственные и болѣзненные напряженія, вопросы, извнѣ пришедшіе и искусственно привитые или искусственно подогрѣтые,—вы начинаете отыскивать причины напряжений и искусственныхъ вопросовъ. Отъ внѣшняго вида растенія вы идете къ корнямъ, роетесь въ глубь. Маловажны часто произведенія, но важны и глубоко знаменательны вопросы, ими затрогиваемые или обнаруживаемые, попытки разрѣшенія которыхъ получаютъ значеніе положительное или отрицательное; важны и знаменательны эти отклики многообразной жизни, какъ сама жизнь многообразна, отклики мѣстностей, сословій, кастъ, толковъ, различныхъ слоевъ образованности, отклики самобытные или съ чужого голоса, туземные или навѣянные извнѣ, важны и знаменательны для мыслителя, религіозно-внимательно прислушивающагося къ подземной работѣ зидительныхъ силъ жизни.

Явное дѣло, стало быть, что когда оказывается въ извѣстномъ направленіи равнодушіе къ литературѣ народа, оно въ переводѣ на прямой языкъ есть просто равнодушіе къ жизни народа. Равнодушіе же къ жизни какой бы то ни было—явленіе совершенно неестественное.

Въ сущности оно — только маска презрѣнія или ненависти. Потому-то въ направленіяхъ энергически-самостоятельныхъ, каковы славянофильство и направленіе теоретиковъ, эта маска даже и не надѣвается. Славянофильство прямо презираетъ всю, *гнилую*, по его мнѣнію, жизнь и не скрываетъ своего неуваженія ко всей литературѣ, служившей и деселѣ служащей выраженіемъ этой гнили. Теоретики прямо и безстрашно уничтожаютъ въ лицѣ Пушкина всю, не только русскую поэзію, — гоня ее вонъ изъ жизни, — прямо ненавидятъ все то, что не ведетъ непосредственно къ гражданской честности и матеріальному благосостоянію, ненавидятъ философію, какъ чужъ и ерунду, ненавидятъ исторію, стремящуюся осмыслить то, что по ихъ теоріи есть только заблужденіе и препятствіе къ осуществленію ихъ идеала.

„Русскій Вѣстникъ“ не сталъ въ такое прямое отноше-

ніе къ жизни и къ литературѣ. Его вражда къ нимъ—не безусловная, какъ вражда теоретиковъ, и не пуританская, какъ вражда славянофильства. Идеаль его узокъ въ сравненіи съ идеаломъ теоретиковъ и несамостоятеленъ въ сравненіи съ идеаломъ славянофильства.

Для „Русскаго Вѣстника“ въ противоположность славянофильству, только европейская и притомъ англійская жизнь и только европейская литература суть явленія дѣйствительныя и законныя; русская же жизнь и русская литература, пока онѣ не доросли до европейскихъ и притомъ англійскихъ размѣровъ, — чистый вздоръ, къ которому можно относиться съ полнѣйшимъ равнодушіемъ, переходящимъ на послѣдокъ въ цинизмъ презрѣнія, ибо только такимъ цинизмомъ и можно объяснить помѣщеніе „Прекрасныхъ Астраханокъ“ въ многоученомъ журналѣ. Ему ни въ жизни нашей ни въ литературѣ ничто не дорого: нынче редація помѣститъ, и помѣститъ съ большимъ удовольствіемъ произведеніе Тургенева, Островскаго, Толстого или Кохановской, но никогда не подниметъ перчатки за кого-либо изъ этихъ писателей, а завтра или пожалуй и нынче же, въ той же книжкѣ что-нибудь въ родѣ „Корнета Отлетзева“ или „Битвы русскихъ съ кабардинцами“. Оно и понятно. Какъ произведенія упомянутыхъ писателей, такъ и произведенія г. Кугушева, г-жи Нарской или г. Зряхова, передъ ихъ высшимъ *аглицкимъ* (единственно патентованнымъ) *воззрѣніемъ*—величины равно безконечно-малыя. Потому же самому *нынче*, на примѣръ, они вооружились за самую легкую тѣнь, брошенную на личность Грановскаго, ибо *нынче* такъ было или казалось имъ нужно; *завтра* они съ полнѣйшимъ равнодушіемъ дозволятъ г. Логинову обличать *лжеученія* Бѣлинскаго.

Съ другой стороны, въ противоположность взгляду теоретиковъ, для „Русскаго Вѣстника“ одна только *русская* жизнь и одна только *русская* литература ничтожны до того, что ими не стоитъ и заниматься. Жизнь европейская, преимущественно же англійская, дѣло другое. Объ этой жизни и о ея литературѣ

какъ можно смѣть
Свое сужденіе имѣть?

Въ ней они нисколько не видятъ тѣхъ язвъ, которыя смѣло видить русскій взглядъ теоретиковъ, не склоняющихся ни передъ какимъ авторитетомъ. Извѣстныя явленія русской жизни и литературы „Русскій Вѣстникъ“, пожалуй, и приметъ благосклонно - величественно подъ свою „мышцу крѣпкую и руку высокую“, поколику эти явленія, какъ, напримѣръ, Пушкинъ, сближали насъ съ развитою жизнью, — но дасть этимъ явленіямъ такое мизерное значеніе, что лучше бы онъ ужъ ихъ и не защищалъ. Точно по головкѣ погладить да скажетъ: „пай, дитя, а кошка—дура!“ разумѣя подъ дурую-кошкою всякое самостоятельное проявленіе мысли и жизни. О *кошкѣ* онъ, впрочемъ, до сихъ поръ благоразумно молчалъ, молчалъ и объ Островскомъ и о Писемскомъ и даже о народномъ значеніи Пушкина, но; вѣроятно, недолго *пребудетъ* въ таинственномъ молчаніи. Въ нынѣшнемъ году уже разверзлись врата капища и начались эскурсіи въ область русской словесности.

Да! самый „Русскій Вѣстникъ“, и тотъ напелъ невозможнымъ совершенно молчать о литературѣ: фактъ поистинѣ замѣчательный! Начавши же говорить о литературѣ, журналъ, если онъ только захочетъ быть послѣдователенъ, не можетъ не обнаружить къ ней того презрѣнія, которое скрывалось до сихъ поръ подъ маскою безразличія и равнодушія, — или самая сущность его воззрѣній должна радикально измѣниться.

Въ жизни „Русскаго Вѣстника“ бывали кризисы, во время которыхъ мелькали временами замѣчательные симптомы коренной перемѣны во взглядѣ; но эти симптомы были фальшивые. Взгляду „Русскаго Вѣстника“ измѣниться нельзя: послѣ кризисовъ только обнаруживалась все болѣе и болѣе патентованная и прочная англійская подкладка, хотя самые кризисы были такого свойства, что могли измѣнить направленіе журнала.

Первый такой кризисъ былъ тогда, когда изъ журнала выдѣлились ультра-западные элементы и сосредоточились въ „Атеней“.

Называя эти элементы ультра-западными, я разумѣю западничество въ его конечномъ у насъ развитіи, т.-е.:

1) *Въ идеѣ централизаціи*, передъ идеаломъ которой, по ученію Бѣлинскаго въ половинѣ сороковыхъ годовъ и по ученію Атеней въ концѣ пятидесятихъ, — „Турція, какъ организованное государство предпочитается „племенному сброду“ славянства, и Австрія, въ лицѣ ея жандармовъ, играетъ въ отношеніи къ этому племенному сброду цивилизаторскую роль“.

2) *Въ идеѣ отвлеченнаго человѣчества*, передъ которымъ исчезаютъ народы и народности.

3) *Въ идеѣ Сатурна-прогресса*, постоянно пожирающаго чадъ своихъ, — идеѣ, энергически выраженной Бѣлинскимъ въ положеніи, что „гвоздь“, выкованный руками человѣческими, дороже и лучше самаго лучшаго цвѣтка въ природѣ“.

Ультра-западники „Атеней“ далеко были и сами не послѣдовательны въ своемъ ученіи. Послѣднюю изъ этихъ идей, по крайней мѣрѣ, какъ она смѣло и рѣзко выразилась въ положеніи Бѣлинскаго, они поднять не смѣли. Ее подняли и повели дальше теоретики, повели честно до знаменитыхъ положеній: а) что яблоко нарисованное никогда не можетъ быть такъ *вкусно*, какъ яблоко настоящее, и что красавица писаная никогда не удовлетворитъ насъ такъ, какъ красавица живая; и б) что все, считавшееся до сихъ поръ за важное и даже за главное въ жизни человѣчества: философія, исторія, поэзія, искусство — въ сущности вздоръ, что все дѣло въ гражданской честности и въ матеріальномъ благосостояніи. Ультра же западники взяли себѣ вполнѣ только идею централизаціи и вполнину идею отвлеченнаго человѣчества. Удовлетворившись инстинктивной враждой къ нашей, славянской національности, они указали границы понятію о человѣчествѣ. Человѣчество для нихъ есть германо-романская національность, и передъ жизнью этой національности — наша русская жизнь есть и была звѣриная, а не человѣческая. Вотъ все, до чего они дошли.

Между тѣмъ на этомъ самомъ крайнемъ пунктѣ ученія западный лагерь долженъ былъ разьединиться.

Самая германо-романская національность выработала своимъ развитіемъ двѣ идеи:

1) *идею централизаціи*, т.-е. поглощенія личности общиною, все равно, будетъ ли эта община папство, ветхозавѣтная республика пуританъ, терроръ конвента или фаланстера Фурье;

и 2) *идею свободы* въ полнѣйшемъ развитіи личности и національности до самыхъ крайнихъ предѣловъ: до потери протестантскими церквами сознанія своего происхожденія и возстановленія этого сознанія путемъ ученаго изслѣдованія, надъ чѣмъ такъ зло и остроумно смѣялся покойный Хомяковъ, и до освященія въ Англіи всякихъ предразсудковъ политическихъ, общественныхъ и нравственныхъ потому только, что они, эти предразсудки, — національные, англійскіе.

Ультра-западные элементы первобытнаго „Русскаго Вѣстника“ выбрали по своимъ личнымъ вкусамъ и наклонностямъ первую идею, но не были послѣдовательны въ своемъ ученіи. Поэтому они стали скоро совершенно ненужны. Ихъ смѣнили на сценѣ теоретики; люди свѣжіе, горячіе и рѣшительные, которыхъ не остановилъ германо-романскій идеаль общественности.

Другіе элементы, оставшіеся въ „Вѣстникѣ“ и плотнѣе въ немъ сосредоточившіеся, принялись за разработку другой идеи.

Началась вторая эпоха существованія журнала.

Въ эту эпоху сила его возрасла еще больше. Направленіе не потеряло, а напротивъ много выиграло, вслѣдствіе отдѣленія отъ него примѣси враждебныхъ элементовъ. Силу однако получилъ „Вѣстникъ“ болѣе отрицательною, чѣмъ положительною стороною своей дѣятельности, а именно своей враждою къ централизаціи. Вражда дѣйствительно выражалась съ такою энергіею и послѣдовательностью, что даже славянскія національности приняты были журналомъ

подъ милостивое покровительство... Тутъ въ нѣкоторомъ родѣ были сожжены даже корабли.

Позвольте по сему поводу сдѣлать маленькую эпизодическую вставку. Помните ли вы, какъ загрызъ Байборода профессора Крылова за статью его, помѣщенную въ „Русской Бесѣдѣ“? Вѣроятно, и тогда многіе догадывались, что дѣло идетъ не объ equester и equestris и не о тому подобныхъ спорныхъ специальностяхъ. Изъ-за этого не топчутъ людей въ грязь. Самый духъ статьи тоже не могъ подать повода къ озлобленію. Вѣдь, только во второй статьѣ своей доведенный до ожесточенія своими антагонистами, Крыловъ началъ предъ ними заискивать. Въ первой же, кромѣ своеобразнаго взгляда на развитіе Рима до эпизодической мысли о возможности федеративнаго будущаго для славянъ въ XII вѣкѣ—ничего не было такого, что могло бы возбудить сильный антагонизмъ. Правда, Крыловъ своей оригинальной и, надобно сказать правду, могущественной діалектикой въ пухъ и прахъ разбивалъ централизованный взглядъ г. Чичерина на исторію Россіи,—но не изъ-за личности же г. Чичерина поднятъ былъ ученый скандалъ. Дѣло въ томъ, что „Вѣстникъ“ первоначальнаго состава еще стоялъ за централизацію, и такимъ его элементамъ, какъ гг. Коршъ, Соловьевъ, Чичеринъ, мысль о томъ, что татары—не благодѣтели наши, а задержатели нашего развитія, мысль, которая влекла за собою историческое развѣнчаніе прогрессистовъ: Ивана IV и его сотрудниковъ,—была рѣшительно „непереносна“. Вотъ въ чемъ была и вся „штука“, а ужъ, конечно, не въ ordo equestris. А между тѣмъ эта „штука“ заставила замѣчательнаго, но, какъ видно, несильнаго характеромъ мыслителя выйти изъ себя и въ діалектическомъ увеличеніи разразиться другою статьею, поистинѣ уже постыдною. Что же касается до первой статьи, то она, встрѣченная враждою „Вѣстника“ первой эпохи—въ „Вѣстникѣ“ второго образованія—въ эпоху вражды съ централизаціей,—могла бы безъ всякаго сомнѣнія занять самое почетное мѣсто. Вѣдь, на страницахъ „Вѣстника“ второй эпохи появлялись временами ультра-

національныя, даже ультра-славянскія и даже—сredite, posteri!—ультра-русскія статьи гг. Палаузова и Берга.

Многіе добрые люди стали уже думать, что „Русскій Вѣстникъ“ рѣшительно хочетъ сдѣлаться національнымъ журналомъ, и готовы были отъ всей души признать за нимъ руководящее значеніе не только въ политикѣ, но въ жизни вообще и, пожалуй, въ литературѣ.

Эти добрые люди ошиблись.

У „Русскаго Вѣстника“ вторичнаго образованія была только отрицательная послѣдовательность. На положительную же, какъ оказалось вполнѣдствіи, у него не хватало такта или энергіи.

„А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!..

говоря словами Татьяны; руководящее значеніе, до котораго онъ съ самаго начала заявилъ себя охотникомъ, могло окончательно за нимъ утвердиться!.. Если бы у журнала стало силы поднять идею національности въ ея широкомъ значеніи,—первенство его, даже до сихъ поръ, было бы несомнѣнно. Ни взглядъ теоретиковъ, несмотря на свою послѣдовательность, ни взглядъ славянофильства, несмотря на свою крѣпкую почву, не устояли бы противъ этого вполнѣ практическаго взгляда. Утопіи о соединеніи луны съ землею, очевидныя для всякаго разумѣющаго „смыслъ писаній“ подъ безпощаднымъ отрицаніемъ теоретиковъ; суровый пуританизмъ и исключительная любовь къ однимъ элементамъ народной жизни, съ нескрываемою враждою къ остальнымъ,—столь же очевидныя свойства славянофильства,—переваримы не для всякаго желудка, и если до сихъ поръ перевариваются, то во имя отрицанія, въ которомъ всѣ мы согласны. Простое же, чистое понятіе о національности, принятое со всѣми его жизненными послѣдствіями—хотя бы то даже съ петровской реформой и купеческимъ бытомъ „темнаго царства“—не оскорбляло бы никакихъ кровныхъ симпатій, симпатій къ жизни и къ искусству.

Въ такомъ случаѣ, т. е. выкинувъ флагъ широкаго по-

нятія національности, „Русскій Вѣстникъ“ неминуемо долженъ былъ бы выйти изъ своего неопредѣленнаго и безразлично-равнодушнаго отношенія къ литературѣ, и притомъ выйти не такъ, какъ онъ вынужденъ былъ въ послѣднее время. Руководящее значеніе прочно для направленій только тогда, когда они опираются на жизнь и литературу, когда высшія точки ихъ суть высшія точки самой жизни и самой литературы, когда литература народа есть для нихъ выраженіе національной, такъ или иначе складывающейся или уже сложившейся жизни. Тотъ фактъ, что при всемъ равнодушіи къ національной жизни и національной литературѣ, „Вѣстникъ“ пользовался однако долго несомнѣннымъ первенствомъ,—поясняется только нашимъ напряженнымъ общественнымъ состояніемъ. Цѣлостное развитіе ушло такъ сказать на время въ глубь, на задній планъ, а нѣкоторыя стороны его рѣзко и напряженно выдвинулись впередъ: вопросы крестьянскаго быта, судопроизводства, финансовъ, общественной гласности и проч. Эти выдающіеся вопросы „Русскій Вѣстникъ“ поднималъ въ свое время такъ сильно и такъ дѣльно, что съ нимъ всѣ благомыслящіе люди соглашались, тѣмъ болѣе что разработка вопросовъ была большею частію отрицательная, указывавшая преимущественно на наши недостатки; положительная же сторона, патентованная „аглицкая“ подкладка еще не проступала наружу такъ явно, какъ теперь.

Между прочимъ, успѣху и вліянію журнала не мало помогла и литература, не пользующаяся его большимъ сочувствіемъ. Я говорю, впрочемъ, не о произведеніяхъ Островскаго, Тургенева, Толстого, Кохановской: то были рѣдкіе гости въ „Вѣстникъ“. Но въ немъ болѣе года являлся дѣятелемъ единственный истинно-даровитый и замѣчательный обличитель—Щелринъ. Какимъ образомъ этотъ писатель, своей глубокой любовью къ народу близкій къ славянофильству, а смѣлою послѣдовательностью въ отрицаніи не уступающій теоретикамъ, попалъ въ „Вѣстникъ“, и какъ „Вѣстникъ“ печаталъ нѣкоторые изъ его рассказовъ, на примѣръ, „Оринушку“ и „Марфу Кузьмовну“,—это можетъ

быть объяснено только неустановленностью, неопредѣленностью нашихъ воззрѣній вообще.

Пока дѣло идетъ объ отрицаніи, мы всѣ сходимся, исключая развѣ изъ числа всѣхъ г. Аскоченскаго съ К°. Мы часто, во имя этого общаго и всѣми ровно раздѣляемаго отрицанія, готовы взглянуть сквозь пальцы на совершенно несимпатическія положительныя стороны, проглядывающія у того или другого изъ отрицателей. До поры до времени, мы еще не можемъ и нѣкоторымъ образомъ неправѣ быть послѣдовательными.

А между тѣмъ необходимость послѣдовательности рано или поздно, но все-таки неминуемо ждетъ насъ въ будущемъ, быть можетъ, и недалекомъ. Слова Любима Торцова насчетъ запоя: „нельзя перестать, — на такую линію попалъ“ относятся и къ ходу направленія мысли, если точно это направленіе, а не праздношатаніе мысли.

Факты, свидѣтельствующіе о необходимости послѣдовательности, уже и теперь являются нерѣдко передъ нашими глазами. Разошелся, напримѣръ, Щедринъ съ „Вѣстникомъ“, и не сойдется съ нимъ никогда Островскій; разошелся окончательно Тургеневъ съ „Современникомъ“, и не расходится съ нимъ, несмотря на свою *положительную* народность, Островскій; вѣдь, это все явленія важныя, явленія такія, которыя *стыдно* объяснять закулисными тайнами литературныхъ мірковъ: вѣдь, „претить“ отъ такихъ милыхъ объясненій. Тутъ есть нѣчто высшее закулисныхъ тайнъ, а закулисныя тайны, хоть бы даже онѣ и были, давно слѣдуетъ „по-боку!“ Высшее же есть — послѣдовательность логики направленій, все равно сознательная или безсознательная. Для будущаго будетъ странно не то, что Тургеневъ, напримѣръ, разошелся съ направленіемъ „Современника“, а то, что въ „Современникѣ“, прямо отрицающемъ какъ вещи ненужныя: философію, исторію, поэзію, народность—явились и „Дворянское Гнѣздо“ и статьи „о Донъ-Кихотѣ и Гамлетѣ“. Странно не то, что во все существованіе „Вѣстника“ въ немъ явилась всего только одна комедія Островскаго: „Въ чужомъ пиру похмелье“, но то,

что и эта одна комедія въ немъ явилась. И это будущее, которому странно покажется многое, что намъ не казалось странно, и наоборотъ, совершенно ясно будетъ многое, въ чемъ мы путались,—оно уже начинается, оно уже заявляетъ необходимость логической послѣдовательности.

Въ особенности замѣчательно то, что послѣдовательность выражается непремѣнно по отношенію къ литературѣ. Пренебрегайте ею какъ „Русскій Вѣстникъ“, отрицайте ея значеніе вообще какъ теоретики, презирайте ее какъ живое выраженіе ложной жизни, подобно славянофильству, вы все-таки, какъ только выйдете изъ чистаго отрицанія на положительную почву — непремѣнно по отношенію къ ней выскажете ваши симпатіи и антипатіи. И нельзя иначе. Она одна есть *положительное* выраженіе жизни, насъ окружающей. Нужды нѣтъ, что она есть *идеальное* выраженіе этой жизни. Мы давно, кажется, перестали вѣрить, чтобы *идеальное* было нѣчто отвлеченное отъ жизни. Мы знаемъ всѣ, какъ знаетъ даже Печоринъ, что идея есть явленіе органическое, что она носится въ воздухѣ, которымъ мы дышемъ, что она имѣетъ силу, крѣпкую какъ обоюдоострый мечъ.

Все идеальное есть не что иное, какъ аромать и цвѣтъ реальнаго, и какъ таковое, непремѣнно выражается въ литературѣ. Противенъ вамъ запахъ и не нравится цвѣтъ, вы въ сущности враждуете съ почвою и воздухомъ. „На зеркало нечего пенять, коли рожа крива“, повторилъ бы и тоголевскій эпиграфъ къ „Ревизору“, если бы съ понятіемъ о зеркалѣ не связывалось понятія о слѣпой безсознательности литературы или точнѣе сказать—искусства. Вы не литературой, а самой жизнью, ей отражаемою, недовольны, но ваше недовольство жизнью непремѣнно выразится такъ или иначе по отношенію къ литературѣ.

Посмотрите, какъ рѣзко начинаютъ уже обозначаться наши различныя направленія, какъ настоятельна становится для cadaго необходимость сжигать за собою корабли. Развѣ можно въ одно и то же время вполне сочувствовать Пушкину и вмѣстѣ съ тѣмъ сочувствовать славянофиламъ

или теоретикамъ? сочувствовать Островскому и вмѣстѣ сочувствовать англоманамъ?

Потому что, вѣдь что такое Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Островскій, въ переводѣ на чистый и ясный языкъ? Пушкинъ, это узаконеніе поэзіи въ жизни, идеализма мысли и ощущеній, и вотъ почему онъ для теоретиковъ „поэтъ побрякушекъ“; Пушкинъ, это наше право на Европу и на нашу *европейскую* національность, а вмѣстѣ съ тѣмъ и право на нашу самобытную особенность въ кругу другихъ европейскихъ національностей,—не на фантастическую и изолированную особенность, а на ту, какую Богъ далъ, какая сложилась изъ напора реформы и отсадковъ коренного быта, и вотъ почему его не любятъ славянофилы. Пушкинъ это нашъ стройно и полно выразившійся протестъ противъ догматизма и „жестокихъ нравовъ“, повершитель дѣла многихъ приснопамятныхъ протестантовъ, отъ Ломоносова до Карамзина, и вотъ почему онъ для гг. Бурачка, Аскоченскаго и всей компаніи мракобѣсія ненавистнѣй даже демоническаго Лермонтова. А вмѣстѣ съ тѣмъ, наконецъ, Пушкинъ-Вѣлкинъ, Пушкинъ „Капитанской Дочки“, „Дубровскаго“, „Родословной“ и т. д.,—узаконитель нашей почвы, преданій, реакція нашей родной обломовщины, которая, какова она ни на есть, все-таки жизненнѣй штольцовщины, и вотъ почему холодны къ нему ультра-реформаторы. Съ другой стороны, Лермонтовъ, это узаконеніе нашей страстности, того тревожнаго начала, безъ котораго бы мы закисли въ *обширномъ* смиреніи славянофильства и въ дешево умилительныхъ примиреніяхъ у дверей кабака. Что такое въ настоящую минуту Гоголь въ переводѣ на прямой языкъ, — трудно еще опредѣлить съ полною ясностью; но что во всякомъ случаѣ дѣло идетъ теперь не о его великой художественной силѣ, а о чемъ-то другомъ, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Для многихъ рѣшительно непереваримы статьи о немъ г. Кулиша; но переваримы онѣ или нѣтъ, а ихъ не разобьешь голословными ругательствами, въ которыхъ подвизается г. Максимовичъ. Г. Кулишъ сказалъ только то, что большая половина украинской

народности давно уже чувствовала; равно какъ Писемскій въ своей статьѣ о второй части „Мертвыхъ душъ“ первый смѣло высказалъ то, что чувствовали многіе русскіе люди, — то, что Гоголь не изобразитель великорусской жизни. Еще прежде Писемскаго, и тоже художникомъ, но не въ статьѣ, а въ романѣ, былъ сдѣланъ искренно, но какъ-то робко намекъ на безсердечность гоголевскаго юмора... намекъ, въ ту пору едва замѣченный... Что такое, наконецъ, Островскій, этотъ, со всѣми его недостатками, единственный *новый* и народный нашъ современный писатель? Съ одной стороны, историческая поправка Гоголя по отношенію къ русскому быту, почему онъ и ненавистенъ всѣмъ западникамъ, даже умѣреннымъ. Съ другой стороны, онъ — продолжатель по духу, при всемъ своеобразіи формъ, дѣла Пушкина и всѣхъ протестантовъ, почему и не имѣетъ счастья нравиться славянофильству. Для него народъ — не крестьянство и старое боярство, а просто народъ. Какъ поэтъ народный, онъ не вдался въ соблазнительное поприще повѣствователя или драматурга изъ крестьянскаго быта, а взялъ народный бытъ въ его единственно самобытномъ выраженіи, нестѣсненномъ крѣпостнымъ правомъ, какъ крестьянство, и чужеземнымъ кафтаномъ, какъ бюрократія, — въ купечествѣ, а равно видитъ въ немъ какъ уродливый, такъ и правильныя стороны развитія... Теоретики поняли и глубоко поняли его безпощадность въ изображеніи уродливостей „темнаго царства“, но „лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“ признали какъ-то неполно, какъ-то вынужденно.

Теоретики... Когда я пишу теперь это слово, — одного изъ теоретиковъ, едва ли не самаго даровитаго изъ нихъ, уже нѣтъ болѣе. Нѣтъ... когда еще такъ много пути лежало передъ нимъ, когда еще такъ много и могъ и долженъ былъ сказать... Замокъ благородный и энергически-честный голосъ, молодая сила сошла въ нѣдра земли, — голосъ, хотя и недавній, но уже „со властію“, сила хотя и отрицательная, но народная... Эта дань понятнаго сожалѣнія о даровитомъ дѣятелѣ не значитъ съ моей стороны того,

чтобы смерть Добролюбова считалъ я событіемъ, обезоруживающимъ взглядъ теоретиковъ. Этому взгляду еще много предстоитъ дѣла—и дѣлатели, нѣтъ сомнѣнія, найдутся.

Вотъ направление „Русскаго Вѣстника“ — дѣло другое. За него начинаютъ бояться теперь самые жаркіе его поклонники.

Послѣ второй совершившейся въ немъ революціи, т.-е. послѣ выдѣленія изъ него элементовъ, образовавшихъ „Русскую рѣчь“, его третичное образованіе не обнаружило въ немъ никакого существеннаго, живого содержанія, кромѣ англійской подкладки.

А между тѣмъ, именно въ этотъ моментъ, будь журналъ послѣдователенъ,—онъ, освободясь окончательно отъ всѣхъ своихъ ультра-западныхъ элементовъ, могъ стать въ самыя прямыя отношенія къ національной жизни и національной литературѣ, стать оплотомъ національности вообще и русской національности въ особенности. Ему предстояла и серьезная борьба, и можетъ-быть прочная побѣда съ утвержденіемъ руководящаго значенія.

Почему, въ самомъ дѣлѣ, выдѣлилась изъ него „Русская Рѣчь“? неужели же только изъ-за статьи г-жи Туръ о Madame Свѣчиной? Пожалуй изъ-за статьи, но во всякомъ случаѣ статья была только внѣшнимъ поводомъ. Для „Русскаго Вѣстника“—такъ, по крайней мѣрѣ, должно полагать—обнаружилось, что яркая вражда съ французскимъ ультрамонтанствомъ въ предѣлахъ Россіи—во-первыхъ, донкихотство, а во-вторыхъ, въ основахъ своихъ расходится съ серьезнымъ философскимъ взглядомъ коренной редакціи на религіозные интересы. Взглядъ высказался не прямо, а въ видѣ намека, и очень скоро погибъ въ хламъ печальнѣйшихъ домашнихъ дразговъ; но онъ высказался, онъ могъ быть шагомъ на новую ступень развитія. Шагомъ же этимъ редакція могла развязать себѣ руки на серьезную борьбу и съ ультра-западничествомъ, и съ мракобѣсіемъ, и съ теоретиками, и съ славянофильствомъ.

Но борьба могла быть начата только во имя философіи-искусства и національности—этихъ вѣчныхъ знаменъ „раз-

вращеннаго“ человечества, до тѣхъ поръ пока луна не соединится съ землею.

Время для начатія борьбы было самое удобное и благоприятное. Мѣсяца за два, много за три, до открытія г-жею Туръ походовъ на „Русскій Вѣстникъ“, раздался запросъ г. Дудышкина о томъ: народный-ли поэтъ Пушкинъ? Незадолго также вышелъ и томъ „Русской Бесѣды“, въ которомъ рѣзко обнаружилось произвольное обращеніе славянофильства съ народнымъ бытомъ, даже въ самыхъ искреннихъ его выраженіяхъ, пѣсняхъ. Что же касается до теоретиковъ, то они тогда поистинѣ свирѣпствовали надъ философійю, исторіей и искусствомъ.

Всякое направленіе живетъ борьбою, въ борьбѣ приобретаетъ и силы, и яркую особенность, и авторитетъ. Плохо то направленіе, которому не за что и не съ кѣмъ бороться: даже оно въ такомъ случаѣ и не направленіе, ибо или совсѣмъ безсильно, или примыкаетъ къ другому, сильнѣйшему,—значить попусту толчется на свѣтѣ, отвлекая только задаромъ силы отъ ихъ настоящаго средоточія. Признакъ самобытности и силы направленія—борьба... Это чувствовалъ и чувствуетъ „Русскій Вѣстникъ“; но за что же осталось ему бороться? Прежде, въ свою первоначальную эпоху, онъ боролся вообще за свѣтъ и свободу. Отдѣлились элементы, образовавшіе мрачный „Атеней“,—„Вѣстникъ“ сталъ бороться противъ централизаціи за народности, мѣстности, исторію, избѣгая, впрочемъ, прямо говорить, *за что* онъ борется, и только смѣло обличая то, *противъ чего* онъ борется. Желѣзная логика фактовъ влекла его къ дальнѣйшей послѣдовательности; отъ него отдѣлились послѣдніе элементы, препятствовавшіе ему поднять знамя народности. Положеніе его опредѣлялось окончательно.

Но на то, чтобы смѣло и послѣдовательно выкинуть флагъ національности, у „Русскаго Вѣстника“ опять-таки не стало такта или энергіи. А между тѣмъ, такъ какъ одной англійской подкладкой, хоть и патентованной, не проживешь, потому что надъ этой подкладкой удачно смѣлся

даже и фельетонистъ трактирнаго „Развлеченія“, то все-таки надобно было сойти съ олимпійскихъ высотъ на арену борьбы...*)).

А. Григорьевъ.

**) Ясная Поляна. Школа. Журналъ педагогическій, издаваемый гр. Л. Н. Толстымъ. Москва. 1862.

Ясная Поляна. Книжки для дѣтей. Книжка 1-я и 2-я.

Этотъ педагогическій журналъ и эти книжки для народныхъ школъ издаются при школѣ, устроенной графомъ Л. Н. Толстымъ въ селѣ или деревнѣ Крапивенскаго уѣзда, Тульской губерніи, Ясной Полянѣ. Въ первой же книжкѣ журнала помѣщено описаніе школы.—Часовъ въ 8 поутру звонятъ въ школѣ, сзывая учениковъ изъ деревни. Они идутъ—и посмотрите на нихъ, вы увидите замѣчательную черту:

„Съ собой никто ничего не несетъ — ни книгъ ни тетрадокъ. Уроковъ на домъ не задаютъ. Мало того, что въ рукахъ ничего не несутъ, имъ нечего и въ головѣ нести. Никакого урока, ничего, сдѣланнаго вчера, онъ не обязанъ помнить нынче. Его не мучитъ мысль о предстоящемъ урокѣ. Онъ несетъ только себя, свою воспримчивую натуру и увѣренность въ томъ, что въ школѣ нынче будетъ весело такъ же, какъ вчера. Онъ не думаетъ о классѣ до тѣхъ поръ, пока классъ не начался. Никогда никому не дѣлаютъ выговоровъ за опаздываніе и никогда не опаздываютъ: нешто старшіе, которыхъ отцы, другой разъ, задер-

*) Хотя въ настоящей первой статьѣ А. Григорьева и не разбираются непосредственно произведенія Л. Н. Толстого, но, по моему мнѣнію, ее нельзя было не только не помѣстить въ этомъ сборникѣ, но даже и сократить, такъ какъ она представляетъ собою характеристику литературныхъ теченій конца пятидесятихъ годовъ, характеристику, которая освѣщаетъ, хотя, быть можетъ, и съ особенной точки зрѣнія, ту литературную эпоху, когда Л. Н. Толстой выступалъ на арену литературной дѣятельности и мало-по-малу становился замѣтнымъ въ рядахъ русскихъ писателей.—Слѣдующая за этой вторая статья А. Григорьева появилась въ печати спустя восемь мѣсяцевъ по напечатаніи первой. Поэтому, слѣдующая принятому мною хронологическому порядку, я закончу ею 1862 годъ въ настоящемъ сборникѣ.

Примѣч. В. Земляскаго.

**) „Современникъ“ 1862 г., № 3 („Русская литература“).

жать дома какою-нибудь работой. И тогда этотъ большой рысью, запыхавшись прибѣгаетъ въ школу“.

Что-жъ, это очень хорошо, что дѣти идутъ въ школу съ легкимъ сердцемъ безъ всякихъ тревогъ. Въ ожиданіи учителя ученики и ученицы болтаютъ, играютъ, шалятъ, какъ бываетъ, впрочемъ, во всѣхъ школахъ. Но вотъ уже не во всѣхъ школахъ видитъ учитель при входѣ въ классъ то, что находитъ въ классной комнатѣ яснополянской школы. Въ нашихъ форменныхъ училищахъ дѣти обыкновенно сторожатъ приходъ учителя и, завидѣвъ вдалькѣ своего наставника, торопливо разсаживаются по мѣстамъ, принимаютъ натянутый, чинный видъ, — словомъ сказать, приучаются скрывать, лицемерить и подобострастничать. Въ яснополянской школѣ этого нѣтъ.

„Учитель приходитъ въ комнату, а на полу лежатъ и пишутъ ребята, кричащіе: „мала куча!“ или „задавили ребята!“ или „будетъ! брось виски-то“ и т. д. „Петръ Михайловичъ!“ кричитъ снизу кучи голосъ входящему учителю, „вели имъ бросить“. „Здравствуй, Петръ Михайловичъ!“ кричатъ другіе, продолжая свою возню. Учитель беретъ книжки, раздаетъ тѣмъ, которые съ нимъ пошли къ шкапу; изъ кучи на полу — верхніе, лежа, требуютъ книжку. Куча понемногу уменьшается. Какъ только большинство взяло книжки, всѣ остальные ужъ бѣгутъ къ шкапу и кричатъ: и мнѣ и мнѣ. „Дай мнѣ вчерашнюю“; — „а мнѣ *Кольцовую*“ *) и т. п. Ежели останутся еще какіе-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающіе вальситься на полу, то сидящіе съ книгами кричатъ на нихъ: „что вы тутъ замѣшались? — ничего не слышно. Будетъ“. Уличенные — покоряются и, запыхавшись, берутся за книги и только въ первое время, сидя за книгой, помахиваютъ ногой отъ неулегшагося волненія. Духъ войны улетаетъ и духъ чтенія воцаряется въ комнатѣ“.

Садятся по мѣстамъ дѣти, гдѣ кто попалъ, кому гдѣ вздумалось: начальственнаго распредѣленія мѣстъ нѣтъ. За-

*) Такъ дѣти называютъ стихотворенія Кольцова.

то, принимаясь учиться безъ всякаго принужденія и стѣсненія, дѣти учатся съ такимъ же полнымъ усердіемъ, съ какимъ до начала класса шалили. „Во время класса“ (говорить авторъ статьи, вѣроятно, гр. Толстой, а впрочемъ не знаемъ, статья не подписана), „я никогда не видѣлъ, чтобы шептались, щипались, смѣялись потихоньку, фыркали въ руку и жаловались другъ на друга учителю“. Оно и естественно, потому что учатся не по принужденію, а по охотѣ: кому показалось скучно, можетъ уйти изъ класса, никто ему не мѣшаетъ. Иногда случается въ яснополянской школѣ, особенно по вечерамъ передъ праздникомъ, когда дома топятъ бани, дѣти расходятся не досидѣвъ класса, но не отъ скуки, а потому, что вспомнили, что дома ихъ ждутъ.

„На второмъ или третьемъ послѣобѣденномъ классѣ, два или три мальчика забѣгаютъ въ комнату и спѣша разбираютъ шапки. „Что вы?“ — Домой. — „А учиться? вѣдь пѣнье!“ — А ребята говорятъ домой! отвѣчаетъ онъ, ускользя съ своей шапкой. — „Да кто говорить?“ Ребята пошли! — „Какже, какъ?“ спрашиваетъ озадаченный учитель, приготовившій свой урокъ — „останься!“ но въ комнату вбѣгаетъ другой мальчикъ съ разгоряченнымъ, озабоченнымъ лицомъ. „Что стоишь?“ сердито нападаетъ онъ на удержаннаго, который въ нерѣшительности заправляетъ хлопкомъ въ шапку — „ребята ужъ во-онъ гдѣ, у кузни ужъ небось“. — Пошли? — „Пошли“. И оба бѣгутъ вонъ, изъ-за двери крича: „прощайте, Иванъ Ивановичъ!“ И кто такіе эти ребята, которые рѣшили итти домой, какъ они рѣшили? — Богъ ихъ знаетъ. Кто именно рѣшилъ, вы никакъ не найдете. Они не совѣщались, не дѣлали заговора, а такъ, вздумали ребята домой. „Ребята идутъ!“ — и застучали по-женки по ступенькамъ, кто потомъ свалился со ступеней и, подпрыгивая и бултыхаясь въ снѣгъ, оббѣгая по узкой дорожкѣ другъ друга, съ крикомъ побѣжали домой ребята. Такіе случаи повторяются разъ и два въ недѣлю. Оно и обидно и непріятно для учителя — кто не согласится съ этимъ, но кто не согласится тоже, что вслѣдствіе одного

такого случая, насколько большее значеніе получаютъ тѣ пять, шесть, а иногда семь уроковъ въ день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый день учениками. Только при повтореніи такихъ случаевъ, можно быть увѣрену, что преподаванье, хотя и недостаточное и одностороннее, не совсѣмъ дурно и не вредно. Ежели бы вопросъ былъ поставленъ такъ: что лучше—чтобы въ продолженіи года не было ни одного такого случая, или чтобы случаи эти повторялись больше, чѣмъ на половину уроковъ,—мы бы выбрали послѣднее. Я, по крайней мѣрѣ, въ яснополянской школѣ былъ радъ этимъ, нѣсколько разъ въ мѣсяцъ повторявшимся, случаямъ. Несмотря на частыя повторенія ребятамъ, что они могутъ уходить всегда, когда имъ хочется,—вліяніе учителя такъ сильно, что я боялся, послѣднее время, какъ бы дисциплина классовъ, росписаній и отмѣтокъ, незамѣтно для нихъ, не стѣснила ихъ свободы такъ, чтобы они совсѣмъ не покорились хитрости нашей разставленной сѣти порядка, чтобы не утратили возможности выбора и протеста. Ежели они продолжаютъ ходить охотно, несмотря на предоставленную имъ свободу, я никакъ не думаю, чтобы это доказывало особенныя качества яснополянской школы,—я думаю, что въ большей части школъ то же самое бы повторилось, и что желаніе учиться въ дѣтяхъ такъ сильно, что для удовлетворенія этого желанія они подчинятся многимъ труднымъ условіямъ и простятъ много недостатковъ. Возможность такихъ убѣганій полезна и необходима, только какъ средство застрахованія учителя отъ самыхъ сильныхъ и грубыхъ ошибокъ и злоупотребленій“.

Превосходно, превосходно. Дай Богъ, чтобы все въ большемъ числѣ школъ заводился такой добрый и полезный „безпорядокъ“—такъ называетъ его въ видѣ уступки предполагаемымъ возражателямъ авторъ статьи, его панегиристъ,—а по нашему, слѣдуетъ сказать просто: „порядокъ“, потому что какой же тутъ безпорядокъ, когда всѣ учатся очень прилежно, насколько у нихъ хватитъ силъ, а когда сила покидаетъ ихъ или надобно имъ отлучиться изъ шко-

лы по домашнимъ дѣламъ, то перестаютъ учиться? Такъ и слѣдуетъ быть во всѣхъ школахъ, гдѣ это можетъ быть,— во всѣхъ первоначальныхъ народныхъ школахъ.

Такое живое пониманіе пользы предоставляетъ дѣтямъ полную свободу, такая неуклонная выдержанность этого принципа подкупаетъ насъ въ пользу редакціи журнала, издаваемого основателемъ яснополянской школы. Въ предисловіи къ журналу гр. Л. Н. Толстой говоритъ, что готовъ выслушивать возраженія противъ мыслей, кажущихся ему истинными, и что боится онъ только одного, — чтобы мнѣнія, противныя его мыслямъ, „не выражались желчно, чтобы обсужденіе столь дорогого и важнаго для всѣхъ предмета, какъ народное образованіе, не перешло въ насмѣшки, личности, въ журнальную полемику“, которая отвлекла бы отъ сущности дѣла къ спорамъ и горячности изъ-за мелочей. Потому издатель „Ясной Поляны“ проситъ „будущихъ противниковъ“ его мнѣній „выражать свои мысли“ спокойнымъ и безобиднымъ тономъ. Изъ уваженія къ порядку, установленному имъ въ яснополянской школѣ и къ его горячей преданности этому доброму порядку, мы исполнимъ его желаніе; а безъ этого обстоятельства,—т. е. если бы не знали мы, какъ свободно и легко устроено для дѣтей ученіе въ яснополянской школѣ,—мы, вѣроятно, не удержались бы отъ колкостей при разборѣ теоретическихъ статей „Ясной Поляны“, потому что есть въ нихъ вещи, напоминающія о знаменитыхъ статьяхъ г. Даля и г. Белястина.

Вотъ, напримѣръ, первая статья 1-й книжки, содержащая profession de foi редакціи. На первой же страницѣ авторъ высказываетъ недоумѣніе, очень странное. „Отчего это“, говоритъ онъ, „народъ постоянно противоѣствуетъ тѣмъ усиліямъ, которыя употребляетъ для его образованія общество или правительство?“— „Это, говоритъ онъ, явленіе, непонятное для меня“. Оно стало непонятнымъ только потому, что исключительные случаи возведены авторомъ въ общее положеніе. Мало-ли чему можетъ иногда противоѣствовать народъ! При Іосифѣ II въ Бельгіи и въ Вен-

гріи онъ противодѣйствовалъ разрушенію феодальнаго порядка; при Арандѣ и Флоридѣ Бланкѣ въ Испаніи онъ противодѣйствовалъ отмиженію инквизиціи; у насъ онъ противодѣйствовалъ попыткамъ ознакомить его съ воздѣлываніемъ картофеля. Если я изъ этихъ исключительныхъ случаевъ выведу общее заключеніе, будто бы народъ „постоянно“ противодѣйствовалъ уничтоженію привилегій, преслѣдованій, улучшенію пищи, то оно дѣйствительно выйдетъ вещь непонятная. Только эта вещь,—т. е. постоянность народнаго сопротивленія всему полезному,—вовсе не будетъ „явленіе“, черта исторической жизни; эта вещь просто будетъ моя мечта, моя ошибка въ построеніи силлогизма. Въ нѣкоторыхъ,—пожалуй въ довольно многихъ случаяхъ,—народъ довольно упорно противился заботамъ объ его образованіи. Что-жъ тутъ удивительнаго? Развѣ народъ—собраніе римскихъ папъ, существъ непогрѣшительныхъ? Вѣдь, и онъ можетъ ошибаться, если справедливо, что онъ состоитъ изъ обыкновенныхъ людей. А потому трудно предположить и то, что въ этихъ случаяхъ виновата была какая-нибудь ошибка или какая-нибудь недобросовѣстность людей, принимавшихъ на себя заботу о народномъ образованіи? Вѣдь, они тоже были люди; значить, могли ошибаться или могли дѣйствовать по эгоистическимъ расчетамъ, не соотвѣтствовавшимъ народной потребности. Ни въ той ни въ другой альтернативѣ нѣтъ ничего непонятнаго. Кромѣ того, что иногда (очень рѣдко) случается упорное сопротивленіе со стороны народа образованію, по какой-нибудь случайной ошибкѣ народа или его просвѣтителей, есть еще одинъ фактъ, который могъ ввести редакцію „Ясной Поляны“ въ заблужденіе насчетъ существенныхъ отношеній народа къ образованію. Этотъ фактъ уже не исключительный, а общій, и проходитъ черезъ всю исторію просвѣщенія. Онъ состоитъ въ томъ, что когда что бы-то ни было,—самъ ли народъ, то-есть большинство простолюдиновъ,—образованное ли общество, правительство ли задумываетъ какую-нибудь реформу въ народномъ образованіи, реформа на первыхъ порахъ встрѣчаетъ болѣе или

менѣе сильную оппозицію, но не исключительно въ народѣ, а точно также и въ образованномъ обществѣ (если ею занимается оно) и въ нѣкоторыхъ членахъ самого правительства (если реформу задумываетъ правительство). Но тутъ нѣтъ никакой специальной черты, относящейся именно только къ частному дѣлу народнаго образованія или только къ народу. Это общая принадлежность реформъ или переимѣнъ въ чемъ бы-то ни было и съ кѣмъ бы-то ни было, что они не совершаются безъ нѣкоторой оппозиціи,—проще сказать, не совершаются безъ хлопотъ, безъ надобности толковать, разсуждать, убѣждать. Возьмите самое простое дѣло — напримѣръ, хоть въ какой-нибудь деревнѣ починку моста, который сталъ плохъ и который всѣмъ въ деревнѣ одинаково нуженъ: все-таки сначала потолкуютъ и поспорятъ,—кто же?—сами же мужики между собой. Мужики, которые посообразительнѣе или порѣшительнѣе, раньше другихъ увидятъ, что надобно чинить мостъ, а другіе думаютъ, что можно еще погодить этимъ дѣломъ; вотъ вамъ и неизбѣжность спора. Да развѣ въ одномъ народѣ такъ? Въ всякомъ классѣ то же самое. Помните, напримѣръ, какъ шли дѣла о томъ, нужны или не нужны желѣзныя дороги, электрическіе телеграфы и др.—и въ англійскихъ и, во французскихъ парламентахъ, палатахъ, въ парижскомъ институтѣ были споры: однимъ казалось, что эти вещи нужны, полезны, другимъ, что онѣ неудобны, вредны.

Штука состоитъ въ томъ, что вездѣ по всякому дѣлу обнаруживается существованіе двухъ партій, консервативной и прогрессивной, вѣчныхъ партій, соотвѣтствующихъ двумъ сторонамъ человѣческой природы: силѣ привычки и желанію улучшеній. Натурально, что эти двѣ партіи являются и въ дѣлѣ народнаго образованія, какъ въ нѣдрахъ общества, такъ и въ самомъ народѣ. Есть мужики и мѣщане (какъ есть купцы, чиновники, дворяне), говорящіе: будемъ жить по-старому и воспитывать дѣтей по-старому; есть другіе мужики и другіе мѣщане, подобно другимъ купцамъ, чиновникамъ и дворянамъ, говорящіе: постарайтесь устроить жизнь лучше прежняго и станемъ воспитывать дѣтей лучше, чѣмъ воспитывались сами.

Ну, что же тутъ особеннаго? Отчего тутъ смущаться, терять „пониманіе?“ Есть еще одинъ фактъ, тоже проходящій черезъ всю исторію, — его замѣтила даже редакція „Ясной Поляны“: мужики стѣсняются посылать своихъ дѣтей въ школы потому, что сынъ или дочь помогали бы въ чемъ-нибудь по хозяйству, оставаясь дома, или зарабатывали бы нѣсколько денегъ на фабрикѣ, или въ какомъ-нибудь мастерствѣ. Это обстоятельство уже дѣйствительно прискорбное, когда дѣла родителей такъ стѣснены, что мысль о пользѣ дѣтей подавляется необходимостью какъ можно скорѣе извлекать изъ дѣтей что-нибудь на подмогу хозяйству. Но и это развѣ у однихъ простолюдиновъ бываетъ? Сколько есть небогатыхъ чиновниковъ и дворянъ, которые принуждены не давать дѣтямъ учиться, а какъ можно раньше опредѣлять ихъ на гражданскую службу или въ юнкера. Очень жаль, что это такъ; но развѣ это можно назвать упорствомъ противъ образованія? Вовсе нѣтъ, — очень многіе изъ родителей, принужденныхъ такъ поступать, самые горячіе приверженцы образованія. Плачутъ, что не могутъ дать дѣтямъ такого образованія, какъ желали бы, но что-жъ дѣлать, когда нѣтъ средствъ? — Ну, разумѣется, относительно одного факта недостаточно успокаивать себя психологическими соображеніями о врожденной силѣ консерватизма въ человѣческой натурѣ или о неизбѣжности ошибокъ, недоразумѣній и эгоистическихъ цѣлей, о чемъ разсуждали мы выше. Тутъ дѣло не въ человѣческой натурѣ, а въ недостатокѣ денегъ; значить, дѣятели народнаго образованія должны заботиться о томъ, какъ бы улучшить матеріальное положеніе народа. Но и это опять не какая-нибудь специальная черта только простонароднаго образованія, — и во всякомъ сословіи будетъ учиться большее количество дѣтей и будутъ учиться они дольше, будутъ образовываться они лучше, если сословіе будетъ пользоваться лучшимъ благосостояніемъ. Ни непонятнаго ни особеннаго — тутъ ровно ничего нѣтъ. Такъ что же оказалось у насъ? Большою помѣхою ученью дѣтей простолюдиновъ служить бѣдность простолюдиновъ; иногда заботы

о народномъ образованіи могутъ оставаться неудачны по какой-либо случайной ошибкѣ или недобросовѣстности заботящихся, иногда по какому-нибудь случайному недоразумѣнію самихъ простолюдиновъ, а во всякомъ случаѣ, и при успѣшномъ и при неуспѣшномъ ходѣ, улучшеніе народнаго образованія, какъ и всякое другое улучшеніе, имѣетъ противъ себя людей, въ которыхъ консерватизмъ слишкомъ силенъ и которые составляютъ и въ простомъ народѣ, какъ и во всякомъ другомъ сословіи, довольно значительную долю (впрочемъ, все-таки меньшинство), а другая, тоже довольно значительная доля простолюдиновъ (какъ и людей всякаго другого сословія) будетъ очень горячо стоять за улучшеніе; впрочемъ, и эта доля, состоящая изъ людей, въ которыхъ прогрессивность рѣшительно преобладаетъ надъ консерватизмомъ, также только меньшинство въ простомъ, какъ и во всякомъ другомъ сословіи; а главная масса простонародья, какъ и всякаго другого сословія, будетъ держать себя нерѣшительно, выжидать, приглядываться, какъ идетъ дѣло: пойдетъ оно хорошо, вся эта масса примкнетъ къ прогрессистамъ; пойдетъ оно неудачно, вся она примкнетъ къ консерваторамъ. Что тутъ особеннаго и непонятнаго? Неужели сама редакція „Ясной Поляны“ не видѣла передъ своими глазами всего, о чемъ мы говоримъ? Навѣрное, встрѣчала она между мужиками такихъ непоколебимыхъ прогрессистовъ, которые думаютъ себѣ все одно: „ученье—свѣтъ, а неученье тьма“, и которыхъ никакія ошибки или неудачи народныхъ просвѣтителей не могутъ сбить съ этого пункта; и навѣрное видѣла она, что масса выжидаетъ и говоритъ: „а посмотримъ, что выйдетъ изъ начинающихся попытокъ“.

Человѣкъ вообще,—не то что въ частности простолюдинъ, а человѣкъ, *genus homo*, или по другимъ натуралистамъ *species homo*, двуногое млекопитающее, довольно тяжело на подъемъ, довольно склоненъ отлагать дѣло, если на первый разъ видитъ неудачу или хоть не видитъ большой удачи съ перваго раза; но эти свойства онъ обнаруживаетъ по всякимъ улучшеніямъ не въ одномъ дѣлѣ обра-

зованія; а все-таки, разсуждая хладнокровно, надобно сказать, что онъ всегда расположенъ улучшать свое положеніе по всякимъ дѣламъ; значитъ, онъ скорѣе наклоненъ къ образованію, чѣмъ упоренъ противъ него.

Но редакція „Ясной Поляны“, предполагая въ мужикѣ какія-то особенныя свойства, которыхъ нѣтъ въ человѣкѣ, — т.-е. просто въ человѣкѣ, какого бы онъ званія ни былъ, — думаетъ, что народъ „постоянно противодѣйствуетъ“ заботамъ помочь его образованію. Ну что, если бы въ самомъ дѣлѣ было такъ! Вѣдь, тогда всѣмъ намъ слѣдовало бы бросить всякія заботы о народномъ образованіи; между прочимъ графу Л. Н. Толстому не слѣдовало бы основывать школу, издавать ни его журнала ни его книжекъ. Вѣдь, насильно милъ не будешь; а навязывать какое-нибудь дѣло людямъ, которые вѣчно должны упорствовать противъ него, по своей натурѣ, значитъ напрасно мучить ихъ, напрасно утруждать себя. Нѣтъ, редакція „Ясной Поляны“ дѣлаетъ не такой выводъ; оно и точно, не слѣдуетъ ей дѣлать такого вывода, потому что она не думаетъ, что народъ враждебенъ образованію: на второй же строкѣ первой страницы первой статьи своей она говоритъ, что „народъ хочетъ образованія“, и мы напрасно опровергали противное мнѣніе: она сама его отвергаетъ, какъ видно изъ этой второй строки. Но если такъ, какими же судьбами на 9-й строкѣ той же страницы очутились слова, противъ которыхъ мы спорили, что будто бы „народъ постоянно противодѣйствуетъ“ и т. д.? А вотъ какимъ способомъ улаживаются эти двѣ мысли, мало идущія одна къ другой: если народъ, желающій образованія, постоянно противодѣйствуетъ всѣмъ заботамъ о его образованіи, это значитъ, по мнѣнію „Ясной Поляны“, что мы, образованные люди, не знаемъ, чему его учить и какъ его учить и никакъ не можемъ узнать этого. Что это за странность: возьмите неглупаго человѣка какого хотите сословія, сведите его съ неглупымъ человѣкомъ какого хотите другого сословія, и они могутъ растолковать другъ другу, что кому изъ нихъ нужно; отчего же это такая непостижимая вещь, что никакъ не

могли намъ растолковать неглупые люди изъ простолюдиновъ, чему нужно учить и какъ нужно учить ихъ, простолюдиновъ. Сяду я на постояломъ дворѣ, стану распрашивать проѣзжихъ мужиковъ о чемъ хотите изъ ихъ быта,— всѣ ихъ потребности и желанія по всякому дѣлу я могу узнать и понять, только будто бы по одному дѣлу образованія не могу. Это что-то неправдоподобно.

Но если это такое непостижимое дѣло, то почему знать, не нужно ли нашимъ простолюдинамъ учиться, напримѣръ, латинскому языку? Редакція „Ясной Поляны“ хохочетъ: „Ну этого ужъ имъ навѣрное не нужно!“ отвѣчаетъ она. (Или она не въ состояніи отвѣчать даже этого?). А если вы хотя объ одномъ предметѣ знаете, что его не нужно преподавать въ народныхъ школахъ, такъ вы, значить, уже имѣете нѣкоторое понятіе о томъ, что нужно народу. Вѣдь, судить о томъ, что не нужно, можно только на основаніи знанія о нужномъ. Вѣдь отрицательные отвѣты основываются же на чемъ-нибудь положительномъ.

Или вы ничего не знаете не то-что о предметахъ ученія, а только о методахъ ученія? Полноте, и объ этомъ у васъ есть вѣрныя понятія. Если бы кто-нибудь захотѣлъ поступить въ яснополянскую школу преподавателемъ и объяснилъ, что учить мальчишекъ нельзя иначе, какъ таская ихъ за волосы, кормя оплеухами и т. д., вѣдь, вы не приняли бы такого преподавателя? (Или приняли бы?) Нѣтъ, у васъ положенъ принципъ: учить не только безъ всякихъ наказаній, даже безъ всякихъ наградъ, и совершенно никакого принужденія не употреблять. Методъ прекрасный, за твердость въ которомъ нельзя не сочувствовать вамъ; но пока дѣло не въ томъ, что вашъ методъ хорошъ, а въ томъ, что у васъ есть методъ. Зачѣмъ же вы говорите, что вы не знаете метода, когда не только знаете, но даже исполняете. „Да это еще не методъ преподаванія, это лишь система обращенія съ учениками“. Положимъ; но изъ этой системы ужъ непремѣнно происходитъ и методъ преподаванія и притомъ очень опредѣленный. Если наказывать и принуждать нельзя, нужно преподавать такъ, чтобы ученье

было интересно и легко. Вы такъ и стараетесь дѣлать. „Да нѣтъ, это все не методъ“. Какъ не методъ? Ну вотъ если кто-нибудь вамъ скажетъ: преподавать русскую исторію надобно, заставляя дѣтей зубрить наизусть руководство г. Устрялова,—что вы на это скажете? Опять расхохочетесь. Значить, вы знаете, какъ не слѣдуетъ преподавать русскую исторію, а изъ этого обнаруживается, что вы знаете, какъ слѣдуетъ ее преподавать.

Быть можетъ, напрасно мы говоримъ такимъ тономъ съ редакціею „Ясной Поляны“. Быть можетъ, она найдетъ его очень обиднымъ. Но воля ваша, вѣдь, досадно слушать, когда люди, основавшіе школу и преподающіе въ ней и даже утверждающіе, что устроили свою школу очень хорошо, и преподають въ ней недурно, — когда эти люди говорятъ, что не знаютъ, чему учить и какъ учить народъ, и не знаютъ даже, нужно ли его учить. Полноте, господа, говорить про себя такіе пустяки.

А вѣдь нѣтъ, они говорятъ про себя не пустяки; они дѣйствительно не знаютъ, чему и какъ учить, и есть въ ихъ программѣ, въ передовой статьѣ, которую мы разбираемъ, такія мѣста, что даже ослабляютъ надежду на возможность имъ когда-нибудь узнать и понять это. Слушайте, читатель!

Стр. 8. Въ Россіи „народъ большею частію озлобленъ противъ мысли о школѣ“. Гдѣ же озлобленъ противъ школы? противъ дурныхъ школъ, въ которыхъ ничему не выучиваютъ, въ которыхъ только бьютъ, терзаютъ дѣтей, притупляютъ ихъ, развращаютъ ихъ, противъ такихъ школъ народъ точно озлобленъ; но, вѣдь, противъ нихъ озлоблены и мы съ вами. Это значить только, что и мы съ вами думаемъ, и народъ думаетъ объ этомъ, какъ слѣдуетъ думать порядочнымъ и неглупымъ людямъ.

Стр. 8. Въ той же Россіи „всѣ школы, даже для высшаго сословія, существуютъ только подъ условіемъ приманки чина. До сихъ поръ дѣтей вездѣ почти силою заставляютъ итти въ школу“. Это было съ грѣхомъ пополамъ правдою лѣтъ 20 тому назадъ или побольше. А теперь

развѣ то? Изъ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ нынѣшнихъ университетскихъ студентовъ вы навѣрное не найдете даже одного десятка человѣкъ, которые были бы силою заставлены пойти въ университетъ. Гдѣ вы видѣли такихъ студентовъ? Богъ съ вами, вы говорите Богъ знаетъ что. А что касается до чина, даваемого за ученье, то изъ людей небогатыхъ, которымъ надобно будетъ жить жалованьемъ, конечно, многіе интересуются полученіемъ чина по праву ученой степени, но и то мало; повѣрьте, никто изъ нихъ не учится собственно для чина; но не давать имъ его,—было бы несправедливостью, потому что, вѣдь, получаютъ его на службѣ ихъ сверстники, которые прямо изъ гимназіи пошли служить. Неужели справедливо было бы, чтобы молодой человѣкъ проигрывалъ по службѣ тѣмъ, что посвятилъ нѣсколько лѣтъ на лучшее приготовленіе себя къ ней университетскимъ образованіемъ?

Стр. 11. „Образованіе, имѣющее своею основою религію, т.-е. божественное откровеніе, въ истинѣ и законности котораго никто не можетъ сомнѣваться, неоспоримо должно быть прививаемо народу, и насиліе въ этомъ случаѣ законно“.

Стр. 15. „Въ Германіи девять десятыхъ школьнаго народнаго населенія выносятъ изъ школы столь сильное отвращеніе къ испытаннымъ ими путямъ науки, что они впоследствии уже не берутъ книгъ въ руки“. Въ противоположность этому можно привести ходячій въ низшихъ слояхъ нашего средняго класса рассказъ о томъ, какъ „нѣмецъ землю пашетъ, а самъ въ рукѣ книжку держитъ, читаетъ“.—Надобно быть слишкомъ легковѣрну, чтобы утверждать то или другое.

Стр. 22. Въ народныхъ школахъ Марсели преподается „счетоводство“, т.-е. бухгалтерія. „Какимъ образомъ счетоводство можетъ составить предметъ преподаванія, я никакъ не могъ понять, и ни одинъ учитель не могъ объяснить мнѣ“. Это очень странно. Чего тутъ не понимать? Марсель — городъ торговый, и бухгалтерія можетъ пригодиться всякому престолюдину. А что она можетъ быть

предметомъ преподаванія, это доказываютъ всѣ коммерческія училища, въ которыхъ читается курсъ бухгалтеріи. Нѣтъ, по мнѣнію автора статьи, дѣлать бухгалтерію предметомъ преподаванія не стоитъ потому, что „она есть наука, требующая четыре часа объясненія для всякаго ученика, знающаго четыре правила ариѳметики“. Нѣтъ, бухгалтеромъ сдѣлаться не такъ легко, иначе порядочные бухгалтеры не были бы такъ рѣдки и не получали бы такой большой платы въ торговыхъ конторахъ. Авторъ статьи не потрудился познакомиться съ дѣломъ, иначе не порицалъ бы марсельскія школы за преподаваніе бухгалтеріи.

Стр. 26. „Хорошо нѣмцамъ на основаніи 200-лѣтняго существованія школы исторически защищать ее; но на какомъ основаніи намъ защищать народную школу, которой у насъ нѣтъ?“ Что такое? что такое? Глазамъ не вѣримъ. Неужели редакция „Ясной Поляны“ думаетъ, что это только нѣмцамъ нужны народныя школы, а намъ не нужны? Да, повидимому, такъ, — въ этомъ духѣ тянется разсужденіе на всей 26-й страницѣ. Не нужно, дескать, намъ народныхъ школъ, потому что „мы русскіе живемъ въ исключительно счастливыхъ условіяхъ относительно народнаго образованія“. На слѣдующей страницѣ сначала какъ будто не то, что не нужно намъ школъ, а только то, что наши народныя школы не должны быть рабскимъ скопомъ съ западныхъ; но дальше опять то же, что въ школахъ нѣтъ надобности у насъ, потому что уже и „въ Европѣ образованіе избрало себѣ другой путь, обошло школу“, не нуждается въ ней (стр. 28). Удивительно.

Тутъ же, на стр. 27-й, другая удивительная вещь: авторъ статьи убѣдился, что „народъ подчиняется образованію только при насиліи“, — ей-Богу, такъ и написано на строкѣ 24-й этой 27-й страницы. Тутъ же 5-ю строками ниже третья удивительная вещь: авторъ статьи убѣдился, что „чѣмъ дальше двигалось человѣчество, тѣмъ невозможнѣе становился критеріумъ педагогики, т.-е. знаніе того, чему и какъ должно учить“. Неужели? Чѣмъ больше приобрѣталось людьми опытности въ дѣлѣ образованія, тѣмъ

менѣе могли они судить объ этомъ дѣлѣ? Неужели такъ? Это противорѣчило бы тѣмъ законамъ разсудка и жизни, по которымъ всегда бываетъ, что чѣмъ больше знакомишься съ предметомъ, тѣмъ больше знаешь его.

Стр. 29. „Основаніемъ нашей дѣятельности служить убѣжденіе, что мы не только не знаемъ, но и не можемъ знать того, въ чемъ должно состоять образованіе народа, что не только не существуетъ никакой науки образованія и воспитанія — педагогики, но что первое основаніе ея еще не положено, что опредѣленіе педагогики и ея цѣли въ философскомъ смыслѣ невозможно, бесполезно и вредно“. Повторяемъ: если не знаете, то нельзя еще вамъ быть основателями школъ, наставниками въ нихъ, издателями педагогическихъ журналовъ; вамъ надобно еще учиться самимъ, — отправляйтесь въ университетъ, тамъ узнаете. — Но вы думаете, что даже и не можете узнать, — очень жаль, если такъ, — но это свидѣтельствовало бы только о несчастной организаціи вашей нервной системы: если вы не можете понять такой простой вещи, какъ вопросъ о кругѣ предметовъ народнаго преподаванія, то значитъ природа лишила васъ способности приобрѣтать какія бы то ни было знанія.

Беремъ 2-ю книжку „Ясной Поляны“ и просматриваемъ въ ней руководящую статью, которая называется: „О методахъ обученія грамотѣ“. Общій смыслъ статьи — развитіе мысли, что всѣ методы обученія грамотѣ одинаково хороши или одинаково дурны, такъ что по какой ни учить, все равно. Съ такой точки зрѣнія пришлось бы говорить точно то же обо всемъ на свѣтѣ. Напримѣръ: какой способъ добывать огонь самый удобный: треніе двухъ кусковъ дерева другъ о друга, или кремень и огниво, или фосфорныя спички? — все равно, каждымъ изъ этихъ способовъ можно достигъ огня. Какая бритва самая хорошая: наша-ли доморощенная изъ обломка косы, или плохая англійская, или хорошая англійская? — все равно, всякой можно обрить бороду. Какое производство самое лучшее: бухарское ли, или наше, или французское? — все равно, по каждому можно

рѣшать дѣла. Вѣдь, подобные отвѣты свидѣтельствуютъ только, что у человѣка, ихъ дающаго, не установились понятія о предметѣ. Я, напримѣръ, о многихъ предметахъ принужденъ давать такіе отвѣты: наприм., спросите меня, какой методъ интегрированья лучше: лейбницевскій или ньютоновскій,—я рѣшительно не знаю, не слыхивалъ, что по тому и другому выучивались интегрированью; вотъ я и отвѣчаю: все равно, каждый годится. Или спросите меня, какой паровой плугъ лучше: Бойлевъ или Фаулеровъ? Я не могу судить ни о томъ ни о другомъ, но слыхивалъ, что можно тѣмъ и другимъ пахать; вотъ я и долженъ отвѣчать: оба хороши. Эти отвѣты показываютъ только, что я не гожусь быть ни преподавателемъ высшей математики, ни управляющимъ завода земледѣльческихъ машинъ, ни англійскимъ фермеромъ; ими только прикрывается мое незнаніе. Помилуйте, какъ скоро есть два способа дѣлать что-нибудь, то непремѣнно одинъ изъ этихъ способовъ вообще лучше, а другой вообще хуже; а если есть исключительныя обстоятельства, въ которыхъ удобнѣе примѣняется менѣе совершенный способъ, то знающій человѣкъ умѣетъ въ точности опредѣлить и перечислить эти исключительные случаи. А кого эти исключительные случаи смущаютъ такъ, что онъ не можетъ разобрать разницу между ихъ особенностями и общимъ правиломъ, тотъ мало знакомъ съ дѣломъ. Такое впечатлѣніе и производитъ общій смыслъ статьи: „О методахъ обученія грамотѣ“. Но кромѣ общаго смысла всей статьи, изумляютъ въ ней многія отдѣльныя мѣста; напримѣръ:

Стр. 9. „Народъ не хочетъ учиться грамотѣ“. Это напечатано на строкѣ 16-й.

Стр. 10. „Фактъ противодѣйствія народа образованію посредствомъ грамоты существуетъ во всей Европѣ“.

Стр. 11. „Споръ въ нашей литературѣ о пользѣ или вредѣ грамотности, надъ которымъ такъ легко было смѣяться, по нашему мнѣнію, есть весьма серьезный споръ“. Неужели? Неужели можетъ казаться не лишеннымъ основательности мнѣніе людей, утверждающихъ, что грамот-

ность вредна? Да, на ихъ сторонѣ не менѣе основательности и правды, чѣмъ на сторонѣ людей, признающихъ пользу грамотности,—таковъ смыслъ послѣдней половины 11-й страницы. Защитники грамотности—теоретики, противники грамотности—наблюдатели фактовъ и „тѣ и другіе совершенно правы“ (стран. 11, строка 20),—т. е. по теоріи грамотность полезна, а на практикѣ оказывается вредной. Но это еще пока только колебаніе между двумя мнѣніями, а въ началѣ стран. 12-й авторъ уже склоняется на сторону противниковъ грамотности. Онъ говоритъ: если ближе всмотрѣться въ дѣйствительные результаты нынѣшняго обученія грамотѣ, то „я думаю, что большинство отвѣтитъ противъ грамотности“ (стран. 12-я, строка 1-я).

Далѣе слѣдуютъ на той же стран. 12-й очень неосторожныя колкости противъ людей, занимающихся преподаваніемъ въ воскресныхъ школахъ. Это ужъ рѣшительно плохо. Каковы бы тамъ ни были эти люди, умны ли они по вашему или глупы, но они честные люди, любящіе народъ, дѣлающіе для него все, что могутъ. Если вы поднимаете на нихъ руку, отъ васъ должны отвернуться всѣ порядочные люди.

На стран. 23-й находятся такія же колкости противъ людей университетскаго образованія, занимающихся обученіемъ народа, съ поясненіемъ, что „понамари учатъ лучше ихъ“.

Редакція „Ясной Поляны“ можетъ оскорбиться тѣмъ, какъ мы обозрѣвали передовыя статьи ея педагогическаго журнала, можетъ сказать: зачѣмъ же вы брали изъ нашихъ статей только эти мѣста, а не брали другихъ, имѣющихъ совершенно противоположный смыслъ? Дѣйствительно, мы были бы несправедливы, если бы подбирали дурныя мѣста съ цѣлью сдѣлать изъ нихъ выводъ, что редакція „Ясной Поляны“ проникнута духомъ мракобѣсія. Но мы этого вовсе не хотимъ сказать, а хотимъ только сказать ей, какія странныя вещи попадаютъ въ ея мысляхъ, по отсутствію надлежащаго знакомства съ предметами, о которыхъ она разсуждаетъ. Мы говоримъ ей: прежде,

чѣмъ станете поучать Россію своей педагогической мудрости, сами поучитесь, подумайте, постарайтесь приобрести болѣе опредѣленный и связный взглядъ на дѣло народнаго образованія. Ваши чувства благородны, ваши стремленія прекрасны; это можетъ быть достаточно для вашей собственной практической дѣятельности: въ вашей школѣ вы не деретесь, не ругаетесь, напротивъ, вы ласковы съ дѣтьми,—это хорошо. Но установленіе общихъ принциповъ науки требуетъ, кромѣ прекрасныхъ чувствъ, еще иной вещи: нужно стать въ уровень съ наукой, а не довольствоваться кое-какими личными наблюденіями, да безсистемнымъ прочтеніемъ кое-какихъ статей. Развѣ не можетъ, напр., какой-нибудь полуграмотный засѣдатель уѣзднаго суда быть человѣкомъ очень добрымъ и честнымъ, обращаться съ просителями ласково, стараться по справедливости рѣшать дѣла, попадающіяся ему въ руки. Если онъ таковъ, онъ очень хорошій засѣдатель уѣзднаго суда, и его практическая дѣятельность очень полезна. Но способенъ ли онъ при всей своей опытности и благонамѣренности быть законодателемъ, если онъ не имѣетъ ни юридическаго образованія ни знакомства съ общимъ характеромъ современныхъ убѣжденій? Чѣмъ-то очень похожимъ на него являетесь вы: рѣшитесь или перестать писать теоретическія статьи, или учиться, чтобы стать способными писать ихъ.

Редакція „Ясной Поляны“ извинитъ намъ жесткость этого приговора, если пойметъ, какъ въ самомъ дѣлѣ дурны многія изъ вещей, отысканныхъ нами въ ея статьяхъ. Она убѣдится тогда, что мы говоримъ непріятную ей правду собственно изъ желанія, чтобы она увидала опасность компрометировать себя такими странными тирадами, дурную сторону которыхъ не замѣчала прежде, конечно, только по непривычкѣ къ теоретическому анализу мыслей, къ выводу послѣдствій и отыскиванію принциповъ. Просимъ ее не сердиться, но если она и разсердится, все равно: мы обязаны передъ публикой не селадонничать съ „Ясною Поляною“, а прямо указать недостатки теоретическаго взгляда

редакціи этого журнала, потому что хорошія стремленія его могли бы иначе подкупить многихъ на неразборчивое согласіе со всѣмъ, что наговорено въ „Ясной Полянѣ“. А наговорено въ ней все безъ разбора: и хорошее и дурное. Сущность дѣла состоитъ вотъ въ чемъ:

За изданіе педагогическаго журнала принялись люди, считающіе себя очень умными, и склонные считать всѣхъ остальныхъ людей,—напримѣръ, и Руссо и Песталоцци,—глупцами; люди, имѣющіе нѣкоторую личную опытность, но не имѣющіе ни опредѣленныхъ общихъ убѣжденій ни научнаго образованія. Съ этими качествами принялись они читать педагогическія книги; читать внимательно, дочитывать до конца они не считаютъ нужнымъ,—это, дескать, все глупости написаны, до насъ никто ничего не смыслилъ въ дѣлѣ народнаго образованія. Но въ прочтенныхъ ими отрывкахъ книгъ и статей излагаются взгляды очень различныя: у одного автора рекомендуется одинъ методъ преподаванія, у другого—другой, у третьяго—третій; у одного автора одинъ взглядъ на потребности народа, у другого—другой, и т. д.; по одному автору кругъ предметовъ преподаванія для народа одинъ, у другого—другой, и т. д. Чтобы разобрать, кто правъ въ этой разногласицѣ, нужно тяжелое изученіе, нужна привычка къ логическому мышленію, нужны опредѣленные убѣжденія. А эти люди не постарались пріобрѣсти ни одного изъ этихъ условій, и потому не въ силахъ ничего разобрать. Вотъ и явился у нихъ выводъ, что ничего нельзя разобрать, что все вздоръ и все правда, и всѣ системы никуда не годятся, и всѣ системы справедливы, и науки нѣтъ, и предмета нельзя знать, и методовъ нельзя опредѣлить. И осталось имъ руководиться только своими случайными впечатлѣніями, да своими прекрасными чувствами. Но кое-что они все же читали и запомнили,—и обрывки чужихъ мыслей, попавшіе въ ихъ память, летятъ у нихъ съ языка какъ попало, въ какой попало связи другъ съ другомъ и съ ихъ личными впечатлѣніями. Изъ этого, натурально, выходитъ хаосъ.

Лучшая часть „Ясной Поляны“—издающіяся при ней

маленькія книжки для престопаднаго чтенія, и хороша въ нихъ собственно та сторона, для выполненія которой не нужно имѣть убѣжденій въ мысляхъ, а достаточно имѣть нѣкоторую личную опытность и нѣкоторый талантъ: хорошо въ нихъ изложеніе. Оно совершенно просто; языкъ безыскусственъ и понятенъ. Какъ, напимѣръ, не похвалить манеру разсказа въ слѣдующемъ отрывкѣ:

„Жилъ былъ во Франціи столяръ, звали его Николай. Жена у него померла, а сынъ остался. Сыну было 4 года. Николай не былъ богатъ: у него былъ домъ и было земли немного,—сажалъ онъ на ней виноградъ. Съ земли Николаю прожить нельзя было, а ходилъ онъ по людямъ работать. Его мальчикъ одинъ оставался дома. Матери не было, никто не обшивалъ его; отецъ жалѣлъ мальчика, а жениться другой разъ не хотѣлъ.

„Разъ идетъ Николай съ работы домой и слышитъ: кто то плачетъ. Онъ посмотрѣлъ и увидѣлъ дѣвку. Дѣвку звали Марья. Сидитъ она подлѣ канавы и плачетъ.

„Николай ее спросилъ:—объ чемъ ты плачешь, Марья?

„А она говоритъ: Николай, жила я у Михайлы мужика, задолжала ему десять франковъ за уголь (по нашему десять четвертаковъ), а Михайла мнѣ за долгъ сундукъ не отдаетъ, мнѣ теперь нечѣмъ сундука выкупить и жить негдѣ. Николай говоритъ: подожди здѣсь, я снесу свой инструментъ да мальчика Матюшку посмотрю, а тогда подумаемъ, какъ быть.

„Николай пошелъ домой, отнесъ свой инструментъ, побѣдалъ съ сыномъ, досталъ десять франковъ и пошелъ на дорогу, гдѣ Марья сидѣла. Ему въ умъ взошло ее къ себѣ взять. Онъ пришелъ на дорогу и говоритъ: пойдемъ, Марья, къ твоему Михайлѣ, отдадимъ ему десять франковъ и возьмемъ твой сундукъ. А Марья говоритъ: кто мнѣ дастъ 10 франковъ? А онъ говоритъ: пойдемъ.

„Они пошли къ мужику Михайлѣ, взошли въ домъ; Николай и говоритъ: „Здравствуй. Михайла! — Здравствуй, чего тебѣ?—А Николай говоритъ: „За что ты обидѣлъ

дѣвку?“—А за то, что не твое дѣло.—А Николай говоритъ: „возьми десять франковъ, а ей отдай сундукъ“.

„Марья взяла свой сундукъ, забрала все имѣніе и говорить:—какъ я тебѣ, Николай отдамъ деньги? А онъ говорить: „отдашь“,—и позвалъ ее жить къ себѣ.—„Пойду на работу, а ты за Матюшкой ходить будешь“.

„Она заплакала и стала за него молиться Богу. Марья была дѣвка немолодая, ростомъ большая и здоровая, какъ мужикъ. Лицо у ней было дурное, конопатое (рябое), оттого ея и замужъ никто не взялъ. Она тѣмъ жила, что на поденную работу ходила, за ребятами смотрѣла, когда хозяева на работу уходили. Она за больными ходить хорошо умѣла. Дѣвка она была смиренная: когда ей за работу ничего не давали, она не спрашивала. Всѣ ребята ее на деревнѣ знали, всѣ любили и нянькой прозвали. Николай взялъ ее къ себѣ въ домъ; Марья и стала у него жить, какъ хозяйка: обѣдъ варила, виноградъ поливала и землю копала. Во Франціи землю больше скребкой, чѣмъ сохой, работаютъ, оттого, что ее мало. Обѣдъ всегда Марья собирала къ тому времени, когда притти Николаю съ работы, а за Матюшкой такъ ходить стала, что Николай не нарадуется. У нихъ въ домѣ лучше стало.

„Вздумалось Марьѣ, чтобы Николай купилъ корову и козу. Во Франціи козье молоко пьютъ. Она и говоритъ:—Николай, купи корову и козу, намъ лучше жить будетъ.—А Николай говоритъ: „Я куплю, а кто стеречь будетъ?“—Ты купи, стеречь я сама буду. Матюшка услышала, да и говоритъ: я съ ребятами буду стеречь; спей только мнѣ сумочку хлѣбъ класть. Я устерегу. Они купили. Марья сшила Матюшкѣ сумку, положила ему хлѣба и сыру и послала его съ ребятами. Во Франціи хлѣбъ бѣлый. Ъдятъ его съ сыромъ, а сыръ изъ козьего молока дѣлаютъ.

„Надѣлъ Матюшка сумочку на спину, перекрестилъ веревочки на груди и погналъ корову и козу. И каждому свое дѣло было. По воскресеньямъ Марья съ Матюшкой въ церковь ходила. Уберетъ его, обмоетъ и пойдутъ вмѣстѣ, какъ сынъ съ матерью. Во Франціи въ церковь хо-

дять съ книжками. Придутъ въ церковь, сядутъ на стулья и читають по книжкамъ, и въ церкви всѣ запоють, когда надо. Священникъ, такъ же какъ у насъ, передъ алтаремъ обѣдню служить, только онъ бритый и въ бѣлой ризѣ. А народъ на стульяхъ сидитъ и за стулья деньги берутъ. У кого есть деньги, тотъ платитъ по 5 сантимовъ (по нашему 5 коп. ассигнаціями), а у кого нѣтъ, тотъ стоитъ.

„Марья стула не брала, а ставала съ Матюшкой либо на ногахъ, либо бирала Матюшку на руки, и ему, какъ съ горы, все видно было, что въ церкви дѣлалось: какъ священникъ въ алтарѣ служилъ и какъ народъ въ церковь приходилъ и вонъ выходилъ. И стали они жить лучше прежняго.

„Стало Матюшкѣ уже семь лѣтъ. Николай и говоритъ Марьѣ:—Марья, надобно Матюшку отдать въ училище.— А она ему говоритъ: „Зачѣмъ его отдавать въ училище, онъ будетъ и безъ твоего ученія хорошо работать. Онъ и такъ мальчикъ хорошій. Ты грамотѣ не знаешь, а развѣ хуже работаешь“. А Николай говоритъ: не правда твоя, Марья! Еслибъ я зналъ грамоту, я бы самъ записать могъ, кто мнѣ что долженъ, а то не знаю и долги забываю — другой разъ и пропадаютъ. Я и самъ жалѣю.

„Матюшка услыхалъ, что тетка съ отцомъ говорила, да и говоритъ: кто же безъ меня козу стеречь станетъ?

„А отецъ говоритъ: устережемъ безъ тебя, только ужъ учись хорошенько, чтобъ мои деньги не пропали. Николай не послушался Марьи и отдалъ своего Матюшку въ училище. И Матюшка сталъ учиться очень хорошо. Учитель хвалилъ его. А корову и козу Марья стеречь стала. Когда Матюшкѣ время бывало, онъ за отцомъ вечеромъ инструментъ нашивалъ, а по праздникамъ съ теткой Марьей въ огородъ копалъ, и всѣ говорили, что мальчикъ хорошій. Такъ они жили очень хорошо“.

Это — первая глава повѣсти „Матвѣй“, которою начинается 1-я книжка. Все остальное написано точно также, то-есть очень хорошо. Но въ содержаніи вещей, рассказанныхъ такъ хорошо, отразился недостатокъ опредѣленныхъ

убѣжденій, недостатокъ сознанія о томъ, что нужно народу, что полезно и что вредно для него. Напримѣръ, въ 1-й же книжкѣ послѣ разсказа „Матвѣй“, который по содержанію такъ себѣ, помѣщена суевѣрная сказка о томъ, какъ чортъ соблазнялъ монаха Ѳеодора, принимая на себя видъ его друга монаха Василя; и разсказано это такимъ тономъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ вотъ сейчасъ же можетъ въ мою комнату подъ видомъ моего пріятеля войти чортъ, то-есть настоящій чортъ, какъ есть чортъ. Во 2-й книжкѣ помѣщенъ Робинзонъ, обратившійся въ сказку, лишенную всякаго смысла. За Робинзономъ напечатана арабская сказка о горѣ Сезамъ и 40 разбойникахъ, передѣланная на русскіе нравы. Въ ней дѣйствуютъ Дуняшка, Евдокимъ, Петръ Ивановичъ, Пахомъ Сидорычъ и т. д. Зачѣмъ сдѣлана эта передѣлка и зачѣмъ вынуть смыслъ изъ Робинзона, — это, конечно, никому неизвѣстно, въ томъ числѣ и самой редакціи „Ясной Поляны“; вѣдь, нельзя не знать, что и какъ разсказывать народу. А языкъ разсказовъ очень хорошъ.

„Современникъ“ 1862 г.

*) *Ясная Поляна. Журналъ педагогическій, издаваемый гр. Л. Н. Толстымъ. Москва. 1862 г.*

Появленіе новаго педагогическаго журнала *Ясная Поляна*, безъ сомнѣнія, очень порадовало друзей народа и образованія.

Тульская же гимназія съ особенною симпатіей можетъ привѣтствовать это новое изданіе. Она имѣетъ въ немъ, кромѣ общаго, еще свой мѣстный, нѣсколько родственнѣйшій интересъ. На ея глазахъ выросла молодая школа, которой оригинальное устройство стало теперь знакомо публикѣ посредствомъ замѣчательнаго двухмѣсячнаго отчета редактора *Ясной Поляны*, устроителя и вмѣстѣ учителя этой самой школы.

Педагогическая дѣятельность графа Л. Н. Толстого извѣ-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., т. 39, № 5. Статья Е. Маркова, подъ заглавіемъ: „Теорія и практика Яснополянскіихъ школы“ (Педагогическія замѣтки тульскаго учителя).

Зелінскій. Критика о Толстомъ.

стна нашей гимназіи не по одному журналу, не въ одной теоріи. Оттого-то болѣе чѣмъ на комъ-нибудь другомъ, на учителѣ тульской гимназіи лежитъ обязанность выступить для освобожденія вопросовъ, затронутыхъ *Ясной Полянью*, и высказать о новомъ журналѣ и новой школѣ свое сильное мнѣніе.

Мы воздержимся теперь отъ всякихъ общихъ сужденій, отъ всякихъ бездоказательныхъ похвалъ и упрековъ журналу. Намъ кажется удобнѣе и для себя и для читателя, сдѣлать сначала замѣчанія на отдѣльные вопросы, которые мы почему-либо считаемъ важными, и потомъ уже, въ концѣ статьи, высказать свое заключительное мнѣніе о цѣломъ журналѣ. Мы предполагаемъ, что читатель нашъ прочтетъ *Ясную Поляну* прежде, чѣмъ выслушаетъ замѣчанія на нее, и поэтому избавляемъ себя отъ труда систематически излагать ея сущность. Зато мы постараемся расположить свои замѣтки такъ, чтобы читатель постепенно знакомился съ основными положеніями *Ясной Поляны*, переходя отъ общихъ вопросовъ къ болѣе частнымъ.

I.

Въ *Ясной Полянѣ* сразу замѣтны двѣ различныя стороны: Во-первыхъ, она сообщаетъ свѣдѣнія о новыхъ школахъ Яснополянскаго мирового участка. Во-вторыхъ, излагаетъ педагогическіе взгляды издателя на народное образованіе.

Отчетъ о школахъ богатъ дорогими для педагога и психолога наблюденіями. Противъ педагогическихъ взглядовъ графа Толстого мы имѣемъ многое возразить. Они касаются, впрочемъ, болѣе общихъ вопросовъ образованія, и мы надѣемся доказать, что ихъ судьба далеко не тѣсно связана съ судьбою яснополянскихъ школъ. Мы теперь и приступаемъ къ этимъ педагогическимъ убѣжденіямъ *Ясной Поляны*.

Основная мысль ея выражена на послѣднихъ страницахъ первой статьи перваго нумера такимъ образомъ: „... Не только не существуетъ никакой науки образованія и воспи-

танія, педагогики, но первое основаніе ея еще не положено; опредѣленіе педагогики и ея цѣли въ философскомъ смыслѣ невозможно, бесполезно и вредно...“ И далѣе: „Мы не только не признаемъ за нашимъ поколѣніемъ *права знанія* того, что нужно для совершенствованія человѣка, но убѣждены, что если бы это знаніе было у человѣчества, то, *оно не могло бы передать или не передать его молодому поколѣнію*. Мы убѣждены, что *сознаніе* добра и зла, *независимо отъ воли* человѣка, лежитъ во всемъ человѣчествѣ, и развивается *безсознательно* вмѣстѣ съ исторіей, что молодому поколѣнію такъ же невозможно привить образованіе нашего сознанія, какъ невозможно лишать его этого нашего сознанія и той ступени высшаго знанія, на которую возведетъ его *слѣдующій шагъ исторіи*...“ Изъ этихъ двухъ отрывковъ, кажется, видно, что *Ясная Поляна* относится совершенно отрицательно къ педагогикѣ и къ исторіи развитія человѣчества вообще; ея скептицизмъ самаго радикальнаго свойства. Если распутать эти нѣсколько сбивчивыя фразы, неправильная конструкція которыхъ дѣлаетъ еще страннѣе ихъ смыслъ, то выйдетъ, кажется, слѣдующее:

Исторія, то-есть люди *развиваются безсознательно*; организмы одного поколѣнія обладаютъ отъ природы *безсознательнымъ сознаніемъ* добра и зла. Вліяютъ они или не вліяютъ на слѣдующее поколѣніе, все-таки организмы этого новаго поколѣнія будутъ обладать большею, чѣмъ они, степенью *безсознательнаго сознанія*. Такимъ образомъ жизнь историческая представляется здѣсь какою-то автоматическою и фаталистическою смѣной однихъ организмовъ другими, невѣдомо чѣмъ усовершенствованными. Такимъ образомъ опровергаются вещи, въ истинѣ которыхъ не можетъ никто сомнѣваться: опровергается воспитательное вліяніе матери, семьи, религіи и всѣхъ нравственныхъ подвиговъ человѣчества.

Въ раскрытіи грамматическаго смысла этого парадокса лежитъ весь его приговоръ. Авторъ увлекся здѣсь идеею органическаго развитія природы, и представилъ себѣ созна-

тельное вмѣшательство одного поколѣнія въ жизнь другого чѣмъ-то чуждымъ природѣ и потому бесполезнымъ. Онъ забылъ одно: что сознательное вліяніе на другихъ есть такое же неотъемлемое натуральное свойство для человѣка, какъ свойство окислять для кислорода, свойство воспламеняться для фосфора. Ходъ исторіи, то-есть жизни человѣчества; заключается именно въ этихъ многообразныхъ, перепутанныхъ вліяніяхъ одной воли на другую, въ этихъ сознательныхъ вмѣшательствахъ одного человѣка въ жизнь другого. Слѣдовательно, исторіи *безсознательной* быть не можетъ, и *дальнѣйшій шагъ исторіи безъ участія сознательныхъ силъ* — немыслимъ.

Но графъ Толстой идетъ еще далѣе, еще смѣлѣе; прямо послѣ приведенныхъ фразъ, онъ говоритъ:

„Наше мнимое знаніе законовъ добра и зла, и на основаніи ихъ *дѣятельность на молодое поколѣніе* есть болѣею частію *противодѣйствіе развитію* новаго сознанія, не выработаннаго еще нашимъ поколѣніемъ, а вырабатывающагося въ молодомъ поколѣніи, есть *препятствіе*, а не *пособіе образованію*“. Иначе сказать: каждое поколѣніе мѣшаетъ развиваться новому; чѣмъ дальше, тѣмъ больше противодѣйствій, тѣмъ хуже. Странный, подумаешь, прогрессъ! Если бы, не довѣряя исторіи, мы были обязаны вѣрить яснополянской теоріи, пришлось бы, пожалуй, повѣрить, что міръ все хилѣлъ да хилѣлъ отъ тысячеклѣтнихъ противодѣйствій, и что смерть его теперь не за горами, а за плечами.

Послѣ этого читатель вправѣ вообразить, что всѣ остальные положенія *Ясной Поляны* суть только дальнѣйшія развитія ея скептической премиссы, и поэтому должны раздѣлить судьбу ея. Но это не такъ; главный недостатокъ графа Толстого, замѣченный нами въ изложеніи его взглядовъ на образованіе, есть непоследовательность самому себѣ. Она не разъ приводитъ его къ противорѣчіямъ. Выразивъ, на примѣръ, свое убѣжденіе въ незаконности и вредѣ участія одного поколѣнія въ образованіи другого, графъ Толстой вдругъ нападаетъ только на высшіе классы, стремя-

щется учить народъ по своему, и при этомъ говорить о незамѣнимой пользѣ для ребенка домашнихъ условій, „разговоровъ старшихъ“ и т. п. Какъ это все согласить? Но дѣло становится еще непонятнѣе, когда непосредственно за всѣмъ цитированнымъ авторъ начинаетъ биться надъ опредѣленіемъ цѣли и значенія науки образованія, которой существованіе въ другомъ мѣстѣ своей статьи онъ рѣшительно отвергъ. Онъ хлопочетъ о томъ, какъ бы лучше вмѣшаться въ образованіе дѣтей, а предварительно отнялъ у человѣка всякое право вмѣшиваться въ развитіе другого и призналъ въ этомъ вмѣшательствѣ не пособіе, а положительное препятствіе образованію. Если-бъ это была еще мимо-летная фраза въ увлеченіи споромъ, но, вѣдь, это сжатое повтореніе мыслей, проникающихъ всю статью, *resumé* всей педагогической теоріи, нарочно отнесенное къ заключенію статьи, для окончательнаго уясненія ея читателю. Тутъ нельзя предположить обмолвокъ.

Опредѣляетъ науку образованія графъ Толстой сначала отрицательно: „образованіе есть исторія, и поэтому не имѣетъ конечной цѣли“. Съ этимъ можно еще согласиться; по крайней мѣрѣ, мы не знаемъ конечной цѣли исторіи. Но вѣдь историческая жизнь черезъ это не была лишена постоянныхъ стремленій къ какой-нибудь цѣли. Напротивъ того, исторія, въ каждый моментъ своего движенія, представляется сплетеніемъ множества частныхъ, временныхъ цѣлей, которыя различнымъ образомъ вызываютъ дѣятельность человѣка, и изъ которыхъ многія принимаются въ увлеченіи за вѣчныя. Это въ натурѣ людей; жить безъ цѣли значить жить безъ надеждъ, а такая жизнь врядъ ли возможна. Общая цѣль есть результатъ всей жизни, окончательный выводъ изъ дѣйствія разнородныхъ силъ. Его можно видѣть только при окончаніи, и въ немъ пока нѣтъ нужды. Стало-быть, и педагогія въ правѣ не имѣть конечной цѣли, въ правѣ стремиться къ своимъ временнымъ и мѣстнымъ цѣлямъ, по преимуществу имѣющимъ значеніе для жизни. Далѣе графъ Толстой продолжаетъ:

„Образованіе, въ самомъ общемъ смыслѣ, обнимающее и

воспитаніе, есть, по нашему убѣжденію, та дѣятельность человѣка, которая имѣетъ основаніемъ потребность къ равенству и неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія. Мать учить ребенка своего говорить только для того, чтобы понимать другъ друга, мать инстинктомъ пытается спуститься до его взгляда на вещи, его языка, но законъ движенія впередъ образованія не позволяетъ ей спуститься до него, а его заставляетъ подняться до ея знанія“.

Желательно, чтобы читатель съ особеннымъ вниманіемъ остановился на этихъ словахъ. Мнѣ они просто кажутся бесплодною натяжкой, затемняющею смыслъ всѣхъ понятныхъ вещей. Зачѣмъ тутъ потребность равенства, инстинктъ, зачѣмъ особенно этотъ фатумъ—невѣдомый законъ движенія, не позволяющій одного, повелѣвающій дѣлать другое? Кто его призналъ или доказалъ? Если отвергнуть, какъ дѣлаетъ графъ Толстой, воспитательное вліяніе взрослого поколѣнія на молодое, то въ чемъ надобно видѣть этотъ чудный законъ? Мать любитъ ребенка, хочетъ удовлетворить его нуждамъ, и сознательно, безъ всякой мистической потребности, чувствуетъ надобность приноровиться къ его зачаточному разсудку, говорить съ нимъ простѣйшимъ языкомъ. Она не только не стремится къ равенству съ своимъ ребенкомъ, что было бы въ высшей степени естественнымъ, а напротивъ намѣренно старается передать ему весь запасъ своего знанія. Въ этой-то естественной передачѣ умственныхъ приобрѣтеній отъ одного поколѣнія къ другому и состоитъ движеніе образованія, не нуждающееся ни въ какихъ новыхъ спеціальныхъ законахъ. Каждый вѣкъ кидаетъ въ общую кучу свою горсть, и чѣмъ дальше мы живемъ, тѣмъ выше поднимается эта куча, тѣмъ выше и мы съ ней поднимаемся. Это извѣстно до избытка, и я не вижу никакого оправданія въ стремленіяхъ потрясти такую логически и исторически очевидную истину.

Итакъ, мы указали на внутреннее противорѣчіе во взглядахъ графа Толстого. Отнимая у человѣка право образовывать другого, онъ все-таки долженъ былъ признать

необходимость этого вмешательства. Каково жъ должно оно быть по понятіямъ *Ясной Поляны*?

Во-первыхъ, высшіе общественные слои (то-есть общества, правительства), какъ мы видѣли, не должны браться за это дѣло; исторія, по мнѣнію графа Толстого, показала весь вредъ ихъ долгихъ усилій. Въ чемъ же вредъ, и какая причина его? Графъ Толстой болѣе всего устремляетъ нападки свои на принудительность образованія. Подъ принудительностью тутъ разумѣется обязательность обученія и разныя околныя приманки, которыми правительство думаетъ привлечь народъ въ школы. Но, вѣдь, одинъ этотъ вопросъ не рѣшаетъ дѣла: у насъ въ Россіи для образованія простого народа не было никакихъ принужденій, да и для высшихъ классовъ ихъ было очень мало. Въ самой Германіи принудительность образованія есть учрежденіе новое, и большая часть ея исторіи обошлась безъ него. Въ другихъ странахъ Европы его нѣтъ и никогда не было. Въ чемъ же еще причина сопротивленія народа всѣмъ попыткамъ къ его образованію? Графъ Толстой видитъ его главнымъ образомъ въ томъ, что высшіе классы постоянно навязывали ему свои ошибочныя теоріи, нисколько не прислушиваясь къ его дѣйствительнымъ нуждамъ, между тѣмъ какъ вся наша педагогическая дѣятельность должна была бы, по его мнѣнію, руководствоваться „только одною волей народа“. Если бы дѣло шло только объ изученіи нуждъ народа, о приноровленіи нашихъ понятій къ его понятіямъ и вкусамъ, мы бы вполне одобрили положеніе *Ясной Поляны*; необходимость знать матеріалъ, съ которымъ имѣешь дѣло, умѣть доставить ему то, въ чемъ онъ нуждается,—это для насъ давнишняя аксіома. Но графъ Толстой недаромъ говоритъ: „съ одной только волей народа“. Онъ увлекся ненавистью къ деспотизму до деспотизма; чтобы дать полноправіе обиженному, онъ лишаетъ всѣхъ правъ прежняго обидчика и мѣняетъ только роли ихъ. Мы не разъ слышали мнѣніе графа Толстого объ этомъ предметѣ, выраженное съ большими подробностями. По нашему мнѣнію, графъ Толстой чтитъ народъ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ;

онъ иногда до такой степени благоговѣть передъ нимъ, что признаетъ святость многихъ неосмысленныхъ явленій, если только они запечатлѣны народнымъ именемъ; на томъ же основаніи онъ часто отвергаетъ, какъ незаконное, все выросшее на другой почвѣ. Онъ забываетъ родство сословій и еще болѣе — преимущество высшихъ образованныхъ классовъ надъ простымъ. Увлекающаяся натура художника довела его въ этомъ случаѣ до несправедливости. Спрашивается, какая роль образователя, если онъ долженъ руководиться одной волей тѣхъ, кого думаетъ образовывать? Къ чему приведетъ такая теорія, какъ не къ полной неподвижности? Въ такомъ случаѣ ребенокъ руководился бы въ своемъ развитіи только своею семейною и сословною сферой, которая сама не что иное, какъ плоды многихъ насилій, многихъ незаконныхъ и безпорядочныхъ вмѣшательствъ, когда-то случившихся, плоды естественные, но вовсе не образцовые, очень часто нежеланные. Мы освящаемъ эти плоды тысячелѣтнихъ неблагопріятныхъ вліяній, принимая ихъ за что-то коренное, естественное по преимуществу, и узакониваемъ ихъ на всякую дѣятельность. А что созрѣло при гораздо выгоднѣйшихъ условіяхъ, что было плодомъ такихъ же естественныхъ силъ, только избраннымъ, наиболѣе удавшимся плодомъ, что носить въ себѣ не одно историческое, но и нравственное и логическое оправданіе, то мы изгоняемъ изъ сферы дѣятельности, считаемъ деспотизмомъ, насилуваніемъ извнѣ. За что же? за то, что здѣсь система, обдуманность, предосторожности, за то, что здѣсь сознаніе, опирающееся на болѣе тонкихъ опытахъ, чѣмъ тысячелѣтній слѣпой опытъ массъ, выдаваемый за бессознательное указаніе природы? Отвергнуть этотъ элементъ можно тогда только, когда мы признаемъ, какъ брамины, что одни люди произошли изъ устъ, другіе изъ ногъ божества. Но мы не сомнѣваемся въ родствѣ своемъ съ народомъ; неужели же наши понятія до такой степени могутъ быть неподходящими къ его понятіямъ, что отдѣляются отъ нихъ какъ масло отъ воды? неужели наша психологія и нравственность стоятъ совсѣмъ на другихъ

началахъ, чѣмъ у него? Я убѣжденъ совершенно въ противномъ; я убѣжденъ, что позорно для самого народа искусственно охранять его принципы отъ нашихъ вліяній. Все, что нужно ему, то имѣетъ крѣпкіе корни и устоитъ. Много у народа очень дурно, многое ему совсѣмъ ненужно, но оно держится въ силу своей заматерѣлости, какъ держится старая мозоль, въ силу упорства всего отжившаго не покидать хорошо обмятаго мѣста. Вліяніе свѣжаго элемента здѣсь необходимо; безъ борьбы съ нимъ не будетъ жизни и движенія впередъ; старое вредное разсѣменится, и ничего новаго лучшаго не взойдетъ. Мнѣ странно, что кто-нибудь видитъ въ этомъ ненатуральность; говорятъ обыкновенно—жизнь сама все сдѣлаетъ постепенно; постепенно, такъ торопиться не слѣдуетъ,—но что же такое сама жизнь, какъ не это взаимное вліяніе лучшаго на худшее, и борьба одного съ другимъ? У графа Толстого народъ есть исключительно простой народъ: образованный классъ онъ совершенно отдѣляетъ отъ него, онъ видитъ въ нихъ два существа, постороннія другъ другу, противорѣчащія другъ другу во всѣхъ своихъ склонностяхъ и потребностяхъ; поэтому образованный классъ не долженъ навязывать своего образованія народу; не оно ему нужно, думаетъ графъ Толстой. Это бы можно еще съ натяжкой утверждать о Россіи, вспоминая Петра. Но онъ говоритъ это о нѣмцахъ и о французахъ. Мнѣ кажется, что вообще вкрались нѣкоторыя иллюзіи въ понятія о народѣ. Народъ дѣйствительно всегда мнѣ представляется чѣмъ-то очень свѣжимъ, сильнымъ и симпатичнымъ. Но я не хочу обманывать себя насчетъ этого чувства. Я понимаю, что смотрю на него только, какъ на возможность многого хорошаго, какъ на матеріалъ, изъ котораго надежда можетъ себя строить все, что угодно. Такой взглядъ необходимъ людямъ, чтобы поддерживать вѣру въ добро. Съ тѣмъ же чувствомъ смотримъ мы на дѣтей; въ нихъ тоже всѣ возможности, всѣ задатки. Но, ставя вопросъ практически, надо признать, что сами въ себѣ высшіе классы все-таки лучше и выше такъ-называемаго народа.

Всѣ наши симпатіи теперь за народъ, потому что онъ угнетенъ, спутанъ по рукамъ и ногамъ. Мы съ неприязнію глядимъ на самовластнаго помѣщика и на толстокожаго буржуа. Но подумайте серьезнѣе, кто этотъ буржуа? Вѣдь, это народъ! да мало того, народъ сдѣлавшій шагъ впередъ въ развитіи. Мы видимъ изъ ежедневнаго опыта, каковъ бываетъ этотъ нравственно-чистый, этотъ, исполненный всякой мощи и чести, народъ, какъ только онъ получаетъ возможность дѣлать то, чего не можетъ въ своемъ первоначальномъ состояніи. Разбогатѣвшіе и разжирѣвшіе цѣловальники, дворники, откупщики—у насъ на глазахъ. Все, что есть грубаго, жесткаго, тупого и грязнаго въ купечествѣ нашемъ,—все это есть свободное развитіе простонародныхъ свойствъ, практическое осуществленіе разныхъ идеальныхъ ожиданій нашихъ, разныхъ предполагаемыхъ возможностей. Образованный классъ тотъ же народъ, но приведенный счастливыми обстоятельствами въ лучшее положеніе, изъ буржуа-лавочника дѣлается современемъ буржуа-маколей, и какими буколиками ни затемняя чело-вѣкъ своего ума, все-таки нужно сознаться, что цѣнность народа заключается именно въ томъ, что изъ него есть возможность возникнуть маколеямъ и подобнымъ имъ. Слѣдовательно, не должно снимать съ народа отвѣтственность за разные несовершенства въ ходѣ его образованія. Онъ собственно самъ себя образуетъ: грамотные и разбогатѣвшіе члены его дѣлаются его учителями; всѣ недостатки ихъ пріемовъ и ихъ взглядовъ—его собственные, родные недостатки. Опытъ представляетъ намъ наглядныя доказательства этой мысли. Подумайте о томъ, напримѣръ, какъ ясно отражается на устройствѣ школъ характеръ cadaго народа. Нѣмецъ, педаантъ и систематикъ не въ одной школѣ, но и въ семьѣ и въ общественной жизни. Дисциплина и формальная выправка француза, привязанность къ старымъ формамъ у англичанъ—все это столько же въ жизни, сколько въ школѣ. Возможно ли освободить образованіе отъ этихъ коренныхъ качествъ народа, какъ бы ни казались они намъ уродливыми? Даже наши простонародные учителя,

самоучки и самодѣлки, какіе-нибудь отставные солдаты и деревенскіе маляры, и тѣ блистательнымъ образомъ доказываютъ, что недостатки нашихъ педагогическихъ системъ именно въ родствѣ ихъ съ характеромъ народа, въ томъ, что они еще мало отделились отъ простонародныхъ воззрѣній.

Есть ли другой, большій ревнитель буквоедства, зубренія, механическаго потѣнія надъ книгой, какъ простой человѣкъ? найдете ли вы другого, болѣе, чѣмъ онъ, безпощаднаго насилвателя дѣтской натуры и дѣтской воли? Развѣ правила *Домостроя* не живутъ до сихъ поръ въ сердцахъ русскаго простого человѣка, особенно среди старовѣровъ нашихъ, этихъ наиболѣе послѣдовательныхъ и наиболѣе русскихъ грамотеевъ? Поэтому мнѣ непонятно, на какомъ основаніи графъ Толстой взваливаетъ вину на одни образованные классы и считаетъ ненатуральнымъ ихъ вмѣшательство. Вина не въ этомъ, вина въ бѣдности природы человѣка, въ тугомъ, чуть замѣтномъ ростѣ его. Чѣмъ болѣе будетъ отдаляться отъ теперешнихъ простонародныхъ воззрѣній высшій классъ, тѣмъ болѣе будетъ признаковъ общаго народнаго развитія. Лишь бы только за истинныя воззрѣнія не принимались внѣшнія, стужи навѣянные подражанія. Я вѣрю въ оригинальную связь общественныхъ классовъ и думаю, что старая римская басня о ногахъ и желудкѣ не лишена справедливости.

II.

Нападками на обязательство школьнаго обученія и неуѣлое вмѣшательство въ него вышпаго класса *Ясная Поляна* не ограничивается; она расширяетъ вопросъ, отрѣшаясь въ послѣдствіи отъ всякаго различія сословій и вооружаясь вообще на способы нашего образованія.

Мы знакомы уже съ ея основною мыслию, что старое поколѣніе не имѣетъ права образовывать молодое. Здѣсь эта мысль развита вполне и подкрѣплена рядомъ теоретическихъ и фактическихъ доводовъ. Главнѣйшихъ доводовъ два: первый—тотъ, что мы сами не знаемъ, чему полезно

учить дѣтей; — второй тотъ, что современное школьное образованіе не только бесполезно, но вредно, потому что наши школы совершенно отстали отъ жизни. — Разберемъ теперь эти доводы:

Ясную Поляну смущаетъ то обстоятельство, что въ различныхъ времена люди учатъ различному и различно. Схоластики одному, Лютеръ другому, Руссо по своему, Песталоцци опять по своему. Она видитъ въ этомъ невозможность установить критеріумъ педагогики, и на этомъ основаніи отвергаетъ педагогику. А мнѣ кажется, она сама указала на этотъ необходимый критеріумъ, приводя упомянутые примѣры. Критеріумъ въ томъ, чтобъ учить, соображаясь съ потребностями времени. Онъ простъ и въ совершенномъ согласіи съ исторіей и логикой. Лютеръ оттого только и могъ быть учителемъ цѣлаго столѣтія, что самъ былъ созданіемъ своего вѣка, думалъ его мыслию и дѣйствовалъ по его вкусу. Иначе его огромное вліяніе было бы или невозможно или сверхъестественно; не походи онъ на своихъ современниковъ, онъ бы исчезъ безплодно, какъ непонятное, никому ненужное явленіе, пришлецъ среди народа, котораго даже языка онъ не понимаетъ. То же и съ Руссо и всякимъ другимъ; Руссо формулировалъ въ своихъ теоріяхъ накипѣвшую ненависть своего вѣка къ формализму и искусственности, его жажду простыхъ сердечныхъ отношеній. Это была неизбежная реакція противъ версальскаго склада жизни, и если бы только одинъ Руссо чувствовалъ ее, не явился бы вѣкъ романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить человѣчество, деклараціи правъ, Карлы Меры и все подобное. Упрекать Лютера и Руссо за то, что они вооружились противъ историческихъ узъ, навязывали людямъ свои теоріи, значить упрекать цѣлый вѣкъ въ незаконности его настроенія. Цѣлому вѣку теорій не навяжешь. Но отъ его теорій врядъ ли зато отдѣлаешься. Мнѣ непонятно, чего бы хотѣлъ графъ Толстой отъ педагогii. Онъ все о крайней цѣли, о неизбѣжномъ критеріумѣ хлопочетъ. Нѣтъ этихъ, такъ, по его мнѣнію, не нужно никакихъ. Отчего же не вспомнить онъ

о жизни отдѣльнаго человѣка, о своей собственной? Вѣдь онъ, конечно, не знаетъ крайней цѣли своего существованія, не знаетъ общаго философскаго критериума для дѣятельности всѣхъ періодовъ своей жизни. А вѣдь живетъ же онъ и дѣйствуетъ; и оттого только и живетъ и дѣйствуетъ, что въ дѣтствѣ имѣлъ одну цѣль и одинъ критериумъ, въ молодости другіе, теперь опять новое, и такъ далѣе. Былъ онъ вѣрно и шалуномъ мальчикомъ,—у тѣхъ извѣстно какой критериумъ,—и религиознымъ юношей, и либераломъ—потомъ, и практическимъ дѣятелемъ жизни; каждое такое естественное настроеніе духа заставляло его иначе глядѣть на міръ, иного ждать и инымъ руководствоваться. Въ этихъ постоянныхъ смѣнахъ взглядовъ и состоитъ богатство развитія человѣчества, его философская и житейская опытность. Въ чемъ графъ Толстой видитъ упрекъ человѣчеству и педагогѣ, ихъ противорѣчіе самимъ себѣ, въ томъ я вижу необходимость, естественность и даже достоинство. Свобода педагогѣ не въ отсутствіи положительныхъ воззрѣній, а въ возможности свободнаго разростанія выстѣ разнообразныхъ педагогическихъ понятій. Пусть то, которое имѣетъ больше живучести, вытягиваетъ изъ общей земли больше соковъ и заставляетъ сохнуть все внутренне-безсильное. Какъ ни антипатично намъ какое-нибудь ученіе, оно будетъ жить и цвѣсти, пока будетъ на землѣ для его питанья достаточное число сродныхъ ему головъ; мы будемъ развивать свой собственный несходный взглядъ, будетъ бороться, и исторія покажетъ, на чьей сторонѣ побѣда. Хорошъ такой ходъ образованія или дуренъ, намъ все равно; онъ по крайней мѣрѣ успокоителенъ, его нельзя измѣнить, имъ однимъ только движается практическая жизнь. Людямъ XIX вѣка нужно иное, чѣмъ людямъ XVI вѣка, и ихъ педагогѣ поэтому совсѣмъ иная, хотя *Ясная Поляна* рѣшительно отвергаетъ разницу. Она росла постепенно, приносила новые элементы настолько, насколько тѣ могли побѣдить сопротивление старыхъ, сообразовалась съ матеріаломъ, бывшимъ у ней въ рукахъ, т. е. съ качествомъ и количествомъ учениковъ и учителей, съ требованіями родителей,

ограниченностью самой науки и безчисленнымъ множествомъ частныхъ условій. Вотъ она и явилась такою, какъ есть. Она дѣйствительно неграціозна съ точки зрѣнія художника, не выдерживаетъ даже строгой критики ума или нравственнаго чувства. Но у нихъ одинъ грѣхъ съ жизнію: все безобразіе, вся красота у нихъ общія. Одну дрянъ навязало ей суевѣріе, другую деспотизмъ, третью корысть. Но, вѣдь, и жизнь полна кругомъ суевѣрія, деспотизма и корысти. Всѣ эти элементы суть неизбѣжныя и очень сильныя вліянія, которые не слѣдуетъ упускать изъ расчета при какой бы то ни было теоріи. Забудемъ ихъ — они сами напоминаютъ себя и возьмутъ таки свое. Я убѣжденъ, что ограниченность современной педагогіи вполне соответствуетъ ограниченности большинства современныхъ намъ людей, и что намъ остается только хлопотать объ уменьшеніи этихъ людей посредствомъ нашихъ теорій, если мы надѣемся достигнуть этимъ искомаго результата. Но графъ Толстой, какъ мы замѣтили, находитъ безъ всякихъ оговорокъ, что наша современная школа совершенно въ разладѣ съ настоящей жизнію, даже больше: по его мнѣнію, *средневѣковыя школы болѣе соответствовали своему времени и стояли наравнѣ съ общимъ образованіемъ народа, если не впереди его, а наши напротивъ назади.* „Наука страшно развилась, говорить графъ Толстой, а способъ передачи между тѣмъ остался тотъ же, поэтому школа должна была отстать и сдѣлаться не лучше, а хуже“. Чтобы поддержать ее въ уровень съ образованіемъ, не улучшая, надо, по мнѣнію графа Толстого, быть китайцемъ, то-есть равномерно стѣснить и всѣ другіе пути образованія. Рѣшить однимъ почеркомъ пера вопросы объ отношеніи школъ къ обществу нелегко; такому рѣшенію предпосылаются обыкновенно *толстые* томы солидныхъ, осторожныхъ изслѣдованій, основанныхъ на близкомъ знакомствѣ съ современными документами и съ безконечною литературою этого вопроса, на специальныхъ работахъ столько же долгихъ и скучныхъ, сколько трудныхъ. Не знаю, откуда графъ Толстой беретъ свои данныя, утверждая, что „самая плохая школа среднихъ

вѣковъ была лучше самой лучшей школы нашего времени, или болѣе соответствовала своему времени и стояла все-таки наравнѣ съ общимъ образованіемъ, ежели не впереди, тогда какъ наша школа стоитъ позади его“. Кто это сказалъ? Когда и почему? Гдѣ изслѣдованіе объ этомъ? Гдѣ эти сравнительныя таблицы? Въ подобныхъ случаяхъ необходимы самыя педантическія цитаты; въ Ясной же Полянѣ нѣтъ ни одной ссылки ни на одинъ историческій авторитетъ. Графъ Толстой говоритъ объ этомъ такъ положительно и вмѣстѣ бѣгло, какъ будто простой логическій смыслъ общезвѣстныхъ фактовъ сразу указываетъ на этотъ выводъ. Но я однако не убѣждаюсь имъ: я знаю, напротивъ, что средневѣковый человѣкъ имѣлъ очень разнообразную, часто кипучую дѣятельность, которая вызывала на работу всѣ его силы; въ средніе вѣка простая поѣздка на богомолье сопряжена была съ разными столкновеніями, препятствіями, опасностями; на каждомъ шагѣ человѣка поражала запутанность людскихъ отношеній, неразъясненность самыхъ насущныхъ вопросовъ. Природа представлялась ему собраніемъ невѣдомыхъ враждебныхъ силъ; такъ что мысль его не въ состояніи была держаться въ границахъ здоровой логики, и неслась поневолѣ въ царство фантазій. Трудно было человѣку принимать, какъ нѣчто законное, всякій существующій фактъ и успокоиваться на безстрастномъ объясненіи теолога, когда факты эти проходили чугуннымъ колесомъ поперекъ тѣла, когда они вырывали изъ него окровавленные живые куски. Тогда не могли спать сомнѣніе и тревога, тогда умъ человѣка поневолѣ долженъ былъ во всѣхъ направленіяхъ пробовать свои безсильныя крылья, искать, порываться. А на него между тѣмъ клалъ оковы суровый догматизмъ школы, убивалъ запросы, клеймилъ именемъ ереси каждый свободный вздохъ ума. Оттого-то и наполнены средніе вѣка вѣрою во все, что есть несбыточнаго, и удаленіемъ отъ всего, что есть неестественно. Наука не хотѣла знать жизни, а жизнь не хотѣла такой безжизненной науки. Это отчужденіе науки отъ жизни, какъ мы до сихъ поръ думали, справедливо

считалось характерною чертою средневѣковыхъ школъ. Что тогда было очень много запросовъ въ душѣ человѣка, что большая часть мыслей, возмущающихъ насъ теперь, была возбуждена и тогда, въ этомъ убѣждаютъ насъ біографіи еретиковъ и мыслителей переходной эпохи; въ произведеніяхъ Шекспира, безъ сомнѣнія, тоже отразились запросы вѣка, и возможность Гамлета на границѣ XVI столѣтія нѣсколько подтверждаетъ наши слова. Между тѣмъ, при этомъ сходствѣ запросовъ въ двѣ названныя эпохи, какая громадная разница въ удовлетвореніи ихъ! Графъ Толстой словно намѣренно не хочетъ быть справедливымъ къ нынѣшней школѣ. „Въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ, каждая школа учреждается на образецъ другой, учрежденной прежде-бывшей“, говоритъ онъ. Школа постоянно отвѣчаетъ на одни и тѣ же вопросы, нѣсколько вѣковъ тому назадъ постановленные человѣчествомъ. Въ другомъ, уже разъ приведенномъ мѣстѣ, онъ упрекаетъ школу въ томъ, что способъ ея передачи остался тотъ же, какъ и въ среднихъ вѣкахъ. Это не что иное, какъ голословное, ничѣмъ неподкрѣпленное отрицаніе всей исторіи педагогіи. Но она говоритъ за себя фактами: похожи ли нынѣшнія гимназіи на схоластическія школы XIII и XIV столѣтій, тому ли въ нихъ учатъ и такъ ли, какъ тамъ учили, объ этомъ спросить мы считаемъ неумѣстнымъ. Мы помнимъ только одно: въ современныхъ школахъ ребенка снабжаютъ всѣми элементами научной и хозяйственной дѣятельности, началами ремеслъ, искусствъ, политики и проч. все это посредствомъ введенія въ преподаваніе физики, исторіи, географіи. Эти ли предметы входили въ *trivium* и *quadrivium* Кассіодора и въ программы Θомы Аквинскаго — предоставляемъ судить знающимъ. Если же есть еще нѣкоторые пункты схождения, если до сихъ поръ считаютъ столько же полезнымъ, какъ и прежде, знать, какую форму имѣетъ земля, и какъ помножать сотни на 1000, то въ этомъ виновато человѣчество, которое во всѣхъ своихъ возрастахъ похоже само на себя, и не находитъ, кажется, нужнымъ дѣлать насильственный разрывъ съ своимъ прошлымъ.

Но, можетъ быть, графъ Толстой, несправедливый въ своемъ сравненіи, справедливъ въ сущности своего мнѣнія о несоотвѣтствіи нынѣшней школы съ современною жизнію. Мнѣ кажется, что разрѣшить этотъ вопросъ еще труднѣе, чѣмъ первый. Мы совершенно отказываемся угадать ту степень развитія школъ, какая должна быть въ настоящее время. Мы не знаемъ, какимъ и сколькимъ запросамъ жизни она обязана отвѣчать. Знаемъ только, что она не обязана отвѣчать на всѣ вопросы; не обязана оттого, что не можетъ, тѣмъ болѣе что и всѣ другія сферы дѣятельности человѣка, его политическое устройство, его знаніе, его художественное творчество, далеко не отвѣчаютъ на всѣ его запросы. Мнѣ кажется, намъ достаточно рѣшить въ этомъ случаѣ только вопросъ о томъ, приносятъ ли вообще пользу наши школы и идетъ ли развитіе вмѣстѣ съ развитіемъ другихъ народныхъ силъ. Авторъ путешествовалъ около года по Европѣ и осматривалъ разныя народныя школы; онъ вынесъ изъ своихъ наблюденій убѣжденіе въ несостоятельности этихъ школъ, даже больше—въ несостоятельности и положительномъ вредѣ педагогики. Мы не будемъ защищать недостатковъ преподаванія, на которые большею частью справедливо нападаетъ графъ Толстой, на формальное заучиванье, на опущеніе многихъ важнѣйшихъ предметовъ преподаванія и т. д. По большей части этихъ вопросовъ педагогика уже прежде высказала свой судъ; намъ остается только недоумѣвать, какимъ образомъ въ статьѣ графа Толстого нѣтъ помину о самыхъ образцовыхъ воспитательныхъ заведеніяхъ Германіи и Швейцаріи, откуда изгнаны, по крайней мѣрѣ, устарѣвшіе педагогическіе приемы, поразившіе графа Толстого въ марсельскихъ школахъ. Мнѣ кажется, такой, можно сказать, смертный приговоръ надъ цѣлою наукой и надъ цѣлымъ искусствомъ, имѣющимъ свою почтенную исторію и очень разнообразную жизнь въ настоящемъ, требуетъ гораздо больше доказательствъ. Намъ лучше убѣдило бы обстоятельное изложеніе педагогическаго устройства школъ, числовыя данныя, знаменательные факты изъ ихъ жизни, чѣмъ голый ультима-

тумъ, подписанный этимъ школамъ *Ясной Полянкой*. Мнѣ кажется, вопросъ о бесполезности или вредѣ школъ можно разрѣшить очень скорымъ и простымъ способомъ: если докажутъ, что люди, находившіеся подъ вліяніемъ нашей несовершенной педагогики, ничѣмъ не превосходятъ другихъ людей, значить педагогика бесполезна. Если докажутъ, что воспитанники педагогическихъ заведеній уступаютъ людямъ, въ нихъ не бывшимъ, значить она вредна. Вопросъ сводится на то: имѣютъ ли люди образованные какое-нибудь преимущество надъ необразованными, напримѣръ, кончившіе курсъ университетскій надъ окончившими курсъ гимназій, эти послѣдніе надъ воспитывавшимися въ ~~у~~ездныхъ училищахъ. А объ этомъ вопросѣ мы имѣемъ право не спорить, пока кто-нибудь не заявитъ въ немъ своего сомнѣнія. Графъ Толстой страннымъ образомъ доказываетъ бесполезность школъ: въ Марселѣ, напримѣръ, онъ сравниваетъ ихъ вліяніе съ вліяніемъ жизни, и удивляется, что взрослый работникъ гораздо больше знаетъ, чѣмъ школьникъ. Да развѣ школа имѣла когда-нибудь претензію замѣнить жизнь? Она снабжаетъ только нѣкоторыми основными элементами умъ человѣка, и дѣлаетъ его болѣе способнымъ къ сознательной жизни. Развитие этихъ элементовъ все-таки остается за самою жизнью; чѣмъ она богаче, тѣмъ богаче развитіе; оттого и оказывается разница между деревенскимъ мужикомъ и жителемъ большого города, обладающаго музеями, театрами и политическою жизнью. Но неужели отъ кого-нибудь скрыто, что театры, музеи, библіотеки и газеты, имѣющіе, по наблюденію издателя *Ясной Поляны*, благотворное вліяніе на народъ, произведены этою отсталой школой? Отчего жъ она предшествуетъ всѣмъ этимъ учрежденіямъ, и гдѣ ея нѣтъ—ихъ нѣтъ? Отчего же развитіе школъ въ томъ несовершенномъ видѣ, въ какомъ онѣ кажутся бесполезными графу Толстому, идетъ всегда рука объ руку съ развитіемъ общаго благосостоянія народа и всегда служитъ мѣриломъ его умственного развитія? Наши старовѣры—самый зажиточный и вмѣстѣ самый грамотный классъ русскаго простонародья. Англичанинъ въ своей

практической жизни чрезвычайно много обязанъ школьной скамейкѣ и латыни своего учителя; лучшіе люди въ Англіи признаются въ этомъ съ гордостью. Мнѣ кажется, этихъ простыхъ доводовъ достаточно для опроверженія парадокса *Ясной Поляны*, если мало одного логическаго заключенія...

Далѣе въ слѣдующей, третьей главѣ своей критики г. Марковъ, говоря объ устройствѣ графомъ Толстымъ новой школы, основанной, по мнѣнію послѣдняго, на полной свободѣ отъ всякихъ заранѣе составленныхъ взглядовъ, доказываетъ, 1) что графъ Толстой *дѣйствуетъ подѣ вліяніемъ старой педагоги*, и 2) что полная свобода школы, какъ понимаетъ ее графъ Толстой, *невозможна, а если возможна, то вредна*. — Въ четвертой главѣ своей критики г. Марковъ подробно описываетъ яснополянскую школу—ея устройство, руководство ею, характеръ занятій и проч. По его мнѣнію, яснополянская школа безспорно лучше всѣхъ народныхъ школъ, ему извѣстныхъ; но причину ея достоинствъ г. Марковъ видитъ не въ тѣхъ педагогическихъ взглядахъ, на которые онъ нападаетъ, а въ исключительно счастливомъ положеніи яснополянской школы, — а именно что эта школа „составляетъ предметъ горячей заботливости образованнаго, талантливаго и вполнѣ обезпеченнаго человѣка“... Тѣмъ не менѣе, далѣе доказываетъ г. Марковъ: „*Яснополянская школа не можетъ быть образцовой народной школою; въ ней все не такъ, какъ можетъ быть въ настоящихъ народныхъ школахъ*, и успѣхъ ея приписываю главнымъ образомъ именно тѣмъ условіямъ, которыя нѣтъ возможности воспроизвести въ другомъ мѣстѣ. Главная причина успѣшнаго хода яснополянской школы въ томъ, что она семья, а не школа, и что глава этой семьи—человѣкъ съ очень рѣдкими условіями. Графъ Толстой полюбилъ дѣтей душой артиста, понявъ въ нихъ многое, непонятное прозаическимъ натурамъ; дѣти поняли его любовь, полюбили его въ свою очередь“... Доказавъ далѣе, что полная свобода яснополянской школы все же таки не доводитъ до хорошихъ результатовъ, г. Марковъ заключаетъ всю свою критику слѣдующимъ резюме:

„1) Мы признаемъ *право* одного поколѣнія вмѣшиваться въ воспитаніе другого. 2) Мы признаемъ *право* высшихъ классовъ вмѣшиваться въ народное образованіе. 3) Мы не согласны съ яснополянскимъ опредѣленіемъ образованія. 4) Думаемъ, что школы не могутъ и не должны быть изъ-яты изъ-подъ историческихъ условій. 5) Думаемъ, что современныя школы гораздо ближе отвѣчаютъ современнымъ потребностямъ, чѣмъ средневѣковыя. 6) Считаемъ наше воспитаніе не вреднымъ, а полезнымъ. 7) Думаемъ, что полная свобода воспитанія, какъ ее понимаетъ графъ Толстой, вредна и невозможна. 8) Думаемъ, наконецъ, что устройство яснополянской школы противорѣчитъ педагогическимъ убѣжденіямъ редактора *Ясной Поляны*.

Со всѣмъ тѣмъ, новый журналъ является представителемъ лучшихъ стремленій новѣйшей педагогіи, стремленій, выраженныхъ слишкомъ въ радикальной формѣ, но въ основѣ все-таки справедливыхъ. *Ясная Поляна* отрицаетъ свое родство съ современною педагогіей, видитъ между собой и ею непроходимую бездну. Мы другого мнѣнія. Мы далѣе ставимъ въ упрекъ *Ясной Полянѣ*, что она всѣ свои боевые снаряды метала въ отсталыя педагогическія учрежденія и приемы, часто била давно побитыхъ враговъ, забывая, что лежачаго не бьютъ. *Ясная Поляна* страннымъ образомъ упускала изъ виду всѣ свободныя педагогическія попытки новаго времени, будто бы не признавая ихъ существованія. Итакъ, мы совершенно согласны съ общимъ направленіемъ новаго журнала, которое, если очистить его отъ слишкомъ понятныхъ увлеченій, представить намъ слѣдующія отрадные явленія: 1) *Стремленіе повести образованіе народа путемъ самостоятельнаго, органическаго развитія, безъ вредныхъ вмѣшательствъ бюрократіи или регламентовъ*; вслѣдствіе этого, въ противность мертвящему однообразію, всякой готовой теоріи, предоставленіе каждой школѣ права на ея собственныя оригинальныя формы жизни, какъ бы ни казались онѣ исключительны. 2) *Стремленіе къ гораздо большей свободѣ преподаванія и школьнаго устройства, чѣмъ было до сихъ поръ въ большинствѣ нашихъ школъ*. 3) Со-

вершенно опытное направление школы, т.-е. стремление ввести въ педагогію истинный *натуральный методъ*. 4) *Уваженіе къ духовнымъ потребностямъ народа*, и съ этою цѣлью основательное изученіе его характера и жизни. Эти основныя правила, въ силу которыхъ выступила *Ясная Поляна* на поле педагогическихъ работъ, имѣютъ, по нашему мнѣнію, такое серьезное значеніе, что отъ ихъ большаго или меньшаго успѣха можетъ зависѣть рѣшеніе коренныхъ вопросовъ народнаго счастья. Мы рады отъ души, что борцомъ за свободу народнаго образованія выступилъ графъ Толстой. Онъ соединяетъ много дорогихъ условій, полезныхъ въ этомъ дѣлѣ. Труды его по народной педагогіи исполнены глубокой и страстной симпатіи къ предмету, которая дѣлается тѣмъ цѣннѣе для насъ, что подкрѣпляется рѣдкимъ педагогическимъ тактомъ, опытнымъ знаніемъ народа, необыкновенною свѣжестью и самостоятельностью мысли; наконецъ, художественное чувство автора сообщаетъ живописный колоритъ не только всякой картинѣ, но и всякой мысли, имъ высказываемой. Его очерки вмѣстѣ и чрезвычайно полезные матеріалы, и прекрасныя художественныя импровизаціи. Они заставляютъ полюбить школу и крестьянскихъ мальчиковъ даже людей, о нихъ не думающихъ. Сцена лѣсной прогулки и другая — вечераго урока — принадлежать къ числу высокихъ поэтическихъ разсказовъ, а такихъ сценъ не одна въ двухъ первыхъ книжкахъ журнала, которыя мы имѣли въ виду, когда писалась эта статья. Читая ихъ, невольно поймешь, какое вліяніе должно производить на дѣтей дружелюбное сообщество такой теплоѣ и артистической натуры. *Ясная Поляна* имѣетъ еще одно чрезвычайно важное и рѣдкое достоинство: какъ бы ошибочны ни были мнѣнія графа Толстого, они никогда не могутъ быть вредны, потому что неминуемо исправятся практикою школы. Въ нихъ такъ много широты, свободы, натуры, что всему будетъ мѣсто, что только окажется нужнымъ. Ничего иссушающаго, безобразящаго голову, перекраивающаго жизнь на нѣмецкій унылый модель, въ нихъ и слѣда нѣтъ. *Ясная Поляна* доказываетъ собою, что

педагогія дѣйствительно можетъ быть живою наукой, и что школьный отчетъ въ устахъ талантливаго человѣка превращается изъ сухого перечня въ прелестный психологическій и поэтический разсказъ. Когда сравнишь полныя жизни и правды статьи *Ясной Поляны* съ безхарактерными подражаніями какимъ-то чуждымъ намъ теоріямъ, наполняющими многіе наши педагогическіе журналы—какая разница! Какъ рѣзко всплываетъ наверхъ тупая бездарность и бездушіе, въ какую бы схоластическую мантию они ни рядились, на какихъ бы фразяхъ ни танцовали! Одушевленіе сообщается только искренностью любви; ея не выдумаешь. Таланта тоже не выдумаешь, а безъ него ничто не дастъ мѣткости и характера мыслямъ, точно такъ же, какъ многотомная энциклопедія Шмидта никогда не познакомитъ русскаго педагога съ крапивенскимъ мужикомъ. Пусть не подумаетъ читатель, что педагогическія мнѣнія графа Толстого способны вызвать насъ только на то множество замѣчаній, которыя составили предметъ этой статьи. Если бы мы имѣли цѣлью сдѣлать полную характеристику *Ясной Поляны*, мы бы нашли гораздо больше матеріала для самыхъ искреннихъ похвалъ ей. Но мы считаемъ свое одобреніе полезнымъ для капитальныхъ достоинствъ замѣчательнаго труда графа Толстого, сильнаго своими внутренними средствами. Нашею цѣлью было только указаніе, по нашему крайнему разумѣнію, нѣкоторыхъ ошибокъ и увлеченій *Ясной Поляны*. *Ясную Поляну* мы ставимъ вообще очень высоко; мы считаемъ ее способною породить цѣлую плодотворную школу педагогической литературы.

Пока же пусть всякій, кто интересуется народомъ и образованіемъ, внимательно прочтетъ *Ясную Поляну*. Никто, мы увѣрены, не будетъ въ претензіи на нашу рекомендацію; кто не извлечетъ изъ этого чтенія полезныхъ психологическихъ и педагогическихъ выводовъ, тотъ получитъ, по крайней мѣрѣ, эстетическое наслажденіе. Мы же сами желаемъ, чтобы всѣмъ посчастливилось такъ же, какъ намъ,—многому доброму научиться у *Ясной Поляны* и вмѣстѣ съ тѣмъ многимъ прекраснымъ насладиться въ ней. Мы при-

вѣтствуемъ въ Ясной Полянѣ свѣжаго, полного силъ и любви бойца, которому дай Богъ, не уставая и не унывая, идти его свободнымъ жизненнымъ путемъ.

Евгеній Марковъ.

Прогрессъ и опредѣленіе образованія *).

Въ своей статьѣ— „Прогрессъ и опредѣленіе образованія“, служащей отвѣтомъ на предыдущую статью г. Маркова, Л. Н. Толстой прежде всего указываетъ на основную причину разногласія его со взглядомъ г. Маркова. „Причина эта, говоритъ Толстой, состоитъ въ недосказанности нашего взгляда, которую мы постараемся пополнить и въ не точности и ограниченности пониманія со стороны г. Маркова и вообще публики нашихъ положеній, которыя мы и постараемся разъяснить. Очевидно, что разногласіе происходитъ отъ различія пониманія и, вслѣдствіе того, опредѣленія самого образованія“... Кроме того, причина разногласія заключается еще и въ томъ, что г. Марковъ вполне усвоилъ себѣ *историческое воззрѣніе*. Сущность этого воззрѣнія Л. Н. Толстой между прочимъ поясняетъ такъ: „Со временъ Гегеля и знаменитаго афоризма: „*что исторично, то разумно*“ въ литературныхъ и изустныхъ спорахъ, въ особенности у насъ, царствуетъ одинъ весьма странный умственный фокусъ, называющійся историческое воззрѣніе. Вы говорите, на примѣръ, что человѣкъ имѣетъ право быть свободнымъ, судится на основаніи только тѣхъ законовъ, которые онъ самъ признаетъ справедливыми, а историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что исторія вырабатываетъ историческій моментъ, обусловливающий извѣстное историческое законодательство и историческое отношеніе къ нему народа. Вы говорите, что вы вѣрите въ Бога,—историче-

*) Статья гр. Л. Н. Толстого. Отвѣтъ на статью Е. Маркова: „Теорія и практика Яснополянскѣ школы“. Соч. Л. Н. Толстого, томъ IV.

ское воззрѣніе отвѣчаетъ, что исторія вырабатываетъ извѣстные религіозныя воззрѣнія и отношенія къ нимъ чело-вѣчества. Вы говорите, что Илліада есть высочайшее эпическое произведеніе, — историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что Илліада есть только выраженіе историческаго сознанія народа въ извѣстный историческій моментъ. На этомъ основаніи историческое воззрѣніе не только не спорить съ вами о томъ, необходима ли свобода для чело-вѣка, о томъ есть или нѣтъ Бога, о томъ хороша или нехороша Илліада, не только ничего не дѣлаетъ для достиженія той свободы, которой вы желаете, для убѣжденія или разубѣжденія васъ въ существованіи Бога, или въ красотѣ Илліады, а только указываетъ вамъ то мѣсто, которое ваша внутренняя потребность, любовь къ правдѣ или красотѣ занимаютъ въ исторіи; оно только сознаетъ, но сознаетъ не путемъ непосредственнаго сознанія, а путемъ историческихъ умо-заключеній. Скажите, что вы любите или вѣрите во что-ни-будь, — историческое воззрѣніе говоритъ: любите и вѣрьте, и ваша любовь и вѣра найдутъ себѣ мѣсто въ нашемъ историческомъ воззрѣніи. Пройдутъ вѣка, и мы найдемъ то мѣсто, которое вы будете занимать въ исторіи; но впередъ знайте, что то, что вы любите, — не безусловно прекрасно, и то, во что вы вѣрите, — не безусловно справедливо; но забавляйтесь, дѣти, — ваша любовь и вѣра найдутъ себѣ мѣсто и приложеніе. Къ какому хотите понятію стоитъ только приложить слово историческое, — и понятіе это теряетъ свое жизненное, дѣйствительное значеніе, и получаетъ только искусственное и неплодотворное значеніе въ какомъ-то искусственно составленномъ историческомъ міро-созерцаніи... Л. Н. Толстой приводитъ изъ статьи г. Маркова примѣры историческаго воззрѣнія послѣдняго, и, между прочимъ, въ самомъ полномъ блескѣ историческое воззрѣніе находитъ въ утвержденіи г. Марковымъ, что *„критеріумъ педагогики заключается въ томъ, чтобы учить, соображаясь съ потребностями времени; что этотъ критеріумъ простъ и въ совершенномъ согласіи съ исторіей и логикой...“* (Приведенъ отрывокъ изъ статьи г. Маркова,

начинающийся словами: „Ясную Поляну“ смущает то обстоятельство, что въ различные времена люди учатъ различному...“ и кончающийся: „Въ чемъ графъ Толстой видитъ упрекъ человѣчеству и педагогѣ, ихъ противорѣчіе самимъ себѣ, въ томъ я вижу необходимость, естественность и даже достоинство“).— „Какъ много, кажется, сказано“, говоритъ Л. Н. Толстой по поводу указаннаго отрывка изъ статьи г. Маркова,— „какъ много свѣдѣній, какой спокойно-историческій взглядъ на все! Самъ стоишь на какомъ-то воображаемомъ возвышеніи, а подъ тобою дѣйствуютъ и Руссо, и Шиллеръ, и Лютеръ, и французскія революціи; съ исторической высоты одобряешь или не одобряешь ихъ историческіе поступки и раскладываешь по историческимъ рамкамъ. Мало того, и каждая личность человѣческая тоже тамъ гдѣ-то копошится, подчиненная неизмѣннымъ историческимъ законамъ, которые мы знаемъ, но конечной цѣли ни у кого нѣтъ и быть не можетъ,— есть одно историческое воззрѣніе! Но, вѣдь, мы соесѣмъ не о томъ спрашиваемъ, мы пытаемся найти тотъ общій умственный законъ, которымъ руководилась дѣятельность человѣка въ образованіи, и который поэтому могъ бы служить критеріумомъ правильности человѣческой дѣятельности въ образованіи. Историческое же воззрѣніе на всѣ наши попытки отвѣчаетъ только тѣмъ, что Руссо и Лютеръ были произведеніями своего времени. Мы ищемъ то вѣчное начало, которое выразилось въ нихъ, а намъ говорятъ о той формѣ, въ которой оно выразилось, и распредѣляютъ ихъ по классамъ и отрядамъ. Намъ говорятъ, что критеріумъ только въ томъ, чтобъ учить сообразно потребностямъ времени, и говорятъ, что это очень просто. Учить сообразно догматамъ христіанской или магометанской религіи— я понимаю, но учить сообразно потребностямъ времени— я рѣшительно не понимаю ни одного слова изъ этой фразы. Какія эти потребности? Кто ихъ опредѣлитель? Гдѣ онѣ выразятся? Очень, можетъ быть, забавно рассуждать вкривь и вкось о тѣхъ историческихъ условіяхъ, которыя заставили Руссо выразиться именно въ той формѣ, въ какой

онъ выразился, но найти тѣ историческія условія, въ которыя имѣетъ выразиться будущій Руссо, невозможно. Мнѣ понятно, почему Руссо съ озлобленіемъ писалъ противъ искусственности жизни, но рѣшительно непонятно, почему явился Руссо и почему онъ открылъ великія истины. Мнѣ дѣла нѣтъ до Руссо и его обстановки, меня занимаютъ только тѣ мысли, которыя онъ высказалъ, и повѣрять и не понять его мысль я могу только мыслію, а не разсужденіями о его мѣстѣ въ исторіи. Выразить и опредѣлить критериумъ въ педагогіи было моею задачею. Историческое же воззрѣніе, не идя за мною по этому пути, отвѣчаетъ, что и Руссо и Лютеръ были на своемъ мѣстѣ (какъ будто они могли быть не на своемъ мѣстѣ), и что бываютъ различныя школы (какъ будто мы этого не знаемъ), и что каждая приноситъ зерно въ эту таинственную историческую кучу. Историческое воззрѣніе можетъ породить много занимательныхъ разговоровъ, когда дѣлать нечего, объяснить то, что всѣмъ извѣстно; но сказать слово, на которомъ бы могла строиться дѣйствительность,—оно не въ состояніи. Если оно и проговорится, то скажетъ только фразу въ родѣ того, что надо учить сообразно съ потребностями времени. Скажите же намъ—какія эти потребности въ Сызрани, въ Женевѣ, на Сыръ-Дарьѣ? Гдѣ можно найти выраженіе этихъ потребностей и *потребности времени*—какого времени? Уже ежели рѣчь пошла объ историческомъ, то въ настоящемъ есть только моментъ историческій. Одинъ принимаетъ требованія 25 годовъ за требованія настоящаго; другой знаетъ требованія августа 1862 года, третій считаетъ настоящими требованіями требованія средневѣковыя. Повторяю, если умышленно написана фраза *учить сообразно съ требованіями времени*, для насъ ни въ одномъ словѣ не имѣющая смысла, мы просимъ—укажите намъ эти требованія; мы отъ всей души, искренно говоримъ, что мы желали бы знать эти требованія, и не знаемъ ихъ“... Затѣмъ гр. Л. Н. Толстой разъясняетъ причину несостоятельности историческаго взгляда относительно философскихъ вопросовъ. „Причина эта, между прочимъ говоритъ Л. Н. Тол-

стой, заключается въ слѣдующемъ: люди съ историческимъ воззрѣніемъ предположили, что отвлеченная мысль, которую они любятъ въ ругательномъ смыслѣ называть метафизикой, бесплодна, какъ скоро она противоположна историческимъ условіямъ, т.-е. говоря проще, царствующимъ убѣжденіямъ: что мысль эта даже бесполезна, такъ какъ открыть общій законъ, по которому человѣчество движется впередъ и безъ участія мысли, противоположной царственнымъ убѣжденіямъ. Мнимый этотъ законъ человѣчества называется *прогрессъ*. Вся причина не только разногласія нашего съ г. Марковымъ, но и совершеннаго пренебреженія къ нашимъ доводамъ и неотвѣчанію на нихъ, заключается въ томъ, что г. Марковъ вѣритъ въ прогрессъ, а я не имѣю этого вѣрованія“...

Далѣе гр. Л. Н. Толстой опредѣляетъ *прогрессъ* такъ, какъ его понимаютъ многіе, и между прочимъ указываетъ на то, что вѣрующіе въ прогрессъ и историческое развитіе дѣлаютъ недоказанное положеніе, „что будто человѣчество въ прежнее время пользовалось меньшимъ благосостояніемъ, и чѣмъ далѣе назадъ, тѣмъ менѣе, и чѣмъ болѣе впередъ, тѣмъ болѣе. Изъ этого выводятъ, что для плодотворной дѣятельности необходимо дѣйствовать только сообразно съ историческими условіями; и что, по закону прогресса, всякое историческое дѣйствіе поведетъ къ увеличенію общаго благосостоянія, т.-е. будетъ хорошо, что всѣ попытки остановить или противорѣчить даже движенію исторіи—бесполезны. Выводъ этотъ незаконенъ потому, что положеніе о постоянномъ улучшеніи человѣчества на пути прогресса ничѣмъ не доказано и несправедливо“... „Прогрессъ вообще, продолжаетъ гр. Л. Н. Толстой, во всемъ человѣчествѣ—есть фактъ недоказанный и не существующій для всѣхъ восточныхъ народовъ, и потому сказать, что прогрессъ есть законъ человѣчества, столь же неосновательно, какъ сказать, что всѣ люди бываютъ бѣлокурые за исключеніемъ черноволосыхъ“... Эта мысль развивается и доказывается гр. Л. Н. Толстымъ на 22-хъ страницахъ. Затѣмъ онъ говоритъ; „Мы сдѣлали отступленіе весьма длинное и, мо-

жетъ быть, показавшееся не ведущимъ къ дѣлу, только для того, чтобы сказать, что мы не вѣримъ въ прогрессъ, увеличивающій благосостояніе человѣчества, не имѣемъ никакихъ основаній вѣрить въ него, и ищемъ и искали въ своей 1-й статьѣ другого мѣрила того, что хорошо и что дурно, какъ только признанія всего, что есть прогрессъ, хорошимъ, и всего что не есть прогрессъ дурнымъ. Разъяснивъ этотъ главный скрытый пунктъ нашего разногласія съ г. Марковымъ, мы полагаемъ, съ большинствомъ такъ называемой образованной публики, что отвѣты на пункты статьи *Р. В.* намъ становятся легки и просты.

1) Статьи *Русскаго Вѣстника* признаетъ право одного поколѣнія вмѣшиваться въ воспитаніе другого, на томъ основаніи, что это *естественно*, и что каждое поколѣніе кидаетъ свою горсть въ кучу прогресса. Мы не признавали и не признаемъ этого права, потому что, не считая прогресса несомнѣннымъ благомъ, ищемъ другихъ основаній на такое право и полагаемъ, что нашли ихъ. Если бы было доказано, что основанія наши ложны, то мы все-таки не могли бы признать достаточнымъ основаніемъ вѣру въ прогрессъ, такъ же какъ и вѣру въ Магомета или далай-ламу.

2) Статья *Р. В.* признаетъ право высшихъ классовъ вмѣшиваться въ народное образованіе. Мы полагаемъ, что въ предыдущихъ страницахъ достаточно разъяснено, почему вмѣшательство вѣрующихъ въ прогрессъ въ воспитаніе народа несправедливо, но выгодно для высшихъ классовъ, и почему ихъ несправедливость кажется имъ правомъ, какъ казалось *правомъ* крѣпостное право.

3) Статья *Р. В.* думаетъ, что школы не могутъ и не должны быть изъяты изъ-подъ историческихъ условій. Мы думаемъ, что эти слова не имѣютъ смысла, во 1-хъ, потому, что изъять изъ-подъ историческихъ условій нельзя ничего, ни на дѣлѣ ни даже въ мысляхъ. Во 2-хъ, потому, что ежели открытіе законовъ, на которыхъ строилась и должна строиться школа, есть, по мнѣнію г. Маркова, изъятіе изъ-подъ историческихъ условій, то мы полагаемъ, что наша мысль, открывшая извѣстные законы, дѣйствуетъ тоже

въ историческихъ условіяхъ, но что нужно опровергнуть, или признать самую мысль путемъ мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвѣчать на нее тою истиною, что мы живемъ въ историческихъ условіяхъ.

4) Статья *Р. В.* думаетъ что современныя школы ближе отвѣчаютъ потребностямъ времени, чѣмъ средневѣковыя. Мы сожалѣемъ, что подали поводъ г. Маркову доказывать намъ противное, и охотно сознаемъ, что, доказывая противное, подчинились общей привычкѣ подводить историческіе факты подъ преждепринятую мысль. Г. Марковъ сдѣлалъ то же самое, можетъ быть, удачнѣе или многословнѣе нашего. Мы не хотимъ разбирать этого, откровенно сознаваясь въ своей ошибкѣ. На этомъ поприщѣ можно наговорить такъ много, не убѣдивъ никого!

5) Статья *Р. В.* считаетъ наше воспитаніе не вреднымъ, а полезнымъ, только потому, что наше воспитаніе готовитъ людей для прогресса, въ который онъ вѣритъ. Мы же не вѣримъ въ прогрессъ, и потому продолжаемъ считать воспитаніе наше вреднымъ.

6) Статья *Р. В.* думаетъ, что полная свобода воспитанія вредна и невозможна. Вредна потому, что намъ нужны люди для прогресса, а не просто люди, и невозможна потому, что у насъ есть готовыя программы для воспитанія людей прогресса, а нѣтъ программы для воспитанія просто людей.

7) Авторъ думаетъ, что устройство яснополянской школы противорѣчитъ убѣжденіямъ редактора. Въ этомъ, какъ въ дѣлѣ личномъ, мы согласны, тѣмъ болѣе, что авторъ самъ знаетъ, какъ сильно вліяніе историческихъ условій, и потому долженъ знать, что яснополянская школа принадлежитъ дѣйствию двухъ силъ—убѣжденію совершенно крайнему, по мнѣнію автора, и историческимъ условіямъ, т. е. воспитанію учителей, средствамъ и т. д. и несмотря на то, школа могла достигнуть только весьма малой степени свободы и, вслѣдствіе того, преимущества предъ другими школами. Что же бы было, еслибъ убѣжденія эти не были крайни, какъ они кажутся автору? Авторъ говоритъ, что успѣхъ школы зависитъ отъ любви. Но любовь не случайна. Любовь

можетъ быть только при свободѣ. Во всѣхъ школахъ, основанныхъ съ убѣжденіями Ясной Поляны, повторялось то же явленіе: — учитель влюблялся въ свою школу: а я знаю, что тотъ же учитель, со всевозможною идеализаціей, не могъ бы влюбиться въ школу, гдѣ сидятъ на лавкахъ, ходятъ по звонкамъ и сѣкутъ по субботамъ.

И 8), наконецъ,—авторъ несогласенъ съ яснополянскимъ опредѣленіемъ образованія. Вотъ гдѣ мы обязаны высказать недосказанное. Мнѣ кажется, что было бы гораздо справедливѣе со стороны автора, ежели бы, не входя въ дальнѣйшее разсмотрѣніе, онъ потрудился опровергнуть наше опредѣленіе. Но онъ этого не сдѣлалъ, онъ и не взглянулъ на него, назвалъ его натяжкой и далъ свое опредѣленіе — прогрессъ—и вслѣдствіе того учить сообразно потребностямъ времени. Все, что мы написали о прогрессѣ, написано только затѣмъ, чтобы вызвать людей на возраженіе. А то съ нами не спорятъ, а говорятъ: зачѣмъ инстинктъ, потребность равенства и весь этотъ наборъ словъ, когда есть возрастающая куча? Но мы не вѣримъ въ прогрессъ и потому не можемъ удовольствоваться кучей. Ежели бы мы и вѣрили,—мы высказали бы: хорошо, цѣль есть учить сообразно потребностямъ времени, бросать въ кучу: мы бы согласились, что мать учить ребенка, намѣренно стараясь передать знаніе, какъ говорить г. Марковъ. Но зачѣмъ? спросилъ бы я, и имѣлъ право ожидать отвѣта. Человѣкъ дышитъ. Но зачѣмъ? спрашиваю я. И мнѣ не отвѣчаютъ, что онъ дышитъ потому, что дышитъ, а отвѣчаютъ — для того, чтобы приобрѣсти нужный кислородъ и выбросить ненужные газы. И опять я спрашиваю: зачѣмъ кислородъ? И физиологъ видитъ смыслъ такого вопроса и отвѣчаетъ на него:—затѣмъ, чтобы получить тепло. Зачѣмъ тепло? спрашиваю я. И тутъ онъ отвѣчаетъ, или пытается отвѣтить, и ищетъ, и знаетъ, что чѣмъ рѣшеніе такого вопроса общѣе, тѣмъ богаче оно будетъ выводами. Мы же спрашиваемъ, зачѣмъ одинъ учить другого? Кажется, нѣтъ болѣе близкаго вопроса для педагога. И мы отвѣчаемъ, можетъ быть, неправильно, бездоказательно, но вопросъ и отвѣтъ кате-

горичны. Г. Марковъ (я не нападаю на г. Маркова,—всякій вѣрующій въ прогрессъ также отвѣтитъ) не только не отвѣчаетъ на нашъ вопросъ, но онъ не въ состояніи видѣть его. Для него нѣтъ этого вопроса,—это пустая натяжка, на которую, для забавы, онъ проситъ читателя обратить особенное вниманіе. А въ этомъ вопросѣ и отвѣтѣ лежитъ вся сущность того, что я говорилъ, писалъ и думалъ о педагогикѣ. И г. Марковъ и публика, согласная съ г. Марковымъ, умные, образованные, привыкшіе разсуждать люди; но отчего вдругъ такая непонятливость? *Прогрессъ*.—Сказано слово *прогрессъ*,—и безсмыслица кажется яснымъ, и ясное кажется безсмыслицею. Благость прогресса я не признаю, пока мнѣ не докажутъ ея, и потому, наблюдая явленіе образованія, мнѣ необходимо опредѣленіе образованія, и я вновь повторяю и разъясняю сказанное: *образованіе есть дѣятельность человека, имѣющая своимъ основаніемъ потребность къ равенству и неизмѣнный законъ движенія вперёдъ образованія*.

Какъ мы сказали уже, для изученія законовъ образованія мы употребляемъ не метафизическій методъ, а методъ выводовъ изъ наблюденій. Мы наблюдаемъ явленія образованія въ самомъ общемъ смыслѣ, включающемъ въ себѣ и воспитаніе. Въ каждомъ явленіи образованія мы видимъ двухъ дѣятелей—образовывающаго и образовывающагося, воспитателя и воспитанника. Для того, чтобы изучить явленія образованія, какъ мы его понимаемъ, найти его опредѣленіе и критеріумъ, намъ необходимо изучить какъ ту, такъ и другую дѣятельность, и найти причину, совокупляющую эти двѣ дѣятельности въ одно явленіе, называемое образованіемъ или воспитаніемъ. Разсмотримъ сначала дѣятельность образовывающагося и причины ея. Дѣятельность образовывающагося, какъ бы, гдѣ бы и чему бы онъ ни учился (даже еслибъ онъ одинъ читалъ книги), всегда заключается только въ томъ, чтобъ усвоить себѣ образъ, форму и содержаніе мысли того человѣка или тѣхъ людей, которыхъ онъ считаетъ знающими больше себя. Какъ скоро онъ, по знанію, уравнивается съ своими образователями,

какъ скоро онъ не считаетъ своихъ образователей выше себя по знанію,—такъ дѣятельность образованія, со стороны образовывающагося, невольно прекращается, и никакія условія не могутъ заставить его продолжать ее. Одинъ человѣкъ не можетъ учиться у другого, когда тотъ человѣкъ, который учится, знаетъ столько же, сколько и тотъ человѣкъ, который учитъ. Учитель ариметики, не знающій алгебры, невольно прекращаетъ свое ученіе ариметики, какъ скоро ученикъ его вполне усвоилъ себѣ знаніе четырехъ арифметическихъ правилъ. Кажется бесполезно доказывать, что какъ скоро знаніе учителя и ученика уравнились, такъ дѣятельность ученія, воспитанія въ общемъ смыслѣ образованія, неминуемо прекращается между этими ученикомъ и учителемъ, и начинается новая дѣятельность, состоящая или въ томъ, что тотъ же учитель открываетъ ученику новую перспективу знаній, усвоенныхъ имъ, но неизвѣстныхъ ученику по той или по другой отрасли наукъ, и образованіе продолжается до тѣхъ только поръ, пока ученикъ не уравнивается съ учителемъ; или въ томъ, что, сравнившись съ учителемъ въ знаніи ариметики, ученикъ бросаетъ учителя и беретъ книгу, въ которой учится алгебрѣ. Въ этомъ случаѣ книга или авторъ книги представляется новымъ учителемъ и дѣятельность образованія продолжается только до тѣхъ поръ, пока ученикъ не уравнивается съ книгой или авторомъ книги. И опять дѣятельность образованія прекращается немедленно при достиженіи равенства въ знаніи. Истину эту, которая можетъ быть comprovана во всевозможныхъ случаяхъ образованія, кажется, бесполезно доказывать. Изъ этихъ наблюденій и соображеній мы заключаемъ, что дѣятельность образованія, разсматриваемая только со стороны образовывающагося, имѣетъ своимъ основаніемъ стремленіе образовывающагося къ равенству въ знаніи съ образовывающимъ. Истина эта доказывается тѣмъ простымъ наблюденіемъ, что какъ скоро равенство достигнуто, такъ немедленно и неминуемо прекращается самая дѣятельность, и еще другимъ, болѣе простымъ наблюденіемъ, что во всякомъ замѣтно это достиженіе большей или меньшей степени

равенства. Хорошее или дурное образованіе всегда и вездѣ, во всемъ родѣ человѣческомъ, опредѣляется только тѣмъ, медленно или скоро достигается равенство между учащимъ и учащимся: тѣмъ медленнѣе, тѣмъ хуже, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Истина эта такъ проста и очевидна, что доказывать ее нѣтъ надобности. Но необходимо доказать, почему эта простая истина никому не приходитъ въ голову, никѣмъ не высказывается и встрѣчаетъ озлобленное противодѣйствіе, когда бываетъ высказана? Причины эти слѣдующія: кромѣ главнаго основанія всякаго образованія, вытекающаго изъ самой сущности дѣятельности образованія — стремленія къ равенству знанія, — въ гражданскомъ обществѣ сложились другія причины, побуждающія къ образованію. Эти причины кажутся столь настоятельными, что педагоги имѣютъ въ виду только ихъ, упуская изъ виду главное основаніе. Разсматривая теперь только дѣятельность образовывающагося, мы найдемъ много кажущихся основаній къ образованію, кромѣ того существеннаго, которое мы высказали. Невозможность допустить эти основанія легко можетъ быть доказана. Ложныя, но ощутительныя эти основанія слѣдующія: первое и самое употребительное, — ребенокъ учится для того, чтобы не быть наказаннымъ. Второе, — ребенокъ учится для того, чтобы быть награжденнымъ. Третье, — ребенокъ учится для того, чтобы быть лучше другихъ. Четвертое, — ребенокъ, или молодой человѣкъ учится для того, чтобы получить выгодное положеніе въ свѣтѣ. Эти основанія, признаваемые всѣми, могутъ быть подведены подъ три главные разряда: 1) ученіе на основаніи послушанія, 2) ученіе на основаніи самолюбія и 3) ученіе на основаніи матеріальныхъ выгодъ и честолюбія. И въ самомъ дѣлѣ, на основаніи этихъ трехъ разрядовъ строились и строятся различныя педагогическія школы. Протестантскія — на послушаніи, католическія іезуитскія — на основаніи сореboванія и самолюбія; наши русскія — на основаніи матеріальныхъ выгодъ, гражданскихъ преимуществъ и честолюбія.

Неосновательность этихъ побудительныхъ причинъ оче-

видна. Во 1-хъ, въ дѣйствительности, по общему недовольству всѣхъ на существующія на такихъ основаніяхъ образовательныя заведенія. Во 2-хъ, по той причинѣ, которую я высказывалъ десять разъ, и буду высказывать до тѣхъ поръ, пока мнѣ на нее не отвѣтятъ, что при такихъ основаніяхъ (послушаніе, самолюбіе, и матеріальныя выгоды) нѣтъ общаго критеріума педагогики, — и богословъ и естествоиспытатель одновременно считаютъ свои школы непогрѣшительными, и не свои школы — положительно вредными. Въ 3-хъ, наконецъ, потому что принимая за основаніе дѣйствительности образовывающагося послушаніе, самолюбіе и матеріальныя выгоды, становится невозможнымъ опредѣленіе образованія. Допустимъ, что равенство знанія есть цѣль дѣйствительности образовывающагося, я вижу, что съ достиженіемъ цѣли прекращается самая дѣятельность; но допустивъ цѣлю послушаніе, самолюбіе и матеріальныя выгоды, я вижу, напротивъ, что какъ бы послушенъ ни сдѣлался образовывающійся, какъ бы ни превзошелъ онъ всѣхъ другихъ своими достоинствами, какихъ бы онъ ни достигъ матеріальныхъ выгодъ и гражданскихъ правъ, — цѣль его нисколько не достигнута, и возможность дѣятельности образованія не прекращается. Я вижу въ дѣйствительности, что цѣль образованія, допуская такія ложныя основанія его, никогда не достигается, т.-е. не пріобрѣтается независимо отъ образованія — привычка послушанія, раздраженное самолюбіе и матеріальныя выгоды. Постановленіе этихъ ложныхъ основаній образованію объясняетъ мнѣ всѣ ошибки педагогики, и вытекающую изъ нея несоотвѣтственность результатовъ образованія съ присущими человѣку требованіями отъ него.

Разсмотримъ теперь дѣятельность образовывающаго. Точно такъ же, какъ и въ первомъ случаѣ, наблюдая это явленіе въ гражданскомъ обществѣ, мы найдемъ много разнообразныхъ причинъ этой дѣятельности. Причины эти можно подвести подъ слѣдующіе разряды: первое и главное — желаніе сдѣлать людей такими, которые бы были для насъ полезны (помѣщики, отдававшіе дворовыхъ въ ученіе и въ музыканты; правительство, приготавливающее для себя офи-

перовъ, чиновниковъ и инженеровъ). Второе—тоже послушаніе и матеріальныя выгоды, которыя заставляютъ ученика университета за извѣстное вознагражденіе учить дѣтей по извѣстной программѣ. Третье—самолюбіе, побуждающее человѣка учить, чтобы выказать свое знаніе; и четвертое,—желаніе сдѣлать другихъ людей участниками въ своихъ интересахъ, передать имъ свои убѣжденія и этою цѣлію передать имъ свои знанія. Мнѣ кажется, что подъ эти четыре разряда подходитъ вся дѣятельность образовывающаго, отъ дѣятельности матери, учащей говорить своего ребенка, гувернера, за извѣстную плату обучающаго французскому языку, до профессора и писателя. Подводя подъ эти разряды то же мѣрило, которое мы прикладывали къ основаніямъ дѣятельности образовывающагося, мы найдемъ: 1-е, дѣятельность, имѣющая своею цѣлью приготовить полезныхъ для себя людей, какъ бывшіе помѣщики и правительство, не прекращается съ достиженіемъ цѣли, слѣдовательно она не есть конечная цѣль. Правительство и помѣщики могли бы еще далѣе продолжить свою дѣятельность образовыванія. Очень часто даже достиженіе цѣли полезности не имѣетъ ничего общаго съ образованіемъ, такъ что мѣриломъ дѣятельности образовывающаго я не могу принять полезность. 2-е, ежели признать основаніемъ дѣятельности учителя гимназій, или гувернера—послушаніе тому, кто поручилъ ему образованіе и матеріальныя выгоды, которыя онъ пріобрѣтаетъ отъ этой дѣятельности, — я опять вижу, что, съ пріобрѣтеніемъ наибольшаго количества матеріальныхъ выгодъ, дѣятельность образовыванія не прекращается. Напротивъ того, я вижу, что пріобрѣтеніе большихъ матеріальныхъ выгодъ, платимыхъ за образованіе, часто совершенно независимо отъ степени даваемого образованія. 3-е, ежели допустить, что самолюбіе и желаніе выказать свое знаніе могутъ служить цѣлью образовыванія, то я опять вижу, что достиженіе высшей похвалы за свои лекціи или за свою книгу не прекращаетъ дѣятельности образовыванія, ибо похвала образователю можетъ быть независима отъ степени пріобрѣтенія знаній образовы-

вающимся. Я вижу напротивъ, что похвала можетъ быть различаема людьми, не усвояющими себѣ образованія. 4-е, рассматривая, наконецъ, эту послѣднюю цѣль образовыванія, я вижу, что ежели дѣятельность образователя направлена на то, чтобъ уравнивать съ собою знанія образовывающагося, то дѣятельность образователя тотчасъ же прекращается, какъ скоро онъ достигаетъ своей цѣли. И въ самомъ дѣлѣ, прилагая это опредѣленіе къ дѣйствительности, я вижу, что всѣ другія причины суть только внѣшнія, жизненные явленія, затемняющія основную цѣль всякаго образователя. Прямая цѣль учителя ариметики заключается только въ томъ, чтобъ ученикъ его усвоилъ себѣ всѣ тѣ законы математическаго мышленія, которыми владѣетъ онъ самъ. Цѣль учителя французскаго языка, цѣль учителя химіи и философіи одна и та же; и какъ скоро цѣль эта достигнута, такъ и прекращается дѣятельность. Только то ученіе вездѣ и во всѣхъ вѣкахъ считали хорошимъ, при которомъ ученикъ вполне сравнивался съ учителемъ, — и чѣмъ болѣе, тѣмъ лучше, чѣмъ менѣе, тѣмъ хуже. Точно то же явленіе замѣчаемъ въ литературѣ, въ этомъ посредственномъ способѣ образованія. Только тѣ книги считаемъ мы хорошими, въ которыхъ авторъ, или образователь, передаетъ все свое знаніе читателю, или образовывающемуся.

Итакъ, наблюдая явленія образованія, какъ совокупную дѣятельность образовывающаго и образовывающагося, мы видимъ, что дѣятельность эта имѣетъ своимъ основаніемъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ одно и то же, — стремленіе человѣка къ равенству знаній. Въ опредѣленіи, сдѣланномъ нами прежде, мы высказали это, только не присовокупивъ, что мы подъ равенствомъ разумѣли равенство знаній. Мы прибавили, однако, стремленіе къ равенству и неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія. Г. Марковъ не понялъ, ни того ни другого, и очень удивился къ чему тутъ неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія. Законъ движенія впередъ образованія значить только то, что такъ какъ образованіе есть стремленіе людей къ равенству знаній, то равенство это не можетъ быть

достигнуто на низшей, а может быть достигнуто только на высшей ступени знанія, по той простой причинѣ, что ребенокъ можетъ узнать то, что я знаю; а я не могу забыть того, что я знаю;—и еще потому, что мнѣ можетъ быть извѣстенъ образъ мысли прошедшихъ поколѣній, — а прошедшимъ поколѣніямъ не можетъ быть извѣстенъ мой образъ мысли. Это я называю неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія. Итакъ на всѣ пункты г. Маркова я отвѣчаю только слѣдующее: во 1-хъ, доказывать нельзя тѣмъ, что все идетъ къ лучшему, — нужно прежде доказать, идетъ ли все къ лучшему, или нѣтъ; во 2-хъ, то, что образованіе есть только та дѣятельность человѣка, которая имѣетъ основаніемъ потребность человѣка къ равенству и неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія. Я старался только вывести г. Маркова изъ плоскости бесполезныхъ историческихъ разсужденій и объяснить то, чего онъ не понималъ.

Гр. Л. Н. Толстой.



УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦЪ,

на которыхъ упоминаются имена и предметы,
относящіеся къ литературѣ.

- Авдѣевъ. 119.
 Аксаковъ, И. 128.
 Аксаковъ, К. С. 108—111.
 „Альбертъ“. 123.
 „Андрей Колосовъ“, Тургенева. 74.
 Анненковъ, П. 5—12, 13, 14, 15.
 Архиповъ. 137.
 Аскоченскій. 149, 151.
 „Атеней“. 130, 133, 134, 143, 144, 154.
 Ахшарумовъ. 139.
 Афанасьевъ. 135.
 Базанкуръ. 45.
 Байронъ. 59.
 Белюстинъ. 159.
 Бергъ. 147.
 „Библиотека для Чтенія“. 12—15, 43, 70—73, 111, 113, 129.
 „Битва русскихъ съ кабардинцами“. 138, 142.
 Борнсъ. 136.
 Брюлловъ. 56, 71.
 Бурачовъ. 161.
 „Бѣдная Невѣста“, Островскаго. 123.
 Бѣлинскій. 112, 126, 135, 136, 142, 149.
 „Бѣсы“, Пушкина. 54.
 „Военные Разказы“. 70—94, 100, 118, 123, 124.
 „Военные Разказы“, статья А. Дружинина. 70—73.
 Вордсвортъ. 67.
 „Восемь мѣсяцевъ въ плѣну у французовъ“, Таторскаго. 42.
 „Время“. 117.
 „Въ чужомъ пиру похмелье“, Островскаго. 137, 149.
 Галаховъ. 137.
 Гегель. 199.
 „Герой нашего времени“, Лермонтова. 37.
 Гёте. 67—69.
 Гейбель. 136.
 Гоголь. 54, 71, 74, 126, 127, 140, 151, 152.
 Гончаровъ. 1, 4, 12, 120.
 Горбуновъ. 124.
 „Горькая Судьбина“, Писемскаго. 128.
 Грановскій. 142.
 Грибоѣдовъ. 140.
 Григоровичъ. 17, 37.
 Григорьевъ, А. 113, 114, 117—155.
 Гудъ. 68.
 Гуцковъ. 68.
 Даль. 40, 159.
 „Два Гусара“. 43, 49, 52, 53, 58—69, 74, 75, 86, 100, 109.
 „Дворянское Гнѣздо“, Тургенева. 149.

- Диккенсъ. 2.
 Дмитріевъ, М. 137.
 Добролюбовъ. 129, 153.
 „Домострой“. 187.
 Дружининъ, А. В. 43—69, 70—73, 111, 112.
 „Дубровскій“, Пушкина. 75, 151.
 Дудышкинъ, С. 20—43, 139, 154.
 „Дѣло подъ Журжею“, Иванова. 42.
 „Дѣтство“. 1—12, 22, 23, 33, 39, 43, 44, 49, 51—53, 73—75, 84—86, 90, 91, 99, 100, 109, 118, 123.
 „Дѣтство и Отрочество“ и „Военные Разказы“. Сочиненія графа Л. Н. Толстого“, статья Н. Чернышевскаго. 73—89.
 „Евгеній Онѣгинъ“, Пушкина. 54.
 „Замѣтки новаго поэта“, статья И. Панаева. 112, 114—117.
 Зандъ. 139.
 „Записки Маркера“. 14—17, 43, 44, 52, 74, 75, 80, 84, 86, 100, 109.
 „Записки Охотника“, Тургенева. 54, 74.
 Зотовъ. 116.
 Зряховъ. 142.
 Ивановъ. 42.
 Иванъ IV. 146.
 „Илиада“. 200.
 „Искры“. 115.
 Камбекъ. 114—116.
 „Капитанская Дочка“, Пушкина. 13, 23, 54, 151.
 Карамзинъ. 151.
 Катковъ. 116, 136.
 Кирѣевскій. 135.
 Кольриджъ. 67.
 Кольцовъ. 156.
 „Корнетъ Отлетаевъ“. 142.
 Коршъ. 146.
 Кохановская. 128, 142, 148.
 Краббъ. 67.
 „Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики и искусства“, статья А. Григорьева. 113.
 Крыловъ, проф. 146.
 Кукушевъ, кн. 138, 139, 142.
 Кузнецовъ. 42, 43.
 Кулжинскій. 137.
 Кулишъ. 151.
 Леонтьевъ. 136.
 Лермонтовъ. 21, 23, 24, 37, 70, 71, 74, 76, 77, 126, 127, 140, 151.
 Лессингъ. 67.
 Логиновъ. 142.
 Ломоносовъ. 140, 151.
 Лютеръ. 188, 201, 202.
 „Люпертъ“. 123.
 Максимовичъ. 151.
 Марковъ, Е. 177—199, 200, 201, 203—207, 212, 213.
 Марлинскій. 21, 24, 37.
 „Марфа Кузьмовна“, Щедрина. 148.
 „Матвѣй“, 176, 177.
 „Мертвые Души“, Гоголя. 54, 152.
 „Метель“. 43, 52, 53—58, 59, 74, 80, 91, 94—99.
 Миллеръ. 140.
 „Миргородъ“, Гоголя. 74.
 „Москвитининъ“. 137.
 „Московскій Вѣстникъ“. 115, 120, 133.
 „Московское Обозрѣніе“. 133, 134.
 „Мѣсяцъ въ деревнѣ“, Тургенева. 14.
 „Набѣтъ“. 20—27, 38, 44, 49, 52, 71, 72, 91, 93, 109.
 Надеждинъ. 126.
 Нарская. 138, 139, 142.
 „Наше Время“. 130, 133, 134.
 „Nocturno“, Фета. 54.
 „Ночь весною 1855 г. въ Севастополѣ“. 19.

- „Обозрѣніе современной литературы“, статья К. С. Аксакова. 108.
- Огаревъ. 122, 132.
- „О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности (замѣтки по поводу послѣднихъ произведеній гг. Тургенева и Л. Н. Т.)“. 5—12, 15.
- „Оринушка“, Щедрина. 148.
- Островскій. 37, 51, 111, 113, 120, 123, 126—128, 130—132, 134, 137, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 151, 152.
- „Отечественныя Записки“. 1—5, 15—20, 22, 43, 89—99, 101, 130, 135, 137.
- „Отрочество“. 1—12, 22, 23, 33, 39, 43, 44, 52, 53, 73—75, 84—86, 90, 91, 99, 100, 109, 118, 123.
- „Очерки Севастополя“. 52, 72.
- Павловъ, Н. Ф. 116, 129, 134.
- Палаузовъ. 147.
- Пальховскій. 120.
- Панаевъ, И. И. 112, 114—117.
- Песталоцци. 173, 188.
- „Петербургскій Вѣстникъ“, 114—116.
- Петръ I. 94, 185.
- Писемскій. 12, 37, 111, 113, 123, 128, 134, 137, 143, 152.
- „Подводный Камень“, Авдѣева. 119, 120.
- Полевой. 126.
- „Полинья Саксъ“. 119.
- Полонскій. 122, 132.
- „Постоялый Дворъ“, Степанова. 126.
- „Прекрасная Астраханка“. 138, 142.
- „Прогрессъ и опредѣленіе образованія“, статья Л. Н. Толстого. 199—213.
- Пушкинъ. 37, 54, 74, 75, 94—96, 98, 121, 126, 127, 132, 136, 137, 139—141, 143, 150—152, 154.
- Радклифъ, Анна. 126.
- „Развлеченіе“. 155.
- „Ревизоръ“, Гоголя. 74, 150.
- „Родословная“, Пушкина. 151.
- Россель. 46.
- „Рубка Лѣса“. 18—20, 27—33, 43, 49, 71, 72, 91, 93, 100, 101, 109.
- „Русская Бесѣда“. 108, 137, 154.
- „Русская Рѣчь“. 115, 133, 134, 153.
- „Русскій Вѣстникъ“. 115, 116, 129, 136—139, 141—143, 145—150, 153, 154, 177, 204, 205.
- Руссо. 173, 188, 201, 202.
- „Свѣточъ“. 114.
- Свѣчина. 153.
- „Севастополь въ августъ“. 43, 46, 72, 91—93, 97, 109.
- „Севастополь въ декабрѣ мѣсяцъ“. 17, 18, 22, 33—40, 43, 91, 93, 109.
- „Севастополь въ мартъ“. 43, 109.
- „Севастополь въ майъ“. 91, 93, 109.
- „Семейная Хроника“, Аксакова. 113, 127.
- „Семейное Счастье“. 119, 120, 123.
- „Семейный Кругъ“. 114.
- Сильвіо Пеллико. 116.
- Скобелевъ. 40, 90.
- Скоттъ. 68.
- Снегиревъ. 40.
- „Современникъ“. 5, 14, 15, 17, 49, 72, 73, 100—108, 112, 114, 123, 136, 139, 149, 155—177.
- Сокольскій. 42.
- Соловьевъ. 146.
- „Сонъ Обломова“, Гончарова. 4, 5.

- „С.-Петербургскія Вѣдомости“. 134.
 Станюковичъ. 114.
 Степановъ. 126.
 „Сѣверный Цвѣтокъ“. 115, 116.
 Таторскій. 42.
 „Теорія и практика Яснополянской школы“, статья Е. Маркова. 177—199.
 „Times“ 45, 46.
 „Три Портрета“, Тургенева. 148.
 „Три Смерти“. 124.
 Тургеневъ. 5, 7, 12—14, 37, 54, 63, 74, 75, 85, 110, 122, 128, 134, 139, 142, 148, 149.
 Туръ, Евгенія. 134, 153, 154.
 Тютчевъ. 3, 4, 122, 132.
 Устряловъ. 166.
 Утилова. 116.
 „Утро Помѣщика“. 100—108.
 „Фаустъ“, Гёте. 121.
 „Фаустъ“, Тургенева. 85.
 Фетъ. 3, 4, 54, 122, 132.
 Фурье. 133, 145.
 „Холодный Домъ“, Диккенса. 2.
 Хомяковъ. 128, 145.
 „Хоръ и Калинычъ“, Тургенева. 74, 128.
 Чернышевскій, Н. 73—89, 128, 129.
 Чичеринъ. 146.
 Шекспиръ. 126, 192.
 Шиллеръ. 67, 139, 201.
 Шмидтъ. 198.
 Щедринъ. 148, 149.
 „Юность“. 74, 101, 109, 123.
 „Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой“. „Графъ Л. Н. Толстой и его сочиненія“, статья А. Григорьева. 117—155.
 Якушкинъ. 135.
 „Ясная Поляна“. 114, 155—199.
 Эоктистовъ. 115, 116.



ВЪ СКЛАДЪ ИЗДАНИЙ

В. А. Зелинскаго

(Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозжухина)

находятся слѣдующіе сборники критическихъ статей:

Собрание критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. 1-й выпускъ, изд. 4-е. Цѣна 2 р. 2-ой выпускъ, изд. 4-е. Состоитъ изъ двухъ частей. Цѣна 3 р.

Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

Сборникъ критическихъ статей о Некрасовѣ. Три части. М. Изд. 2-е. Цѣна 3 р.

Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. М. Цѣна 7 р. (1-я часть вышла 3-мъ изданіемъ, а 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6 части вышли 2-мъ изданіемъ).

Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Цѣна 8 р. (1-я часть вышла 3-мъ изданіемъ, а 2-я, 3-я, 4-я и 5-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна 3 р. (1-я и 2-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а 3-я часть—2-мъ изданіемъ).

Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Ц. 50 к.

Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть. (Первая, вторая и третья части вышли 2-мъ изданіемъ).

Критическіе разборы „Дворянскаго Гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненія изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. М. 1903 г. Ц. 70 к.

Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. Ц. 2 р.

А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“). Ц. 2 р.

Критическіе разборы „Записокъ Охотника“—Тургенева. Ц. 40 к.

РУССКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ЛІТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Л. Н. ТОЛСТОГО.

Хронологическій сборникъ критико-библіогра-
фическихъ статей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

МОСКВА.

Типографія И. А. Баландина. Волхонка, д. Михалкова.

1900.

Seav 4354.2.1020
✓



Prof. George F. Noyes

Оглавленіе второй части.

Критика шестидесятихъ годовъ.

1862-й годъ.

	Стр.
„Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой. Графъ Л. Толстой и его сочиненія. Статья вторая“. Статья Ап. Григорьева	1

1863-й годъ.

Разборы повѣсти „Назани:“

Е. Эдельсона	32
Я. Полонскаго.	58
П. Анненкова.	66
Евгеніи Туръ (гр. Салиасъ)	88
Изъ „Современника“	109
— „Сѣверной Пчелы“	131

„Ясная Поляна.“

Критическія статьи:

Изъ „Современника“	139
— „Времени“. Статья Игдева (И. Г. Долгомо- ева?).	159

1864-й годъ.

„Дѣтство, отрочество и юность.“

Критическая статья Д. И. Писарева.	178
--	-----

1865-й годъ.

„Н а з а н и.“

Критическія статьи:

Е. Маркова.	210
Д. И. Писарева.	239
Изъ „Книжнаго Вѣстника“	243

„Сочиненія гр. Л. Н. Толстого.“

Статья А. Пятковского	245
Замѣтка изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“	253



Алфавитный указатель

собственных именъ, сочиненій, статей, книгъ, журналовъ и газетъ, встрѣчающихся на страницахъ второй части „Русской критической литературы о произведеніяхъ Л. Н. Толстого“.

- Аксаковъ И. С. 31.
„Альбертъ“. 1, 2, 19, 30.
„Американскія степи“. 215
Анненковъ П. 66, 87.
Ауэрбахъ. 215.
Байронъ. 3, 25, 132.
„Барышня-крестьянка“. 8.
„Библиотека для Чтенія“. 32.
Бокль. 150, 163, 168, 169, 171, 173, 174, 175.
„Бѣдная невѣста“. 20.
Бѣлинскій. 25, 64.
Бюхнеръ. 168.
Вагнеръ Р. 169.
„Военные рассказы“. 2, 29.
„Воспитаніе и Образованіе“. 143, 160, 163.
„Время“. 1, 8, 58, 159, 173, 178.
„Встрѣча въ отрядѣ“. 2, 29, 30.
„Выстрѣлъ“. 26.
„Гаврило Михайловъ“. 138.
„Герой нашего времени“. 132.
Гете. 7, 5.
Гоголь. 4, 5, 6, 7, 8, 25, 58.
Гончаровъ. 4, 5, 6, 17, 20, 30, 138.
Гофманъ. 26.
Григоровичъ. 138.
Григорьевъ. Ап. 1, 31, 244, 245.
„Гробовщикъ“. 8.
Грубе. 166.
Дарвинъ. 168, 169, 241.
„Два гусара“. 2, 29, 30.
„День“. 31, 141, 160.
Диккенсъ. 226.
Добролюбовъ. 170.
Достоевскій. 7, 18, 31, 159.
Дружининъ А. В. 138.
„Дубровскій“. 8, 31.
„Дѣтство“. 2, 3, 4, 18, 27, 28, 43, 67, 178, 210, 243, 244, 245, 246, 253.
„Евгеній Онѣгинъ“. 10, 142.
Жоржъ Зандъ. 223.
„Записки маркера“. 2, 4, 19, 31, 246.
„Идеалы“. 200.
„Иллюстрація“. 178.

- „Кавказскія очерки“. 244, 246.
 „Кавказскій плѣнникъ“. 224, 252.
 „Казакъ“. 32, 43, 57, 58, 60, 66, 76, 88, 101, 109, 112, 113, 114, 131, 135, 138, 139, 178, 210, 232, 235, 238, 244, 247, 251.
 Канова. 238.
 Кантъ. 166.
 „Капитанская дочка“. 7, 31.
 „Капразъ“. 12.
 Кирѣевскій. 141, 159.
 „Книжный Вѣстникъ“. 243, 245.
 Кольцовъ. 7, 24, 25, 31.
 Костомаровъ. 162.
 Костровъ. 24.
 Кохановская. 41, 87, 138.
 Крестовскій, Вс. 245.
 Куперь. 211.
 Лермонтовъ. 3, 9, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 70, 132.
 Либихъ. 241.
 „Лѣтопись села Горохина“. 16.
 Льюисъ. 150, 168, 169, 170, 171.
 „Люцернъ“. 1, 2, 4, 6, 19, 30, 31, 68, 200, 244, 247.
 Марко-Вовчокъ. 35, 219, 220.
 Марковъ Е. 210, 217, 223, 233, 236, 238, 239, 241, 242, 243.
 Марлинскій. 18, 30, 132.
 „Маякъ“. 26.
 „Мертвый домъ“. 6, 18, 31.
 „Метель“. 2, 8, 9, 29, 34.
 Милль. 168, 169.
 Милоновъ. 24.
 Молешоттъ. 150, 162, 168, 171.
 Мольеръ. 26.
 Моцартъ. 7.
 Мочаловъ. 24.
 „Мцыри“. 70.
 „Набѣгъ“. 244, 246.
 Некрасовъ. 7, 31, 138.
 „Обломовъ“. 133.
 „Онѣгинъ“. 25, 26.
 Островскій. 7, 15, 18, 21, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 138.
 „Отечественныя Записки“. 24, 88, 210, 238, 239.
 „Отрочество“. 2, 3, 18, 27, 28, 29, 43, 67, 178, 243, 244, 245, 246, 247, 253.
 Оуэнъ. 130, 168.
 „Очерки военныхъ дѣйствій“. 131.
 „Очерки прошлаго“. 8.
 Панаевъ. 138.
 Песталоцци. 146, 165, 166, 244.
 „Петербургскія Вѣдомости“. 66, 76, 253.
 Печерскій. 138.
 „Пиковая дама“. 26, 28.
 Пироговъ. 170.
 Писаревъ. 178, 210, 239, 243, 245.
 Писемскій. 4, 5, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 30.
 Погодинъ М. П. 141, 160.
 „Подводный камень“. 210.
 Полежаевъ. 24.

- „Поликушка“. 131, 139, 246.
- Полонскій Я. 58, 66, 134.
- „Промахи незрѣлой мысли“. 178.
- Пушкинъ. 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 61, 62, 63, 70, 242.
- Пятковский А. 245, 253.
- Рафаэль. 7.
- „Рубка лѣса“. 15, 131, 138, 244, 246.
- „Русалка“. 31.
- „Русскій Вѣстникъ“. 32, 88, 111, 135, 139, 253.
- „Русское Слово“. 178, 239, 243, 245, 250, 251.
- Руссо. 70, 83, 166, 174, 237.
- Салтыковъ. 165.
- „Севастополь въ августѣ“. 138.
- „Севастопольскія воспоминанія“. 243, 244, 246.
- „Семейное счастье“. 2, 4, 6, 31, 43, 244, 246.
- „Сильвіо“. 8.
- „Современникъ“. 109, 131, 138, 139, 140, 142, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 245, 252.
- „Солдаткино житье“. 75.
- Соллогубъ гр. 28.
- „Станціонный смотритель“. 8.
- „Старые годы“. 138.
- Стелловскій. 245, 253.
- Страховъ. 170.
- „Сѣверная Пчела“. 131, 139.
- „Три смерти“. 2, 6, 19.
- Тургеневъ. 4, 5, 9, 17, 18, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 113, 138.
- Туръ Евгенія. 28, 88, 97, 106, 109, 211, 213, 238, 239.
- „Тысяча восемьсотъ пятый годъ“. 243, 253.
- Успенскій. 34, 35.
- „Утро помѣщика“. 191, 200, 250.
- Фребель. 166, 244.
- „Цвѣты невиннаго юмора“. 210.
- „Цыгане“. 61, 70.
- „Чайльдъ Гарольдъ“. 25.
- Чужбинскій. 8.
- Шекспиръ. 211.
- Шеллингъ. 166.
- Шиллеръ. 200.
- „Шинель“. 59.
- Щедринъ. 34, 66, 165.
- Эдельсонъ Е. 32, 57, 244, 245.
- „Юность“. 2, 4, 27, 28, 29, 179, 180, 247.
- „Ясная Поляна“. 31, 69, 74, 75, 111, 113, 139, 140, 143, 146, 153, 158, 159, 160, 162, 165, 238, 245.



КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1862 г.

(Продолженіе).

*) Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой.

Графъ Л. Толстой и его сочиненія.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ **).

Въ первой статьѣ своей я, опредѣливши общее значеніе дѣятельности графа Л. Толстого, былъ долженъ поневолѣ пуститься въ разысканіе причинъ того страннаго факта, что эта въ высокой степени своеобразная и замѣчательная дѣятельность прошла незамѣченною передъ нашей критикой. Виною тому, какъ старался доказать я, было то, что критика наша перестала быть критикой литературною, т.-е. другими словами говоря, что литература перестала быть для направленій нашей критики полнѣйшимъ выраженіемъ и откровеніемъ жизни. Я намекнулъ уже, что самая дѣятельность замѣчательно-даровитаго писателя разошлась съ требованіями различныхъ болѣе или менѣе теоретическихъ направленій, что самое появленіе нѣкоторыхъ изъ его вещей, какковы, напр., „Альбертъ“ и „Люцернъ“ въ журналѣ теоретиковъ—одинъ изъ странно-вопіющихъ фактовъ для мыслящаго наблюдателя.

*) Ал. Григорьевъ. „Время“ 1862 г., № 9.

**) Первую статью см. „Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого“, ч. 1, стр. 125.

Но вѣдь ни „Альбертъ“, ни „Люцернъ“, ни „Три смерти“, ни наконецъ „Семейное счастье“ не составляютъ въ дѣятельности самого писателя какого-либо крутого поворота. Эти произведенія—прямое и притомъ не только логическое, но органическое послѣдствіе того же самаго психическаго процесса, который раскрывается въ предшествовавшихъ его произведеніяхъ,—завершеніе того же анализа, который такъ поразилъ всѣхъ въ этихъ предшествовавшихъ произведеніяхъ...

Дѣятельность Толстого, какъ она до сихъ поръ обозначалась, можно раздѣлить собственно на три категоріи: 1) чисто аналитическія произведенія, каковы „Дѣтство“ и „Отрочество“, „Юность“; 2) художественныя этюды, свидѣтельствующіе о необыкновенной силѣ и особенности таланта, но имѣющіе совсѣмъ характеръ этюдовъ, характеръ чисто внѣшній, каковы „Метель“ и „Два гусара“, и 3) на результаты анализа, болѣе или менѣе удачныя и полныя, въ которыхъ художникъ стремится уже къ созданію самостоятельныхъ типовъ, къ воплощенію въ образы того, что добыто имъ посредствомъ анализа. Это или попытки, хотя и удивительныя, но нѣсколько голыя, догматическія, каковы: „Записки маркера“, „Встрѣча въ отрядѣ“, „Альбертъ“, „Люцернъ“, „Три смерти“; или совершенно органическія, живыя созданія: „Военные рассказы“ и „Семейное счастье“. Разумѣется, такое раздѣленіе справедливо только по отношенію къ общему характеру этихъ произведеній. Элементъ органическій, элементъ художественнаго творчества присутствуетъ, и притомъ присутствуетъ въ замѣчательной степени въ произведеніяхъ совершенно аналитическихъ; элементы анализа, и притомъ самаго смѣлаго, входятъ и въ этюды, ибо вся дѣятельность Толстого, вмѣстѣ взятая, есть живая, органическая дѣятельность. Раздѣленіе принято здѣсь только, какъ руководная нить для разъясненія нравственно-художественнаго процесса.

Толстой, какъ уже сказано было въ первой статьѣ, кинулся прежде всего всѣмъ въ глаза своимъ безпощаднымъ анализомъ. Анализъ поразилъ всѣхъ какъ въ „Дѣтствѣ“ и

„Отрочествѣ“, такъ и въ самыхъ „Военныхъ разсказахъ“, — первомъ и полномъ художественномъ выраженіи психического процесса.

Какого же свойства этотъ анализъ? съ чего онъ начинается, какъ выражается, куда ведетъ и чѣмъ онъ различенъ отъ анализа другихъ художниковъ-аналитиковъ? Вотъ вопросы, которые должна поставить себѣ для разрѣшенія критика.

У художника, если онъ дѣйствительно художникъ, анализъ не можетъ быть голый: онъ облекается непременно въ поэтическіе образы, онъ приковывается даже иногда къ одному образу, преслѣдующему художника во все продолженіе его дѣятельности и видоизмѣняющемуся сообразно съ ея различными фазисами. Иногда этотъ образъ, этотъ нравственный идеалъ самого художника, раздвояется, какъ, напримеръ, у Пушкина — на Онегина и Ленскаго, у Лермонтова — на Арбенина и Звѣздича, на Печорина и Грушницкаго. Раздвоеніе образа есть, конечно, всегда признакъ движенія впередъ самого художника, становящагося въ критическое отношеніе къ преслѣдующему его образу, и результатами своими оно, это раздѣленіе, гораздо богаче мрачно-сосредоточенной односторонности, которая могла вполне узакониться, можетъ быть, только разъ, въ лицѣ Байрона, — да и у того типъ нѣсколько двоится, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ краскамъ — на Гарольда и Донъ-Жуана.

Во всякомъ случаѣ у самыхъ объективныхъ, равно какъ у самыхъ субъективныхъ художниковъ, можно доискаться одного главнаго, преслѣдующаго ихъ образа. Чѣмъ художникъ по натурѣ шире, тѣмъ шире и его идеалъ, его любимый образъ, тѣмъ онъ народнѣе; но что нравственная жизнь художника воплощается въ извѣстномъ, видоизмѣняющемся и часто двоящемся образѣ, — это не подлежитъ сомнѣнію.

У Толстого точно также есть этотъ преслѣдующій его образъ, къ которому приковался его анализъ, то лицо, отъ имени котораго разсказываетъ онъ „Дѣтство“, „Отрочество“

и „Юность“ и которое въ „Семейномъ счастьѣ“ мѣняеть только полъ и является женщиной. Образъ этотъ раздвояется—но раздвояется только внѣшне—въ „Запискахъ маркера“, въ „Люцернѣ“, являясь княземъ Нехлюдовымъ и представляя только крайнія, послѣднія грани того анализа, который отличаетъ героя „Дѣтства, отрочества и юности“ отъ другихъ современныхъ героевъ... Онъ и Нехлюдовъ—вовсе не то, что Онѣгинъ и Ленскій, что съ другой стороны Пушкинъ—лирикъ и Пушкинъ—Бѣлкинъ; не то, что Арбенинъ и Звѣздичъ, изъ сліянія которыхъ является Печоринъ, и не то, что Печоринъ и Грушницкій, т.-е. идеаль и пародія. Нехлюдовъ—крайняя грань цѣльнаго психическаго процесса, и мало того,—жизненное послѣдствіе той особенной обстановки такъ называемаго аристократическаго мірка, въ которой онъ заключенъ какъ въ раковинѣ и изъ которой выбивается, очевидно, герой „Дѣтства, отрочества и юности“... Во всякомъ случаѣ психическій процессъ не раздвояется, а только доходитъ до своихъ крайнихъ граней...

Предполагая, что всѣ читатели знакомы съ произведеніями Толстого, по крайней-мѣрѣ, съ главными изъ нихъ (ибо читатели вовсе незнакомые съ ними, по всей вѣроятности, не станутъ читать моей статьи), я не буду приводить выписокъ и ограничусь, какъ всегда, только указаніями.

Основная черта, поразившая всѣхъ въ психическомъ процессѣ, раскрывавшемся въ произведеніяхъ Толстого, была—повторяю еще разъ—анализъ необыкновенно новый и смѣлый, анализъ такихъ душевныхъ движеній, которыхъ еще никто не анализировалъ. Не „пошлость пошлаго чловѣка“ обличалъ Толстой, подобно Гоголю; не смѣялся онъ болѣзненнымъ смѣхомъ Гамлета шигровскаго уѣзда надъ несостоятельностью такъ называемаго развитого чловѣка, какъ Тургеневъ; не противопоставалъ онъ, какъ Писемскій, здоровый, хотя и грубоватый, хотя и нѣсколько низменный взглядъ на жизнь мишурно сдѣланныхъ, заказныхъ или подогрѣтыхъ чувствованій; не относился, какъ Гончаровъ, къ идеализму во имя узкой практичности, къ праздной

мысли во имя узкого и условнаго дѣла,—но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось всѣми, что у него есть что то общее со всѣми исчисленными стремленіями, что онъ—разумѣется полусознательно, полубезсознательно, какъ всякій художественный талантъ—разрабатываетъ одну и ту же съ поименованными художниками задачу эпохи. Близкій къ Тургеневу поэтическою нѣжностію чувства и глубокою симпатіею къ природѣ, но діаметрально противоположный ему своей трезвостію взгляда, безпощадною ко всѣмъ мало-мальски необыденнымъ ощущеніямъ, своей враждою ко всякой фальши, какъ бы она ни была блестяща,—онъ этими послѣдними качествами былъ бы всего ближе къ Писемскому, если бы этотъ реализмъ былъ ему *прирожденъ*, а не *порожденъ* анализомъ. Своимъ внѣшнимъ, враждебно недоувѣрчивымъ отношеніемъ къ идеализму, онъ былъ бы сходенъ съ Гончаровымъ, если бы законнымъ образомъ поставилъ себѣ идеальчикъ въ практичности. Съ другой стороны, своей безпощадностію къ пошлости, таящейся не только въ пошломъ, но и во всякомъ человѣкѣ, онъ какъ будто развиваетъ задачи Гоголя, но онъ не плачетъ ни о какомъ разбитомъ кумирѣ, ни о какомъ условно-прекрасномъ человѣкѣ. Общаго у него со всѣми этими задачами эпохи одно: отрицаніе.

Отрицаніе чего?

Да всего наноснаго, напускнаго въ нашемъ фальшивомъ развитіи. Отрицаніемъ онъ, по происхожденію и воспитанію разьединенный съ почвою, старается, какъ всѣ, дорыться до почвы, до простыхъ основъ, до первоначальныхъ слоевъ. Особенность его въ томъ, что онъ роется глубже всѣхъ другихъ. Онъ не удовлетворяется, какъ Тургеневъ, тѣмъ, чтобы издали благоговѣйно увидѣть почву и поклониться ей въ восторгѣ Моисея, узрѣвшаго обѣтованную землю. Ему (для ясности позволю себѣ сказать примѣромъ) а до того, чтобы почувствовать только черноземную силу и Уварѣ Ивановичѣ,—онъ хотѣлъ бы разгадать и въ самомъ себѣ поднять эту сиднемъ сидящую силу. Онъ не беретъ также, смахнувши слои фальшиваго идеализма, при-

нять, какъ Гончаровъ, за слои настоящіе—столь же на-
носные, но гораздо болѣе грязные слои практичности и
формализма; онъ не останавливается и на тѣхъ, пови-
димо, прочныхъ, но въ сущности только загрубѣлыхъ
слояхъ, на которыхъ твердо ногою стоитъ Писемскій; онъ
такъ же мало способенъ симпатизировать, положимъ, хотъ
Задоръ-Мановскому или даже Павлу Бешметеву, какъ Ель-
чанинову и Бахтіарову, такъ же мало тетушкѣ ипохондрика
Соломонидѣ, какъ и Дурнопечину... Съ идеалами же на
воздухъ, со всякимъ созиданіемъ сверху, а не снизу, съ
тѣмъ, что погубило нравственно и даже физически самого
Гоголя, онъ способенъ помириться всего менѣе... Онъ только
роется въ глубь, добросовѣстно роется, руководимый своимъ
необычайнымъ анализомъ, и еще не дорывшись, кончаетъ
пантеистическою скорбію „Люцерна“, скорбію за жизнь и
ея идеалы, отчаяніемъ за все сколько-нибудь искусственное
и сдѣланное въ душѣ человѣческой, отчаяніемъ очевиднымъ
въ „Трехъ смертяхъ“, изъ которыхъ самою нормальною
является смерть дуба, суровою покорностью судьбѣ, не
падающей цвѣта человѣческихъ чувствъ въ „Семейномъ
счастьи“, и затѣмъ—апатією, безъ сомнѣнія, временною и
переходною.

Апатія ждала непременно на срединѣ такого глубоко-
искренняго психическаго процесса, но что она не конецъ
его,—въ этомъ, вѣроятно, никто изъ вѣрующихъ въ силу
таланта вообще и понявшихъ силу таланта Толстого даже
и не сомнѣвается. Недавно еще такое явленіе, какъ „Мер-
твый домъ“, доказало намъ, что силы не умираютъ, не за-
бываются судьбою, а встаютъ могучѣе послѣ добровольной
или принужденной инерціи.

Начала того отрицательнаго процесса, котораго Толстой
является вмѣстѣ съ другими представителемъ и вмѣстѣ съ
тѣмъ современною жертвою, лежатъ не въ Гоголѣ, а въ
Пушкинѣ. Гоголь вмѣстѣ съ другими, хотя и глубже всѣхъ
другихъ доводилъ до извѣстныхъ граней задачи, указанныя
Пушкинымъ.

Говоря о Толстомъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ зна-

чительныхъ представителей нашего отрицательнаго процесса, не минуешь нѣкотораго повторенія того, что уже нѣсколько разъ высказывалъ я о началѣ, объ исходной точкѣ этого процесса.

До сихъ поръ еще только въ цѣльной натурѣ Пушкина, въ ея борьбѣ съ различными тревожившими ее и пережитыми ею идеалами, заключается для насъ слово разгадки нашихъ стремленій.

Есть натуры, предназначенныя на то, чтобы намѣтить заразъ грани процессовъ, набросать полныя и цѣльныя, хотя только очерками обозначенныя идеалы, и такая-то именно натура была у Пушкина. Пушкинъ все наше пере-чувствовалъ—отъ любви къ загнанной старинѣ до сочувствій къ реформѣ, отъ нашихъ страстныхъ увлеченій блестящими, эгоистически-обаятельными идеалами до смиреннаго служенія Савелья („Капитанская дочка“), отъ нашего разгула до нашей жажды самоуглубленія, жажды „матери-пустыни“, и только смерть помѣшала ему воплотить наши высшія стремленія, весь духъ кротости и любви въ просвѣтленномъ образѣ Тазита, смерть, которая почти всегда уноситъ преждевременно набрасывателей многообъемлющаго и многосодержащаго идеала, которая унесла, напримѣръ, Рафаэля и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный законъ, по которому недолговѣчно все разметывающееся въ ширину и коренится какъ дубъ односторонняя глубина.

Я говорилъ уже не разъ, что, за исключеніемъ совершенно новыхъ въ литературѣ нашей явленій, имѣющихъ только общенѣсторическую, преемственную связь съ Пушкинымъ, каковы со всѣми ихъ достоинствами и недостатками Кольцовъ, Островскій, Некрасовъ и Достоевскій,—въ нашей современной литературѣ нѣтъ ничего истинно-замѣчательнаго и правильнаго, что въ своемъ зародышѣ не исходило бы у Пушкина.

Такъ весь отрицательный процессъ нашъ, не исключая же и самого Гоголя, по прямой линіи ведетъ свое начало отъ взгляда на жизнь Ивана Петровича Бѣлкина. Мно-имъ господамъ, преимущественно привыкшимъ благоговѣть

передъ именами и авторитетами, мысль эта, высказанная въ первый разъ,—и высказанная притомъ ex abrupto, безъ надлежащей ясности, показалась чудовищно-парадоксальною. Но ко всякому чудовищу можно привыкнуть, тѣмъ болѣе что ни за славу Гоголя, ни за славу даже новыхъ литературныхъ корифеевъ нашихъ бояться нечего.

Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Какое же — спрошу я опять, но послѣ многихъ толковъ моихъ во „Времени“ спрошу настоятельнѣе—какое душевное состояніе выразилъ намъ поэтъ въ этомъ типѣ и каково его собственное душевное отношеніе къ этому типу, влѣзая въ кожу котораго, принимая жизненные воззрѣнія котораго, онъ рассказываетъ намъ множество добродушныхъ исторій, на первый разъ даже не нравящихся своимъ добродушіемъ и простотою, но въ сущности таящихъ въ себѣ задачи весьма глубокія?...

Пробовали ли читатели въ лѣта своей зрѣлости перечесть „повѣсти Бѣлкина“, эти повѣсти, которыя въ лѣта пылкой молодости привели ихъ въ негодованіе за упадокъ таланта и силъ пѣвца Алеко и Плѣнника, повѣсти, изъ которыхъ нѣкоторыя казались имъ ужасно пустыми, какъ „Метель“, а нѣкоторыя даже водевильными, какъ „Барышня-крестьянка“. Они только въ первой изъ нихъ, въ „Сильвіо“, видѣли отраженіе пушкинскаго генія, именно потому, что здѣсь остался слѣдъ борьбы съ мучительнымъ и тревожнымъ идеаломъ. Въ „Сильвіо“ дѣйствительно одинъ изъ ключей къ уразумѣнію нравственнаго процесса поэта. Но, вѣдь, въ другихъ-то простодушныхъ рассказахъ—если вы перечтете ихъ теперь, когда почти тридцать лѣтъ прошло съ перваго появленія ихъ на свѣтъ Божій—вы найдете en germe, въ зернѣ, и простыя изображенія простой дѣйствительности, непонятно свѣжія до сихъ поръ еще, хотя и сдѣланныя очерками (какъ „Гробовщикъ“), и симпатичность отношеній къ загнаннымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ“ сантиментальнаго натурализма („Станціонный смотритель“), и... мало ли что вы въ нихъ найдете! Можетъ быть, вы даже съ „Ба-

рышней-крестьянкой“ и съ „Метелью“ помириться?... Вѣдь, читаете же вы, напр., съ удовольствіемъ—хоть въ „Очеркахъ прошлаго“ г. А. Чужбинскаго изображеніе моншера Самограева, и признаете законность этого изображенія...

Но, вѣдь, въ кожѣ Бѣлкина, въ духѣ Бѣлкина, въ тонѣ Бѣлкина разсказаны еще намъ поэтомъ такіе разсказы, какъ „Дубровский“, какъ семейная хроника Гриневыхъ, эта нисколько не потерявшая своей красоты и свѣжести родоначальница всѣхъ нашихъ „семейныхъ хроникъ“.

Въ типѣ Бѣлкина, который такъ полюбился нашему поэту, выразились начала нашего отрицательнаго (въ отношеніи къ нашему напряженному развитію) процесса.

Что же такое этотъ пушкинскій Бѣлкинъ,—тотъ самый Бѣлкинъ, который проглядываетъ потомъ подъ другими формами въ повѣстяхъ Тургенева, — которому въ произведеніяхъ Писемскаго страшно хотѣлось взять верха надъ фальшиво-блестящимъ и фальшиво-страстнымъ типомъ, которому съ излишкомъ, черезъ жѣру даетъ права Толстой, — котораго нѣсколько иронически, но съ невольною симпатіею повторяетъ даже Лермонтовъ въ Максимѣ Максимычѣ.

Бѣлкинъ пушкинскій есть простой здравый толкъ и простое здоровое чувство, кроткое и смиренное, толкъ, вопіющій противъ всякой блестящей фальши, чувство, возстающее законно на злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать. Стало-быть, въ сущности это начало только отрицательное, и право оно только, какъ отрицательное, ибо предоставьте его самому себѣ, — оно способно перейти въ застой, мертвящую глѣнь, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.

Посмотрите на этотъ отрицательный типъ у самого Пушкина вездѣ, гдѣ онъ у него самолично является, или гдѣ и этъ повѣствуетъ въ его тонѣ, съ его взглядомъ на жзнѣ. Запуганный страшнымъ призракомъ Сильвіо, его мачной сосредоточенностью въ одномъ дѣлѣ, въ одной и гительной мысли, онъ еще сомнѣвается въ томъ, что Сильвіо *можетъ* существовать. Онъ знаетъ только, что онъ

самъ вовсе не Сильвію, и боится этого типа. „Нѣтъ ужъ—говоритъ онъ—лучше пойду къ людямъ попроще!“ и первый опускается въ простые, такъ называемые низменные слои жизни...

Читатели помнятъ, вѣроятно, мѣсто въ отрывкахъ главы, не вошедшей въ поэму Онѣгина и нѣкогда предназначавшейся поэтомъ на то, чтобы привести существованіе Онѣгина въ многообразныя столкновенія съ русской жизнью и почвой (какъ свидѣлствуютъ уцѣлѣвшія строфы), привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разные очныя ставки съ дѣятельною, сурово-хлопотливою, дѣйствительною жизнью. Эти отрывки, хотя они и отрывки, въ высшей степени знаменательны для уразумѣнія нашего отрицательнаго процесса.

Въ этихъ отрывочныхъ строфахъ Онѣгинъ является для насъ съ совершенно новой стороны, какъ личность, которой, несмотря на всю бурно-прожитую, тревожную жизнь, все-таки некуда дѣвать своихъ силъ, своего здоровья, своей жизненности.

Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка...
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска!

И, разумѣется, тоскою о томъ, что много еще силъ, много еще здоровья и крѣпости жизни, долженъ былъ кончить Онѣгинъ, какъ отраженіе извѣстнаго момента нашего нравственнаго развитія процесса, но не тоскою только, а поворотомъ къ почвѣ кончаетъ живая, многообъемлющая натура самого поэта:

Порой дождливою намедни
Я завернулъ на скотный дворъ...
Тьфу! прозябческія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ!
Таковъ ли былъ я расцвѣтая?
Скажи, фонтанъ Бахчисарая,
Такія ль мысли мнѣ на умъ
Взводилъ твой безконечный шумъ?

Эта выходка поэта—не столько негодование на прозаизмъ и мелочность окружающей его жизненной обстановки, сколько невольное сознание того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою, что онъ въ душѣ остался какъ отсадокъ послѣ всего кипучаго броженія, послѣ всѣхъ напряженій и тщетныхъ попытокъ окаменѣть въ байроновскихъ формахъ. И тщета этой борьбы съ собственною душою, и негодование на то, что послѣ борьбы остался такой отсадокъ, негодование, подъ которымъ уже кроется любовь къ почвѣ—одинаково знаменательны:

Какія-бъ чувства не таились
Тогда во мнѣ,—теперь ихъ нѣтъ.
Они прошли или измѣнились...
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, водъ края жемчужны,
И моря шумъ и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеаль,
И безыменныя страданья...
Другіе дни, другіе сны!...
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтический бокаль
Воды я много подмѣшала...
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косоюрь,
Передъ избушкой дѣтъ рябинъ.
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ стърснѣкія тучи,
Передъ умукомъ соломы кучи
Да прудъ подъ спынью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ...
Теперь милѣй мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порокомъ кабака;
Мой идеаль теперь хозяйка,
Мои желанія—покой
Да шей горшокъ, да самъ большой.

Поразительна эта простодушнѣйшая смѣсь ощущеній самыхъ разнородныхъ,—негодованія и желанія набросить на

картину колорить самый сѣрый, съ невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной красоты... Это чувство — наше родное, такъ сказать, наше типовое чувство... Оно только что очнулось отъ тревожно лихорадочнаго сна, только что вырвалось изъ кипящаго страшнымъ броженіемъ омута. Оно оглядывается на Божій свѣтъ, встряхиваетъ кудрями, чувствуетъ, что все вокругъ его то же, такое же, какъ было до сна; чувствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что и само оно то же, такое же, какимъ было до борьбы съ призраками, и юношески недовольно тѣмъ, что оно свѣжо и молодо послѣ всѣхъ схватокъ съ подводными чудовищами...

Но кружась въ водоворотѣ этого омута, наше сознание видѣло такіе сны, и образы сновъ такъ ясно въ немъ отпечатлѣлись, что въ призрачной борьбѣ съ ними, мѣряясь съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя... Какъ же это оно такъ молодо, здорово, испытавши столько, и какъ же, испытавши столько, оно опять видитъ передъ собою прежнюю обстановку? Вѣдь въ борьбѣ, хотя и призрачной, оно узнало самого себя, узнало, что не только эту бѣдную и обыденную обстановку можетъ воспринять и усвоить, но и всякую другую, какъ бы эта другая ни была сложна, широка и великолѣпна. Пусть на первый разъ оно разъяснило себя въ чужой обстановкѣ, т.-е. пусть на первый разъ мѣра силы познана въ примѣркѣ къ чужому, для нея призрачному—да сила-то ужъ сама себя знаетъ, и знаетъ кромѣ того, что ей мала, бѣдна и узка обыденная обстановка дѣйствительности. А между тѣмъ и въ самомъ круженіи, въ самой борьбѣ съ призрачнымъ, чуждымъ міромъ, силы чувствовали минутные припадки непонятнаго влеченія къ этой самой, повидимому столь узкой и скудной обстановкѣ, къ своей собственной почвѣ.

Негодование силъ, извѣдавшихъ уже „доброе и злое“, выразившись у Пушкина въ выше приведенныхъ строфахъ, еще сильнѣй казалось въ стихотвореніи, которое самъ онъ называлъ „Капризомъ“:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый и проч.,

но не осталось только негодованіемъ, а перешло въ серьёзную думу мужа о своихъ отношеніяхъ къ міру призрачному и міру дѣйствительному...

Въ тѣ дни, когда муза, по словамъ его, услаждала ему

Путь нѣмой
Волшебствомъ тайнаго разказа ,

когда... но пусть лучше говоритъ онъ самъ:

Какъ часто по скаламъ Кавказа
Она Ленорой при лунѣ
Со мной скакала на конѣ...
Какъ часто по брегамъ Тавриды
Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шумъ морской,
Немолчный шопотъ Нереиды,
Глубокій, вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ отцу міровъ,—

въ эти дни молодого и кипучаго вдохновенія великая натура мѣряла свои силы со всѣмъ великимъ, что уже она встрѣчала даннымъ и готовымъ, подвергаясь равномерно вліянію и свѣтлыхъ и темныхъ его сторонъ...

Оказалось, что на „вся добрая и злая“ у нея есть удивительная воспріимчивость и отзывчивость; что притомъ эта воспріимчивость и эта отзывчивость не могутъ остановиться на среднемъ пути, а ведутъ всякое сочувствіе до крайнихъ его предѣловъ, и что наконецъ натура все-таки не можетъ перестать любить своего типового, не можетъ не стремиться къ нему, не можетъ забыть своей почвы. Это стремленіе скажется то радостью „замѣтить разность“ между Онѣгинымъ и собою, то мечтою о поэмѣ „пѣсенъ въ двадцать пять“, въ которой, какъ говоритъ поэтъ:

Не муки тайныя злодѣйства
Тогда я въ ней изображаю,
Я просто вамъ перескажу
Преданье русскаго семейства;

ъ которой мечтаетъ онъ пересказать

Простыя рѣчи
 Отца или дяди старика,
 Дѣтей условленныя встрѣчи
 У старыхъ лишь, у ручейка...

Мало ли чѣмъ, наконецъ, скажется это стремленіе къ почвѣ!..

Записываніемъ сказокъ старой няни или анекдотовъ о старинѣ, гордостью родовыхъ преданій—въ противоположность бюрократическому чванству, совѣтомъ учиться русскому языку у московскихъ просвиренъ...

И вотъ, когда поэтъ въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ очевидность всѣ эти, повидимому, совершенно противоположныя стремленія собственной своей натуры, то прежде всего и паче всего правдивый и искренній, онъ умалилъ, принизилъ самого себя, когда-то „Плѣнника“, у котораго

на челѣ его высокою
 Не измѣнилось ничего,

когда-то „Алеко“, который говоритъ про себя:

Я не таковъ... нѣтъ! я не споря
 Отъ правъ своихъ не откажусь, и проч.

до смиреннаго типа Бѣлкина.

Въ этомъ типѣ узаконилось — но только на время, только отрицательно, какъ критическій отсадокъ — стремленіе къ почвѣ, поворотъ къ ея требованіямъ. Въ этотъ образъ пошла далеко не вся великая личность поэта, ибо Пушкинъ вовсе не думалъ отречься отъ прежнихъ своихъ сочувствій или считать ихъ противозаконными, какъ это иногда готовы дѣлать мы въ порывахъ усердія къ почвѣ. Да и трудно, конечно, представить себѣ, дѣйствительно, Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ натуру, которая и прежде мѣрялась, да и потомъ не переставала мѣряться своими силами съ самыми могучими типами, ибо въ то же самое время о гений поэта проникалъ въ мрачно-сосредоточенную душу Сальери и въ вѣчно жаждущую жизни натуру Донъ-Жуана,

стало-быть вовсе не замыкался исключительно въ существованіе Бѣлкина.

Бѣлкинъ для Пушкина вовсе не герой его, а больше ничего, какъ критическая сторона души. Мы были бы народъ, весьма щедро надѣленный природою, если бы героями нашими были пушкинскій Бѣлкинъ, лермонтовскій Максимъ Максимычъ и даже честный кавказскій капитанъ въ „Рубѣхъ лѣса“ Толстого. Значеніе всѣхъ этихъ типовъ въ томъ, что они критическіе контрасты блестящаго и, такъ сказать, хищнаго типа, котораго величіе оказалось на нашу душевную мѣрку несостоятельнымъ, а блескъ—фальшивымъ. Значеніе ихъ, кромѣ того, въ протестъ,—протестъ всего смиреннаго, загнаннаго, но между тѣмъ, основаннаго на почвѣ, на нашей природѣ—противъ гордыхъ и страстныхъ до необузданности началъ, противъ широкаго размаха силъ, оторвавшихся отъ связи съ почвой.

Придать этой сторонѣ души нашей исключительное, героическое, значитъ, впасть въ другую крайность, ведущую къ застою и закиси. Максимъ Максимычъ и капитанъ Толстого, конечно, люди очень честные и безъ всякой похвалы храбрые; они нисколько не рисуются, нисколько не натягиваютъ своей простой природы на сильныя страсти и глубокія страданія,—но вѣдь, согласитесь, что съ ними немислима никакая исторія. Изъ нихъ не выйдутъ, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдутъ и Минины. Увы! на однихъ добрыхъ и смиренныхъ людяхъ, умѣй они даже и умирать такъ, какъ умираетъ солдатъ Веленчукъ у Толстого, будь они благодушны до пантеистической любви ко всей твари, какъ старикъ Агафонъ у Островскаго, — далеко не уѣдешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна.

Глубоко понималъ это гениальнымъ чутьемъ своимъ Пушкинъ, и потому до сихъ поръ даже, послѣ Максима Максимыча, къ которому самъ Лермонтовъ относится, впрочемъ, съ ироніею, послѣ однодворца Савелья Писемскаго, послѣ капитана Храброва Толстого—его Бѣлкинъ все-таки единственно правильное узаконеніе критической стороны

нашей души. Съ тою жизнью попроче, въ которую спускается онъ, ошеломленный страшнымъ призракомъ Сильвіо, онъ, вѣдь, тоже разобщенъ кой-какимъ образованіемъ—ну хоть письмовникомъ Курганова, а главное, онъ уже смотритъ на нее съ высоты кой-какого образованія. Комизмъ положенія человѣка, который считаетъ себя *обязаннымъ* по своему кой-какому образованію *смотрѣть* какъ на что-то ему чужое—на то, съ чѣмъ у него несравненно болѣе общаго, чѣмъ съ пріобрѣтенными кой-какъ верхушками образованности—является необыкновенно ярко въ Бѣлкинѣ, какъ авторъ „Лѣтописи села Горохина“. Эта лѣтопись—тончайшая и вмѣстѣ добродушнѣйше-поэтическая насмѣшка надъ цѣлою вѣковой полосой нашего развитія, надъ всею нашею поверхностною образованностью бывалыхъ временъ, сообщавшей намъ взглядъ совершенно неприложимый къ явленіямъ окружавшей и доселѣ насъ окружающей дѣйствительности... Въ этомъ наивномъ лѣтописцѣ села Горохина лукаво притаились всѣ наши бывалые взгляды на нашъ бытъ и нашу старину, выражавшіеся то стихами въ родѣ:

Россійскіе князья, бояре, воеводы,
Пришедшіе чрезъ Донъ отыскивать свободы...

то карамзинскими фразами, какъ, напримѣръ: „Ярославъ пріѣхалъ господствовать надъ трупами“ или: „отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной“ и проч. и проч.

Но, вѣдь, мало того, что въ этомъ легкомъ очеркѣ, въ этихъ немногихъ гениальныхъ страницахъ бездна лукавой и безпощадной ироніи: въ нихъ есть нѣчто высшее ироніи. Откуда въ немъ, въ этомъ Бѣлкинѣ, который считаетъ своею *обязанностью* писать съ важностью классическихъ историковъ о странѣ, именуемой Горохинымъ, и *описыетъ* вычурнымъ слогомъ нравы ея обитателей, — откуда въ немъ такое удивительное знаніе этихъ нравовъ и такое любовное и вмѣстѣ совершенно-правильное къ нимъ отношеніе?

Типъ простого и смирнаго человѣка, впервые художе-

ственно выдвинутый на сцену Пушкинымъ въ лицѣ его Бѣлкина, съ тѣхъ поръ подъ различными формами является въ нашей литературѣ то въ лицѣ простого, тоже смирнаго, но храбраго и честнаго, хотя нѣсколько ограниченнаго по натурѣ человѣка, каковъ Максимъ Максимычъ Лермонтова; то въ лицѣ загнаннаго судьбой человѣка, который постоянно спасуетъ передъ хищнымъ и блестящимъ типомъ—у Тургенева; то въ лицѣ простого же, но страстнаго человѣка, надѣленнаго сильной, но не развитой природою, который тоже пасуетъ въ жизни передъ внѣшне-блестящимъ, но внутренне-пустымъ типомъ—у Писемскаго; то въ лицѣ человѣка, наконецъ, котораго глубокий анализъ довелъ до сознанія исключительной законности типа простого человѣка передъ блестящимъ, но постоянно поднимающимся на моральныя ходули, типомъ до невѣрія даже въ возможность реальнаго бытія такого ходульнаго типа—какъ у Толстого. Пушкина Бѣлкинъ еще вѣрить въ существованіе мрачнаго, сосредоточеннаго Сильвіо; Лермонтовъ еще иронически сочувствуетъ своему Максиму Максимычу и, къ сожалѣнію, еще вѣрить въ своего Печорина; Тургеневъ, сочувствуя глубоко и болѣзненно своему загнанному человѣку, не только вѣрить въ блестящіе и страстные типы, но самъ ими увлекается; Писемскій явно негодуетъ на торжество фальшиво-блестящаго надъ простымъ и безыскусственнымъ. Толстой анализируетъ, и анализомъ доходитъ до положительнаго невѣрія во всякое сколько-нибудь *приподнятое* чувство. Между тѣмъ его невѣріе — не прозаизмъ, нѣсколько грубоватый, Писемскаго, и съ другой не та искусственная практичность, которая заставляетъ Гончарова предпочесть Штольца романтику Обломову. Невѣріе Толстого—результатъ глубокаго анализа, часто доходящаго до крайностей, часто разбивающаго свои собственныя основы, но никогда почти не увлекающагося извѣстными сочувствіями и антипатіями.

Прежде чѣмъ разъяснить значеніе анализа Толстого, я долженъ предупредить о томъ, почему исчисляя различныя отношенія нашихъ писателей къ двумъ типамъ, я не сказалъ ни слова о ярко-замѣчательномъ отношеніи къ нимъ

Островскаго и Ѳ. Достоевскаго? То и другое отношеніе, какъ это будетъ объяснено въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, совершенно оригинально. Въ идеалахъ чуждой намъ жизни искали Пушкинъ и Тургеневъ блестящихъ типовъ; въ глубинѣ народной жизни ищутъ какъ Островскій, такъ и Достоевскій—и широкихъ типовъ, какъ, напримѣръ, типъ Петра Ильича и многія изъ лицъ „Мертваго дома“, такъ равно и смиренныхъ. Смирные ихъ типы нельзя назвать, въ противоположность типамъ широкимъ, простыми, потому что и широкіе ихъ типы взяты изъ народной жизни.

Сдѣлавши эту необходимую оговорку, возвращаюсь къ Толстому и значенію его анализа.

Анализъ Толстого дошелъ до глубочайшаго невѣрія во всѣ „приподнятыя“, „необиденныя“ чувства души человѣческой. Въ этомъ его высокое значеніе, въ этомъ же и его односторонность. Анализъ разбилъ готовые, сложившіеся, *отчасти* чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи. Въ русской жизни онъ, какъ и всѣ, видитъ — только отрицательный типъ простого и смирнаго человѣка—и привязался къ нему всей душою. Вездѣ слѣдитъ онъ идеалъ простоты душевныхъ движеній; въ горести няни („въ Дѣтствѣ и Отрочествѣ“) о смерти матери героя, — горести, противопоставляемой имъ нѣсколько эффектной, хотя и глубокой скорби старой графини; въ смерти солдата Веленчука, въ честной и простой храбрости капитана Храброва, явно превосходящей въ его глазахъ несомнѣнную же, но крайне эффектную храбрость одного изъ кавказскихъ героев à la Марлинскій; въ покорной смерти простого человѣка, противопоставленной смерти страдающей, но капризно страдающей барыни... Но, во-первыхъ, несмотря на свою глубокую искренность, можетъ быть, именно вслѣдствіе задачи, поставленной въ искренности анализа, Толстой иногда и пересаливаетъ въ своей строгости къ „приподнятымъ“ чувствамъ. Не многіе, напримѣръ, будутъ съ нимъ согласны, насчетъ большей глубины горя няни передъ горемъ старухи-графини. Во-вторыхъ, этотъ анализъ, дошедшій до любви къ смирному типу, преимущественно по не-

вѣрю въ блестящій и хищный типъ, въ концѣ концовъ, не опираясь на почву, дающую оба типа, ведетъ къ какому-то пантентическому отчаянію, очевидному въ „Людернѣ“, „Альбертѣ“ и выразившемуся еще прежде въ „Запискахъ маркера“. Въ третьихъ, наконецъ, этотъ анализъ обращается въ какой-то безсодержательный, въ анализъ анализа, своею безсодержательностію приводящій къ скептицизму и къ подрыву всякихъ душевныхъ чувствъ. Ключъ къ концамъ этого анализа — это смерть дуба въ „Трехъ смертяхъ“, смерть, поставленная сознаниемъ выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простого человѣка. Вѣдь, отсюда одинъ шагъ къ нигилизму.

Правъ этотъ анализъ только въ казни, беспощадно совершаемой имъ надъ всѣмъ фальшивымъ, чисто сдѣланнымъ въ ощущеніяхъ современнаго человѣка, котораго Лермонтовъ суевѣрно обоготворилъ въ своемъ Печоринѣ. А правъ онъ вотъ почему.

Въ стремленіи къ идеалу или на пути духовнаго совершенствованія, всякаго стремящагося ожидаютъ два подводныхъ камня: отчаяніе отъ сознанія своего собственного несовершенства, изъ котораго есть еще выходъ, и неправильное, непрямое отношеніе къ своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человѣку неприятно и тяжело сознавать свои слабыя стороны, это, конечно, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію; задача здѣсь заключается преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ слабымъ сторонамъ своимъ отнестись съ полною, беспощадною справедливостію. Самое обыкновенное искушеніе въ этомъ случаѣ — уменьшить въ собственныхъ глазахъ свои недостатки. Но есть искушеніе несравненно болѣе тонкое и опасное, именно — преувеличить свои слабости до той степени, на которой онѣ получаютъ извѣстную значимость и, пожалуй даже, по извращеннымъ понятіямъ современнаго человѣка, величавость и обаятельность зла. Мысль эта становится совершенно понятна, если я напому обаятельную атмосферу, которая разлита вокругъ образовъ — не говорю же Манфреда, Лары, Гаура — но Печорина и Ловласа: психологическій фактъ, весьма нерѣдкій съ тѣхъ поръ какъ

Британской музы небылицы
Тревожать сонъ отроковицы.

Возьмите какую угодно страсть и доведите ее въ вашемъ представленіи до извѣстной степени энергіи, поставьте ее въ борьбу съ окружающею ее обстановкою, — ваше трагическое воззрѣніе закроетъ отъ васъ всѣ мелкія пружины ея дѣятельности. Эгоизму современнаго человѣка несравненно легче помириться въ себѣ съ крупнымъ преступленіемъ, чѣмъ съ мелкой и пошлой подлостью; гораздо пріятнѣе вообразить себя Ловласомъ, чѣмъ тоголевскимъ Собакевичемъ, скупымъ рыцаремъ, чѣмъ Плюшкинымъ, Печоринымъ, чѣмъ Меричемъ; даже уже если на то пошло, — Грушницкимъ, чѣмъ Милашинымъ Островскаго, потому что Грушницкій хоть умираетъ эффектно! Сколько лягушекъ надуваются по этому случаю въ воловъ въ насъ самихъ и вокругъ насъ! сколько людей *желаютъ* показаться себѣ и другимъ *преступными*, когда они сдѣлали только *пошлость*! сколько гаденькихъ чувственныхъ поползновеній стремятся принять въ насъ размѣры колоссальныхъ страстей! Хлестаковъ, даже Хлестаковъ, и тотъ зоветъ городничиху „удалиться подъ сѣнь струй!“ Меричъ въ „Бѣдной невѣстѣ“ самодовольно проситъ Марью Андреевну простить его, что онъ возмущилъ міръ ея невинной души! Тамаринъ радъ радехонекъ, что его зовутъ демономъ!

Такимъ образомъ даже и до наступленія той минуты, съ которой въ натурѣ нравственной должно начаться правильное, т.-е. комическое отношеніе къ собственной мелочности и слабости, гордость вмѣсто прямого поворота предлагаетъ намъ изворотъ. Изворотъ же заключается въ томъ, чтобы поставить на ходули безсильную страстность души, признать ея требованія все-таки правыми; переживши минуты презрѣнія къ самому себѣ и къ своей личности, сохранить однако вражду и презрѣніе къ дѣйствительности.

Вотъ въ казни этого-то психическаго изворота и правъ вполне анализъ Толстого, правѣ, чѣмъ анализъ Тургенева, иногда и даже нерѣдко каждащій нашимъ фальшивымъ сторонамъ, и съ другой стороны—правѣ, чѣмъ анализъ Гон-

чарова, ибо казнить во имя глубокой любви къ правдѣ и искренности ощущеній, а не во имя узкой, бюрократической практичности; правдѣ и анализа Писемскаго, ибо онъ знаетъ глубоко, знаетъ какъ Лермонтовъ современнаго человѣка. Писемскій же рисуетъ его болѣе по наслышкѣ и нагладеѣ, и потому часто не достигаетъ своей цѣли, утрируя его иногда до карикатурности.

Неправъ же анализъ Толстого не только по вышеизложеннымъ причинамъ и не только потому, что не опирается на народную почву, но еще и потому, что не придаетъ значенія блестящему *дѣйствительно* и хищному *дѣйстви-тельно* типу, который и въ природѣ и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе, т.-е. оправданіе своей возможности и реальности.

Не только мы были бы народъ не щедро одаренный природою, если бы мы видѣли свои идеалы въ однихъ смиренныхъ типахъ—будь это Максимъ Максимычъ или капитанъ Храбровъ, даже и смиренные типы Островскаго, — но пережиты нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы—чужіе намъ только отчасти, только, можетъ быть, по своимъ формамъ и по своему, такъ сказать, лоску. Пережиты они нами потому собственно, что къ воспріятію ихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Не говоря уже о томъ, что у насъ въ исторіи были хищные типы и не говоря о томъ, что Степъку Разина изъ міра эпическихъ сказаній народа не выдержишь, — нѣтъ, самые въ чуждой намъ жизни сложившіеся типы не чужды намъ и у нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы. Вѣдь тургеневскій Василій Лучиновъ—XVIII вѣкъ, но русскій XVIII вѣкъ, а ужъ его, напримѣръ, страстный и беззаботно прожигающій жизнь Веретевъ—и подавно.

Стремленіе Пушкина къ блестящимъ, хотя, повидимому, уждымъ намъ идеаламъ имѣетъ глубокія причины въ свойствахъ самой русской натуры. Потому то, влѣзая въ кожу Ылкина, онъ все-таки не переставалъ быть ни Алеко, ни онъ-Жуаномъ, хотя Толстой едва ли повѣритъ, напримѣръ, аждѣ мщенія, выражающейся въ извѣстной тирадѣ Алеко:

Я не таковъ... нѣтъ! я, не споря,
Отъ правъ моихъ не откажусь... и проч.

И Толстой будетъ правъ, какъ и Писемскій, карикатурно—зло, но вѣрно изображая Батманова и Хазарова, „драпирующихся плащемъ Ромео“, но правъ только по отношенію къ пародіи на типъ страстнаго и сильнаго человѣка, а не по отношенію къ самому типу. Тѣмъ не менѣе правы они будутъ, если русской натурѣ припишутъ только одинъ идеалъ „смирнаго“ человѣка...

Въ русской натурѣ вообще заключается едва ли не одинаковое, едва ли не равномерное богатство силъ, какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ. Нещадно смѣясь надъ всѣмъ, что несообразно съ нашей душевной мѣрой, хотя бы безобразіе несообразности, чудовищное или комическое, явилось даже въ томъ, что мы любимъ и уважаемъ—мы ведемъ всякое отрицаніе лжи до его крайнихъ предѣловъ, ни передъ чѣмъ не останавливаясь и ничѣмъ не смущаясь. Этимъ мы отличаемся отъ другихъ народовъ, въ особенности отъ нѣмцевъ, совершенно неспособныхъ къ комизму и весьма непослѣдовательныхъ въ своемъ хотя и смѣломъ отрицаніи въ принципахъ. Сомнѣнія нѣтъ, что посмѣявшись надъ филистерствомъ какого-либо знаменитаго ученаго, вы впадаете въ глазахъ нѣмца въ *crimen laesae majestatis*; и извѣстно вамъ также, что великій учитель, подорвавшій своимъ змѣеобразнымъ положеніемъ всякія формы, остановился въ умиленіи передъ формами прусскаго государства—и это вовсе не изъ политическаго благоразумія, а просто потому, что былъ нѣмецъ.

Съ другой стороны, мы столь же мало способны къ строгой, однообразной чинности, кладущей на все уровень внѣшняго порядка и составной цѣльности; съ утопіями формализма, каковы бы онѣ ни были—утопія ли бюрократовъ, или утопія фурьеристовъ, казарма или фаланстера—мы не миримся.

Любя праздники и нерѣдко цѣлую жизнь прожигая въ праздношатавательствѣ и круженіи, мы не можемъ мѣшать дѣлу съ бездѣльемъ и, дѣлая дѣло, сладострастно наслаж-

даться мыслию о приготовленіи себѣ посредствомъ его извѣстной *порціи* законнаго бездѣлья. Этимъ мы опять-таки въ значительной степени разнимся отъ нѣмцевъ. Мы можемъ ничего не дѣлать, но не можемъ на дѣло смотрѣть какъ на *prolegomena* къ вздору. Одинъ изъ типическихъ героевъ нашихъ, Чацкій, говоритъ правду:

Когда дѣла—я отъ веселій прячусь,

Когда дурачиться—дурачусь...

А смѣшивать два эти ремесла

Есть тѣмъ охотниковъ,—я не изъ ихъ числа.

Съ другой стороны, мы не можемъ помириться съ вѣчной суетней и толкотней общественно-будничной жизни, не можемъ посреди ея заглушить въ себѣ тревожнаго голоса своихъ высшихъ духовныхъ интересовъ, но зато, скоро уставая бороться во имя ихъ съ будничною дѣйствительностью, впадаемъ нерѣдко въ хандру.

Таковы нѣкоторыя, довольно неоспоримыя, кажется, черты нашей—скажемъ безъ ложнаго смиренія—богатой стихійной природы, черты, свидѣтельствующія о ея тревожныхъ, порывающихся въ широкую даль началахъ. О нашихъ качествахъ смиренія, непамятозлобія и проч. я не говорю. Они давно признаны всѣми, хотя безъ всякой мѣры, до пересолу славянофилами, не видящими комической стороны нашего смиренія въ смиреніи Фамусова и таковой же стороны нашего непамятозлобія въ дешовыхъ примиреніяхъ „передъ порогомъ кабака“. На этихъ однихъ, хотя и дѣйствительно прекрасныхъ качествахъ мы бы далеко не уѣхали. И такъ они немало намъ повредили своимъ одностороннимъ преобладаніемъ въ мірѣ драмъ Островскаго—въ покорности домочадцевъ передъ Киторомъ Кытычемъ, въ ѣрническомъ раболѣпшіи передъ Самсономъ Силычемъ Лазаря Подхалюзина, въ дешовомъ непамятозлобіи, основанномъ на сознаніи общественной безнравственности, Антипа Антипыча и того, кого онъ „помазалъ“ насчетъ товара.

Да будетъ далека отъ читателя мысль, чтобы я смѣялся надъ этими самими по себѣ святыми началами, чтобы, напр.,

весь міръ, изображаемый Островскимъ, этотъ міръ коренной и отчасти застывшій безъ развитія въ своихъ коренныхъ началахъ, но зато сохранившій упорно свои самостоятельныя начала,—чтобы этотъ міръ, за поклоненіе которому я подвергаюсь постояннымъ укорамъ достопочтенныхъ „Отечеств. Записокъ“, я считалъ „темнымъ царствомъ“ весь, всецѣло — съ его величавыми патріархами, каковы: Русаковъ, несмотря на его нѣкоторое резонерство, и отецъ Петра Ильича, несмотря на его раскольниковскую жесткость; съ его широкими и вмѣстѣ благодущными личностями, въ родѣ Бородинна и Кабанова, который душою выше своего положенія; съ его женщинами—отъ Любови Гордѣвны до страстнаго типа Катерины и идеально-религіознаго типа Марены Борисовны, благодущной и свѣтлой до того, что она готова лгать при всей чистотѣ своей, чтобы только не обидѣть „хорошаго человѣка“; съ его, наконецъ, мужами энергіи и борьбы—отъ падшей, но великой натуры Любима Торцова, не знающей, куда дѣвать свою силу, натуры Петра Ильича до мужа-борца, деходящаго до религіозныхъ экстазовъ, но практически и вмѣстѣ героически кабалащаго народъ ради земскаго дѣла. Нѣтъ, это слишкомъ многообразный, какъ жизнь вообще, и свѣтлый и темный вмѣстѣ міръ. Но, вѣдь, въ немъ не одни же наши смиренныя свойства развиваются, и въ немъ же по общему закону организмовъ она стала обособляться, сосредоточиваться около собственнаго центра и, наконецъ, получила цѣльное, реальное бытіе.

И тогда горе заклинателью, который выпустилъ ее изъ центра, и это горе неминуемо ждетъ всякаго заклинателя, поскольку онъ человѣкъ... Пушкина скосила отдѣлившаяся отъ него стихія Алеко; Лермонтова—тотъ страшный образъ, который сіялъ передъ нимъ „какъ царь нѣмой и гордый“ и отъ мрачной красоты котораго самому ему „было страшно и душа тоскою сжималась“; Кольцова та раздражительная и начинавшая во всемъ сомнѣваться стихія, которую тщетно заклиналъ онъ своими „думами“. А сколько могучихъ, но не гармоническихъ личностей закруживали стихійныя начала: Милонова, Кострова—въ прошломъ вѣкѣ, Полежаева, Мочалова—на нашей памяти.

Да не скажутъ, чтобы я здѣсь игралъ словами. Стихійное вовсе не то, что *личность*. Личность Пушкина не Алеко и вмѣстѣ съ тѣмъ не Иванъ Петровичъ Бѣлинскій, отъ лица котораго онъ любилъ рассказывать свои повѣсти: личность Пушкинская—самъ Пушкинъ, заклинатель и властелинъ многообразныхъ стихій, какъ личность Лермонтовская не самъ Арбенинъ и Печоринъ, а самъ онъ „еще невѣдомый избранныкъ“ и, можетъ быть, по словамъ Гоголя, „будущій великій живописецъ русскаго быта“. Прасоль Кольцовъ, умѣвшій ловко вести свои торговые дѣла, спасъ бы намъ надолго жизнь великаго лирика Кольцова, если бы не пошрала его, вырвавшись за предѣлы, та раздражающаяся дѣйствительностью, недовольная, слишкомъ впечатлительная сила, которую не всегда заклиналъ онъ своей возвышенной и трогательной молитвою:

О гори лампада
Ярче предъ распятьемъ!
Тяжелы мнѣ думы,
Сладостна молитва.

Въ Пушкинѣ по преимуществу, какъ въ первомъ цѣльномъ очеркѣ русской натуры—очеркѣ, въ которомъ обозначались и объемъ и границы ея сочувствій,—отразилась эта борьба, высказался этотъ моментъ нашей духовной жизни, хотя великій мужъ былъ и не рабомъ, а властелиномъ и заклинателемъ этого страшнаго момента.

Поучительна въ высшей степени исторія душевной борьбы Пушкина съ различными идеалами, борьбы, — изъ которой онъ выходитъ всегда самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ. Ибо, что, напримѣръ, общаго между Онегинымъ и Чайльдъ-Гарольдомъ Байрона? что общаго между пушкинскимъ и байроновскимъ или мольтеровскимъ французскимъ или, наконецъ, испанскимъ Донъ-Жуаномъ?... что типы совершенно различные, ибо Пушкинъ, по словамъ Бѣлинскаго, былъ *представителемъ міра русскаго, словеска русскаго*. Мрачный сплитъ и язвительный скептицизмъ Чайльдъ-Гарольда замѣнился въ лицѣ Онегина хан-

дрою отъ праздности, тоскою чловѣка, который внутри себя гораздо проще, лучше, и добрѣе своихъ идеаловъ, который надѣленъ критическою способностью здороваго русскаго смысла, т.-е. прирожденною, а не приобрѣтенною критической способностью, который—критикъ, потому что даровитъ, а не потому что озлобленъ, хотя самъ и хочетъ искать причинъ своего критическаго настроива въ озлобленіи, и которому та же критическая способность можетъ, того в гледи, указать средство выйти изъ ложнаго и напряженнаго положенія на ровную дорогу.

Съ другой стороны, Донъ-Жуанъ южныхъ легендъ — это сладострастное кипѣніе крови, соединенное съ демонски-скептическимъ началомъ, на которое намекаетъ великое созданіе Мольера и которымъ до опьяненія восторгается нѣмецъ Гофманъ. Эти свойства обращаются въ созданіи Пушкина въ какую-то безпечную, юную, безграничную жажду наслажденія, въ сознательное даровитое чувство красоты, въ способность „по узенькой пяткѣ“ дорисовать весь образъ женщины, способность находить „странную пріятность“ въ потухшемъ взорѣ и помертвѣлыхъ глазкахъ черноокой Инесы; типъ создается однимъ словомъ изъ южной, даже африканской страстности, но смягченной русскимъ тонко-критическимъ чувствомъ, — изъ чисто-русской удалы безпечности, — какой-то дерзкой шутки прожигаемою жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлѣніями, такъ что чуть впечатлѣніе принято душою, — душа уже далеко, и только „на снѣговой порошѣ“ остался слѣдъ „не зайки, не горно-стайки“, а Чурилы Пленковича, этого Донъ - Жуана мненческихъ временъ, порожденія нашей народной фантазіи.

Эта поучительная для насъ борьба — и въ геніально-юношескомъ лепетѣ кавказскаго плѣнника, и въ Алеко, и Гирѣ (не даромъ же печальной памяти „Маякъ“ объявлялъ героевъ Пушкина уголовными преступниками!), и въ Онѣгинѣ, и въ ироническомъ, лихорадочномъ и вмѣстѣ сухомъ тонѣ „Пиковой дамы“, и въ отношеніяхъ Ивана Петровича Бѣлкина къ мрачному Сильвіо въ повѣсти „Выстрѣлъ“. На каждой изъ этихъ ступеней — борьба стѣбитъ

подробнѣйшаго изученія... Но что вездѣ особенно поразительно, такъ это постоянная непослѣдовательность живой и самобытной души, ея упорная непокорность усвоенному ей типу, при постоянной послѣдовательности умственной, послѣдовательности пониманія и усвоенія типа. Ясно видно, что въ типѣ есть для этой души что-то неотразимо влекущее и есть вмѣстѣ съ тѣмъ что-то такое, чему она постоянно измѣняетъ, что, стало-быть, рѣшительно не по ней.

Кружась въ водоворотѣ этого омута, наше сознание видѣло такіе сны, и образы этихъ сновъ такъ явно въ немъ отпечатались, что въ призрачной борьбѣ съ ними, или, лучше сказать, мѣраясь съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя, силы на созданіе самобытныхъ идеаловъ. Какимъ же образомъ, извѣдавши „добрая и зла“, можетъ оно остаться при однихъ чисто-отрицательныхъ типахъ?

Вопросъ объ отношеніи нашихъ писателей къ двумъ типамъ—вопросъ очень важный. Толстой представляетъ крайнюю грань односторонняго отношенія, грань замѣчательную не только по своей односторонности, но и потому еще, что любовь къ отрицательному смиренному типу родилась у нашего автора не непосредственно, какъ у писателей народной эпохи литературы, а вслѣдствіе глубокаго анализа.

Душевный процессъ, который раскрывается намъ въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“ и первой половинѣ „Юности“ — процессъ необыкновенно оригинальный. Герой этихъ замѣчательныхъ психологическихъ этюдовъ родился и воспитался въ средѣ общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она въ сущности не имѣетъ реального бытія, въ сферѣ такъ называемой аристократической, въ сферѣ высшаго свѣта. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина—самый крупный свой фактъ—и нѣсколько болѣе мелкихъ явленій, каковы герои разныхъ великосвѣтскихъ повѣстей. Удивительно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательно то, что изъ нея, этой узкой сферы, выходитъ, т.-е. отрѣшается отъ нея посредствомъ анализа, герой рассказовъ Толстого. Вѣдь, не вышелъ же изъ нея, несмотря на весь свой умъ, Печоринъ; не вышли же изъ

нея герои графа Соллогуба и г-жи Евгеніи Туръ!... А съ другой стороны становится понятнымъ, когда читаешь этюды Толстого, какимъ образомъ, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила въ себѣ живую струю народной широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать, и временами даже съ нею отождествляться.

Но натура Пушкина была натура по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью пониманія и цѣлностью захвата. Ни въ какую крайность, ни въ какую односторонность не впадалъ онъ. Равно удивителенъ онъ и въ тонѣ Бѣлкина, и въ тонѣ своихъ поэмъ, и въ сухомъ свѣтскомъ тонѣ „Пиковой дамы“. Натура же героя „Дѣтства, Отрочества и Юности“ по преимуществу аналитическая. Анализъ развивается въ немъ рано и подкрѣпляется глубоко подъ основами всего того условнаго, чѣмъ онъ окруженъ, того условнаго, что въ немъ самомъ. Доходя до явленій, ему не поддающихся, онъ передъ ними останавливается. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи въ высокой степени замѣчательны главы о нянѣ, о любви Маши къ Василю и въ особенности глава о юродивомъ, въ которой сталкивается онъ съ явленіемъ, которое и въ самой народной простой жизни составляетъ нѣчто рѣдкое, исключительное, эксцентрическое. Воѣ эти явленія анализъ противопоставляетъ всему условному, его окружающему, въ которомъ цѣлѣтъ нетронутымъ одинъ только святой образъ, — образъ матери, нѣжно, любовно и граціозно нарисованный образъ. Ко всему другому анализъ безпощаденъ. И понятно: передъ нимъ уже стоятъ несокрушимую стѣною, о которую онъ разбился, иныя, противоположныя, совершенно безыскусственныя явленія иной, не условной, а непосредственной жизни.

Онъ пораженъ простотою, неразложимостью этихъ явленій. И вотъ простоты, неразложимости добивается онъ отъ самого себя, роется терпѣливо и безпощадно-строго въ каждомъ собственномъ чувствѣ, даже въ самомъ томъ, которое, по виду, кажется совершенно святымъ (глава „Испо-

вѣдь“). учитаетъ каждое свое чувство во всемъ, что въ дѣтствѣ сдѣлано, даже напередъ,—ведетъ каждую мысль, каждую дѣтскую или отроческую мечту до ея крайнихъ граней. Вспомните, наприкладъ, мечты героя „Отрочества“, когда его заперли въ темную комнату за непослушаніе гувернеру.

Анализъ въ своей безпощадности заставляетъ душу признаваться самой себѣ въ томъ, въ чемъ не всякая душа себѣ признается, въ томъ, въ чемъ стыдно себѣ самому признаваться. Мудрено ли, что при огромномъ талантѣ анализъ изощрился до того, что въ „Метели“ способенъ влѣзть въ существо воробья, который „притворился, что клюнулъ“; въ „Военныхъ разсказахъ“ развѣртываетъ цѣлую ткань пустыхъ представленій, промелькнувшихъ передъ человѣкомъ въ минуту смерти, до поражающей, несомнѣнной правды.

Та же безпощадность анализа руководитъ героя въ „Юности“. Поддаваясь своей условленной сферѣ, принимая даже ея предразсудки, онъ постоянно казнитъ самого себя и изъ этой казни выходитъ побѣдителемъ. Многие находили растянутою первую половину „Юности“. Это неправда. Волоковы, Нехлюдовы должны были быть изображены съ такою мелочною подробностью, чтобы поразительнѣй вышло столкновеніе героя со слоями иной жизни, съ даровитыми, хотя безумно кутящими личностями, полными силъ и высокихъ, безусловныхъ стремленій.

Столкновеніемъ съ этимъ живымъ міромъ кончается, по видимому, процессъ. Но только—повидимому. Слѣдить его можно и даже должно въ „Военныхъ разсказахъ“—въ разсказѣ: „Встрѣча въ отрядѣ“, въ „Двухъ гусарахъ“. Анализъ продолжаетъ свое дѣло. Останавливаясь передъ всѣмъ, что ему не поддается, и переходя тутъ то въ пафосъ передъ всѣмъ громадно-грандіознымъ, какъ севастопольская юпея, то въ изумленіе передъ всѣмъ простымъ и смиренно-великимъ, какъ смерть Веленчука или капитанъ Храповъ, онъ безпощаденъ ко всему искусственному и сдѣланному, является ли оно въ буржуазномъ штабс-капитанѣ

Михайловъ, въ кавказскомъ ли героѣ à la Марлинскій, въ совершенно ли ломаной личности юнкера въ разсказѣ: „Встрѣча въ отрядѣ“. Одинъ только типъ остается нетронутымъ, не подвергнутымъ сомнѣнію—типъ простого и смирнаго человѣка.

Между тѣмъ въ „Двухъ гусарахъ“ авторъ видимо увлекается старымъ гусаромъ съ его энергическимъ буйствомъ и размашистой удалю, въ противоположность гусару новыхъ временъ съ его мелочностью и пошлостью; между тѣмъ въ „Альбертѣ“ онъ явнымъ образомъ поэтизируетъ силу и страстность, хотя пропадая въ неизлѣчимомъ безпутствѣ.

Толстой—поэтъ, поэтъ точно такъ же, какъ Тургеневъ. Отрицаніе всѣхъ приподнятыхъ чувствъ души не ведетъ его ни къ мѣщанскому прозаизму Писемскаго, ни къ бюрократической практичности Гончарова. Всего же менѣе ведетъ его анализъ къ утилитаризму. На утилитаризмъ отвѣчаетъ онъ своимъ „Люцерномъ“, въ которомъ плачетъ о погибающемъ мірѣ искусства, страстей, исторіи, — „Люцерномъ“, который неожиданно поразилъ всѣхъ въ эпоху своего появленія, хотя поражаться тутъ было нечѣмъ. Чего же хотѣли отъ Толстого?...

Прежде всего и паче всего онъ поэтъ. „Приподнятыя“ чувства души человѣческой онъ казнилъ только тамъ, гдѣ они напряженно, насильственно приподняты, — тамъ, однимъ словомъ, гдѣ лягушка раздувается въ вола, — иногда впадая только въ крайности, какъ въ предпочтеніи глубокаго горя старухи-няни горю старухи-графини, какъ въ изображеніи кавказскаго героя, который дѣйствительно герой, и герой нисколько не меньше *смирнаго* капитана Храброва, только герой своей эпохи, эпохи Марлинскаго.

Въ сущности поэтъ нашъ только скорбитъ о томъ, что не находитъ настоящихъ „приподнятыхъ“ чувствъ въ той сферѣ, которую онъ знаетъ, но не можетъ отречься отъ ихъ исканія... Въ сферѣ же иной, въ простой народной сферѣ, ему доступны и понятны вполне только смирные типы... Да иначе и быть нельзя. Только непосредственно

сжившись съ народною жизнью,нося ее въ душѣ, какъ Островскій, Кольцовъ и отчасти Некрасовъ, или спустившись въ подземную глубину „Мертваго дома“, какъ Ѳ. Достоевскій, можно узаконить равно два типа — и типъ страстный и типъ смирный. Пушкинъ понималъ это синтезомъ—и синтезомъ создалъ „Русалку“, и Пугачова въ „Капитанской дочкѣ“, и старика Дубровскаго. Тургеневъ глубокимъ сочувствіемъ къ народу доходилъ иногда до того, что страстный типъ иногда является ему въ совершенно своеобразныхъ формахъ даже посреди такъ называемаго цивилизованнаго общества (Веретьевъ, Коротаевъ, Чертопхановъ), большею же частью облакалъ его въ условныя формы или въ формы историческія (Василій Лучиновъ). Толстого эти формы не удовлетворяли, и онъ постоянно подкапывался подъ нихъ, какъ подъ всякія формы.

Доходя въ инныя минуты до отчаянія анализа и оставивши слѣдъ этого отчаянія въ образѣ князя Нехлюдова („Записки маркера“ и „Люцернъ“), утомленный работою анализа, Толстой, по натурѣ художникъ, рѣшился хоть разъ успокоиться въ разрѣшеніи психической задачи менѣе широкой,—и далъ намъ „Семейное счастье“. О достоинствахъ этого тихаго, глубокаго, простаго и высоко-поэтическаго произведенія, съ его отсутствіемъ всякой эффектности, съ его прямымъ и неломаннымъ постановленіемъ вопроса о переходѣ чувства страсти въ иное чувство, пришлось бы писать еще цѣлую статью, если бы статьи чисто-эстетическія были возможны, т.-е. читаемы въ настоящую, напряженную минуту.

Задача моя была по возможности опредѣлить смыслъ явленія столь замѣчательнаго какъ Толстой *).

А. Григорьевъ.

*) Еще см. въ газетѣ „День“ за 1862 г., № 21, краткую замѣтку И. С. Сакова о журн. „Ясная Поляна“.

1863 г.

*) Критика наша не любитъ много заниматься графомъ Л. Н. Толстымъ. Въ жаркихъ литературныхъ стычкахъ или въ критическихъ изслѣдованіяхъ, имѣющихъ предметомъ наши литературныя направленія послѣдняго времени, имя Л. Н. Толстого почти не встрѣчается. Даже въ знаменитомъ вопросѣ о нигилизмѣ и нигилистахъ, затронувшемъ рѣшительно всѣ журнальныя партіи и грозящемъ еще долго быть главною темою нѣкоторыхъ журналовъ, имя Л. Н. Толстого вовсе не затрогивалось: помыкались многія, но совсѣмъ другія имена. Значить ли это, что литературная дѣятельность Л. Н. Толстого стоитъ внѣ движенія, совершающагося въ нашемъ обществѣ, что она не касается тѣхъ существенныхъ вопросовъ, которые интересуютъ и раздѣляютъ наше общество, насколько, по крайней мѣрѣ, это общество отражается въ журналистикѣ? Но и при самомъ выступленіи Л. Н. Толстого на литературное поприще и во все время дальнѣйшей его дѣятельности, онъ встрѣчаемъ былъ постоянно самыми лучшими отзывами: рѣшительно всѣми онъ признанъ былъ за писателя съ большимъ талантомъ, писателя оригинальнаго и серьезнаго. Что же значить, что критика какъ будто забыла о немъ въ настоящее время, что въ ряду различныхъ направленій, порицаемыхъ или одобряемыхъ нашими журналами, Л. Н. Толстому вовсе не нашлось мѣста? Дѣлая этотъ вопросъ, мы не имѣемъ только въ виду самаго послѣдняго времени, ближайшихъ нумеровъ нашихъ журналовъ и газетъ. Здѣсь уже все привелось къ двумъ существеннѣйшимъ жизненнымъ вопросамъ: 1) кто лучше — нигилистъ или не нигилистъ и 2) кто правѣе: Красновъ или его жена? Очень понятно, что при разрѣшеніи столь специальныхъ задачъ, критика легко могла забыть не только о Л. Н. Толстомъ,

*) „Библіотека для чтенія“ 1863 г., № 3 (Статья Е. Эдельсона, подъ заглавіемъ: „Русская литература“. *Казакъ* — повѣсть графа Л. Н. Толстого. („Русскій Вѣстникъ“ 1863 года, № 1, январь).

но и о всѣхъ другихъ. Нѣтъ, мы хотимъ сказать, что вообще въ послѣднее время, даже когда журналы наши еще занимались отчасти литературною критикой, имя Л. Н. Толстого попадалось всего рѣже между именами другихъ нашихъ писателей. Вина ли въ этомъ критики или нашего автора? Вопросъ, такъ поставленный, могъ бы подать прекрасный поводъ ко многимъ и справедливымъ порицаніямъ пути, на который вступила наша литературная критика въ послѣдніе годы. Пользуясь настоящимъ случаемъ, мы весьма легко могли бы показать, какъ, съ одной стороны, вслѣдствіе недостатка критическихъ талантовъ, съ другой, вслѣдствіе постоянного и систематическаго преслѣдованія всякихъ другихъ направленій литературной критики, кромѣ одного, кругъ задачи нашей критики суживался все болѣе и болѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ ограничивалось количество и понижался уровень вносимыхъ ею въ общее сознаніе идей. Мы могли бы представить множество примѣровъ непростительныхъ дѣтскихъ промаховъ нашей критики, той критики, которая хочетъ вести себя преимущественно отъ самой блестящей и плодотворной эпохи литературной критики въ нашей исторіи. Многое, однимъ словомъ, можно было бы сказать по этому поводу, и мы не отказываемся современемъ возвратиться къ этому предмету. Но теперь насъ больше занимаетъ другая сторона вопроса. Намъ хочется опредѣлить общій характеръ дѣятельности Л. Н. Толстого и значенія ея — съ тѣмъ вмѣстѣ показать, что современная, господствующая критика дѣйствительно не можетъ находить себѣ пищи въ сочиненіяхъ Л. Н. Толстого и что, пожалуй, она права въ этомъ отношеніи или, по крайней мѣрѣ, вѣрна себѣ. Но точное опредѣленіе характера и значенія литературной дѣятельности Л. Н. Толстого не такъ легко, какъ, напр., Тургенева или Островскаго. О двухъ послѣднихъ голько было у насъ писано въ теченіе ихъ долгой и плодотворной дѣятельности, каждое произведеніе ихъ было столько евано критикой, что они стали теперь по зубамъ рѣшительно каждому. Притомъ и содержаніе ихъ сочиненій всегда гнзко относится къ самымъ живымъ интересамъ времени,

постоянно затрогиваетъ вопросы, стоящіе на виду у всѣхъ. О Толстомъ же и писано сравнительно весьма мало, да и характеръ дѣятельности его какой-то особенный, еще не подошедшій подъ опредѣленія нашей критики. Оттого и произведенія его выжутся какъ будто случайно зародившимися, какъ бы приготовленіями къ какой-то опредѣленной и яркой дѣятельности, пробами таланта; еще не опредѣлившаго своего настоящаго призванія. Въ такомъ взглядѣ есть, пожалуй, своя доля справедливости, ибо нѣкоторые сочиненія Толстого дѣйствительно порождены случайными обстоятельствами, напр., записки о Севастополѣ, или небольшой разсказъ изъ заграничной жизни, другія дѣйствительно представляютъ какъ бы этюды, не имѣя глубокаго внутренняго содержанія, какова „Метель“. Если хотите, пожалуй, и направленія опредѣленнаго въ сочиненіяхъ Л. Н. Толстого нѣтъ, т.-е. нѣтъ того яраго направленія, какое можно указать въ Тургеневѣ, Островскомъ, еще болѣе въ Щедринѣ или, напр., Успенскомъ. Вообще дѣятельность Л. Н. Толстого представляется какою-то разбросанною, какъ бы причудливою; по крайней мѣрѣ, внутренняя связь его произведеній, а тѣмъ менѣе развитіе идей въ преемственной связи его сочиненій никакъ уже не бросается въ глаза. А между тѣмъ несомнѣнно же, что въ каждомъ его сочиненіи виденъ умъ наблюдательный и испытующій, талантъ яркій и симпатичный, стремленіе къ истинѣ серьезное. Неужели же при такихъ богатыхъ данныхъ дѣятельность его остается безсвязною, т.-е. не ведетъ къ какому-либо опредѣленному результату, а впечатлѣніе, производимое его сочиненіями на современное поколѣніе, остается безслѣднымъ? Или критика проглядѣла еще то и другое. Все дѣло, кажется, въ томъ, что въ нашей критикѣ, а отчасти и публикѣ установилось слишкомъ узкое понятіе о такъ называемомъ направленіи или, употребивъ болѣе громкое слово, міросозерцаніи въ писателѣ. Прежде всего вслѣдствіе указаннаго уже выше суженія задачъ нашей критики, подъ направленіемъ въ послѣднее время стали разумѣть по преимуществу социальныя тенденціи автора, чуть-чуть

не политическія убѣжденія его, очевидно смѣшивая поэта съ публицистомъ. Этого рода стремленій требовали прежде всего отъ писателя, даже навязывали ихъ ему, если они не оказывались, и по этимъ даннымъ судили его. Такъ Островскаго не разъ преслѣдовали за поощреніе будто бы невѣжества, и потомъ хвалили преимущественно за сатирическое отношеніе къ дѣйствительности; такъ Тургенева уже цѣлый годъ пилили за отсталость и противодѣйствіе прогрессу, выразившіяся будто бы въ его послѣднемъ романѣ. Далѣе та же поверхностность и односторонность критики приучила насъ обращаться слишкомъ легко съ содержаніемъ, представляемымъ дѣятельностью какого-либо писателя. „Я люблю такихъ писателей, у которыхъ съ первой страницы видишь уже все дѣло и затѣмъ знаешь, стоитъ ли книга чего-нибудь“, отвѣтилъ намъ одинъ господинъ, которому мы рекомендовали весьма серьезное ученое сочиненіе, предупреждая его, что нужно внимательно прочесть его все, чтобы понять и оцѣнить. Нѣсколько въ этомъ родѣ относится наша журналистика и къ современнымъ литературнымъ явленіямъ, добиваясь какъ можно скорѣе схватить общій смыслъ, видимыя или кажущіяся тенденціи автора и затѣмъ, потолковавъ или поспоривъ объ тенденціяхъ, счесть дѣло съ авторомъ поконченнымъ. Очевидно, что при такомъ способѣ сужденія, писатели, съ ярко определенными тенденціями, какъ Марко-Вовчокъ, напр., или Успенскій, выигрываютъ, а писатели съ направленіемъ не столь легко поддающимся опредѣленію, должны проигрывать. Мы не осуждаемъ, впрочемъ, безусловно критиковъ, которыхъ очевидно интересуетъ въ литературныхъ явленіяхъ нѣчто постороннее, которые жаждутъ прежде всего дать ходъ своимъ общественнымъ убѣжденіямъ и потому, конечно, не могутъ заниматься всѣмъ содержаніемъ того сочиненія, о которомъ пишутъ, а тѣмъ менѣе доискиваться его содержанія: но насъ интересуетъ вопросъ, отчего только этого рода критики почти и остались у насъ въ литературѣ?

Но возвратимся къ Л. Н. Толстому. Если искать въ его

сочиненіяхъ такого рода направленія или міросозерцанія, о какомъ мы сейчасъ говорили, то, конечно, его не окажется; но, всматриваясь ближе въ его разнохарактерную на первый взглядъ дѣятельность, мы легко откроемъ въ ней нѣкоторую глубокую и общую основу, нѣчто твердое и постоянно выражающееся, нѣчто задушевейшее и дорогое автору, чего онъ не навязываетъ, конечно, никому, но что само неотразимо вливается въ душу при чтеніи любого изъ его произведеній. Л. Н. Толстого очевидно не интересуютъ особенно какіе-либо классы русскаго общества, онъ не ищетъ въ немъ какихъ-нибудь куріозныхъ характеровъ или эксцентрическихъ положеній, онъ не гонится также и за созданіемъ характеровъ идеальныхъ; наконецъ, не встрѣтите также въ его сочиненіяхъ особаго сочувствія къ людямъ извѣстныхъ убѣжденій, онъ никого также и ничто не поражаетъ сатирою. Перечитывая его сочиненія, вы не переноситесь въ какой-нибудь особый идеальный міръ, но какъ будто продолжаете жить съ тѣми обыкновенными, будничными людьми, которыми окружены ежедневно: но въ то же время вы чувствуете, какъ эти обыкновенные, причастные многихъ слабостей люди, открывая предъ вами сокровеннѣйшія тайны своего сердца, обнаруживаясь всею полнотою своей души, становятся вамъ близкими и неотразимо влекутъ васъ къ себѣ, затягиваютъ въ волнующіе ихъ жизненные интересы. Л. Н. Толстой дѣйствительно не выбираетъ своихъ героевъ, не сочиняетъ ихъ; но онъ какъ будто владѣетъ даромъ, подходя къ первому встрѣтившемуся человѣку, открыть въ немъ сразу самыя интересныя черты, показать именно тѣ стороны души, которыя заставятъ насъ узнать въ немъ родственное намъ существо — брата вашего. Настроеніе, производимое его сочиненіями, совершенно противоположно тому, какое возбуждается, напр., голо-сатирическимъ направленіемъ. Кто не испытывалъ въ себѣ, послѣ чтенія какихъ-либо обличительныхъ очерковъ, замашки подозрѣвать въ первомъ попавшемся незнакомомъ человѣкѣ всѣхъ, только что описанныхъ, пороковъ и не ставилъ мысленно съ нѣкоторой гордостью глубокой грани

между имъ и собой. Кто, напротивъ, послѣ чтенія графа Л. Н. Толстого не останавливался со вниманіемъ на людяхъ, повидимому ничтожныхъ, и не задумывался, глядя на нихъ, о той вѣчной безустанной работѣ ума и сердца, которая досталась на долю каждого человѣка и которая по преимуществу и дѣлаетъ всѣхъ людей родственными между собою.

Графъ Л. Н. Толстой принадлежитъ у насъ къ числу тѣхъ немногихъ писателей, которые черпаютъ и задачи и самый матеріалъ своихъ сочиненій прямо изъ источника, изъ жизни; дѣятельность его возникла и развилась очевидно не потому, что онъ нашелъ готовымъ какое-либо направленіе въ литературѣ, за которымъ и послѣдовалъ, не потому также, чтобы онъ предварительно выработалъ себѣ или взялъ готовыми убѣжденія извѣстнаго общественнаго оттѣнка, съ которыми и приступилъ къ жизни, отыскивая въ ней только данныхъ для своихъ готовыхъ уже задачъ; очевидно, что онъ постоянно, самостоятельно и упорно всматривался въ явленія жизни, ради ихъ самихъ; добросовѣстнѣйшимъ образомъ размышлялъ о множествѣ самыхъ мелкихъ отношеній, связывающихъ, а иногда и путающихъ людскую жизнь и притомъ не спѣшилъ къ какимъ-либо общимъ выводамъ, а главное ничѣмъ предвзятымъ не загромождалъ себѣ прямого и непосредственнаго взгляда на жизнь. Этимъ только и можно объяснить столь подробный, часто поразительно глубокій анализъ его, доходящій иногда до щегольства этою силою. Этимъ же объясняется и то обстоятельство, что среди нѣсколькихъ, довольно сильныхъ и увлекательныхъ направленій, существующихъ въ нашей литературѣ, Л. Н. Толстой умѣлъ найти свой особенный путь и добыть изъ своихъ наблюденій результаты, никѣмъ другимъ не добытые, но въ то же время не призрачные, а составляющіе несомнѣнное достоинство нашей литературы и общества. Мы даже увѣрены, что цѣнность ихъ результатовъ будетъ поднята въ будущемъ и тогда и г-нъ Л. Н. Толстой не будетъ столь рѣдко упоминаемъ имъ именемъ въ нашей критикѣ, какъ это мы заявили въ началѣ статьи.

Но постараемся объяснить еще ближе, въ чемъ, по нашему разумѣнію, заключалось существенное дѣло гр. Л. Н. Толстого и какая именно задача выпала на долю его, среди многихъ задачъ, разрѣшаемыхъ въ послѣднее время нашими литературными дѣателями. Между тѣмъ, какъ наша обличительная литература совершала свое гражданское дѣло, не безъ основанія пренебрегая строгими литературными формами и спѣша поколебать какъ можно болѣе основъ стараго, дряхлаго порядка, расшевелить и вовлечь въ жизненную борьбу какъ можно болѣе интересовъ; тихая, не столь трескучая, но болѣе глубокая дѣятельность нашихъ лучшихъ писателей продолжала свое непрерывное служеніе той же общей пользѣ, хотя и не отказывалась, да и не могла отказаться, по своей природѣ, отъ поэтического обаянія своихъ произведеній. Еще не такъ давно, въ жару перваго увлеченія обличительною литературой, это подвергалось со стороны нѣкоторыхъ критиковъ сомнѣнію, но теперь едва ли наша мысль встрѣтитъ съ чьей-либо стороны возраженіе, что сочиненія Островскаго или Тургенева, напр., въ сильной степени содѣйствуютъ намъ на пути къ нашему самосознанію, а, слѣдовательно, и помогаютъ развитію общества и притомъ самымъ прочнымъ образомъ, совершая переворотъ въ идеяхъ и взглядахъ—объ этомъ едва ли и стоитъ подробно говорить въ наше время. Относительно двухъ послѣднихъ дѣателей критика сдѣлала даже довольно много, опредѣливъ обстоятельно характеръ ихъ дѣятельности и указавъ ту долю вліянія, какое каждый изъ нихъ имѣлъ на общественное сознаніе. Мы считаемъ необходимымъ повторить здѣсь вкратцѣ эти выводы критики, прежде нежели перейдемъ къ гр. Л. Н. Толстому.

Чуткое вниманіе ко всѣмъ переворотамъ мысли, ко всѣмъ броженіямъ, совершившимся въ образованныхъ слояхъ нашего общества, внутренняя исторія въ лицахъ стремленій и идей лучшихъ людей послѣдняго времени; съ другой стороны страстное стремленіе къ идеалу, глубокій, тонкій и безпощадный анализъ и обличеніе всего того, что начинало принимать опредѣленную форму въ нашей жизни и

старалось выдать себя за установившійся идеалъ—таковы главнѣйшія черты дѣятельности И. С. Тургенева, какъ истолкованы онѣ напѣй критикой. Нечего объяснять, конечно, послѣ сказаннаго, ни широты задачъ автора, ни того огромнаго и благотворнаго вліянія, какое должна была имѣть на все умственное и нравственное развитіе молодого поколѣнія поэтическая дѣятельность, захватывающая столь много самыхъ жизненныхъ и въ то же время часто самыхъ тонкихъ вопросовъ.

Вѣрное воспроизведеніе коренной народной жизни въ безчисленныхъ типахъ, яркихъ по языку, ясно, смѣло и твердо очерченныхъ въ ихъ внутреннемъ складѣ; глубокое пониманіе тѣхъ общихъ основъ, которыми слагалась и на которыхъ держится понынѣ эта жизнь, туго поддающаяся цивилизаціи; мастерское изображеніе тѣхъ многихъ отношеній то комическихъ, то полныхъ драматизма, которыя обуславливаются внутреннимъ складомъ народнаго быта и его неизбежными столкновеніями съ цивилизаціею, врывающеюся въ эту замкнутую жизнь, то мародерскимъ образомъ, то явнымъ и справедливымъ протестомъ—таковы по указаніямъ нашей критики общія самыя характеристическія черты дѣятельности А. Н. Островскаго. Нужду и пользу такой дѣятельности, конечно, также не стоитъ объяснять.

Такимъ образомъ, не говоря уже о сочиненіяхъ многихъ другихъ второстепенныхъ писателей, дѣйствующихъ съ ббльшимъ или мѣньшимъ успѣхомъ по одному изъ этихъ указанныхъ направленій, двое передовыхъ нашихъ поэтовъ, повидимому, захватили все поле литературной дѣятельности, взяли на себя всѣ задачи, которыя подлежатъ поэзии, какъ силѣ цивилизующей. Въ самомъ дѣдѣ, народный бытъ, ярко воссоздаваемый и объясняемый, его столкновенія съ идущей мимо него или задѣвающей его цивилизаціею, движеніе этой мой цивилизаціи, тонко и мастеровки анализированное, всѣ чшія стремленія эпохи, вѣрно схваченныя и воплощенныя въ поэтическіе образы—развѣ здѣсь не всѣ задачи, которыми, при данномъ историческомъ положеніи нашемъ, поэзія можетъ и должна заниматься, не отказываясь отъ

своего самостоятельнаго существованія? Какую же еще оригинальную поэтическую задачу можно найти у Л. Н. Толстого или у кого-либо другого?.. После многих отступлений пора, наконецъ, отвѣчать прямо на вопросъ. Во-первыхъ, два господствующія и только что нами очерченныя направленія, только повидимому исчерпываютъ всевозможныя отношенія поэзи къ русской дѣйствительности. По силѣ своихъ главныхъ представителей и вслѣдствіе установившихся въ литературѣ и обществѣ извѣстныхъ взглядовъ на наше развитіе, два эти направленія представляются въ настоящее время дѣйствительно господствующими и, конечно, и въ будущемъ не потеряютъ своего значенія. Но, какъ читатель легко могъ замѣтить, оба они больше касаются метаморфозъ, которымъ подвергается наше общество въ настоящее время подъ вліяніемъ цивилизаціи, пока все еще чуждой намъ. Что еще до сего времени эта цивилизація остается намъ чужою, видно и изъ того, какъ быстро формируются и столь же быстро измѣняются отѣнки убѣжденій въ образованныхъ слояхъ нашего общества и изъ той глухой, часто полной драматизма, борьбы, которая ведется нашимъ народнымъ бытомъ съ различными представителями цивилизованнаго начала. Мы не хотимъ сказать, чтобы дѣятельность двухъ главныхъ направленій нашей литературы, и, въ особенности, двухъ главныхъ представителей этихъ направленій, вся исчерпывалась изображеніемъ переходящихъ явленій нашего общества; но, по крайней мѣрѣ, эти стороны ихъ дѣятельности всего болѣе на виду, они кажутся всѣмъ наиболѣе нужными въ настоящую минуту, они по преимуществу теперь интересуютъ критику и общество. Прогрессъ, прогрессъ, во чтобы то ни стало — есть пока еще передовой и законный крикъ нашего пробужденнаго общества и онъ неизбѣжно будетъ нашимъ девизомъ, пока мы не получимъ полного и глубокаго убѣжденія въ томъ, что прогрессъ этотъ освѣтилъ все, что онъ сталъ неотразимою, безвозвратною силою. По этимъ соображеніямъ дѣйствуетъ наша литература, того же по преимуществу желаетъ видѣть критика въ нашихъ передо-

выхъ литературныхъ дѣятеляхъ. О прочныхъ основахъ для пересозданія жизни, о степени значенія въ этомъ дѣлѣ различныхъ нравственныхъ силъ нашего народа и общества и о другихъ подобныхъ вопросахъ еще не пришло время разсуждать серьезно, слышатся пока еще одинокіе голоса этого рода, да и тѣ еще сами смутно сознаютъ свою задачу.

Избравъ своей задачей недвижущіяся начала и силы нашего общества, всматриваясь въ душу русскаго человѣка не съ тѣхъ сторонъ, которыми она стеленвается съ наступающимъ прогрессомъ, отдаваясь ли беззавѣтно его вліянію или упорно борась противъ его требованій, Л. Н. Толстой естественно долженъ былъ очутиться какъ бы одинокимъ среди совершающагося движенія и живыхъ общественныхъ вопросовъ, имъ возбуждаемыхъ. Его по преимуществу интересуютъ тѣ прочныя, вѣчныя, можно сказать, отношенія, которыя, при какихъ бы то ни было общественныхъ переворотахъ, при какой бы то ни было формѣ цивилизаций, продолжаютъ самымъ прочнымъ образомъ связывать людей, сплачивать ихъ въ одно общее цѣлое — это отношенія семейныя, супружескія, отношенія къ землѣ, къ близкимъ и т. п. И нужно сознаться, что отношенія этого рода, при недостаткѣ у насъ публичной жизни, при отсутствіи политическихъ партій, при особенномъ характерѣ нашей исторіи, заключавшемся главнѣйшимъ образомъ въ собираніи земли и отстаиваніи себя извнѣ — должны представлять едва ли не самый обильный матеріалъ для поэзии, самыя характеристическія черты русскаго склада жизни. Нельзя сказать, конечно, чтобы отношенія этого рода вовсе не были затрогиваемы въ нашей литературѣ; но они по преимуществу разсматривались съ сатирической стороны, въ нихъ брали почти исключительно то, что въ нихъ устарѣло и отжило, и это отжившее и устарѣлое весьма справедливо казнили во имя разума и новыхъ гуманныхъ идей. Истѣющее исключеніе составляетъ въ этомъ отношеніи г-жа Мухомовская, но ея высоко талантливыя произведенія, озаренныя яркимъ поэтическимъ свѣтомъ многія черты нашего

быта, потому однако и не возбуждаютъ всеобщаго сочувствія, что она какъ будто пристрастна къ старинѣ и старается выдать намъ сильные и яркіе народные типы чуть не за идеалы, а старую жизнь нашу представляетъ уже слишкомъ исключительно поэтической. Гр. Л. Н. Толстой вовсе ничего не проповѣдуетъ, онъ не пристрастенъ ни къ старой жизни, ни къ новымъ порядкамъ, онъ не идеализуетъ народа или чего бы то ни было. Но какого быта въ русской жизни ни коснется онъ, онъ тотчасъ умѣетъ открыть въ немъ серіозную сторону, найти въ ней звуки, родные каждому русскому, и въ то же время не узконаціональные, а общечеловѣческіе, гуманные. Каждое лицо, которое онъ подвергаетъ анализу въ своихъ сочиненіяхъ, интересуетъ его не потому, велико ли оно или ничтожно, хорошо или дурно, такія или инныя убѣжденія имѣетъ оно, а по тѣмъ человѣческимъ движеніямъ, которыя живутъ въ каждомъ, по тѣмъ безчисленнымъ нравственнымъ нитямъ, какими каждый человѣкъ связанъ со всѣмъ его окружающимъ. Душа въ своихъ глубочайшихъ и вѣчныхъ проявленіяхъ и притомъ русская душа, жизнь, просто жизнь, какъ она есть, т.-е. постоянное столкновеніе одной мыслящей и чувствующей души съ другими, отношенія отсюда развивающіяся и, наконецъ, крѣпкимъ узломъ связывающія человѣка съ остальными людьми, радости и горести отсюда истекающія, обязанности этими отношеніями налагаемыя—вотъ главнѣйшее содержаніе сочиненій гр. Л. Н. Толстого. Идеаль его—это здоровая, цѣльная жизнь души, это правда и искренность отношеній. Но если Л. Н. Толстой еще не успѣлъ найти и воплотить для насъ своего идеала—онъ успѣлъ однако собрать для него много матеріала, и этотъ разбѣянный по его сочиненіямъ матеріалъ, эти безчленныя, добрыя и честныя движенія, которыя авторъ видитъ повсюду, но которыя пока остаются какими-то разрозненными и потому безсильными—все это составляетъ именно то влекущее и отрадное, чѣмъ запечатлѣна болѣшая часть выведенныхъ имъ лицъ.

Мы старались опредѣлить по крайнему нашему разумѣ-

нiю существенный характеръ дѣятельности графа Л. Н. Толстого. Но мы чувствуемъ, что сказанное до сихъ поръ можетъ подать поводъ къ нѣкоторымъ недоразумѣнiямъ. Это можетъ случиться, во-первыхъ, по нѣкоторой неясности нашего опредѣленiя, которая весьма возможна при первой попыткѣ свести всю дѣятельность писателя къ общимъ чертамъ; во-вторыхъ, потому, что дѣятельность графа Л. Н. Толстого до сихъ поръ была по преимуществу какъ бы приготовительною, состояла по преимуществу какъ бы изъ этюдовъ, правда мастерскихъ, но не заключавшихъ въ себѣ однако явнымъ образомъ тѣхъ задачъ, которыя мы считаемъ его главнѣйшими задачами. Только въ нѣкоторыхъ его сочиненiяхъ эта задача, какъ мы ее понимаемъ, выразилась съ нѣкоторою опредѣленностiю и полнотою, таковы: „Дѣтство и Отрочество“, „Семейное счастье“, новая повѣсть „Казакъ“; въ другихъ же сочиненiяхъ графа Толстого или не было вовсе опредѣленнаго, ясно сознаннаго авторомъ направленiя, или оно пробивалось наружу лишь отчасти, какъ бы безъ воли самого автора. Но, какъ бы то ни было, успѣли мы опредѣлить до извѣстной степени сущность мiросозерцанiя Л. Н. Толстого, или ошиблись, это мiросозерцанiе стройное, опредѣленное, оригинальное, уже обозначилось, и мы съ полнымъ правомъ можемъ привѣтствовать въ нашей литературѣ живую струю, еще мало разработанную и авторомъ и критикой, но обѣщающую въ будущемъ весьма многое.

Разборъ новой повѣсти графа Л. Н. Толстого—„Казакъ“ поможетъ намъ до извѣстной степени продолжать нашъ этюдъ объ общемъ смыслѣ дѣятельности этого писателя. Молодой человекъ Дмитрiй Андреевичъ Оленинъ, уже прожившiй и насладившiйся жизнью въ московскомъ свѣтскомъ обществѣ, но еще не потерявшiй въ этой жизни свѣжести сердца, еще сохранившiй всю впечатлительность юности, еще полный ея надеждъ и благородныхъ порывовъ, рѣшаетъ покинуть надоевшую ему, отчасти разстроившую его состоянiе, но, главное, пустую жизнь, какую велъ до сихъ поръ, и отправляется юнкеромъ на Кавказъ. Авторъ почти

не останавливается на прежней жизни своего героя. Изъ короткой, но прекрасной сцены отъезда Оленина изъ Москвы, вы, правда, чувствуете отчасти среду, которую покидаетъ герой нашъ, но изъ подробностей узнаете только, что онъ оставляетъ пріятелей, пожалуй друзей, которые, впрочемъ, немедленно по его отъездѣ, спокойно разговариваютъ о завтрашнемъ днѣ, клубѣ и т. п. Гораздо важнѣе для насъ тонкая отмѣченная авторомъ черта героя, а именно, что онъ оставляетъ Москву, зная, что онъ любимъ, но именно потому, что не можетъ отвѣчать на эту любовь серьезно, такъ, какъ онъ понимаетъ это чувство.

Пропуская затѣмъ путь Оленина до Кавказа, давшій, впрочемъ, автору прекрасный поводъ ко множеству тонкихъ психологическихъ замѣтокъ, которыми, какъ мы уже говорили выше, графъ Л. Н. Толстой иногда даже просто щеголяетъ, мы переносимся съ героемъ прямо на Кавказъ; первое впечатлѣніе, произведенное на воспріимчивую душу юноши снѣговыми горами и, такъ сказать, сразу давшее ему тонъ для всѣхъ будущихъ впечатлѣній, пусть передастъ намъ самъ авторъ. „Рано утромъ Оленинъ проснулся отъ свѣжести въ своей перекладной, и равнодушно взглянулъ направо. Утро было совершенно ясное. Вдругъ онъ увидалъ шагахъ въ двадцати отъ себя, какъ ему показалось въ первую минуту, чисто-бѣлыя громады съ ихъ нѣжными очертаніями и причудливую воздушную линію ихъ вершинъ и далекаго неба. И когда онъ понялъ всю даль между имъ и горами, и небомъ, всю громадность горъ и когда почувствовалась ему вся безконечность этой красоты, онъ испугался, что это призракъ, сонъ. Онъ встрахнулся, чтобы проснуться. Горы были все тѣ же.

— „Что это? Что это такое? спросилъ онъ у ямщика.

— „А горы, отвѣчалъ равнодушно ногоаецъ.

— И я тоже давно на нихъ смотрю, сказалъ Ванюша, — вотъ хорошо-то! Дома не повѣрять.

„На быстромъ движеніи тройки по ровной дорогѣ, горы, казалось, бѣжали по горизонту, блестя на восходящемъ солнцѣ своими розоватыми вершинами. Сначала горы толь-

ко удивили Оленина, потомъ обрадовали, но потомъ, больше и больше вглядываясь въ эту, не изъ другихъ черныхъ горъ, но прямо изъ степи вырастающую и убѣгающую дѣль снѣговыхъ горъ, онъ мало-по-малу началъ вникать въ эту красоту и *почувствовалъ* горы. Съ этой минуты все, что только видѣлъ онъ, все что онъ думалъ, все что онъ чувствовалъ, получало для него новый, строго величавый характеръ горъ. Всѣ московскія воспоминанья, стыдъ и раскаяніе, всѣ пошлыя мечты о Кавказѣ, всѣ исчезли и не возвращались болѣе. „Теперь началось“, какъ будто сказалъ ему какой-то торжественный голосъ. И дорога, и дали видѣвшаяся черта Терека, и станицы, и народъ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Вглянетъ на небо и вспомнить горы. Вглянетъ на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вотъ ѣдутъ два казака верхомъ, и ружья въ чехлахъ равномерно помахиваются у нихъ за спинами, и лошади ихъ перемѣшиваются гнѣдыми и сѣрыми ногами; а горы... За Терекѣмъ виденъ дымъ въ аулѣ; а горы... Солнце всходитъ и блещетъ на видѣющемся изъ за камыша Терекѣ; а горы... Изъ станицы ѣдетъ арба, женщины ходятъ красивыя, женщины молодыя; а горы... Абреки рыскаютъ въ степи, и я ѣду, ихъ не боюсь, у меня ружье и сила и молодость; а горы...”

Къ этой картинѣ, разомъ дающей и объективное представленіе о горахъ и глубокое впечатлѣніе ихъ на душу героя, кажется, не нужно комментарій. Просимъ только обратить вниманіе на то обстоятельство, что эта картина не случайно попала въ повѣсть. У Толстого нѣтъ ничего лишняго: первое впечатлѣніе Кавказа на Оленина было рѣшительное, роковое; оно потомъ уже неизбежно кидало свой колоритъ на все, что увидѣлъ и узнавалъ онъ и, безъ сомнѣнія, имѣло даже вліяніе на его дальнѣйшую судьбу на Кавказѣ.

Авторъ какъ бы оставляетъ затѣмъ на нѣсколько времени своего героя, даетъ ему пережить первыя впечатлѣнія кавказской боевой жизни, свыкнуться нѣсколько съ новымъ бытомъ, однимъ словомъ, очевидно, избѣгаетъ тѣхъ

рутинныхъ описаній, на которыя не поскупился бы обыкновенный рассказчикъ. Затѣмъ мы уже прямо находимъ Оленина въ казацкой станицѣ Новомлинской, куда Оленинъ прибылъ на стоянку съ своей ротой и гдѣ именно происходитъ главное дѣйствіе повѣсти. Посмотримъ прежде на Оленина, успѣвшаго уже испытать на себѣ вліяніе дѣятельной, трудовой жизни и свѣжей могучей кавказской природы.

„Оленинъ на видъ казался совсѣмъ другимъ человекомъ. Въмѣсто бритыхъ скулъ, у него были молодые усы и борода. Въмѣсто истасканнаго ночною жизнью темноватаго лица,—на щекахъ, на лбу, за ушами былъ красный здоровый загаръ. Въмѣсто чистаго, новаго чернаго фрака, была бѣлая, грязная съ широкими складками черкеска и оружіе. Въмѣсто свѣжихъ крахмальныхъ воротничковъ, красный воротъ канаусоваго бешмета, который стигивалъ загорѣлую шею. Онъ былъ одѣтъ по-черкесски, но плохо, всякій узналъ бы въ немъ русскаго, а не джигита. Все было такъ, да не такъ. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьемъ, веселостью и самодовольствомъ“.

Мы бы отъ души желали передать словами самого автора жизнь станицы, куда судьба занесла Оленина, этой общины издавна поселенныхъ здѣсь раскольниковъ казаковъ, на которыхъ и ихъ происхожденіе, и вѣра, и трудовая, полная опасностей и волненій жизнь, и замкнутость ихъ общины, и богатая, величественная природа—вся обстановка, однимъ словомъ, положили свою самобытную, особанную печать; но въ такомъ случаѣ намъ пришлось бы перепечатать чуть не большую часть всей повѣсти. Подъ мастерскимъ перомъ автора предъ нами возстаетъ какая-то новая, вовсе незнакомая намъ жизнь, о которой всѣ прежнія описанія Кавказа не давали никакого понятія. Представьте себѣ цѣлое общество людей, какъ будто оторванныхъ отъ остальнаго міра и поселенныхъ бокъ о бокъ съ враждебнымъ племенемъ ногайцевъ. Одинъ только Терекъ отдѣляетъ эти два вѣчно враждующіе міра, и всевозможныя военныя хитрости, разнообразнѣйшія выходки удалства съ обѣихъ сторонъ стал-

живаются непрерывно на этой естественной грани. Можно представить себѣ, какое закаленное, сильное, оригинальное племя должно было выработаться среди такой жизни, какая крѣпкая, родственная, общая жизнь должна связывать внутреннѣйшимъ образомъ всѣхъ членовъ этой огромной воюющей семьи, хотя повидимому они также и сплетничаютъ и ссорятся между собой, какъ бы жители какого-либо великороссійскаго уѣзднаго города. Три типическихъ лица изъ этой станицы очерчены подробно гр. Л. Н. Толстымъ и играютъ роль въ его разсказѣ. Первый—это дядя Ерошка, семидесяти-лѣтній казакъ бобыль, стараго, уже прошедшаго времени, казакъ атлетическаго сложенія, когда то первый удалецъ въ станицѣ, молодецъ на всѣ руки: отбить ли табунъ у непріятеля, гулять ли и пьянствовать безприсыпу, человѣкъ, который ни въ поступкахъ, ни въ мысляхъ не привыкъ останавливаться ни передъ чѣмъ, которому забродятъ даже въ голову и такія мысли, что „умрешь, трава вырастетъ на могилкѣ, вотъ и все“. Теперь онъ уже нѣсколько чужой среди новаго поколѣнія, въ которомъ и самъ не видитъ прежнихъ казацкихъ доблестей. Всѣ его занятія и средства пропитанія заключаются въ охотѣ, да въ даровомъ угощеніи чихиремъ или водкой, когда случится. Съ станицей у него нѣтъ слишкомъ крѣпкихъ связей, и онъ даже посмѣивается надъ старовѣрствомъ казаковъ и ихъ разными предрасудками, ему больше по душѣ прохожіе русскіе солдаты, да и самъ онъ въ станицѣ не пользуется большимъ уваженіемъ: казаки шутятъ надъ нимъ, мальчишки дразнятъ на улицахъ. Этотъ человѣкъ уже слишкомъ увлекся удалствомъ дѣла и мысли, выскочилъ вовсе вонъ изъ родной сферы и сталъ какимъ-то жалкимъ, одинокимъ, хотя еще физически сильнымъ существомъ. Другой типъ—это богатый хорунжій въ станицѣ и вмѣстѣ школьный учитель, чѣловѣкъ, уже хватившій нѣсколько образованности и потому съ господами русскими офицерами и юнкерами говорящій на тонкой деликатности. Очевидно, что онъ уже не считаетъ себя заурядъ со всѣми, да и не чувствуетъ влеченія къ той удалой и опасной жизни, которую ведутъ истинные

казаки. Его уже по преимуществу занимает стяжаніе, онъ гордъ и важничаетъ предъ другими казаками и богатствомъ и красотою дочери Марьяны. Однимъ словомъ, это типъ часто повторяющійся, встрѣчающійся вездѣ, гдѣ крѣпкая, само-бытная естественная жизнь сталкивается съ цивилизаціею и хватается отъ нея на первый разъ за вышнія, пустыя формы да кое-что изъ ея болѣзней.

Третій типъ—это Лукашка, молодой казакъ новаго времени, такой же первый удалецъ станицы, какимъ въ свое время былъ дядя Ерошка, типъ живой, цѣльный, какъ все, что рисуетъ Л. Н. Толстой. Авторъ посвящаетъ ему много страницъ въ своей повѣсти, въ самой идеѣ которой онъ играетъ немаловажную роль. Это смѣлая, прямая натура, очевидно, богаче другихъ одаренная и потому въ торжественныхъ случаяхъ невольно подчиняющая себя другимъ; въ обыкновенное же время это такая же, какъ и другія, гульливая голова, страстная по натурѣ, но въ то же время легко и свободно ко всему относящаяся. Мы видимъ Лукашку въ самую лучшую пору его жизни: на нашихъ глазахъ онъ совершаетъ свой первый воинскій подвигъ—убійство абрека и потомъ все болѣе и болѣе разворачивается его удалство. Красавица Марьяна, его невеста, уже сговоренная съ нимъ, но ему мало этого—ему хочется не брачной любви, но любви просто, и онъ добивается тайнаго съ ней свиданія. Получивъ отказъ, онъ утѣшается виномъ и старой любовницей. Удалство у него во всемъ, онъ и погибаетъ оттого, что бросается на раненаго, но вооруженнаго еще черкеса, желая захватить его живого.

Если таково мужское населеніе Новомлинской станицы, то не менѣе оригинально и женское. Вотъ тѣ общія черты, которыми авторъ характеризуетъ казацкій бытъ и отношенія въ немъ двухъ половъ. „Казакъ, который при пестороннихъ считаетъ неприличнымъ ласково или праздно говорить съ своею бабою, невольно чувствуетъ ея превосходство, оставаясь съ нею глазъ на глазъ. Весь домъ, все имущество, все хозяйство пріобрѣтено ею и держится только ея трудами и заботами. Хотя онъ и твердо убѣжденъ, что

трудъ постыженъ для казака и приличенъ только работнику негайцу и женщинѣ, онъ смутно чувствуетъ, что все, чѣмъ онъ пользуется и называетъ своимъ, есть произведеніе этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую онъ считаетъ своею холопкою, лишить его всего, чѣмъ онъ пользуется. Кромѣ того постоянный, мужской, тяжелый трудъ и заботы, переданныя ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характеръ гребенской женщинѣ, поразительно развили въ ней физическую силу, здравый смыслъ, рѣшительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнѣе, и умнѣе, и развитѣе, и красивѣе казаковъ. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединеніемъ самаго чистаго типа черкесскаго лица съ широкимъ и могучимъ сложеніемъ сѣверной женщины. Казачки носятъ одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешметъ и чуканъ, но платки завязываютъ по-русски. Щегольство, чистота и изящество въ одеждѣ и убранствѣ хатъ составляютъ привычку и необходимость ихъ жизни. Въ отношеніяхъ къ мужчинамъ женщины и особенно дѣвки пользуются совершенной свободой. Столица Новомлинская считалась корнемъ гребенскаго казачества. Въ ней болѣе, чѣмъ въ другихъ, сохранились нравы старнхъ гребенцовъ, и женщины этой станицы изстари славились своею красотою по всему Кавказу. Средства жизни казаковъ составляютъ виноградные и фруктовые сады; бакчи съ арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посѣвы кукурузы и проса, и военная добыча*.

Такова оригинальная, интересная среда, куда попалъ нашъ герой, бѣжавшій отъ фальшивой свѣтской жизни въ лоно природы, съ сердцемъ, жаждавшимъ живыхъ и глубокихъ ощущеній, не забудемъ, на первыхъ же порахъ неподнятый во всемъ существѣ своемъ могучими, свѣжими впечатлѣніями Кавказа. Не трудно догадаться, что хозяйская дочь, эта дикая, пугливая красавица Марьяна, съ сильною, но сдержанною страстью не могла мелькать безпрерывно предъ глазами постояльца, не производя на него альнаго впечатлѣнія. Но здѣсь и начинается собственно

внутренній романъ нашего героя, романъ сложный и запутанный, какъ все, что совершается въ человѣкѣ искусственномъ и изломанномъ при его столкновеніи съ средою грубою, но свѣжею, цѣльною и естественною. Прежде всего Оленинъ постарался закрыть глаза на появившееся въ немъ чувство. Кстати, мы не считаемъ нужнымъ доказывать здѣсь возможность истинной страсти въ развитомъ человѣкѣ къ почти дикарѣй. Кто читалъ повѣсть г. Толстого, тому не понадобится никакихъ объясненій. Впрочемъ, для крайнихъ скептиковъ мы прибавимъ одно замѣчаніе. Пусть вспомнятъ они, что Оленинъ бросилъ нарочно свѣтскую жизнь, надѣвшую ему, что здѣсь на Кавказѣ она представлялась ему какъ нѣчто чужое, страшно далекое, что ничьи насмѣшки, шутки не могли загасить этой любви въ самомъ началѣ, пусть вспомнятъ они, наконецъ, постоянное уединеніе Оленина, постоянное обаяніе этой дикой, но свѣжей, здоровой жизни, эту поэтическую обстановку и т. д., но, повторяемъ, само изложеніе повѣсти говорить лучше всякихъ нашихъ объясненій.

Итакъ, Оленинъ прежде всего закрылъ глаза на развивавшуюся въ немъ страсть. Онъ даже дошелъ до того въ тонкихъ изворотахъ своей души, что, послѣ свиданья и поцѣлуевъ Марьяны съ Лукашкой на его глазахъ, почувствовалъ любовь къ своему сопернику и рѣшилъ, что нужно жертвовать собой. Въ этихъ благихъ мысляхъ онъ даже подарилъ Лукашкѣ коня, причемъ послѣдній не преминулъ подумать, что баринъ подкупаетъ его на что-нибудь. Такое самообольщеніе Оленина, какъ ни хитро оно было придумано, не могло продолжаться далѣе извѣстнаго срока. Обстоятельство отчасти случайное, какъ пріѣздъ въ станцію свѣтскаго пріятеля Оленина, князя Бѣлецкаго, отчасти самое развитіе страсти въ душѣ Оленина и неизбежныя, частыя столкновенія съ дикой, гордой, недоступной и потому тѣмъ болѣе привлекательною красавицей Марьяной, должны были, наконецъ, открыть глаза Оленину на его чувства и отношенія къ Марьянѣ. Кстати, по поводу Бѣлецкаго. Въ немъ, въ противоположность нѣскольکو рома-

нической, мечтательной, малопрактической, но чрезвычайно деликатной въ своихъ отношеніяхъ натурѣ Оленина, авторъ представляетъ намъ типъ того рода людей, которые смотрятъ на жизнь и на отношенія свои къ другимъ съ удивительною легкостью, людей, у которыхъ всегда на первомъ планѣ они сами, ихъ взгляды, привычки, предубѣжденія, а другіе люди, какіе бы они тамъ ни были, только орудія, способствующія имъ прожить болѣе или менѣе счастливо и весело. Такимъ людямъ обыкновенно все удается, потому, во-первыхъ, что и желанія-то ихъ не очень замысловатыя, а во-вторыхъ, потому, что они и не кладутъ всей души въ свои сношенія съ людьми и потому, всегда при первыхъ неудобствахъ или препятствіяхъ, легко могутъ отступать безъ страданій. Между тѣмъ какъ Оленинъ, влюбившись по уши въ красавицу Марьяну, путается и конфузится на каждомъ шагу, не умѣя подвинуть ни на шагъ своихъ отношеній къ Марьянѣ, не умѣя завоевать для своей любви никакихъ правъ; между тѣмъ какъ весь окружающій его новый и непонятный для него казачій міръ остается для него чѣмъ-то неугаданнымъ и недоступнымъ, куда онъ не рѣшается вступить дерзко и самонадѣнно съ своими взглядами и привычками, ловкій Бѣлецкій уже давно успѣлъ перезнакомиться и сблизиться со всею станицею, успѣлъ уже завести себѣ любовницу и подсмѣивается надъ платоническою любовью Оленина. Странное дѣло, Бѣлецкій, такъ нагло вломившійся въ эту замкнутую жизнь, не стѣсняющійся ничѣмъ въ своихъ отношеніяхъ съ новыми людьми, возбуждаетъ общее сочувствіе, а Оленинъ, на каждомъ шагу наблюдающій за собой, робкій и осторожный въ поведеніи, боящійся на каждомъ шагу оскорбить чужія убѣжденія или нравы, чужое сердце, однимъ словомъ—по преимуществу возбуждаетъ насмѣшки или подозрѣнія станицы.

Мы, къ сожалѣнію, не можемъ слѣдить подробно за развитіемъ и всѣмъ ходомъ любви, сначала безраздѣльной Оленина, а потомъ отчасти и раздѣляемой Марьяной; мы не можемъ дать читателю понятіе о различныхъ сценахъ и стрѣчѣ двухъ молодыхъ людей, на вечеринкѣ, напр., у

Въмещеаго, или въ саду при сборѣ винограда. Кто изъ почитателей таланта графа Л. Н. Толстого не знаетъ, какимъ мастерствомъ владѣетъ онъ нарисовать въ короткой сценѣ и отношенія лицъ, и ихъ глубочайшія внутреннія движенія, и природу ихъ окружающую.—Дѣло дошло, наконецъ, до того, что несмотря на всю неловкость Оленина, его робкая, почтительная, но сильная страсть, обаяніе высшей цивилизаціи, новыхъ, незнакомыхъ ей идей въ разсказахъ Оленина, подѣйствовали на Марьяну, и она даже стала уклоняться отъ Лукашки. Само собою разумѣется, что Оленинъ не имѣлъ въ виду обольщенія Марьяны и потому, какъ только убѣдился въ своей любви къ ней и отчасти и въ ея расположеніи, онъ рѣшился жениться на ней и поселиться въ станицѣ. Впрочемъ, во всемъ этомъ есть что то странное и неясное для самого героя. Письмо, написанное Оленинымъ по случаю этого рѣшенія, чрезвычайно живо рисуетъ борьбу, пережитую нашимъ героемъ передъ этимъ рѣшеніемъ и вообще характеризуетъ состояніе его духа, очевидно восторженное и неспокойное. Всего любопытнѣе, что письмо это не писано ни къ кому и есть не болѣе какъ изліяніе собственныхъ чувствъ. Оленинъ и какъ будто оправдывается въ немъ, и подзадориваетъ себя. Вообще онъ чувствуетъ, что собирается сдѣлать, женившись на Марьянѣ, не какое-либо обыкновенное, естественное дѣло, но какой-то подвигъ, что-то романическое. Именно это-то сознаніе неловкости и подзадориваетъ еще болѣе Оленина.

Совершенно неожиданный случай развязываетъ эту запутанную исторію. На одномъ изъ поисковъ за переправившимися на казацкую сторону ногайцами, гдѣ Оленинъ присутствуетъ, какъ простой дилетантъ, а Лукашка играетъ главную роль, послѣднѣе ранятъ опасно пулею. Какъ только вѣсть объ этомъ дошла до Марьяны, все, напущенное на нее долгимъ вліяніемъ Оленина, вся эта искусственная любовь къ образованному барину исчезаетъ какъ дымъ; въ ней сразу сказываются всѣ родственные, глубокіе инстинкты, связывающіе ее съ своими. Лукашка представляется ей во всемъ обаяніи своего истиннаго казацкаго молодечества, со

всѣмъ очарованіемъ любви нѣсколько грубой, но прочной и истинной, а не надуманной и искусственной. При первомъ, слѣдующемъ за тѣмъ намекомъ Оленина на любовь и бракъ Марьяна отталкиваетъ его какъ чужого... Оленинъ остается пока одинокимъ на распутьи между добровольно брошенной имъ прежнею жизнью и жизнью чуждою, которая отказалась принять его въ свою среду.

Главная, основная мысль новой повѣсти гр. Толстого очевидна. Это столкновение хорошей, но коломанной искусственною цивилизаціей души съ бытомъ грубымъ, но свѣжимъ, цѣльнымъ, крѣпко сплоченнымъ—при чемъ побѣда остается, конечно, на сторонѣ послѣдняго. Но такъ выраженная мысль повѣсти Л. Н. Толстого, безъ сомнѣнія, не вѣрно передала бы ея содержаніе. Въ томъ-то и дѣло, что истинно художественныя произведенія не исчерпываются голыми сентенціями. Они подають, правда, поводъ къ извѣстному направленію мыслей, но сами же въ себѣ содержать и данія, которыя, если не упущены изъ виду, не дадутъ мысли уклониться въ сторону. Мы почти увѣрены, что у насъ найдутся критики, которые въ повѣсти гр. Л. Н. Толстого готовы будутъ увидѣть измышленное предпочтеніе быта грубаго и естественнаго быту цивилизованной жизни. Но едва ли и стоитъ опровергать такое узкое и одностороннее пониманіе истинныхъ задачъ художественныхъ произведеній. Частный омысль, т.-е. собственно ближайшее содержаніе новой повѣсти Л. Н. Толстого составляетъ—въ высшей степени интересный эпизодъ изъ жизни человѣка съ прекрасными природными качествами, съ серьезными взглядами на жизнь и отношенія къ людямъ, но человѣка нѣсколько мечтательнаго, слабаго волею, мало практическаго и неумѣйнаго найти истинныхъ интересовъ въ окружающемъ его обществѣ. Повѣсть Л. Н. Толстого представляетъ намъ именно тотъ моментъ изъ жизни Оленина, когда, оставивъ добровольно общество, которое надоело ему, отчасти по его собственной винѣ, онъ въ первый разъ сталкивается почти съ первобытными людьми и съ дикой природой. Болѣе широкое содержаніе

повѣсти Л. Н. Толстого есть мастерской анализъ того обаянія, которое вообще въ испорченной до конца условными понятіями душъ должна производить полная, цѣльная, естественная жизнь—жизнь среди природы и сообразно требованіямъ природы. Дѣйствительно, какъ бы ни справедливо гордились мы успѣхами нашей цивилизаціи, какъ бы крѣпко ни стояли мы за тѣ высшія формы соціальной жизни, которыя трудно вырабатывались тысячекратными усиліями—едва ли найдется серіозный и добросовѣстный человѣкъ, который бы иногда не тосковалъ глубоко объ утратѣ той непосредственной, первобытной свѣжести и энергіи впечатлѣній и дѣйствій, которыя навсегда уничтожены въ насъ нашею искусственною цивилизаціей. Такого рода тоска по первобытной правдѣ и простотѣ жизни по временамъ овладѣвала цѣлыми народами и поколѣніями, и если въ наше время она перестала уже являться эпидемически, то источникъ, причина ея, постоянно существуетъ и проявляется, хотя временами, въ отдѣльныхъ лицахъ. Такимъ образомъ то состояніе духа, тотъ психологическій процессъ, который совершился на Кавказѣ въ душѣ Оленина и съ такою силою и обаяніемъ изображенъ намъ графомъ Толстымъ, не есть какое-либо патологическое явленіе—напротивъ, представляетъ нѣчто типическое, естественное. Поэтому-то въ *мысли* Оленина, хотя оно и представляетъ много задорнаго и слишкомъ юношескаго, много лично принадлежащаго герою повѣсти, есть въ то же время и много правды, безусловной правды, которую всѣ мы, по большей части, заглушаемъ, но которая иногда прорвется—таки въ какомъ-нибудь восторженномъ юношѣ, поставленномъ внѣ прямыхъ и разнообразныхъ вліяній благъ цивилизаціи. Пренебрегать этимъ рѣзкимъ голосомъ тоски по утраченной нами естественности и цѣльности жизни вовсе не слѣдуетъ, какъ, можетъ быть, подумаютъ нѣкоторые изъ людей, постоянно боящихся, чтобы человѣчество не возвратилось къ дикому состоянію. Напротивъ, это именно и есть тотъ глубокій внутренній голосъ, который постоянно стремится найти въ жизни смыслъ, истинныя, непримѣримыя цѣли, полную правду от-

ношеній и т. под. Безъ него, безъ этого внутренняго голоса, человѣкъ часто является въ жизни какимъ-то дилетантомъ, жуиромъ, которому въ цивилизаціи нравятся только ея внѣшнія стороны и удобства, который результатомъ многолѣтней жизни человѣчества видитъ только—комфортъ въ различныхъ видахъ и ничего болѣе.

Художественная заслуга новой повѣсти графа Толстого заключается въ томъ, что для событія не совсѣмъ обыкновеннаго и имѣющаго, какъ мы сейчасъ показали, глубокий общій смыслъ, онъ умѣлъ найти обстановку самую счастливую и въ то же время въ высочайшей степени естественную. Задача автора, то-есть анализъ одного изъ тѣхъ состояній души, которыя, будучи законными и естественными, рѣдко выражаются однако при обыкновенныхъ условіяхъ съ совершенною искренностью и яркостью, эта задача способна была выразиться только столкновеніемъ двухъ извѣстныхъ началъ. Но разберите каждую изъ этихъ двухъ сталкивающихся сторонъ отдѣльно—обѣ онѣ изображены съ такою глубиною и правдою, какъ будто авторъ только и имѣлъ въ виду ихъ самое добросовѣстное и точное воспроизведеніе. Психологическій анализъ всѣхъ переворотовъ, совершавшихся въ душѣ Оленина до и по встрѣчѣ его съ кавказскою жизнью и Марьяною—есть сама по себѣ задача, достойная пера художника. Съ другой стороны—быть Кавказа, его природа, эти различные казацкіе и непріятельскіе типы, рядъ картинъ, изображенныхъ поэтически, съ любовью, но безъ малѣйшей тѣни пристрастія—есть другая задача, счастливое исполненіе которой сдѣлало бы честь любому писателю. Мысль, о которой мы говорили выше, есть уже какъ бы добавочный подарокъ читателю и нѣчто такое, о чемъ, можетъ быть, не думалъ прямо авторъ, но что само собой навѣвается въ голову человѣку, привыкшему размышлять надъ прожитымъ, видѣннымъ или прочитаннымъ.

Мы сказали, что общая мысль, выше нами разъясненная, могла и не быть прямою задачею автора, но что она легко навѣвается его произведеніемъ. Точно также легко могутъ возбудиться повѣстью гр. Толстого и другія мысли.

Л. Н. Толстой, собственно говоря, изобразилъ намъ мастерскою кистью событіе совершенно частное: борьбу чувствъ, страстей, сомнѣній, однимъ словомъ отрывокъ изъ внутренней жизни одного молодого цивилизованнаго человѣка среди грубой, дикой, чуждой ему, но привлекательной жизни. Уже по одной глубинѣ и правдѣ анализа, по яркости каждой мелкой картины—повѣсть заслуживаетъ полнаго нашего вниманія; но она имѣетъ для насъ и другой интересъ, по близости ко всѣмъ намъ Оленина, по близости къ намъ той среды, которая породила его и изъ которой онъ бѣжалъ наконецъ. Мудрено ли, что повѣсть возбуждаетъ въ насъ многія мысли.

Намъ лично, напр., невольно приходятъ въ голову слѣдующіе вопросы. Такъ ли же бы отнесся цивилизованный иностранецъ къ той грубой и, очевидно, низшей средѣ, съ которой привелось столкнуться Оленину. А если нѣтъ, то какія же особенности отличаютъ цивилизованныхъ русскихъ людей отъ цивилизованныхъ нѣмцевъ, французовъ, англичанъ? Наконецъ, въ пользу или не въ пользу русской натуры говоритъ эта легкость Оленина, съ которою онъ такъ скоро и безъ сожалѣнія рѣшается промѣнять блага высшей цивилизаціи, имъ уже испытанныя, на простую и грубую жизнь казаковъ? Принадлежитъ ли Оленинъ къ поколѣнію, уже отживающему свой вѣкъ, или мы можемъ возлагать надежды на людей этого склада? Въ другихъ повѣсть гр. Толстого можетъ возбудить и другіе вопросы. Но за всѣ эти мысли, къ какимъ бы результатамъ онѣ ни привели, авторъ уже не отвѣчаетъ—критика можетъ осудить его повѣсть лишь въ томъ случаѣ, когда найдетъ что-либо фальшивое въ самомъ содержаніи повѣсти, въ томъ простомъ фактѣ или событіи, которое изображено авторомъ. Такъ, напр., повѣсть гр. Л. Н. Толстого подлежала бы осужденію, или лучше сказать не имѣла бы никакого значенія, если бы можно было указать въ ней психологическія неувѣрности, несообразности въ характерѣ дѣйствующихъ лицъ, пристрастное или умысленно-неувѣрное представленіе изображаемаго быта. По нашему крайнему убѣжденію, новая повѣсть графа Л. Н. Тол-

стого безукоризненна въ этомъ отношеніи. Все, что сказано въ ней, можетъ быть принято безусловно, какъ фактъ изъ дѣйствительной жизни. Всѣ правильныя разсужденія о фактѣ, изображенномъ авторомъ, приведутъ непремѣнно и къ правильнымъ выводамъ, ибо, какъ всякое истинно-художественное произведеніе, повѣсть гр. Толстого даетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ глубже въ нее всматриваешься. Въ фальшивыхъ выводахъ, которые можно сдѣлать изъ его повѣсти, авторъ повторяемъ, не виноватъ.

Статья наша вышла бы черезъ мѣру длиною, если бы мы задумали указать читателю на всѣ многочисленныя частныя достоинства новой повѣсти гр. Л. Н. Толстого. Но о нѣкоторыхъ общихъ чертахъ его художественныхъ приѣмовъ мы считаемъ себя не въ правѣ умолчать. Такъ, напр., мы не можемъ не указать на его мастерскія изображенія природы, не распыляющіяся въ описаніяхъ и картинахъ, но въ двухъ, трехъ самыхъ типическихъ чертахъ сразу рисующія вамъ характеръ мѣстности вмѣстѣ съ впечатлѣніемъ, какое оно неизбѣжно производитъ на душу. Еще болѣе цѣнимъ мы его высоко-правдивыя, не жеманныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сопровождаемыя чувствомъ глубокой мѣры, изображенія всѣхъ вещей и отношеній. Кого, напр., можетъ оскорбить это почти античное благоговѣніе Оленина предъ молодою и свѣжею красотою Марьяны, или нѣкоторыя страстныя сцены между ними; а описаніе трупа убитаго черкеса!—Только такія художественныя изображенія помогаютъ намъ видѣть прямыми и ясными глазами жизнь и природу, а не загораживаютъ ихъ отъ насъ красивыми, но безъ толку расписанными ширмами. Но довольно пока о „Казакахъ“; мы искренно желаемъ встрѣтиться поскорѣе съ новымъ произведеніемъ гр. Толстого, и тогда будемъ имѣть случай вновь побесѣдовать о его дѣятельности съ читателями.

Е. Эдельсонъ.

*) Лихорадочно-напряженное состояніе нашего общества всёхъ выбиваетъ изъ колеи, въ особенности литераторовъ. Романисты пускаются въ полемику, публицисты пишутъ романы, историки — драмы, лирическіе поэты — статьи по хозяйственной части и, очень можетъ быть, что экзекуторы скоро начнутъ стихи писать. Я не критикъ, но по желанію вашему пишу и посылаю къ вамъ критическія замѣтки по поводу только что прочитанной мною повѣсти „Казакѣ“, соч. графа Л. Н. Толстого.

Кто не читалъ самой повѣсти, тотъ лучше сдѣлаетъ, если прочтетъ ее прежде, чѣмъ станетъ читать письмо мое. Я не стану излагать содержаніе повѣсти и буду кратокъ по возможности; скажу вамъ то же, что сказалъ бы я и самому автору, если бѣ по-старому увидѣлся съ нимъ и если бѣ онъ спросилъ моего мнѣнія.

Повѣсть „Казакѣ“ есть произведеніе замѣчательнаго художника и въ то же время не есть художественное произведеніе. Если бы оно было таковымъ, я не рѣшился бы взять на себя случайную роль судьи его. До уровня съ великими произведеніями искусства могутъ подниматься только великіе критики. Если-бѣ оно было таковымъ, я пришелъ бы отъ него въ такой восторгъ, что ничего бы написать не былъ въ состояніи, да и самый восторгъ постарался бы скрыть отъ глазъ литературной братіи: никто не нашелъ бы въ немъ затаеннаго чувства патріотической гордости и никто бы не повѣрилъ его искренности, — до такой степени въ наши трудные дни потребность наслаждаться искусствами заглушена иными потребностями, которыя вопіютъ и требуютъ удовлетворенія.

Напрасно сталъ бы я увѣрять, что отъ наслажденій умственныхъ точно также плодятся идеи, какъ плодятся люди отъ наслажденій чувственныхъ. Мнѣ на это скажутъ: мы и съ тѣми-то идеями, которыя кой-какъ добыли, не знаемъ куда дѣваться, какъ провести ихъ въ жизнь и проч. и проч.

*) Я. Полонскій. „Время“ 1863 г., № 3. Статья подъ заглавіемъ: „По поводу послѣдней повѣсти графа Л. Н. Толстого — „Казакѣ“. (Письмо къ редактору „Времени“.)

Напрасно я сталъ бы возражать, что отъ частныхъ или индивидуальныхъ идей еще далеко до идеи общей, всепокоряющей и всепроникающей, но что безъ первыхъ не будетъ и послѣдней, какъ безъ мелкихъ ручьевъ и стоковъ не образуется ни одной большой рѣки.

Что такое идеи?—скажутъ мнѣ:—идеи добываются фактами, а не вашими искусствами. Но... произведеніе искусства тотъ же фактъ, точно такъ же, какъ и всякое явленіе природы и точно такъ же достойно глубокаго изученія.

Когда новое явленіе природы поражаетъ естествоиспытателя, онъ наслаждается имъ или безсознательно, какъ и всякій смертный, или сознательно, т.-е. изучаетъ его, находитъ ему мѣсто въ ряду другихъ явленій, старается понять значеніе его для науки или для общества... Онъ можетъ долго и добросовѣстно изучать его, но спорить съ нимъ не можетъ. Точно такое же отношеніе критика къ истинно-художественному поэтическому созданію: онъ можетъ изучать его, но спорить съ нимъ не можетъ.

Да и кого бы могъ онъ оспаривать! Если произведеніе принадлежитъ лирическому поэту, носить на себѣ печать его личности (субъективное произведеніе), то поэтъ уже не поэтъ, если можно его оспаривать; да и есть ли возможность оспаривать человѣка, который иронически смѣется или горько плачетъ, если только вы вѣрите въ искренность его смѣха, въ непритворность слезъ его. Тѣмъ душевнымъ настроеніямъ, которыхъ печать лежитъ на лирической поэзіи, можно сочувствовать или не сочувствовать, можно покоряться или не покоряться ихъ магическому вліянію, но не спорить; если же это поэтъ объективный, романистъ, повѣствователь, драматургъ, вы будете имѣть дѣло съ его произведеніемъ,—до личности поэта вамъ и дѣла нѣтъ. Когда Гоголь напечаталъ свою переписку съ друзьями, съ нимъ можно было спорить, соглашаться и не соглашаться съ нимъ, но когда онъ напечаталъ свою повѣсть „Шинель“, отъ нея повѣяло такою жизнью, такою правдой, что изучать можно, даже находить кой-какіе недостатки можно, но есть ли возможность спорить съ такимъ произведеніемъ, въ которомъ не-

видать самого производителя, съ такимъ производителемъ, котораго мысль стала живымъ и яснымъ фактомъ. Промелькнула эта мысль помимо факта, и споръ возможенъ — ибо мысль о жизни еще не жизнь, мысль о смерти — не смерть. Авторъ можетъ думать одно, читатель другое; онъ можетъ стоять на одной точкѣ зрѣнія, а на другой.

Графъ Л. Н. Толстой не лирикъ и не совершенно объективный писатель; что бы онъ ни писалъ, во всѣхъ его произведеніяхъ мелькаетъ его личность, выступаетъ собственная мысль его; такъ иногда онъ самъ себя мѣшаетъ, впутывая самого себя въ свои произведенія.

Когда я читалъ повѣсть его „Казакъ“, когда передо мной раскрывалась великолѣпная картина Кавказа, казацкой станицы, домашняго и воинственно-служебнаго быта казаковъ, я не могъ не чувствовать, что изъ-за рамы этой картины выглядываетъ самъ художникъ и учитъ меня, какъ понимать ее. Такъ, стало-быть, есть такія мѣста въ произведеніи, которыя сами по себѣ, безъ помощи художника, были бы неясны. Если есть — то картина не дорисована, не дописана и еще не имѣетъ права казаться вполне художественнымъ произведеніемъ, а если все само собой ясно, то къ чему же подсказывать! Наше время особенно богато литературными произведеніями, вызывающими на споръ. Если-бъ произведеніе графа Л. Н. Толстого не дышало такою жизнью, не было такъ поразительно свѣжо, не заключало въ себѣ такъ много правды, словомъ, не носило бы на себѣ печати сильнаго таланта, не стояло бы и спорить съ авторомъ.

Съ иными спорить трудно, потому что поневолѣ вѣришь имъ; потому что они стоятъ выше васъ и видятъ дальше васъ; съ иными трудно спорить, потому что большинство стоитъ за нихъ: мысль ихъ нравится молодому поколѣнію. Съ иными легко, потому что за нихъ меньшинство или болѣе или менѣе люди отсталые.

Трудность и легкость спора зависятъ также и отъ самаго произведенія. Жизнь, изображаемая авторомъ, стоитъ

или за его убѣжденія или безпрестанно, помимо воли его, противорѣчить имъ.

Съ графомъ Л. Н. Толстымъ спорить и трудно, потому что, и увѣренъ, мысль его болѣе или менѣе гармонируется съ настроеніемъ нашего общества, и легко, потому что въ его повѣсти сама жизнь безпрестанно споритъ съ авторомъ, противорѣчить его мысли, превращая ее въ какой-то парадоксъ, ничѣмъ необъясненный и ничѣмъ еще недоказанный.

Цивилизація не удовлетворяетъ насъ. Не искать ли этого удовлетворенія въ простотѣ полудикой жизни, на лонѣ природы? вотъ задушевная мысль, приводимая авторомъ.

Она не нова. Пушкинъ проводилъ ту же мысль въ своей поэмѣ „Цыгане“, но Пушкинъ, какъ великій художникъ, выбралъ изъ среды кочующаго племени такіа идеальныя личности, что сравнительно съ образованнымъ Алексѣемъ они кажутся и человѣчнѣе, и даже глубже его въ пониманіи человеческого сердца. Утомленному борьбой или скучающему въ бездѣйствіи юношѣ сладко применить къ такой широко-вольной, безмятежной жизни. У Пушкина мысль не расходится съ тѣми образами, которые возникаютъ у васъ въ душѣ при чтеніи его произведенія. Графъ Л. Н. Толстой остался вѣренъ природѣ, людямъ и будничной жизни; онъ неспособенъ что-нибудь идеализовать, и вывелъ на сцену далеко не такихъ людей, съ которыми легко надолго мириться человѣку, сколько нибудь развитому. Въ той средѣ, въ которую онъ переноситъ васъ вмѣстѣ съ своимъ героемъ, Ленинымъ, тѣ же условія, тѣ же мелкіе расчеты, тѣ же награды за подвигъ. И не только читатель, самъ герой Ленинъ колеблется:—то, при малѣйшемъ напоминаніи ему о московской жизни, чувствуетъ, что на него пахнуло той гадостью, отъ которой онъ отсекся; то въ самой станицѣ (напримѣръ, въ обществѣ казачекъ, на именинахъ у Устенки) многое находитъ до того пошлымъ и отвратительнымъ, что ему бѣжать хочется.

Повѣритъ ли послѣ этого читатель письму Ленина, въ

которомъ онъ пишетъ къ своимъ на родину. „Вы не знаете, что такое счастье, что такое жизнь! Надо испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ“ и пр. Что это: минутный порывъ или фраза? Ни то ни другое не заключаетъ въ себѣ силы, насъ убѣждающей, а между тѣмъ все, что говоритъ Оленинъ, вся его жѣль и омерзѣніе къ свѣту, къ полубразованной московской средѣ, до такой степени противорѣчитъ всей его московской жизни, всему тому, что онъ чувствовалъ, покидая эту жизнь, тому, что самъ авторъ говоритъ о немъ въ началѣ повѣсти, что по неволѣ вообразишь, что за Оленина говоритъ самъ авторъ. Вѣдь, могъ же авторъ сладить со всѣми остальными характерами, отчего же онъ не сладилъ только съ Оленинымъ? Не оттого ли, что онъ менѣе равнодушенъ къ нему, чѣмъ ко всѣмъ остальнымъ?...

У Пушкина Алеко—сильный характеръ, и читатель имѣетъ полную возможность подозрѣвать, отчего онъ не ужился съ обществомъ; у графа Толстого герой безъ всякой силы. Это маленькій себялюбецъ, скорѣе избалованный жизнью, чѣмъ огорченный ея противорѣчіями, маленькій Гамлетикъ, способный только на минутныя увлеченія. Отъ чего бы кажется ему бѣжать? Отъ самого себя? Но отъ себя убѣжать рѣшительно некуда. Куда ни приди, вездѣ будешь чужой. Авторъ, великій аналитикъ и тонкій психологъ, не довольно проникъ въ радости и страданія своего Оленина и не дорисовалъ его. Онъ ни разу не отнесся къ нему съ ироніей, ни разу не выдвинулъ на свѣтъ главную черту его характера. Это безпрестанный надзоръ его за собою ради страшнаго самолюбія и самообереганія; авторъ щадитъ его, какъ отецъ щадитъ ребенка, щадитъ, имѣя въ рукахъ своихъ тончайшее изъ орудій—анализъ.

Пушкинъ казнить своего Алеко; графъ Толстой также *хотѣлъ казнить* своего героя, но не договорилъ послѣдняго слова. Договорить его онъ бы не рѣшился, ибо повредилъ бы не только герою, но и къ собственной мысли своей сталъ бы въ противорѣчіе.

Если бы Алеко ужился между идеальными Пушкинскими

цыганами, онъ могъ бы еще быть счастливъ; онъ самъ нарушилъ это счастье, самъ убилъ свою свободу, нарушая свободу другихъ. Но, что случилось бы съ Оленинымъ, если-бъ онъ женился на казачкѣ Маріанѣ, какую роль сталъ бы онъ играть между казаками? Что бы сталъ дѣлать всю жизнь, если-бъ его не убили абреки? ревновать къ женѣ, ходить на охоту или отъ скуки пьянствовать?

Авторъ хотѣлъ казнить героя своего за то только, что онъ не родился въ станицѣ, за то, что у него ничего съ казаками нѣтъ общаго, за то, что онъ не можетъ равнодушно убивать абрековъ, воровать ногайскихъ коней, лезть въ окошки къ дѣвкамъ и цѣловать ихъ, не думая, что онъ и зачѣмъ онъ? Словомъ, авторъ казнить его не за какое-либо преступленіе противъ свободы, какъ казнить Пушкинъ своего Алеко, а просто за то только, что онъ развитѣе казаковъ. Но казня своего героя, авторъ въ сущности спасаетъ его отъ той несвойственной ему животной жизни, которая бы досталась ему на долю, если-бъ онъ остался между казаками мужемъ *первобытной женщины*. Авторъ, какъ кажется, даже и не подозреваетъ, что холодность Маріаны спасла его Оленина.

Все, что нашелъ Оленинъ истинно прекраснаго въ станицѣ, все есть и въ средѣ образованной: красота есть; свободолюбивыя, никакихъ условій не признающія, безкорыстныя дѣвушки—есть; хорошія трудолюбивыя хозяйки, созидающія довольство—также есть. Людей, ничего не признающихъ, кромѣ страстей своихъ, людей, не покоряющихся никакимъ свѣтскимъ условіямъ—также можно найти. Нашлись бы и такіе, которые никогда не гордились и не гордятся своимъ знакомствомъ съ аристократами и не чувствуютъ, подобно Оленину, ни малѣйшаго удовольствія, когда подходитъ къ нимъ на балѣ князь *Сергей* и говоритъ ласковыя рѣчи.

Оленинъ далеко не представитель лучшихъ людей нашего времени. Онъ человѣкъ явно отживающаго поколѣнія, нѣчто въ родѣ блѣднаго отраженія лучшихъ людей Пушкинской эпохи. Наши передовые люди, возстаая на все,

что есть ложно и гнило въ нашей цивилизаціи, не пойдутъ наслаждаться на лонѣ природы или искать отрады у дикихъ. Они лучше, подражая графу Льву Николаевичу Толстому, будутъ учить крестьянскихъ мальчиковъ, чѣмъ гоняться за какими-то счастьемъ внѣ всякой цивилизаціи.

Въ нашей цивилизаціи много гнили, потому что гниетъ въ ней все отживающее, все ненужное живому общественному организму, все привитое и ему несвойственное; въ этомъ смыслѣ—чѣмъ больше гнили, тѣмъ лучше. Догнивающее отпадаетъ, замѣняясь новыми, свѣжими элементами жизни. Мы навозъ, унаваживающій мочву для другихъ поколѣній,—говорилъ когда-то Бѣлинскій, и не приходилъ отъ этого въ отчаянье. Онъ не бѣжалъ отъ гнили ради эгоистическаго самосохраненія, аврывался въ нее, нарушалъ покой ея, обдавая ее струями свѣжаго развѣдающаго воздуха, заставлялъ ее еще больше гнить, чтобъ всѣ видѣли, что это гниль, и вѣроятно онъ гордился тѣмъ, что могъ на нее указывать, не меньше Лукашки, которому завидовали оттого, что ему удалось подстрѣлить абрека.

Больная мысль человѣка, разбитого жизнью, конечно очень искренно можетъ иногда пожелать той среды, гдѣ она надѣется на свое выздоровленіе, той среды, гдѣ—по словамъ автора повѣсти, *моды живутъ, какъ живетъ природа, умираютъ, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, тѣютъ, пьютъ, радуются и опять умираютъ*, той среды, гдѣ *нѣтъ никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву*.

Но едва ли такая жизнь дастъ полное успокоеніе развѣ пробужденной, хоть и больной мысли. Живуча эта больная мысль! Если иногда и желаетъ она *бѣжать*, то развѣ потому только, что боится здоровой мысли, чувствуетъ, что не въ силахъ догнать ее и заодно съ нею дѣйствовать.

Въ ту жизнь, которую рисуетъ въ немногихъ словахъ графъ Л. Н. Толстой, и я бы охотно на время погрузился, для того чтобы окрѣпить физически и опять воротиться на борьбу съ гнилью насколько силъ хватитъ.

Я былъ также на Кавказѣ, также попыталъ на себѣ страсть къ полудикой женщинѣ, также наслаждался природой, и несмотря на это, когда покидалъ Кавказъ, писалъ съ искреннимъ одушевленіемъ:

И душа на просторъ вырывается
Изъ-подъ власти кавказскихъ громадъ.

Душу, къ битвамъ житейскимъ готовую,
Я за снѣжный несу переваль, и проч.

Я, какъ видите, не разбиралъ критически самой повѣсти, ни слова не сказалъ вамъ о лучшихъ сторонахъ ея, — ихъ отбывать всѣ, не только горячіе поклонники таланта Л. Н. Толстого, но и люди, къ нему совершенно равнодушные. Красоты этого произведенія перевѣшиваютъ его недостатки; отъ всего рассказа вѣетъ кавказскимъ воздухомъ. Это не поддѣльный, не подкрашенный, не романтический Кавказъ, съ романтическими героями. Каждый штрихъ, рисующій тамошнюю природу, вѣренъ, а казаки? Лукашка, дядя Ерошка, хорунжій! Да вы непременно ихъ сами встрѣчали, если только когда-нибудь ломали походы тамъ, гдѣ

По камнямъ струится Терекъ,
Плещетъ мутный валъ...

или вы непременно ихъ встрѣтите, если туда поѣдете. Женскія лица также мастерски очерчены, въ особенности Маріана. Я какъ-то въ молодости самъ проѣзжалъ станицы и знакомился проѣздомъ съ казачками, и Маріана и Устенъки еще до сихъ поръ смутно мелькаютъ въ моемъ воображеніи. Ихъ образы стали для меня яснѣе послѣ прочтенія повѣсти Л. Н. Толстого.

Мнѣ остается сдѣлать одно или два замѣчанія, иначе я уйду, и начну хвалить повѣсть... изъ благодарности къ тому, кто волшебствомъ пера своего перенесъ меня на Кавказъ и затронулъ мои воспоминанія

Что прошло, то стало мило.

Первое замѣчаніе. Лучшіе эпизоды повѣсти „Казакъ“, а именно тотъ, гдѣ казакъ Лукашка застрѣливаетъ ночью переплывающаго черезъ Терекъ абрека; тотъ, гдѣ является братъ убитаго за его тѣломъ, и тотъ, гдѣ, наконецъ, братъ этотъ является съ другими абреками мстить за смерть убитаго, погибаетъ и подстрѣливаетъ Лукашку — эти три эпизода составляютъ почти отдѣльную повѣсть; читая ихъ, забываешь и Оленина и всѣ остальные части. Эти эпизоды — повѣсть въ повѣсти. Такая сложность разбиваетъ, двойитъ вниманіе читателя.

Второе замѣчаніе. Авторъ не довольно выясняетъ враждебное отношеніе казаковъ ко всѣмъ — кто не казакъ. Откуда эта скрытая неприязнь даже къ своимъ защитникамъ? отъ религіозныхъ или иныхъ причинъ? Вообще, въ чемъ главная „суть“ ихъ раскола, въ чемъ заключается та сила, которая связываетъ ихъ въ такое братство? Всего этого не видимъ изъ повѣсти, несмотря на то, что авторъ, обнаруживая наблюдательность и близкое знакомство съ тѣмъ краемъ, который взялся описывать, вдается въ длинныя, этнографическія, почти научныя подробности. Вообще весь рассказъ изобилуетъ тѣми мелочами, изъ которыхъ каждая сама по себѣ — прелесть, но совокупность которыхъ, какъ излишнее богатство, по временамъ утомляетъ нетерпѣливаго читателя.

Вотъ все, что могу сказать вамъ по поводу новой повѣсти; все это мое личное мнѣніе. Кто докажетъ мнѣ, что я въ чемъ-нибудь ошибся, тому я мысленно скажу спасибо.

Я. Полонскій.

* * *

Недавно мы имѣли случай говорить объ одномъ изъ представителей дѣловой беллетристики, Н. Щедринѣ, и замѣтить, что онъ до излишества предается искушенію растолковывать

*) П. Анненковъ. „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1863 г. № 144 и 145. (Статья подъ заглавіемъ: „Современная беллетристика. Графъ Л. Н. Толстой“. *Казакъ. Кавказская повесть, 1852 года, Л. Н. Толстому*).

читателю каждое явленіе и каждый приводимый имъ фактъ съ одной постоянной точки зрѣнія, на которой онъ неизменно утвердился. Иначе поступаетъ писатель, имѣющій подобную же любимую, неподвижную точку зрѣнія, обладающій сильными художническими средствами. У Л. Н. Толстого есть своя постоянная, предвзятая идея, какъ увидимъ ниже, но способы проводить эту идею въ литературѣ, относиться къ ней и выражать ее до того разнятся съ обыкновенными приемами дѣловой беллетристики, что искать какой-либо солидарности или родственности между двумя родами литературнаго производства было бы совершенно напраснымъ дѣломъ.

Съ именемъ Толстого (Л. Н.) связывается представленіе о писателѣ, который обладаетъ даромъ чрезвычайно-тонкаго анализа помысловъ и душевныхъ движеній человѣка и который употребляетъ этотъ даръ на преслѣдованіе всего того, что ему кажется искусственнымъ, ложнымъ и условнымъ въ *цивилизованномъ* обществѣ. Сомнѣніе относительно искренности и достоинства большей части побужденій и чувствъ, такъ называемаго, образованнаго человѣка на Руси, вмѣстѣ съ искусствомъ передать нравственные кризисы, которые навѣщаютъ его постоянно—составляетъ отличительную черту въ творчествѣ нашего автора. Еще въ первыхъ своихъ произведеніяхъ: „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“—Толстой уже былъ психологомъ и скептикомъ; онъ уже и тогда показалъ публикѣ, до чего можетъ идти острый психическій анализъ, опирающійся на сомнѣніи въ человѣческой природѣ, которая испорчена прикосновеніемъ цивилизаціи. Взрослые, уже кончившіе полный курсъ извращенія своихъ естественныхъ чувствъ и наклонностей, и молодые ихъ отпрыски, только еще начинающіе эту науку извращенія—одинаково подпали его изслѣдованіямъ, разумѣется въ мѣру успѣховъ, полученныхъ ими на поприщѣ скрытности, лицемерной сдержанности и разладицы между настоящимъ чувствомъ и чувствомъ выражаемымъ. Онъ проникалъ, не разбирая пола и возраста, до дна тѣхъ кокетливыхъ и наружно благообразныхъ душевныхъ порывовъ человѣка, которые прикрываютъ

другой, тайный міръ его ощущеній и мыслей, исполненный страшилищъ или, по крайней мѣрѣ, карикатуръ и пародій на то, что вышло къ свѣту, на фразу, идею, слезу, и проч. Тогда еще публика не угадала настоящихъ поводовъ автора къ этому разоблаченію, да и онъ самъ врядъ ли ясно сознавалъ ихъ, слѣдуя только инстинктивно побужденіямъ своего таланта. Безъ всякаго дальновиднаго расчета или намѣренія, онъ и скрылъ ихъ—выдвинувъ на первый планъ жизнь богатаго, дворянскаго дома, проникнутую чувствомъ семейности, живыя милыя лица дѣтей и подростковъ, которыми ихъ почтенные родные служатъ какъ бы массивной, отѣняющей рамой, и окруживъ еще всю эту картину разнообразными явленіями природы, сценами народнаго и домашняго быта. И впоследствии анализъ Толстого никогда не выражался сухо, самъ для себя или при помощи нарочно приготовленныхъ для него типовъ (за исключеніемъ одного или двухъ неудачныхъ соображеній въ родѣ „Люцерна“): наоборотъ анализъ его всего болѣе нуждается въ полной жизни, хорошо растетъ только промежъ разнообразія формъ, въ средѣ свободныхъ людскихъ отношеній и при оригинальныхъ личностяхъ, раздражающихъ и вызывающихъ его. Онъ тогда прививается къ нимъ съ цѣпкостью лѣаны, но надо было нѣсколько времени для того, чтобъ настоящія свойства этого анализа уяснились какъ самому автору, такъ и его читателямъ. Только въ послѣднее время, Толстой самъ откровенно выдалъ себя за скептика и гонителя не только *русской* цивилизаціи, но и разслабляющей, причудливой, многотребовательной и запутывающей цивилизаціи вообще.

Какой идеалъ общественнаго развитія желалъ бы онъ поставить на мѣсто заподозрѣваемаго и отвергаемаго имъ развитія—этого авторъ не сказалъ, и не только не сказалъ, но нигдѣ не видно, чтобъ онъ присоединился къ тому, что говорили по этому поводу тѣ литературныя партіи наши, которыя гордятся обладаніемъ подобныхъ идеаловъ. Художническое его чувство, вмѣстѣ съ привычкой къ сомнѣнію и анализу, не позволили ему остановиться ни на одной

изъ существующихъ программъ лучшаго развитія, такъ какъ и составить свою собственную. Надо сказать, что эта привычка къ сомнѣнію и анализу воспитала въ немъ самую капризную и заносчиво-оригинальную мысль, которая уже не сноситъ какого-бы то ни было самого законнаго посягательства на свою свободу, представляйся оно хоть въ формѣ дознаннаго историческаго закона, или въ формѣ несомнѣннаго, многолѣтняго опыта или, наконецъ, въ видѣ лучезарнаго художческаго произведенія. Мысль эта начинаетъ тотчасъ же работать по-своему надъ ними, не осѣдомляясь о прежде бывшихъ путяхъ изслѣдованія, всегда отыскивая свой собственный, одной ей принадлежащій и часто кончая тѣмъ, что теряетъ изъ вида самый предметъ анализа со всѣми его реальными свойствами и уже разлагаетъ себя самое. Нѣкоторыя страницы „Ясной Поляны“ (возьмите хоть статью: „Воспитаніе и образованіе“ въ июльской книжкѣ 1862 г.) могутъ подтвердить наши слова. Въ этихъ случаяхъ капризно-оригинальная и независимая мысль эта становится похожа на станокъ, приведенный въ движеніе сильной паровой машиной, но лишенный матеріала производства: шумъ, стукъ, напряженная дѣятельность тутъ существуютъ, какъ и при настоящей работѣ, но станокъ собственно занятъ ускореніемъ своей порчи. Отсутствие „идеала цивилизаціи“ не оставляетъ, однакоже, у Толстого пустого мѣста. Настоящій, опредѣленный идеалъ замѣщается у него, какъ уже было замѣчено прежде насъ — страстнымъ влеченіемъ къ простотѣ, естественности, силѣ и правдивости непосредственныхъ явленій жизни. Душа его отдана всему, что еще не выдѣлилось вполне изъ природнаго состоянія, изъ оковъ матеріи и изъ фатализма исторіи, всему, что развивается безсознательно, покоряясь, съ одной стороны, врожденнымъ и стало-быть искреннимъ побужденіямъ юеого организма, а съ другой, — удовлетворяя духовную волю природу только тѣми нравственными представленіями, только той наукой, поэзіей и философіей, которыя сложились въ теченіе вѣковъ, неизвѣдомымъ образомъ и сами собой, вокругъ человѣка, какъ различные пласты его родной почвы.

Здѣсь только и истина для Толстого. Въ этомъ влеченіи кроются и источники его постоянной, предвзятой идеи, управляющей всей художественной его дѣятельностью.

Но идея о естественности и природѣ, какъ критериумахъ истины, не новость въ русской литературѣ, даже просто въ образованномъ нашемъ обществѣ,—только они понимали ее различно: русская литература всегда относилась къ ней чрезвычайно отвлеченно, что можно видѣть, напримѣръ, изъ гениальнаго очерка Пушкина—Цыганы, гдѣ Алеко есть воображаемое лицо, не принадлежащее никакой странѣ и олицетворяющее, подобно Манфреду, права гордой непокорной мысли, гдѣ сами цыганы возведены лирическимъ вдохновеніемъ до идеала свободнаго, бродящаго племени, мало отвѣчающаго дѣйствительности. Но для Пушкина такъ и надо было, потому что задача его состояла не въ изображеніи извѣстнаго быта или извѣстнаго развитія, а только въ поэтическомъ воспроизведеніи одного изъ тѣхъ отчаянныхъ порывовъ души, которыми могли быть одержимы усталые и обманутые люди современной ему эпохи. По такимъ же или однороднымъ причинамъ идея эта выражается отвлеченно и въ дѣятельности Лермонтова. Всѣ его Мцыри, демоны—дикіе и своевольные характеры, находящіе только въ самихъ себѣ законы для своего образа дѣйствій, очень прилично связаны съ бытомъ и преданіями Кавказа, но выражаютъ совсѣмъ не дѣйствительный Кавказъ, а политико-философское содержаніе авторской фантазіи, силу и сущность извѣстнаго поэтического созерцанія. Фантазія Пушкина и Лермонтова, какъ хотите, связана съ дѣйствительностью и можетъ быть принята за ея отраженіе, но только въ томъ смыслѣ, что сама есть произведеніе своей нервически-раздражительной и безпомощной эпохи, отъ нея отродилась. Что касается до общества, то идея эта, подхваченная у Руссо, осуществлялась у насъ разными куріозными личностями не иначе, какъ въ циническихъ продѣлкахъ, ползаніи на четверенькахъ и тому подобныхъ упражненіяхъ, при чемъ, однакоже, личности не забывали своихъ политическихъ правъ, управляли людьми и безчин-

ствовали надъ ними, по крайней мѣрѣ, столько же, сколько и надъ собой. Возвращаясь къ литературной судьбѣ идеи, мы находимъ, что у Толстого она впервые низведена въ реальный міръ и отъ реального міра уже получила всѣ черты и краски, посредствомъ которыхъ выражается писателемъ. Воплощеніе идеи у Толстого разнообразно, но постоянно и непрерывно. Идея глядитъ отовсюду въ его произведеніяхъ. Она уполномочиваетъ его живописать природу, метель, напимѣръ, какъ дѣйствующее лицо, и смѣло говорить о впечатлѣніяхъ дерева, подсѣкаемаго топоромъ и о вереницѣ мыслей и представленій, которыя носятъ въ замирающемъ мозгу человека, раненаго на смерть; она подсказываетъ его поэтическія отступленія и его философскія размышленія о жизни и морали; она стоитъ невидимо за всѣми видами и формами его творчества и составляетъ именно тотъ ключъ, который необходимъ для разбора и правильного ихъ пониманія. Мы повторимъ только сказанное, если прибавимъ, что Толстой въ ней и почерпаетъ силу для того остраго разложенія самыхъ тонкихъ душевныхъ ощущеній, которое насъ удивляетъ въ его картинахъ изъ семейнаго и общественнаго быта.

Мы поставлены въ необходимость сказать при этомъ нѣсколько словъ и о педагогической дѣятельности Толстого, такъ какъ, по нашему мнѣнію, она есть не болѣе не менѣе, какъ новый видъ его художническаго творчества. Разница можетъ состоять въ томъ, что страстное исканіе естественныхъ силъ и свѣжихъ зародышей ума и чувства перенесены здѣсь на практическую почву, на живое лицо изъ обширной области фантазіи, въ которой подвизались доселѣ. Толстой относится къ ребенку своей знаменитой школы съ тѣми же требованіями, какъ къ воображаемымъ лицамъ своихъ произведеній и къ окружающему міру вообще. Онъ и за учительскимъ столомъ такой же психологъ, зоркій наблюдатель и фанатическій адептъ своей вѣры въ красоту и истину всего прирожденнаго, какъ и за письменнымъ. Матеріалъ для работы измѣнился, но сама работа не измѣнилась — только анализъ его приобрѣлъ уже поло-

жительный характеръ вмѣсто прежняго отрицательнаго. Анализъ Толстого уже не обличаетъ ребенка: онъ прославляетъ его. Иначе и быть не могло. Крестьянскій мальчикъ уже тѣмъ самымъ, что принадлежалъ къ простому, неиспорченному быту, становится *дитей правды* въ его глазахъ. Ня общество ни литература наша, конечно, никогда не забудутъ великихъ педагогическихъ заслугъ Толстого по открытію цѣлаго міра богатой, внутренней жизни дѣтей, міра, существованіе котораго только предчувствовалось до него немногими. Онъ проникъ въ самые скрытныя уголки этого міра и, вѣроятно, не одинъ разъ придется всякому учителю и наставнику, понимающему свое призваніе, справляться съ открытіями Толстого для того, чтобъ провѣрить свои планы образованія и уяснить многія загадочныя проявленія дѣтской воли и души. Но логическія послѣдствія чисто художественскихъ отношеній къ школѣ часто приводятъ къ сомнѣнію въ достоинство послѣднихъ какъ средствъ и орудій педагогинъ.

Намъ совершенно понятно, напримѣръ, отчего Толстой такъ рѣшительно и беспощадно преслѣдуетъ въ своемъ журналѣ всякую мысль о „воспитаніи“ челоѣка со стороны школы. Воспитаніе, по его опредѣленію, есть насильственное привитіе мнѣній, привычекъ ума и понятій одного взрослоаго лица къ другому слабѣйшему и беззащитному, на что никто не имѣетъ права, хотя собственно воспитаніе должно бы пониматься какъ прямой, неизбѣжный результатъ духовнаго общенія между тѣмъ и другимъ. Но съ обычной точки зрѣнія Толстого на значеніе и достоинство непосредственныхъ явленій онъ совершенно правъ. Какая передача моральныхъ представленій, отвлеченныхъ идей и понятій можетъ быть допущена тамъ, гдѣ самъ мальчикъ, по происхожденію своему, есть вполне нормальное существо, чистое и поэтическое отраженіе реальной, жизненной истины. Его, наоборотъ, слѣдуетъ беречь отъ внушеній ложной, несостоятельной цивилизаціи, а не подчинять ея сомнительному кодексу и не только беречь, но изучать ростки его собственной мысли, способные привести къ

открытію условныхъ, противуестественныхъ, слабыхъ сторонъ въ самихъ началахъ образованности. По этой теоріи не только воспитаніе есть порча ребенка, который, благодаря ему, принимаетъ въ себя, вмѣстѣ съ пошлыми убѣжденіями своего наставника, ошибки и заблужденія исторіи, предразсудки и бессмыслицы цѣлаго общества (мы бы сказали вообще грѣхи человѣчества, если бы не боялись исказить мысль Толстого преувеличеніемъ ея), но, переходя къ образованію, оказывается, что и простая передача науки подчинена нормальному существу — крестьянскому мальчику. Она находитъ свои границы уже не въ себѣ, а въ своемъ ученикѣ и должна остановиться тотчасъ, какъ посягаетъ на лучшее его достоинствѣ, — какъ начинаетъ перерабатывать его натуру. Знаніе обязательно для всѣхъ, какъ, на примѣръ, вѣра. Прежде чѣмъ навязывать науку ученику, надо еще освѣдомиться: какую онъ науку хочетъ и насколько ее хочетъ или, другими словами, надо узнать, насколько онъ, по совѣсти, можетъ принять работу чужой мысли, упражнявшейся задолго до него, безъ его вѣдома и насколько не имѣя въ виду его свойствъ и потребностей. Главная задача народнаго образованія заключается, по этой, чисто-художнической теоріи, въ томъ, чтобъ сдѣлать мальчика свѣдущимъ и не лишить его ни силы, ни простоты, ни ясности его врожденныхъ представленій, чтобъ вывести знаніе изъ городовъ въ поля и деревни и при этомъ сохранить имъ всѣ тѣ качества, которыми они отличаются отъ цивилизованнаго общества и его превосходятъ. Границы нашей статьи не позволяютъ намъ отдаться разбору всѣхъ этихъ противопоставленій, всѣхъ этихъ антиномій, которыя такъ подробно и мастерски, въ діалектическомъ смыслѣ, развиты самимъ Толстымъ въ его журналѣ, но что они не могутъ составлять цѣлей педагогич., какъ звуки, это кажется, очевидно само собою. Это скорѣе еми для свободнаго творчества въ области литературы и въ сферѣ преподаванія. Нѣсколько основныхъ правилъ, конечно, приведены и нашимъ авторомъ въ видѣ руководства, какъ, на примѣръ, правило о необходимости полной

свободы для ученика относительно учителя и полной подчиненности учителя указаніямъ нравственной природы своихъ воспитанниковъ, но это правило, какъ и всѣ другія того же рода, требуютъ въ примѣненіи къ дѣлу специальныхъ, художественныхъ способностей. Одного размышленія, правильного пониманія и добросовѣстности, обусловливающихъ хорошее примѣненіе научныхъ правилъ — для нихъ уже недостаточно. Лучшимъ свидѣтельствомъ, что успѣхъ школы, построенной на такихъ основаніяхъ, всегда будетъ зависѣть отъ лица и творческихъ силъ ея основателя, точь въ точь какъ достоинство литературнаго произведенія исключительно зависить отъ художественныхъ средствъ самого писателя—служить „Ясная Поляна“ Толстого. Въ этой знаменитой школѣ полная свобода, предоставленная ученикамъ, нисколько не разрослась въ анархію, безпутное баловство. Основатель ея находитъ причину явленія въ чувствѣ мѣры, свойственной дѣтямъ вообще и дѣтямъ этой мѣстности въ особенности; мы имѣемъ полное право думать, что явленіе это есть результатъ тѣхъ особенныхъ приемовъ творчества, которые участвовали въ созданіи школы, безъ которыхъ немислимо ея существованіе въ нынѣшнемъ своемъ видѣ, и которыхъ невозможно требовать отъ cadaго распорядителя народнаго училища. Впрочемъ, остается еще вопросъ—возможно ли даже и художнику-педагогу сохранить во всей цѣлости предписанія поэтической теоріи народнаго образованія, созданной Толстымъ? Самъ авторъ ея не вполнѣ вѣренъ ей. Несмотря на отвращеніе его къ попыткамъ прививать воспитанникамъ собственныя свои духовныя наклонности—это не замѣтитъ, что въ школѣ его преимущественно были развиты способы дѣйствовать на воображеніе и фантазію учениковъ? „Ясная Поляна“ сдѣлалась, можетъ быть, безъ вѣдома учредителя, питомникомъ *натуральныхъ* поэтовъ; она тотчасъ же наполнилась чрезвычайно милыми сочинителями разныхъ возрастовъ, дѣти сочиняютъ взапуски у Толстого—и это очень хорошо: ничто такъ не приводитъ къ уваженію себя, какъ сознанный талантъ или какъ увѣренность въ обладаніи особенной

способности, а уваженіе къ себѣ крестьянскому мальчику необходимо и для того, чтобъ заставить другихъ уважать себя. Но Толстой слишкомъ далеко заходитъ въ радости видѣть, какъ просто и легко школа его производитъ великихъ писателей. По поводу произведенія одного изъ своихъ малолѣтнихъ поетовъ (разсказа: „Солдаткино житье“), дѣйствительно отличающагося прелестью свѣжаго, только что возникающаго наблюденія, вспомоществуемаго при этомъ воспоминаніемъ пѣсенныхъ и сказочныхъ мотивовъ, онъ написалъ въ „Ясной Полянѣ“ статью, заглавіе которой уже выражаетъ все ея содержаніе. Вотъ оно: „Кому у кого учиться писать—крестьянскимъ ли ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ“. Это не капризъ діалектика, не шутка и не преднамѣренный софизмъ: авторъ дѣйствительно убѣжденъ, что литература должна быть сведена на то наивное подсматриваніе ближайшихъ явленій, какимъ всегда отличаются умные и даровитые мальчики.

Указывая на нѣкоторыя страницы „Солдаткина житья“, онъ отъ души восклицаетъ: „ничего подобнаго я не встрѣчалъ въ русской литературѣ“, какъ прежде отъ души говорилъ о превосходствѣ своего Оомки передъ Гёте. Толстой не хочетъ знать, что литераторъ и не долженъ такъ писать, что на порядочной литературѣ лежитъ обязанность не только передавать явленіе съ извѣстной теплотой и живостью, но еще отыскивать, какое мѣсто они занимаютъ въ ряду другихъ явленій и какъ относятся въ высшему идеальному представленію ихъ самихъ, къ своему нравственному и просвѣтленному типу. Если бы дозволено было приходить къ заключеніямъ о убѣжденіяхъ автора на основаніи аналогій и сближенія, то естественнымъ выводомъ изъ всего сказаннаго было бы, что для Толстого сага, или народная легенда, можетъ замѣнить исторію, пѣсня, складываемая общими силами народа, личное творчество, примѣта и половица—всю пытливую разработку вопросовъ естественной исторіи и философіи. Туда, по крайней мѣрѣ, ведетъ напряженное исканіе простоты, природныхъ истинъ, которое можетъ составить и силу писателя, и источникъ его неоправдываемыхъ увлеченій.

Послѣ этихъ замѣчаній намъ уже гораздо легче будетъ распознать настоящій смыслъ повѣсти „Казакѣ“, собственно и вызвавшей ихъ. Спѣшимъ прибавить, однакоже, что на какую бы точку зрѣнія ни становилась критика, по отношенію къ этому произведенію Толстого, она должна будетъ признать его капитальнымъ произведеніемъ русской литературы, наравнѣ съ наиболѣе знаменитыми романами послѣдняго десятилѣтія.

*) Если постоянная идея графа Толстого хорошо выражается всѣми видами его дѣятельности, то уже въ романѣ „Казакѣ“ она обнаружилась съ такой поэтической силой и въ такой изумительной художественской формѣ, что способна покорить себѣ самый холодный и осторожный умъ. Любимая мысль автора нашла себѣ воплощеніе въ неоспоримомъ историческомъ фактѣ, въ славянской общинѣ, очень реально существующей на русской почвѣ и, можно сказать, исчерпала всѣ характерныя и поэтическія особенности, ее отличающія. Десятки статей этнографическаго содержанія врядъ ли могли бы дать болѣе подробное, отчетливое и яркое изображеніе одного оригинальнаго уголка нашей земли, гдѣ всѣ условія человѣческаго существованія далеко не походятъ на тѣ, которыя образованный міръ считаетъ необходимыми для нравственнаго достоинства и благополучія лица. Развѣ только очень умный путешественникъ, надѣленный еще артистической воспримчивостью, способенъ былъ бы начертать нѣчто приближающееся къ картинѣ, данной намъ гр. Толстымъ. Благодаря роману, мы имѣемъ передъ собой пограничную казацкую станицу 1852 года, связанную съ отечествомъ только языкомъ, смутнымъ чувствомъ одного общаго происхожденія, да спеціальной своей службой—огражденіемъ русской земли отъ сосѣднихъ горныхъ племенъ, съ которыми она ведетъ вѣчную борьбу на жизнь и смерть. Вдвойнѣ защищенная отъ всякаго посторонняго вліянія какъ этимъ назначеніемъ, развѣ навсегда утвержденнымъ, такъ и старообрядческимъ толкомъ,

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1863 г. № 145.

котораго придерживается, казацкая станица поконится на самобытныхъ автономическихъ началахъ, которыя принесла съ собой изъ первоначальной своей родины. Всѣ начала эти, вмѣстѣ взятые, породили однакоже весьма несложное политическое тѣло, съ едва-едва намѣченными чертами гражданского устройства, что, при изумительномъ плодородіи почвы, при раздольѣ и просторѣ кавказскаго предгорья, при пестоянной войнѣ и опасности — позволяетъ каждому изъ членовъ общины развиваться, такъ сказать, физически и нравственно въ мѣру всей своей природы. Есть, однакоже, крѣпкій обручъ, который сдерживаетъ разнородныя лица общины въ одной кучкѣ и ограничиваетъ ихъ свободу, не позволяя имъ разлетѣться врозь — обручъ этотъ образуется изъ неподвижныхъ нравовъ и обычаевъ станицы, заговоренныхъ отъ великаго измѣненія, не испытавшихъ никогда дѣйствія разлагающей мысли, а потому и огражденныхъ отъ тайнаго хода умственныхъ революцій, которыми вызываются нововведенія. Станица цѣльна во всемъ своемъ составѣ и вѣрна себѣ въ каждой своей подробности. Въ такой-то мѣръ естественности и первоначальнаго гражданского развитія, о которыхъ исторія европейскихъ государствъ еще сохраняетъ нѣкоторое воспоминаніе, вводитъ насъ гр. Толстой своей повѣстью. И, конечно, ни одинъ изъ тѣхъ обильныхъ родниковъ поэзіи, которыми подобный мѣръ силы, молодости и искренности всегда бываетъ исполненъ — не позабытъ нашимъ авторомъ. Поэзія составляетъ основной грунтъ всей его картины.

Переходя отъ общаго впечатлѣнія, производимаго картиною свободной казацкой общины, къ главнымъ дѣйствующимъ лицамъ романа, мы встрѣчаемся съ весьма занимательнымъ эстетическимъ вопросомъ, который былъ уже предметомъ многихъ споровъ и разрѣшается гр. Толстымъ такимъ мастерствомъ и съ такой убѣдительною, что наслажденіе его произведеніемъ удваивается именно отъ этого обстоятельства. Можетъ быть, никто изъ нашихъ писателей такъ горячо не исповѣдуетъ эстетическаго догмата, что предметъ и лицо могутъ быть поэтическими по-

мимо и даже на зло всѣмъ моральнымъ, философскимъ и политическимъ опредѣленіямъ ихъ. Гр. Толстой никогда не справляется о нравственной сущности типа, какъ скоро типъ этотъ оригиналенъ и поэтиченъ: онъ, нисколько не колеблясь, возвышаетъ его на ту степень, на которой, по художническимъ соображеніямъ, ему слѣдуетъ стоять. Вопросъ заключается въ томъ: это возвышеніе и возвеличеніе лица, съ сомнительнымъ нравственнымъ характеромъ, не составляетъ ли преднамѣреннаго оскорбленія чувству приличія и понятіямъ, выработаннымъ опытомъ и размышленіемъ о достоинствѣ и назначеніи человѣка? Вопросъ этотъ разрѣшается гр. Толстымъ на практикѣ, въ сферѣ созданія и притомъ (кажется намъ) окончательно. По смыслу, который заключается въ выведенныхъ имъ лицахъ, оказывается, что все дѣло—въ полнотѣ и цѣльности типа, каковъ бы онъ ни былъ. Тогда онъ становится, такъ сказать, открытымъ на всѣ стороны, можетъ быть судимъ и приговариваемъ, на основаніи различныхъ схемъ, взглядовъ, теорій—къ чему угодно, дѣлается въ одно время поученіемъ, пугаломъ или идеаломъ по произволу каждаго. Онъ служитъ всѣмъ своимъ содержаніемъ чувству и размышленію, искусству и обществу. Нравственный смыслъ весь въ его полнотѣ. Онъ лишается нравственного смысла только по милости утайки, недоговореннаго слова или извращенной, произвольно перетолкованной черты. Замѣчанія эти легко проверять на главныхъ типахъ романа. Въ одномъ изъ нихъ, казакѣ Ерошкѣ, Толстой показалъ намъ образчикъ славянскаго лацарони, съ тѣми своеобразными чертами, которыми онъ отличается отъ итальянскаго своего собрата. Казакъ Ерошка весь погруженъ въ самое наивное, откровенное и вмѣстѣ серьезное служеніе своимъ порокамъ, животнымъ инстинктамъ и страстямъ. Онъ сохраняетъ при этомъ, однакоже, беззлобныя отношенія къ людямъ, какое-то философское довольство собой и какую-то, тоже философскую, терпимость относительно всего, что живетъ на Кавказѣ, рядомъ съ нимъ—звѣрей, птицъ и горцевъ. Ерошка еще философъ и потому, что обладаетъ цѣлымъ кодексомъ жизнен-

ныхъ правилъ и воззрѣній, нечѣстности и моральнаго безобразія которыхъ нисколько не подозрѣваетъ. Онъ даже страдаетъ, когда не вѣрують въ его чудовищные афоризмы, а подливши и плачетъ, если одна изъ продѣлокъ, основанныхъ на этомъ кодексѣ, ему не удалась. Комизмъ этого лица, какъ ни общителенъ и ни увлекателенъ, не успѣваетъ однако же ни на минуту вытѣснить изъ головы читателя мысль, что для гражданскаго развитія общества необходимо, прежде всего, уничтоженіе въ народѣ тѣхъ условій, которыя производятъ подобныя лица. Это то, что мы называемъ полнымъ типомъ. Столь же полный типъ представляетъ и другой казакъ, герой повѣсти, Лукашка. Что онъ есть превосходное выраженіе разбойничества особаго вида, узаконеннаго и направленнаго къ государственнымъ цѣлямъ—это нисколько не скрыто и не задѣлано авторомъ. Художникъ вполне сознавалъ, что чѣмъ вѣрнѣе передаетъ онъ образъ удалца станицы, тѣмъ яснѣе обнаружится для всѣхъ мѣсто, какое занимаетъ Лукашка въ степеняхъ гражданскаго и историческаго развитія общественности. Вотъ почему гр. Толстой съ спокойной совѣстью, съ неподражаемымъ искусствомъ и съ едва сдерживаемымъ удивленіемъ передаетъ намъ свободу и красоту всѣхъ движеній Лукашки, его хвастовство своей силой, молодостью, здоровьемъ, его дѣтское щегольство своей рѣшимостью ставить жизнь противъ перваго каприза, который придетъ въ голову, и его неудержимые порывы въ ту сторону, гдѣ есть добыча, удовлетвореніе страсти, торжество самолюбія. Это тотъ же Ерощка, но молодой и дѣйствующій, и оба превосходные типа эти дополняютъ одинъ другого въ романѣ, показывая въ то же время между какого рода удалыми и комическими лицами захвачена и вращается жизнь казацкой станицы. Не менѣе поэтическаго и художническаго аланта употребилъ Толстой и на созданіе лица Маріанны, повѣсты Лукашки и неожиданной возлюбленной заѣзжаго и юманическаго юнкера Оленина, который на нѣкоторое время мутитъ и спутываетъ отношенія казацкой четы. Маріанна исполнена граціи, но и тутъ художникъ никого не

обманулъ, никого не ввелъ въ заблужденіе. Маріанна вся состоитъ изъ граціи женщины, созрѣвшей для мужа и ожидающей его. У ней, въ моральномъ смыслѣ, нѣтъ никакой покрывки, никакого наряда. Она вся наружѣ, такъ сказать — и опирается на свою природу: опора еще такъ крѣпка, что порождаетъ въ ней какое-то дикое самодовольство и смѣлый, вызывающій взглядъ, съ которымъ не всегда управляется и Лукашка. Не забыты авторомъ относительно мастерской отдѣлки и второстепенныя, менѣе яркія лица повѣсти — этотъ отецъ Лукашки, казакъ-офицеръ, носящій свои эполеты и дворянское званіе уморительно неловко и простодушно, и всѣ эти матери, жены, сестры, осужденныя обычаями станицы на вѣчную тяжелую, домашнюю работу, пока повелители ихъ служатъ или пьянствуютъ, но которыя несутъ свое бремя съ такимъ же достоинствомъ какъ тѣ свое оружіе. Общее впечатлѣніе, рождаемое картиной станичнаго быта, походить на то, которое испытываетъ человѣкъ, входя въ дремучій, еще не тронутый и могущественный лѣсъ. Вѣдь и лѣсъ можетъ свидѣтельствовать объ отсутствіи человѣческой производительности, о бѣдности средствъ общественныхъ, низкомъ состояніи культуры въ населеніи, его окружающемъ, но отъ этого онъ не перестанетъ казаться менѣе великолѣпенъ, грандіозенъ самъ по себѣ. Ошибку сдѣлалъ бы только тотъ, кто бы принялъ одну повзію явленія за неопровержимое доказательство его правъ на вѣковѣчное существованіе или за единственное мѣрило его нравственнаго, общественнаго и политическаго достоинства. Повзія знаетъ только себя и ей нѣтъ никакого дѣла до всѣхъ другихъ правдъ, которыя могутъ существовать одновременно съ нею, по отношенію къ избранному ею предмету.

А Оленинъ, отъ имени котораго рассказывается вся повѣсть, который самъ участвуетъ въ ней, довольно страннымъ, трогательнымъ и комическимъ образомъ, бѣдный, колеблющійся, идеализирующій юнкеръ Оленинъ именно и сдѣлалъ эту ошибку: онъ принялъ поэтическій смыслъ станичнаго быта за единственный смыслъ, какой ему при-

сущъ. Онъ одинаково увѣровалъ въ прелесть его свободной жизни и въ его невѣжество и глухоту, по отношенію къ представленіямъ нравственнаго рода, въ его энергію, красоту и во всѣ пороки, ихъ сопровождающіе, въ откровенность, патриархальную простоту его взаимныхъ отношеній и въ наглый цинизмъ, который онъ часто ведутъ за собой и т. д. Казачій бытъ, переданный имъ съ такой истиной, теплотой и, можно сказать, добросовѣстностію—повредилъ его сужденіе. Онъ спуталъ окончательно его понятія. Оленинъ растерялся въ поэзіи станичнаго житія, какъ мальчикъ, котораго неожиданно ввели въ театральную залу на большое волшебное представленіе, и который тутъ же и потерялъ всякую жизненную, реальную мѣрку для того, чтобъ мало-малыски трезво судить о чудесахъ, представшихъ его глазамъ.

Вопреки мѣвнiю, установившемуся объ Оленинѣ въ публикѣ, мы считаемъ характеръ этотъ столь же глубоко задуманнымъ и превосходно изображеннымъ, какъ и всѣ другія лица и части замѣчательнаго романа гр. Толстого. Правда, это типъ, уже отжившій и перешедшій въ исторію, но вокругъ корней его, на нашихъ глазахъ, поднялись ростки, которые и оправдываютъ всякую новую остановку критики на ихъ родоначальникѣ. Требованиями драматической развязки и художническихъ цѣлей самаго романа Толстой долженъ былъ противопоставить реальному міру выведенныхъ имъ казаковъ цивилизованнаго русскаго человека, съ условіемъ, конечно, чтобъ этотъ цивилизованный русскій человекъ былъ также реаленъ, также взятъ былъ изъ дѣйствительности и современнаго развитія, какъ и его соотечественники низшаго, непосредственнаго быта. Отдѣляться при этомъ отвлеченными типами въ родѣ Алеко, Чечорина и проч., тутъ уже не представлялось бы возможности,—во-первыхъ, потому, что они внесли бы разладицу въ общій тонъ и характеръ романа, а во-вторыхъ, потому, что они противны вообще натурѣ художническаго созерцанія, свойственнаго Толстому. На комъ же онъ остановился? Можетъ быть, самая поучительная сторона романа въ томъ

и заключается, что авторъ не могъ найти въ образованномъ обществѣ настоящаго представителя русской цивилизаціи, такого, который показалъ бы, какъ народный духъ и народные элементы соединяются съ высокимъ нравственнымъ, политическимъ и научнымъ воспитаніемъ. Писатель, искавшій всю жизнь, съ самаго начала своего поприща, жизненной правды—принужденъ былъ вывести передъ нами, для составленія художническаго контраста, вмѣсто лица, мало-мальски отвѣщающаго идеѣ цивилизованнаго русскаго человѣка,—Оленина. Оленинъ только боленъ цивилизаціей; она успѣла разбить его первоначальную, довольно страстную и порывистую натуру, да такъ и оставила его въ лежачемъ положеніи, безъ средствъ подняться на ноги, потому что трудъ возстановленія себя, требуемый ею, былъ уже ему не подъ силу. Оленинъ пріѣхалъ на Кавказъ лѣчиться нравственно отъ цивилизаціи, пріобрѣсть однимъ цѣлебнымъ курсомъ все, недодѣланное ею, подобно тому, какъ другіе туда же ѣдутъ за облегченіемъ отъ физическихъ недуговъ, нажитыхъ извращенной жизнью. Нельзя сказать, чтобъ цивилизація обездолила Оленина совершенно: она дала ему спасительное безпокойство ума и чувства, много благородныхъ стремленій, но не показала ему никакой серіозной цѣли существованія и лишила средствъ къ достиженію чего-либо основательнаго, такъ какъ всего этого онъ отъ нея и не требовалъ. Оленинъ имѣлъ несчастье, еще и доселѣ грозящее многимъ — принять за настоящія цѣли образованія всю ту нарядную, тщеславную, суетную и легкомысленную жизнь богатыхъ классовъ, которая въ годы его молодости была особенно развита. Едва ступилъ онъ ногой на Кавказъ, какъ всей душой потянулся къ величію его природы, а всего болѣе къ его свободнымъ обитателямъ, къ ясности всѣхъ ихъ мыслей, очевидности и доступности всѣхъ ихъ цѣлей. Такъ и должно было случиться съ человѣкомъ, который не предохраненъ ни отъ какихъ соблазновъ истинной, народной цивилизаціей. Нѣмецкіе и преимущественно англійскіе путешественники дали намъ множество трогательныхъ, поэтическихъ описаній пер-

вобытныхъ племень, встрѣченныхъ ими въ разныхъ концахъ свѣта; но какъ горячо ни сочувствовали они ихъ быту, какъ пламенно ни защищали ихъ отъ презрѣнія и равнодушія европейскихъ народовъ — ни одному изъ нихъ не приходила въ голову попытка упразднить въ себѣ свою собственную, народную цивилизацію. Напротивъ, они торжественно и съ достоинствомъ берегли передъ низшими племенами высокую, образовательную мысль своего отечества. Не то было съ Оленинымъ. Влюбившись въ Маріанну, что не подлежить разбору, такъ какъ любовь и страсть часто имѣютъ основаніе въ недоступныхъ психическихъ тайнахъ, Оленинъ пожелалъ еще сдѣлаться казакомъ, уничтожить въ себѣ задатки нравственныхъ началъ и всю духовную жизнь, уже завязанную въ немъ полученнымъ образованіемъ, какова бы она ни была. Въ моральномъ смыслѣ это было равносильно тому же ползанію на четверенькахъ, тому же смѣшному пребыванію въ натурѣ, на манеръ адамитовъ, какое пробовали осуществить нѣкоторые наши философы изъ помѣщиковъ 18-го столѣтія, слишкомъ начитавшіеся и недовольно понявшіе Руссо. И когда, послѣ героической смерти Лукашки въ рукопашномъ бою съ засадой горцевъ, Маріанна съ ненавистью отвергаетъ постылую любовь Оленина, бѣдный юнкеръ уважаетъ, сопутствуемый презрѣніемъ всей станицы, не исключая и друга своего Ерошки, сожалѣніе котораго тоже довольно подозрительнаго свойства. И Оленинъ вполне заслужилъ эти проводы своей распущенностію, отсутствіемъ нравственной силы, которую могло бы ему доставить только дѣльное образованіе, если бы оно у него было. Этой силѣ подчинилась бы и станица, потому что, если она презираетъ всѣхъ, кого видитъ у себя изъ русскаго міра — солдатъ и чиновниковъ — то презираетъ по одной причинѣ: она не чувствуетъ въ нихъ самобытнаго характера и воли, а считаетъ ихъ только представителями извѣстныхъ распорядковъ. Изъ всѣхъ народовъ она уважаетъ одинъ, именно тотъ, съ которымъ ведетъ истребительную войну, и уважаетъ за способность его хорошо не видѣть и жить по-своему. Какъ истое славянское племя,

она этому народу и подражаетъ въ лицѣ своихъ щеголей, перенимающихъ наряды и приемы знаменитѣйшихъ джигитовъ; дѣло даже не ограничивается только львами и денди станицы. Уже и понятія ауловъ, вмѣстѣ съ ихъ языкомъ, успѣли перейти въ нее, и малоросійскій говоръ казаковъ почти также испещренъ иностранными словами, какъ нашъ русскій разговорный языкъ. Эта глубоко-вѣрная черта подмѣчена тѣмъ же Оленинымъ, который оказался такимъ несостоятельнымъ лицомъ передъ „станцией“, во-первыхъ, и передъ „образованностью“, во-вторыхъ. Она напоминаетъ намъ, что Оленинъ, будучи запутаннымъ и шаткимъ характеромъ вообще, есть въ то же время самый зоркій наблюдатель жизни, самый воспримчивый человекъ къ поэтическимъ оттѣнкамъ предметовъ и самый тонкій психологъ, по отношенію къ себѣ и другимъ! Противорѣчія, удивительно обрисовывающія его натуру и свойства, его воспитаніе!

Въ такомъ-то поэтическомъ и художественномъ видѣ является постоянная идея гр. Толстого въ романѣ, написанномъ, если не ошибаемся, лѣтъ десять тому назадъ. Какъ бы вы ни относились къ этой идеѣ, къ какимъ бы соображеніямъ и выводамъ она васъ ни приводила, но произведение, на ней основанное, благодаря участию настоящихъ творческихъ силъ въ его созданіи—остается все-таки образцовымъ по строгой вѣрности изображеній, по истинѣ и теплотѣ колорита, по свѣжести, красотѣ и вмѣстѣ реальности всѣхъ своихъ подробностей. Мы уже замѣтили, что искусство выбираетъ для себя предметы совершенно независимо отъ существующихъ мнѣній, относительно ихъ достоинства или ихъ недостатковъ, но оно уже никогда не лжетъ. Тотъ еще не понялъ романа, кто не почувствовалъ въ главныхъ дѣйствующихъ лицахъ его, пересчитанныхъ нами выше, удивительнаго сочетанія поэзіи съ самой жестокой, избличающей правдой. То же сочетаніе, возможное единственно художникамъ, слышится и въ передачѣ обычаевъ, нравовъ, образа жизни и хода дѣлъ въ станицѣ. Они не составляютъ у гр. Толстого отдѣльныхъ описаній,

но вплетены въ самую жизнь, имъ изображаемую, и текутъ вмѣстѣ съ нею, ни разу не отдѣляясь отъ нея: такъ искусство усваиваетъ себѣ данныя этнографическаго свойства, возвращая ихъ дѣйствительности, изъ которой они обыкновенно отрываются наукой для болѣе удобнаго изслѣдованія. Впрочемъ, въ романѣ есть страницы, завоевывающія себѣ, такъ сказать, вниманіе и сужденіе читателя по силѣ поэзи и правды, которая вѣетъ отъ нихъ. Врядъ ли сыщется воображеніе, которое не было бы поражено описаніемъ ночи въ „секретѣ“, на берегу Терека, въ его камышахъ, съ переплывающимъ для добычи черкесомъ, фигурой молчаливаго горца, пришедшаго къ казакамъ выкупить тѣло убитаго брата, отчаяннымъ боемъ въ засадѣ, вѣнчающимъ пору собиранія винограда и длинныхъ кутежей молодежи на улицахъ станицы, и многими другими сценами. Нельзя забыть, говоря о качествахъ этого романа, развитія его драмы: исторія отношеній Оленина къ станицѣ, Лукашкѣ и его невѣстѣ, этого страннаго соперничества между совѣстливой, повѣряющей себя личностію и коварствомъ и самоувѣренностію людей естественнаго быта, ведена съ постоянно возрастающимъ вдохновеніемъ, которому отвѣчаетъ постоянно возрастающій интересъ положенія. Мы удерживаемъ за романомъ право называться капитальнымъ произведеніемъ нашей литературы. Можетъ быть, онъ еще важенъ и тѣмъ, что поможетъ сохранить истинныя преданія искусства и творчества въ эпоху, когда послѣднимъ грозитъ опасность заглубѣть и выродиться отъ попытокъ миновать ихъ въ беллетристику и достичь убѣдительности, на зло имъ и безъ ихъ помощи.

Но послѣднее слово относительно произведенія гр. Толстого все-таки должно указать на полное отрицаніе естественнаго, непосредственнаго быта, какое заключается въ самомъ романѣ, несмотря на всю его прелесть, и къ какому приведенъ былъ авторъ, помимо своей воли, можетъ быть, единственно тѣмъ, что дѣлаетъ его замѣчательнымъ писателемъ, вѣрностію избранному предмету, художнически исполненіемъ своей задачи. Мы не говоримъ о по-

пыткахъ насильственного усвоенія простоты и безыскусственности патріархальнаго существованія: тѣ положительно и очень хорошо осуждены имъ въ лицѣ Оленина; но и первобытная община, возвеличенная его поэтическимъ описаніемъ, также осуждена уже однимъ тѣмъ, что выведена на свѣтъ въ полномъ своемъ образѣ. Онъ самъ привелъ всѣ черты, указанія и подробности, которыя могутъ служить данными для процесса противъ общины, въ защиту морали, цивилизаціи, высшаго гражданскаго развитія. Мы не можемъ принять на себя труда, который былъ бы, впрочемъ, и лишній—переложить всѣ такія черты, указанія и подробности; но достаточно будетъ упомянуть объ одной особенностях, бросающейся въ глаза и подрывающей все значеніе станицы, какъ примѣра: станица не имѣетъ будущности; она временное явленіе, долженствующее съ развитіемъ мира и гражданственности на Кавказѣ уничтожиться со всѣми своими поэтическими отличіями и характерными чертами и, конечно, всякій, понимающій благо и призваніе своего отечества, не усомнится сказать, что тѣмъ скорѣе, для достиженія вышеозначенныхъ результатовъ, пойдетъ она къ концу своему, тѣмъ лучше.

Въ заключеніе справедливость требуетъ замѣтить, что гр. Толстой не составляетъ въ нашей литературѣ отдѣльнаго, исключительнаго явленія. Вся мыслящая часть нашего общества занята исканіемъ простоты, естественности, новыхъ мѣръ для опредѣленія нравственнаго достоинства человѣка и новыхъ способовъ воспитывать его политически и граждански. Литература собственно ничего другого и не дѣлаетъ: это такъ же вѣрно для ученой, политической и экономической литературы, какъ и для искусства и belle-lettres. Подобное же движеніе замѣчается и въ современныхъ европейскихъ литературахъ, но у нихъ есть и коренное, громадное отличіе отъ того, что происходитъ у насъ. Тамъ люди ищутъ между народами и въ молчаливыхъ классахъ общества свѣжихъ родниковъ чувства и жизненныхъ откровеній, съ цѣлью внести здоровые соки въ сѣю утвердившуюся цивилизацію, которой, что бы они ни по-

ворили въ порывѣ гнѣва и нетерпѣнія, никогда и ни на что не промѣняють. Мы ищемъ другого: мы ищемъ, нѣтъ ли гдѣ у насъ, въ основныхъ слояхъ населенія, цѣльной, полной культуры, способной отвѣчать на всѣ законные запросы человѣка и общества и сразу помѣстить насъ въ средѣ совсѣмъ готовой, народной цивилизаціи. Исканіе европейскихъ литературъ выходитъ изъ заботы поддержать существующее зданіе навѣки въ первоначальной красотѣ, новизнѣ и свѣжести; наше исканіе есть еще странствованіе въ пустыни за обиталищемъ, которое, по мнѣнію писателей, и завоевывать не надо, которое насъ ждетъ совсѣмъ устроенное для того, чтобы успокоить всѣ наши требованія и стремленія. Идеалы простыхъ, естественныхъ и прочныхъ развитій смѣняются у насъ въ литературѣ одинъ другимъ, выказывая пламенную вѣру своихъ авторовъ, а иногда и высокія художническія ихъ достоинства. Покидая гр. Толстого съ великой благодарностію за все, что онъ далъ намъ испытать своимъ рассказомъ, мы встрѣчаемся съ другимъ авторомъ, также очень даровитымъ и исполненнымъ, въ высокой степени, энергіи и лирическаго пафоса, что всегда служитъ признакомъ существованія у писателя замѣчательныхъ производительныхъ силъ. Мы говоримъ о г-жѣ Кохановской, недавно издавшей два тома своихъ повѣстей. У нея есть тоже свое „спасительное слово“, свое представленіе о началахъ, обуславливающихъ появленіе истинно-народнаго, мощнаго развитія, и свои высокіе примѣры, въ которыхъ начала эти воплотились, но критика наша отнеслась къ идеаламъ автора только съ намеками, болѣе или менѣе оскорбительными, и не подвергла ихъ разбору, котораго они, сами по себѣ и по способу ихъ изложенія, далеко превышающему обычный уровень приличія и достоинства, казалось бы, вполне заслуживали.

П. Анненковъ.

* * *

*) Г-жа Е. Туръ, объяснивъ какимъ образомъ попалась ей за границей въ руки книжка „Русскаго Вѣстника“ съ повѣстью „Казакѣ“, и съ какимъ захватывающимъ интересомъ была прочитана ею эта повѣсть, говоритъ:

„Въ этой повѣсти бездна поэзіи, художественности, образности. Повѣсть не читаешь, не воображаешь, что въ ней описано, а просто видишь; это—цѣлая картина, нарисованная рукою мастера, колоритъ котораго поразительно яркъ и вмѣстѣ вѣренъ природѣ; въ немъ съ ослѣпительною яркостію соединена правда красокъ. А въ этомъ-то гармоническомъ соединеніи и заключается величайшая трудность, которую дано преодолѣть и побѣдить только истинному художнику. Задача эта разрѣшается только кистью мастера! Гр. Толстой исполнилъ ее съ необычайной легкостію, энергіею и смѣлостію. Нигдѣ не видать кропотливой работы, нѣтъ изысканности выраженій; все просто, незамысловато — но сколько поэзіи и оригинальности въ этой простотѣ! Это—сама жизнь съ ея неуловимой прелестію; чтó можетъ быть поэтичнѣе описанія выкупа тѣла убитаго черкеса, собиранія винограда и картинъ природы, разбросанныхъ по всему разсказу, чарующихъ читателя на каждой страницѣ?

Кажется, что повѣсть гр. Толстого должна безусловно закупить всякаго, а между тѣмъ, несмотря на ея поэтическія и художественныя достоинства, на душѣ дѣлается и грустно, и смутно, и неловко послѣ ея прочтенія. Это смутное чувство превращается въ горькое, когда повѣсть перечитывается со вниманіемъ. Вотъ объ этомъ-то, до искусства не касающемся вопросѣ, я желаю поговорить...“

*) Евгенія Туръ. „Отечественныя Записки“ 1863 г., № 6. Статья подъ заглавіемъ: *Казакѣ*. „Кавказская повѣсть 1852 г. графа Л. Н. Толстого“.

Изъ обширной (занимающей около 40 страницъ) критической статьи г-жи Е. Туръ о повѣсти „Казакѣ“ взять въ настоящій сборникъ только анализъ главнаго лица повѣсти, Оленина, и то съ нѣкоторыми сокращеніями; характеристики же другихъ лицъ и общій отзывъ о повѣсти, въ которой г-жа Туръ между прочимъ много сѣтуетъ на Толстого за то, что послѣдній „рьяно и храбро принялся поэтизировать пьянство, разбой, воровство, жажду крови“ и т. п.,—сюда не вошли.

Примѣч. В. Земского.

(Пропускается нѣсколько разсужденій, относящихся къ теоріи искусства для искусства и трактующихъ о результатѣ произведенія съ тенденціей и безъ тенденціи).

„Что хотѣлъ доказать своею повѣстію гр. Толстой? Прочитавъ его великолѣпную, по колориту, повѣсть, къ какому заключенію приходитъ читатель? Надъ чѣмъ онъ задумался? Что поражаетъ его? Что ласкаетъ или немилосердно оскорбляетъ его чувства? Я не хочу произвольно отвѣчать на эти вопросы и потому попытаюсь поговорить о характерѣ одного изъ героевъ повѣсти, навести самого читателя на тѣ мысли, которыя неотвязно меня преслѣдуютъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ, вторично прочитавъ повѣсть, я закрыла книгу. Въ характерѣ, въ жизни Оленина, въ жизни его до начала завязки и въ жизни его послѣ нея, надо искать разрѣшенія вопроса...“ (За симъ слѣдуетъ пересказъ изъ повѣсти характеристики Оленина).

„Что ни фраза, то противорѣчіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ авторъ ни сбиваетъ абриса (по мѣткому и вѣрному выраженію живописцовъ), фигура Оленина выходитъ отчетливо. Фальшивые штрихи не въ силахъ затемнить первоначальный, рѣзкій очеркъ. Человѣкъ двадцати-четырехъ лѣтъ, который нигдѣ не кончилъ своего образованія, ничѣмъ серіознымъ не занятъ, который успѣлъ промотать полсостоянія, не доживъ до двадцати-пяти лѣтъ, который, чувствуя приближеніе *труда* или *борьбы*, спѣшитъ, по словамъ автора, отстоять свою свободу, а по-нашему проще, спѣшитъ уйти отъ борьбы и труда,—у котораго нѣтъ ни *вѣры* ни *отечества*, очень памятенъ всѣмъ намъ, русскимъ. Оленинъ, не имѣя ни *вѣры* ни *отечества*, оттого именно не скучалъ и не былъ мраченъ, что не чувствовалъ, не могъ даже по своему крайнему неразвитію чувствовать, что за лишеніе, что за бѣдствіе, что за скорбь включаются въ сознаніи несчастнаго, что у него нѣтъ ни *вѣры* ни *отечества*. Что касается до резонерства, то, по моему мнѣнію, Оленинъ именно резонеръ—но объ этомъ ослѣ. Если переложить на простой языкъ очеркъ Оленина, слѣланный авторомъ, то выйдетъ, мы уже сказали

это, всёми намъ знакомая фигура. Оленинъ—индифферентъ, недоучка, лѣнтяй, копитель неба, топтатель мостовой, маменькинъ сыночекъ, барченокъ, пустой тщеславный щеголь, отчасти пьяница, отчасти повѣса (не отъ избытка силъ, а отъ праздности и распущенности), мотъ, общество котораго состояло изъ такихъ же лицъ, какъ онъ самъ. Это общество проводило вечера въ гостинныхъ, ночи за бутылкой шампанскаго, у Шевалье или у Амалій, Луизъ и въ другихъ грязныхъ мѣстахъ, гдѣ разыгрывались пошлыя похождения и авантюры. Что касается до прикрасъ, которыми разукрасилъ авторъ своего героя, то мы не можемъ взять ихъ на вѣру; да если бы и рѣшились принять ихъ къ свѣдѣнію, то прикрасы эти окажутся вскорѣ самаго мимширнаго свойства; для этого нужно не болѣе минуты размышленія. Желаніе посвятить себя музыкѣ, любви къ женщинамъ (какъ же это посвятить себя любви къ женщинамъ? что-то непонятно), *науку* (?) и чему-то еще—немыслимо въ такомъ лицѣ, какъ Оленинъ. Мы не сомнѣваемся, что онъ при случаѣ, рисуясь, говорилъ все это, но мы не обязаны слова его принимать къ свѣдѣнію. Мы также не можемъ принять за серьезное увѣреніе, что онъ раздумываетъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ. Да и увѣреніе это пахнетъ фразою безъ всякаго содержанія. Что такое сила молодости, *разъ въ жизни бывающая*? Когда? Въ двадцать лѣтъ, или въ двадцать-пять, или въ восемнадцать? И сколько длится эта сила молодости? Годъ, два, три, или десять лѣтъ, отъ восемнадцати до двадцати-восьми? Эта фраза просто непонятна, но она сдѣлается еще непонятнѣе, если мы приклеимъ къ ней слѣдующую за тѣмъ фразу: „не силу ума, сердца, образованія, но тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ...“ Тутъ мы не понимаемъ ни слова, не можемъ отгадать мысли автора. Что же это за сила, которая не есть ни сила ума, ни сила образованія, ни сила сердца? Какая же это сила? Физическая, стало быть. Но когда же дано было физической силѣ сдѣлать

изъ человѣка или изъ всего міра тѣ, что ей хочется? Слава Богу, физической силѣ есть границы и сфера ея тѣсна. Физической силѣ дано гнестъ людей, это правда, и гнестъ ихъ гнетомъ тяжкимъ; но силы духа, силы сердца, силы образованія всегда въ конечномъ результатѣ одерживаютъ побѣду и помогаютъ людямъ освобождаться изъ-подъ физическаго гнета. Силы духа, сердца и образованія таковы, что онѣ творятъ чудеса, въ которыхъ отказано силѣ физической, силѣ грубой. Въ этомъ и заключается величіе души человѣка, его могущество, его святая прерогатива надъ всѣми созданіями. — *Неповторяющійся порывъ...* но что такое порывъ? Порывъ — не причина, а слѣдствіе, не исходная точка, а отъ нея бѣгущая сила. Порывъ происходитъ отъ толчка, а кто даетъ толчокъ, если не сила ума, не сила образованія, не сила сердца? Воля, скажете вы! Но и воля управляется чѣмъ-нибудь — умомъ, сердцемъ, образованіемъ (понимая подъ образованіемъ нравственное развитіе), прихотью, наконецъ! Дальше авторъ объясняетъ, что до сихъ поръ (до начала повѣсти) Оленинъ любилъ одного себя. Мы въ этомъ не сомнѣваемся. Такіе господа, какъ Оленинъ, не доросли до того, чтобы сумѣть любить другихъ и способны любить лишь самихъ себя, ибо они пусты, мелочны и ничтожны; чтобы любить другихъ и другое, надо быть одареннымъ или глубокою натурою или безконечною добротою, то-есть широкимъ и глубокимъ сердцемъ. Авторъ старается объяснить, почему Оленинъ любилъ одного себя и прибавляетъ: „и не могъ не любить (себя), потому что ждалъ отъ себя всего хорошаго“. На какихъ основаніяхъ? „Потому—говоритъ авторъ — что не успѣлъ разочароваться въ самомъ себѣ“ Очень вѣримъ! какъ ему было разочароваться? Чтобы разочароваться, надо носить идеалъ въ душѣ своей, надо стремиться къ чему-нибудь! Къ чему могъ стремиться неучъ, щеголь гостиныхъ, кутила ресторановъ? Онъ умѣлъ только слегка волочиться за барышнями, и убѣгалъ тотчасъ, какъ скоро любовь, не съ его, а съ ихъ стороны, гровила перейти въ нѣчто серьезное. Оленинъ такъ мелокъ, что онъ боялся даже въ

другихъ серьезнаго чувства. Зато онъ мастеръ заставить богатаго пріятеля заплатить счетъ въ ресторанѣ, умѣлъ съ честію участвовать въ попойкахъ съ цыганками, устроенныхъ какимъ-то Сашкой Б*, полковникомъ и флигель-адъютантомъ. (Сашка! драгоцѣнное имя! сколько свойствъ, какія добродѣтели заставляетъ оно предполагать въ томъ, который заслужилъ и усвоилъ его!). Знакомые Оленина считали за честь сближаться съ этимъ Сашкой Б*, и хотя Оленинъ увѣряетъ, что онъ съ своей стороны не желалъ сближаться съ симъ героемъ французскихъ трактировъ, но мы имѣемъ право опять не вѣрить ему; ибо онъ спѣшитъ прибавить, что однако Андрей, его управляющій, былъ бы озадаченъ, когда бы узналъ, что его баринъ на *ты* съ Сашкой Б*. Если онъ на *ты*, стало быть сближался; мало того, если разсуждаетъ, что его управляющій былъ бы озадаченъ этимъ, то ясно, что и самъ онъ нѣсколько озадаченъ и самому ему льститъ близкое знакомство съ Сашкой Б*. Всѣ эти размышленія Оленинъ кончаетъ очень характеристично. Онъ вспоминаетъ, что на послѣдней попойкѣ никто не выпилъ больше его, и что онъ выучилъ цыганъ новой пѣснѣ и всѣ слушали... Мы приводимъ все это не для того, чтобы выяснитъ характеръ Оленина: онъ, повторяемъ, угадывается съ первыхъ строкъ; но для того, чтобы доказать, что не мы преднамѣренно навязываемъ Оленину различныя свойства, а что такимъ выставилъ его самъ авторъ. Надо прибавить, однако, что выставляя его такимъ, авторъ пытается оправдывать своего героя, всегда обращаясь съ нимъ серьезно, и порою желаетъ выставить его въ хорошемъ, розовомъ и поэтически-обольстительномъ свѣтѣ. Мы, съ своей стороны, совершенно отрицаемъ присутствіе чего-нибудь серьезнаго въ людяхъ, подобныхъ Оленину, и, разумѣется, въ немъ самомъ, и стараемся доказать это, продолжая разборъ нашъ.

Авторъ не говоритъ намъ, по какимъ соображеніямъ герой его изъ гостиныхъ, ресторановъ, отъ цыганъ, княженъ, Сашекъ и попойекъ, словомъ, отъ дѣятельной и столь почтенной жизни кутилъ, рѣшился ѣхать на Кавказъ юн-

керомъ. Мы догадываемся, что это произошло частію отъ праздности, бросающей человѣка туда и сюда безъ всякой цѣли, для исканія чего-либо *новенькаго*, частію отъ тщеславія схватить крестикъ, либо чинъ, частію изъ желанія покутить на иной ладъ и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжать отъ долговъ, которыхъ накопилось ужъ слишкомъ много. При томъ же мысль, что объ немъ будутъ говорить, что онъ займетъ собою въ теченіе недѣли или двухъ и эту княжну, и этихъ Сашекъ, полковниковъ и флигель-адъютантовъ, и этихъ Амалій, и этихъ цыганокъ, могло толкнуть его юнкеромъ на Кавказъ. Его будутъ провожать, его будутъ жалѣть, надъ нимъ будутъ охать. Все это лестно, а онъ будетъ рисоваться, ломаться, играть роль! Просто, не жизнь, а масленица! Оленинъ прощается, *не расплачивается* (черта характеристическая) и ѣдетъ на Кавказъ, увѣряя себя (или лучше, какъ увѣряетъ насъ за него авторъ), что онъ прежде не хотѣлъ жить *хорошенько*, но что теперь начнется для него *новая жизнь*, въ которой не будетъ ошибокъ, раскаянія, а будетъ одно *счастіе*. Кромѣ этихъ возвышенныхъ мыслей, есть у Оленина другія, болѣе ему свойственныя и сродныя, которыя ему приходится болѣе по плечу. Онъ думаетъ, что если бы онъ женился на этой богатой барышнѣ, которой онъ нравился, то у него не было бы долговъ; но пусть читатель не смущается. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ Оленинъ и всѣ ему подобные не были способны жениться изъ-за денегъ. Конечно, они не сдѣлаютъ этого безъ настоящей необходимости, ибо глупо жертвовать своей свободой и стѣснять свою жизнь бракомъ безъ увлеченія, хотя бы чувственного; когда есть еще и состояніе, и молодость, и будущность, и когда долги не слишкомъ беспокоятъ и ихъ можно еще очень спокойно не платить, а уѣхать, сказавъ: *подождите!* Дѣло другое, когда уже *все* состояніе промотано, молодость прожита—когда не жениться на деньгахъ было бы глупо. Тогда онъ и женится—а пока нѣтъ еще, подождетъ. Продолжая раздумывать, Оленинъ кончаетъ тѣмъ, что заподозрѣваетъ своего друга въ корысти и рѣшаетъ, что другъ любитъ богатую

дѣвушку за ея деньги. Несмотря на это, онъ трогательно прощается съ нимъ и даже говоритъ какую-то сантиментальную фразу, гдѣ слова: „я говорю откровенно, я люблю тебя“, звучатъ очень фальшиво. Не будь у насъ другихъ чертъ для фізіономіи Оленина, довольно было бы и этихъ. Испорченность—необходимое условіе безпорядочной жизни посреди мелкихъ, пустыхъ и грязныхъ людешекъ—привилась къ его небогатой натурѣ. Онъ ужъ не просто *добрый малый, а дрянной человекъ*. Какъ назвать иначе человѣка, который въ двадцать четыре года таковъ, каковъ Оленинъ?

„Дорогой онъ продолжаетъ мечтать объ опасностяхъ, о новой жизни, о черкешенкѣ, *рабынѣ съ покорными глазами*. „Она дика, груба, но понятлива, даровита и быстро усваиваетъ себѣ знанія. Она выучится по-французски и Notre Dame de Paris ей понравится“. Чего стоятъ эти строки? Какъ ярко обрисовался тутъ тотъ, особенно противный типъ великорусса, о которомъ сказалъ кто-то: *grattez le russe, vous trouverez le tartare*. Не встрѣчаемся ли мы тутъ съ онѣмечившимся монголомъ; ему пріятно мечтать о рабыняхъ, покорныхъ глазахъ, о рѣзнѣ; жаль, что не прибавлено къ рѣзнѣ и рабынѣ—неотъемлемой принадлежности ихъ—нагайки! Гарцовать на конѣ, съ нагайкой въ рукахъ, драться, бить, ухорствовать и, воротясь домой, встрѣчать рабыню съ покорными глазами и длинною косою! Мечтать о рѣзнѣ *сop amore*, о рѣзнѣ ради рѣзни, безъ причины, безъ повода! Какой идеалъ жизни! Это хотя и не ново, но такъ ярко, что какъ не сказать спасибо! Но это не все. Послѣ рѣзни, рабыни и нагайки (мы непременно стоимъ за нагайку, неотъемлемую принадлежность всѣхъ героевъ на ладъ Оленина), мысли его летятъ далѣе: послѣ славныхъ подвиговъ, онъ возвращается въ отечество, но уже не простымъ смертнымъ, а равнымъ Сашкѣ Б*. И онъ флигель-адъютантъ, и онъ полковникъ! Посмотримъ, какъ этотъ истинно достойный молодой человѣкъ осуществить свой высокій идеалъ, верхъ счастья и блаженства своего!

„Уже отъ Ставрополя „все пошло *удовлетворительно*,

дико и *воинственно*. Оленину все становилось веселѣе и веселѣе. На одной станціи ему даже рассказали недавно случившееся убійство. Стали встрѣчаться вооруженные люди". Ну, какъ же было не радоваться! Герой гр. Толстого страдалъ воинственнымъ запаломъ и могъ, наконецъ, удовлетворить этой благородной потребности образованнаго чело-вѣка, не кончившаго, впрочемъ, курса ни въ какомъ учебномъ заведеніи. Увидимъ, какіе подвиги (въ этомъ, конечно, смыслѣ) онъ совершить! А пока въ немъ просыпается, по словамъ автора, любовь къ природѣ и является способность страстно восхищаться ею. „Всѣ московскія воспоминанія, стыдъ и раскаяніе исчезли и не возвращались болѣе. *Теперь началось*, какъ будто сказалъ ему торже-ственный голосъ". Чтò началось? Убійства, рѣзня, или чтò другое? Онъ предается какому-то странному наиву сну". Слѣдуетъ отрывокъ изъ повѣсти о впечатлѣніи, произведе-нномъ на Оленина видомъ кавказскихъ горъ).

„Чтò сказать на это? Впечатлѣніе, произведенное горами и мѣшающееся со всѣмъ, передано поэтически-художественно; но это прочувствовалъ и написалъ самъ авторъ. Оленинъ, попивавшій въ Москвѣ съ Сашкой и радовавшійся, что князь Сергій удостоилъ его милостиваго слова, что цыганки поютъ его пѣсню и ихъ *всѣ* Сашки слушаютъ, что прія-тель заплатитъ его долгъ въ ресторани, кажется намъ не способнымъ такъ всецѣльно, такъ поэтически проникнуться красотою природы, прочувствовать ея чарующее обаяніе и найти такое глубокое и роскошное наслажденіе въ ея со-зерцаніи. Чтòбъ понять, любить, созерцать и наслаждаться природою, надо обладать не грязною, мелкою и пустою душонкою, не холоднымъ, увядшимъ преждевременно серд-цемъ, не празднымъ умомъ; природа нѣма для такихъ бѣд-ныхъ созданій; они слѣпы къ расточаемымъ ею богатствамъ и безчувственны къ роскошнымъ наслажденіямъ, которыми дѣлитъ она избранныхъ. Часто эти избранные—люди прос-тые, нехитрые, но зато они добры, чисты, неиспорченны, сѣрены или широкимъ сердцемъ, или любовною душою, или свѣтлымъ умомъ. Съ такими близка мать наша природа;

они ее понимают и вкушают на ее роскошномъ лонѣ безмятежное, безконечное, великое наслажденіе. Жаль, очень жаль, что гр. Толстой разсыпаетъ перлы своей поэзіи передъ Оленинымъ!

Поселясь въ станицѣ, Оленинъ остается вѣренъ себѣ, если не на словахъ (онъ часто морочить читателя и, пожалуй, попытается морочить и себя, какъ мы увидимъ дальше), то на дѣлѣ, въ поступкахъ и образѣ жизни, а это-то и есть пробный камень человѣка. На Кавказѣ онъ остается тѣмъ же празднымъ и пустымъ малымъ. Онъ ходитъ на охоту и бродитъ до вечера по лѣсу...

(Пропускается выписка изъ повѣсти, начинающаяся словами: „Само собою сдѣлалось, что онъ просыпался вмѣстѣ со свѣтомъ...“ и оканчивающаяся: „и застаётъ себя или казакомъ, работающимъ въ садахъ съ казачкою-женою, или абрекомъ въ горахъ, или кабаномъ, убѣгающимъ отъ себя самого“).

„Вотъ это называется дойти до послѣдняго результата! Мало того, желать быть пьянымъ казакомъ, дикимъ абрекомъ, воромъ, въ обоихъ случаяхъ, по свидѣтельству самого же автора, описывающаго и тѣхъ и другихъ ворами и пьяницами, Оленинъ идетъ послѣдовательно и желаетъ обратиться въ звѣря, въ кабана. Впрочемъ, онъ могъ бы, по нашему мнѣнію, утѣшиться въ невозможности превращенія въ четырехногого кабана; онъ хотя и двуногій, но мало чѣмъ по своей жизни и наклонностямъ разнится отъ животного...“ (Въ подтвержденіе этого, Г-жа Е. Туръ продолжаетъ выписки со своими замѣчаніями о жизни Оленина въ станицѣ).

„Оленинъ пилъ чихирь съ Ерошкой, просиживалъ цѣлые вечера съ хозяевами, нерѣдко напивался съ ними, волючилъ за Марьянкой и хотѣлъ на ней жениться, слѣдственно, дѣлалъ рѣшительно все то, что дѣлають, по словамъ автора, въ станицахъ. Что же касается до забавнаго увѣренія, что онъ имѣлъ отвращеніе *отъ битыхъ дорожекъ*, то оно кажется намъ совершенно несправедливымъ. Прежде всего надо замѣтить, что люди, имѣющіе *отвращеніе отъ*

битых дорожек, называют этимъ не оригинальный строй ума или ную отъ другихъ натуру, а только претензію на нее и мелкое самолюбію. „Я-де, не такой, какъ другіе; я самъ по себѣ, я оригиналенъ и, слѣдственно, выше всѣхъ другихъ“. Кто, въ самомъ дѣлѣ, дѣйствительно выше другихъ, кто созданъ иначе, тотъ не *имѣетъ отораченія* отъ *битыхъ* дорожекъ, но нейдетъ по нимъ потому, что идти не можетъ. Онъ часто, и какъ простодушно, сожалѣетъ, что не можетъ жить, какъ *естъ*, сѣруетъ на себя и иногда принуждаетъ себя къ этому, но всегда напрасно. Натура такого человѣка, ея высшія потребности толкаютъ его вонъ изъ колен, и много натерпится онъ, много испытываетъ горечи среди пошлости его окружающаго міра. Оленинъ же, какъ мы видѣли, шелъ положительно по битой дорожкѣ, но только воображалъ, что нейдетъ по ней, или только заявлялъ эту смѣшную, ни на чемъ не основанную претензію.

Онъ достигъ полнаго физическаго благосостоянія, такъ что внѣшній видъ его совершенно сходился съ тѣмъ, который имѣютъ такіа лица, поселившіеся на Кавказѣ...“ (Выписка, начинающаяся словами: „Оленинъ на видъ казался совершенно другимъ человѣкомъ...“ и кончающаяся: „Всякій узналъ бы въ немъ русскаго, а не джигита“).

„Отставъ даже отъ чистоплотности людей, живущихъ въ обществѣ, и принявшіе носить *грязныя* черкески и оборванные запяны, онъ предался *сладостному недугу любви*, по любимому выраженію сантиментальныхъ офицеровъ 40-хъ годовъ. Довольство его собою и другими тѣмъ понятнѣе, что въ станицѣ онъ могъ вполнѣ удовлетворить своему самолюбію и тщеславію; онъ былъ большой баринъ въ этой деревнѣ, самый богатый изъ всѣхъ жителей. Всѣ его принимали за начальника и онъ самъ, вмѣстѣ съ своимъ лакеемъ, Ванюшей, хвастался, что у него нѣсколько своихъ *де ловъ и свои холопы*...“

(Далѣе Г-жа Е. Туръ говоритъ о встрѣчѣ Оленина съ Б. лецкимъ; сравниваетъ ихъ съ нравственной стороны и приводитъ изъ повѣсти Толстого выписку о томъ Оленинъ философствовалъ на охотѣ).

„Въ этой вереницѣ мыслей, беспорядочно нанизанныхъ, выдуманныхъ, приложенныхъ для чего-то, ничто не вяжется, все неразумно, все ребячески глупо. Радоваться, что нашелъ *новую истину*, взволноваться, бѣжать домой, чтобъ сдѣлать кому-нибудь добро — изъ рукъ вонъ глупо. Оленинъ, конечно, могъ думать все это отъ праздности и бѣдности соображенія; но для какой цѣли авторъ пересказываетъ его бредни? Развѣ авторъ не знаетъ, что жертвы не приносятся такъ легко, что самое слово *жертва* заключается въ себѣ понятіе страданія и мучительной съ самимъ собою борьбы, что самъ божественный учитель нашъ отступалъ передъ жертвою и сказалъ, какъ и всякій человѣкъ скажетъ: „Да мимо меня идетъ чаша сія!“ Если не легко принести жертву, то не легко и дѣлать добро. Его надо дѣлать умѣючи. Скажемъ больше, надо дорости нравственно до того, чтобъ быть въ состояніи сдѣлать добро. Его нельзя приниматься дѣлать въ одно прекрасное утро, какъ пекутъ хлѣбъ, или замѣсиваютъ тѣсто. Добро ни съ того ни съ сего, по щучьему велѣнію, смахиваетъ на капризъ, прихоть или на слова, фразы и пустомельство. Самъ Оленинъ долженъ былъ слышать отъ нянюшки въ дѣтствѣ, что поступай, какъ Богъ велитъ—и будешь счастливъ. Онъ, вѣроятно, слышалъ и отъ школьнаго учителя въ юности, что фразу няни: *Богъ велитъ*, можно свести на весьма незатѣйливые размѣры. Иди по прямой дорогѣ, не хитри съ собой и другими, держись очень простыхъ и ужъ никакъ не новыхъ истинъ и правилъ—и спокойствіе будетъ съ тобою. Спокойствіе есть почти счастье. Неужели и эти азбучныя понятія не были знакомы герою гр. Толстого, одержимому проказой изыскивать *новыя истины* и зараженному желаніемъ не ходить по битымъ дорожкамъ? Намъ кажется, что особенно въ этомъ случаѣ битая дорожка была бы разумнѣе и не на столько уклонила бы героя отъ простого здраваго смысла.

Впрочемъ, понятія Оленина о добротѣ разнились нѣсколько съ общими понятіями о томъ же предметѣ. Пришедши домой, онъ спѣшилъ подарить Лукашкѣ одну изъ своихъ ло-

шадей. Попросту, люди не философствующіе называютъ такіе поступки *не добромъ, а подаркомъ*, тѣмъ болѣе, что Оленинъ не лишалъ себя; лошадь была стара, некрасива; онъ имѣлъ ихъ двѣ, да дома, по собственнымъ словамъ, обладалъ коннымъ заводомъ въ триста головъ. Онъ могъ себѣ купить хотя десять лошадей. Лукашка, несмотря на свои увѣренія, что онъ ему отплатитъ при случаѣ, что онъ ему другъ и едва ли не пойдетъ за него въ огонь и воду, очень смышленъ и не чувствуетъ благодарности за подарокъ, полученный неожиданно, безпричинно. Онъ будто угадываетъ, что это — новая прихоть барича. Вся станица отчасти раздѣляетъ это мнѣніе. У иныхъ Оленинъ прослылъ глумцомъ, а у другихъ плутомъ; они заподозрили его въ томъ, что онъ дѣлаетъ это не спроста, а изъ какихъ-нибудь неблаговидныхъ, еще ими неразгаданныхъ цѣлей. Это послѣднее воззрѣніе особенно вѣрно: люди грубые, полудикіе, глядятъ на жизнь единственно съ практической стороны, и, не имѣя понятія о дурачествахъ, до которыхъ доходятъ люди праздные и богатые, о броженіяхъ неразвитой и празднои мысли въ ихъ пустой головѣ, натурально заподозрѣваютъ ихъ въ плутовствѣ. Подаривъ лошадь, Оленинъ доставилъ себѣ большое удовольствіе, ибо имѣлъ случай рассказать Лукашкѣ, какъ онъ богатъ, и что у него есть лошади, которыя стоить по триста рублей штука, и нѣсколько домовъ въ три яруса. Услышавъ чудеса эти, Лукашка не могъ сообразить, зачѣмъ же пріѣхалъ этотъ богачъ въ эту глушь! Лукашка обращался *просто* съ Оленинымъ, и это стало ему *непріятно*, до первой, впрочемъ попойки, въ которой онъ потопилъ свой зашевелившійся аристократизмъ. Оленинъ, возясь съ *новой открытой имъ истиной*, подѣлился ею съ Ванюшей, который, какъ и слѣдовало ожидать, ее не одобрилъ и замѣтилъ, что денегъ у нихъ почти совсѣмъ нѣтъ. Добро представлялось Ванюшѣ, какъ и Оленину, въ видѣ подарковъ и бессмысленной траты денегъ...“ (Далѣе анализируется сближеніе Оленина съ Марьяной на вечеринкѣ и приводится отрывокъ изъ повѣсти, въ которомъ описывается красота Марьяны).

„Оленинъ такъ созданъ, что онъ долженъ любить только однимъ, очень обыкновеннымъ образомъ, и ему не можетъ быть знакома любовь въ высшемъ смыслѣ слова. Точно такъ же незнакомо ему и то, что у людей развитыхъ понимается подъ словами *мысль*, *мышление*. Какъ только онъ начинаетъ размышлять, то заходить, очевидно, въ чужую сферу, гдѣ онъ не хозяинъ. Видно, какъ его пустая голова, и, что еще хуже, голова спутанная—до мысли додуматься не въ силахъ, и что, вмѣсто мысли, онъ заноситъ страшную чепуху. И зачѣмъ ему хочется мыслить? Или лучше, зачѣмъ авторъ, создавшій его, немилосердно вталкиваетъ его въ чуждую для него область? Вотъ еще примѣръ слабой способности сообразительности, соединенной съ неизмѣнной претензіей сказать что-нибудь *новое*, оригинальное. „Никакихъ здѣсь нѣтъ бурокъ, — размышляетъ Оленинъ, — стремнинъ, Амалать-Беконъ, героевъ и злодѣевъ“. Что это за бессмыслица! Какъ же это на Кавказѣ нѣтъ стремнинъ и бурокъ? А Терекъ съ стремнинами, а черкесы въ буркахъ, которыхъ видали всѣ бывшіе на Кавказѣ, видалъ слѣдственно и Оленинъ! Какъ же это нѣтъ героевъ, злодѣевъ! Положимъ, что Амалать-Беконъ дѣйствительно нѣтъ—и слава Богу. Амалать-Бекъ — лицо мелодраматическое и родился на Руси нечаянно, въ подражаніе Жану Сбагару или иному герою плохихъ драмъ и романовъ. Графъ Л. Толстой не пишетъ плохихъ романовъ, но великолѣпная сцена выкупа тѣла убитого черкеса, сцена смерти джигита какъ нельзя нагляднѣе рисуетъ намъ героя-черкеса въ его первобытной дикости, гордости и позамъ. Оленинъ, побывавшій въ экспедиціи, не могъ не встрѣтиться съ такимъ же первобытнымъ типомъ героя. Что же касается злодѣевъ, то старый охотникъ Ерощка былъ когда-то разбойникомъ, грабилъ и убивалъ безразлично и черкесовъ и русскихъ; Лукашка обѣщаетъ быть такимъ же разбойникомъ; они оба, конечно, не мелодраматическіе злодѣи, но звѣри въ полномъ смыслѣ слова. Звѣриное чувство въ дикарь-человѣкѣ описано графомъ Л. Толстымъ удивительно въ сценѣ, когда Лукашка сторожитъ плывущаго абрека, и

убивъ его, съ звѣриной радостію смотритъ на тѣло, которое *обираетъ и раздѣваетъ донага*. Сказавъ вышеприведенныя слова, Оленинъ продолжаетъ предаваться несчастной своей страсти къ философствованію. „Люди живутъ, какъ живетъ природа; умираютъ, рождаются, совокупляются, и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, дереву, звѣрю. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ! И оттого эти люди въ сравненіи съ ними самими казались ему прекрасны, *сильны, свободны* и, глядя на нихъ, ему становилось стыдно и грустно за себя“. Какъ же это? Опять совершенно непонятно и нелогично. Оленинъ, сколько разъ укорявшій Лукашку, что онъ застрѣлилъ человѣка какъ зайца, и старавшійся пробудить въ немъ человѣческое чувство милосердія и жалости, этимъ однимъ уже стоитъ выше Лукашки. Какъ ни жалокъ, ни пустъ, ни грязенъ и ни мелокъ Оленинъ, но онъ все-таки во многихъ случаяхъ выше и лучше Лукашки, если не по душѣ, то по пониманію, которое и въ необразованномъ членѣ образованнаго (то-есть недикаго) общества гораздо выше, чѣмъ у члена дикаго племени или дикой общины. Оленинъ, что бы онъ ни былъ, не могъ не усвоить себѣ хотя нѣкоторыя понятія всякаго общества, вышедшаго изъ первобытной дикости. Мы не будемъ долго останавливаться на подробностяхъ, ибо всякій читатель можетъ очень легко убѣдиться, прочитавъ *Казаковъ* графа Толстого, что Оленинъ (помимо собственной воли и, кажется, воли самого автора) стоитъ выше Лукашки и Ерошки. Онъ стоитъ выше ихъ не по свойствамъ души, ума и сердца—ибо Лукашка отъ природы умнѣе, сильнѣе, даровитѣе Оленина—но только по своему развитію, какъ ни бѣдно, какъ ни ничтожно оно. Малая толика образованія, которую удалось Оленину захватить въ средѣ общества, очевидно сдѣлала изъ него если не вполне человѣка, то уже и не дозволила ему остаться въ ряду двуногихъ звѣрей. Оленинъ не способенъ, какъ Лукашка, убить безъ нужды человѣка съ злобною радостію охотника, травящаго звѣря, неспособенъ потемъ съ жадною *удалью обирать его и раздѣвать донага*; онъ знаетъ, что

жизнь человеческая дороже и священнее жизни дрозда или зайца; онъ знаетъ, что убить человѣка безъ нужды, не изъ защиты—значить нарушить святой и великій нравственный законъ. Оленинъ неспособенъ, какъ Лукашка, не будучи въ состояніи побѣдить сопротивленіе женщины, стращать ее, что она будетъ плакать отъ него, когда онъ станетъ ея мужемъ. Какъ ни испорченъ Оленинъ, онъ обращается съ женщиной больше по-человѣчески, чѣмъ по-звѣрски. Онъ неспособенъ бить ее, неспособенъ надѣваться надъ ней, неспособенъ пьяный влѣзать къ ней въ комнату; правда, что и Оленинъ подозрителенъ, какъ Лукашка, но въ меньшей степени. Оленинъ заподозрилъ пріятеля, Лукашка заподозрилъ Оленина, получивъ отъ него подарокъ,— но это происходитъ въ одномъ отъ испорченности полу-образованія, а въ другомъ отъ совершеннаго отсутствія даже и полуобразованія. Подозрительность есть отличительная черта всѣхъ дикарей; чѣмъ болѣе образованъ и развитъ человѣкъ, тѣмъ онъ довѣрчивѣе и способнѣе видѣть и оцѣнить все хорошее въ людяхъ-братьяхъ. Люди, взросшіе и воспитанные въ истинно гуманной и слѣдственно образованной средѣ, гдѣ все дышитъ любовью къ ближнимъ и желаніемъ добра, дѣлаются довѣрчивѣе и, развивъ въ себѣ все хорошее человеческой души, признаютъ это и въ другихъ. Если жизнь ихъ не всегда пропитана гуманностію, то правила, внушаемая дѣтямъ такой среды, пропитаны ею, и эти правила руководятъ человѣкомъ и смущаютъ его, когда онъ отступаетъ отъ нихъ. Человѣкъ можетъ ошибаться, уклоняться отъ правилъ, ему внушенныхъ, но, несмотря на это, не теряетъ вѣры, идетъ дальше, скорбитъ, и кончаетъ тѣмъ, что находитъ добро въ другихъ, и не въ одномъ, а во многихъ. Лукашка неспособенъ, разумѣется, лелѣять въ себѣ такую вѣру и не давать ей угаснуть: онъ вовсе не знакомъ съ нею. Она кажется ему глупостію, невозможностію. Онъ способенъ только искать дурное, заднюю мысль и, разумѣется, найдетъ ее даже и тамъ, гдѣ ея нѣтъ и тѣни. Оттого Лукашка, услышавъ отъ Оленина, что онъ не прочь бы купить у него лошадь —

слово, сказанное, очевидно, вскользь, безъ всякаго намѣренія, говорить пріятелю:

— „Спасибо, отдалъ его кинжаломъ, а то коня было просить сталь“.

Но верхъ нелогичности и спутанности понятій Оленина явственно и рѣзко высказывается въ письмѣ его къ роднымъ. Мы не можемъ не попытаться разобрать его, ибо въ немъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточилась и мораль повѣсти, и стремленія героя, и *новая теорія жизни*: такъ, по крайней мѣрѣ, думаетъ герой повѣсти графа Толстого. „Мнѣ пишутъ изъ Россіи письма соболѣзнованія, боятся, что я погибну, зарывшись въ этой глуши. Говорятъ про меня: онъ загрубѣтъ, отъ всего отстанетъ, станетъ пить и еще, чего добраго, женится на казачкѣ“.

Мы можемъ только удивляться, что родные Оленина боятся, чтобы онъ не погибъ на Кавказѣ. Если бы у нихъ была капля здраваго смысла, они бы поняли, что Оленинъ пропалъ и въ Москвѣ, что онъ одинаково, какъ тамъ, такъ и тутъ, жилъ жи́внiю животнаго, что онъ загрубѣлъ еще тамъ, что отстать ему не отъ чего, ибо онъ ни къ чему не приставалъ, что онъ пилъ въ Москвѣ, такъ же какъ на Кавказѣ. Они могли бояться, что онъ женится на казачкѣ столько же, какъ могли бояться, что онъ женится на цыганкѣ.

„Недаромъ, говорятъ, Ермоловъ сказалъ: кто десять лѣтъ прослужитъ на Кавказѣ, тотъ либо сопьется съ кругу, либо женится на распутной женщинѣ. Какъ страшно!“.

Дѣйствительно, страшно! Кому не покажется страшной такая катастрофа! Вѣдь, это—конечное паденіе человѣка. Спиться съ кругу, назвать женой и матерью дѣтей своихъ распутную женщину—великое несчастье, и только Оленинъ, да и то зафилософствовавшій, можетъ иронически отзываться объ этомъ и восклицать: „какъ страшно!“ Не взирая на это, этотъ же самый Оленинъ при мысли, что Марьянку онъ могъ бы сдѣлать своей любовницей, содрогается. Стало быть, ничего нѣтъ особенно отраднаго, даже и для него,

назвать женою распутную женщину. Но мы уже сказали, что лишь только Оленинъ старается мыслить, какъ заносить страшную бессмыслицу и путаницу. Надо простить ему это и примириться съ нимъ. Онъ не учился, необразованъ, а такъ набрался кое-какихъ понятій, не вполне понявъ ихъ. Въ слабой головѣ все спуталось, а самолюбіе его такъ велико, что онъ не сознастъ своей слабости умственной и своего глубокаго невѣжества, а туда же, какъ и люди развитые, стремится рассуждать—ну, и выходитъ то, что мы видимъ. Онъ продолжаетъ: „Въ самомъ дѣлѣ, не погубить же мнѣ себя, тогда какъ на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужемъ графини Б*, камергеромъ или дворянскимъ предводителемъ. Какъ вы мнѣ гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собою: вѣчные неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была выйти первая женщина изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно станетъ, кто губитъ себя: кто живетъ въ правдѣ или во лжи—вы или я“.

Что ни слово, то ложь и ходули! Особенно не любимъ мы злоупотребленія сопоставленій, и надо признаться, что нигдѣ не встрѣчается ихъ столько, какъ на матушкинъ Руон. Они приобрѣли право гражданства, являются подъ тысячью формами, подъ различными масками и всегда одинаково ложны, а часто безсовѣстно-наглы. Вотъ и въ письмѣ Оленина сопоставленіе совершенно безсовѣстное. Съ одной стороны, онъ говоритъ о какой-то графинѣ Б*, вѣроятно очень пустой, негодной женщинѣ, о лжи гостинныхъ, о камергерствѣ, и восклицаетъ: „какъ вы мнѣ гадки и жалки!“ Мы не споримъ, что такіе люди могутъ быть гадки и жалки! Самъ Оленинъ гадокъ и жалокъ! Но дѣло не въ томъ—онъ сопоставляетъ этихъ людей съ чѣмъ, съ кѣмъ? Вѣдь, людей надо сопоставлять съ людьми же: стало-быть, ихъ надо сопоставить съ Ерошкой, Лукашкой, или хорунжимъ, отцомъ Марьяномъ, который говоритъ совершенную

безсмыслицу, или, наконецъ, съ Назаркой. Нѣтъ! Нѣтъ! Оленинъ сопоставляетъ ихъ съ горами да съ величавой женщиной въ первобытной красотѣ. Вѣдь, и на Руси есть если не горы, то природа, говорящая душѣ; вѣдь, и на Руси есть, помимо гостинныхъ, женщины, и ужъ никакъ не равны Марьянкѣ, которая съ величавостью первобытной женщины соединяетъ привычку говорить грубыя рѣчи и обыкновеніе кокетствовать по-своему. У ней есть даже желаніе выйти замужъ за богатаго барича, изъ-за денегъ, для того, чтобы стать *барыней*. Быть можетъ, разница между ней и другими женщинами изъ гостинныхъ только въ томъ, что она толста, а онѣ хилы, у ней коса—у тѣхъ фальшивыя бубли. Не отрицаемъ, что физическою красотой пренебрегать нельзя—но, вѣдь, это не все; вся женщина не въ одной матеріальной красотѣ; это всѣ знаютъ, кромѣ, видно, Оленина; но мы отъ него этого и не требуемъ. Намъ только досадно, что онъ не знаетъ своего мѣста, лѣзетъ неловко на ходули! Намъ досадно, что, поговоривъ съ презрѣніемъ о гостинныхъ, гдѣ женщины шевелятъ губки, гдѣ *спрятаны* и изуродованы ихъ слабые члены (нельзя же ходить всѣмъ въ рубашкахъ, какъ Марьянкѣ), восклицаетъ: „Мнѣ становится невыразимо гадко!“ Да отчего же? Откуда это благородное негодованіе? Читатель подумаетъ, что Оленинъ превыше суеты мелкаго міра, преисполненъ добродѣтели и ведетъ жизнь святую, занятъ возвышенными мыслями, наукой, изобрѣтеніями и готовится стать благодѣтелемъ человѣческаго рода—а онъ пьетъ себѣ чихирь съ Ершкой! Мы понимаемъ, что онъ желаетъ жениться на Марьянкѣ и—Богъ съ нимъ—будетъ ли онъ мужъ Марьянки, или графини Б*—это все едино. Онъ отъ этого не станетъ ни лучше ни хуже; но когда онъ прибавляетъ, что онъ не *смыслитъ* (жениться на Марьянкѣ), потому что это было бы верхъ оцастія, котораго онъ *недостойнъ*, то мы не понимаемъ ровно ничего. Что это за новый капризъ? что за новыя претензіи? Чѣмъ онъ хуже Марьянки? Ея умственныя, сердечныя свойства не описаны; сказано только, что она здоровая, толстая и сильная дѣвка—и больше ничего.

Мы видимъ, что она работающая и не безъ характера, что она бой-баба, какъ говорится. Это-то и надо Оленину; онъ попался бы ей въ руки и, вѣроятно, она отучила бы его отъ праздности и пьянства. Мы всегда бы согласились съ Оленинымъ, если-бъ онъ намъ высказывалъ *просто* свои простыя и незатѣйливыя желанія; къ несчастію, онъ не можетъ никакъ ограничиться простымъ заявленіемъ чувствъ своихъ: ему все надо выдумывать *новыя* истины, *новыя* чувства, *новыя* теоріи, и надо становиться на ходули, жалѣть другихъ и брезгать ими. Даже и тогда, когда онъ говоритъ, что недостойно счастья стать мужемъ Марьянки, онъ рисуется. Въ сущности, онъ знаетъ, что Марьянка—простая, красивая и сильная дѣвка, которую осчастливить не мудрость; но ему мало этого. Ему хочется увѣрить другихъ, что она что-то такое особенное, чтó не дано всякому понять; что надо даже отрѣшиться отъ прошлаго, чтобы понять это величавое созданіе. Даже чувство, которое она внушаетъ ему, не похоже, по его увѣренію, ни на какое другое чувство. Это—опять что-то особенное...”

(Приводятся выписки изъ повѣсти съ замѣчаніями г-жи Е. Туръ, подтверждающія только что сказанное; затѣмъ г-жа Е. Туръ выясняетъ настоящія отношенія Оленина къ Марьянѣ и разбираетъ сцену объясненія Оленина съ Марьяной въ то время, когда смертельно раненый Лукашка умираетъ въ мученіяхъ).

„Тутъ что ни слово, то самая пошлая безтактность (рѣчь идетъ о только что упомянутой сценѣ), самое безстыдное себялюбіе. Можно подумать, что Оленинъ не знаетъ, что Лукашка умираетъ; напротивъ того, онъ не только знаетъ это, но еще видѣлъ, какъ его ранили и какъ его, поднявъ, понесли въ станицу. Съ эгоизмомъ, свойственнымъ одной чувственной любви, съ ея безпощадною свирѣпостью и привязчивостью, онъ пристаётъ: „пойдешь за меня?“ А еще хотѣлъ жертвовать собою! Тутъ дѣло шло не о жертвѣ, а о томъ, чтобы повременить—онъ и того не сумѣлъ, и всякая Марьянка, не лишенная намека на женскія свойства, должна непременно воскликнуть: „уйди! постылый!“

Послѣ этого Оленинъ уѣзжаетъ. Намъ сдается, что отъѣздъ этотъ слишкомъ внезапнѣе, что и Оленинъ по своему характеру не можетъ такъ скоро уѣхать, да и Марьянка, одумавшись и погрузивъ объ Лукашкѣ, пошла бы за *барина* и зажила съ нимъ очень счастливо. Оно, конечно, такъ, но тогда нельзя бы было Оленину жалѣть, что онъ не сталъ казакомъ, который крадетъ табуны, или кабаномъ, который бѣгаетъ въ лѣсу, или Лукашкой, который рѣжетъ людей какъ кабановъ, наливается чихирю, *пьяный влѣзаетъ къ ней* въ окно и совершаетъ прочія удалскія шутки и ухарскія выходки, столь нравственно-высокія и человѣчески-прекрасныя! Тогда нельзя бы было горевать Оленину, что и *малая толика* образованности, захваченная имъ, сдѣлала его неспособнымъ къ такимъ подвигамъ. Что съ нимъ станется — авторъ не говоритъ намъ, но изъ данныхъ мы можемъ заключить о послѣдствіяхъ. Онъ возвращается домой и, вѣроятно, заживетъ тою же жизнію ресторановъ и самыхъ пошлыхъ изъ всѣхъ пошлыхъ гостинныхъ? быть можетъ, накутившись въволю, станетъ мужемъ графини Б*. Вѣдь, одинъ одного стоить. Умная, развитая женщина не можетъ выбрать Оленина мужемъ. Его удовлетворяютъ экипажи, общество Сашекъ, и другія благодати. Между графиней Б*, изуродованной воспитаніемъ и условіями самой гнилой и низкой среды, и Марьянкой, душа которой заключена какъ гусеница въ вѣчной тѣмѣ ночи и которая ничего не пойметъ, кромѣ матеріальныхъ удобствъ и наслажденій, не такъ много разницы, какъ кажется съ перваго, поверхностнаго взгляда. Обѣимъ одинаково недоступны высшія сферы человѣческаго пониманія и человѣческаго бытія. Обѣ онѣ не живутъ жизнію женщины и обѣ живутъ жизнію животнаго. Ни одна изъ нихъ не подойдетъ подъ требованія человѣка съ душой, сердцемъ и образованіемъ, но обѣ удовлетворяютъ Оленина. У одной развитія формы молодого тѣла, у другой — щегольскіе приемы, которые польстятъ тщеславію пустого мужа, ибо друзья его *Сашки* будутъ цѣнить высоко эти свѣтскія совершенства. Мы увѣрены даже, что графиня Б*, о ко-

торой съ такимъ презрѣніемъ и высокоуміемъ въ минуты резонерства отзывается Олонинъ, была бы женою, исполнѣ его осчастливившей. Ея состояніе, положеніе въ свѣтѣ, ласковыя рѣчи князя Сергія и другихъ, возможность говорить „ты“ *Сашкѣ*, полковнику и флигель-адъютанту, совершенно бы ублажили его и заставили бы скоро позабыть молодое и здоровое тѣло Марьянки, всѣ достоинства которой только въ этомъ и заключаются.

Повѣсть кончается. Что хотѣлъ сказать ею авторъ, или что, помимо его воли, сказалось ею и тѣмъ выдало намъ возрѣнія автора на жизнь? „Да, ничего, скажутъ многіе: передъ вами художественныя картины природы, сцены убійствъ, описанія сбора винограду; читайте, наслаждайтесь, удивляйтесь!“—Я читала, читали и другіе, наслаждались, удивлялись, осыпали автора похвалами, а потомъ все-таки задумывались. И дума эта не была ни легкая, ни радостная, ни утѣшительная. Дума была тяжелая, безотрадная, горькая. Передъ вами поэма, гдѣ воспѣта не съ дюжиннымъ, а съ дѣйствительнымъ талантомъ отвага, удалъ, жажда крови и добычи, охота за людьми, безсердечность и безпощадность дикаря-звѣря. Рядомъ съ этимъ дикаремъ-звѣремъ униженъ, умаленъ, изломанъ, изнасилованъ представитель цивилизованнаго общества, да и какой еще представитель. Онъ взятъ преднамѣренно въ самой тинѣ этого общества, вытащенъ изъ грязи ресторановъ, изъ вонючей и затхлой атмосферы Сашекъ, изъ душливаго воздуха гостиныхъ, и выдается намъ за образецъ и продуктъ цивилизаціи, за ея *единственный* продуктъ, какъ будто настоящая цивилизація даетъ такіе гнилые плоды. Этотъ образецъ цивилизованнаго, будто бы, общества, чахлый, подленькій, мелкій, но самолюбивый, самонадѣянный, и резонирующий веривъ и въось, брошенъ посреди дикаго племени; авторъ (или просто таковъ результатъ повѣсти) силится доказать, что дикіе велики и счастливы, образованные—низки, мелки и несчастливы. Что представитель цивилизаціи радъ бы достигъ счастья, но ужъ не можетъ, радъ бы сдѣлаться великимъ, какъ Лукашка, но ужъ силъ его на то не хватитъ, а

отчего?—Оттого, что онъ образованъ. Вотъ мысль повѣсти, или вотъ мысли, которыя она навѣваетъ. *Е. Тургъ.*

* * *

*) Для новой нашей литературы, кажется, уже совсѣмъ прошло время романовъ и повѣстей съ трескучими событиями, необыкновенными эффектами, неизмѣримыми страстями и т. п. Теперь ужъ рѣдко какому-нибудь писателю, понимающему жизнь, приходитъ въ голову ставить своихъ героевъ въ сверхъестественныя положенія, создавать на ихъ дорогѣ фантастическія препятствія, мѣшающія ихъ счастью, и заставлять ихъ проходить длинный рядъ необыкновенныхъ приключеній, дѣной которыхъ пріобрѣтается, наконецъ, счастливая развязка.

Простыхъ, обыденныхъ препятствій къ достиженію не только счастья, но и просто сноснаго положенія, стало оказываться такое множество, что рассказы о вымышленныхъ бѣдствіяхъ и романтическихъ чувствованіяхъ перестали занимать общество. Чѣмъ проще, обыкновеннѣе, реальнѣе сюжетъ и положеніе дѣйствующихъ лицъ, тѣмъ занимательнѣе произведеніе публикѣ, потому что описаніе реальныхъ страданій и реальныхъ радостей несравненно болѣе раздражаетъ мысль и чувство, чѣмъ всевозможныя хитропридуманная сцѣпленія обстоятельствъ, выходящихъ изъ ряду вонъ,—когда общество начинаетъ принимать извѣстное серіозное настроеніе. Ему надоедаетъ изображеніе вздорныхъ скорбей и радостей разныхъ героевъ, по поводу ихъ удачъ или неудачъ въ отысканіи удовлетворенія своимъ искусственнымъ и пошлымъ потребностямъ, описанія неясныхъ ощущеній, не научающія его ничему, ни въ положительномъ ни въ отрицательномъ смыслѣ. Общество ищетъ въ романѣ своего собственнаго интереса и своей жизни, и служеніе этому интересу стало главной задачей писателя, и чѣмъ сильнѣе талантъ, тѣмъ болѣе съ него спросится.

*) „Современникъ“ 1863 года, № 7. („Казаки“. Кавказская повѣсть графа Л. Н. Толстого).

Въ нашемъ отечествѣ, гдѣ все еще такъ слабо сознательное развитіе, истина эта также начинаетъ получать право гражданства, и рѣже попадаютъ поэты, которые воображаютъ, что въ настоящее время достаточно

Красу небесъ, долинъ и моря
И ласку милой воспѣвать,

и излагать читателю свое туманное фантазерство, чтобы считать себя передовымъ человѣкомъ и властвовать надъ „толпой“. Эта толпа уже не признаетъ этихъ властителей; ея поэтический идеалъ не выходитъ изъ области ея собственной человѣческой жизни и человѣческихъ правъ. Люди поняли, что счастье человѣка есть его естественное право, и что право это у него постоянно отнимается или нарушается вслѣдствіе неблагоприятно сложившихся условій и недостаточности знанія. Они поняли, что весь драматизмъ положеній, и жизненныхъ и поэтическихъ, заключается въ томъ, что съ одной стороны человѣкъ самъ создаетъ общественныя условія, а съ другой — вполне и какъ бы фаталистически подчиненъ этимъ условіямъ, и страдаетъ, стараясь измѣнить хотя нѣкоторыя изъ нихъ. Вслѣдствіе этого современный писатель ставитъ обыкновенно своихъ героевъ на реальную почву, показываетъ реальныя препятствія, съ которыми они должны бороться, а также коренныя причины этихъ препятствій, лежащія во всей совокупности общественныхъ условій и въ самомъ человѣкѣ, какъ продукты этихъ условій. Этимъ способомъ читатель хотя отчасти приводится къ уразумѣнію средствъ, обладая которыми, можно, во-первыхъ, бороться успѣшнѣе и безъ той огромной и бесполезной растраты силъ, которой человѣкъ обыкновенно подвергается, а во-вторыхъ, удобнѣе предохранять себя отъ вредныхъ обезсиливающихъ вліяній среды. Несмотря на тупоумные крики поклонниковъ стараго искусства, романъ и повѣсть этого рода взяли верхъ окончательно, а писатели волей-неволей стали покоряться требованію общества, которое въ послѣднее время особенно настоятельно спрашиваетъ, почему

Который ужъ вѣкъ
Бѣденъ, несчастливъ и золь человекъ?

Словомъ, романъ и повѣсть придвинулись къ тому вопросу: какими именно средствами личность можетъ добиться возможной доли счастья, и въ чемъ должна заключаться ея дѣятельность по отношенію къ средѣ и другимъ личностямъ для достиженія искомой цѣли? Наука рѣшаетъ эти вопросы въ теоріи, но выводы ея еще не проникли въ сознаніе людей, одаренныхъ художественнымъ талантомъ; истина этихъ выводовъ еще не получила для нихъ характера очевидности. Но скоро и этотъ вопросъ перейдетъ изъ сферы научной въ сферу искусства, къ неопредѣленнымъ свойствамъ котораго принадлежитъ обобщеніе и популяризованіе результатовъ, добытыхъ наукой.

При такомъ положеніи современной мысли — выступилъ снова на беллетристическое поприще графъ Л. Н. Толстой; два послѣдніе года онъ посвятилъ, какъ извѣстно, исключительно педагогической дѣятельности и издавалъ педагогическій журналъ „Ясная Поляна“. Повѣсть, съ которой онъ возвращается къ старой дѣятельности, появилась, какъ и слѣдовало ожидать, въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Мы вовсе не желали бы здѣсь касаться педагогической дѣятельности графа Л. Н. Толстого, а по старой критической теоріи и не имѣли бы на это права. Старая теорія говоритъ: вотъ сочиненіе, пиши критику именно на эту книжку и опредѣляй, чего она стоить по отношенію къ искусству, манерѣ изложенія, занимательности сюжета и правильности положеній дѣйствующихъ лицъ. Къ сожалѣнію многихъ любителей искусства, теорія эта измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ въ литературѣ получилъ свою роль элементъ общественный, и писатель, переставъ изображать изъ себя жреца, сдѣлался общественнымъ дѣятелемъ на ряду съ другими людьми. Объ общественной дѣятельности человека нельзя судить по какому-нибудь одному факту, случайно попавшему подъ руку, какъ бы значителенъ ни былъ этотъ фактъ. Сужденіе можетъ быть вѣрно только тогда, когда, разбирая какой-нибудь фактъ общественной дѣятельности человека,

мы указываемъ мѣсто его въ послѣдовательномъ ряду другихъ подобныхъ явленій, совокупность которыхъ и есть то, что называется общественною дѣятельностью человѣка, а затѣмъ обращаемъ вниманіе на причины и необходимыя послѣдствія разбираемаго факта. Критика пошевольтъ должна была стать въ такое же положеніе относительно литературной дѣятельности писателя, и при разборѣ отдѣльнаго произведенія должна коснуться общаго смысла его дѣятельности, той степени развитія, на которой стоитъ въ данную минуту талантъ его, указать связь между прежнимъ и настоящимъ. И чѣмъ разнообразнѣе дѣятельность писателя, тѣмъ интереснѣе связь ея различныхъ фазисовъ между собою, или, такъ сказать, логическое развитіе этой дѣятельности. Вотъ на этихъ-то основаніяхъ, несмотря на все наше желаніе не касаться въ настоящей статьѣ педагогической дѣятельности графа Л. Н. Толстого, мы находимся въ необходимости сказать и о ней нѣсколько словъ, ибо между этою дѣятельностью и появленіемъ его повѣсти „Казакъ“ есть связь, и довольно тѣсная связь.

Въ тотъ моментъ, когда стало ясно обрисовываться новое русло, въ которое вступила современная жизнь, когда требованія ея отъ науки и искусства стали уясняться, а старые знаменитые писатели начали не безъ нѣкотораго озлобленія протестовать противъ нихъ, въ это время графъ Л. Н. Толстой обратился къ практической дѣятельности, какъ бы не желая участвовать въ словесномъ препирательствѣ, какъ бы желая именно этою дѣятельностью выяснитъ свое личное воззрѣніе на современную задачу общественнаго дѣятеля и на его отношенія къ новымъ требованіямъ жизни. Эта практическая дѣятельность, начатая довольно шумно, ему не удалась, потому что всякая практическая дѣятельность требуетъ серіозной подготовки и строго-опредѣленнаго воззрѣнія, во-первыхъ, на самую эту дѣятельность, а во-вторыхъ, на ея отношенія ко всему строю современной общественной жизни. Скоро оказалось, что у новаго педагога взглядъ на его собственную дѣятельность страдаетъ изрядной распушенностью, что желаніе сказать что-нибудь та-

кое, чего еще никто не говорилъ, и сдѣлать то, чего еще никто не дѣлалъ, вводя его въ грубыя ошибки, обличаетъ въ отсутствіи знанія и въ нетвердости мышленія. Это было ему замѣчено. Онъ отвѣчалъ на это желчными отзывами и, приписавъ, вѣроятно, такое мнѣніе о своихъ средствахъ къ дѣятельности на избранномъ имъ поприщѣ зависти и недоброжелательству, съ которыми посредственность всегда относится къ гениальности, рѣшился совершенно оставить и не признавать современную жизнь, ея требованія и стремленія, ея надежды и опасенія, и съ каждой книжкой своего педагогическаго журнала становился все настойчивѣе въ свей непослѣдовательности, все презрительнѣе къ современнымъ результатамъ знанія и основанной на нихъ дѣятельности людей новаго порядка. Когда эта педагогическая пропаганда пала, истощивъ свои силы въ борьбѣ съ равнодушіемъ публики, мы уже тогда догадывались, что если беллетристическая дѣятельность графа Л. Н. Толстого возобновится, то онъ явится въ ней писателемъ протестантомъ, *la gloire oblige*, и знаменитому писателю неприлично же выслушивать мнѣнія какихъ-нибудь незнаменитыхъ или дерзкихъ писателей. Мы ожидали, что, въ отмщеніе за посягательство на свою прежнюю славу и новыя способности, графъ Л. Н. Толстой приметъ манеру другого знаменитаго писателя, перепугавшагося до полусмерти современнаго поворота мысли. Мы однако ошиблись. Вслѣдствіе ли невозможности положительно отречься отъ выводовъ современной науки о человѣческомъ благосостояніи, знакомство съ которыми хотя и безпорядочно, неполно и распушено, но проглядываетъ въ педагогическихъ писаніяхъ графа Л. Н. Толстого, вслѣдствіе ли отсутствія того огорченія, которое овладѣло г. Тургеневымъ, но повѣсть „Казачи“ не этой стороною связана съ Ясной Поляной. Эта повѣсть является не протестомъ, а сугубымъ непризнаніемъ всего, что совершилось и совершается въ литературѣ и въ жизни, построена на тѣхъ художественныхъ основаніяхъ, по которымъ художнику ни въ какомъ отношеніи законъ не писанъ.

Повѣсть „Казакѣ“ названа авторомъ кавказскою, потому, вѣроятно, что дѣйствіе происходитъ на Кавказѣ. Она имѣетъ характеръ очерковъ, взятыхъ изъ станичной жизни казаковъ; дѣйствіе происходитъ въ станицѣ, на берегахъ Терека. Если бы эти очерки явились въ формѣ простого разсказа путешественника, или вообще лица, какимъ-нибудь образомъ попавшаго въ эту далекую и малозвѣстную сторону, то они могли бы доставить легкое и очень интересное чтеніе. Конечно, въ этомъ случаѣ можно было бы пожаловаться на автора за легкомысленное обращеніе съ предметомъ, за поверхностный взглядъ на окружающую его среду; читатель пожелалъ бы, можетъ быть, знать причины, почему такъ, а не иначе сложился оригинальный бытъ того народа, къ которому своевольно привелъ его авторъ, а между тѣмъ принужденъ разсматривать его нравы, обычаи и весь общественный строй жизни сквозь узенькое и тусклое окно хаты. Несмотря однакожъ и на это, пестрая, разнообразная и оригинальная картина все-таки удовлетворила бы его отчасти—это весьма вѣроятно. Бѣда только въ томъ, что по прихоти автора эти очерки являются не простыми очерками, а въ видѣ повѣсти, гдѣ героемъ является юнкеръ изъ образованнаго и даже аристократическаго общества города Москвы, по фамиліи Оленинъ. Этотъ Оленинъ не принадлежитъ къ группѣ лицъ кавказской, казацкой и вообще неизвѣстной читателю мѣстности, разсказамъ о которой онъ долженъ вѣрить автору на слово,—нѣтъ. Это лицо, по крайней мѣрѣ, по платью, образу жизни, привычкамъ, всѣмъ знакомое лицо, естественность и художественную правду котораго легко провѣрить всякому, не бывшему на Кавказѣ и въ станицахъ гребенскихъ казаковъ. Онъ поневолѣ привлекаетъ къ себѣ глаза читателя, какъ всегда привлекаетъ наше вниманіе знакомое лицо, встрѣчаемое въ числѣ множества незнакомыхъ. Это лицо, собственно говоря, совершенно ненужное казацкой станицѣ и въ казацкой жизни, введено авторомъ съ умысломъ. Оно должно представить рядъ измышленій автора о человѣческомъ счастьи вообще и затѣмъ показать все превосходство идеала счастья

простого, естественнаго, такъ сказать, дикаго, передъ идеаломъ счастья человѣка, заѣденнаго сознательностью; плодомъ неестественной цивилизаціи. Вотъ сюжетъ повѣсти.

Молодой человѣкъ аристократическаго происхожденія и таковаго же общества, Оленинъ, вдругъ проникается отвращеніемъ и къ обществу, въ которомъ онъ живетъ, и къ тому образу жизни, который онъ ведетъ вмѣстѣ съ этимъ обществомъ. Онъ рѣшается начать новую жизнь и бѣжать изъ Москвы. Куда же можетъ бѣжать молодой человѣкъ аристократическаго общества? конечно, на Кавказъ. Авторъ не объясняетъ, почему Оленину вдругъ показалась гнусною и пошлою жизнь, которую онъ велъ, и упоминаетъ только о денежномъ долгѣ молодого человѣка портному Капелю и о его радости, что онъ будетъ далеко отъ своихъ кредиторовъ. Чѣмъ ближе подбѣзжаетъ Оленинъ къ Кавказу, тѣмъ легче становится ему, и чѣмъ дальше остается за нимъ покинутая московская среда, тѣмъ бодрѣе онъ себя чувствуетъ. Наконецъ, добѣзжаетъ онъ до кавказскихъ горъ и поселяется въ станицѣ. Авторъ описываетъ, какъ онъ принялся ходить на охоту, купать въ Терекѣ лошадь, пить съ казаками Ерошкой и Лукашкой чихирь и любоваться хозяйской дочерью Марьянкой, — ходитъ онъ и въ заходъ, гдѣ ведетъ себя хорошо. Оленинъ отъ всего этого каждый разъ чувствуетъ себя морально-свѣжимъ, сильнымъ и совершенно счастливымъ. Первое измышленіе автора насчетъ человѣческаго счастья Оленинъ предлагаетъ читателю по поводу разговора своего съ казаномъ Ерошкой, сказавшимъ, что „посля нашей смерти изъ насъ трава вырастетъ“.

„Да что же, что трава вырастетъ? думалъ онъ дальше: все надо жить, надо быть счастливымъ; потому что я только одного желаю — счастья. Все равно, что бы я ни былъ: такой же звѣрь, какъ я всѣ, на которомъ трава растетъ, и ольше ничего, или я раба, въ которой вставилась часть цинаго Божества: все-таки надо жить наилучшимъ образомъ. Какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ, и отъ чего я не былъ счастливъ прежде?“ И онъ сталъ вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого

себя. Онъ самъ представился себѣ такимъ требовательнымъ эгоистомъ, тогда какъ въ сущности ему для себя ничего не было нужно. И все онъ смотрѣлъ вокругъ себя на просвѣчивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовалъ себя все такимъ же счастливымъ, какъ и прежде. „Отчего я счастливъ, и зачѣмъ я жилъ прежде?“ подумалъ онъ. „Какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ, кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастья!“ И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. „Счастье вотъ что, сказалъ онъ самъ себѣ, счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало-быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славы, удобства жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!“ Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему показалось, новую истину, что вскопчилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить. „Вѣдь, ничего для себя не нужно, все думалъ онъ, отчего же не жить для другихъ?“

Подъ вліяніемъ такихъ мыслей, Оленинъ, придя домой, взялъ да и подарилъ казаку Лукашкѣ старую лошадь, стоявшую рублей сорокъ. Но самыя главныя занятія героя были— любоваться „на утро, на горы, на Марьянку“.

„Онъ смотрѣлъ, говоритъ авторъ, на Марьянку и любилъ ее (какъ ему казалось) такъ же, какъ любилъ красоту горъ и неба, и не думалъ входить ни въ какія отношенія къ ней. Ему казалось, что между имъ и ею не можетъ существовать ни тѣхъ отношеній, которыя возможны между ею и казакомъ Лукашкой, ни еще менѣе тѣхъ, которыя возможны между богатымъ офицеромъ и казачкой-дѣвкой.“

Ему казалось, что ежели бы онъ попытался сдѣлать то, что дѣлали его товарищи, то онъ бы промѣнялъ свое, полное наслажденіи созерцаніе, на бездну мученій, разочарованій и раскаяній. Притомъ же, въ отношеніи къ этой женщинѣ, онъ уже сдѣлалъ подвигъ самоотверженія *), доставившій ему столько наслажденія; а главное, почему-то онъ боялся Марьянки, и ни за что бы не рѣшился сказать ей слово шуточной любви.

Наконецъ, является въ станицѣ одинъ изъ его московскихъ пріятелей князь Бѣлецкій, который удивляется его образу жизни, удивляется тому, какъ онъ до сихъ поръ не свелъ знакомства съ казачками и пренебрегаетъ красавицей Марьянкой. Оленинъ отвѣчалъ, что онъ составляетъ исключеніе. Бѣлецкій почти насильно заставлялъ его прійти къ себѣ на вечеринку, гдѣ собрались казачки, и доставляетъ ему случай обнять и поцѣловать Маріану. Оленину эта вечеринка, до поцѣлуя, все казалась почему-то противною и его все отъ чего-то коробитъ. Авторъ очень тонко, хотя и не совсѣмъ понятно, передаетъ эти ощущенія героя, но зато ничего не говоритъ, какъ показала Оленину вечеринка эта послѣ поцѣлуя.

Послѣ этого поцѣлуя, отношенія Оленина къ Марьянкѣ измѣнились. Онъ сталъ съ ней кланяться и ходить въ гости къ ея отцу. Авторъ говоритъ, что „онъ *ничего не желалъ отъ нея*, а съ каждымъ днемъ ея присутствіе становилось ему необходимою. Несмотря на то, что дѣло начинаетъ уже разясняться, авторъ очень добродушно и искренно написалъ только что приведенную нами фразу и даже продолжаетъ слѣдующимъ образомъ рассуждать за Оленина:

„Оленинъ такъ вжился въ станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чѣмъ-то совершенно чуждымъ, а будущее, особенно внѣ того міра, въ которомъ онъ жилъ, вовсе не занимало его. Получая письма изъ дома отъ родныхъ и пріятелей, онъ оскорблялся тѣмъ, что о немъ видно сокрушались, какъ о погибшемъ человѣкѣ, тогда какъ

*) Онъ рѣшился великодушно уступить ее казаку Лукашкѣ, за котораго и была стоворена.

онъ, въ своей станицѣ считалъ погибшими всѣхъ тѣхъ, кто не велъ такую жизнь, какъ онъ. Онъ былъ убѣжденъ, что никогда не будетъ раскаиваться въ томъ, что оторвался отъ прежней жизни и такъ уединенно и своеобразно устроился въ своей станицѣ. Въ походахъ, въ крѣпостяхъ, ему было хорошо; но только здѣсь, только изъ-подъ крылышка дяди Ерошки, изъ своего лѣса, изъ своей хаты на краю станицы, и въ особенности при воспоминаніи о Марьянкѣ и Лукашкѣ, ему ясна казалась вся та ложь (какая ложь?), въ которой онъ жилъ прежде и которая уже и тамъ возмущала его, а теперь стала ему невыносимо гадка и смѣшна. Онъ съ каждымъ днемъ чувствовалъ себя здѣсь болѣе и болѣе свободнымъ, и болѣе человекомъ. Совсѣмъ иначе, чѣмъ онъ воображалъ, представился ему Кавказъ. Онъ не нашелъ здѣсь ничего похожего на всѣ свои мечты и на всѣ слышанныя и читанныя имъ описанія Кавказа. „Никакихъ здѣсь нѣтъ бурокъ, стремнинъ, Амалятъ-бековъ, героевъ и злодѣевъ“, думалъ онъ: „люди живутъ, какъ живетъ природа; умираютъ, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются и опять умираютъ, и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ“... И оттого люди эти, въ сравненіи съ нимъ самимъ, казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на нихъ, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серіозно приходила мысль бросить все, приписаться въ казаки, купить набу, скотину, жениться на казачкѣ, — только не на Марьянѣ, которую онъ уступилъ Лукашкѣ, — и жить съ дадей Ерошкой, ходить съ нимъ на охоту и на рыбную ловлю, и съ казаками въ походы. „Что-жъ я не дѣлаю этого? Чего-жъ я жду?“ спрашивалъ онъ себя. И онъ подбивалъ себя, онъ стыдилъ себя: „Или я боюсь сдѣлать то, что самъ нахожу разумнымъ и справедливымъ? Развѣ желаніе быть простымъ казакомъ, жить близко къ природѣ, никому не дѣлать вреда, а еще дѣлать добро людямъ, развѣ мечтать объ этомъ глупѣе, чѣмъ мечтать о томъ, о чемъ я мечталъ прежде, —

быть, напимѣръ, министромъ, быть полковымъ командиромъ?“ Но какой-то голосъ говорилъ ему, чтобъ онъ подождать и не рѣшался. Его удерживало смутное сознаніе, что онъ не можетъ жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастье,—его удерживала мысль о томъ, что счастье состоитъ въ самоотверженіи. Поступокъ его съ Лукашкой не переставалъ радовать его. Онъ постоянно искалъ случая жертвовать собой для другихъ, но случаи эти не представлялись. Иногда онъ забывалъ этотъ вновь открытый имъ рецептъ счастья и считалъ себя способнымъ слиться съ жизнью дяди Ерошки; но потомъ вдругъ опоминался и тотчасъ же хватался за мысль сознательнаго самоотверженія и, на основаніи ея, спокойно и гордо смотрѣлъ на всѣхъ людей и на чужое счастье.

Въ августѣ мѣсяцѣ, при сборѣ винограда, ярость Оленина начинаетъ обнаруживаться, наконецъ, несмотря на всѣ усилія автора какъ можно дольше оставить это обстоятельство въ туманѣ безсвязныхъ ощущеній героя. Однако всѣ попытки объясненій Оленина въ любви какъ-то не удаются ему, — какъ увѣряетъ авторъ — оттого, что Оленину всѣ объясненія эти постоянно казались почему-то пошлыми, а Маріанна какою-то гордою, неприступною, стоявшею выше всѣхъ его соображеній, но читатель увидитъ далѣе, что дѣло было проще. Наконецъ, является на сцену необходимое во всѣхъ старыхъ повѣстяхъ письмо героя, которое никуда не посылается, а служитъ къ тому, чтобы читатели въ одномъ фокусѣ видѣли всю разнообразную массу самыхъ тончайшихъ впечатлѣній, которыми авторъ какъ сѣтью опутываетъ бѣднаго героя. Въ подлинникѣ это письмо очень длинно — на пяти печатныхъ страницахъ, намъ хотѣлось бы выписать цѣлкомъ это интересное письмо въ назиданіе любителямъ разслабляющихъ поэтическихъ ощущеній, но оно чересчуръ длинно, а потому приходится дѣлать изъ него извлеченія.

Въ началѣ письма Оленинъ негодуетъ на соболюбиванія знакомыхъ о его участіи, о томъ, что онъ погибнетъ въ

кавказской глуши. Онъ смѣется надъ понятіями о счастіи того круга людей, гдѣ онъ прежде жилъ. „Вы мнѣ жалки и гадки“, восклицаетъ онъ: „вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь“. Затѣмъ слѣдуетъ опредѣленіе счастья: „вѣчные, неприступные снѣга горъ и величавая женщина въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была выйти первая женщина изъ рукъ Творца“. Ну, хорошо; далѣе: „счастье,—это быть съ природою, видѣть ее, говорить съ ней!“ А потомъ Оленинъ переходитъ къ разсужденіямъ, что онъ именно въ свѣтскомъ-то смыслѣ и желалъ бы пропасть, желалъ бы жениться на казачкѣ, но что онъ не смѣетъ этого, потому что недостойнъ такого блаженства. Свое недостойнство онъ объясняетъ историческимъ изложеніемъ всѣхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ развитіе его любовныхъ отношеній къ Маріаннѣ. Сначала, вслѣдствіе предразсудковъ, онъ не вѣрилъ, что можетъ полюбить эту женщину. Онъ любовался ею какъ красотою горъ и неба. Потомъ почувствовалъ, что созерцаніе этой красоты сдѣлалось для него необходимостію, и спросилъ себя, ужъ не любить ли онъ казачку? Это чувство, изъясняетъ онъ, не было похоже ни на тоску одиночества и желаніе супружества, ни на платоническую, а еще менѣе плотскую любовь. Ему, изволите видѣть, нужно было только знать, что она близко, и онъ былъ счастливъ и спокоенъ. Когда онъ поцѣловалъ ее на вечеринкѣ, онъ вдругъ ощутилъ,—а почему неизвѣстно,—между собою и ею неразрывную связь, но боролся противъ этого ощущенія, думая, что нельзя любить женщину, не понимающую *задушевныхъ интересовъ его жизни*. Здѣсь читатель, какъ намъ кажется, долженъ прійти въ совершенное недоумѣніе:—какіе это задушевные интересы его жизни, которыхъ не могла бы понять казачка? Оленинъ ходитъ на охоту, купаетъ лошадей въ Терекѣ, пьетъ чихирь, ходитъ въ набѣгъ, отъ всего этого чувствуетъ себя счастливымъ, никуда не хочетъ уѣзжать—вотъ и всѣ его задушевные интересы. Чего же тутъ не понять казачкѣ? О другихъ же интересахъ, да еще задушевныхъ, во всей повѣсти нѣтъ

ни полъ-слова, кажется, эти интересы авторъ вставилъ для красоты слога... Прежде вечеринки (мы продолжаемъ наше извлеченіе), Маріана была для Оленина „чуждымъ, но величавымъ предметомъ *эпической* природы“, послѣ вечеринки стала человѣкомъ, но, несмотря на болѣе близкія отношенія, оставалась столь же „чистою, неприступною и величавою“. Уже сблизясь съ ея родными и познавась съ нею короче, онъ все стыдился тѣхъ обыкновенныхъ словъ, которыя ему приходилось говорить этой женщинѣ. „Я не хотѣлъ, объясняетъ онъ, унижаться, оставаясь въ прежнихъ шуточныхъ отношеніяхъ и чувствовалъ, что я не dorosъ до прямыхъ и простыхъ отношеній“. Онъ съ отвращеніемъ отталкивалъ отъ себя мысль сдѣлать ее своей женой или любовницей. „Это было бы убійство“.

„Мое будущее представляется мнѣ еще безнадежнѣе. Каждый день передо мною далекія снѣжныя горы и эта величавая, очастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свѣтѣ счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое въ моемъ положеніи то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не пойметъ меня. Она не пойметъ, не потому что она ниже меня, напротивъ, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, какъ природа, равна, спокойна и сама въ себѣ. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобъ она поняла мое уродство и мои мученія“. Несмотря на это, онъ говоритъ, что любить ее, но какъ-то не самъ, „а черезъ меня любить ее какая-то стихійная сила, весь міръ Божій, вся природа вдавливаетъ эту любовь въ мою душу, и говоритъ: люби! Я люблю ее не умомъ, не воображеніемъ, а всѣмъ существомъ моимъ“. Въ концѣ этого пространнаго письма онъ признается, что старая его убѣжденія, относительно самопожертвованія, вздоръ, что когда прошла любовь, онъ жаждетъ счастья для себя. „Не для другихъ, не для Лукши я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этихъ дугихъ. Прежде я бы сказалъ себѣ, что это дурно. Я бы мнилъ вопросами: что будетъ съ ней, со мной, съ Лукшкой? Теперь мнѣ все равно. Я живу не самъ по себѣ,

но есть что-то сильнѣй меня, руководящее мной“. Онъ рѣшается, однако, несмотря на все отвращеніе отъ мысли сдѣлать Маріану своей женой, посвататься къ ней. Напившись изрядно чихирю съ ея родителями, онъ сказалъ ей, что хочетъ на ней жениться. Она не отказываетъ, а спрашиваетъ только:

— „Куда Лукашку дѣнемъ?“

„Онъ вырвалъ у нея руку, которую она держала, и сильно обиялъ ея молодое тѣло. Но она какъ лань вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбѣжала на крыльцо. Оленинъ опомнился и ужаснулся на себя. Онъ опять показался себѣ невыразимо гадокъ *въ сравненіи съ нею*“. Окончательнаго рѣшенія отъ Маріаны онъ потребовалъ послѣ одной стычки съ абреками, гдѣ былъ смертельно раненъ Лукашка, женихъ Маріаны. Вотъ какъ авторъ описываетъ эту сцену:

„Вдругъ она обернулась. На глазахъ ея были чуть замѣтныя слезы. На лицѣ была красивая печаль. Она посмотрѣла молча и величаво.

„Оленинъ повторилъ:—Марьяна! я пришелъ...“

— „Оставь,—сказала она. Лицо ея не измѣнилось, но слезы полились у ней изъ глазъ.

— „О чемъ ты? Что ты?“

— „Что?—повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ.—Казакѣвъ перебили, вотъ что.

— „Лукашку?—сказалъ Оленинъ.

— „Уйди, чего тебѣ надо?“

— „Марьяна!—сказалъ Оленинъ, подходя къ ней.

— „Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— „Марьяна, не говори,—умолялъ Оленинъ.

— „Уйди, постылый! крикнула дѣвка, топнула ногой и угрожающе подвинулась къ нему. И такое отвращеніе, презрѣніе и злоба выразились на лицѣ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надѣяться, что онъ прежде думалъ о неприступности этой женщины — было несомнѣнная правда.

„Оленинъ ничего не сказалъ ей и выбѣжалъ изъ хаты“.

Мы изложили по возможности полно и почти словами автора всѣ эти странныя ощущенія и приключенія Оленина, составляющія главную часть содержимаго кавказской повѣсти графа Л. Н. Толстого. Изъ этого изложенія читатель можетъ легко усмотрѣть, что графъ Толстой принадлежитъ къ той прежней школѣ „художниковъ“ - писателей, къ той школѣ, основнымъ правиломъ которой всегда было, чтобы дѣйствующія лица, въ особенности главные, ощущали какъ можно больше и рассуждали какъ можно безпорядочно, совершенно не отдавали себѣ отчета ни въ своихъ ощущеніяхъ, ни мысляхъ и не обращали никакого вниманія на то, что кругомъ ихъ дѣлается. При началѣ нашего знакомства съ Оленинымъ намъ все казалось, что вотъ-вотъ авторъ отнесется къ своему герою иронически, и даже не безъ презрѣнія къ его наивничанью и крайней пустотѣ, а въ концѣ обличить всю ложь его размышлений и вздорную путаницу въ ощущеніяхъ. Но скоро догадались, какъ только выступили на сцену безпрестанные возгласы о красотѣ и величавости природы и первобытной женщины и появились какіе-то задушевные интересы, что авторъ смотритъ на своего героя серьезно. Онъ полагаетъ, что поведеніе его очень естественно при тѣхъ условіяхъ, въ которыя онъ его поставилъ, что ощущенія его нормальны. Умыселъ автора, повидимому, именно былъ — изобразить, что вотъ какъ хороши отношенія людей между собою и къ окружающему ихъ міру въ ихъ первобытномъ, такъ сказать, дикомъ видѣ, но что люди, испорченные нашей цивилизаціей, хотя и могутъ понять и оцѣнить все это, но уже не могутъ наслаждаться тѣмъ счастьемъ, которое даетъ эта первобытность, между тѣмъ какъ тутъ только и есть истинное счастье. Человѣкъ стремится сбросить съ себя путы цивилизаціи и, обратясь къ первобытному состоянію, обрѣсти свое счастье, но порча такъ велика, что сдѣлать этого онъ не можетъ. (тсюда безвыходность положенія человѣка и всѣ его несчастія. Не ручаемся, что поняли совершенно мысль автора, потому что онъ безпрестанно противорѣчитъ себѣ въ частностяхъ и загромождаетъ ее анализомъ вздорныхъ ощуще-

ній и представленій своего героя, выражающихся въ какихъ-то отрывочныхъ, бѣдныхъ реальнымъ содержаніемъ фразяхъ. Извѣстно, что, по старой теоріи, чѣмъ туманнѣе взглядъ героя на вещи, чѣмъ безпутнѣе его мысль, чѣмъ больше и безсознательнѣе онъ ощущаетъ, тѣмъ поэтичнѣе выходитъ художественное произведеніе, лишь бы слогъ автора былъ хорошъ, да фраза звучала бы намекомъ на какую-то силу мысли и глубину чувства, — послѣднее называлось тонкимъ анализомъ. Мы подозреваемъ однако, что угадали главную мысль автора; какъ же онъ ее оставилъ?

Молодой человѣкъ уѣзжаетъ на Кавказъ, потому что общество, окружавшее его, показалось ему пошлымъ и гадкимъ, а жизнь, которую онъ велъ, отвратительною. Мы уже сказали, что авторъ не объясняетъ, почему возбуждаетъ въ его герой такое отвращеніе та среда, гдѣ онъ воспитался и жилъ; онъ говоритъ только, что герой задолжалъ портному Капелю, а можетъ быть, и еще кому-нибудь. Читатель сейчасъ видитъ, что фразы, которыми авторъ увертывается отъ объясненія, ровно ничего не значатъ, а герой просто рассердился на общество за то, что оно не удовлетворяло какимъ-нибудь его потребностямъ, вѣроятно, тщеславію, самолюбію, желанію усиѣховъ въ обществѣ, — мало ли, какія бываютъ потребности! — слѣдовательно, не давало ему того счастья, которое ему было тогда нужно. Это весьма просто, потому что если бы Оленинъ имѣлъ другія причины презирать общество, которое покидаетъ, то авторъ не преминулъ бы ясно указать ихъ, потому что сильно симпатизируетъ своему герою. По крайней мѣрѣ, онъ указалъ бы намъ хоть слегка на господствующее убѣжденіе героя, на основаніи котораго читатель могъ бы признать за нимъ право питать отвращеніе къ обществу, гдѣ тотъ жилъ до сихъ поръ. На этомъ-то основаніи Оленинъ и бѣжитъ именно на Кавказъ, потому что ни о какомъ другомъ мѣстѣ для бѣгства онъ никогда не думалъ, а бѣжать ему было все равно, куда, авось въ другомъ мѣстѣ найдутся тѣ удовлетворенія, въ которыхъ отказывало ему аристократическое общество города Москвы. Понятно, что чувство

свободы и спокойствія должно было невольно охватить душу молодого человѣка, при видѣ чудной природы и вольнаго края, если эта душа не совсѣмъ высохла въ салонной жизни. Свобода — главное и необходимое условіе счастья, отсюда естественно, что воля и роскошная природа Кавказа сдѣлали Оленина на первый разъ удовлетвореннымъ, счастливымъ. Скоро увидѣлъ онъ молодую, красивую женщину, полюбилъ ее, и желаніе обладать ею нѣсколько ослабило счастливыя впечатлѣнія свободной жизни, потому что внесло требованіе еще новаго условія счастья. Здѣсь автору показалось, что будетъ очень обыкновенно, очень пошло и недостойно его способности понимать самыя тончайшія ощущенія души человѣческой, если онъ позволитъ своему герою, человѣку умному (онъ хитро разсуждаетъ о счастьи, самоотверженіи и проч.), человѣку восторженно понимающему нязичное (а горы!... а горы!...), глубоко и оригинально чувствующему (черезъ меня любить какая-то стихійная сила, весь міръ вдавливаютъ любовь въ мою душу), — просто покориться этому естественному чувству и попытаться добиться взаимности. Нѣтъ, какъ можно! И вотъ авторъ придумываетъ для героя тѣмъ равныхъ ощущеній, и скорбный герой бьется въ нихъ, ничего не понимая, что происходитъ въ немъ самомъ и вокругъ него; авторъ же занимается анализомъ этихъ ощущеній, ни одно изъ нихъ не опредѣляя. Сидитъ Оленинъ на крыльцѣ своей хаты, пьетъ чихирь съ дядей Ерошкой и мечтаетъ о могучихъ дѣвственныхъ формахъ красавицы, находя въ то же время, что въ послѣднемъ случаѣ онъ дѣлаетъ гадости. И не замѣчаетъ авторъ, что такимъ-то именно способомъ идеализаціи съ вещами, которыя сами по себѣ пошлы потому только, что они просты и естественны, и можно довести положенія до крайней степени пошлости и уродливости. Оленинъ съ своей стороны на крыльцѣ хаты также не замѣчаетъ, что онъ человѣкъ чуждый обществу, въ которое попалъ, и по своему званію, образу жизни, привычкамъ, а главное по своему крайнему бездѣльничеству, долженъ возбуждать если не презрѣніе, то по крайней мѣрѣ

самое полное равнодушіе въ казацкой компаніи. Онъ не замѣчаетъ, что съ нимъ обходятся ласково, что Маріанна подаетъ ему надежды потому только, что онъ богатъ. Ни автору ни Оленину, въ ихъ погонѣ за счастьемъ, ни разу не пришло въ голову, что человѣкъ, требуя себѣ счастья, ищетъ его, по необходимости, именно въ тѣхъ условіяхъ въ которыхъ, въ данный моментъ, укладывается его жизнь, а потому, въ дикой ли, въ цивилизованной ли средѣ, ему необходимо знать ея условія, предвидѣть ихъ будущія измѣненія и стараться комбинировать ихъ такимъ образомъ, чтобы они не только не мѣшали удовлетворенію, но способствовали ему. Условія эти разнообразны, но главнымъ образомъ лежатъ въ отношеніяхъ личности къ окружающимъ ее людямъ, и вотъ на эти-то отношенія и обратится мысль человѣка съ толкомъ, если онъ хочетъ добиться цѣли, а не мѣсть только да ныть. Его личное исканіе счастья для себя не должно казаться другимъ людямъ посягательствомъ на ихъ долю счастья, а этого можно достигнуть не смотрѣніемъ съ крыльца хаты на горы, не безвѣстаннымъ питьемъ чихири, не купаньемъ лошади въ Терекѣ, не охотой за фазанами и дѣланіемъ подарковъ, а дѣйствительнымъ участіемъ въ окружающей жизни. Это и проглядываетъ въ смутныхъ разсужденіяхъ Оленина о самоотверженіи, которое у него вырождается въ подарокъ Луканикѣ лошади и въ великодушное намѣреніе не отбивать у него Маріанны. Но эти разсужденія мало прибавляютъ къ дѣлу, потому что авторъ не знаетъ, что не самоотверженіе, какъ его многіе понимаютъ вообще, и не толки объ этомъ самоотверженіи, а твердый и отчетливый взглядъ на среду и отношенія къ ней требуется отъ человѣка для отысканія нужныхъ ему удовлетвореній, иначе придется, какъ Оленину, ходить изъ мѣста въ мѣсто, воображая, что гдѣ-то есть такіа самородныя условія, въ которыхъ стоитъ только влѣзть, какъ въ ловко сшитый кафтанъ, то и будешь сейчасъ счастливъ. Всѣ авторскія и Оленинскія разсужденія о неприступности первобытной женщины выходятъ какимъ-то дѣланымъ наивничаньемъ, какъ будто нельзя было

сказать просто, что казакъ Лукашка, дѣятельный, почтенный, и полезный членъ общества, къ которому принадлежитъ, съ которымъ связанъ органическою связью, и вдобавокъ красивый, молодой, долженъ былъ естественно принадлежать Маріаннѣ, такому же человѣку, какъ и онъ самъ, а она принадлежать ему. Очень естественно также, что, несмотря на любовь и смиренное почтеніе къ ней Оленина, она не могла предпочесть Лукашкѣ человѣка, ей чуждаго, слабого, незанятаго ничѣмъ, кромѣ вздоховъ и мыслей о неприступности и величавости первобытныхъ красавицъ. Разумѣется, она могла бы поддаться обаянію его богатства, но онъ всегда долженъ былъ ей казаться плохъ, и едва совершилась катастрофа съ Лукашкой, она необходимо должна была прогнать его въ штабъ, гдѣ, по всей вѣроятности, онъ будетъ при другихъ обстоятельствахъ смутно и распушенно размышлять о недоступности для него еще какого-нибудь новаго условія счастья.

Разныя описанія и отдѣльныя фразы, старающіяся быть очень поэтичными, трактующія о прелестяхъ жизни цивилизованнаго общества, и дали намъ поводъ думать, что авторъ считаетъ эту жизнь за такую, которая одна и можетъ дать человѣку счастье. Но вся эта поэзія и всѣ смутныя разсужденія по этому поводу только затемняютъ очень простую и общественную мысль. Всякому понятно, что чѣмъ необразованнѣе человѣкъ, чѣмъ менѣе состояніе его удалено отъ дикости, тѣмъ меньше у него потребностей, тѣмъ они ограниченнѣе, и тѣмъ легче и полнѣе удовлетворяются.

Рядомъ съ умственнымъ развитіемъ эти потребности быстро увеличиваются, расширяются, дѣлаются сложнѣе, но способы удовлетворенія развиваются медленно и тупо, далеко не пропорціонально развитію потребностей. Отчего послѣднее происходитъ — и это болѣе или менѣе извѣстно всякому, кто сколько-нибудь думалъ объ экономическихъ условіяхъ жизни и кто вдумывался въ неправильности распредѣленія общественныхъ элементовъ и причины этой несправильности. Графъ Толстой съ одной стороны восхищается

первобытной обстановкой жизни, съ другой — на Оленинѣ указываетъ, что это счастье уже недоступно для человѣка, исковерканнаго цивилизаціей. Казалось бы, недоступно, — значить и толковать объ этомъ нечего. Но знаменитые художники стараго покроя тѣмъ и отличаются отъ другихъ, что любятъ толковать о невозможностяхъ, о томъ, что вотъ какъ бы хорошо было это невозможное, и сколько поэзіи и драматизма въ этомъ стремленіи къ невозможности и въ послѣдующей неудачѣ. Они и знать не хотятъ, что это не болѣе, какъ бесплодное раздраженіе фантазіи, и что нормальному человѣку смѣшно и дико слышать и видѣть эти тонкія ощущенія, происходящія отъ нереальныхъ впечатлѣній, и основанія, за ними слѣдующія. Передъ нимъ лежитъ реальная жизнь, полная реальныхъ препятствій къ счастью, и на устраненіе этихъ-то препятствій и устремляется настойчиво его мысль. Для него интересны всѣ подробности той среды, гдѣ онъ живетъ, потому что тутъ его дѣло, тутъ его борьба, а знаменитые художники подчуютъ его неизвѣстной средой, описываютъ бесплодную борьбу, указываютъ, что вотъ какъ хорошо было бы то, чего быть не можетъ. Ему нужно знать, что, при современномъ хаосѣ понятій и явленій, ему нужно дѣлать для завоеванія себѣ хоть извѣстной доли благосостоянія, куда прилѣпиться, чтобы не сгнбнуть, а знаменитые художники рассказываютъ ему, какъ ничего не дѣлающій, ничего не сознающій, слабый умомъ и сердцемъ мальчикъ мечется какъ пальной за счастьемъ, да еще за такимъ, въ которое можно было бы ему влѣзть со всѣмъ своимъ внутреннимъ и внѣшнимъ хламомъ, съ своимъ тупымъ эгоизмомъ и заскоружлымъ барствомъ. Да ищетъ еще такого счастья, котораго бы ему самому понять нельзя было, чтобы оно состояло не то изъ какихъ-то звуковъ, не то изъ какихъ-то намековъ, чтобы тутъ было и могучее дѣвственное тѣло красавицы, но чтобы отъ прикосновенія къ этому тѣлу ему дѣлалось „гадко“ и пр., и проч. Словомъ, знаменитые писатели положительно думаютъ, что имъ никакой логическій законъ не писанъ, что дѣйствительность можетъ идти какъ ей угодно, и что

нхъ до нея никакого дѣла нѣтъ. Ихъ дѣло мечтать, любоваться природой да описывать идеальныя страданія героевъ, находящихся въ умственномъ несовершенствѣ.

Большинство нашихъ знаменитыхъ художниковъ-писателей оказывается такимъ же образомъ несостоятельно въ виду рѣзкаго поворота, который дало теченіе нашей общественной жизни. Легковѣрные люди, кажется, напрасно будутъ ждать отъ нихъ какого-нибудь замѣчательнаго произведенія: его не будетъ, а будутъ разныя повѣсти, рассказы, большіе и меньшіе романы, писанные хорошимъ слогомъ, на старыя, избитыя темы, будутъ описанія изящныхъ страданій, сопровождаемыхъ тончайшимъ анализомъ цѣлаго ряда самыхъ беззаконныхъ и искусственныхъ ощущеній.

Но романа и повѣсти, которые захватывали бы глубоко текущую жизнь, которые бы въ состояніи были настолько раздражить мысль современнаго человѣка, такихъ произведеній наличныя знаменитости не дадутъ: они вышли изъ жизни. Они сами, впрочемъ, не измѣнились, но они не замѣтили, какъ измѣнилась ихъ обстановка. Для нихъ это было внезапною. Но, наконецъ, они оглянулись на эту обстановку и замѣтили въ ней разныя вещи, въ виду которыхъ имъ было какъ-то не по себѣ: знаменитости или попрятались или возроптали. О примиреніи не могло быть и рѣчи, тѣмъ менѣе объ измѣненіи воззрѣній, потому что, во-первыхъ, имъ приходилось отказаться отъ прежняго, чему они, будто бы, жарко вѣрили, а во-вторыхъ, надо было забыть и всѣ раны, нанесенныя ихъ самолюбіемъ, забыть то ужасное ощущеніе, что они, воображавшіе себя всегда руководителями общества, вдругъ очутились на хвостѣ. На этомъ и должно кончиться ихъ художественное поприще, потому что въ жизни зады не повторяются.

Возвращаясь къ повѣсти графа Л. Н. Толстого, мы должны замѣтить еще одно обстоятельство. Выше мы сказали, что въ его педагогико-издательской дѣятельности видно покаянное усиліе сказать что-нибудь такое, чего еще никто не говорилъ, выказать такой пріемъ, до котораго онъ самъ, будто бы, додумался, который есть результатъ его собствен-

ныхъ долгихъ наблюденій и глубокихъ соображеній. Это усиліе проглядываетъ всюду и часто по поводу вещей давно извѣстныхъ всѣмъ, сколько-нибудь занимавшимся дѣломъ воспитанія. Оно проглядываетъ всего сильнѣе въ стараніяхъ, чтобы кто-нибудь, Боже сохрани, не заподозрилъ его въ подражаніи приемамъ какой-нибудь замѣчательной личности, или въ томъ, что онъ воспользовался чѣмъ-либо опытомъ, и единственно для этого графъ Л. Н. Толстой въ своихъ воспитательныхъ статьяхъ иногда просто отрицаетъ какой-нибудь извѣстный выводъ и употребляетъ имъ самымъ изобрѣтенный приемъ. хотя правильность отвергаемаго есть аксіома, а употребленіе его собственного чистая нелѣпость. Это особенно кинулось намъ въ глаза въ сужденіи г. Толстого объ Оуэнѣ. Какъ въ этомъ случаѣ, такъ и въ своей новой повѣсти графу Л. Н. Толстому, вѣроятно, показалось недостойнымъ его таланта возвратиться къ беллетристической дѣятельности съ разработкой вопроса о человѣческомъ счастьи на простой, ограниченной почвѣ, въ средѣ болѣе или менѣе извѣстной и потому занимательной для всѣхъ,—это дѣло чернорабочее. Онъ же захватилъ вопросъ съ точки зрѣнія, такъ сказать, общечеловѣческой и въ своемъ произведеніи свелъ крайнія грани его. Примѣры подобнаго широкаго пониманія и постановки вопроса о человѣческой жизни, конечно, есть въ исторіи европейской мысли; были личности, которыя рѣшали ихъ, не связывая себя старой традиціей,—но это были личности, обладавшія въ самомъ дѣлѣ громадными силами, и ихъ внутренній міръ въ самомъ дѣлѣ вмѣщалъ въ себѣ желанія, стремленія и надежды людей современной имъ эпохи. Такіе люди являются рѣдко и хотя совершаютъ мало пракческаго дѣла, но ихъ сильный талантъ, ихъ борьба, беспорядочная, но разнообразная и упорная, дѣлаетъ ихъ имена дѣйствительно хорошими и почтенными. Читая ихъ, невольно чувствуешь, что они силой своего генія бываютъ близки къ правдѣ, что они сильные и честные бойцы за идею общественного блага. Графъ Л. Н. Толстой не принадлежитъ къ числу такихъ писателей—лиризмъ его не отражаетъ въ себѣ ничего, кромѣ его

собственныхъ, какія Богъ послалъ, ощущеній. Впрочемъ мы, не желая огорчать графа Л. Н. Толстого, если онъ думаетъ о собѣ иначе, скажемъ, что, по нашему мнѣнію, времена становятся все труднѣе и труднѣе для появленія такихъ великихъ художниковъ. Настоящій періодъ исторіи есть періодъ развитія знанія новаго, болѣе реальнаго изслѣдованія и наблюденія. Въ идеяхъ есть много подготовленнаго, что ждетъ благопріятныхъ обстоятельствъ, чтобы перейти въ фактъ, и требуетъ вѣрнаго пониманія, такъ что, какъ бы силенъ ни былъ талантъ художника, если онъ будетъ руководиться однимъ личнымъ чувствомъ и не будетъ обращать вниманія на эти положительныя задачи, не ознакомится съ извѣстными матеріалами для ихъ разрѣшенія, его читать не будутъ, тѣмъ менѣе обратятъ вниманіе на писателя, занимающагося анализомъ искусственныхъ страданій и несознанныхъ впечатлѣній.

Однако, графъ Л. Н. Толстой все-таки беллетристъ хорошій.—его можно читать безъ скуки. Онъ хорошій рассказчикъ и ловкій, хотя и поверхностный, наблюдатель, но онъ плохой мыслитель. Ему не слѣдуетъ браться за глубокія разсужденія, а тѣмъ болѣе за рѣшеніе вопросовъ о судьбахъ человѣчества. Онъ отличный учитель въ школѣ и отличный рассказчикъ того, что видѣлъ и слышалъ, — если, впрочемъ, видѣнное и слышанное ему понравилось. Намъ кажется, что лучше обойтись этимъ.

Изъ Современника за 1863 г.

* * *

*) Новая повѣсть графа Л. Н. Толстого напоминаетъ его первыя замѣчательныя произведенія: Очерки военныхъ дѣйствій подъ Севастополемъ, Рубку лѣса на Кавказѣ и др Тотъ же спокойный, джентльменскій разсказъ, та же кристалльная чистота и вмѣстѣ здоровая, трезвая и скупая прѣстота рѣчи. Лица разсказа всѣ живыя, выработаны въ

*) „Сверная Пчела“ 1863 г., № 247; статья А., подъ заглавіемъ: „Русская крѣпка и художественная этнографія“. Разбираются „Казакъ“ и упоминается о „Толикушкѣ“.

повѣсти до послѣднихъ мелочей, хотя самый ходъ разсказа, сюжетъ его, завязка. нѣсколько страдаютъ растянутостью, даже собственно не растянутостью, а какимъ-то однообразіемъ дѣйствія, впрочемъ очень идущимъ къ общей обстановкѣ мѣстности. Это не Кавказъ Марлинскаго, съ изысканными страстями, утесами, водопадами, рѣзней черкесовъ, дикими рѣчами героевъ и героинь и съ прочей напускною драматико-трагической небывальщиной бѣднаго, дикаго и въ сущности очень простаго Кавказа. Напротивъ это картины, предчувствовать которыя далъ, и то слегка, Лермонтовъ, не въ сказочной героинѣ Бѣлѣ, а въ тѣхъ очеркахъ „Героя нашего времени“, гдѣ у него являются Кисловодскъ, Грушницкій, старичокъ Максимъ Максимовичъ и драгунскій капитанъ Иванъ Игнатьевичъ, среди поразительно живыхъ и комически добрыхъ лицъ. ради которыхъ читатель простилъ автору многія фальшивыя и умышленно напускныя, на мѣстѣ никогда небывалыя и невиданныя титаническія черты самого героя Печорина. Русскіе критики, знавшіе по переводнымъ рецензіямъ иностранцевъ, что былъ когда-то на свѣтѣ Байронъ, и что его классики звали титаномъ, занялись Печоринымъ, т.-е. фальшью, щекотившею ихъ петербургскіе нервы, а на Иванъ Игнатьича и не посмотрѣли. Наши критики тогда все играли въ разныя новыя слова: міросозерцаніе, разочарованность жизнью, сердце Прометея, терзаемое клювомъ недовольства, задачею человѣческаго бытія, и проч., и проч. За печоринствомъ прогремѣло тамаринство, за тамаринствомъ петербургскіе критики, изъ столоначальниковъ и секретарей, занялись разными явленіями нашей областной жизни, въ которыхъ, по ихъ мнѣнію. „уже слышался роковой протестъ“, и виднѣлись угрозы „лишнихъ, забытыхъ, обдѣленныхъ и обманутыхъ людей...“ А наши области и не подозрѣвали этого. Въ нашихъ областяхъ рождались, жили и умирали, рождаются, живутъ и умираютъ понынѣ личности, не знающія никакихъ протестовъ, никакихъ угрозъ, ничего того, о чемъ кабинетные мыслители такъ хлопчутъ. Мы не говоримъ, чтобъ не было исключеній, но дѣло въ томъ, что наша

областная долевая жизнь гораздо проще вообще, чѣмъ думаютъ критики. Таковъ и Кавказъ съ его пограничными казачьими станицами. Спросите дядю Ерошку, напимѣрь, у графа Толстого: онъ вамъ скажетъ, что Печорина никогда не видѣлъ, хотя живетъ 70 лѣтъ, а вотъ фазановъ стрѣлялъ, оленей стрѣлялъ, и что звѣрь-то не дуракъ, а умнѣе человека, даромъ что свиньей иной разъ прозывается. Посмотрите на эту офицершу, хорунжиху, бабушку Улиту, зажиточную казачку-старуху, когда она мететъ полъ, и вошедшаго героя, московскаго аристократа, также офицера Оленина, встрѣчаетъ словами, когда его поставили къ ней на квартиру, въ станицѣ: „Чего пришелъ? Какую надо болячку? Скобленное твое рыло! Вотъ дай срокъ, хозяинъ придетъ, онъ тебѣ покажетъ мѣсто. Не нужно мнѣ твоихъ денегъ поганыхъ. Экую болячку не видали! Разстрѣли тебѣ въ животы сердце...“ Но какая прелесть у графа Толстого эти главные лица его новой повѣсти: казакъ Лукашка, убивающій изъ секрета, на Терекѣ, джигита-татарина, и братъ этого татарина, такой же абрекъ, рыжебородый и стриженный джигитъ, подъ конецъ, въ подобной же нечаянной встрѣчѣ за песчанымъ буруномъ, убивающій Лукашку. По нашему, это главная канва повѣсти. Остальное — обстановка и довольно, впрочемъ, вялая и растянутая, какъ личность гниленькаго московскаго дворянчика, котораго не спасаютъ никакія добрыя прозвища со стороны автора, превращеніе этого Оленина, этого Обломова XXIV съ Пречистенки, въ загорѣлаго и готоваго на всякія честныя жертвы жителя горъ и степей, его любовь къ сильной комплекціей и строгой нравомъ Марьянкѣ, такой же бахвалъ или какъ его дѣвки-казачки зовутъ „порченный“ князь Бѣлецкій, какой-то лакей Ванюша, личность совершенно избитая и блѣдная до того, что авторъ не оживилъ ее даже французскими его поговорками, въ родѣ „Лафилъ комъ се тре бѣ!“ и проч. Эти лица, можно сказать, положила руку на сердце, не удалось графу Толстому. Зато все, что касается собственно рисуемой имъ мѣстности, прелесть и давно невиданная нашею журналистикой прелесть! Самая простая героиня Марь-

янка, мелькающая по вечерамъ съ другими дѣвками между сытою и раскормленною скотиною; ея бѣлый платокъ, ку-
тающій ей лицо до бровей, ея единственный нарядъ — то
красная, то голубая полинявшая длинная рубаха, обхваты-
вающая по-простотѣ ея крѣпкую грудь, полный дѣвствен-
ный станъ и сильныя упругія бедра... „Кобыла табунная!“ *)
восклицаютъ о ней со стороны. Это совершенно закончен-
ный, живой, плѣнительный образъ, какимъ рѣдко дарятъ
нашу литературу. Она смотритъ на жизнь совершенно
прямо, по природѣ, какъ тѣ простые и честные люди, о
которыхъ охотникъ дядя Ерощка, также живой и превос-
ходный типъ, говоритъ: „Живутъ они, а умрутъ, только
трава на могилкѣ вырастетъ!“ и прибавляетъ о ней самой
другую бюхнеровскую и молешотовскую сентенцію, но со-
вершенно въ духѣ своей мѣстности: „Грѣхъ дѣвку достать?
Погулять съ ней грѣхъ? Это у васъ такъ? Богъ тебя сдѣ-
лалъ, и дѣвку сдѣлалъ. На то она сдѣлана, чтобъ ее лю-
бить“. Прекрасно описаны эти первобытныя балки, эти
станичныя фестени, изъ господъ дѣвкамъ раздають пря-
ники, ѣдятъ съ ними пироги съ виноградомъ и вдоволь съ
ними могутъ нацѣловаться, напашукаться и набарахтаться
подъ общій шумокъ въ углу за печкой, въ честь угощаю-
щей миловидной Устенки и ея, по петербургскому выра-
женію, „міросозерцанію“, что дескать: „Ахъ, Марьянушка,
развѣ это грѣхъ? Люблю (своего-то) да и все тутъ. Когда
же и гулять, какъ не на дѣвичьей волѣ? За казака пойду,
рожать стану, пужду узнаю. Вотъ ты поди за Лукашку,
тогда и въ мысль радость не пойдетъ, дѣти пойдутъ, да
работа...“ И этимъ дѣвкамъ милѣе всякихъ фразъ, подар-
ковъ и клятвъ въ любви и въ желаніи жениться, простой
казацкѣ „смола“, что липнетъ, да „ручищамъ волю даетъ“
да „просить съ нимъ въ сады ночью прійти погулять“. Великолѣпнъ и отецъ Марьяшки, хорунжій, въ офицер-
скомъ чинѣ, скидающій бешметъ съ дворянскими погонами,
и въ подоткнутыхъ штанахъ босикомъ идущій съ сѣтью

*) Какъ пошли были кривлянія нашихъ свистуновъ по поводу письма г. По-
лонскаго объ этомъ лицѣ.

черезъ плечо ловить рыбу, обдумывая, что вотъ его постоялецъ получить съ почты „тысячу монетовъ“, и что хорошо бы ему всучить собственное дѣтище Марьяшку въ жены, т.-е. въ барыни. Сцены охоты на фазановъ, на оленя по слѣду, гдѣ дядя Ерошка рветъ себя за бороду, опрометчиво спугнувши рогатаго звѣра въ десяти шагахъ отъ его свѣжаго, еще потнаго, логовища; этотъ трескъ сучьевъ и, наконецъ, этотъ топотъ и гудѣніе мощнаго и быстрого оленя, съ обстановкой мертвенно-тихаго дикаго лѣса, хороши не менѣе остальныхъ картинъ повѣсти: описаніе кордонной казачьей вышки, гдѣ урядникъ командуетъ, зная, что послушаютъ все-таки не его, а Лукашку, вечера въ станицѣ, утра въ камышахъ на Терекѣ, комнаты Ерошки, гдѣ въ одномъ углу болтается на веревочкѣ привязанный копчикъ, а на столѣ лежатъ хлѣбъ, башмаки-поршни, окровавленный зипунъ и порванная для приманки коршуна ворона. Но верхъ художественности въ повѣсти — это сцена убійства джигита Лукашкой и въ концѣ разсказа убійство Лукашки братомъ джигита. Выписываемъ кое-что изъ этихъ отрывковъ, и отъ души поздравляемъ „Русскій Вѣстникъ“ съ такимъ произведеніемъ, какъ „Казакъ“ графа Л. Н. Толстого.

Послѣ блѣдной, противной и гадкой картины пиршества трехъ молодыхъ московскихъ Обломовыхъ у Шевалье, читатель переносится „въ секретъ“ на Терекъ, гдѣ въ камышахъ, ночью, два казака спятъ, а третій, Лукашка, караулитъ абрековъ изъ-за рѣки, по которой иногда плывутъ корчи (отмытые водою коренья и вѣтви).— „Пора будить“, подумалъ Лукашка, кончивъ шомполъ и почувствовавъ, что глаза его отяжелѣли. Обернувшись къ товарищамъ, онъ разглядѣлъ, кому какія принадлежали ноги, но вдругъ ему показалось, что плеснуло что-то на той сторонѣ Терека, и онъ еще разъ оглянулся на отчетливо плывущія корчи. Одна большая черная корча съ сукомъ особенно обратила на себя его вниманіе. Какъ-то странно, не крутятся, плыла она не по теченію, а перебивала Терекъ на отмель; подплыла и странно зашевелилась. Лукашкѣ замерещилось, что показа-

лась рука изъ-подъ корчи. „Вотъ какъ абрека одинъ убью!“ подумалъ онъ, быстро раскинувъ подсошки, положилъ на нихъ ружье, не слышно, придерживавъ взвелъ курокъ, и, притавивъ дыханіе, сталъ цѣлится, все всматриваясь. „Будить не стану!“ думалъ онъ. Корча вдругъ бултыхнула, и снова поплыла къ нашему берегу. Мелькнула татарская голова впереди корчи. Онъ навелъ ружьемъ на голову. Она показалась ему совсѣмъ близко, на концѣ ствола. „Онъ и есть абрекъ!“ подумалъ онъ радостно, но вдругъ, порывисто вскочилъ на коѣно, проговоривъ, по казачьей привычѣ: „Отцу и сыну!“ пожалъ шишечку спуска. Корча уже поплыла не поперекъ, а внизъ по теченію, крутась и колыхаясь. Слѣдуетъ пробужденіе товарищей. Они не вѣрятъ сперва успѣху Луки. Бѣгутъ на кордоу, подвозятъ по водѣ каюкъ. Тѣло чеченца берутъ. Слѣдуетъ поэтическое, полное художественнаго, тонкаго чутья, описаніе убитаго джигита, съ его коричневымъ тѣломъ, впалымъ животомъ, синеватою свѣжевыбритою головою, синими портками, съ добродушною усмѣшкою на тонкихъ губахъ, покрытыхъ красивыми подстриженными усами, съ гладкимъ загорѣлымъ лбомъ и стеклянными, смотрѣвшими вверхъ, *мимо всего*, глазами. Вскорѣ изъ горъ пріѣхали съ лазутчикомъ немирные черкесы-чеченцы, родные убитаго, выкупать тѣло, въ томъ числѣ братъ убитаго. Этотъ братъ, намѣченный двумя штрихами,—лучшее лицо въ повѣсти. „Высокій, стройный, съ подстриженной, выкрашенной, красною бородою, въ оборваннѣйшей черкескѣ и папахѣ, онъ былъ спокоенъ и величавъ, какъ царь. Никого онъ не удостоивалъ взглядомъ, ни разу не взглянулъ на убитаго, и стоя въ тѣни на короточкахъ только сплевывалъ, куря трубочку, и изрѣдка издавалъ нѣсколько повелительныхъ гортанныхъ звуковъ, которымъ почтительно внималъ его спутникъ. Оленинъ подошелъ къ убитому и сталъ смотрѣть на него, но братъ, спокойно, презрительно взглянувъ выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказалъ что-то. Лазутчикъ закрылъ лицо убитаго. Когда тѣло отнесли въ каюкъ, чеченецъ-братъ сильною ногою оттолкнулся отъ берега и что-то отрывисто спросилъ у товарища.

Товарищъ указалъ на Лукашку. Чеченецъ взглянулъ на него и, медленно отвернувшись, сталъ смотрѣть на тотъ берегъ. Ненависть и холодное презрѣніе выразились въ этомъ взглядѣ. Читатель еще разъ встрѣчается съ этимъ *братомъ*, когда въ свалкѣ у песчаного бурана, поймавши новыхъ абрековъ по сю сторону Терека, казаки, скрываясь за возомъ съ сѣномъ, перебили ихъ всѣхъ, а Лукашка упалъ, раненый насмерть въ животъ чеченцемъ, котораго было схватилъ за руки и хотѣлъ взять живымъ. Лукашка ругался по-русски и по-татарски; крови подъ нимъ прибавлялось. Чеченецъ-братъ, какъ подстрѣленный ястребъ, сидѣлъ съ кинжаломъ на короточкахъ, озираясь; изъ-подъ праваго глаза у него текла кровь; онъ весь въ крови, стиснувъ зубы, блѣдный и мрачный, раздраженными, огромными глазами озирался во всѣ стороны, готовый еще защищаться... Но хорунжій подошелъ къ нему, и бокомъ, какъ будто обходя его, быстрымъ движеніемъ выстрѣлилъ изъ пистолета въ ухо... Чеченецъ рванулся, но не успѣлъ и упалъ... Казаки, запылавшись, растаскивали убитыхъ и снимали съ нихъ оружіе. Лукашку понесли къ арбѣ. Онъ все бранился по-русски и по-татарски: „Врешь! руками задую! Отъ моихъ рукъ не уйдешь. Анаема!“ Вскорѣ и онъ замолеъ... Вы прочли эту повѣсть, закрыли глаза, и предъ вами, какъ живые, стоятъ, не отходя, всѣ эти Лукашки, джигиты, Ершки, Назарки, Марьяны, бабушки Улиты, хорунжіе и урядники, и вѣроятно вы, читатель, прежде испытывали, но не признавались въ томъ, что прочтя Печорина, вы помните многія его умныя, и болѣе мудрыя мысли, но его, самого Печорина, врядъ ли могли себѣ представить живымъ, несмотря на подробности въ его обрисовкѣ. Еще слово. Гр. Л. Н. Толстой долго молчалъ. Онъ занимался яснополянской школой и издавалъ умный журналъ, для объясненія своихъ опытовъ. Дѣятельность его въ этомъ случаѣ была очень плодотворна. Если журналъ его закрылся, зато брошенные имъ сѣмена принесутъ хорошій плодъ въ этой сферѣ, гдѣ теперь идетъ вопросъ священный о свободѣ и практичности сученія русскаго народа... Но педагогическая дѣятельность

графа Толстого не поглотила, какъ видно, его художественнаго таланта. Отъ души желаемъ ему побольше такихъ трудовъ, какъ его прелестная повѣсть „Казакѣ“. Впечатлѣніе, оставляемое ею, такъ свѣжо, такъ отрадно, какъ читатель давно не испытывалъ вѣроятно. Недавно намъ попался фотографическій портретъ работы Левицкаго, изобразившій въ 1856 г. группу тогдашнихъ любимыхъ и первыхъ русскихъ писателей изъ молодыхъ. Тутъ изображены на диванѣ, слѣва И. С. Тургеневъ, справа рядомъ съ нимъ А. В. Дружининъ; на стульяхъ, облокотясь о диванъ, слѣва И. А. Гончаровъ, справа А. Н. Островскій; въ глубинѣ комнаты, у драпировки, за диваномъ, облокотясь также на его спинку, Л. Н. Толстой и Д. В. Григоровичъ. Эти лица тогда дружно работали для „Современника“ гг. Некрасова и Панаева. Какъ далеко отодвинулась, повидимому, эпоха 1856 г. Но какъ бы желательно было, чтобы почаще въ русской литературѣ раздавались такіе свѣжіе голоса, какъ повѣсть „Казакѣ“, которую мы относимъ къ такъ называемой *художественной этнографіи*, обогатившей давно литературы англійскую и американскую. Наша критика почему-то ея мало касается*), относится къ пей изрѣдка и то свысока или просто уморительно-напыщенно игнорируя ее. Знаетъ хорошо наша критика, что скоро о ней, о критикѣ, и помина не будетъ, что, по выраженію дяди Ерошки „на могилѣ ея только трава вырастетъ“, а такіа произведенія, какъ „Казакѣ“, „Рубка лѣса“, „Севастополь въ августѣ мѣсяцѣ“ и другія недавнія явленія художественной этнографіи, въ нашей литературѣ не умрутъ; но нашей критикѣ или невыгодно говорить объ этомъ въ настоящую пору, когда ея запѣвалы не дозволяютъ этого, или она, живущая на петербургскихъ пятиэтажныхъ чердакахъ, и не выѣзжавшая далѣе Мурина и Галерной гавани, не можетъ трактовать явленій нашей областной жизни, „жизни достойныхъ колоній нашихъ“, какъ сказали бы съ гордостью англичане въ своей метрополіи. Къ дѣлу „художественной этнографіи“ въ русской литературѣ мы

*) Такъ наша критика мало оцѣнила такіа крупныя явленія, какъ „Гаврила Михайловъ“ Козхановской и „Старые годы“ Печерскаго.

еще возвратимся. Все нами сказанное о „Казакахъ“ относится и къ другому прекрасному очерку гр. Л. Н. Толстого, „Поликушка“ также въ Русскомъ Вѣстникѣ.

Изъ „Сѣверной Пчелы“ за 1863 г. статья А.

* * *

*) ...Поднять былъ важный вопросъ—вопросъ о свободѣ воспитанія. Всего усерднѣе защищаетъ его издатель „Ясной Поляны“, гр. Л. Н. Толстой. Читателямъ нашимъ извѣстно безъ сомнѣнія имя этого журнала, который вмѣстѣ съ яснополянскою школою возбудилъ недавно толки своимъ своеобразнымъ взглядомъ на вещи и на народное образованіе. На „Ясной Полянѣ“ стали даже основывать сладкія надежды, помѣстивъ ее въ числѣ тѣхъ (очень рѣдкихъ) утѣшительныхъ фактовъ, отъ которыхъ мы надѣемся своего спасенія. „Современникъ“ до сихъ поръ мало вмѣшивался въ эти толки о народномъ воспитаніи, но объ „Ясной Полянѣ“ онъ высказалъ свое мнѣніе такъ откровенно и просто, какъ этого желалъ самъ издатель „Ясной Поляны“ и основатель школы. „Современникъ“ отдалъ справедливость его школѣ и выразилъ свое искреннее сочувствіе тѣмъ побужденіямъ, которыя руководили ея основателемъ, сочувствіе его любящимъ отношеніямъ къ народу и гуманнымъ порядкамъ въ его школѣ. Но въ то же время „Современникъ“ такъ же прямо сказалъ, что теоретическія разсужденія издателя „Ясной Поляны“ далеко не такъ основательны и благоразумны, какъ его школьные порядки; что прежде, чѣмъ поучать Россію своей педагогической мудрости, надо самому поучиться, подумать, постараться приобрѣсти болѣе опредѣленный взглядъ на дѣло народнаго образованія; что установленіе общихъ принциповъ науки требуетъ, кромѣ прекрасныхъ чувствъ, еще иныхъ вещей: нужно стать въ урочень съ положеніемъ науки, а не довольствоваться кое-

*) „Современникъ“ 1863 г., № 1—2. Статья подъ заглавіемъ: „Наши толки о народномъ образованіи“. (Настоящая статья помѣщается здѣсь съ значительными сокращеніями. Пропущена защита „Современникомъ“ университета, университета и гимназическаго образованія отъ нападокъ Толстого).

какими личными наблюденіями, да безсистемнымъ прочтеніемъ кое-какихъ книжекъ. Въ доказательство указано было много аргументовъ изъ журнала гр. Толстого, приводившихъ именно къ такому заключенію. Вещи совершенно основательныя стоятъ у него рядомъ съ самыми бездоказательными и самолюбивыми выходками, вещи самыя похвальные рядомъ съ непозволительными тенденціями, которыхъ не долженъ допускать писатель, истинно уважающій науку и людей, для нея серьезно работавшихъ. Издатель „Ясной Поляны“, какъ и слѣдовало ожидать, увидѣлъ въ статьѣ „Современника“ только личное (?) и недоброжелательное пустословіе. Что такое личное пустословіе, мы не понимаемъ; авторъ хотѣлъ, вѣроятно, сказать, что „Современникъ“ лично недоброжелателенъ къ нему. Мы можемъ положительно увѣрить его, что для этого „Современникъ“ не имѣетъ рѣшительно никакихъ основаній, да и вообще въ своихъ сужденіяхъ руководится совершенно другими основаніями; если, по поводу журнала гр. Толстого, онъ пришелъ къ приведенной выше морали, то основанія его и были указаны въ цѣломъ рядѣ мыслей гр. Толстого, которыхъ „Современникъ“ не могъ одобрить. Съ тѣхъ поръ вышло еще много книжекъ „Ясной Поляны“, и „Современникъ“ только убѣждается въ томъ, что было сказано прежде. Собственно говоря, мы не имѣли бы уже надобности заниматься ими еще разъ—самого гр. Толстого мы не надѣемся убѣдить, если онъ не намѣренъ слушать, но мы все-таки остановимся на „Ясной Полянѣ“: съ одной стороны она любопытна для насъ, какъ „знакъ времени“, — а мы можемъ теперь только наблюдать наше время, съ другой въ ней находятся такія обскурантныя вещи, которыя, можетъ быть, даже опасно оставить безъ нѣкотораго разъясненія въ настоящую минуту. Онѣ могутъ ввести въ заблужденіе довѣрчиваго читателя, и притомъ имъ данъ такой оборотъ... Какого же рода идеи проповѣдуетъ гр. Толстой, и какая школа можетъ считать его въ числѣ своихъ представителей. На это съ точностію отвѣчать трудно, потому что характеръ его понятій весьма самобытенъ; но многими

своими сторонами гр. Толстой очень близко подходит къ той школѣ національнаго и народнаго мистицизма, которая приобретаетъ такъ много новыхъ послѣдователей теперь между людьми перетрусившаго прогресса, и которая прежде называлась просто славянофильствомъ. Эта школа выросла изъ тѣхъ темныхъ предчувствій народности и народнаго интереса, которыя стали овладѣвать нашимъ развитіемъ особенно съ тридцатыхъ годовъ, но, къ сожалѣнію, и до сихъ поръ не могла опредѣлить своей идеи такъ ясно, чтобы ей могли сочувствовать люди съ прямыми и послѣдовательными понятіями. Этотъ мистицизмъ народности имѣетъ множество оттѣнковъ, начиная отъ незамысловатаго кваснаго патріотизма и ношенія національной (т.-е. кучерской) поддевки до туманной философіи Кирѣевскаго, до проповѣди о почвѣ и гибели западной цивилизаціи, до филиппикъ М. П. Погодина, до международныхъ понятій „Дня“ и, пожалуй, до художественно-поэтическихъ обличеній нигилизма. Эта школа обыкновенно на каждомъ второмъ словѣ говоритъ о народѣ, утверждаетъ, что русскій народъ не похожъ ни на какіе другіе народы, что въ немъ есть какія-то сверхъестественныя качества, пониманіе которыхъ доступно только для избранныхъ (т.-е. для школы), что его развитіе должно идти совершенно особенными путями, что западная, обыкновенная наука для него не годится. Вслѣдствіе этого, все, принятое нами отъ запада, со временъ Петра, есть ложь и не удовлетворяетъ широкой русской натуры; для успѣха чисто народнаго развитія мы должны обратиться вспять, къ народнымъ началамъ, изучить глубокія основы народнаго духа и т. п. Изъ всего этого составилаcя цѣлая доктрина школы, которая въ сущности до сихъ поръ ясна не больше философіи Кирѣевскаго и которой иногда роскошно пользуются люди, желающіе погеніальничать о глубинѣ народнаго духа. Кодексъ этихъ началъ до сихъ поръ не сведенъ еще ни въ какую ясную и удобопонятную систему. Въ немъ еще до настоящей минуты слышны слѣды того времени и тѣхъ понятій, когда русскій патріотъ питалъ убѣжденіе, что мы всѣхъ шапками закидаемъ и „что русскому здоро-

во, то нѣмцу смерть“; еще недавно въ числѣ убѣдительнѣйшихъ аргументовъ намъ приводили изъ этого кодекса, что у славянъ, на примѣръ, гораздо раньше, чѣмъ въ западной Европѣ былъ судъ присяжныхъ, что народъ склоненъ къ выборному началу, — что у насъ въ XVII столѣтіи были соборы, — что народу гораздо лучше учиться грамотѣ по псалтырю у раскольниковыхъ начетницъ, чѣмъ въ порядочной школѣ и т. п. Часто бываетъ также, что довольствуются и однѣми неопредѣленными фразами о томъ, что мы оторвались отъ почвы, но народность нашего образованнаго класса есть народность Евгенія Онѣгина и потому осуждена на бесплодное существованіе и т. п. Но положительно до сихъ поръ ни у кого не было смѣлости представить безъ оговорокъ эти вождѣлнныя начала народности, изъ которыхъ хотятъ сдѣлать непреложный законъ для мыслящаго современнаго человѣка, представить ихъ въ ихъ истинномъ видѣ и со всѣми ихъ послѣдствіями. Между тѣмъ они безпрестанно поминаются въ толкахъ объ общественныхъ движеніяхъ и реформахъ, народномъ образованіи и литературѣ. Гр. Толстой также врагъ всякаго нигилизма и также собирается защищать отъ чего-то народъ; „Современникъ“ не могъ, впрочемъ, понять хорошенько, отъ чего, потому что самъ гр. Толстой выражается объ этомъ неопредѣленно: сначала говоритъ, что народъ желаетъ образованія, потомъ, что онъ противодѣйствуетъ въ этомъ обществу и т. п. И у него народныя требованія играютъ важную роль: на ихъ основаніи онъ отвергаетъ петербургскія воскресныя школы (хотя онѣ совершенно добровольно посѣщаемы были сотнями этого молодого народа), гимназіи, университеты (которые, бывало, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ, также посѣщались сотнями постороннихъ слушателей). Все это узко, ограничено, уродливо, по мнѣнію гр. Толстого, потому что все это или устроено безъ вѣдома народа или на иностранные образцы, или основано на принужденіи и деспотизмѣ школы (на примѣръ, воскресная школа? или университетъ, посѣщаемый огромной массой посторонней публики?). Наконецъ, гр. Толстой явился самъ защит-

никомъ истинныхъ началъ воспитанія и предъявителемъ народныхъ преданій въ статьѣ „Воспитаніе и образованіе“ (Ясная Поляна“, іюль), на которой мы хотѣли бы остановиться. Существенная мысль гр. Толстого, сколько мы понимаемъ, состоитъ въ томъ, что нынѣшняя педагогія никуда не годится, потому что не даетъ воспитанію *свободы*, т.-е. что воспитываемый не имѣетъ въ нынѣшней школѣ и въ нынѣшней теоріи свободы выбора, что его постоянно подчиняютъ деспотизму школы,—и что вслѣдствіе того никуда не годится и высшее образованіе, потому что, напр., студентъ также подчиненъ профессорскому деспотизму, не принимающему въ расчетъ народныхъ потребностей и чело-вѣческой свободы. Отсюда неправильное и излишнее преподаваніе, разладъ между школой и жизнью, отдаленіе воспитываемаго отъ его среды, даже семейной, и непригодность университетскихъ студентовъ, способныхъ будто бы только на однѣ мнимо-либеральныя выходки и пусто-словіе...

Издатель „Ясной Поляны“ начинаетъ съ опредѣленія общихъ понятій. Онъ возстаетъ прежде всего противъ смѣшенія понятій „воспитаніе“ и „образованіе“; поражается тѣмъ, что нѣкоторые народы, напр., французы и англичане не имѣютъ даже слова, которое бы соотвѣтствовало понятію „образованія“, существующему у нѣмцевъ и у насъ. Вся бѣда заключается, по мнѣнію гр. Толстого въ томъ, что педагоги не отличаютъ этихъ двухъ совершенно различныхъ вещей; самъ онъ понимаетъ ихъ слѣдующимъ образомъ. Современная педагогія занимается только воспитаніемъ и смотритъ на воспитываемаго, какъ на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Подъ воспитаніе вообще подводятся три дѣйствія: 1) нравственное или насильственное вліяніе воспитателя,—образъ жизни, наказанія; 2) обученіе и преподаваніе и 3) руководство жизненными вліяніями на воспитываемаго. Воспитаніе, въ обыкновенной господствующей рутинѣ, является деспотизмомъ воспитателя противъ воспитываемаго: весь внѣшній міръ допускается къ вліянію на ученика только въ той степени, въ какой

находить это нужнымъ воспитатель; ученика отдѣляютъ отъ жизни непроницаемой стѣной и только черезъ школьно-воспитательную воронку пропускаютъ то, что считают полезнымъ. Вліянія жизни не признается. Такъ не должна дѣлать, по словамъ гр. Толстого, здравая педагогія. Предметомъ ея должно быть не воспитаніе, а *образование*. Дѣло въ томъ, что воспитаніе не можетъ предвидѣть и опредѣлить всѣхъ явленій жизни. Вліяніе жизни такъ сильно, что имъ большею частію уничтожается все вліяніе школьнаго воспитанія; но педагогъ, по словамъ графа Толстого, видитъ въ этомъ только недостаточность науки и искусства педагогики, и все-таки считаетъ своей задачей воспитаніе людей по извѣстному образцу школьными средствами, а не изученіе путей, посредствомъ которыхъ образуются люди, и не содѣйствіе этому образованію. „Образованіе въ обширномъ смыслѣ, по нашему убѣжденію, составляетъ совокупность всѣхъ тѣхъ вліяній, которыя развиваютъ человѣка, даютъ ему болѣе обширное міросозерцаніе, даютъ ему новыя свѣдѣнія. Дѣтскія игры, страданія, наказанія родителей, книги, работы, ученіе насильственное и свободное, искусства, науки, жизнь,—все образовываетъ“. Дальше гр. Толстой выражается все сильнѣе и сильнѣе. „Воспитаніе,—по его мнѣнію,—есть возведенное въ принципъ стремленіе къ нравственному деспотизму; воспитаніе есть, я не скажу, выраженіе дурной стороны человѣческой природы, но явленіе, доказывающее неразвитость человѣческой мысли и потому не могущее быть положеннымъ основаніемъ разумной человѣческой дѣятельности—науки... Я убѣжденъ, что воспитатель только потому можетъ съ такимъ жаромъ заниматься воспитаніемъ ребенка, что въ основѣ этого стремленія лежитъ зависть къ чистотѣ ребенка и желаніе сдѣлать его похожимъ на себя, т.-е. больше испорченнымъ.“ „*Права воспитанія не существуетъ*. Я не признаю его, какъ не признаетъ, не признавало и не будетъ признавать его все молодое воспитываемое поколѣніе, всегда и вездѣ возмущающееся противъ насилія воспитанія. Чѣмъ вы докажете это право? Я не знаю и не полагаю ничего, а вы полагаете

новое, для насъ не существующее право одного человѣка дѣлать изъ другихъ людей такихъ, какихъ ему хочется“... „Есть два отвѣта: или признать право за тѣмъ, къ кому мы ближе, или кого мы больше любимъ, или боямся, какъ это дѣлаетъ большинство (попъ я, то считаю семинарію лучше всего, военный я, то предпочитаю кадетскій корпусъ, студентъ, то признаю одни университеты. Такъ дѣлаемъ мы всѣ, только обставляя свои пристрастія болѣе или менѣе остроумными доводами и вовсе не замѣчая, что всѣ наши противники дѣлаютъ то же самое), — или ни за кѣмъ не признавать права воспитанія. Я избралъ этотъ послѣдній путь“. Вся эта тирада и ея продолженіе уснащены выходками такого самолюбія, такими ожесточенными филиппиками противъ педагогіи, противъ университетовъ (гр. Т. говоритъ всегда „ваши университеты“, — чьи это?), что было бы совершенно излишне останавливаться на этихъ словоизверженіяхъ, если бы не было въ нашей публикѣ довольно впечатлительныхъ людей, на которыхъ могутъ подѣйствовать эти вызывающія тирады: этимъ людямъ онѣ могутъ показаться дѣйствительно самой коренной постановкой вопроса и самымъ смѣлымъ вызовомъ старой рутинѣ. На дѣлѣ это всего чаще — незнаніе современной педагогической науки и та же вражда къ новымъ попыткамъ нашего общества, какая вообще свойственна нашей національно-мистической школѣ. Гр. Толстой, ставя свои вопросы, также утверждаетъ, что ихъ разрѣшеніе требуется для народа (мы имѣемъ основаніе думать, что народъ не поручалъ гр. Толстому заявлять его требованій). Та педагогія, — конечно нѣмецкая, — о которой такъ желчно и свысока говоритъ гр. Т., къ счастью, вовсе не такъ ограничена, какъ онъ старается ее представить, и вовсе не такъ склонна къ нравственному деспотизму. Гр. Толстой въ своихъ выводахъ имѣетъ обыкновеніе сослаться на какойнибудь отдѣльный примѣръ, — изъ котораго въ сущности ничего заключать нельзя, — и затѣмъ считаетъ дѣло рѣшеннымъ; для насъ эта метода нисколько не убѣдительна. Мы не знаемъ, о какой нѣмецкой педагогикѣ говоритъ гр. Т., которая будто бы и у себя проповѣ-

дустъ деспотизмъ школы, и къ намъ заноситъ тѣ же зло-
вредныя начала. Вѣроятно, гр. Т. попадалъ или на очень
плохія нѣмецкія книги, или на очень плохихъ нѣмецкихъ
учителей, — нѣхъ-то онъ и извѣстъ гевель въ „Ясной По-
лянѣ“. Онъ увѣряетъ, что сражается не съ мелочницами, а
съ настоящими врагами, т.-е. съ настоящей теоріей педа-
гогіи; но, судя по его возраженіямъ, мы въ этомъ сомнѣ-
ваемся. Дѣло въ томъ, что нѣмецкая педагогія вовсе не
есть что-нибудь законченное и порѣшенное; это наука, ко-
торая движется точно такъ же, какъ всякая другая наука, —
наука, имѣющая свои рѣшенные вопросы и нерѣшенные
задачи: но главное, это наука, которая болѣе, чѣмъ ка-
кая-нибудь другая, связана тѣсно съ настоящей жизнью и
въ числѣ своихъ представителей имѣетъ людей разныхъ
парцій, разной степени развитія, разныхъ политическихъ
понятій, и т. д. Въ этой наукѣ есть поэтому свои пере-
довые люди, которыхъ только и слѣдуетъ, разумѣется, имѣть
въ виду, если бы мы вздумали дѣлать общія ссылки на нѣ-
мецкую педагогію. Этого требовала бы научная добросо-
вѣстность. Графъ Толстой не говоритъ, на кого онъ ссылается.
Въ другомъ мѣстѣ его журнала мы нашли высочайшіе
отзывы о Песталоцци, которые также, по нашему мнѣнію,
не должны бы быть возможны у человѣка, желающаго серьезно
заниматься дѣломъ. Песталоцци — человѣкъ, скорѣе угады-
вавшій сердцемъ, чѣмъ открывавшій научными путями но-
вую дорогу воспитанія; человѣкъ, давшій только мысль для
дальнѣйшаго развитія и окончательно имѣющій теперь одно
историческое значеніе. Нападая и издѣваясь надъ нимъ,
гр. Толстой, къ сожалѣнію, дѣлаетъ двѣ великія вещи:
дѣлаетъ несправедливость имени человѣка, имѣвшаго важное
историческое значеніе, и ошибается, думая, что недостатки
Песталоцци относятся къ новой нѣмецкой педагогіи. Но
когда дѣло идетъ объ общихъ принципахъ воспитанія,
графъ Толстой, если онъ кончетъ обвинять педагогическую
теорію, обязанъ знать ее, и если бы онъ ее зналъ, — эту,
все еще развивающуюся теорію, — онъ поворнулъ бы о ней
иначе и осторожнѣе высказывая свои геніальныя обвине-

нія. Не лишнее было бы, напротивъ, помнить то, что есть нѣкоторая разница между *существующей* школой и теоретическими выводами педагогической науки. Существующая школа почти никогда не можетъ представлять собой той степени развитія, которой достигаетъ теорія педагогической науки. Школа существуетъ обыкновенно внѣ этой теоріи, т.-е. отстаетъ отъ нея; у школы всегда бываетъ своя историческая традиція, т.-е. старый *парадокъ*, который держался въ ней прежде и который уступаетъ новому, выработанному теоріей, порядку только мало-по-малу. Брать примѣръ школы въ ея statu quo за критеріумъ о томъ, до чего дошла человѣческая мысль въ теоріи педагогической науки,—это промахъ самаго элементарнаго свойства, и такіе промахи гр. Толстой совершаетъ безбожновенно на каждомъ шагѣ. Въ понятіяхъ графа Г. путаются и плохая русская или нѣмецкая книжонка, которая ему случайно попала, и плохой школьный учитель, котораго ему случилось найти гдѣ-нибудь въ Берлинѣ или Люцернѣ, — и у него уже готовы восклицанія о деспотизмѣ школы, объ извращеніи воспитанія, о порчѣ человѣческаго рода, и т. д.; а главное, онъ рѣшаетъ, что здравыхъ понятій о педагогикѣ ни у кого нѣтъ и что самая теорія никуда не годится. Что на свѣтѣ до сихъ поръ очень много плохихъ школъ, въ этомъ нѣтъ, конечно, никакого сомнѣнія, быть можетъ, отъ этого происходитъ и порча человѣческаго рода, но мы думаемъ прежде всего, что въ этомъ слѣдуетъ все-таки обвинять не однихъ школьныхъ учителей, а вмѣстѣ и самый человѣческій родъ; вѣдь, не составляютъ же школьные учителя особенной породы въ человѣчествѣ. Говоря ближе, быть можетъ, не составляетъ ли дурное положеніе школы одного слѣдствія другихъ, болѣе важныхъ явленій,—дурного положенія самого общества; неудовлетворительность школьнаго образованія и въ настоящемъ—не есть ли слѣдствіе общаго недостатка образованія развитія въ обществѣ? Все же уровень нѣмецкихъ и англійскихъ школъ,—хоть можетъ быть они также извращены, по мнѣнію гр. Толстого,—выше уровня нашихъ отечественныхъ школъ? Гр. Толстой не

обращаетъ вниманія на эти постороннія обстоятельства. Онъ все сваливаетъ на школу, какъ будто бы школа была въ жизни народа особой властью, а не результатомъ всей массы народныхъ понятій. Если его дѣйствительно занимаетъ вопросъ школы, то пусть онъ займется этимъ общественнымъ положеніемъ школы; быть можетъ, онъ нѣсколько яснѣе уразумѣетъ ея настоящій характеръ, ея условія и то, чего отъ нея можно требовать. Это обстоятельство объяснила бы или, по крайней мѣрѣ, указала бы ему любая нѣмецкая книга о значеніи школы, или объ исторіи воспитанія. Школа всегда была второстепеннымъ и подчиненнымъ отправленіемъ народной жизни; она всегда и вездѣ была въ зависимости отъ цѣлаго характера жизни: политическое устройство страны, ея религія, ея общественныя отношенія имѣютъ самое непосредственное вліяніе на школу. Это вліяніе ближайшимъ образомъ обнаруживается въ прямомъ вмѣшательствѣ въ дѣло воспитанія со стороны правительства, духовенства, общества, въ прямомъ назначеніи школьной программы и требованій и т. д. Теорія бываетъ обыкновенно безсильна противъ всѣхъ этихъ вмѣшательствъ; какъ бы ни были ясны и разумны ея требованія, теорія или теоретикъ не имѣютъ правительственной власти, чтобы дать реальную силу своимъ выводамъ. Между *существующей* школой и послѣднимъ словомъ *теоріи* всегда поэтому бываетъ то же самое разногласіе, какое есть между теоретическими выводами экономической или политической науки о разумномъ устройствѣ общества и его дѣйствительнымъ устройствомъ. Такимъ образомъ, если гр. Толстой хочетъ говорить о принципахъ воспитанія въ ихъ широкомъ, идеальномъ смыслѣ, съ его стороны очень странно, предъявляя свои новыя требованія, нападать на эту существующую школу и считать ее послѣднимъ словомъ науки. Къ счастью, эта наука не страдаетъ тѣми гнетущими недостатками, которыхъ такъ много представляетъ дѣйствительность современной школы; наука въ своихъ лучшихъ представителяхъ отказалась уже отъ множества предразсудковъ, которые по старой памяти господствуютъ до сихъ поръ не только въ кругу школьной

жизни, но и въ цѣлой жизни общества. Вы предъявляете запросы о самыхъ коренныхъ основаніяхъ педагогической дѣятельности, вы сомнѣваетесь и потому положительно отвергаете чье бы то ни было право воспитывать другого человѣка; вы требуете полной свободы человѣческой личности, — потому что вы возмущены настоящимъ порядкомъ школы и воспитанія. Прекрасно! не требуйте отвѣта отъ этой же самой школы; если васъ занимаетъ этотъ отвлеченный вопросъ о правѣ человѣческой личности и правѣ воспитанія, вы и обращайтесь съ своими запросами туда, гдѣ вы можете получить отвѣтъ болѣе удовлетворительный. Не думайте, чтобы этотъ вопросъ не занималъ никого прежде васъ. Но ищите рѣшеній его не въ тѣхъ обыкновенныхъ теоретическихъ книгахъ, которыя пишутся только для домашняго обихода современной школы и составляютъ только сводъ тѣхъ основаній, которыя признаетъ существующая школа, т.-е. школа ограниченная упомянутыми выше вѣдѣтельными вѣдѣтельствами. Есть педагогическія теоріи и книги, которыя пишутся въ видѣ руководства для современнаго положенія школы, точно такъ же, какъ пишутся ариѳметики, географіи и т. п.; и есть другія книги, которыя, не стѣсняясь вовсе этимъ положеніемъ, стараются найти иныя, болѣе разумныя основанія для воспитанія человѣка. Это книги не всегда чисто педагогическія: такъ какъ всѣмъ понятно, что школа не составляетъ въ жизни общества и народа какого-нибудь особеннаго и независимаго дѣятеля, то вопросъ о школѣ переходитъ въ болѣе обширные вопросы, — о человѣческой личности, о законахъ общественной жизни, объ экономическомъ бытѣ, о законахъ цивилизаціи и общественнаго образованія и т. д. Педагогическая наука очевидно вовсе не есть какая-нибудь независимая наука; если сама школа подчиняется вліянію основныхъ условій жизни, то и педагогическая теорія неразрывно связана съ основными выводами о человѣческомъ обществѣ и человѣкѣ. Это наука чисто прикладная, какъ прикладная математика: ея существенная теоретическая основа лежитъ въ фізіологіи и психологіи, наукахъ политическихъ и экономическихъ; въ

последнихъ выводовъ этихъ наукъ и заключаются послѣдніе выводы современной теоретической педагогики. Въ нихъ гр. Толстой и можетъ, если захочетъ, найти тѣ понятія о правахъ человѣческой личности и основахъ воспитанія, до которыхъ дошла современная мысль. Эти понятія не такъ узки, какъ онъ предполагаетъ; и для того, чтобы онъ получилъ право говорить тѣмъ судьи объ этихъ вещахъ, нужно, напр., прочесть между прочимъ тѣхъ самыхъ Бокля, Льюиса, Молешотта, имена которыхъ гр. Толстой называетъ въ своей статьѣ съ каинь-то недоброжелательствомъ, истинно насъ удивляющимъ. Откуда эта вражда къ Боклю и Молешотту? Если для гр. Толстого такъ дороги права человѣческой личности, его должны бы были интересовать выводы науки, объясняющей ту же человѣческую личность; если его занимаетъ такой радикальный вопросъ воспитанія, какъ абсолютное право человѣческой личности, мы вправѣ требовать отъ него, чтобы его основанія были научны: иначе для людей серьезныхъ его толкованія останутся совершенно незамысловатыми, какъ чисто личная фантазія. Кому могутъ быть интересны ваши умозаключенія, подкрѣпленные только личнымъ вашимъ капризомъ, если есть выводы фیزیологій, антропологій, исторій, подкрѣпленные строгими научными фактами?

Гр. Толстого пугаетъ мысль, что право воспитанія нарушаетъ свободную личность воспитываемаго и навязываетъ этой личности недостатки старато поколѣнія? Чего же онъ хочетъ? Намъ кажется, что онъ хочетъ для молодого поколѣнія совершенной свободы развитія, при которой бы оно само опредѣляло свои потребности и свои будущіе пути, а главное, онъ хочетъ, чтобы не было такой деспотической школы, какая теперь извращаетъ будто бы порядокъ развитія. Но сколько ни уничтожайте эту школу, сколько ни предоставляйте свободы молодой личности, — ея внутреннія средства еще такъ слабы, а вліяніе окружающей среды бываетъ такъ сильно, что личность опять очутится въ той же рутинѣ испорченной жизни, въ какую она попадала до сихъ поръ. Вы избавите ее только отъ одного деспотизма —

школьного, но остается тотъ же деспотизмъ семьи, деспотизмъ невѣжества, предрассудковъ, извращенныхъ нравственныхъ понятій и т. д., и т. д., отъ чего теперь извѣствуетъ отчасти школа. Она все-таки приноситъ свою пользу... Представьте себѣ воспитаніе, совершенно свободное отъ школьнаго деспотизма, все представленное только самой личности (взвр., оставленнаго безъ надзора деревенскаго мальчика) или той средѣ, влияние которой вы признаете законнымъ,—какіе результаты выходить изъ этого воспитанія? Вамъ извѣстно, вѣроятно, это воспитаніе, которое до сихъ поръ было всего больше нашимъ національнымъ воспитаніемъ. Много ли сдѣлала сама природа въ этомъ свободномъ развитіи личности, и можно ли такъ зло шутить надъ „свободнымъ“ развитіемъ? Но вы скажете, что здѣсь не было никакого обученія, личность не могла записать свидѣніями (конечно, по собственному выбору и желанію). Какія же свидѣнія нужны для этой личности? Очевидно, что тѣ элементарныя свидѣнія, какъ грамота, письмо и т. д., не могутъ особенно подвинуть свободное развитіе; высшая наука,—но вы ее не одобряете. Судя по вашимъ высокоумнымъ отзывамъ, вы думаете, что и она сбилась съ пути... Люди здравомыслящіе думаютъ иначе. Они вполне признаютъ свободу человѣческой личности, но только съ другой стороны. Эта свобода заключается, по ихъ мнѣнію, въ возможности развитія всѣхъ физическихъ и моральныхъ данныхъ, которыми человекъ имѣетъ отъ природы. Эта свобода развитія не достигается предоставленіемъ ребенка самому себѣ или случайностямъ окружающей среды, потому что, во-первыхъ, онъ нуждается въ руководствѣ и помощи, во-вторыхъ, потому что для его свободы нужно освободить его отъ множества вредныхъ влияній этой среды—отъ старыхъ непригодныхъ предрассудковъ, невѣжества и проч. (мы не думаемъ, чтобы кто-нибудь—развѣ гр. Толстой—сталъ защищать ихъ абсолютную необходимость). Ребенокъ является въ жизнь безъ всей массы этихъ предрассудковъ разнаго рода, и они очевидно не составляютъ неизбѣжнаго свойства его человѣческой природы уже потому, что въ одномъ мѣ-

стѣ они бываютъ одни, въ другомъ другіе; слѣдовательно, если бы воспитаніе захотѣло сохранить свободу воспитываемой личности, оно прежде всего старалось бы сберечь ее отъ этихъ мѣстныхъ болѣзней, и не забивало голову ребенка съ самаго начала вещами, принятыми насильно или на вѣру отъ другихъ людей, которые не могутъ ихъ доказать. Основаніемъ воспитанія остается слѣдовательно только физическая и психологическая природа человѣка; дѣломъ воспитанія будетъ развитіе этой природы, и чтобы оно осталось чисто и свободно, въ немъ не должны имѣть мѣста тѣ предвзятія понятія, которыя завѣщаны старымъ и новымъ невѣжествомъ, лишенными смысла традиціями и т. д.; деспотизмъ школы будетъ при этомъ такъ же неумѣстенъ, какъ деспотизмъ семьи, деспотизмъ касты, обычая и т. д. Средства для этого развитія очевидно могутъ быть выбраны только такія, которыя свободны отъ человѣческаго каприза и произвола, которыя не стѣсняютъ человѣческой личности и могутъ быть приняты ею совершенно свободно и даже необходимо. Это средство — чистое знаніе, чистая наука, дѣйствующая на внутреннюю природу человѣка однимъ сноснымъ, разумнымъ и необходимымъ для нея насиліемъ и деспотизмомъ, — деспотизмомъ логики. Это средство остается единственнымъ законнымъ средствомъ воспитанія, и потребность въ немъ высказывается съ первыхъ шаговъ самостоятельной мысли ребенка. Такимъ образомъ, право воспитанія выходитъ непосредственно изъ самой природы воспитываемаго, и вопросъ человѣческой свободы, которой гр. Толстой хочетъ достигнуть отрицаніемъ права воспитанія, сводится только къ качеству передаваемого знанія, къ тому, что будетъ передаваться, а не кто будетъ передавать. Что именно нужно передавать, мы уже говорили: если со стороны ребенка является вопросъ (какъ это и бываетъ на дѣлѣ), то этимъ самымъ уже и начинается право воспитанія со стороны того, кто будетъ отвѣчать ему. Дѣло состоитъ только въ томъ, какъ онъ будетъ отвѣчать ребенку, вѣрно ли онъ воспользуется своимъ правомъ, останется ли въ границахъ его. Онъ воспользуется этимъ правомъ невѣрно,

если на вопросъ будетъ отвѣчать какой-нибудь старой негѣпостью, или, когда воспитанникъ имѣетъ уже способность понимать серіозныя вещи, будетъ отвѣчать ему обманомъ, лицемеріемъ или выдумкой невѣжества. Матеріаль для правильного отвѣта, или другими словами, возможность для правильного пользованія правомъ воспитанія, дается только знаніемъ. Порядокъ школы долженъ быть порядкомъ сообщенія знанія; постепенность его опредѣляется постепенностью развитія самого воспитываемаго. Знаніе есть существенное орудіе воспитанія, и сообщеніе его есть единственный путь человѣческаго образованія; мы сильны теперь только тѣмъ, что было сдѣлано въ знаніи до насъ, и точно также должны передать запасъ его слѣдующимъ поколѣніямъ. Если мы посредствомъ знанія освободились отъ деспотизма множества ложныхъ понятій, господствовавшихъ прежде, то и новыя поколѣнія должны владѣть тѣмъ же средствомъ, чтобы сохранить непосредственную простоту физической и нравственной человѣческой природы и достигнуть ея свободнаго отъ всѣхъ постороннихъ примѣсей развитія. Въ этомъ собственно и заключается весь такъ называемый историческій ходъ человѣческой цивилизаціи. Очевидно, что средство оберегать свободу человѣческой личности полнымъ отрицаніемъ права воспитанія, какъ это придумалъ гр. Толстой, — есть средство весьма аляповатое. Итакъ, онъ положилъ отрицать право воспитанія, добиваясь, во что бы то ни стало, полной свободы воспитываемой человѣческой личности. Мы уже говорили, что, споря противъ него, имѣли собственно въ виду довѣрчивыхъ читателей, которыхъ могла бы соблазнить смѣлость затѣи; мы не хотѣли переубѣждать самого издателя „Ясной Поляны“ и опровергать его минимую систему, потому что черезъ нѣсколько же строкъ онъ начинаетъ совершенно противорѣчить себѣ, и опять такъ, что мы все-таки не можемъ съ нимъ согласиться. Отказавшись рѣшительно признавать за кѣмъ бы то ни было право воспитанія, г. Толстой признаетъ его опять за всѣми. Вотъ его слова: „Если существуетъ вѣками такое *ненормальное* явленіе, какъ наше въ образованіи—воспитаніе, то причины этого явленія

должны корениться въ человѣческой природѣ. Причины эти я вижу: 1) въ семействѣ; 2) въ религіи; 3) въ государствахъ и 4) въ обществѣ (въ тѣсномъ смыслѣ, — у насъ въ кругу чиновниковъ и дворянства). Первая причина состоитъ въ томъ, что отецъ и мать, какиѣ бы они ни были, желаютъ сдѣлать своихъ дѣтей такими же, какъ они сами, или, по крайней мѣрѣ, такими, какими-бъ они желали быть сами. Стремленіе это такъ естественно, что нельзя возмущаться противъ него. До тѣхъ поръ, пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждаго родителя, нельзя требовать ничего другого. Кромѣ того, родители болѣе всякаго другого будутъ зависѣть отъ того, чѣмъ сдѣлается ихъ сынъ, такъ что стремленіе въ воспитать его по-своему можетъ назваться если не справедливымъ, то естественнымъ. Вторая причина, порождающая явленіе воспитанія, есть религія. Какъ скоро человекъ — магомеданинъ, жидъ или христіанинъ — твердо вѣритъ, что человекъ, не признающій его ученія, не можетъ быть спасенъ и губить свою душу навѣки, онъ не можетъ не желать, чтобы можно, обратитъ и воспитать ребенка въ своемъ ученіи. Повторяю еще разъ: религія есть *единственное, законное и разумное основаніе воспитанія* (мы увидимъ сейчасъ же, что не единственное). Третья и самая существенная причина воспитанія заключается въ потребности правительствъ воспитать такихъ людей, какіе имъ нужны для извѣстныхъ цѣлей. На основаніи этой потребности основываются кадетскіе корпуса, училища правовѣдѣнія, инженерныя и другія школы. Если бы не было слугъ правительству, не было бы правительства; если бы не было правительства, не было бы государства. Стало-быть, и эта причина имѣетъ *неоспоримыя оправданія*. Четвертая причина, наконецъ, лежитъ въ потребности общества, того общества въ тѣсномъ смыслѣ, которое у насъ представляется дворянствомъ, чиновничествомъ и отчасти купечествомъ. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники". Это невѣроятно, но мы выписали тираду гр. Толстого буква въ букву. Читатель можетъ уже видѣть изъ этихъ строкъ, какой силы эта *нѣмая система*

гр. Толстого, и стоит ли спорить противъ немъ серьезнымъ образомъ. Тотъ самый мыслитель, который сейчасъ только отвергнулъ всевозможныя права воспитанія, прениравъ за свободу человѣческой личности, предавалъ проклазіямъ господствующій порядонокъ школы, теперь, черезъ нѣсколько строкъ, утверждаетъ, что всѣ эти школы (съ однимъ исключеніемъ) имѣютъ разумныя, законныя и неоспоримыя права. Какъ понять это? Мы, по крайней мѣрѣ, отказываемся понимать эти фокусы логики гр. Толстого. Если онъ признаетъ право воспитанія за семьей, религіей и государствомъ, въ чемъ же онъ бился доказывать невозможность этого права? Право семьи онъ признаетъ еще условно, зато право церкви и государства не подлежитъ для него никакому сомнѣнію, а изъ этихъ двухъ источниковъ онъ можетъ, если захочетъ, вывести существованіе всѣхъ тѣхъ нисколько и нисъ порядковъ, которыя возбуждаютъ его ожесточеніе, — вывести правильно, со всѣмъ ихъ насиліемъ и деспотизмомъ, формировавшимъ людей на свой ладъ, нарушеніемъ свободной личности, называваніемъ фальшивыхъ понятій, словомъ совѣщаятъ, противъ чего онъ выступаетъ съ такой назойливостію. Если онъ захочетъ и сможетъ составить эти вещи въ форму логической мысли, онъ долженъ принять или то, или другое; онъ долженъ, по его собственному мнѣнію, или отвергать право воспитанія и не дѣлать исключенія ни для кого, или признать его за всѣми, у кого есть охота, и прекратить свои филиппики, когда онъ не умѣетъ ихъ связать...“ (Далѣе идетъ опроверженіе нападокъ Толстого на университетское и гимназическое образованіе).

„Кромѣ всѣхъ тѣхъ резоновъ, которые приводилъ гр. Толстой противъ университетовъ, у него есть еще одинъ; это внѣшнѣе и вѣстѣ основаніе его взгляда. „Я не предвидѣлъ, говорить онъ, одного возраженія или источника возраженій, естественно представляющагося у большинства моихъ читателей: почему то же самое высшее образованіе, которое оказывается столь плодотворнымъ въ Европѣ, было бы неприменимо у насъ? Европейскія общества образованнѣе русскаго общества, почему и русскому обществу г

итти тѣмъ же путемъ, которымъ шли европейскіе народы? Возраженіе это было бы неопровержимо, если бы было доказано, во-первыхъ, что тотъ путь, по которому шли европейскіе народы, есть наилучшій путь; во-вторыхъ, что все человѣчество идетъ одинаковымъ путемъ, и въ-третьихъ, что образованіе наше прививается народу. Весь востокъ образовывался и образовывается совершенно иными путями, чѣмъ европейское человѣчество. Если бы было доказано, что молодое животное—волкъ или собака воспитаны мясомъ и доведены этимъ путемъ до полного развитія, развѣ я имѣлъ бы право заключить, что воспитывая молодую лошадь или зайца, я не могу довести ихъ до полного развитія иначе, какъ посредствомъ мяса? Развѣ изъ этихъ противоположныхъ опытовъ я бы могъ заключить, наконецъ, что воспитывая молодого медвѣдя, ему необходимо либо мясо, либо овесъ? Опытъ бы показалъ мнѣ, что для него необходимо и то и другое. Организмъ русскаго народа не ассимилируетъ европейскаго образованія, а вмѣстѣ съ тѣмъ должна быть другая пища, поддерживающая его организмъ, потому что онъ живетъ. Эта пища кажется намъ не пищею, какъ трава для хищнаго животнаго, а между тѣмъ исторически-физиологическій процессъ совершается и эта непризнаваемая нами пища ассимилируется организмомъ народа и огромное животное крѣпнеть и вырастаетъ“. Здѣсь графъ Толстой въ первый разъ высказывается вполне, какъ философъ той школы національнаго мистицизма, о которой мы говорили въ началѣ статьи. Это тѣ самыя разсужденія о неразгаданныхъ свойствахъ русскаго народа, о томъ, что онъ не похожъ ни на какіе европейскіе народы и т. д. Графъ Толстой, можетъ быть, сказалъ даже слишкомъ много, чего бы не сказалъ, вѣроятно, другой, болѣе осторожный послѣдователь школы. Мы не полагаемъ, чтобы выставленный имъ контрастъ между Западомъ и Востокомъ былъ особенно авантенъ для его соотечественниковъ. Мы имѣли слабость думать, что русскій народъ принадлежитъ къ тому же индо-европейскому племени, какъ и всѣ остальные европейскіе народы, развившіе такъ называемую европейскую цивилизацію. Мы по-

загнали, что если онъ и не имѣлъ такихъ выгодныхъ условій, или не обладалъ такой сосредоточенностью нравственныхъ силъ, какъ другіе, то во всякомъ случаѣ основныя черты его физическаго и нравственнаго организма тѣ же самыя, что вслѣдствіе того онъ способенъ къ тому же культурному развитію, какое выпало на долю его индо-европейскихъ собратьевъ. Мы полагали также, что есть огромная разница въ этомъ отношеніи между Западомъ и Востокомъ,—но мы никогда не думали, что русскихъ слѣдуетъ поставить въ одну категорію съ турками, татарами, калмыками и т. д. А между тѣмъ по иносказанію о волкѣ, зайцѣ и медвѣдѣ слѣдуетъ именно такъ. Графъ Толстой положительно утверждаетъ, что европейское образованіе не ассимилируется русскимъ организмомъ и что онъ развивается по какимъ-то другимъ законамъ и воспитывается на какой-то другой пищѣ. Какіе эти законы и какая эта пища, гр. Толстой, конечно, не объясняетъ, какъ это случается постоянно съ нашими натуръ-философами народности. Мы думаемъ, что этихъ особенныхъ законовъ и не существуетъ, а существуютъ только извѣстныя видовзмѣненія въ примѣненіи общаго закона правильного человѣческаго развитія, какъ оно совершается у народовъ европейскаго свойства и европейской культуры. Будь русскій народъ — народомъ восточной культуры, онъ отличался бы свойственной востоку неподвижностью, преобладаніемъ фантастики, меньшей степенью разсудочности и другими извѣстными особенностями восточныхъ формъ жизни, правленія, общественнаго устройства, мисіологій, — которыхъ у насъ нѣтъ, или, если бы они и оказались иной разъ какимъ-нибудь образомъ, русскій характеръ не хотѣлъ подчиняться имъ и тѣмъ самымъ обнаруживаетъ свою антипатію въ этомъ Востоку. Съ другой стороны, явленія западной культуры прививаются довольно сильно и притомъ вовсе не насильственно, какъ утверждаютъ мистики другого отѣнка. Что европейское образованіе сначала привилось къ высшимъ классамъ общества, это совершенно естественно; что вслѣдъ за тѣмъ образованіе стало переходить и къ среднему классу и находило даже много адептовъ и въ на-

родъ, это извѣстно исторически и не подлежит никакому сомнѣнію. Этотъ ходъ развитія весьма понятенъ и не имѣетъ въ себѣ ничего загадочнаго; при выношеніи его происходили, конечно, столкновения съ той массой, которая оставалась еще въ своей старой перѣ, но эти столкновения неизбежны и бывали вездѣ, гдѣ рядъ новыхъ идей, примененныхъ культурой, встрѣчается со старыми традиціями и понятіями, которыхъ народъ гдѣ бы то ни было — всегда держится крайне упрямо, потому что не знаетъ другого порядка идей и свои традиціи считаетъ единственно разумными. То средство, которое было существеннымъ двигателемъ европейской культуры, знаніе, свободное отъ всякой фантастики, сильное научнымъ изслѣдованіемъ и здравымъ смысломъ, — не имѣетъ въ себѣ ничего антипатичнаго русской природѣ и со временемъ окажетъ намъ безъ сомнѣнія тѣ же услуги, каки онъ уже оказывало западной Европѣ, избавивши ее отъ множества нравственныхъ пугалъ, смущавшихъ неопытное воображеніе. Люди стараго вѣка и стараго порядка вездѣ стараются охранять эти пугала, подъ защитой которыхъ такъ весело живетъ старому обскурантизму и старой несправедливости: когда здравый смыслъ и знаніе разоблачаютъ эти пугала, люди стараго вѣка всегда кричатъ объ оскорбленіи святости, о нарушеніи народныхъ началъ и отеческихъ преданій и т. п. Такова была всегда дорога, по которой приходилось идти всякой свѣжей мысли; ее всегда встрѣчали и провожали проклятіями люди, которымъ становилось неловко въ ея присутствіи. Ходить слухи, что „Ясная Поляна“ прекратила свое существованіе; не знаемъ, правда ли это, но „Ясная Поляна“ и при своемъ началѣ и въ концѣ производитъ на насъ одно впечатлѣніе, и „Современникъ“ остается совершенно при томъ же мнѣніи, какое онъ высказалъ объ этомъ изданіи съ самаго начала. Мы замѣтили бы теперь еще одно обстоятельство: люблинская книжка „Ясной Поляны“, о которой мы говорили, вышла послѣ 20-го сентября (этимъ числомъ помѣчено цензурное одобреніе), и пр. Толстому были, безъ сомнѣнія, извѣстны разные событія, происшедшія до этого времени въ русской

литературѣ. Онъ не обратилъ на это никакого вниманія: въ своихъ филиппикахъ онъ продолжалъ нападать на нѣкоторыхъ своихъ противниковъ, не имѣвшихъ возможности отвѣчать ему; онъ ставилъ ихъ имена въ сосѣдство весьма неполезное, которое, пожалуй, могло бы имѣть поводъ къ какому-нибудь соблазну у людей, мало знакомыхъ съ дѣломъ. Мы бы соображали ему больше гражданской ответственности.

Изъ „Современника“ за 1863 г.

* * *

*) По поводу предыдущей статьи въ журналѣ „Время“, издававшемся М. Достоевскимъ, появилась статья подъ заглавіемъ: „Сказаніе о дураковой птицѣ“ (по поводу распри „Современника“ съ „Ясной Полянкой“). Послѣ личной полемики съ „Современникомъ“, которою статья начинается, авторъ ея говорить:

Первыя страницы статьи „Наши толки о народномъ воспитаніи“ посвящены насмѣшкѣ, далеко впрочемъ не ядовитой, и глумленію надъ народнымъ элементомъ въ литературѣ. Здѣсь главное заключается въ томъ, что будто бы люди, имѣющіе въ виду народъ, постоянно стремящіеся къ соединенію съ нимъ и другихъ зовущіе къ сближенію, люди съ этой цѣлью изучающіе народъ и его стремленія, будто бы эти люди ничего народнаго не сказали, а представляются однимъ фразерствомъ, будто бы эти люди составляютъ одну „школу народнаго и національнаго мистицизма“. Отказавшись отъ философіи, „Современникъ“ забылъ надлежащее употребленіе словъ, и это не диво; гораздо страннѣе то, что онъ не понимаетъ, что во всемъ его краснорѣчіи только однѣ фразы и фразы, что онъ смѣшиваетъ самыя необходимыя вещи.

„Этотъ мистицизмъ народности имѣетъ множество оттѣнковъ, начиная отъ незамысловатаго квасного патріотизма и ношенія національной (т.-е. кучерской) поддевки до тулланной философіи Кирѣевскаго, до проповѣди о почтѣ и

*) „Время“ 1863 г., № 8. Статья подписана: *Идеалъ* (И. Г. Долгомостевъ).

гибели западной цивилизації, до филиппикъ М. П. Погодина, до международныхъ понятій „Дня“, и пожалуй до художественно-поэтическихъ обличеній нигилизма“.

Къ числу „оттѣнковъ“ этого мистицизма принадлежитъ, видите ли, и Толстой.

„Графъ („Современникъ“ *находитъ этотъ титулъ непременно нужнымъ*) Толстой также врагъ всякаго нигилизма и также собирается защищать отъ чего-то народъ; „Современникъ“ не могъ, впрочемъ, понять хорошенько (*вотъ изъ томъ-то и дѣло*) отъ чего, потому что самъ графъ Толстой выражается объ этомъ неопредѣленно: сначала говоритъ, что народъ желаетъ образованія, потомъ, что онъ противо-дѣйствуетъ въ этомъ обществу и т. п.“

Статья Толстого совершенно удобопонятна; Толстой какъ всегда, такъ и въ этой статьѣ („Воспитаніе и образованіе“, іюль „Ясной Поляны“ 1862), является дѣйствительно врагомъ всякаго *нигилизма*, т.-е. ничтожества, пустозвонства и тому подобныхъ современныхъ добродѣтелей, а собирается онъ защищать народъ отъ всякаго деспотизма, откуда бы тотъ ни шелъ. „Современникъ“, вѣроятно, такъ его и понималъ, но не сознается въ этомъ, потому что признаетъ деспотизмъ умѣстнымъ и законнымъ въ нѣкоторыхъ, конечно, особенныхъ случаяхъ, до объясненія которыхъ онъ еще не дочитался въ своихъ книжкахъ. Говоритъ объ этомъ Толстой совершенно ясно и опредѣленно, а только не полно, потому что защищать народъ отъ деспотизма семьи, религіи и правительства считаетъ ненужнымъ.

„Въ наукѣ и литературѣ встрѣчаются постоянно нападки на насиліе воспитанія семейнаго...встрѣчаются нападки на религіозное воспитаніе...встрѣчаются нападки на воспитаніе чиновниковъ, офицеровъ... Но на образованіе общественное не слышно нападокъ“ (Іюль, „Я. П.“, стр. 15).

На него-то и нападаетъ Толстой. Это вещи всѣмъ и каждому извѣстныя и которыя только „Современнику“ кажутся новыми, потому что онъ дальше своихъ любезныхъ книжекъ не пошелъ. Толстой сначала говоритъ, что на-

родъ жаждетъ образованія, и въ срединѣ и въ концѣ, а противодѣйствуетъ народъ обществу, по его мнѣнію, не „въ этомъ“, какъ говоритъ „Современникъ“, а „въ томъ“, что ему то отцы, то попы, то чиновники, то агитаторы навязываютъ воспитаніе, а образованія, въ которомъ онъ нуждается, никто не даетъ; что его душатъ иностранной цивилизаціей, тогда какъ у него *есть своя*; что его хотятъ водить на помочахъ, тогда какъ онъ самъ умѣетъ и стоять и ходить на собственныхъ ногахъ. Напрасно „Современникъ“ говоритъ, что Толстой во имя народа отвергаетъ воскресныя школы и университеты, которые (и тѣ, и другіе) „добровольно“ посѣщались сотнями слушателей: ничего подобнаго Толстой не говоритъ. Напротивъ, онъ видитъ въ этихъ фактахъ „добровольнаго“ посѣщенія то, что народъ жаждетъ образованія, что онъ безъ него жить не можетъ и непремѣнно, какъ свѣжаго воздуха, будетъ искать его, дай ему только волю. Отвергаетъ Толстой тѣ школы, тѣ университеты, которые не „добровольно“, а поневолѣ посѣщаются за неимѣніемъ лучшихъ. „Все это узко, ограничено, уродливо“, по мнѣнію графа Толстого, потому что все это дѣйствительно узко, такъ какъ голяку легче черезъ игольное ушко пролѣзть, чѣмъ въ университетъ попасть,—ограничено, такъ какъ тамъ и пріемъ студентовъ, и число предметовъ, и курсы наукъ, и пользованіе учебными нособіями, словомъ все ограничено,—уродливо, такъ какъ развивается тамъ все ненормально, неестественно, черезъ пень-колоду, а не „потому что все это или устроено безъ вѣдома народа (поймите, что Толстой изъза того и хлопочетъ, чтобы это не было устроено съ чьею-нибудь вѣдомой, а устроилось бы само собою), или на иностранные образцы (Толстой, напротивъ, въ насмѣшку называетъ мудрецами тѣхъ, кто устроилъ первый университетъ: и эти аматеры цивилизаціи вовсе не вникали въ сущность египетскихъ университетовъ да и теперь не вникаютъ; онъ, впрочемъ, и юечемъ, дѣйствительно съ презрѣніемъ относится къ тѣмъ и иностраннымъ университетамъ, которые устроены по силѣмъ нашимъ. „Университеты не только наши, но и во

всей Европѣ, какъ скоро не совершенно свободны, не имѣютъ другого основанія, какъ произволъ, и столь же уродливы, какъ мочастырскія школы“, июль, „Я. П.“, стр. 13—14) или основано на принужденіи и деспотизмѣ школы (вотъ это только и правда) (напримѣръ, воскресныя школы? или университетъ, посѣщаемый огромной массой посторонней публики?) замѣчаетъ „Современникъ“ въ скобкахъ. Да полно вамъ! Не противъ этого вопіетъ Толстой: развѣ не говоритъ онъ, что онъ не разъ защищалъ Костомаровскій проектъ университета? развѣ въ заключеніе не объясняетъ онъ, что все дѣло образованія должно вестись на манеръ публичныхъ лекцій? Онъ противъ любезныхъ вамъ экзаменовъ, матрикулъ, чиновныхъ привилегій и т. п. прелестей. Если онъ смѣется надъ воскресными школами, такъ онъ смѣется надъ ними въ другой статьѣ, и притомъ совершенно за дѣло: онъ смѣется надъ тѣмъ, что туда ходили поучать народъ люди безтолковые, увлекшіеся модой, и представляетъ примѣръ дѣйствительно смѣшной оригинальности, именно барыню, которая, рассказывая о посѣщеніи Авраама тремя странниками, кстати заговорила о желѣзныхъ дорогахъ. Такъ, вѣдь, это дѣйствительно забавная дичь и точно такъ же мало относится къ воскресной школѣ, какъ мало относился бы къ вашимъ любезнымъ книжкамъ смѣхъ надъ человѣкомъ, который, объясняя, положимъ хоть по Молепшотту, что въ мозгу есть сѣра и фосфоръ, заговорилъ бы кстати о производствѣ зажигательныхъ спичекъ. Не воскресныя школы бранить Толстой въ этой статьѣ, а неумѣлость барыни; точно также и говоря про университеты, не студентовъ бранить Толстой, а неумѣлость профессоровъ, неразвитость среды, въ которой обращаются студенты, нерациональность устава университетскаго (и стараго и новаго, вѣдь, всѣ эти уставы, по его мнѣнію, на одну стать) и т. д. Напрасно вы клеветаете, будто Толстой „съ сосредоточенной злобой нападаетъ на все, что есть у насъ свѣжаго, т.-е. на молодое поколѣніе; онъ никогда не думалъ нападать на него, напротивъ, всѣ его симпатіи на сторонѣ молодого поколѣнія, да и оно очень хорошо это знаетъ и

симпатизируетъ съ нимъ, что отчасти видно и изъ того, что окружающіе Толстого педагоги—исключительно молодые люди.

Вы говорите, что Толстой пишетъ такъ, что его и понять нельзя; вы его обзываете стародуромъ, обскурантомъ и т. п. Да „кто еси ты судай чуждему рабу?“ Ужъ не профессоръ ли вы полно, что такъ милы вамъ университеты?... Поймите же, что вы-то „новодуры“, не умѣющіе трехъ словъ связать, не укравши, не понадергавши ихъ изъ книжекъ, вы-то и есть „обскуранты“, не умѣющіе трехъ понятій связать, не жизненныхъ, куда вамъ, вы поди-ка и о существованіи такихъ не знаете, а не умѣющіе связать трехъ понятій, понадерганныхъ вами же изъ вашихъ же книжекъ. Вотъ хоть тутъ: изобрѣли вы какую-то „школу народнаго и національнаго мистицизма“ (что за бессмыслица, Создатель!) съ отгѣнками отъ кваснаго патріотизма и далѣе; вы забраковали буквально всѣхъ, имѣющихъ въ виду народность и національность. Кто же вы? космополиты? Да понимаете ли вы, что такое европейскій космополитъ? Понимаете ли вы, что космополитъ-нѣмецъ стремится всѣхъ сдѣлать нѣмцами, космополитъ-французъ стремится сдѣлать всѣхъ французами, космополитъ-англичанинъ стремится сдѣлать всѣхъ англичанами и т. д. и т. д. Вѣдь, это только одни ублюдки европейской цивилизаціи и татаро-византійскаго развитія стремятся изъ русскихъ сдѣлаться нерусскими. Знаете ли вы, что такое національность и народность? Знаете ли вы, что такое тѣ „общія причины“, которыя порождаютъ и развиваютъ народный духъ или (можетъ быть вамъ понятнѣе будетъ) народный геній? Знаете ли, какъ силенъ ими этотъ народный духъ? Нѣтъ? Такъ возьмите въ зубы вамъ же рекомендуемаго Бокля и раскусите хоть слѣдующія мѣста“... (Приводится нѣсколько выдержекъ изъ „Исторіи умственнаго развитія въ Испаніи“ Бокля).

„Выписавъ содержаніе первыхъ страницъ статьи Толстого „Воспитаніе и образованіе“, „Современникъ“ просто напросто начинаетъ ругать его, вмѣсто того, чтобы опровергать его мнѣнія, да къ этому еще прибавляетъ: мы-де этимъ бы

и покончили, да вотъ, глупый вы народъ, читатели, примете пожалуй его статью за постановку вопроса. Будьте увѣрены, гг. „Современникъ“ (умный вы народъ!), что это, какъ и слѣдуетъ, всѣ примутъ за рѣшеніе вопроса и только сдѣлаютъ въ немъ нѣкоторыя поправки. Вопросъ совершенно общій: имѣетъ ли право одинъ человѣкъ обдѣлать другого по образу и по подобию своему? и отвѣтъ понятенъ: нѣтъ; доказательство прямое, никто и ничто не даетъ ему этого права; доказательство отъ противнаго—никто не можетъ отнять тогда это право отъ всякаго, даже и отъ мошенника. Что же тутъ обскурантнаго? Кому же въ настоящее время ново возставать противъ права насилія въ воспитаніи?

Вы говорите, что у Толстого высказывается въ этой статьѣ „незнаніе современной педагогической науки и та же вражда къ новымъ попыткамъ нашего общества, какая вообще свойственна нашей національно-мистической школѣ“. Позвольте оговориться: здѣсь ничего подобнаго не высказывается. *Во-первыхъ*, Толстой своимъ положеніемъ не современную или довременную педагогическую науку отвергаетъ, а вообще всякую, которая имѣетъ въ виду насильно сдѣлать изъ человѣка то, что ей вздумается, даже болѣе: не науку только о воспитаніи онъ отвергаетъ, а самое воспитаніе. *Во-вторыхъ*, въ этомъ же отношеніи онъ становится въ оборонительное положеніе и къ обществу, и притомъ не къ одному только образованному обществу, а и къ массѣ народной: онъ точно такъ же говоритъ противъ совѣтовъ, даваемыхъ крестьянами, точно такъ же вооружается противъ предрасудковъ о воспитаніи, господствующихъ въ ихъ массѣ, какъ говоритъ и вооружается противъ совѣтовъ и предрасудковъ образованнаго общества. Съ первымъ положеніемъ о ненужности воспитанія мы не согласны, потому что этотъ вопросъ поставленъ неправильно: не въ томъ дѣло, нужно или не нужно воспитаніе, а въ томъ, что оно есть, что отъ него отбиться нельзя, что самъ Толстой, самъ того не замѣчая, воспитываетъ своихъ учениковъ и прекрасно воспитываетъ. Во второмъ случаѣ

мы совершенно согласны съ Толстымъ: мы тоже, какъ и онъ, возстаемъ противъ всякаго насилія въ воспитаніи, откуда бы оно ни шло, противъ всякаго вмѣшательства школы въ формировація вѣрованій, убѣжденій и характера учащихся. Не довольно либерально что ли это по вашему? Правда, Толстой никогда не дойдетъ въ либерализмъ, на примѣръ, до почтеннаго г. Н. Щедрина (М. Е. Салтыкова), этого замѣчательнаго нигилиста de lendemain, но и то сказать — г. Щедринъ неофитъ и каждому понятна его ревность. Всякому свое. А теперь позвольте слушать васъ дальше.

Вамъ угодно было вступить за нѣмецкую педагогію, но какъ? Вы просто наговорили громкихъ, ни къ чему не ведущихъ фразъ, а именно, что педагогія наука незаконченная, что она въ связи съ обстоятельствами жизни общества, что въ ней есть свои ретрограды и верхогляды; извините, вы сказали „передовые люди“ и т. п., пожалѣли, что Толстой на книжки ни на какія не ссылается (а вы-то на основаніи какихъ книжекъ толкуете? Вѣдь, у васъ *ни одной* цитаты, ни одной нѣтъ), да тутъ же (вотъ кстати-то!) замѣтили, что Толстой о Песталоцци „высокомѣрно“ отозвался: „Песталоцци человѣкъ, скорѣе угадывавшій сердцемъ, чѣмъ открывавшій научными путями новую дорогу воспитанія; человѣкъ, давшій только мысль для дальнѣйшаго развитія и окончательно имѣющій теперь одно историческое значеніе“, говорите вы. Что за пустая фраза! Перечтите же, что сказалъ Толстой, и вы убѣдитесь, что онъ несравненно больше вашего знакомъ съ тѣмъ, о чемъ вы говорите зря, съ его же словъ (Августъ. Я. П., стр. 28): „Что же такое Песталоцци и знаменитая система, которой столько злоупотребляютъ въ наше время? Песталоцци никогда не былъ теоретикомъ, никогда не былъ философомъ и не оставилъ намъ никакой системы педагогіи. Когда я только начиналъ заниматься педагогіей, имя Песталоцци и ссылки на его мнимую теорію ввели меня въ то же заблужденіе, въ какое и теперь вводится большинство публики. Перечитавши все, что написалъ Песталоцци, и что объ немъ было написано, я убѣдился, что Песталоцци никогда

не былъ философомъ, не положилъ никакихъ новыхъ основаній въ такъ называемую науку воспитанія. Песталоцци вовсе не былъ философомъ какъ Руссо, Кантъ и Шеллингъ, онъ былъ только хорошій учитель. Если ужъ непременно отыскивать заслугу Песталоцци въ философіи педагогіи, то заслуга эта будетъ состоять въ дальнѣйшемъ развитіи и примѣненіи мысли Руссо—свободы и самостоятельности въ воспитаніи. Простая мысль эта, разбросанная по разнымъ мелкимъ сочиненіямъ, оставшимся отъ Песталоцци, состоитъ въ слѣдующемъ:

„Человѣкъ въ дѣйствительной жизни поучается не однимъ только словомъ, но и посредствомъ всѣхъ своихъ чувствъ. Въ старой же школѣ способъ поученія состоялъ только въ передачѣ слова, почему бы и въ школѣ не ввести способа передачи, дѣйствующаго на всѣ чувства ребенка?“

Скажите Бога ради, чѣмъ же это высокоумнѣе вашего отзыва? И неужели вы не понимаете, что мысль-то здѣсь совершенно та же, что у васъ, да только не пустыми фразами сказанная, а дѣльно? Дальше Толстой говоритъ: „мысль эта совершенно ложна и совершенно справедлива“ и разбираетъ, что въ ней ложнаго и что справедливаго, къ какой нелѣпости пришла нѣмецкая педагогія въ лицѣ Грубе и Фребеля (а вы говорите, что у него цитатъ нѣтъ), выйдя изъ этой простой и прекрасной мысли и т. д. Гдѣ же тутъ незнаніе педагогіи? Изъ чего же вы вывели, что Толстой не умѣетъ различить теоретической педагогіи отъ существующей школы? Знаетъ онъ это различіе и, какъ сейчасъ видѣли, знаетъ лучше васъ. Нигдѣ не говоритъ онъ, что здравыхъ понятій о педагогіи ни у кого нѣтъ. Онъ признаетъ философію педагогіи, о которой вы и понятія не имѣете; онъ знакомъ съ теоріями, о которыхъ вы и не слыхивали, онъ бывалъ въ разныхъ школахъ и хваленыхъ и хуленыхъ, тогда какъ вы со своей лежанки объ нихъ толкуете, да по воспоминаніямъ дѣтства; и все это привело его къ тому заключенію, что не теорія, а принципъ этой теоріи ложенъ, и потому, какъ бы она прекрасна ни была, она все же никуда не годится. Вы ему рекомендуете осмо-

трѣтся, опредѣлить причины дурного положенія школы. Да знаетъ онъ ихъ; неужели вы и этого то изъ его статьи не поняли? Вы ему за новостъ объявляете, что школы дурны вслѣдствіе дурного общественнаго положенія. Да скажите на милость, развѣ вся его статья не направлена къ тому, что наука въ школѣ должна быть устранена отъ всякаго посторонняго вліянія, что наука должна быть внѣ разныхъ вліяній, что эти вліянія губятъ школу, что эти вліянія — явленія ненормальныя для школы. Что нѣмецкія и англійскія школы также плохи, Толстой твердитъ на каждомъ шагу, и въ нихъ онъ видитъ вредъ всякаго посторонняго вліянія. „Онъ все сваливаетъ на школу“, говорите вы и клевете на него: ничего онъ на школу не сваливаетъ, онъ все сваливаетъ на постороннія вліянія, отъ которыхъ стремится освободить школу и на разные кундштуки, до которыхъ дошли, идя отъ той ложной мысли, что человѣка можно силою воспитать. Онъ объ этомъ-то именно и горюетъ, что „школа всегда была второстепеннымъ и подчиненнымъ отпращиваніемъ народной жизни“; онъ именно требуетъ самостоятельности школы и пусть въ нее идетъ только то, кто хочетъ, и пусть каждый, побывавшій въ ней, выноситъ только науку, только знаніе, а не новые предразсудки вмѣсто старыхъ, не современныя нецѣпности вмѣсто отжившихъ.

„Такимъ образомъ, если графъ Толстой хочетъ говорить о принципахъ воспитанія въ ихъ широкомъ, идеальномъ смыслѣ, съ его стороны очень странно, предъявляя свои новыя требованія, нападать на эту существующую школу и считать ее послѣднимъ словомъ науки“.

Да позвольте спросить, какъ вы читаете книги, которыя подвергаете критикѣ? Это, должно быть, вѣдь престранный какой-нибудь способъ у васъ придумать! Иначе какъ бы вы мудрили въ видѣть въ книгахъ совсѣмъ не то, что въ нихъ есть? Съ чего вы взяли, что Толстой хочетъ толковать о принципахъ воспитанія, когда онъ не признаетъ самого принципа воспитанія? Съ чего вы взяли, что онъ считаетъ существующія школы послѣднимъ словомъ науки? Онъ на

разбираемыхъ вами страницахъ говорилъ только одно: школа нелѣпа, если она сложилась подъ вліяніемъ постороннихъ обстоятельствъ и исправить ее при существованіи принциповъ воспитанія нельзя, потому что, принявъ этотъ принципъ, нельзя отвергать права воспитанія для однихъ, признавая его за другими,—это нелѣпость. Вы говорите, что есть книжки (вотъ онѣ наконецъ!), въ которыхъ можно почитать кое-что на этотъ счетъ, т.-е. о принципахъ воспитанія. Мы было обрадовались: думаемъ—вотъ-то, гдѣ, наконецъ, самая суть педагогическихъ принциповъ, вотъ-то познакоимся, наконецъ, мы съ послѣднимъ словомъ науки о воспитаніи; тутъ пожалуй и Р. Оуэнъ какъ слѣдуетъ объясненъ и разобранъ, а не такъ дико, какъ прежде когда-то объяснялъ и разбиралъ его „Современникъ“.

Какъ вдругъ, о ужасъ! опять тѣ же знаменитыя книжки, которыя уже не разъ предлагаемы были и прежде. Да послушайте, гг. „Современникъ“, читали ли вы сами эти книжки? Если читали, такъ вы ихъ не поняли, вы имъ не сочувствуете, вы ихъ вѣрно тѣмъ же невѣдомымъ способомъ, шиворотъ на выворотъ, читали, какъ читаете рецензуемыя вами книжки. Вѣдь, право, совѣстно за васъ... Развѣ можно дѣлать подобные прыжки? Повѣрите ли, читатель, — для ознакомленія съ послѣднимъ словомъ науки педагогиі „Современникъ“ рекомендуетъ... Бокля, Льюиса и Мошотта!... Да хоть бы гг. „Современникъ“ не рядомъ ставили эти имена! Какъ у васъ духу хватило поставить рядомъ съ именами Бокля и Льюиса имя г. д-ра Мошотта? Или, съ другой стороны, отчего уже вы не припрягли сюда и г. Бюхнера? Право, вы должно быть не читали сами подхва-ливаемыхъ вами книжекъ. Вѣдь, вотъ кто читалъ эти книжки, тотъ очень хорошо знаетъ, какая непроходимая бездна лежитъ между Миллемъ, Боклемъ, Льюисомъ, Дарвиномъ и др. съ одной стороны, и г. Фейербахами, Мошоттами, Мульдерами, Бюхнерами et tutti quanti съ другой. Кто ихъ изучалъ, тотъ очень хорошо знаетъ, что Милль, Бокль, Льюисъ, Дарвинъ и др. составляютъ совершенно новую школу, которая отвергаетъ цѣликомъ всю европейскую цивилизацію,

проповѣдываемую вами, всю, отъ узкаго католицизма до широколобаго („малѣйшаго ума пространная столица“) материализма; — которая одинаково ненавидитъ заурядъ всѣхъ рабовъ, — всѣхъ, отъ рабскихъ поклонниковъ Наполеона III до рабскихъ поклонниковъ социализма и коммунизма; — которая проповѣдуетъ обособленіе частныхъ и приведеніе этихъ частныхъ въ гармоническое соотношеніе между собою и съ общимъ, что бы это за частности и что бы это за общее ни было, — люди и государство (Милль), люди и цивилизація (Бокль), органическія клѣточки и организмъ (Льюисъ), животныя особи и животное царство (Дарвинъ) и т. п. школа, которая, наконецъ, представляетъ явленіе, до того органически вышедшее изъ отживающаго европейскаго міра, что къ ней принадлежать, какъ Рихардъ Вагнеръ, стремящійся индивидуализовать каждый инструментъ въ оркестрѣ, люди, не имѣющіе, быть можетъ, и понятія о ея существованіи. Эта школа признаетъ только одну власть — власть факта и несокрушимой логики, и ей нужны нѣтъ куда бы ни привели ее строгіе логическіе выводы. Вы знаете, что часто слышатся споры о душѣ, споры, по нашему мнѣнію, столь же безплодные и бесполезные, бездоказательные и нескончаемые, какъ „древле“ были безплодны и бесполезны, бездоказательны и нескончаемы споры о томъ, была ли у Адама пуповина: дѣло не въ томъ, слѣдуетъ ли различать въ человѣкѣ душу и тѣло, а въ томъ, что человѣкъ есть, и что онъ не только ѣсть и пить хочетъ, а хочетъ еще свободно мыслить и дѣйствовать. Вы знаете, какъ различно понимаютъ при этомъ Льюиса тѣ идеалисты, для которыхъ непоколебимый авторитетъ чуть ли не въ папѣ, и тѣ материалисты, для которыхъ гг. Мошоттъ и Бюхнеръ служатъ столь же непоколебимыми авторитетами: одни считаютъ Льюиса своимъ единомышленникомъ, другіе с оимъ. И вотъ я воображаю себѣ, что было бы съ этими двумя людьми, если бы они порознь пришли къ Льюису“ ...

Далѣе на 9-ти страницахъ слѣдуютъ мысли и выдержки съ комментаріями автора изъ Льюиса и Мошотта. Затѣмъ и книга продолжаетъ:

„Какія же слѣдствія вытекаютъ изъ всего этого вмѣстѣ взятаго?

А вотъ какія: 1) воспитаніе въ смыслѣ измѣненія и образованія новыхъ убѣжденій и вѣрованій, въ смыслѣ измѣненія характера согласно волѣ воспитателя, т.-е. воспитаніе въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы его проповѣдуете, возможно только при одномъ условіи—*если за дѣйствіями и рѣчами, противными воспитателю, всегда слѣдуетъ наказаніе*, ибо въ противномъ случаѣ природныя способности и наклонности возьмутъ перевѣсъ, и воспитаніе окажется бесполезнымъ... Tu quoque, Brute! Да изъ-за чего же распинался покойный Добролюбовъ, препираясь съ Пироговымъ о розгахъ, если вы, ближайшіе его, и еще на свѣжей могилѣ, станете проповѣдовать наказаніе за ученье? 2) Но воспитаніе въ смыслѣ развитія и усовершенствованія существующихъ уже способностей, наклонностей, характера, даже вѣрованій и убѣжденій, не только возможно, а и необходимо. Толстой на словахъ совсѣмъ отвергаетъ воспитаніе; но на дѣлѣ онъ отвергаетъ только воспитаніе въ вашемъ смыслѣ, въ смыслѣ передѣлки человѣка на новый ладъ. Въ этомъ смыслѣ отвергаемъ воспитаніе и мы, и притомъ съ двухъ сторонъ: г. Страховъ говоритъ, что есть въ ребенкѣ живая душа, которую воспитаніемъ передѣлать нельзя, но развитіе и усовершенствовать можно: я же думаю, что въ ребенкѣ есть прирожденныя сочетанія нервныхъ узловъ, прирожденное и опредѣленное взаимодѣйствіе нервныхъ центровъ и этого передѣлать нельзя, а совершить и облегчить взаимодѣйствіе можно. Такимъ образомъ былъ бы съ нами согласенъ и Льюисъ, если бы только онъ заговорилъ о педагогикѣ, потому что онъ вполне убѣжденъ, что „умственные движенія человѣка могутъ совершаться только по старому пути“. Кто же ближе къ Льюису въ педагогическомъ отношеніи: публицисты „Современника“ или Толстой? Конечно, Толстой, потому что онъ на практикѣ именно такъ и ведетъ дѣло, какъ слѣдуетъ, а только, увлекшись ненавистью къ насилію въ воспитаніи, невѣрно понялъ подъ словомъ воспитаніе одно это насиліе.

Нужно ли вамъ еще разъ доказывать, что и Бокль не съ вами? Я думаю, что достаточно и представленныхъ мною выдержекъ изъ Бокля, чтобы убѣдиться въ этомъ...

Итакъ изъ указанныхъ вами авторовъ ни одинъ не согласенъ съ вашимъ взглядомъ на воспитаніе, и наоборотъ съ этими авторами очень легко дойти до убѣжденій Толстого. „Что же сей сонъ значить?“ говоря вашей любимой поговоркой. По моему, это не болѣе и не менѣе, какъ явное доказательство пребыванія вашего на „Дураковой плѣши“, мѣстность, честь открытія которой принадлежитъ бесспорно вамъ. Съ чего же вы такъ зро, „какъ съ дубу“, обрушились на Толстого? Вы говорите ему:

„Кому могутъ быть интересны ваши умозаключенія, подкрѣпленные только личнымъ вашимъ капризомъ, если есть выводы фیزیологіи, антропологіи, исторіи, подкрѣпленные строгими научными фактами?“

Вотъ это мило! Понятно ли вамъ хоть теперь-то, наконецъ, что если бы требованіе подкрѣплять педагогическіе выводы выводами изъ фیزیологіи, антропологіи и исторіи, было не личнымъ вашимъ капризомъ, а дѣйствительною потребностью (мы этого не признаемъ, потому что Толстой подкрѣпляетъ свои доводы совершенно достаточнымъ аргументомъ — трехлѣтнимъ опытомъ: вѣдь, онъ не болтунъ-айцо изъ среды „Современника“, а человѣкъ дѣла), то Толстой, говоря противъ насильнаго воспитанія, могъ бы подтвердить, что оно не плодотворно — цитатами изъ Молешотта; что оно незаконно, какъ незаконно всякое насиліе природы, — цитатами изъ Льюиса; что оно невозможно въ смыслѣ непримѣнимости на практикѣ — цитатами изъ Бокля. Далѣе вы продолжаете:

„Вы избавите ее (*молодую личность*) только отъ одного деспотизма, школьнаго, но остается тотъ же деспотизмъ евѣжества, предрасудковъ, извращенныхъ нравственныхъ понятій и т. д., и т. д., отъ чего теперь избавляетъ отъ части (*но не весьма, прибавимъ мы отъ себя*) школа“.

Скажите на милость, да какъ же можетъ случиться, чтобы знаніе, чистое знаніе, безъ всякихъ „помѣсей“ тео-

ретическихъ, знаніе, переданное съ любовію и съ увлеченіемъ, какъ этого требуетъ Толстой, какъ же можетъ случиться, чтобы такое знаніе оставило ученика работъ невѣжества, предразсудковъ, извращенныхъ нравственныхъ понятій и т. д.? Нѣтъ, это невозможно нигдѣ, развѣ на Дураковой плѣши. Вы, читатель, думаете, что это самое нелѣпое изъ того, что сказалъ „Современникъ“ о Толстомъ? Нѣтъ-съ, погодите-съ, „что дальше въ лѣсъ, то больше дровъ“. „Современникъ“ предлагаетъ взять Толстому деревенскаго мальчика, воспитаннаго на свободѣ (sic).

„Какія же свѣдѣнія нужны для этой личности? *(читайте отчеты объ яснополянской школѣ и вы узнаете изъ нихъ о цѣломъ рядѣ свѣдѣній, потребованныхъ самими дѣтьми такого рода)*. Очевидно, что тѣ элементарныя свѣдѣнія, какъ грамота, письмо и т. д. не могутъ особенно подвинуть свободнаго развитія *(а по опыту Толстого видно, что могутъ, стоитъ только не подурочки обучать чтенію и письму)*; высшая наука, но вы ее не одобряете. Судя по вашимъ высокомернымъ отзывамъ, вы думаете, что и она сбилась съ пути...“

Вотъ хорошо! да гдѣ же это, когда, на какой страницѣ забракована Толстымъ наука, — ничего не извѣстно; а вотъ мы и цитатами доказали, что Толстой отвергаетъ только презрѣсть всякой теоріи, а науку, т.-е. чистое знаніе, признаетъ; но видно въ томъ-то и бѣда его, что онъ не „теоретикъ“. Далѣе „Современникъ“ представляетъ теорію воспитанія. Что за теорія... но позвольте намъ ее развобрать:

„Люди здравомыслящіе думаютъ иначе. Они вполне признаютъ свободу человѣческой личности, но только съ другой стороны“.

Неправда; люди здравомыслящіе признаютъ свободу не односторонне, а всесторонне; свобода, разсматриваемая съ какой-нибудь одной стороны, не удовлетворяетъ ихъ, напри- мѣръ: ни взятая отдѣльно свобода политическая (муниципальныя привилегіи и въ Испаніи были, да силыли), ни взятая отдѣльно свобода слова и печати (это тоже было)

непробовано въ Испаніи), ни взятая отдѣльно свобода отъ предразсудковъ (это тоже въ Испаніи: хотя не долго, но она была свободна отъ самыхъ закоренѣлыхъ предразсудковъ — входила въ сношенія съ невѣрными, вела съ ними торговлю, брала подати съ духовенства и т. п., что все было противно ея предразсудкамъ) и т. д.

„Эта свобода заключается, по ихъ мнѣнію, въ возможности развитія всѣхъ физическихъ и моральныхъ данныхъ, которыя человѣкъ имѣетъ отъ природы“.

Не говоря уже о нецѣлостности выраженія „моральныя данныя отъ природы“, мораль не природа, а напускное, условное, придуманное, — здѣсь подъ маской дешёвенькаго, пустенькаго либерализма скрыто красное ретроградство. Никто изъ здравомыслящихъ людей такъ узко не понимаетъ свободу, никто изъ уважающихъ свободу людей такъ вообще не выражается о ней. Свобода заключается не въ возможности развитія вообще: опять повторяемъ вмѣстѣ съ Боклемъ — Испанія не только имѣла возможность развитія, ее еще подгоняли на пути развитія, насильно навязывали ей развитіе, однакоже въ ней „идея свободы вымерла, если на самомъ дѣлѣ, въ настоящемъ своемъ значеніи она когда-нибудь существовала въ Испаніи“ (Бокль, стр. 197, февраль „Время“). Не въ возможности развитія вообще заключается свобода, а въ возможности развитія активнаго, т. е. въ полной самобытности: въ самоуправленіи, самодѣятельности, самостоятельности, и главное, въ *самоупованіи*: „ничто не могло остановить движенія англійской цивилизаціи“, говорятъ Бокль (тамъ же), „англичане убѣждены, что они обладаютъ въ самихъ себѣ тѣми источниками и той плодотворностью соображенія, посредствомъ которыхъ люди могутъ сдѣлаться великими, счастливыми и мудрыми“, и въ другомъ мѣстѣ, собственно о самоуправленіи и самоупованіи, (тѣ говоритъ: „безъ нихъ малѣйшій толчокъ становится глубокимъ. Въ Испаніи онѣ были неизвѣстны... Съ отсутствіемъ же самоуправления и самоупованія никогда нельзя достигнуть истинной идеи независимости“, безъ этихъ качествъ „испанскіе либералы должны были съ горечью вспо-

минать о тѣхъ дняхъ, когда они *тщетно* пытались надѣлать свободой свое несчастное отечество“ (тамъ же, стр. 188). А вы признаете пассивное, насильственное развитіе! Какъ у васъ духу хватаетъ такъ нагло ссылаться на Бокля?

„Эта свобода развитія не достигается предоставленіемъ ребенка самому себѣ или случайностямъ окружающей среды“.

Значитъ для этой свободы сызмальства человѣка въ плѣнь надо взять, не давать ему воли, уничтожить въ немъ способность наблюдать и обсуждать, отнять у него самый лучший способъ развитія, незамѣнимый никакими научными свѣдѣніями, собственный опытъ, и все это „потому что, во-первыхъ, онъ нуждается въ руководствѣ и помощи“.

Такъ то, такъ; да „стулья-то зачѣмъ же ломать“; руководствуйте, помогите, но не забирайте въ ежовыя рукавицы.

„Во-вторыхъ, потому, что для свободы нужно освободить его отъ множества вредныхъ вліяній этой среды (*да среда то эта въ немъ, поймите же, наконецъ*), ея старыхъ непригодныхъ предразсудковъ, невѣжества и проч.“

Вотъ этого и довольно, чтобы обратить всю вашу теорію въ наборъ фразъ. Какъ вы достигнете этого „освобожденія“? Тутъ только два пути: а) *или изолировать ребенка*; но тогда онъ не будетъ знать жизни и какъ только выйдетъ изъ вашей школы, такъ тотчасъ же, несмотря на свои знанія, срѣжется на первомъ шагу, подобно Базарову, только несравненно хуже, потому что не устоитъ въ своей теоріи: б) *или вы не вырвете его изъ среды*; но тогда зачѣмъ же помочи? Вы дайте ему просто знаніе и оставьте въ покоѣ его предразсудки и невѣжество: съ знаніемъ они уже никакъ не уживутся и исчезнутъ сами собою; между тѣмъ какъ истребляя въ немъ и то, и другое, и третье, вы дойдете до палки и розогъ, и что главное — убьете въ немъ самостоятельность, самоупованіе, самобытность.

„Ребенокъ является въ жизнь безъ всей массы этихъ предразсудковъ разнаго рода (*истина, извѣстная со временъ Ж. Ж. Руссо, самая ярая ея проповѣдника; но... „въ это истинъ, какъ жи-то много“*) и они очевидно не составляютъ неизбежнаго свойства его человѣческой природы“.

уже потому, что въ одномъ мѣстѣ они бываютъ одни, а въ другомъ другіе“.

Какъ это мило! А почему же нельзя сказать: „очевидно они *составляютъ* неизбѣжное свойство его организма уже потому, что въ одномъ мѣстѣ они бываютъ одни, въ другомъ другіе“ и притомъ всегда извѣстные для каждаго опредѣленнаго уголка міра?... Вы далѣе выводите, что первое дѣло воспитанія—сберечь ребенка отъ нихъ. Значить вы хотите изолировать? Куда же вы будете готовить своего питомца? Если для жизни, то онъ долженъ знать эти господствующіе предрасудки, хотя бы они были совершенно безсмысленны. Не зная ихъ и вступивъ въ кругъ людей, слѣдующихъ этимъ предрасудкамъ, онъ будетъ пораженъ общепринятою и новизною самыхъ предрасудковъ (разумѣется для него), а это два могучихъ стимула, которые, при его неопытности въ жизни, при его привычкѣ къ помочамъ, при наслѣдственномъ, органическомъ его предрасположеніи къ нимъ,—непремѣнно собьютъ его съ толку.—Цитовать ли дальше статью? Но отчего же нѣтъ?—и занятіе мусорщика представляется мнѣ такимъ же честнымъ занятіемъ, какъ всякое другое честное занятіе. Вотъ и Бокль считаетъ антипатію къ очисткѣ улицъ отъ мусора въ Мадридѣ несомнѣннымъ доказательствомъ невѣжества и ретроградства жителей. Отчего же не заняться расчисткой литературнаго мусора? Только мы будемъ позволять себѣ пропуски: не обтирать же тряпкой каждый камень мостовой...

Далѣе слѣдуютъ пустыя фразы о томъ, что дѣломъ воспитанія будетъ развитіе природы человѣка; но въ томъ-то и бѣда, что у каждаго человѣка своя природа, и воспитатель, если только онъ человѣкъ честный и развитый, не возьмется опредѣлить свойства природы каждаго воспитанника—„чужая душа—потемки“, говоритъ пословица. А еще альше „Современникъ“ находитъ, что есть только одно средство воспитанія:

„Это средство—чистое знаніе, чистая наука, дѣйствующая на внутреннюю природу человѣка однимъ сноснымъ,

разумнымъ и необходимымъ для нея насиліемъ и деспотизмомъ—деспотизмомъ логики“.

Хорошо, фразисто, а толку мало.—Опять прежде всего оговорка: „сносный, разумный и необходимый деспотизмъ логики“. Да кто же вамъ сказалъ, что это такой деспотизмъ! или сами вы додумались? Но вотъ у меня есть пріятель, который тоже самъ додумался или дочитался, навѣрное не знаю, до совершенно противоположнаго убѣжденія, а именно онъ утверждаетъ, что „деспотизмъ логики—самый несносный, самый неразумный и самый ненужный деспотизмъ“. Этотъ парадоксъ не безъ основаній. Въ самомъ дѣлѣ, что такое логика, напримѣръ, въ спорѣ? Ни больше, ни меньше, какъ умѣнье дѣлать умозаключенія, умѣнье вести къ прямому выводу и только. Изъ какихъ посылокъ дѣлается умозаключеніе, на чемъ основываясь, приходятъ къ прямому выводу,—до этого логики дѣла нѣтъ: будь посылки какія угодно, будь основанія самыя ложныя,—ея дѣло правильно вывести изъ *нихъ* заключенія, на *нихъ* основать выводъ. Ложность или истинность посылокъ и основаній опредѣляется не логикой, а здравымъ смысломъ, хотя, конечно, не безъ помощи логики, но все же безъ абсолютнаго критеріума истины: такого критеріума нѣтъ, да и не будетъ,—доказательствомъ чему всѣ философскія школы древнія и новыя—у каждой есть свой особенный „абсолютный критеріумъ“ истины, основанный не на иномъ чемъ, какъ только на вѣрѣ гг. философовъ въ его абсолютность. Идя отъ положенія, что я въ настоящую минуту на лунѣ, я приду къ заключенію, что до ночи осталось еще 144 часа, и таковъ деспотизмъ логики. Но дѣйствительно ли я сижу на лунѣ или нѣтъ,—до этого логики нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. Совсѣмъ иное здравый смыслъ: онъ мнѣ подскажетъ, что прежде всего нужно ориентироваться и убѣдиться—дѣйствительно ли я на лунѣ. Осматриваясь, я составлю новый рядъ посылокъ, *вслѣдствіе* которыхъ деспотизмъ логики заставитъ меня признать, что я ошибаюсь. То же самое различіе между здравымъ смысломъ и логикой видно и въ нашей распрѣ: вы, гг. Современ-

никъ, подчиняетесь деспотизму логики,—подчиняемся ему и мы; но вы съ одной точки зрѣнія смотрите на предметъ—съ точки зрѣнія узенькой теорійки, мы—съ нѣсколькихъ, вы однимъ путемъ идете, мы другимъ. Эта послѣдняя разница зависитъ не отъ логики, а отъ здраваго смысла; мы убѣдились, что мы не на лунѣ и что вы тамъ, да еще на Дураковой плѣши, а вы забрали себѣ въ голову, что вы на землѣ, да еще на тронѣ какомъ-то, съ котораго то перунами мечете, то милостями осыпаете смертныхъ.

Это средство остается единственнымъ законнымъ средствомъ воспитанія“.

(Отмѣтимъ въ скобкахъ, что „Современникъ“ признаетъ законность *нѣкотораго* деспотизма). Однако же возиться съ мусоромъ — занятіе безъ сомнѣнія честное, но все же не совсѣмъ пріятное. Какъ бы поскорѣе его покончить?... Поймите-съ, что Толстой именно такую мысль и проповѣдуетъ, только онъ не признаетъ деспотизма даже логики, не признаетъ необходимости теорій даже новѣйшихъ. Вотъ мы не совсѣмъ такую мысль проводимъ: мы признаемъ не менѣе законнымъ путемъ и естественный путь воспитанія—вліяніе среды и природы (съ Толстымъ у насъ собственно разница въ терминахъ: онъ считаетъ этотъ путь путемъ образованія).

„Такимъ образомъ... вопросъ человѣческой свободы... сводится только къ качеству передаваемого знанія, къ тому, *что* будетъ передаваться, а не *кто* будетъ передавать“.

Какъ же, оказывается, просто рѣшается вопросъ о человѣческой свободѣ, а мы-то думали, что его рѣшить — „не мутовку облизать“. А въ „Современникѣ“ сейчасъ рѣшили! Да тутъ же кстати порѣшили и то, что качество преподаваемого знанія зависитъ отъ того, *что* будетъ преподаваться, а не *кто* будетъ преподавать, т.-е., напримѣръ, качество познаній въ естественныхъ наукахъ будетъ зависетьъ отъ того, *что* будутъ преподавать—геологію и антропологію, или философію и богословіе, а не отъ того, *кто* будетъ преподавать геологію и антропологію—честный натуралистъ, широколобый матеріалистъ или узколобый ксендзъ,

кто будетъ преподавать философію и богословіе — православный священникъ, ярый „вольтеріанецъ“, или философъ-гегелистъ... „Гдѣ-жъ намъ въ болотѣ“ порѣшить такъ скоро и такъ мудро такіе пустые вопросы! Наме дѣло слушать и удивляться тому, что изрекутъ господа съ Дураковой плѣши...*)

Изъ „Времени“ за 1863 г. Статья подписана: ижевъ.

1864 г.

**) Послѣ вступленія къ своему критическому этюду, Писаревъ приводитъ короткій отрывокъ изъ воспоминаній Иртеньева („Дѣтство и Отрочество“) о классной комнатѣ, и по поводу этого отрывка на 12 страницахъ вдается въ педагогическія разсужденія относительно свободы и принудительности образованія. Далѣе критикъ продолжаетъ:

„Во время своего отрочества, Иртеньевъ мечтаетъ точь-въ-точь такимъ же образомъ, какъ онъ мечталъ въ дѣтствѣ. Краски и очертанія мечты измѣняются вмѣстѣ съ окружающею обстановкой, но основной характеръ остается въ полной неприкосновенности; Иртеньевъ забавляется процессомъ мечтанія, сознавая совершенно ясно, что онъ не можетъ сдѣлать ни одного шага для того, чтобы приблизиться къ своей мечтѣ и захватить ее въ руки. Наконецъ, ему однако надоѣдаетъ эта пассивность. Его пробуждающійся умъ начинаетъ изобрѣтать разныя средства, которыми можно было бы сблизить міръ мечты съ міромъ всенедней жизни. Этими стремленіями — перейти отъ мечтательной праздности къ энергической дѣятельности — начинается и характеризуется первая половина юности нашего героя. А вторая половина этой юности общана, но до сихъ поръ еще не написана графомъ Толстымъ. Я очень жалѣю объ этомъ послѣднемъ обстоятельстве, но нисколько не нахожу

*) Еще о Толстомъ въ 1863 г. см. „Иллюстраціи“, № 266. (О повѣсти „Казакъ“).

**) Д. И. Писаревъ. „Русское Слово“ 1864 г., № 12. Статья подъ заглавіемъ: „Промѣны невѣрной мысли“.

его удивительнымъ. Первые три части воспоминаній Иртеньева были такъ смутно поняты критикою и публикою, что авторъ могъ считать продолженіе своего труда несвоевременнымъ и бесполезнымъ. Очень жаль, что у насъ до сихъ поръ нѣтъ второй части „Юности“; но за неимѣніемъ ея, мы и въ первой части найдемъ огромный запасъ психологическаго матеріала, о которомъ придется потолковать довольно подробно.

Сближеніе съ Нехлюдовымъ составляетъ для Иртеньева ту эпоху, съ которой онъ самъ считаетъ начало своей юности. Сближеніе это начинается неопредѣленно-страстными разсужденіями о жизни, о добродѣтели и объ обязанностяхъ человѣка, тѣми милыми бреднями, къ которымъ всѣ очень молодые люди питаютъ непреодолимое влеченіе, и изъ которыхъ никогда не выходитъ ничего, кромѣ горячихъ и очень непрочныхъ привязанностей. Послѣ многихъ продолжительныхъ бесѣдъ о высокихъ матеріяхъ, бесѣдъ, которыя, къ счастью, только подразумеваются, а не выписываются въ полномъ своемъ объемѣ въ повѣсти графа Толстого, послѣ многихъ изліаній, Нехлюдовъ и Иртеньевъ заключаютъ между собою контрактъ, которымъ они обязываются помогать другъ другу въ процессѣ постоянного нравственнаго совершенствованія.

„Знаете, какая пришла мнѣ мысль, Nicolas, говорить Нехлюдовъ; *сдѣлаемте* это, и вы увидите, какъ это будетъ полезно для насъ обоихъ: дадимъ себѣ слово признаваться во всемъ другъ другу. Мы будемъ знать другъ друга, и намъ не будетъ совѣстно; а для того, чтобы не бояться постороннихъ, дадимъ себѣ слово, *никогда, ни съ кѣмъ и ничего* не говорить другъ о другѣ. *Сдѣлаемте* это.—И мы дѣйствительно *сдѣлали это*“, прибавляетъ Иртеньевъ.

Трудно было придумать что-нибудь неглѣпѣе и вреднѣе этого взаимнаго обязательства.—Начать съ того, что оно неисполнимо. „*Признаваться во всемъ*“ значитъ признаваться въ каждой мысли, которая остановила на себѣ ваше вниманіе. И наши юные друзья дѣйствительно понимаютъ свой контрактъ въ этомъ смыслѣ; они считаютъ этотъ контрактъ

надежнымъ громовымъ отводомъ противъ гадкихъ и подлыхъ мыслей. „Такія подлая мысли, говоритъ Нехлюдовъ, что ежели бы мы знали, что должны признаваться въ нихъ, онѣ никогда не смѣли бы заходить къ намъ въ голову“. Неестественный контрактъ, разумѣется, ежеминутно нарушается. Иртеньевъ, почти на каждой страницѣ „Юности“, признается въ томъ, что, даже во время самаго разгара своей дружбы съ Нехлюдовымъ, онъ, совершенно невольно, то умалчивалъ, то искажалъ, въ разговорахъ съ нимъ, разные тонкіе оттѣнки своихъ мыслей или побудительныя причины своихъ поступковъ. Иногда дѣло доходитъ до настоящаго актерства. Въ первый день своего студенчества Иртеньевъ затѣваетъ преглупую ссору съ своимъ добрымъ знакомымъ, Дубковымъ. Ссора эта, начатая изъ-за пустяковъ, кончается также пустяками. „И я тотчасъ же успокоился, рассказываетъ Иртеньевъ, притворяясь только, передъ Дмитріемъ (Нехлюдовымъ), разсерженнымъ настолько, насколько это было необходимо, чтобъ мгновенное успокоеніе не показалось страннымъ“. Это наивное признаніе, повидимому, даже незамѣченное самимъ Иртеньевымъ, доказываетъ лучше всякихъ аргументацій, что полная откровенность совершенно невозможна. Каждый долженъ быть самъ полнымъ хозяиномъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ, и другого полного хозяина тутъ не можетъ и не должно быть. Но, заключивши свой контрактъ совершенно добровольно и считая его дѣйствительно очень полезнымъ, наши молодые люди все-таки стараются соблюдать его по возможности добросовѣстно, и постоянно осыпаютъ другъ друга разными интимными признаніями.

Въ этомъ обстоятельстве и заключается именно настоящій вредъ. Читатель уже замѣтилъ, вѣроятно, что Нехлюдовъ и Иртеньевъ оба страдаютъ какою-то странною мыслью-боязнью: контрактъ ихъ направленъ почти исключительно противъ *подлыхъ и гадкихъ* мыслей. Какія это такія бываютъ *гадкія и подлая* мысли? Я этого не понимаю. Когда я обдумываю какойнибудь вопросъ, или обсуживаю характеръ какой-нибудь личности, то я дѣлаю въ умѣ своемъ

разныя предположенія, рассматриваю ихъ съ разныхъ сторонъ, одни изъ нихъ нахожу правдоподобными, другія несостоятельными, сближаю одно предположеніе съ другимъ, подтверждаю или опровергаю ихъ различными аргументами, и, наконецъ, результатомъ всѣхъ моихъ размышленій является то или другое убѣжденіе, которое опредѣляетъ собою дальнѣйшій ходъ моихъ поступковъ. Многія изъ предположеній, сдѣланныхъ мною во время размышленія, могутъ оказаться совершенно нелѣпыми или даже оскорбительными для той особы, о которой я думаю, и все-таки въ этихъ предположеніяхъ нѣтъ ничего дурного. Если бы я остановился на такомъ предположеніи и принялъ его за норму для моихъ поступковъ, тогда, конечно, я обнаружилъ бы несостоятельность моихъ умственныхъ способностей, и оскорбленная мною особа имѣла бы полное право отвернуться отъ меня, какъ отъ пошлаго дурака. Но, вѣдь, нелѣпое предположеніе не есть окончательный результатъ моего мышленія. Это только одна изъ первыхъ или низшихъ фазъ въ развитіи моей мысли. Это одна изъ ступенекъ той длинной и крутой лѣстницы, по которой мой умъ идетъ вверхъ, къ познанію настоящей истины. Это одинъ изъ тѣхъ ингредиентов, которые, въ своей совокупности, послѣ долгой и сложной химической переработки, дадутъ мнѣ готовый продуктъ, имѣющій уже практическое значеніе для меня и для другихъ людей. Въ природѣ ничто не возникаетъ мгновенно, и ничто не появляется на свѣтъ въ совершенно готовомъ видѣ. Самая красивая женщина и самый гениальный мужчина были все-таки, въ свое время, очень безобразными и бессмысленными зародышами, а потомъ очень плаксивыми и сопливыми ребятишками. Но никому же не приходится въ голову вырѣзывать зародышъ изъ утробы матери для того, чтобы глумиться надъ безобразіемъ и тупоуміемъ этого куска органической матеріи. И ни одному здравомыслящему человѣку не приходится также въ голову ненавидѣть и презирать трехлѣтняго пузыря за то, что онъ часто плачетъ и плохо сморкается. Надъ картиною, надъ статусомъ, надъ научною теоріею мы также произносимъ нашъ приговоръ

только тогда, когда произведеніе окончено, то-есть, доведено до той степени совершенства, какую только способенъ придать ему его творецъ.

Когда вы пообѣдали, то вы очень хорошо знаете, что въ вашемъ желудкѣ находится пережеванная пища въ видѣ такъ называемой кашицы; вы знаете, что эта кашица имѣетъ очень некрасивый видъ и довольно непріятный запахъ; но васъ это обстоятельство нисколько не смущаетъ; вы преспокойно оставляете неблагообразную кашицу тамъ, гдѣ она должна быть, и изъ этой кашицы вырабатываются понемногу ваша кровь, ваши мускулы и ваши нервы, то-есть, все, что дастъ вамъ возможность жить въ свое удовольствіе и дѣйствовать на пользу вашихъ ближнихъ. Значитъ, некрасивая кашица—вещь очень хорошая, но если бы вы стали вытаскивать ее изъ вашего желудка, показывать ее вашимъ друзьямъ и горевать вмѣстѣ съ ними надъ ея непохвальнымъ цвѣтомъ и запахомъ, то вы доставили бы только себѣ и друзьямъ нѣсколько непріятныхъ минутъ, а въ случаѣ частаго повторенія подобныхъ продѣлокъ, вы бы даже очень серьезно разстроили свое здоровье, что все-таки не обратило бы на путь истины закосявлюю мерзавку кашицу. А возмущаться противъ тѣхъ законовъ, по которымъ совершается процессъ нашего мышленія, это, въ своемъ родѣ, точно такая же нелѣпность, какъ убиваться надъ несовершенствами трехмѣсячнаго зародыша или желудочной кашицы.

Мысли не могутъ быть ни гадкими, ни подлыми, пока онѣ остаются въ головѣ мыслящаго субъекта, который пользуется ими, какъ сырыми матеріалами. Но такое первобытное сырье совсѣмъ не должно показываться на свѣтъ, во-первыхъ, потому, что оно часто бываетъ очень уродливо и бессмысленно, а во-вторыхъ, потому, что такое заглядываніе въ лабораторію мысли вредитъ процессу умственной работы. Когда вы знаете, что вамъ придется представлять другому лицу докладъ о томъ, что происходитъ въ вашемъ умѣ, тогда вы стараетесь сами смотрѣть на вашу умственную работу со стороны, и запоминать, въ ка-

комъ порядкѣ одна мысль развивалась изъ другой. На этотъ совершенно лишній трудъ подглядыванія и запоминанія тратятся тѣ силы, которыя гораздо полезнѣе было бы употребить на болѣе быстрое или болѣе основательное разрѣшеніе затронутыхъ вами вопросовъ, имѣющихъ для васъ живое практическое значеніе. Подглядывая за собою, вы сами раздваиваете свой умъ и ослабляете или извращаете его дѣятельность. Стало-быть, и подглядываніе ваше даетъ вамъ совершенно искусственные результаты. Вы подглядѣли работу вашей ослабленной и извращенной мысли, а не ту естественную работу, которую вы старались опредѣлить. Можетъ быть, всѣ гадости, въ которыхъ вы каетесь вашему другу, произошли именно отъ того, что вы начали подглядывать. Извѣстное дѣло, ничто такъ не раздражаетъ мысль, какъ боязнь мысли и инквизиторскій контроль надъ мыслью. Вы отъ нея отталкиваетесь, вы ее преслѣдуете, — тутъ-то именно она и лѣзетъ къ вамъ въ голову, тутъ-то она и становится для васъ неотвязнымъ контролемъ. — Говорятъ, одинъ алхимикъ открылъ какому-то благодѣтелю своему вѣрнѣйшій способъ дѣлать золото. Возьмите, говоритъ того-то и того-то, по столько-то золотниковъ и долей, всыпьте въ такую-то посуду, поставьте на такой-то огонь, мѣшайте вотъ этою палочкою и произносите такія-то слова. — Разказалъ и ушелъ. Благодѣтель сейчасъ принялся за работу, но, на бѣду его, добросовѣстный алхимикъ воротился назадъ. — Ахъ, говоритъ, самое-то главное условіе я и забылъ. Когда будете варить золото, ни подѣ какимъ видомъ не думайте о бѣлыхъ медвѣдяхъ, а то ничего не выйдетъ. — Ну, это пустяки, отвѣчаетъ благодѣтель. Я объ нихъ и безъ того никогда не думаю. Однако вышло не пустяки. Благодѣтель, никогда не думавшій о бѣлыхъ медвѣдяхъ, сталъ думать о нихъ аккуратно каждый день, и притомъ именно въ тѣ великія минуты, когда эта проклятая мысль должна была помѣшать процессу волшебнаго броженія. Поэтому золота не получилось, но предсказаніе алхимика о томъ, что ничего не выйдетъ, оказалось все-таки не совсѣмъ вѣрнымъ. Вышло то, что благодѣтель со-

шелъ съ ума и началъ съ крикомъ и со слезами умолять своихъ докторовъ вырѣзать изъ его головы бѣлаго медвѣдя, который будто бы съѣлъ у него весь мозгъ, и всякій разъ плюетъ и чихаетъ въ ту посуду, гдѣ варится самое чистое золото.

Если съ Нехлюдовымъ и съ Иртеньевымъ не случилось такой пакости, то они обязаны своимъ спасеніемъ единственно тому обстоятельству, что ихъ желаніе раздавить въ зѣбѣ *идкія* и *подмы* мысли было гораздо менѣе сильно и серьезно, чѣмъ желаніе благодѣтеля приобрести себѣ золотыя горы. Для нашихъ юныхъ моралистовъ борьба съ предосудительными мыслями была только пріятною потѣхою. Оно и въ самомъ дѣлѣ увеселительно. То маленько погрѣшишь, то маленько пораскаешься, то легонько постегашь самого себя невещественными розгами. Вотъ тебѣ и покажется, что ты точно какое-то дѣло дѣлаешь, умомъ своимъ работаешь, нравственность свою исправляешь, полезнаго дѣятеля изъ своей особы приготавлиаешь. Если даже и крѣпко грѣшишь и часто падаешь на пути добродѣтели—все это для тебя не велика бѣда. У тебя сейчасъ фарисейскія утѣшенія найдутся, потому что весь твой умъ постоянно устремленъ на казуистическія тонкости, и, посредствомъ навыка, приобрѣлъ себѣ замѣчательное мастерство по части іезуитской изворотливости. Умъ твой тоненькимъ голоскомъ станетъ шептать тебѣ: успокойся! другіе грѣшатъ вдесятеро больше тебя, но и ухомъ не ведутъ, потому что у нихъ нѣтъ твоей чуткости. Ты неизмѣримо выше ихъ, потому что ты замѣчаешь за собою каждую малѣйшую слабость. Ты человѣкъ высокой нравственности, потому что ты строгъ къ самому себѣ.—Ты будешь слушать эти льстивыя рѣчи съ глупѣйшею улыбкою самодовольнаго блаженства; но, такъ какъ ты уже измощенничался насквозь, благодаря твоимъ любезнымъ подглядываніямъ, то ты тотчасъ состроишь постную рожу и прикрикнешь на самого себя: молчи мерзавецъ! Какъ ты смѣешь гордиться твоими совершенствами, когда тебѣ слѣдуетъ оплакивать твои беззаконія!—И вслѣдъ за тѣмъ, тебя еще пріятнѣе охватитъ со-

знаніе, что ты ни въ чемъ не даешь себѣ спуска, и даже умственную гордость свою подавлять умѣешь. Да. Точно. Потѣха весьма увеселительная, но еще болѣе вредная. Во-первыхъ—вся штука основана на глупой мыслелюбви. Во-вторыхъ—происходитъ громадная трата времени. Кто дѣйствительно хочетъ уберечься по возможности отъ тяжелыхъ практическихъ ошибокъ, тотъ долженъ не бояться *задумать* и *подумать* мыслей, а напротивъ того, смѣло подходить ко всякой мысли и совершенно спокойно разсматривать ее со всѣхъ сторонъ. Не мѣшаетъ еще при этомъ принимать въ расчетъ ту старую истину, что тратить свои молодые годы на какія бы то ни было увеселительныя потѣхи, значить, навѣрняка готовить изъ себя въ будущемъ дрянного, тяжелого и несчастнаго человѣка. Но, разумѣется, Нехлюдовъ и Иртеневъ не виноваты въ томъ, что они надъ собою творятъ. Въ нихъ дѣйствуетъ то отвращеніе къ научнымъ занятіямъ, которое вколочено въ ихъ головы прежнимъ приневоливаніемъ къ діалогамъ и диктовкамъ. Болѣзненная мечтательность ребенка, при переходѣ въ юношескій возрастъ, породила изъ себя уродливыя и вредныя кривлянія нравственной гимнастики.

Настоящимъ специалистомъ по части нравственной гимнастики оказывается князь Дмитрій Нехлюдовъ, а Иртеневъ является въ этомъ отношеніи только его подражателемъ, и, къ счастью своему, останавливается на степени дилеттанта. У Нехлюдова заведены какія-то расписанія пороковъ и прегрѣшеній, онъ каждый вечеръ пишетъ подробно свой дневникъ, и еще, кромѣ того, записываетъ въ особую тетрадь свои будущія и прошедшія занятія. Впрочемъ, собственно о его занятіяхъ мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Можетъ быть, у него и времени не хватало на занятія, потому что ему было необходимо постоянно держать въ порядкѣ свою душевную бухгалтерію, и подводить различные итоги въ приходо-расходной книгѣ грѣховъ и добродѣтелей. Нехлюдовъ по университету былъ однимъ курсомъ старше Иртенева, но, повидимому, во взглядахъ своихъ на науку они оба были совершенными школьниками. Нехлю-

довъ придавалъ большое значеніе тому, чтобы Иртеньевъ блистательно выдержалъ свой вступительный экзаменъ въ университетъ, и чтобы ему поставили очень хорошіе баллы; а потомъ, когда Иртеньевъ сдѣлался студентомъ и когда дружба между юными моралистами находилась въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, Нехлюдовъ не умѣлъ возбудить въ своемъ другѣ ни малѣйшей любви къ серьезнымъ занятіямъ, такъ что Иртеньевъ цѣлый годъ проболтался глупѣйшимъ образомъ, и, разумѣется, провалился или *срылся* на переходномъ экзаменѣ самымъ постыднымъ манеромъ. Вообще, Нехлюдовъ и Иртеньевъ совершенно не похожи на тотъ типъ студента, который каждому изъ насъ хорошо знакомъ и дорогъ по нашимъ собственнымъ, недавнимъ студенческимъ воспоминаніямъ.

Когда мы были студентами, мы всюду втискивали науку, кстати и некстати, съ умысломъ и безъ умысла, искусно и неискусно. Мы очень много врани о наукѣ, мы часто сами себя не понимали, но наука дѣйствительно владѣла всѣми нашими помыслами; мы ее любили чрезвычайно горячо и чистосердечно; мы готовы были работать, и дѣйствительно работали; для насъ жизнь была немислима безъ науки, и гдѣ, бывало, сойдутся два-три студента, тамъ уже, черезъ пять минутъ, непремѣнно свирѣпствуетъ научный споръ, въ которомъ воюющія особы, наперерывъ другъ передъ другомъ, съ восторгомъ обнаруживаютъ крайнюю слабость своихъ фактическихъ знаній и столь же крайнее могущество своихъ молодыхъ и здоровыхъ голосовъ. Много у насъ было безтолковщины, но это было именно то „мутное броженіе“ молодой мысли, изъ котораго „творится свѣтлое вино“ разумныхъ убѣжденій и сознательнаго трудолюбія. Смѣшно было смотрѣть на насъ со стороны, но ужъ совѣмъ не грустно. И тѣ самые пожилые и опытные люди, которые смѣялись надъ нами, какъ надъ преуморительными мальчишками, — они сами не могли отказать намъ ни въ своемъ сочувствіи, ни въ своемъ уваженіи, ни даже въ своей *зависти*. Имъ становилось завидно, глядя на насъ. Вспоминая свою собственную молодость, они признавались

съ глубокимъ вздохомъ намъ, „преуморительнымъ мальчишкамъ“, что наше развитіе идетъ болѣе здоровымъ и разумнымъ путемъ, что мы живемъ болѣе полною жизнью, что у насъ есть мысли, чувства и желанія, которыя имъ были совершенно неизвѣстны, и которыя послужатъ намъ надежною опорою во время житейскихъ испытаній и „въ мпнуту душевной невзгоды“.

И рѣшительно ничего подобнаго нѣтъ у Нехлюдова и у Иртеньева. Они оба, и особенно Нехлюдовъ, не возбуждаютъ въ постороннемъ наблюдателѣ никакого другого чувства, кромѣ глубочайшаго и совершенно безнадежнаго сожалѣнія о погибающихъ человѣческихъ способностяхъ. Въ ихъ жизни наука не играетъ никакой роли. Объ умѣ они рѣшительно не заботятся. Имъ нужна только добродѣтель. И въ то же время они всѣ насквозь пропитаны пошлостями своего общества, и со всѣхъ сторонъ опутаны разными свѣтскими и великосвѣтскими связями и предрасудками. Добродѣтельный Иртеньевъ никакъ не можетъ удержаться, чтобы не заявлять всѣмъ и каждому о своемъ родствѣ съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ, и для этого онъ даже однажды, въ семействѣ Нехлюдова и въ присутствіи самого Дмитрія, сплетаетъ экспромптомъ неимовѣрнѣйшую ложь о дачѣ этого князя и о какой-то удивительной рѣшеткѣ, цѣною въ триста восемьдесятъ тысячъ рублей. А еще болѣе добродѣтельный Нехлюдовъ всѣми своими бухгалтерскими упражненіями никакъ не можетъ побѣдить въ себѣ странную наклонность бить своего крѣпостного мальчика, Ваську, кулаками по головѣ. Но все это еще не очень большая бѣда. Родиться во время полного господства крѣпостныхъ понятій и всосать въ себя съ молокомъ матери Фамусовскую слабость къ вельможному родству—это, конечно, несчастье, но тутъ еще нѣтъ ничего непоправимаго. Шестнадцатилѣтній Фамусовъ можетъ сдѣлаться черезъ годъ семнадцатилѣтнимъ громителемъ московскаго чванства; а даже колотить Ваську не значитъ еще быть отпѣтымъ негодяемъ. Очень можетъ быть, что и Базаровъ во времена своего дѣтства и отрочества показывалъ свою барскую прыткость надъ ребятишками своей

крѣпостной дворни. А потомъ выросъ, поумнѣлъ и прекратилъ свои подвиги.

Главная бѣда Нехлюдова и Иртеньева заключается въ безнадежности ихъ умственного положенія. Въ головахъ ихъ царствуетъ глубочайшее, непочатое невѣжество, и сношенія ихъ съ университетомъ скользятъ по этому невѣжеству, не производя въ немъ ни малѣйшаго измѣненія. Нехлюдовъ оказывается еще гораздо безнадежнѣе Иртеньева. Иртеньевъ за все хватается, всѣмъ интересуется и увлекается, дурачится и важничаетъ, какъ настоящій шестнадцатилѣтній ребенокъ; поэтому, онъ еще двадцать разъ можетъ переимѣниться и выскочить на прямую дорогу, лишь бы только нашлись въ его жизни сначала отрезвляющіе толчки, а потомъ умные товарищи и руководители. Впрочемъ, и на Иртеньева нравственная гимнастика положила свою проклятую печать; отъ привычки постоянно конаться въ своихъ душевныхъ ощущеніяхъ, у него выработалась чудовищная мнительность и подозрительность, ежеминутно отравляющія ему всѣ его сношенія съ другими людьми. Въ каждомъ словѣ и въ каждомъ взглядѣ онъ угадываетъ какую-нибудь особенную, затаенную и обыкновенно пакостную или оскорбительную мысль своего собесѣдника. Такъ какъ Иртеньевъ отъ природы очень неглупъ—гораздо умнѣе Нехлюдова, — то онъ очень часто угадываетъ совершенно вѣрно, и все-таки для него было бы несравненно лучше вовсе не обладать этимъ даромъ ясновидѣнія. Излишняя воспримчивость какого бы то ни было чувства, зрѣнія, слуха, обонянія, и такъ далѣе, всегда ведетъ за собою очень много непріятностей. Сова не можетъ видѣть днемъ именно отъ того, что зрѣніе ея слишкомъ остро и чувствительно; то количество лучей, которое намъ необходимо для того, чтобы мы могли ясно различать предметы, дѣйствуетъ на сову такъ сильно, что рѣжетъ ей глаза, и заставляетъ ее задвигать наглухо отверстіе зрачка. Та музыка, которая намъ доставляетъ удовольствіе, оказывается мучительною для тонкаго слуха кошки или собаки.

То же самое можно сказать и объ Иртеньевскомъ ясно-

видѣніи. Заглядывать въ душу другихъ людей такое же пустое и непріятное занятіе, какъ выносить другимъ людямъ напоказъ свои собствєнныя душевныя тайны. Что вамъ за удовольствіе подмѣчать къ каждому изъ вашихъ знакомыхъ каждое движеніе мелкой досады, или зависти, или скарденности, или трусости, каждое изъ тѣхъ мимолетныхъ движеній, которыя рождаются и умираютъ въ душѣ, не дѣйствуя на общее направленіе поступковъ, и выражаясь только изрѣдка въ какомъ-нибудь подергиваніи губъ или въ какой-нибудь дребезжащей нотѣ голоса?! Всѣ наши отношенія къ людямъ сдѣлаются только болѣе шероховатыми, а въ сущности все останется по старому, потому что нельзя же удалиться отъ людей въ пустыню, на томъ основаніи, что люди не всегда могутъ и умѣютъ быть или вполнѣ искренними друзьями, или вполнѣ непроницаемыми актерами. А главное дѣло, какъ у васъ достаетъ времени и охоты возиться съ этою психологическою дрянью? Надо быть безконечно празднымъ человѣкомъ, чтобы по губамъ Семена Пафнutyча, или по бровямъ Пелагеи Сидоровны читать тайныя отбѣнки ихъ душевныхъ волненій. И замѣчательно, что это чтеніе *поддерживаетъ* въ человѣкѣ праздность, потому что служить ему источникомъ неисчерпаемыхъ изслѣдованій, которыхъ привлекательность, разумѣется, совершенно непостижима для того, кто занимается какимъ-нибудь полезнымъ дѣломъ. Но, несмотря на гибельную страсть Иртеньева къ ясновидѣнію, Нехлюдовъ все-таки гораздо безнадежнѣе своего друга. Нехлюдовъ при своемъ кругломъ невѣжествѣ, серіозенъ и настойчивъ. У него есть принципы, которые онъ почерпнулъ чортъ знаетъ изъ какой лужи, но за которые онъ держится очень крѣпко. Бьетъ онъ Ваську, конечно, не по принципу, а по увлеченію, и принципы его осуждаютъ эту баталію, и онъ совершенно убѣжденъ въ томъ, что принципы переработаютъ всю его природу и даже ошастливятъ со временемъ всѣхъ его Васекъ. По своимъ принципамъ онъ влюбился, или, точнѣе, *влюбилъ себя* въ рыжую, старую, кривобокую, да въ добавокъ еще и глупую барышню Любовь Сергѣевну, которая

все бесѣдуетъ съ нимъ о правилахъ, о сердцѣ и о добродѣтеляхъ. Графъ Толстой этихъ бесѣдъ не выписываетъ, и прекрасно дѣлаетъ. Вѣдь тутъ ужъ, дѣйствительно, „мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ“, когда они начнутъ разводить свою психологію сладкими вздохами и любовнымъ жеманствомъ. Также по своимъ принципамъ Нехлюдовъ, подъ руководствомъ Любви Сергѣевны, ѣдетъ къ московскому прорицателю Ивану Яковлевичу; и также по принципамъ, студентъ второго курса Нехлюдовъ находитъ, что Иванъ Яковлевичъ очень замѣчательный человѣкъ, а что только самые легкомысленные люди могутъ считать его сумасшедшимъ или мошенникомъ. А Любовь Сергѣевна, по словамъ самого Нехлюдова, понимаетъ совершенно Ивана Яковлевича (видите, какая умница!), часто ѣздитъ къ нему, бесѣдуетъ съ нимъ и даетъ ему для бѣдныхъ деньги, которая сама вырабатываетъ. Изъ всѣхъ этихъ доблестныхъ подвиговъ рыжей барышни Нехлюдовъ выводитъ то заключеніе, что она удивительная женщина, что она необходима для его совершенствованія, и что въ нее никакъ нельзя не влюбиться.

Познакомившись съ этими любопытными подробностями, читатель, вѣроятно, согласится, что голова Нехлюдова, какъ сплошная чугунная масса, совершенно обезпечена противъ вторженія какихъ бы то ни было современныхъ идей. Человѣколюбствовать онъ можетъ, потому что на это способна даже усердная собесѣдница Ивана Яковлевича, но ужъ дальше московскаго сердоболія онъ не пойдетъ. А, вѣдь, могло бы быть совершенно иначе, если бы любознательность его была затронута въ дѣтствѣ, и если бы живая струя свѣта и знанія попала въ его голову, когда надъ нею еще не успѣли воцариться мертвящіе принципы нравственной гимнастики и Ивана Яковлевича. Эти принципы такъ безнадежно мрачны и такъ безвыходно-губительны для ума, для чувства и для дѣятельности, что въ сравненіи съ ними даже общій колоритъ московской великосвѣтскости представляется какою-то небесною лазурью“.

(Далѣе на 9-ти страницахъ разбирается эпизодъ избіенія Нехлюдовымъ Васьки).

„Доживши до девятнадцати лѣтъ и дойдя до третьяго курса университета, князь Дмитрій Нехлюдовъ убѣждается въ томъ, что онъ достаточно образованъ, и что ему давно пора приниматься за практическую дѣятельность. Онъ призжается на лѣто въ свое имѣніе, видитъ тамъ, что мужики его разорены дотла, и, рѣшившись посвятить свою жизнь на улучшеніе ихъ участи, выходитъ изъ университета, съ тѣмъ чтобы навсегда поселиться въ деревнѣ. Очеркъ его сельско-хозяйственной дѣятельности представленъ графомъ Толстымъ въ отдѣльной повѣсти: „Утро помѣщика“. Нехлюдовъ занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ, на примѣръ, онъ обходитъ утромъ дворы тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ-нибудь вспоможеніи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, присматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами и старается посредствомъ увѣщаній внушать имъ любовь къ труду или искоренять ихъ пороки.

Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Нехлюдовъ къ Ивану Чурисенку, просившему себя какихъ-то кольевъ или сошекъ для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Нехлюдовъ, что все строеніе дѣйствительно никуда не годится, и Чурисенокъ рассказываетъ ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. „По спинѣ какъ полыхнетъ ее, такъ она до ночи замертво пролежала“. Нехлюдовъ, думая облагодѣтельствовать Чурисенка, предлагаетъ ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системѣ. „Я, говоритъ, ее, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь“. Но Чурисенокъ говоритъ: „Воля вашего сіятельства“, и въ то же время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается въ ноги къ молодому помѣщику, начинаетъ выть и умолять барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой разваливающейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій

и неговорливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинаетъ описывать прелесть стараго мѣста. „Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное; и дорога и прудъ тебѣ, бѣлье, что ли, бабѣ стирать, скотину ли поить—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы—вотъ, что мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу“. Что тутъ будешь дѣлать? Нельзя же благодѣтельствовать насильно. Нехлюдовъ отказывается отъ своего намѣренія, совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбою о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Нехлюдовъ отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который опредѣлилъ на починку крестьянскаго строенія. — Но у Чурисенки на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говоритъ очень спокойно, что у міра просить не станеть.— Нехлюдовъ даетъ ему денегъ на покупку коровы, и идетъ дальше. Входитъ онъ во дворъ къ Епифану или Юхванкѣ-Мудреному. Нехлюдову извѣстно, что этотъ мужикъ любитъ, по своему, сибаритствовать, куритъ трубку, обременяетъ свою старуху-мать тяжелою работою, и часто продаетъ для кутежа необходимыя принадлежности своего хозяйства. Теперь Нехлюдовъ узналъ, что Юхванка хочетъ продать лошадь; помѣщикъ хочетъ посмотрѣть, возможна ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Нехлюдовъ рѣшительно запрещаетъ Юхванкѣ эту коммерческую операцію. Юхванка, въ разговорѣ съ баринкомъ, жметъ ему въ глаза самымъ наглѣйшимъ образомъ, и нисколько не смущается, когда Нехлюдовъ на каждомъ шагѣ выводитъ его на свѣжую воду. Нехлюдовъ, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать Юхванкину душу увѣщаніями и упреками, а Юхванка, продувная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину

совершенно ясно, что онъ непремѣнно расхохотался бы надъ его совѣтами, если бы его не удерживало тонкое пониманіе галантерейнаго обращенія. — Пороть меня ты не будешь, думаетъ Юхванка, потому что совсѣмъ никого не порешь; на поселеніе тоже не сошлешь — пожалѣешь; а въ солдаты я не гожусь, спереди двухъ зубовъ нѣту. Значить, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать намѣренъ. — И Нехлюдовъ, совершенно отмѣнившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юхванкой, что принужденъ по временамъ умокать и стискивать зубы, для того чтобы не расплакаться тутъ же, на Юхванкиномъ дворѣ, передъ глазами нераскаяннаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадь, тайкомъ отъ безпутнаго Юхванки, даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба.

Затѣмъ слѣдуетъ картина другого безпутства. У Давыдки Бѣлаго нѣтъ въ избѣ ни крошки хлѣба; весь дворъ представляетъ собою мерзость запустѣнія, а самъ Давыдка цѣлые дни и ночи лежитъ на печкѣ, подъ тулупомъ, даже весь отекъ и распухъ отъ сна. Баринъ будитъ „лѣниваго раба“ и начинаетъ аргументировать, очень убѣдительно доказывая необходимость труда. „Лѣнивый рабъ слушаетъ тупо и покорно“. Онъ молчалъ; но выраженіе его лица и положеніе всего тѣла говорило: знаю, знаю, ужъ мнѣ не первый разъ это слышать. Ну, бейте же; коли такъ надо — я снесу. Онъ, казалось, желалъ, чтобъ баринъ пересталъ говорить, а поскорѣе прибилъ его, даже больно прибилъ по пухлымъ щекамъ, но оставилъ поскорѣе въ покоѣ. Приходитъ въ эту минуту мать Давыдки, дѣятельная и бойкая женщина, которая одна работаетъ за весь свой дворъ. Она начинаетъ жаловаться на своего лядащаго сына, ругаетъ и дразнить его, рассказываетъ, что жена Давыдки извела себя тяжелою работою, а потомъ умоляетъ барина, чтобъ онъ во второй разъ женилъ безпутнаго лѣнтяя. Нехлюдовъ говоритъ: съ Богомъ! но штука заключается въ томъ, что за Давыдку ни одна дѣвка по своей волѣ не пойдетъ, и что

мать просить у барина не позволенія для Давыдки, а приказанія для дѣвки. Баринъ отвѣчаетъ ей, что это невозможно, что хлѣба онъ имъ дать, а невѣсту сватать не берется. Потомъ Нехлюдовъ пошелъ къ богатому мужику Дутлову, предложилъ ему очень выгодное помѣщеніе для его денегъ, но мужикъ, разумѣется, съѣзжился и тщательно затаилъ свой капиталъ отъ помѣщика, и баринъ извлекъ изъ этого посѣщенія только тотъ результатъ, что его маленько покусали Дутловскія пчелы, потому что онъ забрался на пчельникъ, и, по юношеской храбрости, не пожелалъ надѣть предохранительную сѣтку. Нехлюдовъ отправляется домой, и по дорогѣ задумывается. „Развѣ богаче стали мои мужики? думаетъ онъ; образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Если-бъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, если-бъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недоверіе, безпомощность. Я даромъ трачу лучшіе годы жизни, подумалъ онъ, и ему почему-то вспоминалось, что сосѣди, какъ онъ слышалъ отъ няни, называли его недорослемъ; что денегъ у него въ конторѣ ничего уже не оставалось; что выдуманная имъ новая молотильная машина, къ общему смѣху мужиковъ, только свистѣла, а ничего не молотила, когда ее въ первый разъ, при многочисленной публикѣ, пустили въ ходъ въ молотильномъ сараѣ; что со дня на день надо было ожидать пріѣзда земскаго суда для описи имѣнія, которое онъ просрочилъ, увлекшись различными новыми хозяйственными предпріятіями“.

Странная и печальная исторія! Умъ, молодость, энергія, стойкость, человѣколюбіе, — все, что дѣлаетъ человѣка сильнымъ и полезнымъ, все это есть у Нехлюдова, все это проявляется въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ, и все это приводитъ за собою только неудачи и разочарованіе, и, въ концѣ концовъ, безотрадное сознаніе той несомнѣнной истины, что „имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле“. Причина всей нескладицы заключается въ томъ, что Нехлюдовъ — ни рыба ни мясо, и что онъ,

вслѣдствіе этой двусмысленности и неопредѣленности своего развитія, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается влить вино новое въ мѣха старые. Задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы, и даже приноситъ вредъ, когда приходитъ въ соприкосновеніе съ старыми формами крѣпостного быта. Если бы дѣдушка, или, можетъ быть, и папенька Нехлюдова пріѣхалъ въ свое имѣніе съ цѣлью поправить разстроенное хозяйство мужиковъ, то, по всей вѣроятности, онъ въ первую же недѣлю, послѣ своего пріѣзда, перепоролъ бы половину деревни, начиная разумѣться съ крѣпостныхъ приказчиковъ, бурмистровъ, старостъ и всякихъ другихъ деревенскихъ властей. Съ такимъ помѣщикомъ Юхванка пересталъ бы быть „мудренымъ“, и Чурисенокъ переселился бы на новый хуторъ безъ малѣйшаго краснорѣчія. Если бы, кромѣ неумолимой строгости, у этого помѣщика была малая толика практическаго ума, и хоть какое-нибудь, даже самое рутинное знаніе сельскаго хозяйства, то въ пять-шесть лѣтъ мужики дѣйствительно покравили бы свои дѣлишки, и дошли бы до той степени сытаго довольства, которою пользуются быки и бараны благоустроеннаго скотнаго двора, и которая въ крѣпостномъ быту составляетъ предѣлъ, его же не преjdeши. И грозный помѣщикъ, съ своей точки зрѣнія, могъ бы сказать, что онъ свято исполнилъ свою гражданскую обязанность, потому что, разумѣется, онъ стоитъ неизмѣримо выше тѣхъ современниковъ своихъ, которые проживаютъ свои доходы въ столицахъ, предоставляя своимъ мужиковъ въ безконтрольное распоряженіе управляющихъ и бурмистровъ. Да этого еще мало. Грозный помѣщикъ стоитъ даже выше такого почти идеальнаго помѣщика, какимъ является намъ Нехлюдовъ.

Для помѣщика не было середины. Онъ могъ быть или суровымъ властелиномъ, или дойною коровою. На первый взглядъ можетъ показаться, что второй типъ лучше, отраднѣе и полезнѣе перваго, но это—только на первый взглядъ. Дойная корова побалуеетъ мужиковъ три-четыре года, а по-

томъ и протянетъ ноги тѣмъ или другимъ манеромъ. Самый простой и естественный результатъ этого сантиментальнаго баловства обнаруживается намъ въ исторіи Нехлюдова: въ конторѣ ни копейки денегъ; имѣніе просрочено; его опишутъ, возьмутъ въ опеку, разорятъ еще хуже, а потомъ продадутъ съ аукціоннаго торга, и мужикамъ, привыкшимъ къ доенію коровы, придется такъ скверно при перемѣнѣ системы, что хоть въ петлю полѣзай. Ясно, кажется, что новое вино пролилось на полъ. Но, разумѣется, типъ суроваго властелина, въ свою очередь, хорошъ только въ той мѣрѣ, въ какой могло быть что-нибудь хорошее при существованіи крѣпостной зависимости. Сытое довольство скотнаго двора очевидно не благопріятствуетъ развитію высшихъ способностей человѣческаго ума, и не можетъ создавать людей съ сильными и самостоятельными характерами. Вамъ случалось, вѣроятно, видѣть, какъ быстро спиваются съ кругу и затягиваются въ тину самаго оподляющаго разврата именно тѣ юноши, которые, при жизни своихъ строгихъ родителей, поражали васъ своимъ безукоризненнымъ и даже неестественнымъ благонавіемъ. „Эхъ, кабы старики-то были живы!“ говорятъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ старыя друзья покойниковъ, совершенно упуская изъ виду то, что именно сами-то покойники приготовили, въ теченіе всей своей жизни, всю ту кутерьму, которая разыгралась на другой день послѣ ихъ строгости. Ежовыя рукавицы отняли у подвластнаго человѣка возможность приобретать себѣ самостоятельный житейскій опытъ, а неопытность оказалась тою широкою дорогою, по которой поѣхали на человѣка всякія искушенія и всякія ошибки. Такая-то участь и постигаетъ обыкновенно мужиковъ грознаго помѣщика, какъ только ослабѣваетъ или прекращается давленіе его тяжелой руки.

Нехлюдову слѣдовало все это сообразить прежде, чѣмъ онъ пріѣхалъ въ деревню, и предпринималъ свои благотворительныя нововведенія. Надо было сказать себѣ: грознымъ помѣщикомъ я быть не могу, если бы даже и желалъ имъ сдѣлаться. Дойною коровою я не хочу быть, потому что

это глупо и бесполезно. Значить, если я чувствую потребность расположить мои отношенія къ крестьянамъ сообразно съ моими гуманными стремленіями и убѣжденіями, то мнѣ остается только одна дорога: надо осторожно развязать, и потомъ совершенно уничтожить всѣ обязательныя отношенія, существующія между мною и этими людьми. Приступая разумнымъ образомъ къ освобожденію своихъ крестьянъ, Нехлюдовъ долженъ былъ, прежде всего, освободить самого себя отъ крѣпостной зависимости. Онъ живетъ трудами своихъ мужиковъ, или другими словами, доходами съ своего имѣнія. А человѣкъ, который серіозно желаетъ сдѣлать въ своей жизни что-нибудь дѣйствительно полезное, долженъ непремѣнно жить своими собственными трудами. Кто не въ состояніи, безъ посторонней помощи прокормить самого себя, тому нечего и думать о какой бы то ни было дѣятельности на пользу другихъ. Поэтому, Нехлову надо было, прежде всего, узнать свои собственные способности и выучиться какому-нибудь хлѣбному ремеслу. Сдѣлался ли бы онъ сапожникомъ или писателемъ, профессоромъ или кузнецомъ, машинистомъ или медикомъ, это уже совершенно все равно, и это вполнѣ зависитъ отъ особенностей его умственной и вообще физической организаціи. Важно только то, чтобъ онъ сталъ въ совершенно независимыя отношенія къ своему собственному капиталу, въ чемъ бы этотъ капиталъ ни заключался, въ крѣпостныхъ ли мужикахъ, или въ землѣ, или въ деньгахъ.

Весь смыслъ вещей, весь міръ неодушевленной природы и живыхъ людей совершенно измѣняется въ глазахъ человѣка, когда этотъ человѣкъ чувствуетъ и сознаетъ, что онъ самъ—рабочая сила, и что въ немъ самомъ, въ его головѣ и въ его рукахъ, заключается совершенно достаточное обезпеченіе его существованія, является смѣлость и предпримчивость, непостижимыя для капиталиста, который знаетъ очень хорошо, что капиталъ его лежитъ внѣ его личности, что этотъ капиталъ можетъ быть утраченъ, и что личность капиталиста, послѣ разлуки съ своимъ капиталомъ, должна превратиться въ нуль, или еще вѣрнѣе, въ минусъ. Ра-

ботникъ, владѣющій капиталомъ, можетъ позволить себѣ такую роскошь, на которую никакъ не можетъ отважиться простой капиталистъ; онъ можетъ рисковать своимъ капиталомъ изъ любви къ своей идеѣ; напримѣръ, онъ можетъ тратить его на научные опыты, на ученыя экспедиціи, на проведеніе въ жизнь своихъ гуманныхъ тенденцій. Онъ можетъ ставить послѣднюю копейку ребромъ, а такая способность выдерживать, не бастуя и не уменьшая ставки, до самаго конца игры, бываетъ часто совершенно необходима для успѣха всего предпріятія. Кромѣ того, кормить себя собственнымъ трудомъ—значить относиться къ какому-нибудь практическому дѣлу совершенно серіозно и добросовѣстно, безъ всякой примѣси шарлатанства или дилеттантизма. Чтобы относиться такимъ образомъ къ какому бы то ни было дѣлу, надо уже кое-что знать, надо предварительно присмотрѣться и къ самому себѣ и къ разнымъ особенностямъ житейской практики. Вслѣдствіе этого, кромѣ смѣлости и предпріимчивости, у работника есть опытность и смѣтливость, недоступныя очень многимъ изъ тѣхъ людей, которые спокойно питаются процентами съ своихъ капиталовъ. Значить, работникъ будетъ дѣйствовать смѣло, но расчетливо, то-есть, рисковать только тамъ, гдѣ дѣйствительно надо рисковать, и гдѣ важность успѣха совершенно окупаетъ собою невѣрность предпріятія. Итакъ:

Нехлюдовъ долженъ, прежде всего, сдѣлать изъ себя работника и испытать силы своего ума и характера надъ рѣшеніемъ той задачи, которая задалась въ жизни огромному большинству людей, то-есть, надъ самостоятельнымъ прокормленіемъ собственной особы. Для этого ему надо было бы непременно кончить курсъ въ университетѣ, а потомъ еще поучиться очень серіозно въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, во-первыхъ, для того, чтобы найти себѣ специальность, а во-вторыхъ, для того, чтобы достаточно усовершенствоваться въ этой специальности. Если бы Нехлюдовъ, послѣ такого приготовленія, рѣшился поселиться въ деревнѣ, то онъ, вѣроятно, придумалъ бы тамъ не свистѣлку, а настоящую молотилку. Дальнѣйшій же ходъ эмансипа-

ціонной работы не представляет никаких особенных затрудненій. Если имѣніе заложено, и если бы, вслѣдствіе этого, нельзя было отпустить на волю крестьянъ, то надо сначала выкупить имѣніе, а для человѣка, который живетъ собственнымъ трудомъ, и, стало быть, не нуждается въ доходахъ, это дѣло окажется совершенно исполнимымъ. Выкупилъ, отдалъ крестьянамъ полный надѣлъ земли, остальную землю продалъ въ другія руки для того, чтобы крестьяне видѣли возлѣ себя просто богатаго сосѣда, а не своего бывшего барина, связаннаго съ ними патріархальными преданіями, и обязаннаго оказывать имъ разныя щедроты, совершилъ всѣ формальности, отпускныя, дарственныя, купчія, да уѣхалъ съ вырученными деньгами заниматься своимъ ремесломъ. Вотъ самое простое и единственно возможное рѣшеніе той задачи, надъ которой такъ усердно и такъ безуспѣшно трудится Нехлюдовъ. Посвящать всю свою жизнь крестьянамъ нѣтъ рѣшительно никакой надобности. Пожалуйста, не посвящайте. Вѣдь, изъ этого посвященія выйдетъ только то, что вы будете тратить деньги, заработанныя крестьянами, или на безтолковыя благодѣянія или на сооруженіе свистѣльныхъ машинъ. Почему вы знаете, что вы способны быть помѣщикомъ, т.-е. агрономомъ, скотоводомъ и отчасти администраторомъ? Потому что вамъ досталось отъ отца имѣніе въ семьсотъ душъ? Это причина неудовлетворительная; тогда, значить, сынъ сапожника долженъ быть сапожникомъ, потому что отецъ оставляетъ ему въ наслѣдство колодку и шило. Такимъ путемъ мы приходимъ къ индійскимъ кастамъ, то-есть къ систематическому подавленію всякой личной оригинальности. Такого результата не можетъ желать ни одинъ здравомыслящій человѣкъ, и, стало быть, вы, господинъ Нехлюдовъ, должны быть не помѣщикомъ, а, можетъ быть, учителемъ математики, или чѣмъ-нибудь другимъ, смотря по тому, каковы ваши личные способности. А чтобы узнать свои способности, вы должны учиться, читать, размышлять, говорить съ умными людьми, а не закупоривать себя въ деревнѣ, и не аргументировать съ Юхванкой и Давыдкой.

Значить, съ какого конца ни возьми дѣло, вездѣ, оказывается все та же самая бѣда: незнаніе, и опять таки незнаніе. Гдѣ нѣтъ прочнаго знанія, тамъ вы не замѣните его ни усердіемъ, ни добродушіемъ, ни чистотою сердца, ни цѣломудріемъ, ни даже Иваномъ Яковлевичемъ. Все будетъ скверно, и все постоянно будетъ становиться хуже да хуже. Собственно для того, чтобы освѣтить съ разныхъ сторонъ эту очень старую истину, я остановился такъ долго на разборѣ повѣсти: „Утро помѣщика“. Иначе незачѣмъ было бы говорить о ней такъ подробно, потому что крѣпостныя отношенія, изображенныя въ этой повѣсти, уже давно укатились въ вѣчность „hinaus in's Meer der Ewigkeit“, какъ говоритъ Шиллеръ въ своихъ „Идеалахъ“. Но вопросъ о знаніи и полузнаніи постоянно стоитъ на очереди.

Въ послѣдній разъ мы встрѣчаемъ нашего стараго знакомаго, князя Нехлюдова, въ небольшомъ разсказѣ „Люцернъ“. Онъ, то-есть, не разсказъ, а Нехлюдовъ, путешествуетъ по Швейцаріи и записываетъ свои путевыя впечатлѣнія. Разсказъ „Люцернъ“ составляетъ маленький отрывокъ изъ этихъ записокъ. Дѣйствіе происходитъ въ Люцернѣ, и относится къ 7-му іюля 1857 года. Князю Нехлюдову въ это время, по моимъ хронологическимъ соображеніямъ, должно быть около 35 лѣтъ. Его характеръ надо считать уже окончательно сложившимся. Вотъ мы теперь и посмотримъ, какой результатъ выработался изъ тѣхъ задатковъ, съ которыми мы познакомились выше. Остановившись въ лучшей люцернской гостиницѣ, Швейцергофѣ, Нехлюдовъ, изъ окна своей комнаты, начинаетъ очень сильно восхищаться видомъ озера, горъ, и вообще всякой другой природы. „Мнѣ захотѣлось, говорить онъ, въ эту минуту обнять кого-нибудь, крѣпко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сдѣлать съ нимъ и съ собой что-нибудь необыкновенное“. Однако онъ никого не обнялъ, не защекоталъ и не ущипнулъ, вѣроятно потому, что его восторги въ значительной степени охлаждались видомъ набережной, „прямой, какъ палка“, и возбуждившей въ немъ, съ самой первой минуты,

непримиримую ненависть. „Безпрестанно, жалуется онъ, невольно мой взглядъ сталкивался съ этой ужасно прямой линіей набережной и мысленно хотѣлъ оттолкнуть, уничтожить ее, какъ черное пятно, которое сидитъ на носу подъ глазомъ; но набережная съ гуляющими англичанами оставалась на мѣстѣ, и я невольно старался найти точку зрѣнія, съ которой бы мнѣ ее было не видно“. Война Нехлюдова съ бѣлою палкою набережной прерывается тѣмъ, что его зовутъ обѣдать за общій столъ. За обѣдомъ для Нехлюдова начинаются новыя огорченія. Его чрезвычайно волнуетъ то обстоятельство, что странствующие англичане, которыми переполненъ Швейцергофъ, сидятъ слишкомъ чинно и занимаются во время обѣда процессомъ ѣды, а не веселыми разговорами. Во все время обѣда онъ размышляетъ объ англійской холодности, а потомъ, разогорченный ею до глубины души, идетъ шляться по городу въ самомъ невеселомъ расположеніи духа“. Тутъ ему становится еще грустнѣе. „Мнѣ становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, какъ это случается иногда безъ видимой причины при переѣздахъ на новое мѣсто“. Но въ это время какой-то уличный музыкантъ заигралъ на гитарѣ и началъ пѣть пѣсни, и Нехлюдову вдругъ сдѣлалось ужасно хорошо и даже очень пріятно жить на свѣтѣ. „Всѣ воспоминанія, невольныя впечатлѣнія жизни вдругъ получили для меня значеніе и прелесть. Въ душѣ моей какъ будто распустился свѣжій, благоухающій цвѣтокъ. вмѣсто усталости, разсѣянна, равнодушія ко всему на свѣтѣ, которыя я испытывалъ за минуту передъ этимъ, я вдругъ почувствовалъ потребность любви, полноту надежды и безпричинную радость жизни. Чего хотѣть, чего желать? сказало мнѣ невольно, вотъ она, со всѣхъ сторонъ, обступаетъ тебя красота и поэзія. Вдыхай ее въ себя широкими, полными глотками, на сколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебѣ еще надо! Все твое, все благо...“

Набережная передъ глазами — досадно! Англичане молчать — грустно! На гитарѣ заиграли — ужасно весело! Какъ вамъ нравится такой человѣкъ, у котораго вся нервная

система постоянно скрипитъ и ноетъ такъ или иначе, въ отвѣтъ на каждый ничтожный и мимолетный звукъ изъ окружающаго міра? Такихъ людей называютъ многіе впечатлительными, отзывчивыми, тонкочувствительными, художественными натурами; извѣстное лѣло, нѣтъ той дряни, которую нельзя было бы украсить какимъ-нибудь ласкательнымъ эпитетомъ; но мнѣ кажется, что такіе тонко организованные субъекты очень похожи на тѣхъ несчастныхъ больныхъ, которые, напивавшись ртутныхъ лѣкарствъ, превращаются въ ходячіе барометры, то есть, чувствуютъ ломоту въ костяхъ передъ каждою малѣйшею переменною погоды. Эта тонкость организаціи есть не что иное, какъ совершенное разстройство нервной системы, разстройство, порожденное праздною и безтолковою суетливостью. За неимѣніемъ серіозной цѣли и полезной работы, умъ кидается на пустяки, гоняется за призраками, раздражается своими тщетными попытками поймать то, что никому не дается въ руки, и наконецъ, благодаря такимъ упражненіямъ, человѣкъ доходитъ до какого-то полусумасшествія: постоянно волнуется, постоянно о чемъ-то хлопочетъ, и самъ не только не можетъ, но даже и не пробуетъ объяснить себѣ, чего ему надо, о чемъ онъ груститъ, чему онъ радуется и какой смыслъ имѣютъ всѣ его пошлыя бури въ стаканѣ воды. Когда человѣкъ дошелъ до такого безнадежнаго положенія, тогда, разумѣется, смѣшно и ожидать отъ него какой-нибудь дѣятельности; тогда надо просить его объ одномъ: садъ ты, голубчикъ, на мѣсто и постарайся поменьше кричать и кривляться. Но онъ и этой просьбы исполнить не въ состояніи; онъ все поетъ и все прыгаетъ, и ежеминутно откалываетъ такіа удивительныя штуки, какихъ ни одинъ здраво-мыслящій человѣкъ нарочно не сумѣлъ бы придумать.

Князь Нехлюдовъ находится именно въ этомъ положеніи совершеннаго умственного банкротства. Мысль и чувство его истрепались и измельчали до послѣдней крайности и дѣлаютъ ежеминутно нелѣпѣйшіе скачки, не имѣя уже силъ остановиться и сосредоточиться на какомъ бы то ни было отдѣльномъ впечатлѣніи. Когда звуки гитары и пѣсни от-

крыли Нехлюдову смыслъ всѣхъ тайнъ и загадокъ міровой жизни, тогда онъ подошелъ къ тому мѣсту, откуда слышались эти волшебные звуки. Онъ увидалъ, что пѣвецъ поетъ передъ балкономъ Швейцергофа; его слушаетъ вся блестящая публика, живущая въ этой гостиницѣ, но ни одинъ изъ слушателей не даетъ ему ни копейки, когда онъ, по окончаніи пѣсни, снимаетъ шляпу и произноситъ просительную фразу. Нехлюдовъ пользуется этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы немедленно вознегодовать. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что въ этомъ фактѣ дѣйствительно нѣтъ ничего хорошаго, но я рѣшительно не могу себѣ объяснить, какимъ образомъ мужчина зрѣлыхъ лѣтъ можетъ находить подобные факты сколько-нибудь для себя удивительными. Мальчику позволительно кипятиться при видѣ cadaго неразумнаго или безчестнаго дѣла. Для мальчика это кипяченіе даже положительно необходимо; оно пробуждаетъ его силы и внушаетъ ему желаніе бороться за то, что онъ считаетъ разумнымъ и справедливымъ. Но мальчикъ замѣтитъ очень скоро, что бороться разомъ противъ всего, значитъ тратить свои силы на вѣтеръ. Въ результатѣ можетъ получиться только крайнее утомленіе слишкомъ ретиваго бойца. Чтобы успѣть хоть въ чемъ-нибудь, надо непременно взять себѣ какую-нибудь отдѣльную задачу, и заняться добросовѣстно ея разрѣшеніемъ, не кидаясь по сторонамъ и не хватаясь съ безразсудною жадностью за всѣ мелкія проявленія зла, которыя ежеминутно попадаютъ навстрѣчу каждому цивилизованному европейцу. Когда мальчикъ, такимъ образомъ, окончательно выяснилъ себѣ свою отдѣльную задачу, и когда онъ серіозно принялся за свою специальную работу, тогда мы можемъ сказать о немъ, что онъ сдѣлался зрѣлымъ мужчиною. Этотъ зрѣлый мужчина, встрѣчаясь съ какимъ-нибудь проявленіемъ нечѣстности, говоритъ самому себѣ совершенно спокойно: знаю я эту штуку, и корень ея знаю, и работаю я противъ нея такъ и такъ. А негодовать я не намѣренъ, да и разучился я заниматься этимъ пустымъ дѣломъ. Негодованіе есть мимолетный взрывъ чувства, а я вовсе не намѣренъ тратить мое чувство на

пускание такихъ мыльныхъ пузырей. Мое чувство есть сила, приводящая въ движеніе весь мой организмъ, и эта сила приложена навсегда къ той работѣ, которую я себѣ выбралъ. Чувство негодующихъ людей есть то крошечное количество пара, которое, чортъ знаетъ зачѣмъ, поднимаетъ кверху крышку кипящаго самовара. А мое чувство, есть тотъ же паръ, но только проведенный въ такую благоустроенную машину, которая поднимаетъ тяжести и вертитъ колеса.

Нехлюдовъ, разумѣется, остановился навсегда въ положеніи самовара, фыркающаго очень громко и совершенно безтолково. Ему сдѣлалось очень досадно, зачѣмъ обитатели Швейцергофа не дали денегъ странствующему пѣвцу. Ну что-жъ съ ними дѣлать? Вѣдь, подь судъ ихъ отдать за это нельзя? Значить, надо было только наградить обиженного пѣвца, то-есть, заплатить ему разомъ столько, сколько онъ могъ ожидать отъ всѣхъ своихъ слушателей. Нарушенная справедливость была бы совершенно восстановлена, но Нехлюдовъ не можетъ поступить такимъ образомъ, потому что это было бы слишкомъ просто. Онъ догоняетъ уходящаго пѣвца, и приглашаетъ его выпить вмѣстѣ съ нимъ бутылку вина. Что-жъ? И это не дурно. Но дурно то, что Нехлюдову тотчасъ приходится въ голову устроить, посредствомъ этой выпивки, какую-то демонстрацію въ пику и въ назиданіе жестокосердымъ и скупымъ обитателямъ Швейцергофа. Вотъ это ужъ никуда негодится, потому что такая демонстрація вовсе не пріятна для пѣвца, и не полезна ни для кого на свѣтѣ. Пѣвецъ предлагаетъ Нехлюдову войти въ простую распивочную лавочку, но Нехлюдовъ, по своей дурацкой фантазіи, тащитъ смущеннаго пѣвца въ настоящій Швейцергофъ. Это значитъ: пляши по моей дудкѣ, потому что я русскій баринъ, и потому что я тебя холю, угощаю. Это какъ нельзя больше напоминаетъ мнѣ Ситникова, который кричитъ на мужиковъ: „надѣньте шапки, дураки!“ Шапки они должны надѣвать потому, что Ситниковъ прогрессистъ; а дураками они оказались потому, что Ситниковъ баринъ. — Приходятъ въ Швейцергофъ. Ихъ

отводятъ въ залу для простаго народа, и тутъ начинается геройская борьба Нехлюдова противъ аристократизма, воплотившагося на этотъ вечеръ въ лакеяхъ блестящей гостиницы. Нехлюдову предлагаютъ простаго вина, но онъ, „стараясь принять самый гордый и величественный видъ“, требуетъ „шампанскаго и самаго лучшаго“. Подаютъ шампанское, и вмѣстѣ съ шампанскимъ приходятъ два лакея посмотрѣть на потѣшное представленіе, которое даромъ разыгрываетъ нашъ полоумный соотечественникъ. „Два изъ нихъ сѣли около судомойки, и, съ веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицахъ, любовались на насъ, какъ любятъ родители на милыхъ дѣтей, когда они мило играютъ“. Соотечественникъ нашъ чувствуетъ себя смущеннымъ, но утѣшаетъ себя тою мыслью, что путь добродѣтели всегда усыпанъ колючими терніями. „Хотя, говоритъ онъ, мнѣ было и очень тяжело и неловко подъ огнемъ этихъ лакейскихъ глазъ бесѣдовать съ пѣвцомъ и угощать его, я старался дѣлать свое дѣло сколь возможно независимо“. Это признаніе доказываетъ намъ, что наши соотечественники тратятъ за границею на безполезные подвиги не только свои деньги, но и свою энергію. Враги нашего соотечественника сдвигаютъ свои силы. „Швейцаръ, не снимая фуражки, вошелъ въ комнату, и, облокотившись на столъ, сѣлъ подлѣ меня. Это послѣднее обстоятельство, задѣвъ мое самолюбіе и тщеславіе, окончательно взорвало меня и дало исходъ той давившей злобѣ, которая весь вечеръ собиралась во мнѣ... Я совсѣмъ озлился той кипящей злобой негодованія, которую я люблю въ себѣ (странный вкусъ!), возбуждаю даже, когда на меня находятъ (самъ сознается, что *на него находятъ*), потому что она успокоительно дѣйствуетъ на меня и даетъ мнѣ хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергію и силу всѣхъ физическихъ и моральныхъ способностей“. (Насчетъ *моральныхъ способностей* позволю себѣ выразить сомнѣніе, потому что, какъ мы увидимъ дальше, онъ совершенно подавляются и помрачаются той *кипящей злобой негодованія*, которую онъ *любитъ и даже возбуждаетъ въ себѣ*).

Воскипѣвшій самоваръ Нехлюдовъ тотчасъ изливаетъ на преступныхъ лакеевъ потоки глупой, но язвительной рѣчи. — „Какое вы имѣете право смѣяться надъ этимъ господиномъ и сидѣть съ нимъ рядомъ, когда онъ гость, а вы лакей? Отчего вы не смѣялись надо мной нынче за обѣдомъ (лакей могъ бы на это отвѣчать: я тогда еще не зналъ, что вы такой шутъ гороховый) и не садились со мной рядомъ? Оттого, что онъ бѣдно одѣтъ и поетъ на улицѣ, а на мнѣ хорошее платье? Отъ этого? Онъ бѣденъ, но въ тысячу разъ лучше васъ, въ этомъ я увѣренъ; потому что онъ никого не оскорбилъ, а вы оскорбляете его. — Да я ничего, что вы, робко отвѣчалъ мой врагъ-лакей. Развѣ я мѣшаю ему сидѣть? — Лакей не понималъ меня, и моя нѣмецкая рѣчь пропадала даромъ. Последнее предположеніе Нехлюдова совершенно несправедливо. Судя по отвѣту лакея, можно утверждать, напротивъ того, что онъ превосходно понималъ и даже разбилъ на голову нашего свирѣпаго оратора. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, вся рѣчь Нехлюдова имѣла бы хоть какой-нибудь смыслъ только въ томъ случаѣ, когда бы лакей мѣшалъ пѣвцу сидѣть. А иначе Нехлюдовъ попадаетъ въ безвыходное противорѣчіе. Слава уличнаго пѣвца на ряду съ блестящими гостями Швейцергофа, онъ уничтожаетъ сословныя перегородки, а потомъ онъ тотчасъ, во имя этихъ уничтоженныхъ перегородокъ, кричитъ на лакеевъ, и приказываетъ имъ встать. Это еще гораздо глупѣе Ситниковскаго восклицанія: „надѣньте шапки, дураки!“ — Кромѣ того, само собою разумѣется, что эта сцена испортила пѣвцу все удовольствіе выпивки. Онъ самымъ жалобнымъ образомъ начинаетъ проситься домой, но Нехлюдовъ только-что вошелъ въ настоящій вкусъ той кипящей злобы негодованія, которою онъ любитъ угощать самого себя. Онъ съ сильнымъ нахальствомъ тащитъ бѣднаго пѣвца на новыя мытарства. Выпилъ, дескать, каналья, такъ утѣшай барина до самаго конца. Соотечественникъ нашъ требуетъ, чтобы его, вмѣстѣ съ пѣвцомъ, вели въ парадную залу. Въ рѣчи, которую онъ произноситъ по этому поводу, есть и политика, и нравственная философія, и поэтическіе об-

разы, и арифметическія соображенія. „И отчего вы привели меня съ этимъ господиномъ въ эту, а не въ ту залу? А? допрашивалъ я швейцара, ухвативъ его за руку съ тѣмъ, чтобы онъ не ушелъ отъ меня. Какое вы имѣли право по виду рѣшать, что этотъ господинъ долженъ быть въ этой, а не въ той залѣ? Развѣ, кто платить, не всѣ равны въ гостиницахъ? Не только въ республикѣ, но во всемъ мірѣ. Паршивая ваша республика!... Вотъ оно равенство. Англичанъ вы бы не смѣли провести въ эту комнату, тѣхъ самыхъ англичанъ, которые даромъ слушали этого господина, то-есть украли у него каждый по нѣскольку сантимовъ, которые должны были дать ему. Какъ вы смѣли указать эту залу?“

Если вы представите себѣ, что вся эта бурда хорошихъ словъ была вылита на голову несчастнаго швейцара, котораго держать за руку, чтобы онъ не ушелъ, то вы, вѣроятно, согласитесь, что, можетъ быть, никогда еще типъ неисправаемого фразера или безтолковаго идеалиста не являлся передъ вами въ болѣе смѣшномъ и печальномъ положеніи.— Не забудьте, что это положеніе вытекаетъ самымъ естественнымъ образомъ изъ всѣхъ, уже извѣстныхъ намъ подробностей о воспитаніи и изъ прежней дѣятельности Нехлюдова, не забудьте, что мы, по повѣстямъ Толстого, можемъ прослѣдить шагъ за шагомъ формированіе этого страшно-болѣзненнаго характера, не забудьте всего этого, говорю я, и тогда только вы убѣдитесь въ томъ, что повѣсти Толстого дѣйствительно заслуживаютъ самаго внимательнаго изученія.—Нехлюдовъ одерживаетъ побѣду надъ лакеями и входитъ триумфаторомъ въ парадную залу. „Зала была дѣйствительно отперта, освѣщена и за однимъ изъ столовъ сидѣли, ужиная, англичанинъ съ дамою. Несмотря на то, что намъ указывали особый столъ, я съ грязнымъ пѣвцомъ подсѣлъ къ самому англичанину и велѣлъ сюда подать намъ неконченную бутылку“. Нехлюдовъ злится на англичанъ за ихъ чванство и за то, что они ничего не дали пѣвцу. Онъ хочетъ имъ сдѣлать какую-нибудь непріятность, и для этого пускаетъ въ ходъ своего пѣвца, какъ комокъ грязи,

который онъ кладетъ чуть-чуть не на тарелку ужинающихъ англичанъ. Англичане очень неправы; съ ихъ стороны очень непохвально брезгать человѣкомъ потому, что этотъ человѣкъ бѣденъ. Но Нехлюдовъ, вступающійся за этого бѣднаго человѣка, унижаетъ и тиранитъ его еще гораздо сильнѣе; вы представьте себѣ только, каково должно быть положеніе пѣвца, котораго превратили, такимъ образомъ, въ пассивное орудіе, и притомъ въ орудіе наказанія. Его присутствіемъ наказываютъ другихъ людей; согласитесь, что трудно вообразить себѣ что-нибудь глупѣе и мучительнѣе его роли, и Нехлюдовъ самъ сознается, что бѣдный пѣвецъ сидѣлъ въ парадной залѣ „ни живъ ни мертвъ“, и торопливо допилъ все, что оставалось въ бутылкѣ, лишь бы только поскорѣе выбраться вонъ. А тѣ англичане, которыхъ Нехлюдовъ хотѣлъ наказывать, разумѣется, тотчасъ же ушли изъ залы, такъ что вся мучительная непріятность положенія обрушилась исключительно на несчастную причину торжества, то-есть, на бѣднаго пѣвца, которому Нехлюдовъ хотѣлъ сначала доставить удовольствіе.

Вѣдь, есть же, въ самомъ дѣлѣ, такіе люди, у которыхъ мысль не можетъ ни на минуту остановиться на одномъ предметѣ, и которые, вслѣдствіе этихъ изумительныхъ скачковъ своей мысли, не могутъ довести до конца самаго простаго дѣла. И всего замѣчательнѣе въ психологическомъ отношеніи то обстоятельство, что многіе изъ этихъ полупомѣшанныхъ людей, дѣлая поразительныя глупости каждый Божій день, съ ранняго утра до поздней ночи, въ то же время никакъ не могутъ быть названы глупыми людьми. Надѣлавъ множество нелѣпостей, эти господа сами начнутъ разбирать свое диковинное дѣло, и обнаружатъ въ своемъ анализѣ такъ много наблюдательности, тонкаго юмора и безпощадной ироніи надъ своими собственными ошибками, что вы будете вслушиваться въ ихъ рѣчи съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и съ самымъ сознательнымъ сочувствіемъ. Тотъ самый Нехлюдовъ, который держалъ швейцара за руку, чтобы пожаловаться на паршивость люцернской республики, тотъ самый Нехлюдовъ, говорю я, черезъ

нѣсколько минутъ послѣ ухода несчастнаго пѣвца, называетъ свою *кипащую злобу недовольства*—дѣтскою и глупою. Тотъ самый Нехлюдовъ описываетъ весь этотъ эпизодъ съ неподражаемымъ оттѣнкомъ грустнаго и задумчиваго юмора. И тотъ же самый Нехлюдовъ на другой день, навѣрное, ухитрится сочинить новую нелѣпость, которая опять заставитъ его смѣяться и грустить надъ своею собственною изломанною и искривлявшеюся особою.

Глупить и размышлять надъ сдѣланными глупостями, размышлять и потомъ опять глупить — вотъ все внутреннее содержаніе въ жизни людей, подобныхъ Нехлюдову. И нѣтъ такого сильнаго ума, который не пришелъ бы къ тому же самому безнадежному положенію, если онъ не воспитаетъ самого себя въ строгой школѣ положительной науки и полезнаго труда. Всѣ мы знаемъ давно, что человѣкъ—существо слабое, безпомощное и несчастное, пока онъ, своими единичными силами, пробуетъ бороться противъ силъ физической и органической природы, то-есть, противъ стихій и противъ дикихъ животныхъ. И тотъ же самый человѣкъ, соединяя свои силы съ силами другихъ людей, подчиняетъ себѣ воду и вѣтеръ, паръ и электричество, міръ растений и міръ животныхъ. Тотъ же самый законъ, въ полномъ своемъ объемѣ, прилагается, какъ нельзя лучше, къ развитію и совершенствованію отдѣльнаго человѣческаго ума. Умъ нашъ не можетъ развернуться правильно, онъ не можетъ даже оставаться крѣпкимъ и здоровымъ, если мы не будемъ соединять силъ нашего ума съ умственными силами другихъ людей. Въ общечеловѣческой наукѣ соединяются всѣ умственные силы всѣхъ отжившихъ и всѣхъ живущихъ поколѣній, и поэтому, искать себѣ умственнаго развитія *одинъ* науки—значитъ обрекать свой умъ на уродливое, мучительное и неизлечимое безсиліе. Въ этой мысли нѣтъ рѣшительно ничего новаго, но повторять и даже доказывать ее все еще необходимо. Мы были бы очень умными, и очень счастливыми людьми, если бы многія старыя истины, обратившіяся уже въ пословицы, или украшающія собою наши азбуки и прописи, перестали быть для насъ мертвыми

и избитыми фразами. Слова наши часто бывают очень хорошими словами, но въ томъ-то и горе наше великое, что они навсегда остаются словами, и что мы сами уже давно къ нимъ прислушались, и, потерявши всякое довѣріе къ пустому звуку, забыли въ то же время и основную мысль, вѣчно живую и вѣчно плодотворную *).

Д. И. Писаревъ.

1865 г.

**) Критическій этюдъ г. Е. Маркова о „Казакахъ“ начинается характеристикой сущности современной критики. Затѣмъ г. Марковъ говоритъ, что онъ относитъ произведение „Казаки“ къ разряду истинно-художественныхъ, всегда важныхъ и всегда интересныхъ, что именно и заставило его написать критическій очеркъ объ этомъ произведеніи. Далѣе слѣдуетъ нѣсколько замѣчаній о томъ, какъ „Казаки“ были встрѣчены въ литературѣ. Затѣмъ г. Марковъ слѣдующимъ образомъ анализируетъ типы „Казаковъ“:

Дядя Ерошка.

Съ точки зрѣнія художественнаго совершенства, лучший типъ, созданный гр. Л. Толстымъ въ его послѣднемъ романѣ—это, мнѣ кажется, безспорно, казакъ Ерошка—типъ, глубоко постигнутый, оригинальный и живой. Но онъ мало понятенъ людямъ, въ глазахъ которыхъ трогательное положеніе, страстный языкъ, благородство стремленія — маски-

*) Въ другомъ мѣстѣ, а именно въ статьѣ „Дѣты невиннаго юмора“ Писаревымъ между прочимъ упоминается о Толстомъ: „Въ послѣднее пятилѣтіе, говоритъ онъ, не было рѣшительно ни одного чисто литературнаго успѣха; чтобы не упасть, беллетристика принуждена была прислониться къ текущимъ интересамъ дня, часа и минуты; всѣ беллетристическія произведенія, обращавшія на себя вниманіе общества, возбуждали говоръ единственно потому, что касались какихъ-нибудь интересныхъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Вотъ вамъ примѣръ: „Подводный Камень“, романъ, стоящій по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имѣетъ громкій успѣхъ, а „Дѣтство, отрочество и юность“ графа Л. Толстого, вещь замѣчательно хорошая по тонкости и вѣрности психологическаго анализа, читается холодно, и проходитъ почти незамѣченною“. (Собр. соч. Д. И. Писарева, ч. I, стр. 203).

**) Е. Марковъ. „Отечественныя Записки“ 1865 г., № 1 и 2; статья подъ заглавіемъ: „Народные типы въ нашей литературѣ“.

руют истинную художественность изображенія. Въ этой чертѣ у подобныхъ людей есть что-то общее съ французами. Нравственная высота типа у нихъ неизбѣжнымъ образомъ смѣшивается съ художественною выработкою его. Шекспира они врядъ ли могутъ понимать, какъ слѣдуетъ; оттого такъ рѣдко встрѣчаются люди, особенно же женщины, способные безъ фальши наслаждаться Шекспиромъ. А дядя Ерошка, именно—типъ Шекспировской школы—типъ безъ добродѣтели, безъ приличій въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ эти слова понимаются большинствомъ; сырой, поченный человѣкъ, управляющійся преимущественно темпераментомъ...“ (Далѣе г. Марковъ, по поводу того, что г-жа Е. Туръ при разборѣ дяди Ерошки вспомнила Куперовскаго Патфайндера, вдался въ нѣкоторыя подробности относительно Купера и его Патфайндера).

„Ерошка у гр. Толстого вышелъ именно всѣмъ *тѣмъ*, чѣмъ не является Куперовъ Патфайндеръ, и чѣмъ между тѣмъ онъ необходимо долженъ бы былъ явиться: человѣкомъ своей среды, своего ремесла, своего прошедшаго. Этими условіями реализмъ отличается отъ романтизма, и ими же дядя Ерошка гр. Толстого становится выше Куперовскаго Патфайндера. Дадимъ, однако, себѣ точный отчетъ въ этомъ типѣ и посмотримъ, какія главные черты составляютъ его характеръ.

Дядя Ерошка прежде всего *казакъ*. Какъ линейный казакъ, соперникъ и сосѣдъ чеченца, онъ проникнуть насквозь духомъ молодечества; но его молодечество не чопорная бравада французскаго рыцаря, не дикое безстрашіе скандинавскаго бирзеркера; онъ не просто молодецъ, а *казакъ-молодецъ, джигитъ*, какъ онъ самъ любитъ называть подобныхъ себѣ. Джигиту, по догматамъ джигитовъ, великая честь подстеречь неосторожнаго врага и просадить ему пулей голову изъ потаеннаго мѣста; джигиту великая слава тайкомъ отправиться съ товарищемъ въ аулы мирныхъ ногайцевъ и угнать отъ нихъ въ горы табунъ или стадо, хотя бы пришлось для этого задушить спящихъ пастуховъ и разорить деревню. Искусно, а главное, *безнаказанно украсть*

что-нибудь у чужого — даетъ джигиту такое же право на уваженіе товарищей, какое мы, цивилизованные люди, признаемъ за великими нашими дипломатами, умѣющими оттягивать отъ иностранной державы лишнюю сотню миль или лишній миллионъ франковъ. Ему его воровство кажется столь же мало безчестнымъ, какъ англичанину плутни его дипломатіи.

Дядя Ерошка вѣрить въ свои догматы, какъ въ свои пять пальцевъ; онъ обнаруживаетъ ихъ не только съ полною откровенностью, но даже съ хвастовствомъ и съ гордостью человѣка, сознающаго размѣръ своихъ заслугъ...“ (Слѣдуетъ выписка изъ повѣсти, начинающаяся словами: „Не засталъ ты меня въ мое золотое времечко“... и кончающаяся: „Нынче ужъ и казаковъ такихъ нѣтъ. Глядѣть скверно“).

„Къ людямъ, не понимающимъ его догматовъ — неодобреніе онъ можетъ считать только за непониманіе — дядя Ерошка относится какъ къ неразумнымъ ребятамъ полупрезрительно, полунасмѣшливо, полужалѣя. Онъ даже считаетъ за лишнее убѣждать ихъ тѣмъ болѣе, что по натурѣ своей исполненъ терпимости къ слабостямъ другихъ. Но зато онъ серіозно уважаетъ и отличаетъ истиннаго джигита, что значитъ *истиннаго человѣка*, по идеалу дядей Ерошекъ. Лукашка, застрѣлившій абрека, Лукашка, воровавшій съ Гирей-ханомъ, въ его глазахъ есть лучшій исполнитель своего призванія, своего долга. За его удачу онъ полюбилъ его какъ родного сына; онъ его учитъ, интересуется имъ, любитъ на него, расхваливаетъ его другимъ; между ними устанавливается крѣпкая нравственная связь помимо расчетовъ и вѣшной случайности. Эту черту слѣдовало бы разглядѣть критикамъ изъ-за диническихъ прибаутокъ сѣдого казака. Развѣ, собственно говоря, онъ не нравственъ? Развѣ онъ нигилистъ или скептикъ? Онъ вѣрить въ *свой* долгъ, можетъ быть, крѣпче, чѣмъ мы въ свой; онъ и на дѣлѣ *исполняетъ* свой долгъ такъ же крѣпко. Но критика обидѣлась, *зачѣмъ его долгъ — не нашъ долгъ*, его символъ вѣры — не нашъ, имъ бы хотѣлось, чтобы пограничная

казацкая станица, устроенная съ цѣлью непрерывнаго надзора за горными хищниками — станица, жители которой каждую ночь подвергаются удовольствію проснуться съ перерѣзаннымъ горломъ или ограбленными до нитки, выработала для себя кодексъ морали, пригодный милымъ дѣтямъ въ разглаженныхъ манишечкахъ и голубенькихъ рубашечкахъ, которыхъ гувернантка-француженка водить по утрамъ къ ручкѣ мамыши, а въ полдень обучаетъ оксильерамъ. Имъ бы хотѣлось, чтобы юный казакъ Лукашка, просидѣвшій до зари въ холодной грязи камышей съ взведеннымъ куркомъ и, не смыкая глазъ, по утру явился бы чистенькимъ мальчикомъ и, преклонивъ колѣна, вознесъ бы вмѣстѣ съ пернатыми утренній гимнъ Творцу: *Oh, rège, qu'adore mon rège! Toi, qu'on ne potme qu'à genoux...* Не знаю—во что бы обратилась исторія народовъ отъ примѣненія къ ней плодотворнаго метода г-жи Туръ. Мы бы должны были послать въ монастырь на покаяніе 500 миллионъ обитателей небесной имперіи за то, что они не соблюдаютъ постовъ, и посадить на сѣзжую всѣхъ бедуиновъ Іемена за проживаніе въ степи безъ предъявленія паспортовъ квартальному надзирателю.

Другая черта, усложняющая характеръ стараго казака—это то, что онъ охотникъ, бродяга. Охота придаетъ его физиономіи и его воззрѣніямъ болѣе личный колоритъ. Она дѣлаетъ его еще большимъ непосѣдою, чѣмъ обыкновенно бываетъ казакъ. Она до такой степени осваиваетъ его съ зоологическою жизнью лѣсовъ, что онъ едва отличаетъ въ своихъ понятіяхъ дикую свинью отъ чужого человѣка. Онъ въ звѣрѣ видитъ живое существо съ разсудкомъ, чувствомъ, обычаями иными, чѣмъ у казака или чеченца, но иными въ томъ же смыслѣ, какъ у нѣмца въ сравненіи съ русскимъ, у татарина съ жидомъ. Это придаетъ его міросозерцанію что-то пантеистическое и вмѣстѣ поэтическое, патфайндеровское. Тутъ онъ причется не за общеказацкимъ догматомъ, а за плодомъ личныхъ наблюденій, за выводомъ своего многолѣтнаго и внимательнаго общенія съ природою. Онъ втянулся въ нее со всѣмъ съ головою и инстинктивно чувствуетъ себя ея не-

раздѣльною частью, однимъ изъ тѣхъ ея созданій, которымъ нельзя счета найти, которыя наполняютъ непроходимые лѣса и камыши, и тайныя подземныя норы, и безграничныя травяныя степи. Съ зари и до зари, изъ году въ годъ сидитъ и бродитъ онъ въ этихъ камышахъ и подъ этими чинарами; онъ застаётъ своими собственными глазами всевозможные моменты животной жизни: слѣдитъ выдру подъ водой, подманиваетъ тетеревовъ, обходитъ лежку кабана. Передъ нимъ и они слѣдятъ и ловятъ другъ друга, употребляютъ то же насиліе и тотъ же обманъ, какъ человѣкъ; какъ онъ, требуютъ пищи и покоя, и удовлетворенія страстямъ; какъ онъ, рождаются въ болѣзняхъ и сосутъ молоко матери, мукаются, укрѣпляясь тѣломъ и смысломъ, болѣютъ и умираютъ, скорбятъ и радуются. Какъ у него, у нихъ есть жены и семейства, и домашній кровъ, и родная земля, любовь и дружба, страхъ и гнѣвъ. Другіе могутъ этого не знать, могутъ исказить съ разными цѣлями представленія свои о животныхъ тваряхъ. Но дядѣ Ерошкѣ не знать звѣря нельзя, и унижать звѣря нѣтъ никакой причины. Онъ лучше всѣхъ знаетъ, что между нимъ и кабаномъ бездна не безмѣрно велика; знаетъ уже по тому одному—какое напряженіе физическихъ силъ, энергіи и умственной изобрѣтательности необходимо ему употребить для одолѣнія этого звѣря, то-есть для фактическаго доказательства своего превосходства надъ нимъ. Это напряженіе ощущается имъ слишкомъ осязательно и непосредственно, чтобы не быть сознаннымъ“.

(Слѣдуетъ разсказъ Ерошки, начинающійся словами: „Все сидишь, думаешь. Да какъ заслышишь...“ Послѣднія слова: „Эхма! глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ, человѣкъ!“ повторилъ нѣсколько разъ старикъ и опустивъ голову, задумался“...).

„Отсюда прямо вытекаютъ религіозныя представленія дяди Ерошки. Онъ не въ силахъ раздѣлить свою судьбу отъ судьбы милліоновъ другихъ созданій, такъ близко къ нему подходящихъ, составляющихъ, такъ сказать, его домочадцевъ, знакомцевъ и соотечественниковъ. Я увѣренъ, что

и Патфайндеръ не могъ бы помириться съ мыслию о томъ, что его собаки разстанутся съ нимъ послѣ его смерти; сдается мнѣ, что въ „Американскихъ степяхъ“, заключительномъ романѣ всей группы Патфайндеровскихъ романовъ, старый охотникъ выражаетъ именно противоположную мысль по поводу смерти своего любимого пса. Во всякомъ случаѣ, это совершенно въ духѣ Патфайндера, идеалиста, романтика. У дяди Ерошки то же приравненіе себя къ животному, но только болѣе реальное, основанное на опытѣ. Онъ видѣлъ, какъ умирали чеченцы, олени и казаки, и видѣлъ, что гдѣ они гнили—трава выросла. Старый казакъ когда-то сказалъ ему, что *все то фальшь, что уставщики говорятъ*; эта мысль и застряла у него въ головѣ, потому что она вполнѣ подтверждала его собственный опытъ. Удивительно ли, что формальныя толкованія раскольничьихъ книгъ полуграмотными начѣтчиками, толкованія о какихъ-то неувимыхъ, отвлеченныхъ предметахъ языкомъ нечеловѣчески-изломаннымъ — казались одною фальшью челоуѣку лѣса и поля, привыкшему не къ рѣчи, а къ дѣлу, не къ скучной книгѣ, а къ свѣжей природѣ.

Религіозныя воззрѣнія дяди Ерошки даже не кажутся намъ какимъ-нибудь исключительнымъ явленіемъ въ жизни простого народа. Это не какой-нибудь Lucifer Бартольда Ауэрбаха, не какой-нибудь, *esprit fort*, возстающій противъ старыхъ догматовъ во имя чего-либо новаго. Дядя Ерошка, по болтливости стараго кутилы и празднаго охотника, весь нараспашку за кружкой чихиря. Оленинъ простъ, по его мнѣнію; онъ его не опасается, не стѣсняется имъ, а говоритъ по душѣ. Въ сущности же онъ и религіозентъ не болѣе большинства. Надо еще замѣтить, что дядя Ерошка даже и въ такомъ откровенномъ расположеніи духа боится формулировать свои сомнѣнія въ сколько-нибудь рѣшительный выводъ; онъ разомъ прекращаетъ разговоръ, когда замѣчаетъ соблазнительность его исхода...

(Приводится разговоръ между Оленинымъ и Ерошкой, начинающійся словами: „Я, бывало, со всѣми кунакъ...“ и

заканчивающийся: „А ты какъ думаешь? — Пей! закричалъ онъ, смѣясь и поднося вино“...).

„Въ этой мимолетной бесѣдѣ бродяги-старика сказалось многое хорошее, что есть у человѣка: безотчетная вѣра въ благодѣть Божію, сильное чувство своей связи съ природою, снисходительность къ людямъ и крѣпкій здравый смыслъ, сопротивляющійся, по-своему, антипатичному для него лжеученью.

Третья характерная черта дяди Ерошки — это его эпикуреизмъ на казацкій ладъ. Онъ не можетъ подчиниться условіямъ гражданской жизни, дисциплинѣ арміи, дисциплинѣ закона. Онъ не боится труда, но не выноситъ принужденія. Вѣдь, издыхаютъ же въ клѣткахъ самые сильные и здоровые звѣри. Рожденный въ лѣсахъ Терека, среди горъ, онъ не можетъ разстаться съ почвою, его вскормившей. Онъ питается корочкою хлѣба, когда нечего съѣсть, но онъ зато не работаетъ и не служитъ. Онъ всегда господинъ своего времени и своей воли: идетъ куда вздумаетъ, зачѣмъ вздумаетъ, къ кому вздумаетъ. Попробуйте назначить горному хищнику — орлу или коршуну — гдѣ и какъ онъ долженъ ловить свою добычу. Для дяди Ерошки жизнь есть свобода, иначе онъ не въ состояніи мыслить жизнь. День и ночь онъ шатается по камышамъ, по колючимъ кустарникамъ, по глухимъ лѣсамъ. Онъ едва спитъ: до зари уже съ ружьемъ. *Сидѣть въ хатѣ онъ просто не умѣетъ.*

„Что дома-то сидѣть? только нагрѣшишь, пьянъ надуешься. Еще бабы тутъ придутъ, тары да бары; мальчишки кричатъ, угоришь еще; то ли дѣло на зоркѣ выйдешь?...“ и т. д.

Но уже если разъ онъ дома, ему хочется побаловать себя, ему хочется веселой компаніи за бутылкой чихиря, и, конечно, чужого чихиря, потому что своего хозяйства у него нѣтъ. Поэтому онъ такъ любитъ простыхъ людей, въ родѣ Оленина, то-есть такихъ, у которыхъ можно выпить. Онъ ихъ по чутью узнаетъ, и сходится съ ними въ одну минуту. Но тутъ дѣйствуетъ не одно побужденіе

выпивки и блюдолизничества. Дядя Ерошка не унижается чужимъ угощеніемъ и не считаетъ его за подачку, за милость. Онъ твердо убѣжденъ, что самъ понадобится не нынче—завтра, и что его услуга будетъ несколько не меньше, хотя и въ другомъ родѣ. У него нѣтъ чихиря, но можетъ быть кабанья свѣжина, и тогда ему вся станица кланяется; нѣтъ пороха, но зато бываютъ фазаны. Оттого онъ за чужимъ столомъ, какъ за своимъ: посылаетъ Оленинскаго денщика покупать чихирь на деньги Оленина, будто въ свой собственный погребъ, всѣмъ распоряжается безъ всякаго смущенія и стѣсненія. Но въ немъ чувствуется не безстыдникъ, не эксплуататоръ, а щедрая душа, привыкшая вездѣ раскошеливаться. Посмотрите, сколько привлекательнаго въ этомъ откровенномъ, безхитростномъ подступѣ его къ Оленину, въ минуту перваго знакомства. Это именно подступъ простой души, не знающей и знать не желающей той условной лжи, которой сложная система стремится совсѣмъ замѣнить нашу жизнь...“

Далѣе г. Марковъ приводитъ разговоръ Ерошки съ Оленинымъ въ первую минуту ихъ знакомства между собою. Затѣмъ, выписывая разныя сцены изъ повѣсти, г. Марковъ объясняетъ доброту, прямоту и широту человѣческой натуры дяди Ерошки. Въ заключеніе критикъ говоритъ о Ерошкѣ:

„Ерошка очарователенъ именно своею реальностію, полнотою, а не выдуманностію и односторонностію. Онъ—человѣкъ практическій, живетъ легко и весело. Впечатлѣнія его не глубоки, но живы, взглядъ широкій, свѣтлый и спокойный. Иначе бы и не дожить ему въ такомъ кабаньѣмъ здоровьѣ до сѣдой бороды, не быть бы въ 70 лѣтъ румяно-рожимъ кутилой и пласуномъ. Изъ этихъ условій вытекаетъ его благорасположеніе къ людямъ, его поэтическое чувство природы; но въ жизни его не существовало никакихъ условій, способныхъ очистить его характеръ, языкъ и привычки отъ вліяній обстановки, ремесла и вѣковыхъ преданій; и онъ является съ ними со всѣми, какъ есть, живой, выпуклый, навсегда памятный. И я всегда буду

душевно любить его, этого гребенского Патфайндера, услужливого товарища, беззаботного друга лѣсовъ и камышей.

К а з а к ъ Л у к а .

Казакъ Лука—джигитъ, удалецъ, но не можетъ такъ симпатически дѣйствовать на чувства читателя, какъ дѣйствуетъ старый циникъ Ерошка. Въ Лукашкѣ много сухой серіозности, односторонности и прозы. Это идеалъ казака, упорно вѣрующій въ малѣйшій догматъ казачества, не знающій ни въ чемъ отступленія, сомнѣнія, колебаній. Въ него не вложено ни одной искры поэзіи, ни одной соринки скептицизма, отчего отъ него нѣсколько пахнетъ умственною ограниченностью. Въ Ерошкѣ сидитъ, хотя очень глубоко, бѣсъ новизны, реформы. Ерошка оттрепанъ на всѣ бока своимъ житейскимъ опытомъ; инстинктивно онъ понималъ относительность и условность многого. Рѣзкость его лѣсныхъ вкусовъ и казацкихъ догматовъ смягчилась столько же этимъ долголѣтнимъ опытомъ, сколько несомнѣнно-поэтическимъ складомъ его души. Но Луку мы застаемъ во всемъ весеннемъ сокоотеченіи грубыхъ силъ; ослабленіе физической жизни еще не уступило умственнымъ силамъ его господства надъ его дѣйствіями. Оттого онъ рѣзокъ, суровъ и исключителенъ. Въ убійствѣ абрека, даже при созерцаніи трупа его, онъ еще не умѣетъ видѣть что-нибудь иное, кромѣ собственнаго подвига; онъ дрожитъ отъ радости, какъ коршунъ, задравшій перепелку, и полонъ только одной казацкой гордости. Но это не кровожадность, не дрянное чувство радости о гибели другого. Это — безсознательное, вполне естественное ощущеніе хищной птицы или кошки, удовлетворившей своей органической потребности. Безнравственного тутъ уже ничего не откапашь. Такова же его любовь къ Марьянѣ: прямая, откровенная, пропечатанная до послѣдней буквы въ каждомъ его жестѣ и словѣ. Онъ не скрываетъ, чего хочетъ отъ Марьянки — ни отъ нея самой ни отъ людей; онъ даже не подозреваетъ, что у кого-нибудь могутъ быть поводы скрывать

это. Марьянка лучше другихъ дѣвокъ, больше по вкусу ему: но онъ ничуть не мечтаетъ, будто бы она для него незамѣнима: она — или никто... Вовсе нѣтъ: не пошла Марьянка — другую бы взялъ, казачекъ хорошихъ много; не удается ему къ Марьянкѣ въ окно влѣзть — поворачиваетъ къ Яшкѣ, и дѣло съ концомъ. Для Марьянки онъ не жертвуетъ также своими военно-казацкими интересами. Ихъ только онъ считаетъ *настоящимъ дѣломъ*, а всѣ свои бѣсѣды съ Марьянкой, всѣ свои попойки у Яшки — однимъ баловствомъ, гуляньемъ, пригоднымъ между дѣломъ и въ свой часъ. Марьянка не закрыта отъ него никакими иллюзіями; онъ не считаетъ разрушеніемъ своей любви открыто-высказаннаго ей подозрѣнія въ невѣрности; онъ въ этой невѣрности видитъ весьма естественное событіе, хотя лично ему невыгодное. Онъ не изнываетъ въ психическихъ мученіяхъ, какъ сдѣлалъ бы на его мѣстѣ какой-нибудь Грыцькѣ или Остапъ Марко-Вовчка, а просто-на-просто грозитъ Марьянкѣ и ругается съ нею. Такъ же ругается онъ и въ отвѣтъ на постоянные ея отказы его желаніямъ: „Хорунжиха! замужъ выйдешь“, ворчитъ онъ презрительно на свою возлюбленную. Такъ же откровенны, можно сказать, всенародны его кутежи у Яшки, его связи съ прежнею любовницей; все это основано на казацкихъ принципахъ, допускается казацкою моралью — стало-быть, изъ чего тутъ скрываться? Оттого въ его пьянствѣ и развратѣ не видишь ничего омерзительнаго, унижающаго, какъ нельзя видѣть ничего этого въ жизни дикаго коня. Что бы ни дѣлалъ звѣрь — онъ никогда не представляется намъ безнравственнымъ, грязнымъ, но всегда естественнымъ, исполненнымъ своего особеннаго достоинства и своей особенной красоты; потому что онъ всегда вѣренъ самому себѣ, никогда не ниже себя. Когда гуляетъ Лука, чувствуешь, что этому организму надо выпить и нагуляться именно на столько, что это не извращеніе инстинктовъ, не болѣзненное раздраженіе вкусовъ, которыя такъ часто встрѣчаются въ иныхъ слояхъ общества.

Отношенія Лукашки къ матери, вставленные авторомъ

словно мимоходомъ, прекрасно дорисовываютъ его портретъ. Эти отношенія опять-таки глубоко казакскія, глубоко простонародныя. Что ни говори, а въ настоящей русской семьѣ, не только мужицкой, но даже и купеческой, взрослые сыновья безъ отца дѣлаются хозяевами, властелинами своихъ матерей. Лука—суровый и эгоистическій хозяинъ, какъ все наше простонародье. Баба, хотя она и мать, не слышитъ отъ него ласки и празднаго разговора. Какъ казакъ, онъ особенно презираетъ бабу: баба не воинъ, не джигитъ, бабѣ только пироги печь; что съ нею толковать? Спросилъ чихирю, прикрикнувъ для порядка, да и за дѣло. Помыслы Луки, какъ и всякаго казака, внѣ семьи; ему дома скучно и почти неприлично. А между тѣмъ онъ уважаетъ мать по-своему: онъ ей достанетъ все, что нужно, онъ не дастъ ее обидѣть, онъ на нее не только не осмѣлится руки поднять, но даже нехорошее слово сказать. И народъ кругомъ, и сама мать, и самъ Лука увѣрены, что онъ почтительный, добрый сынъ, какъ слѣдуетъ казаку и православному быть, хотя онъ презираетъ вѣжничанье и возню съ бабой. Чѣмъ онъ виноватъ? Онъ слѣдуетъ только тому, чему научили его собственные гувернеры — Ерошки и Гирей-ханы; онъ помнитъ только свои лекціи, прослушанныя когда-то въ камышахъ Терека и на вышкѣ кордона. Конечно, пріятно было бы устроить чувствительный пейзажъ съ одной стороны изъ престарѣлой матери, обливающей слезами стремя сыновняго коня, лобзающей сына въ уста и въ очи, называющей его „желаннымъ“ и „сизымъ голубемъ“ и „дитяткой ненагляднымъ“; а съ другой стороны отъ этого статнаго юноши съ поникшимъ челомъ и съ слезою, повисшей на черномъ усѣ: „Прощай, моя ясочка, родимая моя!“ могъ бы тихо прошептать онъ; „кто-то будетъ мнѣ расчесывать шелковыя кудри мои, кто-то будетъ миловать да голубить“; а она бы еще; а онъ бы еще, и кончить потомъ многими точками. Я знаю, что эта сцена вышла бы поразительною подъ талантливымъ перомъ нашего знаменитаго изслѣдователя простонародной жизни—Марка-Вовчка. Но что же дѣлать? Нѣкоторые односторонніе писатели не любятъ по-

чему-то поразительныхъ сценъ; надо и имъ когда-нибудь уступить.

Лукашка выступаетъ грубымъ прозаикомъ еще въ одномъ обстоятельстве своей жизни: въ дружбѣ съ Оленинымъ. Несмотря на беззаветную доброту Оленина, на его горячія желанія сдѣлать для счастья Луки все, отъ него зависящее, Лукашка ведетъ себя настоящимъ болваномъ; надъ сердечными изліяніями Оленина онъ внутренно подсмѣивается и долго не вѣритъ чистотѣ его намѣреній. Даже послѣ подарка Оленинскаго, Лука не разубѣждается, а ждетъ все, что Оленинъ выпроситъ у него что-нибудь себѣ, взаимно подареннаго коня; онъ радъ-радехонекъ, что можетъ отдѣлаться однимъ кинжаломъ. Только въ послѣдствіи, когда ему сказали старики, что русскіе всегда такіе дураки и богачи, онъ какъ будто понялъ Оленина, и пересталъ его подозрѣвать. Васъ, можетъ быть, удивляетъ, отчего этотъ безсердечный юноша, безъ всякой причины, такъ упорно не хотѣлъ вѣрить теплымъ словамъ дружбы? Вещь очень простая, читатель! для него эти слова имѣютъ то же значеніе, какъ для насъ съ тобою стереотипныя фразы писемъ: *многуважаемый господинъ* или *имѣю честь остаться душевно вамъ преданнымъ*. Казаки и чеченцы не словами, а дѣлами, съ малства научили его, что чужого коня можно достать или своимъ золотомъ, или своею кровью; что безъ собственной выгоды, одинъ человѣкъ для другого пальцемъ не пошевелить; что не только слова, даже клятвы даются именно тѣми, кто скорѣе всего готовъ ихъ нарушить. Послушайте, какъ учить его довѣрію къ людямъ его сѣдой дядька и гувернеръ—Ерошка:

„Гирей-хану вѣрить можно, его весь родъ—люди хорошіе; его отецъ вѣрный кунакъ былъ. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда вѣрно будетъ; а пойдешь съ нимъ, все пистолетъ наготовѣ держи... Вѣришь — вѣрь, а безъ ружья спать не ложишься“. Грубый въ страстяхъ, грубый въ любви, грубый въ дружбѣ—вотъ, значитъ, и весь Лукашка — подумаете вы, весь идеалъ казака. Нѣтъ, далеко не весь. Казакъ—вѣчный во-

инъ, вѣчный борецъ. Тутъ все его содержаніе, вся его добродѣтель и мораль. Лукашка переполненъ этой существова-тельно-казацкой добродѣтелью. Къ ней прикованы его фантазіи и его сознаніе. Долгъ въ отношеніи къ ней — для него святъ и неуклоненъ, какъ Божья заповѣдь. Она — *дѣло*; все остальное — пустая, ребяческая забава. Лукашка, такъ безцеремонно трактующій свою невѣсту-любовницу, такъ безпросьпно гуляющій въ станицѣ съ своимъ другомъ Назаркою — тотъ же Лукашка сидитъ, не смыкая глазъ, цѣлыя ночи на берегу Терека, оберегая родную станицу; онъ первый бросается на пули и ножи абрековъ; онъ когда нужно, не раздумывая, переплываетъ Терекъ, подвергая себя всевозможнымъ опасностямъ. Рыцарскій духъ казака горитъ въ немъ жаркимъ, для всѣхъ замѣтнымъ, пламенемъ. Сами товарищи лучше всего чувтъ въ немъ присутствіе этого избраннаго духа, и невольно уступаютъ ему въ дѣлѣ первый шагъ и первый голосъ, помимо всѣхъ чиновныхъ и сѣдыхъ старшинъ...

Мамука-Марьянка.

Въ типѣ Марьянки нѣтъ ни малѣйшаго недостатка определенности; она намъ ясна до осязательности. Это — здоровая, красивая, молодая дѣвка, такъ же точно вѣрная во всемъ своей сферѣ и своей породѣ, какъ буйволица вѣрна своимъ. Посмотрите, какими глазами смотритъ она на свою красоту, на свои отношенія къ Лукашкѣ. Жизнь успѣла уже показать ей, что всѣ молодыя дѣвки въ свою пору нравятся парнямъ, что за всѣми ухаживаютъ, отъ всѣхъ добиваются поцѣлуевъ и обѣщаній; стало-быть, ничего особенно лестнаго, исключительнаго не можетъ быть въ отношеніяхъ къ ней ея Лукашки. Лукашка добивается своего для себя, а не для нея. Лукашка будетъ ее бить, когда станетъ ея мужемъ; ластится онъ до поры до времени, пока она еще не въ рукахъ. Она знаетъ, что не одна она привлекала его, что онъ даже къ ней ходитъ отъ своей прежней душеньки. Отсюда понятно ея довольно равнодушное,

сдержанное и нѣсколько строгое поведеніе по отношенію къ Лукѣ. Нельзя сказать, что она его не любитъ; она желала бы изъ всѣхъ казаковъ имѣть мужемъ Лукашку; Лукашка—молодецъ собою, первый храбрецъ, на виду у всей станицы. Она тоже изъ первыхъ дѣвокъ въ станицѣ; это ей всѣ говорятъ, и она на столько сама понимаетъ; поэтому имъ сподручнѣе всего быть мужемъ и женою. Тутъ не одно благоразуміе: и физическая страсть уже говоритъ въ этомъ крѣпкомъ, молодомъ тѣлѣ. Но странно бы было приписать этой страсти подавляющее значеніе, какъ поступаетъ обыкновенно въ отношеніи своихъ героинь Жоржъ-Зандъ и ея крошечные копировщицы и копировщики. Можетъ быть, въ Италіи, въ Испаніи или въ какомъ-нибудь Провансѣ, климатъ или племенные условія сообщаютъ особую напряженность фантазіи и страстямъ чловѣка; можетъ быть, тамъ они заурядъ господствуютъ надъ внушеніями расчета, благоразумія, приличія—не берусь объ этомъ судить. Но Россію мы знаемъ, и народъ нашъ мы знаемъ. Его сѣверная славянская кровь мало страдаетъ отъ капризовъ фантазіи; отношенія его половъ какъ всегда отличались, такъ и теперь отличаются какимъ-то холоднымъ, едва не механическимъ формализмомъ. Женщина, говоря вообще, рѣдко настраивала русскаго чловѣка на поэтическое чувство, на вдохновенное дѣло, рѣдко смягчала своимъ нѣжнымъ прикосновеніемъ грубость его нравственныхъ вкусовъ. Древняя наша литература представляетъ выразительные, хотя и печальные памятники этого явленія. Женщина вездѣ тамъ разсматривается какъ инструментъ для грубыхъ страстей, какъ низшее и подчиненное животное, выгоды котораго по самой природѣ идутъ въ разрѣзъ съ выгодами мужчины; какъ существо безстыдное, коварное, не стоящее довѣрія ни въ чемъ и никогда. И теперь всюду кругомъ насъ, куда не оглянешься, то же униженіе женщины до степени служанки и самки, тотъ же неодушевленный, немаскированный никакою иллюзіею, хладнокровный развратъ...“ (Далѣе г. Марковъ приводитъ изъ собственныхъ наблюденій примѣры, подтверждающіе его мысли).

„Благоразуміе и чувство туземнаго приличія заставляеть Марьянку сдерживать нетерпѣніе молодого казака; она не прочь цѣловаться съ нимъ, она позволяетъ ему ласкать себя и слушаетъ съ большимъ удовольствіемъ его любовныя рѣчи; она горитъ въ его объятіяхъ; но всякое рѣшительное требованіе Лукашки отклоняется настойчиво и сурово, потому что суровыя стороны жизни побуждаютъ въ сознаніи Марьянки увлеченіе любви. Любовь хороша, но любовь все же таки роскошь: а жизнь уже показала ей, что прежде роскоши нужно еще удовлетворить многому и важному другому. Эти неизбѣжныя и постоянныя условія приковываютъ ея мысль, мѣшая ей уступить скоротечной вспышкѣ, которой радости стоили бы несоразмѣрно дорого. Нѣтъ спора, что это—проза, скучная и матеріальная проза, въ томъ смыслѣ, какой обыкновенно придаютъ этому слову. Въ этомъ и заслуга писателя, что онъ не обманываетъ насъ и не сочиняетъ намъ Ганусей и игрушечекъ, ясочекъ и лебедушекъ, *такихъ какъ краля*, которыя распускаютъ свои волосы на берегу озера и поютъ, ничего не дѣлая, меланхолическія пѣсни къ вѣтру буйному, къ соколику ясному, которыя влюбляются въ разныхъ таинственныхъ Петро — *такихъ чернобривыхъ да хорошихъ*, вмѣстѣ съ ними плачутъ и мечтаютъ объ Аркадіи въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Посмотрите, напротивъ, съ какою откровенною правдивостью рисуетъ намъ гр. Л. Толстой нравы своихъ Ромео и Юлій даже въ моменты ихъ нѣжнѣйшихъ воркованій:

— „Дай сѣмечекъ, прибавилъ онъ (Лука), протягивая руку. Марьянка совсѣмъ улыбнулась и открыла воротъ рубахи.—Всѣ не бери, сказала она.—Право, все о тебѣ скучился, ей-Богу, сказалъ сдержанно спокойнымъ шопотомъ Лука, доставая сѣмечки изъ-за пазухи дѣвки и еще ближе пригнувшись къ ней, сталъ шопотомъ говорить что-то, смѣясь глазами:

— „Не приду, сказано! вдругъ громко сказала Марьянка, отклоняясь отъ него... и т. д.“.

Это изъ самыхъ деликатныхъ сценъ; другія рѣчи и сцены еще выразительнѣе.

„Ишь, хорунжиха!“ думаетъ Лука про свою невѣсту: „и не пошутить, чортъ! Дай срокъ“.

— „Вишь чортъ проклятый! напугалъ меня. Ну, пошелъ же домой“, со смѣхомъ говорить въ другомъ мѣстѣ Марьянка про Луку. Офицера Бѣлецкаго она цѣлуетъ безъ всякаго смущенія и замахивается на него кулакомъ въ видѣ гостинной любезности. Юнымъ подругамъ своимъ кричитъ: „заперлись, черти!“ Когда Оленинъ неожиданно распѣловалъ ее при всей публикѣ, она только громко захохотала. Въ жару самаго патетическаго и рѣшительнаго объясненія Оленина, предлагающаго ей всю жизнь свою, вмѣстѣ съ своею рукою, она прерываетъ его словами: „ну, что брешь!...“ и т. д. Еще характернѣе предпоследняя сцена Оленина съ Марьяной, когда у нихъ между собою все уже улажено. Оленинъ не знаетъ, куда дѣтъ, въ чемъ выразить свое блаженство; ему хочется слышать слова любви и ласки изъ устъ дорогаго созданія; онъ нѣсколько разъ обращаетъ къ ней все тотъ же вопросъ о любви, словно разсмаковывая свое счастье въ этихъ праздныхъ, но такъ понятныхъ повтореньяхъ; а Марьянкѣ все это кажется до крайности страннымъ, ненужнымъ, чуть не безумнымъ. Она обдаетъ самую бабью, страпухинскую прозою всѣ поэтическіе запросы своего обожателя...“ (Приводится разговоръ Марьяны съ Оленинымъ, Лукашкой и Устенкой).

Итакъ, Марьянка гр. Толстого является женщиною своей среды и породы, то-есть расчетливою, матеріальною, ставящею прежде всѣхъ своихъ страстей требованія благоразумія. Ей непонятно и даже невѣроятно все, что только не основывается на узкомъ простонародномъ расчетѣ. Она считаетъ глупостью, баловствомъ нѣжныя рѣчи и безразсудное нетерпѣніе своихъ любовниковъ. По нравственнымъ идеаламъ своимъ, это—*бюргерша* въ самомъ обидномъ смыслѣ, который стали придавать этому слову; по формамъ, въ которыхъ проявляются ея взгляды, это—истая мужичка. И все это составляетъ достоинство ея художественнаго характера, ибо все это трижды справедливо; ибо никто изъ насъ не встрѣчалъ въ простомъ быту другихъ женщинъ,

кромя Марьянокъ и Устенекъ. Всѣ мы слышали отъ нихъ: „ну, что брешешь“; всѣ получали любезности въ видѣ удара кулакомъ; но никто изъ насъ, надѣюсь, не натыкался въ русскихъ избахъ на Ганусъ, не слышалъ разговоровъ о розовыхъ облачкахъ и желаній летѣть за птичкою, dahin, dahin!

Нельзя не удивиться при этомъ тому рѣдкому въ нашей литературѣ чувству правды и художественности, которое удержало автора отъ малѣйшей попытки сообщить фигурѣ героини болѣе нѣжный колоритъ. Подобныя попытки обыкновенно соблазняютъ даже высоко-талантливыхъ писателей; въ родѣ Диккенса; и онѣ очень понятны. Не трудно оставаться въ сферѣ суроваго реализма, создавая загорѣлую фигуру охотника Ерочки. Но не такъ легко поѣту побѣдить враждебное ему стремленіе къ идеализаціи, къ опоэтизированію красавицы-женщины, его героини и средоточія всей его драмы. Нужно много такта и неподкупнаго творческаго чутья, чтобы съ первой страницы до послѣдней, ни разу не смягчить грубаго тона рѣчи, ни разу не дать забыть, что героиня наша — казацкая дѣвка-Марьянка, ходящая въ одной рубахѣ, и собственноручно запрягающая въ арбу отцовскихъ буйволовъ. А между тѣмъ, сколько въ романѣ графа Толстого тропинокъ и лазеекъ, въ которыя не преминули бы свернуть съ прямого пути писатели, мнѣе искренніе и не столь строго воспитавшіе свои художественныя силы. Сколько поводовъ къ идиллическимъ картинамъ, драматическимъ эффектамъ, поэтическимъ діалогамъ, психологическимъ фантазіямъ. Графъ Толстой прошелъ между этими шхерами художественныхъ произведеній съ искусствомъ опытнаго и увѣреннаго въ себѣ лопмана; онъ нигдѣ не измѣнилъ своей цѣли, своему пониманію. Онъ не слушалъ плѣнительнаго голоса сиренъ, сбивающихъ съ толку слабохарактерныхъ народныхъ писателей, преимущественно писателей-женщинъ; оттого ему удалось разыграть свою тему до конца въ одномъ и томъ же данномъ тонѣ, безъ фальши и искусственныхъ переходовъ.

Однако, нельзя же остановиться на такой приблизитель-

ной и общей оцѣнкѣ характера Марьяны, на которой мы держимся до сихъ поръ. Нельзя же думать, чтобы подъ этими грубыми рѣчами и движеніями не отыскалось своего рода душевной нѣжности, чтобы сквозь однообразный покровъ этого обиденнаго равнодушія и спокойствія не прорѣзались иногда бѣглыми молніями человѣческія волненія, сомнѣнія и желанія. Они должны имѣть свою мужицкую фizioномію, свою мужицкую одежду, но они все-таки должны быть, потому что сквозь мужицкія черты и сквозь рѣчь мужицкую—глядитъ и говоритъ человѣческая душа.

Марьянка равнодушна и благоразумна, но нельзя не замѣтить, что она гораздо выше Устенъки и другихъ своихъ подругъ, болѣе живущихъ увлеченіемъ, болѣе уступающихъ желаніямъ минуты. Марьяна среди ихъ будто царица, по увѣренію автора: ей уступаютъ лучшее мѣсто и лучшихъ кавалеровъ, при ней стихаются безчинные разговоры; Марьяну обходитъ пьяный Ергушовъ, обнимающій всѣхъ дѣвочекъ подъ рядъ, и даже старухъ заодно съ дѣвками; о Марьянѣ избѣгаетъ говорить съ Оленинымъ циникъ Ерошка; самъ безстрашный Лукашка нѣсколько смиряется передъ этою строгою казачкою, а Оленинъ совсѣмъ ей подчиняется.

Марьяна горда, и это—главное ея качество. Въ ея сферѣ, женщины, подобныя Устенкѣ, не могутъ имѣть значенія и вліянія. Онѣ дѣлаются не сегодня такъ завтра игрушками и рабами своихъ любовниковъ; съ ними будутъ такъ же мало церемониться, какъ съ Яшками и Дуняшками. А Марьяна не хочетъ примириться съ мыслью о своей ничтожности и безропотной покорности мужчинѣ. Она, конечно, не реформаторша, не эмансипированная дѣвица, не имѣетъ теоретическихъ и ясно сознанныхъ цѣлей; но у нея гордый независимый темпераментъ, такой же, можетъ быть, какъ у кавказской кобылицы, съ которой мы уже разъ ее сравнивали. Она инстинктивно упирается противъ ярма. Она временами чувствуетъ къ Лукашкѣ что-то отталкивающее, какъ къ будущему господину своему, и ревниво старается отстаивать свою свободу, пока она еще въ ея рукахъ. Она всячески даетъ ему чувствовать свою независимость и

оскорбляется внутренно его требовательнымъ тономъ. Конечно, къ этимъ чувствамъ тѣсно примѣшиваются и другія, противоположныхъ свойствъ; она въ то же время любитъ его и желаетъ его. Безъ этого сплетенія разнообразныхъ качествъ, могла ли быть достигнута жизненность изображенія? Зная, что разъ поддавшись мужчине, она будетъ его вещью, Марьяна сурово отбивается отъ просьбъ Лукашки, хотя не видитъ ничего предосудительнаго и опаснаго для себя въ его ласкахъ. Можно ли обвинить ее, что она такъ мало страстна, такъ дешево цѣнить ласки и влѣтвы мужчинъ, какъ будто жизнь приучила ее къ нѣжности, къ любовной болтовнѣ, къ духовному наслажденію своимъ чувствомъ? Какъ будто, кромѣ объятій, ласзанья за сѣмечками и ночнаго стука въ окно, она могла бы чего-нибудь дожидаться отъ любезниковъ казацкой станицы? Замужество представляется ей, какъ и Устенкѣ, временемъ нужды; она должна рожать дѣтей, печь мужу хлѣбы, цѣдить чихирь. Что же настроить ее на соловьиныя пѣсни, на неземное томленье? Надо быть пустой и необдуманной дѣвчонкой, въ родѣ Устенки, чтобы для какого-нибудь часа физическихъ наслажденій забыть все остальное. Марьяна умна, горда и мужичка; поэтому не можетъ быть особенно страстною и особенно нѣжною. Она слишкомъ хорошо, хотя инстинктивно, понимаетъ, какъ мало заслуживаютъ страсти и нѣжности тѣ отношенія, къ которымъ ее приучили, и которыя ей сулятъ впереди. Конечно, она была бы другою, родившись не въ станицѣ на берегу Терека дочерью хорунжаго, а на берегахъ Невы, гдѣ издаются журналы и воспитываются въ институтахъ. Но какъ казачка, Марьянка, какъ хорунжиха, она должна быть именно такою и никакою другою.

Замѣчательно, что вниманіе Оленина очень скоро отдаляетъ Марьяну отъ Лукашки. Сначала это можетъ показаться грубымъ и матеріальнымъ до безобразія. Оленинъ богатъ, у него цѣлая хата вещей, у его отца есть холопы, и Марьяна безъ дальнихъ думъ мѣняетъ на него своего давнишняго жениха-пролетарія. „А Лукашку куда дѣнемъ?

грубо спрашиваетъ она во время сватовства Оленина. И между тѣмъ авторъ нигдѣ не даетъ намъ замѣтить, чтобы она разлюбила Луку: черезъ это, подозрѣніе въ бездушномъ расчетѣ, руководящемъ ея выборомъ, повидимому, получаетъ серьезное основаніе. Но мы не хотимъ смотрѣть такъ близко руко на дѣло. Намъ кажется особенно тонкимъ и мастерскимъ этотъ особенно трудный для изображенія переходъ чувствъ Марьяны отъ Лукашки къ Оленину, эта едва очеркнутая, въ нѣсколькихъ намекахъ прорывающаяся, внутренняя борьба молодой казачки. Луку она любитъ и считаетъ женихомъ попрежнему; съ нимъ ей легче и понятнѣе; будущая связь съ нимъ гораздо для нея достовѣрнѣе. Но въ то же время она незамѣтно привязывается къ Оленину. Ее манитъ къ нему именно то, чего она отъ роду не видѣла у казаковъ и отъ казаковъ, что-то нѣжное, тихое, подчиняющееся, и вмѣстѣ барское, благородное. Она, конечно, ничего этого ясно не различаетъ и подчиняется какому-то таинственному, необъяснимому для нея влеченію. Она чувствуетъ, что Оленинъ *что-то не то*, что-то высшее и лучшее, хотя и не такая пара ей, какъ Лукашка. Ее чаруютъ и интересуютъ, противъ воли, его странныя, ласковыя и слезныя рѣчи, къ которымъ она совершенно не привыкла..." (Приводятся изъ романа любовныя сцены Марьяны съ Оленинымъ и Лукашкой).

„Для нея самое привлекательное въ Оленинѣ было то, что онъ могъ бояться ее, что она для него много значила. Ясно, что на этомъ сознаніи и укоренились ея первыя симпатіи къ юнкеру. Въ Лукашѣ же, наоборотъ, самое отталкивающее для нея было то, что онъ не боялся ее, недостаточно уважалъ и искалъ.

Но между тѣмъ старая привязанность къ Лукашѣ не вымерла въ ней; ей казалось почти невозможнымъ стать женой барина и русскаго; она не чувствовала ни малѣйшей органической связи между собою и имъ ни въ прошедшемъ ни въ будущемъ. Ихъ образованіе, привычки, вѣрованія, обстановка, родня, языкъ—все было слишкомъ не похоже одно на другое. Уступая частью благоразумному расчету, частью

зародившейся симпатіи къ невѣдомымъ дотолѣ качествамъ образованнаго человѣка, она соглашалась одно время стать женою Оленина. Но Луку она словно не хотѣла забыть. Когда Оленинъ случайно упомянулъ про гульбу Лукашки, Марьяна вспыхнула, какъ отъ кровной обиды.

„Большіе черные глаза блестя на него строго и недружелюбно. Ему стало совѣстно за то, что онъ сказалъ.

— „Что-же, онъ никому худа не дѣлаетъ, вдругъ сказала Марьяна:—на свои деньги гуляетъ, и, спустивъ ноги, она соскочила съ печи и вышла, сильно хлопнувъ дверью.

А между тѣмъ она уже хорошо знала чувство Оленина къ ней. Наконецъ, страшный случай, на который никто не рассчитывалъ, — смертельная рана Лукашки и гибель казаковъ, разомъ отрезвили Марьяну. Казацкая натура ея сказалась явственно и несомнѣнно. Она ощутила свое органическое родство съ казакомъ и свое безконечное отдаленіе отъ пришельца.

Трагическое происшествіе подавило капризные и роскошныя чувства, мало-по-малу проросшія въ сердцѣ Марьянки, и вызвало на сцену опять одиѣ суровыя и трагическія стороны духа. Оленинъ нашелъ ее въ слезахъ, угрюмую.

— „О чемъ ты, что ты?

— „Что? повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ:— казаковъ перебили, вотъ что!

— „Лукашку? спросилъ Оленинъ.

— „Уйди, чего тебѣ надо....

— „Марьяна, сказалъ Оленинъ, подходя къ ней.

— „Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— „Марьяна, не говори, умолялъ Оленинъ.

— „Уйди, постылый! крикнула дѣвка, топнувъ ногою и угрожающе придвинулась къ нему. И такое отвращеніе, презрѣніе и злоба выразились на лицѣ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надѣяться...“ и т. д.

Она словно захотѣла отомстить ему въ эту тяжкую минуту за свою собственную слабость, за невольную измѣну своему жениху-казаку, умирающему теперь отъ ранъ...

О л е н и н ъ.

Типъ Оленина не есть одно бездушное олицетвореніе извѣстныхъ мыслей. Оленинъ — лицо очень живое и очень распространенное. Онъ дѣйствительно не очень образованъ школою, и въ этомъ отношеніи есть по преимуществу нашъ современный, русскій типъ. Его выработка предоставлена жизни, поэтому должна быть исполнена противорѣчій, рѣзкихъ перемѣнъ и неправильностей. Это—судьба и исторія всѣхъ насъ. „Всѣ мы учились понемногу чему-нибудь и какъ-нибудь“, но изъ насъ однако вырабатываются люди послѣ долгой житейской ломки. Оленинъ былъ трактирнымъ героемъ не по натурѣ, но, попавъ случайно въ компанію Сашекъ Б., молодой мальчишка увлекся этою стороною и заплатилъ ей неизмѣнную дань; онъ былъ на верху блаженства, прохаживаясь подъ-руку съ флигель-адъютантомъ и называя князя уменьшительнымъ именемъ. Оленинъ—человѣкъ обыкновенный по своей біографіи, по обстановкѣ, въ которой находится. Но онъ все-таки изъ лучшихъ людей. Въ немъ живетъ духъ, ищущій и стремящійся, въ его душѣ не потухаетъ то внутреннее пламя, которое особенно сообщаетъ человѣчность нашей жизни. Онъ не остался Сашкою Б. въ Москвѣ, не сдѣлался Бѣлецкимъ на линіи; онъ искалъ удовлетворенія своимъ позывамъ сначала въ данной обстановкѣ, потомъ, къ своему счастью, нашелъ новую сферу, гдѣ ему могло быть лучше, и за которую поэтому онъ ухватился. Оленинъ въ нашихъ глазахъ не есть типъ цивилизованнаго человѣка вообще, а напротивъ—человѣкъ весьма опредѣленнаго образованія и опредѣленнаго общественнаго слоя, принесшій на борьбу съ иными началами только силы и слабости одного своего слоя, одного своего воспитанія. Намъ нѣтъ пока дѣла до того — такую ли ограниченную или болѣе обширную цѣль имѣлъ въ виду самъ авторъ, вводя въ романъ своего героя; обсуждая художественныя стороны его типовъ, мы имѣемъ право смотрѣть только на то, что онъ, дѣйствительно, сказалъ и изобразилъ, и нисколько не касаемся того, что онъ, можетъ

быть, замышляетъ. Авторъ не представилъ намъ Оленина какимъ-нибудь Фаустомъ, познавшимъ сначала всю глубину науки, потомъ все обаяніе власти, испытывшимъ огонь сильнѣйшихъ страстей и безуміе физическихъ наслажденій, и уже въ послѣдствіи, на концѣ своего поприща, нашедшимъ себѣ счастье въ тихой жизни на лонѣ природы. Оленинъ еще очень молодъ, и ему пока наскучила только пустая жизнь въ обществѣ свѣтскихъ кутиль, свѣтскихъ франтовъ и свѣтскихъ барышень. Въ немъ таились поэтическія задушевные струны, которыя обнаружились особенно рѣзко послѣ жизни въ сферѣ, ихъ нисколько не удовлетворившей. Случай бросаетъ его именно въ такую обстановку, гдѣ особенно много пищи этимъ его главнымъ, но еще не удовлетвореннымъ струнамъ. Онъ поддается вліянію новой обстановки просто шагъ за шагомъ, по мѣрѣ своего механическаго приближенія къ ней. *Чувство юръ*, охватившее его еще издали, завладѣваетъ имъ окончательно, когда онъ очутился среди этихъ горъ. Поэтъ, почуввъ годный ему воздухъ, очулся внутри свѣтскаго франта и вздохнулъ во всю грудь; пошлые черты лица московскаго хлыща преобразуются подъ напѣвомъ могущественной свѣжести природы въ серьезный и теплый образъ естественнаго человѣка. Кому кажется страннымъ и исключительнымъ такое чарующее вліяніе природы на человѣка, кто видитъ въ этой перемѣнѣ только дидактическую уловку автора для униженія недобрѣемыхъ имъ принциповъ — тотъ, значить, самъ никогда не ощущалъ въ своей груди могущественной власти горъ и лѣсовъ, тотъ лишенъ органа для воспріятія этого поразительнѣйшаго изъ всѣхъ впечатлѣній человѣка и для наслажденія этимъ чистѣйшимъ изъ всѣхъ наслажденій. Не только сама природа — однѣ уже картины ея, набросанныя такою живописною и тонкою кистью въ романѣ „Казакъ“, производятъ необыкновенное обаяніе. Какъ живая, встаетъ передъ нами эта глухая станица надъ бурными волнами Терека съ своими стройными казачками въ цвѣтныхъ бешметахъ, веселымъ хохотомъ казаковъ, мычаніемъ буйволовъ и коровъ на солнечномъ заходѣ. Слышишь скрипъ этихъ

тяжелыхъ воротъ, сквозь которыя проламывается своими крутыми боками огромная буйволица; слышишь шлепанье по лужамъ и далекіе оклики на кордонѣ... И вдали надъ всѣми владычествующія горы, горы и лѣса... Газумѣется, я не буду пытаться повторять глубокопоэтическія картины ночей и утра, степей и лѣса, которыя непобѣдимо овладѣваютъ художественнымъ чувствомъ читателя въ романѣ гр. Толстого. Сторона описательная — одна изъ сильнѣйшихъ сторонъ романа, одно изъ главныхъ его достоинствъ. Кончая романъ, можно серьезно забыться и подумать, что самъ жила въ когда-то на линіи, самъ просиживалъ ночи съ веселымъ старикомъ на крылечкѣ за стаканомъ чихири, бродилъ по лѣсамъ и садамъ, и любовался на шумные хоровады казацкихъ дѣвокъ. Я увѣренъ, что никакой этнографическій или географическій очеркъ, никакое описаніе путешествія не могли бы меня живѣе и полнѣе познакомить съ чуждою для меня жизнью и природою, какъ этотъ романъ гр. Толстого.

Мудрено ли же, что природа, до такой степени покоряющая насъ даже въ портретахъ своихъ, подавила Оленина, прикоснувшись къ ея живью, посмотрѣвшаго ей прямо въ глаза. Казаки и казачки явились для него нераздѣльными частицами этой природы, такими же, какъ звѣри и деревья. На Терекѣ жили чинары и чеченцы, казаки, олени... надъ всѣми надъ ними простирался одинъ и тотъ же голубой сводъ неба, и сіяло всѣми своими красотою одно и то же утреннее, полудневное и вечернее солнце. Всѣхъ ихъ поила одна и та же вода, покрывалъ одинъ и тотъ же лѣсъ. Чуткая душа Оленина не могла устоять противъ этой простой, всеуравнивающей силы: Оленинъ понялъ быть казака и прелесть этого быта. Бѣлецкій, его пріятель, этого не понималъ и понимать не хотѣлъ, но зато гораздо скорѣе понялъ, что дѣвки въ станицахъ рослыя, веселыя, и гораздо удачнѣе ухаживалъ за этими веселыми дѣвками. Большинство изъ насъ, конечно, поступило бы, какъ Бѣлецкій“.

(Послѣ этого г. Марковъ приводитъ рядъ небольшихъ выдержекъ изъ разныхъ страницъ романа, откуда видны постепенные переходы душевныхъ настроеній Оленина).

Гр. Л. Н. Толстой, подчиняясь общему закону художественной дѣятельности, вызвалъ на свѣтъ свои типы, чтобы выразить помощью ихъ овладѣвшее имъ настроеніе. Онъ не сдѣлалъ ихъ при этомъ бездушными и безличными вѣшалками для выставки своихъ мыслей: руку истиннаго художника направляетъ лучшій изъ всѣхъ учителей — природный талантъ, а таланту трудно ошибиться такъ грубо. Настроеніе художника было причиною только того, что въ данную минуту были вызваны и разработаны именно эти, а не другіе типы, потому что въ существѣ этихъ типовъ лежитъ вражда къ презрѣннымъ сторонамъ цивилизаціи, возбуждающимъ ненависть автора. По свойству художниковъ, гр. Л. Толстой, безъ сомнѣнія, съ сердечнымъ увлеченіемъ изобразилъ антицивилизационный моментъ своихъ взглядовъ; въ увлеченіи вся сила поэта...

Многіе порицатели направленія гр. Толстого поставили себя въ довольно неудобное положеніе: они упустили изъ виду характеръ и условія художественныхъ произведеній, вздумавъ анализировать романъ какъ какое-нибудь вѣроученіе или научную систему. Необходимое поэту увлеченіе, которое есть первое условіе его разнообразія и силы, они приняли за фанатическую односторонность сектанта и вооружились на нее съ нетерпимостью сектантовъ. Съ другой стороны, ставъ безусловными противниками взглядовъ автора, они какъ бы отказываются видѣть въ современной цивилизаціи какія-нибудь темныя стороны.

Оленинъ гр. Толстого во всякомъ случаѣ негодуетъ на вещи, стоящія этого негодованія, даже не съ исключительной точки зрѣнія гр. Толстого. Мы всѣ, люди болѣе практичныя и терпѣливыя, чѣмъ юнкеръ Оленинъ, не можемъ хладнокровно переносить тѣхъ бесплодныхъ и досадныхъ пошлостей, которыхъ только отчасти касается раздраженное перо гр. Толстого, и которыя портятъ на каждомъ шагѣ нашу, безъ того скудную и скучную жизнь. Позывы и стремленія въ родѣ тѣхъ, которые заставили гр. Толстого такъ сочувственно отнестись къ несложному быту казацкой станицы, во всякомъ случаѣ — благородныя, вѣчно присущіе

человѣку позывы. Они свойственны лучшимъ и искреннѣйшимъ людямъ разныхъ временъ, людямъ нѣжной душевной конструкціи, у которыхъ сердечныя клавиши отзываются на малѣйшее прикосновеніе жизни. Этихъ позывовъ ни одинъ разумный человѣкъ никогда не понималъ буквально и не судилъ ихъ ябеднически, придираясь къ каждой фразѣ. Въ нихъ постоянно отыскивали и находили только голосъ правды, возмущенный только тѣмъ или другимъ зломъ, и возмущающійся противъ этого зла со всею энергіею и жаромъ, свойственными правдѣ...

Чтобы не теряться въ общихъ разсужденіяхъ, мы для примѣра вернемся еще разъ хоть къ отношеніямъ автора „Казаковъ“ къ героинѣ романа. Въ изображеніи ея онъ не впалъ ни въ малѣйшую утрировку; талантъ артиста не дозволилъ ему ни украсить вымысломъ ни пройти молчаніемъ дѣйствительной черты ея характера. Онъ ее создалъ живою, несочиненною, и такую полюбилъ ее. Онъ полюбилъ, значитъ, грубость, прямоту, неподдѣльную физическую красоту и трезвый, реальный взглядъ на жизнь. Въ этомъ пунктѣ рецензенты схватились съ нимъ и осыпали его градомъ упрековъ и насмѣшекъ. Нѣтъ сомнѣнія, что поле подобной битвы внѣ сферы художества. Но со всѣмъ тѣмъ мы не отказываемъ себѣ въ удовольствіи сказать нѣсколько словъ въ защиту любимаго нами автора даже и съ этой нехудожественной стороны.

Я совершенно понимаю, откуда выросло настроеніе гр. Толстого относительно сейчасъ затронутаго вопроса, и думаю, что многіе вмѣстѣ со мною будутъ ему сочувствовать. Развѣ трудно понять, напримѣръ, отвращеніе автора отъ этихъ барышень и барынь, которыя являются представительницами лжецивилизаціи, окружавшей Оленина, и которыхъ авторъ такъ зло клеймилъ устами этого самаго Оленина? Искреннему и поэтическому сердцу человѣка по преимуществу свойственны такіа крайности; ему что-нибудь одно: или дѣйствительно женщину—существо, исполненное граціи, нѣжности, любви, тонко развитое, тонко чувствующее, съ изящно-прекрасною душою въ изящномъ и пре-

лестномъ тѣлѣ — или казачку Марьянку. Человѣкъ не можетъ не видѣть своихъ явныхъ выгодъ, не можетъ основывать безпричинныхъ симпатій. Человѣкъ любитъ многое и разное. Дайте ему что-нибудь хорошее — онъ его полюбитъ; но развѣ это побуждаетъ его желать лучшаго и любить того, кто даетъ ему это лучшее? Можетъ быть, у гр. Толстого не явилось бы симпатій къ Марьянкамъ, если бы въ обществѣ нашемъ чаще встрѣчались настоящія цивилизованныя женщины. Можетъ быть, при обаяніи ихъ живыхъ отношеній, наши художники дружелюбіе бы смотрѣли на нашу цивилизацію. Я льщу себя надеждою, что западныя общества счастливѣе насъ въ отношеніи своихъ женщинъ. Я думаю, что дѣйствительно очаровательныхъ англичанокъ, напримѣръ, должно быть гораздо болѣе, чѣмъ нашихъ русскихъ. Я не знакомъ близко и на мѣстѣ съ англійскою жизнью, но я думаю, что въ англійской литературѣ не явилось бы въ противномъ случаѣ столько прелестныхъ женскихъ типовъ, съ которыми не можетъ сравниться ничто, знакомое намъ въ своемъ отечествѣ... Далѣе г. Марковъ описываетъ русскихъ культурныхъ женщинъ, проводитъ параллель между ними и Маріанной, отмѣчаетъ историко-литературное значеніе романа „Казакъ“ и заключаетъ свой разборъ такъ:

„Графъ Толстой въ своихъ „Кзакахъ“ выбрасываетъ насъ изъ глубокой и наѣзженной колѣн нашей цивилизаціи далеко въ степные дуга, къ оленямъ и казакамъ. Васъ охватываетъ, какъ волна моря, могучая и свѣжая жизнь прямо на сыромъ лонѣ природы, гдѣ еще дается мѣсто звѣрю рядомъ съ человѣкомъ, гдѣ еще во всей дѣвственности своей живутъ и шумятъ лѣса и грозныя рѣки. Тамъ нѣтъ надломанности, тамъ невозможно рефлекторство, тамъ не знаютъ мученій мысли. Тамъ только живутъ, посягаютъ и плодятся. Только вамъ тамъ неловко и страшно; вы — отыскиватель цѣльности и непосредственности, вы слишкомъ далоски отъ природы, чтобы выдержать ея могучее, неподдѣльное вѣліе. Она раздавливаетъ васъ въ своихъ объятіяхъ; вамъ слишкомъ не по плечу такая любовница; оттого вы

такъ неприятно поражены открывшейся передъ вами перспективой и увѣряете себя, что не того искали. Вамъ сподручнѣе въ книгѣ, у которой листы поднимаются нѣсколько легче, и которой рѣчь нѣсколько тише. Природа и тяжела и буйна...

И болѣе всего въ романѣ „Казани“ удивляюсь отвагѣ мысли гр. Толстого. Онъ, не задумавшись, освобождается отъ преданій нашей моды и воспитанія; онъ твердо и сразу сталъ обѣими ногами на точку зрѣнія совершенно самобытную и, пожалуй, рискованную. Это не обыденное міросозерцаніе, сдѣлавшееся догматомъ всѣхъ людей, образованныхъ на извѣстный ладъ; здѣсь нѣтъ обычныхъ героевъ, всесторонне развитыхъ, съ университетскимъ образованіемъ, нѣтъ современно-настроенныхъ женщинъ, измѣняющихъ мужьямъ по принципу. У гр. Толстого для *этого* *новаго* *взяты* *мысли новые*, чего еще не сдѣлалъ до него ни одинъ изъ нашихъ писателей. Гр. Толстой понималъ, что изъ сферы, болѣе или менѣе искусственной не выйдетъ безыскусственный, чисто-почвенный человѣкъ, какихъ болгаръ не выбиралъ для этого. Отличіе всѣхъ вообще взглядовъ гр. Толстого, какъ педагогическихъ, такъ и социальных—это, какъ мы уже не разъ говорили, проведеніе ихъ до крайности; онъ всегда старается дойти до того мѣста, *идея* *бабы* *на небо* *блѣе* *спѣшаютъ*, всякій другой горизонтъ его не удовлетворяетъ. Ему нужна была природа, и онъ черпнулъ ее полнымъ ковшомъ въ самое живое, со всего размаху своей руки; и изъ его руки зато, дѣйствительно, полилась природа, а не иллюминированныя картиночки. Этою вѣрностью себѣ онъ, мнѣ кажется, стоитъ выше Руссо, къ которому вообще близокъ по общей тенденціи. Руссо тоже ненавидѣлъ и отвергалъ цивилизацію; онъ взывалъ къ золотому вѣку простоты и младенчества и сочинилъ себѣ этотъ золотой вѣкъ, произвольно замѣсивъ его на одномъ чувствѣ любви и братства.

Гр. Толстой, конечно, не могъ впасть въ ту же ошибку. Онъ человѣкъ XIX вѣка, то-есть реалистъ, человѣкъ русскій, а главное—большой художникъ. Его взгляды поэтому

выразились въ реальныхъ и живыхъ образахъ. Явленія цивилизаціи, при настоящемъ его настроеніи, ему показались искусственными, незаконными, глупыми и вредными. Ответственность за эти взгляды пусть беретъ онъ на себя: какъ художникъ, онъ имѣетъ право воспроизводить все, что считаетъ достойнымъ своего вдохновенія. Онъ здѣсь не педагогъ, не законодатель, чтобы мы имѣли право требовать у него отчета въ его воззрѣніяхъ. Это все равно, что осудить Канову за нехристіанскій сюжетъ его статуй. Однако критики наши сдѣлали съ романомъ гр. Толстого совершенно то же самое; съ катехизисомъ въ рукахъ доказывали, что нимфы—языческія существа, и что поклоняться имъ—большой грѣхъ. Жизнь кабана и буйволицы показались графу Толстому отраднѣе и выше жизни какихъ-нибудь губернскихъ барышень. И онъ съ чистотою душевною, съ прямою древнихъ германцевъ, плюетъ на вашихъ франтовъ и барышень и указываетъ намъ на Ерощку, говорящаго кабана, на Марьянку—красивую, молоденькую буйволицу съ горячими глазами. Онъ не прячется за преувеличенія и украшенія, не пытается дѣлать никакихъ натяжекъ. „Человѣкъ есть и ничто человѣческое мнѣ не чуждо“, у него просто-на-просто передѣлывается въ „скотъ есть и ничто скотское мнѣ не чуждо“; и этотъ зоологическій ярлыкъ графъ Л. Толстой откровенно прибавляетъ надъ главнымъ входомъ своего романа, чтобы всѣ сразу видѣли—кто живетъ и какъ живетъ*).

Е. Марковъ.

* * *

*) Критическій этюдъ г. Е. Маркова заканчивается особою статьею, носящею названіе: „Цивилизація и хоно природы“. Въ этой статьѣ критикъ выражаетъ свои собственныя взгляды на народъ и цивилизацію,—по его словамъ, „совсѣмъ не тѣ взгляды, которыхъ краснорѣчивымъ истолкователемъ явился графъ Толстой, сначала въ журналѣ *Ясная Поляна*, потомъ въ своемъ романѣ *Казакъ*“.

Редакція „Отечественныхъ Записокъ“, помѣщая въ журналѣ разборъ „Казакъ“ Е. Маркова, оговорила слѣдующимъ примѣчаніемъ къ нему:

„Этотъ превосходный этюдъ мы съ удовольствіемъ помѣщаемъ въ нашемъ журналѣ, хотя у насъ уже была статья г-жи Евг. Туръ о „Казакѣ“ гр. Толстого. Г. Марковъ рассматриваетъ вопросъ съ другой стороны: прежде

По поводу предыдущей статьи Е. Маркова („Народные типы въ нашей литературѣ“) Писаревъ въ извѣстной статьѣ: „Прогулка по садамъ россійской словесности“, между прочимъ, говоритъ слѣдующее:

*) Свѣжая волна новой мысли плеснула недавно на сухія страницы „Отеч. Записокъ“, и филистерская редакція, изнывающая отъ скуки въ аравійской пустынѣ своего собственнаго журнала, встрѣтила эту волну съ величайшимъ восторгомъ и даже не замѣтила, что эта коварная волна несетъ съ собою совершенно неподходящія идеи такъ называемаго теоретическаго лагера.

Въ двухъ книжкахъ „Отеч. Записокъ“ (Январь № 1 и Февраль № 2) напечатанъ критическій этюдъ г. Маркова: „Народные типы въ нашей литературѣ“, и редакція сдѣлала отъ себя примѣчаніе, въ которомъ говоритъ, что „съ удовольствіемъ“ помѣщаетъ *этотъ превосходный этюдъ*“, хотя въ журналѣ уже была напечатана статья Евгени Туръ о томъ же предметѣ... и хотя, прибавляю я отъ себя, г. Марковъ очень остроумно осмѣиваетъ эту самую статью г-жи Туръ. *Этотъ превосходный этюдъ* дѣйствительно очень недуренъ, но я замѣчу только редакціи „Отеч. Записокъ“, что, помѣщая въ своемъ журналѣ и превознося такіе этюды, она отнимаетъ у себя всякое право глумиться надъ тѣми

всего какъ художникъ и ужъ потомъ какъ публицистъ. Этими статья его значительно разнится отъ прежде нами напечатанной. Тамъ, гдѣ г-жа Евг. Туръ видѣла идеалы и опошлялась противъ нихъ, тамъ г. Марковъ видитъ типы художника, прежде всего, а потомъ уже судитъ автора какъ публициста, судитъ не менѣе строго, какъ и г-жа Евг. Туръ. Превосходный анализъ простого русскаго человѣка, сдѣланный г. Марковымъ, выкупаетъ ту строгость, съ которой онъ относится къ массѣ. Онъ не восторгается простымъ человѣкомъ, какъ славянофилы; онъ не бросаетъ въ него грязь, какъ въ чудище, которое ничѣмъ неисправимо, и которому могутъ поспособить одніе социальныя реформы—по мнѣнію другихъ прогрессистовъ; нѣтъ, взглядъ его трезвъ, и онъ видитъ добро и зло; онъ ничего не утаиваетъ, такъ же, какъ и г. Толстой; ничего не преувеличиваетъ, ни передъ чѣмъ не плачется. Такова и должна быть трезвая и реальная критика, если она желаетъ быть полезною; она даетъ чувствовать жизнь и не представляетъ ее ниюю, чѣмъ она есть, не ведетъ за собою утрированныхъ тенденцій въ пользу одного класса народа. Космическая сила массы не является первенствующею; вы чувствуете, что всюду возлѣ нея долженъ быть руководитель*.

**) „Русское Слово“ 1866 г., № 3.

писателями, которые допускаютъ вліяніе чая и кофе на развитіе историческихъ событій. Если же редація продолжаетъ глумиться, — что мы дѣйствительно видимъ на стр. 118 первой январской книжки, — то она подобными выходками доказываетъ только свою неспособность къ связному мышленію.

Чтобы дать читателямъ понятіе о томъ, какія идеи преобладаютъ въ *превосходномъ этюдѣ* г. Маркова, я выпишу изъ него нѣсколько очень выразительныхъ строкъ. „Жизнь кабана и буйволицы показались графу Толстому отраднѣе и выше жизни какихъ-нибудь губернскихъ барышень. И онъ, съ чистотою душевною, съ прямою древнихъ германцевъ плюетъ на вапихъ франтовъ и барышень, и указываетъ намъ на Ерошку, говорящаго кабана, на Марьянку — красивую, молоденькую буйволицу съ горячими глазами. Онъ не прячется за преувеличеніями и украшеніями, не пытается дѣлать никакихъ натяжекъ. „*Человѣкъ есть и ничто человѣческое мнѣ не чуждо*“ у него просто-на-просто передѣлывается въ „*скотъ есть и ничто скотское мнѣ не чуждо*“; и этотъ зоологическій ярлыкъ графъ Л. Толстой откровенно прибавляетъ надъ главнымъ входомъ въ свой романъ, чтобы всѣ сразу видѣли, — кто живетъ и какъ живетъ“ (Февр. № 1. Стр. 470). Тотъ же самый зоологическій ярлыкъ прибѣтъ такъ же откровенно надъ главнымъ входомъ въ *превосходный этюдъ*, но редація „Отечественныхъ Записокъ“ все-таки не сумѣла разглядѣть, *кто живетъ и какъ живетъ* въ *превосходномъ этюдѣ*.

Одобривъ зоологическій ярлыкъ, я конечно не могу одобрить разсужденій г. Маркова объ искусствѣ. Г. Марковъ, въ концѣ своего этюда, нападаетъ на отрицателей чистаго искусства и, такимъ образомъ, платитъ дань старому филистерству, но мнѣ кажется, что позиція г. Маркова въ этомъ пунктѣ очень слаба и ненадежна. Мнѣ кажется даже, что авторъ *превосходнаго этюда* самъ чувствовалъ шаткость своего положенія. Вотъ что онъ говоритъ объ отрицателяхъ: „Эти люди, сами того не замѣчая, дѣлаются врагами общества. Они не умѣютъ смотрѣть на него, какъ на жи-

вой организмъ, въ которомъ хотя каждый органъ функционируетъ сообразно своему характеру, но всѣ органы, безъ исключенія, служатъ общей жизни. Остановить дѣятельность высшихъ сторонъ человѣческаго духа на томъ основаніи, что массы еще не удовлетворены въ насущныхъ своихъ потребностяхъ—это все равно, что прекратить дѣятельность молодого мозга подъ тѣмъ предлогомъ, что не всѣ еще хрящи скелета успѣли окостенѣть“.

Въ словахъ г. Маркова, очевидно, уже начинается пробиваться утилитарный взглядъ на искусство. Онъ смотритъ на общество, какъ на живой организмъ. Мы смотримъ на общество точно такъ же. Онъ говоритъ, что каждый органъ долженъ функционировать сообразно своему характеру! Мы и съ этимъ положеніемъ совершенно согласны. Мы никогда не говорили и не скажемъ, что Дарвинъ и Либихъ должны служить обществу посредствомъ паханія земли. Г. Марковъ утверждаетъ далѣе, что „всѣ органы, безъ исключенія, служатъ общей жизни“. Что всѣ органы *должны* служить общей жизни или, говоря яснѣе, что всѣ члены общества *должны*, каждый на своемъ мѣстѣ, приносить пользу обществу, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Но что всѣ органы *дѣйствительно служатъ* общей жизни и что они никогда не могутъ уклоняться отъ этого служенія—это такая очевидная нелѣпость, которую г. Марковъ, конечно, не рѣшится поддерживать. Это значило бы утверждать, что въ обществѣ нѣтъ и никогда не можетъ быть ни тунеядцевъ, ни паразитовъ, ни эксплуататоровъ. Такимъ образомъ г. Марковъ, уподобивъ общество живому организму, не сдѣлалъ еще ровно ничего для реабилитаціи искусства. Разсматривая художника, какъ члена извѣстнаго общества, онъ наложилъ на него обязанность—приносить пользу этому обществу. Пусть художникъ *функционируетъ сообразно своему характеру*, но пусть онъ этимъ *функционированіемъ* приносить пользу. Это и мы говоримъ то же самое.

Теперь г. Марковъ долженъ доказать, что этотъ *функционирующий* художникъ дѣйствительно приносить пользу.

Тутъ ужъ общія сентенціи ничего не сдѣлають. Каждый отдѣльный случай долженъ быть разобранъ самъ по себѣ. Метафора насчетъ мозга и хрящей также совершенно бесполезна. Противъ нея можно выдвинуть другую метафору, которая докажетъ совершенно противное. Можно, наприимѣръ, напомнить г. Маркову, что обуздывать половую дѣятельность несложившагося отроческаго организма не только полезно, но даже необходимо, потому что слишкомъ раннее развитіе половой системы расслабляетъ организмъ, вмѣсто того, чтобы служить общей жизни. Значитъ, метафоры надо отложить въ сторону и надо просто и серьезно анализировать вопросы: полезна ли музыка, полезна ли скульптура, полезна ли живопись и т. д. Если вы докажете осязательно, что онѣ полезны, то мы съ величайшимъ уваженіемъ преклонимся передъ ихъ величіемъ. Но взявшись доказывать ихъ пользу, вы сами уже превратились въ реалиста, потому что поклонникъ чистаго искусства никогда не позволилъ бы себѣ даже завести рѣчь о полезности своего кумира. Пушкинъ восклицаетъ объ Аполлонѣ Бельведерскомъ, что „мраморъ сей есть богъ“, а вы должны будете доказывать, что мраморъ сей есть тотъ же печной горшокъ, но что онъ только *функционируетъ* сообразно своему характеру.

Далѣе мы видимъ, что г. Марковъ самъ, ставши на точку зрѣнія реализма, плохо вѣруетъ въ полезность искусства. „Исторія, говоритъ онъ, убѣждаетъ насъ, что образованіе, несмотря на постоянное обвиненіе его въ непрактичности, почти исключительно одно работало съ пользою для счастья человѣчества“.—Позвольте, позвольте, г. Марковъ! Зачѣмъ же вы подмѣнили слово *искусство* словомъ *образованіе*? Вѣдь, *искусство* и *образованіе* — двѣ вещи разныя. Доказывать полезность образованія черезчуръ легко. Искусство только тѣмъ и держится въ общественномъ мнѣніи, что постоянно выдаетъ себя за родную сестру науки. А на повѣрку оказывается, что эти двѣ родныя сестры такъ непохожи другъ на друга и такъ враждебны другъ другу по своимъ тенденціямъ, что очень многіе историческіе дѣя-

тели, систематически давившіе науку, такъ же систематически покровительствовали развитію искусства.

Наука была опаснѣйшимъ врагомъ ихъ могущества, въ то время, когда искусство было ихъ работнѣйшимъ союзникомъ.

Итакъ, г. Марковъ, если вы точно хотите побѣдить отрицателей искусства, — потрудитесь отдѣлить искусство отъ науки и доказывайте намъ историческими и всякими другими аргументами пользу *искусства*, а не пользу *образования*. Въ пользу образованія никто изъ насъ не сомнѣвается. Но мнѣ кажется, что г. Марковъ недолго удержится на той точкѣ зрѣнія, которую онъ занимаетъ въ настоящую минуту. Года черезъ два, а можетъ быть, и раньше, онъ, по всей вѣроятности, разорветъ послѣднія связи съ филистерскою рутиною и примкнетъ окончательно — даже по вопросу объ искусствѣ — къ міросозерцанію послѣдовательныхъ реалистовъ. — Я не теряю надежды встрѣтиться когда-нибудь съ г. Марковымъ въ редакціи „Русскаго Слова“. Поэтому говорю ему: до свиданія! *Д. И. Писаревъ.*

*
* * *

*) При извѣстіи о выходѣ „Собранія сочиненій“ гр. Толстого (Кн. В. № 7, стр. 433), мы не сказали ничего о дѣятельности этого писателя, а потому и пользуемся выходомъ отдѣльнаго оттиска его повѣсти, чтобы охарактеризовать дѣятельность гр. Толстого — какъ беллетриста и педагога. Своей литературной извѣстностью гр. Толстой обязанъ болѣе всего повѣстямъ: „Дѣтство“ и „Отрочество“, которыя сразу обратили на автора вниманіе публики и критики. Затѣмъ сильно читались его „Севастопольскія воспоминанія“. Позднѣйшія произведенія гр. Толстого не произвели и десятой доли того впечатлѣнія, которое досталось въ награду первымъ. Должно признать, что это охлажденіе публики имѣетъ свое разумное оправданіе. Гр. Толстой былъ очень силенъ, покуда ограничивался одними художественными на-

*) „Книжный Вѣстникъ“ 1865 г. № 13; статья подъ заглавіемъ: „Тысяча восемьсотъ пятый годъ“. Л. Н. Толстого.

блюденіями безъ всякой аггіе репзее, безъ всякой попытки направлять ихъ къ извѣстному соціальному выводу. Такимъ образомъ удалось ему: „Дѣтство и Отрочество“, „Севастопольскія Воспоминанія“ и, пожалуй, еще „Кавказскіе очерки“ (Рубка лѣса, Набѣгъ). Но гр. Толстой рѣшительно измѣнилъ своему объективному таланту съ тѣхъ поръ, какъ пустился проводить въ своихъ сочиненіяхъ извѣстныя нравственныя („Семейное счастье“) и общественныя („Казаки“, „Люцернъ“) тенденціи. Лирическій характеръ повѣсти „Люцернъ“ и явная преднамѣренность сюжета въ романѣ „Казаки“ только повредили обоимъ этимъ произведеніямъ. Весьма скучно читать философскія изліянія князя Нехлюдова, которыя довольно близко совпадаютъ съ собственными разсужденіями гр. Толстого въ его педагогическихъ статьяхъ. Это—забавное смѣшеніе всѣхъ человѣческихъ понятій: свободы и деспотизма, цивилизаціи и варварства, умственнаго развитія и прискорбнаго тупоумія; это — дешевый индиферентизмъ, который не умѣетъ или не хочетъ примкнуть ни къ одному опредѣленному воззрѣнію, для котораго все трънь-трава. Педагогическая мудрость гр. Толстого вся сводится къ тому, что никто не имѣетъ права воспитывать и обучать другого, ибо это есть нравственный деспотизмъ. По какому же праву самъ г. Толстой обучалъ крестьянскихъ дѣтей и какъ уберется онъ отъ *нравственнаго деспотизма*? Вѣдь, по его понятію, разочаровать мальчика въ томъ, „что земля на трехъ китахъ стоитъ“ есть уже насиліе надъ убѣжденіемъ. Если что можно найти дѣльнаго во всѣхъ педагогическихъ статьяхъ гр. Толстого (какъ, напр., мысли о свободномъ развитіи ребенка, о соединеніи игры съ обученіемъ въ младшемъ возрастѣ)—то все давно „предвосхищено“ у него не только Фребелемъ въ его дѣтскихъ садахъ, но даже дѣдушкой Песталоцци. О романѣ „Казаки“ мы не говоримъ: устарѣлый байронизмъ этого произведенія, совершенно въ родѣ „Кавказскаго плѣнника“, заставляетъ даже забыть нѣкоторые удачныя мѣста и недурно очерченные характеры. Въ нашей современной критикѣ гр. Толстому повезло: не только гг. Эдельсонъ и Гри-

горьевъ превознесли его до небесъ, но и г. Писаревъ (Русск. Слово № XII 1864 г.), считающій себя реальнымъ и социальнымъ критикомъ, не отсталъ отъ нихъ въ панегирическомъ тонѣ своей статьи.

Изъ „Книжнаго Вѣстника“ за 1865 г.

* * *

*) Изъ всѣхъ графовъ Толстыхъ, подвизающихся на поприщѣ россійской словесности, гр. Л. Н. Толстой пользуется наибольшей извѣстностью въ публикѣ и наибольшимъ почетомъ со стороны эстетическихъ критиковъ въ родѣ гг. Эдельсона и Григорьева. Литературное имя этого писателя составилось давно—именно съ появленія его „Дѣтства и Отрочества“; съ тѣхъ поръ гр. Толстой считался уже многими въ числѣ корифеевъ русской беллетристики, а нынѣ извѣстный *издатель-собственникъ* (Стелловскій), воздвигающій посильные монументы нашимъ литературнымъ знаменитостямъ (въ томъ числѣ и Вс. Крестовскому), собралъ и издалъ въ двухъ томахъ всѣ произведенія гр. Л. Н. Толстого, какъ беллетристическія, такъ и педагогическія, изъ „Ясной Поляны“. Итакъ, стало быть, фязіономія этого писателя очертилась передъ нами вполне; гр. Толстой сказалъ нынѣ свое послѣднее слово, и намъ остается только подвести итогъ его дѣятельности, опредѣлить въ короткихъ словахъ его авторскую profession de foi. — Чтобы уяснить себѣ характеръ литературныхъ произведеній, лежащихъ передъ нами, ихъ слѣдуетъ разсматривать съ двухъ разныхъ сторонъ—объективной и субъективной, т.-е. со стороны непосредственного художественнаго таланта и личнаго настроенія, личнаго взгляда автора. Художественный талантъ гр. Т—го, его наблюдательность и тонкій психическій анализъ достаточно выразились въ его первомъ произведеніи („Дѣтство и Отрочество“); этимъ качествамъ и обязаны нѣкоторыя его повѣсти своимъ несомнѣннымъ успѣхомъ въ большинствѣ читающей публики. Въ тѣхъ слу-

*) „Современникъ“ 1865 г., № 4; статья А. Патковского. „Новыя книги. Соч. гр. Л. Н. Толстого. Двѣ части. Спб. 1864—65. Изданіе и собственность Ѳ. Стелловскаго“.

чаяхъ, когда гр. Толстой не задается никакой предвзятой идеей, не силится произвести нѣчто новое и имѣющее удивить всю вселенную — онъ вполне удовлетворяетъ своего читателя вѣрностью наблюденій и мастерскими штрихами въ обрисовкѣ изображаемыхъ имъ лицъ. Однимъ словомъ, чѣмъ скромнѣе задача, чѣмъ больше удаляетъ отъ себя авторъ всякое лукавое мудрованіе и преднамѣренную подтасовку своихъ художественныхъ изображеній — тѣмъ лучше и для него, и для публики. Къ этому разряду произведеній, представляющихъ вѣрную и безыскусственную комбинацію разныхъ житейскихъ фактовъ, относятся „Дѣтство и Отрочество“, Севастопольскія воспоминанія, Кавказскіе очерки („Рубка лѣса“, „Набѣгъ“), „Записки маркера“ и повѣсть „Поликушка“. Мы бы отнесли сюда и романъ „Семейное счастье“, если-бъ въ немъ не сквозила нѣкоторая задняя мысль, состоящая въ идеализаціи извѣстнаго быта, весьма впрочемъ, буржуазнаго свойства. Мы напомнимъ вкратцѣ сюжетъ этого романа. Въ одной деревнѣ живетъ молодая дѣвушка, только что лишившаяся своей матери. Къ ней является въ качествѣ опекуна старый знакомый ихъ дома и вскорѣ овладѣваетъ ея вниманіемъ. Молодая дѣвушка влюбляется, наконецъ, въ своего пожилаго опекуна — и завязка романа готова... Свадьба сыграна, но послѣ свадьбы обнаруживается все различіе въ лѣтахъ и симпатіяхъ обоихъ супруговъ: мужъ, немного флегматикъ, спокойнозираетъ на жизнь, и его не волнуютъ суетныя страсти; молодая жена, напротивъ, ищетъ шума, блеска — чувства, болѣе пылкаго и увлекательнаго, чѣмъ то, которое находила она въ своемъ пожиломъ супругѣ. Начинается семейная драма, которую гр. Толстой весьма неловко подтасовываетъ къ моральному концу. Юная жена, почувствовавъ на своей щекѣ преступныя поцѣлуи какого-то итальянскаго маркиза (драма эта разыгрывается, конечно, за границей, на минеральныхъ водахъ), внезапно сознала свое паденіе и вернулась, благо еще не поздно, на стезю добродѣтели. „Мой мужъ и ребенокъ — говорила она — вспомнились мнѣ какъ давно бывшія дорогія существа, съ которыми у меня все

кончено. Жизнь моя показалась мнѣ такъ несчастна, будущее такъ безнадежно, прошедшее такъ черно. Л. М. (ея подруга) говорила со мной, но я не понимала ея словъ. Мнѣ казалось, что она говорила со мной только изъ жалости, чтобы скрыть презрѣніе, которое я возбуждаю въ ней. Во всякомъ словѣ, во всякомъ взглядѣ мнѣ чудилось это презрѣніе и оскорбительная жалость. *Поцѣлуй стыдомъ жжетъ мнѣ щекъ*“.

Бѣдная женщина начинаетъ даже въ эту минуту пенять на своего мужа: „зачѣмъ онъ не остановилъ ее? Зачѣмъ не употребилъ свою *власть любви надъ ней?*“, т.-е., говоря проще, зачѣмъ повезъ ее за границу, а просто не оставилъ въ деревнѣ, гдѣ бы она навѣрное не встрѣтилась съ подобными искушеніями. Преступный поцѣлуй разыгралъ адъсь роль фатума въ греческихъ трагедіяхъ, и раскаявшаяся жена сама просится назадъ въ деревню, въ которой происходить ея окончательное примиреніе съ мужемъ. Разсудительный читатель, конечно, замѣтитъ, что различіе въ характерахъ и темпераментахъ далеко не всегда ведетъ къ такому душевному соглашенію, но всѣ подобныя замѣчанія будутъ излишними послѣ того, что сказали мы выше о личныхъ сочувствіяхъ и воззрѣніяхъ автора. Еще болѣе пострадали отъ тенденцій и лирическихъ вставокъ повѣсть „Люцернъ“ и романъ „Казакъ“. Главное дѣйствующее лицо въ этой повѣсти князь Дмитрій Нехлюдовъ, выходящій впервые въ разсказахъ „Отрочество“ и „Юность“. Этотъ Нехлюдовъ, правда, нѣсколько развился и поумнѣлъ послѣ того, какъ онъ ѣздилъ въ гости къ Ивану Яковлевичу Корейшѣ, и былъ радъ случаю познакомиться съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ; но это развитіе также не очень высокой пробы, и люцернскій Schweizerhof приютилъ въ себѣ частицу того же духа, который виталъ въ оны дни надъ Сивцевымъ-Вражкомъ. Дѣло въ томъ, что кн. Нехлюдовъ, блуждая по люцернской набережной, наткнулся на бѣднаго пѣвца, который долго распѣвалъ передъ окнами гостиницы и не получилъ за это ни одного франка въ награду отъ накрахмаленныхъ лордовъ и леди. Нехлюдовъ,

который еще въ юности положилъ себѣ за правило сочувствовать „всему прекрасному и высокому“, выходитъ изъ себя по этому поводу и дѣлаетъ глупѣйшій скандалъ, въ которомъ личность пѣвца употребляется, какъ стѣннотбитное орудіе противъ англійской чопорности и высокомерія. Пѣвецъ, какъ и слѣдовало ожидать, не поблагодарилъ русскаго князя за медвѣжью демонстрацію, и Нехлюдовъ переноситъ свой гнѣвъ на весь люцернскій кантонъ, на всю швейцарскую республику, на всѣ республики въ мірѣ, гдѣ пѣвцы умираютъ съ голоду, а живутъ только чернорабочіе съ трудовыми мозолями на рукахъ. Глубокомысленнѣйшіе вопросы приходятъ въ голову Нехлюдову; они идутъ все crescendo и разрѣшаются, наконецъ, удивительными политико-нравственными сентенціями („Отчего это развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное дѣло....“ и т. д. и т. д. „Неужели нѣтъ этого чувства, и мѣсто его заняло тщеславіе, честолюбіе и корысть, руководящіе этихъ людей въ ихъ *палатахъ, митингахъ и обществѣхъ*? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій? — Несчастное, жалкое созданіе человѣкъ съ своей потребностью положительныхъ рѣшеній, брошенный въ этотъ вѣчно движущійся, безконечный океанъ добра и зла, фактовъ, соображеній и противорѣчій. Вѣками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть къ одной сторонѣ благо, къ другой неблаго. Проходятъ вѣка и гдѣ бы, что бы ни прикинулъ безпристрастный умъ на вѣсы добраго и злого, вѣсы не колеблются и на каждой сторонѣ столько же блага, сколько неблаго. Ежели бы только человѣкъ выучился не судить и не мыслить *рѣзко и положительно* и не давалъ отвѣта на вопросы, данные ему только для того, чтобы *они вѣчно оставались вопросами*! Ежели бы только онъ понялъ, что всякая мысль и сложна и справедлива! Цивилизація—благо; варварство—зло; свобода—благо; неволя—зло. Вотъ это-то воображаемое знаніе уничтожаетъ инстинктивные, блаженнѣйшія, первобытныя потребности добра въ человѣческой натурѣ. И кто опредѣлитъ мнѣ, что свобода, что

деспотизмъ, что цивилизація, что варварство? И гдѣ границы одного и другого? У кого непоколебимо въ душѣ это мѣрило добра и зла, чтобы онъ могъ мѣрить имъ бѣгущіе запутанные факты? И кто видѣлъ такое состояніе, въ которомъ бы не было добра и зла вмѣстѣ? И кто въ состояніи такъ совершенно оторваться умомъ хоть на мгновенье отъ жизни, чтобы независимо, сверху взглянуть на нее? Одинъ, только одинъ есть у насъ непогрѣшимый руководитель, Всемірный Духъ, проникающій насъ всѣхъ вмѣстѣ, каждого какъ единицу, влагающій въ каждого стремленіе къ тому, что должно“).

Эта краснорѣчивая лирическая тирада озадачиваетъ и сбиваетъ съ толку читателя; но онъ долженъ помнить неукоснительно, что графъ Толстой весьма плохъ въ отвлеченныхъ вопросахъ и попалъ тутъ не въ свою колею. Вся философская премудрость, изложенная здѣсь, называется просто квѣтизмомъ, и съ ней, кажется, нечего знакомить публику. „Не знаю, дескать, что хуже, что лучше; можетъ быть то и другое“. Какъ видитъ читатель, премудрость эта недалеко отстоитъ отъ философіи русскаго самородка и прорицателя Корейши, къ которому смолоду ѣздилъ на поклонъ князь Нехлюдовъ; только все облечено въ цвѣтистыя фразы, способныя отуманить недалёковиднаго чловѣка. Между тѣмъ, вся бѣда произошла здѣсь отъ того, что гр. Толстой не ограничился изображеніемъ портрета Нехлюдова,—избалованнаго барича,—какихъ много, а задумалъ возвести его въ типъ всероссійскій, придать ему какія-то мудренныя заботы, которыя рѣшительно не лѣзутъ подъ этотъ узкій черепъ. Покуда шла рѣчь о московскомъ бытѣ Нехлюдова, гр. Толстой былъ вѣренъ своему таланту; онъ описывалъ очень вѣрно и юношескую любовь своего героя, и его дружбу съ Иртеньевымъ, такимъ же выродкомъ крѣпостного права и московскаго общества; но вотъ Нехлюдовъ подросъ и захотѣлъ фигурировать въ жизни—ему стало тѣсно въ классной комнатѣ, въ аудиторіи, и онъ пожелалъ выйти на болѣе открытую дорогу. Такимъ образомъ мы застаемъ его въ Люцернѣ нападающимъ на респуб-

ликанскій строй жизни и въ деревнѣ („Утро помѣщика“), гдѣ онъ, какъ нѣкій добродѣтельный калифъ, обходитъ всѣ избы и благодѣтельствуетъ бѣднякамъ, при чемъ бѣдняки, — конечно, по глупости, — не цѣнятъ нимало барской доброты. Въ обоихъ послѣднихъ случаяхъ гр. Толстой могъ бы отнестись къ предмету юмористически; но онъ, какъ видно, очень любить своего героя и потому не даетъ его въ обиду читателямъ. Нехлюдовъ, въ доказательство своей умственной силы, извергаетъ изъ себя весь тотъ младенческій вздоръ, который мы привели выше.

Впрочемъ, замѣтимъ кстати, этотъ младенческій вздоръ, такъ же какъ и всѣ прочія мудренныя выходы Нехлюдова, привелъ въ восторгъ критика „Русскаго Слова“ 1864 г. (№ XII, — который сейчасъ же нашелъ поводъ измѣрить Нехлюдова Базаровымъ, такой ужъ у этого критика аршинъ завелся!). Въ Нехлюдовѣ критикъ, конечно, увидалъ цѣлый типъ и началъ объяснять: почему, дескать, князь побилъ Васюку и какъ бы слѣдовало поступить, чтобы не впасть въ такую продерзость (слѣдовало только начать говорить Васюкѣ *сы*); почему бережная въ Люцернѣ не понравилась Нехлюдову, зачѣмъ нужно человѣку знаніе вообще, и прочее, и все въ такомъ же глубокомысленномъ родѣ. Насчетъ своей любимой базаровщины критикъ говоритъ: „Иртеневъ и Нехлюдовъ какъ по своему возрасту (возрастъ даже опредѣлилъ по своимъ догадкамъ), такъ и по характеру занимаютъ средину между Рудиними съ одной стороны и Базаровыми съ другой. Рудины — чистые говоруны, не имѣющіе даже понятія о возможности какой-нибудь дѣятельности, кромѣ дѣятельности языка. Базаровы — чистые работники, допускающіе дѣятельность языка только въ томъ случаѣ, когда она содѣйствуетъ успѣху работы. А Иртеневы и Нехлюдовы — ни рыба ни мясо. Они за все хватаются, вездѣ хотятъ произвести что-нибудь изумительно хорошее и въ то же время совсѣмъ ничего не знаютъ и рѣшительно ничего не умѣютъ дѣлать, какъ слѣдуетъ“. Не знаемъ, насколько правъ критикъ, найдя для Нехлюдова такую фантастическую середку, но мы, съ своей стороны, нахо-

димъ, что если ужъ искать для Нехлюдова и Иртеньева удобнаго помѣщенія, то всего лучше расквартировать ихъ между... ну хоть между Ильей Муромцемъ (когда онъ еще „сидѣлъ сиднемъ“ въ Карачаровѣ) и Васильемъ Буслаевичемъ, новгородскимъ богатыремъ. Илья Муромецъ не имѣлъ еще понятія о возможности какой-нибудь дѣятельности; онъ чистый сидень и лежебокъ; Василій Буслаевичъ — чистый работникъ, который работаетъ всего больше руками, какъ, напр., въ схваткѣ на Волховскомъ мосту, и только въ крайнемъ случаѣ допускаетъ дѣятельность азыка, какъ, напр., въ бесѣдѣ съ матерью послѣ того, какъ онъ перекрошилъ новгородскихъ мужиковъ. А Нехлюдовъ — ни рыба ни мясо; онъ и дома посидѣть любилъ и подраться не прочь (см. случай съ Васькой), такая параллель, если она и не очень глубокомысленна, то во всякомъ случаѣ новѣе и оригинальнѣе критическихъ измышлений „Русскаго Слова“.

Романъ „Казакъ“ являетъ въ себѣ тѣ же достоинства и недостатки, какъ и повѣсти, въ которыхъ дѣйствуетъ Нехлюдовъ. Картины природы и очерки кавказской жизни замѣчательны по своей художественной отдѣлкѣ; впечатлѣнія героя романа, испытанныя имъ по прїѣздѣ въ эту полудикую страну, переданы вѣрно; но самый характеръ Оленина слабъ донельзя, а движущая идея романа еще того хуже. По своей основной идеѣ „Казакъ“ ничуть не выше тѣхъ байроническихъ произведеній русской литературы, гдѣ наши цивилизованные европейцы отправлялись искать отдыха и забвенія въ страны, „гдѣ въ тучахъ прячутся скалы, гдѣ люди вольны, какъ орлы“. „Оленинъ, — говорится въ романѣ, — былъ такъ свободенъ, какъ только бывали свободны русскіе богатые молодые люди, съ молодыхъ лѣтъ оставшіеся безъ родителей. Для него не было никакихъ ни физическихъ ни моральныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать и ничего ему не нужно было и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ. Но не признавая ничего, онъ увлекался постоянно. Какъ

это напоминает незабвеннаго „Кавказскаго плѣнника“, про котораго Пушкинъ говорилъ:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ
И зналъ невѣрной жизни цѣну,
 Въ сердцахъ людей нашелъ измѣну,
 Въ мечтахъ любви—безумный сонъ.
 Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты...
 Отступникъ свѣта, другъ природы,
 Покинулъ онъ родной предѣлъ
 И въ край далекій полетѣлъ
 Съ веселымъ призракомъ свободы.

Но что было привлекательно и своевременно въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтїя, то пахнетъ анахронизмомъ въ шестидесятыхъ. Поздненько вздумалъ г. Толстой реставрировать старыя картины. Впрочемъ онъ, вѣроятно, раздѣляетъ мнѣніе Нехлюдова, что и „цивилизациа не есть благо, а варварство не есть зло“, и что можно, при случаѣ, промѣнять одно на другое? О педагогическихъ понятїяхъ гр. Т-го также было достаточно говорено въ „Современникѣ“. Съ одной стороны, онѣ представляютъ лишь слабыя попытки „дойти своимъ собственнымъ умомъ“ до тѣхъ истинъ, которыя давнымъ давно высказаны и даже частью осуществлены въ западно-европейской педагогической практикѣ. Такъ гр. Толстой думаетъ, что онъ открылъ Америку, сказавъ: „дѣтей не слѣдуетъ лишать и въ школѣ главнаго удовольствїя—свободнаго движенїя“, а между тѣмъ на этомъ именно и построена цѣлая фребелевская система дѣтскихъ садовъ, которая успѣла даже проникнуть и къ намъ. Что же касается до удивительныхъ откровенїй гр. Толстого, что онъ „не знаетъ и не можетъ знать, въ чемъ должно состоять образованїе народа“, что воспитанїе и обученїе, хотя бы самыя раціональныя, „суть нравственный деспотизмъ и виждутся только на гордости человѣческаго духа“, — то мы можемъ только пожалѣть объ извращенномъ мышленїи автора. Онъ, очевидно, смѣшиваетъ деспотизмъ съ естественнымъ вліанїемъ развитой мысли, а по части сво-

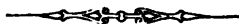
его невѣжества, гдѣ добро и зло въ жизни,—сильно напоминаетъ намъ люцернского Нехлюдова.

А. Пятковский.

* * *

*) Въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, въ статьѣ, подъ заглавіемъ „Новыя Книги“ между прочимъ говорится: „Почти въ одно время съ пятымъ томомъ сочиненій Тургенева явился и второй томъ сочиненій графа Л. Н. Толстого (вып. VI Собрание сочиненій русскихъ авторовъ, изд. О. Стелловскимъ). Въ этихъ сочиненіяхъ кипучая сила созрѣвающего, крѣпнущаго таланта, полного сознанія своей силы, даже нѣсколько самоувѣреннаго, и потому иногда исключительнаго и склоннаго къ эксцентричности. Сравнивая эти двѣ книги, по ихъ содержанію, давно уже извѣстному и много разъ перечитанному всѣми, нельзя не порадоваться тому, что у насъ еще впереди дѣятель литературный, одаренный дѣйствительно большими способностями. При оживляющей свѣжести таланта, графъ Л. Н. Толстой отличается изумительною способностью къ наблюденію. Наблюдательность его до того разнообразна, до того смѣло проникаетъ въ самую глубь предметовъ и типовъ, что мы въ правѣ ожидать отъ автора „Дѣтства и Отрочества“ еще очень многихъ томовъ, подобныхъ изданнымъ по объему и несравненно лучшихъ еще по содержанію, въ чемъ убѣждаетъ насъ послѣднее произведеніе гр. Л. Н. Толстого („1805 годъ“), напечатанное въ первыхъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“ за нынѣшній годъ. Такихъ вещей давай Богъ больше!“

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1865 г. Статья II.—ова.



*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1865 г., № 178. Статья II.—ова.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

БЫВШИМЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 8-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время восемь изданій, обнимаетъ всѣ случаи правописанія словъ. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка всѣхъ словъ съ буквою ъ. Изложеніе ея алфавитное, — почему она полезна даже незнающимъ съ грамматикой. Справиться по ней очень просто: при помощи приложения „Указателя“ открывается страница на букву, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которые слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которые только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извозчикъ, извозчикъ, извозчикъ или извозчикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, ш, а также и въ орфографическомъ словарѣ подъ буквой и — вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается очень скоро.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописание, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ роскошномъ переплетѣ 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 4-е. М. 1898 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ орфографическихъ упражненій (печатается).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 10-е. М. 1900 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орфографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орфографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣстственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ

печатн развиваетъ ореографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительныя навыки правильного письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописание самостоятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ проверить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, релетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой ореографіи, такъ и методики ея преподаванія,—съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по ореографіи; 8) почему-либо отстаившіе въ школахъ отъ товарищей и вообще неусиѣвающіе въ ореографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самостоятельности, легко и скоро приобретаютъ ореографическія знанія и прочныя навыки правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе—для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя—тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія ореографіи по этому руководству, проверка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 6-е. М. 1900 г. Ц. 40 к.

9. Справочный словарь бувы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к. (Печатается 4-мъ изданіемъ).

10. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы—2 к. (Распроданы).

11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка.

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку):

12. а) Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разраб. извѣстными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Ц. 1 р.

13. б) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Цѣна 1 р.

14. в) Методическія указанія и примѣрные уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 2-е. М. 1899 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русскаго языка:

15. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ I. Изд. 3-е. М. 1899 г. Ц. 2 р.—Выпускъ II. Изд. 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й 1 р.

16. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к.

17. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части Ц. 3 р. (1-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

18. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

19. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна 5 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (2-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

21. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

22. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Цѣна 50 к.

23. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть.

24. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунъ“ — Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

25. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть по 1 р.).

26. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.

IV. Серія разныхъ книжекъ:

27. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

28. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

29. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для вѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ: № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

30. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

31. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

32. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозахукина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

РУССКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

Л. Н. ТОЛСТОГО.

Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

Издаіе второе.

МОСКВА.

Типографія И. А. Базандина, Волхонка, д. Михалкова.
1901.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ.

1. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, содержитъ въ себѣ всѣ случаи правописанія словъ. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка словъ съ буквою ъ. Изложеніе ея алаваитное, — почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя“ отыскивается страница на, букву, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извощикъ, извощикъ, извозчикъ, извозчикъ или извожикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: в, с, ч, ш, а также и въ орфографическомъ словарѣ подъ буквой и — всадъ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается весьма быстро.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописание, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболее употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ, съ разноцвѣтной окраской обрѣза, 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 4-е. М. 1898 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ орфографическихъ упражненій (печатается).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 11-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орфографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орфографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ печати развиваетъ правильнаго письма методикъ, предупреждаетъ, а потомъ у: правописаніе самод

РУССКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

Л. Н. ТОЛСТОГО.

—◆—
Хронологическій сборникъ критико-библіогра-
фическихъ статей.

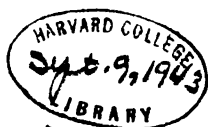
—3—
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

—
СОБРАЛЪ
В. Зелинскій.

—❧— *Издаіе второе.* —❧—

МОСКВА.
Типографія И. А. Балакина, Волконка, д. Миталкова.
1901.

✓ Slav 4354.2.1020



Prof. George R. Noyes

Оглавление третьей части

„Русской критической литературы о произведенияхъ Л. Н. Толстого“.

Критика шестидесятихъ годовъ.

1866-й годъ.

„Тысяча восемьсотъ пятый годъ“	стр. 1
--	--------

Критическія статьи:

Изъ „Книжнаго Вѣстника“ за 1866 г.	1
Н. Страхова.	5

1867-й годъ.

Статья Н. Ахшарумова, подъ заглавіемъ: „1805-й годъ, соч. графа Льва Толстого“	20
--	----

1868-й годъ.

„Война и Миръ“.

Критическія статьи:

Л. Н. Толстого, подъ заглавіемъ: „Нѣсколько словъ по поводу книги: <i>Война и Миръ</i> “	43
Изъ „Голоса“ за 1868 г.	55
П. Анненкова, подъ заглавіемъ: Историческіе и эстетическіе вопросы въ романѣ гр. Л. Н. Толстого: „ <i>Война и Миръ</i> “ .	61
П. Щербальскаго, изъ „Русскаго Вѣстника“ за 1868 г. . .	90
А. Пятковского, подъ заглавіемъ: „Историческая эпоха въ романѣ гр. Л. Н. Толстого	106
Изъ „Дѣла“ за 1868 годъ.	143
С. Сычевскаго, подъ заглавіемъ: „Очерки новѣйшей русской литературы. <i>Война и Миръ</i> гр. Л. Н. Толстого“ . . .	151
М. Цебриковой, подъ заглавіемъ: „Наши бабушки“ (по поводу женскихъ характеровъ въ романѣ <i>Война и Миръ</i>) . .	158
Н. Ахшарумова, изъ „Всемирнаго Труда“ за 1868 г. . . .	165
С. Навалихина, подъ заглавіемъ: „Изящный романистъ и его изящные критики“	189
Алфавитный указатель именъ и предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ литературѣ	V

Алфавитный указатель

именъ и предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ литературѣ.

- Авдѣевъ. 155.
Александръ I. 51, 61, 70, 79, 84, 85, 87, 89, 90, 94, 105, 107, 117, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 131, 138, 139, 143, 148, 190, 203, 204.
Анненковъ, П. 61 — 90.
Аракчеевъ. 63, 86, 139, 143, 148, 169, 184, 190.
Арсеньевъ. 138.
Ахшарумовъ, Н. 29 — 43, 165—189.
Багратионъ. 40, 63, 69, 143.
Балашовъ. 130.
Барклай. 187.
Бахъ. 19.
Байронъ. 166.
Бестужевъ. 135.
Бёрне. 153.
Бѣлинскій. 109.
„Библиотека для Чтенія“. 2.
Биронъ. 168.
„Битва русскихъ съ кабардинцами“. 211.
Богдановичъ. 126, 127, 131.
Болговскій. 130.
Бонапарте. 31, 114, 120, 137.
Борисъ Годуновъ. 167.
„Бородино“, Лермонтова. 157.
„Будильникъ“. 157.
Булгаковъ, А. Я. 130, 131.
Бурдаевъ. 135.
Вальтеръ-Скоттъ. 91, 108, 165, 166.
Верещагинъ. 134.
„Вѣстникъ Европы“. 61, 190, 191, 193, 200, 201, 204, 206.
„Взбаламученное Море“, Писемскаго. 1.
Винесъ. 96.
Воейковъ. 130.
Волынскій. 168.
Вольтеръ. 137, 158, 163.
„Воспоминанія Панаева“. 139.
„Восшествіе на престолъ имп. Николая“, соч. бар. Корфа. 126.
„Война и Миръ“. 43—214.
„Война и Миръ. Сочиненіе гр. Толстого. 1—4 части“. Ахшарумова. 165.
„Война и Миръ, сочиненіе гр. Л. Н. Толстого“, Щербальскаго. 90.

- „Всемирный Трудъ“. 29, 165.
 Галаховъ. 141.
 ГERVINУСЪ. 77.
 Глинка. 49.
 Гоголь. 44, 55, 56, 106, 109, 116, 160.
 Голицынъ. 137, 139.
 „Голосъ“. 55—61, 106.
 Голуховскій. 106.
 Гомеръ. 208.
 Гончаровъ. 1, 56.
 Грейгъ. 108.
 Григорьевъ, Ап. 2.
 Гюго, Викторъ. 151, 154.
 Данилевскій. 145.
 „Двѣнадцатый годъ“, Данилевскаго. 145.
 Державинъ, Гавріилъ. 128, 132.
 „Дѣло“. 143, 150, 151, 189.
 „Дѣтство“. 1, 120.
 Диккенсъ. 152, 193.
 Дмитріевъ. 107.
 „Довольно“. 1.
 Долгорукіе. 168.
 Достоевскій. 1, 2, 3, 44, 56.
 Екатерина II. 112, 125, 130, 131, 137.
 Жанъ-Жакъ Руссо. 31, 92, 137.
 Жерье. 130.
 „Жизнь графа Сперанскаго“. 129.
 „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“. 141.
 Завадовскій. 127.
 Загоскинъ. 142.
 Зандъ. 138.
 „Записки изъ подполья“. 2.
 „Изящный романистъ и его изящные критики“, С. Навалихина. 189.
 „Иліада“. 208, 209.
 Иоаннъ Грозный. 167.
 Иосифъ II. 137.
 „Искра“. 157.
 „Историческіе и эстетическіе вопросы въ романѣ гр. Л. Н. Толстого: *Война и Миръ*“, Анненкова. 61.
 „Историческая эпоха въ романѣ гр. Л. Н. Толстого“, Патковского. 106.
 „Казаки“. 3, 80.
 Камминсъ. 152.
 „Капитанская дочка“. 57.
 Карамзинъ. 128, 129, 132, 136, 140.
 Карлъ XII. 135.
 Кайдановъ. 150.
 „Книжный Вѣстникъ“. 1—5.
 Ковалевскій. 139.
 „Король Лиръ“. 154.
 Корфъ, бар. 126, 128, 130.
 Костомаровъ. 151.
 Коцебу. 138.
 Кошелевъ, Р. А. 130.
 Кочубей, кн. 126.
 Кравцовъ. 1.
 Краевскій. 106.
 Кутузовъ. 40, 46, 63, 64, 70, 79, 100, 119, 136, 143, 187, 190.
 Лагарпъ. 125.
 Лермонтовъ. 157.
 Лиліеншвагеръ. 178.

- Липранди. 106.
 Лувель. 138.
 „Люцерн“. 3, 22.
 Магницкій. 130, 137, 138, 139.
 Макъ. 40, 93.
 Маринъ. 130.
 Меньшиковъ. 168.
 „Мертвыя Души“. 44, 109.
 „Мертвый Домъ“. 44, 56, 109.
 Михайловскій-Данилевскій. 23, 24, 49.
 Михайловъ. 155.
 Муравьевъ-Карскій, Н. Н. 48.
 Муравьевъ, Никита. 140, 141.
 „Набѣгъ“. 23.
 Навалихинъ, С. 189—214.
 „Наканунъ“. 160.
 Наполеонъ. 45, 50, 51, 57, 70, 83, 84, 85, 95, 106, 112, 117, 119, 120, 133, 134, 135, 136, 143, 149, 155, 187.
 Наполеонъ III. 135.
 „Наши бабушки“, Николаевой (М. К. Цебриковой). 158.
 „Недѣля“. 106.
 Некрасовъ. 135.
 Несторъ. 209.
 „Нѣсколько словъ по поводу книги: *Война и Миръ*, гр. Л. Толстого.“ 43—54.
 Никита Безрыловъ (Писемскій). 2.
 Николаева (М. К. Цебрикова). 158—165.
 Новосильцевъ. 126.
 „Обломовъ“. 160.
 „Одесскій Вѣстникъ“. 151, 155.
 „Оливеръ Твистъ“, Диккенса. 193.
 „Описаніе войны“, Михайловскаго-Данилевскаго. 23, 24.
 Орловъ. 108.
 Остерманъ. 168.
 Островскій. 151.
 „Отечественныя Записки“. 5, 158.
 „Отрочество“. 1, 120.
 „Очерки новѣйшей русской литературы. *Война и Миръ*, гр. Л. Н. Толстого“. С. И. Сычевскаго. 151.
 „Первая эпоха преобразованій имп. Александра I“. Статья Богдановича. 126.
 Петръ I. 168, 175, 176.
 Писаревъ. 151.
 Писемскій (Никита Безрыловъ). 1, 2, 3, 5, 19, 20, 56.
 Потемкинъ. 120, 169.
 „Преступленіе и Наказаніе“. 2.
 Прудонъ. 153.
 Пушкинъ. 44, 56, 57, 109, 135, 139.
 Пятковскій, А. П. 106—143.
 Радищевъ. 127.
 „Разсказъ маркера“. 14.
 Ранке. 77.
 Ратчъ. 132.
 Робеспьеръ. 137.
 Россини. 93.
 Ростопчинъ. 45, 46, 84, 133, 134, 135.

- „Рубка Лѣса“. 1, 25.
 Румянцевъ. 108.
 „Русскіе Лугуны“. 2.
 „Русскій Архивъ“. 43, 55, 58, 108, 116, 122, 149.
 „Русскій Вѣстникъ“. 2, 3, 5, 62, 90, 101, 107.
 Салтыковъ, А. Н. 130.
 Салтыковъ, Н. И. 130.
 „Севастополь“. 1.
 „Севастополь въ декабрѣ 1854 года“. 27.
 „Севастополь въ маѣ 1855 года“. 5.
 „Севастополь въ августѣ 1855 года“. 26.
 Скарятинъ. 118.
 „Собака“. 2.
 Сперанскій. 63, 79, 86, 92, 101, 102, 103, 105, 112, 128, 129, 130, 131, 132, 139, 143, 148, 158, 184, 190, 198, 203.
 „Станный пассажъ въ пассажѣ“. 2.
 Страховъ, Н. 5 — 28.
 Стругановъ. 126, 131, 132.
- Суворовъ. 120.
 Сухомлиновъ. 132.
 Сычевскій, С. И. 151—158.
 Тистельвудъ. 138.
 Тургеневъ. 1, 3, 5, 56, 151.
 „Тысяча восемьсотъ пятый годъ“. 1—43, 90.
 „1805-й годъ, соч. гр. Льва Толстого“, Ахшарумова. 29, 165.
 Тьеръ. 49, 50.
 Фотій (архимандритъ.) 139.
 Фусъ. 138.
 Цебрикова, М. К. (Николаева). 158 — 165.
 Чарторижскій, кн. 119, 126, 131, 132.
 Шекспиръ. 42, 151, 154.
 Шеллингъ. 138.
 Шиллеръ. 110.
 Шишковъ. 132, 137.
 Шлоссеръ. 77.
 Щебальскій, П. 90—105, 107.
 Эгуиларъ. 152.
 Экартгаузенъ. 163.
 „Юность“. 20.
 „Юрій Милославскій“. 141.

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ЛѢТЪ.

1866 г.

*) *Тысяча восемьсотъ пятый годъ*. Графа Льва Толстого. Часть I и II М. 1866. Въ унив. тип. 8, 16 стр. Въ I части 167, во II—230.

Имя графа Льва Толстого хорошо извѣстно русской публикѣ; нѣкоторыя его произведенія („Дѣтство“, „Отрочество“, „Севастополь“, „Рубка лѣса“,) занимали видное мѣсто въ русской беллетристикѣ, даже въ недавнее время ея блестящаго, относительно, періода, когда имена гг. Тургенева, Писемскаго, Гончарова и Достоевскаго—пользовались полнымъ сочувствіемъ публики, и каждое новое ихъ произведеніе давало темѣ для горячихъ толковъ и считалось чуть ли не событіемъ. Давно ли было это время, а уже отъ него, какъ извѣстно, не осталось даже и слѣдовъ; всѣ эти бывшіе корифеи беллетристики, переживъ свою славу, находятъ въ положеніи пѣвцовъ, спавшихъ съ голоса, и благо еще г. Гончарову, что онъ одинъ выказалъ достаточно самообладанія въ время остановиться и замолкнуть, чтобы объ немъ сохранилось воспоминаніе, какъ о пѣвцѣ съ небольшимъ, но пріятнымъ голосомъ. Грустная исторія о томъ, какъ, подобно Кравцову, гг. Тургеневъ и Писемскій надорвались надъ *ut diez*омъ („Отцы и дѣти“ и „Взбаламученное море“) извѣстна всѣмъ и каждому; извѣстно также, что и это ихъ не остановило и что суждено было публикѣ прослушать и никитобезрыловскіе фельетоны, и „До-

*) „Книжный Вѣстникъ“ 1866 г., № 16—17.

вольно“, и „Русскихъ лгуновъ“, и „Собаку“... Г. Достоевскій крѣпился долго, но, наконецъ, не выдержалъ и пошелъ тоже по ихъ слѣдамъ, удивляя въ наши дни публику своимъ *ut diez'omъ* „Преступленіе и наказаніе“—послѣднее продолженіе котораго въ восьмой книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ въ состояніи вполнѣ убѣдить даже самаго снисходительнаго диллетанта, что и его, г. Достоевскаго, пѣсенка спѣта и спѣта съ не меньшимъ *рыцарствомъ* и отвагою, чѣмъ пропѣлъ ее Никита Безрыловъ. Sic itur ad astra—наши литературныя знаменитости и съ половины дороги возвращаются на землю и обратно въ видѣ загадочнаго аэролита, производя еще большее недоумѣніе въ средѣ русскихъ читателей, чѣмъ произведенія въ родѣ „Записокъ изъ подполья“ или „Страннаго пассажи въ Пассаждъ“. А между тѣмъ въ то недавнее время, о которомъ мы вспомнили, обратить на себя вниманіе въ беллетристикѣ, когда упомянутая нами плеяда свѣтила на литературномъ горизонтѣ, было не легко, для этого требовалось не мало таланта, и все-таки писатель, представлявшій несомнѣнные его признаки, оставался на второмъ планѣ и значительно затмевался, такъ что произведенія самого гр. Толстого покойный критикъ Ап. Григорьевъ принималъ почему то „за явленіе совершенно обойденное русской критикой“, хотя она ихъ вовсе не обходила и усердно занималась оцѣнкою ихъ, и отвела имъ мѣсто, и разсуждала, по своему исконному обыкновенію, объ нихъ обильно и многословно. Намъ даже помнится, что въ началѣ шестидесятыхъ годовъ мы читали въ какомъ-то изъ журналовъ, преслѣдовавшихъ воздушно-эстетическія цѣли, чуть ли не въ „Библ. для Чтенія“, обширный трактатъ въ двухъ или трехъ статьяхъ, главная мысль котораго заключалась въ томъ, что „важнѣйшею заслугою гр. Л. Толстого должно считаться отсутствіе всякой тенденціозности“. До какой степени такая похвала, похожая на поощреніе мыслителя за то, что въ строѣ его мысли нѣтъ направленія—лестна, мы говорить не станемъ. Существуетъ, да еще и благополучно, цѣлое воззрѣніе, покоящееся на подобныхъ положеніяхъ, а у насъ нынѣ оно даже стремится къ пре-

обладанію, благодаря тому, что критическіе Оерситы болѣе живучи, чѣмъ дѣйствительные критики, не обладающіе ни мѣдными лбами, ни тѣмъ нахальствомъ, какое проявляютъ различные Incognito. Дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что эстетикъ, писавшій упомянутый трактатъ, обманулся (какъ и постоянно суждено обманываться эстетикамъ) даже и въ основномъ своемъ предположеніи, и графъ Л. Толстой — писатель тенденціозный, что онъ самъ поторопился доказать своими „Казаками“, а пожалуй даже и „Люцерномъ“, хотя характеръ этихъ тенденцій весьма своеобразный и даже нѣсколько мистическій. Какъ человѣкъ умный и талантливый, послѣ этихъ произведеній, графъ Л. Н. Толстой, вѣроятно, созналъ несостоятельность многихъ изъ своихъ взглядовъ, но эти самыя тенденціи спасли его отъ той торной дороги, по которой пошли г-да Писемскій, Тургеневъ и Достоевскій, и новое его произведеніе „1805 годъ“, несмотря на всѣ свои несовершенства, если и не возбуждаетъ въ читателяхъ особеннаго сочувствія, то по крайней мѣрѣ не претитъ, а и такое отрицательное достоинство при современномъ состояніи беллетристики не особенно часто радуется читателя.

Въ томикѣ, лежащемъ передъ нами, перепечатаны первая и вторая части „1805 года“, предварительно явившіяся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“; но мы прочли ихъ въ первый разъ и прочли не безъ удовольствія. Нѣкоторыя страницы напомнили намъ своею свѣжестью лучшія произведенія этого автора, нѣкоторыя лица, выведенныя имъ въ разсказѣ (напр., князь Василій, княгиня Друбецкая, капитанъ Тушинъ), мастерски имъ очерчены, но въ цѣломъ—этотъ „1805 годъ“ представляетъ что-то странное и неопредѣленное. Самъ авторъ, повидимому, не знаетъ, какъ опредѣлить свое произведеніе; въ заглавіи сказано просто „1805 годъ“, графа Льва Толстого; и дѣйствительно, это не романъ, не повѣсть, а скорѣе какая-то попытка военно-аристократической хроники прошедшаго, мѣстами занимательная, мѣстами сухая и скучная. Прочтя двѣ части, нельзя дать себѣ отчета ни объ основной идеѣ произведенія ни понять для чего и зачѣмъ авторъ выставляетъ своихъ блѣдныхъ Николичекъ, Наташенекъ,

Мими и Борисовъ, на которыхъ невозможно сосредоточить вниманія среди описаній военныхъ дѣйствій, какихъ-то беллетристическихъ реляцій того времени, въ чемъ, кажется, главный интересъ произведенія; не знаешь даже, фигурируютъ ли эти лица въ рассказѣ въ качествѣ героевъ, или по своему ничтожеству они только служатъ отдѣльными группами для главнаго фона картины. Болѣе удачно обрисованная личность князя Андрея приводитъ къ тѣмъ же вопросамъ и недоумѣніямъ; фантомы аристократическихъ лицъ прежняго времени, за исключеніемъ уже упомянутаго князя Василія, княгини Друбецкой и стараго Ростова—тоже не удалось автору, а между тѣмъ кромѣ этихъ лицъ выведено имъ еще множество, и нѣкоторыя изъ нихъ (Анатолий Курагинъ, Долоховъ и т. д.) кажется въ качествѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ; за ихъ многочисленностью завязка произведенія становится какою-то раздробленною, и неудовлетворенное вниманіе читателя утомляется. По прочтеніи 2-хъ частей не знаешь даже, кончено ли произведеніе, или оно служить прологомъ для какой-то эпопеи, чего-то оригинальнаго и самобытнаго, но достаточно скучнаго и неопредѣленно тенденціознаго. Языкъ, которымъ написанъ „1805 годъ“, хорошъ, какъ и во всѣхъ другихъ рассказахъ Л. Толстого; но, по какому-то необъяснимому капризу, половина его дѣйствующихъ лицъ говоритъ по-французски и вся ихъ переписка ведется на томъ же языкѣ, такъ что книга едва-ли не на треть написана по-французски, и цѣлыя страницы сплошь напечатаны французскимъ текстомъ (правда съ подстрочнымъ внизу переводомъ). Это оригинальное нововведеніе тоже дѣйствуетъ на читателя какъ-то странно, и рѣшительно недоумѣваешь, для чего оно могло бы понадобиться автору? Если онъ хотѣлъ своими цитатами, по массѣ своей дѣлающимися злоупотребленіемъ, доказать, что предки нашей аристократіи начала текущаго столѣтія, разные Болконскіе и Друбецкіе говорили чистымъ и хорошимъ языкомъ, то для этого было бы достаточно одного его свидѣтельства, пожалуй, двухъ, трехъ фразъ на книгу, и ему всѣ охотно повѣрили бы, такъ какъ въ этомъ едва-ли кто

и сомнѣвался; повѣрили бы даже, что и жаргоны у нихъ были безукоризненные, но читать книгу, представляющую какую-то смѣсь „французскаго съ великорусскимъ“ безо всякой необходимости въ этомъ, право, не составляетъ никакого удобства и удовольствія; еще на аристократическихъ страницахъ „Русскаго Вѣстника“ онъ болѣе кстати, но для отдѣльнаго изданія можно было бы поступиться французскимъ текстомъ; впрочемъ, кабалистическій шрифтъ, которымъ отпечатана книга, показываетъ, что это изданіе—только отдѣльные оттиски изъ знаменитаго московскаго журнала.

Изъ „Книжнаго Вѣстника“.

* * *

*) Въ заключеніе одной изъ мастерскихъ своихъ повѣстей (*Севастополь въ мѣсь 1855 г.*) гр. Л. Н. Толстой какъ бы невольно высказалъ глубочайшій мотивъ своей поэзіи.

„Герой моей повѣсти говоритъ онъ—котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—*правда*“.

Тутъ разомъ высказывается и то, что поэтъ ищетъ героя,

*) „Отечественныя Записки“ 1866 г., № 23 и 24. Статья Н. Страхова, подъ заглавіемъ: „Наша извѣстная словесность. 1805 годъ, ч. I и II. Соч. гр. Л. Н. Толстого. Москва 1866 г.“.

Помѣщаемый здѣсь разборъ Н. Страхова въ полномъ своемъ видѣ состоитъ изъ двухъ главъ. Тутъ помѣщена только вторая глава. Въ первой главѣ, напечатанной въ 23 № „Отечественныхъ Записокъ“, заключаются общія разсужденія Н. Страхова о русской художественной литературѣ, ея особомъ отпечаткѣ и объ оттѣсненіи ея на задній планъ всякаго рода историческимъ движеніемъ; кромѣ того, въ этой же главѣ своего разбора критикъ обращаетъ вниманіе читателя на то обстоятельство, что помыслы нашихъ творческихъ умовъ главнымъ образомъ обращены были на уясненіе себѣ идеала душевной красоты. Для подтвержденія своихъ выводовъ Страховъ приводитъ сравнительную характеристику творчества Тургенева, Писемскаго и Л. Толстого. Общій заключительный выводъ первой главы разбора Страхова тотъ, что русскіе могутъ быть удовлетворены только совершенною *правдой* и *простотой*, какъ въ жизни, такъ и въ художественныхъ произведеніяхъ, и что эта чоронная черта русской литературы съ большою силою отъмывается въ произведеніяхъ Л. Н. Толстого, главнымъ центръ которыхъ заключается въ „тонительной душѣ объ истинной жизни и красотѣ и о душевномъ безсміи, не дающемъ людямъ доступа къ той жизни и красотѣ“.

Примѣч. В. Заминскаго.

ищетъ прекрасныхъ явленій жизни, и то, что онъ приступаетъ къ жизни съ требованіями неподкупной правды, и то, что въ своемъ строгомъ исканіи онъ не находитъ героя, не находитъ прекрасной жизни. Ему остается одно—признать свое исканіе за прекрасную мерту, свои требованія за нормальное явленіе. Такъ онъ и сдѣлалъ, восхваляя свою правдивость.

Какъ мы уже сказали, поэтъ въ своихъ поискахъ за жизнію и красотою приходилъ на бастіоны Севастополя во время его обороны. И что же? Повидимому, онъ и тутъ не нашелъ героическихъ чертъ. Оканчивая повѣсть, изъ которой мы привели заключеніе, онъ говоритъ:

„Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны“.

Если бы это было послѣднимъ словомъ автора, то отсюда слѣдовало бы, что всѣ явленія, какія нашелъ поэтъ въ русской жизни, безразличны, всѣ имѣютъ, такъ сказать, одну степень и всѣ одинаково далеки отъ явленій прекрасной, героической жизни. Мы увидимъ, однакоже, что не таковъ окончательный выводъ, что тяжелымъ трудомъ нашъ авторъ достигъ до другихъ, болѣе отрадныхъ взглядовъ.

Но вотъ постановка дѣла. Требуется открыть героя на русской землѣ, то-есть героя въ смыслѣ поэзіи, такое лицо, которое можно было бы воспѣвать, которому бы можно было сочувствовать. И вотъ авторъ выводитъ намъ цѣлую вереницу лицъ, могущихъ имѣть притязаніе на сочувствіе, и со всею безпощадною правдивостію доказываетъ намъ, что они не герои, а люди малодушные и пустые, несмотря на употребляемые ими старанія быть вполне хорошими людьми.

Что же это за люди? Одного изъ нихъ авторъ опредѣляетъ весьма отчетливымъ образомъ:

„Оленинъ былъ юноша, нигдѣ не кончившій курса, нигдѣ не служившій (только числившійся въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ), промотавшій половину своего состоянія, и до двадцати-четырехъ лѣтъ не избравшій еще себѣ ни-

какой карьеры и никогда ничего не дѣлавшій. Онъ былъ то, что называется „молодой человѣкъ“ въ московскомъ обществѣ“.

Всякій замѣтитъ, что это старая исторія. Это тотъ же Онѣгинъ, который,

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ
До двадцати-пяти годовъ,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ.

Но процессъ тоски, снѣдавшей Онѣгина, у этихъ людей сталъ глубже и опредѣленнѣе, то-есть симптомы болѣзни раскрылись въ несравненно большей степени.

Воспитаніе—вполнѣ похоже на онѣгинское. Николай Иртеневъ съ величайшею живостію рассказывалъ намъ свое „дѣтство“ и „отрочество“, и тутъ видно, что эти люди росли, не испытывая никакихъ нравственныхъ и умственныхъ вліяній, которыя бы помогли развитію ихъ души и наложили бы на нее свою печать. Что до нравственнаго вліянія, то Иртеневъ прямо говоритъ:

„Заботою о насъ отца было не столько нравственность и образованіе, сколько свѣтскія отношенія“.

Что касается до умственнаго развитія, то нельзя не обратить вниманія на замѣчаніе Иртенева, что исторія всегда казалась ему самымъ скучнымъ, тяжелымъ предметомъ, и нельзя не найти комическимъ слѣдующій урокъ изъ исторіи:

„— Позвольте перышко, сказалъ мнѣ учитель, протягивая руку.— Оно пригодится. Ну-съ.

— Людо... Кар... Людовикъ святой былъ... былъ... былъ... добрый и умный царь...

— Кто-съ?

— Царь. Онъ вздумалъ пойти въ Іерусалимъ и *передалъ бразды правленія* своей матери.

— Какъ ее звали-съ?

— Б... б... ланка.

— Какъ-съ? Буланка?

Я усмѣхнулся какъ-то криво и неловко.

— Ну-съ, не знаете ли еще чего-нибудь? сказалъ онъ съ усмѣшкой“.

При этомъ разсказѣ невольно чувствуется, что изъ чужеземной исторіи, какъ она у насъ до сихъ поръ преподается, намъ всего доступнѣе

Лишь дней минувшихъ анекдоты.

При такомъ ходѣ дѣла было однакоже одно вліяніе, которое обнаруживала окружающая среда на этихъ отроковъ и которое, разумѣется, дѣйствовало на нихъ очень сильно. Именно на мѣсто различенія добра и зла, свѣта и тьмы, красоты и безобразія, въ душахъ ихъ было развиваемо понятіе *comme il faut*, понятіе—говоритъ Николай Иртенъевъ—которое въ моей жизни было однимъ изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ мнѣ воспитаніемъ и обществомъ.

„Родъ человѣческій можно раздѣлить на множество отдѣловъ—на богатыхъ и бѣдныхъ, на добрыхъ и злыхъ, на военныхъ и статскихъ, на умныхъ и глупыхъ и т. д.; но у cadaго челоѣка есть непремѣнно свое любимое, главное подраздѣленіе, подъ которое онъ безсознательно подводитъ каждое новое лицо. Мое любимое и главное подраздѣленіе людей, въ то время, о которомъ я пишу, было на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas*.

„*Comme il faut* было для меня не только важной заслугой, прекраснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достигнуть, но это было необходимое условіе жизни, безъ котораго не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на свѣтѣ. Я не уважалъ бы ни знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода челоѣческаго, если бы онъ не былъ *comme il faut*. Челоѣкъ *comme il faut* стоялъ выше и внѣ сравненія съ ними; онъ предоставлялъ имъ писать картины, ноты, дѣлалъ добро—онъ даже хвалилъ ихъ за это, отчего же и не хвалить хорошаго, въ комъ бы оно ни было, но онъ не могъ становиться съ ними подъ одинъ уровень; онъ былъ *comme il faut*, а они нѣтъ—и довольно. Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ

братъ, мать или отецъ, которые бы не были *comme il faut*, я-бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужъ тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего общаго“.

Вотъ катихизисъ, который былъ внушаемъ этимъ людямъ средою, ихъ окружавшею. Какъ не вспомнить здѣсь Онѣгина, который не прежде влюбился въ Татьяну, какъ увидавши ее блестящей свѣтской дамой, такую, что

Она казалась вѣрный снимокъ,
Du *comme il faut*,

и который былъ очень удивленъ, когда подъ этою внѣшностію нашелъ настоящую Татьяну, Татьяну не *comme il faut*, честную русскую женщину.

И большой Онѣгинъ и маленькій Печоринъ, несмотря на тоску, ихъ грызущую, остаются однако въ томъ обществѣ, среди котораго родились. Съ героями гр. Л. Толстого дѣло происходитъ иначе. У нихъ рано начинается разладъ съ понятіями, привитыми обществомъ, и они уходятъ изъ своего круга и пускаются по всевозможнымъ путямъ, ища иныхъ людей и иной жизни для себя. Нехлюдовъ уходитъ въ деревню, Оленинъ въ казацкую станицу, другіе на Кавказъ въ дѣйствующіе отряды, или въ Севастополь, или даже, какъ Долесовъ, на петербургскіе шниц-балы, чтобы тамъ встрѣтиться съ Альбертомъ.

Разладъ происходитъ не у всѣхъ, а именно только у тѣхъ, кого гр. Толстой избираетъ своими героями. Другіе юноши легко сливаются съ своею средою. Такъ братъ Николай Иртеньева, Володя, спокойно вступаетъ на путь своего отца. Такъ Бѣлецкій, встрѣтившійся съ Оленинымъ среди казаковъ, не чувствуетъ ни малѣйшаго разлада съ жизнью.

„Общее мнѣніе о Бѣleckомъ было то, что онъ милый и добродушный малый! Можетъ быть, онъ дѣйствительно былъ такой; но Оленину онъ показался, несмотря на добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно непріятенъ“.

Не мудрено; между этими людьми нѣтъ ничего общаго. Одинъ принадлежитъ окружающей жизни, другой отъ нея

оторвался. Одинъ легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явленіе составляетъ задачу.

„Бѣлецкій — рассказываетъ далѣе — сразу вошелъ въ обычную жизнь богатаго кавказскаго офицера въ станицѣ. Онъ подпивалъ стариковъ, дѣлалъ вечеринки“ и проч. „Казачи, ясно опредѣлившіе себѣ этого человѣка, любившаго вино и женщинъ, привыкли къ нему и даже полюбили его больше, чѣмъ Оленина, который былъ для нихъ загадкой“.

Прибавимъ — загадкой и для самого себя. Далѣе въ разговорѣ съ Бѣлецкимъ, Оленинъ самъ выражаетъ сознаніе своей разнородности съ нимъ и съ цѣлымъ міромъ, къ которому тотъ принадлежитъ. Оленинъ говоритъ:

— „Я знаю, что я *составляю исключеніе* (онъ, видимо, былъ смущенъ). Но жизнь моя устроилась такъ, что я не вижу не только никакой потребности измѣнять свои правила, но я бы не могъ жить здѣсь, не говорю уже жить такъ счастливо, какъ живу, ежели бы я жилъ *по вашему*. И потому, я *совсѣмъ другого* ищу, *другое* вижу въ нихъ (женщинахъ), *чѣмъ вы*“.

Вотъ эти-то загадки для себя и другихъ, эти исключенія изъ общаго правила и составляютъ главныхъ лицъ, выводимыхъ у графа Толстого. Лица эти — несчастные, страдающіе люди, въ противоположность счастливымъ и довольнымъ собою Володымъ, Бѣлецкимъ, Дубковымъ и всему множеству вообще. У нашихъ героевъ есть только одно счастливое время жизни, не *юность*, которая по ходячему романическому мнѣнію составляетъ лучшую пору каждаго человѣка, не *мужество*, которое по сущности дѣла должно бы представлять полное раскрытіе жизни, а *дѣтство*, первоначальная пора, когда человѣка еще нѣтъ, а есть только задатокъ человѣка. Дѣтство является для нихъ единственною свѣтлою точкой. Вотъ какъ говорятъ они объ немъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ:

„Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, не лелѣять воспоминаній объ ней? Воспоминанія эти освѣжаютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ наслажденій.“

„Вернутся ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? *Какое время можетъ быть лучше* того, когда двѣ лучшія добродѣтели—невинная веселость и безпредѣльная потребность любви были единственными побужденіями въ жизни?“

„Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучший даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣывалъ сладкія грѣзы неиспорченному дѣтскому воображенію“.

„Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?“

Конечно, нужно считать очень несчастливymi людей, у которыхъ есть дѣтство, но нѣтъ юности и мужества въ настоящемъ смыслѣ. Жизнь, имѣющая такой ходъ, очевидно, поражева глубокой неправильностію.

Что же случается? Какъ мы уже сказали, у героевъ гр. Толстого возникаетъ разладъ съ окружающимъ міромъ. Процессъ возникновенія этого разлада описанъ у гр. Толстого со всею отчетливостію. Не то, чтобы окружающая дѣйствительность поражала этихъ людей своимъ безобразіемъ, или производила на нихъ давленіе, изъ-подъ котораго они старались выбиться; не то, чтобы въ душѣ ихъ существовали стремленія, которыя не находили себѣ пищи, существовала жажда дѣятельности, для которой не оказывалось простора; нѣтъ—дѣло здѣсь имѣло совершенно иной видъ.

Среди той пустоты, того отсутствія вліяній, въ которомъ эти люди провели свое дѣтство и отрочество, у нихъ въ извѣстную пору, въ силу внутренняго развитія души, возникли идеальныя стремленія, чрезвычайно сильныя и совершенно неопредѣленныя. Въ этомъ была ихъ бѣда, пощадившая другихъ юношей. Свѣтъ возникшаго идеала былъ такъ силенъ, что міръ *comme il faut* исчезалъ передъ нимъ безъ слѣда; идеалъ почти не удостоивалъ бороться съ этимъ міромъ. Такимъ образомъ, эти люди оставались наединѣ съ собою, отрѣзанные отъ своей дѣятельности. Но въ то

же время молодой позывъ къ идеалу не успѣваетъ сформироваться въ опредѣленные требованія и желанія. Недостаетъ руководства, примѣровъ, формъ, словъ и очертаній, которыя помогли бы широкому и сильному идеалу, такъ сказать, сложиться въ опредѣленный организмъ. Поэтому душа, если можно такъ выразиться, не дорастаетъ; являются страдающіе люди, которые не знаютъ, что имъ дѣлать и какъ имъ дѣлать, которые и въ себѣ и въ другихъ постоянно отыскиваютъ идеальную сторону жизни, мучатся ея отсутствіемъ, и иногда доходятъ до совершеннаго сомнѣнія въ ея существованіи.

Переломъ, которымъ начинается этотъ разладъ, наступаетъ въ юности.

„Подъ вліяніемъ Нехлюдова — рассказываетъ Николай Иртеневъ — я невольно усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло *восторженное обожаніе идеала добродѣтели* и убѣжденіе въ назначеніи человѣка совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія, казалось удобоисполнимою вещью — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ...“

Совершенно опредѣленно эта эпоха обозначена нѣскольکو далѣе:

„Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали съ обожаемымъ другомъ моимъ Дмитріемъ, чудеснымъ Митей, какъ я самъ съ собою шопотомъ иногда называлъ его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такой свѣжей силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, ту же секунду, захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ.“

„И съ этого времени я считаю начало юности.“

„Мнѣ былъ тогда шестнадцатый годъ въ исходѣ“.

Тутъ же сказывается и неопредѣленность эгихъ порывовъ, пробудившихся съ такою силою.

„Этотъ пахучій сырой воздухъ и радостное солнце говорили мнѣ внятно, ясно *о чемъ-то новомъ и прекрасномъ*, которое хотя я не могу передать такъ, какъ оно сказывалось мнѣ, а постараюсь передать такъ, какъ я воспринималъ его — все мнѣ говорило про красоту, счастье и добродѣтель, говорило, что какъ то, такъ и другое легко и возможно для меня, что одно не можетъ быть безъ другого, и даже, что красота, счастье и добродѣтель одно и то же“.

Иртеньевъ мечтаетъ о своей новой жизни:

„ . . . въ точности буду исполнять все (что было это „все“, я никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо принималъ и чувствовалъ это „все“ разумной, нравственной, безупречной жизни“).

А вотъ описаніе подобнаго пробужденія идеала у другого героя, двадцати-четырёхлѣтняго юноши Оленина — лица, къ которому авторъ отнесся болѣе строго, чѣмъ къ Иртеньеву. Оленинъ въ лѣсу задаетъ себѣ вопросъ: „Какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ и отчего онъ не былъ счастливымъ прежде?“

„И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. „Счастье вотъ что — сказалъ онъ самъ себѣ — счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья; стало быть, она законна, Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!“ Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собою, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить“.

Какъ все это молодо и благородно! Несмотря на то, что авторъ не только не льститъ этимъ юношамъ, а напротивъ, почти готовъ отнести къ нимъ комически (чистаго коми-

ческаго отношенія, какъ мы замѣтили, у него не бываетъ, потому что это—не свободное, самообладающее творчество), нельзя не сочувствовать этимъ порывамъ. „Богъ одинъ знаетъ—говорить съ сомнѣніемъ авторъ—*точно ли смѣлины были* эти благородныя мечты юности“; но въ другомъ, болѣе объективномъ мѣстѣ, гр. Толстой ясно высказываетъ, какую цѣну имѣютъ эти мечты.

„Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій. Благій, отрадный голосъ, столько разъ съ тѣхъ поръ, въ тѣ грустныя времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдругъ смѣло возстававшій противъ всякой неправды, злостно обличавшій прошлое, указывавшій, заставляя любить ее, ясную точку настоящаго, и общавшій добро и счастье въ будущемъ—благій, отрадный голосъ! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?“

Есть люди, у которыхъ никогда не звучалъ этотъ голосъ; есть такіе, у которыхъ онъ звучитъ въ извѣстную пору, но легко заглушается голосомъ нуждъ, страстей, привычекъ и примѣровъ окружающей жизни; чаще же всего люди, подавляемые жизнью, чувствуютъ смиреніе передъ нею, не смѣютъ становиться выше ея и предлагать ей требованія, считаютъ дерзостію возложить и на себя большія надежды, и потому слѣпо влекутся обстоятельствами, смутно сознавая, что должна быть какая-то другая жизнь, которая, однако, имъ не по силамъ.

Но у героевъ гр. Толстого голосъ идеала звучитъ громко и не даетъ имъ никогда успокоиться. Одинъ изъ нихъ, чувствуя, что мелкія страсти и привычки совершенно завладѣли его душою, сталъ такъ для себя гадокъ, что застрѣлился („Разсказъ маркера“). Всѣ они приступаютъ къ себѣ и къ жизни съ огромными требованіями; у всѣхъ постоянно шевелится въ душѣ вопросъ, который рано задалъ себѣ Николай Иртеньевъ: „Зачѣмъ все такъ прекрасно, ясно у меня въ душѣ, и такъ безобразно выходитъ на бумагѣ и

вообще въ жизни, когда я хочу примѣнять къ ней что-нибудь изъ того, что думаю?...”

Тутъ намъ слѣдовало бы привести цѣлый рядъ комическихъ явленій съ молодыми людьми гр. Толстого—явленій, впрочемъ, очень обыкновенныхъ у всякаго рода молодыхъ людей. Явленія эти состоятъ въ томъ, что юноши прикидываются взрослыми людьми, обнаруживаютъ интересы, желанія, потребности, которыхъ не имѣютъ, волнуются чувствами, которыхъ не питаютъ—однимъ словомъ *напускаютъ* на себя всякаго рода содержаніе, котораго еще лишены ихъ юныя души. Николай Иртеневъ рассказываетъ про себя:

„Я продолжалъ считать своею непремѣнною обязанностію скрывать отъ всего общества Нехлюдовыхъ и въ особенности отъ Вареньки свои настоящія чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другимъ молодымъ человѣкомъ отъ того, какимъ я былъ въ дѣйствительности, и даже такимъ, какого не могло быть въ дѣйствительности“.

Подобныхъ обезьянничаній приведено множество въ разсказахъ гр. Толстого. Смыслъ явленій такъ простъ, что не нуждается ни въ какомъ поясненіи. Комизмъ—вотъ единственное правильное отношеніе къ нимъ; но замѣчательно, что именно этого-то отношенія и не устанавливается у гр. Толстого. Очевидно, комизмъ былъ бы возможенъ только въ томъ случаѣ, если бы у юношей, о которыхъ идетъ рѣчь, на ряду съ фальшивыми проявленіями, постепенно возрастали и усиливались дѣйствительныя чувства, желанія и потребности. Тогда эта дѣйствительная душевная жизнь могла бы утѣшить человѣка въ томъ, что онъ, въ иныхъ случаяхъ поддался фальши, и дать ему надежду, что онъ, наконецъ, навсегда избавится отъ фальши. Но, къ несчастію, здѣсь нѣтъ этого утѣшенія и этой надежды. Герои гр. Толстого чувствуютъ, что въ душѣ ихъ нѣтъ живыхъ движеній, и потому, съ горестью и уныніемъ видятъ въ себѣ одну фальшь. Прекрасный идеалъ, который они носятъ въ душѣ, заставляетъ ихъ страдать отъ той фальши, которой другіе предаются съ увлеченіемъ и о которой вспоминаютъ потомъ со смѣхомъ. Какое глубокое недовольство собою долженъ былъ

чувствовать Николай Иртеневъ, напимѣрь, при такомъ собственномъ поведеніи:

„Вспомнивъ, какъ Володя цѣловалъ прошлаго года кошелекъ своей барышни, я попробовалъ сдѣлать то же, и, дѣйствительно, когда я одинъ вечеромъ въ своей комнатѣ сталъ мечтать, глядя на цвѣтокъ, и прикладывать его къ губамъ, я почувствовалъ нѣкоторое пріятно-слезливое расположеніе, я снова былъ влюбленъ, или такъ предполагалъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней“.

Бѣдный мальчикъ! Онъ, очевидно, ясно чувствуетъ фальшь, которой Володя конечно предавался, не задумываясь, какъ будто дѣло дѣлалъ.

Откуда же, спрашивается, такое отсутствіе живыхъ интересовъ и потребностей у этихъ юношей? Мы уже указывали на отсутствіе умственныхъ и нравственныхъ вліяній, среди которыхъ они развивались. Внѣшнія ихъ обстоятельства давали имъ полную возможность жить особнякомъ, не связывая себя тѣсно ни съ какими людьми, ни съ какимъ опредѣленнымъ дѣломъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ положеніе Оленина:

„Въ восемнадцать лѣтъ Оленинъ былъ такъ свободенъ, какъ только бывали свободны русскіе богатые молодые люди сороковыхъ годовъ, съ молодыхъ лѣтъ оставшіеся безъ родителей. Для него не было никакихъ ни физическихъ ни нормальныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ“.

Другой герой слѣдующимъ образомъ указываетъ на то, какъ понятія, среди которыхъ онъ воспитывался, отрывали его отъ дѣйствительности.

„Ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всѣхъ трудныхъ для меня условий *comme il faut*, исключаящихъ всякое серіозное увлеченіе, ни ненависть и презрѣніе къ девяти-десятымъ рода человеческого, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внѣ кружка *comme il faut*, все это еще

было не главное зло, которое мнѣ причинило это понятіе. Главное зло состояло въ томъ убѣжденіи, что *comme il faut* есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ *comme il faut*; что, достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей“.

„Въ извѣстную пору молодости, послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно становится въ необходимость дѣятельнаго участія въ общественной жизни, выбираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ *comme il faut* это рѣдко случается. Я зналъ и знаю очень, очень много людей старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: „Кто ты такой? И что ты тамъ дѣлалъ?“ не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ: „je fus un homme très comme il faut“.

„Эта участь ожидала меня“.

Изъ этого видно, что пустая, безсодержательная среда не давала этимъ юношамъ никакой точки опоры, никакого живого, теплаго прикосновенія къ дѣйствительности. Но это только внѣшнее условіе или возможность ихъ особаго развитія. Внутреннее, существенное условіе, по которому они не стали въ ряды *очень и очень многихъ*, почему они были выброшены изъ своей среды и почували въ себѣ такую страшную пустоту, заключается въ ихъ душевномъ пробужденіи, въ томъ порывѣ къ идеалу, отъ котораго начинается разладъ ихъ жизни.

„Бываютъ люди—замѣчаетъ авторъ—лишенные этого порыва, которые, сразу входя въ жизнь, надѣваются на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни“.

Вся бѣда нашихъ героевъ въ томъ и заключается, что они нимало на такихъ людей не похожи, и, напримѣръ, прежде всего сбрасываютъ съ себя хомутъ *comme il faut*, въ которомъ многіе чувствуютъ себя такъ счастливо.

„Оленинъ—разсказываетъ авторъ—раздумывалъ надъ

тѣмъ, куда положить всю силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ, тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть *сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ и какъ ему кажется, и изъ всего міра все, что ему хочется*“.

„Оленинъ слишкомъ сознавалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачѣмъ“.

Итакъ, вотъ каковы герои гр. Толстого. Это не худшіе наши люди, а скорѣе лучшіе. Это исключенія изъ нашей жизни, но исключенія, порожденные самою жизнью, ея пустотою и бессодержательностію. Въ нихъ проснулась неумирающая душа человѣческая, они почувствовали въ себѣ порывъ къ идеалу, услышали его зовущій голосъ. Они пошли за нимъ и попали въ тотъ тяжелый разладъ съ самими собою и съ окружающими людьми, который составляетъ главную тему графа Толстого. При свѣтѣ своего идеала они сами себѣ кажутся пустыми и мертвенными, а окружающая ихъ жизнь является имъ темною и мелкою...

Что же дѣлаютъ герои графа Толстого? Они буквально бродятъ по свѣту, нося въ себѣ свой идеалъ, и *ищутъ идеальной стороны жизни*. Они мучительно заняты рѣшеніемъ самыхъ общихъ и, повидимому, очень наивныхъ вопросовъ такого рода: существуетъ ли на свѣтѣ истинная дружба? Существуетъ ли истинная любовь къ женщинѣ? существуетъ ли высокое наслажденіе природою или искусствомъ? существуетъ ли истинная доблесть, напр., храбрость на войнѣ? Эти вопросы, которые мы обыкновенно считаемъ признакомъ пошлости человѣка, ихъ задающаго, пошлости у насъ очень обыкновенной и всѣмъ знакомой, эти вопросы не стыдятся задавать себѣ юноши графа Толстого, потому что для нихъ это мучительные вопросы, потому что они, во что бы то ни стало, хотятъ увидѣть собственными глазами ту прекрасную сторону жизни, о которой они слышали и къ которой ихъ влечетъ внутреннее чув-

ство. Двадцати-четырехлѣтній Оленинъ подъѣзжаетъ къ Кавказскимъ горамъ.

„Оленинъ съ жадностью сталъ вглядываться, но было пасмурно, и облака до половины застилали горы. Оленину виднѣлось что-то сѣрое, бѣлое, курчавое; *какъ онъ ни старался, онъ не могъ найти ничего хорошаго въ видѣ горъ, про которыя столько читалъ и слышалъ. Онъ подумалъ, что горы и облака имѣютъ совершенно одинаковый видъ, и что особенная красота сѣровыхъ горъ есть такая же выдумка, какъ музыка Баха и любовь къ женщинамъ, въ которыя онъ не вѣрилъ*“.

Но не даромъ же онъ поѣхалъ на Кавказъ, а не остался въ Москвѣ, вмѣстѣ съ Сашкой Б...—флигель-адъютантомъ, и княземъ Д... На другое же утро онъ *почувствовалъ всю безконечность красоты горъ. Но если горы достались такъ легко, то въ другихъ случаяхъ приходилось вынести долгое исканіе и тысячи тяжелыхъ колебаній, прежде чѣмъ жизнь открывала свою таинственную красоту.*

Бѣдная; бѣдная жизнь! Такъ ли ты уже дурна и темна на самомъ дѣлѣ, что каждую прекрасную черту твою нужно отыскивать какъ кладъ, зарытый въ глубокомъ подземельѣ? Или же эти люди, жаждущіе твоей красоты, почему-то поражаются слѣпотою, и неспособны увидѣть то, что прямо передъ ихъ глазами? Они *слышатъ, они читаютъ* про какой-то дивный міръ, гдѣ есть любовь къ женщинѣ, музыка Баха, красота природы; но хотя женщинъ вокругъ нихъ много—они не любятъ кого-нибудь изъ нихъ, музыка звучитъ—они не чувствуютъ восторга, природа передъ глазами—они ея не видятъ.

Отыскивая по свѣту идеальную сторону жизни, герои графа Толстого нерѣдко приходятъ въ отчаяніе, нерѣдко теряютъ вѣру въ то, что они—когда-нибудь достигнутъ цѣли. Въ сочиненіяхъ графа Толстого много есть мѣстъ, выражающихъ полное невѣріе въ жизнь, признаніе ея совершеннаго ничтожества, совершеннаго отсутствія въ ней идеала. У него встрѣчается, напримѣръ, отрицаніе любви, нисколько не уступающее тому невѣрію, которое г. Писем-

скій выразилъ относительно Ромео и Юліи. Въ „Юности“ есть глава, которая называется *Любовь*. Въ ней Николай Иртенъевъ порѣшаетъ дѣло такъ:

„Есть три рода любви:

- 1) любовь красивая,
- 2) любовь самоотверженная и
- 3) любовь дѣятельная.

„Я говорю не о любви молодого мужчины къ молодой дѣвушкѣ и наоборотъ, я боюсь этихъ нѣжностей, и былъ такъ несчастливъ въ жизни, что никогда не видалъ въ этомъ родѣ любви ни одной искры правды, а только ложь, въ которой чувственность, супружескія отношенія, деньги, желаніе связать или развязать себѣ руки—до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было“.

Это настоящій взглядъ г. Писемскаго. Отвергается именно та любовь, къ разряду которой относится любовь Ромео и Юліи. Остальные три рода любви тоже оказываются фальшью. Вотъ, напр., замѣтка *о любви красивой*.

„Смѣшно и странно сказать, но я увѣренъ, что было очень много и теперь есть много людей извѣстнаго общества, въ особенности женщинъ, которыхъ любовь къ друзьямъ, мужьямъ, дѣтямъ сейчасъ бы уничтожилась, ежели бы имъ только запретили про нее говорить по-французски“.

Во второмъ разсказѣ о Севастополѣ—разсказѣ, гдѣ авторъ съ поразительнымъ мастерствомъ изобразилъ сцены мелочныхъ страстей, тщеславія, зависти, трусости и т. д., которыя онъ нашелъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ казалось бы можно было найти только невыразимо-величественную и грозную эпопею, гр. Толстой усомнился въ достоинствѣ души человѣческой, и заключаетъ свой разсказъ такъ:

„Вотъ я и сказалъ, что хотѣлъ сказать на этотъ разъ. Но тяжелое раздумье одолеваетъ меня. Можетъ быть, не надо было говорить этого; можетъ быть, то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ *тѣхъ злыхъ истинъ*, которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ

вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его“.

„Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать, гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны“.

Злая истины, о которыхъ говоритъ здѣсь авторъ, встрѣчаются у него безпрестанно. Это большое мѣсто въ душѣ его героевъ, до котораго они любятъ дотрогиваться. Тема этихъ злыхъ истинъ одна—ничтожество и малодушіе человѣческаго племени. Доказывается эта тема всегда одинаковымъ образомъ, именно тѣмъ, что герои ловятъ себя постоянно на отступленіи отъ своего идеала, на томъ, что не выдерживаютъ своихъ благороднѣйшихъ плановъ и предположеній. Они такъ любятъ свои высокія мечтанія, что ни за что не хотятъ отъ нихъ отказаться, такъ что противорѣчіе жизни этимъ мечтаніямъ огорчаетъ ихъ до глубины души и наводитъ на самыя мрачныя идеи. Иногда это выходитъ комически, какъ огорченіе отъ неисполненія совершенно фантастическихъ, совершенно чуждыхъ дѣйствительности, желаній. Вотъ, напр., мрачныя размышленія Николая Иртеньева:

„Мой другъ былъ совершенно правъ; только гораздо, гораздо позднѣе я изъ опыта жизни убѣдился въ томъ, какъ вредно думать и еще вреднѣе говорить многое, кажущееся очень благороднымъ, но что навсегда должно быть спрятано отъ всѣхъ въ сердцею каждого человека — и въ томъ что благородныя слова рѣдко сходятся съ благородными дѣлами. Я убѣжденъ въ томъ, что уже по одному тому, что хорошее намѣреніе высказано, трудно, даже большею частію невозможно исполнить это хорошее намѣреніе. Но какъ удержатъ отъ высказыванія благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позднѣе вспоминаешь объ нихъ, какъ о цвѣтѣ, который—не удержался, сорвалъ не распустившимся и потомъ увидѣлъ на землѣ завялымъ и затонувшимъ“.

„Я, который сейчасъ только говорилъ Димитрію, своему другу, о томъ, чѣмъ деньги портятъ отношенія, на другой

день утромъ, передъ нашимъ отъѣздомъ въ деревню, когда оказалось, что я промоталъ всѣ свои деньги на разныхъ картинки и стамбулки, взялъ у него двадцать-пять рублей ассигнаціями на дорогу, которые онъ предложилъ мнѣ, и потомъ очень долго оставался ему долженъ“.

Экая бѣда, въ самомъ дѣлѣ, эти двадцать пять рублей! И какъ отсюда ясно слѣдуетъ, что благородныхъ намѣреній не слѣдуетъ высказывать, а если разъ высказались, то ужъ потомъ какъ не исполнишь! Эти фантастическія страданія тѣмъ не менѣе суть страданія; они свидѣлствуютъ все о томъ же—о силѣ идеальныхъ стремленій, которымъ преданы эти юноши, слишкомъ многотребующіе отъ себя и отъ жизни. Они строго судятъ людей и себя; но у нихъ нѣтъ никакого руководства, которое бы научало ихъ различать добро отъ зла, давало бы имъ ясно видѣть, что любить и что презирать. Юноша, который мучится избыткомъ благородныхъ чувствъ и намѣреній—собственно есть очень милое явленіе, разумѣется, какъ задатокъ. Но если этотъ задатокъ не развивается, если его мечты не получаютъ со временемъ опредѣленныхъ формъ, если въ душѣ его не возникаетъ живыхъ потребностей, которыя подсказывали бы ему что любить и что ненавидѣть, то это будетъ болѣзненное явленіе пустой, холодной жизни. Для князя Д. Нехлюдова въ „Люцернѣ“ міръ все еще представляется хаосомъ:

„Кто опредѣлитъ мнѣ—спрашиваетъ онъ—что свобода, что деспотизмъ, что цивилизація, что варварство? И гдѣ границы одного и другого? У кого въ душѣ такъ непоколебимо это *мѣсто добра и зла*, чтобы онъ могъ мѣрять имъ бѣгущіе факты?“

Чѣмъ же оканчиваются и оканчиваются ли вообще всѣ эти волненія, сомнѣнія и колебанія? Находятъ ли наконецъ эти люди въ себѣ и другихъ ту идеальную сторону жизни, по которой они такъ мучатся? Какъ мы уже замѣтили, дѣло не останавливается на полномъ отчаяніи, къ которому они иногда приходятъ. Для нихъ открываются проблески истинной жизни, истинной духовной красоты, большому

частію не въ нихъ, а въ другихъ людяхъ, которыхъ они въ своемъ упорномъ исканіи идеала наконецъ начинаютъ цѣнить и любить. Такимъ образомъ они приобрѣтаютъ вѣру, что красота жизни существуетъ, что есть души, вполне сохраняющія достоинство человѣка, вполне достойныя сочувствія.

Особенно подробно и полно разработанъ у графа Толстого вопросъ о *храбрости*, о томъ, *какъ дѣлается война*, по выраженію одного изъ лицъ его севастопольскихъ разсказовъ, Козельцова, т.-е. какъ она дѣлается по отношенію къ недѣлимымъ, въ душѣ лицъ, тѣмъ или другимъ путемъ попавшихъ на театръ войны. Начинается разработка этого вопроса съ повѣсти „Набѣгъ“, а концомъ разработки можно считать „1805 годъ“, гдѣ во второй части война изображена уже съ полнымъ мастерствомъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла съ полнымъ обладаніемъ предметомъ. Центръ же, поворотную точку, гдѣ достигнута наконецъ *суть дѣла*, гдѣ храбрость найдена лицомъ къ лицу, составляетъ *по-сидній* севастопольскій разсказъ.

Въ „Набѣгъ“ выведенъ на сцену *волонтеръ*, который, какъ подобаетъ герою графа Толстого, ищетъ проявленій истинной жизни и потому просится въ дѣло, чтобы видѣть, проявляется ли и какъ проявляется храбрость. Его отговариваютъ.

— „И чего вы не видали тамъ? продолжалъ убѣждать меня капитанъ. — *Хочется вамъ узнать, какія сраженія бывають?* Прочтите Михайловскаго-Данилевскаго „Описаніе войны“—прекрасная книга: тамъ все подробно описано—и гдѣ какой корпусъ стоялъ, и какъ сраженія происходятъ.

— „Напротивъ, *это-то* меня и не занимаетъ, отвѣчалъ я.

— „Ну, такъ что же? вамъ, просто хочется, видѣть, посмотрѣть, какъ людей убивають?.. Вотъ въ тридцать второмъ году, былъ тутъ тоже неслужащій какой-то, изъ испанцевъ, кажется. Два похода съ нами ходилъ въ синемъ плащѣ какомъ-то... таки ухлопали молодца. Здѣсь, батюшка, никого не увидишь“.

Немудрено, что этотъ истинно-прекрасный человѣкъ,

капитанъ Хлоповъ, не понимаетъ, что хочется волонтеру. Для него не существуетъ душевнаго вопроса, который мучить молодого человѣка. Для него *храбрость* такое же простое и ясное понятіе, какъ и всѣ другія, и онъ понимаетъ „Описаніе“ Михайловскаго-Данилевскаго. Волонтеръ же не понимаетъ этого слова, какъ и многихъ другихъ, о которыхъ *слышалъ и читалъ*. Это сейчасъ и оказывается изъ его разспросовъ.

— „Что, онъ *храбрый былъ*? спросилъ я капитана (про испанца).

— „А Богъ его знаетъ: все бывало впереди ѣздить; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.

— „Такъ, стало-быть, *храбрый*, сказалъ я.

— „Нѣтъ, это не значитъ *храбрый*, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ...

— „Что же вы называете *храбрыми*?

— „Храбрый? храбрый? повторилъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ...”

Вопросъ этотъ никогда не беспокоилъ капитана, между тѣмъ, какъ онъ глубоко тревожитъ волонтера. И вотъ волонтеръ напряженно присматривается къ тому, какъ держать себя различныя лица во время похода и дѣла.

„Я съ любопытствомъ вслушивался въ разговоры солдатъ и офицеровъ и внимательно всматривался въ выраженія ихъ физіономій; но рѣшительно ни въ комъ я не могъ замѣтить и тѣни того *безпокойства*, которое испытывалъ самъ: шуточки, смѣхи, рассказы, выражали общую беззаботность и равнодушіе къ предстоящей опасности“.

Испытывая самъ нѣкоторое чувство страха, онъ видитъ лицомъ къ лицу всѣ проявленія мужества и удивляется имъ, но еще не понимаетъ ихъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ прямо и говоритъ: *я совершенно ничего не понималъ*.

Стараясь, однакоже, рѣшить, которое изъ этихъ различныхъ явленій храбрости достигаетъ совершенной полноты, которое представляетъ настоящее воплощеніе идеала, волонтеръ останавливается въ заключеніе на капитанѣ Хлоповѣ:

„Въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго; но зато въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. *Вотъ кто истинно храбръ, казалось мнѣ неволью*“. „Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видѣлъ его. Легко сказать: такимъ же, какъ и всегда; но сколько различныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; по лицу же капитана замѣтно, что капитанъ и не понимаетъ *зачѣмъ казаться*“.

Вотъ первое рѣшеніе вопроса, очевидно весьма слабое и недостаточное. Капитанъ Хлоповъ, конечно, прекрасный и храбрый человекъ; но не всѣ же могутъ быть такъ просты, какъ онъ. Можетъ быть, храбрыми могутъ быть и люди, которые понимаютъ нѣсколько больше его, которые понимаютъ, *зачѣмъ казаться*, задавали себѣ вопросъ: *что такое храбрый*, равно какъ и многіе другіе вопросы, никогда не приходившіе въ голову капитана Хлопова.

Итакъ, требуются новыя этюды. Авторъ рисуетъ множество людей, менѣе спокойныхъ, чѣмъ капитанъ, волнуемыхъ страхомъ при видѣ опасности, иныхъ совершенно поддающихся этому страху, другихъ успѣшно борющихся съ нимъ, и многихъ вполне и блистательно подавляющихъ это чувство и властвующихъ собою. Среди этого анализа, попадаетеся и *злая истинца* на своемъ надлежащемъ мѣстѣ. Въ „Рубкѣ лѣса“, юнкеръ рассказываетъ свой разговоръ съ ротнымъ командиромъ Болховымъ, который „имѣлъ состояніе, служилъ прежде въ гвардіи и говорилъ по-французски“. Этотъ Болховъ объявляетъ юнкеру, что онъ неспособенъ къ кавказской службѣ.

„Я, говорилъ онъ, не могу переносить опасности... просто я не храбръ...“

„Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня безъ шутокъ“.

Болховъ очевидно трусъ, до того падающій духомъ, что уже не можетъ владѣть собою. Казалось бы, подобное малодушіе должно было неприятно подѣйствовать на юнкера.

Между тѣмъ, вотъ разговоръ, который происходитъ между ними въ этотъ же день:

Болховъ съ улыбкой посмотрѣлъ на меня.

— „А я думаю, вамъ очень страннымъ показался нашъ разговоръ утромъ? сказалъ онъ.

— „Нѣтъ, *отчего же?* Мнѣ только показалось, что вы слишкомъ откровенны; *есть вещи, которыя мы все знаемъ, но которыя никогда говорить не надо*“.

То-есть, всѣ мы трусы, да только нельзя же объ этомъ рассказывать. Бѣдный юноша! Онъ, очевидно, испуганъ не опасностью, а тѣмъ, что чувствуетъ въ душѣ своей страхъ, несмотря на свое отвращеніе отъ того чувства и желаніе подавить его. Стыдливо скрываетъ онъ свою внутреннюю благородную борьбу, и когда малодушный и мелочной Болховъ открываетъ ему свою трусость, онъ не смѣетъ укорить его, ставить себя съ нимъ наравнѣ и называетъ и себя трусомъ.

Много и другихъ проявленій малодушія анализовано авторомъ съ его необыкновеннымъ мастерствомъ. Черты тщеславія и другихъ мелкихъ страстей, разыгрывающихся среди самаго разгара битвы и великихъ событій, выставлены такъ же, какъ явленія, подрывающія вѣру въ достоинства души человѣческой. Человѣкъ, доблестный среди битвы, черезъ минуту становится мелочнымъ въ обыкновенной жизни. Что же такое эта доблесть, такъ быстро уступающая мѣсто малодушію? На эту тему, какъ мы уже и упоминали, написанъ второй севастопольскій рассказъ. Но Севастополь взялъ такъ свое. Въ третьемъ, послѣднемъ севастопольскомъ рассказѣ, уже вполне разрѣшенъ вопросъ: что такое храбрость. Этотъ рассказъ писанъ уже полною художественною манерою, тою же самою, которою писанъ „1805 годъ“. Въ рассказѣ „Севастополь въ августѣ 1855 года“, уже твердо записано важное замѣчаніе, „что страхъ, какъ и *каждое сильное чувство*, не можетъ въ одной степени продолжаться долго“.

Замѣчаніе весьма важное для того наивно-идеальнаго взгляда, который готовъ потребовать, чтобы человѣкъ по-

стоянно питалъ весьма сильныя и весьма благородныя чувства.

По обыкновенію, авторъ и здѣсь рисуетъ свои лица со всею правдивостію, изображаетъ всѣ ихъ мелочныя слабости, всевозможные переходы отъ доблести къ малодушію. Онъ рассказываетъ, напр., какъ наканунѣ битвы, офицеры въ оборонительной казармѣ играютъ въ карты. Они жадничаютъ, злятся, наконецъ, завязывается ссора. Авторъ перестаетъ рассказывать.

„Опустимъ, говоритъ онъ, скорѣе завѣсу надъ этой сценической. Завтра, нынче же, можетъ быть, каждый изъ этихъ людей *весело и гордо* пойдетъ навстрѣчу смерти и умретъ *твердо и спокойно*, но одна отрада жизни въ тѣхъ ужасающихъ самое холодное воображеніе условіяхъ отсутствія всего человѣческаго и безнадежности выхода изъ нихъ, одна отрада есть забвеніе, уничтоженіе сознанія. *На днѣ души каждого лежитъ та благородная искра, которая сдѣлаетъ изъ него героя; но искра эта устаетъ горѣть ярко — придетъ роковая минута, она вспыхнетъ пламенемъ и освѣтитъ великія дѣла*“.

Итакъ, вотъ разгадка! Вотъ объясненіе возможности героизма и признаніе его дѣйствительнаго существованія. Стыдливый юнкеръ и безстыдный трусъ Болховъ уже никого не заставятъ усомниться въ возможности доблести въ душѣ человѣческой.

Само собою разумѣется, что присутствіе душевной доблести не могло быть подвергнуто сомнѣнію гр. Толстымъ— въ простомъ народѣ, не въ средѣ юнкеровъ, волонтеровъ и офицеровъ, а въ средѣ простыхъ солдатъ. Здѣсь дѣло было столь же ясное, какъ и относительно капитана Хлопова. Храбрость была на лицо, и оставалось только изучать ее. Въ этомъ отношеніи найдется не мало прекрасныхъ изображеній у гр. Толстого. Величіе народнаго духа особенно поражаетъ въ *первомъ* севастопольскомъ разсказѣ „Севастополь въ декабрѣ 1854“. Это какъ будто первое неотразимое впечатлѣніе, которое потомъ забылось въ силу постоянного и неизмѣннаго присутствія предмета, его произво-

дившаго, такъ что явилась возможность возникнуть колебаніямъ и грусти *второго* рассказа. Но, очевидно, заключеніе перваго рассказа годится и для всѣхъ трехъ.

„Надолго—оканчиваетъ авторъ—оставить въ Россіи великіе слѣды эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ *русскій*...“

Итакъ, герой найденъ наконецъ. Герой несомнительный, въ которомъ ни разу не приходилось усомниться, рассказывая о которомъ, нельзя было ни разу окончить правдивую повѣсть грустнымъ вопросомъ: „кто же герой этой повѣсти?“

Намъ довелось бы долго черпать въ книгѣ, столь богатой поэзіею и наблюдательностію, какъ сочиненія гр. Толстого, если бы мы вздумали прослѣдить другія черты душевной жизни тѣхъ героевъ автора, на которыхъ устремлено его главное вниманіе, то-есть дѣтей нашего общества, Иртеньевыхъ, Олениныхъ, князей Нехлюдовыхъ и пр. Они больны, эти люди, одною болѣзнію — пустотою и мертвенностію души. Но у нихъ въ душѣ несомнѣнно таятся *благородная искра*, которая стремится *вспыхнуть пламенемъ*, и только почему-то не находитъ пищи для своего огня. Если бы эта искра вспыхнула, она озарила бы прекрасную душевную жизнь; стремленіе къ этой жизни составляетъ мученіе этихъ душъ.

Насколько нашъ общій духовный складъ, наше образованіе, образъ мыслей и чувствъ или отсутствіе мыслей и чувствъ въ нашемъ обществѣ содѣйствуютъ порожденію такихъ болѣзненныхъ явленій — вопросъ, который мы не будемъ рѣшать, но который ясно затрогивается этими явленіями.

Но еще интереснѣе вопросъ: какія живыя начала обнаруживаетъ здѣсь русская душа, какой нравственный и эстетическій складъ она проявляетъ, выбиваясь изъ-подъ какого-то давящаго ее недуга?

Н. Страховъ.

1867 г.

*) Къ числу самыхъ рѣдкихъ явленій въ нашей литературѣ принадлежитъ *Тысяча восемьсотъ пятый годъ, графа Льва Толстого*. Такія явленія освѣжаютъ, какъ дождь послѣ засухи. Они даютъ намъ возможность отдохнуть на минуту отъ вихря насущныхъ тревогъ и послѣ долгаго періода раздражительной, лихорадочной дѣятельности оглянуться въ раздумьи назадъ, на свое прошедшее.

Нужно ли говорить: какъ плодотворны подобнаго рода оглядки? Если жизнь политической единицы, какъ и жизнь недѣлимаго, не бессмысленный агрегатъ случайностей, а дѣйствительно *жизнь*, имѣющая въ себѣ какую-нибудь живую цѣлость, какое-нибудь послѣдовательное развитіе и исторически-непрерывную связь, то память для нея необходима и необходимо сознаніе прожитого. Съ этой точки зрѣнія мы и просимъ взглянуть на 1805-й годъ. Явленіе это мы не можемъ категорически отнести ни къ одной изъ извѣстныхъ рубрикъ изыщной словесности. Это не *хроника* и не *историческій романъ*. Хотя оно и подходитъ по формѣ довольно близко къ послѣднему; но содержаніе его лишено драматическаго единства; дѣйствіе не имѣетъ центра; завязка, интрига, развязка, все это опущено; мало того, разсказъ очевидно не конченъ, но смыслъ его не страдаетъ нисколько отъ всѣхъ этихъ недостатковъ, которые потому мы и не можемъ признать недостатками. Напротивъ, намъ кажется, что болѣе строгая рамка была бы стѣснительна, требуя для своей полноты такихъ вещей, какихъ авторъ не могъ и не долженъ былъ вовсе имѣть въ виду. Задачей его былъ: *очеркъ русскаго общества шестьдесятъ лѣтъ назадъ*, и мы должны отдать справедливость вкусу, съ которымъ, отбросивъ всѣ лишніе орнаменты и всякую претензію на эффектъ, онъ принесть въ жертву этотъ послѣдній строгому требованію исторической правды. Разсказъ его потерялъ

*) „Всемирный Трудъ“ 1867 г. № 6. Статья Н. Ахшарумова, подъ заглавіемъ: „1805-й годъ, соч. графа Льва Толстого“.

отъ этого очень немного, а выигралъ безконечно. Затѣмъ остается вопросъ: на сколько въ очеркѣ его принималъ участіе творческій вымыселъ и на сколько канвой для него служилъ историческій матеріалъ, богатымъ запасомъ котораго авторъ необходимо долженъ былъ обладать, чтобы исполнить съ такимъ успѣхомъ свою задачу? Въ точности отвѣчать на подобный вопросъ могъ бы конечно одинъ только онъ; что же касается до критики, то она не имѣетъ нужды писать историческій комментарий къ труду, который такъ ясенъ и безъ того. Это не сплетни высшаго круга, весь интересъ которыхъ вертится на подлинныхъ именахъ, это картина, въ которой актеры дѣйствительные служили только натурщиками для творческаго воспроизведенія другого, гораздо болѣе крупнаго дѣятеля на полѣ исторіи: лица и характера русскаго общества. Историческій матеріалъ несомнѣнно вошелъ въ это созданіе, какъ преобладающій его элементъ; но элементъ этотъ не залегъ мертвымъ пластомъ въ основѣ постройки, а, какъ здоровая, крѣпкая пища, переработанъ былъ творческой силой въ живую ткань, въ плоть и кровь поэтическаго созданія. Въ этомъ смыслѣ историческая заслуга подобнаго рода работъ неоцѣнима, и никакой обстрактный приѣмъ науки, стремящійся къ разложенію историческаго процесса и къ выводу изъ него законовъ, имъ управляющихъ, не можетъ безъ ней обойтись. Чтобы уловить законъ жизни, надо имѣть сперва живое въ рукахъ и передъ глазами; а если уже оно отжило, если года и могилы отдѣляютъ его отъ насъ, то прежде всего надо умѣть его воскресить. Безъ этого трупъ останется трупомъ, и никакія изслѣдованія надъ мертвымъ не дадутъ намъ—возможности уразумѣть живое.

Единица общественной жизни долговѣчнѣе единицы личной, и потому, говоря о ней, мы не можемъ себя отдѣлить вполне отъ актеровъ такого недавняго времени, какъ начало нашего вѣка. Мы жили въ нихъ и они, до сихъ поръ, живутъ еще въ насъ. Нити общественной памяти, общественнаго сознанія, не оборваны между нами, и русское общество нашего времени, вспоминая ихъ время, помнить

не что-нибудь постороннее и чужое, а собственное свое прошлое, свои молодые годы. Оно хорошо помнитъ, что въ ту пору оно было еще очень молодо и свѣжо и что послѣ того оно поступило въ школу. До тѣхъ поръ школы, въ собственномъ смыслѣ, оно не имѣло еще. Оно родилось въ эпоху Петра. Дальше Петра оно не помнитъ себя, потому что до этой поры его не было. Въ первые дни своей жизни, оно было въ рукахъ у крутого отца, потомъ перешло на попеченіе умной, заботливой матери; потомъ было передано на руки чужеземныхъ нянекъ и гувернеровъ. Впереди его ждали учителя и наука, и наконецъ, уже очень недавно, въ послѣдніе годы нашего времени, сдѣланъ первый, суровый опытъ жизни дѣйствительной. Въ этомъ прогрессѣ развитія, такое время, какъ 1805 годъ, занимаетъ весьма интересное мѣсто. Это была та золотая пора счастливаго дѣтства, когда характеръ ребенка уже сложился и въ немъ обнаружилась уже личность; но эта личность еще не пошла въ передѣлку и не вытерпѣла опасной для нея пробы школьнаго уровня и школьной, теоретической выправки. Смотра съ этой точки, всѣ члены общества, изображеннаго графомъ Толстымъ, кажутся намъ дѣтьми. Ихъ отношеніе къ жизни наивно и непосредственно; они не вошли ни въ какую сдѣлку съ своимъ положеніемъ, не выбрали себѣ никакого пути и незнакомы съ тою разлагающею работою мысли, которая столько изъ насъ заставляетъ стоять передъ дѣломъ, въ раздумьи, по цѣлымъ годамъ, брызгливо косясь на него и не рѣшаясь поднять руки. Всѣ они вѣрятъ во что-нибудь всею душою, кто въ своего, отечественнаго героя, кто въ Бонапарте или въ Жанъ Жака Руссо, а кто просто въ свою Соню или Наташу; другіе въ военную честь и славу или въ свои *bons pots*; третьи въ свою беззавѣтную удалъ и силу; четвертые наконецъ, и эти можетъ быть крѣпче всѣхъ, въ возможность жить безконечно такъ, какъ они живутъ, доходомъ съ отцовскихъ помѣстьевъ, среди безконечныхъ пировъ и безпечныхъ досуговъ, въ лонѣ широкаго, русскаго хлѣбосольства. Взглянемъ поближе на этихъ дѣтей. Большая

часть ихъ такъ малы, что на нихъ смотрѣть весело, и во многихъ мы видимъ знакомыя намъ черты. Въ одномъ мы узнаемъ округленный, юношескій портретъ своего отца или дяди; другой напоминаетъ намъ издали и слегка будущихъ Чацкихъ или Онегинныхъ... Эта дѣвочка, съ худенькимъ, смуглымъ личикомъ и съ бойкими, огненными глазенками, мы не можемъ на нее насмотрѣться, и намъ что-то сдается что мы не разъ встрѣчали ее потомъ, позднѣе, въ ея цвѣтущіе годы, ее или что-то очень похожее на нее, что-то родное.

Но подойдемъ къ этимъ дѣтямъ и посмотримъ на нихъ внимательнѣе.

Разсказъ начинается въ Зимнемъ Дворцѣ, на вечерѣ у фрейлины императрицы-матери. Блестящее общество собрано у нея и слухи о предстоящей войнѣ противъ Франціи составляютъ канву всѣхъ разговоровъ, которые, впрочемъ, не отличаются патріотическимъ настроеніемъ. Они идутъ почти сплошь на французскомъ языкѣ, съ рѣдкою примѣсью русскихъ, непереводаемыхъ словъ.

Но эта смѣсь, звучащая въ наше время дряхлымъ, неизлѣчимымъ ребячествомъ старости, въ ту пору имѣла свой дѣтскій, наивный комизмъ и очень понятное оправданіе. Вспомнимъ, что мы въ Петербургѣ и при дворѣ и что около вѣка уже, какъ вся Европа въ лицѣ своего высшаго общества была подъ обаяніемъ дворцоваго блеска Франціи, ея славы и просвѣщенія, и что отголосокъ эпохи Людовика XIV не успѣлъ еще ослабѣть, какъ пожаръ революціи и немедленно вслѣдъ за нимъ громкіе подвиги новаго Цезаря явились на смѣну. Наше же русское общество и особенно та сторона его, которою мы тогда прикасались къ Европѣ, высшій кружокъ Петербурга и дворъ, все это было въ томъ нѣжномъ возрастѣ, въ которомъ самостоятельность немыслима и сила внѣшняго впечатлѣнія не уравновѣшивается никакимъ устоемъ внутри. Требовать, чтобы мы въ ту пору имѣли свою оригинальность, также неразумительно, какъ ожидать, чтобы бѣлый листъ въ типографскомъ станкѣ не получилъ отпечатка. Подражательная склонность

дѣтей извѣстна. Воображеніе ихъ полно тѣмъ, что ежедневно видятъ вокругъ себя, что ярче сіяетъ и громче звучитъ. Они стараются походить на взрослыхъ, перенимаютъ ихъ тонъ и манеры и инстинктивно ихъ пародируютъ въ своихъ играхъ. По этой простой причинѣ тонъ нашего высшего общества въ Петербургѣ въ ту пору, конечно, не могъ быть ничѣмъ другимъ, какъ отголоскомъ вѣшной, поверхностной стороны эмиграціи—большею частью, рѣже—бонапартизма, и еще рѣже, еще поверхностнѣе того—либеральнаго настроенія, въ которомъ первые дни революціи застали блестящую молодежь французской аристократіи. Всѣ эти оттѣнки и вся эта легкомысленная, наивная, чисто дѣтская аффектація мастерски выражена въ первыхъ главахъ разсказа. Вы съ перваго взгляда видите, что все это маленькое собраніе далеко не доросло еще до того, чтобы имѣть какую-нибудь своеобразную фizioномію. Это не русскіе и не французы, а шалуны и шалуньи, съ комической важностью разыгрывающіе какую-то маленькую игру. Они всѣ пропитаны амбіціею тончайшаго вкуса и безупречной порядочности; но никому изъ нихъ и на мысль не приходитъ быть порядочнымъ на свой собственный ладъ, а не по преданіямъ Faubourg St. Germain. Преданія эти и даже сплетни знакомы имъ наизусть какъ нѣчто такое, что стыдно было бы не знать, и притворяются съ забавною торопливостью школьниковъ, спѣшащихъ наперерывъ доказать, что они знаютъ отлично урокъ. Чтобы усилить еще правдоподобіе этой игры, настоящій, живой французъ и не простой какой-нибудь, а самаго перваго сорта, Мортемаръ (*allié aux Montmorencys par les Rohans, tout ce qu'il y a de plus Faubourg St. Germain*) сервированъ заботливою хозяйкой своимъ гостямъ, какъ нѣчто сверхъестественное-утонченное, какъ настоящій, живой образецъ хорошаго общества; и передъ этимъ-то образцомъ, какъ передъ истиннымъ знатокомъ и цѣнителемъ, наши маленькіе актеры разыгрываютъ свою маленькую комедію съ такимъ живымъ, ребяческимъ аппетитомъ и увлеченіемъ, что нѣтъ никакой возможности разсердиться на нихъ серьезно за эту шалость. Роли не роз-

даны, а разобраны нарасхватъ; по какому-то безмолвному соглашенію всякій себѣ захватилъ, не спрашивая, то, что ему больше нравится и больше къ лицу. Тутъ есть и пасмурный, разочарованный левъ и салонный клоунъ, дурачокъ, причесанный à la Titus, въ панталонахъ цвѣта cuisse de pumpe éffrayée и съ лорнетомъ въ глазу; есть и хорошенькая княгиня, которая ведетъ себя такъ, какъ будто бы все, что она ни дѣлала, было partie de plaisir для нея и для всѣхъ окружающихъ, княгиня, о которой виконтъ отозвался снисходительно, что она bien, mai strès bien et tout à fait Française; и писанная красавица княжна, съ неизмѣнной, спокойной улыбкою торжества, предоставляющая любоваться собою всякому, безъ разбора. За дирижера, конечно, — хозяйка, болѣе всѣхъ озабоченная успѣхомъ пьесы и старательно наблюдающая за равномернымъ, приличнымъ тактомъ пущенной ею въ ходъ разговорной машины. Комедія этого рода съ тѣхъ поръ повторяема была безконечное число разъ и дается у насъ до сихъ поръ нерѣдко, съ тою только разницею, что въ ту пору она была свѣжа и естественна, а теперь устарѣла, утратила всякій смыслъ, и всякому нравственно взрослому, сколько-нибудь размышляющему изъ насъ, опротивѣла до послѣдней степени. Были однакоже и тогда умныя дѣти, которымъ она не нравилась. Въ гостиныхъ, разыгрывая французовъ и съ дѣтства невольно усвоивъ себѣ всѣ внѣшніе ихъ приемы, они понимали однако, что это — ребячество и что пора уже это бросить, потому что ихъ ждетъ впереди другое, серіозное дѣло, въ виду котораго оставаться дѣтьми постыдно. Дѣло въ томъ, что французами ни они, ни другіе, ихъ окружающіе, въ сущности не были никогда, и не могли ими сдѣлаться. Свободное, гибкое отношеніе къ внѣшней формѣ, способность выйти изъ своего, и быстро усвоивъ чужое. потомъ также быстро и легкомысленно бросить его; короче, именно то, что дѣлало ихъ способными такъ хорошо ломаться на чужеземный ладъ, — это-то именно и отличало ихъ отъ иностранцевъ и отъ французовъ въ особенности. И ни одинъ изъ нихъ, какъ бы онъ ни былъ чуждъ сна-

ружѣ всего народнаго, какъ ни былъ бы увлеченъ блескомъ моды, никогда не могъ сжиться съ своею салонною ролью до такой степени, чтобы ему трудно было, въ любую минуту, сбросить ее съ себя и явиться совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Это быстрое и естественное выглядываніе многоходовъ грубоватаго, но энергическаго русскаго лица изъ-подъ прилизанной, щепетильной маски, надѣтой имъ на себя для потѣхи, оцѣнено было авторомъ очень тонко и проведено сподрадь черезъ весь рассказъ. Но мѣстами актеры его и совсѣмъ снимаютъ маску. Не успѣли гости развѣхаться послѣ вечера у Анны Павловны Шереръ, какъ мы видимъ уже, съ двухъ разныхъ сторонъ, протестъ противъ той черты современной жизни, которую авторъ изобразилъ этимъ вечеромъ. Съ одной стороны, это искренняя и серіозная полная гордаго сознанія своего достоинства, исповѣдь князя Андрея; съ другой — это дикій взрывъ молодой, буйной силы и беззабѣтной удалы, на квартирѣ у молодого Курагина, послѣ игры и ночной попойки. Тутъ уже нѣтъ и духу щепетильной боитонности Сень-Жерменскаго предмѣстья, тутъ пахнетъ скорѣе пожаромъ Москвы и тѣмъ неожиданнымъ, выходящимъ изъ всякихъ понятій о европейскомъ приличіи, неучтивымъ приѣмомъ, который мы сдѣлали нашимъ гостямъ семь лѣтъ спустя.

Изъ Петербурга дѣйствіе переходитъ въ Москву; но связь въ переходѣ едва чувствительна. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, навязчивая просительница, вырвавшая, на вечерѣ Анны Павловны Шереръ, почти насильно у князя Курагина обѣщаніе исходатайствовать переводъ ея сына въ гвардію, возвращается послѣ этой побѣды въ Москву, въ семейство своихъ друзей Ростовыхъ, и вотъ мы съ ней вмѣстѣ въ Москвѣ, и въ гостяхъ у графа Ростова. Тутъ вѣтъ, какъ и всегда въ Москвѣ, совсѣмъ другимъ воздухомъ. Люди живутъ, не натуживаясь и не выгѣзая изъ кожи, чтобы походить на другихъ людей или на собственное свое понятіе о томъ, какъ слѣдуетъ жить. Можно бы и точнѣе еще опредѣлить эту разницу, но это заняло бы у насъ слишкомъ много времени и все-таки было бы лишнее,

потому что это гораздо лучше чувствуется, чѣмъ опредѣляется, и въ рассказѣ у автора это чувствуется отлично. Слухи о предстоящей войнѣ и здѣсь составляютъ модную тему всѣхъ разговоровъ; но здѣсь они имѣютъ совсѣмъ другой характеръ. Въ Петербургѣ это придворная новость и канва для красивыхъ французскихъ фразъ;— здѣсь это домашніе толки, идущіе рядомъ съ другими дѣлами и интересами,—съ визитами, сплетнями, поздравленіями и обѣдами. Войско двинуто за границу; молодежь бросаетъ ученіе и поступаетъ въ армію,—сынъ уѣзжаетъ; но въ семействѣ есть именинница, и вотъ домъ полонъ визитами, поздравленіями, и хозяйка едва на ногахъ стоитъ отъ усталости, и въ мраморномъ залѣ накрытъ длинный столъ на восемьдесятъ кувертовъ, и мысли отца семейства поглощены какимъ-то *sauté au madère* изъ рябчиковъ или достоинствомъ своего крѣпостнаго повара Тараски, за котораго онъ заплатилъ тысячу рублей. Какими громами по этому поводу разразились бы строгіе проповѣдники нашего времени! Какъ растерзали бы они бѣднаго графа Ростова и добрую бабу — графиню со всѣми ихъ чадами, домочадцами и гостями, съ ихъ крѣпостною прислугою и соусами изъ рябчиковъ и... „*la santé de maman*“ и... „*la comtesse Apraksine*“, и всей этой дребеденью московской праздничной жизни!... Но время времени рознь, и, читая рассказъ графа Толстого о прошломъ, мы до такой степени уходимъ за шестьдесятъ лѣтъ назадъ, до такой степени понимаемъ людей, имъ описанныхъ, что не чувствуемъ къ нимъ ни ненависти, ни отвращенія. Мы говоримъ:—*tout compté*, все это были добрые люди и теплые люди и ничуть не хуже насъ съ вами, неумолимый цензоръ и проповѣдникъ. И главное, почему мы не можемъ судить о нихъ иначе,—это опять-таки потому, что они дѣти... Но на этотъ разъ между взрослыми, пожилыми ребятами, въ рассказѣ мы видимъ передъ собою цѣлое общество настоящихъ дѣтей, и эти дѣти изображены у автора съ такой обворожительной прелестью, что мы не можемъ на нихъ наглядѣться. Они также играютъ свою игру, пародируя въ ней точно также большихъ, только пар-

дія ихъ гораздо милѣе и проще. Они влюбляются и ревнуютъ другъ друга, и передъ разлукой даютъ другъ другу обѣты въ вѣрности неизмѣнной, по гробъ. Тутъ уже нѣтъ ни виконтовъ, ни сплетенъ отжившей аристократіи, ни всей этой приторной аффектаціи французской бонтоинности,—тутъ просто шалость; но шалость такая милая и сердечная и такая естественная, что ей недостаетъ только времени, чтобы созрѣть и перейти цѣликомъ въ жизнь дѣйствительную... А между тѣмъ, и покуда мы ею любуемся, картина опять понемногу мѣняется, и рассказъ переходитъ въ другую сферу.

Изъ праздничныхъ сплетенъ въ семействѣ Ростовыхъ мы узнаемъ, что побочный сынъ графа Безухаго—Пьеръ, съ которымъ мы еще познакомились въ Петербургѣ, на вечерѣ у фрейлины Шереръ и въ кабинетѣ князя Андрея Болконскаго, высланъ въ Москву за дурачество, сдѣланное имъ послѣ попойки. Положеніе этого молодого человѣка въ обществѣ—шатко и очень двусмысленно, карьера, повидимому, испорчена; но судьба готовитъ ему сюрпризъ. Отецъ его, графъ Безухій, одинъ изъ тѣхъ сильныхъ людей вѣка Екатерины, которые правдою и неправдою сумѣли себѣ проложить дорогу изъ тѣсноты и потемокъ къ вершинамъ богатства и власти, лежитъ при смерти, и дѣло вокругъ него идетъ о томъ: кому послѣ него достанется его громадное состояніе. Вокругъ смертной постели его идетъ интрига. Его родственникъ, тоже другой петербургскій знакомый читателя, князь Василій Куракинъ, племянницы котораго, Мамоновы, живутъ у графа, объясняетъ одной изъ нихъ, что у графа есть завѣщаніе въ пользу его побочнаго сына Пьера и письмо къ государю съ просьбой объ усыновленіи, и что ежели этимъ бумагамъ дать ходъ, то все достанется Пьеру, и никто кромѣ него не получитъ ни гроша. Пьеръ и самъ тутъ, но Пьеръ простофиля, воспитанный за границей, въ Парижѣ, очарованный славой Наполеона и мечтающій о побѣдѣ его надъ Англіею, въ такую минуту, когда у него изъ-подъ носу собираются вырвать наслѣдство. Онъ ни о чемъ не догадывается, но счастье рѣшительно на его сто-

ронѣ. Та же навязчивая просительница и дальняя родственница его отца, называющая одного стараго графа дядюшкою, знакомая намъ Анна Михайловна Друбечкая, врывается въ домъ умирающаго, съ крестнымъ сыномъ его, своимъ безприданымъ Боренькою. Одушевленная материнскою заботливостію, она желаетъ добыть для этого Бореньки нѣсколько крохъ изъ наслѣдства и, не видя другой возможности осуществить эту цѣль, какъ уцѣпиться за добродушнаго Пьера, — беретъ его подъ свою защиту. Съ неподражаемой смѣсью нахальства и ловкости, втирается она въ кругъ наслѣдниковъ, угадываетъ всѣ ихъ затѣи и разрушаетъ ихъ въ пользу своего protégé... Все это вмѣстѣ составляетъ единственный драматическій эпизодъ въ рассказѣ. Онъ выполненъ въ совершенствѣ. Это — *haute comédie*, — комедія высшаго рода. Несмотря на ея отрывочный, сжатый видъ, характеры лицъ, въ ней участвующихъ, рисуются дѣйствиємъ, и эти характеры поняты такъ глубоко, очерчены такъ удачно, что мы имѣемъ возможность ихъ видѣть насквозь. Роль князя, старшей княжны, объясненіе ихъ между собою насчетъ завѣщанія, роль Пьера и Анны Михайловны, все это такія вещи, которыя, разъ прочитанныя, останутся въ памяти навсегда, какъ образецъ первокласнаго дарованія.

Въ подтвержденіе этихъ словъ, мы не можемъ себѣ отказать въ удовольствіи напомнить читателю послѣднюю и, по нашему мнѣнію, лучшую сцену этой комедіи, сцену развязки... (Далѣе приводится обширная выдержка, начинающаяся словами: „Въ приѣмной никого уже не было, кромѣ князя Василія“... и оканчивающаяся словами: *J'espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père*)...

Не менѣе превосходна, но совсѣмъ въ другомъ родѣ картина, слѣдующая за тѣмъ. Изъ Москвы рассказъ переходитъ въ помѣстье стараго князя Болконскаго. Знакомый намъ князь Андрей привозитъ туда свою беременную жену и, простившись съ отцомъ, уѣзжаетъ въ походъ. Такъ же, какъ и въ Москвѣ, здѣсь, кромѣ француженки-компаньонки да виѣшняго отпечатка французскаго воспитанія на молодомъ поколѣніи, мы не видимъ уже ничего чужеземнаго. Образъ

жизни, характеры, отношенія лицъ другъ къ другу, — все это свое, самостоятельно русское и родное. Полныя жизни, типичныя фizioноміи князей Болконскихъ, отца и сына, при всемъ глубокомъ сочувствіи и интересѣ, возбуждаемыхъ ими въ читателѣ, заставляютъ насъ тяжело вздохнуть. Куда дѣвались такіе люди и отчего мы не видимъ ихъ между нами теперь?... Особенно князь Андрей... Его смѣлый, прямой, ничѣмъ незакупленный умъ, его незапятнанная чистота души и эта способность видѣть всѣ вещи не такъ, какъ бы ихъ хотѣлось видѣть, а такъ какъ онѣ дѣйствительно есть, безъ всякихъ узоровъ и побрякушекъ, затемняющихъ ихъ естественный смыслъ; все это, можетъ быть, идеаль, конечно, и легко можетъ быть, что натура, служившая автору образцомъ, была значительно ниже ростомъ портрета, стоящаго передъ нами, что онъ нѣсколько поднять, украсить, и что благородный металлъ, существовавшій дѣйствительно въ этомъ характерѣ, очищенъ еще искусствомъ отъ случайной, несвойственной ему примѣси, но это для насъ не важно; а важно то, что характеръ этотъ не выдуманъ, что это истинно русскій, коренной, самородный типъ, и что порода людей такого закала, если-бъ она сохранилась до нашихъ временъ, могла бы намъ оказать услугу неоцѣненную... И это опять заставляетъ насъ повторить вопросъ: куда дѣвались такіе люди? И отчего у насъ нѣтъ ихъ теперь? *Школа ли жизни* была противна природѣ ихъ и медленно, неозвратно переродила и исказила ее?... Или, можетъ быть, *битва жизни* ихъ истребила?... Дѣло возможное, потому что такіе люди не могутъ покорно сложить оружіе и уступить или войти въ постыдную сдѣлку. Они будутъ биться въ первомъ ряду и должны побѣдить или сложить свои головы! Такъ или эдакъ, въ Онегинныхъ и Печоринныхъ переродились Андрей, или они погибли, не измѣнивъ себѣ, результатъ одинаковъ: мы ихъ потеряли и неозвратно. Поблагодаримъ же автора, что онъ спасъ отъ забвенія, по крайней мѣрѣ, хоть ихъ черты. Они дороги намъ, какъ идеаль нашей юности, искупающій въ нашей памяти если не наши грѣхи, то по крайней мѣрѣ грѣхи отцовъ.

Вторая часть 1805 года не такъ интересна; но и она необходима для цѣлаго. Въ ней мы видимъ нашихъ отцовъ на полѣ войны, покрытыхъ славою: видимъ тѣхъ же людей, которые семь лѣтъ спустя отстояли родину и оставили намъ навсегда воспоминанія незабвенныя. Разсказъ живой, краски яркія, сцены военного быта очерчены тѣмъ же бойкимъ перомъ, которое познакомило насъ съ осадю Севастополя, и дышать такою же правдою. Смотръ пѣхоты подъ Браунау, главный штабъ, гусарская стоянка въ мѣстечкѣ Зальценекъ, переправа подъ Энсомъ, австрійскій дворъ въ Броннѣ и бой подъ Шенграбенемъ,—все это читается весело и легко. Нѣсколько историческихъ лицъ: Макъ, Багратіонъ, Кутузовъ и такіе военные типы старыхъ временъ, какъ типъ гусара Денисова, сообщаютъ разсказу черты исторической правды; остальное довольно обще и могло бы идти къ войнѣ какого угодно времени. Даръ вѣрнаго выбора изъ неслучайной массы подробностей только того, что дѣйствительно интересно и что очерчиваетъ событіе съ его типической стороны, принадлежитъ автору въ такой степени, что онъ можетъ смѣло выбрать предметомъ разсказа все, что угодно, хотя бы сюжетъ давно забытой реляціи, и быть увѣреннымъ, что онъ никогда не наскучитъ. Послѣ такихъ мастерскихъ и полныхъ смысла картинъ, какими богата первая часть разсказа, мы бродимъ за нимъ въ цѣлой полкнигѣ по разнымъ штабамъ, стоянкамъ и переправамъ, едва сожалея, что сцена перемѣнилась, не успѣвая ни разу соскучиться, и подъ конецъ жалѣемъ только, что нѣтъ продолженія. Мы такъ охотно отбыли бы съ нимъ войну до конца и потомъ возвратились на родину къ старымъ друзьямъ и знакомымъ. Мы повторяемъ: пріемъ разсказа у автора почти безупреченъ. Одно только, что бросается намъ въ глаза всегда одинаково и что дѣйствуетъ нѣсколько утомительно по своему монотонному впечатлѣнію, это вѣчное пятно тѣни, слѣдующее немедленно и всегда само по себѣ, всегда отдѣльно, за всякою свѣтлою стороною изображенія. Это имѣетъ видъ, какъ будто авторъ боится, чтобъ созданныя имъ лица не улетѣли съ земли въ область какого-то отвлече-

ченнаго идеала, и торопливо привѣшиваетъ имъ гири. Намъ кажется, что опасеніе подобнаго рода не основательно и что хорошій кредитъ, которымъ авторъ пользуется у массы читателей, могъ бы избавить его отъ безпокойства разсчитываться на каждомъ шагу мелкою монетою сатиры за всякую искру поэзіи и всякую черточку красоты, появляющіяся въ ея портретахъ.

Дочитавъ до конца и стараясь освободиться отъ пестроты отдѣльных частей разсказа, чтобы дать себѣ ясный отчетъ о впечатлѣніи цѣлаго и о томъ, въ какой мѣрѣ оно соотвѣтствуетъ мысли, его вдохновляющей, мы не находимъ нигдѣ фальшивой ноты. Очеркъ, разумѣется, могъ быть задуманъ иначе, отдѣльныя группы и сцены его могли бы имѣть болѣе стройную связь, если-бъ на первомъ планѣ и въ центрѣ дѣйствія стояло одно значительное историческое лицо: и тогда мы имѣли бы драму или романъ; но въ строгую рамку ихъ не могло бы войти и четвертой доли того богатаго матеріала, который авторъ имѣлъ въ рукахъ, и мы не можемъ ему поставить въ упрекъ, что онъ не рѣшился принести этой жертвы; мы слишкомъ хорошо видимъ, какъ много бы мы потеряли. Не болѣе основателенъ, хотя и возможенъ, упрекъ совершенно другого рода. Мы могли бы пожаловаться, что авторъ, почти исключительно, рисуетъ намъ высшій кругъ и что за тѣсною кучкой графовъ, князей и княгинь, болтающихъ по-французски, мы не видимъ не только народа, но и другихъ слоевъ общества. Въ результатѣ такой исключительности мы могли бы прибавить, что мы видимъ далеко не общую картину эпохи, а нѣчто въ родѣ мемуаровъ нашего доморощеннаго Faubourg St. Germain; и въ этомъ есть доля правды; но надо быть справедливымъ вполне. Надо понять, что выборъ актеровъ и круга дѣйствія не зависѣлъ отъ личнаго вкуса автора или сословныхъ его симпатій, что онъ былъ естественно ограниченъ случайнымъ запасомъ данныхъ разсказовъ, воспоминаній, писемъ, сгруппированныхъ вокругъ какой-нибудь семейной хроники или частнаго дневника, уцѣлѣвшихъ, къ нашему счастью, въ теченіе полувѣка, и что безъ этой

почвы воображеніе самого Шекспира не могло бы создать такого отчетливаго и вѣрнаго очерка. Къ этому надо прибавить еще и то, что процессъ историческаго движенія всегда ощутительнѣе въ высшихъ слояхъ. Чѣмъ ниже мы спустимся по общественной лѣстницѣ, тѣмъ менѣе разницы мы найдемъ между людьми нашего времени и ихъ дѣдами или прадѣдами. Бываютъ, конечно, и исключенія. Бываетъ, что общество, какъ растение, начнетъ сохнуть, и тогда жизнь прежде всего покидаетъ его верхушку; но мы говоримъ не о мертвыхъ, а о живыхъ.

Въ заключеніе повторимъ, что авторъ намъ оказалъ большую услугу. Онъ воскресилъ передъ нами нашихъ отцовъ и дѣдовъ. Мы видимъ ихъ передъ собою, въ его разсказѣ, живыхъ, молодыхъ, полныхъ здоровья и силъ; видимъ ихъ въ обществѣ и у домашняго очага, въ сельской тиши и вихрѣ столичной жизни, въ мирѣ и на войнѣ; видимъ и всматриваемся съ тѣмъ теплымъ чувствомъ сыновней любви и сердечнаго любопытства, съ какимъ мы впились бы глазами въ случайно отысканный у кого-нибудь изъ родныхъ портретъ нашей матери или отца въ полномъ цвѣтѣ молодого возраста. Мы ихъ не видали никогда такими или не помнимъ, по крайней мѣрѣ. Мы ихъ привыкли видѣть въ болѣзни и старости, страдающими, сморщенными, усталыми, схоронившими старыхъ друзей и юношескія привязанности; но, мы думаемъ, не всегда же они были такими; были же и они когда-нибудь молоды и здоровы, влюблялись, шалили, кутили и пировали, сражались и философствовали, было время, когда и они вступали въ жизнь съ развернутыми знаменами молодой надежды и при звукахъ побѣдной музыки... Сбылись ли эти надежды? Одержана ли побѣда? Рѣшеніе этихъ вопросовъ принадлежитъ не намъ, а будущему историку нашего времени: мы же здѣсь можемъ только сказать, что многое нами приобрѣтено съ тѣхъ поръ, о чемъ наши предки шестьдесятъ лѣтъ назадъ и вовсе не гадали; но многое и утрачено. Утрачены: простота души, пылкія вѣрованія молодости и мирное отношеніе къ жизни. Приобрѣло общество въ будущемъ: потеряли мы переход-

ныя звенья его и потеряли свое настоящее. Мы не реальные люди, какъ наши отцы и дѣды. Мы живемъ сердцемъ и мыслями не въ томъ домѣ, гдѣ родились и кровля котораго возвышается надъ нашею головою, а въ томъ другомъ, который будетъ построенъ на мѣстѣ его, но котораго нѣтъ и для котораго до сихъ поръ одни только кирпичи припасаются.

Николай Ахшарумовъ.

1868 г.

„Война и Миръ“.

*Нѣсколько словъ по поводу книги: „Война и Миръ“ *).*

Печатаю сочиненіе, на которое положено мною пять лѣтъ непрестаннаго и исключительнаго труда, при наилучшихъ условіяхъ жизни, мнѣ хотѣлось въ предисловіи къ этому сочиненію изложить мой взглядъ на него и тѣмъ предупредить тѣ недоумѣнія, которыя могутъ возникнуть въ читателяхъ. Мнѣ хотѣлось, чтобы читатели не видѣли и не искали въ моей книгѣ того, чего я не хотѣлъ или не умѣлъ выразить, и обратили бы вниманіе на то именно, что я хотѣлъ выразить, но на чемъ (по условіямъ произведенія) не считалъ удобнымъ останавливаться. Ни время, ни мое умѣнье не позволили мнѣ сдѣлать вполне того, что я былъ намѣренъ, и я пользуюсь гостепріимствомъ спеціальнаго журнала для того, чтобы хотя не полно и кратко, для тѣхъ читателей, которыхъ это можетъ интересовать, изложить взглядъ автора на свое произведеніе.

1) Что такое „Война и Миръ?“ Это не романъ, еще менѣе поэма, еще менѣе историческая хроника. „Война и Миръ“ есть то, что хотѣлъ и могъ выразить авторъ въ той формѣ, въ которой оно выразилось. Такое заявленіе о пренебреженіи автора къ условнымъ формамъ прозаическаго художественнаго произведенія могло бы показаться самонадѣянностью,

*) „Русскій Архивъ“ 1868 г., выпускъ 3-й, страница 515. Статья Л. Н. Толстого.

ежели бы оно было умысленно и ежели бы оно не имѣло примѣровъ. Исторія русской литературы со времени Пушкина не только представляетъ много примѣровъ такого отступленія отъ европейской формы, но не даетъ даже ни одного примѣра противнаго. Начиная отъ Мертвыхъ Душъ Гоголя и до Мертваго Дома Достоевскаго въ новомъ періодѣ русской литературы, нѣтъ ни одного художественнаго прозаическаго произведенія, немного выходящаго изъ посредственности, которое бы вполне укладывалось въ форму романа, поэмы или повѣсти.

2) Характеръ времени, какъ мыъ выражали нѣкоторые читатели при появленіи въ печати первой части, недостаточно опредѣленъ въ моемъ сочиненіи. На этотъ упрекъ я имѣю возразить слѣдующее. Я знаю, въ чемъ состоитъ тотъ характеръ времени, котораго не находятъ въ моемъ романѣ, — это ужасы крѣпостного права, закладыванье женъ въ стѣны, сѣченье взрослыхъ сыновей, Солтычиха и т. п., и этотъ характеръ того времени, который живетъ въ нашемъ представленіи—я не считаю вѣрнымъ, и не желалъ выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находилъ всѣхъ ужасовъ этого буйства въ болѣе стѣпени, чѣмъ нахожу ихъ теперь, или когда-либо. Въ тѣ времена такъ же любили, завидовали, искали истины, добродѣтели, увлекались страстями; та же была сложная, умственно-нравственная жизнь, даже иногда болѣе утонченная, чѣмъ теперь въ высшемъ сословіи. Ежели въ понятіи нашемъ составилось мнѣніе о характерѣ своевольтва и грубой силы того времени, то только оттого, что въ преданіяхъ, запискахъ, повѣстяхъ и романахъ до насъ наиболѣе доходили выступающіе случаи насилія и буйства. Заключать о томъ, что преобладающій характеръ того времени было буйство, такъ же несправедливо, какъ несправедливо заключилъ бы человекъ, изъ-за горы видящій однѣ макушки деревьевъ, что въ мѣстности этой ничего нѣтъ, кромѣ деревьевъ. Есть характеръ того времени (какъ и характеръ каждой эпохи), вытекающій изъ болѣе отчужденности высшаго круга отъ другихъ сословій, изъ царствовавшей философіи, изъ особенностей воспитанія, изъ

привычки употреблять французскій языкъ и т. п. И этотъ характеръ я старался, сколько умѣлъ, выразить.

3) Употребленіе французскаго языка въ русскомъ сочиненіи. Для чего въ моемъ сочиненіи говорятъ не только русскіе, но и французы, частью по-русски, частью по-французски? Упрекъ въ томъ, что лица говорятъ и пишутъ по-французски въ русской книгѣ, подобенъ тому упреку, который бы сдѣлалъ человекъ, глядя на картину и замѣтивъ въ ней черныя пятна (тѣни), которыхъ нѣтъ въ дѣйствительности. Живописецъ не повиненъ въ томъ, что нѣкоторымъ тѣнь, сдѣлаппая имъ на лицѣ картины, представляется чернымъ пятномъ, котораго не бываетъ въ дѣйствительности; но живописецъ повиненъ только въ томъ, ежели тѣни эти положены невѣрно и грубо. Занимаясь эпохой начала нынѣшняго вѣка, изображая лица русскія извѣстнаго общества и Наполеона и французовъ, имѣвшихъ такое прямое участіе въ жизни того времени, я невольно увлекся формой выраженія того французскаго склада мысли, больше, чѣмъ это было нужно. И потому, не отрицая того, что положенныя мною тѣни вѣроятно невѣрны и грубы, я желалъ бы только, чтобы тѣ, которымъ покажется очень смѣшно, какъ Наполеонъ говоритъ то по-русски, то по-французски, знали бы, что это имъ кажется только оттого, что они, какъ человекъ, смотрящій на портретъ, видятъ не лицо съ свѣтомъ и тѣнями, а черное пятно подъ носомъ.

4) Имена дѣйствующихъ лицъ, Болконскій, Друбецкой, Билибинъ, Курагинъ и др., напоминаютъ извѣстныя русскія имена. Сопоставляя дѣйствующія неисторическія лица съ другими историческими лицами, я чувствовалъ неловкость для уха заставлять говорить графа Ростопчина съ кн. Пронскимъ, съ Стрѣльскимъ или съ какими-нибудь другими князьями или графами, вымышленной, двойной или одинокой фамиліи. Болконскій или Друбецкой, хотя не суть ни Волконскій ни Трубецкой, звучатъ чѣмъ-то знакомымъ и естественнымъ въ русскомъ аристократическомъ кругу. Я не умѣлъ придумать для всѣхъ лицъ именъ, которыя мнѣ показались бы не фальшивыми для уха, какъ Безухій и

Ростовъ, и не умѣлъ обойти эту трудность иначе, какъ взявъ наудачу самыя знакомыя русскому уху фамиліи и переимѣнивъ въ нихъ нѣкоторыя буквы. Я бы очень сожалѣлъ, ежели бы сходство вымышленныхъ именъ съ дѣйствительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотѣлъ описать то или другое дѣйствительное лицо; въ особенностяхъ потому, что та литературная дѣятельность, которая состоитъ въ описаніи дѣйствительно существующихъ или существовавшихъ лицъ, не имѣетъ ничего общаго съ тою, которою я занимался.

М. Д. Ахросимова и Денисовъ, вотъ исключительно лица, которымъ невольно и необдуманно я далъ имена близко подходящія къ двумъ особенно характернымъ и милымъ дѣйствительнымъ лицамъ тогдашняго общества. Это была моя ошибка, вытекшая изъ особенной характеристики этихъ двухъ лицъ, но ошибка моя въ этомъ отношеніи ограничилась одною постановкою этихъ двухъ лицъ; и читатели, вѣроятно, согласятся, что ничего похожаго съ дѣйствительностью не происходило съ этими лицами. Всѣ же остальные лица совершенно вымышленныя и не имѣютъ даже для меня опредѣленныхъ первообразовъ въ преданіи или дѣйствительности.

б) Разногласіе мое въ описаніи историческихъ событій съ разсказами историковъ. Оно не случайное, а неизбѣжное. Историкъ и художникъ, описывая историческую эпоху, имѣютъ два совершенно различные предмета. Какъ историкъ будетъ неправъ, ежели онъ будетъ пытаться представить историческое лицо во всей его цѣльности, во всей сложности отношеній ко всѣмъ сторонамъ жизни, такъ и художникъ не исполнитъ своего дѣла, представляя лицо всегда въ его значеніи историческомъ. Кутузовъ не всегда съ зрительной трубкой, указывая на враговъ, ѣхалъ на бѣлой лошади. Ростопчинъ не всегда съ факеломъ зажигалъ Вороновскій домъ (онъ даже никогда этого не дѣлалъ), и императрица Марія Ѳеодоровна не всегда стояла въ горностаевой мантии, опершись рукой на своды законовъ; а такими ихъ представляетъ себѣ народное воображеніе.

Для историка, въ смыслѣ содѣйствія, оказаннаго лицомъ какой-нибудь одной цѣли, есть герои; для художника, въ смыслѣ соотвѣтственности этого лица всѣмъ сторонамъ жизни, не можетъ и не должно быть героевъ, а должны быть люди.

Историкъ обязанъ иногда, пригибая истину, подводить всѣ дѣйствія историческаго лица подъ одну идею, которую онъ вложилъ въ это лицо. Художникъ, напротивъ, въ самой одиночности этой идеи видитъ несообразность съ своей задачей, и старается только понять и показать не извѣстнаго дѣятеля, а человѣка.

Въ описаніи самыхъ событій различіе еще рѣзче и существеннѣе. Историкъ имѣетъ дѣло до результатовъ событій, художникъ до самаго факта событія. Историкъ, описывая сраженіе, говоритъ: лѣвый флангъ такого-то войска былъ двинутъ противъ деревни такой-то, сбилъ непріятеля, но принужденъ былъ отступить; тогда пущенная въ атаку кавалерія опрокинула и т. д. Историкъ не можетъ говорить иначе. А между тѣмъ для художника слова эти не имѣютъ никакого смысла, и даже не затрогиваютъ самаго событія. Художникъ, изъ своей ли опытности или по письмамъ, запискамъ и рассказамъ выводитъ свое представленіе о совершившемся событіи, и весьма часто (въ примѣрѣ сраженія) выводъ о дѣятельности такихъ-то и такихъ-то войскъ, который позволяетъ себѣ дѣлать историкъ, оказывается противоположнымъ выводу художника. Различіе добытыхъ результатовъ объясняется и тѣми источниками, изъ которыхъ и тотъ и другой черпаютъ свои свѣдѣнія. Для историка (продолжаемъ примѣръ сраженія) главный источникъ есть донесеніе частныхъ начальниковъ и главнокомандующаго. Художникъ изъ такихъ источниковъ ничего почерпнуть не можетъ, они для него ничего не говорятъ, ничего не объясняютъ. Мало того, художникъ отворачивается отъ нихъ, находя въ нихъ необходимую ложь. Нечего говорить уже о томъ, что при каждомъ сраженіи оба непріятеля почти всегда описываютъ сраженіе совершенно противоположно одинъ другому; въ каждомъ описаніи сраженія есть необходимость лжи, вытекающая изъ потребности въ нѣсколькихъ

словахъ описывать дѣйствія тысячей людей, раскинутыхъ на нѣсколькихъ верстахъ, находящихся въ самомъ сильномъ нравственномъ раздраженіи, подъ вліяніемъ страха, позора и смерти.

Въ описаніяхъ сраженій пишется обыкновенно, что такіе-то войска были направлены въ атаку на такой-то пунктъ, и потомъ велѣно отступать, и т. д., какъ бы предполагая, что та самая дисциплина, которая покоряетъ десятки тысячъ людей волѣ одного на плацу, будетъ имѣть то же дѣйствіе тамъ, гдѣ идетъ дѣло о жизни и смерти. Всякій, кто былъ на войнѣ, знаетъ, насколько это несправедливо *); а между тѣмъ на этомъ предположеніи основаны реляціи, и на нихъ военныя описанія.

Обѣздите всѣ войска тотчасъ послѣ сраженія, даже на другой, третій день, до тѣхъ поръ, пока не написаны реляціи, и спрашивайте у всѣхъ солдатъ, у старшихъ и низшихъ начальниковъ о томъ, какъ было дѣло; вамъ будутъ рассказывать то, что испытали и видѣли всѣ эти люди, и въ васъ образуется величественное, сложное, до безконечности разнообразное и тяжелое, неясное впечатлѣніе, и ни отъ кого, еще менѣе отъ главнокомандующаго, вы не узнаете, какъ было все дѣло. Но черезъ два-три дня начинаютъ подавать реляціи, говоруны начинаютъ рассказывать, какъ было все то, чего они не видали; наконецъ составляется общее донесеніе, и по этому донесенію составляется общее мнѣніе арміи. Каждому облегчительно промѣнять свои сомнѣнія и вопросы на это лживое, но ясное и всегда лестное представленіе. Черезъ мѣсяцъ и два спрашивайте человека, участвовавшаго въ сраженіи,—уже вы не чувствуете въ его рассказѣ того сырого жизненнаго матеріала, который былъ прежде, а онъ рассказываетъ по реляціи. Такъ раз-

*) Послѣ напечатанія моей первой части и описанія Шенграбенскаго сраженія, мнѣ были переданы слова Николая Николаевича Муравьева-Карскаго объ этомъ описаніи сраженія, слова, подтвердившія мнѣ мое убѣжденіе. Ник. Муравьевъ, главнокомандующій, отозвался, что онъ никогда не читалъ болѣе вѣрнаго описанія сраженія и что онъ своимъ опытомъ убѣдился въ томъ, какъ невозможно исполненіе распоряженія главнокомандующаго во время сраженія.

сказывали мнѣ про Бородинское сраженіе многіе живые, умные участники этого дѣла. Всѣ рассказывали одно и то же, и всѣ по невѣрному описанію Михайловскаго-Данилевскаго, по Глинкѣ и др.; даже подробности, которыя рассказывали они, несмотря на то, что рассказчики находились на разстояніи нѣсколькихъ верстъ другъ отъ друга—однѣ и тѣ же.

Послѣ потери Севастополя, начальникъ артиллеріи Крыжановскій прислалъ мнѣ донесенія артиллерійскихъ офицеровъ со всѣхъ бастіоновъ и просилъ, чтобы я составилъ изъ этихъ болѣе чѣмъ 20-ти донесеній — одно. Я жалѣю, что не списалъ этихъ донесеній. Это былъ лучший образецъ той наивной, необходимой, военной лжи, изъ которой составляются описанія. Я полагаю, что многіе изъ тѣхъ товарищей моихъ, которые составляли тогда эти донесенія, прочтя эти строки, посмѣются воспоминанію о томъ, какъ они по приказанію начальства писали то, чего не могли знать. Всѣ, испытавшіе войну, знаютъ, какъ способны русскіе дѣлать свое дѣло на войнѣ и какъ мало способны къ тому, чтобы его описывать съ необходимой въ этомъ дѣлѣ хвастливой ложью. Всѣ знаютъ, что въ нашихъ арміяхъ должность эту—составленія реляцій и донесеній исполняютъ большей частью наши инородцы.

Все это я говорю къ тому, чтобы показать неизбежность лжи въ военныхъ описаніяхъ, служащихъ матеріаломъ для военныхъ историковъ, и потому показать неизбежность частыхъ несогласій художника съ историкомъ въ пониманіи историческихъ событій. Но кромѣ неизбежности неправды въ изложеніи историческихъ событій, у историковъ той эпохи, которая занимала меня, я встрѣчалъ (вѣроятно вслѣдствіе привычки группировать событія, выражать ихъ кратко и соображаться съ трагическимъ тономъ событій) особенный складъ выпренней рѣчи, въ которой часто ложь и извращенія переходятъ не только на событія, но и на пониманіе значенія событій. Часто, изучая два главныхъ историческія произведенія этой эпохи, Тьера и Михайловскаго-Данилевскаго, я приходилъ въ недоумѣніе, какимъ образомъ могли быть печатаемы и читаемы эти книги. Не

говоря уже объ изложеніи однихъ и тѣхъ же событій самымъ серьезнымъ, значительнымъ тономъ, съ ссылками на матеріалы, и діаметрально-противуположно одинъ другому, я встрѣчалъ въ этихъ историкахъ такія описанія, что не знаешь, смѣяться ли или плакать, когда вспомнишь, что объ эти книги единственные памятники той эпохи и имѣютъ миллионы читателей. Приведу только одинъ примѣръ изъ книги знаменитаго историка Тьера. Рассказавъ, какъ Наполеонъ привезъ съ собой фальшивыхъ ассигнацій, онъ говоритъ: „*Relevant l'emploi de ces moyens par un acte de bienfaisance digne de lui et de l'armée française, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieux pour être donnés longtemps à des étrangers, la plupart ennemis, Napoléon aimait mieux leur fournir de l'argent, et il leur fit distribuer des roubles papier*“ („Возмѣщая употребленіе этихъ средствъ дѣломъ благотворительности, достойнымъ его и французской арміи, онъ приказалъ оказывать пособіе погорѣвшимъ. Но такъ какъ съѣстные припасы были слишкомъ дороги, и не представлялось долѣе возможности снабжать ими людей чужихъ, и по большей части непріязненныхъ, то Наполеонъ предпочелъ одѣлять ихъ деньгами, и для того были имъ выдаваемы бумажные рубли“).

Это мѣсто поражаетъ отдѣльно своей оглушающей, нельзя сказать безнравственностью, но просто бессмысленностью; но во всей книгѣ оно не поражаетъ, такъ какъ вполне соответствуетъ общему выпрещенному и неимѣющему никакого прямого смысла тону рѣчи.

Итакъ, задача художника и историка совершенно различна, и разногласіе съ историкомъ въ описаніи событій и лицъ въ моей книгѣ—не должно поражать читателя. Но художникъ не долженъ забывать, что представленіе объ историческихъ лицахъ и событіяхъ, составившееся въ народѣ основано не на фантазіи, а на историческихъ документахъ, насколько могли ихъ сгруппировать историки; а потому, иначе понимая и представляя эти лица и событія,

художникъ долженъ руководствоваться, какъ и историкъ, историческими матеріалами.

Вездѣ, гдѣ въ моемъ романѣ говорятъ и дѣйствуютъ историческія лица, я не выдумывалъ, а пользовался матеріалами, изъ которыхъ у меня во время моей работы образовалась цѣлая библіотека книгъ, заглавія которыхъ я не нахожу надобности выписывать здѣсь, но на которыя всегда могу сослаться.

6) Наконецъ шестое и важнѣйшее для меня соображеніе касается того малаго значенія, которое, по моимъ понятіямъ, имѣютъ такъ называемые великіе люди въ историческихъ событіяхъ.

Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событій и столь близкую къ намъ, о которой живо столько разнороднѣйшихъ преданій, я пришелъ къ очевидности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся историческихъ событій.

Сказать (что кажется всѣмъ весьма простымъ), что причины событій 12-го года состоятъ въ завоевательномъ духѣ Наполеона и въ патріотической твердости императора Александра Павловича, такъ же бессмысленно, какъ сказать, что причины паденія римской имперіи заключаются въ томъ, что такой-то варваръ повелъ свои народы на западъ, а такой-то римскій императоръ дурно управлялъ государствомъ, или что огромная, срываема гора унала оттого, что послѣдній работникъ ударилъ лопатой.

Такое событіе, гдѣ милліоны людей убивали другъ друга и убили половину милліона, не можетъ имѣть причиной волю одного человѣка: какъ одинъ человѣкъ не могъ одинъ подкопать гору, такъ не можетъ одинъ человѣкъ заставить умирать 500 тысячъ. Но какія же причины? Одни историки говорятъ, что причиной былъ завоевательный духъ французовъ, патріотизмъ Россіи. Другіе говорятъ о демократическомъ элементѣ, который разносили полчища Наполеона и о необходимости Россіи вступить въ связь съ Европою и т. п. Но какъ же милліоны людей стали убивать другъ друга, кто это велѣлъ имъ? Кажется, ясно для каждого,

что отъ этого никому не могло быть лучше, а всѣмъ хуже: зачѣмъ же они это дѣлали? Можно сдѣлать и дѣлаютъ безчисленное количество ретроспективныхъ умозаключеній о причинахъ этого безсмысленнаго событія; но огромное количество этихъ объясненій и совпаденій всѣхъ ихъ къ одной цѣли только доказываетъ то, что причинъ этихъ безчисленное множество, и что ни одну изъ нихъ нельзя назвать причиной. Зачѣмъ миллионы людей убивали другъ друга, тогда какъ съ сотворенія міра извѣстно, что это и физически и нравственно дурно? Зачѣмъ, что это такъ неизбѣжно было нужно, что, исполняя это, люди исполняли тотъ стихійный, зоологическій законъ, который исполняютъ пчелы, истребляя другъ друга къ осени, по которому самцы животныхъ истребляютъ другъ друга. Другого отвѣта нельзя дать на этотъ страшный вопросъ. Это истина не только очевидна, но такъ прирожденна каждому человѣку, что ее не стоило бы доказывать, ежели бы не было другого чувства и сознанія въ человѣкѣ, которое убѣждаетъ его, что онъ свободенъ во всякій моментъ, когда онъ совершаетъ какое-нибудь дѣйствіе.

Разсматривая исторію съ общей точки зрѣнія, мы несомнѣнно убѣждены въ предвѣчномъ законѣ, по которому совершаются событія. Глядя съ точки зрѣнія личной, мы убѣждены въ противномъ. Человѣкъ, который убиваетъ другого, Наполеонъ, который отдаетъ приказаніе къ переходу черезъ Нѣманъ, вы и я, подавая прошеніе объ опредѣленіи на службу, поднимая и опуская руку, мы всѣ несомнѣнно убѣждены, что каждый поступокъ нашъ имѣетъ основаніемъ разумныя причины и нашъ произволъ, и что отъ насъ зависѣло поступить такъ или иначе, и это убѣжденіе до такой степени присуще и дорого каждому изъ насъ, что, несмотря на доводы исторіи и статистики преступленій (убѣждающіе насъ въ произвольности дѣйствій другихъ людей), мы распространяемъ сознаніе нашей свободы на всѣ наши поступки.

Противорѣчіе кажется неразрѣшимымъ. Совершая поступокъ, я убѣжденъ, что я совершаю его по своему произ-

волю; разсматривая этотъ поступокъ въ смыслѣ его участія въ общей жизни человѣчества (въ его историческомъ значеніи), я убѣждаюсь, что поступокъ этотъ былъ предопредѣленъ и неизбѣженъ. Въ чемъ заключается ошибка. Психологическія наблюденія о способности человѣка ретроспективно поддѣлывать мгновенно подъ совершившійся фактъ цѣлый рядъ мнимо-свободныхъ умозаключеній (это я намѣренъ изложить въ другомъ мѣстѣ болѣе подробно) подтверждаютъ предположеніе о томъ, что сознаніе свободы человѣка, при совершеніи извѣстнаго рода поступковъ, ошибочно. Но тѣ же психологическія наблюденія доказываютъ, что есть другой рядъ поступковъ, въ которыхъ сознаніе свободы не ретроспективно, а мгновенно и несомнѣнно. Я несомнѣнно могу, что бы ни говорили матеріалисты, совершить дѣйствіе или воздержаться отъ него, какъ скоро дѣйствіе это касается одного меня. Я несомнѣнно, по одной моей волѣ, сейчасъ поднялъ и опустилъ руку. Я сейчасъ могу перестать писать. Вы сейчасъ можете перестать читать. Несомнѣнно по одной моей волѣ и вѣдь всѣхъ препятствій, я сейчасъ мыслю перенесся въ Америку или къ любому математическому вопросу. Я могу, испытывая свою свободу, поднять и съ силой опустить свою руку въ воздухѣ. Я сдѣлалъ это. Но подлѣ меня стоитъ ребенокъ, я поднимаю надъ нимъ руку и съ той же силой хочу опустить на ребенка. Я *не могу* этого сдѣлать. На этого ребенка бросается собака, я *не могу* не поднять руку на собаку. Я стою во фронтѣ, и не могу не слѣдовать, за движеніями полка. Я не могу въ сраженіи не идти съ своимъ полкомъ въ атаку и не бѣжать, когда всѣ бѣгутъ вокругъ меня. Я не могу, когда я стою на судѣ защитникомъ обвиняемаго, перестать говорить или знать то, что я буду говорить. Я не могу не мигнуть глазомъ противъ направленнаго въ глазъ удара.

Итакъ есть два рода поступковъ. Одни зависящіе, другіе не зависящіе отъ моей воли. И ошибка, производящая противорѣчіе, происходитъ только оттого, что сознаніе свободы (законно сопутствующее до моего я, до самой высшей отвлече-

ченности моего существованія) я неправильно переношу на мои поступки, совершаемые въ совокупности съ другими людьми и зависящіе отъ совпаденія другихъ произволовъ съ моимъ. Опредѣлить границу области свободы и зависимости весьма трудно, и опредѣленіе этой границы составляетъ существенную и единственную задачу психологій; но, наблюдая за условіями проявленія нашей наибольшей свободы и наибольшей зависимости, нельзя не видѣть, что чѣмъ отвлеченнѣе и потому чѣмъ менѣе наша дѣятельность связана съ дѣятельностями другихъ людей, тѣмъ она свободнѣе; и наоборотъ, чѣмъ больше дѣятельность наша связана съ другими людьми, тѣмъ она несвободнѣе.

Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь съ другими людьми, есть такъ называемая власть надъ другими людьми, которая въ своемъ истинномъ значеніи есть только наибольшая зависимость отъ нихъ. Ошибочно или нѣтъ, но вполне убѣдившись въ этомъ въ продолженіе моей работы, я естественно, описывая историческія событія 1805, 1807 и особенно 1812 года, въ которомъ наиболѣе выпукло выступаетъ этотъ законъ предопредѣленія *), я не могъ приписывать значенія дѣламъ тѣхъ людей, которымъ казалось, что они управляютъ событіями, но которые менѣе всѣхъ другихъ участниковъ событій вносили въ нихъ свободную человѣческую дѣятельность. Дѣятельность этихъ людей была занимательна для меня только въ смыслѣ иллюстраціи того закона предопредѣленія, который, по моему убѣжденію, управляетъ исторіею, и того психологическаго закона, который заставляетъ человѣка, исполняющаго самый несвободный поступокъ, поддѣлывать въ своемъ воображеніи цѣлый рядъ ретроспективныхъ умозаключеній, имѣющихъ цѣлью доказать ему самому его свободу.

Графъ Левъ Толстой.

* * *

*) Достоинно замѣчанія, что почти всѣ писатели, писавшіе о 12-мъ годѣ, видѣли въ этомъ событіи что-то особенное и роковое.

*) Даровитый художникъ рѣдко соединяется въ одномъ лицѣ съ хорошимъ критикомъ; менѣе же всего можетъ художникъ быть судьей своихъ собственныхъ произведеній. Художникъ долженъ творить невольно, по внутренней потребности къ творчеству: если же онъ оглядывается на значеніе своей дѣятельности, если старается критическимъ анализомъ опредѣлить и объяснить свое призваніе, то это вѣрнѣйшій признакъ, что онъ затемнитъ свое значеніе и отклонится отъ своего призванія. Примѣръ Гоголя болѣзненно живетъ еще и теперь въ нашей памяти; съ тѣхъ поръ, какъ онъ вообразилъ себя глашатаемъ великихъ истинъ и сталъ критически относиться къ созданіямъ своего творчества, талантъ его былъ потерянъ для русской литературы. Не простая придирчивость, а искреннее, глубокое уваженіе къ замѣчательному таланту графа Л. Н. Толстого заставляетъ насъ предостеречь его отъ подобной же ошибки. Четвертый томъ его сочиненія уже переполненъ разными тенденціозными сужденіями, слишкомъ рѣзко чередующимися съ плѣнительными страницами художественнаго объективнаго творчества. Въ третьемъ выпускѣ „Русскаго Архива“ авторъ счелъ нужнымъ помѣстить нѣсколько объяснительныхъ словъ по поводу критическихъ замѣчаній, вызванныхъ его сочиненіемъ. Прежде всего, графъ Толстой возражаетъ противъ той несоразмѣрности, которая была замѣчена въ его книгѣ между историческою ея частью и собственно романическою фавбулой. „Что такое „Война и Миръ?“ — спрашиваетъ авторъ. Это не романъ, еще менѣе поэма, еще менѣе историческая хроника. „Война и Миръ“ есть то, что хотѣлъ и могъ выразить авторъ въ той формѣ, въ которой оно выразилось“. Выраженія совершенно неопредѣленные, и изъ нихъ нельзя сдѣлать никакого яснаго вывода о формѣ, которую избралъ для своего сочиненія графъ Толстой, и о художественной задачѣ, которую онъ себѣ поставилъ. Очевидно, что обыкновенно признаваемые роды и виды поэтическихъ произведеній онъ считаетъ жалкою рутинною и для истинно худо-

*) „Голосъ“ 1868 г., № 105. „Библиографія и журналистика („Русскій Архивъ“, вып. 3-й).

жественнаго литературнаго произведенія не признаетъ необходимости ни въ какой опредѣленной формѣ. Съ высокоумнымъ пренебреженіемъ рѣшаетъ авторъ, что со времени Пушкина и Гоголя и до „Мертваго дома“ Достоевскаго, „въ новомъ періодѣ русской литературы нѣтъ ни одного художественнаго прозаическаго произведенія, немного выходящаго изъ посредственности, которое бы вполне укладывалось въ форму романа, поэмы или повѣсти“. Этотъ до странности смѣлый приговоръ поражаетъ кроющимся въ немъ полнымъ незнаніемъ исторіи русской словесности. Однимъ почеркомъ пера авторъ отнимаетъ у сочиненій Гончарова, Тургенева, Писемскаго и нѣкоторыхъ другихъ всѣми признанное за ними значеніе истинно художественныхъ произведеній, выводящее ихъ изъ ряда посредственности. Изъ возраженій автора видно, что онъ не понялъ упрека, который ему дѣлаютъ. Не въ томъ бѣда, что онъ не сосредоточилъ всего интереса книги на одной ея романической интригѣ, а задумалъ представить картину русскаго общества за первую четверть нашего столѣтія; напротивъ, именно этимъ сочиненіе графа Толстого и возвышается надъ другими словесными произведеніями послѣдняго времени. Что пользы въ этихъ эфемерныхъ вымыслахъ праздной фантазіи, на минуту раздражающихъ воображеніе, но нисколько не затрогивающихъ эстетическаго чувства человѣка и оставляющихъ пустоту въ его умѣ и сердцѣ? Романъ непременно долженъ быть или нравописательнымъ, или историческимъ, то-есть, онъ долженъ изображать или современное намъ общество, или общество извѣстной исторической эпохи. Ошибка графа Толстого заключается въ томъ, что онъ слишкомъ много мѣста въ своей книгѣ далъ описанію дѣйствительныхъ историческихъ событій и характеристикъ дѣйствительныхъ историческихъ личностей. Отъ этого нарушилось художественное равновѣсіе въ планѣ сочиненія, утратилось связующее его единство и пострадало самое изображеніе общества александровской эпохи, изображеніе, которое составляло главную задачу автора. Полнаго историческаго изображенія эпохи онъ не могъ вмѣстить въ

рамки своего сочиненія, да это и не входило въ его намѣренія, и отрывочность историческихъ (исключительно историческихъ) картинокъ, къ которымъ искусственно притягивалось все вниманіе читателя, лишила и общую характеристику тогдашняго общества желаемой полноты и цѣльности. Историческая эпоха тѣмъ вѣрнѣе отражается въ томъ или другомъ литературномъ произведеніи (особенно въ повѣствовательномъ родѣ), чѣмъ менѣе авторъ его хочетъ быть историкомъ. Пускай въ романѣ дѣйствуютъ одни только вымышленныя лица, но пускай дѣйствуютъ они въ духѣ эпохи и среди обстоятельствъ, ею рожденныхъ, — этого будетъ довольно. Потому-то эпоха, къ которой отнесено дѣйствіе повѣсти „Капитанская дочка“ въ общемъ ея очеркѣ, болѣе вѣрна *исторически*, чѣмъ эпоха, изображаемая въ сочиненіи „Война и Миръ“, хотя собственно *историческаго* въ книгѣ графа Толстого и гораздо больше, чѣмъ въ повѣсти Пушкина.

Странныя недоразумѣнія останавливаютъ иногда автора книги „Война и Миръ“. Желая воспроизвести въ изображаемой эпохѣ и ту черту, что наше высшее общество страстно было тогда къ употребленію французскаго языка, авторъ наполняетъ цѣлыя страницы своего сочиненія французскою рѣчью. За это сдѣланъ былъ ему со стороны критики совершенно заслуженный упрекъ. Онъ теперь возражаетъ на него и говоритъ, что „тѣ, которымъ кажется смѣшно, что Наполеонъ говоритъ (въ книгѣ Толстого) то по-русски, то по-французски, видятъ, какъ человекъ, смотрящій на портретъ, не лицо со свѣтомъ и тѣнями, а черное пятно подъ носомъ“. Оставляя въ сторонѣ чрезвычайную неопредѣленность этого сравненія, замѣтимъ автору, что въ книгѣ его страннымъ кажется не это употребленіе французскихъ фразъ вмѣстѣ съ русскими, а чрезмѣрное, сплошное наполненіе французскою рѣчью цѣлыхъ десятковъ страницъ сряду. Для того, чтобы показать, что Наполеонъ, или какое-либо другое лицо говоритъ по-французски, достаточно было бы одну первую его фразу написать по-французски, а остальныя по-русски, исключая какихъ-либо двухъ-трехъ,

особенно характеристическихъ оборотовъ, и мы безъ труда догадались бы, что вся тирада произнесена на французскомъ языкѣ. Точно также и о письмахъ Юліи и другихъ лицъ стоило бы только сказать, что они написаны были по-французски, да употребить въ текстѣ ихъ двѣ-три французскія фразы, и мы не подумали бы усомниться, что эти письма действительно писаны по-французски. Это приемъ старый, простой, но единственно вѣрный и удобный.

Въ другое время мы скажемъ, въ какой мѣрѣ полно и вѣрно изображено авторомъ общество первой четверти нашего столѣтія, а теперь обратимся къ иному порядку идей графа Толстого. Въ объясненіи, помѣщенномъ въ третьей тетради „Русскаго Архива“, авторъ снова, и въ выраженіяхъ еще болѣе рѣзкихъ, чѣмъ въ четвертомъ томѣ своей книги, старается доказать тщету и ничтожество историческихъ изысканій. Совершенно справедливо, что по одиѣмъ реляціямъ нельзя составить вѣрнаго описанія битвы, какъ по дипломатическимъ актамъ одной какой-нибудь державы нельзя дать вѣрное повѣствованіе о какой-либо эпохѣ; но это одно только и справедливо въ историческихъ разсужденіяхъ автора, хотя и тутъ можно ему замѣтить, что историкъ, понимающій и уважающій свое дѣло, не довольствуется реляціями и дипломатическими актами одной стороны, а беретъ документы, насколько они ему доступны, со всѣхъ сторонъ, при чемъ особенно дорожитъ воспоминаніями и записками современниковъ и очевидцевъ. Остальное въ сужденіяхъ автора поражаетъ своимъ, поистинѣ, дѣтски-наивнымъ воззрѣніемъ на задачи художника и историка. По мнѣнію графа Толстого, не художникъ, а историкъ видитъ въ исторіи героевъ; историкъ, „пригибая истину“, подводитъ всѣ дѣйствія историческаго лица подъ одну идею, тогда какъ художникъ въ самой одиночности этой идеи видитъ несообразность; историкъ по необходимости извращаетъ истину, историкъ сочиняетъ, натягиваетъ событія; исторія есть ложь, неправда, и пр. и пр. Мы не станемъ доказывать автору, что историкъ говоритъ неправду или сознательно—и тогда онъ недобросовѣстенъ, или невольно—и тогда это значитъ, что

ему не были доступны всѣ источники, относящіеся до извѣстной эпохи, или что онъ ошибался насчетъ сущности того или другого событія; не станемъ доказывать, что подобнымъ образомъ ошибиться очень можетъ и художникъ; что и историку и художнику одинаково свойственно смотрѣть на историческія лица и дѣйствія подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія; что неизбѣжная ложь въ описаніи ближайшихъ къ нашему времени событій зависитъ не отъ процесса исторической работы, а часто оттого, что историческіе документы, могущіе пролить истинный свѣтъ на эти событія, составляютъ недоступную изслѣдователямъ государственную тайну, а для частныхъ записокъ и мемуаровъ не допускается гласность, такъ что, напримѣръ, самое сочиненіе графа Толстого, по всей вѣроятности, не могло бы быть напечатано нѣсколько лѣтъ назадъ; не будемъ пускаться въ подробное объясненіе разницы между прозаическою (историческою, дѣйствительною) правдой и правдою поэтической. Все это завело бы насъ слишкомъ далеко, да, притомъ, все это составляетъ азбуку литературнаго дѣла. Обратимся къ главному положенію автора — къ историческому фатализму.

Въ нынѣшнемъ своемъ объясненіи графъ Толстой, снова утверждая, что великімъ историческія событія не имѣютъ и не могутъ имѣть ближайшихъ существенныхъ причинъ, повторяетъ, что единичная воля бессильна для направленія тысячъ и милліоновъ людей на завоевательную войну; что вообще такъ называемые великіе люди имѣютъ самое ничтожное значеніе въ исторіи и что такъ-называемая власть надъ другими людьми въ своемъ истинномъ значеніи есть только наибольшая отъ нихъ зависимость. Въ числѣ причинъ, которыя могли бы, независимо отъ причинъ, подыскиваемыхъ историками, не довести до войны 1812 года, авторъ, съ своей стороны, указываетъ на двѣ другія: если-бъ французскіе капралы отказались пойти во вторичную службу и если-бъ въ Россіи не было самодержавной власти. Все „если бы“, „если бы“.

Не допуская никакихъ *почему* и *для чего* въ объясненіе великихъ историческихъ событій, утверждая, что они со-

вершаются по стихійному, зоологическому закону, по предопредѣленію, смыслъ котораго неуловимъ, авторъ раздѣляетъ всѣ дѣйствія человѣка на два рода: произвольныя (личныя) и непроизвольныя (инстинктивныя, роевыя). „Я могу — говорить онъ — испытывая свою свободу, поднять и съ силою опустить свою руку въ воздухъ. Я сдѣлалъ это. Но подлѣ меня стоитъ ребенокъ; я поднимаю надъ нимъ руку и съ тою же силою хочу опустить на ребенка. Я не могу этого сдѣлать. На этого ребенка бросается собака; я не могу не поднять руку на собаку“. Примѣръ приведенъ очень неудачно. Чтобъ не опустить руки моей на ребенка, или чтобъ защитить его отъ собаки, я долженъ употребить нѣкоторое нравственное усиліе, и свободная воля человѣка болѣе всего проявляется въ подобныхъ случаяхъ, гдѣ ей предстоитъ выборъ между злымъ и добрымъ побужденіемъ. Если-бъ допустить невозможность, указываемую графомъ Толстымъ, то не было бы на свѣтѣ ни преступниковъ, ни трусовъ; защита ближнихъ отъ опасности не была бы заслугою, и міръ не представлялъ бы примѣра подвиговъ личной храбрости. Я могу, изъ личной прихоти или въ припадкѣ гнѣва, пришибить ребенка; я могу постыдно бѣжать отъ собаки, кинувшейся на другого; но движеніемъ своей свободной воли побѣждаю въ себѣ это злое побужденіе: вотъ, кажется, какъ слѣдуетъ видоизмѣнить примѣръ, приведенный авторомъ.

Когда мы еще были дѣтьми, мы съ гордостью записывали въ свои дневники разныя „идеи“, до которыхъ мы, какъ намъ тогда казалось, додумывались сами и которыя мы считали тогда великими открытіями въ области человѣческой мысли. Записана была у насъ съ особенною аффектаціею и эта пресловутая „идея“, что „все, что совершилось, должно было совершиться“, или что „все совершается по вѣчнымъ, неизмѣннымъ законамъ“. Но съ тѣхъ поръ мы успѣли вырасти, возмужать и убѣдиться, что для пытливаго ума недостаточно такого фаталистическаго приговора, хотя въ общемъ смыслѣ онъ безусловно справедливъ; что въ пытливомъ умѣ человѣка рождается желаніе изслѣдовать,

какимъ же именно законамъ подчиняется духовная жизнь его. Физиологи и психологи много трудились надъ разрѣшеніемъ этой задачи, и если, зная организмъ и темпераментъ отдѣльнаго лица, зная его привычки, обстоятельства жизни, вліянія, которыми онъ окруженъ, можно бываетъ почти безошибочно опредѣлить, какъ онъ отнесется къ тому или другому событію, то и историческая жизнь народовъ можетъ быть подведена подъ извѣстные законы. Если эти законы и не могутъ быть иногда прямо указаны при изложеніи того или другого событія, то изслѣдованіе ближайшихъ его причинъ и послѣдствій, составляющее задачу историковъ, прямо ведетъ къ открытію этихъ законовъ.

Изъ „Голоса“.

* * *

*) Мы основываемъ право свое говорить о новомъ, еще неоконченномъ произведеніи гр. Л. Н. Толстого, во-первыхъ, на громадномъ его успѣхѣ въ публикѣ, что ставитъ его въ ряды явленій, вызывающихъ изслѣдованіе, а во-вторыхъ, на самомъ богатствѣ и полнотѣ содержанія трехъ вышедшихъ теперь частей романа **), которыя обнаружили вполнѣ весь замыселъ автора и всѣ его цѣли, вмѣстѣ съ изумительнымъ талантомъ осуществленія и достиженія ихъ. Мы не боимся сказать парадоксъ, если выразимъ мнѣніе, что и при меньшемъ развитіи творческихъ силъ и художническихъ способностей, историческій романъ изъ эпохи, столь близкой къ современному обществу, возбудилъ бы напряженное вниманіе публики. Почтенный авторъ очень хорошо зналъ, что затронетъ еще свѣжія воспоминанія своихъ современниковъ и отвѣтитъ многимъ ихъ потребностямъ и тайнымъ симпатіямъ, когда положить въ основу своего романа характеристику нашего высшаго общества и главныхъ политическихъ дѣятелей эпохи Александра I-го, съ нескрывае-

*) „Вѣстникъ Европы“ 1868 г., № 2. Статья П. Анненкова, подъ заглавіемъ: „Историческіе и эстетическіе вопросы въ романѣ гр. Л. Н. Толстого: „Война и миръ“.

**) Четвертая и послѣдняя часть обѣщана въ непродолжительномъ времени

мой цѣлю построить эту характеристику на разоблачающемъ свидѣтельствѣ преданій, слуховъ, народнаго говора и записокъ очевидцевъ. Трудъ предстоялъ ему немаловажный но зато, въ высшей степени благодарный. Онъ приступилъ къ нему, какъ оказывается изъ послѣдствій, съ твердымъ убѣжденіемъ, что есть возможность разрѣшить многосложную выбранную имъ тему, въ обычныхъ условіяхъ романа, и доставить ей этимъ путемъ весь тотъ литературный успѣхъ, весь тотъ радушный приѣмъ, который она, по своей своевременности и жгучей занимательности, встрѣтила бы вездѣ, гдѣ бы ни появилась.

Уже въ смѣломъ тонѣ первыхъ картинъ романа, которыя были напечатаны съ годъ тому назадъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и тогда же возбудили общее вниманіе, заключалось нѣчто похожее на заявленіе автора о своемъ призваніи подарить публику произведеніемъ, которое, не переставая быть романомъ, было бы въ то же время исторіей культуры по отношенію къ одной части нашего общества, политической и соціальной нашей исторіей, въ началѣ текущаго столѣтія вообще, и которое могло бы представить изъ себя любопытное и рѣдкое соединеніе олицетворенныхъ и драматизованныхъ документовъ съ поэзіей и фантазіей свободного вымысла. Все что было тогда предвѣщаніемъ, явилось теперь дѣломъ рѣшеннымъ—и рѣшеннымъ, надо сказать, съ изумительной ловкостію. Не только авторъ нигдѣ не обнаружилъ сомнѣнія и колебанія передъ обширностію и исполнимостію выбранной задачи, но онъ словно растетъ въ виду затрудненій, ею представляемыхъ, творческія силы его словно напрягаются съ приближеніемъ къ нѣкоторымъ опаснымъ мѣстамъ, гдѣ связь романа съ исторіей держится на волоскѣ. Разбивъ все содержаніе задачи на множество сценъ и отдѣльныхъ картинъ, онъ разрѣшаетъ ее такимъ образомъ по частямъ, повидимому, безъ всякаго остатка, — кромѣ того, который подъ сцены и картины не подходитъ; но о важности этого историческаго остатка, не попавшаго у него въ передѣлку, мы говоримъ далѣе. Теперь намъ нужно только знать, что мы имѣемъ передъ собою громадную компо-

зицію, изображающую состояніе умовъ и нравовъ въ передовомъ сословіи „новой Россіи“, передающую въ главныхъ чертахъ великія событія, потрясавшія тогдашній европейскій міръ, рисующую фізіономіи русскихъ и иностранныхъ государственныхъ людей той эпохи и связанную съ частными, домашними дѣлами двухъ-трехъ аристократическихъ нашихъ семей, которыя высылаютъ на это позорище нѣскольکو членовъ изъ своей среды!

Всѣхъ болѣе посчастливилось при этомъ молодому князю Болконскому, адъютанту Кутузова, страдающему пустотой жизни и семейнымъ горемъ, славолюбивому и серіозному по характеру. Передъ нимъ развивается вся быстрая и несчастная наша заграничная кампанія 1805—7 годовъ со всѣми трагическими и поэтическими своими сторонами; да кромѣ того, онъ видитъ всю обстановку главнокомандующаго и часть чопорнаго австрійскаго двора и гофкригсрата. Къ нему приходятъ *позироваться* императоръ Францъ, Кутузовъ, а нѣсколько позднѣе—Сперанскій, Аракчеевъ и проч., хотя портреты съ нихъ, и прибавимъ—чрезвычайно эффектные—снимаетъ уже самъ авторъ. Каждое изъ этихъ и другихъ лицъ является на сеансѣ со своей крупной фізіономической чертой, отысканной въ немъ отчасти исторіей, отчасти анекдотомъ, всего болѣе анекдотомъ. Второе мѣсто за Болконскимъ занимаетъ молодой графъ Безухой, вялый, но добродушный и симпатичный человѣкъ, передъ которымъ масонскія ложи того времени развиваютъ всѣ свои тайные помыслы и цѣли въ замѣчательномъ порядкѣ и въ строгой послѣдовательности, какъ будто они приготовились къ этому дѣлу издавна. Ослабительная сторона романа именно и заключается въ естественности и простотѣ, съ какими онъ низводитъ міровыя событія и крупныя явленія общественной жизни до уровня и горизонта зрѣнія всякаго избраннаго имъ свидѣтеля. Великолѣпная картина Тильзитскаго свиданія, напримѣръ, вращается у него, какъ на природной оси своей, около юнкера или корнета, графа Ростова, ощущенія котораго, по этому поводу, составляютъ какъ бы продолженіе самой сцены и необходимый къ ней комментарий. Безъ вся-

каго признака насилуванія жизни и обычнаго ея хода, романъ учреждаетъ постоянную связь между любовными и другими похождениями своихъ лицъ и Кутузовымъ, Багратиономъ, между историческими фактами громаднаго значенія, Шенграбеномъ, Аустерлицомъ, и тревоженіями московскаго аристократическаго кружка, будничный строй котораго они не въ состояніи одолѣть, какъ не въ состояніи одолѣть и вѣчныхъ стремленій человѣческаго сердца къ любви, дѣятельности, наслажденію.

Ничто не даетъ такого подобія дѣйствительности, и ничто такъ не замѣняетъ собою пониманія ея, какъ эти сопоставленія, особенно если ими распоряжается и пользуется необыкновенный талантъ, какъ именно здѣсь случилось. Благодаря имъ—читателю кажется, будто *духъ времени*, открытіе и опредѣленіе котораго стѣбитъ такихъ трудовъ изслѣдователямъ историческихъ эпохъ, воплощается на страницахъ романа, какъ индійскій Вишну, легко и свободно, безчисленное количество разъ. Изъ признательности за это ощущеніе духа времени устанавливаются на первыхъ же порахъ между читателемъ и романомъ самыя дружескія, пріятныя отношенія, которыя еще растутъ и укрѣпляются, когда обнаруживается, что превосходныя сцены, рисующія необыкновенно живо и выпукло вѣчное противорѣчіе интересовъ частнаго лица съ интересами и замыслами государства, освѣщены одинаково у автора лучемъ скептической, анализирующей мысли, долго обращавшейся, по всѣмъ признакамъ, въ средѣ записокъ, преданій, всего того, что французы называютъ „*маленькой*“ исторіей. Съ помощію этой исторіи романъ получаетъ обширныя права: въ немъ также громко раздаются замирающіе призывы къ жизни, справедливости и состраданію несчастныхъ личностей, гибнущихъ въ водоворотѣ событій, какъ и гулъ разрушающихся при этомъ плановъ государственной политики; въ немъ судьба частнаго лица, его ошибки, заблужденія, несостоятельность и ограниченность приобрѣтають такую же важность, какъ и соотвѣтствующія имъ и съ ними уравненныя явленія того же порядка въ руководителяхъ эпохи. Исторія страны

и общества мѣшается съ чертами и подробностями, о которыхъ всякій можетъ судить по собственному, нажитому опыту, по собственнымъ своимъ наблюденіямъ и воспоминаніямъ, сколько ихъ состоитъ у него налицо. Углаживая этимъ способомъ дорогу къ уразумѣнію и представленію себѣ недавней, нѣкогда столь шумной эпохи, замѣчательный романъ дѣлаетъ еще нѣчто болѣе для современной читающей публики: по ловкому устраненію изъ картины всѣхъ спорныхъ вопросовъ, касающихся историческихъ лицъ и фактовъ, по смѣлымъ очеркамъ тѣхъ и другихъ, по точности, яркости и опредѣленности всѣхъ своихъ описаній и всѣхъ своихъ приговоровъ, романъ превращаетъ ее, читающую нашу публику, въ собственныхъ ея глазахъ и въ глубинѣ сознанія, изъ близкаго наслѣдника эпохи въ дальнее неліцепріятное потомство, со всѣми выгодами и преимуществами, такому потомству принадлежащими.

Это самый лучший и щедрый даръ романа. Что можетъ сравниться съ сладостнымъ ощущеніемъ—оказаться потомствомъ въ отношеніи людей, жившихъ 50—60 лѣтъ тому назадъ? Мы разумѣемъ—оказаться потомствомъ не въ смыслѣ позднѣйшаго рожденія, а въ смыслѣ признаннаго и единственнаго рѣшителя всѣхъ ихъ споровъ. Какое наслажденіе сознать себя внезапно этимъ потомствомъ и получить неожиданно его права, какъ будто вся предварительная работа по опредѣленію и характеристикѣ людей и событій уже кончена до насъ, всѣ документы для ихъ классификаціи собраны и взвѣшены; недоразумѣнія, наговоры, ошибочныя воззрѣнія одѣнены по достоинству; страсти, стремленія и интересы новаго времени, всегда судящаго о ближайшихъ своихъ предшественникахъ по собственнымъ своимъ нуждамъ—устранены изъ оцѣнки, и мы можемъ уже смѣло развивать одну черту въ обликѣ историческаго дѣятеля, какую выберемъ, и одну подробность въ историческомъ событіи, какая встрѣтится—не опасаясь извратить ихъ пониманіе и представленіе у нашихъ современниковъ. Съ этимъ гордымъ ощущеніемъ нашего неожиданнаго производства въ потомство ничего сравнить нельзя, по его ѣдко-пріятному

вкусу: бѣднякъ, которому объясняютъ въ минуту его обыкновеннаго дневнаго труда о великомъ наслѣдствѣ, упавшемъ къ ногамъ его, откуда-то, чуть не съ неба, еще не то испытывается. Наслѣдство не даетъ ему возможности знать того, чего онъ не знаетъ, между тѣмъ какъ читатель, возведенный прихотью случая въ званіе читателя-потомка, вдругъ получаетъ то, что никогда не приходитъ внезапно—готовое знаніе! Правда, что знаніе это не принадлежитъ къ числу того научнаго добра, котораго ни тать не похитить, ни тля не истребить, но сладостное ощущеніе отъ этого не менѣе сладостно. Оно сообщается даже очень трезвымъ умамъ, и надо много осторожности, чтобы ему не поддаться: такъ велико обаятельное дѣйствіе знаменитаго романа, къ разбору котораго, т.-е. первыхъ трехъ частей, послѣ этихъ общихъ положеній, мы и приступаемъ теперь.

Но разобрать его или даже просто передать его содержаніе—дѣло не совсѣмъ легкое. Мысль рецензента, который захотѣлъ бы прослѣдить это сложное произведеніе во всѣхъ его явныхъ и тайныхъ ходахъ должна непремѣнно спутаться, въ виду громаднаго склада разнообразнѣйшихъ происшествій, здѣсь открывающихся, передъ неисчислимой толпой лицъ, мелькающихъ одно за другимъ, и при непрерывномъ движеніи разсказа, который выводитъ явленія всякаго рода на столько времени, на сколько нужно, чтобы они высказали свое содержаніе, стираетъ ихъ затѣмъ тотчасъ съ картины и вызываетъ ихъ снова, послѣ болѣе или менѣе долгаго промежутка, но когда они пріобрѣли уже другія формы и обновились. Лучшимъ свидѣтельствомъ многосложности всей этой постройки можетъ служить то обстоятельство, что только съ половины третьяго тома завязывается нѣчто похожее на узелъ романической интриги, что только съ этого мѣста обнаруживается, кого должно считать главными дѣйствующими лицами романа. Лица эти, въ числѣ трехъ, состоятъ изъ тяжелаго, но гуманно-развитого молодого Безухаго—типа, похожій на Обломова, если Обломовъ сдѣлать безмѣрнымъ богачомъ и побочнымъ сыномъ одного изъ Екатерининскихъ орловъ,—и изъ поэтической гра-

фини ребенка, Наташи Ростовой, не получившей ни малѣйшаго нравственнаго образованія въ дому, подверженной всѣмъ искушеніямъ собственнаго своего организма и безпокойной мысли, что заставляло ее, еще съ дѣтства, влюбляться направо и налево, и наконецъ, понудило измѣнить признанному своему жениху кн. Болконскому въ пользу красиваго, бездушнаго и развратнаго адъютанта, кн. Курагина. Последнее и самое важное лицо этой свѣтской тріады есть молодой кн. Болконскій, о которомъ было упомянуто и прежде. Это именно то строгое, серіозное лицо, которое должно торжественно вынести на себѣ идею романа изъ хаоса его подробностей, оправдать автора за выборъ мѣста дѣйствія и за выборъ содержанія, дать всему смыслъ и значеніе. Такія лица обыкновенно обрабатываются авторами съ великимъ тщаніемъ. Что представляетъ для насъ кн. Болконскій, а также оба его товарища по завязкѣ романа, мы будемъ говорить, когда образы ихъ дорисуются четвертымъ томомъ произведенія. Теперь мы повторимъ снова, что въ качествѣ главныхъ героевъ и двигателей разсказа они являются только въ половинѣ третьяго тома. Что же было до того?

До того было, поистинѣ, великолѣпное зрѣлище! Передъ нами развивалась огромная діорама, исполненная красокъ, свѣта, темныхъ массъ вооруженнаго народа и выдѣляющихся на ней образовъ. Мы переходили изъ дипломатическихъ салоновъ фрейлины Шереръ къ фешенебельнымъ оргіямъ гвардейскихъ офицеровъ; оттуда въ московское общество, гдѣ присутствовали при послѣднихъ часахъ умирающаго туза, стараго графа Безухаго, отца одного изъ героевъ романа, величаваго и какъ-то грознаго въ самой предсмертной агоніи. Мы видѣли тутъ картину алчности наслѣдниковъ и низкія продѣлки, чуть ли не министра, стараго кн. Курагина, достойнаго самаго мелкаго, отпѣтаго чиновника, который ищетъ гдѣ-либо подцѣпить фортуну для пристроенія своего безобразнаго потомства. Съ порога умирающаго туза мы вступали въ мирный, но шумный домъ Ростовыхъ, населенный молодежью, и гдѣ глава его старый графъ Ро-

стовъ—одинъ изъ столповъ англійскаго клуба—считаетъ своей обязанностію воспитывать дѣтей посредствомъ безконечныхъ праздниковъ, что, во-первыхъ, разоряетъ его, а во-вторыхъ, образуетъ Наташу Ростову въ то существо, которое потомъ такъ печально разоблачаетъ себя. По дорогѣ мы встрѣчали типъ старушки Друбецкой, изъ обиднѣвшаго княжескаго дома, которая пристроиваетъ достойнаго своего сына, съ такимъ развитіемъ энергіи, практическаго смысла, душевной гибкости и готовности на всякую полезную измѣну, что ихъ было бы достаточно для изумленія міра какимъ-либо политическимъ преступленіемъ, — будь старушка на другой дорогѣ. Да и кругомъ старушки роятся и кишатъ разнообразныя типы, каждый съ крупной, родовой чертой, которая такъ и готова развиться въ оригинальную фізіономію, но до нихъ ли? Мы песемся все впередъ. Вотъ мы въ деревнѣ стараго, суроваго князя Болконскаго, отца другого героя романа, и попадаемъ въ атмосферу вельможнаго самодурства, уже не имѣющаго ничего общаго съ распущенностію московской жизни. Весь домъ въ трепетѣ и порядкѣ. Князь ведетъ записки своей жизни, работаетъ у токарнаго станка, изучаетъ наполеоновскія кампаніи, учитъ запуганную свою дочь, княжну Марію, математикѣ, весь исполненъ судорожной дѣятельности въ своемъ кабинетѣ, откуда почти не выходитъ, но откуда видитъ и знаетъ все, чтѣ дѣлается у него въ палатахъ, а по старымъ связямъ и прежней службѣ—и все, чтѣ дѣлается въ администраціи. Ни тѣхъ, ни другую онъ не щадитъ, увѣренный въ непогрѣшимости своей и создавшій себѣ, взаимнѣ полнаго отсутствія религіи—религію благоговѣнія и поклоненія передъ собственной особою. На нашихъ глазахъ происходили тонкія, сдержанныя, но полныя смысла и чувства сцены свиданія между насмѣшливымъ старикомъ и сыномъ его, княземъ Андреемъ, который, на пути къ дѣйствующей арміи, завезъ къ нему свою беременную и посылую жену. Но едва успѣли мы всмотрѣться въ эти отношенія двухъ оригинально-самостоятельныхъ характеровъ, какъ очутились въ самомъ центрѣ русской заграничной арміи и на поляхъ заграничныхъ битвъ нашихъ 1805—7-го годовъ.

Одна за другой начинаютъ тогда проходить передъ нами картины движенія русскихъ войскъ, ихъ спибокъ съ непріятелемъ, безпорядочнаго отступленія еще прежде, и отчаянныхъ усилій, послѣ всякаго пораженія, сформироваться снова въ одно цѣлое, только-что разбитое и раздробленное на безпомощныя части. Мастерство автора изображать сцены военного быта достигаетъ своего апогея. Планы сраженій и картины мѣстностей, гдѣ они происходятъ — бросаются отчетливо въ глаза, какъ гравюры англійскихъ кипсековъ, главные моменты битвъ высятся надъ всѣми подробностями, которыя къ нимъ и примыкаютъ, какъ къ сборнымъ пунктамъ своимъ. Ни съ чѣмъ не можетъ сравниться описаніе того мгновенія, когда Багратіонъ ведетъ два баталіона на колонну непріятеля, поднимающуюся навстрѣчу имъ изъ ложины у Шенграбена, и когда обѣ массы спиваются и пропадаютъ въ огнѣ и дымѣ, такъ же точно, какъ ни съ чѣмъ сравнить нельзя описанія туманнаго утра въ день Аустерлицкаго сраженія, предчувствій и томленій войска наканунѣ, общаго смятенія, когда первые лучи дня показали близость непріятеля и освѣтили мгновенный погромъ русской арміи. Даже и въ этихъ картинахъ, исполненныхъ блеска, есть еще страницы, выдающіяся изъ всѣхъ по особенному развитію мастерства изображать живьемъ общее чувство громадной массы народа и каждое личное чувство, на немъ выросшее, какъ на своей родной почвѣ, имъ пропитанное, но сохраняющее особенности характеровъ и натуръ, его переживающихъ: таковы картины бѣгущаго и разстроеннаго обоза, который въ ужасѣ и паническомъ страхѣ потерялъ не только всякое понятіе о дисциплинѣ, но и понятіе о самыхъ простыхъ условіяхъ самосохраненія; такова картина перехода нашихъ войскъ черезъ мостъ подъ Энсомъ, когда наступающія батареи непріятеля грозятъ ихъ настичь, и еще болѣе переходъ черезъ плотину Аугеста подъ Аустерлицомъ, когда вся сила непріятельской артиллеріи устремлена на этотъ пунктъ и мететъ столпившихся на немъ людей и лошадей, какъ пыль... И опять въ средѣ всего этого движенія мелькаетъ передъ нами многое множество типовъ военного сословія,

смѣло тронутыхъ и тотчасъ же покинутыхъ, но они уже идутъ теперь попеременно съ силуэтами и очерками историческихъ лицъ, Кутузова и его канцеляріи, императора Франца и его обстановки въ Ольмюцѣ, императора Александра на смотре и въ битвѣ и т. д. Рядомъ съ ними мы встрѣчаемъ уже знакомыхъ намъ молодыхъ людей изъ московскаго и петербургскаго общественныхъ круговъ. Ко всѣмъ предметамъ, вызывающимъ наше участіе и любопытство, присоединяется новый: мы наблюдаемъ, какія стороны въ характерѣ каждого изъ нихъ вызываются его соприкосновеніемъ съ мировыми событіями, съ борьбой за существованіе, съ близостію гибели; какъ каждая изъ этихъ головъ встрѣчаетъ историческій вихрь, несущійся надъ нею, куда склоняется и что она думаетъ въ это время. Мы видимъ раненаго Ростова, бѣгущаго отъ сабли французскаго драгуна, и кня. Болконскаго, замертво оставленнаго на полѣ Аустерлица; но и тотъ и другой успѣваютъ сообщить намъ часть своихъ ощущеній въ роковыя минуты, когда они принадлежали одинаково и жизни и смерти. Усталые, почти изнеможенные отъ разнообразныхъ впечатлѣній, мы достигаемъ, наконецъ, великолѣпнаго описанія Тильзитскаго свиданія, которому, словно въ видѣ комментарія, предпослано изображеніе тифознаго госпиталя съ русскими ранеными, отъ которыхъ отказались доктора и начальство, а нѣсколько ранѣе изображеніе гнилого дипломата Билибина, подсмѣивающагося надъ „православнымъ“ (какъ онъ называетъ русское войско), въ его затѣи бороться съ исполиномъ вѣка. Миръ заключенъ. Все обращается къ старой, родимой пошлости; только молодой Болконскій, потерявшій въ промежуткѣ между Аустерлицомъ и Тильзитомъ жену и излечившійся отъ энтузіазма къ Наполеону, сближается, изъ жажды дѣятельности, съ звѣздами тогдашней администраціи, которыя и роняютъ передъ нимъ нѣсколько изъ своихъ колеблющихся и сомнительныхъ лучей, да наоборотъ, другъ его, молодой Безухой, женится, самъ не зная какъ, на княжнѣ Курагиной—распутницѣ по природѣ, и ищетъ отрады, занятія и успокоенія въ напряженномъ религіозномъ

чувствъ и въ обществѣ масоновъ, которые съ полусектаторской миной посвящаютъ его и насъ во всѣ свои таинства, обряды и учения... Остановимся здѣсь и спросимъ: не великолѣпное ли зрѣлище все это, въ самомъ дѣлѣ, отъ начала и до конца?

Да, но покуда оно происходило, романъ, въ прямомъ значеніи слова, не двигался съ мѣста, или, если двигался, то съ неимоверной апатіей и медленностію. Большое колесо романической машины еле-еле мѣняло свое положеніе, не приводя въ дѣйствіе настоящаго рычага, нужнаго для дѣла, а только заставляя играть съ непостижимой быстротою маленькія колеса, занятія чужой посторонней работой. Большимъ колесомъ въ романѣ мы ничего другого считать не можемъ, кромѣ его завязки и, соединенной съ нею неразрывно, основной мысли созданія. Завязки ничѣмъ замѣнить нельзя, ни даже картинами политическаго и соціальнаго содержанія, хотя бы и занимательными въ высшей степени. Можно полагать, что не намъ однимъ приходилось, послѣ упоминательныхъ впечатлѣній романа, спрашивать: да гдѣ же онъ самъ, романъ этотъ, куда онъ дѣвалъ свое настоящее дѣло — развитіе частнаго происшествія, свою „фабулу“ и „интригу“, потому что безъ нихъ, чѣмъ бы романъ ни занимался, онъ все будетъ казаться *празднымъ* романомъ, которому чужды его собственные и настоящіе интересы. Нѣтъ сомнѣнія, что къ завязкѣ романа, другими словами, къ его основной мысли можно привлечь какія угодно явленія жизни и исторіи, но подъ однимъ условіемъ, чтобъ послѣднія не заслоняли первыхъ, не выказывали себя во весь свой ростъ, во всю свою ширину, во всей своей сущности. Иначе побѣда будетъ всегда на сторонѣ ихъ, а эта побѣда — гораздо болѣе вредная, чѣмъ полезная самому произведенію. Конечно, нѣтъ печальнѣе зрѣлища, какъ наблюдать усилія автора понизить серьезный характеръ историческихъ и социальныхъ данныхъ, облегчить ихъ отъ присущей имъ мысли — для того, чтобъ они стояли вровень съ его собственнымъ замысломъ и не слишкомъ стыдили его своимъ присутствіемъ; но, съ другой стороны, есть что-то

похожее на изиѣну, когда романъ живетъ, такъ сказать, внѣ своего дома. Опасность для него, какъ и для всякаго нравственнаго существованія, начинается съ той минуты, когда онъ отказывается отъ своего истиннаго призванія и перестаетъ узнавать его. Не трудно доказать математически, на основаніи законовъ перспективы, что во всякомъ романѣ великіе историческіе факты должны стоять на второмъ планѣ: только тогда и возможно представить ихъ въ нѣкоторой полнотѣ и цѣлости. Удаленіе ихъ отъ мѣста, которое должны занимать исключительно главныя дѣйствующія лица произведенія, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и условія ихъ сходства съ дѣйствительной исторіей. Сходство это будетъ нарушаться тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе авторъ подвинетъ ихъ къ первому плану, отрывая отъ фона своей картины, гдѣ они пользовались всѣмъ нужнымъ имъ просторомъ. Можетъ случиться, что они, достигнувъ крайней точки этого передвиженія, предстанутъ читателю не съ полнымъ выраженіемъ своего содержанія, а только тѣми, немногими сторонами, которыя остались у нихъ отъ похода и которыя, поднавъ дѣйствию сильнаго, случайнаго или даже искусственнаго освѣщенія—ярко и выпукло разрослись въ непомѣрную и фальшивую величину. Самое худшее при этомъ то, что настоящіе и законные обладатели перваго плана въ романѣ—его герои и связанное съ ними событіе вытѣсняется этимъ нашествіемъ сильнаго элемента, съ которымъ борьба невозможна. Романъ чахнетъ, какъ растительность страны, потоптанной ногами и коными завоевательнаго племени, ее посѣтившаго. Мы не говоримъ, чтобъ именно это случилось съ романомъ Л. Толстого—нѣтъ: онъ еще держитъ историческую часть его на приличномъ, хотя уже и опасномъ, разстояніи отъ своихъ героевъ, онъ бережетъ послѣднихъ, съ неимовѣрнымъ тщаніемъ, отъ излишне рискованныхъ столкновеній съ могущественнымъ историческимъ элементомъ, готовымъ ихъ поглотить, но уже общее положеніе дѣлъ отражается на нихъ неблагопріятно. Героямъ своимъ и частному событію онъ отводитъ столько пространства, свѣта и воздуха, сколько нужно единственно для поддержанія ихъ существованія.

Этотъ скудный паекъ, этотъ *le strict nécessaire* предоставленной имъ жизни, при роскоши и богатствѣ обстановки всего прочаго—дѣйствуетъ неблагоприятно на читателя, который, подъ конецъ, догадывается, что существенный недостатокъ всего созданія, несмотря на его сложность, обиліе картинъ, блескъ и изящество—есть недостатокъ романческаго развитія.

Романъ не двигается, — сказали мы, — но кромѣ того еще ни одинъ характеръ, ни одно почти положеніе въ немъ не развиваются вплоть до половины третьяго тома. Они только мѣняются, показываютъ новыя стороны, съ каждымъ поворотомъ картины, когда она ихъ захватываетъ, но не развиваются. Иначе и быть не могло. Остановить движеніе сценъ въ пользу разъясненія чьей-либо фizioноміи или ближайшаго осмотра психической перемѣны въ человѣкѣ—нѣтъ возможности при толпѣ образовъ и массѣ событій, ожидающихъ своей очереди, чтобы попасть въ картину. Приближающаяся сцена беретъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ своихъ уже совсѣмъ готовыми къ появленію на подмосткахъ, и мы узнаемъ о новыхъ чертахъ, ими приобрѣтенныхъ, и о новыхъ событіяхъ, измѣнившихъ ихъ внутренній міръ и настроеніе, только тогда, когда авторъ дѣлаетъ повѣрку своего персонала, съ тѣмъ глубокимъ анализомъ, который ему свойственъ. При зарожденіи и ходѣ измѣненій, какимъ подверглись знакомые типы и обстоятельства въ промежутокъ между сценами, читатель не присутствовалъ; измѣненія свершились всѣ въ тайникѣ авторскаго воображенія, куда никто не былъ допущенъ. Мы видимъ лица и образы, когда процессъ превращенія надъ ними уже законченъ, —самаго процесса мы не знаемъ. Правда, что всѣ превращенія эти имѣютъ достаточныя основанія и вышли изъ намековъ и указаній, какія уже заключались и прежде въ характерахъ и предметахъ; нигдѣ не видно яркихъ противорѣчій, какъ нигдѣ не видно ничего произвольнаго и самовластнаго въ придаточныхъ чертахъ; можно было всегда ожидать именно этого хода дѣла и этого новаго выраженія фizioномій;—но роковая необходимость измѣненій, испытанныхъ тѣми и

другими, ничѣмъ не доказана. Да если бы и не было никакой связи между старымъ и новымъ выраженіемъ ихъ — дѣло обошлось бы и безъ нея. Блестящая сцена, исполненная эффекта, психическаго анализа, превосходныхъ красокъ — тотчасъ искупила бы неожиданность или искусственность какого-либо оттѣнка, тотчасъ заставила бы позабыть обо всемъ, что есть сомнительнаго и неоправданнаго въ его происхожденіи. Мы не будемъ перебирать снова горячихъ страницъ замѣчательнаго романа для убѣжденія нашихъ читателей, что много лицъ — оба Болконскіе, напримѣръ, Безухій, Наташа, княжна Марія Болконская и проч., нажили въ промежутокъ между первымъ, вторымъ или третьимъ своимъ появленіемъ въ романѣ существенныя фізіологическія и нравственныя черты, объясненіе которыхъ должно только искать въ нѣмомъ дѣйствіи времени, протекшаго отъ одного періода ихъ развитія до другого. Такъ же точно и событія показываются намъ только тогда, когда они шумно текутъ уже въ новомъ прорытомъ ими руслѣ, а работа, которую они совершали, при измѣненіи своего теченія, одолевая препятствія и уничтожая препоны, по большей части произошла, имѣя свидѣтелемъ опять одно безгласное время. Чѣмъ другимъ можно объяснить, напримѣръ, что распутная жена Пьера Безухаго изъ заведомо пустой и глупой женщины пріобрѣтаетъ репутацію необычайнаго ума и является вдругъ средоточіемъ свѣтской интеллигенціи, предсѣдательницей салона, куда съѣзжаются слушать, учиться и блестятъ развитіемъ. Вообще *смы* романа происходитъ почти столько же переворотовъ, сколько и въ самомъ романѣ. Ни разу читатель, правда, не поставляется въ необходимость отвергнуть какую-либо подробность, какъ совершенно невозможную, но не столь часто, какъ слѣдовало бы, доходитъ онъ и до убѣжденія, что ничего другого и не могло случиться кромѣ того, что случилось. Въмѣсто такого убѣжденія, авторъ вырываетъ у своей публики тотъ родъ полусогласія, неохотнаго подтвержденія, который на языкѣ политики выражается формулой — *признаніе совершившагося факта*. Фактъ узаконяется этимъ признаніемъ, но оно оставляетъ возможность

каждому изъ судей думать про себя, что фактъ могъ бы и не явиться на свѣтъ, пожалуй, въ той формѣ, въ какой явился. Таково обыкновенно дѣйствіе произведеній, страдающихъ, вслѣдствіе особеннаго характера ихъ постройки, недостаткомъ романическаго развитія.

Мы не скрываемъ отъ себя, что въ отвѣтъ на всѣ эти требованія могутъ сказать: Да кому какое дѣло до вашего развитія, когда романъ и въ той формѣ, какая ему дана, достигаетъ всѣхъ своихъ цѣлей и намѣреній. Характеры и съ помощію отдѣльныхъ сценъ приобрѣтаютъ типическое выраженіе, чтò, въ сущности, только и важно. Картина эпохи, даже и разбитая на множество этюдовъ, тѣмъ не менѣе есть полная картина, сообщающая каждому одно нераздѣльное и неотразимое впечатлѣніе своей истины. При томъ же, изображенія автора облечены въ такую ткань поэзии, рисуются съ такимъ участіемъ драматическаго элемента, тонкаго анализа, широкихъ пріемовъ мыслителя и художника, что думать тутъ о развитіи можетъ только человѣкъ, нечувствительный къ этимъ качествамъ. Можетъ быть даже, что трудъ развитія помѣшалъ бы здѣсь свободному проявленію творчества, можетъ быть даже, что само требованіе развитія принадлежитъ къ числу орудій старой *эстетической рутины*, которая не въ силахъ понять новыхъ формъ созданія, возникающихъ у писателя вмѣстѣ съ новыми задачами. Какое развитіе способно замѣнить намъ, хоть, на примѣръ, двѣ, повстинѣ, чарующія сцены, два особенно замѣчательныхъ перла изъ множества перловъ, разсыпанныхъ въ романъ? Мы говоримъ о двухъ сценахъ изъ эпохи пребыванія полуразоренныхъ Ростовыхъ въ деревнѣ. Въ первой изъ нихъ, Наташа Ростова, мучимая самымъ избыткомъ физическихъ и нравственныхъ силъ, является на охоту за волками, переживаетъ всѣ ея ощущенія и проводитъ часть вечера въ домѣ простака-помѣщика Илагина, угощающаго ее всѣмъ богатствомъ своего еще нетронутого русскаго житья-бытья, дворней, составляющей одно лицо съ бариномъ, балалайкой, которая странно потрясаетъ образованный слухъ гостей, и наконецъ своей

русской пѣснѣю, которая вызываетъ у нихъ слезы. Въ другой сценѣ, та же Наташа Ростова устраиваетъ переодѣваніе на масленицѣ и, захвативъ переряженныхъ подругъ, горничныхъ, встрѣчныхъ и поперечныхъ, въ бѣшеной скачкѣ на тройкахъ, мчится ночью, при лунѣ, мимо лѣса, вдоль снѣжной пустыни къ своей родственницѣ и сосѣдкѣ по имѣнію. Тутъ и безъ развитія отразилась вся русская природа, вмѣстѣ съ упительными народными, племенными потѣхами и мотивами, которые лучше всѣхъ другихъ заглушаютъ, обманываютъ, цѣляютъ страданія даже и образованной русской души. Какое развитіе способно довести писателя и до этой повѣи и до этихъ откровеній, оно, которое, по сущности своей, вмѣсто историческихъ, политическихъ и бытовыхъ картинъ, предпочитаетъ долгое, чухлое занятіе помыслами двухъ-трехъ лицъ, томительное изображеніе переворотовъ ихъ внутренняго міра и возмутительное оправданіе ихъ эгоистическаго самозаключенія въ самихъ себѣ!

Какъ бы, въ сущности, ни казались намъ эти и подобныя имъ возраженія несправедливыми въ настоящемъ вопросѣ, мы умѣемъ цѣнить все, что подъ ними таится законныхъ требованій на дѣльность и серьезность художественныхъ изображеній, на участіе искусства въ разрѣшеніи и объясненіи задачъ, вопросовъ и чаяній нашего времени. Но такъ ли вѣрно предположеніе, что въ романѣ исторія и частныя характеры достигли всей необходимой полноты и ясности даже и безъ развитія—это другой вопросъ. Врядъ ли новое произведеніе гр. Толстого докажетъ возможность обойтись, въ виду другихъ важныхъ задачъ, безъ исполненія какого-либо условія дѣльной художнической работы. Скорѣе наоборотъ: оно докажетъ необходимость соблюденія всѣхъ условій ея и невозможность жертвовать ими, ни подъ какимъ предлогомъ, даже самымъ благовиднымъ. Такъ, оставаясь при нашемъ мнѣніи, мы думаемъ, что недостатокъ развитія повліялъ неблагоприятно даже на историческую и бытовую сторону его произведенія, къ которымъ теперь и переходимъ.

Что касается до исторической части, то мы намѣрены

развить здѣсь нѣсколько подробнѣе положенія, высказанныя нами въ началѣ статьи. Какое бы мѣсто историческая сторона не занимала въ романѣ—первое, послѣднее или средннее, она подчиняется точно тѣмъ же законамъ художническаго существованія, какъ и вымыселъ: она должна доказать свое право выражать то, что выражаетъ. Извѣстно, что весь историческій отдѣлъ романа гр. Толстого построенъ на документахъ и свидѣтельствахъ такъ называемой *маленькой исторіи*, безъ которой, сплѣшнимъ прибавить, чуть ли и возможно появленіе настоящей, наукообразной исторіи. Трудамъ Шлоссера, Ранке, Гервинуса и проч. предшествовало, конечно, множество нескромныхъ откровеній, частныхъ разоблаченій, тайныхъ записокъ—словомъ, вся работа „маленькой“ исторіи, на которую они часто и ссылаются, и которая тогда только и входитъ въ особенный почетъ, когда въ извѣстномъ обществѣ обнаруживается потребность самоопредѣленія. До тѣхъ поръ общество очень хорошо удовлетворяется официальной, условно-учебной и легендарной исторіей; но съ первыми проблесками критической мысли, желающей провѣрить настоящее время прошлымъ временемъ—услуги „маленькой“ исторіи неоцѣненны и принимаются съ великой, вполне заслуженной благодарностью. Она помогаетъ низводить политическихъ дѣятелей съ тѣхъ туманныхъ высотъ, гдѣ они невозмутимо жили дотолѣ, какъ боги Олимпа, въ ряды человѣчества, и дѣлаетъ еще болѣе. Устраняя ореолы и лучи, приданные имъ суевѣріемъ или политическимъ расчетомъ, она помогаетъ различать ихъ настоящую фizioномію и находить въ ней черты, общія людямъ ихъ вѣка. И этимъ еще не ограничиваются ея услуги: она обнаруживаетъ въ великихъ историческихъ событіяхъ присутствіе и вліяніе силъ и причинъ, дѣйствующихъ и теперь, на глазахъ всѣхъ, что способствуетъ политическому воспитанію людей. Отсюда и успѣхъ въ публикѣ тѣхъ впрочемъ почтенныхъ изданій, которыя сдѣлались у насъ органами этой „маленькой“ исторіи, да также, отчасти, и успѣхъ книги гр. Толстого, на ней построенной и обнаруживающей большую въ ней начитанность ав-

тора. Но при этомъ онъ уже не могъ избѣжать весьма неблагоприятнаго обстоятельства для своей задачи, не существующаго у сборниковъ и изданій, ею занимающихся. Тѣ оставляютъ всѣ документы свои, за очень малыми исключеніями—открытыми вопросами, терпѣливо ожидая приближенія будущей, настоящей и наукообразной исторіи, которая должна ихъ порѣшить и, если дѣлаютъ иногда попытки утвердить за документами своими извѣстный смыслъ, то попытки эти принадлежатъ обыкновенно не къ самой существенной, и даже не къ самой блестящей сторонѣ изданій. Авторъ романа поставленъ въ иное положеніе. Гр. Толстой, напримѣръ, вездѣ говоритъ утвердительно—и долженъ такъ говорить, и говорить иначе не можетъ. Малѣйшее сомнѣніе передъ документомъ было бы здѣсь упраздненіемъ самаго романа, или лучше—его исторической части. Вездѣ и всегда должно слышаться отъ художественнаго произведенія твердое, рѣшительное, смѣлое слово, ибо тамъ, гдѣ рѣчь происходитъ на языкѣ *образовъ*, малѣйшее колебаніе должно внести смуту и неясность въ образы, что равняется уничтоженію, нѣмотѣ, гибели самой рѣчи. Изъ этого выходитъ, что „маленькая“ исторія, положенная въ основу образовъ, вдругъ заявляетъ горделивую претензію раздавать окончательные приговоры лицамъ и событіямъ, какъ будто вся сущность предметовъ исчерпана ею вполне. Судъ свершается такимъ образомъ не совсѣмъ законнымъ, компетентнымъ судьей, и чѣмъ рѣшительнѣе, эффектнѣе его опредѣленія черезъ посредство картинъ и образовъ, тѣмъ болѣе обнаруживается его самозванство. И добро бы убѣжденія и воззрѣнія этого судьи слагались на основаніи всѣхъ документовъ, уже находящихся въ его обладаніи, но условія романа не позволяютъ ему заняться даже и нѣсколько полнымъ разборомъ своего дѣла. Романъ принуждаетъ его, вслѣдствіе внутренняго своего распорядка, вслѣдствіе необходимой для себя экономіи, ограничиться всего чаще одной чертой, одной скудной чертой, чтобы, раздувъ и распространить ее до неимоверныхъ границъ, онъ, этотъ непризванный судья, могъ въ ней одной заключить и всѣ осно-

ванія, поводы и причины своего приговора людямъ и событіямъ. Такимъ образомъ, „маленькая“ исторія, сдѣлавшись романомъ, рѣшаетъ вопросъ о личности Кутузова, на основаніи нѣкоторыхъ словъ, сказанныхъ имъ тамъ-и-сямъ, и на основаніи мины, взятой имъ при томъ и другомъ случаѣ; вопросъ о личности Сперанскаго—на основаніи его искусственного смѣха и программы, устроенной имъ для разговоровъ за столомъ; вопросъ о проигрышѣ битвы подъ Аустерлицомъ—на основаніи вліянія молодыхъ генераловъ-любимцевъ, окружавшихъ императора Александра, и измѣны своему долгу у остальныхъ, что стоило бы разъясненія... и т. д. Развитія и здѣсь недостаетъ, какъ недостаетъ его въ завязкѣ романа; сцены всегда поразительно отчетливы относительно той минуты, которую изображаютъ, а многое изъ того, что должно оправдать ихъ появленіе, лежитъ опять внѣ романа, въ пустомъ и глухомъ пространствѣ между сценами. Обстоятельство это тѣмъ печальнѣе, что чрезвычайно мѣткія, живыя замѣтки и соображенія автора заставляютъ думать, что онъ самъ гораздо болѣе знаетъ о всякомъ дѣлѣ, чѣмъ его лица и картины. Зато, когда „маленькая“ исторія удаляется на задній планъ—возникаютъ картины безусловнаго мастерства, обличающія въ авторѣ необычный талантъ военнаго писателя и художника-историка. Таковы (мы уже имѣли случай сказать объ этомъ) изображенія военныхъ массъ, представляемыхъ намъ, какъ единое, громадное существо, живущее своей особенной жизнью, имѣющее свои страсти, симпатіи, даже мыслящее и по своему возражающее на ошибочныя или невѣрныя распоряженія; таковы всѣ изображенія канцелярій, штабовъ, австрійскаго тупого, узко-эгоистическаго пониманія вопросовъ и явленій, что отражается на каждомъ лицѣ его двора, носящемъ печать упорной неспособности, но подъ конецъ всегда выигрывающей партію; таковы особенно изображенія пыла, катастрофъ и волненій битвъ, и проч., и проч.

Бытовой отдѣлъ романа возбуждаетъ вопросъ не менѣе важный, чѣмъ тотъ, о которомъ говорили сейчасъ, при изслѣдованіи политическаго отдѣла. Эта часть, заключающая

въ себѣ олицетвореніе нравовъ, понятій и вообще культуры высшаго нашего общества въ началѣ текущаго столѣтія, развивается довольно полно, широко и свободно, благодаря нѣсколькимъ типамъ, бросающимъ, несмотря на свой характеръ силуэтовъ и эскизовъ, нѣсколько яркихъ лучей на все сословіе, къ которому они принадлежатъ. Здѣсь уже не найдетъ себѣ мѣста тотъ укоръ въ прославленіи дикости и невѣжества, который дѣлали автору нѣкоторые критики, за лучший, образцовый его романъ: „Кавказъ“. Здѣсь, наоборотъ, мы находимся въ средѣ утонченнѣйшей цивилизаціи, пресыщены изяществомъ фигуръ, свойственнымъ даже и не совсѣмъ виднымъ фигурамъ, французскимъ діалектомъ и неустаннымъ анализомъ автора, который объясняетъ намъ настоящій смыслъ почти каждаго движенія выводимыхъ имъ лицъ, каждаго ихъ взгляда, слова и костюма, потому что въ этомъ своеобразномъ мірѣ люди выражаютъ свое нравственное содержаніе гораздо болѣе неуволними знаками, намеками, бездѣлицами всякаго рода, чѣмъ простой человѣческой рѣчью, поступкомъ или естественной игрой своей фizioноміи. Надо запастись особеннымъ *ключомъ*, чтобъ понимать ихъ сношенія между собою, надо быть посвященнымъ въ таинственное значеніе гіероглифовъ, которыми они обмѣниваются, чтобъ угадывать ихъ настоящія мысли и намѣренія. Авторъ принадлежитъ къ числу посвященныхъ. Онъ владѣетъ знаніемъ ихъ языка и употребляетъ его на то, чтобъ открыть подъ всѣми формами свѣтскости бездну легкомыслія, ничтожества, коварства, иногда совершенно грубыхъ, дикихъ и свирѣпыхъ поположеній. Всего замѣчательнѣе одно обстоятельство. Лица этого круга состоятъ словно подъ какимъ-то зарокѣмъ, присудившимъ ихъ къ тяжелой карѣ—никогда не достигать ни одного изъ своихъ предположеній, плановъ и стремлений. Точно гонимые неизвѣстной враждебной силой, они пробѣгаютъ мимо цѣлей, которыя сами же и поставили для себя, и, если достигаютъ чего-либо, то всегда не того, чего ожидали. Исключенія касаются только самыхъ ничтожныхъ, пошлыхъ замысловъ и расчетовъ: все, что посерьоз-

нѣе, никому изъ нихъ не уступаетъ себя. Можно подумать, слѣдя за мастерскимъ изображеніемъ этой среды у нашего автора, что для людей ея существуетъ особо приставленная къ нимъ Немезида, которая поражаетъ ихъ безсиѣмъ на полудорогѣ ко всякому предпріятію и постоянно оставляетъ въ ихъ рукахъ пыль и прахъ, вмѣсто искомаго и желаннаго добра. Ничего не удастся имъ, и все валится изъ ихъ рукъ: Даже чувство и мысль, самыя простыя и общечеловѣческія въ ограниченномъ значеніи эпитета, или приносятъ не тѣ плоды, какіе отъ нихъ обыкновенно получаютъ, или разрѣшаются по простествіи нѣкотораго времени въ нѣчто похожее на овою пародію и карикатуру. Молодой Пьеръ Безухій, способный понимать добро и нравственное достоинство, женится на свѣтской Лансѣ, столь же распутной, сколько и глупой по природѣ. Кн. Болконскій, со всѣми задатками серьезнаго ума и развитія, выбираетъ въ жены добренькую и пустенькую свѣтскую куколку, которая составляетъ несчастіе его жизни, хотя онъ и не имѣетъ причинъ на нее жаловаться; сестра его, княжна Марія, спасается отъ ига деспотическихъ замашекъ отца и постоянно-удиненной деревенской жизни въ теплое и свѣтлое религіозное чувство, которое кончается связями съ бродягами-святошами и т. д. Такъ настойчиво возвращается въ романѣ эта плачевная исторія съ лучшими людьми описываемаго общества, что полъ коонецъ, при всякой картинѣ, гдѣ-либо начинающейся юной и свѣжей жизни, при всякомъ разсказѣ объ отрадномъ явленіи, обѣщающемъ серьезный или поучительный исходъ, читателя беретъ страхъ и сомнѣніе: вотъ, вотъ и они обманутъ всѣ надежды, измѣнятъ добровольно своему содержанію и поворотятъ въ непроходимые пески пустоты и пошлости, гдѣ и пропадутъ. И читатель почти никогда не ошибается; они дѣйствительно туда поворачиваютъ и тамъ пропадаютъ. Но, спрашивается—какая же безпощадная рука, и за какіе грѣхи, отяготѣла надъ всей этой средой... Что такое случилось? Повидимому, ничего особеннаго не случилось. Общество невозмутимо живетъ на томъ же крѣпостномъ правѣ, какъ и его предки; Екатерининскіе

заемные банки открыты для него такъ же, какъ и прежде; двери къ приобрѣтенію фортуны и къ разоренію себя на службѣ точно такъ же стоятъ нараспашку, пропуская всѣхъ, у кого есть право на проходъ черезъ нихъ; наконецъ, никакихъ новыхъ дѣятелей, перебывающихъ дорогу, портящихъ ему жизнь и путающихъ его соображенія — въ романѣ графа Л. Н. Толстого вовсе не показано. Отчего же однако общество это, еще въ концѣ прошлаго столѣтія, вѣрившее въ себя безгранично, отличавшееся крѣпостью своего состава и легко справлявшееся съ жизнію, — теперь, по свидѣтельству автора, никакъ не можетъ устроить ее по своему желанію, распалось на круги, почти презирающіе другъ друга, и поражено безсиліемъ, которое лучшимъ людямъ его мѣшаетъ даже и опредѣлить, какъ самихъ себя, такъ и ясныя цѣли для духовной дѣятельности. Подумайте, что между 1796 и 1805 годомъ, когда начинается романъ Толстого, протекло только девять лѣтъ! Какъ могла совершиться въ такой незначительный промежутокъ времени такая сильная перемѣна?

Невольно и само собою представляется мысли читателя предположеніе, что романъ, пожалуй, ошибся въ одномъ изъ двухъ: или онъ просмотрѣлъ, оставивъ безъ надежнаго представителя какое-то новое, могущественное начало, появившееся въ русской жизни и успѣвшее, въ теченіе 10—15 лѣтъ, незамѣтно подорвать вѣру общества въ основанія, на которыхъ оно жило спокойно дотошъ; или картина несостоятельности этого общества въ первое десятилѣтіе нашего столѣтія, и особенно нравственныхъ страданій его, преимущественно выражаемыхъ лицомъ князя Андрея Болконскаго, сильно преувеличена и составляетъ нѣкотораго рода анахронизмъ. Мы думаемъ, съ своей стороны, что романъ отчасти заслужилъ этотъ упрекъ не по одному изъ этихъ пунктовъ, а по обоимъ вмѣстѣ.

Намъ не приходится учить такого мастера и художника какъ гр. Толстой, по профессіи романиста; поэтому мы и позволяемъ себѣ выразить только скромное сожалѣніе объ отсутствіи въ его книгѣ всякаго намека на тѣ начала,

прямо исходившія отъ правительства описываемой эпохи, которыя, между многими другими послѣдствіями своими, имѣли и то, что предоставили высшее наше общество суетливымъ хлопотамъ по отысканію настоящаго смысла современныхъ явленій и всего броженія разстроенной силы, нѣкогда видѣвшей ясно свое призваніе, а теперь принужденной гоняться за призваніемъ по всѣмъ лабиринтамъ социальныхъ, мистическихъ и всяческихъ ученій. Начала эти и прежде были знакомы многимъ на Руси, но они приобрѣли угрожающій видъ только съ той минуты, когда къ нимъ склонилось правительство, отъ котораго всегда зависѣла и всегда будетъ зависеть у насъ участь переходныхъ классовъ общества. Опредѣлить этотъ новый, дѣйствующій принципъ, конечно, можно; но опредѣленіе его потребовало бы долгаго развитія, между тѣмъ, какъ онъ весьма хорошо объясняется разницей воззрѣній, существовавшихъ у правительства и высшаго общества на ихъ общаго врага Наполеона I. И то и другое, съ малыми перерывами, употребили первыя пятнадцать лѣтъ столѣтія на энергическую борьбу съ безцеремоннымъ завоевателемъ. Не разъ борьба эта служила и патріотической связью между ними, такъ же точно, какъ она же родила часто и всѣ свои населенія имперіи въ одномъ чувствѣ народной чести, національнаго достоинства. Императоръ французовъ былъ символомъ брани по ту сторону Нѣмана, но онъ устраивалъ миръ и патріотическое общеніе интересовъ внутри Россіи. Со всѣмъ тѣмъ, правительство и высшее общество подразумѣвали нѣчто иное, когда единогласно называли Наполеона „возмутителемъ спокойствія Европы“, „нарушителемъ общихъ правъ“, и т. д. Подъ покровомъ одинаково выражавшагося негодованія, а въ главные моменты борьбы — и одинаковой ненависти, таилось у правительства и высшаго общества вплоть до 1812 года различное пониманіе своихъ словъ. Правительство, какъ и слѣдуетъ всякой законной и сильной власти, оскорблялось преимущественно у Наполеона его системой попиранія всѣхъ основаній прежней политической исторіи, его презрѣніемъ къ самымъ старымъ монархіямъ въ Европѣ, его игрой престолами и трактатами, всѣми

признанными; но оно не имѣло ничего противъ новаго строя государственной и общественной жизни, котораго онъ былъ представителемъ. Правительство Александра I относилось не только не враждебно, но дружелюбно къ принципамъ, унаслѣдованнымъ Наполеономъ отъ французской революціи и имъ волворяемымъ, посредствомъ новыхъ династій въ Европѣ. Оно нисколько не думало бороться съ такими основаніями, каковы: равенство всѣхъ гражданъ передъ судомъ, свобода личности, отрицаніе сословныхъ привилегій, право каждого на всякую степень въ государствѣ, подъ условіемъ труда и способности и проч. Совсѣмъ наоборотъ, оно думало усвоить ихъ себѣ и положить въ программу собственной своей дѣятельности, со включеніемъ, какъ кажется, и принципа совѣщательныхъ собраній, который никогда не отвергался французскимъ императоромъ, а только заслонялся имъ своей, увѣнчанной славой, особой. Въ такихъ границахъ вращалась вражда къ Наполеону въ правительственныхъ сферахъ той эпохи. Она, во всякомъ случаѣ, оставляла еще мѣсто другимъ соображеніямъ, даже сочувствію, какъ видимъ изъ попытокъ сближенія съ нимъ...

Совсѣмъ другой видъ имѣла вражда высшаго нашего общества къ Наполеону: она была полная, безъ оговорокъ и уступокъ. Въ императорѣ французовъ общество это ненавидѣло отчасти и нарушеніе принципа легитимизма, въ чемъ совершенно сходилось съ правительствомъ, но оно ненавидѣло и тотъ строй, порядокъ жизни, который Наполеономъ олицетворялся. По инстинкту страха и самосохраненія, общество относилось съ величайшимъ отвращеніемъ точно такъ же къ Наполеону-завоевателю, какъ и къ Наполеону, узаконяющему гражданское наслѣдіе новой европейской исторіи. Наполеонъ-идея былъ для него столь же противенъ, какъ и Наполеонъ-солдатъ. Подъ мыслию объ опасности для отечества разумѣлось у многихъ, вмѣстѣ съ возможнымъ политическимъ униженіемъ Россіи, и мысль о варазѣ вольнодумными реформами, которыхъ правительство, съ своей стороны, тогда еще нисколько не боялось. Вообще, подражаніе французамъ, на которое такъ жаловался гр. Ростоп-

тивъ, было крайне поверхностное въ обществѣ и ограничивалось ничтожными предметами, конечно, не стоившими жаркихъ филиппикъ этого оригинальнаго патріота. Общество, въ сущности, хотѣло жить по старому.

Когда явились первыя административныя реформы царствованія Александра, онѣ возбудили, какъ извѣстно, ропотъ и сомнѣніе не только въ публикѣ, но и въ нѣкоторой части самой администраціи, имѣвшей причины бояться ихъ духа. Оппозиція не смѣла возвысить голоса внутри имперіи, но она вымѣстила это стѣсненіе на Наполеонѣ, какъ на тайномъ родоначальникѣ всѣхъ русскихъ реформъ. Въ крикахъ общественныхъ кружковъ, такъ хорошо переданныхъ авторомъ при описаніи салона фрейлины Шереръ, противъ Наполеона сказывалось еще и раздраженіе по поводу домашнихъ нашихъ дѣлъ, по поводу реформъ, только-что показавшихся на политическомъ горизонтѣ, и направленіе которыхъ можно было уже предвидѣть. Наполеонъ собиралъ дань гнѣва, слѣдовавшую ему по всѣмъ правамъ, и служилъ проводникомъ оппозиціонной мысли, которую не смѣли послать по настоящему ея адресу. Между общественными и правительственными сферами существовало, такимъ образомъ, въ скрытомъ видѣ довольно сильное разногласіе. Для самой администраціи оно не было серіозной помѣхой на избранномъ ею пути, но оно пошатнуло общество, оставшееся безъ опоры и повергло его въ то состояніе безпокойства, растерянности, недоумѣнія и безсилія, которое описываетъ авторъ, и которое, обыкновенно, сопровождаетъ первое дѣйствіе новаго начала въ жизни на старыя и отходящія. Вотъ почему мы и выразили сожалѣніе, что авторъ не обратилъ на него вниманія, а показалъ одни результаты его вліянія. Внезапный переворотъ, свершившійся въ высшихъ слояхъ общества, остался, такимъ образомъ, безъ должнаго поясненія; одно историческое звено выкинуто изъ дѣла, и только усиленное размышленіе читателя успѣваетъ выйти его, работая уже, такъ сказать, за полѣзлившагося автора. И въ самомъ дѣлѣ, почти не понятно, какъ могъ авторъ освободить себя отъ

необходимости показать рядомъ со своимъ обществомъ присутствіе элемента *разночинцевъ*, получавшаго все большее и большее значеніе въ жизни. Два великіе разночинца, Сперанскій и Аракчеевъ, стояли у кормила правленія и не только не дѣлали усилій скрыть свое бѣдное происхожденіе, но гордились имъ и заставляли другихъ чувствовать его, при случаѣ. Дѣти этого новаго, народившагося сословія должны были пробить ряды высшего дворянства во всѣхъ направленіяхъ; но показѣсть въ формѣ самостоятельнаго чиновничества, начинающаго сознать свою силу, новое сословіе уже распоряжалось матеріальнымъ положеніемъ, дѣлами, а часто вліяніемъ и способностями высокопоставленныхъ лицъ. Изъ него были уже губернаторы, судьи, секретари разныхъ правительственныхъ мѣстъ и проч. На первыхъ порахъ, оружіемъ этой демократіи, скрытой подъ чинами и мундирами, которыми она добывала себѣ значеніе, было лихоимство, притѣсненіе, нажива. Въ театрахъ нашихъ публика еще продолжала смѣяться надъ подъячими и крючкотворцами, думая, что она осмѣиваетъ современные пороки и злоупотребленія, а между тѣмъ въ дѣйствительности, вмѣсто ихъ, существовалъ или начиналъ свое существованіе могущественный и по внѣшнему своему виду весьма приличный классъ людей, который заставлялъ склоняться передъ собой, не покидая своего скромнаго положенія, весьма гордые головы. Невозможно представить себѣ, чтобъ высшіе круги, изображаемые авторомъ, ничего не знали объ этомъ элементѣ, не чувствовали его вліянія, и не обращали на него ни малѣйшаго вниманія. Чрезвычайно подозрительно это общество *чистѣйшей крови* — *pur sang* — успѣвшее укрыться отъ историческаго вліянія, начинавшаго проникать почти во всѣ отправления публичной жизни. Изъ видовъ даже простого художческаго расчета можно бы пожелать ему нѣкоторой примѣси сравнительно грубаго, жесткаго и оригинальнаго элемента. Онъ помогъ бы растворить нѣсколько эту атмосферу исключительно графскихъ и княжескихъ интересовъ, выдѣленныхъ, по забывчивости автора, изъ круга другихъ, равносиль-

ныхъ имъ интересовъ. По крайней мѣрѣ, присутствіе въ романѣ новой, отчасти злобной и завистливой, но самоуверенной и здоровой силы — дало бы возможность читателю отдохнуть нѣсколько отъ постоянно условнаго, иногда намернаго изящества великосвѣтской картины, которую авторъ держитъ передъ его глазами. Мы далеки отъ мысли находить въ этой картинѣ положительное сходство съ рисунками старыхъ севрскихъ и саксонскихъ фарфоровъ (vieux-Sèvres, vieux-Saxe), но не можемъ не сказать, что подѣ часъ она невольно напоминаетъ ихъ. Возвращаемся назадъ.

Конечно, были и энтузіасты Наполеона въ этомъ недовольномъ обществѣ, обожавшемъ однакоже своего императора, какъ всѣ его обожали за молодость, красоту, мягкость сердца и умѣренность въ пользованіи своими правами. Авторъ показываетъ намъ такихъ энтузіастовъ Наполеона, положившихъ въ основаніе своихъ протестовъ противъ тогдашней жизни нѣчто подобное соображеніямъ высшаго порядка, — въ двухъ лицахъ, въ Пьерѣ Безухомъ и молодомъ князѣ Андрѣ Болконскомъ. Объ нихъ обоихъ, но всего болѣе о кн. Болконскомъ, можно сказать, что они, по роду своихъ убѣжденій, только номинально принадлежали къ тому обществу, гдѣ судьба привела ихъ родиться. Особенно послѣдній — истинный герой романа гр. Толстаго — сколько можно судить по бѣглымъ и еще не конченнымъ очеркамъ этого лица — является намъ человекомъ того же самаго закала и направленія, какъ и молодые совѣтники императора Александра I, которыми онъ окружилъ себя, при началѣ царствованія. Та же увѣренность въ себя, та же смѣлость въ планахъ и предначертаніяхъ, построенныхъ, безъ участія опыта, на одной собственной, ничѣмъ не провѣренной мысли, то же гуманное, благородное отношеніе къ низшимъ слоямъ общества, при чувствѣ своего превосходства надъ ними, и, наконецъ, то же презрѣніе въ русской жизни, не удовлетворявшей ни въ какой мѣрѣ политическимъ идеаламъ, которые носились передъ ихъ глазами. Только Андрей Болконской не

испыталъ блестящей и почетной участи своихъ двойниковъ; оттого недовольство его жизнью и порядкомъ вещей уже связано съ огорченіями и разочарованіями собственной его жизни, какъ и понятно въ безвѣстной единицѣ, пропадающей между рядами окружающей его публики. Со всѣмъ тѣмъ, всякій разъ, какъ онъ выходитъ изъ рядовъ этихъ, онъ носитъ на себѣ печать и обликъ празднаго министра, не узнаннаго, природнаго совѣтника короны. Въ томъ, кажется, и заключается трагическая сторона его жизни, что онъ не *узнанъ*, и когда онъ говоритъ съ отчаяніемъ о невозможности какого-либо общественнаго труда на Руси, то уже мы знаемъ, что подъ настоящимъ трудомъ онъ подразумеваетъ только тотъ, который совершается на высшихъ постахъ въ государствѣ—и никакой болѣе.

Это—честолюбецъ, но томящійся вмѣстѣ съ тѣмъ и по доброй, прочной славѣ полезнаго гражданина. Его-то и выбралъ авторъ представителемъ того недовольства, которое, въ отличіе отъ пошлой, слѣпой и корыстной оппозиціи большинства, основывалось на пониманіи истинныхъ условій политическаго развитія обществъ. Здѣсь и встречаемся мы отчасти съ преувеличеніемъ, отчасти съ анахронизмомъ, о которыхъ говорили. Кн. Андрей Болконскій вносить въ свою критику текущихъ дѣлъ и вообще въ свои воззрѣнія на современниковъ идеи и представленія, составившіяся объ нихъ въ *наше* время. Онъ имѣетъ даръ предвидѣнія, дошедшій къ нему, какъ наслѣдство, безъ труда, и способность стоять выше своего вѣка, полученную весьма дешево. Онъ думаетъ и судитъ разумно, но не разумомъ своей эпохи, а другимъ, позднѣйшимъ, который ему отерять благожелательнымъ авторомъ. Онъ умѣлъ счистить съ себя всѣ искреннія, но скучныя и досадныя черты современника той эпохи, о которой говорить и въ средѣ которой живетъ. Онъ не можетъ увлекаться, не можетъ состоять подъ вліяніемъ какой-либо замѣчательной личности своего времени, потому что уже знаетъ біографическія подробности и анекдоты о каждой изъ нихъ, собранныя на дняхъ. Ошибокъ онъ тоже не дѣлаетъ, кромѣ тѣхъ, какія

дѣлають и источники, откуда онъ почерпнулъ свою сверхъестественную проникательность. Намъ не нужно лучшихъ доказательствъ его знакомства съ работами и изысканіями послѣдняго времени, какъ то обстоятельство, что онъ стыдится своихъ занятій въ комиссіи составленія законовъ, куда онъ попалъ нечаянно начальникомъ отдѣленія. Служивцы его, которымъ нельзя отказать въ знаніи и умѣ, поняли невозможность простого переложенія французскаго кодекса на русскіе нравы только послѣ ряда неудачныхъ опытовъ, но Болконскій понялъ это сразу, — потому что превосходить ихъ вдохновеннымъ прозрѣніемъ мнѣній, обращающихся мыслями къ исторической литературѣ. Вообще, ему приходять въ голову сужденія, которыя современнику эпохи Александра I никогда бы не пришли; но Болконскій современникъ особенный, такой, которому открыто все то, что узвано коздибе. Мысль его живетъ не съ ровесниками по времени, а съ нынѣшними дилеттантами по части новой исторіи Россіи, и отъ нихъ онъ заимствуетъ свой скептицизмъ, свою холодность и трезвость относительно правительственныхъ мѣръ и явленій, изумлявшихъ и возмущавшихъ всѣхъ тѣхъ бѣдныхъ людей, которые имѣли несчастіе принадлежать только своему вѣку. Мы даже думаемъ, что роль общественнаго критика, навѣрившагося въ официальные зачинанія всякаго рода, отзывается у него еще анахронизмомъ. Извѣстно, что только въ 1815—16 годахъ, послѣ трехлѣтней заграничной кампаніи, показала у насъ партія молодыхъ людей, нашедшихъ жизнь въ Россіи невыразимо пустой и праздною въ сравненіи съ шумомъ, который сопровождалъ движеніе народовъ передъ тѣмъ, и въ сравненіи съ общественными явленіями, которыя возникли на европейской почвѣ вслѣдъ за нимъ. Только тогда впервые зародился у насъ тотъ безусловный скептицизмъ по отношенію къ способности и доброй волѣ администраціи отвѣчать на нужды и потребности общества. До тѣхъ поръ врядъ ли и можно себя представить чловѣка, равнодушно и величаво относящагося къ такимъ фактамъ и мѣрамъ, какъ возникновеніе государственнаго

совѣта, обѣщаніе публичной отчетности по финансовымъ дѣламъ имперіи, учрежденіе новыхъ народныхъ школъ и университетовъ, правила объ обращеніи крестьянъ въ свободные хлѣбопашцы, указы объ экзаменахъ на мѣстные чины и проч. и проч. По крайней мѣрѣ, исторія не предполагаетъ возможности такихъ отношеній между правительствомъ и обществомъ въ ту эпоху; но Болконскій, который знаетъ гораздо позднѣйшія идеи, могъ знать и ту, которая была къ нему сравнительно ближе и воспользо-ваться ею, какъ и всѣми прочими. Такимъ представляется намъ, покаместъ, герой романа въ качествѣ передового человѣка своей эпохи: о благородномъ его характерѣ, глубинѣ психическаго настроенія и трогательной роли въ жизни—будетъ говорено впоследствии.

Мы останавливаемся здѣсь, не желая и не имѣя права дѣлать какой-либо окончательный выводъ изъ нашихъ словъ до появленія четвертаго и послѣдняго тома замѣчательнаго романа гр. Толстого. Тамъ должна объясниться вполне основная мысль произведенія, картина русскаго быта въ первую половину эпохи Александра, и заключиться зрѣлищемъ самыхъ высокихъ, торжественныхъ ея мгновеній, которыя окончательно обнаружатъ все содержаніе завязки романа и ея положеніе относительно исторіи. Нѣтъ сомнѣнія, что намъ придется еще многимъ восхищаться въ этомъ, нетерпѣливо ожидаемомъ томѣ, и по многому предлагать вопросы; но мы сдѣлаемъ это съ той же откровенностію и съ тѣмъ же глубокимъ уваженіемъ къ необычайно-талантливому автору и къ его произведенію, составляющему эпоху въ исторіи русской беллетристики.

П. Анненковъ.

* * *

*) Два года тому назадъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, подъ заглавіемъ *Тысяча восемьсотъ пятый годъ*, печаталось начало новаго романа графа Толстого, котораго нынѣ посту-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1868 г., № 1. Статья П. Щебальскаго, подъ заглавіемъ: *Война и миръ*, соч. гр. Л. Н. Толстого. Москва 1868 г. Томы I, II и III.

пило въ продажу три тома. По слухамъ, ихъ будетъ еще два; передъ нами, слѣдовательно, далеко не все новое произведеніе нашего даровитаго романиста, но даже и теперь можно съ увѣренностію сказать, что оно принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій русской литературы и свидѣтельствуетъ, что талантъ графа Толстого находится еще въ порѣ своего развитія. Ни въ одномъ изъ прежнихъ его сочиненій не обнаруживалось столько силы, такого широкаго замысла, такого богатства красокъ и разнообразія въ рисункѣ, какъ въ новомъ, еще не вполне отпечатанномъ его романѣ. *Война и миръ*, — таково названіе этого романа. Самое заглавіе его заставляетъ догадываться, что авторъ поставилъ себѣ обширную задачу — изобразить русское общество въ ту тревожную эпоху, когда жестокія войны прерывались, уступая мѣсто кратковременному миру съ тѣмъ, чтобы возгорѣться съ новою яростію. Дѣйствительно, романъ графа Толстого начинается 1806-мъ годомъ и окончится, какъ слышно, 1812-мъ: богатая тема для даровитаго романиста!

Богатая, да; но, какъ намъ кажется, не совсѣмъ благодарная. По крайней мѣрѣ, намъ случалось слышать замѣчанія, что отъ романа графа Толстого не достаточно вѣдетъ эпохой, — замѣчаніе, съ которымъ, однакожъ, мы отнюдь не согласны. *Война и миръ* есть романъ историческій, а принимаясь за подобный романъ, каждый невольно вспоминаетъ Вальтеръ-Скотта; но не всѣ, можетъ быть, принимаютъ при этомъ во вниманіе то, что англійскій романистъ заимствовалъ свои сюжеты изъ временъ весьма отдаленныхъ, въ изображеніи которыхъ, разумѣется, гораздо ощутительнѣе будетъ эпохи, между тѣмъ какъ художественное изображеніе эпохи, отдѣленной отъ насъ полувѣкомъ, требуетъ отъ автора чертъ весьма тонкихъ, а отъ читателя большаго вниманія и, такъ сказать, тонкости органовъ. Люди 1806—1812 годовъ почти тѣ же и дѣйствуютъ почти при той же обстановкѣ, какъ и люди настоящаго поколѣнія, одно это почти отдѣляетъ ихъ отъ насъ, и это, кажется намъ, достаточно ясно выражено графомъ

Толстымъ. Оглянитесь, и вы не найдете вокругъ себя ни старо-гусарскаго типа, который выведенъ въ лицѣ Денисова, ни помѣщиковъ, которые разорались бы такъ же добродушно, какъ графъ Ростовъ (нынѣ тоже разоряются, но при этомъ сердятся), ни дѣйзачихъ, ни масоновъ, ни всеобщаго (мы говоримъ, *всеобщаго*) лепета на языкѣ, представляющемъ смѣсь „французскаго съ нижегородскимъ“. А съ другой стороны, сколько осязательной связи съ настоящею, теперешнею современностію! Какъ живо чувствуется, что эти Ростовы только что сошли въ могилу, оставивъ свои преданія и — свои долги сыновьямъ своимъ; какъ близокъ къ нимъ типъ реформатора Сперанскаго, или пожилой фрейлины Annette Шереръ, которая, виѣсть съ княжной Болконскою, исчерпываетъ типъ извѣстнаго рода русскихъ патріотокъ!.. Если бы цѣль графа Толстого состояла исключительно въ томъ, чтобы нарисовать яркую историческую картину, конечно, онъ лучше сдѣлалъ бы, взявъ сюжетъ изъ XVII вѣка; но нашъ романистъ — психологъ по преимуществу, и мы полагаемъ, что съ этой стороны люди ближайшихъ къ намъ эпохъ представляютъ гораздо болѣе интереса. Но замѣьте при этомъ: нигдѣ въ романѣ графа Толстого вы не найдете ничего тенденціознаго, ни одной замашки тѣхъ господъ, которые ежедневно проповѣдуютъ намъ, и въ романахъ и въ драмахъ, то западничество, то славянофильство, то гражданскій бракъ, то Жанъ-Жакову методу воспитанія...

Посмотрите: въ тѣсной рамѣ трехъ небольшихъ томовъ художникъ нарисовалъ не менѣе полусотни фигуръ, и каждая изъ нихъ есть живая, осязаемая личность, каждая имѣетъ свою особую фізіономію, которую, кажется, вы когда-то и гдѣ-то видали; вамъ хочется назвать этихъ людей, и вы удивляетесь, отчего вамъ никогда не приходило въ голову написать ихъ портреты. Не говоримъ о лицахъ, выведенныхъ на первый планъ, но назовемъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, которые появляются на минуту, эпизодически, которыхъ авторъ могъ бы вовсе не выводить на сцену, если бы изъ-подъ пера его не сыпались типы съ такимъ

же обиліемъ, съ какимъ мелодіи лились съ пера Россина. Не живые ли люди эта Марья Дмитриевна Ахросимова, этотъ дипломатъ Билибинъ, этотъ превосходный офицеръ нѣмецкаго происхожденія Бергъ, этотъ дядя Ростовыхъ, не имѣющій, кажется, и фамиліи, эта ключница Анисья, эти псаря, кучера, этотъ австрійскій генералъ Макъ, произносящій не болѣе десяти словъ и остающійся на сценѣ не болѣе десяти минутъ! Графъ Толстой находитъ возможность положить печать особенности даже на первенствующихъ борзыхъ собакъ въ охотѣ Ростовыхъ и ихъ сосѣдей... Въ чемъ же заключается тайна автора? Какъ могъ онъ, давая такъ мало мѣста каждой фигурѣ, сообщить ей столько жизни и живости? Тайна автора заключается въ необыкновенной самобытности его таланта и въ необыкновенной вѣрности его взгляда. Благодаря этой вѣрности взгляда, онъ улавливаетъ какъ въ нравственномъ образѣ человѣка, такъ и въ его внѣшности именно тѣ черты, которыя его характеризуютъ, а благодаря самобытности своего таланта, онъ находитъ въ запасѣ словъ именно такое, которое столько же мѣтко, сколько и оригинально. Въ новомъ романѣ графа Толстого, какъ и въ прежнихъ его сочиненіяхъ, можно безъ всякой придиричивости найти множество поводовъ къ замѣчаніямъ; но никто никогда, конечно, не находилъ въ немъ того, что можно было бы назвать общимъ мѣстомъ, избитою фразой, выраженіемъ, потерявшимъ выпуклость, отъ употребленія. Прослѣдите, на примѣръ, за манерой автора писать портреты своихъ дѣйствующихъ лицъ; у него собственно нѣтъ описаній, т.-е. такихъ мѣстъ, читая которыя, вы могли бы, черта за чертой, нарисовать фигуру; но зато двѣ-три особенности изображаемой фигуры выставлены такъ выпукло, такъ отчеканены необычайно-мѣткимъ словомъ автора, что даровитый рисовальщикъ тотчасъ набросаетъ по нимъ самый живой и окончанный образъ. То же самое замѣчается и относительно цѣлыхъ сценъ и положеній: у графа Толстого есть такіе штрихи, которые одушевляютъ цѣлыя страницы, цѣлыя главы. Такъ, на примѣръ, во второмъ томѣ *Вой-*

ны и мира есть глава, въ которой описывается поѣздка молодого Ростова въ Тильзитъ съ цѣлью подать императору Александру просьбу о помилованіи провинившагося друга своего, Денисова. Глава эта, говоря сравнительно, довольно блѣдна; но вотъ Ростову указываютъ *дежурную*, куда совѣтуютъ обратиться съ его дѣломъ; онъ отворяетъ дверь:

„Невысокій, полный человѣкъ, лѣтъ тридцати, въ бѣлыхъ панталонахъ, ботфортахъ и въ одной, видно, только что надѣтой, батистовой рубашкѣ, стоялъ въ этой комнатѣ; камердинеръ застегивалъ ему сзади шитыя шелкомъ прекрасныя, новыя помочи, которыя почему-то замѣтилъ Ростовъ. Человѣкъ этотъ разговаривалъ съ кѣмъ-то бывшимъ въ другой комнатѣ.

— „*Bien faite et la beauté du diable!*“ говорилъ этотъ человѣкъ и, увидавъ Ростова, пересталъ говорить и нахмурился.

— Чтѣ вамъ угодно? Просьба?..

— „*Qu'est ce que c'est?*“ спросилъ кто-то изъ другой комнаты.

— „*Encore un petitionnaire,*“ отвѣчалъ человѣкъ въ помочахъ.

— „Скажите ему, что послѣ. Сейчасъ выйдетъ, надо ѣхать.

— „Послѣ, послѣ, завтра. Поздно...

„Ростовъ повернулся и хотѣлъ выйти, но человѣкъ въ помочахъ остановилъ его.

— „Отъ кого? Вы кто?

— „Отъ маіора Денисова,“ отвѣчалъ Ростовъ.

— „Вы кто? офицеръ?

— „Поручикъ графъ Ростовъ.

— „Какая смѣлость! По командѣ подайте. А сами идите, идите...

„И онъ сталъ надѣвать подаваемый камердинеромъ мундиръ“.

Или мы очень ошибаемся, или этотъ господинъ въ шитыхъ помочахъ и батистовой рубашкѣ, комфортабельно раз-

говаривающій о какой-то актрисѣ или трактирщицѣ на другой день послѣ Фридриха, когда госпитали не вмѣщали раненыхъ и больныхъ, когда только что подписанъ былъ тяжелый Тильзитскій миръ, освѣщаетъ всю среду, называемую главною квартирою!

Возьмемъ другой примѣръ. Послѣ описанной коротенькой сценки въ *дежурной*, авторъ приводитъ своего читателя на площадь, гдѣ происходитъ разводъ отъ Преображенскаго моста въ присутствіи обоихъ императоровъ: опять картина довольно обыкновенная, при чемъ рассказывается весьма извѣстный фактъ о томъ, что Наполеонъ навѣсилъ *Légion d'honneur* одному русскому гренадеру. Вызванный солдатъ выступилъ изъ рядовъ, говоритъ графъ Толстой:

„Наполеонъ чуть поворотилъ голову назадъ и отвелъ назадъ свою маленькую пухлую ручку, какъ будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись въ ту же секунду въ чемъ дѣло, засуетились, зашептались, передавая что-то одинъ другому, и пажъ, — тотъ самый, котораго вчера видѣлъ Ростовъ у Бориса, выбѣжалъ впередъ, и почтительно наклонившись надъ протянутою рукой и не заставивъ ее дожидаться ни одной секунды, вложилъ въ нее орденъ на красной лентѣ. Наполеонъ, не глядя, сжалъ два пальца. Орденъ очутился между ними...“

Не открываютъ ли эти нѣсколько строкъ цѣлаго міра отношеній между маленькимъ *капраломъ* и его дворомъ? Не выражено ли этимъ небрежнымъ движеніемъ руки Наполеона все, что можно сказать на тему: „властелинъ Франціи?“

Вотъ одна изъ особенностей нашего автора. Другая заключается въ необычайной его искренности и правдивости. Для него ни что, совершающееся въ человѣкѣ, не мало-важно и не безынтересно; онъ все высматриваетъ и все подмѣчаетъ, а подмѣтивъ, не хочетъ и не можетъ маскировать, а тѣмъ не менѣе скрывать, но тотчасъ же фотографируетъ своимъ своеобразнымъ словомъ съ необыкновенною и нерѣдко безпощадною точностію. Князь Василій Курагинъ хочетъ, во что бы ни стало, выдать свою дочь за графа Пьера Безухова, толстаго, разсѣяннаго добряка

и богача. Молодыхъ людей нарочно оставляють вдвоемъ, имъ приготавлиють всевозможныя удобства, а Пьеръ еще и не замѣтилъ, что Еленъ (Hélène) пластическою красотою своею напоминаетъ богиню Олимпа. Но вотъ однажды они сидѣли вечеромъ у стола и вели между собой довольно важный разговоръ.

„Тетушка говорила въ это время о коллекціи табакерокъ, которая была у покойнаго отца Пьера, графа Безухова, и показала свою табакерку. Княжна Еленъ попросила посмотрѣть портретъ мужа тетушки, который былъ сидѣланъ на этой табакеркѣ.

— „Это, вѣрно, дѣлано Виносомъ, сказалъ Пьеръ, называя извѣстнаго миниатюриста, нагибаясь къ столу, чтобы взять въ руки табакерку и прислушиваясь къ разговору за другимъ столомъ. Онъ привсталъ, желая обойти, но тетушка подала табакерку прямо черезъ Еленъ, позади ея. Еленъ нагнулась впередъ, чтобы дать мѣсто и, улыбаясь, оглянулась. Она была какъ и всегда на вечерахъ, въ весьма открытомъ, по тогдашней модѣ, спереди и сзади платьѣ. Ея бюстъ казавшійся всегда мраморнымъ Пьеру, находился въ такомъ близкомъ разстояніи отъ его глазъ, что онъ своими близорукими глазами невольно различалъ живую прелесть ея плечъ и шеи, и такъ близко отъ его губъ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нея. Онъ слышалъ тепло ея тѣла, запахъ духовъ и скрипъ ея корсета при движеніи. Онъ видѣлъ не ея мраморную красоту, составлявшую одно цѣлое съ ея платьемъ, онъ видѣлъ и чувствовалъ всю прелесть ея тѣла, которое было закрыто только одеждой. И разъ увидавъ это, онъ не могъ видѣть иначе, какъ мы не можемъ возвратиться къ разъ объясненному обману“.

Нельзя не согласиться, что нашъ авторъ поразительными чертами изобразилъ это „страстное, звѣрское чувство“, которое свойственно человѣку; но нельзя не сказать, съ другой стороны, что замѣчательный реализмъ его таланта приводитъ его на ту черту, за которою кончается область художества. Старая фрейлина Пронская собирается на балъ;

она похожа на развалину, но, говоритъ авторъ, „такъ же было надушено, вымыто, напудрено ея старое, некрасивое тѣло; такъ же старательно промыто за ушами“... И подобныхъ мѣстъ много въ романѣ графа Толстого. Но особенно много у него такихъ, гдѣ авторъ какъ бы играетъ съ тѣмъ „страстнымъ звѣрскимъ чувствомъ“, о которомъ сказано выше. Вотъ одно изъ нихъ еще. Наташа Ростова невѣста князя Андрея Болконскаго; она, какъ ей кажется, влюблена въ своего жениха, который находится за границей, и о разлукѣ съ нимъ она сокрушается, проводя скучную зиму въ деревнѣ. Но женихъ ея скоро долженъ возвратиться. Ее везутъ въ Москву, гдѣ дѣлаютъ ей приданое, и гдѣ она съ часу на часъ ожидаетъ возвращенія князя Андрея. Въ театрѣ она замѣчаетъ очень красиваго адъютанта, Анатолія Курагина, и Анатолій тоже замѣчаетъ ее. Онъ входитъ въ ложу сестры своей, Еленѣ Безухой, гдѣ Наташа находится, садится возлѣ нея, придвигается къ ней очень близко, начинаетъ съ ней разговаривать, какъ старый знакомый, ласково и упорно смотреть на нее.

„Говоря это, онъ не спускалъ улыбающихся глазъ съ лица, съ шеи, съ оголенныхъ рукъ Наташи. Наташа несомнѣнно знала, что онъ восхищается ею. Ей было это пріятно, но почему-то ей тѣсно и тяжело становилось отъ его присутствія. Когда она не смотрѣла на него, она чувствовала, что онъ смотрѣлъ на ея плечи, и она невольно перехватывала его взглядъ, чтобъ онъ ужъ лучше смотрѣлъ на ея глаза. Но глядя ему въ глаза, она со страхомъ чувствовала, что между нимъ и ею совсѣмъ нѣтъ той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная какъ, черезъ пять минутъ чувствовала себя страшно близкою къ этому человѣку. Когда она отворачивалась, она боялась, какъ бы онъ сзади не взялъ ее за голую руку, не поцѣловалъ бы ее въ шею. Они говорили о самыхъ простыхъ вещахъ, и она чувствовала, что они близки, какъ она никогда не была съ мужчиной. Наташа оглядывалась на Елену и на отца, какъ будто спрашивая ихъ, что такое это зна-

чилось; но Еленя была занята разговоромъ съ какимъ-то генераломъ, и не отвѣтила на его взглядъ, а взглядъ отца ничего не сказалъ ей, какъ только то, что онъ всегда говорилъ: „весело, ну я и радъ“.

Вотъ первое впечатлѣніе. Оно было совершенно ново и не непріятно Наташѣ, такъ не непріятно, что она чувствуетъ себя очень расположенною ѣхать нѣсколько дней спустя къ графинѣ Безухой, гдѣ непременно встрѣтитъ ее брата. Дѣйствительно, она встрѣтила его и тотчасъ же почувствовала „отсутствіе нравственныхъ преградъ между ею (собою) и имъ“. Чѣмъ кончились отношенія, начавшіяся такимъ образомъ, читатель узнаетъ изъ романа графа Толстого (если онъ не прочелъ еще его); мы же скажемъ, что подобныя положенія спасаются отъ цинизма, лишь благодаря тому влиянію чувства высокой нравственности, которое носится надъ всѣми сочиненіями этого писателя. Но горе тому, кто вздумалъ бы ему подражать!

Будемъ слѣдить далѣе за особенностями нашего замѣчательнаго романиста. Графъ Толстой по преимуществу наблюдатель и психологъ. Но такъ какъ онъ въ то же время художникъ и поэтъ,—то-есть человѣкъ, такъ сказать, думающій образами,—то результаты своихъ наблюденій онъ передаетъ не въ видѣ скучнаго анализа, а живыми представленіями. Онъ не задаетъ себѣ вопроса: „Что могъ бы сдѣлать такой-то въ такомъ-то положеніи? Что могъ бы онъ чувствовать и что могъ бы сказать?“ Въ его фантазіи одновременно создается и положеніе и роль въ ономъ дѣйствующаго лица: качество драгоцѣнное, безъ котораго невозможно быть ни хорошимъ романистомъ, ни хорошимъ драматургомъ. Но намъ кажется, что графъ Толстой недостаточно разборчивъ въ предметъ своихъ наблюденій, и нерѣдко впадаетъ въ мелочность. Выразимъ нашу мысль яснѣе. Графъ Толстой, какъ мы сказали, обладаетъ необыкновенною силой взгляда. Воображаемые лица стоятъ передъ нимъ какъ живые натурщики; онъ ихъ рассматриваетъ, поворачиваетъ, заставляетъ дѣлать движенія, и какъ скоро подмѣтитъ какую-нибудь черту, затрогивающую его художественное чув-

ство, тотчасъ отпѣчаетъ ее на бумагѣ. Что за дѣло ему, что эта черта тонка какъ волосъ, что это движеніе души мимолетно: поэтому-то самому оно ему и дорого! Да и какъ не дорожить! Это перлъ, добытый изъ самыхъ глубокихъ безднъ души человѣческой, это алмазь, вырванный изъ таинственныхъ нѣдръ природы! И такихъ алмазовъ у графа Толстого множество. Но, по нашему мнѣнію, они иногда портятъ общій эффектъ картины... Чтобы еще болѣе высвѣтить нашу мысль, сопоставимъ различные способы изображать характеры. Писатели прежняго времени брали человѣка *en bloc*. У нихъ были герои или добродѣтельные или порочные, твердые или слабохарактерные, прямодушные или лукавые; оттѣнковъ они не дѣлали; добродѣтель была 84-ой пробы, порокъ изображался „безъ смягчающихъ обстоятельствъ“. Фигуры, которыя такимъ образомъ выходили, были точно обведены карандашемъ Альберта Дюрера: сухія, холодныя и безжизненныя, но твердо поставленныя. Новѣйшая школа писателей поступаетъ иначе. Она избѣгаетъ слишкомъ опредѣленныхъ чертъ; она выходитъ изъ той точки зрѣнія, что нѣтъ въ природѣ ни безусловно добродѣтельныхъ, ни абсолютно порочныхъ людей, ни храбрецовъ, которые когда-нибудь не труслили бы, ни трусовъ, которые хоть разъ въ жизни не обнаружили бы смѣлости. Задавшись такою, совершенно справедливою мыслию, они *закладываютъ* (выражаясь языкомъ живописцевъ) тонъ,—положимъ,—храбрости, но тотчасъ же навидываютъ на него полутоны, начинаютъ доискиваться. почему человѣкъ храбръ, точно ли онъ храбръ, какого рода его храбрость: отъ пылости, отъ самолюбія ли она происходитъ? есть ли она результатъ убѣжденія и силы воли надъ слабостію нервовъ, или тупого непониманія опасности, или же страха передъ судомъ свѣта?... Но такъ или иначе, только послѣ всѣхъ этихъ изысканій оказывается, что нашъ храбрецъ есть тряпка, и что весь свѣтъ пошло ошибается, почитая его храбрымъ... Къ такимъ-то послѣдствіямъ приводитъ злоупотребленіе психологическимъ анализомъ,—и, признаемся откровенно, намъ кажется, что графъ Толстой не из-

бѣгаетъ упрека въ этомъ недостаткѣ, происходящемъ отъ избытка въ немъ силы наблюденія. Возьмемъ для примѣра одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ его романѣ, князя Андрея Болконскаго. Въ первыхъ главахъ мы видимъ въ немъ молодого человѣка, чрезвычайно самолюбиваго и честолюбиваго, сильно вѣрующаго въ свои дарованія, расположеннаго работать серіознымъ образомъ для того, чтобы сдѣлать карьеру, и встрѣтившаго въ жизни своей лишь одного человѣка, къ которому онъ чувствуетъ почтеніе: къ отцу своему, „одному изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени“. Все остальное или возбуждаетъ его презрѣніе, или не возбуждаетъ ровно ничего. Въ высшихъ кругахъ петербургскаго общества онъ появляется на минуту, бросаетъ направо и налево нѣсколько разсѣянныхъ словъ, опускается на кресло, какъ надломленный, и ходитъ не расправляя колѣнъ: они расправляются только тогда, когда онъ входитъ въ кабинетъ своего отца, да еще подъ пулами. Только съ отцомъ своимъ, да еще съ Пьеромъ Безухимъ Андрей говоритъ серіозно, при чемъ, однакожъ, онъ говоритъ Пьеру *ты*, а тотъ ему *вы*. Всѣ эти черты развиты въ сотнѣ различныхъ положеній въ первомъ томѣ романа: при прощаніи князя Андрея съ отцомъ и беременною женой, когда онъ ѣдетъ въ армію адъютантомъ Кутузова, въ сношеніяхъ его съ товарищами, надъ которыми онъ безусловно господствуетъ, въ отношеніи его къ Кутузову, который оказываетъ ему особенное вниманіе, въ аудіенціи съ императоромъ Французовъ, надъ которымъ чувствуется его нравственное превосходство, наконецъ, въ сраженіи подъ Аустерлицомъ, гдѣ онъ дѣйствуетъ такъ, какъ долженъ дѣйствовать человѣкъ съ его честолюбіемъ и его энергіей. Но на Аустерлицкомъ полѣ съ нимъ совершается нѣчто новое, неожиданное. Разкажемъ этотъ важный моментъ въ жизни князя Андрея словами самого автора... (Слѣдуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами:—„Болконскій, прошепталъ Кутузовъ дрожащимъ отъ сознанія своего старческаго безсилія голосомъ.—Болконскій, прошепталъ онъ, указывая на разстроенный баталіонъ..“ Выписка заканчи-

вается фразой: „Но и того даже нѣтъ, ничего нѣтъ, кромѣ тишины, успокоенія. И слава Богу!...“.

Едва переживъ свою рану, Болконскій уѣзжаетъ въ деревню. Честолюбіе его вогнато внутрь; онъ становится раздражителенъ и начинаетъ наноинать отца своего, котораго вѣрно не забыли читатели *Русскаго Вѣстника*. Но въ то же время вліяніе другого рода оказываютъ на него деревенская тишина, присутствіе маленькаго сына, который родился въ его отсутствіе, наконецъ, невольное раскаяніе въ томъ, что онъ слишкомъ явно обнаруживалъ пренебреженіе къ женѣ своей, умершей, когда онъ гонялся за славой. Личность князя Андрея, поставленная подъ такое двойное освѣщеніе, изображена въ нѣсколькихъ мастерскихъ сценахъ. Въ это время нѣзжаетъ къ нему Пьеръ Безухій сдѣлавшійся между тѣмъ масономъ, и двойственность борющихся въ его душѣ вліяній блеситъ въ разговорѣ между ними самыми яркими красками. Затѣмъ, чрезъ нѣсколько времени, князю Андрею пришлось куда-то выѣхать...“ (Слѣдуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами: „Проѣхали перевозъ, на которомъ онъ годъ тому назадъ говорилъ съ Пьеромъ“... и кончающаяся словами: „Нѣтъ, жизнь не кончена въ тридцать одинъ годъ, вдругъ окончательно, безперемѣнно рѣшилъ князь Андрей“).

Все это прекрасно, прекрасно и прекрасно; но не забудемъ: князь Андрей рѣшилъ „безперемѣнно“, что онъ возвращается къ жизни. Посмотримъ же, поведетъ ли его авторъ твердымъ шагомъ къ возрожденію. Князь Андрей ѣдетъ въ Петербургъ и встрѣчается со Сперанскимъ, находившимся въ апогеѣ своей силы. Онъ принимаетъ участіе въ работахъ знаменитаго реформатора и до нѣкоторой степени испытываетъ на себѣ его вліяніе или, по крайней мѣрѣ, то чувство уваженія и признанія его достоинствъ, которое до сихъ поръ онъ питалъ въ отношеніи одного только отца своего. Въ самый день открытія государственнаго совѣта, онъ обѣдаетъ у Сперанскаго. Наканунѣ онъ былъ на балѣ. „Отъ усталости или отъ безсонницы день былъ нехорошій для занятій“. Къ нему между тѣмъ вернулся

нѣкто Бидкій и съ непомѣрнымъ воскищеніемъ разсказалъ всѣ обстоятельства открытія государственнаго совѣта.

„Князь Андрей слушалъ разсказъ объ открытіи государственнаго совѣта, котораго онъ ожидалъ съ такимъ нетерпѣніемъ и которому приписывалъ такую важность, и удивлялся, что событіе это теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось болѣе чѣмъ ничтожнымъ. Онъ съ тихою насмѣшкой слушалъ восторженный разсказъ Бидкаго. Самая простая мысль приходила ему въ голову. „Какое дѣло мнѣ и Бидкому, какое дѣло намъ до того, что государю угодно было сказать въ совѣтъ? Развѣ все это можетъ сдѣлать меня счастливѣе и лучше?“

„И это простое разсужденіе вдругъ уничтожило для князя Андрея весь прежній интересъ совершаемыхъ преобразованій“.

Странно! неужели вліяніе усталости или напускной восторгъ пустомели могъ вдругъ совершенно измѣнить образъ мыслей такого человѣка, какимъ мы знаемъ князя Андрея? Если же это не что иное какъ мимолетное впечатлѣніе, то стоило ли отмѣчать его?.. Но пойдѣмъ далѣе. Болконскій ѣдетъ въ Сперанскому...“ (Приводится изъ романа описаніе обѣда у Сперанскаго).

„Обѣдъ у Сперанскаго принадлежитъ къ превосходнѣйшимъ сценамъ во всемъ романѣ; невозможно нарисовать болѣе живой, болѣе осязательной картины болѣе тонкими, почти неуловимыми чертами. Но что же однако? Тотъ ли передъ нами князь Андрей, котораго мы видѣли въ 1805 году? Если разочарованіе насчетъ Сперанскаго и очарованіе въ отношеніи Дрона-старости были въ немъ впечатлѣніемъ мимолетнымъ, то о немъ не стоило и упоминать, подобно множеству другихъ мимолетныхъ впечатлѣній, которыя онъ испыталъ въ продолженіе тридцати лѣтъ своей жизни; если же впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ разсказа Бидкаго и обѣда у Сперанскаго, оставили въ немъ слѣдъ, то, повторяемъ: тотъ ли это честолюбивый человѣкъ, „одаренный практическою цѣпкостью“, котораго мы

знали прежде? Что же онъ теперь сдѣлаетъ? Оставить Сперанскаго? Станетъ на сторону Балашева или Ростопчина? Поѣдетъ въ деревню, къ своему Дрону-старостѣ?... Ничуть: онъ остается въ Петербургѣ и влюбляется въ Наташу Ростову.

На томъ самомъ балѣ, съ котораго унесъ онъ такую обильную послѣдствіями усталость, князь Андрей увидалъ Наташу, танцовать съ ней, и „вино ея прелести ударило ему въ голову“. Во время котильона онъ слѣдилъ за нею глазами, когда она порхала по паркету, и вдругъ: „Ежели она подойдетъ прежде къ своей кузинѣ, а потомъ къ другой дамѣ, то она будетъ моею женой“, сказалъ совершенно неожиданно самъ себѣ князь Андрей... Что жъ это такое? Неужели мы станемъ слѣдить за всѣми „неожиданными“, стало-быть, совершенно случайными движеніями человѣческаго духа? Но въ такомъ случаѣ, гдѣ же конецъ роману и гдѣ предѣлы наблюденію? Если на бѣду авторъ сдѣлаетъ предметомъ своихъ наблюденій какого-нибудь перваго субъекта, то онъ легко можетъ разогнать свои наблюденія на двѣнадцать томовъ: только это уже будетъ не романъ, а дневникъ психіатра. Не намъ придется поставить еще не одинъ вопросительный знакъ предъ портретомъ князя Андрея. Онъ влюбляется въ Наташу Ростову не на шутку. Лицо его принимаетъ „молодое выраженіе“, онъ пишетъ стихи въ альбомъ Наташи; онъ „никогда не испытывалъ ничего подобнаго“. Онъ нарочно пріѣзжаетъ къ Пьеру Безухому, чтобы высказаться предъ нимъ.

„Это чувство сильнѣе меня“, говорилъ онъ. „Вчера я мучился, страдалъ, но и мученія этого я не отдамъ ни за что въ мірѣ. Я не жилъ прежде. Только теперь я живу, но я не могу жить безъ нея. Но можетъ ли она меня любить? Я старъ для нея... Чтожъ ты не говоришь?“

Во время разговора съ Пьеромъ, замѣчаетъ авторъ, князь Андрей казался и былъ совершенно другимъ человекомъ; онъ легко и смѣло дѣлалъ планы на продолжительное будущее. Онъ не только фантазировалъ, но поѣхалъ къ отцу за разрѣшеніемъ, готовый, впрочемъ, даже и на ссору

съ нимъ, въ случаѣ весьма вѣроятнаго съ его стороны упрямства. И вотъ онъ возвращается, уладивъ кое-какъ дѣло съ несговорчивымъ старикомъ, дѣлаетъ формальное предложеніе, получаетъ формальное согласіе матери невѣсты и признаніе въ любви со стороны Наташи.

— „Ахъ, я такъ счастлива, отвѣчала она, улыбнувшись сквозь слезы, нагнулась ближе къ нему, подумала секунду, какъ будто спрашивая себя, можно ли это, и поцѣловала его.

„Князь Андрей держалъ ея руки, смотрѣлъ ей въ глаза, и не находилъ въ своей душѣ прежней любви къ ней. Въ душѣ его вдругъ перевернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желанія, а была жалость къ ея женской и дѣтской слабости, былъ страхъ передъ ея преданностью и довѣрчивостью, тяжелое и вмѣстѣ радостное сознаніе долга, навѣки связавшаго его съ нею. Настоящее чувство, хотя и не было такъ свѣтло и поэтично какъ прежде, было серіознѣе и сильнѣе“.

Здѣсь мы рѣшительно становимся въ тупикъ. Не то чтобы такой поворотъ казался намъ невозможнымъ: всякія противорѣчія и неожиданности возможны; но какую же цѣль имѣетъ авторъ? Неужели онъ силится показать въ лицахъ, что „всякій человѣкъ есть ложь“, что сердце человеческое есть „кладезь мрачный?“ Но что-бъ оно ни было, мрачный кладезь или лабиринтъ, авторъ,—который вводитъ въ него читателя, — долженъ умѣть не заблудиться въ немъ! Признаемся, намъ лучше нравятся тѣ лица графа Толстого, отдѣлка которыхъ не доведена, какъ на портретахъ академика Зарянки, до излишества. Онъ, какъ мы уже сказали, имѣетъ завидную способность нѣсколькими мѣткими чертами обрисовывать фигуру такъ, что воображеніе читателя само додѣлываетъ нѣкоторые детали. Посмотрите, напримеръ, фигуры стараго князя Болконскаго, его дочери, графа Ростова отца: это мастерскіе и, по нашему мнѣнію, совершенно dokonченные типы, и мы полагаемъ, что дальнѣйшая отдѣлка только ослабила бы производимое ими впечатлѣніе. Портреты Наташи и особенно князя Андрея грѣ-

шать именно этою чрезмѣрною отдѣлкой, хотя, конечно, мы и не рѣшаемъ безусловно до окончанія романа.

Совершенно противоположный упрекъ принуждены мы сдѣлать относительно внѣшней стороны романа: она положительно страдаетъ недостаткомъ отдѣлки. Неправильности въ слоги автора не рѣдки, повтореніе сряду одного слова часто встрѣчается; на 85 страницѣ, второй части, т. I. у императора Александра голубые глаза, а на 118—сѣрые. На страницѣ 56, тома III, читаемъ: „31-го декабря наканунѣ Нового 1810 года, la réveillon, былъ балъ у Екатерининскаго вельможи“. На этомъ балѣ нѣкто баронъ Фиргофъ разговаривалъ „о *застрашнемъ* предполагаемомъ первомъ засѣданіи государственнаго совѣта“. *На другой день* пріѣхалъ къ князю Андрею Бидкій и сообщилъ ему подробности засѣданія государственнаго совѣта *вчерашняго утра*. Вслѣдъ за тѣмъ, князь Андрей ѣдетъ обѣдать къ Сперанскому и находитъ его „въ томъ еще бѣломъ жилетѣ и высокомъ бѣломъ галстухѣ, въ которыхъ онъ былъ въ знаменитомъ засѣданіи государственнаго совѣта“. Котораго же числа происходило это засѣданіе? Всѣ эти небрежности прискорбно видѣть въ сочиненіи, на которое положено авторомъ такъ много дарованія и, безъ сомнѣнія, много времени и любви; не менѣе прискорбно замѣтить, что оно и издано небрежно: съ большимъ количествомъ опечатокъ, какимъ-то неуклюжимъ шрифтомъ, на бумагѣ, какая употребляется за границей развѣ для учебниковъ.

Мы кончили. Но намъ хотѣлось бы разстаться съ графомъ Толстымъ и съ его прекраснымъ романомъ не иначе какъ со словомъ сочувствія на устахъ. Поэтому позволяемъ себѣ сдѣлать еще одну выписку, а именно описаніе поѣздки всей молодежи семейства Ростовыхъ, *ряженныхъ*, въ зимнюю, рождественскую ночь...“ (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Тройка стараго графа, въ которую сѣлъ Диммиеръ (учитель музыки) и другіе ряженные, визжа полозьями, какъ будто примерзая къ снѣгу и побрякивая густымъ колокольцомъ, тронулась впередъ...“ Кончается выписка фразой: „Дѣйствительно это была Мелюковка“).

* * *

II. Щебальскій.

*) На безлюдьи нашей современной беллетристики, — вдавшейся, съ одной стороны, въ непримитивную инсинуацію и скрежетъ зубовъ, а съ другой, въ мелочную дагерротипную конировку житейскихъ случайностей, — какъ-то особенно повезло роману гр. Л. Толстого: „Война и миръ“. Его покупаютъ всё нарастающе, не жалѣя при этомъ довольно крупныхъ денегъ за аляповато-напечатанные томы; читаютъ, что называется, въ засосъ; толкуютъ и спорятъ не просто съ увлеченіемъ, но даже съ какими-то запоемъ и сладострастіемъ. Что-то будетъ съ Андреемъ Болконскимъ? (Бѣдный! онъ раненъ пулей въ животъ и лежитъ теперь въ военно-походномъ госпиталѣ). Въ какія отношенія станетъ Пьеръ Безухій къ отверженной всѣми Натанѣ Ростовой? Будетъ ли Анатолий Курагинъ, послѣ тяжелой ампутаціи, танцевать и прыгать на одной ногѣ, или онъ закажетъ себѣ другую, деревянную — на манеръ той удивительной ноги съ пружинкой, которая, по догадкамъ Гоголевскаго почтмейстера, могла быть придѣлана коллежскому совѣтнику Чичикову? Куда дѣнется пресловутый, дважды разжалованный Долоховъ и не выпьетъ ли онъ, въ кругу друзей, второй бутылки рома, уже не на сколькомъ уступѣ окна, а прямо такъ, на воздухѣ? Всѣ эти вопросы и глубокомысленныя соображенія, вызываемыя ими, сильно волнуютъ впечатлительныя сердца многихъ читателей и заставляютъ ихъ забывать на время интереснѣйшія политическія событія: и кандійскихъ патріотовъ, и ирландскихъ феніевъ, и послѣдніе циркуляры графа Голуховскаго, и послѣднюю полемику съ Наполеономъ г. Краевского. Толки о романѣ идутъ параллельно въ литературѣ и въ частныхъ кружкахъ. Описаніе бородинскаго боя у гр. Толстого вызвало газетную перепалку между фельетонистомъ „Голоса“ и генераломъ Липранди — героемъ 1812 и 1848 гг.; при чемъ этотъ послѣдній не приминувъ заявить публикѣ, что онъ „какъ на службѣ, такъ и внѣ оной, всегда предпринималъ только то, что соотвѣтствовало его силамъ, взгля-

*) „Недѣля“ 1868 г., №№ 22, 23 и 26. Статья А. П. Пятковского, подъ заглавіемъ: „Историческая эпоха въ романѣ гр. Л. Н. Толстого“.

дамъ и стремленіямъ“. Это, можетъ быть, совершенная правда, но къ роману не относится. Больше относится къ дѣлу статья г. Щебальскаго, въ первой книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ за нынѣшній годъ. „Русскому Вѣстнику“ захотѣлось возвеличить романъ, изъ котораго нѣсколько главъ было напечатано въ этомъ журналѣ, подъ названіемъ „Тысяча восемьсотъ пятый годъ“; читатели же, болѣею частью, люди не взыскательные и вѣрятъ на слово патріотическимъ редакторамъ, не подозрѣвая въ нихъ патріотизмъ никакой своекорыстной цѣли. При этихъ условіяхъ, похвала гр. Толстому приняла дѣйствительно грандіозные размѣры... безцеремонности... (Приводится выписка изъ критической статьи г. Щебальскаго, начинающаяся словами: „Передъ нами далеко не все новое произведеніе нашего даровитаго романиста, но даже и теперь съ увѣренностью можно сказать, что оно принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій русской литературы“... Оканчивается выписка словами: „Это алмазъ, вырванный изъ таинственныхъ нѣдръ природы! И такихъ алмазовъ у гр. Толстого множество“).

Только въ одномъ мѣстѣ г. Щебальскій, вспомнивъ, что онъ слыветъ историкомъ, дѣлаетъ гр. Толстому легкія замѣчанія насчетъ разныхъ историческихъ неточностей. Неточности эти, въ самомъ дѣлѣ, важнаго свойства: такъ, напр., въ 1-мъ томѣ романа, на одной страницѣ у—императора Александра голубые глаза, а на другой—сѣрые; въ третьемъ томѣ сбивчиво опредѣленъ первый день засѣданія государственнаго совѣта. Но хотя рецензенту „прискорбно было видѣть всѣ эти небрежности въ сочиненіи, на которое положено авторомъ такъ много дарованія“, тѣмъ не менѣе онъ „хочетъ разстаться съ гр. Толстымъ и его прекраснымъ романомъ не иначе, какъ словомъ сочувствія на устахъ“ и, въ концѣ статьи, цитируетъ еще одну восхитительную страницу... „Необыкновенная сила взгляда!“ „Перлы!“ „Алмазы!“ — нельзя сказать, чтобы г. Щебальскій покусился на изъясненіе своего восторга. Онъ, какъ знаменитый одописецъ сатиры Дмитріева, не знаетъ, съ кѣмъ и сравнять своего героя...

„Съ Румянцевымъ его или съ Грейгомъ, или съ Орловымъ? Какъ жаль, что въ древнихъ я не читывалъ, а съ новымъ Неловко что-то все—да просто напишу: Ликуй герой! ликуй, герой ты! возглашу“.

Если повѣрить на слово рецензенту, то гр. Толстой уже заткнулъ за поясъ Вальтеръ Скотта въ вѣрномъ изображеніи исторической эпохи, и читателю потребно имѣть особенную „тонкость органовъ“, чтобы насладиться вдоволь всѣми несказанными красотами „Войны и Мира“. Конечно, никакому автору не поздоровится отъ подобныхъ похвалъ, въ особенности, если публика своимъ перазборчивымъ сочувствіемъ станетъ поддерживать литературныя рекламы. Для публики, правда, есть одно большое извиненіе: ей надобно наконецъ клубничныя повѣсти и старческое, злобное шипѣніе отжившихъ литературныхъ корифеевъ, и она почувствовала желаніе отдохнуть на *Шенрабенскомъ сраженіи* отъ всѣхъ этихъ стриженныхъ дѣвъ, косматыхъ юношей и самодовольно тупого, благонамѣреннаго филистерства. Дѣла давно минувшихъ дней, описанныя въ романѣ съ чисто внѣшней, безобидной стороны, не шевелятъ ума, не волнуютъ ничьихъ страстей,—а между тѣмъ книга прочтена, время убито, и убито не совсѣмъ непріятно: точно взглянулъ въ панораму или прошелся по галлерей съ эффектными батальными картинами. Въ сочувствіи публики къ гр. Л. Толстому есть, безъ сомнѣнія, значительная доза апатіи; но авторъ „Войны и Мира“, кажется, не догадывается объ этомъ и, видя, съ какой неестественной жадностью покупаются и прочитываются четыре тома его „неотмѣнно длиннаго, длиннаго романа“, вообразилъ себѣ, что онъ чуть ли не сдѣлалъ этимъ романомъ новой эпохи въ исторіи русской литературы. По крайней мѣрѣ, въ своемъ письмѣ, напечатанномъ въ „Русскомъ Архивѣ“, гр. Толстой дѣлаетъ въ такомъ смыслѣ комментаріи къ своему собственному произведенію. „Что такое „Война и Миръ?“ спрашиваетъ онъ самъ себя. Это не романъ, еще менѣе поэма, еще менѣе историческая хроника. „Война и Миръ“ есть то, что хотѣлъ и могъ выразить авторъ въ той фор-

мѣ, въ которой она выразилась. Такое заявленіе о пренебреженіи автора къ условнымъ формамъ прозаическаго художественнаго произведенія могло бы показаться самонадѣянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имѣло примѣровъ. Исторія русской литературы со времени Пушкина не только представляетъ много примѣровъ такого отступленія отъ европейской формы, но не даетъ даже ни одного примѣра противнаго. Начиная отъ „Мертвыхъ Душъ“ Гоголя и до „Мертваго Дома“ Достоевскаго, въ новомъ періодѣ русской литературы нѣтъ ни одного художественнаго прозаическаго произведенія, немного выходящаго изъ посредственности, которое бы вполне укладывалось въ форму романа, поэмы или повѣсти. „Мертвый Домъ“ и въ особенности „Мертвыя Души“ *Excuses de rem.* Гр. Толстой пренебрегаетъ условными литературными формами потому, что ими пренебрегали всѣ знаменитости русской литературы, начиная съ Пушкина; онъ не желаетъ стоять въ одномъ ранжирѣ съ простыми смертными, и подыскиваетъ для себя самыя выгодныя и почетныя исключенія. Но вѣдь „Мертвыя Души“ были, дѣйствительно, въ свое время новымъ, живымъ словомъ въ русской литературѣ, въ юмористической картинѣ, нарисованной Гоголемъ, отразилась вся современная ему Россія съ крѣпостнымъ правомъ, взятками, непроходимой тупостью и безпредѣльнымъ нравственнымъ индифферентизмомъ; богатство содержанія этого произведенія и оригинальность литературныхъ пріемовъ не укладывались въ рутинныя формы тогдашней беллетристики и потребовали для себя большей свободы и простора на зло бездарнымъ критикамъ, вопившимъ о нарушеніи поэтическихъ правилъ и приличій. Съ „Мертвыхъ Душъ“ началась у насъ новая *натуральная школа* въ поэзи, на защиту которой истратилъ Бѣлинскій всѣ громадныя силы своего таланта; какъ бы ни пала низко наша современная литература, но она не можетъ (если бы и хотѣла) отступить въ общемъ своемъ характерѣ далѣе той черты, которую указалъ ей Гоголь, не можетъ забыть вполне усвоенныхъ ею преданій. Посмотримъ, что же по-

добнаго даетъ намъ гр. Толстой въ новомъ произведеніи? Что говорить онъ самостоятельнаго, чего не слыхали мы прежде, какой путь указываетъ современной литературѣ?

Гр. Толстой отказывается дать своему сочиненію какое-нибудь опредѣленное литературное названіе: онъ не согласенъ признать его ни романомъ, ни поемою, ни историческою хроникой.

Названіе, конечно, пустая вещь, если его даютъ только для наблюденія формальной риторической терминологіи; но не пустая вещь — опредѣлять господствующій характеръ литературнаго произведенія, чтобы выставить, сообразно съ нимъ, извѣстныя критическія требованія. По балладамъ Шиллера никто не станеть учиться естественной исторіи и наоборотъ, изъ учебника зоологіи никто не выдумаетъ почерпнуть фантастическихъ представленій. Отъ автора можно требовать только того, что хотѣлъ и что могъ дать онъ, и судить его должно на основаніи его собственной программы, въ предѣлахъ его собственнаго замысла. При-сматриваясь съ этой точки зрѣнія къ сочиненію гр. Толстого, мы легко замѣтимъ, что, какъ бы ни старался авторъ отклонить отъ „Войны и Мира“ всѣ установившіяся названія, — произведеніе это все-таки историческій романъ, пожалуй не просто историческій, а батально историческій, если обратить вниманіе на необыкновенное обиліе батальныхъ подробностей, обиліе, доходящее до того, что авторъ не затруднился приложить къ своему роману примѣрный планъ Бородинскаго сраженія и вступилъ даже, по этому поводу, въ ученое препирательство съ нашими военными историками. Что „Война и Миръ“ есть историческій романъ, т.-е. имѣетъ цѣлью представить въ стройной, законченной картинѣ цѣлую историческую эпоху, это видно изъ того же самаго письма гр. Толстого. „Характеръ времени, — пишетъ онъ, — какъ мыъ выражали это нѣкоторые читатели при появленіи въ печати первой части, недостаточно опредѣленъ въ моемъ сочиненіи. На этотъ упрекъ я имѣю возразить слѣдующее. Я знаю, въ чемъ состоитъ характеръ времени, котораго не находятъ въ моемъ рома-

нѣ: это ужасы крѣпостного права, закладываніе жонъ въ стѣны, сѣченіе взрослыхъ сыновей, Салтычиха и т. п. и этотъ характеръ того времени, который живетъ въ нашемъ представленіи, я не считалъ вѣрнымъ, и не желаю выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находилъ всѣхъ ужасовъ этого буйства въ большей степени, чѣмъ нахожу ихъ теперь или когда-либо. Въ тѣ времена такъ же любили, завидовали, искали истины, добродѣтели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь даже иногда болѣе утонченная, чѣмъ теперь въ высшемъ сословіи. Если въ понятіи нашемъ составилось мнѣніе о характерѣ своевольства и грубой силъ того времени, это только оттого, что въ преданіяхъ, запискахъ, новѣстяхъ и романахъ до насъ наиболѣе доходили выступающіе случаи насилія и буйства. Заключить о томъ, что преобладающій характеръ того времени — было буйство, также несправедливо, какъ несправедливо заключилъ бы человѣкъ, изъ-за горы видящій одни макушки деревьевъ, что въ мѣстности этой ничего нѣтъ, кромѣ деревьевъ. Есть характеръ того времени (какъ и характеръ каждой эпохи), вытекающій изъ большой отчужденности высшего круга отъ другихъ сословій, изъ царствовавшей философіи, изъ особенностей воспитанія, изъ привычки употреблять французскій языкъ и т. п. И этотъ характеръ я старался, сколько умѣлъ, выразить“. Слѣдовательно гр. Толстой желалъ очертить характеръ александровскаго времени, представить его въ живыхъ, вѣрно схваченныхъ типахъ— ну вотъ это-то желаніе или, лучше сказать, эта попытка даетъ право его сочиненію называться историческимъ романомъ. Другое дѣло—насколько удалось автору выполнить свою задачу. Понялъ ли онъ духъ избранной имъ эпохи, оцѣнилъ ли значеніе историческихъ личностей, служившихъ представителями различныхъ направленій общественной мысли, вѣрны ли и характеристичны ли подмѣченныя имъ черты? Въ строкахъ, приведенныхъ мной выше, гр. Толстой отказывается видѣть въ своевольствѣ и грубой силѣ отличительную черту того времени; онъ не считаетъ

пресловутую Салтычиху рельефной вывѣской помѣщичьей добродѣтели. Салтычиха, какъ извѣстно, производила свои тиранства въ царствованіе Екатерины II, и ея дѣятельностью нельзя измѣрять болѣе мягкіе, сравнительно, нравы александровскаго времени; но гр. Толстой уже слишкомъ добръ къ старому времени, приравнивая его къ переживаемой нами теперь эпохѣ. Дикости, своевольства и даже *варварства*, въ точномъ смыслѣ этого слова, было еще очень довольно въ ту пору, и мы можемъ только удивиться, какимъ образомъ авторъ не замѣтилъ всего этого въ своемъ же собственномъ разсказѣ. Какъ вамъ понравится, читатель, слѣдующая, разсказанная гр. Толстымъ сценка?

„Прѣзжая по болотной площади (въ Москвѣ), Пьеръ увидалъ толпу у Лобнаго мѣста, остановился и слѣзъ съ дрожекъ. Это была экзекуція французскаго повара, обвиненнаго въ шпіонствѣ. (Дѣйствіе происходитъ въ 1812 г., когда въ шпіонствѣ подозрѣвали всякаго, говорящаго по-французски. Даже Сперанскій былъ обвиненъ въ тайныхъ сношеніяхъ съ Наполеономъ). Экзекуція только что кончилась, и палачъ отвязывалъ отъ кобылы жалобно стонавшаго толстаго человѣка съ рыжими бакенбардами, въ синихъ чулкахъ и зеленомъ камзолѣ. Другой преступникъ (?), худенькій и блѣдный, стоялъ тутъ же. Оба, судя по лицамъ, были французы. Съ испуганно болѣзненнымъ видомъ, подобнымъ тому, который имѣлъ худой французъ, Пьеръ протолкался сквозь толпу. — Что это? Кто? За что? спрашивалъ онъ. *Но вниманіе толпы — чиновниковъ, мѣщанъ, купцовъ, мужиковъ, женщинъ въ сапогахъ и шубкахъ, — такъ жадно сосредоточено на то, что происходило на Лобномъ мѣстѣ, что никто не отвѣчалъ ему.*

Толстый человѣкъ поднялся; нахмурившись, пожалъ плечами и, очевидно желая выразить твердость, сталъ, не глядя вокругъ себя, надѣвать камзолъ; но вдругъ губы его задрожали, и онъ заплакалъ, самъ сердясь на себя, какъ плачутъ взрослые сангвиническіе люди. Толпа громко заговорила... — „Поваръ чей-то княжескій...

— „Что, мусью, видно русскій соусъ кисель французу

пришелся... оскмину набилъ“, сказалъ сморщенный приказный, стоявшій подлѣ Пьера въ то время, какъ французъ заплакалъ. Приказный оглянулся вокругъ себя, видимо, ожидая оцѣнки своей шутки. Нѣкоторые засмѣялись, нѣкоторые испуганно продолжали смотрѣть на палача, который раздѣвалъ другого“. Гр. Толстой, по своему примѣрному добродушію, затушевываетъ, сколько возможно, безобразную сторону этого событія; но въ дѣйствительности подобныя сцены были еще отвратительнѣе, чѣмъ въ краткомъ описаніи незлобиваго художника. Можно представить себѣ, каково было ожесточеніе народа противъ всѣхъ, безъ различія, французовъ, когда самая его жалостливость и состраданіе принимали, на примѣръ, такія наивно-варварскія формы:

„Поймали мы одну семью
Отца да мать съ тремя щенками,
Тотчасъ ухлопали мусью,
Не изъ фузеи—кулаками!
Жена давай вопить, стонать;
Рветъ волоса; глядимъ да тужимъ!
Жаль стало: топорищемъ хватъ—
И протянулась рядомъ съ мужемъ.
Глядь, дѣти! Нѣтъ на нихъ лица:
Ломаютъ руки, воютъ, скачутъ,
Лепечутъ—не поймешь словца,
И въ голосъ, бѣдненькія, плачутъ.
Слеза прошибла насъ, ей-ей!
Какъ быть? Мы долго толковали,
Пришибли бѣдныхъ поскорѣй
Да вмѣстѣ всѣхъ и закопали...“

(Некрасовъ).

Въ томъ же четвертомъ томѣ, откуда мы заимствовали описаніе экзекуціи, есть другая сцена, не менѣе прежней, свидѣтельствующая о кротости сердецъ нашихъ дѣдовъ. Но, чтобы насладиться вполне букетомъ ея, нужно предпослать ей нѣкоторое объясненіе. У князя Андрея Болконскаго, одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, есть село Богучарово, крестьяне котораго отличались искони вольнолюбивымъ и мятежнымъ характеромъ. „Между ними всегда

ходили какіе-нибудь неясныя толки: то о перечисленіи ихъ всѣхъ въ казаки, то о новой вѣрѣ, въ которую ихъ обратятъ, то о царскихъ листахъ какихъ-то, то о присягѣ Павлу Петровичу въ 1794 г. (про которую говорили, что тогда еще воля выходила, да господа отняли), то объ имѣющемъ черезъ 7 лѣтъ воцариться Петрѣ Оеодоровичѣ, при которомъ все будетъ вольно и такъ будетъ просто, что ничего не будетъ. Слухи о войнѣ и Бонапарте и о его нашествіи соединились для нихъ съ такими же неясными представленіями объ антихристѣ, концѣ свѣта и чистой волѣ... Алпатычъ (управляющій Болконскаго), пріѣхавъ въ Богучарово, замѣтилъ, что между народомъ происходило волненіе и что крестьяне, какъ слышно было, имѣли сношенія съ французами, получали какія-то бумаги, ходившія между ними и оставались на мѣстахъ. Онъ зналъ чрезъ преданныхъ ему дворовыхъ людей, что ѣздившій на дняхъ съ казенной подводой мужикъ Карпъ, имѣвшій большое вліяніе на міръ, возвратился съ извѣстіемъ, что казаки разоряютъ деревни, изъ которыхъ выходятъ жители, но что французы ихъ не трогаютъ. Онъ зналъ, что другой мужикъ вчера привезъ даже изъ села Вислоухова, гдѣ стояли французы, бумагу отъ генерала французскаго, въ которой жителямъ объявлялось, что имъ не будетъ сдѣлано никакого вреда и за все, что у нихъ возьмутъ, заплатятъ, если они останутся“. Въ это самое время княжна Марья, сестра Андрея Болконскаго, собралась выѣзжать изъ Богучарова и предложила крестьянамъ выселиться изъ деревни вслѣдъ за нею. Крестьяне, сообразивъ всѣ слухи, доходившіе до нихъ, рѣшили, что они и сами не станутъ вывозиться, и княжны не выпустятъ изъ деревни. „Я прошу васъ, говорила княжна мужикамъ, уѣзжать со всѣмъ имуществомъ въ нашу подмосковную, и тамъ я беру на себя и общаю вамъ, что вы не будете нуждаться. Вамъ дадутъ и дома и хлѣбъ“. Но предложеніе домовъ и хлѣба показалось и вовсе подозрительнымъ взманиннымъ волею мужикамъ. „Вишь научила ловко, отвѣчали они. За ней въ крѣпость поди. Дома разори да въ кабалу и ступай. Какъ же? Я хлѣбъ молъ, от-

дамъ! слышались голоса въ толпѣ“. На выручку княжны является графъ Ростовъ — пылкій юноша, влюбляющійся не только въ женщинъ, но даже въ мужчинъ. „Какъ только Ростовъ подошелъ къ толпѣ мужиковъ, Карпъ, заложивъ пальцы за кушакъ, слегка улыбаясь, вышелъ впередъ. Толпа сдвинулась плотнѣе. — „Эй, кто у васъ староста тутъ? крикнулъ Ростовъ, быстрымъ шагомъ подойдя къ толпѣ. „Староста-то? На что вамъ?..“ спросилъ Карпъ. Но не успѣлъ онъ договорить, какъ шапка слетѣла съ него, и голова мотнулась на бокъ отъ сильнаго удара. „Шапки долой, измѣнники! крикнулъ полнокровный голосъ Ростова. Гдѣ староста?“ неистовымъ голосомъ кричалъ онъ. — „Старосту, старосту кличуть... Дронъ Захарычъ, васъ“, слышались кое-гдѣ торопливо-покорные голоса, и шапки стали сниматься съ головъ. — „Намъ бунтовать нельзя, мы порядки блюдемъ“, проговорилъ Карпъ, и нѣсколько голосовъ, сзади въ то же мгновеніе заговорили вдругъ: „какъ старички порѣшили, много васъ начальства...“ „Разговаривать? Бунтъ! Разбойники! Измѣнники! бессмысленно, не своимъ голосомъ завопилъ Ростовъ, хватая за воротъ Карпа. Вязи, вязи его! кричалъ онъ, хотя некому было вязать его, кромѣ Лаврушки и Алпатыча. Лаврушка (денщикъ) однако подбѣжалъ къ Карпу и схватилъ его сзади, за руки“. — „Прикажете нашихъ (т.-е. гусаровъ) изъ подъ горы кликнуть?“ крикнулъ онъ. Алпатычъ обратился къ мужикамъ, вызывая двоихъ по именамъ, чтобы вязать Карпа. Мужики покорно вышли изъ толпы и стали распоясываться. „Староста гдѣ?“ кричалъ Ростовъ. Дронъ, съ нахмуреннымъ и блѣднымъ лицомъ, вышелъ изъ толпы. „Ты староста? Вязать, Лаврушка! кричалъ Ростовъ, какъ будто и это приказаніе не могло встрѣтить препятствій. И дѣйствительно, еще два мужика стали вязать Дрона, который, какъ бы помогая имъ, снялъ съ себя кушакъ и подалъ имъ“.

И эта полиція внѣ полиціи, этотъ бывшій студентъ и настоящій гусарь, мгновенно обратившійся въ разъяреннаго звѣря — неужели не служить замѣчательнымъ образчи-

комъ нашего родимаго своевольства, которое (въ особенно-сти 40—50 лѣтъ тому назадъ) весьма наивно считало себя положительнымъ правомъ? Да и почему не считать, когда въ каждомъ цвѣтномъ околышѣ фуражки — темный народъ провидѣлъ свое начальство, властное карать и милловать...

Итакъ, первый и второй комментарий гр. Толстого къ своему роману (т. е. сравненію себя съ Гоголемъ и общая характеристика александровскаго времени) обнаруживаютъ въ комментаторѣ ту громадную самонадѣянность, которая еще больше выяснится въ концѣ нашего разбора, то громадное непониманіе даже того, что самъ онъ описалъ въ своемъ батально-историческомъ разсказѣ. Но гр. Толстой не ограничился тѣмъ, что показалъ свое непониманіе въ одномъ частномъ случаѣ: нѣтъ! онъ поторопился выложить передъ своими читателями цѣлую теорію историческаго развитія, изъ которой мы убѣждаемся, что онъ и не можетъ понимать вообще никакихъ историческихъ эпохъ и отдѣльныхъ явленій въ народной жизни. Это обвиненіе такъ серьезно, что мы вынуждены для доказательства, привести безъ выпусковъ всѣ относящіяся сюда разсужденія гр. Толстого... (Слѣдуетъ выписка изъ объясненія гр. Толстого („Русск. Арх. 1868 г., № 3), начинающаяся словами: „Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событій и столь близкую къ намъ...“ и оканчивающаяся:„Поддѣлывать въ своемъ воображеніи цѣлый рядъ ретроспективныхъ умозаключеній, имѣющихъ цѣлью доказать ему самому его свободу...“).

Читатель, пожалуй, замѣтитъ намъ, что нельзя ставить въ вину роману того, что сказано въ частномъ письмѣ; бывали случаи, что авторы ошибаясь глубоко въ объясненіи причинъ и послѣдствій описанныхъ ими событій, все-таки описывали недурно самыя эти событія. Это предполагаемое замѣчаніе могло бы имѣть силу, если бы гр. Толстой не принялъ съ своей стороны всѣхъ возможныхъ для него мѣръ, чтобы отдѣлаться отъ такого рода защиты. Мысли, высказанныя въ письмѣ, повторяются цѣликомъ во многихъ мѣ-

стахъ романа; всѣ историческія событія, всѣ поступки и размышленія дѣйствующихъ лицъ вгоняются, насильственнымъ образомъ, въ заранѣе указанныя для нихъ рамки; словомъ, историческая эпоха понадобилась гр. Толстому „только въ смыслѣ иллюстраціи того закона предопредѣленія, который управляетъ исторіей“ — какъ это и сказано категорически въ пресловутомъ письмѣ. Такъ, напр., размышляя въ своемъ романѣ о причинахъ войны 1812 г., гр. Толстой приводитъ ихъ множество: несоблюденія континентальной системы, обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, властолюбіе Наполеона, твердость Александра и пр., но ни одна изъ этихъ причинъ не удовлетворяетъ его. Можно бы надѣяться, что авторъ, презрительно отвергнувъ всѣ неудовлетворительныя объясненія историковъ, дастъ намъ свое заключеніе, болѣе зрѣлое и обдуманное, вполне сообразное съ логикой и обставленное лучшими доказательствами. О, надежда, кроткая посланница небесъ! Тебѣ суждено, кажется, всегда обманывать довѣрчивыхъ людей. Вмѣсто всякихъ объясненій, гр. Толстой подчууетъ насъ слѣдущей лирической тирадой:

„Ничто не было исключительной причиной этого событія, а событіе должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были милліоны людей, отрекшись отъ своихъ человѣческихъ чувствъ и своего разума, идти на востокъ съ запада и убивать себѣ подобныхъ, точно такъ же, какъ нѣсколько вѣковъ тому назадъ съ востока на западъ шли толпы людей, убивая себѣ подобныхъ. Дѣйствія Наполеона и Александра, отъ слова которыхъ зависѣло, казалось, чтобы событіе совершилось или не совершилось — были такъ же мало произвольны, какъ и дѣйствіе cadaго солдата, шедшаго въ походъ по жребію или по набору. Это не могло быть иначе, потому что для того, чтобы (и языкъ такъ же хорошъ въ письмѣ, какъ романѣ) воля Наполеона и Александра была исполнена, необходимо было совпаденіе безчисленныхъ обстоятельствъ, безъ одного изъ которыхъ событіе не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы милліоны людей, въ рукахъ кото-

рыхъ были дѣйствительныя силы, солдаты, которые стрѣляли, везли провіантъ и пушки—надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичныхъ и слабыхъ людей и были приведены къ этому безчисленнымъ количествомъ сложныхъ причинъ. Фатализмъ въ исторіи неизбеженъ для объясненія неразумныхъ явленій, т.-е. тѣхъ, разумность которыхъ мы не понимаемъ. Чѣмъ болѣе мы стараемся разумно объяснить эти явленія въ исторіи, тѣмъ они становятся для насъ неразумнѣе, непонятнѣе. Каждый человѣкъ живетъ для себя, пользуется свободой для достиженія своихъ личныхъ цѣлей и чувствуетъ всѣмъ существомъ своимъ, что онъ можетъ сейчасъ сдѣлать или не сдѣлаетъ такое-то дѣйствіе; но какъ скоро онъ сдѣлаетъ его, такъ дѣйствіе это, совершенное въ извѣстный моментъ времени, становится невозвратимымъ и дѣлается достояніемъ исторіи, въ которой оно имѣетъ не свободное, а предопредѣленное значеніе. Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ: жизнь личная, которая тѣмъ болѣе свободна, чѣмъ отвлеченнѣе ея интересы, и жизнь стихійная, роевая (или табунная, какъ выражался нѣкогда г. Скарятинъ), гдѣ человѣкъ неизбежно исполняетъ предписанные ему законы. Человѣкъ сознательно живетъ для себя, но служитъ безсознательнымъ орудіемъ для достиженія историческихъ, общечеловѣческихъ цѣлей. Совершенный поступокъ невозвратимъ, и дѣйствіе его, совпадая во времени съ миллионами дѣйствій другихъ людей, получаетъ историческое знаніе. Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ на общественной лѣстницѣ, чѣмъ съ большими людьми онъ связанъ (то-есть съ большимъ количествомъ людей или съ людьми болѣе значительными? Къ вашему тексту необходимы подстрочныя примѣчанія, и въ этомъ отношеніи—только въ одномъ этомъ—вы сравнились съ знаменитыми древними писателями),—тѣмъ больше власти онъ имѣетъ на другихъ людей, тѣмъ очевиднѣе предопредѣленность и неизбежность каждаго его поступка. Сердце царевы въ рудѣ Божіей. Царь есть рабъ исторіи. Исторія, то-есть безсознательная, общая, роевая жизнь человѣчества, всякой минутной жизни и царей, пользуется для себя, какъ орудіемъ для своихъ цѣлей.“

Далѣ авторъ, приступая уже къ описанію самой войны, снова затягиваетъ старую пѣсню... (Приводится изъ романа выписка, начинающаяся словами: „Наполеонъ началъ войну съ Россіей потому, что онъ не могъ не пріѣхать въ Дрезденъ, не могъ не отуманиться почестями...“ Конечъ выписки заключается словами: „Ежели бы событіе не совершилось, то намеки эти были бы забыты, какъ забыты теперь тысячи и миллионы противоположныхъ намековъ и предположеній, бывшихъ въ ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытыхъ“).

Въ своемъ подробномъ разсказѣ о Бородинскомъ сраженіи гр. Толстой опять напоминаетъ намъ о своей фаталистической теоріи: „Давая и принимая Бородинское сраженіе, — говоритъ онъ, — Кутузовъ и Наполеонъ поступили произвольно и бессмысленно. А историки подъ совершившіеся факты уже потомъ подвели хитросплетенныя доказательства, предвидѣнія и гениальность полководцевъ, которые изъ всѣхъ произвольныхъ орудій міровыхъ событій были самыми рабскими и произвольными дѣятелями“.

Чтобы выдержать свою теорію историческаго безсмыслія и примѣнить ее къ цѣлому ряду фактовъ, гр. Толстой нарочно старается напутать и нагородить какъ можно больше въ своемъ романѣ; у него достается одинаково и вымышленнымъ лицамъ и историческимъ дѣятелямъ. Александръ Павловичъ выходитъ въ романѣ только въ сраженіяхъ—и выходитъ только затѣмъ, чтобы взять въ золотой лорнетъ и сказать кн. Чарторижскому: *Quelle terrible chose, que la guerre!*“ Наполеонъ смотритъ какимъ-то развоевавшимся школьникомъ, котораго, вотъ того и глади, побьютъ товарищи; князь Андрей Болконскій предается ежеминутно мистическимъ размышленіямъ, весьма сходнымъ съ размышленіями самого гр. Толстого, на тему ничтожества земного величія, а либераль Пьеръ Безухій (подѣломъ ему, либералу!) — тотъ уже просто ведетъ себя какъ полоумный...

Теперь читатель ясно видитъ, что мы имѣли полное право воспользоваться письмомъ гр. Толстого, какъ лучшимъ поясненіемъ къ его роману. Странно только, что, рассу-

ждая такимъ образомъ объ историческихъ событіяхъ, гр. Толстой относится съ замѣтной проніей къ старому князю Болконскому (отцу Андрея).

„Старый князь — говоритъ авторъ — былъ убѣжденъ не только въ томъ, что всѣ теперешніе дѣятели были мальчишки, не смыслившіе и азбуки военнаго и государственнаго дѣла, и что Бонапарте былъ ничтожный французиска, имѣвшій успѣхъ только потому, что уже не было Потемкиныхъ и Суворовыхъ противопоставить ему; но онъ былъ убѣжденъ даже, что никакихъ политическихъ затрудненій не было въ Европѣ, не было и войны, а была какая-то кукольная комедія, въ которую играли нынѣшніе люди, притворяясь, что дѣлаютъ дѣло“.

За что же вы, почтенный авторъ, обижаете старика? Что же смѣшнаго въ его разсужденіяхъ? Развѣ вы сами видите въ исторіи что-нибудь, кромѣ кукольной комедіи, „и развѣ дѣятели, выведенные вами, не притворяются также, что дѣлаютъ дѣло“?

Изумительная философія, которую высказываетъ гр. Толстой, какъ въ своемъ письмѣ, такъ и въ романѣ, — не заслуживала бы опроверженія, не стоила бы даже упоминанія, если бы она не проводилась въ публику подѣ фирмою автора, все еще уважаемаго многими читателями за его прежніе очерки и разсказы чисто художественнаго свойства (какъ, напр., Дѣтство и Отрочество), безъ всякой претензіи на рѣшеніе міровыхъ, отвлеченныхъ вопросовъ. Кромѣ того, философія эта составляетъ, такъ сказать, карикатуру на нѣкоторые выводы новѣйшей исторической науки и, при поверхностномъ взглядѣ, можетъ быть легко оправдана ими. Видно, что гр. Толстой слышалъ звонъ, но не знаетъ, гдѣ онъ...

„Такое событіе, — говоритъ гр. Толстой, — гдѣ миллионы людей убивали другъ друга, не можетъ имѣть причиной волю одного человѣка; какъ одинъ человѣкъ не могъ бы подкопать гору, такъ не можетъ одинъ человѣкъ заставить умирать 500 тысячъ“. „Чтобы воля Наполеона и Александра была исполнена, необходимо было совпаденіе безчисленныхъ

обстоятельствъ, безъ одного изъ которыхъ, событіе не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы милліоны людей, въ рукахъ которыхъ были дѣйствительныя силы, солдаты, которые стрѣляли, везли провіантъ и пушки — надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичныхъ и слабыхъ людей и были приведены къ этому безчисленнымъ количествомъ сложныхъ, разнообразныхъ причинъ“. Все это совершенно справедливо и давно разъяснено намъ мыслящими историками. Всякое историческое событіе — сопровождалось ли оно рѣзнею или не сопровождалось — выросло медленно въ жизни народовъ, и для объясненія его недостаточно указать на одну внѣшнюю, ближайшую причину. Чтобы такое событіе совершилось, необходима извѣстная обстановка, которая слагается исподоволь, вѣками, какъ вѣками же выдвигается изъ моря и снова пропадаетъ въ немъ коралловый островъ. Многочисленныя причины, событія, тянутся одна за другой, непрерывной цѣпью, такъ что, напр., для пониманія разныхъ фактовъ современной русской исторіи полезно обращаться мыслью къ монгольскому игу и къ послѣдовавшему за нимъ непомѣрному униженію народа передъ центральной властью. Столь же справедливо разсужденіе гр. Толстого о роли великихъ людей въ исторіи, за которыми онъ не признаетъ способности мгновенно передѣлывать цѣлую жизнь народа. „Самая сильная, тяжелая и постоянная связь съ другими людьми — говоритъ онъ — есть такъ называемая власть надъ другими людьми, которая въ своемъ истинномъ значеніи есть только наибольшая зависимость отъ нихъ...“ „Чѣмъ выше стоитъ человекъ на общественной лѣстницѣ, чѣмъ больше власти имѣетъ надъ другими людьми — тѣмъ очевиднѣе (мы выбрасываемъ здѣсь только одно нелѣпое слово) неизбѣжность каждаго его поступка“. Это опять-таки вполне справедливо, если мы, подъ словомъ *неизбѣжность*, согласимся понимать тѣснѣйшую связь между причиной и слѣдствіемъ. Мы ничего также не имѣемъ сказать и противъ глумленія гр. Толстого надъ способностью человека, исполняющаго самый несвободный, неизбѣжный поступокъ — „поддѣлывать въ своемъ

воображеніи цѣлый рядъ ретроспективныхъ умозаключеній съ цѣлю доказать свою свободу“. Повидимому, гр. Толстой говоритъ то же самое, что привыкли мы встрѣчать у наиболѣе смѣлыхъ прогрессивныхъ писателей настоящаго времени. Да, *повидимому!* Въ сущности же авторъ „Войны и Мира“ такъ сумѣлъ исказить долетѣвшія къ нему откуда-то здравыя мысли, такъ перетасовалъ ихъ и подвелъ къ нимъ такіе, ни съ чѣмъ несообразные, аргументы, что намъ остается только, по восточному обычаю, воскликнуть: Аллахъ! и положить въ ротъ палецъ изумленія. Прежде гр. Толстой ужасно испугался, чтобы его не приняли какъ-нибудь за матеріалиста, и началъ выгораживать изъ своихъ логическихъ построеній такъ называемую свободу воли. „Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ — сказано въ романѣ — жизнь личная, которая *тѣмъ болѣе свободна*, чѣмъ отвлеченнѣе ея интересы, и жизнь стихійная, роевая, гдѣ человѣкъ неизбѣжно исполняетъ предписанные ему законы. Человѣкъ *сознательно* живетъ для себя, но служить безсознательнымъ орудіемъ для достиженія историческихъ общечеловѣческихъ цѣлей“. Подробнѣе эта разница изъяснена въ письмѣ къ редактору „Русскаго Архива“, гдѣ гр. Толстой усиливается доказать, что маханье руками по воздуху, чтеніе книги, раздумье объ Америкѣ и пр. — все это дѣйствія свободныя, касающіяся только одного человѣка, и потому зависящія отъ его воли, а фронтовая служба, защита обвиненнаго на судѣ, сѣченье розгами дѣтей — дѣйствія, касающіяся до общества, и потому несвободныя или, какъ выражается авторъ, *предопредѣленныя* свыше. Трудно понять, на чемъ основывается эта произвольная классификація человѣческихъ поступковъ. Если свобода воли есть нѣчто независимое отъ внѣшнихъ условій, есть сила, дѣйствующая по своимъ собственнымъ законамъ, то она должна выразиться одинаково, какъ въ маханьи рукой по воздуху, такъ и въ битьѣ розгой по дѣтской спинѣ. Хочу махнуть — махну, хочу постѣчь — постѣку; ничто мнѣ не указъ, кромѣ моего личного, неограниченнаго произвола. Если же воля человѣка дѣйствуетъ въ зависимости отъ среды, въ которой обращается онъ, если для ка-

ждаго моего поступка есть причина, его обуславливающая, и я не могу, напр., не переставъ быть самимъ собою, унизиться до ручной расправы съ ребенкомъ или до умышленной потери дѣла на судѣ,—въ такомъ случаѣ меня не соблазнять ни подкупъ противной стороны, ни розги, лежащія подъ моею рукою. Наоборотъ, при другихъ условіяхъ моего собственнаго развитія, и розги и сребренники будутъ для меня непобѣдимымъ соблазномъ, съ которымъ мнѣ не подъ силу бороться. Какъ провести границу, придуманную гр. Толстымъ, между поступками, касающимися одной моей личности и поступками, въ которыхъ замѣшанъ общественный интересъ? Самоубійство, напр., произвольное или непроизвольное дѣйствіе? Поступленіе на службу съ цѣлью добыть средствъ для личнаго пропитанія? Гр. Толстого можно закидать подобными вопросами, и онъ не сумѣетъ отвѣтить на нихъ. Вѣдь личный интересъ служить стимуломъ въ общественной дѣятельности и, наоборотъ, мысль объ обществѣ, хотя бы въ формѣ княгини Марьи Алексѣевны, присутствуетъ въ головѣ каждого Фамусова. Гдѣ жъ кончается область личнаго интереса? и когда вмѣстѣ съ тѣмъ человекъ перестаетъ быть свободнымъ и становится историческою маріонеткою въ рукахъ таинственнаго фатума? Такимъ образомъ, гр. Толстой не только не рѣшаетъ интереснаго психологическаго вопроса о свободѣ воли, но запутываетъ его еще болѣе... За это не скажутъ ему спасибо ни идеалисты, ни матеріалисты. Такъ же точно исковеркалъ гр. Толстой мысли о значеніи великихъ людей въ исторіи и о сложности причинъ, производящихъ крупныя историческія событія. Великіе люди не появляются ex abrupto въ исторіи, они не всесильны, и успѣхъ ихъ дѣйствій обуславливается степенью подготовленности общества, важныя историческія событія производятся совокупностью разнообразныхъ причинъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ свою долю вліянія. Съ этимъ мы уже согласились, но тутъ не кончается аргументація гр. Толстого. Далѣе онъ доказываетъ намъ, что великіе люди безсильны не потому, что дѣятельность ихъ спотыкается о тысячу мелкихъ, незамѣтныхъ препятствій, воз-

двигаемыхъ общественною традиціей хорошаго или дурнаго закала — но потому, что жизнью ихъ руководить какое-то невѣдомое міру *предопредѣленіе*, отчасти похожее на магометанскій фатализмъ, отчасти на русскаго *суженаго*, котораго, по пословицѣ, конемъ не объѣдешь. Важнѣйшія историческія явленія не могутъ быть объяснены одною ближайшею причиною также не потому, что зерно ихъ созрѣвало медленно въ цѣломъ рядѣ предыдущихъ событій, — но потому, что ими распоряжалось все то же, никому не отдающее отчета, чудесное предопредѣленіе. „Событія совершаются только потому, что *должны* совершаться; фатализмъ въ исторіи неизбѣженъ; чѣмъ болѣе мы стараемся разумно объяснить себѣ историческія явленія, тѣмъ они становятся для насъ непонятнѣе, неразумнѣе“. Вотъ вѣнецъ философіи гр. Толстого. Мудрено наговорить въ нѣсколькихъ фразахъ столько очевидныхъ абсурдовъ. Хоть бы подумалъ гр. Толстой, что никому не лестно быть на мѣстѣ его предопредѣленія, которое буквально не вѣдаетъ, что творить, которое сегодня разрушаетъ то, что создавало вчера, а завтра начинаетъ прежнюю работу съ тѣмъ, чтобы кончить ее также внезапно и бессмысленно. Современная историческая теорія, изложенная нами, устанавливая тѣсную связь между событіями, стремится водворить между ними нѣкоторый смыслъ и порядокъ, указать путеводную нить въ изученіи прошлаго, а гр. Толстой, вывернувъ наизнанку эту теорію и пришивъ къ ней хвостъ собственнаго издѣлія, вноситъ повсюду одинъ лишь хаосъ и бессмыслицу.

Спрашивается теперь: неужели эпоха, описываемая гр. Толстымъ, такъ нелѣпа сама по себѣ, такъ исполнена внутреннихъ противорѣчій и до такой степени не подходитъ подъ разумный историческій масштабъ, что для объясненія ея понадобилось сочинить чудовищную теорію исторической безпричинности и бессмыслія? Ничуть не бывало! Матеріалы, уже теперь напечатанные (а гр. Толстой пользовался, кромѣ того, многими рукописями), даютъ намъ столько вѣрныхъ и характеристическихъ фактовъ, что по нимъ

легко реставрировать поблѣднѣвшую отъ времени историческую картину. Мы попробуемъ здѣсь сгруппировать ихъ, чтобы выяснитъ сколько-нибудь настоящій духъ и смыслъ Александровской эпохи.

Воспитаніе Александра I-го было самое счастливое: его наставникъ Лагарпъ можетъ быть названъ, по справедливости, однимъ изъ честнѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. Онъ, не стѣсняясь, раскрывалъ передъ внукомъ Екатерины II-й свой либеральный образъ мыслей, внушалъ ему любовь къ свободѣ, ненависть къ деспотизму и такъ искусно велъ свое дѣло, что успѣлъ, въ короткое время, привлечь къ себѣ умъ и чувство своего молодого, впечатлительнаго ученика. Напрасно благонамѣренные граждане, въ особенности послѣ первыхъ политическихъ волненій во Франціи, старались шпионствомъ и всякими происками вооружить Екатерину противъ опаснаго педагога (объ этомъ повѣствуетъ самъ Лагарпъ въ своихъ недавно изданныхъ запискахъ), напрасно представляли ей, что не слѣдуетъ-де львенку получать орлиное воспитаніе, какъ это позже доказано Крыловымъ въ извѣстной басенкѣ:—императрица долго не внимала гласу благоразумія, и когда рѣшилась наекнуть объ этомъ Лагарпу, дѣло было уже сдѣлано и переучивать юношу не приходилось. Честныя мысли, внушенныя ему Лагарпомъ, о правахъ народовъ, о необходимости политическихъ гарантій для народной свободы, о личномъ благородствѣ и личной отвѣтственности монарховъ предъ судомъ современниковъ и потомства,—всѣ эти мысли, попавши разъ въ молодую неиспорченную душу, произвели въ ней глубокое впечатлѣніе, которое сохранялось долго, несмотря на разныя неблагопріятныя вліянія. Но тогдашняя дѣйствительность горько противорѣчила возвышеннымъ идеаламъ: ни люди, ни учрежденія, господствовавшіе вокругъ великаго князя, нисколько не походили на тѣхъ прекрасныхъ людей и на тѣ широкія свободныя учрежденія, которыя рисовала ему смѣлая рука даровитаго наставника. „Придворная жизнь — писалъ онъ въ 1796 г. своему другу, князю

Кочубею — не для меня создана. Я всякій разъ страдаю, когда долженъ являться на придворную сцену, и кровь портится во мнѣ при видѣ низостей, совершаемыхъ другими на каждомъ шагу для полученія вышнихъ отличій, не стоящихъ въ моихъ глазахъ мѣднаго гроша. Я чувствую себя несчастнымъ въ обществѣ такихъ людей, которыхъ не желалъ бы имѣть у себя лакеями... Въ нашихъ дѣлахъ господствуетъ неимовѣрный беспорядокъ; грабятъ со всѣхъ сторонъ; всѣ части управляются дурно; порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а имперія, несмотря на то, стремится лишь къ расширенію своихъ предѣловъ. При такомъ ходѣ вещей возможно ли одному человѣку управлять государствомъ, а тѣмъ болѣе исправить укоренившіяся въ немъ злоупотребленія?“ (Восшествіе на престолъ имп. Николая, соч. бар. Корфа). Отсюда возникаетъ у Александра мысль отказаться отъ престола — мысль, которая то утихала, то возбуждалась въ немъ съ новою силою, въ теченіе всего его царствованія. Вступивъ на престолъ неожиданно для себя самого, молодой императоръ увлекся широкою перспективой, открывавшейся передъ нимъ, и началъ дѣйствовать въ духѣ политическихъ идей, внушенныхъ ему съ дѣтства. Онъ окружилъ себя людьми, заведомо преданными его реформаторскимъ планамъ. Одинъ изъ этихъ людей, при вступленіи его на престолъ (Строгановъ), писалъ Новосильцеву: „*Arrivez mon ami... Nous allons avoir une constitution*“. Образовался сейчасъ же негласный комитетъ, состоявшій изъ четырехъ лицъ (Строгановъ, Новосильцевъ, Кочубей, Чарторижскій), въ которомъ обсуждались всѣ важнѣйшіе вопросы государственнаго устройства. Рѣшено было заняться сначала общимъ обзоромъ дѣйствительнаго состоянія имперіи, затѣмъ перейти къ реформамъ въ различныхъ частяхъ администраціи и покончить все это прочною политическою гарантіею, т.-е. „конституціей, согласной съ истиннымъ духомъ народа“. (Перв. эпоха преобразованій имп. Алекс. I, ст. Богдановича). Изъ протоколовъ этого комитета, веденныхъ въ 1801 г. гр. Павломъ Строгановымъ видно, что пренія касались многихъ, весьма

важныхъ сторонъ государственной жизни. Такъ, напр., одинъ за другимъ, подняты были вопросы: о нашей внѣшней политикѣ, объ уничтоженіи крѣпостного права, о введеніи *habeas corpus* *), о преобразованіи сената въ законодательный корпусъ, о народномъ образованіи и проч. Но толки эти не привели ни къ чему рѣшительному, несмотря на искреннее желаніе императора „наложить узду на произволъ нашего правительства“. Причины неуспѣха были слѣдующія. Во-первыхъ, самъ императоръ, при всемъ благородствѣ своихъ намѣреній, не обнаружилъ достаточно твердости и энергіи характера, чтобы идти, не уклоняясь, по однажды избранному пути; во-вторыхъ — даже самые лучшіе изъ его совѣтниковъ не могли выставить цѣльной, вполне обдуманной политической программы, и часто расходились другъ съ другомъ по вопросамъ первостепенной важности. Только одинъ Радищевъ высказывался вполне опредѣленно въ законодательной комиссіи, состоявшей подъ предсѣдательствомъ Завадовскаго, но именно эта опредѣленность сильно не понравилась предсѣдателю комиссіи, и онъ, безъ дальнихъ околичностей, напомнилъ строптивому члену о Сибири, изъ которой онъ только что воротился. Радищевъ, къ сожалѣнію, не былъ приближенъ къ особѣ императора, и мнѣнія его могли доходить до Александра только черезъ третьи руки. Въ то время, какъ ближайшіе совѣтники государя разногласили между собою и не знали какъ и за что приняться, противники всякихъ реформъ доказывали дружно, что и не слѣдуетъ ни за что принимать, потому что все обстоитъ благополучно. Кончилось тѣмъ, по словамъ г. Богдановича, что „молодые сотрудники императора, не видя никакой пользы отъ своихъ нововведеній, упали духомъ; государь сталъ менѣе вѣрить ихъ способностямъ, а они потеряли надежду на его опору!“

Но проклятый конституціонный духъ, противъ котораго

*) *Habeas corpus* — такъ называется въ англійской конституціи право каждаго гражданина требовать суда или освобожденія отъ ареста, незаконно наложеннаго. Оно дано въ 1680 г. и служитъ главнымъ основаніемъ личной свободы въ Англіи.

такъ ревностно вооружался Гавріиль Державинъ, не испарился и послѣ паденія интимнаго комитета. Въмѣсто цѣлаго комитета, одинъ Сперанскій сталъ у трона и началъ новыя преобразовательныя попытки, уже не на англійскій (какъ прежде), а на французскій образецъ. Планъ всеобщаго государственнаго преобразованія, задуманный Сперанскимъ, былъ выполненъ только въ нѣкоторыхъ второстепенныхъ подробностяхъ. „Важнѣйшія части этого плана — говоритъ баронъ Корфъ,—никогда не осуществились. Приведено было въ дѣйствіе лишь то, что самъ Сперанскій считалъ болѣе или менѣе независимымъ отъ общаго круга задуманныхъ преобразованій; все прочее осталось только на бумагѣ и даже исчезло изъ памяти людей, какъ стертый временемъ очеркъ смѣлаго карандаша“. Но судя по нѣкоторымъ частямъ этого плана, уже приведеннымъ въ исполненіе, можно съ достовѣрностью сказать, что въ немъ-то и заключалась обѣщанная въ 1801 г. конституція. Сперанскій, повидимому, настаивалъ на быстромъ и одновременномъ осуществленіи всѣхъ частей своего проекта; но этотъ смѣлый шагъ показался, должно быть, опаснымъ самому государю, предупрежденному противъ Сперанскаго Карамзинымъ и другими усердными патріотами. „Полезнѣе, можетъ быть, было бы—писалъ Сперанскій къ Александру изъ ссылки—всѣ установленія плана, приуготовивъ вдругъ, открыть единовременно: тогда они явились бы всѣ въ своемъ размѣрѣ и стройности, и не произвели бы никакого въ дѣлахъ смѣшенія. Но ваше величество признали лучшимъ терпѣть на время укоризну нѣкотораго смѣшенія, нежели все вдругъ перемѣнить, основавшись на одной теоріи. Сколько предусмотрѣно сіе ни было основательно, но въ послѣдствіи оно сдѣлалось источникомъ ложныхъ страховъ и неправильныхъ понятій. Не зная плана правительства, судили намѣреніе его по отрывкамъ, порицали то, чего еще не знали, и, не видя точной цѣли и конца перемѣнъ, страшились вредныхъ уновленій“. Мы думаемъ, что уновленія эти были вовсе не радикальныя, и конституція вышла бы самая скромная, т.-е. самая необходимая для правъ

и преимуществъ верховной власти; но уже одного слова „конституція“ было достаточно въ то время, чтобы поставить на ноги всѣхъ защитниковъ доброй старины. Если ужъ выраженіе: „внявъ мнѣнію государственнаго совѣта“ казалось многимъ оскорбленіемъ величества (см. Жизнь гр. Сперанскаго, т. 1, стр. 120), то можно представить себѣ, какой переполохъ поднялся бы при выполненіи другихъ, болѣе существенныхъ, частей проекта Сперанскаго. Объ этомъ переполохѣ можно судить по тѣмъ возраженіямъ, которыя дѣлалъ Карамзинъ на самые невинные пункты реформы Сперанскаго. Такъ, напр., въ одномъ параграфѣ общаго учрежденія министерствъ постановлено было, что „не вмѣняются въ отвѣтственность министра тѣ распорядительныя мѣры, которыя, по особеннымъ высочайшимъ повелѣніямъ, будутъ доставлены къ исполненію министра безъ его скрѣпы“. Это значило, что верховная власть имѣетъ право лично повелѣть министру исполнить какую-нибудь мѣру и что министръ, какъ исполнитель верховной власти, уже не подлежитъ отвѣтственности за эту мѣру. Карамзинъ въ секретной запискѣ, поданной государю, перетолковалъ этотъ пунктъ и затѣмъ пустился сѣтовать объ упадкѣ верховной власти въ Россіи. „Осуждаю — пишетъ онъ — постановленіе, если государь издаетъ указъ, несогласный съ мыслями министра, то министръ не скрѣпляетъ онаго своею подписью. (Какъ это похоже на приведенный нами пунктъ!). Слѣдственно (?), въ государствѣ самодержавномъ министръ имѣетъ право объявить публикѣ, что выходящій указъ, по его мнѣнію, вреденъ? Министръ есть рука вѣнценосца — не больше, а рука не судитъ головы. Министръ подписываетъ именныя указы не для публики, а для императора, въ увѣреніе, что они написаны слово въ слово такъ, какъ онъ приказалъ. Подобныя ошибки въ коренныхъ государственныхъ понятіяхъ едва ли извинительны“. Чтобы опредѣлить важную отвѣтственность министра, авторъ (т.-е. Сперанскій) пишетъ: „министръ судится въ двухъ случаяхъ: когда преступить мѣру власти своей или когда не воспользуется данными ему способами для отвра-

щенія зла". Гдѣ же означена сія мѣра власти и сіи способы? („Въ томъ же учрежденіи министерствъ", замѣчаетъ на это баронъ Корфъ).—Прежде надобно дать законъ, а послѣ говорить о наказаніи преступника. Сія громогласная отвѣтственность министровъ въ самомъ дѣлѣ можетъ ли быть предметомъ торжественнаго суда въ Россіи? Кто ихъ избираетъ? Государь. Пусть онъ награждаетъ достойныхъ своею милостію, а въ противномъ случаѣ удаляетъ недостойныхъ безъ шума, тихо и скромно. Худой министръ есть ошибка государства; должно исправлять подобныя ошибки, но скрытно, чтобы народъ имѣлъ довѣріе къ выборамъ царскимъ. Разматривая такимъ образомъ сіи новыя государственныя творенія и видя ихъ незрѣлость, добрые россияне жалуютъ о бывшемъ порядкѣ вещей. Съ сенатомъ, съ коллегіями, съ генералъ-прокуроромъ у насъ шли дѣла, и прошло блистательное царствованіе Екатерины II-й. Всѣ мудрые законодатели, принуждаемые измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ". Эти добрые россияне такъ хлопотали о Сперанскомъ въ 1812 г., что его, безъ суда и слѣдствія, сослали въ Пермь. Радость ихъ по этому случаю была необычайная. Вотъ что писалъ Булгаковъ (А. Я.), современникъ этого событія, въ своемъ дневникѣ: „*Марта 22.* Открытъ въ Петербургѣ заговоръ, состоявшій въ томъ, чтобы продать Россію французамъ. Бездѣльный Сперанскій и Магницкій арестованы и въ крѣпость посажены; бумаги ихъ разсматриваются комиссіей, составленной изъ гр. Салтыкова (А. Н.), Р. А. Кошелева и Балашова. Славный Армфельтъ (баронъ Густавъ Маврикій, впоследствии графъ), вступившій недавно въ нашу службу генералъ-губернаторомъ Финляндіи, все открылъ государю черезъ Ник. Ив. Салтыкова. Участники суть: Маринъ, Воейковъ, Болговскій и пр. Они всѣ взяты и заключены. Какъ не сдѣлать примѣрнаго наказанія—Сперанскаго не повѣсить? О извергъ, чудовище, неблагодарная, подлая тварь! Ты не былъ достоинъ званія російскаго дворянина: оттого-то ты ихъ и гналъ! 26 марта Жерье отставленъ. Иллюминатская шайка истребляется по-

малу... Теперь видна дьявольская рука, которая вела насъ къ пропасти. У насъ вошло въ поговорку говорить при появленіи всякаго указа и манифеста: ежели бы нарочно дѣлали, нельзя бы хуже сдѣлать того, что мы видимъ. Оно такъ и было. Разрушительный геній Сперанскаго руководилъ всѣмъ“. Далѣе слѣдуетъ у Булгакова, списокъ тяжкихъ государственныхъ преступленій Сперанскаго: 1) „онъ открылъ государственную тайну; объявилъ манифестомъ 650 милліон. ассигнацій: рубль сдѣлался четверть въ ту же минуту. 2) Составилъ совѣтъ (государственный) изъ срока человѣкъ: вещь безразсудная и не имѣющая примѣра. 3) Позволилъ напечатаніе Строгановскаго сочиненія: объ условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами. 4) Препградилъ дворянству путь къ чинамъ асессора и статскаго совѣтника“ (т.-е. заставилъ ихъ держать на эти чины экзаменъ въ университетѣ). Такъ разсуждали наши ретрограды вслѣдъ за паденіемъ Сперанскаго и, укрѣпляясь болѣе и болѣе въ мнѣніи государя, выставляли себя спасителями отечества. Между тѣмъ ни Чарторижскій ни Чацкій (сдѣлавшіеся нынѣ мишенью для патріотическихъ нападеній) не повредили Россіи столько, сколько повредила ей эта нелѣпая, упрямая партія, подкапывавшаяся съ тайнымъ злорадствомъ подъ всѣ реформы Александровскаго царствованія.

Чарторижскій, безъ сомнѣнія, желалъ пользы своему отечеству; какъ природный и знатный полякъ, стоявшій въ двухъ шагахъ отъ польскаго престола, онъ мечталъ о восстановленіи Польши, и надѣялся добиться этого, при добровольномъ содѣйствіи государя, который, еще бывши великимъ княземъ, не разъ говаривалъ, что „дѣйствія Екатерины въ отношеніи Польши кажутся ему несправедливыми, и что онъ сочувствуетъ національнымъ стремленіямъ поляковъ“ (См. стат. г. Богдановича). Все это очень естественно и иначе быть не могло. Но пользу своего отечества Чарторижскій видѣлъ въ большей свободѣ, предоставленной самимъ русскимъ, въ большемъ политическомъ развитіи страны, имѣвшей прямое и непосредственное вліяніе на его родину; этимъ путемъ надѣялся онъ установить ме-

жду Россіей и Польшей менѣе тягостныя условія зависимости. Мы не знаемъ, напр., откуда почерпнулъ г. Ратчъ свое свѣдѣніе о томъ, что Чарторижскій способствовалъ паденію Сперанскаго и былъ врагомъ освобожденія крестьянъ,—ничего подобного не нашли мы въ матеріалахъ, которые имѣются у насъ поѣзъ руками. Напротивъ, въ протоколахъ гр. Строганова (ревностнаго защитника крестьянской свободы) прямо сказано, что Чарторижскій поддерживалъ его сторону и рѣшительно осуждалъ „ужасное право“ русскихъ помѣщиковъ. О враждѣ его съ Сперанскимъ ничего неизвѣстно, скорѣе можно думать, что онъ сочувствовалъ реформамъ, такъ какъ онъ клонились къ расширенію политической свободы въ Россіи. Врагомъ просвѣщенія въ Россіи его также нельзя назвать: планъ устройства учебныхъ заведеній, составленный имъ, вошелъ въ число важнѣйшихъ матеріаловъ, которыми руководствовалось главное правленіе училищъ при образованіи нашей системы общественнаго воспитанія. (См. Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи г. Сухомлинова). Совсѣмъ иначе смотрѣли на пользу Россіи приверженцы ретроградной партіи—Державинъ, Шишковъ, а за ними и Карамзинъ, почерпнувшій изъ русской исторіи полнѣйшую ненависть ко всѣмъ либеральнымъ идеямъ, заносимымъ къ намъ съ запада. По ихъ мнѣнію, крестьянъ освобождать не слѣдовало, потому что имъ хорошо живется и при крѣпостномъ правѣ; думать о какихъ-то политическихъ гарантіяхъ свободы — тоже не подобало; что же касается до развитія просвѣщенія и литературы въ Россіи, то Шишковъ совѣтовалъ усилить строгость цензуры, чтобы прекратить „умышленные и неумышленные худости, служащія къ воспламенѣнію умовъ и къ распространенію заблужденій“ и, кромѣ того, предлагалъ внимательнѣе наблюдать за лекціями профессоровъ, которые „пріучились думать и писать обо всемъ свободно или, лучше сказать, разсуждать и умствовать дерзко, не соображаясь ни съ какими общими правилами, ниже съ нравоученіями вѣры“. Понятно, куда привели Россію эти самозванные благодѣтели отечества, вопившіе ежеминутно объ

упадкѣ религіи, о растлѣніи нравственности; объ опасностяхъ революціи, готовою воспламениться отъ проектируемыхъ реформъ, журнальныхъ статей и общественныхъ училищъ. Крестьянскую реформу они успѣли таки затормозить, — и въ 1812 г., цѣлыя селенія, подальше отъ Москвы, (какъ это видно изъ романа гр. Толстого) ожидали себѣ свободы отъ иноземнаго нашествія. *Народная* война, о которой наговорили намъ столько басенъ, оказывается, при ближайшемъ изслѣдованіи, далеко не народною. Сражалось сначала одно только войско, предводимое полководцами, потерявшими голову, а народъ, во многихъ мѣстностяхъ, прельщенный свободою, которую сулили ему французскіе генералы, мирно оставался подъ своими кровлями и даже не выпускалъ своихъ помѣщиковъ. Казаки грабили деревни, оставляемыя жителями, а французы платили за провіантъ: помѣщикамъ — золотомъ, а крестьянамъ — ассигнаціями. Эти ассигнаціи были, правда, фальшивыя; но вѣдь крестьяне и теперь не мастера различать фальшивыя бумажки отъ настоящихъ, и наполеоновскія поддѣлки мало кого приводили въ смущеніе. Въ Москвѣ, по вступленіи французовъ въ Россію, обнаружилось противъ нихъ безпощадное ожесточеніе; французскій языкъ на время былъ изгнанъ изъ салонныхъ бесѣдъ, и многіе аристократы взяли себѣ русскихъ учителей; на улицѣ опасно было произнести хоть одно французское слово, потому что всякій говорящій на языкѣ Наполеона считался уже его союзникомъ. Въ эту эпоху патріотическаго терроризма всплывала наружу вся грубость нравовъ, едва прикрытая виѣшнимъ европейскимъ лоскомъ, и публика просвѣщенная и непросвѣщенная съ удовольствіемъ присутствовала на экзекуціяхъ заподозрѣнныхъ въ шпіонствѣ французовъ. Но съ приближеніемъ Наполеона пережилось во многомъ и настроеніе Москвы. „Въ Москвѣ — говорится въ одной интересной статьѣ о гр. Растопчинѣ — жили не одни патріоты и храбрецы. Были въ ней и малодушные, и легковѣрные люди, и себялюбцы, готовые поклониться въ поясъ побѣдителю, лишь бы сберечь свое достоинство и свою бесполезную

жизнь; были въ ней и надѣявшіеся, по пристрастію своему къ иностранцамъ, всего лучшаго для себя при завоеваніи Россіи французами. Въ народѣ ходили всевозможные толки и слухи. Однихъ они приводили въ трепеть, другихъ въ искушеніе“. Гр. Растопчинъ старался подзадоривать упавшій духъ народа своими юмористическими афишками; но люди побогаче, купцы, дворяне, чиновники съ женами и дѣтьми, не довѣряясь хвастливымъ внушеніямъ московскаго градоначальника, одинъ за другимъ, оставляли Москву. Бѣднѣйшій классъ народа (такъ называемое простонародье), которому нечего было терять и который болѣе всего довѣрялъ растопчинскимъ афишкамъ, хладнокровно смотрѣлъ на эту поголовную эмиграцію барства и воздерживался отъ всякихъ демонстрацій; но какъ только разнеслась вѣсть о скорой сдачѣ Москвы Наполеону—онъ сбросилъ съ себя узду и пустился грабить кабаки (см. Чтен. въ Имп. общ. древн. Рос. 1861 г., кн. 4). 31 августа въ Москву вступаютъ, ретируясь отъ непріятеля, наши казачьи отряды и, первымъ дѣломъ, разграбливаютъ скотный дворъ, принадлежавшій Воспитательному Дому. За ними, 1 сентября, приходятъ регулярныя войска и разбиваютъ нѣсколько питейныхъ домовъ, изъ которыхъ рабочіе люди обоего пола и караульщики таскаютъ вино ведрами, горшками, кувшинами. 2-го сентября, въ день вступленія французовъ въ Москву, народъ, еще оставшійся въ городѣ, окружаетъ домъ главнокомандующаго и требуетъ отъ него, чтобы онъ исполнилъ свое обѣщаніе и шелъ сражаться, во главѣ этого импровизованнаго войска, съ Наполеономъ. Но писать игривыя афишки было легче, чѣмъ идти, въ самомъ дѣлѣ, съ вилами и рогатинами противъ хорошо вооруженнаго непріятеля... Чтобы отвлечь отъ себя грозу, Растопчинъ придумалъ недурной громоотводъ. Въ тюрьмѣ, въ это время, сидѣлъ нѣкто Верещагинъ, сынъ пивовара, обвиненный (неизвѣстно—справедливо ли) въ томъ, что онъ перевелъ на русскій языкъ и распространялъ въ Москвѣ двѣ наполеоновскія прокламаціи. Верещагина привели изъ временной тюрьмы, и Растопчинъ, взявъ его за руку, вскричалъ на-

роду, толпившемуся на его дворѣ: „Онъ измѣнникъ! отъ него погибаетъ Москва!“ Тутъ ординарецъ Бурдаевъ ударилъ его саблей въ лицо; несчастный палъ, испуская стоны; народъ сталъ терзать его и волочить по улицамъ. Растопчинъ же, по словамъ современника, Бестужева, — воспользовавшись этимъ смятеніемъ, сошелъ съ крыльца и въ заднія ворота своего дома выѣхалъ изъ Москвы на дрожкахъ. Война сдѣлалась народною только тогда, когда французы потеряли уже всѣ шансы на успѣхъ, когда они сами предались мародерству и, наконецъ, стали утекать восвояси. Тутъ, дѣйствительно, поднялись крестьяне съ вилами, топорами и прочими атрибутами народной войны, и надъ плѣнными французами стали совершаться экзекуціи, подобныя той, какая описана въ стихотвореніи Некрасова. Словомъ, говоря стихами Пушкина:

Вослѣдъ тирану полетѣло,
Какъ громъ, проклятіе племенъ.

Но когда еще нельзя было предвидѣть, что проклятіе полетитъ послѣдъ отступающей и разбитой арміи — отъ него воздерживались одинаково и помѣщики и крестьяне. Такимъ образомъ, если мы зададимъ себѣ вопросъ: отчего же, какими судьбами погибло въ Россіи огромное, отлично дисциплинированное и воодушевленное именемъ своего вождя войско Наполеона, то получимъ отвѣтъ, вовсе неутѣшительный для нашей патріотической гордости. Оно погибло всего менѣе отъ нашей храбрости и нашего единодушія и всего болѣе — отъ страшной опрометчивости самого Наполеона. Начни онъ войну двумя мѣсяцами раньше, и, къ тому же, начни ее не съ сѣвера, а съ юга, какъ Карлъ XII или какъ Наполеонъ III, и, Богъ вѣсть, въ чьихъ бы рукахъ находились теперь наши южныя и юго-западныя провинціи. Тогда тридцатиградусный морозъ не былъ бы нашимъ безкорыстнымъ союзникомъ, и вилы и топоры, пожалуй, и вовсе не поднялись бы на защиту отечества. Чѣмъ дальше отъ Москвы, и именно чѣмъ дальше по направленію къ югу, къ Малороссіи, которая недавно была закрѣплена и живо

чувствовала тяжесть рабства — тѣмъ чаще повторялись бы аресты помѣщиковъ крестьянами и тѣмъ менѣе помогало бы имъ заступничество поручиковъ Ростовыхъ.

Мы охотно признаемъ, вмѣстѣ съ нашими военными историками, что русская армія оказала подѣ Бородинѣмъ чудеса мужества, что Багратіонъ умеръ героемъ, что Кутузовъ былъ опытный и искусный генералъ; но всего этого, повторяемъ, было слишкомъ недостаточно, чтобы спасти Россію, если бы не присоединились къ этому суровость сѣвернаго климата, громадность разстояній, совсѣмъ не принятая Наполеономъ въ соображеніе и, вслѣдствіе того, неосторожная растянутасть операціонной линіи непріятеля. Графъ Толстой правъ, говоря, что у насъ слишкомъ много приписываютъ талантамъ и предусмотрительности полководцевъ. Участіе народныхъ массъ было самое ничтожное въ наиболѣе критическую минуту „народной войны“; да оно и не мудрено! За что стали бы сражаться эти народныя массы, обдѣленные, по милости нашихъ псевдо-патріотовъ, первѣйшимъ благомъ гражданской жизни—личной свободой? Онѣ могли только слѣпо подчиняться внѣшней инициативѣ — сегодня французскому генералу, завтра поручику Ростову. Религіозный стимулъ, правда, дѣйствовалъ въ нашемъ народѣ, и одному энергическому священнику удалось, кажется, поднять малочисленную толпу крестьянъ; но вѣдь 1812 годъ—не время крестовыхъ походовъ, и полагаться на одно религіозное возбужденіе было очень и очень рискованнымъ дѣломъ. Другого же стимула, который дѣйствуетъ въ наше время сильнѣе всѣхъ прочихъ, того могучаго чувства, которое Карамзинъ называетъ „политическою любовью“ къ странѣ, къ ея учрежденіямъ—не было и не могло быть въ нашихъ народныхъ массахъ. „Вишь научила ловко!—отвѣчали крестьяне своей госпожѣ, Марьѣ Болконской. За ней въ крѣпость (т.-е. подѣ крѣпостное право) пойдѣ. Дома разори да въ кабалу и ступай“. Нужно сознаться, что въ этихъ словахъ была своя, сильная логика отчаянія. Кто-жъ виноватъ въ недостаткѣ этого политическаго чувства въ народѣ — тогдашніе либералы, говорившіе новѣйшимъ офран-

цуженнымъ стилемъ, или самозванные патріоты, гордившіеся (какъ Шишковъ) церковно-славянскимъ пошибомъ рѣчи? — рѣшить этотъ вопросъ не трудно, имѣя всѣ данныя подъ руками.

Счастливое избавленіе Россіи отъ грозившей ей опасности показалось до того необычайнымъ нашимъ предкамъ, что они всецѣло приписали его одной волѣ Божіей, при слабости участіи человѣческихъ силъ и средствъ. Съ этого времени начали распространяться у насъ, подъ благовиднымъ покровомъ религіи, подновленное масонство и туманнѣйшій мистицизмъ. Многіе (въ числѣ ихъ самъ государь) отдавались при этомъ искреннему порыву своего сердца, другіе же (большая часть) поддѣлывались только подъ тонъ, господствовавшій въ обществѣ и, всего болѣе, въ верхнихъ слояхъ его. Подъ этимъ мистическимъ настроеніемъ заключили мы священный союзъ, принципы котораго, при помощи Голицына, Магницкаго и др., стали переселяться изъ внѣшней политики въ нашу внутреннюю жизнь. Священный союзъ, какъ это признано нынче всѣми, сдѣлалъ русское имя—символъ всякаго ретрогадства и косности—ненавистнымъ въ Европѣ. Внутри Россіи цензура, руководствуемая княземъ Голицынымъ, угнетала, какъ никогда, русскую мысль. Реакціонная партія, прикрывавшаяся прежде патріотизмомъ, вооружилась теперь напускной религіозностью.

„Тотъ самый духъ,—говоритъ Магницкій, — который у Іосифа II подъ личиною филантропіи (авторъ только изъ приличія, а можетъ быть страха ради іудейскаго, не упомянулъ здѣсь о Екатеринѣ II), у Фридриха, Вольтера, Руссо и энциклопедистовъ подъ скромнымъ плащомъ философизма, въ царствованіе (?) Робеспьера подъ красною шапкою свободы, у Бонапарте подъ трехцвѣтнымъ перомъ консула и, наконецъ, въ коронѣ императорской, искалъ овладѣть вселенною, низвергнуть алтари Господни и престолы законныхъ государей, спустить съ цѣпи всѣ страсти падшаго человѣка (что за бессмысленный наборъ словъ!) и преобразить землю во адъ,—тотъ самый духъ нынѣ, съ трактатами философій и съ хартіями конституцій въ рукѣ, по-

ставилъ престолъ свой на западѣ и хочетъ быть равенъ Богу... Когда водворился общій миръ, когда миръ сей запечатлѣнъ именемъ Іисуса (свѣщ. союзъ), когда государи европейскіе сами поставили себя въ невозможность его нарушить, взволновались университеты, явились изступленные безумцы, требующіе смерти, труповъ, ада (?!). Что значить неслыханное сіе въ исторіи явленіе? Чего хотятъ народы посреди общаго спокойствія, подъ властію кроткихъ государей, среди всѣхъ благъ законной свободы? Чего хотѣли Зандъ (убійца продажнаго писателя Коцебу), Тистельвудъ, Лувель? Нѣтъ ни враговъ ни опасности, и все въ движеніи. Константинополь покоенъ, въ Парижѣ и Лондонѣ жалуются на тиранство. Не очевидно ли изъ самаго хода и безумства сихъ происшествій, откуда они рождаются? „Прочь алтари, прочь государи, смерть и адъ надобны“, вопіютъ уже во многихъ странахъ Европы (?!). Какъ не узнать, чей это голосъ? Самъ князь тьмы видимо подступилъ къ намъ... Слово человѣческое есть проводникъ адской силы, книгопечатаніе—орудіе его; профессеры безбожныхъ университетовъ передаютъ тонкій адъ невѣрія и ненависти къ законнымъ властямъ несчастному юношеству“.

Записка Магницкаго была подана въ главное правленіе училищъ въ 1820 г. Напрасно Фусъ, благоразумѣйшій членъ главнаго правленія, возражалъ противъ этого горячечнаго бреда, противъ этого безстыднаго лганья на исторію и на здравый человѣческій смыслъ вообще:—его слабое возраженіе не было услышано, потому что Магницкій былъ очень силенъ въ то время, и всѣ университеты признаны безбожными. Казанскій университетъ не былъ закрытъ, только благодаря личному вниманію государя; профессора петербургскаго университета были отданы подъ судъ, и одинъ изъ нихъ пострадалъ за то, что знакомилъ студентовъ съ философій Шеллинга, „открыто противной божественному ученію“. Дерзость Магницкаго доходила до того, что онъ писалъ доносъ Александру на вел. кн. Николая Павловича за то, что послѣдній дозволилъ профессору Арсеньеву, удаленному изъ петербургскаго университета, давать уроки

въ инженерномъ корпусѣ. Въ 1824 г. министръ просвѣщенія Голицынъ былъ признанъ недостаточно благочестивымъ, и лишился мѣста по проискамъ архимандрита Фотія, Могилецкаго (своего прежняго кліента) и Аракчеева. (См. Воспоминанія Панаева.) Учредитель военныхъ поселеній дѣлается, уже безъ всякаго совмѣстничества, главнѣйшимъ лицомъ въ правительствѣ.

„Графъ Сперанскій и графъ Аракчеевъ — справедливо изумляется г. Ковалевскій — какимъ образомъ сопоставить два эти лица вмѣстѣ? Одинъ съ обширнымъ образованіемъ, съ умомъ, на лету улавливающимъ идеи и слова Александра и излагающимъ ихъ въ прекрасной формѣ на бумагѣ, съ манерами вкрадчивыми, льстивыми безъ униженія, съ побужденіями возвышенными, со страстями благородными, скитающійся въ отчаяніи въ глѣсу по смерти своей нѣжной и милой Элизы. Другой — нрава крутого, сердца жестокаго, неумолимаго, любовникъ чудовищной Настасьи, который, по смерти ея, тоже приходитъ въ отчаяніе, но выражаетъ его иначе — истязаньемъ бѣдныхъ крестьянъ Грузина, мало образованный, не умѣющій написать дневного приказа безъ грамматическихъ ошибокъ. Одинъ, въ пылкомъ воображеніи своемъ, хотѣлъ создать для Россіи храмъ славы, въ который могъ бы внести свое окруженное блескомъ имя; другой строилъ для нея казарму и ставилъ у дверей фельдфебеля, чтобы легче было наблюдать за нею“.

Быть можетъ, въ этой краткой характеристикѣ авторъ нѣсколько изукрасилъ личность Сперанскаго, но насчетъ Аракчеева съ нимъ слѣдуетъ вполне согласиться.

Либеральное движеніе, возникшее въ русскомъ обществѣ съ первыхъ годовъ царствованія Александра, не затихло и послѣ 12 года; оно даже усилилось послѣ похода русскихъ войскъ въ Парижъ и, въ особенности, послѣ рѣчи, произнесенной (въ 1818 г.) императоромъ въ Варшавѣ при открытіи польскаго сейма. „Варшавская рѣчь — говоритъ Пушкинъ — отразилась въ сердцахъ нашихъ молодыхъ людей“. Въ то время, когда въ Россіи цензура преслѣдовала „духъ журналовъ“ за его конституціонное направленіе, Александръ

въ Варшавѣ говорилъ польскимъ депутатамъ, что законно-свободныя постановленія не суть мечта опальная; напротивъ, таковыя постановленія совершенно согласуются съ порядкомъ и утверждаютъ истинное благоденствіе народовъ“.

При такой двойственности въ направленіи нашей политики воспиталось поколѣніе 14 декабря. Пылкіе умы, проникнутые либеральными идеями, отголоски которыхъ громко раздавались въ Россіи, долго ждали мирнаго ихъ осуществленія въ русской жизни; наконецъ, понадѣявшись на свои силы, пошли путемъ, строго осуждаемымъ положительными законами. Послѣдствія извѣстны. Цвѣтъ русскаго общества, который, при другихъ условіяхъ, могъ бы составить силу и гордость родной страны, погибъ въ ссылкѣ и въ заточеніи.

Въ краткомъ очеркѣ александровскаго царствованія, составленномъ нами по однимъ лишь печатнымъ источникамъ, мы хотѣли показать, что сущность и смыслъ этого интереснѣйшаго періода въ новой русской исторіи заключается въ постоянной, напряженной борьбѣ между реакціей и либеральнымъ направленіемъ, сильно распространившимся въ Россіи. Гр. Толстой, имѣвшій въ своемъ распоряженіи, кромѣ печатныхъ, еще и рукописные матеріалы, долженъ былъ замѣтить это въ болѣе степени, чѣмъ мы. Эта борьба вовсе не была мелка и ничтожна; она охватывала все наше образованное и даже грамотное общество, ей приносились на жертву и личное спокойствіе и эгоистическіе интересы коноводовъ движенія.

Въ своихъ замѣчаніяхъ на исторію Карамзина, Никита Муравьевъ не соглашается съ мыслию, что исторія должна мирить людей съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ.

„Конечно — говоритъ онъ — несовершенство есть неразлучный товарищъ всего земнаго; но исторія должна ли только мирить насъ съ несовершенствомъ, должна ли погружать насъ въ нравственный сонъ квіетизма? Въ томъ ли состоитъ гражданская добродѣтель, которую народное бытописаніе воспламенять обязано? Не миръ, но брань

вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ; добродѣтельные граждане должны быть въ вѣчномъ союзѣ противу заблужденій и пороковъ. Не примиреніе наше съ несовершенствомъ, не удовлетвореніе суетнаго любопытства, не пища чувствительности, не забавы праздности составляютъ предметъ исторіи. Она возжигаетъ соревнованіе вѣковъ, пробуждаетъ душевныя наши силы и устремляетъ къ тому совершенству, которое суждено на землѣ. Священными устами исторіи праотцы взываютъ къ намъ: „не посрамите земли русскія“. (Журн. Минист. Нар. Просв. 1867 г. ст. г. Галахова)“.

Для многихъ мыслящихъ людей того времени эта борьба со зломъ (такъ, какъ они его понимали) составляла жизненный принципъ, святое и доброе дѣло, которому безраздѣльно отдавались они всею душою. Борьба эта, послѣ 12 года, при нѣкоторыхъ раздражающихъ обстоятельствахъ, сдѣлалась ярче и страстнѣе; но она очень замѣтна и въ первыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Уловилъ ли гр. Толстой эту характеристическую черту и, если уловилъ, то выполнялъ ли онъ тѣ требованія, которыя, полвѣка тому назадъ, предъявлялъ Муравьевъ историку народа? Гр. Толстой не историкъ, а романистъ; но это только усиливаетъ строгость требованія. Онъ менѣе былъ стѣсненъ историческими фактами, ему больше было простора выразить свои сочувствія къ той или другой изъ борющихся сторонъ.

Оказывается, что авторъ „Войны и Мира“, желая открыть своимъ романомъ новую эпоху въ исторіи русской литературы, на самомъ дѣлѣ, воскрешаетъ въ ней эпоху старую, да еще и очень старую. Романъ его знакомитъ насъ съ 1812-мъ годомъ столько же (если не меньше), какъ „Юрій Милославскій“ съ 1612-мъ годомъ, хотя, рамки исторической картины гораздо обширнѣе у гр. Толстого. Философская же начинка, которою авторъ обильно снабдилъ цѣлыя главы „Войны и Мира“, если и отличаетъ этотъ романъ отъ „Юрія Милославскаго“, то отличіе служитъ не къ выгодѣ гр. Толстого. Батальныя описанія также хороши въ обоихъ романахъ, но добросовѣстность требуетъ приба-

вить, что описанія Загоскина обладают качеством, котораго нѣтъ у Толстого—именно краткостью. Смысла борьбы которая характеризуетъ обѣ эти эпохи, раздѣленные двумя столѣтіями, не ищите ни въ томъ ни въ другомъ романѣ. Герои гр. Толстого, большею частью, упражняются въ стрѣльбѣ, то-есть находятся на войнѣ; въ мирное время они сѣзжаются то у фрейлины Шереръ, то у гостепріимныхъ графовъ Ростовыхъ (семейство очень любезное автору), пьютъ, ѣдятъ, часто танцуютъ и болтаютъ на ужасномъ французско-нижегородскомъ нарѣчьи самыя незначительныя и пустыя вещи. Герои эти—всѣ люди съ хорошими манерами, принадлежатъ къ сливкамъ высшаго общества и, можетъ быть, по сходству съ извѣстными покойниками интересны для двухъ-трехъ читателей. Вообще романъ гр. Толстого представляетъ, съ этой стороны, какую-то семейную хронику великосвѣтскихъ фамилій... Между всѣми этими личностями, прилично говорящими пустяки или неприлично болтающими свысока или о „важныхъ матеріяхъ“, мы не нашли ни одного человѣка, который могъ бы назваться представителемъ тогдашней русской интеллигенціи.

Князь Андрей Болконскій? Пьеръ Безухій? Графъ Николай Ростовъ? ужъ не они ли изображаютъ собой типы развитыхъ людей александровской эпохи? Кажется, авторъ думалъ, дѣйствительно, возвести ихъ въ этотъ санъ по крайней мѣрѣ первыхъ двухъ. Но что это за жалкія, картонныя фигуры... Ихъ въ самомъ дѣлѣ, можно поворачивать во всѣ стороны, какъ справедливо выразился г. Щербальскій, воображая, что сказалъ похвалу...“ (Далѣе разбираются: Андрей Болконскій, Пьеръ Безухій и Николай Ростовъ. См. въ IV части: „Разборы отдѣльныхъ типовъ“).

Не понявъ главной характеристической черты александровскаго времени, не оцѣнивъ значенія важѣйшихъ историческихъ лицъ, гр. Толстой, естественно, не могъ сконцентрировать своего романа и разбросался въ мелочахъ и деталяхъ, не связанныхъ никакою общою идеею. Онъ принялся описывать баталіи, московскія сплетни, салонныя интриги и любовныя приключенія. Эпоха 12-го года заняла

уже цѣлый томъ, а читатель все-таки не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Только одна сценка, невзначай рассказанная гр. Толстымъ (она приведена нами въ первой статьѣ), бросаетъ лучъ свѣта на закулисную исторію народной войны. Остальное все какъ въ реляціяхъ: Кутузовъ, Багратіонъ, Шевардинскій редутъ и пр.—Благодаря отсутствію всякаго плана и всякой логической концепціи между рассказываемыми событіями, романъ гр. Толстого можно разогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Хватитъ ли только у публики терпѣнія дожидаться конца? А гр. Толстой, кажется, не намѣренъ церемониться и, какъ слышно, написалъ уже пятый томъ. Конца же все нѣтъ какъ нѣтъ.

А. Пятковский.

* * *

*) Въ ожиданіи выхода въ свѣтъ послѣдняго тома романа графа Л. Н. Толстого, мы не рѣшаемся говорить подробно какъ о существенной сторонѣ главной его идеи (если только такая идея окажется у гр. Толстого), такъ и о характерахъ дѣйствующихъ лицъ. Мы можемъ относительно только познакомить читателя съ первымъ впечатлѣніемъ, которое оставили въ насъ первые четыре тома и съ тѣми, можетъ быть, исключительными частностями, которыя нѣсколько могутъ характеризовать достоинства и недостатки этого батальнаго произведенія.

Драматическая эпоха, избранная романомъ, внутренняя жизнь общества, салоны Петербурга и Москвы, походы и битвы русской арміи, Аустерлицкое сраженіе, свиданіе императора Александра I съ Наполеономъ, дальше масонскія логи, наконецъ всѣ главные представители того времени, портреты Аракчеева и Сперанскаго — все это интересуетъ читателя, какъ исторія, изложенная не въ догматической формѣ, а въ ряду картинъ и живыхъ лицъ. Картины эти и дѣйствующія лица не связаны между собою никакой ру-

*) „Дѣло“ 1868 г., № 4. „Новыя книги“.

ководящей мыслию, ничѣмъ, что бы походило на внутреннюю жизнь этихъ монументальныхъ бездушностей или на логику происшествій: все смѣшивается въ общей массѣ, гдѣ не видишь ни причинъ ни послѣдствій появленія и исчезновенія героевъ и фактовъ. Какъ въ древнихъ трагедіяхъ, въ которыхъ *судьба* управляла волей и умомъ дѣйствующихъ лицъ, въ романѣ г. Толстого есть своя судьба и свое предопредѣленіе, распоряжающееся событіями и людьми, какъ куклами.

Первые два тома посвящены преимущественно картинамъ сраженій, походной жизни и только съ половины третьяго тома авторъ становится на чисто романическую почву, — романъ (если только „Война и Миръ“ романъ, и если только одинъ романъ, а не два и не три вмѣстѣ) входитъ, такъ сказать, въ обыденную колею романа, гдѣ уже рѣзче и полнѣе обрисовываются характеры, завязывается интрига и историческій элементъ отходитъ на задній планъ, становится какъ бы преддверіемъ, какъ бы необходимымъ началомъ или первымъ словомъ какой-то мысли, какой-то задачи, которую авторъ имѣетъ въ виду осуществить, но которую, надо замѣтить, нигдѣ и ни въ чемъ, ни въ одномъ даже словѣ не высказываетъ теперь, эта какая-то неопредѣленная таинственность мысли возбуждаетъ интересъ читателя и толки самые живые. Одни думаютъ, что авторъ хочетъ довести романъ до двадцатыхъ годовъ и показать начало мыслящихъ людей, которыхъ создало наше близкое соприкосновеніе съ Европой; другіе полагаютъ, что онъ укажетъ только ту невозможность и немыслимость проявленія и существованія какой бы то ни было новой идеи среди барства, укажетъ на тѣ язвы и зло, которое замкнуло и отдѣлило его навѣчно отъ всего живого и свѣжаго; нѣкоторые останавливаются на частностяхъ и задаютъ себѣ вопросы: чѣмъ авторъ разрѣшитъ судьбу своихъ главныхъ героевъ, чѣмъ у него подъ конецъ явятся кн. Болконскій, графъ Безухій, Наташа, кн. Друбецкой, кого онъ изберетъ на какое-нибудь будущее осмысленное дѣло, на чемъ онъ завяжетъ его причину, будетъ ли также кто-нибудь избранъ

въ это дѣло изъ числа существующихъ въ романѣ и введетъ ли авторъ еще новыхъ, болѣе свѣжихъ, не закончить ли наконецъ романъ однимъ ихъ появленіемъ и т. д... тянутся разнаго рода вопросы и соображенія, которые всѣ говорятъ въ пользу читателей, ищущихъ въ романѣ прежде всего его главную, основную задачу, и никакъ не желающихъ заполучить въ немъ одинъ только историческій рассказъ или что-нибудь въ родѣ „Двѣнадцатаго года“ Данилевскаго въ лицахъ, или же художественно собранные анекдоты, характеризующіе жизнь нашего барства.

Пока, впрочемъ, говоря о первомъ впечатлѣніи, которое производитъ романъ, мы видимъ его не больше, какъ въ интересномъ положеніи, готовымъ что-то родить, но не рождающимъ и не родившимъ еще ничего. Историческая сторона романа, существующая въ описательной формѣ, не связана до сихъ поръ ни съ чѣмъ и представляетъ рядъ довольно живыхъ картинъ; другая же сторона романа — это интриги, честолюбіе, развратъ, распущенность, — однимъ словомъ тѣ, давно ужъ извѣстныя, положенія строя высшей сферы общественной жизни, также представляемая авторомъ съ большимъ знаніемъ и довольно рельефно.

Эти-то придворныя и честолюбивыя интриги при изображеніи картины сраженія подъ Аустерлицемъ, когда въ силу ихъ ведутся на бойню тысячи людей, нѣсколько какъ будто наводятъ читателя на какую-то мысль и дѣлаютъ его впечатлѣніе болѣе серіознымъ. Картина аустерлицкой битвы, послѣ салонной игры, послѣ описанія беззаботной, праздной и развратной жизни московскихъ и петербургскихъ салоновъ, невольно какъ-то останавливаетъ читателя этими ужасами оборванной, голодной толпы солдатъ, пожирающихъ какой-то губительный Машкинъ сладкій корень, — гоняемыхъ тысячами, какъ стадо барановъ, съ мѣста на мѣсто, и затѣмъ переходомъ отъ описанія госпиталя, гдѣ при самомъ входѣ докторъ объявляетъ Ростову, что тутъ *домъ прокаженныхъ, кто ни взоидетъ — смерть*, — переходомъ къ другой картинѣ народовъ въ Тильзитѣ, празднествъ, иллюминацій, съ обѣдами, кутежами, съ безмятежными тор-

жественными лицами расфранченных камергеровъ, послѣ того, какъ вы не опомнились еще отъ впечатлѣнія дома прокаженныхъ, послѣ того, какъ вы только-что видѣли его лица и слѣдующую обстановку, искусно нарисованную въ слѣдующей картинѣ: Ростовъ съ фельдшеромъ вошли въ коридоръ. Больничный запахъ былъ такъ силенъ въ этомъ темномъ коридорѣ, что Ростовъ схватился за носъ и долженъ былъ остановиться, чтобы собраться съ силами и идти дальше. Направо отворилась дверь, и оттуда высунулся на костыляхъ, худой, желтый человѣкъ, босой и въ одномъ бѣльѣ. Онъ, опершись о притолку, блестящими, завистливыми глазами поглядѣлъ на проходящихъ. Заглянувъ въ дверь, Ростовъ увидалъ, что больные и раненые лежали тамъ на полу, на соломѣ и шинеляхъ.

— „А можно войти посмотрѣть?“—спросилъ Ростовъ.

— „Что же смотрѣть?“—сказалъ фельдшеръ.—Но именно потому, что фельдшеръ, очевидно, не желалъ впустить туда, Ростовъ вошелъ въ солдатскія палаты. Запахъ, къ которому онъ уже успѣлъ придышаться въ коридорѣ, здѣсь былъ еще сильнѣе. Запахъ этотъ здѣсь нѣсколько измѣнился: онъ былъ рѣзче, и чувствительно было, что отсюда-то именно онъ и проходилъ. „Въ длинной комнатѣ, пріосвѣщенной солнцемъ въ большія окна, въ два ряда, головами къ стѣнамъ и оставляя проходъ по срединѣ, лежали больные и раненные. Большая часть изъ нихъ были въ забытѣ и не обращали вниманія на пришедшихъ. Тѣ, которые были въ памяти, всѣ приподнялись или подняли свои худыя, желтыя лица, и всѣ съ однимъ и тѣмъ же выраженіемъ надежды на помощь, упрека и зависти къ чужому здоровью, не спуская глазъ, смотрѣли на Ростова. Ростовъ вышелъ на средину комнаты, заглянулъ въ сосѣднія двери комнатъ съ растворенными дверями, и съ обѣихъ сторонъ увидалъ то же самое. Онъ остановился, молча оглядываясь вокругъ себя. Онъ никакъ не ожидалъ видѣть это. Передъ самимъ нимъ лежалъ почти поперекъ средняго прохода, на голомъ полу, больной, вѣроятно казакъ, потому что волосы его были обстрижены въ скобку. Казакъ этотъ лежалъ навзничъ, раскинувъ

огромныя руни и ноги. Лицо его было багрово-красно, глаза совершенно закачены, такъ что видны были одни бѣлки, и на босыхъ ногахъ его и на рукахъ, еще красныхъ, жилы напружились, какъ веревки. Онъ стукнулся затыкомъ о полъ и что-то хрипло проговорилъ и сталъ повторять это слово. Ростовъ прислушался къ тому, что онъ говорилъ, и разобралъ повторяемое имъ слово. Слово это было: испытъ, пить, испытъ! Ростовъ оглянулся, отыскивая того, кто бы могъ уложить на мѣсто этого больного и дать ему воды.— Кто тутъ ходитъ за больными?—спросилъ онъ фельдшера.— Въ это время изъ сосѣдней комнаты вышелъ фурштадтскій солдатъ, больничный служитель и отбивая шагъ, вытянулся передъ Ростовымъ.—Здравія желаю, ваше высокоблагородіе! прокричалъ этотъ солдатъ, выкатывая глаза на Ростова и, очевидно, принимая его за больничное начальство.—Убери же его, дай ему воды,—скаалъ Ростовъ, указывая на казакъ.—Слушаю, ваше высокоблагородіе, съ удовольствіемъ, —проговорилъ солдатъ, выкатывая глаза и вытягиваясь, но не трогаясь съ мѣста.—Нѣтъ, тутъ ничего не сдѣлаешь, подумалъ Ростовъ, опустил глаза, и хотѣлъ уже выходить, но съ правой стороны онъ чувствовалъ устремленный на себя значительный взглядъ и оглянулся на него. Почти въ самомъ углу, на шинели сидѣлъ съ желтымъ, какъ скелетъ, худымъ, страшнымъ лицомъ и небритой сѣдой бородой, старый солдатъ и упорно смотрѣлъ на Ростова. Съ одной стороны сосѣдъ стараго солдата что-то шепталъ ему, указывая на Ростова. Ростовъ понялъ, что старикъ намѣренъ о чемъ-то просить его. Онъ подошелъ ближе и увидѣлъ, что у старика была согнута только одна нога, а другой совсѣмъ не было выше колѣна. Другой сосѣдъ старика, неподвижно лежавшій съ закинутой головой, довольно далеко отъ него, былъ молодой солдатъ съ восковой блѣдностью на курносомъ, покрытомъ еще веснушками, лицѣ, и съ закаченными подъ вѣки глазами. Ростовъ поглядѣлъ на курносаго солдата, и морозъ пробѣжалъ по его спинѣ... —Да вѣдь этотъ, кажется... —обратился онъ къ фельдшеру. — Ужъ какъ просили, ваше благородіе, —сказалъ

старый солдатъ съ дрожаніемъ нижней челюсти. — Еще утромъ кончился. Вѣдь тоже люди, а не собаки... — Сейчасъ пришло, уберутъ, уберутъ, — поспѣшно сказалъ фельдшеръ. — Пожалуйте, ваше благородіе. — Пойдемъ, пойдемъ, — поспѣшно сказалъ Ростовъ, и опустивъ глаза, и сжавшись, стараясь пройти незамѣченнымъ сквозь строй этихъ укоризненныхъ и завистливыхъ глазъ, устремленныхъ на него; онъ вышелъ изъ комнаты“.

Но всѣ эти картины вмѣстѣ съ другими, имъ противоположными, надо сказать, не больше, какъ только вѣрны дѣйствительности изображаемаго предмета; но мы не видимъ въ нихъ ничего цѣльнаго и опредѣленнаго, въ чемъ бы нѣсколько высказывалась главная, основная мысль или задача романа. Въ первыхъ трехъ томахъ романъ представляетъ одинъ только матеріалъ, рядъ хорошо написанныхъ сценъ, рядъ отдѣльныхъ мотивовъ; но никакъ не больше. Замѣтимъ, что нѣкоторыя сцены и предметы, какъ, наприкладъ, портреты Александра І, Сперанскаго, описаны какъ будто, мимоходомъ, вскользь, такъ что нѣкоторыя черты въ портретѣ Сперанскаго неопредѣленны, неясны, а между тѣмъ при исторической задачѣ романа такія двѣ противоположныя и сильныя личности, какъ Сперанскій и Аракчеевъ на ряду съ Александромъ І, очень и очень, намъ кажется, должны были бы обратить вниманіе автора. Впрочемъ, все это можетъ быть впереди и, можетъ быть, все теперь неопредѣленное — опредѣлится послѣ и вся кажущаяся безсодержательность получитъ въ послѣдствіи содержаніе, вслѣдствіе чего мы и разборъ романа также откладываемъ до выхода его окончанія. Впрочемъ, съ появленіемъ четвертаго тома, смѣло можно сказать, что и далѣе будетъ то же самое, т.-е. та же безсодержательность и тѣ же достоинства одной только батальной живописи. Явившійся четвертый томъ съ описаніями Бородинскаго сраженія, перехода черезъ Нѣманъ, взятія Смоленска, не добавилъ къ первымъ тремъ томамъ ровно ничего, исключая этихъ новыхъ описаній и исключая еще очень не новой и куріозной философіи самого автора. Съ первыхъ же страницъ четвертаго

тома, графъ Л. Н. Толстой пускается (чего съ нимъ не случилось въ первыхъ томахъ) въ такіа объясненія съ читателемъ объ исторіи, что какъ-то невольно можетъ каждому подуматься—не шутить ли графъ; но изъ объясненія графа, явившагося вслѣдъ за четвертымъ томомъ въ 3-мъ номерѣ „Русскаго Архива“, оказывается, что графъ не шутитъ и что онъ *„при наилучшихъ условіяхъ жизни, посвятивши себя непосредственно и исключительно этому труду, додумался и доработался въ продолженіе пяти лѣтъ до слѣдующихъ соображеній: я—говоритъ графъ Толстой въ шестомъ номерѣ своихъ соображеній (у него они раздѣлены на 6 номеровъ, съ которыми познакомятся читатель далѣе)—пришелъ къ очевидности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся историческихъ событій“*, „что разсматривая исторію съ общей точки зрѣнія, мы (т.-е. гр. Толстой) несомнѣнно убѣждены, въ предвѣчномъ законѣ, по которому совершаются событія“, и что „почти всѣ, писавшіе о 12 годѣ, видѣли въ этомъ событіи что-то особенное и роковое“. И къ числу этихъ всѣхъ мыслящихъ по законамъ предопредѣленія графъ Толстой присоединяетъ и себя. Это объясненіе предопредѣленія выражается авторомъ въ романѣ разными *если, если бы и ежели бы* и (въ такомъ родѣ, что *ежели бы*, —говоритъ авторъ,—солдатъ не захотѣлъ идти на службу и не захотѣлъ бы другой и третій, на столько менѣе людей было бы въ войскѣ Наполеона, и войны не могло бы быть“). На этихъ *ежели* и *если бы* графъ Толстой строитъ такой старшій философски-мистическій выводъ, что „фатализмъ въ исторіи неизбѣженъ для объясненія неразумныхъ явленій (то-есть тѣхъ, добавляетъ авторъ, разумность которыхъ мы не понимаемъ) и что „чѣмъ болѣе мы стараемся (т.-е. гр. Толстой) разумно объяснить эти явленія въ исторіи, тѣмъ они становятся для насъ неразумнѣе, непонятнѣе“, и что вслѣдствіе этого „исторія, т.-е. безсознательная, общая, роевая жизнь чело-вѣчества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя, какъ орудіемъ для своихъ цѣлей“.

Послѣ такихъ умозаключеній, достойныхъ самаго наи-

достойнѣйшаго изъ учениковъ Кайданова, мы ограничимся разсмотрѣніемъ еще одного параграфа соображеній графа Толстого,—параграфа, въ которомъ авторъ опредѣляетъ или объясняетъ задачу и общую цѣль своего произведенія. Авторъ говоритъ: „Мнѣ хотѣлось, чтобы читатели не видѣли и не искази въ моей книгѣ того, чего я не хотѣлъ и не желалъ выразить, и обратили бы вниманіе на то именно, что я *хотѣлъ выразить, но на чемъ* (по условіямъ произведенія) *не считалъ удобнымъ останавливаться*“. Какъ же это *хотѣлъ, но не могъ* по условіямъ произведенія, а условія произведенія опредѣляются такъ: „Война и миръ“ не есть романъ, поэма, историческая хроника, а есть то, что *хотѣлъ и могъ* выразить авторъ въ той формѣ, въ которой оно выразилось.

Хотѣлъ же авторъ, какъ оказывается далѣе, очертить характеръ того времени и характеръ, выражающійся не въ ужасахъ крѣпостного права, не въ закладываніи женъ въ стѣны, стѣненьи взрослыхъ сыновей, Салтычихи и т. п., что, по его мнѣнію, одинаково принадлежитъ и нашему времени, а хотѣлъ онъ выразить характеръ, вытекающій изъ большой отчужденности высшаго круга отъ другихъ сословій, изъ царствовавшей философіи, изъ особенностей воспитанія, изъ привычки употреблять французскій языкъ и т. д. „И этотъ-то характеръ, я старался, заключаетъ Толстой, сколько умѣлъ выразить“.

Не желая останавливать читателя на слѣдующихъ, еще болѣе куріозныхъ, объясненіяхъ автора, отвѣтимъ въ заключеніе своей бѣглой замѣтки самому Толстому на его стараніе выразить характеръ очерчиваемой имъ эпохи, его-жъ отвѣтомъ, что онъ „старался или хотѣлъ, да не могъ“.

Объ этомъ мы будемъ говорить подробно по окончаніи романа.

Изъ журн. „Дѣло“.

*) Между огромнымъ количествомъ бездарныхъ произведений современной нашей литературы есть однако нѣкоторыя, блестящія талантомъ и полныя самыхъ высокихъ достоинствъ. Къ числу такихъ явленій принадлежатъ многія изъ національно-историческихъ нашихъ драмъ и романъ графа Толстого „Война и Миръ“. Если на нашихъ глазахъ совершилось обмеленіе таланта г-на Тургенева, если г-нъ Писаревъ, быстро истративъ всѣ свои заряды, распустился окончательно въ водяныхъ пучинахъ „Дѣла“, если на нашихъ глазахъ совершилось истощеніе и опошленіе еще нѣсколькихъ недюжинныхъ талантовъ, если наше время производитъ невообразимое количество журнальных инфузорій, которымъ суждено оставить громадныя литературныя пласты въ глубинахъ нѣкоторыхъ второстепенныхъ журналовъ, то зато на нашихъ же глазахъ формируется одна изъ необходимѣйшихъ принадлежностей самобытной литературы—народная и историческая драма. Талантливыя и глубоко-добросовѣстныя работы г. Костомарова дали матеріалъ Толстому, Островскому и нѣсколькимъ другимъ для нѣсколькихъ драмъ, служащихъ началомъ, я въ этомъ глубоко увѣренъ, для цѣлаго направленія въ литературѣ, направленія существенно-необходимого для ея органическаго развитія и общающаго чрезвычайно много.

Читатели видятъ, что я говорю афоризмами. Доказывать мнѣ теперь не время и не мѣсто. Въ настоящей статьѣ я хочу говорить не объ исторической драмѣ, а объ историческомъ романѣ.

Взглядъ Виктора Гюго (въ его гениальномъ трудѣ о Шекспирѣ), открывающій въ романѣ лиризмъ, эпiku и драматизмъ, прилагается съ успѣхомъ только къ самымъ талантливымъ романамъ. Въ большинствѣ посредственныхъ произведений нѣтъ ни того, ни другого, ни третьяго.

Романъ Толстого, какъ одно изъ самыхъ крупныхъ произведений литературы романовъ, могъ бы смѣло доставить

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1868 г., №№ 153 и 155. Статья С. И. Сычевскаго, подъ заглавіемъ: „Очерки новѣйшей русской литературы. „Война и Миръ“ г. Л. Н. Толстого. II“.

матеріалъ на десятокъ драмъ, сотни на двѣ лирическихъ стихотвореній и на одну большую эпическую поэмѣ. Все это заключается въ тѣхъ четырехъ частяхъ, которыя появились въ печати. Пятая еще неизвѣстна.

Разсказывать содержаніе этого романа — глубоко бесполезно. Историческія событія 1806—1812 года, вѣроятно, извѣстны каждому, а если нѣтъ, то онъ можетъ найти описаніе ихъ въ огромномъ количествѣ разныхъ ученыхъ и учебныхъ книжекъ. Интрига собственно романа очень проста и не отличается ничѣмъ отъ тысячи романическихъ интригъ во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Но есть въ романѣ Толстого много такого, что встрѣчается въ романахъ очень рѣдко и каждый разъ возбуждаетъ новый и живой интересъ. Это — изображеніе русской жизни и нѣсколькихъ историческихъ личностей.

По мастерскому изображенію жизни, Толстой стоитъ рѣшительно на ряду съ самыми лучшими современными англійскими писателями. Я бы могъ приравнять его только къ Диккенсу, и то не совсѣмъ: у Толстого нѣтъ того саркастическаго юмора, съ которымъ всегда относится къ изображаемой жизни Диккенсъ. Но, съ другой стороны, Толстой далеко стоитъ и отъ того тепло-религіознаго настроенія, которымъ дышатъ сочиненія очень талантливыхъ барынь—миссъ Камминсъ, миссъ Эгуиларъ и т. п. Въ романѣ Толстого дышешь чистымъ воздухомъ, въ которомъ не слышится ни звука ѣдкаго смѣха ни запаха ладона.

Жизнь общества, изображенная Толстымъ, носитъ на себѣ отпечатокъ извѣстнаго времени и извѣстнаго круга. Видно, что и это время и этотъ кругъ близко ему знакомы. Онъ изображаетъ главнымъ образомъ жизнь того, что по-французски называется *la bonne compagnie*, а по-русски приблизительно можно перевести словомъ аристократія, употребляя это слово въ его не филологическомъ и историческомъ, а ходячемъ значеніи. Но подъ массой мелкихъ частностей, отличающихъ *хорошее* общество отъ обыкновеннаго, Толстой далъ именно столько значенія, сколько слѣдуетъ, истинно человѣческимъ, общимъ чертамъ.

Я теперь договорился до цѣли моей настоящей статьи. Я хочу показать, руководствуясь романомъ Толстого, каково было русское общество и русскій человѣкъ въ то время, которое изображается въ романѣ „Война и Миръ“, хочу выслѣдить въ живыхъ картинахъ этого романа тѣ основные элементы, изъ которыхъ сложился типъ русскаго человѣка *хорошаго* круга.

Какой-то нѣмецкій остроумецъ, кажется Бёрне, написалъ ругательную статью объ аристократахъ, въ которой, боясь опустить какое-нибудь качество ихъ, началъ перебирать въ алфавитномъ порядкѣ всѣ ругательства. Статья эта возбудила въ свое время большой хохотъ въ томъ кругѣ, который Прудонъ называлъ *les démocrates assermentés*; но ни самая статья и никто изъ смѣявшихся—никогда, нигдѣ и ничѣмъ не доказали пониманія аристократовъ и умѣнья ихъ воспроизвести со всѣми ихъ недостатками и достоинствами. Графъ Толстой, съ равнодушіемъ художника, воспроизводитъ близко знакомый ему кругъ самыхъ плохихъ аристократовъ,—аристократовъ русско-французскихъ, и воспроизводитъ его во всей жизненной полнотѣ. Какъ на анатомическомъ столѣ, лежитъ передъ вами въ романѣ Толстого прошлая русская аристократія.

На первомъ планѣ въ „Войнѣ и Мирѣ“ стоятъ четыре кровно-аристократическихъ семьи: графы Ростовы и Безухіе, князья Болконскіе и Друбецкіе. Весь романъ есть собственно не что иное, какъ семейная хроника этихъ четырехъ фамилій. Нѣтъ ни одного ничтожнаго факта, съ которымъ бы прямо или косвенно не былъ связанъ хоть одинъ членъ этихъ семействъ. На характеристику ихъ графъ Толстой употребилъ много таланта, и зато они стоятъ передъ нами, какъ живые, громко и вразумительно говоря намъ о достоинствахъ и недостаткахъ своего времени и своей среды. Въ романѣ очень много лицъ. Большинство ихъ обрисовано очень хорошо, но всякій знаетъ по собственному опыту, что въ поэтическомъ произведеніи непременно есть герой и героиня, т.-е. непременно есть такіа личности, которыя по прочтеніи рѣзко выделяются изъ

толпы прочихъ; для которыхъ всѣ остальные служатъ только фономъ, аксессуарами для лучшей обрисовки или объясненія. Викторъ Гюго имѣлъ именно эту мысль, когда онъ, съ гениальнымъ законизмомъ, охарактеризовалъ богатую содержаніемъ и лицами драму Шекспира „Король Лиръ“ слѣдующими словами: „*Leag—c'est l'occasion de Cordélia*“. Повторяя фразу Гюго, я смѣло могу сказать: „Война и Миръ“—„*c'est l'occasion de Nathalie de Rostoff et du comte André de Bolkonsky*“.

Я не шучу. Взгляните на романъ именно съ этой точки зрѣнія, и вы увидите, какимъ стройнымъ, органическимъ, повѣстическимъ произведеніемъ является онъ: въ первой части и въ половинѣ второй—главное лицо неоспоримо Болконскій. Все, что до него касается, обрисовано необыкновенно тщательно. Его личность мотивирована до значительной психологической глубины и вообще онъ, если можно такъ выразиться, является химическимъ продуктомъ всѣхъ элементовъ, сгруппированныхъ въ этихъ частяхъ. Съ половины второго тома начинается останавливать на себѣ наше вниманіе Наташа, которая прежде являлась только очаровательнымъ ребенкомъ. Въ третьемъ томѣ эта маленькая, худенькая, смугленькая шестнадцатилѣтняя дѣвочка наполняетъ собою все и затмѣваетъ самыя изящно-аристократическія фигуры въ родѣ графини Безухой.

Въ романѣ заключается нѣсколько браковъ: графъ Безухій женится на Эленѣ. Вѣра Ростова выходитъ замужъ за Берга... еще больше дѣлается предложеній: Долоховъ дѣлаетъ предложеніе Сонѣ, Ростовъ—тоже, Курагинъ—княжнѣ Марьѣ и т. д., но изъ всѣхъ этихъ браковъ и предложеній вниманіе читателя невольно приковывается и сосредоточивается около отношеній Болконскаго къ Наташѣ, несмотря на то, что авторъ заставляетъ читателя дожидаться этого цѣлые два тома... (Далѣе слѣдуетъ разборъ Наташи. См. IV ч. „Разборы отдѣльныхъ типовъ“).

*) Мы видѣли, что сдѣлало русское общество начала нынѣшняго столѣтія съ женщиной. На нашихъ глазахъ одна изъ самыхъ лучшихъ представительницъ русской женской молодежи подчинилась вліянію того свѣтскаго разврата, противъ котораго еще и въ настоящее время не принято радикальныхъ мѣръ. На нашихъ глазахъ жизнь всѣхъ женскихъ личностей романа Толстого проходила безслѣдно, полная пустыхъ сплетенъ, пустыхъ развлеченій и еще болѣе пустыхъ интригъ. Эпическая борьба Европы съ Наполеономъ коснулася ихъ слегка, *les a effleurées*—говоря ихъ собственнымъ слогомъ: она побудила ихъ щипать въ богато-убранныхъ гостинныхъ корпію и собирать штрафъ въ пользу раненыхъ съ каждаго французскаго слова, нечаянно пророненнаго ими. Все нравственное безобразіе такихъ дѣтскихъ отношеній къ такому серіозному дѣлу было имъ совершенно непонятно, да кажется и ихъ мужья ничего болѣе отъ нихъ не ожидали, потому что, за исключеніемъ Андрея Болконскаго, ни одного изъ нихъ не тяготило нравственное и умственное ничтожество его жены. Но если женщины, слабая и прекрасная часть человѣческаго рода, беззаботно чиркали во время отчаянной борьбы за свободу всей Европы, т.-е. почти всего образованнаго міра, то ихъ супруги, конечно, не оставались къ ней безучастны. Мужчина еще очень недавно былъ во всѣхъ серіозныхъ отношеніяхъ выше женщины. Только со времени статей Михайлова и романа Авдѣева вопросъ этотъ сталъ возбуждать споры. Во время войнъ съ Наполеономъ, самое понятіе объ эмансипаціи женщины не входило въ кругъ женскихъ мыслей, и въ романѣ Толстого не видно ни одного типа со сколько-нибудь эмансипаціонными чертами.

Итакъ, серьезные вопросы были неотъемлемымъ дѣломъ мужчины, а пустяки—дѣломъ женщины. Посмотримъ же, на сколько тогдашній мужчина былъ готовъ къ дѣятельному участію въ тѣхъ всемірно-важныхъ событіяхъ, которыя совершались.

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1868 г., № 155.

Больше всего въ романѣ Толстого — военныхъ. Оно и понятно. Въ то время и на войнѣ и въ мирѣ военные играли самую видную роль. Приглядываясь повнимательнѣй къ питомцамъ Марса, изображеннымъ Толстымъ, мы усматриваемъ въ нихъ одну общую черту: отношеніе ко всему съ точки зрѣнія тактики, фортификаціи и прочихъ полезныхъ наукъ съ еще болѣе мудренными названіями. Это, конечно, имѣетъ свое достаточное основаніе, но въ то же время совершенно исключаетъ возможность видѣть въ совершающихся событіяхъ что-нибудь дальше собственного носа. Единственное исключеніе изъ такихъ близорукихъ тактикъ и фортификаторовъ составляетъ князь Болконскій, о которомъ рѣчь впереди. Борисъ Друбецкой, Николай Ростовъ, Денисовъ и множество другихъ, не исключая и очень высоко-поставленныхъ лицъ, походятъ въ главныхъ чертахъ другъ на друга какъ двѣ капли воды: это все простые смертные, одѣтые въ мундиры съ иголочки въ гостинной и говорящіе краснѣющимъ барышнямъ болѣе или менѣе конфетныя любезности, а въ полку — кутилы, славные товарищи, отличные рубаки, смиренные и безотвѣтные передъ начальствомъ и отнюдь не гуманные съ денщиками и прочими своими подчиненными. Картежъ, кутежъ и война — вотъ ихъ препровожденіе времени. Все, составляющее непремѣнную принадлежность цивилизованнаго человѣка, гложетъ и вымираетъ въ нихъ на нашихъ глазахъ подъ вліяніемъ такой жизни — и этого никто не замѣчаетъ, всѣ веселы, довольны, счастливы, и все кажется совершенно нормальнымъ. Я не даромъ остановился на этихъ личностяхъ: ихъ типъ до такой степени знакомъ намъ, что говорить о немъ было бы съ моей стороны непростительною банальностью, самымъ безцвѣтнымъ общимъ мѣстомъ, если бы я не нажѣревался подмѣтить въ этомъ типѣ одну черту, дѣйствовавшую и дѣйствующую какъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ реактивовъ во всемъ процессѣ человѣческой цивилизаціи. Черта эта — я ее только что назвалъ — равнодушіе къ нравственнымъ и умственнымъ продуктамъ цивилизаціи. Всякій, кто только вдумывался въ явленія обыденной рус-

ской жизни въ настоящемъ и прошломъ, можетъ подмѣтить дѣйствіе этой нравственной инерціи чуть не въ каждомъ крупномъ явленіи. Въ романѣ Толстого чрезвычайно удобно дѣлать эти наблюденія, потому что въ немъ есть три представителя послѣдовательнаго развитія русскаго *человѣка*: Николай Ростовъ, Пьеръ Безухій и Андрей Болконскій; еще раньше Николая Ростова надобно поставить фалангу Берговъ, Денисовыхъ, Друбецкихъ и т. д., которые играютъ роль нуля, т.-е. начало положительныхъ величинъ...“ (Далѣе слѣдуетъ анализъ Николая Ростова. См. IV часть. „Разборы отдѣльныхъ типовъ“).

Ни одна изъ женщинъ не является у Толстого вполнѣ самостоятельнымъ дѣятелемъ, за исключеніемъ развратной Эленъ. Всѣ прочія только и годятся для того, чтобы дополнить мужчину. Въ гражданскую дѣятельность не мѣшается ни одна изъ нихъ. Самая свѣтлая изъ всѣхъ женщинъ романа „Война и Миръ“ — Наташа — счастливая радостями семейной и личной жизни... Однимъ словомъ, г-нъ Толстой рѣшаетъ женскій вопросъ въ самомъ, такъ называемомъ, отсталомъ, рутинномъ смыслѣ.

Если къ этому прибавить его вѣрное изображеніе масоновъ, наводящее неволью на тѣ соображенія, которыя я уже имѣлъ случай высказать, то сдѣлается совершенно понятнымъ, отчего одинъ изъ нашихъ смѣхотворныхъ журналовъ, не помню — Искра, или Будильникъ, нашелъ удобнымъ поглумиться надъ прекраснымъ романомъ Толстого въ длинной пародіи на Лермонтовское „Бородино“. Но отъ такого глумленія роману не сдѣлается ничего: онъ таки прочтется съ удовольствіемъ и пользой всею образованною и полуобразованною русскою публикой и займетъ почетное мѣсто въ исторіи русской литературы.

На романъ Толстого дѣлалось много нападокъ: каждый находилъ въ немъ различные недостатки. Это происходило отъ того, что каждый требовалъ совершенства съ своей точки зрѣнія. Я отнесся къ роману, какъ къ поэтическому воспроизведенію эпохи и рассмотрѣлъ только одну, общую сторону его. Но въ романѣ чрезвычайно много и интерес-

ныхъ частностей, о которыхъ говорить не буду. Я, напримеръ, ни однимъ словомъ не указалъ собственно на военную часть романа. Кромѣ тактическихъ соображеній, интересныхъ для людей, придающихъ какое-нибудь значеніе этой сторонѣ дѣла, въ военной части есть множество обще-интересныхъ мѣстъ, прекрасное воспроизведеніе почти всѣхъ героевъ 12-го года и многихъ важныхъ гражданскихъ дѣятелей, напр., Сперанскаго. Я увѣренъ, что всѣ читавшіе этотъ романъ помнятъ всѣхъ этихъ лицъ, какъ живыхъ, и потому позволимъ себѣ не останавливаться на нихъ.

С. И. Сычевскій.

* * *

*) Новый романъ Л. Толстого „Война и Миръ“ публикою жадно читается и раскупается, но въ журналистикѣ онъ не поднялъ того шума, какой поднимало въ недавнее время каждое замѣчательное произведеніе. Авторъ не затрогиваетъ въ романѣ своемъ ни одного изъ насущныхъ вопросовъ, онъ не проповѣдникъ и не гонитель того или другого современнаго направленія, — онъ рисуетъ намъ картину русскаго общества въ началѣ нынѣшняго столѣтія; вотъ отчего новый романъ, не возбуждая горячей полемики, могъ дать мѣсто нѣсколькимъ критическимъ замѣткамъ о большей или меньшей степени красоты и поэзіи картинъ и исторической вѣрности, да нѣсколькимъ характеристикамъ нѣкоторыхъ лицъ. Оставивъ въ сторонѣ громкія событія того времени и броженіе общества, кидавшагося отъ скептицизма Вольтера въ туманныя созерцанія масонства, мы намѣрены заняться болѣе скромной задачей — женскими характерами, которые встрѣчаются на страницахъ романа. Ни одинъ романъ не можетъ обойтись безъ героини. Много было написано романовъ, много изображено героинь самыхъ разнообразныхъ характеровъ, со всевозможными оттѣнками,

*) „Отечественныя Записки“ 1868 г., т. 178, № 6, отд. II. „Критика“. Статья Николаевой (М. К. Цебриковой), подъ заглавіемъ: „Наши бабушки“. (По поводу женскихъ характеровъ въ романѣ „Война и Миръ“).

и наивныхъ дѣтей, такъ очаровательныхъ въ своемъ незнаніи жизни, которую они украшаютъ, какъ прелестные цвѣты, и практическихъ женщинъ, понимающихъ цѣну благамъ міра и знающихъ, какими средствами достигнуть ихъ въ единственно доступной для нихъ формѣ—выгодной партіи, и кроткихъ, нѣжныхъ созданій—назначеніе которыхъ любовь—готовыхъ игрушекъ для перваго встрѣчнаго, кто скажетъ имъ слово любви, и коварныхъ кокетокъ, въ свою очередь безжалостно играющихъ чужимъ счастьемъ, и безотвѣтныхъ страдалницъ, безропотно угасающихъ подъ гнетомъ, и сильныхъ, богато одаренныхъ натуръ, все богатство и сила которыхъ тратится безплодно; и несмотря на это разнообразіе типовъ и несчетное количество томовъ, въ которыхъ намъ изображали русскую женщину, насъ невольно поражаетъ однообразіе и бѣдность содержанія. Напрасно станемъ мы искать тѣхъ свѣтлыхъ, прекрасныхъ образовъ женщины, которые встрѣчаются на страницахъ иностранныхъ литературъ, женщинъ, умѣвшихъ раздвинуть тѣсныя рамки, въ которыя они были поставлены условіями общества, и выйти въ широкій міръ мысли, науки, дѣятельнаго добра. Роль русской женщины очень скромна и ограничена. Она является во всемъ блескѣ и обаяніи молодости и красоты, приковываетъ вниманіе читателя своею любовью къ герою и тою, которую внушаетъ ему, и за исключеніемъ описаній ея чувствъ, нѣжныхъ сценъ, объясненій, свиданій, она постоянно ступевывается за нимъ; оканчивается ли любовь счастливымъ бракомъ или обрывается внезапной катастрофой, роль женщины окончена, и автору не остается ничего другого, какъ свести ее со сцены. Она является еще сестрой, матерью, дочерью, но тогда уже не героиней, а второстепенной личностью, потому что въ такомъ случаѣ интересъ, возбуждаемый ею, несравненно слабѣе, въ описаніи ея тихой привязанности нѣтъ мѣста для тѣхъ поэтическихъ картинъ и горячихъ красокъ, которыя могутъ увлечь читателя. Не разъ писатели, сознавая эту бѣдность и ограниченность, пытались создать намъ идеальную русскую женщину, но такъ какъ смертные лишены возмож-

ности создавать изъ ничего, то всѣ эти попытки оказывались безуспѣшными. Гоголь въ своей Уленькѣ далъ намъ блѣдный призракъ. Ольга въ „Обломовѣ“ и Елена въ „Наканунѣ“ несомнѣнно живыя личности, но дальше сознанія неудовлетворенности жизни и тоски по чему-то лучшему, но безыменному, онѣ нейдутъ; при первомъ словѣ мужа, что такъ должно быть, Ольга покоряется, а Елена уходитъ за любимымъ человѣкомъ, что русскія женщины всегда умѣли дѣлать. Въ послѣдніе годы нѣкоторые писатели въ свою очередь захотѣли дать намъ свои идеалы, но и эти идеалы постигла та же участь, что Уленьку; и какъ рѣдкія исключенія женщинъ, умѣвшихъ подняться надъ уровнемъ потребностей и способностей своего пола, служившія имъ образцами, не могутъ составить еще знакомый, рѣзко опредѣлившійся типъ, пустившій глубокія корни въ жизнь, такъ и эти копія съ нихъ лишь неясныя очертанія, которыя не могутъ сложиться въ образы, полныя жизни. Когда рѣдкія исключенія станутъ типомъ, тогда явятся и эти образы женщины, но это покамѣстъ только желанное будущее.

Л. Толстой не пытается создавать идеалы; онъ беретъ жизнь, какъ она есть, и въ новомъ романѣ своемъ выводитъ нѣсколько характеровъ русской женщины въ началѣ нынѣшняго столѣтія, замѣчательныхъ по глубинѣ и вѣрности психологическаго анализа и жизненной правдѣ, которою они дышатъ. Мы видимъ, что это живыя женщины, что такъ именно онѣ должны были чувствовать, мыслить, поступать и всякое другое изображеніе ихъ было бы ложно; мы не можемъ не признать въ нихъ своихъ близкихъ кровныхъ, однимъ словомъ нашихъ бабушекъ. Изъ всѣхъ женщинъ, встрѣчающихся въ романѣ, особенно выдаются: княгиня Болконская, невѣстка ея княжна Марья и Наташа Ростова...» (Далѣе идетъ разборъ княгини Болконской, княжны Марьи и Наташи Ростовской. См. въ IV части: „Разборы отдѣльныхъ типовъ“).

«Подводя итоги жизни нашихъ бабушекъ, придется возвратиться къ высказанной уже мною мысли: у женщинъ нѣтъ своей жизни; мужчина — и цѣль и смыслъ ихъ жизни;

нѣтъ его—и жизнь ихъ вялое прозябаніе. Вотъ что говорить авторъ о вліяніи мужчины на женщину: „И какъ всегда бываетъ для одинокихъ женщинъ, прожившихъ долго безъ мужского общества, всѣ три женщины почувствовали одинаково, что жизнь ихъ была не жизнью до этого времени. Способность мыслить, чувствовать, наблюдать, мгновенно удесятерилась во всѣхъ ихъ, и какъ будто до сихъ поръ проходившая во мракѣ ихъ жизнь вдругъ освѣтилась новымъ, полнымъ значенія свѣтомъ“. Это не естественное чувство удовольствія и оживленія, которое испытываетъ женщина въ обществѣ мужчины, какъ и мужчина въ обществѣ женщины—это полнѣйшее нравственное перерожденіе, это воскресеніе изъ мертвыхъ. И кто же былъ этотъ благодѣтельный геній, удесятерившій ихъ способности мыслить, чувствовать, понимать, этотъ свѣтъ, полный значенія, освѣтившій мракъ ихъ жизни? Пустѣйшій и ничтожнѣйшій франтъ, способный испытывать къ женщинамъ одно звѣрское чувство. Цѣлые томы горькихъ филиппикъ не выставятъ такъ ярко всю пустоту женщинъ, всю нищету ихъ жизни, какъ эти немногія строки. Мужчина, какъ братъ, отецъ, мужъ—властелинъ женской жизни женщины, въ его рукахъ ея счастье и цѣлая жизнь. Взглянетъ онъ благосклонно, — и она счастливая жена и мать; не удостоитъ онъ ее благосклоннаго взгляда, — и жизнь ея не имѣетъ смысла: это душевные подвиги княжны Марьи, вязанье шарфовъ для пріютившаго ее родственника княжны Катерины, вздыханье, томленье и меланхолія Жюли Курагиной до благополучнаго брака съ Борисомъ, болтовня о политическихъ новостяхъ и устраиванье свадебъ съ тѣмъ, чтобъ въ случаѣ неудачи выгораживать свое въ нихъ участіе, Annette Шереръ; а для тѣхъ, у кого нѣтъ способностей болтать о политическихъ новостяхъ, одно устраиванье свадебъ, сплетни и карты. Любить мужчину женщину,—и она готова жизнь отдать за его взглядъ, она готова, какъ вѣрная и добродѣтельная Соня, всю молодость провести въ ожиданіи той счастливой минуты, когда онъ удостоитъ назвать ее своей женой; а этотъ обожаемый онъ между тѣмъ, жалѣя свою свободу, которая нужна

ему на то, чтобъ спускать тысячи въ банкъ и посѣщать цыганокъ и разныхъ дамъ на бульварѣ, думаетъ: „э, еще успѣю, много ихъ еще есть тамъ впереди“—и совершенно правъ: потому что для большинства женщинъ такой честный, милый и недурной собою мужчина, какъ Николай Ростовъ, вполне удовлетворяющійся дѣловой праздностью полковой жизни, заливающій двумя бутылками вина первое пробужденіе безпокойной мысли, которое грозитъ внести разладъ въ свѣтлый міръ его вѣрованій и обожаній, этотъ страстный охотникъ, переходящій отъ изступленнаго восторга къ отчаянію и возсылающій Богу пламенную молитву о томъ, чтобъ его собака, а не соперника, вцѣпилась въ горло волка — есть идеаль, къ которому стремятся всѣ помысленія ихъ и мечтанія; замужество съ нимъ—величайшее счастье жизни. Николай Ростовъ добръ, съ нимъ легко жить, онъ великодушенъ и неспособенъ мучить отдавшееся въ его руки существо, онъ даже самъ способенъ уходить подъ башмакъ; онъ настолько честенъ, что, женившись, покончить съ цыганками и бульварными дамами и не истерзаетъ сердце жены ревностью. Умри этотъ идеаль, у нея останутся дѣти. Чего не сдѣлаетъ, чего не перенесетъ женщина для дѣтей! Анна Михайловна всю жизнь рада обивать чужіе пороги, кланяться, унижаться, льстить, интриговать, не отступать ни передъ какимъ униженіемъ. „Всему научись“, говоритъ она съ гордостью своей пріятельницѣ, удивлявшейся ея неутомимости и умѣнью добиваться своего. И она имѣетъ полное право гордиться. Какъ бы низко ни стоялъ человѣкъ, не легко задавить въ себѣ всякое самолюбіе, не легко выпрашивать, выслушивать отказы, выдерживать пренебрежительные взгляды, сохраняя улыбку. Но всѣ эти жертвы приносятся обожаемому сыну, цѣль оправдываетъ средства, и она счастлива служить тряпкой, чтобы оттереть низшія ступеньки лѣстницы, по которымъ этотъ обожаемый сынъ долженъ подняться до высшихъ, до которыхъ онъ никогда не поднялся бы, если бъ у него не было матери, исполнявшей за него эту грязную работу.

Еленъ Безухая одна исключеніе изъ этого общаго пра-

вила, но зато она и не женщина, она — *superbe animal*. Ни у одного романиста не встрѣчался еще этотъ типъ развратницы большого свѣта, которая ничего не любитъ въ жизни, кромѣ своего тѣла, даетъ брату цѣловать свои плечи, а не даетъ денегъ, хладнокровно выбираетъ себѣ любовниковъ, какъ блюда по картѣ, и не такая дура, чтобъ желать имѣть дѣтей; которая умѣетъ сохранить уваженіе свѣта и даже приобрести репутацію умной женщины, благодаря своему виду холодного достоинства и свѣтскому такту. Такой типъ можетъ выработаться только въ томъ кругу, гдѣ жила Еленъ; это обожаніе собственнаго тѣла можетъ развиваться только тамъ, гдѣ праздность и роскошь даютъ полный просторъ всѣмъ чувственнымъ побужденіямъ; это безстыдное спокойствіе — тамъ, гдѣ высокое положеніе, обезпечивая безнаказанность, научаетъ пренебрегать уваженіемъ общества, гдѣ богатство и связи даютъ всѣ средства скрывать интригу и заткнуть болтливые рты.

Важныя реформы того времени, ожиданіе еще большихъ, волновавшіе всѣ умы, свободнѣе заговорившая русская рѣчь, лихорадочное метаніе общества отъ скептицизма Вольтера въ мистическія бредни мартинизма, отъ дикаго разгула произвола къ единенію братства во Христѣ, все это прошло надъ головами нашихъ бабушекъ, не коснувшись ихъ, развѣ изъ моды почитывали онѣ иногда Эккартгаузена. Одно чувство, выходившее за узкія рамки ихъ жизни, пробудилось въ нихъ во время отечественной войны — чувство любви къ отечеству. Оно высказалось и въ княжнѣ Марьѣ, когда негодованіе на предложенное ей оскорбительное покровительство французскаго генерала, пробуждаетъ ее отъ нравственнаго оцѣпенѣнія, въ которомъ она находилась по смерти отца, хотя она не лично для себя сознаетъ всю унижительность этого покровительства, но какъ представительница имени отца и брата; оно высказалось даже въ смѣшной кузинѣ Пьера Безухаго, которая говоритъ, что какая она ни есть, а все подъ бонапартовской властью жить не намѣрена, и въ Наташѣ, когда она сочувствуя одушевленію отца при чтеніи манифеста обьюпченіи, кидается къ нему на шею, восклицая: „что за

преlestь этотъ папа“. Но дальше этихъ изъясненій чувства, щипанья корпіи, усиленнаго обожанія этого *ange l'empereur*, до замѣны французскаго языка русскимъ, исковерканнымъ на французскій ладъ, наши бабушки неспособны были идти, это чувство не становится дѣятельнымъ чувствомъ, онѣ не предпринимаютъ ничего, чтобы облегчить ужасы войны, страданія раненыхъ, призрѣть увѣчныхъ, вдовъ сиротъ; онѣ безпечно веселятся, когда непріятель въ нѣсколькихъ дняхъ перехода отъ Москвы, и бѣгутъ, спасая всѣ свои драгоценности и не мало не заботясь объ участи тысячъ своихъ соотечественниковъ, которые гибнутъ отъ холода и голода въ разоренной Москвѣ.

Любовь, безотвѣтная преданность, самоотверженіе, умѣнье очаровывать, міръ гостинныхъ и міръ семьи—вотъ въ чемъ состояла жизнь нашихъ бабушекъ, вотъ что онѣ завѣщали своимъ дочерямъ. Усмѣшкой горькою обманутаго ожиданія наши матери не встрѣтили доставшееся имъ наслѣдство; онѣ приняли его, какъ драгоценную святыню, и неприкосновенно передали намъ. Безотвѣтная покорность, всепрощающая любовь и самоотверженіе княжны Марьи, нѣжность и вѣрность Сони, умѣнье держать себя въ свѣтѣ и купить собою богатаго мужа, Еленъ, игривое кокетство маленькой княгини и очаровательность Наташи, разумѣется, безъ неблагоприятныхъ увлеченій ея,—вотъ тѣ идеалы, по которымъ воспитывали насъ; вотъ та жизнь, къ которой насъ готовили. Усмѣшкой горькою мы, въ свою очередь, не встрѣтили наслѣдства матерей нашихъ,—обманутаго ожиданія не было. Мы рано изъ ихъ собственной жизни поняли всю бѣдность этого наслѣдства, все развращающее вліяніе вѣчной зависимости на женщину и сознали наши права на то, чтобы жизнь наша была въ нашихъ рукахъ, а не зависѣла отъ благосклоннаго взгляда мужчины или прихоти самодура, наши права на свое мѣсто въ обществѣ, которое не онъ дастъ намъ, а сами мы возьмемъ своими силами, на свою собственную жизнь, жизнь трудовой и свободной дѣятельности, настоящую жизнь. Сильныя этимъ сознаніемъ, мы вступаемъ на новый путь. И если первые шаги наши на немъ не

тверды и неумѣлы, если торжество достигнутой цѣли не дается намъ, все-таки на нашей совѣсти не будетъ упрека — мы дѣлали, что могли; и неудачи наши, и первые неумѣлые шаги укажутъ путь другимъ поколѣніямъ, и будутъ наслѣдствомъ, которое внуки наши встрѣтятъ не горькой усмѣшкой.

М. Цебрикова.

* * *

*) Поэтическій очеркъ, о которомъ мы говорили въ прошедшемъ году **), выросъ изъ маленькой книжки въ обширное, многотомное сочиненіе, и является теперь передъ нами уже не очеркомъ, а большою историческою картиною. Содержаніе этой картины полно красоты поразительной; но оно такъ обширно и такъ многосложно, что оцѣнить его сразу въ полномъ размѣрѣ его достоинства почти невозможно и надо долго, долго притягиваться, прежде чѣмъ связь между отдѣльными частями выяснится. Читая главу за главой и книжку за книжкой, не разъ остановишься и спросишь себя: да какой же сюжетъ этого обворожительнаго разсказа и гдѣ его центръ? — Вокругъ какого лица или событія группируется вся эта масса линий и красокъ, портретовъ, характеровъ, происшествій и сценъ? Какой историческій мотивъ сообщаетъ свой стройный, широкій смыслъ и могущественное единство всѣмъ этимъ варіаціямъ? Какая драма жизни народной разыгрывается въ судьбѣ этихъ частныхъ лицъ, управляетъ ихъ интересами и страстями, опредѣляетъ ихъ замыслы и поступки, придаетъ величавый эпическій приемъ простому, будничному движенію разсказа? Другими словами, мы ждемъ романа по образцу Вальтеръ-Скотта и, не встрѣчая такого, приходимъ въ сомнѣніе. Намъ уже кажется, что въ сюжетѣ гр. Толстого нѣтъ цѣлости, что форма его многотомнаго со-

*) „Всемирный Трудъ“, 1868 г., № 4. Статья Николая Ахшарумова, подъ заглавіемъ: „Война и Миръ. Сочиненіе гр. Толстого. 1—4 части“.

**) Въ шестой книжкѣ „Всемирнаго Трудъ“, въ статьѣ: „1805-й годъ“, соч. гр. А. Толстого.

чиненія безсвязна, отрывочна, что это не историческая картина, а просто рядъ очерковъ, относящихся къ одному періоду времени и по этой причинѣ связанныхъ. Но такое сужденіе, хотя оно и естественно, было бы очень несправедливо.

Прежде всего мы должны понять, что форма историческаго романа, по образцу Вальтеръ-Скотта, та форма, съ которой мы свыклись и на которой, большею частію, основаны наши требованія, не есть ничто выдуманное и произвольно узаконенное. Она находится въ строгой связи съ характеромъ той народной жизни, на почвѣ которой она выросла. Она, такъ сказать, отлита по типу ея. Это одно уже ведетъ къ заключенію, что такая форма, несмотря на ея красоту и стройность, не можетъ имѣть универсальнаго примѣненія, и меньше всего похожа на нашу. Тамъ все пришло сразу въ соприкосновеніе и, быстрымъ размахомъ пройдя сквозь рядъ неизбѣжныхъ толчковъ и колебаній, скоро успѣло найти свой центръ равновѣсія. Въ неизмѣнныхъ предѣлахъ острова, въ массѣ народа, сплоченной хотя и изъ нѣсколькихъ расъ, но сплоченной тѣсно, разнообразныя элементы народной жизни не могли оставаться долгое время чужды другъ другу. Они рано вступили въ борьбу и быстро выработали между собой тѣ ясно-опредѣленные, стойкія отношенія, печать которыхъ лежитъ на всемъ. Тамъ нѣтъ, какъ у насъ, нетронутыхъ уголковъ, неумятыхъ дорожекъ и не знакома пословица: *всякъ молодецъ на свой образецъ*. Духъ цѣлаго тамъ проникаетъ всюду. Тамъ люди не знаютъ и ни отцы ихъ, ни дѣды не помнятъ такого неограниченнаго простора жизни, какой существуетъ у насъ. Тамъ нѣтъ середины; одно изъ двухъ: или совсѣмъ не живи, или живи такъ, какъ люди живутъ. Тамъ есть чудаки, мизантропы, выгородившіе себя изъ жизни, — герои своего времени внѣ исторической сцены дѣйствія тамъ невозможны, и если кому покажутся тѣсны эти условія, тотъ, какъ лордъ Байронъ, долженъ покинуть Англію и стать гражданиномъ вселенной.

У насъ совершенно напротивъ. У насъ центръ равновѣсія до сихъ поръ не отысканъ. Головою мы двинулись быстро впередъ, ногами едва научились ступать, не спотыкаясь и

не опрокидываясь. Мы выработали государственное единство, но не выработали еще никакого единства между развитіемъ націи и развитіемъ личнымъ. Послѣ долгихъ вѣковъ историческаго существованія отдѣльные элементы нашей народной жизни до сихъ поръ еще такъ слабо связаны между собой, и эта слабость рождаетъ такой просторъ для всякаго уклоненія въ сторону отъ общаго центра движенія, что у насъ можно легко стать человѣкомъ извѣстнымъ и даже героемъ въ глазахъ большаго числа людей и, несмотря на то, оставаться столь же далекимъ отъ какой бы то ни было положительной исторической роли, какъ любая Коробочка или Обломовъ. Эта черта распущенности, это отсутствіе органической связи въ характерѣ нашей народной жизни и были одною изъ главныхъ причинъ той трудности, съ которою хорошо знакомы наши поэты, трудности отыскать въ нашемъ прошедшемъ какой-нибудь стройный и сжатый сюжетъ для поэтической обработки. Во всей нашей тысячелѣтней исторіи мы знаемъ только одинъ небольшой лоскутокъ времени, захватывающій конецъ XVI и начало XVII вѣковъ, въ которомъ поэзія, не гоняясь за призраками, могла отыскать матеріалъ, дѣйствительно подходящій отчасти къ знакомому намъ романскому образцу историческихъ вымысловъ. Іоаннъ Грозный, Борисъ Годуновъ и Самозванецъ, — вотъ три единственные мотива въ нашей исторіи, которыми до сихъ поръ пользовались наши драматурги и романисты, и всѣ эти мотивы относятся къ одной короткой эпохѣ. До нихъ мы имѣемъ почти только одинъ матеріалъ пѣснопѣнія; а послѣ нихъ начинается періодъ самый неблагоприятный для историческаго искусства. Все поэтическое, что прежде существовало въ центрѣ народной жизни, вынѣтъ и выдыхается подъ гнетомъ крѣпостной власти и чуждыхъ народному духу, насильственныхъ формъ порядка, къ ней приворовленнаго. Энергія покидаетъ сердце Россіи и вмѣстѣ съ людьми, теряющими терпѣніе, уходитъ на низовья Волги и Дона. Въ теченіе долгихъ лѣтъ понизовая вольница и ея герои представляютъ собою почти единственный матеріалъ, сколько нибудь пригодный поэту, да и тотъ

остался до сихъ поръ неразработаннымъ. Тѣмъ временемъ жизнь политическая сосредоточилась вся въ одинъ тѣсный пунктъ, у Двора, и пошла путемъ мелкихъ интригъ, фаворитизма, солдатчины. Наружнаго блеска и механической силы, страстей, преступленій и казней оставалось попрежнему вдоволь; но историческій интересъ измельчалъ, а съ нимъ сталъ мелокъ и матеріалъ для поэтической обработки исторіи. Личность Петра стоитъ, какъ его монументъ на площади, одна, совершенно уединенная, а такія фигуры, какъ Меншиковъ, Долгорукіе, Остерманъ, Биронъ, Волынский и проч. могли быть весьма интересны и даже страшны для ихъ непосредственной обстановки, но въ поэтическомъ смыслѣ исторіи это—нули. То были, по вѣрному выраженію современниковъ, *люди случайные*, люди, не выразившіе собой ничего, кромѣ личнаго вкуса верховныхъ правителей, приблизившихъ ихъ къ себѣ. Они не имѣли корней на русской землѣ и не представляли собой ничьихъ интересовъ. За плечами у нихъ не было нуждъ и стремленій, воли и силы народной, которымъ они служили бы органами. Каждый изъ нихъ былъ самъ по себѣ, *молодецъ на свой образецъ*, и отъ этого молодца ничего не оставалось въ послѣдствіи, кромѣ угару. Какой-нибудь Биронъ, конечно, былъ зло и погубилъ не мало народу, но голодъ или чума были такое же зло и губили гораздо больше народу, и послѣдствій отъ нихъ оставалось гораздо болѣе. Отъ этого-то наши романы и драмы изъ исторіи этого времени имѣютъ всѣ тотъ мелкій, противный характеръ придворной хроники, который такъ же далекъ отъ настоящаго историческаго значенія, какъ далеки какой-нибудь Остерманъ или Волынский отъ типа истинныхъ двигателей нашей народной жизни.

Не болѣе вѣка прошло съ тѣхъ поръ. Но въ теченіе этого вѣка совершились событія знаменательныя, событія, которыя имѣли громадное значеніе въ исторіи нашего отечества и послѣдствія неисчислимыя. Россія, жившая долго особнякомъ, на рубежѣ европейской цивилизаціи, шагнула черезъ ограду, ее уединявшую, и вступила въ семью европейскихъ націй. Къ несчастію, просвѣщенные члены этой

семьи, несмотря на высокое ихъ развитіе, жили не ладно между собою. Они ссорились изъ-за cadaго вздора и тузили другъ друга усердно, такъ что новому члену, немедленно по приѣмѣ его въ семейство, не оставалось ничего болѣе дѣлать, какъ принять участіе въ потасовкѣ, что онъ и сдѣлалъ и, надо отдать ему честь, не положилъ охулки на руку. Но дрался онъ далеко не такъ, какъ другіе. Онъ дѣлалъ это безъ злобы и, надѣлая своихъ старшихъ братьевъ усердными тумаками, въ тайнѣ души питалъ къ нимъ любовь и глубокое уваженіе. Въ самый разгаръ европейскихъ войнъ, передовая часть русской націи, очарованная высокимъ развитіемъ Запада, стремилась усердно его перенять и усвоить себѣ европейскія формы жизни. Въ столицахъ у насъ образовалось общество на европейскій ладъ и его появленіе въ нашей исторіи, по многимъ причинамъ, было эпохой.

Вначалѣ оно почти исключительно состояло изъ баръ, то-есть людей знатныхъ, богатыхъ и титулованныхъ; но не это давало ему историческое значеніе. Наши бары не составляли собою особаго и замкнутаго политическаго сословія. Въ теченіе всей ихъ долгой исторіи изъ нихъ не вышло, да и при самыхъ благоприятныхъ условіяхъ, едва ли могло бы когда-нибудь выйти то, что мы въ собственномъ смыслѣ понимаемъ подъ словомъ: *аристократія*. Въ крови у нихъ не было ни рѣзкихъ, старательно сохранныхъ, отличій особой породы, ни того политическаго фермента, изъ котораго развивается въ людяхъ инстинктъ сословной личности, сознаніе корпоративной, преемственной силы и наследственное стремленіе къ преобладанію. На первыхъ мѣстахъ между ними были давно ужъ временщики, или дѣти временщиковъ, вызванныхъ случаемъ, откуда пошло, и эти мѣста уступлены были имъ безъ спору. Отъ старой родовой спеси и мѣстничества не оставалось почти и слѣдовъ. Чинъ, связи, богатство, вліяніе при Дворѣ и высокая роль на службѣ давно ужъ цѣнились выше происхожденія. Въ приѣмной у Аракчеевыхъ и Потемкиныхъ толкались потомки древнихъ удѣльныхъ князей и не считали этого униженіемъ. Многіе изъ этихъ потомковъ были

еще богаты и сами играли замѣтную роль при Дворѣ; другіе, оставивъ Дворъ, жили сатрапами въ своихъ родовыхъ помѣстьяхъ и были фактически почти не подсудны закону; но всякій былъ самъ по себѣ, самъ себѣ центръ и все, чѣмъ онъ пользовался, вся сила его принадлежала только ему одному. Это не было нѣчто, завѣщанное вѣками, дошедшее до него въ нетронутой цѣлости, и онъ самъ не считалъ долгомъ поддерживать это далѣе, завѣщая свое значеніе и богатство изъ рода въ родъ, безъ убыли, отъ одного къ одному. Онъ не чувствовалъ себя представителемъ политической единицы и не видѣлъ нужды ни опираться на силу ея, ни самому служить ей поддержкой. Онъ былъ простой, индивидуальный случай, и вся его сила была случайная. Былъ онъ бережливъ и имѣлъ единственного наследника, онъ сохранялъ для него все свое достояніе въ цѣлости, — нѣтъ, — онъ проматывался, и дѣти его получали одно знатное имя съ придачей какихъ-нибудь двухъ, трехъ разоренныхъ селъ. Въ результатъ выходила азартная, круговая игра, съ безпрестанной перетасовкой, игра, въ которой ежеминутно являлись новыя конкуренты и персоналъ главныхъ актеровъ мѣнялся. Богатство, вліяніе, сила съ одной стороны переходили, какъ карты отъ игрока къ игроку, съ другой — дробились. Число претендентовъ росло, претензіи ихъ мельчали. Наслѣдники раздробленныхъ и разоренныхъ имѣній увеличивали собою классъ мелкихъ землевладѣльцевъ, значительное число которыхъ бросало свои помѣстья и ѣхало въ Петербургъ служить. Въ столицахъ изъ обнищавшихъ баръ и мелкихъ дворянъ формировалось уже то многочисленное сословіе чиновничества, которое къ нашему времени успѣло образовать собою особый міръ со своими особыми нравами и понятіями; но между этимъ наноснымъ слоемъ и тѣмъ обществомъ на французскій ладъ, которое занимало вершины столичной жизни, не было рѣзко опредѣленныхъ границъ. На службѣ военной или гражданской пріобрѣтались: богатство, помѣстья, чины и вліяніе при Дворѣ. Высшій классъ служащихъ людей велъ знакомство съ барами, былъ принятъ у нихъ въ гостинныхъ, дру-

жился, родился съ ними и усердно копировалъ ихъ образъ жизни, съ другой стороны, не обрывая связи со своими сверстниками и сослуживцами, которые въ свою очередь подражали ему, и такимъ образомъ едва появился у насъ, въ столицахъ, первый зачатокъ общества по иностранному образцу, какъ образецъ этотъ, въ болѣе или менѣе скверныхъ копіяхъ, началъ распространяться на все, что составляло столичную обстановку Двора и знати и приближалось къ нимъ сколько-нибудь, по степени своего достатка или развитія.

Процессъ этой новой формациіи начался у насъ, безъ сомнѣнія, раньше той интересной эпохи, которую графъ Толстой изобразилъ въ своемъ сочиненіи. Начало его можно считать съ тѣхъ асамблей, на которыхъ русскихъ боярынь заставляли переодѣваться въ нѣмецкое платье и спаивали заморскимъ виномъ; но долгое время дѣло шло медленно, постепенно; люди еще не успѣли войти во вкусъ того, что было навязано имъ по приказу, и новая жизнь, возникающая на старой почвѣ, не могла отрѣшиться отъ этой послѣдней сразу на столько, чтобы между ними можно было замѣтить какой-нибудь переломъ. Въ исходѣ прошлаго вѣка однако явились вліянія, которыя начали ускорять это движеніе. Число людей, окончившихъ воспитаніе въ школахъ, быстро росло. Масонство расшевелило умы и въ первый разъ стало соединять людей разнаго круга жизни не внѣшнею и случайною связью, а силою убѣжденія. Литература заговорила явственнѣе и освѣтила мысль первыми проблесками общественнаго сознанія. Число иностранныхъ книгъ, переведенныхъ на русскій языкъ, стало значительнѣе. Все это вмѣстѣ успѣло уже образовать въ высшихъ кругахъ нѣкоторое подобіе *публики*, и на эту-то *публику* громовой ударъ революціи произвелъ то рѣшительное и потрясающее впечатлѣніе, которое у насъ, какъ вездѣ, было сигналомъ новой эпохи. Съ Запада вдругъ пахнуло бурей, и на лицахъ у всѣхъ, до кого достигло ея дуновеніе, мгновенно изобразились: тревога, сомнѣніе, ожиданіе.

Впечатлѣніе было смутно вначалѣ, и никто не отдавалъ себѣ отчета въ истинномъ смыслѣ того, что случилось; но

всѣ инстинктивно чувствовали, что колесо исторической жизни выскочило изъ старой своей колеи и пошло по какому-то новому, неизъясненному пути, на которомъ старый маршрутъ будетъ плохимъ указателемъ; что впереди готовятся неожиданныя событія и перемѣны, размѣръ которыхъ трудно предугадать... И предчувствіе это сбылось... Оно сбылось въ полномъ объемѣ и въ самомъ непродолжительномъ времени. Тысячелѣтній барьеръ, отдѣлявшій наше отечество отъ Европы, вдругъ какъ будто былъ снятъ чьей-то невидимою рукою, и Россія вмѣшалась въ водоворотъ европейской, международной политики... Борьба была неизбежна; барометръ показывалъ *штормъ*... Мы были охвачены ураганомъ, втянуты въ самый центръ его. Но сложеніе новаго члена европейской семьи оказалось здоровое. Онъ вынесъ пробу огня и меча такъ, какъ никто не вынесъ ее. Онъ вышелъ изъ десятилѣтней борьбы, покрытый честью и славой. Онъ отстаивалъ свою политическую независимость и утвердилъ ее на прочномъ, незыблемомъ основаніи... Къ несчастію, это былъ только одинъ изъ результатовъ столкновенія нашего съ западною Европою. Одновременно съ шумнымъ вопросомъ внѣшней политики, въ тишинѣ внутренняго развитія, въ сердцахъ и умахъ передового строя нашей народной жизни незримо глѣла другая борьба и рѣшался другой вопросъ, давно уже поднятый у насъ, вопросъ о нашей нравственной самобытности. И тутъ-то мы дорого поплатились за честь, которая вышла намъ на долю съ другой стороны... Мы были поражены и завосваны самымъ позорнымъ образомъ. Мы даже не можемъ похвастать, чтобы мы выдержали упорную битву. Наше войско сдалось безъ бою, нашъ главный штабъ измѣнилъ... Противорѣчіе между такими двумя результатами было разительное. Съ одной стороны, цвѣтущая сила, счастье и торжество молодого народа, покрытаго славой; съ другой—его слабость, безхарактерность, уступчивость, отсутствіе уваженія къ самому себѣ и позорное нравственное холопство!... Вотъ яркій, полный глубокаго интереса контрастъ, и такой-то контрастъ составляетъ историческую основу въ произведеніи графа Толстого.

Эта основа не бросается прямо въ глаза; мало того, мѣстами кажется, какъ будто въ *Войнѣ и Мирѣ* историческая сторона задачи принесена въ жертву художественной. Лицо частнаго человѣка стоитъ, повидимому, вездѣ на первомъ планѣ и занимаетъ собою читателя почти исключительно; а историческія событія являются только случайною его обстановкою, и ни одинъ изъ главныхъ актеровъ эпохи не принимаетъ дѣятельнаго участія въ драмѣ разсказа. Но, несмотря на такую, повидимому, второстепенную роль исторіи, она чувствуется вездѣ и проникаетъ собою все. Отголосокъ минувшаго звучитъ въ каждой сценѣ, характеръ общества того времени, *типъ русскаго человѣка въ эпоху его перерожденія* очерченъ явственно въ каждомъ дѣйствующемъ лицѣ, какъ бы ни было оно незначительно, и этотъ-то *типъ* играетъ главную роль въ сочиненіи графа Толстого. Онъ составляетъ собою тотъ личный центръ, въ которомъ сосредоточивается и воплощается весь историческій интересъ и историческій смыслъ картины; а потому онъ прежде всего и долженъ быть предметомъ критическаго анализа.

Вглядываясь въ этотъ *типъ переходнаго времени*, мы вспоминаемъ рядъ горькихъ упрековъ, которыми онъ у насъ былъ осужденъ, и спрашиваемъ себя: въ какой мѣрѣ они справедливы?... Точно ли это тотъ судъ потомства, спокойный и безпристрастный, какого мы и себѣ желаемъ со временемъ; или это не приговоръ судьи, а жалоба, злое, одностороннее обвиненіе,—*„насмѣшка горькая обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ“*?... Чтобы рѣшить этотъ щекотливый вопросъ, нужно забыть на минуту ту роль истца, которую мы почему-то обыкновенно беремъ на себя въ этомъ дѣлѣ, и поставить себя на мѣстѣ отвѣтчиковъ. Въ чемъ обвиняютъ ихъ? И почему обвиненіе падаетъ только на нихъ, а не на весь русскій народъ, историческое движеніе котораго они представляли? О нихъ говорятъ, будто они измѣнили характеру этого народа, отреклись отъ его самобытности и вмѣсто того, чтобы вести его путемъ самостоятельнаго развитія, пошли хвостомъ за нѣмцами и фран-

цузами, стали ихъ обезьянами и лакеями... Въ этомъ, конечно, есть доля правды и правды горькой;—но не такъ-то легко рѣшить, почему обвиненія подобнаго рода должны относиться къ тремъ, четыремъ поколѣнїямъ полуразвитыхъ людей переходной эпохи такъ предпочтительно и такъ исключительно, какъ будто бы это были не тѣ же русскіе люди, а нѣчто особенное и совершенно-случайное, какіе-то выродки, ни въ мать, ни въ отца, а въ прохожаго молодца,—выродки, по произволу глупой своей головы выбравшіе себѣ особый путь и поступавшіе совершенно не такъ, какъ другіе русскіе люди, въ тѣхъ же условїяхъ, поступили бы на ихъ мѣстѣ?... Спрашивается: откуда могли явиться такіе люди?... Не съ неба же они къ намъ свалились и не отъ помѣси русской породы съ другими произошли,—нѣтъ;—они были точно такіе же русскіе по происхожденію, какъ и любой костромской мужичокъ или московскій купчикъ изъ ихъ современниковъ. И откуда эта черта неустойчивости, измѣнчивости, легкомысленнаго увлеченія чужимъ и легкомысленнаго пренебреженія къ родному?... Если такой черты нѣтъ въ русскомъ народномъ характерѣ, то откуда она могла явиться повально, безъ исключенія, у цѣлаго класса людей чистой русской породы? Не иѣмцы же привили намъ этотъ грѣхъ. Они могли привить что угодно другое, что было у нихъ самихъ въ ихъ народномъ характерѣ; но вѣдь именно этого-то у нихъ и не было. Не имѣя прямыхъ указаній на источники зла, мы должны обратиться къ гипотезамъ. Изъ нихъ — три уже выключены тѣмъ, что сейчасъ было сказано. Мы не можемъ предположить случая, потому что уроды не являются вдругъ, сплошной массою и сотнями тысячъ въ исторіи племеннаго перерожденія... Не можемъ допустить помѣси, потому что если она и была у насъ съ иностранцами, то далеко не въ такихъ размѣрахъ, чтобы объяснить быстрое, гуртовое перерожденіе народнаго типа въ цѣломъ сословіи... Не можемъ также допустить, чтобы новая черта въ народномъ характерѣ могла перейти къ нему отъ народа, у котораго такой черты не было. Затѣмъ остаются всего только два возможныхъ предположенія. Зло мо-

жетъ быть объяснено или особенностью нашего русскаго народнаго характера, или общими всему человѣчеству законами историческаго движенія. Но перваго объясненія мы не можемъ принять; потому что хотя исторія, съ одной стороны, доказала намъ положительно, что въ нашемъ народномъ характерѣ есть гибкость, подвижность, способность перенимать чужое и уживаться съ чужимъ; но, съ другой стороны, она вовсе не доказала, чтобы эта черта была коренная, исконная, свойственная только одному русскому народу и всегда, при всякихъ условіяхъ, отличавшая его отъ другихъ. Остается, стало быть, только одно. Мы должны допустить, что не порча породы чуждою примѣсью, и не нравственная зараза примѣра, и не случайный характеръ нѣсколькихъ поколѣній, и не коренная черта въ народномъ характерѣ, а общій законъ историческаго движенія былъ главнымъ источникомъ того бѣдствія и позора, въ которомъ мы обвиняемъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ. Мы должны допустить, что на ихъ мѣстѣ и въ ихъ обстоятельствахъ не только мы, ихъ обвинители, или другіе русскіе, по ихъ малолѣтству выгороженные изъ всякаго участія въ этой тяжбѣ; но и люди другого племени поступили бы точно такъ же: были бы такъ же увлечены, очарованы и подчинились бы точно такъ же чужому нравственному преобладанію. Податливость, неустойчивость, въ которой ихъ упрекаютъ, была, конечно, и до сихъ поръ остается отличительною чертою характера нашихъ передовыхъ слоевъ; но эта черта—нажитая въ недавнюю пору. Мы не видимъ ее ни въ русскихъ боярахъ, окружавшихъ тронъ Самозванца въ Москвѣ, ни въ ихъ потомкахъ временъ Петра, и наши потомки, лѣтъ черезъ сто, по всей вѣроятности, не найдутъ уже больше ее между собою. Назовемъ ее настоящимъ именемъ. Это черта *нравственнаго лакейства*. Лакейство еще не рабство, конечно, въ смыслѣ зависимости узаконенной и вынужденной; но оно гаже рабства, потому что подъ нимъ разумѣется подчиненіе нравственное, охотно и даже весело на себя принимаемое и добровольно терпимое. Къ счастью человѣческаго достоинства, эта черта рѣдко бы-

ваетъ наслѣдственною и никогда національною. Лакейство существовало во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ. Гордый Римъ имѣлъ его у себя, и въ наше время имѣетъ спесивая Англія. Сатира ея указывала на эту черту чаще всякой другой и бичевала съ особеннымъ озлобленіемъ. Она указала намъ на лакейство, какъ на обширное гуртовое явленіе, настоящую язву общественную. Она отыскала его во всѣхъ возрастахъ и почти во всѣхъ классахъ народа, отыскала не только въ ливреѣ футмана и бѣломъ галстухѣ полового, а въ лучшихъ и высшихъ школахъ, въ мѣщанствѣ, въ войскѣ, въ аристократіи. Но едва ли кому придетъ въ голову, на основаніи этого, считать лакейство чертою англійскаго народа, не потому что онъ такъ гордо держитъ себя въ отношеніи къ другимъ націямъ; это не болѣе какъ итогъ его политическихъ и финансовыхъ привилегій; а потому, что лакейство—это всемірный грѣхъ. Вездѣ, гдѣ есть рѣшительный перевѣсъ силы: умственной, нравственной, денежной, политической, гдѣ есть старшинство, первенство несомнѣнное: въ отношеніяхъ между наемщиками и нанятыми, между господами и слугами; въ наукѣ между учителями и школьниками; въ школьномъ товариществѣ между старшими и меньшими; въ семьѣ между наслѣдниками и завѣщателями; на службѣ между начальниками и подчиненными; въ прикосновеніи двухъ національностей между народомъ полуразвитымъ и народомъ высокоразвитымъ,—вездѣ лакейство является какъ эпидемическая зараза и разрастается часто до страшныхъ размѣровъ. Что же удивительнаго, если оно и у насъ явилось скоро, послѣ того какъ грубое, неразвитое русское барство, выглянувъ изъ окошка, прорубленнаго въ Европу Петромъ, увидѣло жизнь иного рода и стало чувствовать на себѣ ея обаяніе. Могло ли оно устоять; могло ли оно остаться трезвымъ, спокойнымъ зрителемъ всѣхъ этихъ соблазновъ высокой цивилизаціи и не погнаться слѣдомъ за нею, принявъ участіе сперва въ вихрѣ свѣтскихъ, блестящихъ потѣхъ, а потомъ и въ вихрѣ умственнаго движенія? Что имѣло оно у себя дома, въ старомъ быту, завѣщанномъ предками, что могло бы сравниться по силѣ оча-

рованія съ этой новой картиною, которая вдругъ открылась ему во всей своей ослѣпительной роскоши?... Скучную, праздную жизнь теремовъ, грязь, аскетизмъ, тупую обрядность формъ, варварство нравственное и крайнюю нищету мысли. Могло ли оно съ такими данными угадывать ходъ исторіи? Могло ли соображать, что все это должно исчезнуть со временемъ путемъ самостоятельнаго развитія, и въ этой надеждѣ ждать терпѣливо, огородивъ себя отъ Европы китайской стѣной, или критиковать, анализировать и выбирать осторожно только одно серіозное и полезное, а остальное все отталкивать отъ себя? Такой анализъ, критика и предвидѣніе, возможны ли они были въ незрѣломъ молодомъ обществѣ, у котораго голова кружилась отъ тысячи искушеній? Такая стойкость и такое терпѣніе не выше ли они вообще силъ человѣческихъ?... Не будемъ же удивляться, что предки наши сдались и что изъ набожныхъ, важныхъ, степенныхъ, угрюмыхъ бояръ, свято чтившихъ отцовскій обычай и презрительно относившихся ко всему иностранному, вышелъ вдругъ такой рой фразеровъ, шутовъ, шаркуновъ и робкихъ, угодливыхъ подражателей чужеземному образцу. И не осмѣемъ по-хамски нашихъ отцовъ за то, что они опьянѣли, хлѣбнувъ немного неосторожно изъ чаши новыхъ и малознакомыхъ наслажденій... Они согрѣшили по-человѣчески, будемъ и мы судить ихъ по-человѣчески.

Такимъ-то именно человѣческимъ, мягкимъ, сочувственнымъ взглядомъ и теплымъ участіемъ къ типу, изображенному имъ, проникнуто сочиненіе графа Толстого. Онъ не смотритъ сквозь пальцы на этотъ типъ и нисколько его не поэтизируетъ. Онъ видитъ всю правду, всю мелочь и низость нравственного характера и все умственное ничтожество въ большинствѣ людей, имъ изображаемыхъ, и не скрываетъ отъ насъ ничего. Напротивъ, онъ безпрестанно скребетъ тонкую кожу вѣшняго, европейскаго лоска и отыскиваетъ подъ нею варварство; но онъ далекъ сердцемъ отъ сухого и строгаго приговора. Онъ любитъ людей, имъ описываемыхъ не за какія-нибудь особенныя достоинства или заслуги, ибо такихъ, вообще говоря, на лицо не ока-

зывается; а естественною и безотчетной любовью русскаго къ русскому, сына къ отцу, участіемъ зрѣлаго и высоко-развитаго человѣка къ молодому повѣсѣ, который напоминаетъ ему молодость. Странный упрекъ, который былъ сдѣланъ ему за эту любовь и это участіе, упрекъ въ сословномъ пристрастіи, едва ли заслуживаетъ серіознаго опроверженія. Какое право имѣли мы требовать, чтобы онъ написалъ пасквиль на барское общество того времени или разразился надъ прахомъ его бурей гражданскаго гнѣва въ тонѣ поэта Лилиеншвагера? Но если, помимо этого рода педантизма, мы взглянемъ внимательно въ характеръ баръ, имъ изображаемыхъ, то мы скоро придемъ къ убѣжденію, что авторъ имъ далеко не польстилъ. Ссылаться для этого на низкій умственный или нравственный уровень такихъ людей, какъ всѣ эти Курагины, Друбецкіе, Мамоновы и проч., и разбирать ихъ характеры порознь,—мы не имѣемъ нужды. Мы только напомнимъ, что авторъ не пощадилъ ихъ и что никакой цеховой обличитель барства не могъ бы сказать объ немъ такихъ горькихъ истинъ, какія высказалъ графъ Толстой.

Опредѣливъ такимъ образомъ историческую основу, на которой построенъ общій сюжетъ сочиненія, и указавъ на крупное историческое лицо, изображенное въ центрѣ, мы перейдемъ къ группировкѣ его частей и къ оцѣнкѣ его выполнения. И та и другая представляютъ большія трудности, потому что, *во-первыхъ*, сочиненіе еще не окончено; мало того, невозможно даже предвидѣть, когда оно будетъ окончено и какой объемъ приметъ рамка его; а *во-вторыхъ*, потому, что масса и многосложный, пестрый характеръ подробностей размѣромъ своимъ превосходятъ все, что мы встрѣчали когда нибудь въ русской литературѣ.

Начнемъ съ того, что пластическій, живописный приѣмъ разсказа въ общемъ итогѣ беретъ рѣшительный верхъ надъ его драматическимъ и лирическимъ содержаніемъ. Сочиненіе это прежде всего картина. Количество яркихъ красокъ, употребленныхъ авторомъ въ дѣло, число пестрыхъ сценъ и характерныхъ фигуръ, изображаемыхъ имъ по преиму-

ществу съ ихъ наглядной и лицевой стороны, множество неподобныхъ ландшафтовъ и разнаго рода сценической обстановки, встрѣчаемыхъ нами на каждомъ шагѣ,—все это даетъ перевѣсъ сторонѣ картинной. Но послѣ картиннаго, живописнаго содержанія ярче и чаще выходятъ наружу мотивы чисто лирическіе. Разсказъ событій часто перерывается, и авторъ описываетъ съ неутомимой подробностью, о чемъ мечтали участники ихъ, въ извѣстный моментъ происшествія, докапывается до ихъ затаенныхъ и очень нерѣдко глухихъ надеждъ, до ихъ маленькихъ, грязноватыхъ или эгоистическихъ заднихъ мыслей, ловить всѣ мимолетныя чувства, промелькнувшія у нихъ на сердцѣ, все, что ихъ волновало и тѣшило, пугало и огорчало, приводило въ восторгъ или въ уныніе. Это какая-то фантазмгорія мысли, какая-то бѣглая, прихотливая, блуждающая музыка сердца, вся составленная изъ пестрыхъ урывковъ и безпрестанно переходящая въ диссонансы. Мотивы ея звучатъ безыскусственной правдой; но всѣ они безотчетны, безсвязны и почти всѣ случайны, а потому болѣею частію мелки и незначительны. Сознательныхъ и отчетливыхъ побужденій мы видимъ мало; послѣдовательныхъ и связанныхъ мотивовъ дѣйствія, упорныхъ стремленій, могучихъ страстей, обхватывающихъ и увлекающихъ человѣка съ неотразимою силою къ чему-нибудь одному, что не даетъ покоя, пока оно не достигнуто, мы вовсе почти не встрѣчаемъ. Историческій фатумъ или тупая, бессмысленная случайность играетъ актерами графа Толстого, какъ шапками. Стеченія обстоятельствъ, ускользающія отъ всякихъ расчетовъ, или минутныя вспышки, отъ которыхъ не остается потомъ и слѣда, вотъ что управляетъ поступками ихъ. Поэтому и еще по одной, субъективной причинѣ, о которой мы послѣ поговоримъ, драматическихъ, крупныхъ, индивидуальныхъ характеровъ въ сочиненіи графа Толстого мы вовсе почти не находимъ. Мало того, даже величіе этихъ монументальныхъ фигуръ, изрѣдка появляющихся на заднемъ планѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда авторъ беретъ которую-нибудь изъ нихъ и приближаетъ ее къ глазамъ чита-

теля, на повѣрку оказывается какимъ то грубымъ, онтически-заблужденіемъ. Сообразивъ все это, если мы вспомнимъ еще, какое несмѣтное множество лицъ выведено на сцену, и сколько отдѣльныхъ сферъ дѣйствія содержатъ рассказъ, какъ все это сложно, разнообразно и какъ вслѣдствіе этого разнородныя группы и сферы необходимо должны быть перетасованы между собой, то мы койчемъ, почему отдѣльныя части рассказа и отдѣльныя личности, введенныя на сцену дѣйствія, необходимо должны терять въ нашихъ глазахъ свой нормальный размѣръ передъ лицомъ такого громаднаго цѣлаго. Отъ этого человѣкъ, какъ лицо, у графа Толстого выходитъ мелокъ. Его личный характеръ едва замѣтно участвуетъ въ драмѣ событій. Самая эта драма является намъ почти исключительно съ гуртовой, коллективной своей стороны, а личная ея сторона разбивается на мелкіе эпизоды, не имѣющіе почти никакого единства между собою и вынужденные ожидать развязки въ такой безконечной очереди, которая не даетъ ни одному изъ нихъ времени овладѣть вниманіемъ и участіемъ нашимъ довольно рѣшительно, чтобъ одержать перевѣсъ надъ всѣмъ остальнымъ и выступить ярко на первый планъ. Вслѣдствіе этого драматическій интересъ сочиненія дѣлается почти безличнымъ, а всякій безличный интересъ, въ драматическомъ отношеніи, холоденъ.

Въ общемъ итогѣ, мы повторяемъ, сочиненіе графа Толстого является намъ картиною, а потому мы и рассмотримъ его выполненіе прежде всего съ этой точки зрѣнія, очевидно наиболѣе выгодной для него.

Картина по содержанію дѣлится на двѣ части, тѣснѣйшимъ образомъ связанныя по смыслу ихъ общей задачи и мастерски сгруппированныя, но тѣмъ не менѣе, ярко-отличныя — *Войну и Миръ*. Первая доминируетъ, если не по размѣру, то по тому особенному, торжественному, эпическому настроенію, которое она даже надали придаетъ эпохѣ, изображенной авторомъ. Настроеніе это чувствуется даже и тамъ, гдѣ оно, повидимому, вовсе не мотивировано текущимъ ходомъ разсказа. Грозная, черная туча все время

виситъ на горизонтѣ. Звукъ военной трубы составляетъ фундаментальный тонъ оркестра и слышенъ то издали, то вблизи, то глухо, то явственно, въ промежуткахъ самыхъ пгивныхъ и мирныхъ мотивовъ. О *Войнѣ*, какъ понимаетъ ее графъ Толстой, въ ея историческомъ и философическомъ смыслѣ, мы послѣ поговоримъ, а здѣсь выскажемъ только глубокое удивленіе къ таланту автора. Картина *Войны* у него такъ хороша, что мы не находимъ словъ, способныхъ выразить хоть отчасти ея ни съ чѣмъ несравненную красоту. Это множество лицъ, мѣтко очерченныхъ и озаренныхъ такимъ горячимъ солнечнымъ освѣщеніемъ; эта простая, ясная, стройная группировка событій; это неисчерпаемое богатство красокъ въ подробностяхъ и эта правда, эта могучая поэзія общаго колорита, все—заставляетъ насъ съ полной увѣренностью поставить *Войну* графа Толстого выше всего, что когда-нибудь въ этомъ родѣ производило искусство.

Картина *Мира* не такъ легко поддается общей оцѣнкѣ и на первыхъ порахъ приводитъ насъ въ сильное недоумѣніе. Вниманіе наше поражено красотой отдѣльных частей, но мы не въ состояніи уловить цѣлаго. Мы не знаемъ, за что ухватиться, на что опереться и не находимъ руководящей нити, чтобы пройти извилины этого лабиринта, не потерявшись въ немъ. Мы точно попали на какую-то неструю ярмарку или рынокъ, раскинутый на пространствѣ необозримомъ. Народъ толпится мѣстами какъ стадо, мѣстами снуетъ по всѣмъ направленіямъ, и гулъ нестройнаго множества голосовъ стоитъ надъ всѣмъ этимъ сборищемъ... Въ чемъ дѣло?.. Что тутъ происходитъ? задаемъ мы себѣ вопросъ и, прислушиваясь, оглядываясь, мы начинаемъ смутно догадываться, что тутъ происходитъ дѣло гораздо болѣе важное, чѣмъ война: дѣло общественнаго развитія, зарожденіе новой жизни въ высшихъ слояхъ народнаго быта. И мы понимаемъ, что дѣло такого рода на первыхъ порахъ не можетъ идти красиво и стройно. Это омутъ, надъ которымъ стоитъ туманъ, еще не разогнанный лучами едва восходящаго солнца, внутри котораго все

еще спутано, перемѣшано, бродить, кипить и волнуется. Нѣсколько разныхъ теченій сталкиваются и перекрещиваются, но ни одно не успѣло еще одержать перевѣса, множество элементовъ, чуждыхъ другъ другу, борются между собою и никакого исхода этой борьбы еще невозможно предвидѣть. Русскіе, нѣмцы, французы, разный языкъ, разный характеръ и степень развитія, разный обычай и разные убѣжденія, реформа, политика, служба, интриги, проекты, война позади, война впереди, масонство, вѣра и суевѣріе, слухи, толки, сплетни и вихорь шумныхъ забавъ въ жизни столичной, а въ деревенской глуши мечты и надежды молодости и остатки дѣдовскихъ нравовъ, еще уцѣлѣвшіе въ сердцахъ людей, по наружности имъ давно измѣнившихся... И это одинъ только верхній слой, но за этимъ слоемъ, изъ-подъ него и сзади его чернѣетъ глубь, еще неизвѣданная, бьютъ родники народной жизни, струи которыхъ еще не видали свѣта, скрывается цѣлое море силъ, выжидающихъ своей очереди въ непроглядномъ, далекомъ будущемъ.

Окинувъ взоромъ всю эту неизмѣримую массу жизни, мы убѣждаемся, что художественное единство и группировка были для автора невозможны. Онъ не могъ выдумать органической связи тамъ, гдѣ жизнь еще не развила ее въ себя; онъ вынужденъ былъ схватить на лету и урывками кое-что, выдающееся впередъ и сквозящее, такъ сказать, сквозъ мутныя волны потока. И это онъ выполнилъ съ рѣдкою скромностью, съ рѣдкимъ умѣньемъ и тактомъ. Онъ водить насъ туда и сюда по шумному рынку и, останавливаясь, указываетъ поочередно то на одну, то на другую сцену. И мы видимъ вездѣ русскаго человѣка въ глухой борьбѣ съ наносными формами чуждаго ему просвѣщенія, но сердце наше сжимается, когда, взглянувъ, мы замѣчаемъ, какую жалкую роль играетъ въ этой борьбѣ тотъ самый народный характеръ, здоровый и ясный типъ котораго такъ веселитъ насъ въ картинѣ *Войны*. Это уже не прежній лихой молодецъ, не *Васяка Денисовъ*, свѣтлый герой, и не *Долоховъ*, этотъ нахаль и хватъ, который, шкуры

своей не щадя, готовъ пролѣзть сквозь огонь и воду. Это какой-то робѣющій и запуганный школьникъ, нравственный недоросль, который не знаетъ, которой ногой ступить и куда дѣвать свои неуклюжія длинныя руки, не знаетъ, на какомъ языкѣ говорить, стыдѣсь говорить на родномъ и боясь ошибиться на иностранномъ, не смѣетъ высказать своихъ мыслей, потому что онѣ у него не свои, и онъ боится, чтобъ ихъ не признали за краденныя... И никакихъ убѣжденій, никакого устоя, ни малѣйшей увѣренности въ себѣ, все жидко и шатко, все въ передѣлѣхъ, въ разбродѣ... и хочется досмерти заслужить одобреніе отъ кого-нибудь, похвалить, пощеголять передъ старшими, и страшно, что кто-нибудь, осмѣетъ... и, расхрабрившись, рѣшится сказать что-нибудь но не успѣлъ досказать, какъ готовъ ужъ отречься отъ сказаннаго... А между тѣмъ этотъ робѣющій и растерянный недоросль такъ же дорогъ для насъ, какъ и тотъ богатырь, которымъ утѣшенный взоръ нашъ любитъ на другой сторонѣ картины, потому что на немъ, на этомъ недорослѣ, сосредоточены всѣ надежды, и ему принадлежитъ будущее, а тотъ, другой, былъ истинный сынъ своего времени, жилъ полною его жизнію и отжилъ свое... Но вернемся къ первому.

Этотъ характеръ ребячества, уже потерявшаго свою простоту и наивность, но не успѣвшаго еще приобрести увѣренности и стойкости, которая можетъ дать только сознаніе зрѣлой силы, встрѣчается намъ на каждомъ шагѣ въ картинѣ *Мира*. Черты его, въ разной силѣ и степени воплощенія, авторъ изображаетъ намъ не только въ отдѣльных лицахъ, но даже и въ цѣлыхъ группахъ. Мы видимъ его неуувѣренную въ себѣ, безпрестанно оглядывающуюся на себя и за себя краснѣющую фізіономію на вечерахъ у Анны Павловны Шереръ и въ задушевной бесѣдѣ пріятелей съ глазу на глазъ; въ открытыхъ, публичныхъ собраніяхъ и въ ложѣ масоновъ. Мало того, эта самая стыдящаяся себя фізіономія обнаруживается и въ той легкомысленной приткості, съ которою у насъ былъ начатъ рядъ торопливыхъ и чисто виѣшнихъ реформъ. Главной пружи-

ной бѣльшей части изъ нихъ былъ стыдъ за свое устарѣвшее платье и нетерпѣнье явиться какъ можно скорѣе передъ собою и передъ Европою въ прилично-скроенной модной гражданской формѣ. Форма смущала и форма прельщала нашихъ преобразователей. О томъ, придется ли она по плечу и какъ уложится въ ней содержаніе, не хотѣлось, да и некогда было думать. И если мы вспомнимъ истиннѣ удивительное число реформъ, проведенныхъ у насъ въ теченіе вѣка, то мы будемъ поражены изумительною легкостью, съ которой онѣ появлялись и вытѣсняли другъ друга. Мы спросимъ себя: когда такое множество ихъ успѣло исчезнуть, явиться и снова исчезнуть, и какую чудесную гибкость жизни долженъ имѣть народъ, способный такъ быстро пройти сквозь такой длинный рядъ самыхъ разнообразныхъ метаморфозъ своего гражданского и политическаго устройства. Но дѣло въ томъ, что гибкость эта чисто воображаемая. Девять десятыхъ реформъ совершены были въ канцеляріяхъ, на бумагѣ, и не успѣли проникнуть далѣе внѣшняго слоя народной жизни, не успѣли войти въ плоть и кровь ея массивнаго организма, какъ были уже похоронены съ тою же удивительною легкостью, съ какою онѣ вытѣсняли своихъ предшественниковъ. Въ картинѣ графа Толстого мы видимъ только одну наружную сторону канцелярскаго аппарата, посредствомъ котораго эти метаморфозы производились, того аппарата, который высиживалъ намъ нѣчто похожее на землянику въ январѣ мѣсяцѣ. Въ нѣсколькихъ бѣглыхъ очеркахъ онъ рисуетъ намъ физиономіи Аракчеева и Сперанскаго съ ихъ ближайшею обстановкою. Это портреты, не болѣе, но характерныя ихъ черты ловко подмѣчены"... (Далѣе слѣдуетъ анализъ Пьера Безухова, Николая Ростова, Болконскаго и др... (См. въ IV части: „Разборы отдѣльныхъ типовъ“).

„Военная философія автора впрочемъ не какой-нибудь изолированный мотивъ. Она состоитъ въ тѣснѣйшей связи съ общимъ характеромъ его философическаго воззрѣнія на жизнь и его пониманія жизни. Онъ *фаталистъ*, но не въ томъ дѣломъ, восточномъ значеніи этого слова, которое

усвоено вѣрѣ слѣпой, чуждой всякаго разсужденія. Фатализмъ графа Толстого — это чадо нашего времени, фатализмъ резонирующий, фатализмъ, выражающій собою не сплошную вѣру, а итогъ несчетнаго множества сомнѣній, недоумѣній и отрицаній. Если бы онъ убѣжденъ былъ просто, что исторія, какъ наука, бессмыслица, потому что разумныхъ явленій въ ней нѣтъ, а есть только одинъ нѣмой и совершенно непостижимый рокъ, который понять невозможно, потому что декреты его совершенно не сходятся съ нашими человѣческими понятіями о правдѣ и справедливости, то мы сказали бы только, что мы не раздѣляемъ этого вѣрованія. Но авторъ неидетъ такъ далеко. Онъ убѣжденъ, что историческія явленія нельзя объяснить научнымъ путемъ; но онъ не рѣшается допустить, чтобы ихъ уже вовсе ничѣмъ нельзя было объяснить. Напротивъ, онъ думаетъ, что станетъ ясно для насъ, если мы допустимъ предназначеніе. Далѣе, онъ отвергаетъ инициативу личную, какъ факторъ, имѣющій свою долю участія въ событіяхъ историческихъ. Онъ говоритъ, что такъ называемые великіе люди суть ярлыки, дающіе только имя событію; но меньше всего имѣющіе съ нимъ связи, потому что ихъ дѣйствія только кажутся имъ произвольными, а въ сущности они вынуждены роковымъ ходомъ исторіи и опредѣлены предвѣчно. Но онъ не рѣшается итти до конца и сказать, что человѣкъ совершенно лишенъ инициативы, что всѣ его дѣйствія вынуждены закономъ строгой необходимости и имѣютъ неотвратимый, роковой смыслъ. Напротивъ, онъ полагаетъ, что въ мелкой сферѣ личнаго интереса человѣкъ пользуется свободой для достиженія своихъ цѣлей и чувствуетъ всѣмъ существомъ своимъ, что онъ можетъ сейчасъ сдѣлать или не сдѣлать такое-то дѣйствіе; но, прибавляетъ онъ, какъ только дѣйствіе сдѣлано, такъ оно становится невозвратно и дѣлается достояніемъ исторіи, въ которой оно имѣетъ не свободное, а предопредѣленное значеніе. Выводъ такой, что дѣйствіе человѣческое свободно, пока онъ не сдѣлалъ его, но *послѣ того*, какъ сдѣлалъ, оно становится вынужденнымъ, опредѣленнымъ задолго до

его совершенія, опредѣленнымъ предвѣчно... Этого, признаемся, мы не можемъ понять, и мы предпочли бы вовсе не объяснять ничего, чѣмъ объяснять такимъ образомъ. Это способъ формальнаго и насильственнаго связыванья словами того, что не вяжется по существу своему въ понятіи. Изъ двухъ совершенно различныхъ источниковъ и двумя совершенно различными способами образуются два тока мыслей, прямо другъ другу противоположныхъ, а потому, разумѣется, приводящихъ къ столь же противоположнымъ выводамъ. Происходитъ *сомнѣніе*, на которомъ иные и останавливаются, искренно сознаваясь себѣ въ своей неспособности его разрѣшить. Другіе рѣшаютъ его, бросивъ одинъ изъ двухъ выводовъ, какъ фальшивый, и принимая другой. Но не всѣ такъ искренны или такъ рѣшительны. Есть и такіе, которые въ сущности нейдутъ дальше сомнѣнія, а между тѣмъ не хотятъ признаться себѣ, что они изъ него не могутъ выйти. Они-то и прибѣгаютъ къ формуламъ, связывающимъ словесно то, что не вяжется въ пониманіи. Общій видъ этихъ формулъ такой: есть разныя сферы истины и разные виды ея пониманія. Въ одной сферѣ вѣрно одно, а въ другой другое, совершенно противоположное. Къ этому общему виду формальнаго примиренія выводовъ, непримиримыхъ въ дѣйствительности, принадлежитъ и философія графа Толстого. Онъ тоже не хочетъ признаться себѣ, что онъ въ сущности *скептикъ* и тоже ищетъ исхода въ дѣленіи истины на два вида. Одну чисто личную и, подобно условной, мелкой монетѣ, пригодную только для обращенія между частными лицами, и въ этой онъ допускаетъ разумныя цѣли и свободную инициативу дѣйствій, къ осуществленію этихъ цѣлей; другую, крупную, историческую, въ которой все это кажется ему чепухой, все отвергается, и онъ вѣритъ только въ одно предвѣчное опредѣленіе. Разъ, совершивъ подобный раздѣлъ, нечего уже затрудняться какими бы то ни было противорѣчіями. Всѣ они умістятся, которое по одну, которое по другую сторону, и тѣмъ безпрепятственнѣе, чѣмъ труднѣе рѣшить, гдѣ собственно оканчивается сфера инициативы

личной и гдѣ начинается сфера предназначенія? Авторъ не только намъ не указываетъ опредѣленной границы, но онъ рѣшительно спутываетъ эти двѣ сферы въ какой-то неразрѣшимый узелъ. У него всякое дѣйствіе можетъ быть отнесено и къ той и къ другой, смотря по тому, какъ удобнѣе. Отъ этого-то мы и находимъ въ его сочиненіяхъ, на каждомъ шагу, ту минимую широту воззрѣній, которая въ сущности объясняется только крайнею ихъ неопредѣленностью и неустойчивостью. Онъ никогда, напримѣръ, не рѣшится осудить прямо кого-нибудь или что-нибудь и сказать: *это скверно*, или также рѣшительно оправдать кого-нибудь и сказать: *хорошо*. У него все выходитъ какъ-то заразъ и хорошо и скверно, и справедливо и нѣтъ. И тотъ правъ, и этотъ, который ему противорѣчитъ начисто, тоже правъ. И неудача Наполеона подъ Бородинымъ была предвѣчно опредѣлена и нѣтъ, она не была предвѣчно опредѣлена, а произошла отъ того, что на него въ первый разъ наложена была рука сильнѣйшаго духомъ противника, и частью также отъ того, что Кутузовъ, а не Барклай командовалъ, и еще отъ того, что у Наполеона былъ насморкъ, и т. д. Спрашивается: похоже ли это все хоть сколько-нибудь на ясное, стойкое убѣжденіе и не полнѣйшій ли это скептицизмъ? Такой-то именно скептицизмъ въ воззрѣніяхъ автора и былъ, какъ намъ кажется, главной помѣхой при выполненіи его трудной задачи. Художникъ, избравшій темою своего произведенія великое историческое событіе или картину великой эпохи, сдѣлаетъ большую ошибку, созерцая актеровъ этой эпохи или событія à vol d'oiseau, съ такой высоты, съ которой всѣ они должны показаться ему одинаково мелки, а ихъ движенія одинаково безотчетны и неразумны. Съ такой высоты легко усомниться, конечно, чтобы какой-нибудь личный мотивъ между ними имѣлъ значеніе историческое. Движенія ихъ покажутся движеніями какого-то роя пчелъ или возней въ раскопанномъ муравейникѣ, и могутъ имѣть въ глазахъ его одинъ только смыслъ: безотчетнаго роеваго инстинкта. Въ воззрѣніи этого рода личность не существуетъ или является при-

зракомъ, который не допускаетъ анализа, который имѣетъ въ себѣ нѣкоторое подобіе жизни только въ оптическомъ аппаратѣ нашей фантазіи и при искусственномъ освѣщеніи вымысла. При трезвомъ, дневномъ, бѣломъ свѣтѣ и въ искусственной обстановки всѣ краски и тѣни, весь мнимый объемъ ея исчезаютъ, и она является тѣмъ, чѣмъ онъ есть въ дѣйствительности: ничтожной мухою, муравьемъ, бесконечно-малой песчинкой въ часахъ Сатурна, бессмысленнымъ атомомъ въ неизмѣримомъ числѣ другихъ такихъ же атомовъ, изъ суммы которыхъ, вѣками накопленной, дѣлится мало-по-малу и возникаетъ нѣчто такое, что наконецъ, можетъ быть, и имѣетъ свой смыслъ и свой цѣль и объемъ, но что такъ далеко отъ нашего слабаго пониманія и такъ чуждо нашему личному интересу, что мы ни въ какомъ отношеніи не можемъ его назвать своимъ. Это—далекія и великія цѣли судьбы, къ которымъ медленно, непримѣтно и совершенно непроизвольно движется человѣчество... Возвышенно все это, разумѣется, очень; но ничего холоднѣе, суше и, мы можемъ смѣло прибавить, бесплоднѣе этого взгляда на человѣчество быть не можетъ. Это крайній и самый отчаянный скептицизмъ. Онъ отнимаетъ смыслъ у всего, что для насъ можетъ имѣть какой-нибудь смыслъ, и переноситъ его съ отрицательнымъ знакомъ на мѣсто, для насъ совершенно чуждое и непостижимое. Онъ отнимаетъ у человѣка всякую вѣру въ себя и въ другихъ людей, всякое уваженіе къ какой бы то ни было, доступной ему, полезной общественной дѣятельности, заставляя его смотрѣть на эту дѣятельность, какъ смѣшное усиліе муравья сдвинуть гору. Всякая жертва, приносимая человекомъ въ порывѣ сердечнаго увлеченія, всякая славная цѣль впереди, побуждающая его къ тяжелому подвигу, все съ такой точки зрѣнія должно показаться ему ребяческимъ, глупымъ задоромъ.

Къ счастью, авторъ *Войны и Мира* не всегда смотритъ съ такой точки зрѣнія. Къ счастью, онъ поэтъ и художникъ въ десять тысячъ разъ болѣе, чѣмъ философъ. И никакой скептицизмъ не мѣшаетъ ему, какъ художнику, ви-

дѣть жизнь во всей полнотѣ ея содержанія,—со всѣми ея роскошными красками,—и никакой фатализмъ не мѣшаетъ ему, какъ поэту, чувствовать энергическій пульсъ исторіи въ теплоѣ, живомъ человѣкѣ, въ лицѣ, а не въ скелетѣ философическаго итога.

Благодаря этому ясному взгляду и этому теплomu чувству, и на зло его отвратительной философіи, мы имѣемъ теперь историческую картину, полную правды и красоты, картину, которая перейдетъ въ потомство, какъ памятникъ славной эпохи. Но... эта картина еще не кончена.

Николай Ахшарумовъ.

* * *

*) *О вкусахъ не спорятъ*—повторяли много разъ и много дѣтъ, и наконецъ перестали повторять, потому что убѣдились въ нелѣпости этого классическаго изреченія. Люди спорили о вкусахъ съ незапамятныхъ временъ и будутъ спорить еще долго. Да и нельзя не спорить; отъ вкуса, точно такъ же, какъ отъ образа мыслей и чувствъ человѣка, зависитъ то, будетъ ли онъ мертвящей или плодотворной силой въ средѣ человѣческаго общества. Ложно-направленный и искаженный вкусъ, точно такъ же, какъ болѣзненный и дурно-развитый умъ, можетъ вносить множество бѣдствій въ ту сферу, въ которой ему суждено жить и дѣйствовать. Въ этомъ мы, къ сожалѣнію, убѣждаемся на каждомъ шагѣ, благодаря нашимъ крайне ограниченнымъ романистамъ и еще болѣе ограниченнымъ ихъ критикамъ и читающей публикѣ. Всѣ они понимаютъ *изящное* не лучше того, какъ понимаютъ его дикари какого-нибудь новооткрытаго острова. Красивая внѣшность, изящная форма, хотя бы подъ ней скрывалась самая безобразная сущность, кажется имъ истинно-изящнымъ. Въ художественно одѣтомъ и причесанномъ негодяѣ они видятъ изящнаго человѣка, и

*) „Дѣло“, 1868 г., № 6. Статья С. Наваликина, подъ заглавіемъ: „Изящный романистъ и его изящные критики“.

бедушную куклу готовы обоготворить, какъ героя. Такъ какъ это сбиваетъ съ толку здравый смыслъ того общества, которое развертываетъ наша по преимуществу изящные журналы, то мы и рѣшились поговорить, какъ объ общихъ романистахъ, такъ и объ изящныхъ критикахъ.

Когда явился въ свѣтъ романъ гр. Л. Толстого „Война и Миръ“, не было никакой причины говорить о немъ; въ массѣ общества имя Толстого едва помнили, и его неудачи въ области его педагогическихъ фантазій были болѣе извѣстны, чѣмъ его литературная дѣятельность. Произведетъ ли этотъ романъ какое-нибудь впечатлѣнiе и какое именно—было совершенно неизвѣстно. Но вотъ посыпались со всѣхъ сторонъ плодovitые разборы этого романа; изящные наши критики такъ обрадовались этому случаю, что запѣли на разные лады, какъ будто гр. Л. Толстому удалось открыть новую Америку. „Вѣстникъ Европы“ отнесся къ роману робко, преклонивъ колѣно передъ его величiемъ; не намъ учить такого великаго художника,—восклицалъ онъ, и подобострастно подымалъ глаза на художественное описанiе изящной и манерной жизни, какъ онъ выражался. Вотъ въ этомъ-то раболѣпномъ преклоненiи предъ quasi-художественнымъ описанiемъ ея гр. Толстымъ и выразился тотъ вкусъ части нашего общества, который нельзя было пройти молчанiемъ. Источникиъ этого вкуса—идеи и чувства слишкомъ важныя; онѣ слишкомъ болѣзненно отразятся на нашей жизни, на нихъ нельзя не обратить вниманiя.

Вывода на сцену императора Александра, Кутузова, Сперанскаго, Аракчеева, гр. Толстой явно хочетъ показать намъ, что онъ вводитъ насъ въ высшiя и самыя влiятельныя сферы русскаго общества начала XIX столѣтiя. То же самое намѣренiе видно и изъ того, что большинство его героевъ люди сановитые и богатые; его графъ Безухій, напр., имѣетъ полмиллиона годового дохода; авторъ употребляетъ фамилии, которыя, своимъ созвучiемъ, напоминаютъ намъ фамилии очень извѣстныхъ аристократическихъ родовъ, напр., князь Болконскiй, князь Курагинъ; даже тѣ лица, на которыхъ въ этомъ обществѣ смотреть сверху внизъ,

носятъ названія, также напоминающія не менѣе извѣстныя личности, напр., князей Трубецкихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что гр. Толстой намѣренъ былъ ввести насъ въ самыя горнія сферы александровскаго общества, и критикъ „Вѣстника Европы“ увѣряетъ насъ, что мы въ этихъ сферахъ найдемъ образцы истинно изящной жизни. Но въ чемъ же изящной?—Вѣдь не въ искусствѣ же одѣваться, украшать свою квартиру и создавать для себя вкусные обѣды; всего этого дилеттантизма по части модистокъ, обойщиковъ и поваровъ гр. Толстой описывать не могъ, да и не описываетъ. Онъ изображаетъ только дѣйствія, мысли и чувства, а слѣдовательно въ нихъ-то и надо искать того изящества, которое усмотрѣлъ изящный критикъ „Вѣстника Европы“. Посмотримъ. Для начала я возьму сцену, въ которой играетъ роль князь Болконскій выше другихъ лицъ, описываемыхъ имъ въ романѣ; онъ старается показать, что они лучше даже самыхъ лучшихъ.

„Какъ обыкновенно—пишетъ гр. Толстой,—князь (Болконскій) вышелъ гулять въ своей бархатной шубѣ съ большимъ воротникомъ и такой же шапкѣ. Наканунъ выпалъ глубокой снѣгъ. Дорожка, по которой хаживалъ князь Николай Андреевичъ къ оранжереѣ, была расчищена, слѣды метлы видѣлись на разметанномъ снѣгу, и лопата была воткнута въ рыхлую насыпь снѣга, шедшую съ обѣихъ сторонъ дорожки. Князь прошелъ по оранжереямъ, по дворнѣ и постройкамъ, нахмуренный и молчаливый.

— „А проѣхать въ саняхъ можно?—спросилъ онъ провожавшаго его до дома почтеннаго, похожаго лицомъ и манерами на хозяина, управляющаго.

— „Глубокъ снѣгъ, ваше сіятельство. Я уже по прешпекту разметать велѣлъ.

Князь наклонилъ голову и подошелъ къ крыльцу. „Слава Тебѣ, Господи“, подумалъ управляющій, „пронеслась туча!“

— „Проѣхать трудно было, ваше сіятельство,—приба-

вилъ управляющій.—Какъ слышно было, ваше сіятельство, что министръ пожалуетъ къ вашему сіятельству?—Князь повернулся къ управляющему и нахмуренными глазами уставился на него.

— „Что? Какой министр? Кто велѣлъ?—заговорилъ онъ своимъ пронзительнымъ, жесткимъ голосомъ.—Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нѣтъ министровъ.

— „Ваше сіятельство, я полагаю...

— „Ты полагаю, закричалъ князь, все несвязище выговаривая слова.—Ты полагаю... Разбойники! прохвосты... Я тебя научу полагать,—и, поднявъ палку, онъ замахнулся ею на Алпатыча и ударилъ бы, ежели бы управляющій невольно не отклонился отъ удара.—Полагаю... Прохвосты...—торопливо кричалъ онъ; но несмотря на то, что Алпатычъ, самъ испугавшійся своей дерзости, отклонившись отъ удара, приблизился къ князю, опустивъ передъ нимъ покорно свою плѣшивую голову, или, можетъ, быть именно отъ этого, князь, продолжая кричать: „Прохвосты!... закидать дорогу...“ не поднималъ другой разъ палки и вбѣжалъ въ комнаты“.

Человѣкъ, сколько-нибудь привыкшій мыслить, прочитавъ эту сцену, вправѣ подумать, что князь Болконскій никогда не видѣлъ дѣйствительно изящнаго общества и провелъ всю свою жизнь среди грубыхъ бушменовъ, потому что только самый грубый бушменъ рѣшится такъ нагло обращаться съ человѣкомъ, который хотѣлъ ему сдѣлать удовольствіе, и сдѣлалъ то, что слѣдовало сдѣлать. Князь Болконскій, по увѣренію автора романа, былъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ людей своего времени; онъ не былъ такъ богатъ, какъ графъ Безухій, который имѣлъ 160.000 душъ, но все-таки онъ былъ очень богатъ. Положимъ, что отъ князя Болконскаго зависѣло не 160.000 человѣческихъ существъ, а вдвое менѣе, т.-е. всего 80.000,—никто не будетъ оспаривать, что сдѣлать несчастными 80.000 живыхъ людей—это вовсе не изящно, а напротивъ, крайне безобразно и преступно. Если князь Болконскій такъ обращается съ

управляющимъ, отъ котораго зависитъ судьба и счастье этихъ 80.000 безгласныхъ рабовъ, то какого онъ можетъ имѣть управляющаго? Только человѣкъ, лишенный всякаго душевнаго благородства, всякаго чувства своего достоинства, согласится подвергаться подобному, ничѣмъ незаслуженному оскорбленію. Можно ли назвать цивилизованнымъ человѣка, который стоитъ на такой низкой степени умственнаго и нравственнаго развитія, что даже не понимаетъ, что; имѣя въ рукахъ своихъ судьбу сотенъ тысячъ людей, онъ несетъ за нихъ тяжелую и великую отвѣтственность. Но едва ли понимаетъ это и самъ авторъ, видимо увлеченный извѣстствомъ своего героя: по крайней мѣрѣ, этого рѣшительно не понимаетъ критикъ „Вѣстника Европы“... Не лучше обращается Болконскій и съ своею дочерью. Сцены его обращенія съ нею напоминаютъ намъ одну личность, вѣроятно, теперь уже забытаго романа Диккенса „Оливеръ Твистъ“,—личность вора Вилльяма, издѣвающагося надъ своею любовницею, какъ надъ домашнимъ скотомъ. Болконскій почти такъ же третируетъ свою дочь; онъ ни одного раза, въ теченіе всей его жизни, описанной въ романѣ, даже нечаянно не выказалъ человѣческихъ чувствъ къ своему родному дѣтищу; напротивъ, постоянно и умышленно онъ наноситъ ей самыя грубыя оскорбленія, и она съ безконечнымъ терпѣніемъ покоряется имъ. И несмотря на это, извѣстный романистъ старается увѣрить насъ, что князь Болконскій былъ одна изъ самыхъ свѣтлыхъ личностей своего времени; какъ бы опасаясь за то, что мы ему не повѣримъ, онъ пытается убѣдить насъ авторитетомъ всего русскаго общества.

„По своему прошедшему,—говоритъ онъ про князя Болконскаго,—по своему уму и оригинальности, князь Николай Андреевичъ сдѣлался тотчасъ же предметомъ особенной почтительности москвичей. Онъ возбуждалъ во всѣхъ своихъ гостяхъ одинаковое чувство почтительнаго уваженія“... и въ другомъ мѣстѣ: „въ Николинъ день, въ именины князя, вся Москва была у подъѣзда его дома“.

Представивъ, такимъ образомъ, одного изъ замѣчатель-

нѣйшихъ людей своего времени, какъ авторъ заставляетъ о немъ выражаться, гр. Толстой выводитъ на сцену другого, сына князя Болконскаго, Андрея. Старшій Болконскій, явившись въ Москву, сдѣлался тотчасъ главою московскаго общества, а сынъ сдѣлался сподвижникомъ Сперанскаго и написалъ, какъ говорилъ его отецъ, для Россіи цѣлый фоліумъ законовъ (мы низко летать не любимъ). Тотъ же самый молодой князь былъ и героемъ въ сраженіи при Аустерлицѣ, и благодѣтелемъ своихъ крестьянъ. Вотъ образчикъ разсужденій этого благодѣтеля. Князь Андрей Болконскій разсуждаетъ съ графомъ Пьеромъ Безухимъ, который разсказываетъ ему, какъ онъ на дуэли ранилъ офицера Долохова. Долохова онъ вызвалъ на дуэль безъ всякаго повода, только потому, что онъ подозрѣвалъ его въ преступныхъ сношеніяхъ съ своей женой. Сношенія эти ничѣмъ не были доказаны... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что...“ Последнія слова ея: „И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя“).

Изъ предшествовавшаго этому разговору разсказа видно, впрочемъ, въ чемъ состояла эта жизнь Андрея для другихъ; видно только, что Андрей вмѣстѣ съ другими русскими и нѣмцами старался какъ можно болѣе перебить французовъ, въ то время, какъ французы старались какъ можно болѣе перебить русскихъ и нѣмцевъ. Князь Андрей вѣрнѣе бы выразился, если бы онъ сказалъ, что онъ жилъ для того, чтобы убивать другихъ. Онъ былъ такъ тупъ и ограниченъ, что не понималъ, что во время войны живутъ для другихъ тѣ, которые стараются прекратить кровопролитіе и устроить миръ, а не тѣ, которые стараются вооружить одного противъ другого и только ради тщеславія погубить какъ можно больше невинныхъ людей. Онъ, дѣйствительно, погубилъ не только свою жизнь, но и жизнь многихъ другихъ, не задумавшись ни разу въ жизни объ истинно чело-вѣческихъ отношеніяхъ къ своимъ ближнимъ... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Да какъ же жить для одного себя?...“ и т. д. Выписка оканчивается словами:

...его животнаго состоянія и дать ему нравственныхъ потребностей“).

При низкомъ уровнѣ своихъ интеллектуальныхъ силъ и при грязномъ взглядѣ своемъ на жизнь и людей, князь, конечно, не могъ понимать, что у мужика точно такія же чувства, какъ у всѣхъ людей, что онъ такъ же, какъ всѣ люди, способенъ любить, чувствовать привязанность, горячо страдать страданіями своей семьи, переносить для другихъ труды и лишенія, а иногда и жертвовать для нихъ всѣмъ своимъ счастьемъ и всей своей жизнью; какъ всѣ близорукіе и умственно убогіе люди, находящіеся въ состояніи полудикаго человѣка, князь воображалъ, что только онъ одинъ съ товарищами имѣлъ способность чувствовать нравственныхъ потребности, а всѣ другіе — это были движущіяся машины... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „А мнѣ кажется, что единственное возможное счастье — есть счастье животное“... Последнія слова ея: „...онъ растолстѣетъ и умретъ“).

Все это говорилось по тому случаю, что графъ Безухій распорядился облегчить крестьянскую барщину. Распоряженіе это не было приведено въ исполненіе, и на крестьянъ были навалены новыя и еще большія тяжести. Тѣмъ не менѣе, князь Андрей отмѣривалъ мужику исключительно одинъ физическій трудъ, а себя и своимъ сподвижникамъ умственныхъ занятій. Но спрашивается, что было бы съ тѣмъ обществомъ, въ которомъ всѣ бушмены, подобные князю Андрею, приняли бы на себя роль представителей умственной дѣятельности? что было бы съ нами, еслибъ всѣ принялись такъ разсуждать, какъ разсуждаетъ сіятельный герой графа Толстого. Этотъ несчастный герой такъ скудоуменъ, что даже не способенъ понять, что уменьшеніе барщины не уменьшаетъ труда крестьянина, а увеличиваетъ его благосостояніе, давая ему болѣе свободнаго времени для работы на себя. Тамъ, гдѣ уменьшеніе барщины уменьшаетъ трудъ, этотъ трудъ былъ непосильный, это было варварство, къ которому были способны принуждать только люди, которые находили, что крестьянинъ чувствуетъ необходимость въ

страшномъ физическомъ трудѣ, отъ котораго можно угорѣть черезъ недѣлю. Человѣкъ, который распоряжается жизнью и счастьемъ десятковъ тысячъ рабочихъ силъ, не въ силахъ понять послѣдствія и значеніе такого простого факта, какъ освобожденіе крестьянина отъ барщины, показываетъ ясно, что онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія ни о своихъ обязанностяхъ ни о положеніи своемъ въ обществѣ. Онъ нравственно и умственно стоитъ на одной ступени первобытнаго человѣчества. Таковъ лучший изъ тѣхъ людей, которыхъ описываетъ авторъ, и непостижимо, какимъ образомъ въ средѣ, стоящей на такомъ низкомъ нравственномъ уровнѣ, можно находить изящество въ проявленіи чувствъ и мыслей... (Слѣдуетъ выписка, которая начинается словами: „Третье, — что бишь еще ты сказалъ?...“ и оканчивается словами: „.... доволенъ видѣть его повѣшеннымъ, но мнѣ жалко отца, то-есть опять себя же...“).

Это патетическое словонизверженіе заставляетъ насъ остановиться на немъ. Протоколистъ — это такая ничтожная и не имѣющая вліянія на ходъ дѣлъ личность, что его мелкое воровство не могло нанести вреда во время нашихъ войнъ, стоявшихъ жизни многихъ тысячъ, погибшихъ отъ воровъ болѣе крупныхъ: онъ могъ просто украсть у солдата сапоги, если они плохо лежали. Всего вѣроятнѣе предположить, что онъ укралъ ихъ потому, что у него самого не было сапогъ, и что онъ не въ силахъ переносить холода и сырости. Можетъ быть, это воровство спасло его отъ простуды и смерти. Пусть князь Андрей поставитъ себя на его мѣсто, при своемъ самодовольствѣ и любви къ насилию, при своемъ полномъ непониманіи нравственныхъ условій жизни человѣческаго общества, онъ бы не только укралъ, онъ отнялъ бы силою и потомъ самоувѣренно сталъ бы утверждать, что грабежъ этотъ съ его стороны поступокъ въ высшей степени нравственный, что онъ совершенъ для спасенія жизни одного изъ замѣчательнѣйшихъ людей сего вѣка. Самый безупречный человѣкъ тотъ, который при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ ни разу не подалъ примѣра слабости или робости, и тотъ посмотреть на поступокъ протоколиста съ

чувствомъ, въ которомъ будетъ девяносто девять сотыхъ сожалѣнія и одна сотая ненависти. Девяносто девять разъ онъ подумаетъ о томъ, какъ бы приискать этому несчастному бѣдняку какой-нибудь исходъ изъ его крайняго положенія, и одинъ разъ о томъ, какъ бы предупредить преступленіе строгостью. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ будетъ разсуждать такъ: наказаніе, назначенное за мелкое воровство такъ строго, что страданія, которыя имъ причиняются, не имѣютъ никакой соразмѣрности съ ущербомъ, происходящимъ отъ воровства. Но отчего же, несмотря на это тяжкое наказаніе, все-таки воруютъ, и воровство самое обыкновенное изъ преступленій? Оттого, что на воровство часто вынуждаетъ необходимость, и затѣмъ потому, что его слишкомъ легко скрыть. У насъ было только одно преступленіе, которое имѣло болѣе значительные размѣры — это взяточничество и конокрадство. Наказаніе за это преступленіе также тяжкое, ущербъ обществу отъ него неизмѣримо значительнѣе, чѣмъ отъ воровства, и жалобы на него въ обществѣ гораздо рѣзче и энергичнѣе, — и все-таки взяточничество и конокрадство составляло самое обыкновенное изъ преступленій: они совершались почти исключительно людьми, которые никогда не рискнуть на кражу. Это понятно; взяточнику и конокраду еще болѣе шансовъ скрыть свое преступленіе, чѣмъ мелкому ворюшкѣ. Но какъ ни были тяжки наказанія за эти преступленія, воры и взяточники не переводились. Били ихъ и кнутомъ нещадно, подвергали и пыткамъ, и они все не переводились... эта простая и всѣмъ извѣстная истина, кажется, могла бы быть доступна даже такому тряпичному уму, какъ Болконскій. Но онъ очевидно ее не понимаетъ: напротивъ, грозные инстинкты его дѣлаютъ изъ него какого-то лютаго звѣря. Съ неподражаемымъ цинизмомъ онъ увѣрять своего пріятеля, что онъ не жалеетъ о тѣхъ людяхъ, которыхъ онъ казнить; онъ за нихъ молился, онъ клалъ за нихъ земные поклоны и выпрашивалъ имъ прощеніе и вѣчное блаженство. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ отправилъ бы на тотъ свѣтъ и бѣднаго протоколита, онъ желалъ бы потѣшиться его казнью, но ему

жалко отца. Жизнь человѣческая вѣситъ для него легче, чѣмъ нѣсколько неприятныхъ минутъ его отца, и какія будутъ эти неприятныя минуты, велика ли будетъ эта неприятность для людей съ такою совѣстію, какъ князья Болконскіе. Если онъ, безъ сожалѣнія, готовъ былъ повѣсить протоколиста, то сколько разъ, безъ сожалѣнія, слѣдовало бы повѣсить его отца... Какое было сравненіе между вредомъ, нанесеннымъ протоколистомъ, укравшимъ сапоги, и между тѣмъ вредомъ, который наносилъ его отецъ тысячамъ людей своимъ бездушіемъ и безжалостнымъ деспотизмомъ! Съ точки зрѣнія нравственнаго и матеріальнаго зла людямъ, старый Болконскій, въ глазахъ гуманнаго судьи, окажется во сто кратъ виновнѣе всякаго проворовавшагося протоколиста. Сынъ не лучше. И онъ, изуродованный нравственно, съ нечеловѣческимъ, почти невѣроятнымъ бездушіемъ, онъ написалъ, по сказанію автора, вѣсть съ Сперанскимъ, цѣлый томъ законовъ для Россіи. Каковъ законодатель"!... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Князь Андрей все болѣе и болѣе оживлялся“... Последнія слова ея: „всѣ останутся такими же синнами и лбами“).

Такимъ образомъ философствуетъ князь Андрей, — это тотъ самый цивилизованный бушменъ, который оставлялъ за собою привилегію мыслить, а за крестьяниномъ — исключительно посвятить себя механическому труду; но я убѣжденъ, что и у бушмена нашлись бы болѣе гуманныя и здравыя мысли...

Однажды мнѣ случилось говорить съ калмыцкимъ ной-ономъ; это былъ совершенный дикарь, типъ первобытнагономада, воспитанный подъ вліяніемъ духовенства, въ вѣрованіяхъ буддизма. Онъ имѣлъ въ своей власти нѣсколько десятковъ тысячъ кочевниковъ и право на оброкъ, который можно было оцѣнить тысячъ въ шестьдесятъ рублей серебромъ. Я удивился скромности и даже бѣдности жизни этого родовитаго дикаря; по моему расчету, онъ не могъ прожизвать на себя болѣе тысячи рублей. „Я человѣкъ бѣдный“, — сказалъ онъ мнѣ понижающимъ голосомъ, и съ такимъ видомъ, какъ будто ему очень трудно было въ этомъ при-

знаться. „Однакожь, — возразилъ я, — у насъ, помѣщики, которые имѣютъ гораздо менѣе васъ, живутъ съ несравненно болѣею роскошью...“ — „Ваши помѣщики, да... — сказалъ онъ — ну, да вѣдь нельзя же ихъ поравнять со мною; имъ можно, а мнѣ неприлично“. Его поза, выраженіе его глазъ мгновенно измѣнились, въ нихъ выразалось столько гордости, столько чувства своего превосходства, что я тогда только понялъ значеніе убитого голоса, съ которымъ онъ говорилъ о своей бѣдности; онъ вѣдь сравнивалъ себя съ русскимъ царемъ. — „Вѣдь они помѣщики, а я владѣлецъ. Народъ мнѣ данъ самимъ Богомъ, я передъ нимъ за каждого человѣка отвѣчаю“. Своимъ ломанымъ и неяснымъ языкомъ онъ сказалъ нѣсколько фразъ, въ которыхъ онъ старался дать мнѣ почувствовать величіе человѣка, который пользуется довѣріемъ такого существа, какъ Богъ. „Ваши помѣщики берутъ оброкъ, какъ имъ вѣлно, и съ бѣднаго, и богатаго — имъ все равно, а мнѣ такъ нельзя; съ одного я беру шесть рублей, а съ другого рубль, а съ бѣднаго я ничего не беру, я самъ ему даю“. Онъ разсказалъ мнѣ, какъ однажды у нѣкоторыхъ изъ его подданныхъ, во время метели, погибли стада. — „Я ихъ всѣхъ надѣлилъ поровну, — продолжалъ онъ. — Зайсанги (дворане у калмыковъ) были мною недовольны, но мнѣ нельзя, я не могу позволить пропасть человѣку изъ своего народа, я за каждый волосъ на его головѣ отвѣчаю“.

Напрасно гр. Толстой думаетъ, что наглые рѣчи, подобныя тѣмъ, которыя у него произноситъ князь Андрей, совмѣстны съ тѣми гуманными наклоненіями, которыя навязываетъ ему авторъ въ отношеніи крестьянъ. Авторъ, какъ видно, не знаетъ людей, которые дѣлаютъ другимъ добро, и въ особенности большое добро. Въ какое бы время и при какихъ бы условіяхъ ни существовали люди этого сорта, — у нихъ, обыкновенно, въ сильной степени развито общественное чувство. Кромѣ личныхъ и узко-эгоистическихъ цѣлей, они имѣютъ еще другія, высшія цѣли, вытекающія изъ того глубоко-человѣческаго убѣжденія, что всякое индивидуальное счастье возможно только при общемъ счастьи

всѣхъ членовъ извѣстнаго общества. Отсюда направляется вся дѣятельность этихъ людей, къ этому главному пункту сводятся всѣ ихъ стремленія, интересы. Гуманныя чувства, полныя высокой любви и снисходительности къ людямъ, составляютъ отличительную черту этихъ людей; и притомъ эти чувства вытекаютъ не изъ сентиментальныхъ настроеній сердца, а изъ высокаго умственного развитія, съ которымъ находится въ полной гармоніи весь внутренній міръ и вся практическая дѣятельность этихъ людей. Такимъ, повидимому, гр. Толстой и хотѣлъ представить намъ князя Андрея. Эта личность идетъ у него впереди всѣхъ, онъ сдѣлался извѣстенъ всей Россіи своими поступками относительно крестьянъ и обратилъ на себя вниманіе Сперанскаго. Человѣкъ, который идетъ впереди своего вѣка, слишкомъ хорошо понимаетъ весь вредъ циническихъ и бездушныхъ рѣчей, и не можетъ не понимать, потому что нравственное и умственное развитіе ставитъ его выше всякой пошлости; онъ очень хорошо знаетъ, что говорить значить то же, что дѣлать. Но таковъ ли дѣйствительно князь Андрей? Изъ всего, что онъ говоритъ и дѣлаетъ у гр. Толстого, видно, что это грязный, грубый, бездушный автоматъ, которому не извѣстно ни одно истинно-человѣческое чувство и стремленіе. И въ этомъ отношеніи гр. Толстой даже не сумѣлъ замаскировать всей внутренней пошлости Болконскихъ. Между всѣми героями романа они выдаются особенно крупными чертами своей фізіономіи; они могутъ служить типомъ для другихъ. То, что въ другихъ затухаетъ недостаткомъ характера, мелочностію или безпечностію и добродушіемъ (какъ, напримѣръ, у Пьера), то обрисовывается у Болконскихъ ясными и опредѣленными линиями. Послѣ этого отзывъ изящнаго критика „Вѣстника Европы“ объ изяществѣ героевъ гр. Толстого можетъ заставить только пожать плечами. Этотъ отзывъ производитъ тяжелое и отвратительное впечатлѣніе на всякое мало-мальски живое нравственное чувство. Ясно, какъ изящный романистъ, такъ и изящный критикъ его даже не предчувствуютъ истиннаго характера человѣка, способнаго дѣлать дѣйствитель-

ное добро людямъ. Для нихъ все то изящно и гуманно, что знатно и богато, и эту виѣшнюю вылощенность они принимаютъ за настоящее человѣческое достоинство. Оба они смотрятъ на героевъ романа снизу вверхъ, и умиленіе, какъ туманъ, застилаетъ все передъ ихъ глазами. За этимъ туманомъ они видятъ не то, что въ дѣствительности, а миражъ, созданный ихъ досужимъ воображеніемъ. Одинъ русскій романистъ описалъ раболѣпную женщину, которая смотрѣла въ отдаленномъ кварталѣ на карету и выходившаго изъ нея оберъ-офицера; ей представились на немъ воображаемыя звѣзды и генеральскія эполеты, потому что она никакъ не могла себя вообразить, чтобы въ каретѣ могъ ѣздить кто-нибудь другой, кромѣ генерала. Это естественный обманъ плохо воспитанной фантазіи. Критикъ „Вѣстника Европы“, составивъ себѣ понятіе, что высшее общество должно вести изящную жизнь и что, кромѣ изящной, оно никакой другой жизни вести не можетъ, нашелъ такую жизнь и въ лицахъ, которыхъ гр. Толстой вывелъ на сцену, хотя ни одно изъ этихъ лицъ ни одного раза не проявилось изящно, а всѣ или проявлялись безразлично, или грубо и грязно, какъ дикіе бушмены. Вся эта грязь не марала критика „Вѣстника Европы“ и не обдавала его своимъ удушливымъ запахомъ; онъ ее не замѣчалъ, а рисовалъ въ своемъ воображеніи изящную обстановку и изящныя манеры, дальше которыхъ его анализъ не можетъ идти.

Но и въ манерахъ героевъ романа мы не усматриваемъ особеннаго изящества. Вотъ одно мѣсто, которое въ двухъ словахъ характеризуетъ свойство манеръ описаннаго авторомъ общества: министръ, князь Курагинъ, съ сыномъ Анатолемъ въ гостяхъ у князя Болконскаго; тутъ же находится, по своей обязанности, француженка *m^{lle} Bourienne*.

„Вечеру, — говоритъ авторъ, — когда послѣ ужина стали расходиться, Анатоль поцѣловалъ руку княжны. Она сама не знала, какъ у ней достало смѣлости, но она прямо взглянула на приблизившееся къ ея близорукимъ глазамъ прекрасное лицо. Послѣ княжны онъ подошелъ къ ручкѣ *m^{lle} Bourienne* (это было неприлично, но онъ дѣлалъ все

такъ увѣренно и просто), m-elle Bourgiennne вспыхнула и испуганно взглянула на книжку“.

Анализуя это понятіе о причинахъ, я не буду говорить объ изящномъ обществѣ—куда!—я не буду говорить даже о просто цивилизованномъ обществѣ. Я разсмотрю, какъ бы на это взглянуло общество, которое уже вышло изъ дикаго состоянія и начинаетъ приближаться къ цивилизации. Общество нужно считать въ дикомъ состояніи, пока его высшее удовольствіе—показывать свою силу и наводить страхъ. Германецъ тщеславился тѣмъ, что кругомъ его деревни на двѣсти верстъ не смѣлъ никто поселиться, опасаясь его грабежей и разбоевъ. Оно дико потому, что наклонности людей тутъ прямо противоположны условіямъ человѣческаго благосостоянія. Общество полудикое, но приближающееся къ цивилизации, характеризуется тѣмъ, что человѣкъ въ немъ уже не считаетъ похвальнымъ оскорблять другого безъ нужды, но ведетъ все-таки эгоистическую и обособленную жизнь. При такомъ условіи уже возможна жизнь спокойная, но полной общественной гармоніи еще не можетъ быть. Общество цивилизованное уже не довольствуется тѣмъ, чтобы не оскорблять другихъ: каждый членъ его подходитъ къ ближнему съ любовью, онъ старается ему помочь, поднять и нравственно и матеріально, нравы этого общества таковы, что они способствуютъ наибольшему развитію силъ и благосостоянія. Наконецъ, въ изящномъ обществѣ такая взаимная помощь дѣлается съ особенной деликатностію и производитъ самое пріятное впечатлѣніе. Противъ такого раздѣленія, простого, понятнаго и прямо вытекающаго изъ наблюденія и изъ природы вещей, я полагаю, ничего нельзя возразить. Если мѣрять этой мѣркой общество, описанное гр. Толстымъ, то его надо отнести къ разряду такихъ скопищъ. Показывать высокомѣрное презрѣніе къ человѣку, который по необходимости попалъ въ его гостиную, можетъ только человѣкъ, дико величающійся своей силой, человѣкъ съ чувствами того германца, которому пріятно топтать ногами все, что къ нему приближается. Человѣкъ полудивилизированный, средневѣковой рыцарь вла-

дастъ иногда въ другую крайность: изъ опасенія оскорбить, онъ старается возвеличить надъ собою своего собесѣдника, онъ называетъ его милостивымъ своимъ государемъ, а себя покорѣйшимъ слугою. Онъ незамѣчаетъ, что и при его желаніи не оскорблять безъ нужды, проглядываетъ еще складъ ума дикаго человѣка. Если я предполагаю, что я дѣлаю удовольствіе своему собесѣднику тѣмъ, что я себя унижаю, а его возвышаю надъ собою, то я предполагаю въ немъ склонность возвышаться надъ другими и попираť ихъ ногами, т.-е. склонность дикаго человѣка. Поэтому членъ цивилизованнаго общества, который знаетъ, что его собесѣднику всего пріятнѣе видѣть въ другихъ столько же значенія и достоинства, сколько въ немъ самомъ, ведетъ себя въ обществѣ со всѣми, какъ съ равными, не унижаясь ни передъ кѣмъ и не величаясь ни надъ кѣмъ. Эта первая и самая необходимая черта общественнаго приличія и изящества совершенно незнакома героямъ гр. Толстого; они выложены виѣшнимъ образомъ, и въ этомъ все ихъ изящество. Тонъ общества Болконскихъ точно такъ же возмутителенъ, какъ и ихъ разсужденія и ихъ поведеніе.

Но изящество въ костюмѣ, въ пищѣ, во виѣшней обстановкѣ можетъ идти рука объ руку съ самой дикой грубостью въ нравственномъ и интеллектуальномъ отношеніи. Человѣкъ, изящный въ проявленіи своихъ мыслей и въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ людямъ, неизбѣжно долженъ быть и нравственно развитая, свѣтлая личность. Напротивъ, человѣкъ, дикій въ своихъ проявленіяхъ, дикъ и въ своемъ существѣ. Эта неизбѣжная связь между внутреннимъ міромъ человѣка и его виѣшними поступками ясно сохранилась въ герояхъ романа. Люди эти производятъ цѣльное впечатлѣніе людей живыхъ, взятыхъ изъ дѣйствительности. Это не сотрудники Сперанскаго, какъ авторъ ихъ называетъ, это не люди временъ Александра: черты изъ жизни временъ Александра пригнѣплены къ нимъ съ тѣмъ же искусствомъ, съ которымъ можно черты монгола пригнѣпить къ фисіономіи еѣіопа. Авторъ описываетъ явно людей, которыхъ онъ самъ видѣлъ и лично наблюдалъ, людей, на которыхъ онъ

привыкъ смотрѣть снизу вверхъ и которыхъ онъ выбралъ, желая изобразить лучшее общество временъ Александра, и возвелъ въ герои, потому что не былъ въ состояніи ихъ понять. Вотъ откуда взялась цѣльность впечатлѣнія, производимаго на читателя героями этого романа.

Между изящными бушменами любимцемъ автора является гусаръ Ростовъ; про него критикъ „Вѣстника Европы“ говорить, что онъ обладаетъ изящной натурой художника. Этотъ Ростовъ принадлежитъ къ семейству богатыхъ помѣщиковъ, членамъ котораго ни разу не приходила мысль, что на нихъ лежатъ какія-нибудь обязанности: и гусаръ и его отецъ не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о сельскомъ хозяйствѣ и объ условіяхъ земледѣльческой жизни; они смотрятъ на подвластныхъ имъ людей, какъ на безчувственный матеріалъ, доставляющій барыши, — только. Они не способны возвыситься до пониманія человѣческаго достоинства въ другихъ, потому что не понимаютъ своего собственного. Они никогда даже не подозрѣвали, что съ ихъ стороны преступно разорять себя и свои имѣнія нелѣпой роскошью и глупымъ хлѣбосолецтвомъ, что, разоряя себя, они навлекаютъ тысячи страданій на крестьянъ. Съ управляющимъ своимъ Ростовы поступаютъ точно такъ же, какъ и Болконскіе: молодой Ростовъ бьетъ его, топчетъ ногами, ловить въ воровствѣ, и все-таки тотъ остается управляющимъ, человѣкомъ, самымъ вліятельнымъ, послѣ своего господина, на судьбу крестьянъ. Каковъ этотъ управляющій видно изъ злобной радости, съ которой крестьяне смотрятъ на наносимые ему побои.

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Разговоръ и учетъ Митеньки продолжался не долго...“ Последнія слова ея: „...ничего не понимаю, сказалъ онъ самъ себѣ, и съ тѣхъ поръ не вступался въ дѣла“).

Такимъ образомъ изъ воспитанія своего и изъ всей окружающей житейской обстановки Ростовъ вынесъ только знаніе транспортовъ отъ угла на шесть кушей, и съ этимъ запасомъ умственныхъ сокровищъ приступилъ къ веденію своихъ хозяйственныхъ дѣлъ. Разумѣется, ничего другого

онъ и не могъ изобрѣсти, какъ „чортъ съ ними, съ этими мужиками...“

Но герои романа „Война и Миръ“ дѣйствуютъ не только какъ частные люди, какъ помѣщики, но и возводятся гр. Толстымъ на степень государственной дѣятельности, и въ этомъ отношеніи его Болконскіе и Курагины являются людьми, лишенными всякаго сознанія своихъ обязанностей, всякаго чувства своего достоинства, какъ и въ качествѣ помѣщиковъ. Всего ярче обрисовывается это на личности князя Друбецкаго. Во всякомъ обществѣ есть люди, въ которыхъ честолюбіе заглушаетъ всѣ другія потребности и стремленія, и дѣлается до такой степени преобладающею страстью, что весь остальной человѣкъ долженъ отступить на задній планъ. Общество не тѣмъ характеризуется, что въ его средѣ есть эти люди: это его точно такъ же мало характеризуетъ, какъ то, что въ его средѣ есть люди добродушные, сухіе и проч. Всѣхъ этихъ людей можно найти и въ самомъ культивированномъ и въ самомъ дикомъ народѣ; общество характеризуется тѣмъ, какъ эти люди думаютъ и дѣйствуютъ. Въ здоровомъ обществѣ честолюбивый человѣкъ прежде всего будетъ думать о томъ, чтобы оказать народу какъ можно болѣе услугъ, увеличить сумму его благосостоянія, потому что только этимъ путемъ честолюбецъ можетъ возвыситься. Отъ человѣка, серіозно понимающаго свои нравственныя обязанности, онъ будетъ отличаться только тѣмъ, что будетъ безсовѣстно пользоваться для своего возвышенія слабостями народными и угождать этимъ слабостямъ и предрасудкамъ съ такимъ же усердіемъ, съ какимъ онъ будетъ приносить пользу. Въ Друбецкомъ вы увидите совершенно другое; въ теченіе всей его честолюбивой карьеры онъ не только даже не подумалъ о слабостяхъ народа или о народной пользѣ, но ему даже ни одинъ разъ не пришлось заикнуться о народѣ или сказать о немъ какое-либо слово. Все его вниманіе исключительно поглощено личнымъ угожденіемъ разнымъ мужчинамъ и женщинамъ, имѣющимъ вліяніе, власть или богатство. Онъ поклоняется одному пдолу за другимъ и достигаетъ своей цѣли; съ ка-

ждымъ годомъ онъ все болѣе и болѣе приобретаетъ вліянія на судьбу народа, и этотъ народъ у него не только на послѣднемъ планѣ, но даже вовсе не на планѣ. Съ самыхъ первыхъ страницъ перваго тома романа, мы попадаемъ въ эту среду лицъ, будто бы вліятельныхъ въ политикѣ, и у которыхъ Россія и русскій народъ являются только орудіями для достиженія ихъ личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей. Дамы очарованы французскими эмигрантами, въ которыхъ они видятъ образецъ изящества и на которыхъ смотрятъ точно такъ же снизу вверхъ, какъ критикъ „Вѣстника Европы“ на героев романа. Эти дамы, желая угодить милымъ эмигрантамъ, стараются завлечь императора въ борьбу съ Европою. Въ разговорахъ, которые происходятъ по этому поводу въ данскомъ обществѣ, между эмигрантами и русскими государственными людьми, нѣтъ даже и помину о пользѣ и интересахъ русскаго народа; видно, что всѣмъ этимъ людямъ никогда и въ голову не приходило, что объ этомъ можно бы подумать, напротивъ, порицается Англія, Пруссія и Австрія за то, что въ нихъ проявляются подобныя взгляды. Этотъ пошлый муравейникъ мелкихъ интригановъ настаиваетъ на томъ, что русскій императоръ долженъ вмѣшаться въ европейскую войну изъ самоотверженія, т.-е. забывъ объ интересахъ своего родного края, изъ угожденія французскимъ эмигрантамъ. Впродолженіи всего романа только одинъ разъ вы видите въ этихъ людяхъ энергическое проявленіе ненависти къ врагамъ и угнетателямъ русскаго народа; но и это проявленіе носитъ исключительно характеръ личной ненависти и личного мщенія. Имѣнія князя Болконскаго, Лысыя-Горы и проч., были разорены французами; его отецъ умеръ отъ горя, его крестьяне согласились лучше остаться въ рукахъ французовъ, чѣмъ слѣдовать за его сестрой. Подъ Бородинымъ Болконскій и Безухій слышатъ слѣдующій разговоръ двухъ офицеровъ-нѣмцевъ: „Der Krieg muss im Raum verlegt werden“ (войну нужно затянуть въ пространство, или говоря понятнымъ языкомъ, нужно ослабить врага, отступая далеко внѣтъ страны), говорилъ одинъ изъ нихъ.

— „Да, im Raum verlegen, повторилъ, злобно фыркая носомъ, князь Андрей, im Raum-то у меня остался отецъ, и сынъ, и сестра въ Лысыхъ-Горахъ... Одно, что я бы сдѣлалъ, ежели бы имѣлъ власть,— началъ онъ опять,— я не бралъ бы плѣнныхъ. Что такое плѣнные? Это рыцарство. Французы разорили мой домъ и идутъ разорить Москву, оскорбили и оскорбляютъ меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники всѣ, по моимъ понятіямъ. И такъ же думаетъ Тимохинъ и вся армія. Надо ихъ казнить“. Если бы такимъ патріотамъ, возбужденнымъ личною ненавистью, дали дѣйствовать самовластно, то война 1812 года была бы навѣрное проиграна, несмотря на колоссальныя пожертвованія народа. Вездѣ эгоизмъ проявляется въ самой яркой и голой формѣ; нигдѣ вы не замѣчаете даже слѣдовъ привычки хотя бы изъ приличія прикрыть свои эгоистическія стремленія стремленіемъ къ общественнымъ интересамъ. Въ здоровомъ обществѣ эгоистъ на общественномъ поприщѣ никогда не рѣшится открыто преслѣдовать свои эгоистическія цѣли: онъ знаетъ, что это значитъ проиграть дѣло; онъ долженъ будетъ дѣйствовать на пользу общую, и когда онъ дѣйствительно достаточно сдѣлаетъ, общество вознаградитъ его, не входя въ разборъ того, что дѣлалось въ тайникахъ его души, и что его стимулировало. Въ такомъ обществѣ эгоисты и люди глубоко нравственные говорятъ и дѣйствуютъ одинаково, и въ настоящемъ своемъ свѣтѣ эгоистъ является только тогда, когда само общество ошибается насчетъ своихъ интересовъ или падаетъ такъ низко, что льстецамъ и усыпителямъ своимъ пролагаетъ дорогу къ высокимъ почестямъ... Такимъ образомъ, съ какой бы точки мы ни посмотрѣли на стереотипныя фигуры, выведенныя гр. Толстымъ въ его романѣ,— умственная окаменѣлость и нравственное безобразіе этихъ фигуръ такъ и бьютъ въ глаза. Но если таково было общество, изображаемое авторомъ, то единственный путь художественнаго воспроизведенія его—это та иронія, въ которой слышатся горькія слезы и чувство негодованія, всѣми силами души подавленное и все-таки выливающееся могу-

чимъ потокомъ бичующей сатиры. Но подобное отношеніе ко времени, пережитому нами уже двумя поколѣніями, немислимо, а потому и художественное представленіе тѣхъ чувствъ и мыслей, какими наполненъ романъ автора, совершенно невозможно. Въ томъ видѣ, какъ романъ написанъ, онъ представляетъ рядъ возмутительно грязныхъ сценъ, которыхъ смыслъ и значеніе явно не понимаются авторомъ, и которыя поэтому равносильны ряду фальшивыхъ нотъ. Онъ въ такомъ умиленіи отъ своихъ героевъ, что ему кажется каждый ихъ поступокъ, каждое ихъ слово интереснымъ; на этихъ страницахъ видишь уже не героевъ, а умиленіе самого автора, восхищающагося людьми, которыхъ видъ заставляетъ содрагаться отъ ужаса и негодованія. Онъ интересуется всѣми относящимися къ нимъ подробностями такъ, какъ только восторженный любовникъ можетъ интересоваться тѣмъ, что относится къ избранной его сердцемъ чистой и прекрасной дѣвушкѣ. Это составляетъ уже не только фальшивую ноту, но и неодолимо скучное изложеніе. Поощренный своими изящными, но слабоумными критиками, авторъ явно воображаетъ, что все, что выйдетъ изъ подъ его пера, должно возбуждать восторги и безконечное удовольствіе; поэтому онъ и не заботится ни о чемъ, кромѣ изящной отдѣлки избранныхъ имъ уроковъ. Весь романъ составляетъ беспорядочную груду наваленнаго матеріала. То онъ имѣетъ плохо скрытую претензію на современную Илиаду, то — стремленіе изобразить нравы и жизнь эпохи въ ея крупныхъ и рѣзкихъ чертахъ, принадлежащихъ исторіи. Тутъ изображается и война съ ея дѣятелями, начиная отъ императора и главнокомандующаго и до солдата, и миръ съ его мирными играми, но только съ тою разницею, что игры у Гомера — это упражненія, необходимыя въ то время народу для поддержанія своей самостоятельности; они дали возможность Греціи сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ она сдѣлалась впоследствии, а салоны и псовая охота въ романѣ г. Толстого представляютъ жалкія черты падшихъ людей, выставленныя въ ложномъ свѣтѣ. Съ какимъ-то омерзѣніемъ читаешь восторженное описаніе псо-

вой охоты, гдѣ люди мѣются отъ страсти, глядя какъ цѣлыя своры собакъ терзаютъ одного зайца, и людей этихъ авторъ старается изобразить такими сильными, полными энергіи. Покусившись раздуться до грандіозныхъ размѣровъ Иліады, романъ вдругъ вырождается въ тоненькую струйку обыденной жизни какого-нибудь семейства или въ любовную интригу, не характеризующую ни мѣста ни времени; струйка вяло влачится по грязному грунту и непрерывно запружается соромъ ненужныхъ подробностей; на нѣсколькихъ страницахъ растянута ничего не значація письма или какой-нибудь скучный-прескучный дневникъ. Неожиданно наталкиваешься на что-то похожее на лѣтопись или растянутую хронику, которая читается такъ же живо, какъ какое-нибудь сказаніе Нестора, и гдѣ еще труднѣе отличить вымыселъ отъ истины. Въ другомъ мѣстѣ встрѣчается кусочекъ исторіи и совсѣмъ некстати какой-то планъ Бородинской битвы. Встрѣчаются и философскія размышленія въ родѣ тѣхъ, что науки вредны, и что все въ жизни случайность, поэтому лучше жить такъ, а какъ именно—это авторомъ не объясняется, — вѣроятно на счетъ барщинъ, налагаемыхъ сверхъ оброковъ. Кромѣ самого автора, въ длинныя, сантиментальныя и беззвучныя какъ бредъ больного, разсужденія, пускаются и его герои, явно заимствовавшіе отъ него свой образъ мыслей. При взглядѣ, усвоенномъ на общество временъ Александра I-го, съ его стороны гораздо добросовѣстнѣе было бы написать исторію, чѣмъ романъ. Вѣдь нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, давать Сперанскому въ сотрудники, по своему произволу, дураковъ и негодяевъ.

Нѣкоторыя военныя сцены были бы и живы и картинны, если бъ отличались исторической вѣрностью. Все, что въ этихъ сценахъ могло бы быть хорошаго, опять-таки уничтожается отсутствіемъ таега и правильнаго пониманія условій жизни. Авторъ явно не въ состояніи изображать исторію; онъ постоянно изображаетъ какъ бы дѣйствительность съ неудавшимся усиленіемъ придать ей историческій характеръ. Поэтому, сколько ни дѣлай надъ собою усилій,

невозможно относиться къ его рассказамъ съ такимъ спокойствіемъ, съ которымъ мы смотримъ на пережитое, на оставшееся позади насъ время. Какъ скоро человѣкъ затронутъ за такую живую струну, онъ не можетъ подавить въ себѣ чувствъ надежды или отчаянія. Отчаяніе овладѣваетъ мною не тогда, когда я вижу въ своемъ отечествѣ или вообще въ человѣкѣ недостатокъ,—всѣ народы и люди имѣютъ недостатки,—но тогда, когда я вижу, что недостатокъ этотъ не понимается, а восхваляется писателемъ, котораго въ свою очередь превозноситъ критикъ. Надежда овладѣваетъ мною тогда, когда я вижу, что недостатокъ сильно и энергически осмѣивается; народы и люди тѣмъ болѣе поднимаются по лѣстницѣ цивилизаціи, чѣмъ съ большею строгостью къ себѣ относятся. Описаніе только тогда можетъ быть художественно, когда оно задѣваетъ подобныя струны и возбуждаетъ чувство надежды, но не отчаянія. Описаніе можетъ быть совершенно вѣрно, но оно не затронетъ ни одного чувства, и человѣкъ скажетъ, что это поучительно, какъ всякая истина, но скучно, и никогда не скажетъ про такое описаніе, что оно художественно. Человѣка затронуло грубое остроуміе и аляповатая пластичность сказки о какой-нибудь царевнѣ, и онъ говоритъ, что эта сказка художественная, она возбуждаетъ его нервную дѣятельность и, слѣдовательно, повидимому, развиваетъ его, въ немъ безсознательно дѣйствуетъ та надежда на развитіе, которая слышится въ смѣхѣ надъ остроуміемъ и видна въ блестящихъ глазахъ человѣка, созерцающаго хитрое построеніе воображенія. Другой человѣкъ видитъ всю неудовлетворительность критики въ этой сказкѣ, все ложное направленіе, которое она даетъ уму и чувствамъ человѣка; при видѣ восторговъ слушателей въ немъ пробуждается не надежда, а отчаяніе, и онъ говоритъ, что эта сказка лубочная картинка, и что тотъ, кто ею восхищается, имѣетъ грубый вкусъ. Юноша увлекается грубымъ описаніемъ сладострастныхъ проявленій, дѣвушка приторно сладкими изображеніями любви, и имъ кажутся эти изображенія художественными, потому что они даютъ пищу чувствамъ, ко-

торы въ нихъ требуютъ развитія, они для нихъ надежда,—но человѣкъ развитой понимаетъ, что эти произведенія доведутъ юношу до грубаго цинизма и дѣвушку до дряблой сентиментальности, и потому опять-таки говорить, что у нихъ грубый вкусъ. На грубый вкусъ военныя описанія романа могутъ казаться настолько же художественными, насколько для вкуса, еще болѣе грубаго, кажутся изящными сказка о Бовѣ и „Битва русскихъ съ кабардинцами“. Съ начала до конца у гр. Толстого восхваляются буйство, грубость и глупость. Читая военныя сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но рѣчистый унтеръ-офицеръ рассказываетъ о своихъ впечатлѣніяхъ въ глухой и наивной деревнѣ. Невозможно не чувствовать однакоже, что тутъ и рассказчикъ и слушатели совсѣмъ другіе, поэтому рассказъ непрерывно больно и неловко задѣваетъ, какъ тѣ фальшивыя ноты, которыя заставляютъ судорожно искажать лицо и скрежетать зубами. Всякому образованному человѣку извѣстно, что развитіе дикой храбрости и стойкости, безъ умѣнья создавать для себя орудія защиты и пользоваться ими, гибельно для народа: оно на нашихъ глазахъ погубило турокъ. Даже развивать въ народѣ воинственность, соединенную съ умѣньемъ, вредно. Благодаря этой воинственности Франція погубила не только свое настоящее, но и будущее. Тотъ, кто хочетъ способствовать величію народа, долженъ стараться уменьшать его воинственность, потому что этимъ самымъ онъ будетъ даже увеличивать его воинскую силу. Умственное превосходство, порождавшее превосходство оружія, порождало и великихъ завоевателей и, только во времена дикости, легкость, съ которой команды могли собираться большими массами и кидаться на разрозненныхъ земледѣльцевъ, порождала завоевателей другого рода. Превосходство оружія дало спартамъ ихъ завоеванія, возвеличило Аѣины, сдѣлало изъ Македоніи и Рима великихъ завоевателей. Превосходство рыцарскаго вооруженія не только дало возможность маленькой и разрозненной Европѣ положить предѣлъ воинскимъ подвигамъ огромныхъ массъ азіатскихъ и африканскихъ нома-

довъ, но дало ей значительныя завоеванія, а дальнѣйшее его усовершенствованіе распространило европейскую цивилизацію по всѣмъ частямъ міра. Мы недавно еще на собственной своей кожѣ испытали, что значитъ превосходное оружіе, а послѣднее десятилѣтіе доказало яснѣе всѣхъ предыдущихъ, что тотъ народъ будетъ стоять побѣдителемъ на поляхъ сраженія, у котораго всего болѣе будутъ развиты математика, естественныя науки и механическое искусство—однимъ словомъ, мирныя занятія. При такомъ положеніи дѣлъ нужно стоять на степени развитія армейскаго унтеръ-офицера, да и то еще по природѣ умственно-ограниченнаго, чтобы быть въ состояніи восхищаться дикою храбростью и стойкостью. Поэтому, развитой читатель никакъ не можетъ восторгаться описаніями, въ которыхъ эта дикость ставится выше всего. Въ романѣ постоянно повторяется и подкрѣпляется и изображеніями и философскими разсужденіями, что военное искусство, военныя способности, военныя орудія—все это вздоръ,—значеніе имѣетъ одна дикая храбрость и стойкость. Онъ самъ себя бьетъ своими же данными и не замѣчаетъ этого; какое значеніе, говоритъ онъ, имѣло, напр., въ бородинскомъ сраженіи неискусство Кутузова и дѣйствіе французской артиллеріи? и тутъ же говоритъ, что русскіе потеряли половину войска, а французы только четверть, т.-е. вдвое менѣе. Армія недалеко уйдетъ на поприщѣ побѣдъ, если она будетъ постоянно терпѣть вдвое болѣе непріятеля. Ацтеки были герои по храбрости и стойкости,—однакожъ они недалеко уѣхали съ этими качествами, когда на нихъ напала горсть испанцевъ съ превосходнымъ оружіемъ и съ превосходнымъ искусствомъ. Случается иногда слышать, какъ грубый и испорченный взяточникъ, съ большою живостью, картинно разсказываетъ подвиги лихонимства и злоупотребленія власти. Такой разсказъ можетъ быть интересенъ; онъ показываетъ нравственную испорченность взяточника во всей ея наготѣ, но онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ художественнымъ; для художественности ему не достаетъ сознанія этой испорченности. Разсказъ, который поселяетъ отвращеніе не къ разсказан-

ному, а къ самому себѣ, точно такъ же мало художественъ, какъ рассказъ о скукѣ, который самъ скученъ. Всѣ военныя сцены романа наполнены сочувственными рассказами о тупой необузданности Денисова, о дикихъ, разрушительныхъ инстинктахъ арміи, которая скашиваетъ незрѣлый хлѣбъ, о кровожадности Болконскаго, совѣтующаго не брать плѣнныхъ. Романъ смотритъ на военное дѣло постоянно такъ, какъ смотреть на него пьяные мародеры.

Написавъ свой романъ, авторъ, повидимому, почувствовалъ, что его любимцы не всѣмъ будутъ внушать ту нѣжность, которую онъ ощущалъ къ нимъ. Поэтому, отдѣльно отъ романа, онъ объяснилъ публикѣ, что герои его имѣли недостатки, потому что они говорили не по-русски, а по-французски, и поэтому они менѣе понимали и менѣе сочувствовали народу. Это была смазка, которая должна была обличить движеніе колеса его популярности. Эти объясненія, собственно говоря, не должны имѣть вліянія на обсужденіе романа, потому что романъ этотъ производитъ свое впечатлѣніе совершенно отдѣльно отъ написанныхъ къ нему въ постороннемъ журналѣ комментаріевъ, и отдѣльно отъ нихъ читается. Я не могу однакоже не сказать нѣсколько словъ объ аргументѣ, который часто у насъ слышится — все это дѣлалось отъ крѣпостного права, всѣ эти дикости происходятъ оттого, что высшее общество отдѣлено отъ народа. Аргументъ этотъ, хоть и имѣетъ форму обвиненія, но въ сущности—это смягченіе, и потому обыкновенно употребляется не въ томъ лагерѣ, который обвиняетъ, а въ томъ, который стремится оправдаться отъ обвиненій. Грязь и грубость, проявлявшаяся въ Болконскихъ, Ростовыхъ, Безухихъ, имѣла своимъ источникомъ вовсе не то, что они говорили по-французски и были отчуждены отъ народа. Французскими идеями они вовсе не были заражены: въ такомъ случаѣ они никогда не могли бы такъ разсуждать, какъ они разсуждали. Отъ народа они вовсе не были отчуждены, доказательствомъ можетъ служить ихъ образъ дѣйствія—эгоистическій и грубый, но все-таки успѣшный. Если бы они не знали народа и судили объ немъ такъ, какъ разсуждали о своемъ народѣ

французы, то они поступали бы гораздо лучше. Они очень хорошо знали, что они могутъ такъ скверно поступать, и успѣхъ ихъ показалъ, что они понимали и народъ и свое положеніе. Они поступали такимъ образомъ просто потому, что они были грубы и дики, и если бы они говорили не по-французски, а по-русски, или по-англійски, или по-китайски, они поступили бы точно такъ же. Не крѣпостное право породило ихъ грубость, а ихъ грубость произвела крѣпостное право. Конечно, грубое общество, какъ и грубый человѣкъ, само мѣшаетъ своему развитію; но въ грубомъ обществѣ тотъ будетъ плохой патріотъ, кто только за этимъ опуститъ руки; лишь была бы въ обществѣ интеллектуальная и нравственная сила, а грубость стереть возможно.

С. Навалихинъ.

безъ посторонней помощи можетъ проявить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орфографіи, такъ и методики ея преподаванія, — съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по орфографіи; 8) почему-либо оставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще не успѣвающіе въ орфографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самостоятельности, легко и скоро приобретаютъ орфографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какому-либо экзамену, а еще болѣе — для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя — тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія орфографіи по этому руководству, проверка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ все три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 6-е. М. 1900 г. Ц. 40 к.

9. Справочный словарь буквы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 4-е. М. 1901 г. Ц. 25 к.

10. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы — 2 к. (Распроданы).

11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

12. Объяснительный словарь болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска „Справочника по русскому правописанію“).

13. Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію. Опытъ группировки орфографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка.

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку):

14. а) Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разраб. извѣстными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Ц. 1 р.

15. б) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1901 г. Цѣна 1 р.

16. в) Методическія указанія и примѣрные уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 2-е. М. 1899 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

17. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ I. Изд. 3-е. М. 1899 г. Ц. 2 р. — Выпускъ II. Изд. 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й — 1 р.

18. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго.

Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части Ц. 3 р. (1-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я, 2-я, 3-я и 5-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я, 2-я и 3-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

23. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

24. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Цѣна 50 к.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть (1-я часть вышла 2-мъ изд.).

26. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть по 1 р.).

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.

29. Н. В. Гоголь въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго (печатається).

IV. Серія разныхъ книженъ:

30. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

31. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

32. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для выѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

33. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

34. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

35. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянь. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За вложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

РУССКАЯ
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ
Л. Н. ТОЛСТОГО.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

Часть четвертая.

СОБРАЛЪ

В. Зелихскій.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.



ПОСТАВЛ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА СЪ Т-омъ СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ

МОСКВА, ТВЕРСКАЯ,



МАМОНОВСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.



1902.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ.

І. Пособія по изученію русскаго языка:

1. **Справочникъ по русскому правописанію**, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полного списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква ѣ. Составленъ по «Руководству» Академіи Наукъ. Выпускъ І. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

2. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ ІІ. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ ІІІ. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ ІV. Правописание, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ стоятъ 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. **Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку**. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 5-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

6. **Вступительный курсъ зрительнаго диктанта**. Книга для элементарныхъ орфографическихъ упражненій (печатается).

7. **Зрительный диктантъ**. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 12-е. М. 1902 г. Ц. 50 к.

8. **Зрительный диктантъ**. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 7-е. М. 1902 г. Ц. 40 к.

9. **Справочный словарь буквѣ ѣ**. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ ѣ. Изд. 4-е. М. 1901 г. Ц. 25 к.

10. **Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора**. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы—2 к. (распроданы).

РУССКАЯ
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ
Л. Н. ТОЛСТОГО.

**ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.**

4
Часть четвертая.

СОВРАЛЪ

В. Зелихскій.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.



ПОСТАВЛ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ,



СТ-МО СЮРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ
МАМОНОВСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.



1902.

✓ Slav 4354.2.1020



Prof. George K. Hayes

Оглавленіе.

Критика шестидесятихъ годовъ.

„Война и Миръ“.

Критическія статьи 1868 г.:

Изъ «Русскаго Инвалида». Статья А. И.—на . . .	1
» «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Статья Z (В. Буренина).	10
» «Голоса».	22
» «Голоса». Статья X. Л.	25
» «Харьковскихъ Вѣдомостей». Статья K. . . .	28
» «Голоса». Статья X. Л.	36
» «Голоса».	37
Что такое «Война и Миръ» графа Л. Н. Толстого?	
Статья М. Б. изъ «Голоса»	52
Замѣтка по поводу Бородинскаго сраженія. Статья И. Липранди.	55
Изъ «Русско-Славянскихъ Отголосковъ».	59
» «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Статья Z. (В. Буренина)	64
» «Русскаго Инвалида». Статья H. Л.	76
» «Военнаго Сборника». Статья А. Е. Норова. .	93
» «Оружейнаго Сборника». Статья М. Драгомирова	111

Характеристики отдѣльныхъ лицъ романа „Война и Миръ“, со-
бранныя изъ критическихъ статей за 1868 годъ 124

Андрей Волконскій.

Выдержки изъ критическихъ статей:

Изъ «Голоса»	124
» «Всемирнаго Труда». Н. Ахшарумова	126
» «Одесскаго Вѣстника». С. Сычевскаго. . . .	129
» «Недѣли». А. П. Пятковскаго.	135
» «Голоса».	137
» «Оружейнаго Сборника». М. Драгомирова . .	140

Ворисъ Друбецкой.

Характеристика Д. Писарева.

Изъ «Отечественныхъ Записокъ».	146
--	-----

Николай Ростовъ.

Выдержки изъ критическихъ статей:

Изъ «Одесскаго Вѣстника». С. Сычевскаго	163
» «Недѣли». А. Пятковского	165
» «Всемирнаго Труда». Н. Ахшарумова	166
» «Отеч. Записокъ». Д. Писарева	167

Пьеръ Безухій.

Выдержки взяты:

Изъ «Голоса»	189
» «Недѣли». А. Пятковского	190
» «Всемирнаго Труда». Н. Ахшарумова	191
» «Одесскаго Вѣстника». С. Сычевскаго	192

Наполеонъ.

Выдержка изъ критической статьи Н. Ахшарумова, изъ «Всемирнаго Труда»	195
--	-----

Александръ I.

Выдержка изъ статьи «Голоса»	202
--	-----

Николай Волконскій (отецъ).

Выдержка изъ критики Н. Ахшарумова, изъ «Все- мирнаго Труда»	205
---	-----

Долоховъ.

Выдержка изъ критической статьи Н. Ахшарумова («Всемирн. Трудъ»)	207
---	-----

Денисовъ.

Выдержка изъ статьи Н. Ахшарумова. («Всемирн. Трудъ»)	209
---	-----

Наташа Ростова.

Выдержки изъ критическихъ статей:

Изъ «Отеч. Записокъ». Николаевой (Цебриковой)	210
» «Всемирнаго Труда». Н. Ахшарумова	221
» «Одесскаго Вѣстника». С. Сычевскаго	223
» «Голоса»	230

Княгиня Волконская.

Выдержка изъ статьи Николаевой (Цебриковой). «Отеч. Записки»	233
---	-----

Марія Волконская (княжна).

Выдержка изъ критической статьи Николаевой (Цебри- ковой). «Отеч. Записки»	242
---	-----

Алфавитный указатель собственныхъ именъ, назва- ній журналовъ, газетъ, книгъ, статей и т. п.	252
---	-----

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1868-й годъ.

„Война и Миръ“.

*) Въ послѣднія недѣли наше общество сильно занято произведеніемъ графа Л. Н. Толстого „Война и Миръ“, которое явилось въ продажѣ пока тремя томами (четвертый выйдетъ, какъ мы слышали, на-дняхъ), обнимающими время съ 1805 по 1811 г. включительно. Романъ изданъ Чертковскою библіотекою довольно опрятно, разгонистымъ, крупнымъ шрифтомъ, какъ можно издавать только для дѣтей и стариковъ. Томы, исключая перваго, очень тонки (во второмъ 186 стр., въ третьемъ немногимъ больше); изъ-подъ обертки, съ внутренней стороны, торчатъ обрывки московскихъ афишъ. Мы говоримъ о внѣшности потому, что цѣна (7 р.), назначенная за романъ, безобразно дорога. Правда, Чертковская библіотека ничего дешево не издаетъ—дороговизна вошла у нея, какъ видно, въ обычай, но обычай, какъ бы ни былъ онъ ни съ чѣмъ несообразенъ, все-таки требуетъ соблюденія извѣстныхъ приличій. Несмотря, однако, на неприличную цѣну, романъ расходуется быстро; онъ пошелъ бы во сто разъ лучше, если бы цѣна была соразмѣрна его объему.

Большая часть перваго тома была напечатана въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1866 года, подъ заглавіемъ „1805 годъ“; объ этой части мы говорили, въ свое время, довольно подробно, по мѣрѣ того, какъ появлялась она въ книжкахъ названнаго журнала. На ней мы не станемъ останавливаться...

*) „Русскій Инвалидъ“ 1868 г., № 11. Журнальныя и библиографическія заѣтки. Статья А. И-на, подъ заглавіемъ: „Война и Миръ. Соч. гр. Л. Н. Толстого. 3 тома. М. 1868 г.“

Графъ Л. Толстой задался мыслию изобразить русское общество въ первую половину царствованія императора Александра I. Для этого онъ сосредоточилъ интересъ своего произведенія на семействѣ графа Ростова, на графѣ Пьерѣ Безухомъ и семействѣ князя Болконскаго. Эти три семейства постоянно приходятъ въ соприкосновеніе другъ съ другомъ, захватывая въ свой кругъ лицъ второстепенныхъ, предназначенныхъ играть какую-нибудь роль въ интригѣ романа, и лицъ совершенно эпизодическихъ, каковы, на примѣръ, императоры Александръ I и Наполеонъ, Сперанскій, Аракчеевъ, Багратионъ, Кутузовъ и другія тогдашнія знаменитости; романистъ не забылъ даже г-жу Жоржъ и танцовщика Дюпора, которому платили, за его искусство, 60,000 рублей въ годъ.

Интрига романа крайне проста; развивается она съ тою естественною логикою или, пожалуй, естественною нелогичностью, которая существуетъ въ жизни. Ничего необыкновеннаго, ничего натянутого, ни малѣйшихъ фокусовъ, употребляемыхъ даже талантливыми романистами. Это—спокойная эпопея, написанная поэтомъ-художникомъ, который выводитъ передъ вами живыя лица, анализируетъ ихъ чувства, описываетъ ихъ поступки съ безстрастіемъ пушкинскаго Пимена. Отсюда—достоинства и недостатки романа.

Въ семействѣ Ростовыхъ ярче другихъ выступаютъ молодой графъ Николай и сестра его Наташа. Около Николая, какъ его сослуживцы, замѣтны гусаръ Денисовъ и Долоховъ. Эти лица служатъ автору и для интриги и для описанія боевой жизни, ея будничныхъ и праздничныхъ явленій. Пьеръ, незаконнорожденный сынъ графа Безухаго, сдѣлавшись наслѣдникомъ громаднаго состоянія и титула своего отца, женился на Эллень Курагиной, дочери министра, князя Василія Курагина, и силою обстоятельствъ, сталкивается съ Долоховымъ, Анатолемъ Курагинымъ, братомъ Эллень и масонами. Молодой Болконскій, другъ Пьера, вступаетъ въ адъютанты къ Кутузову, и передъ авторомъ вся высшая военная администрація; раненный при Аустерлицѣ, Андрей Болконскій выходитъ въ отставку, потомъ снова поступаетъ

на службу и сталкивается съ Сперанскимъ и Аракчеевымъ. Вотъ кругъ, изъ котораго авторъ не выходитъ, послѣдовательно, глава за главою, останавливаясь то на семействѣ графовъ Ростовыхъ, то на семействѣ князей Болконскихъ, то, наконецъ, на Пьерѣ и его красавицѣ-женѣ. Если читатель припомнить изъ „1805 года“, что Ростовы—аристократическое семейство, живущее широко, но отличающееся семейными добродѣтелями, ровными характерами, сохранившее нѣкоторый деревенскій, патриархальный складъ; что представитель князей Болконскихъ — старикъ - деспотъ, Пьеръ—просто добрый человѣкъ, по складу ума и воспитанію служащій звеномъ между аристократіею и образованными людьми, обязанными своимъ положеніемъ личнымъ своимъ качествамъ, а не происхожденію; что, наконецъ, министръ князь Василій Курагинъ—образецъ ловкаго придворнаго; если, говоримъ, все это припомнить, то будетъ ясно, что авторъ захватилъ въ своемъ изображеніи самыя разнообразныя типы и воспроизвелъ ихъ, по большей части, мастерски. Особенно ярко представленъ старикъ Болконскій—типъ деспота съ душою любящей, но испорченною привычкою властвовать. Необыкновенно тонко подмѣчены и развиты авторомъ малѣйшія черты этого характера, до сихъ поръ не являвшагося въ такой законченной, художественной формѣ. Графъ Л. Толстой остановился почти исключительно на средѣ аристократической, какъ болѣе ему знакомой, какъ ближе стоящей къ высшей администраціи—въ рукахъ той и другой были судьбы народа, судьба Россіи. Боги Олимпа и герои выступаютъ на первомъ планѣ; служебныя силы захвачены вскользь. Но, рассказывая интриги романа, мы остановимся на богачахъ и герояхъ. Мы еще въ „1805 году“. Князь Василій Курагинъ, онъ же министръ, заботится объ устройствѣ своей дочери, блистательной красавицы Эленъ. Весь интересъ жизни князя составляли различные планы и соображенія насчетъ собственныхъ выгодъ. По увѣренію автора, онъ не думалъ „дѣлать зло для того, чтобы пріобрѣсть выгоду“. На самомъ дѣлѣ изъ плановъ и соображеній князя выходитъ только зло. Онъ самымъ

безцеремоннымъ образомъ навязываетъ свою Эллень Пьеру, и способу, употребленному имъ въ этомъ случаѣ, конечно, позавидоваль бы величайшій пройдоха въ мірѣ. Бракъ этотъ для Пьера выходитъ самый несчастный. Эллень—существо въ полной мѣрѣ развратное и притомъ глупое; она не оставалась даже передъ ласками брату своему Анатолю: они влюбились другъ въ друга, и дѣло пошло бы далеко, если бы достопочтенные родители еще во время не удалили на нѣкоторое время Анатоля. Красота, однако, дѣлаетъ Эллень героинею высшаго свѣта: она приобретаетъ репутацію *d'une femme charmante, aussi spirituelle que belle*. Принцъ де Линь пишетъ ей длинныя письма; секретари посольства и даже посланники повѣряли ей дипломатическія тайны; въ салонѣ ея говорилось о политикѣ, поэзіи и философіи; молодые люди прочитывали книги передъ вечеромъ Эллень, чтобы было о чемъ говорить. Эллень беззащитно говорила глупости и пошлости, и, однакоже, всѣ ею восхищались, восхищались даже ея глупыми и пошлыми сужденіями, находя въ нихъ какой-то глубокій смыслъ. Вокругъ этой богини, какъ уже сказано, группируется все лучшее, все избранное. Ее замѣтилъ даже Наполеонъ, когда она была въ Эрфуртѣ, и сказалъ своимъ приближеннымъ: „*Quelle belle animal!*“ Эта фраза характеризуетъ ее лучше всего.

Вотъ первая богиня, которая намъ встрѣчается. Мы найдемъ затѣмъ другую, поэтическую, на которой особенно долго останавливается авторъ. Не желая нарушать хронологическаго порядка, усвоеннаго себѣ авторомъ, мы возвратимся къ эпопее войны Русскихъ и Австрійцевъ съ Французами. Приближалась грозная Аустерлицкая битва. Въ войскахъ Шенграбенское дѣло подняло воинскій духъ. Около Ольмюца производится смотръ союзной арміи обоими императорами, Александромъ и Францемъ. Наполеонъ прислалъ письмо къ императору. Союзники, польщенные побѣдою, разумѣется, не думаютъ уступать, и въ этомъ смыслѣ положено написать отвѣтъ; но какъ адресовать его? Начались серьезныя пренія. Одинъ дипломатъ нашъ, Билибинъ, острякъ, очень удачно очерченный авторомъ, предлагалъ,

шутя, адресовать такъ: „Узурпатору и врагу человѣческаго рода“, а серьезно: *au chef du gouvernement français*, что и принято. Молодые генералы, вслѣдъ за Государемъ, надѣялись окончательно разбить Наполеона. Планъ битвы и диспозиціи составлены были Вейротеромъ и одобрены. Кутузовъ внутренне не одобрялъ плана, но принималъ его, какъ одобренный Государемъ. Наканунѣ битвы происходитъ у Кутузова военный совѣтъ, гдѣ Вейротеръ читаетъ свою диспозицію, не удостоивая отвѣтомъ возраженій русскихъ генераловъ, которые, подобно фельдмаршалу, недовольны австрійскою диспозиціею. Кутузовъ во время этого совѣта спитъ, просыпаясь, когда Вейротеръ прерываетъ свое чтеніе, „какъ мельникъ при перерывѣ усыпительнаго звука мельничныхъ колесъ“. Диспозиція читалась для проформы, и Кутузовъ это зналъ.—„Господа, диспозиція на завтра, даже на нынче (потому что уже первый часъ), не можетъ быть измѣнена, сказалъ онъ. Вы ее слышали, и всѣ мы исполнимъ нашъ долгъ. А передъ сраженіемъ нѣтъ ничего важнѣе... (онъ помолчалъ) какъ выспаться хорошенько“. Все это авторъ рисуетъ прекрасно, но искусство его достигаетъ высшей степени въ описаніи Аустерлицкой битвы... “(Далѣе приводится изъ романа нѣсколько отрывковъ изъ описанія Аустерлицкой битвы).

„Мы не приводимъ эпизодовъ Аустерлицкой битвы. Когда исходъ ея былъ уже внѣ сомнѣній, графъ Толстой знакомитъ насъ съ Наполеономъ, самодовольнымъ и торжествующимъ. Подъ вліяніемъ этой радости, онъ ласково обходится съ нашими плѣнными и хвалитъ ихъ за храбрость. Затѣмъ мы встрѣчаемся съ нимъ въ Тильзитѣ, послѣ заключенія мира, когда оба императора показывали другъ другу свои войска: Наполеонъ — баталіонъ французской гвардіи, Александръ — баталіонъ преображенцевъ. Походная жизнь арміи описана такъ, какъ только умѣетъ описывать графъ Толстой, авторъ столькихъ прекрасныхъ рассказовъ изъ нашей Кавказской и Севастопольской войны. Положеніе русской арміи передъ Тильзитскимъ миромъ, когда провіантмейстеры морили голодомъ солдатъ, которые питались какимъ-то

„машкинымъ корнемъ“, горькою травой, произведшею у нихъ болѣзни, когда не было ни лазаретовъ ни докторовъ; когда трупы умершихъ въ лазаретѣ гнили рядомъ съ живыми солдатами, и эти несчастные должны были терпѣть возлѣ себя такое сосѣдство, потому что, за неимѣніемъ ногъ, оставленныхъ на полѣ битвы, не въ состояніи были встать; когда нѣкоторые командиры, выведенные изъ терпѣнія позорнымъ грабежомъ, силою отнимали провіантъ, назначавшійся въ другія части войскъ, все это нарисовано широкою кистью и въ связи съ главными дѣйствующими лицами романа. Авторъ почти нигдѣ не теряетъ той мѣры, которая необходима для гармоніи цѣлаго, и великія событія, знаменитыя историческія лица, захватываются, насколько приходятъ они въ соприкосновеніе съ главными дѣйствующими лицами. Императоры Александръ и Наполеонъ, Кутузовъ, Багратіонъ, Сперанскій, Аракчеевъ,—все это лица эпизодическія; но авторъ, привлекая ихъ на сцену дѣйствія, оставляетъ на васъ, своимъ изображеніемъ этихъ лицъ, живое впечатлѣніе. Для подтвержденія своихъ словъ, укажемъ еще на сцены свиданія молодого князя Болконскаго съ Аракчеевымъ, этимъ Силою Андреевичемъ, какъ называлъ его графъ Кочубей, съ Сперанскимъ, этимъ „grand faiseur“, какъ называлъ его тотъ же сановникъ, и на мастерское изображеніе масоновъ, которые входятъ въ рамку романа широко захваченные, съ ихъ ученіемъ, ложами, принятіемъ въ масонство, съ широкими замыслами и ничтожными результатами. Авторъ имѣлъ возможность долго остановиться на этой одно время вліятельной сектѣ, такъ какъ одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, графъ Пьеръ Безухій, ища выхода изъ несчастной женитьбы на красавицѣ Эллентъ, вступилъ въ масоны. Однимъ словомъ, эпоха рисуется передъ вами довольно полно, и герои проходятъ передъ вами во всей красотѣ своей. Несмотря, однако, на мастерство автора, всѣ эти герои, со всею ихъ обстановкою, возбуждаютъ какое-то чувство неудовлетворенности. Сначала недоумѣваешь, откуда рождается это чувство. Авторъ такъ подробно анализируетъ ихъ ощущенія, такъ интимно вводитъ

васъ въ ихъ жизнь, съ ея горемъ и радостями, съ такимъ стараніемъ подмѣчаетъ хорошія черты даже въ отъявленныхъ негодяяхъ, что, казалось бы, помянутое чувство вовсе незаконно. Передъ вами люди со всѣмъ ихъ внутреннимъ міромъ, и все-таки ваше наслажденіе не полно. Намъ кажется, что разгадка этому лежитъ прежде всего въ отношеніяхъ автора къ его героямъ, въ направленіи его таланта, въ томъ, что онъ, какъ выразились мы въ началѣ статьи, рисуетъ ихъ съ безстрастіемъ пушкинскаго Пимена или, пожалуй, поетъ о нихъ, какъ Гомеръ. Но между Гомеромъ и графомъ Толстымъ, между нами и греками, есть маленькая разниа. Мы не младенчествующій народъ, съ безыскусственною жизнію, съ ребяческими вѣрованіями, съ полною гармоніею между чувствомъ и разсудкомъ, и „Война и Миръ“—не можетъ быть „Иліадою“. Тамъ, гдѣ жизнь сложилась изъ противорѣчій, гдѣ явленія ея сложны, характеры постольку возбуждаютъ къ себѣ вниманія, постольку важны они въ общественной дѣятельности, постольку задѣваютъ они социальныя вопросы, тамъ гомеровское отношеніе къ героямъ и жизни невозможно. Тамъ невозможно анализировать чувства, анализа не стоящія, какъ бы ни былъ онъ вѣренъ; тамъ невозможно, съ одинаковымъ спокойствіемъ и самоуслажденіемъ описывать и прелести псовой охоты вмѣстѣ съ прелестями собаки Карея, и величественную красоту, и умѣнье негодяя Анатоля Курагина держать себя, и туалетъ барышень, отправляющихся на балъ, и страданія русскаго солдата, умирающаго отъ жажды и голода въ одной палатѣ съ разложившимися мертвецами, и такую ужасную бойню, какъ Аустерлицкая битва. Для автора словно не существуетъ ни великаго, ни малаго. „Въ Божіемъ мірѣ гармонія и красота,—въ Божіемъ мірѣ все одинаково заслуживаетъ вниманія“, словно говоритъ онъ себѣ, почти постоянно воздерживаясь отъ ироніи и юмора. Вы скажете, что это и есть настоящее спокойствіе истиннаго художника; намъ же чуется въ этомъ какой-то художественный дилетантизмъ, какое-то пристрастіе къ тому, что красиво выглядываетъ, что тѣшитъ зрѣніе своимъ изяществомъ, граціею и блескомъ...

Вторая причина неполной удовлетворенности читателя зависит, по нашему мнѣнію, отъ самой эпохи. Несмотря на блескъ именъ и образность характеровъ, она производитъ какое-то сѣренькое впечатлѣніе. Быть можетъ, въ этомъ частію виноватъ и авторъ, слишкомъ много потратившійся на пустяки вслѣдствіе своего дилетантизма, но мы думаемъ, что если и виноватъ онъ, то именно частію только. Жизни общественной не было еще, если не считать баловъ и клубныхъ обѣдовъ; политическое сознаніе общества едва ли и начиналось; молодой государь, вступившій на престолъ съ искреннимъ желаніемъ реформъ, не находилъ кругомъ себя ни подготовленной почвы, ни дѣятелей. Общество, правда, ворошилось, но это едва ли было полное пробужденіе. Даже такіе огромные умы, какъ Сперанскій, дѣйствуютъ скорѣй ошупью, лихорадочно стараясь переносить въ родную страну все чужеземное и преклоняясь передъ Наполеономъ, который насаждалъ на развалинахъ революціи полный деспотизмъ. При такомъ порядкѣ вещей, при господствѣ канцелярской инициативы, нѣтъ ничего мудренаго, что рядомъ съ Сперанскимъ выступаютъ впередъ и такія личности, какъ Аракчеевъ. Эпохи броженія, эпохи довольно безсознательнаго и, по тому самому, нерѣшительнаго исканія лучшаго очень пригодны какъ для людей талантливыхъ, такъ и для ловкихъ посредственностей. Бѣдность общественной жизни, которая не могла придать роману особенно яркихъ красокъ, заставила автора искать спасенія въ жизни семейной, въ анализѣ семейныхъ добродѣтелей и пороковъ. Но люди, выступающіе на этой аренѣ, не могутъ насъ сильно интересовать, особенно если они не далеко смотрятъ, если міръ ихъ воззрѣній крайне узокъ. Свадьбы, балы, кутежи, карточная игра, служба—вотъ что на умѣ той молодежи, которая изображена авторомъ. Только князь Андрей Болконскій и Пьеръ Безухій смотрятъ далѣе; они поэтому и сильнѣе интересуютъ читателя, хотя изображеніе Пьера не вполне удалось автору. Изъ женскихъ личностей ярко выступаетъ впередъ Наташа Ростова, — это та поэтическая богиня,

надъ которою авторъ останавливается съ особенною любовью. Рѣзая, смѣлая, надѣленная сильнымъ чувствомъ любви, граціей, ребяческой наивною и глубокими поэтическими инстинктами, она кажется обворожительною съ перваго раза. Такое впечатлѣніе производитъ она на всѣхъ, кто съ нею сталкивается. Она и сама знаетъ себѣ цѣну и въ тайныхъ мечтахъ своихъ говоритъ о себѣ: „какая прелесть эта Наташа!“ Постоянно влюбляясь, она, наконецъ, полюбила Андрея Болконскаго, и была съ нимъ обручена. Но, по настоянію старика Болконскаго, свадьба откладывается на цѣлый годъ, и женихъ уѣзжаетъ за границу. Наташа первые мѣсяцы спокойно переноситъ разлуку, но потомъ становится безпокойнѣе и безпокойнѣе. Ее мучить мысль, что она пропадаетъ даромъ, ни за что. „Ахъ, поскорѣй бы онъ пріѣхалъ, говоритъ она. Я такъ боюсь, что этого не будетъ! А главное: я старѣюсь, — вотъ что! Уже не будетъ того, что теперь во мнѣ есть“. Она ходитъ какъ потерянная, словно ищетъ чего-то, и говоритъ матери: „Мама! Дайте мнѣ его, дайте, мама, скорѣе, скорѣе“, и она едва удерживала дыханіе. Въ театрѣ, подъ настроеніемъ оперы, музыки, блеска, она встрѣчается съ молодымъ Анатолемъ, личностію глупою, пошлою и развратною до мозга костей. Анатолий подступаетъ къ ней съ нахальствомъ избалованнаго женщинами красавца, и побѣждаетъ разомъ. Она разомъ почувствовала, что „между нимъ и ея совсѣмъ нѣтъ той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собою и другими мужчинами. Она, сама не зная какъ, черезъ пять минутъ чувствовала себя страшно близкою къ этому человѣку“. Психологическій анализъ борьбы, которая происходитъ въ Наташѣ между прежнимъ ея чувствомъ и теперешнимъ, развитъ авторомъ съ тою полнотою и правдою, которая рѣдко встрѣтишь у другихъ писателей нашихъ. „Она представляла себя женою князя Андрея, представляла себѣ столько разъ повторенную воображеніемъ картину, картину счастья съ нимъ, и выѣстъ съ тѣмъ, разгораясь отъ волненія, представляла всѣ подробности своего вчерашняго свиданія съ

Анатолею.—Отчего же этого не могло быть вмѣстѣ? иногда, въ совершенномъ затменіи, думала она. Тогда только я бы была совсѣмъ счастлива, а теперь я должна выбрать, и ни безъ одного изъ обоихъ я не могу быть счастлива“. Судьба устроила такъ, что она осталась безъ обоихъ: князю Андрею она отказала, а съ Анатолею ей помѣшали бѣжать. Предаваясь совершенному отчаянію, она говорила роднымъ своимъ: „Зачѣмъ вы всему помѣшали! зачѣмъ? зачѣмъ? кто васъ просилъ?“ И она права, негодую на родныхъ. Анатолий негодяй—это правда, но съ нимъ она могла быть счастлива хоть нѣсколько дней, а теперь ей счастья не дали вкусить, а жизнь все-таки разбили. Дѣло въ томъ, что Наташа—личность, богатая дарами природы, но эти дары лежали втунѣ или совсѣмъ не воздѣланные, или дурно направленные.

У насъ нѣтъ еще четвертаго, послѣдняго тома „Войны и Мира“: мы не знаемъ, что будетъ съ этою привлекательною личностью, которую авторъ окружилъ всѣмъ обаяніемъ поэзіи. Гдѣ она является, тамъ является близко и жизнь, и вниманіе читателя приковывается къ ней. Сколько намъ помнится, ни въ одномъ изъ прежнихъ произведеній автора не было женскаго характера, столь оригинальнаго, столь ярко опредѣленнаго...

Мы возвратимся еще къ роману съ полученіемъ четвертаго тома...

„Русскій Инвалидъ“ 1868 г.—А. И—нз.

* * *

*) Въ русской литературѣ давно не появлялось произведенія, въ такой степени обильнаго художественными достоинствами, какъ новое сочиненіе графа Л. Н. Толстого: „Война и Миръ“. Удивительный талантъ автора „Дѣтства“ и „Севастопольскихъ Разсказовъ“ выступаетъ на страницахъ „Войны и Мира“ со всѣмъ огромнымъ запасомъ своей свѣжести и силы, со всею яркостью тѣхъ особенностей,

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г., № 24. „Русская Литература“. Статья З. (В. П. Буренина), подъ заглавіемъ: „Война и Миръ“, соч. графа Л. Н. Толстого. М. 1868 г.

которыми онъ являлъ себя въ прежнихъ беллетристическихъ работахъ, какъ большихъ, такъ и мелкихъ. Въ новомъ произведеніи графа Толстого каждое описаніе, начиная, положимъ, отъ мастерски набросанныхъ очерковъ Аустерлицкаго сраженія и кончая картинами псовой охоты, каждое лицо, начиная отъ первыхъ административныхъ и военныхъ дѣятелей александровскаго времени и кончая какимъ-нибудь русскимъ ямщикомъ Баллагой, дышитъ жизнію, правдой и реализмомъ изображенія. Отъ гр. Толстого, впрочемъ, иной рисовки картинъ и лицъ ожидать нельзя: авторъ, по общему признанію, принадлежитъ къ числу первостепенныхъ писателей-художниковъ. Распространяться на этотъ счетъ и приводить изъ новаго сочиненія перлы художественныхъ красотъ для подкрѣпленія похвалъ и восторговъ мы считаемъ совершенно излишнимъ. Точно также считаемъ мы излишнимъ подробное указаніе на недостатки „Войны и Мира“, безъ которыхъ, разумѣется, не обходится и это произведеніе. Авторъ не называлъ свое сочиненіе романомъ, и сдѣлалъ это, конечно, не безъ причины. „Война и Миръ“ не есть романъ уже потому, что авторъ набрасываетъ рядъ картинъ, болѣе или менѣе широкихъ, весьма мало заботясь о томъ, насколько размѣры и подробности этихъ картинъ необходимы для выясненія характеровъ изображенныхъ героевъ и ихъ отношеній другъ къ другу. Иногда за этими картинками герои положительно ступеваются и дѣлаются почти незамѣтными. Это обстоятельство, безъ сомнѣнія, должно быть вмѣнено въ недостатокъ повѣствователю съ точки зрѣнія обычныхъ эстетическихъ требованій. Кромѣ того, мѣстами сочиненіе графа Толстого представляется слишкомъ растянутымъ; мѣстами авторъ обдаетъ читателя такимъ изобиліемъ знаменитаго „тонкаго психологическаго анализа“, что читатель положительно не понимаетъ, какъ можно расточать этотъ анализъ на вещи, зачастую нестоящія вниманія. Но все это, какъ и поистинѣ удивительныя художественныя красоты „Войны и Мира“, конечно, не составляютъ самой сути новаго сочиненія. Вѣдь, не спеціально-же для выказыванія художественныхъ красотъ,

„психологическаго анализа“ и прочаго написалъ гр. Толстой сочиненіе въ нѣсколькихъ томахъ? Предположить что-либо подобное, по нашему мнѣнію, значило бы обидѣть такое дарованіе, какое представляетъ авторъ „Войны и Мира“. Имѣя въ виду это обстоятельство, отклонимся отъ роли путеводителя по художественнымъ красотамъ новаго сочиненія и отъ указателя нѣкоторыхъ его недостатковъ, и обратимъ вниманіе на его общій смыслъ, поскольку это возможно сдѣлать въ предѣлахъ газетной рецензіи.

Какъ читателямъ не безызвѣстно, графъ Толстой изображаетъ въ своемъ сочиненіи александровское время, начиная съ-восемьсотъ-пятого года, въ вышедшихъ покуда томахъ, по-восемьсотъ-двѣнадцатый годъ. Говорятъ, что въ послѣдствіи авторъ намѣренъ идти рука объ руку съ своими героями до конца царствованія Александра I, т. е. до двадцать-пятого года. Не увлекаясь съ излишкомъ этими слухами, займемся покуда тѣмъ, что у насъ подъ руками. По преимуществу графъ Толстой сосредоточиваетъ свои старанія на изображеніи высшаго слоя тогдашняго общества. Въ этой сферѣ общества въ то время обнаруживалось жизненное движеніе: что же это за общество было и какого рода проявлялось въ немъ движеніе? Отвѣтъ на это мы находимъ, просматривая рядъ картинъ, которыя чертитъ намъ съ поразительной рельефностью даровитое перо автора. Намъ представляется пустота и безцвѣтность петербургской аристократически-придворной сферы въ образѣ Анны Павловны Шереръ и ея салоннаго общества. „La scène de la véritable bonne société“ Анны Павловны состоитъ изъ такихъ ничтожныхъ личностей и обнаруживаетъ въ своихъ политическихъ бесѣдахъ такую пустоту политическихъ воззрѣній и такое нравственное ничтожество, частію даже разнузданность, что становится какъ-то обидно даже при чтеніи мастерской характеристики „салона“ Анны Павловны. Въ этомъ салонѣ Наполеона зовутъ антихристомъ, и какой-то французскій виконтъ Мортемаръ, котораго хозяинка подаетъ гостямъ какъ вкусное блюдо, занимаетъ все общество анекдотомъ о томъ, что Наполеонъ убилъ герцога Энгиенскаго

изъ ревности къ m-ле George. Кромѣ этого виконта, у Анны Павловны фигурируютъ на первомъ планѣ блистательныя на видѣ, но совершенно идиотическія по внутреннимъ качествамъ княжны и княгини, какой-то итальянскій аббатъ, занятый проектомъ всеобщаго мира, сынъ министра князь Курагинъ, или, какъ его именуютъ въ обществѣ, „le charmant Hippolyte“, великосвѣтскій фатъ, способный хвастаться передъ своими сверстниками не существующей связью между нимъ и свѣтскими красавицами, и прибѣгать, для приданія большаго вѣроятія своему хвастовству, къ самымъ постыднымъ уловкамъ, и, наконецъ, „тетушка“—нѣчто въ родѣ безмолвнаго идола, къ которому долженъ прикладываться каждый, входящій въ салонъ и проч. Два лица, выдающіяся въ этомъ „салонѣ“—Пьеръ Безухій и князь Андрей Болконскій—относятся одинъ съ недоумѣніемъ, другой съ презрѣніемъ къ этому пустому обществу и къ его политическимъ разговорамъ и сужденіямъ о революціи, Наполеонѣ и о прочемъ. Съ своей стороны, и оно встрѣчаетъ съ неодобреніемъ и ужасомъ всякія идеи, выходящія изъ уровня легитимистскихъ и анекдотическихъ воззрѣній французскаго виконта и остается довольнымъ лишенными смысла выходками князя Ипполита. Въ pendant фрейлинѣ Шереръ, однимъ изъ представителей петербургской придворной сферы можетъ служить министръ князь Василій Курагинъ—довольно ограниченный лицомѣръ и дипломатъ, способный на все ради выгодъ, стремящійся всѣми силами оженить на богатыхъ невѣстахъ своихъ сынковъ, безнравственныхъ идиотовъ, и почти насильно обвѣнчивающій богача графа Безухаго съ своей красивой, глупой и отличающейся развратными наклонностями дочерью. Эта дочь — „прекрасная Элленъ“ — тоже въ своемъ родѣ одинъ изъ замѣчательныхъ типовъ тогдашняго аристократическаго общества. Обладая единственно блескомъ красоты, при полномъ отсутствіи всякихъ умственныхъ и нравственныхъ достоинствъ, эта дама или—какъ о ней выразился Наполеонъ, увидавъ ее въ Эрфуртѣ — „c'est un superbe animal“, прибрѣла себѣ въ петербургскомъ высшемъ обществѣ ре-

путацію „d'une femme charmante, aussi spirituelle que belle“. Она тоже организовала свой „салонъ“. Извѣстный петербургскій дипломатъ Билибинъ приберегалъ свои mots, чтобъ въ первый разъ сказать ихъ въ этомъ салонѣ; молодые люди прочитывали книги передъ вечерами Эллень, чтобъ было о чемъ говорить въ ея салонѣ, и секретари посольства и даже посланники, повѣряли ей дипломатическія тайны, такъ что она была силой въ нѣкоторомъ родѣ. Положимъ, что красота есть великая вещь; но только въ совершенно-ничтожномъ и пустомъ обществѣ подобная женщина могла получить такое значеніе и вліяніе.

Таково было петербургское общество въ его обычныхъ, не выходящихъ изъ уровня герояхъ, и таковы были его интересы. Весьма естественно, что людямъ, сознающимъ въ себѣ хоть какія-нибудь силы и какіе-нибудь задатки живой дѣятельности, въ подобной средѣ тяжело и невыносимо, и они ищутъ выхода изъ этой безотрадной пустоты. Одни изъ нихъ, какъ офицеръ Долоховъ—энергическая натура, надѣленная сильнымъ характеромъ—ищутъ исхода въ безобразномъ кутежѣ, игрѣ, дикомъ удалствѣ и съ какимъ-то отчаяніемъ заглушаютъ въ себѣ всякіе порывы на что-либо. Другіе, какъ князь Андрей Болконскій, рвутся къ политической и общественной дѣятельности и, не имѣя въ себѣ надлежащей выдержки, постигаютъ невозможность для себя настоящаго, полезнаго дѣла на этомъ пути; третьи, какъ графъ Пьеръ Безухій... впрочемъ, покуда пропустимъ это лицо и обратимъ по преимуществу вниманіе на князя Андрея Болконскаго, такъ какъ онъ герой и едва-ли не самый главный въ произведеніи графа Толстого и такъ-какъ эта личность отдѣлана авторомъ съ особымъ стараніемъ и представляется интересной во многихъ отношеніяхъ.

Князь Андрей Болконскій, сынъ генераль-аншефа Болконскаго, сосланнаго при Павлѣ I на жительство въ деревню, является предъ нами съ самаго начала разочарованнымъ въ своемъ счастьи и въ своей жизни. „Je suis un homme fini“, говоритъ онъ о себѣ въ цвѣтѣ силъ и моло-

дости, обладая красавицей - женой и пользуясь ролью въ обществѣ. Красавица Болконская (превосходно обрисованная г. Толстымъ до мелочныхъ подробностей), которую въ большомъ свѣтѣ именуютъ „маленькой княгиней“, кажется князю Андрею, уразумѣвшему вполне ея свѣтскую прелесть и ничтожество, тяжелой обузой. Онъ говоритъ, что, женившись, связалъ себя, что все хорошее въ немъ тратится по мелочамъ. „Не женись“, поучаетъ онъ своего пріятеля: „ежели ты ждешь отъ себя чего-нибудь впереди, то на каждомъ шагу будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кромѣ гостиней, гдѣ ты будешь стоять на одной доскѣ съ придворнымъ лакеемъ и идиотомъ. Свяжи себя съ женщиной и, какъ скованный колодникъ, потеряешь свою свободу. Гостиныя, сплетни, балы, тщеславіе, ничтожество — вотъ заколдованный кругъ, изъ котораго я не могу выйти!“ И, чтобъ порвать связи съ этимъ заколдованнымъ кругомъ, съ этимъ „глупымъ обществомъ“, онъ рѣшается покинуть и жену и большой свѣтъ, и, очертя голову, отправиться на войну въ дѣйствующую армію. Для чего онъ туда пойдетъ, во имя чего будетъ сражаться — онъ не даетъ себѣ яснаго отчета. Онъ считаетъ Наполеона великимъ человѣкомъ и образцомъ для себя и, между тѣмъ, идетъ биться противъ него и противъ его замысловъ, которые онъ признаетъ гениальными. Онъ идетъ на войну потому, что жизнь, которую онъ велъ среди аристократическаго общества, не по немъ. Не зная, куда приурочить свою энергію, не зная, чѣмъ заглушить въ себѣ тоску отъ пустоты и праздности окружающихъ его людей, онъ съ отчаянія бросается туда, гдѣ думаетъ найти блестящую арену для своихъ недюжинныхъ способностей. И что же встрѣчаетъ онъ на этой блестящей аренѣ? Благодаря проекціи своего отца, онъ дѣлается адъютантомъ Кутузова и, слѣдовательно, получаетъ возможность видѣть во всемъ объемъ ту дѣятельность, къ которой онъ бросился съ тоски, и участвовать въ этой дѣятельности въ значительной мѣрѣ. Въ видѣ пролога къ настоящей военной трагикомедіи, въ которой ему приходится видѣть армію и ея глав-

нокомандующаго подѣ Аустерлицемъ, онъ участвуетъ въ стычкѣ съ Мортве и въ Шенграбенскомъ сраженіи, гдѣ съ одной стороны видитъ всю стойкость и храбрость русскихъ войскъ, и съ другой убѣждается въ печальномъ положеніи нашей арміи; убѣждается въ томъ, что въ сраженіяхъ не всегда заслуживаютъ репутацію храбрецовъ и совершителей великихъ подвиговъ люди, въ самомъ дѣлѣ оказавшіе храбрость и сдѣлавшіе въ битвахъ нѣчто необыкновенное, что въ дѣйствительности бываетъ совершенно напротивъ. Человѣкъ, который въ Шенграбенскомъ сраженіи оказалъ чудеса храбрости, истинно честной и простой, безъ всякой фразировки и затаенной цѣли отличиться — капитана Тупина не только не награждаютъ и не благодарятъ за подвигъ, но, напротивъ, еще осуждаютъ за неисправность во время битвы, тогда какъ ея успѣхъ былъ по преимуществу слѣдствіемъ его распорядительности, неустрашимости и вѣрнаго исполненія своего солдатскаго долга. Князь Андрей выноситъ грустное, тяжелое впечатлѣніе изъ этой битвы. Все, что онъ видитъ, кажется ему такъ непохожимъ на то, чего онъ надѣялся. Аустерлицкая битва и предшествовавшіе ей дни еще болѣе убѣждаютъ Болконскаго въ тщетѣ его надеждъ и разочаровываютъ въ военной дѣятельности. Тутъ князь Андрей имѣетъ случай увѣриться въ томъ, что русское войско играетъ самую несчастную роль во всей этой несчастной кампаніи, особенно въ послѣдніе дни передъ ея трагической развязкой — Аустерлицемъ. Планъ этой битвы заранѣе обдуманъ во всѣхъ мелочахъ австрійскимъ генераломъ Вейротеромъ, и партія молодыхъ генераловъ въ русскомъ войскѣ вполне одобряетъ его и рвется къ сраженію. Одинъ старикъ Кутузовъ предвидитъ заранѣе печальный исходъ дѣла, и не желаетъ вступить въ генеральное сраженіе. Но онъ не можетъ ничего сдѣлать противъ партіи, восторжествовавшей во мнѣніи обоихъ государей, русскаго и австрійскаго, и предпочитаетъ махнуть рукой и предоставить все теченію событій. Превосходно у г. Толстого изображено засѣданіе военнаго совѣта наканунѣ битвы, въ которомъ Багратионъ — лучший

генераль арміи—отказывается присутствовать,—а Кутузовъ спитъ или, по крайней мѣрѣ, притворяется спящимъ въ то время, когда Вейротеръ читаетъ труднѣйшую и сложнѣйшую диспозицію сраженія. Въ диспозиціи этой съ нѣмецкой аккуратностью предусматривались всѣ имѣющія воспослѣдовать движенія непріятеля, и упускалось изъ виду одно только — военный геній Наполеона. Когда Вейротеръ кончилъ чтеніе, Кутузовъ проснулся, тяжело откашлялся и, оглянувъ генераловъ, сказалъ:

— Господа, диспозиція на завтра, даже на нынче, потому что уже первый часъ, не можетъ быть измѣнена. Вы ее слышали, и всѣ мы исполнимъ нашъ долгъ. А передъ сраженіемъ нѣтъ ничего важнѣе... (онъ помолчалъ), какъ выспаться хорошенько.

Такъ кончилъ главнокомандующій комическое засѣданіе совѣта, а предъ началомъ засѣданія, на вопросъ князя Андрея: „что думаетъ онъ о завтрашнемъ сраженіи?“, сказалъ ему: — „Я думаю, что сраженіе будетъ проиграно, и я такъ сказалъ графу Толстому и просилъ его это передать государю. — Что же, ты думаешь, онъ мнѣ отвѣтилъ? Eh, mon cher general, je me mêle du riz et des côtelettes, mêlez vous des affaires de la guerre. Да... Вотъ что мнѣ отвѣчали!“ Нельзя сказать, чтобы подобные уроки, на какіе приходится наталкиваться князю Болконскому, способствовали очень къ оживленію и усиленію благородныхъ его мечтаній о великой дѣятельности на военномъ поприщѣ и надеждъ уподобиться современемъ Наполеону, котораго за образецъ беретъ себѣ князь Андрей. И однако же, несмотря на то, что опытъ военной карьеры ежедневно показываетъ князю Андрею, на полѣ битвы, въ моментъ, когда пораженіе несомнѣнно, и русскія войска бѣгутъ уже безъ всякой надежды, онъ кидается геройски впередъ, думая, что для него „насталъ Тулонъ“... Слѣдуетъ изъ романа выписка, какъ образецъ превосходнѣйшей картины, начинающаяся словами: „Войска бѣжали такой густой толпой, что, разъ попавши въ середину толпы, трудно было изъ нея выбраться“...

Заканчивается выписка словами: „...Но и того даже нѣтъ, кромѣ тишины, успокоенія. И слава Богу!“...

Уразумѣвъ совершенную тщету своихъ военныхъ подвиговъ, князь Андрей возвращается съ поля битвы, израненный и физически и нравственно, къ своему семейству. Только прѣзжаетъ онъ, и ему приходится хоронить „маленькую княгиню“, подарившую мужу сына и скончавшуюся отъ родовъ. Сокрушенный нравственно, князь на нѣкоторое время думаетъ, что ему осталось только одно въ этомъ мірѣ — сынъ и его воспитаніе. Онъ живетъ въ уединеніи и работаетъ надъ собой вдали отъ всякаго движенія жизни. Въ своемъ уединеніи онъ доходитъ до узкаго эгоистическаго взгляда на все существующее и на свои отношенія ко всему существующему. Впрочемъ, его усиленное отчужденіе себя отъ жизни и сомнѣнія въ томъ, что онъ не нуженъ для ея общаго теченія, продолжаютъ не особенно долго. Энергія вновь воскресаетъ въ немъ, и воскресаетъ отъ чисто случайнаго толчка. Онъ побѣждаетъ свое душевное охлажденіе къ дѣятельности различными доводами логики. Ему снова кажется, что богатство жизненнаго опыта и теоретическихъ знаній, имъ приобретенныхъ въ уединеніи, не должны пропасть даромъ, что жизнь, его окружающая, не должна идти независимо отъ его жизни. Словомъ, въ немъ совершается переломъ, и онъ ѣдетъ въ Петербургъ съ цѣлью поработать, сколько силъ хватитъ, для общей пользы. Съ этимъ-то настроеніемъ князь Андрей попадаетъ въ Петербургъ во время „апогея славы молодого Сперанскаго и энергіи совершаемыхъ имъ переворотовъ“. Вскорѣ послѣ своего прѣзда, князь Андрей является ко двору на выходъ. Но его не замѣчаютъ, и онъ не рѣшается лично подать государю составленную имъ записку о военномъ уставѣ — плодъ его соображеній и первый трудъ, которымъ онъ надѣется заявить себя. Старый фельдмаршалъ, другъ его отца (какъ читатель видитъ, князь пользуется второй разъ протекціей генераль-аншефа), докладываетъ объ этой запискѣ государю. Черезъ нѣсколько дней князю объявлено, что онъ имѣетъ явиться къ военному министру, графу Аракчееву“... (Вы-

писывается изъ романа встрѣча Аракчеевымъ князя Андрея)...

„Послѣ этого дебюта передъ Аракчеевымъ, князь Андрей знакомится съ Сперанскимъ и сперва увлекается умомъ и реформаторскимъ гениемъ этого человека, который ему кажется однимъ изъ великихъ дѣятелей эпохи; но потомъ, увидѣвъ Сперанскаго въ его частномъ личномъ быту и замѣтивъ въ немъ нѣкоторую мѣщанскую посредственность и умѣренность, князь Андрей съ пренебреженіемъ истинно-аристократическимъ отвертывается отъ привлекавшаго его къ себѣ неодолимо кумира. Черты „обыкновенности“, замѣченныя княземъ Андреемъ въ Сперанскомъ, проясняютъ его воззрѣніе разомъ:

„Вернувшись домой (съ интимнаго обѣда у Сперанскаго), князь Андрей сталъ вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре мѣсяца, какъ будто что-то новое. Онъ вспоминалъ свои хлопоты, искательства, исторію своего проекта военного устава, который былъ принятъ къ свѣдѣнію, и о которомъ старались умалчивать единственно потому, что другая работа очень дурная, была уже сдѣлана и представлена государю; вспомнилъ, какъ въ засѣданіяхъ комитета старательно и продолжительно обсуживалось все, касающееся формы и процесса засѣданій, и какъ старательно обходилось все, что касалось сущности дѣла. Онъ вспомнилъ о своей законодательной работѣ, о томъ, какъ онъ озабоченно переводилъ на русскій языкъ статьи римскаго и французскаго свода, и ему стало совѣстно за себя. Потомъ онъ живо представилъ себѣ свои занятія въ деревнѣ, своихъ мужиковъ и, приложивъ къ нимъ права лицъ, которыя онъ распредѣлялъ по параграфамъ, ему стало удивительно, какъ онъ могъ такъ долго заниматься такой праздною работою“.

Сдѣлавъ такое прискорбное для самаго себя заключеніе, князь Болконскій кидается искать утѣшенія въ любви къ дѣвочкѣ, характера замѣчательнаго по оригинальности, поэтической прелести, но, тѣмъ не менѣе, еще не сформировавшейся вполне. На этомъ пунктѣ покуда мы и разстанемся съ Болконскимъ въ первыхъ трехъ томахъ романа гр. Толстого.

Изъ похожденій героя „Войны и Мира“, представленныхъ нами въ краткомъ и совершенно обнаженномъ отъ всякихъ поэтическихъ прикрасъ (обильно разсыпанныхъ авторомъ) изложеніи можно извлечь слѣдующіе выводы.

Въ Андреѣ Болконскомъ мы видимъ типъ благороднаго и, по своей натурѣ, далеко недюжиннаго человѣка, воспитаннаго пустою общественной средой, изъ которой онъ, вслѣдствіе силы своего характера, рвется вонъ. У него есть неопредѣленные идеалы, есть стремленіе осуществить ихъ, и онъ мечется въ жизни ради этихъ идеаловъ и покорный этому стремленію. Но, съ одной стороны, ему мѣшаетъ самая жизнь, не давая надлежащей почвы для его стремленій, съ другой—туманность и непріуроченность къ дѣйствительности его фантазій. Онъ мечтаетъ о „своемъ Тулонѣ“ на поприщѣ войны, глядитъ нѣкоторымъ образомъ въ Наполеоны, и между тѣмъ сокрушается и унываетъ духомъ при первыхъ же горькихъ урокахъ, съ которыми встрѣчается на этомъ поприщѣ. Онъ идетъ на войну безъ опредѣленной полезной цѣли. Его цѣль—военная слава, въ нѣкоторомъ родѣ искусство для искусства, и задавшись такою цѣлью, онъ предполагаетъ обнаружить себя наполеоновскими подвигами. Если-бъ онъ шель сражаться не ради разочарованія въ окружающемъ его, не ради мечтаній о славѣ, а ради дѣйствительной существенной потребности отстоять отъ враговъ дѣло родное и святое для него, или ради торжества какихъ-нибудь дорогихъ его сердцу убѣжденій, сроднившихся со всѣмъ его нравственнымъ существомъ, то ему не пришлось бы опустить крылья на первыхъ порахъ, онъ пренебрегъ бы всякими тяжелыми впечатлѣніями дѣйствительности и нашель бы для себя „свой Тулонъ“, или, упавъ раненымъ на полѣ битвы, возсталъ бы не съ сознаніемъ разбитаго въ самыхъ смѣлыхъ надеждахъ человѣка, а съ энергіей героя, готоваго при первомъ удобномъ случаѣ вознаградить новыми подвигами несчастье первыхъ шаговъ по пути своихъ стремленій. Почти то же можно сказать о второмъ періодѣ дѣятельности князя Андрея. И тутъ онъ принялся за служеніе дѣлу, очевидно, не опредѣливъ

себѣ предварительно, для чего онъ его намѣренъ дѣлать, для кого по преимуществу окажется полезнымъ это дѣло и въ какой мѣрѣ оно возможно въ дѣйствительности. Отсутствіе этого сознанія, этой опредѣленности, повело къ быстрому охлажденію, къ обезсиленію, къ признанію своей работы совершенно праздною и никому не нужною.

То, что мы видимъ достаточно наглядно въ главномъ героѣ „Войны и Мира“ и менѣе рельефно въ нѣкоторыхъ другихъ лицахъ этого романа, можно замѣтить въ дѣятельности цѣлаго общества той эпохи, которую обрисовываетъ гр. Толстой въ первыхъ трехъ томахъ своего произведенія. Все, что считалось развитымъ въ первую половину александровскаго царствованія, рвалось къ осуществленію какихъ-то не совсѣмъ ясныхъ и, главное, не приуроченныхъ къ дѣйствительности идеаловъ. Люди, принадлежавшіе къ образованному меньшинству того времени, считавшіе себя по развитію европейскими людьми, толкались на путь дѣятельности во всякаго рода двери, начиная отъ дверей придворныхъ и административныхъ преобразованій сверху и кончая дверями безплоднаго, чисто-формальнаго филантропическаго мистицизма. Главнымъ мотивомъ, который руководилъ дѣятельность тогдашнихъ людей, было непреодолимое желаніе занять чѣмъ-нибудь свою жизнь. Грубое самодовольное проживаніе на чужой счетъ, на счетъ отягченнаго рабствомъ народа, тогда начало казаться для многихъ, если не преступнымъ, то предосудительнымъ. Это сознаніе назойливо шевелилось въ глубинѣ всѣхъ, не совсѣмъ дюжинныхъ умовъ и, чтобы заглушить его, необходима была какая-нибудь дѣятельность. Прежде всего, разумѣется, эта дѣятельность устремлялась на тѣ пути, по которымъ ходить было легче — на жажду военной славы и на преобразовательные проекты. Порывъ къ военнымъ подвигамъ „изъ любви къ человѣчеству“ и противъ „врага человѣческаго рода“ кончился Аустерлицемъ. Преобразовательные проекты — опалой Сперанскаго и возвышеніемъ Аракчеева. Какимъ бы путемъ пошли далѣе стремленія тогдашняго образованнаго общества, если-бъ не наступилъ двѣнадцатый годъ

и послѣдовавшія за нимъ событія—неизвѣстно. Но въ этотъ новый періодъ на сцену жизненной дѣятельности выступилъ новый элементъ—народъ, который заявилъ о себѣ довольно крупно. Пробужденіе этой коренной силы было маякомъ, который указалъ направленіе многимъ бродившимъ и путавшимся безъ цѣли стремленіямъ образованной среды...

Часть этой среды поняла, что всѣ усилія и всѣ стремленія должны быть направлены на путь дѣятельности во имя этого народа, для блага этого народа, на расчищеніе препятствій на этомъ пути. Другая часть тоже поняла это и, вмѣстѣ съ тѣмъ уразумѣвъ, что при этомъ придется поступиться многимъ изъ такихъ существенныхъ основъ дѣйствительности, разрушенія которыхъ отнюдь не предполагалось при прежнихъ канцелярскихъ и кабинетныхъ реформахъ—кинулась въ реакцію. Съ одной стороны, образованное общество примкнуло къ аракчеевщинѣ; съ другой... Впрочемъ, мы забѣжали впередъ и говоримъ о такомъ времени, которое покуда еще не затронуто въ вышедшихъ томахъ графа Толстого.

Разставаясь съ „Войною и Миромъ“, мы извиняемся передъ читателями за то, что занялись по преимуществу однимъ героемъ и забыли о другихъ, изъ которыхъ иные (напримѣръ, графъ Пьеръ Безухій) интересны не въ меньшей степени. Впрочемъ, мы еще думаемъ вернуться къ роману гр. Толстого при появленіи его окончанія, и тогда будемъ имѣть случай побесѣдовать и о многомъ другомъ, на что намъ теперь не пришлось обратить вниманія въ романѣ.

„С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г. Статья Z (В. Буренина).

* * *

*) Первые три тома романа, появленію котораго въ свѣтъ предшествовали такіе громкіе толки, поступили, наконецъ, въ продажу и нарасхватъ разбираются читателями; четвертый и послѣдній томъ тоже, вѣроятно, не замедлитъ. Въ обществѣ успѣхъ романа графа Л. Н. Толстого „Война

*) „Голосъ“ 1868 г., № 11. „Библиографія и журналистика“. „Война и Миръ“. Соч. гр. Л. Н. Толстого.

и Миръ“ и теперь уже огромный, общаетъ возрасти еще больше, съ появленіемъ четвертаго тома, на страницахъ котораго выступить, какъ слышно, 1812 г. Что же можетъ сказать критика объ этомъ новомъ произведеніи даровитаго автора? Критика подкуплена поэтическою прелестью изложенія, и не рѣшается на строгій судъ. Въ новомъ романѣ графа Толстого тѣ же литературныя приемы, которые такъ плѣняли читателей въ первыхъ его произведеніяхъ, въ его „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“, тотъ же подробный, чрезвычайно тонкій психологическій анализъ. Только размахъ этого анализа теперь гораздо шире. Тамъ разборъ душевныхъ ощущеній, внутренняго міра отдѣльной личности и тѣснаго кружка близкихъ къ нему людей: тутъ характеристика цѣлой эпохи, одной изъ знаменательнѣйшихъ во всей нашей исторической жизни. Тамъ вымышленныя лица; тутъ Сперанскій, Магницкій, Багратионъ, Кутузовъ, самъ Александръ, и потомъ цѣлый рядъ очень извѣстныхъ второстепенныхъ дѣятелей, подъ болѣе или менѣе прозрачными псевдонимами. Первые страницы романа, подъ названіемъ „1805 г.“, были уже напечатаны въ нѣсколькихъ номерахъ „Русскаго Вѣстника“ и заключаютъ въ себѣ мастерскую характеристику русскаго высшаго общества въ первые годы царствованія Александра I, а также художественное изображеніе, если не всей первой войны съ Императоромъ Наполеономъ, то, по крайней мѣрѣ, отдѣльныхъ наиболѣе выдающихся эпизодовъ ея. Теперь къ 1805 г. присоединяется эпоха преобразованій, война 1807 г., эрфуртское и тильзитское свиданія, 1812 г.; при чемъ романъ изображаетъ событія первой четверти нынѣшняго столѣтія не въ сухой исторически-объективной картинѣ, а въ животрепещущемъ субъективномъ представленіи, въ той мѣрѣ и въ томъ видѣ, въ какомъ эти событія отражались на тогдашнемъ обществѣ...“ (Далѣе слѣдуетъ разборъ: Александра I, Пьера Безухова, Андрея Болконскаго и Наташи Ростовы. См. въ этой же книгѣ разборы отдѣльныхъ лицъ романа...“).

„Собственно романическая часть не занимаетъ перваго мѣста въ сочиненіи графа Толстого. Главный характеръ

этого сочиненія составляетъ изображеніе эпохи, изображеніе русскаго общества въ царствованіе Александра I. Въ этомъ изображеніи не слѣдуетъ, однако, искать цѣльности, полноты и строгой системы. Это незаконченная картина, а рядъ прелестныхъ, но отрывочныхъ очерковъ. Такъ, мастерски изображая тонъ разговоровъ въ высшемъ петербургскомъ обществѣ, всегда настроенныхъ соотвѣтственно намѣреніямъ и чувствамъ двора въ данную минуту, авторъ безъ достаточной осязательности показываетъ переходъ отъ времени, когда Наполеона называли „господиномъ Бонапарте“, къ тому времени, когда онъ, послѣ тильзитскаго свиданія, величался уже въ нашихъ гостинныхъ „императоромъ Наполеономъ“. И тотъ и другой моменты изображены въ романѣ; но не показано, какъ и почему совершилась эта перемѣна. Поэтически описывая отдѣльные эпизоды, хотя бы, напримеръ, аустерлицкаго сраженія, авторъ вовсе не даетъ намъ общаго о немъ представленія, какъ не даетъ понятія о общемъ ходѣ кампаній 1805 и 1807 годовъ. Художнически обрисовывая образъ Кутузова или Багратіона въ отдѣльные моменты ихъ боевой дѣятельности, авторъ не даетъ намъ ихъ цѣлыхъ характеровъ. Правда, онъ можетъ предполагать ихъ извѣстными. Правда также и то, что описаніе шенграбенскаго или голабрунскаго сраженія (въ 1805 году), гдѣ горсть русскихъ выдерживала напоръ цѣлаго французскаго корпуса (Мюрата), одно изъ лучшихъ описаній въ нашей литературѣ. Неустрашимая атака двухъ баталіоновъ 6-го егерскаго полка подъ личнымъ предводительствомъ князя Багратіона; необыкновенный военачальническій тактъ Багратіона, который, зная, что битва должна быть кровавою и что отъ войскъ его отряда требуется только неустрашимость, „не отдавалъ никакихъ приказаній, а только старался дѣлать видъ, что все, что дѣлалось по необходимости, случайности и волѣ частныхъ начальниковъ, дѣлалось хоть не по его приказанію, но совершенно согласно съ его намѣреніями“, и этимъ ободрялъ и успокоивалъ и начальниковъ и солдатъ: все это изображено у автора съ историческою вѣрностью и съ поэтической правдой. Въ цѣломъ сочиненіи

графа Толстого, все-таки, недостаетъ нѣкоторой окончательной отдѣлки. Желая изобразить въ высшемъ русскомъ обществѣ пренебреженіе ко всему русскому, доходившее до того, что генералы передъ строемъ своихъ войскъ и въ виду французскихъ колоннъ объяснялись между собою и даже отдавали свои приказанія по французски, а русскіе дипломаты въ свои французскія рѣчи и французскія письма вставляли по-русски только названія предметовъ, для нихъ особенно презрительныхъ (потѣ православное русское войнство, иронически выражался нѣкто Билибинъ, секретарь посольства при вѣнскомъ дворѣ), авторъ неумѣренно употребляетъ французскій языкъ въ своемъ сочиненіи. Цѣлыми страницами тянутся у него длинныя французскіе діалоги и еще болѣе длинныя французскія письма съ подстрочными къ нимъ переводами. То, что было бы совершенно уместно въ какихъ-нибудь мемуарахъ или историческихъ запискахъ, совершенно неумѣстно въ художественномъ произведеніи, требующемъ обработки и нетерпящемъ сырыхъ матеріаловъ. По выходѣ четвертаго тома сочиненія „Война и Миръ“, мы вернемся еще къ общему значенію этого произведенія.

Статья изъ „Голоса“ за 1868 г.

* *

*) Въ фельетонѣ „Голоса“ (№ 14) между прочимъ говорится о романѣ „Война и Миръ“ слѣдующее:

„Какъ далеко нынѣшнее положеніе нашего войска отъ того тяжелаго, безвыходнаго положенія, при которомъ оно совершало въ началѣ нынѣшняго столѣтія невѣроятные подвиги храбрости, превосходно описанные въ новомъ романѣ графа Л. Н. Толстого, о которомъ уже былъ данъ отчетъ въ „Голосѣ“, и который нарахивать раскупается публикою, и какъ знаменателенъ тотъ фактъ, что измѣненіе къ лучшему въ положеніи нашего солдата произошло въ эпоху,

*) „Голосъ“ 1868 г., № 14. „Прошлая Недѣля“. (Романъ гр. Л. Толстого и различіе между нынѣшнимъ обществомъ нашимъ и русскимъ обществомъ время Александръ I-го)“. Ст. X. Л.

совершенно почти чуждую тѣхъ общихъ стремленій и мистическихъ идеаловъ, которые отличали время, описанное графомъ Л. Н. Толстымъ! Вообще, необыкновенно интересно, при чтеніи романа „Миръ и Война“, останавливаться на вопросѣ: отчего тогдашнее, несомнѣнно либеральное и гуманное настроеніе принесло такъ мало плодовъ, и отчего отсрочилось на много лѣтъ исполненіе задуманныхъ въ то время реформъ? Рядъ мастерскихъ картинъ, въ которыхъ авторъ знакомитъ насъ съ тогдашнимъ развитымъ и стремившимся къ реформамъ обществомъ, даетъ, какъ намъ кажется, хотя и косвенный, но довольно ясный отвѣтъ на это. Гдѣ, въ какихъ слояхъ общества господствовали въ то время духъ реформъ и гуманныя стремленія? Исторія и романъ графа Л. Н. Толстого прямо отвѣчаютъ намъ: „въ высшихъ слояхъ“. Всѣ тогдашніе реформаторы, мистики, масоны и проч. принадлежали въ большинствѣ къ высшему кругу, вовсе не знали — да врядъ ли и считали нужнымъ знать — русскій народъ, его потребности, его положеніе, его отношенія къ власти. Они мечтали облагодѣтельствовать Россію изъ своихъ кабинетовъ, по разнымъ либеральнымъ книжкамъ иностранныхъ мыслителей. Это, конечно, ни къ чему не привело, и не могло привести, потому что народъ не понимаетъ и не хочетъ понимать отвлеченныхъ мыслителей. Если нынѣ реформы, задуманныя законодателемъ, успѣшно принялись на нашей почвѣ, то это произошло потому именно, что въ своихъ подробностяхъ онѣ были разработаны людьми, болѣе знакомыми съ народомъ, чѣмъ наши реформаторы первыхъ годовъ царствованія Александра I, да еще подъ вліяніемъ *общественнаго мнѣнія*, не существовавшего въ ту эпоху, когда все наше развитое общество ограничивалось почти небольшою группою либеральствовавшихъ представителей высшаго сословія.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что свѣтлыя личности изъ тогдашняго развитого общества, выведенныя на сцену авторомъ „Мира и Войны“, глубоко симпатичны; но къ сочувствію, ими возбуждаемому, какъ-то невольно примѣшивается чувство соболѣзнованія. Всѣ эти лица кажутся какими-то

оторванными отъ почвы, какими-то *нерусскими* людьми; въ нихъ трудно узнать потомковъ доблестныхъ дѣятелей старой Руси.

Только въ бою да въ увлеченіяхъ жизни сказывается ихъ происхожденіе—во все же другое время они прежде всего европейцы, и очень мало русскіе. Ихъ интересуется, что скажетъ о Россіи „генераль Бонапартъ“ и „госпединъ Сіесъ“, въ масонскихъ ложахъ они подчиняются главенству иноземныхъ вождей, ищутъ своихъ идеаловъ въ иностранныхъ дѣятеляхъ... Это доходитъ до того, что позднѣе, въ отечественную войну 1812 года, русскіе генералы и офицеры стараются подражать Мюрату, носятъ въ бою дорогое, усыпанное драгоценными камнями оружіе, опоясываются турецкими шальями и бесѣдуютъ по-французски передъ рядами своихъ солдатъ.

Такимъ вожакамъ трудно было преобразовать общественный строй; задуманныя ими реформы оказывались или вполнѣ несущественными или приводили къ грустнымъ результатамъ. Все это, конечно, не высказано прямо въ романѣ графа Л. Н. Толстого, но все это невольно приходитъ на мысль при чтеніи его и уясняетъ намъ, почему Россіи пришлось такъ долго ждать осуществленія благихъ замысловъ императора Александра I-го и почему въ то время замыслы эти кончились подвигами Аракчеева, совершавшимися въ одно время съ процвѣтаніемъ мистицизма г-жи Криднеръ.

Новый романъ графа Л. Н. Толстого, конечно, самое крупное событіе въ нашемъ литературномъ мірѣ, но оно не одно. Рядомъ съ нимъ насъ ожидаютъ въ самомъ непродолжительномъ времени другія, хотя и менѣе крупныя, но, все-таки, нелишенные интереса явленія въ литературѣ. На дняхъ снова должна выступить на литературное поприще цѣлая группа писателей, молчавшихъ въ послѣднее время. Интересно, конечно, будетъ встрѣтиться съ этими старыми знакомыми и посмотрѣть, какіе плоды имѣло ихъ продолжительное молчаніе“.

Изъ „Голоса“. Статья Х. Л.

*) Ни одинъ, быть можетъ, періодъ нашего прошедшаго не имѣетъ для насъ большей занимательности, какъ время царствованія Александра. По интересамъ, волновавшимъ то время, эта эпоха наиболѣе намъ близка. Еще тогда лучшія русскія силы стремились провести тѣ реформы въ общественной жизни, которыя осуществляются только теперь, а многое изъ того, что для Александровскаго времени было постановленною, но еще не разрѣшенною задачею, остается такою же и для насъ. При такомъ сходствѣ современныхъ намъ интересовъ съ интересами того времени, произведеніе писателя, даже не отличающагося особеннымъ талантомъ, но избравшаго своею задачею возстановить передъ нами жизнь этой эпохи, вызвало бы къ себѣ вниманіе читающей публики. Тѣмъ сильнѣе возбуждено это вниманіе произведеніемъ графа Толстого „Война и Миръ“, въ которомъ онъ задумалъ изобразить состояніе умовъ и нравовъ лучшей части русскаго общества въ первую половину царствованія Александра и представить въ главныхъ чертахъ великія событія, потрясавшія тогдашній европейскій міръ. Недавно появился въ печати 4-й томъ названнаго произведенія, обнимающій событія 12 года—нашествіе Наполеона и оканчивающійся Бородинскою битвою. О немъ-то мы и скажемъ нѣсколько словъ. Гр. Толстой въ своемъ произведеніи является сторонникомъ, давно потерявшей уже кредитъ въ наукѣ историко-фаталистической школы и, при своей послѣдовательности, доводитъ взгляды свои до крайне-одностороннихъ выводовъ. Каждое событіе, по его мнѣнію, обусловливается милліардами причинъ, совершенно *равносильныхъ* по своему вліянію на событіе, такъ что ничто не можетъ считаться исключительною причиною событія, которое совершается только потому, что должно совершиться. Все совершается по предвѣчному опредѣленію, и всякая историческая личность тутъ не при чемъ. „Въ историческихъ событіяхъ, говоритъ авторъ, такъ называемые великіе люди суть ярлыки, дающіе наименованіе событію, которые, такъ же какъ ярлыки, менѣе всего имѣютъ

*) „Харьковскія Вѣдомости“ 1868 г., № 48. „Письма о русской журналистикѣ. Война и Миръ. Соч. гр. Толстого. Т. IV“. Статья Е.

связи съ самымъ событіемъ“. Примѣняя это философское воззрѣніе свое къ событіямъ 12-го года, авторъ полагаетъ, что честолюбіе Наполеона не болѣе имѣло вліянія на событіе этого года, какъ и воля послѣдняго французскаго солдата. До какой степени такой взглядъ недостаточенъ для пониманія историческихъ явленій, лучшимъ доказательствомъ тому служить рассматриваемое нами произведеніе. Авторъ самъ вынужденъ измѣнять своимъ воззрѣніямъ и, устраняя рядъ малозначащихъ причинъ, указывающихъ на исключительныя причины, породившія событіе; такъ, на стр. 126 сказано: „Никто не станетъ спорить, что причиной гибели французскихъ войскъ Наполеона было, съ одной стороны, вступленіе ихъ въ позднее время, безъ приготовленія къ зимнему походу, въ глубь Россіи, а съ другой стороны—характеръ, который приняла война отъ сожженія русскихъ городовъ и возбужденія ненависти къ врагу въ русскомъ народѣ“. Этой выписки, полагаемъ, достаточно, чтобы покончить съ фаталистическою философіею автора.

Далеко небезупреченъ и критическій взглядъ его на военныя событія. Побѣда и пораженіе, по мнѣнію гр. Толстого, не зависятъ ни отъ военнаго генія, ни отъ позиціи, вооруженія, ни даже отъ численности войскъ, — все это уничтожается милліонами самыхъ разнообразныхъ случайностей, которыхъ нельзя ни предвидѣть ни предотвратить. Единственная сила, дающая успѣхъ, — это душевная сила арміи. „Сраженіе выигрываетъ тотъ — кто твердо рѣшилъ его выиграть“. Опять-таки взглядъ этотъ поражаетъ своею односторонностію. Ни одна изъ опровергаемыхъ авторомъ причинъ не остается безъ вліянія на исходъ сраженія, здѣсь можетъ идти рѣчь только объ относительной важности той или другой въ боевомъ дѣлѣ, и если бы успѣхъ его зависѣлъ только отъ настроенія арміи, то тысячи военныхъ столкновеній имѣли бы далеко не тотъ исходъ; автору слѣдовало бы припомнить хоть самое недавнее столкновеніе при Кустоцѣ, когда преимущество осталось вовсе не за тою арміею, которая была проникнута лучшимъ духомъ. Не менѣе странны и слѣдующія слова, которыя авторъ влагаетъ въ уста сво-

его героя, кн. Андрея Болконскаго, передъ бородинскою битвою: „Не брать плѣнныхъ, высказывался онъ, а убивать и идти на смерть“... „Это великодушничанье и чувствительность — въ родѣ великодушія и чувствительности барышни, съ которой дѣлается дурнота, когда она видитъ убиваемаго теленка: она такъ добра, что не можетъ видѣть крови, но она съ аппетитомъ кушаетъ этого теленка подѣ соусомъ. Намъ толкуютъ о правахъ войны, о рыцарствѣ, о парламентарствѣ, щадить несчастныхъ и т. п.“ Все это признается за вздоръ на томъ основаніи, что „ежели бы не было великодушничанья на войнѣ, то мы шли бы только тогда, когда стоитъ того идти на вѣрную смерть“. Но вѣдь выполненіе такой программы не сдѣлало бы войну болѣе рѣдкимъ явленіемъ, оно изгнало бы только весь тотъ смягчающій элементъ, который внесенъ въ нее прогрессомъ европейскихъ народовъ.

Оставляя личныя воззрѣнія автора и переходя къ самому роману, слѣдуетъ прежде всего указать на главный его недостатокъ. Весь томъ состоитъ изъ цѣлаго ряда эпизодовъ, выхваченныхъ почти поочередно то изъ историческихъ событій того времени, то изъ жизни передовой части русскаго общества. Между этими, слѣдующими одинъ за другимъ, эпизодами до такой степени нѣтъ внутренней связи, что половину сценъ (содержанія, конечно, не историческаго) можно помѣстить въ любомъ мѣстѣ произведенія, и романическое дѣйствіе попрежнему останется въ своемъ лѣнивомъ, полусонномъ развитіи. Весь томъ не оставляетъ у читателя цѣльнаго впечатлѣнія оттого, что авторъ хочетъ вести наравнѣ развитіе романа и излагать историческія событія, но двойная задача не влагается въ его произведеніе, и одна другую подавляетъ, такъ что читатель не находитъ въ разсказѣ ни исторіи, ни романа. Но, несмотря на существенные недостатки, талантъ автора сумѣлъ воспроизвести много прекрасныхъ сценъ, мѣтко рисующихъ изображаемую имъ эпоху, и въ этихъ исполненныхъ поэзіи и правды эпизодахъ и заключается громаднѣйшій успѣхъ его произведенія.

Разсказъ открывается переправой Наполеона черезъ Нѣманъ. Французскія войска въ восторженномъ состояніи; польскіе уланы бросаются вплавь, гордясь тѣмъ, что они плывутъ и тонутъ въ глазахъ императора, не обратившаго, впрочемъ, вниманія на ихъ поступокъ. Въ то время, какъ французы перешли нашу границу, императоръ Александръ жилъ въ Вильнѣ, откуда дѣлалъ приготовленія къ войнѣ. Извѣстіе о вступленіи непріятеля застало государя на балу, въ загородномъ домѣ графа Беннгсена. „Безъ объявленія войны вступить въ Россію! сказалъ онъ, — я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженнаго непріятеля не останется на моей землѣ“. Генераль Балашовъ посланъ къ Наполеону передать письмо отъ государя. Маршаль Даву, „Аракчеевъ Наполеона“, какъ характеризуетъ его авторъ, принудилъ генерала пропутешествовать до Вильны, и здѣсь уже Наполеонъ принялъ Балашова въ томъ самомъ домѣ, изъ котораго отправлялъ его Александръ. Въ спенѣ свиданія русскаго генерала съ императоромъ Наполеономъ авторъ рисуетъ послѣдняго человѣкомъ, который считаетъ каждый свой поступокъ хорошимъ, потому только, что это поступокъ его; горячимъ до забывчивости, до способности оскорбить посла. Его разговоръ принимаетъ тотъ характеръ, который онъ менѣе всего желалъ ему дать вначалѣ, вся цѣль Наполеона состояла теперь въ томъ, чтобы возвысить себя и оскорбить Александра. Свои упреки и обвиненія Наполеонъ часто прерываетъ восклицаніемъ: „*Quel beau règne aurait pu être celui de l'empereur Alexandre!*“—разумѣется, только въ томъ случаѣ, если-бъ онъ послушалъ совѣтовъ Наполеона и явился исполнителемъ его воли. Балашовъ рассчитывалъ, что послѣ такого разговора Наполеонъ постарается не видѣть его—оскорбленнаго посла и, главное, свидѣтеля его непристойной горячности. Но, къ удивленію своему, генераль былъ приглашенъ къ столу императора. „Есть въ человѣкѣ извѣстное, послѣ-обѣденное расположеніе духа, говоритъ авторъ, которое сильнѣе всякихъ разумныхъ причинъ заставляетъ человѣка быть довольнымъ собой и считать всѣхъ своими

друзьями“. Наполеонъ находился въ этомъ расположеніи. „И вотъ онъ неожиданно подходитъ къ Балашову и съ легкой улыбкой, такъ увѣренно, быстро, просто, какъ будто онъ дѣлалъ какое-нибудь не только важное, но и пріятное для Балашова дѣло, поднявъ руку къ лицу сорока-лѣтняго русскаго генерала и взявъ его за ухо, слегка дернуль, улыбувшись одними губами“. „Avoir l'oreille tirée par l'empereur“ считалось великой честью и милостью при французскомъ дворѣ. Всѣ подробности разговора были переданы генераломъ русскому императору, и война началась.

Затѣмъ авторъ переноситъ насъ въ лагерь при Дриссѣ и характеризуетъ существовавшія тамъ партіи. Здѣсь были партіи Пфуля, Барклай-де-Толли, Баграціона, Бенигсена и проч. Самая большая не желала ни войны, ни мира, а только наибольшихъ для себя удовольствій и выгодъ. Наконецъ, возникла партія людей старыхъ, разумныхъ, государственно-опытныхъ и успѣвшихъ, не раздѣляя ни одного изъ противорѣчащихъ мнѣній, отвлеchenно посмотрѣть на все, что дѣлалось при штабѣ главной квартиры и обдумать средства къ выходу изъ неопредѣленности, нерѣшительности, запутанности и слабости“. Люди этой партіи считали вреднымъ присутствіе государя при арміи. „Одушевленіе государемъ народа и воззваніе къ нему для защиты отечества—то самое одушевленіе народа, которое было главной причиной торжества Россіи, было представлено государю и принято имъ, какъ предлогъ для оставленія арміи“. Затѣмъ авторъ описываетъ намъ военный совѣтъ передъ оставленіемъ Дрисскаго лагеря и съ мѣткимъ остроуміемъ обрисовываетъ Пфуля. „Пфуль былъ одинъ изъ тѣхъ безнадежно, неизмѣнно, до мученичества самоувѣренныхъ людей, которыми бываютъ только нѣмцы. Французъ самоувѣренъ потому, что онъ почитаетъ себя лично, какъ умою, такъ и тѣломъ, непреодолимо обворожительнымъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Англичанинъ самоувѣренъ на томъ основаніи, что онъ есть гражданинъ благоустроеннѣйшаго государства въ мірѣ и потому, какъ англичанинъ, знаетъ всегда, что сдѣлать нужно, и знаетъ, что все, что онъ дѣлаетъ, какъ

англичанинъ, несомнѣнно хорошо. Итальянецъ самоувѣренъ потому, что онъ взволнованъ, и забываетъ и себя и другихъ. Русскій — потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что онъ не вѣритъ, чтобы можно было что-нибудь знать. Нѣмецъ хуже всѣхъ и тверже всѣхъ, и противнѣе всѣхъ потому, что онъ воображаетъ, что знаетъ истину, науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина. Таковъ, очевидно, былъ Пфуль“. Между тѣмъ война принимала все болѣе неблагоприятное направленіе. Авторъ съ неподражаемымъ талантомъ передаетъ намъ тотъ восторгъ и безпредѣльную народную любовь, съ которою встрѣченъ государь въ Москвѣ. Собраніе дворянъ и купцовъ, созданное для изысканія средствъ къ защитѣ родины, обнаруживаетъ всю невыработанность своихъ убѣжденій, но не лишено патріотизма и готовности къ жертвамъ. Хотя этотъ патріотизмъ и не идетъ въ уровень съ важностію совершающагося событія, обнаруживаясь только постановкой ополченій, военнымъ воодушевленіемъ отдѣльных личностей и до нѣкоторой степени изгнаніемъ французскаго языка изъ аристократическихъ салоновъ. Весь этотъ ходъ историческаго разсказа авторъ постоянно прерываетъ рядомъ картинъ, посредствомъ которыхъ онъ знакомитъ читателя съ обществомъ высшихъ администраторовъ, съ московскими аристократическими кружками или рисуетъ походную жизнь. Разсказъ идетъ за историческими событіями. Авторъ изображаетъ оборону Смоленска и взятіе его непріателемъ. Послѣ этого дѣйствіе романа переходитъ въ деревню старика Болконскаго.

Сцена смерти этого старика принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ романа. Вельможный самодуръ, Екатерининскій генералъ, честолюбивый завистникъ Потемкина, Болконскій до послѣдней минуты отвергаетъ событія Александровской эпохи, до послѣдней минуты не вѣритъ въ опасный для Россіи ходъ войны и въ успѣхи Наполеона; но вотъ Смоленскъ взятъ, и непріятель подъ Москвой. Тяжеловѣсный фактъ всею силою поражаетъ старика. Страшная жажда идти на защиту родины овладѣваетъ его душою. Болконскій

становится во главѣ ополченія, но старческій организмъ его не въ силахъ вынести неожиданныхъ потрясеній, и его поражаетъ ударъ. Превосходно описаніе послѣднихъ минутъ старика, рыдающаго о гибели родины и высказывающаго безконечную любовь къ дочери, страстно имъ любимой и которую, однако, всю жизнь свою онъ мучилъ. Оставляя рядъ романическихъ картинъ, не производящихъ особеннаго впечатлѣнія, мы переходимъ теперь къ великому моменту въ нашей исторіи, къ бородинской битвѣ. Объ этомъ мѣстѣ историческаго романа приходится сказать то же, что было уже сказано о цѣломъ произведеніи. Яснаго представленія объ этомъ сраженіи во всѣхъ его фазахъ развитія читатель не выноситъ; но это мѣсто романа особенно богато прекрасными сценами историческаго и романическаго содержанія.

Вотъ, наприм., сцена, рисующая намъ состояніе полка Болконскаго, поставленнаго въ самомъ отчаянномъ мѣстѣ сраженія: „Съ каждымъ новымъ ударомъ все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тѣхъ, которые еще не были убиты. Полкъ стоялъ въ батальонныхъ колоннахъ на разстояніи 300-тъ шаговъ, но несмотря на то, всѣ люди полка находились всегда подъ вліяніемъ одного и того же настроенія. Всѣ люди полка были молчаливы и мрачны. Рѣдко слышался между рядами говоръ, но говоръ этотъ замолкалъ каждый разъ, какъ слышался попавшій ударъ и крики: носилки! Большую часть времени люди полка, по приказанію начальства, сидѣли на землѣ. Кто, снявъ киверъ, старательно распускалъ и опять собиралъ сборки; кто разминалъ ремень и перетягивалъ пряжку перевязи. Нѣкоторые строили домики изъ калмыжекъ пашни или плели плетеночки изъ соломы. Всѣ казались вполнѣ погружены въ эти занятія. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись полки, когда наши возвращались назадъ, когда видѣлись сквозь дымъ большія массы непріятели, никто не обращалъ никакого вниманія на эти обстоятельства. Когда же впередъ проѣзжала кавалерія, видѣлись движенія пѣхоты, одобрительныя замѣчанія слышались со всѣхъ сторонъ... Но самое большое вниманіе заслуживали событія совершенно посто-

ронія, не имѣвшія никакого отношенія къ сраженію. Какъ будто вниманіе этихъ нравственно-измученныхъ людей отдыхало на этихъ обычныхъ, житейскихъ событіяхъ. Батарея артиллеріи прошла передъ фронтомъ полка. Въ одномъ изъ артиллерійскихъ ящиковъ пристяжная заступила построшку. — „Эй, пристяжную - то!.. вправъ упадетъ!“ по всему полку одинаково кричали изъ рядовъ. Въ другой разъ общее вниманіе обратила небольшая, коричневая собака, которая, Богъ знаетъ откуда взявшись, озабоченной рысцою выбѣжала передъ ряды и вдругъ отъ близко ударившаго ядра взвизгнула и, поджавъ хвостъ, бросилась въ сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлеченія такого рода продолжались минуты, а люди уже 8 часовъ стояли безъ ѣды и безъ дѣла подъ непроходящимъ ужасомъ, и ихъ блѣдныя лица все болѣе и болѣе блѣднѣли и хмурились“.

Или вотъ, напримѣръ, превосходная сцена, изображающая нравственное состояніе Наполеона въ день бородинской битвы: „Наполеонъ видѣлъ, что это было не то, совсѣмъ не то, что было во всѣхъ его прежнихъ сраженіяхъ. Онъ видѣлъ, что то же чувство, которое испытывалъ онъ, испытывали и всѣ его окружающіе люди, всѣ глаза избѣгали другъ друга. Когда онъ перебиралъ въ соображеніи всю эту странную русскую кампанію, въ которой не было выиграно ни одно сраженіе, въ которой въ 2 мѣсяца не взято ни знаменъ ни пушекъ; когда глядѣлъ на скрытнопечальныя лица окружающихъ и слушалъ донесеніе о томъ, что русскіе все стоятъ — страшное чувство, подобное чувству испытываемому въ сновидѣніяхъ, охватывало его, и ему приходили въ голову всѣ несчастныя случайности, могущія погубить его. Русскіе могли напасть на его лѣвое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. Въ прежнихъ сраженіяхъ онъ обдумывалъ только случайности успѣха, теперь же безчисленное количество несчастныхъ случайностей представлялось ему, и онъ ожидалъ ихъ всѣхъ. Да, это было какъ во снѣ, когда человѣку представляется наступающій на него

злодѣй, и человѣкъ во снѣ размахнулся и ударилъ своего злодѣя съ тѣмъ страшнымъ усиленіемъ, которое, онъ знаетъ, должно уничтожить его, и чувствуетъ, что рука его, безсильная и мягкая, падаетъ какъ тряпка, и ужасъ неотразимой гибели охватываетъ безпомощнаго человѣка“. Если мы сравнимъ восторженное состояніе, въ которомъ находились французскія войска въ началѣ кампаніи, съ тѣмъ душевнымъ смущеніемъ и тревогою, которыми всѣ, отъ Наполеона до простого солдата, были проникнуты въ день бородинскаго боя, и сопоставимъ это состояніе съ настроеніемъ русскихъ солдатъ, наполовину выкошенныхъ страшнымъ сраженіемъ, но все-таки непоколебимыхъ и грозныхъ своею настойчивостію, то согласимся, что французы понесли нравственное пораженіе, которое прямо вело ихъ къ гибели. Авторъ слѣдующими словами оцѣниваетъ результаты бородинскаго сраженія: „Французское нашествіе, какъ разъяренный звѣрь, получившій въ своемъ разбѣгѣ смертельную рану, чувствовало свою гибель; но оно не могло остановиться, такъ же какъ не могло отклонить вдвое слабѣйшее русское войско. Послѣ даннаго толчка, французское войско еще могло докатиться до Москвы; но тамъ, безъ новыхъ усилій со стороны русскихъ, оно должно было погибнуть, истекая кровью отъ смертельной раны, нанесенной въ Бородинѣ“.

„Харьковскія Вѣдомости“. Статья К.

* * *

*) Фельетонистъ „Голоса“ въ № 63, между прочимъ, говорить о романѣ „Война и Миръ“ такъ:

„Въ кружкахъ, интересующихся русскою литературою, много говорятъ о выходѣ въ свѣтъ четвертой (последней) части романа графа Л. Н. Толстого, „Война и Миръ“. Успѣхъ этого романа составляетъ явленіе, совершенно выходящее изъ ряда обыкновенныхъ явленій въ нашей литературѣ. О новомъ произведеніи графа Л. Н. Толстого го-

*) „Голосъ“ 1868 г., № 63. „Прошлая недѣля“ (4-й томъ романа „Война и Миръ“). Статья Х. Л.

ворять повсюду, и даже въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ рѣдко появляется русская книга, романъ этотъ читается съ необыкновенною жадностью. Первое изданіе „Войны и Мира“, какъ мы слышали, расходуется быстро, такъ что вскорѣ придется приступить ко второму изданію. Желательно, чтобы цѣна этого второго изданія была болѣе доступна для небогатыхъ классовъ, а то теперь очень многіе жалуются на дороговизну этого романа. Мы не присоединяемся къ голосу сѣтующихъ и вполне понимаемъ причины, вызвавшія назначеніе высокой цѣны на первое изданіе. Графъ Л. Н. Толстой, увѣренный въ интересъ своей книги, поступилъ въ этомъ случаѣ точно такъ же, какъ поступаютъ заграничные писатели. Всѣ иностранныя книги послѣдняго времени, возбуждавшія заранѣе горячій интересъ въ публикѣ, выходили первымъ изданіемъ по дорогой цѣнѣ. „Les Misérables“ и „Les Travailleurs de la Mer“ Виктора Гюго, книга Ренана, „L'affaire Clémenceau“ Александра Дюма-сына и много другихъ стоили сначала очень дорого, но за первыми изданіями слѣдовали почти тотчасъ другія, гораздо болѣе дешевыя, дававшія каждому возможность приобрести интересную книгу. Вѣроятно, то же самое повторится и съ романомъ „Война и Миръ“. Для писателя, издающаго свое сочиненіе отдѣльно, безъ предварительнаго напечатанія его въ журналѣ, совершенно естественно и законно заботиться о томъ, чтобы его трудъ скоро и щедро вознаградился; но когда эта цѣль достигнута быстрою распродажею перваго дорогого изданія, не мѣшаетъ подумать и о большинствѣ публики, лишенной возможности платить слишкомъ дорого за интересующія ее книги...“

„Голосъ“, № 63. *Статья Х. Л.*

* * *

*) Мы не zapomнимъ, когда бы съ такимъ живымъ интересомъ принималось въ нашемъ обществѣ появленіе какого-либо художественнаго произведенія, какъ нынѣ при-

*) „Голосъ“ 1868 г., № 83. „Библиографія“. „Война и Миръ“. Томъ 4.

нимается появленіе романа графа Толстого. Четвертый томъ его всѣ ожидали не просто съ нетерпѣніемъ, а съ какимъ-то болѣзненнымъ волненіемъ. И вотъ вышелъ, наконецъ, въ свѣтъ этотъ четвертый томъ. Но онъ не послѣдній, какъ предполагали въ обществѣ: за нимъ послѣдуетъ еще пятый, окончательно уже послѣдній томъ. Книга раскупается съ невѣроятною быстротою, и параллельно съ ея возрастающимъ успѣхомъ поднимается на нее и цѣна. Кто не подписался на сочиненіе при выходѣ первыхъ трехъ его томовъ, тотъ заплатитъ за него теперь уже не 7 р., какъ прежде, а 8; съ выходомъ же въ свѣтъ пятого тома, цѣна за все изданіе будетъ еще возвышена—до 10 рублей.

Четвертому тому романа Графа Толстого суждено, быть можетъ, произвести содержаніемъ своимъ, или, вѣрнѣе, содержаніемъ нѣкоторыхъ страницъ своихъ, еще сильнѣйшее впечатлѣніе, чѣмъ какое произведено было на читателей первыми тремя томами „Войны и Мира“. Четвертый томъ обнимаетъ собою событія 1812 года—нашествіе Наполеона и „великій день Бородина“. Но собственно романъ, завязка его, фабула не подвигаются тутъ ни на волосъ. Характеры главныхъ дѣйствующихъ лицъ застыли въ тѣхъ моментахъ, въ какихъ оставлены они авторомъ въ третьемъ томѣ (см. № 11 „Голоса“), и въ ихъ личныхъ ощущеніяхъ, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ не произошло никакой, рѣшительно никакой перемѣны. Четвертый томъ кажется связаннымъ съ первыми тремя только потому, что въ немъ затронуты историческія событія, слѣдовавшія, въ порядкѣ времени, за событіями, изображенными въ первыхъ трехъ томахъ, и развѣ еще потому, что въ немъ выступаютъ тѣ же собственныя имена главныхъ характеровъ, что и прежде. Недостатокъ романическаго развитія, замѣченный въ первыхъ трехъ томахъ романа, обозначается въ четвертомъ его томѣ еще рѣзче и несомнѣннѣе. Авторъ не только не ведетъ далѣе своихъ героевъ, но даже, когда, уступая необходимости, говоритъ о нихъ въ связи съ главнымъ, собственно романическимъ замысломъ

романа, то повторяетъ лишь, въ противность всѣмъ условіямъ художественнаго творчества, пережитые уже ими и извѣстные читателю моменты. Такъ, отношенія между Пьеромъ Безухимъ и Наташею Ростовою, завязанныя на послѣднихъ страницахъ третьяго тома и обѣщавшія такъ много интереснаго, не подвинулись ни на шагъ впередъ, хотя Наташа уже успѣла оправиться отъ своей болѣзни и нѣсколько поуспокоиться отъ вынесенныхъ ею тревожныхъ впечатлѣній. Точь въ точь, какъ въ третьемъ томѣ, Пьеръ и тутъ дѣлаетъ робкіе намеки на свою любовь къ ней, и притомъ, въ тѣхъ самыхъ, буквально тѣхъ-же самыхъ выраженіяхъ; но, какъ и въ третьемъ томѣ, изъ этихъ намековъ ровно ничего не выходитъ, и ровно ни къ чему они не ведены. Лучше бы совсѣмъ не упоминать объ отношеніяхъ Пьера къ Наташѣ, чѣмъ ограничиваться этимъ ненужнымъ, а потому и безцвѣтнымъ повтореніемъ. Андрей Болконскій такъ-же точно аристократически презираетъ Наташу Ростову; точно такъ-же ненавидитъ Анатолія Курагина и ищетъ его, чтобы вызвать на поединокъ, но нигдѣ не находитъ, ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, ни въ южной арміи (въ Турціи), ни въ западныхъ арміяхъ, высланныхъ противъ Наполеона. Въ самомъ уже концѣ четвертаго тома Болконскій, тяжело раненый подъ Бородинымъ, подобно тому, какъ онъ былъ тяжело раненъ подъ Аустерлицемъ, попадаетъ, для операціи, на перевязочный пунктъ, переполненный ранеными, и тамъ, на сосѣднемъ столѣ, въ рыдающемъ молодомъ офицерѣ, которому только что отняли ногу, узнаетъ Анатолія Курагина. Но уже не злобой дышитъ князь Андрей; сердце его размягчено видомъ страшнаго побоища, глубокою жалостью къ массѣ гибнущихъ, къ этой, какъ говорятъ по-французски: „chaîr à canon“, сжимается теперь это гордое сердце. Не хотѣлось умирать князю Андрею; ему чувствовалось, что если бы онъ остался живъ, то состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ, любовь къ врагамъ, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, и которой онъ прежде не понималъ, наполняла бы отнынѣ его душу. И вотъ, когда въ человѣкѣ

съ отнятою ногою онъ узналъ Анатолія, новое, неожиданное воспоминаніе изъ міра дѣтскаго, чистаго и любовнаго представилось князю Андрею. „Онъ вспомнилъ Наташу такою, какою онъ видѣлъ ее въ первый разъ на балѣ 1810 года, съ готовымъ на восторгъ, испуганнымъ, счастливымъ лицомъ, и любовь и нѣжность къ ней еще сильнѣе и живѣе, чѣмъ когда-либо, проснулись въ душѣ его. Онъ вспомнилъ связь, которая существовала между нимъ и Анатодемъ Курагинымъ; онъ вспомнилъ все, и восторженная жалость и любовь къ этому человѣку наполнили его счастливое сердце“. Если хотите, это внутреннее примиреніе съ врагомъ можно считать моментомъ романическаго развитія въ характерѣ князя Андрея; но этотъ моментъ такъ коротокъ и обставленъ такими потрясающими событіями высшаго порядка (бородинская битва), что проносится почти безслѣдно въ головѣ читателя. Вообще историческія событія слишкомъ выдвинуты впередъ въ книгѣ графа Толстого; ими совсѣмъ подавляется теченіе романа; между тѣмъ, по самой задачѣ своего труда, авторъ даетъ намъ не полное описаніе войнъ Александра съ Наполеономъ, а лишь нѣкоторые моменты изъ этихъ войнъ; онъ не описываетъ ни одной битвы въ общемъ ея ходѣ — ни Аустерлица ни Бородину, а лишь изображаетъ отдѣльные ихъ эпизоды. Увлеченные мастерскимъ, художническимъ изображеніемъ этихъ моментовъ, этихъ эпизодовъ, читатели невольно упускаютъ изъ виду нити самаго романа, невольно забываютъ его; зато они тѣмъ тревожнѣе ищутъ въ книгѣ полноты историческаго описанія, ищутъ полной картины дней Аустерлица или Бородину, и, разумѣется, не находятъ; разочарованные, они обращаются снова къ роману, но романа нѣтъ — его забылъ и самъ авторъ. Отсюда какая-то неудовлетворенность, какая-то неопредѣленность впечатлѣнія. Ни исторіи ни романа нѣтъ въ книгѣ графа Толстого, а главное — нѣтъ въ ней единства. Можно растянуть число ея томовъ до бесконечности, но можно и сократить ихъ до двухъ, до одного, съ ущербомъ, пожалуй, для наслажденія читателей (потому что они потеряли-бы нѣсколько

мастерскихъ сценъ), но безъ малѣйшаго ущерба для полноты задуманной интриги. Какъ недостаетъ единства для завязки собственно романической, такъ недостаетъ его и для историческихъ описаній. Авторъ перескакиваетъ отъ одного момента къ другому безъ всякой внутренней между ними связи. Восторженное настроеніе французскихъ войскъ во время переправы черезъ Нѣманъ (12-го іюня 1812 г.), при чемъ одинъ уланскій полкъ бросился вплавь черезъ рѣку, чтобъ только щегольнуть безстрашіемъ въ глазахъ своего императора, самоувѣренность самого Наполеона, какъ въ этотъ моментъ, такъ и черезъ три дня, въ Вильнѣ, на аудіенціи съ Балашовымъ, и потомъ вдругъ день Бородина, упадокъ духа въ императорѣ, въ его маршалахъ и генералахъ, въ самой арміи даже! Какъ совершился этотъ переворотъ, какимъ процессомъ, какими вліяніями доведены были французскія войска до того нравственнаго состоянія, которое въ сравненіи съ настроеніемъ русской арміи, одно, рѣшительно одно, по мнѣнію автора, было причиною, что Наполеонъ не выигралъ Бородинской битвы? На это не даетъ отвѣта книга графа Толстого: между Вильною и Бородинымъ темная страница; переворотъ совершается внѣ романа, за кулисами. Причину переменъ въ настроеніи духа французской арміи мы знаемъ изъ исторіи; но при томъ догматическомъ, не допускающемъ сомнѣнія въ достовѣрности, способѣ, какимъ авторъ излагаетъ событія, нельзя не требовать отъ него полноты и послѣдовательности, тѣмъ болѣе, что онъ самъ смѣется надъ исторією и надъ историками, и совсѣмъ не признаетъ достовѣрности въ ихъ изысканіяхъ. Это отсутствіе единства и внезапные скачки отъ одного положенія къ другому страннымъ образомъ сочетаются въ книгѣ съ тою неподвижностью выведенныхъ въ ней характеровъ, о которой мы сейчасъ говорили...

(Далѣе слѣдуетъ разборъ Андрея Болконскаго. См. „Разборы отдѣльныхъ лицъ романа“).

„Если въ общемъ планѣ романа, со стороны его собственно романической развязки, если въ изображеніи исто-

рическихъ событій, со стороны ихъ внутренней послѣдовательности, нѣтъ, какъ мы уже сказали, строгаго единства, то единство мысли господствуетъ въ нынѣ вышедшемъ четвертомъ томѣ нераздѣльно. Авторъ написалъ весь этотъ четвертый томъ какъ бы для того только, чтобъ высказать свой личный взглядъ на войну, на жизнь, на общественное устройство, а отдѣльныя сцены и картины, художественностью которыхъ нельзя не плѣняться и о которыхъ мы упоминаемъ ниже, ворвались сюда независимо отъ воли сочинителя, въ силу его безотчетной творческой способности. Словно не изображеніе эпохи, само въ себѣ, имѣлъ въ виду авторъ, а этимъ изображеніемъ хотѣлъ только подкрѣпить свои личныя мысли и убѣжденія. Какія же это мысли? Тѣ самыя мысли, которыя тревожили и мучили князя Андрея, когда онъ, безпомощный, вперялъ съ аустерлицкаго поля свой потухавшій взоръ въ далекое голубое небо: тщета и ничтожество всѣхъ человѣческихъ дѣяній; исторія не имѣетъ своихъ законовъ—она безсознательна; историческія событія не могутъ быть объяснены никакими причинами, или, вѣрнѣе, причинъ бываетъ всегда такъ много, что въ нихъ теряешься, какъ въ лабиринтъ; военный геній—безсмыслица, Наполеонъ просто тщеславный и ограниченный человѣкъ, вся сила и успѣхъ котораго заключались именно въ томъ, что онъ не понималъ поэзіи, искусства, хвалился злодѣяніями, и безсмысленнымъ дѣламъ, имъ совершаемымъ, придавалъ важность; вообще чья-бы то ни была личная воля безсильна для управленія событіями, и всѣ великіе люди, монархи и полководцы—простыя пѣшки, слѣпое игрище, слабыя, ничтожныя орудія исторической жизни, еще болѣе ничтожныя, чѣмъ самый послѣдній изъ ихъ солдатъ; всякое событіе въ исторіи совершается по предопредѣленію свыше, безъ малѣйшаго участія свободной воли человѣка. Войну 12-го года авторъ называетъ безсмысленнымъ, кровавымъ событіемъ, противнымъ человѣческому разуму и всей человѣческой природѣ. Какія-же были причины его? „Наполеону казалось, — иронически говоритъ авторъ, — что причиной войны были интриги Англіи; членамъ англійской

палаты казалось, что причиной войны было властолюбіе Наполеона; принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное противъ него насиліе; купцамъ казалось, что причиной войны была континентальная система; старымъ солдатамъ и генераламъ казалось, что главной причиной была необходимость употребить ихъ въ дѣло; легитимистамъ того времени казалось, что необходимо было возстановить *les bons principes*, а дипломатамъ, что все произошло оттого, что союзъ Россіи съ Австріей не былъ достаточно искусно скрытъ отъ Наполеона, и что неловко былъ написанъ меморандумъ за № 178“. Но авторъ не понимаетъ, чтобъ миллионы людей-христіанъ убивали и мучили другъ друга потому только, что Наполеонъ былъ властолюбивъ, Александръ твердъ, политика Англіи хитра, и герцогъ Ольденбургскій обиженъ; авторъ не понимаетъ, какую связь могли имѣть всѣ эти обстоятельства съ самимъ фактомъ убійства и насилія. Если доискиваться причинъ такого необычайнаго и неразумнаго событія, то ихъ отыщется, по мнѣнію автора, миллионъ миллионовъ, и чѣмъ больше станешь ихъ доискиваться, тѣмъ неразумнѣе будетъ казаться само событіе. Такъ же точно, какъ и при меньшемъ властолюбіи Наполеона или меньшей твердости Александра, не было-бы войны, полагаетъ авторъ, и въ томъ случаѣ, если-бъ миллионы людей, въ которыхъ была дѣйствительная сила, солдаты и народъ, не согласились исполнить волю единичныхъ и слабыхъ людей (Наполеона и Александра), если-бъ сержанты во Франціи не пожелали поступить на вторичную службу, если-бъ не было самодержавной власти въ Россіи, если-бъ не было французской революціи и послѣдовавшихъ диктаторствъ и имперій, и всего того, что произвело французскую революцію. Авторъ съ такимъ же основаніемъ могъ бы прибавить, что войны 1812 года не было бы и тогда, если-бъ римляне не покорили галловъ, а франки римлянъ, и если-бъ, такимъ образомъ, вовсе не было и самой Франціи. Но что же доказываетъ это поистинѣ дѣтское упражненіе, это нагроможденіе разныхъ если-бъ и когда-бы, и объ этихъ-ли отдаленныхъ причинахъ идетъ

рѣчь въ историческихъ изслѣдованіяхъ того или другого событія? Нашъ авторъ не допускаетъ, однако, ближайшихъ, специальныхъ причинъ историческаго событія: онъ допускаетъ одну его причину — предопредѣленіе свыше. Событіе, по его мнѣнію, должно было совершиться только потому, что оно *должно было совершиться*. „Должны были миллионы людей, отрехшись отъ своихъ человѣческихъ чувствъ и своего разума, идти съ Запада на Востокъ и убивать себѣ подобныхъ,“ говоритъ авторъ, прямо и откровенно высказываясь за неизбежность фатализма въ исторіи. Желательно было-бы знать, чѣмъ именно таинственное „должно было совершиться, *потому что* должно было совершиться“... разумѣе какой-нибудь выслѣженной историками, хотя бы и ошибочной причины?

Военнаго генія, военной науки, стратегіи, тактики точно такъ же не признаетъ авторъ, какъ не признаетъ онъ разумности въ исторіи. Зло подсмѣивается онъ надъ разными дислокаціями, диспозиціями, планами битвъ и т. п. Побѣда или пораженіе зависятъ не отъ искусства военачальниковъ, не отъ расположенія войскъ, даже не отъ численности и вооруженія ихъ, а единственно отъ духа и настроенія сражающихся. Тутъ авторъ стоитъ на болѣе твердой почвѣ, такъ какъ неустрашимость и высокое настроеніе духа войскъ болѣе всего помогаютъ выиграть сраженіе; подробныя диспозиціи почти никогда не выполняются, какъ случилось и съ диспозиціею Наполеона подъ Бородинымъ. Но и этого мнѣнія нельзя доводить до крайности; отрицать всякое участіе военнаго генія полководцевъ въ счастливыхъ войнахъ и выигранныхъ сраженіяхъ рѣшительно невозможно. Настроеніе постоянно смѣняемыхъ и набираемыхъ армій Наполеона въ кампанію 1814 года никакъ уже нельзя было назвать особенно вдохновеннымъ, кромѣ развѣ личнаго обожанія къ нему его ветерановъ, а между тѣмъ, несмотря на общій, такъ сказать, политически несчастный для него характеръ этой войны, она состояла изъ непрерывнаго ряда блистательныхъ побѣдъ; точно также и войска, побѣждавшія французовъ въ Италіи съ Суворовымъ, не имѣли при-

чинъ къ такому настроенію, какимъ одушевлены были русскіе солдаты въ отечественную войну, а между тѣмъ итальянскій походъ Суворова составляетъ одну изъ великолѣпнѣйшихъ страницъ въ военной исторіи. „Давая и принимая бородинское сраженіе, Кутузовъ и Наполеонъ поступили произвольно и безсмысленно“, говоритъ авторъ. Дѣйстви-тельно описать въ точности, какъ происходила бородинская битва—дѣло, если не совсѣмъ невозможное, то чрезвычайно трудное: доказательство—генераль Липрандъ, который испи-салъ цѣлые томы критическихъ статей объ отечественной войнѣ и о бородинской битвѣ, посвятилъ этой битвѣ огромное изслѣдованіе въ „Чтеніяхъ Исторіи и Древностей Рос-сійскихъ“ за 1866 годъ, и, все-таки, не далъ яснаго по-нятія объ общемъ ходѣ сраженія. Такъ историки не со-гласились еще даже насчетъ позиціи, въ которой русская армія ожидала наступленія непріятеля, и въ этомъ отно-шеніи объясненіе графа Толстого, основанное, безъ сомнѣ-нія, на запискахъ участника битвы, кажется намъ весьма правдоподобнымъ. Авторъ опровергаетъ предположеніе исто-риковъ, что бородинское сраженіе принято было нами по-заранѣе выбранной и укрѣпленной позиціи, при чемъ ше-вардинскій редутъ былъ, будто-бы, передовымъ постомъ этой позиціи. Авторъ утверждаетъ, что Кутузовъ, имѣя цѣлью остановить непріятеля, подвигавшагося по смолен-ской дорогѣ къ Москвѣ, избралъ позицію по рѣкѣ Колочѣ, пересѣкающей большую дорогу подъ острымъ угломъ, при-чемъ первый флангъ этой позиціи былъ около селенія Но-ваго, вправо отъ дороги, центръ у Бородина, на самой до-рогѣ, при сліяніи рѣкъ Колочи и Воины, а лѣвый флангъ упирался въ Шевардино. 24-го августа Наполеонъ, въ преслѣдованіи русскаго аріергарда, слѣдовавшаго къ пози-ціи, наткнулся на лѣвый ея флангъ и неожиданно для рус-скихъ перевелъ свои войска черезъ Колочу. Русскіе, не успѣвъ вступить въ генеральное сраженіе на позиціи, ко-торую намѣревались занять, отступили изъ нея лѣвымъ крыломъ назадъ и заняли новую позицію, которая не была ими ни предвидѣна ни укрѣплена. Такимъ образомъ, Напо-

леонъ, самъ того не подозрѣвая, передвинулъ все будущее сраженіе справа налѣво (со стороны русскихъ) и перенесъ его въ поле между Утицей, Семеновскимъ и Бородинымъ, гдѣ и произошла битва 26-го августа. Предоставляемъ специалистамъ рѣшить, насколько достовѣрно это предположеніе; но нельзя отрицать, что оно многое объясняетъ, въ томъ числѣ и то обстоятельство, что курганная батарея (вправо отъ Семеновскаго), составившая ключъ новой позиціи, была такъ слабо укрѣплена—на ней поставлено было всего 18 орудій. Изъ всѣхъ дѣятелей отечественной войны, авторъ, кромѣ Кутузова, никого не считаетъ не только настоящимъ полководцемъ, но и генераломъ порядочнымъ, и одного только Багратиона называетъ устами Наполеона хотя и глупымъ, но храбрымъ генераломъ. Да и самъ Кутузовъ только потому пощажень суровымъ авторомъ, что онъ, будто-бы, ровно ничего не дѣлалъ, а какъ главнокомандующій, не принималъ никакихъ мѣръ, не составлялъ никакихъ плановъ и пассивно покорялся обстоятельствамъ.

Но очевидно, что до перехода русской арміи съ Рязанской дороги на Калужскую, дѣйствія Кутузова ничѣмъ не отличались отъ дѣйствій Барклая-де-Толли: онъ точно такъ же отступалъ, хотя безпрестанно же надѣялся и обѣщалъ дать сраженіе французамъ. Г. Жуковъ, въ недавно вышедшей 4-й книгѣ „Чтеній Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ“ за минувшій годъ, очень основательно доказываетъ, что Барклай не имѣетъ никакого опредѣленнаго плана для отступленія; что, повинаясь голосу общественнаго мнѣнія, онъ готовъ былъ бы сразиться съ непріателемъ, но вынужденъ былъ отступать естественною необходимостью, подобно тому, какъ вынужденъ былъ отступать и самъ Кутузовъ. То же находимъ въ многочисленныхъ критическихъ статьяхъ генерала Липранда, собранныхъ имъ нынѣ въ одну книжку, подъ общимъ заглавіемъ: „Матеріалы для отечественной войны 12-го года“. Авторъ изображаетъ Кутузова въ день Бородинской битвы совершенно бездѣйствующимъ и только для формы озирающимъ поле сраженія и выслушивающимъ донесенія адъютантовъ. Безспорно, вели-

чава фигура слабого старца, спокойно выжидающаго исхода битвы и свято увѣреннаго въ неустрашимости и непоколебимости войска. Но если мужество русскихъ въ день Бородина было дѣйствительно безпримѣрно; если на полѣ смерти, между Курганною батареею и Семеновскимъ, страшный огонь нѣсколькихъ сотъ орудій вырывалъ рядами нашихъ солдатъ, а мы все стояли на мѣстѣ, смыкаясь и не отступая, такъ что изумились и струхнули французскіе генералы, а Наполеонъ вышелъ изъ себя *); если защита Кургановой батареи явила примѣръ какой-то отчаянной храбрости, то были, все-таки, со стороны Кутузова, нѣкоторыя распоряженія, которыя поддерживали эту неустрашимость и содѣйствовали русскимъ устоять въ центрѣ позиціи. Таково было движеніе Уварова и Платонова съ нашего праваго фланга въ обходъ лѣваго фланга французовъ. Не будь этого обходнаго движенія, едва-ли бы намъ устоять между Семеновскимъ и Курганною батареею; оно отвлекло силы французовъ къ ихъ лѣвому флангу, и участники битвы, по свидѣтельству Жюлини, помнятъ минуту, когда по всей линіи непріятеля уменьшилось упорство атакъ, огонь видимо сталъ слабѣе, и русскимъ „можно было свободнѣе вздохнуть“. Это обходное движеніе заставило Наполеона потерять въ бездѣйствіи около двухъ часовъ, а Кутузову дало возможность подкрѣпить центръ, гдѣ къ тому времени совсѣмъ уже изнемогали силы русскихъ батальоновъ. Случайность и настроеніе духа войскъ часто одни рѣшаютъ участь сраженій; но, помилуй Богъ! скажемъ мы съ Суворовымъ, не все же счастье; нужно когда нибудъ и умѣнье... Если, однако, оставить въ сторонѣ эти общія заключенія автора и его крайніе выводы, сколько останется прелести и художественной правды въ отдѣльныхъ эпизодахъ, имъ изображаемыхъ! Какъ онъ хорошо знаетъ русскаго солдата и какъ постигъ тайну его неустра-

*) Авторъ рассказываетъ, что въ отвѣтъ на донесеніе, что русскіе, несмотря на убійственный огонь 200 орудій съ семеновскихъ высотъ (уже занятыхъ тогда непріятелемъ), все стоятъ на мѣстѣ, Наполеонъ, нахмурившись, прохрипѣлъ осиплымъ голосомъ: „ils en veulent encore—donnez leurs en“.

шимости, спокойной, ровной, невозмутимой неустрашимости, какъ бы граничащей съ равнодушіемъ! Напримѣръ, это стояніе между Семеновскимъ и Курганною батареею; вотъ страница образцовая въ своемъ родѣ (авторъ говоритъ о полкѣ Болконскаго): „Съ каждымъ новымъ выстрѣломъ непріятеля все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тѣхъ, которые еще не были убиты. Полкъ стоялъ въ батальонныхъ колоннахъ на разстояніи 300 шаговъ, но, несмотря на то, всѣ люди полка находились все время подъ влияніемъ одного и того-же настроенія. Всѣ люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Рѣдко слышался между рядами говоръ, но говоръ этотъ замолкалъ всякій разъ, какъ слышали попавшій ударъ и крикъ: носилки.“

Большую часть времени люди полка, по приказанію начальства, сидѣли на землѣ. Кто, снявъ киверъ, старательно распускалъ и опять собиралъ сборки; кто сухой глиной, распорошивъ ее въ ладоняхъ, начищалъ штыкъ; кто разминалъ ремень и перетягивалъ пряжку перевязи; кто старательно расправлялъ и перегибалъ по новому подвѣтки и перебувался. Нѣкоторые строили домики изъ соломы жнивья. Всѣ казались вполнѣ погружены въ эти занятія. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назадъ, когда виднѣлись сквозь дымъ большія массы непріятелей, никто не обращалъ вниманія на эти обстоятельства. Когда-же впереди проѣзжала артиллерія, кавалерія, виднѣлись движенія нашей пѣхоты, одобрительныя замѣчанія слышались со всѣхъ сторонъ. Но самое большое вниманіе заслуживали событія совершенно постороннія, не имѣвшія никакого отношенія къ сраженію. Какъ будто вниманіе этихъ нравственно-измученныхъ людей отдыхало на этихъ обычныхъ, житейскихъ событіяхъ.

Батарея артиллеріи прошла передъ флангомъ полка. Въ одномъ изъ артиллерійскихъ ящиковъ пристяжная заступила построумку. — „Эй, пристяжную-то!... Выправь! Упадеть. Эхъ, не видать!... по всему полку одинаково кричали изъ рядовъ.“

Въ другой разъ общее вниманіе обратила небольшая коричневая собаченка съ твердо-поднятымъ хвостомъ, которая, Богъ знаетъ откуда взявшись, озабоченной рысцой выбѣжала передъ ряды, и вдругъ отъ близко ударившаго ядра вавизгнула и, поджавъ хвостъ, бросилась въ сторону. По всему полку раздалось гоготанье и вавизги. Но развлеченія такого рода продолжались минуты, а люди уже болѣе восьми часовъ стояли безъ ѣды и безъ дѣла подъ непроходящимъ ужасомъ смерти, и блѣдныя и нахмуренныя лица все болѣе блѣднѣли и хмурились“...

Или вотъ эта курганная батарея, куда другой герой романа, Пьеръ Безухій, въ качествѣ дилетанта, попалъ совершенно нечаянно, совсѣмъ не зная, что именно этой батарее суждено было сдѣлаться мѣстомъ самаго ожесточеннаго боя. Не переставая ни на минуту палить изъ своихъ ничтожныхъ, по числу, орудій, артиллеристы безстрашно выдерживали страшный огонь непріятеля, безстрашно глядѣли прямо въ лицо смерти, какъ бы не замѣчая ея присутствія, подшучивали надъ неожиданно появившимся въ кружкѣ ихъ „баринѣмъ“ (Пьеромъ), къ которому, впрочемъ, скоро привыкли (такъ какъ и онъ скорѣе изумлялся бою, чѣмъ пугался его), подшучивали надъ каждымъ выстрѣломъ врага, и съ каждымъ новымъ ударомъ ядра, вносившимъ смерть въ ихъ рѣдкіе ряды, становились еще веселѣе и оживленнѣе. Они дострѣлялись до того, что не достало уже у нихъ зарядовъ, и унтеръ-офицеръ подбѣжалъ къ старшему офицеру доложить ему объ этомъ тѣмъ испуганнымъ шопотомъ, какимъ дворецкій докладываетъ хозяину, что нѣтъ болѣе требуемаго вина; но офицеры не внимали этому докладу: „картечью, картечью!“ кричали они до тѣхъ поръ, пока не стало и ихъ, и самой батареи, пока ядра закрыли имъ навѣки уста, и французскіе батальоны заняли курганъ... Или трагическая катастрофа, постигшая стараго Болконскаго (отца князя Андрея). До послѣдней минуты не вѣрилъ онъ отступленію русской арміи, до послѣдней минуты не вѣрилъ онъ успѣхамъ Наполеона, продолжалъ писать критическія записки объ его

войнахъ и продолжалъ мучить княжну Марью. Онъ доходилъ почти до помѣшательства, упадалъ силами и медленно умиралъ. Но вотъ умъ его озарился внезапнымъ свѣтомъ: до него достигла вѣсть объ оставленіи Москвы. Покинувшія его силы вдругъ вернулись къ нему на минуту; онъ понималъ, онъ глубоко почувствовалъ все, и жгучая потребность идти на защиту отечества овладѣла всѣмъ его старческимъ существомъ; онъ пожелалъ стать во главѣ мѣстнаго ополченія; онъ надѣлъ мундиръ, ордена и обнажилъ шпагу. Но силъ не хватило; старика поразилъ апоплексическій ударъ, и его не стало. Не стало скоро и Лысыхъ горъ (имѣнія Болконскихъ): все смелъ съ лица земли наполеоновскій погромъ. Или очерки штабныхъ нравовъ, разсѣянные тамъ и сямъ по книгѣ. Главная квартира въ Вильнѣ, гдѣ присутствіе императора стѣсняло главнокомандующаго и порождало лишь безчисленное множество партій, предлагавшихъ каждый свой планъ войны. Партій этихъ (слѣдуя, вѣроятно, своему источнику—запискамъ современника) авторъ насчитываетъ до восьми, при чемъ восьмая и самая большая группа людей, которая, по своему огромному числу, относилась къ другимъ, какъ 99 къ 1, состояла изъ людей, не желавшихъ ни войны, ни мира, ни наступательныхъ движеній, ни оборонительныхъ дѣйствій, не стоявшихъ ни за какой планъ или проектъ, но желавшихъ только одного и самаго существеннаго—наибольшихъ для себя лично выгодъ и удовольствій; люди этой партіи ловили рубли, кресты, чины, и въ этомъ ловленіи слѣдили только за направленіемъ флюгера царской милости, безъ оглядки повертываясь тотчасъ въ ту сторону, въ какую повертывался этотъ флюгеръ... Или слѣдующая, напримѣръ, чисто гоголевская страница, по поводу личности Пфуля и его упрямаго желанія испытать, во что бы то ни стало, составленный имъ по всѣмъ правиламъ науки, планъ: „Французъ бываетъ самоувѣренъ потому, что онъ почитаетъ себя лично, какъ умомъ такъ и тѣломъ, непреодолимо обворожительнымъ, какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Англичанинъ самоувѣренъ на томъ основаніи, что онъ есть гражданинъ бла-

гоустроеныѣшаго государства въ мірѣ, и потому, какъ англичанинъ, знаетъ всегда, что все, что онъ дѣлаетъ, какъ англичанинъ, несомнѣнно хорошо. Итальянецъ самоувѣренъ потому, что взволнованъ, и забываетъ легко себя и другихъ. Русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что не вѣрить, чтобъ можно было знать что-нибудь. Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ и тверже всѣхъ и противнѣе всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину, науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина!“

Или, наконецъ, мастерская картина посѣщенія государемъ Москвы и воззванія его къ сословіямъ. Въ залахъ Слободскаго собрались: въ одной—дворянство, въ другой—купечество. Дворяне спорили, шумѣли, высказывали разныя часто противоположныя мнѣнія, кричали о патріотизмѣ, не соглашались, но чуть разнеслось по залѣ, что государь идетъ, всѣ разомъ столпились къ столу и молча въ одну минуту, сами почти не замѣтивъ, какъ постановили единодушно рѣшеніе выставить по 10 человѣкъ съ тысячи и полное обмундированіе. Вспышка этого дѣятельнаго, истиннаго патріотизма такъ-же скоро прошла, какъ появилась, и на другой день московскіе дворяне „сняли мундиры“, опять размѣстились по домамъ и клубамъ, и, покряхтывая, отдавали приказанія управляющимъ объ ополченіи, и удивлялись тому, что сдѣлали. „Въ тотъ-же день, какъ дѣлалось постановленіе московскаго дворянства, государь, горячо поблагодаривъ дворянъ за ихъ патріотическое дѣло, перешелъ въ залу купечества. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ оттуда со слезами умиленія на глазахъ, а сопровождавшій его толстый откупщикъ рыдалъ, какъ ребенокъ, и все твердилъ: „И жизнь и имущество возьми, ваше величество!“

*) Что такое „Война и Миръ“ графа Л. Н. Толстого?

Что такое „Война и Миръ“? Это не романъ, еще менѣе поэма, еще менѣе историческая хроника, говоритъ самъ авторъ и, въ оправданіе своего заявленія, приводитъ въ примѣръ художественныя произведенія: „Мертвыя Души“ и „Мертвый Домъ“ **). Такое оправданіе излишне: Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux. ***) Девять десятыхъ русской читающей публики прочли съ удовольствіемъ сочиненіе графа Толстого, и этого довольно. Но напрасно авторъ полагаетъ, будто бы и приведенныя имъ въ примѣръ другія художественныя произведенія, выходящія изъ посредственности, не укладываются въ форму романа, поэмы или повѣсти. Сколько намъ кажется, „Мертвыя Души“ Гоголя—поэма, которой творецъ начерталъ широкою кистью былую, недавно минувшую жизнь Руси и русскаго народа; а „Мертвый Домъ“ Достоевскаго—мрачная хроника, написанная слезами и кровью, далеко оставляющая за собою столь прославленныя „Le mie Prigioni“ Пеллико.

Гораздо труднѣе автору оправдаться въ разногласіи съ историками, при описаніи дѣйствительныхъ событій и въ отверженіи исторіи, которымъ щеголялъ онъ въ своемъ произведеніи. Читая романы Вальтера Скотта, мы сознаемъ, что каждый изъ приводимыхъ имъ фактовъ если и не былъ въ дѣйствительности, то могъ быть: такъ вѣрно понята имъ эпоха, такъ глубоко изслѣдованы имъ характеры лицъ, выведенныхъ имъ на сцену. Его романы кажутся читателямъ достовѣрнѣе, нежели его же „Исторія Наполеона“, въ которой авторъ выказалъ себя болѣе кровнымъ британцемъ, нежели безпристрастнымъ историкомъ. Романы Валь-

*) „Голосъ“ 1868 г., № 129. Статья М. Б. подъ общимъ заглавіемъ: *За и противъ*. Къ этой статьѣ редакция „Голоса“ дѣлаетъ слѣд. оговорку: „Эту замѣтку получили мы отъ одного изъ уважаемыхъ нами военныхъ нашихъ историковъ и печатаемъ ее, какъ дополненіе къ тѣмъ отзывамъ, которые уже были помѣщены въ нашей газетѣ о сочиненіи графа Толстого. *Ред.*

Qui non prohibet cum potest, jubet.

**) „Русскій Архивъ“ 1868 г., № 3-й.

***) „Всѣ роды сочиненій хороши, кромѣ скучнаго“.

тера Скотта поражаютъ насъ своею достовѣрностью. Совершенно иное встрѣчаемъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. Авторъ гнетъ и ломаетъ, какъ вадумается ему, историческіе факты, и даже поступаетъ съ ними такъ безцеремонно безъ всякой надобности для романическаго интереса, а просто изъ желанія сказать что-нибудь новое, ускользнувшее, по его мнѣнію, отъ вниманія историковъ. Въ этомъ не было бы ничего дурного, если-бъ подобное своеобразное обхожденіе съ наукою не вело къ верхоглядству. Но, къ сожалѣнію, найдутся люди, которые предпочтутъ бездоказательное изученіе эпохи императора Александра по „Войнѣ и Миру“ достовѣрнымъ историческимъ изслѣдованіямъ и особенно повѣря на слово даровитому автору, который пишетъ: *„Вездѣ идѣ въ моемъ романѣ (?) говорятъ и дѣйствуютъ историческія лица, я не выдумывалъ, а пользовался матеріалами, изъ которыхъ у меня во время моей работы образовалась цѣлая бібліотека книгъ, заглавія которыхъ я не нахожу надобности выписывать здѣсь, но на которыя всегда могу сослаться“*.

Мы не станемъ защищать ни Тьера ни Данилевскаго, къ трудамъ которыхъ авторъ относится съ такимъ презрѣніемъ *) и которые дѣйствительно были баснописцами въ исторіи; однакожъ, полагаемъ, что оба они пользовались лучшими и болѣе обильными матеріалами, нежели тѣ, которые послужили для сочиненія „Войны и Мира“. Не сомнѣваемся также и въ томъ, что бібліотеки ихъ, по исторической части, богаче и дѣльнѣе, нежели та, которая образовалась во время работы графа Толстого. Какимъ образомъ эти историки пользовались своими матеріалами—это иной вопросъ. Но хотя мы и согласны съ авторомъ „Войны и Мира“ насчетъ несовершенной достовѣрности и отсутствія здравой критики въ трудахъ Данилевскаго и Тьера, однакожъ, все-таки, вѣримъ имъ болѣе, нежели художническому представленію, основанному на историческихъ документахъ, графа Толстого. Иначе намъ довелось бы,

*) „Русскій Архивъ“ 1868 г., № 3

вмѣстѣ съ авторомъ „Войны и Мира“, приписать кавалергардамъ славную атаку конной гвардіи подъ Аустерлицемъ; мы повѣрили бы ему, что Наполеонъ взялъ за ухо прибывшаго къ нему, въ качествѣ довѣреннаго лица отъ російскаго монарха, генераль-адъютанта Балашова *); мы согласились бы съ авторомъ, что, передъ дѣломъ при Шевардинѣ, мы заняли позицію вдоль рѣки Колочи, лѣвымъ флангомъ къ Шевардину, тогда какъ, напротивъ, лѣвый нашъ флангъ стоялъ на семеновскихъ высотахъ, а Шевардино лежитъ въ разстояніи полуторы версты отъ Колочи **); мы стали бы не шутя увѣрять, будто бы въ 1812 году мы не проиграли ни одного сраженія, будто бы при Бородинѣ было вдвое болѣе войскъ, нежели у насъ, и проч...

Если обратимся къ философіи, или, лучше сказать, къ философствованію автора „Войны и Мира“, то не можемъ согласиться съ нимъ ни въ фатализмѣ, перенесенномъ имъ въ область исторіи, ни „въ маломъ значеніи, которое—по словамъ его—имѣютъ такъ называемые великіе люди въ историческихъ событіяхъ.“ Если-бъ графъ Толстой принялъ на себя трудъ внимательно прослѣдить сношенія представителей Россіи и Франціи, императора Александра I и Наполеона—въ Тильзитѣ, въ Эрфуртѣ и послѣ ваграмской кампаніи 1809 года, разразившіеся нашествіемъ двадцати народовъ, то убѣдился бы, что на такой исходъ имѣли первостепенное вліяніе личныя качества обоихъ государей и ближайшихъ къ нимъ лицъ, общественное мнѣніе и экономическое состояніе Россіи и Франціи и дипломатическія отношенія къ нимъ прочихъ государствъ. Авторъ не усомнился бы также въ геніальности великихъ полководцевъ; онъ вспомнилъ бы, что Юлій Цезарь, Тюрень, Фридрихъ Великій, Суворовъ, Наполеонъ были одни изъ просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. Столь же ошибочно поня-

*) Наполеонъ, бесѣдая съ Балашовымъ, взялъ за ухо Коленкура. „А вы что скажете, угодникъ императора Александра?“ сказалъ онъ ему (Подлинная записка генераль-адъютанта Балашова, хранящаяся въ архивѣ главнаго штаба).

**) Въ рапортѣ князю Кутузову графа Сиверса, отъ 26-го сентября 1812 года, за № 248, сказано, что „войска, послѣ дѣла при Шевардинѣ, отошли на прежнюю позицію“, то есть, на семеновскія высоты..

тіе графа Толстого о военномъ дѣлѣ, какъ безусловно вредномъ по своимъ послѣдствіямъ. Конечно, оно таково въ рукахъ завоевателя, считающаго пушечнымъ мясомъ *) сотни тысячъ людей, приносимыхъ въ жертву его ненасытному властолюбію. Но если вѣчный миръ есть не что иное, какъ утопія, если война бываетъ неизбежна, то военное дѣло должно быть тщательно изучаемо въ каждомъ благоустроенномъ государствѣ. Да и самая война—дѣло великое, дѣло священное, когда весь народъ и самъ государь въ челѣ его идутъ на защиту своей родины, колыбелей дѣтей своихъ, могилъ своихъ предковъ. Война 1812 года имѣла такой характеръ. Она оставила неизгладимый слѣдъ въ памяти русскихъ именно потому, что весь народъ, кромѣ нѣсколькихъ выродковъ, принималъ въ ней участіе.

Даровитый авторъ „Войны и Мира“ могъ начертать картину борьбы Россіи со всею Европою и дать въ своемъ твореніи почетное мѣсто народу, а не великосвѣтскимъ героямъ своего романа; онъ могъ, вмѣсто Лаврушки и его пошлой бесѣды съ Наполеономъ, вывести на сцену и старостицу Василису, и храбраго гусара — Дурову и предводителя воиновъ - поселянъ Курина, и священника Скабеева въ челѣ верейской дружины, и Фигнера въ Москвѣ, занятой французами и проч. Но „отъ великаго до смѣшного“ только одинъ шагъ **), и, къ сожалѣнію, мы находимъ подтвержденіе этого афоризма въ послѣднемъ сочиненіи графа Толстого.

„Голосъ“. Статья М. Б.

* * *

Замѣтка по поводу Бородинскаго сраженія ***).

Въ фельетонѣ „Голоса“ 23-го марта, № 83-й, помѣщенъ разборъ романа „Война и Миръ“. Говоря о Бородинскомъ

*) „Chair à canon“—выраженіе Наполеона.

**) „Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas“, слова сказанныя Наполеономъ аббату Прадгу, при прозвѣдѣ черезъ Варшаву, въ концѣ 1812 года.

***) „Голосъ“ 1868 г., № 129. Статья И. Липранди.

сраженіи, почтенный фельетонистъ *), приведя изъ IV тома помянутой книги слова: „давая и принимая бородинское сраженіе, *Кутузовъ и Наполеонъ поступили произвольно и безсмысленно*, присовокупляетъ: дѣйствительно, описать въ точности, какъ происходила бородинская битва—дѣло если не совсѣмъ невозможное, то чрезвычайно трудное: доказательство — генераль Липранди, который исписалъ цѣлые томы критическихъ статей объ отечественной войнѣ и о *бородинской битвѣ*, посвятилъ этой битвѣ огромное изсѣдованіе въ „*Чтеніяхъ исторіи и древностей російскихъ*“ за 1866 годъ, и все-таки не далъ яснаго понятія объ общемъ ходѣ сраженія, и т. д.

Въ приведенныя строки вкралось, по крайней мѣрѣ, недоразумѣніе. Я никогда и не думалъ излагать *общаго хода этого сраженія*, и всегда думалъ, какъ и почтенный фельетонистъ, что дѣло это „если не совсѣмъ невозможное, то чрезвычайно трудное“, въ чемъ онъ можетъ убѣдиться, изъ цитованной имъ же книжки: „Матеріалы отечественной войны 1812 года“, гдѣ въ статьѣ, за 10 лѣтъ передъ симъ напечатанной, на стр. 84-й сказано, что: „точное описаніе ея (бородинской битвы) есть мемфисскій или критскій лабиринтъ Дедала, въ которомъ не одинъ ученый заблудится, если, не участвовавъ въ битвѣ, возмечтаетъ опредѣлить только одни моменты, чтобъ ясно показать ихъ вліяніе на общій ходъ сраженія и его исходъ“. Я думалъ, что до яснаго изложенія этой битвы гигантовъ, какъ назвалъ ее Наполеонъ, можетъ достигнуть только общество, а не одинъ человекъ и еще менше—я, въ чемъ легко убѣдиться въ той же книгѣ, еще и на страницахъ 13, 16, 25 и 46-й; нигдѣ не найдетъ онъ съ моей стороны и *помысла* къ подобному предпріятію.

Это же говорилъ я и гораздо прежде **). Говорилъ тоже

*) Хотя противъ приписыванія мнѣ небывалаго можно было бы и не возражать; но какъ здѣсь дѣло идетъ не о томъ, что *исписанные мною томы ничто не доказали*, о чемъ можетъ судить каждый, но здѣсь есть какъ бы намекъ на самостоятельность мою въ томъ, о чемъ *говорю*.

**) Нѣкоторыя замѣчанія, почерпнутыя преимущественно изъ иностранныхъ источниковъ, о дѣйствительныхъ причинахъ гибели Наполеоновыхъ полчищъ въ 1812 году. Спб. 1855.

самое и въ 1866 году, въ „Чтеніяхъ“, на которыя указываетъ *) и именно на стр. 26-й сказано, „что предлагаемая книга не что иное, какъ одинъ только опытъ распредѣленія иноземныхъ повѣствователей по предметамъ и согласованія разнорѣчій, которыми переполнены всѣ сказанія о войнѣ 1812 года“. Далѣе (стр. 49-я), изложивъ мнѣніе извѣстныхъ лицъ о томъ, что нѣтъ еще правдиваго и отчетливаго описанія войны 1812 года, собственно о бородинскомъ сраженіи, говорю: „Я не принимаю на себя описывать эту историческую битву; для сего нужно другое перо, нужны другія способности“.

Изъ всего вышеприведеннаго и многихъ другихъ мѣстъ видно, что приписываемая мнѣ неудача—*дать ясное понятіе объ общемъ ходѣ сраженія*—произошла по самой простой причинѣ, и именно по той, что я никогда и не думалъ брать на себя эту обязанность, а обрабатывалъ только отдѣльные эпизоды и настолько, насколько требовалось, и потому поклепъ на меня не основателенъ, несправедливъ.

Далѣе читается въ фельетонѣ: „г. Жуковъ, въ недавно-вышедшей 4-й книгѣ „Чтеній общества исторіи и древностей російскихъ“, за минувшій годъ, очень основательно доказываетъ, что Барклай не имѣлъ никакого опредѣлительнаго плана для отступленія, что, повинаясь голосу „общественнаго мнѣнія, онъ готовъ былъ бы сразиться съ непріятелемъ, но вынужденъ былъ отступать естественною необходимостью, подобно тому, какъ вынужденъ былъ отступать и самъ Кутузовъ. И опять присовокупилъ: „то же находимъ и въ многочисленныхъ критическихъ статьяхъ генерала Липранди, собранныхъ имъ нынѣ въ одну книжку, подъ общимъ заглавіемъ: *Матеріалы для отечественной войны 1812 года*“.

Ссылаюсь и здѣсь на все мною писанное съ 1832 года объ отечественной войнѣ. Нигдѣ не говорилъ я относительно тѣхъ или другихъ „опредѣленныхъ или неопредѣлен-

*) Это составило особую книгу (въ XLIX и 314 страницъ убористой печати): „Кому и въ какой степени принадлежитъ честь бородинскаго дня“.

имѣ плановъ кампаній“. Въ трудахъ моихъ я такъ далеко не заходилъ, какъ потому, что, не признавая въ себѣ достаточно способности на такое дѣло, не брался и судить о томъ, что не по силамъ, чего, можетъ быть, вполне и не понималъ. Словомъ, какъ на службѣ, такъ и внѣ оной, предпринималъ только то, что признавалъ доступнымъ моимъ силамъ, понятіямъ и средствамъ. Во-вторыхъ, какъ частный человѣкъ, и не могъ имѣть доступа до тѣхъ матеріаловъ, которые были бы необходимы для такого изложенія, а ограничивался, повторяю, только очищеніемъ эпизодовъ отъ нелѣпостей, указаніями на противорѣчія и тому подобные второстепенные промахи, какъ иноземныхъ, такъ и нашихъ повѣствователей. То же самое встрѣтить и въ печатаемыхъ уже замѣчаніяхъ моихъ на „Исторію отечественной войны 1812 года“, въ которыхъ несравненно болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, распространяюсь о бородинскомъ сраженіи, и тутъ почтенный критикъ-фельетонистъ ничего не найдетъ подобнаго тому, что ему казалось въ цитованныхъ имъ моихъ статьяхъ: онъ встрѣтитъ ту же критическую обработку эпизодовъ, которая можетъ облегчать только историка, принявшего на себя трудъ для изложенія *хода бородинскаго сраженія*.

Наконецъ, такъ какъ книга графа Льва Николаевича Толстого „Война и Миръ“, послужила поводомъ къ настоящему моему возраженію на вкравшееся недоразумѣніе, то нахожу нелишнимъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ, по моему мнѣнію, замѣчательномъ твореніи. Возьму эпизодъ бородинской битвы, подавшей поводъ почтенному фельетонисту назвать и меня. Графъ упрекается, между прочимъ, и въ томъ, что многое, имъ сказанное, несогласно съ исторіей! Но въ исторіи, въ строгомъ смыслѣ значенія ея, въ настоящее время, можетъ быть, и рано еще дѣлать тѣ вѣрные очерки о многихъ личностяхъ (а такихъ очерковъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ очень много), которые, подъ эгидой—„романа“, говорятъ многое, а это-то многое можетъ послужить къ разъясненію и очень многого. Не мѣсто здѣсь, да и особенно мнѣ, какъ дѣятелю въ описываемую эпоху, разбирать

критически изложенное въ романѣ; но думаю, что если-бъ въ этомъ случаѣ романъ и дѣйствительно грѣшилъ противъ исторіи, то это еще не бѣда. Другое дѣло, когда исторія той эпохи впустить „романъ“ на свои строки, да еще и не такъ увлекательно рассказанный: а, вѣдь, мы не изъяты отъ такихъ тяжкихъ грѣховъ.

„Голосъ“ за 1868 г. Статья И. Липранди.

* * *

*) Вышедшее въ настоящемъ году сочиненіе графа Толстого „Война и Миръ“ было прочитано, можно сказать, всею читающею русскою публикою. Высокая художественность этого произведенія и объективность взгляда автора на жизнь, столь мало знакомая русской публикѣ по произведеніямъ нашихъ беллетристовъ, произвели обаятельное впечатлѣніе. Художникъ-авторъ сумѣлъ совершенно овладѣть умомъ и вниманіемъ своихъ читателей и заставилъ ихъ интересоваться глубоко всѣмъ, что онъ изобразилъ въ своемъ произведеніи. Но публика, увлеченная художественностью, желала, конечно, яснѣе знать, что именно такъ обаятельно въ сочиненіи графа Толстого. Естественно, публика искала объясненія этого впечатлѣнія въ критическихъ отзывахъ нашихъ журналовъ. Въ какомъ же смыслѣ высказались наши журнальные рецензенты о произведеніи графа Толстого. Никто изъ нихъ, конечно, не отрицалъ художественности произведенія, потому что она уже слишкомъ осязательна, но всѣ они, какъ подъ диктовку, осудили графа Толстого за его объективность, т. е. именно за источникъ художественности и источникъ возвышенности взглядовъ, потому что возвышенность и глубина взгляда зависятъ вообще отъ той степени отвлеченія и объективированія, какая бываетъ доступна писателю; низменность же взглядовъ зависитъ лишь отъ безсилія возвыситься надъ фактами и обозрѣть ихъ, такъ сказать, съ птичьяго полета. Графъ Толстой, какъ

*) „Русско-Славянскіе Отголоски“ 1868 г., № 2 (Общественныя замѣтки. „Философія нашихъ критиковъ по поводу „Войны и Мира“ гр. Толстого“).

извѣстно, описывалъ въ повѣствовательной формѣ историческія событія въ нашемъ отечествѣ въ началѣ настоящаго столѣтія. Матеріалъ для художественнаго произведенія громадный, хотя и недоступный. Имѣя дѣло не съ отдѣльными личностями или характерами въ ихъ частномъ быту, а захватывая и жизнь политическую и общественную въ весьма широкомъ смыслѣ слова, авторъ, какъ мыслитель, не могъ не оживить всей этой движущейся и оживленной картины общимъ взглядомъ на тѣ причины, которыя приводили въ движеніе описываемую имъ жизнь. Повторяемъ, что авторъ носилъ въ своемъ воображеніи цѣлую эпоху, исполненную движенія, переворотовъ, случайностей, блеска и вмѣстѣ съ тѣмъ поразительнаго ничтожества; какъ мыслитель онъ искалъ въ своемъ умѣ уясненія общаго закона, по которому иногда изъ случайныхъ явленій слагались неожиданные результаты, а иногда изъ сложныхъ и продуманныхъ предположеній и плановъ не выходило ровно ничего. Надъ исторіей человѣчества задумывались всѣ умы, которые оставили по себѣ слѣдъ въ исторіи человѣческой мысли. Существуетъ много философско-историческихъ системъ, которыя можно подраздѣлить на теологическія, метафизическія и фیزیологическія. Системы эти, различно изъясняя сущность законовъ, управляющихъ судьбами исторіи, всѣ, однако, сходятся въ томъ, что законы эти суть правильные и неизмѣнные, что въ жизни человѣчества, такимъ образомъ, нѣтъ ничего случайнаго, зависящаго непосредственно отъ человѣческой воли; что всѣ идеи, которыя, повидимому, рождаются въ умахъ людей, суть не болѣе, какъ естественное и необходимое послѣдствіе предшествовавшихъ имъ явленій. Если провѣрить строгимъ научнымъ путемъ открытія и изобрѣтенія, которыя приписываются обыкновенно человѣческому уму, то мы увидимъ, что въ этихъ изобрѣтеніяхъ есть строгая послѣдовательность и никакое открытіе въ наукѣ не можетъ послѣдовать прежде, нежели будутъ извѣстны факты, на которые опирается новое открытіе. Такимъ образомъ, дѣлается несомнѣннымъ, что самая свободная сила человѣка, его геній, дѣйствуетъ по точнымъ законамъ, и ничего не

можетъ совершить внѣ этихъ законовъ. Взглядъ этотъ вполнѣ оказывается приложимымъ къ изъясненію той или другой исторической эпохи, и начиная отъ самыхъ крупныхъ фактовъ исторіи и до самыхъ мелкихъ явленій, постоянство и непреложность историческаго закона дѣлается несомнѣннымъ. Но, признавъ въ принципѣ непреложность историческихъ законовъ, естественно, не представляется уже никакой логической важности относиться и къ отдѣльнымъ явленіямъ, руководясь какимъ-либо другимъ принципомъ. Если законъ всеобщъ, то его присутствіе и вліяніе распространяется уже на всѣ факты, изъ которыхъ складывается историческая эпоха.

Авторъ „Войны и Мира“, какъ объективный художникъ и мыслитель, не могъ отрѣшиться отъ взгляда на исторію, выработаннаго къ чести нашего вѣка великими умами, которыми можетъ гордиться человѣчество. Если бы онъ писалъ, напр., исторію цивилизаціи Россіи, или исторію какой-нибудь древней эпохи, то онъ, конечно, развилъ бы свой взглядъ систематически и, можетъ быть, наши рецензенты поняли бы мыслителя; въ настоящемъ же сочиненіи авторъ имѣлъ дѣло съ событіями, свидѣтели коихъ еще живы, и съ лицами, къ которымъ общество не привыкло относиться безпристрастно. Кромѣ того, въ художественномъ произведеніи могли быть умѣстны философскіе взгляды только въ формѣ художественной, т. е. въ образахъ и положеніяхъ. Задача безспорно весьма трудная—ловить на лету явленія, изображать ихъ во всей жизненной полнотѣ ихъ и съ тѣмъ вмѣстѣ проникать въ ихъ внутренній смыслъ и указывать на отдѣльныя причины, отъ которыхъ эти явленія исходятъ, и на результаты, производимыя ими. Особенность литературнаго таланта графа Толстого состоитъ именно въ образности, колоритности, полнотѣ изображенія, въ способности глубоко проникать въ смыслъ явленій и вмѣстѣ съ тѣмъ въ необыкновенной простотѣ и силѣ. Конечно, провести въ литературной формѣ философскій взглядъ о непреложности и общности историческаго закона и подмѣчать дѣйствіе этого закона на явленія единичныхъ, мелкихъ, и

вообще выразить въ художественной формѣ весь внѣшній объемъ и внутреннее содержаніе явленій, было крайне трудно; но отъ этого не можетъ еще измѣняться взглядъ на законы исторіи, и не понять, такъ сказать, необходимости, по которой явленія, подѣ влияніемъ взгляда автора, не могли быть объясняемы иначе, какъ онѣ объясняются въ романѣ, — по нашему мнѣнію, значило просто не имѣть достаточнаго знакомства съ современнымъ состояніемъ философской мысли и исторической науки. Когда императоръ Наполеонъ III выпустилъ своего знаменитаго „Юлія Цезаря“, то весь міръ, не исключая и нашихъ рецензентовъ, хохоталъ надъ философско-историческими воззрѣніями историка Юлія Цезаря. По системѣ императора французовъ, судьбами человѣчества управляютъ геніальные люди, въ родѣ Юлія Цезаря, Наполеона I и, уже разумѣется, Наполеона III, и что людей этихъ посылаетъ Провидѣніе для того, чтобы они двигали исторію человѣчества. Для всѣхъ ясна была цѣль этой философской системы, и всѣ лишь смѣялись надъ ней, оставляя ее просто безъ всякой критики; теперь же наши рецензенты осуждаютъ графа Толстого именно за то, что онъ въ философіи исторіи не пошелъ по стопамъ Наполеона III, а явился объективнымъ мыслителемъ, признающимъ постоянство и непреложность историческаго закона. На языкѣ нашихъ рецензентовъ это называется фатализмомъ, и за него они осуждаютъ даровитаго автора. Г. Ахшарумовъ находитъ даже взглядъ этотъ вреднымъ потому, что онъ отнимаетъ будто бы всякій смыслъ и значеніе свободныхъ дѣйствій человѣка. Такимъ образомъ, критикъ, занимавшійся разборомъ нѣкоторыхъ произведеній нашей литературы, по порученію академіи, ставитъ пользу какъ критерій философской истины. Если бы одинъ г. Ахшарумовъ явился съ подобнымъ взглядомъ, то мы были бы не въ правѣ придавать этому обстоятельству, какъ случайному, широкаго значенія; но наши журналы почти всѣ отзывались о сочиненіи графа Толстого подобно г. Ахшарумову. Въ „Голосѣ“ (№ 129) помѣстилъ въ томъ же смыслѣ отзывъ о сочиненіи графа Толстого даже авторитетный военный

историкъ М. Б., какъ это видно изъ примѣчанія, сдѣланнаго редакціею. Извлекаемъ изъ этой статьи нѣсколько строкъ, которыя, по нашему мнѣнію, составляютъ драгоцѣнный перлъ, по которому мы можемъ познать съ очевидностію упадокъ русской мысли и низкій уровень нашей философской эрудиціи. Вотъ что говоритъ одинъ изъ военныхъ нашихъ историковъ: „Если обратимся къ философіи, или, лучше сказать, къ философствованію автора „Войны и Мира“, то не можемъ согласиться съ нимъ ни въ фатализмъ, перенесенномъ имъ въ область исторіи, ни въ маломъ значеніи, которое—по словамъ его—имѣютъ такъ называемыя великіе люди въ историческихъ событіяхъ. Если-бъ графъ Толстой принялъ на себя трудъ внимательно прослѣдить сношенія представителей Россіи и Франціи, императора Александра I и Наполеона—въ Тильзитѣ, въ Эрфуртѣ и послѣ ваграмской кампаніи 1809 года, разразившейся нашествіемъ двадцати народовъ, то убѣдился бы, что на такой исходъ имѣли первостепенное вліяніе личныя качества обоихъ государей и ближайшихъ къ нимъ лицъ, общественное мнѣніе и экономическое состояніе Россіи и Франціи и дипломатическія отношенія къ нимъ прочихъ государствъ. Авторъ не усумнился бы также въ геніальности великихъ полководцевъ; онъ вспомнилъ бы, что Юлій Цезарь, Тюрень, Фридрихъ Великій, Суворовъ, Наполеонъ были одни изъ просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени“.

Такимъ образомъ, военный историкъ заставляетъ графа Толстого обратиться за философскими воззрѣніями на исторію къ дипломатической перепискѣ, къ военнымъ диспозиціямъ и т. п. Замѣтка г. М. Б., по нашему мнѣнію, верхъ совершенства. Это философія генеральнаго штаба, философія военного артикула; какъ же требовать, чтобы философствующая свободная мысль и наука придерживались этихъ утилитарныхъ или служебныхъ философскихъ взглядовъ? Мы думаемъ, что г. М. Б. написалъ въ этой статьѣ критику не на сочиненіе графа Толстого, а на всѣ свои уже написанныя и будущія историческія сочиненія; онъ осудилъ самъ себя военнымъ судомъ.

Если такое пониманіе высшихъ предметовъ мышленія имѣетъ мѣсто въ нашей періодической печати, руководящей общественной мыслью и сознаниемъ, то что же должно быть въ самой общественной средѣ?...

„Русско-Славянскіе отголоски“.

* * *

*) Подобно большинству публики, мы съ нетерпѣніемъ ожидали четвертый томъ „Войны и Мира“. Мы предполагали въ этомъ томѣ встрѣтить еще болѣе интереса, чѣмъ въ предыдущихъ, потому что въ немъ авторъ вводитъ своихъ героевъ въ полный великими событіями двѣнадцатый годъ. Подъ перомъ такого романиста, какъ графъ Толстой, думали мы, передъ нами воскреснетъ цѣлый рядъ художественныхъ картинъ знаменательной эпохи, — картинъ, наглядно и послѣдовательно раскрывающихъ сущность и подробности исторической борьбы, представляющей во многихъ отношеніяхъ колоссальною и необыкновенною. Прочтеніе настоящаго тома оставило въ насъ впечатлѣніе, несоотвѣтствующее тѣмъ ожиданіямъ, какія мы имѣли. Графъ Толстой является въ этомъ томѣ только отчасти романистомъ. Соскучившись ролью правдиваго художника (которою онъ единственно и можетъ быть интересенъ для публики и которая стяжала ему полное вниманіе послѣдней), авторъ „Войны и Мира“ выступаетъ въ романѣ философомъ и критикомъ историческихъ и военныхъ событій. Въмѣсто цѣльныхъ картинъ, обрисовывающихъ удивительныя событія эпохи, онъ даетъ намъ только отрывки ихъ, и притомъ зачастую обработанные небрежно и торопливо. Объ общей связи между этими отрывками гр. Толстой не прилагаетъ заботъ и, взявъ ея, выставляетъ всюду свои философскія мысли объ историческихъ событіяхъ и свои критическіе взгляды, направленные противъ военной науки. Увлеченіе личными взглядами доводитъ даровитаго писателя до того, что онъ почти забываетъ своихъ героевъ и въ настоящемъ

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г., № 86. Библиографія. Ст. Z. (В. Буревина). „Война и Миръ“. Соч. гр. Л. Н. Толстого. Томъ IV.

томъ не даетъ никакого существеннаго развитія ихъ характерамъ и положеніямъ. По нашему мнѣнію, обвинять гр. Толстого за то, что онъ въ четвертомъ томѣ поступаетъ исполнѣ несогласно съ эстетическими требованіями художественнаго произведенія не слѣдуетъ, и подробно указывать явные недостатки этого тома въ семь отношеніи мы не будемъ. „Войну и Миръ“ самъ авторъ не призналъ романомъ, и отступленія его отъ обычныхъ условій видимы для всякаго, даже и не особенно внимательнаго читателя. Точно также можно было бы оставить совершенно въ сторонѣ и философскія воззрѣнія автора, какъ не представляющія, по своему внутреннему достоинству, большого значенія, и остановиться только на томъ „дѣлѣ“, какое есть въ четвертомъ томѣ, если-бъ, къ сожалѣнію, романистъ не подладили многое въ своемъ разсказѣ помянутымъ воззрѣніямъ. Это послѣднее обстоятельство заставляетъ насъ обратить вниманіе на философію графа Толстого и сдѣлать нѣкоторую оцѣнку этой философіи, забравшейся въ романъ въ ущербъ художественной правдѣ. Графъ Толстой признаетъ неизбѣжность фатализма въ исторіи. По его мнѣнію, историческія событія совершаются потому, что они должны были совершиться по чьимъ-то высшимъ соображеніямъ, и отнюдь не обуславливаются участіемъ въ нихъ человѣческой воли. „Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ: жизнь личная, которая тѣмъ болѣе свободна, чѣмъ отвлеченнѣе ея интересы, и жизнь стихійная, роевая, гдѣ человѣкъ неизбѣжно исполняетъ предписанные ему законы. Человѣкъ сознательно живетъ для себя, но служить безсознательнымъ орудіемъ для достиженія историческихъ, общечеловѣческихъ цѣлей“. Въ приведенныхъ нами фразѣхъ заключается вся сущность теоріи автора. По этой теоріи, исторія является чѣмъ-то существующимъ отдѣльно отъ человѣка, существующимъ само по себѣ и само для себя. Каждая личность, какъ она ни бейся, куда не устремляй свою дѣятельность и свои усилія, въ концѣ концовъ все-таки оказывается ни больше ни меньше, какъ однимъ изъ миллионовъ жалкихъ композиторовъ, сочиняющихъ свою собственную музыку на колоссальное либретто,

заранѣе уже написанное исторіей. Какимъ-бы своеобразнымъ вдохновеніемъ ни обладалъ тотъ или другой композиторъ, во всякомъ случаѣ ему придется вдохновляться только на данныя темы, и такимъ образомъ общій характеръ музыки, несмотря на безчисленное разнообразіе композиторовъ, будетъ заключать въ себѣ непремѣнно цѣлое, подходящее къ „предопредѣленному предвѣчно“ либретто. Теорія эта не только не оригинальна и не нова, но даже и брошена въ исторической наукѣ. Она основана на мистической философіи, въ наши дни окончательно порѣшенной, и можетъ прельщать развѣ только поэтовъ и романистовъ, такъ какъ представляетъ обширное поле для построения выводовъ, основанныхъ единственно на таинственныхъ фразахъ, какъ это мы ясно видимъ изъ примѣра, представляющагося намъ въ авторѣ „Войны и Мира“. Если разобрать внимательно фразы, выдаваемые авторомъ за философію, то отъ этихъ фразъ останется весьма немного. Если каждый *индивидуумъ сознательно и свободно* живетъ личною жизнью, если эта личная жизнь зависитъ хотя бы долею отъ него, и не соображается ни съ какою предварительно написанною программой, то человѣчество (какъ сумма индивидуумовъ) въ своей „роевой“, общей исторической жизни слѣдуетъ тому же сознательному и свободному стремленію, и управляется отнюдь не „предопредѣленными“ законами, а единственно только тѣми, которые, выражаясь словами одного писателя, „образуются совокупностью тысячи условій, необходимыхъ и случайныхъ, да волей человѣческой, придающей неожиданныя драматическія развязки и *cours de théâtre*“. Но графъ Толстой, увлекаясь своими фразами, не желаетъ сознавать этой простой истины, и предпочитаетъ въ этомъ мірѣ для людей роль куколъ или колесъ въ машинѣ, управляемой мистическою силой. Поэтому для великихъ историческихъ событій онъ не признаетъ ближайшихъ причинъ, ихъ порождавшихъ, и, отвлекаясь за поискомъ отдаленныхъ, первоначальныхъ, доходитъ до предопредѣленія; а великихъ историческихъ личностей, стоявшихъ во главѣ тѣхъ силъ, которыя выдвигали подобныя событія, признаетъ не больше,

какъ ярлыками, дававшими событіямъ только наименованіе и менѣе всего имѣвшими дѣйствительной связи съ ними. До какихъ курьезныхъ мыслей доходить графъ Толстой въ своей фаталистической теоріи, читатель можетъ видѣть изъ слѣдующаго разсужденія: „Когда созрѣло яблоко и падаетъ—отчего оно падаетъ? Оттого-ли, что тяготѣетъ къ землѣ, оттого-ли, что засыхаетъ стержень, оттого-ли, что сушится солнцемъ, что тяжелѣетъ, что вѣтеръ сотрясаетъ его, оттого-ли, *что стоящему внизу мальчику хочется съѣсть его?*“ Безъ всякаго сомнѣнія, даже и нехитрый умъ догадается отвѣтить на эти вопросы, что упасть яблоко можетъ отъ первыхъ пяти дѣйствительныхъ причинъ, а отнюдь не отъ шестой, мистической, никоемъ образомъ въ число причинъ паденія яблока не идущей. Но не такъ умозаключаетъ графъ Толстой. Онъ говоритъ: „Ничто не причина. Все это только совпаденіе тѣхъ условій, при которыхъ совершается всякое жизненное, органическое, стихійное событіе. И тотъ ботаникъ, который найдетъ, что яблоко падаетъ оттого, что клѣтчатка разлагается и тому подобное, *будетъ такъ же правъ, какъ и тотъ ребенокъ, стоящій внизу, который скажетъ, что яблоко упало оттого, что ему хотѣлось съѣсть его, и что онъ молился объ этомъ*“. Милое измышленіе, читатель, не правда ли? Столь же забавнымъ и въ такой же мѣрѣ пахнущимъ мистицизмомъ и школьнымъ глубокомысліемъ является гр. Толстой въ своихъ сужденіяхъ о настоящей причинѣ войны двѣнадцатаго года. Тутъ онъ ставитъ столько *если бы* и *если бы*, не обусловливающихъ никакого правильнаго вывода изъ нихъ, что кажется, будто почтенный авторъ шутить, а не серьезно рѣшаетъ одинъ изъ серьезнѣйшихъ историческихъ вопросовъ. „Ежели бы Наполеонъ не оскорбился требованіемъ отступить за Вислу, и не велѣлъ наступать войскамъ, не было бы войны; но ежели бы всѣ сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интригъ Англіи и принца Ольденбургскаго, и чувства оскорбленія въ Александрѣ, и не было бы самодержавной власти въ Россіи, и не было бы француз-

ской революціи“ и т. д. Авторъ могъ бы прибавить къ численному имъ *если бы* гораздо болѣе существенныя, напримѣръ: *если бы* не было геологическаго переворота, образовавшаго воды и выдвинувшаго на немъ островъ Корсику, на которомъ родился Наполеонъ, то войны тоже не могло бы быть, и причислить этотъ переворотъ къ числу отдаленнѣйшихъ поводовъ къ событіямъ двѣнадцатаго года, поставить его въ „милліардъ“ причинъ, совпавшихъ для того, „чтобъ произвести то, что было“. Тогда онъ могъ бы еще съ большею торжественностью сдѣлать свой окончательный выводъ: „и слѣдовательно, ничто не было причиной событія, а событіе должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться“.

Какъ ни забавна, какъ ни странна подобнаго рода философія, но графу Толстому она до того понравилась, что онъ на основаніи ея представилъ въ своемъ романѣ Наполеона не сильной личностью, порождавшей событія или, по крайней мѣрѣ, управлявшей (до нѣкоторой степени, разумѣется,) ихъ ходомъ, а какимъ-то жалкимъ пошлякомъ, не только не понимавшимъ своихъ стремленій, но въ сущности даже никакихъ стремленій не имѣвшимъ. Мы понимаемъ, что можно, съ извѣстной точки зрѣнія, признавать Наполеона явленіемъ далеко неотраднымъ, можно почитать его за великаго деспота, если угодно, даже за злодѣя. Но чего никакимъ образомъ нельзя отнять у его образа—это, во-первыхъ, необычайной силы, во-вторыхъ, глубоко-трагическаго характера его судьбы. Признать личность Наполеона мелкою и пошлою, владѣвшею людьми единственно посредствомъ хлестаковской беззащитности въ обращеніи съ ними—это значило бы признать цѣлое поколѣніе эпохи, героемъ которой былъ онъ, поколѣніемъ идиотовъ. Признать личность Наполеона, его замыслы и подвиги только по наружности носившими на себѣ колоссальный и серьезный характеръ, а въ существѣ дѣла комическими и мелкими,—это значить цѣлый рядъ знаменательныхъ историческихъ событій низвести на степень жалкой и смѣшной пародіи. Но графъ Толстой, руководимый тою мыслию, что Напо-

леонъ въ историческихъ событіяхъ игралъ роль пѣшки, переставляемой на шахматной доскѣ жизни народовъ неизвѣстною чьею-то рукою, сумѣлъ „возвыситься“ до подобнаго пониманія Наполеона, и именно старается представить его личность ничтожною, хотя, помимо воли автора, подобное представленіе не вполне удастся ему, и посредственное творчество художника графа Толстого мѣстами никакъ не можетъ подладиться подъ ошибочныя и ложныя воззрѣнія теоретика графа Толстого.

И какимъ же приѣмомъ производитъ авторъ „Войны и Мира“ разоблаченіе Наполеона изъ героя въ пошляка? Онъ придаетъ ему характеръ обыкновенности рисовкою будничныхъ привычекъ, выставленіемъ его мелочнаго тщеславія въ обращеніи съ окружающими и т. п. Такъ, напримѣръ, авторъ представляетъ наканунѣ бородинскаго сраженія сцену вытиранія императора щетками и опрыскиванія одеколономъ и слѣдующее затѣмъ одѣваніе. Описываніемъ подобныхъ подробностей, графъ Толстой думаетъ, по всей вѣроятности, низвести Наполеона изъ сана великаго человѣка на степень обыкновеннаго смертнаго, и, разумѣется, не достигаетъ этой цѣли. Но пусть бы авторъ отнималъ у Наполеона значеніе выдающагося изъ ряда обыкновенныхъ личностей человѣка, вѣтъ, онъ идетъ еще далѣе, и отрицаетъ въ немъ даже военный геній. Для этой цѣли графъ Толстой создаетъ особую теорію, по которой успѣхъ битвъ обуславливается отнюдь не стратегическими соображеніями и распоряженіями полководцевъ, а зависитъ единственно отъ дерущихся солдатъ. „Хорошему полководцу“, такъ заставляеть графъ Толстой разсуждать героя „Войны и Мира“ Болконскаго, „не только генія и какихъ-нибудь качествъ не нужно, но, напротивъ, ему нужно отсутствіе самыхъ высшихъ и лучшихъ человѣческихъ качествъ — любви, поэзіи, нѣжности, философскаго пытливаго сомнѣнія. Онъ долженъ быть ограниченъ, твердо увѣренъ въ томъ, что то, что онъ дѣлаетъ, очень важно (иначе у него не достанетъ терпѣнія), и тогда только онъ будетъ храбрый полководецъ. Избави Богъ, коли онъ—человѣкъ, полюбитъ кого-

нибудь, пожалѣть, подумаетъ о томъ, что справедливо и что нѣтъ. Повятно, что изстари еще для нихъ поддѣляли теорію геніевъ, потому что они—власть. Заслуга въ успѣхъ военнаго дѣла зависитъ не отъ нихъ, а отъ того человека, который въ рядахъ закричитъ: *пропали*, или закричитъ: *ура!* И только въ этихъ рядахъ можно служить съ увѣренностью, что ты полезенъ!“ Приведенная тирада князя Болконскаго совершенно совпадаетъ со взглядомъ самого графа Толстого на значеніе военныхъ геніевъ, и можетъ быть рассматриваема какъ личное мнѣніе автора. Въ этомъ мнѣніи, конечно, есть доля справедливости. Война сама по себѣ — явленіе, принадлежащее къ категоріи тѣхъ, которыя, съ высшей точки зрѣнія, признаются зломъ, и весьма естественно, что военные геніи, чтобъ быть сильными дѣятелями въ своей сферѣ, должны обладать качествами, противоположными любви, нѣжности, поэзіи, философскаго пытливаго сомнѣнія и т. п. Великіе полководцы, конечно, могутъ писать плохіе стихи (какъ, напримѣръ, Фридрихъ II), могутъ имѣть мало склонности къ семейнымъ наслажденіямъ (которыя, замѣтитъ мимоходомъ, для автора „Войны и Мира“, какъ мыслителя, стоятъ выше всего въ мірѣ и составляютъ исходъ и цѣль всѣхъ жизненныхъ стремленій и сомнѣній), могутъ, наконецъ, быть дурными метафизиками. Но отсутствіе въ нихъ всѣхъ исчисленныхъ качествъ отнюдь не совпадаетъ съ ограниченностью. Напротивъ, сколько говорятъ факты, всѣ геніи военнаго дѣла отъ Александра Македонскаго до Фридриха и Наполеона были людьми, которыхъ мыслительныя способности превышали, по всей вѣроятности, способности дюжины поэтовъ, нѣжныхъ отцовъ семейства, метафизиковъ, и т. п. добродѣтельныхъ смертныхъ, не беспокоившихъ міръ никакими военными программами. Увѣренность въ важности своего дѣла—это качество необходимое для дѣятельности всякаго генія, въ какой бы сферѣ онъ ни проявилъ себя, и это качество—почтенное, благодаря которому геній совершаетъ великія дѣла. Что касается до ничтожества значенія полководцевъ относительно успѣха битвъ, то какія бы оригинальныя умствованія и спеціальныя доказательства

ни приводилъ графъ Толстой на этотъ счетъ (онъ, какъ увидимъ ниже, приводитъ бездну подобныхъ доказательствъ, описывая бородинское сраженіе), противъ этихъ умствованій говорятъ историческіе факты. Въ чемъ состоитъ сущность успѣха сраженія—въ искусствѣ ли начертать предварительный общій планъ его, въ умѣннѣ ли воодушевить войска, чтобъ въ нихъ именно появились тысячи рядовыхъ, кричащихъ то *ура*, которое рѣшаетъ, по мнѣнію автора „Войны и Мира“, успѣхъ — это все равно. Фактъ тотъ, что войска и битвы безъ вождей не могутъ обходиться, и что одни изъ этихъ вождей отличались способностью одерживать побѣды, и признаны были за такую способность гениальными полководцами, а другіе ею не отличались. Возражать противъ подобнаго факта можно только ради оригинальности, или ради приверженности къ мистической теоріи, по которой арміями и побѣдами управляютъ неестественныя силы.

Оставляя въ сторонѣ философію графа Толстого, чувствуешь себя въ четвертомъ томѣ на болѣе твердой почвѣ, и становишься въ отношеніи къ автору болѣе довѣрчивымъ. Съ первыхъ же словъ, какъ ни старается авторъ ироническимъ отношеніемъ къ Наполеону уронить его, является между дѣйствіями этого послѣдняго и дѣйствіями съ нашей стороны нѣкоторая противоположность, говорящая отнюдь не въ пользу пошлости и ничтожности Наполеона. Въ то время, какъ онъ, окруженный войскомъ, полнымъ вѣры въ него и фанатизированнымъ почти до обожанія своего вождя, дѣлаетъ рѣшительный шагъ впередъ, русскіе беззаботно остаются въ Вильнѣ. Извѣстія о переходѣ французами Нѣмана получаютъ на блестящемъ балѣ. Балъ этотъ введенъ авторомъ мимоходомъ и едва очерченъ. Государь, оскорбленный поступкомъ Наполеона, посылаетъ къ нему Балашова съ извѣстнымъ письмомъ. Сцена пріема Балашова Наполеономъ и затѣмъ слѣдующая за нею, въ которой описывается послѣбѣденная бесѣда Наполеона съ русскимъ генераль-адъютантомъ, принадлежать къ лучшимъ страницамъ романа. Несмотря на затаенное желаніе выставить

Наполеона тщеславнымъ и ограниченнымъ человѣкомъ, художникъ графъ Толстой невольно проговаривается, и Наполеонъ рисуется далеко не согласно съ философіей автора. Онъ является человѣкомъ, привыкшимъ выказывать свою силу, — человѣкомъ, не драпирующимъ въ свою мантию, какъ это дѣлаютъ тѣ ложные великіе люди, которыхъ величіе обуславливается единственно вѣшними обстоятельствами и условіями. Во время аудіенціи, данной Балашову, онъ не боится отдаваться увлеченію своего чувства и, несмотря на то, что говорить съ живостью простого смертнаго, а отнюдь не съ важностью императора, подавляетъ Балашова до того, что послѣдній не рѣшается даже передать ему извѣстныхъ словъ, что война не кончится до тѣхъ поръ, „пока хотя одинъ вооруженный непріятель останется на землѣ русской“, а ему именно приказано было передать эти знаменитыя слова. Передъ энергической фигурой Наполеона Балашовъ кажется такимъ маленькимъ, въ особенности во время *неофициальнаго* обѣда, когда Наполеонъ „милостиво шутить“ съ нимъ, какъ левъ съ котенкомъ, не замѣчая знаменитыхъ остротъ генерала насчетъ множества цѣрквей въ Россіи и Испаніи и насчетъ дорогъ, ведущихъ къ Москвѣ. Описывая этотъ разговоръ съ большимъ искусствомъ, графъ Толстой вставляетъ отъ своего лица нѣкоторые комментаріи, которыми старается опошлить Наполеона и придать мелкое значеніе его словамъ; но если эти комментаріи оставить въ сторонѣ, то сцена, изображенная романистомъ, оставляетъ относительно личности Наполеона именно то впечатлѣніе, на какое мы указали. Вслѣдъ за главами, въ которыхъ обрисована, такъ сказать, завязка войны, мы встречаемся съ героемъ романа, княземъ Болконскимъ, сначала въ его деревнѣ, а потомъ въ главной квартирѣ арміи. Мастерская характеристика различныхъ лицъ и партій, игравшихъ роль въ главной арміи, выше всякой похвалы...“ (Приводится изъ романа отрывокъ этой характеристики, начинающійся словами: „Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась къ другимъ, какъ 99 къ 1-му, состояла изъ

людей, не желавших ни мира, ни войны"... Выписка заканчивается словами: „своимъ жужжаніемъ заглушалъ и все болѣе затемнялъ искренніе, спорящіе голоса“).

„Особенно выдалась у автора, по рельефности обрисовки, личность Пфуля, этого честнаго и добродушнаго теоретика, который составлялъ заранѣе во всѣхъ подробностяхъ геніальнѣйшіе планы кампаній, имѣвшіе только одинъ недостатокъ, что для ихъ успѣшнаго осуществленія всѣ дѣйствія воюющихъ сторонъ должны были математически строго сообразоваться съ тѣми теоретическими данными, на которыхъ строилъ свои планы Пфуль; какъ скоро этого не выходило въ дѣйствительности, то удивительно соображенная и строго по всѣмъ правиламъ военной науки построенная вѣроятность успѣха рушилась прахомъ. Среди множества генераловъ, окружавшихъ императора Александра и предлагавшихъ мнѣнія большею частью ради того, чтобъ заявить о своей личности передъ государемъ или ради интриги противъ вліянія другихъ, одинъ Пфуль „очевидно, не желалъ ничего для себя, ни къ кому не питалъ вражды, а только желалъ одного приведенія въ дѣйствіе плана, выведеннаго изъ теоріи, выведенной имъ годами трудовъ. Онъ былъ смѣшонъ, былъ непріятенъ своею ироничностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ внушалъ невольное уваженіе своею безпредѣльной преданностью идеѣ“. Всѣ военачальники проникнуты страхомъ передъ геніемъ Наполеона, всѣ полагаютъ возможнымъ для него все; одинъ Пфуль считаетъ и Наполеона такимъ же варваромъ, какъ всѣхъ, кто не признаетъ его теоріи.... Рядъ сценъ, слѣдующихъ за очеркомъ главной квартиры арміи, сценъ, мѣстами превосходныхъ, мѣстами написанныхъ вяло и не представляющихъ никакихъ новыхъ фазисовъ въ развитіи и положеніяхъ героев графа Толстого противъ первыхъ двухъ томовъ, плохо вяжется съ историческими событіями, и вставленъ какъ будто бы для развлеченія читателей. Интересъ романа оживляется только съ того момента, когда авторъ приближается къ описанію „патріотическаго одушевленія“ Москвы и московскаго дворянства, о которомъ намъ случалось еще въ учебникахъ читать столько хорошаго“.

(Приводится одна изъ сценъ патриотическаго одушевленія, начинающаяся словами: „за обѣдомъ государю Валуевъ сказалъ, оглянувшись въ окно:—Народъ все еще надѣется увидеть ваше величество“... Кончается выписка словами: „Государь ушелъ, и послѣ этого большая часть народа стала расходиться“).

„Характерно изображено также собраніе дворянства и купечества въ залахъ Слободскаго дворца. По прочтеніи манифеста, вызвавшаго общій восторгъ, всѣ разбрелись разговаривая. Кромѣ обычныхъ интересовъ, слышатся толки о томъ, гдѣ стоятъ предводителямъ въ то время, какъ войдетъ государь, какъ дать балъ, раздѣлиться ли по уѣздамъ или всей губерніей и т. д.; но какъ скоро дѣло касается войны и того, для чего собрано дворянство, такъ толки становятся нерѣшительными, неопредѣленными, и все *больше желаютъ слушать, чѣмъ говорить*“.

Перепечатавъ изъ романа нѣсколько рѣчей, произнесенныхъ нѣкоторыми героями романа, по прочтеніи манифеста въ залахъ Слободскаго дворца, критикъ говоритъ: „Этой превосходной сценой кончается первая часть настоящаго тома. Выдающимися мѣстами второй, безъ сомнѣнія, должны быть признаны мимоходомъ очерченная осада Смоленска, посѣщеніе своей деревни и заброшеннаго дома княземъ Андреемъ (по нашему мнѣнію, это не только одна изъ превосходнѣйшихъ сценъ четвертаго тома, но едва ли и не всего романа), затѣмъ сцены бородинскаго сраженія. Приступая къ описанію послѣдняго, графъ Толстой вдается въ пространныя разсужденія, которыми онъ желаетъ доказать, что, давая и принимая бородинское сраженіе, Кутузовъ и Наполеонъ поступили произвольно и бессмысленно, критикуетъ позицію Бородинскаго поля, говоритъ, что позиція эта была избрана случайно и т. д. Въ подтвержденіе своихъ соображеній, авторъ даже прилагаетъ планъ расположенія войскъ, какъ оно представляется ему по его спеціальнымъ соображеніямъ. Кутузова графъ Толстой рисуетъ во время битвы ничего недѣлающимъ и участвующимъ въ ней только тѣмъ, что онъ соглашается или не соглашается на то, что ему пред-

лагають. По теоріи автора, такъ и долженъ поступать опытный полководецъ, потому что битва вовсе не зависитъ отъ распоряженій военачальниковъ, а единственно отъ того, какъ дерутся солдаты. Про Наполеона графъ Толстой говоритъ, что онъ находился во время сраженія въ такомъ пунктѣ, съ котораго положительно не могъ слѣдить за его общимъ ходомъ, тѣмъ болѣе распоряжаться имъ. Диспозицію, данную Наполеономъ наканунѣ битвы, романистъ разбираетъ съ обстоятельностью специалиста и доказываетъ, что ни одно изъ распоряженій, въ ней назначенныхъ, не могло быть приведено въ исполненіе. Такимъ образомъ, всякое участіе Наполеона въ ходѣ и результатѣ битвы графъ Толстой отвергаетъ совершенно, и съ насмѣшкой и презрѣніемъ описываетъ нерѣшительность его въ распоряженіяхъ, которыя, какъ совершенно безполезныя, въ сущности, не должны были бы возбуждать никакихъ сомнѣній и колебаній въ полководцѣ. Насколько справедливы всѣ эти мнѣнія романиста, пусть судятъ специалисты военного дѣла. Мы же съ своей стороны можемъ замѣтить только одно: если графъ Толстой находитъ свои критическія замѣчанія относительно диспозиціи и вообще хода бородинской битвы почему-либо важными, то онъ могъ бы написать, какъ намъ кажется, специальное изслѣдованіе на этотъ счетъ, хотъ, напримѣръ, для „Военнаго Сборника“, а отнюдь не заниматься подобными вопросами въ беллетристическомъ сочиненіи.

Въ заключеніе скажемъ два слова о главномъ героѣ „Войны и Мира“—Андрѣѣ Болконскомъ. Въ настоящемъ томѣ авторъ занимается имъ немного. Въ его положеніи переменъ никакихъ покуда не происходитъ, хотя въ психологическомъ отношеніи онъ переживаетъ нѣкоторый новый фазисъ. Во второй разъ авторъ заставляетъ его получить рану на полѣ сраженія, и подъ вліяніемъ впечатлѣній битвы и встрѣчи съ Анатолемъ Курагинымъ (разрушившимъ его счастье съ любимой дѣвушкой), на перевязочномъ пунктѣ, гдѣ послѣднему отнимаютъ ногу, князь Андрей проникается сознаніемъ, доселѣ ему чуждымъ.

Князь Андрей не могъ удерживаться болѣе, и заплакалъ

нѣжными, любовными слезами надъ людьми, надъ собой и надъ ихъ и своими заблужденіями.

„Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь, къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ; вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ. Но теперь уже поздно. Я знаю это!“

Чѣмъ разрѣшится это новое настроеніе князя Андрея, если только онъ не въ самомъ дѣлѣ умеръ, — это мы увидимъ въ послѣднемъ томѣ.

*Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1868 г. Статья Z.
(В. Буренина).*

* * *

*) Послѣдній романъ графа Толстого „Война и Миръ“, возбуждившій всеобщій горячій интересъ и касающійся историческихъ событій начала нынѣшняго столѣтія, несомнѣнно, будетъ имѣть весьма сильное вліяніе на складъ понятій большинства читающаго общества, касательно значенія нѣкоторыхъ событій и дѣятелей той эпохи, и получить такимъ образомъ, быть можетъ, помимо воли автора, значеніе историческаго сочиненія. Стоитъ припомнить, что, благодаря Пушкину и Жуковскому, въ большинствѣ публики, не любящей сухого изложенія фактовъ, и съ жадностію читающей беллетристику, составилось ходячее мнѣніе о многихъ дѣятеляхъ 12-го года: о Барклаѣ по стихотворенію Пушкина „Полководецъ“, о Кутузовѣ, Раевскомъ, Кутайсовѣ, Витгенштейнѣ, Милорадовичѣ и другихъ по стихотворенію Жуковскаго „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“, звучныя строфы котораго цитировались съ такимъ жаромъ нашими отцами. При такомъ значеніи талантливаго произведенія, касающагося историческихъ событій, каждая ошибка автора, каждое уклоненіе его отъ истины, каждое его увлеченіе имѣютъ чрезвычайную важность, тѣмъ болѣе, что борьба

*) „Русскій Инвалидъ“ 1863 г., № 96. Статья Н. Л., подъ заглавіемъ: „По поводу послѣдняго романа гр. Толстого“.

сухой повѣрки фактовъ съ блестящимъ изложеніемъ, на каждомъ шагу закупающимъ читателя, далеко не равна; такъ что вообще критическая оцѣнка романа графа Толстого, какова бы она ни была, врядъ ли достигнетъ своей цѣли: большинство прочитавшихъ романъ ея не прочтетъ и останется при прежнихъ выводахъ, не омрачая ихъ никакими сомнѣніями. Вотъ эти-то сомнѣнія въ вѣрности нѣкоторыхъ картинъ, представляемыхъ авторомъ и желательно было бы возбудить въ читателяхъ, ибо усвоеніе критической точки зрѣнія относительно такого произведенія, какъ романъ гр. Толстого, принесетъ только хорошіе результаты: оно откроетъ истину и нисколько не помѣшаетъ наслажденію художественнымъ талантомъ графа Толстого. Не имѣя цѣли разбирать въ подробности сочиненіе графа Толстого, мы постараемся рассмотреть общее направленіе автора, впечатлѣніе, которое оно должно произвести, и указать въ особенности тотъ родъ увлеченій, къ которымъ склоненъ графъ Толстой. Въ особенности мы обратимъ вниманіе на военную сторону романа, занимающую въ немъ весьма видное мѣсто. Но для того, чтобы усвоить себѣ ясно точку зрѣнія автора на военные событія, необходимо бросить взглядъ на его воззрѣнія касательно исторіи вообще, выраженные имъ въ началѣ четвертаго тома. Философскія воззрѣнія гр. Толстого сводятся къ чистѣйшему историческому фатализму; по его мнѣнію, все опредѣлено *предвѣчно*, и такъ называемые великіе люди суть только ярлыки, привѣшиваемые къ событію и не имѣющіе съ нимъ никакой связи, не вліяющіе ни на его ходъ, ни на время, ни на форму, въ которой оно выражается; онъ полагаетъ, что воля Наполеона, въ отношеніи факта нашествія французовъ въ 1812 году, была *такъ же* ничтожна, какъ воля какого-нибудь фурштатскаго солдата, захотѣвшаго или не захотѣвшаго везти провіантъ для арміи, что громадность событія поглощаетъ и нивелируетъ частныя стремленія. Понятно, что мысль эта, доведенная до крайности и не соображенная съ другими, представляющимися уму силлогизмами, приводитъ къ абсурду; приходится, очертя голову, высказывать конечные результаты, даваемые такою

исходною точкою. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ точки зрѣнія безконечно отдаленной, не только дѣйствія какого-нибудь Наполеона, но все происходящее на землѣ или даже на солнечной системѣ, составляющей атомъ вселенной—не многимъ больше нуля; нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ точки зрѣнія идеала нѣтъ никакой разницы между сочиненіемъ гр. Толстого и какимъ-нибудь публичнымъ произведеніемъ нашей рыночной литературы, между тѣмъ, каждый понимаетъ и не станетъ оспаривать громадной разницы между этими двумя явленіями, точно такъ же, какъ на землѣ никто не усомнится въ отличіи слона отъ букашки. Такой же причиной (причиной войны), говоритъ авторъ, какъ отказъ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назадъ герцогство Ольденбургское представляется какъ и желаніе или нежеланіе перваго французскаго капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы онъ не захотѣлъ идти на службу, и не захотѣлъ бы другой, и третій, и тысячный капралъ и солдатъ, на столько менѣе людей было бы въ войскѣ Наполеона, и войны не могло бы быть“. Далѣе: „Дѣйствія Наполеона и Александра, отъ слова которыхъ зависѣло, казалось, чтобы событіе совершилось или не совершилось—были такъ же мало произвольны, какъ и дѣйствіе каждаго солдата, шедшаго въ походъ по жребію или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Александра или Наполеона (тѣхъ людей, отъ которыхъ, казалось, зависѣло событіе) была исполнена, необходимо было совпаденіе безчисленныхъ обстоятельствъ, *безъ одного изъ которыхъ* событіе не могло бы совершиться“. Понятно, что такая точка зрѣнія неприложима къ дѣйствительной жизни, ее можно признавать какъ математическую или фило-софскую уловку, *conception mathématique*, но проводить этотъ взглядъ въ жизнь значить повторять ежедневно исторію о томъ, догонитъ ли когда-нибудь Ахиллесъ рака, или можетъ ли быть человѣкъ плѣшивымъ. Вообще, надо замѣтить, что опредѣленіе какихъ-либо общихъ законовъ, руководящихъ челоувѣчествомъ, можетъ тогда только принести плодотворные результаты, когда, при широтѣ взгляда,

оно основано на обширной и многосторонней подготовкѣ; безъ этихъ условій человѣческой умъ охотно впадаетъ въ узкость, и становится одностороннимъ. Эта упорная односторонность взгляда и слѣдованіе за предвзятою идеею проглядываетъ во всѣхъ мѣстахъ романа, имѣющихъ сколько нибудь философское направленіе, и при послѣдовательности гр. Толстого она заводитъ его иногда слишкомъ далеко. Коснувшись философскихъ воззрѣній гр. Толстого, мы перейдемъ теперь къ военной части романа, при чемъ преимущественно будемъ имѣть въ виду послѣдній его томъ. Прежде всего замѣтимъ, что военная сторона романа высказывается въ двухъ формахъ: во-первыхъ, въ описаніи сценъ военного быта войскъ: бивачнаго и боевого и, во-вторыхъ, въ критической оцѣнкѣ военныхъ дѣйствій, въ психологіи и анализѣ войны. Что касается сценъ, то онѣ написаны съ тѣмъ же, если не съ большимъ мастерствомъ и знаніемъ дѣла, какъ и прежнія въ этомъ родѣ произведенія гр. Толстого; никто не умѣетъ полу-словомъ и намекомъ такъ рельефно очертить добродушно-сильную фигуру нашего солдата, какъ графъ Толстой; описанія военныхъ сценъ, происходящихъ въ иностранныхъ войскахъ, далеко не имѣютъ той силы и жизненной правды, которыми отличаются собственно русскія военныя сцены; видно, что авторъ сроднился и свыкся съ нашею армейскою жизнью, и симпатическій рассказъ его не фальшивитъ ни одною нотою. Громадный организъмъ арміи, съ его симпатіями и антипатіями, съ его своеобразною логикою, кажется живымъ одухотвореннымъ существомъ, жизнь котораго слышна изъ-за множества единичныхъ жизней. Описаніе шенграбенскаго боя составляетъ верхъ исторической и художественной правды, что подтверждаютъ люди бывалые и компетентные судьи въ военномъ дѣлѣ, какъ, напримѣръ, Николай Николаевичъ Муравьевъ (видно изъ письма графа Толстого, напечатаннаго въ *Русскомъ Архивѣ*, № 3). Впрочемъ, характеръ шенграбенскаго боя совершенно подходитъ подъ теорію автора, который желаетъ доказать, что главнокомандующій на полѣ сраженія не можетъ отдавать никакихъ приказаній, а если онъ отдаетъ ихъ, то или

они не имѣютъ смысла или не могутъ быть исполнены. Багратіонъ въ этомъ исключительномъ случаѣ именно находился въ такомъ положеніи: шести-тысячной горсти русскихъ, атакованной нѣсколькими французскими корпусами, предстояло „стоять и умирать“, чтобы дать возможность остальнымъ войскамъ вытянуться на сообщенія. Какія же тутъ приказанія? Совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ представляются тѣ мѣста романа, гдѣ авторъ является цѣнителемъ историческихъ событій и крупныхъ стратегическихъ соображеній. Хотя въ своихъ выводахъ онъ опирается на тѣ же матеріалы, которые служили историкамъ, но приходитъ къ результатамъ, почти діаметрально противоположнымъ, заподозрѣвая не только историковъ, но и самые документы въ необходимой, неотразимой и совершенно произвольной лжи. Лишая себя, такимъ образомъ, всякой внѣшней опоры, авторъ воспроизводитъ событія лишь съ помощью одного художественнаго чутья и отчасти предвзятой теоріи фатализма. Насколько вѣрно такое изображеніе, судить трудно; надо подвергнуть его строгой и безпристрастной критической оцѣнкѣ, или повѣрить на слово художественному таланту графа Толстого, который, надо замѣтить, въ этихъ мѣстахъ романа не имѣетъ своей обычной силы; дѣйствительно, нѣтъ возможности, однимъ взмахомъ кисти, изобразить крупное историческое событіе такъ же легко, какъ клочокъ боевого поля или сцену у бивачнаго костра. Къ тому же въ этихъ мѣстахъ романа встрѣчаются не только разногласія съ принятыми мнѣніями, все-таки основанными на документахъ и на сличеніи показаній, но и противорѣчія. Такъ, сообщивъ читателямъ, что все происходитъ вслѣдствіе милліона причинъ, составляющихъ непрерывную цѣпь, что „ничто — не причина“, авторъ, на стр. 126-й, говоритъ слѣдующее: „Никто не станетъ спорить, что *причиной* гибели французскихъ войскъ Наполеона было, съ одной стороны, вступленіе ихъ въ позднее время безъ приготовленія къ зимнему походу въ глубь Россіи, а съ другой стороны—характеръ, который приняла война отъ сожженія русскихъ городовъ и возбужденія ненависти къ врагу

въ русскомъ народѣ“. Эти слова доказываютъ, что графъ Толстой долженъ по необходимости прибѣгнуть не только къ приисканію причинъ, но даже къ ихъ сортировкѣ, къ опущенію тысячи малозначащихъ случайностей, затемняющихъ наиболѣе важныя. Но исторія не ограничивается указаніемъ только тѣхъ причинъ, которыя приводятся графомъ Толстымъ; она указываетъ еще на несоразмѣрное количество введенныхъ въ Россію силъ, на случайный исходъ сраженія подъ Смоленскомъ и Бородинымъ, на непривычную нерѣшительность Наполеона въ этомъ послѣднемъ сраженіи и на необыкновенную стойкость нашихъ войскъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ отбрасываетъ множество другихъ мелкихъ причинъ, имѣвшихъ косвенное и менѣе замѣтное вліяніе на исходъ войны.

Приступая къ описанію бородинскаго сраженія, этого крупнѣйшаго факта всей кампаніи, авторъ задаетъ вопросъ: для чего было дано бородинское сраженіе? и отвѣчаетъ, что ни для французовъ ни для русскихъ оно не имѣло ни малѣйшаго смысла. „Если бы полководцы руководились разумными причинами, говоритъ онъ, казалось, какъ ясно должно было быть для Наполеона, что, зайдя за двѣ тысячи верстъ и принимая сраженіе съ вѣроятной случайностью потери $\frac{1}{4}$ арміи, онъ шелъ на вѣрную гибель, и столь же ясно бы должно было казаться Кутузову, что принимая сраженіе и тоже рискуя потерять $\frac{1}{4}$ арміи, онъ навѣрное теряетъ Москву. Легко замѣтить неправильность этого вывода: почему Наполеонъ и Кутузовъ должны были разсчитывать оба на пораженіе и на потерю $\frac{1}{4}$ арміи? Почему они должны были упредить событія и знать заранее результатъ боя? Намъ кажется, что если поставить себя въ дѣйствительное положеніе полководцевъ передъ сраженіемъ, то увидимъ, что со стороны Наполеона было болѣе чѣмъ достаточно оснований для того, чтобы дать бой; бой, котораго онъ дѣйствительно искалъ съ самой границы, что высказывается въ его распоряженіяхъ до бородинскаго боя и въ его первомъ вопросѣ въ день сраженія при Бородинѣ: стоятъ ли русскіе на прежнихъ мѣстахъ? Этимъ боемъ рѣшалась не

участь Москвы, но, еще болѣе, участь арміи, и на нерѣшительный его исходъ не было никакой возможности разсчитывать. Что же касается Кутузова, то онъ дѣйствительно принялъ бой не произвольно, а по требованію и настоянію не только арміи, но и всего народа, который требовалъ отпора врагу, проникнувшему въ глубь родной страны. Этотъ фактъ нисколько не противорѣчитъ исторіи, которая можетъ указать не одинъ примѣръ, когда полководцу приходится подчиняться различнымъ вліяніямъ; но возводить исключенія на степень общаго правила не представляется никакой надобности. Затѣмъ, отвѣчая на другой вопросъ, именно о томъ, какъ дано было бородинское сраженіе, авторъ говоритъ, что историки описываютъ его слѣдующимъ образомъ: „Русская армія, *будто бы*, въ отступленіи своемъ отъ Смоленска отыскивала себѣ наилучшую позицію для генеральнаго сраженія, и таковая позиція была найдена *будто бы* у Бородина. Русскіе, *будто бы*, укрѣпили впереди эту позицію, влѣво отъ дороги (изъ Москвы въ Смоленскъ); подъ прямымъ почти угломъ къ ней, отъ Бородина къ Утицѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ произошло сраженіе. Впереди этой позиціи, *будто бы*, былъ выставленъ для наблюденія за непріателемъ, укрѣпленный передовой постъ на Шевардинскомъ курганѣ. 24-го, *будто бы*, Наполеонъ атаковалъ всю русскую армію, стоявшую на позиціи на Бородинскомъ полѣ“. Но во всемъ этомъ, по мнѣнію автора, нѣтъ ни одного слова правды: русскіе не отыскивали лучшей позиціи, а напротивъ, въ отступленіи своемъ прошли много позицій, которыя были лучше бородинской; шевардинскій редутъ, впереди той позиціи, на которой принято сраженіе, не имѣетъ смысла, ибо для наблюденія за непріателемъ достаточно было *казачьяго разъѣзда*. Сами начальники сгоряча послѣ сраженія называютъ шевардинскій редутъ лѣвымъ флангомъ и только послѣ, для оправданія распоряженій главнокомандующаго, онъ названъ передовымъ пунктомъ. Позиція не была выбрана заблаговременно и не была укрѣплена. Дѣло же, по мнѣнію автора, очевидно, было такъ: „Позиція была избрана по рѣкѣ Колоцѣ, пересѣкающей дорогу не подъ

прямымъ, а подь острымъ угломъ, такъ что лѣвый флангъ былъ въ Шевардинѣ, правый около селенія Новаго и центръ въ Бородинѣ, при слияніи рѣкъ Колочи и Войны. Позиція эта, подь прикрытіемъ рѣки Колочи, для арміи, имѣющей цѣлью остановить непріятеля, движущагося по смоленской дорогѣ къ Москвѣ, *очевидна для всякаго*, кто посмотритъ на Бородинское поле, забывъ о томъ, какъ произошло сраженіе“.

При нѣкоторомъ знакомствѣ съ исторіею, а тѣмъ болѣе съ документами этой войны, легко замѣтить, насколько такое описаніе боя уклоняется отъ истины, и насколько вѣрны догадки автора, возводимыя имъ на степень достовѣрнаго факта. Извѣстно, что русскіе искали позиціи, потому что отступить до Москвы, не давши отпора, казалось невозможнымъ ни русскому солдату ни русскому народу. Не говоря уже о позиціи у Царева-Займища, выбранной Барклаемъ и не одобренной Кутузовымъ, можно указать на тотъ фактъ, что еще 20-го августа, тотчасъ по принятіи начальства надъ всѣми русскими арміями, Кутузовъ писалъ Тормасову и Чичагову о намѣреніи принять генеральное сраженіе у Можайска. (Предписаніе генералу-отъ-инфантеріи Тормасову, отъ 20-го авг., за № 47, и отношеніе адмиралу Чичагову, отъ того же числа, за № 48. Ист. Богд., т. II); офицеры генеральнаго штаба были посланы заблаговременно (въ половинѣ августа) для выбора позиціи, которую выбрать вообще для стотысячной арміи дѣло не легкое, а тѣмъ болѣе на нашихъ равнинахъ, или лѣсистыхъ или открытыхъ и не представляющихъ никакихъ естественныхъ средствъ для обороны. Укрѣплена бородинская позиція дѣйствительно не была, и это не противорѣчить ни истинѣ ни исторіи, такъ что гр. Толстой опровергаетъ не существующее мнѣніе, по крайней мѣрѣ, его не существуетъ въ русскихъ исторіяхъ отечественной войны, можетъ быть, только за исключеніемъ Михайловскаго-Данилевскаго, котораго никто и не считаетъ за историка. Что же касается предположенія графа Толстого о томъ, что первоначальная позиція (24-го августа) при Бородинѣ, слѣ-

дую по теченію Колочи, упиралась лѣвымъ флангомъ въ Шевардино, то, несмотря на всю странность этой позиціи въ стратегическомъ смыслѣ, ибо войска, расположенныя на ней, стояли флангомъ къ французамъ, надо признаться, что догадка графа Толстого основывается на документахъ, и документахъ довольно вѣскихъ. О Шевардинѣ въ смыслѣ лѣваго фланга можно найти даже въ подлинной диспозиціи Кутузова на 24-е августа; то же видно изъ его донесенія государю и изъ донесенія Сиверса Кутузову о Шевардинскомъ дѣлѣ. Историки кампаній 12-го года не упускаютъ изъ виду этихъ обстоятельствъ, даже называютъ генерала Вистицкаго, квартирмейстера западныхъ армій, избравшаго такое направленіе для лѣваго фланга арміи, но не даютъ должнаго значенія этому факту, который, кажется, дѣйствительно долженъ быть освѣщенъ подъ тѣмъ угломъ зрѣнія, подъ коимъ указываетъ его графъ Толстой. Но, вслѣдъ затѣмъ, увлекаясь по скользкой дорогѣ отрицанія, графъ Толстой говоритъ, что вообще занятіе пунктовъ впереди позиціи не имѣетъ смысла, и что для наблюденія за непріателемъ, будто бы, достаточно *казачьяго разъѣзда*. Съ этимъ мнѣніемъ, разумѣется, нельзя согласиться. Передовые пункты позиціи занимаются съ цѣлью раскрытія силъ и направленія противника, и примѣры занятія такихъ пунктовъ встрѣчаются въ военной исторіи нерѣдко; казачій разъѣздъ, безъ сомнѣнія, не можетъ замѣнить передового пункта, по той простой причинѣ, что движеніе большихъ армій прикрывается не какимъ-нибудь кавалерійскимъ разъѣздомъ, а цѣлыми кавалерійскими корпусами, составляющими непроницаемую завѣсу, за которою движется армія; чтобы узнать, что дѣлается за этою завѣсою, надо поставить серьезное препятствіе непріятелю и заставить его развернуть и показать свои силы,—вообще надо помириться съ тѣмъ, что свѣдѣнія на войнѣ, особенно свѣдѣнія вѣрныя, добываются не иначе, какъ своими боками. Какое бы значеніе ни имѣлъ шевардинскій редутъ по диспозиціи и предположеніямъ главнокомандующаго, на самомъ дѣлѣ, въ бою 24-го августа, онъ игралъ вполне роль передового пункта:

бой на этомъ мѣстѣ, отдаленномъ почти на двѣ версты отъ главной позиціи, имѣлъ совершенно частный характеръ, войскъ участвовало немного (14 бат., 38 эск.), подкрѣпленій изъ главнаго резерва не было; бой достигъ своей цѣли, открылъ направленіе, въ которомъ слѣдовало ожидать атаки, и побудилъ фельдмаршала принять для этого нѣкоторыя мѣры.

Но собственно историческая сторона сочиненія графа Толстого не имѣетъ той важности, которая остается за психологическимъ анализомъ войны, которымъ авторъ разрѣшаетъ безапелляціонно самую суть военного дѣла. Историческіе выводы графа Толстого основываются на источникахъ извѣстныхъ и открытыхъ для всякаго: новизна результатовъ, получаемыхъ авторомъ, зависитъ только отъ группировки показаній и освѣщеній ихъ подъ извѣстнымъ угломъ, такъ что желающій можетъ повѣрить справедливость сказанныхъ результатовъ, хотя нѣтъ сомнѣній и въ томъ, что при сильномъ талантѣ графа Толстого, убѣдительно и, можно сказать, обаятельно дѣйствующемъ на читателя, большинство приметъ выводы автора безъ критической оцѣнки, и высказанныя имъ мнѣнія сдѣлаются, можетъ быть, ходячими мнѣніями большинства. Что же касается до психологическаго анализа войны и боя, до той военной теоріи автора, которая даетъ общій ключъ къ разрѣшенію всѣхъ военныхъ вопросовъ, которая легко можетъ быть усвоена всякимъ, и такъ удобна для дилетантовъ своимъ отрицательнымъ направленіемъ, дающимъ право утверждать, что на войнѣ и въ бою все дѣлается само собою и не зависитъ отъ усилій начальниковъ, которые *будто бы* распоряжаются боемъ, а въ сущности лишь подчиняются его перипетіямъ, то, несмотря на всю 'ея ложность, она не такъ легко можетъ быть провѣрена публикою, какъ историческіе выводы автора.

Основная мысль автора высказана весьма ясно отчасти устами Андрея Болконскаго, отчасти въ словахъ, отнесенныхъ авторомъ къ Кутузову: „Долголѣтнимъ опытомъ онъ (Кутузовъ) зналъ и понималъ, что *руководитъ* сотнями ты-

[illegible]

и безчисленныя случайности, окружающія бой, на которыя, на всѣ, никакая наука отвѣта дать не можетъ; видя такую несообразность, исследователь отвергаетъ совершенно изученіе военнаго дѣла, или все сосредоточиваетъ на одной какой-либо его сторонѣ, согласно своему характеру. Но не надо забывать, что военной науки въ смыслѣ кодекса непреложныхъ правилъ — нѣтъ; нѣтъ рецепта для побѣдъ, а есть *теорія военнаго искусства*, какъ и всякаго другого искусства: музыки, живописи и т. д. Никто не сомнѣвается, что, напримѣръ, для живописца весьма важно знать перспективу, сочетаніе свѣта и тѣни, сочетаніе цвѣтовъ, словомъ, получить знакомство съ тѣми элементами, изъ которыхъ слагается его дѣло, а между тѣмъ находятся люди, которые для военныхъ людей отвергаютъ пользу знакомства съ составными частями военнаго дѣла. Если бы графъ Толстой отнесся практически къ военному дѣлу, ему бы никогда не пришлось задавать себѣ вопросы, что важнѣе всего на войнѣ, какъ не придется въ голову музыканту рѣшать вопросъ, что важнѣе: скрипка, смычокъ или его рука. Высказавши свою теорію военнаго искусства, въ которомъ ничто не имѣетъ значенія, кромѣ нравственной силы нижняго слоя арміи, авторъ старается подвести всѣ факты подъ эту теорію и, къ несчастію, лишается иногда столь присущей ему объективности. Это замѣтнѣе всего въ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ авторъ старается доказать отсутствіе вліянія и даже отсутствіе распоряженій со стороны главнокомандующихъ. Такъ, онъ умалчиваетъ даже о личныхъ распоряженіяхъ Кутузова, какъ, напр., о производствѣ кавалерійской атаки на лѣвый флангъ французовъ, которая имѣла огромное вліяніе на ходъ боя *); онъ ничего не говоритъ о разумномъ и сообразномъ съ характеромъ своихъ подчиненныхъ расходованіи резервовъ, а эти распоряженія только одни и находятся въ рукахъ начальства обороняющихся войскъ. Но взгляды автора на Наполеона, начиная съ изо-

*) Атаку эту приписываютъ то Платову, то Уварову; но въ донесеніи этого послѣдняго Кутузову о бородинскомъ сраженіи сказано, что приказаніе объ атакѣ получено имъ лично отъ фельдмаршала.

браженія его въ обнаженномъ видѣ, фыркающаго подъ руками камердинеровъ, вытирающихъ одеколономъ его тучное тѣло 24-го августа, и кончая описаніемъ его фигуры въ концѣ сраженія, гдѣ онъ сидѣлъ на шевардинскомъ курганѣ: „желтый, опухлый, тяжелый, съ мутными глазами, *краснымъ носомъ* и охриплымъ голосомъ“, — утрированъ до крайности. Мы нисколько не сомнѣваемся, что вышеуказанные факты не подлежатъ сомнѣнію, особенно послѣ письма гр. Толстого, напечатаннаго въ послѣдней книжкѣ *Русскаго Архива*, гдѣ онъ объясняетъ, что всѣ слова и дѣйствія крупныхъ историческихъ лицъ не вымыслены, а основаны на множествѣ источниковъ; но самый выборъ этихъ фактовъ указываетъ на натяжку и лишаетъ эти мѣста романа той художественной правды, которая составляетъ за этими исключеніями отличительную черту таланта гр. Толстого. Доказывая безсиліе главнокомандующаго на полѣ сраженія, гр. Толстой упираетъ болѣе всего на то, что въ пользу рукопашной схватки, въ дыму и пыли, которыми покрыто поле сраженія, невозможно одному человѣку, котораго никто не услышитъ, не увидитъ и не захочетъ слушать, оказать какое-либо сильное вліяніе и, очевидно, упускаетъ изъ виду тѣ распоряженія главнокомандующаго, въ которыхъ онъ полный хозяинъ и которыя большею частью отдаются войскамъ, стоящимъ или внѣ выстрѣловъ непріятеля или подъ слабымъ его огнемъ. Выбрать направленіе для атаки, послать то или другое количество войскъ, тотъ или другой родъ ихъ, все это находится въ распоряженіи главнокомандующаго, и Наполеонъ, въ день бородинскаго сраженія, неоднократно высказывалъ и исполнялъ свою волю, что яснѣе всего видно въ удержаніи послѣдняго резерва, которымъ онъ не хотѣлъ рискнуть. Хотя гр. Толстой говоритъ, что Наполеонъ не могъ этого сдѣлать (но отчего? или бы гвардія не пошла?), что распоряженіе нисколько отъ него не зависѣло, но мы думаемъ, что ничто не мѣшало ему высказать свою личную волю, которая, будучи приведена въ исполненіе, вѣроятно, значительно бы измѣнила результаты сраженія. Говоря о диспозиціи, отданной Наполеономъ въ день бородинскаго

сраженія, гр. Толстой доказываетъ, что она написана весьма неясно и спутанно, и заключала въ себѣ четыре распоряженія, изъ которыхъ „ни одно не могло быть и не было исполнено“. Мѣсто не позволяетъ намъ подробно прослѣдить за замѣчаніями автора, критикующаго диспозицію, но, какъ образчикъ его пріема, можно привести слѣдующее: „Второе распоряженіе (Наполеона) состояло въ томъ, чтобы Понятовскій, направясь на деревню въ лѣсъ, обошелъ лѣвое крыло русскихъ“. Распоряженіе это, по нашему мнѣнію, совершенно разумное и сообразное съ обстоятельствами, вызываетъ слѣдующее замѣчаніе автора: „Это не могло быть и не было сдѣлано, потому что Понятовскій, направясь на деревню въ лѣсъ, встрѣтилъ тамъ загораживающаго ему дорогу Тучкова, и не могъ обойти, и не обошелъ русскую позицію“. То же самое авторъ говоритъ и о дивизіи Компана, которой было приказано овладѣть укрѣпленіемъ, и онъ не исполнилъ этого, *потому что былъ отбитъ*; то же видитъ и въ оцѣнкѣ приказанія, отданнаго вице-королю. Однимъ словомъ, авторъ обвиняетъ Наполеона въ томъ, что распоряженія его, сами по себѣ совершенно разумныя и нисколько не выходящія изъ области возможнаго, *не были исполнены другими*. При этомъ разборѣ авторъ, очевидно, упускаетъ изъ виду, что въ диспозиціи указывается только *цѣль*, которой войска должны достигъ, направленіе, время и порядокъ производства первоначальныхъ атакъ. Въ разсматриваемой диспозиціи цѣль поставлена ясно, предварительныя распоряженія произвели ни малѣйшей суматохи въ движеніяхъ войскъ, и во все время нельзя было замѣтить безпорядка, происшедшаго не отъ боя, а отъ распоряженій главнокомандующаго; если бы авторъ познакомился съ другими диспозиціями, отдаваемыми передъ сраженіями, онъ бы увидѣлъ, какъ ясна и проста диспозиція Наполеона. Что же касается *исполненія* приказаній Наполеона, то онъ, какъ опытный боецъ, зналъ, что они будутъ исполнены; повсемѣстное ихъ исполненіе равнялось полному пораженію русской арміи *съ перваго же удара*, на что онъ могъ разсчитывать; доказательствомъ этому служатъ огромные оставленные имъ

резервы, употребить въ дѣло которые онъ предоставлялъ своему собственному усмотрѣнію. Личность Наполеона, какъ военнаго человѣка, принадлежитъ къ тѣмъ крупнымъ явленіямъ, которыя насчитываются исторіей не десятками, а немногими единицами съ сотворенія міра и до нашихъ временъ; такая личность имѣла несомнѣнное вліяніе на войска, и не даромъ получила обаятельное на нихъ вліяніе; геній Наполеона состоялъ не въ обладаніи какого-либо секрета или рецепта для выигранія сраженія, не въ томъ, что у него была своя тактика и своя стратегія; его генальность состояла въ знаніи и пониманіи солдата и человѣка, въ умѣннѣ ободрить и оживить войска, поднять ихъ нравственныя силы, въ умѣннѣ понять и, что называется, раскусить непріятеля, въ особенномъ искусствѣ пользоваться мимолетными случайностями и изъ хаоса намековъ и полусловъ составить приблизительное понятіе о положеніи дѣла и вѣроятномъ его исходѣ, которое иногда достигало размѣровъ почти предвидѣнія (Аустерлицъ), сочетаніе рѣшимости съ осторожностью, которое рѣдко его оставляло, и личная храбрость, или, лучше сказать, презрѣніе къ опасности,—вотъ данныя, которыя въ продолженіе пятнадцати лѣтъ водили Наполеона къ побѣдамъ и снискали ему подъ конецъ безграничное довѣріе и обожаніе солдатъ, которое испытано было нѣсколько разъ на самомъ тяжеломъ оселкѣ войны, на пораженіи. А по теоріи гр. Толстого, Наполеонъ и Макъ одно и то же.—Наполеонъ имѣлъ громадное вліяніе и на свои войска и на противника. Во время переправы черезъ Березину, когда всякій солдатъ, перешедшій на правый берегъ рѣки, считалъ себя счастливымъ и избавленнымъ отъ всѣхъ ужасовъ голода, холода и смерти, соединенныхъ съ безостановочнымъ отступленіемъ, Наполеонъ, для подкрѣпленія Виктора, оставленнаго въ арріергардѣ на лѣвомъ берегу, приказалъ одной изъ своихъ бригадъ (бригадѣ Дендельса) снова перейти на ту сторону рѣки, и эта бригада пошла на вѣрную смерть. Непріятели боялись какъ огня одного имени Наполеона; движеніе какого-нибудь отряда, считавшееся незначительнымъ, получало громадные

азмѣры, если въ главныхъ квартирахъ получались свѣдѣнія, что съ этимъ отрядомъ идетъ Наполеонъ; такъ было ие разъ въ 1814 году; въ соображеніяхъ, которыя производились для изысканія мѣръ къ отраженію Наполеона, былъ истоящій хаосъ, потому что составителямъ плановъ всегда представлялись самыя невѣроятныя выходы Наполеона, предполагающія въ немъ почти сверхъестественную силу. Въ заключеніе нельзя не сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ мысляхъ героя романа, Андрея Болконскаго, по поводу войны... Высказывая съ полною рѣзкостью мнѣнія, что „успѣхъ никогда не зависѣлъ и не будетъ зависѣть ни отъ позиціи, ни отъ вооруженія, ни даже отъ числа (войскъ)“, онъ предлагаетъ, между прочимъ, для того, чтобы сдѣлать войну менѣе жестокою, не брать плѣнныхъ; тогда войны, по мнѣнію Болконскаго, были бы гораздо серьезнѣе и не велись бы изъ-за пустяковъ, а только въ тѣхъ случаяхъ, когда каждый атомъ арміи сознавалъ бы необходимымъ идти на вѣрную смерть. Къ несчастію, такія времена бывали и, къ счастью, безвозвратно прошли: времена, когда не только плѣнные уводились въ неволю, но вырѣзывались поголовно и мирные жители, ихъ жены и дѣти и, вопреки мнѣнію героя гр. Толстого, войны не были ни серьезнѣе ни рѣже. Не трудно замѣтить, что побѣда состоитъ не въ смерти противника, а въ нравственномъ подчиненіи его нашей волѣ, какими бы то ни было средствами. Какъ ни трудно во время войны, этой ненормальной функціи человечества, провести ясную и рѣзкую черту между благоразумною самообороною и ненужной жестокостію, но она непременно должна существовать, и, намъ кажется, ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ стирать эту черту. Сухой теоріей и абстрактностію дышать разсужденія Болконскаго, которому не худо бы припомнить слова знатока войны и сердца человѣческаго, Суворова: „фитиль на картечь, бросься на картечь, летить сверхъ головы! пушки твои, люди твои! вали на мѣстѣ! гони, коли! *остальнымъ давай пощаду! грѣхъ напрасно убивать! они такіе же люди!*“.

Указавъ тѣ стороны романа гр. Толстого, которыя, по

нашему мнѣнію, не сходятся съ здравыми понятіями о военномъ дѣлѣ, и къ счастію, составляютъ какъ бы вводную часть сочиненія, мы тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ обращаемся къ многочисленнымъ страницамъ, составляющимъ его украшеніе. Во всѣхъ случаяхъ, когда авторъ освобождается отъ предвзятой идеи и рисуетъ картины, сродныя его таланту, онѣ поражаютъ читателя своею художественною правдою. Такъ описана имъ страшная внутренняя борьба, вынесенная Наполеономъ въ день бородинскаго сраженія, — та кровавая рана, которой суждено было зажечь только на островѣ св. Елены. Вообще, намъ кажется, что нигдѣ, ни въ одномъ сочиненіи, несмотря на все желаніе, не доказана такъ ясно побѣда, одержанная нашими войсками подъ Бородинымъ, какъ въ немногихъ страницахъ въ концѣ послѣдней части романа; историки обыкновенно брались за это совсѣмъ не съ той стороны какъ гр. Толстой; они сличали и сравнивали число потерь и трофеевъ, число сажень, на которыя отступили наши войска, всегда говоря 400 сажень, вмѣсто версты, и не обратили вниманія на самую изъ дѣйствительныхъ побѣдъ, одержанную нашими войсками, — побѣду нравственную. Дѣйствительно, если сравнить духъ французской арміи при переправѣ ея черезъ Нѣманъ и сличить съ нравственнымъ уровнемъ, оказавшимся въ ней послѣ бородинскаго боя, то побѣда окажется несомнѣнною. Не можемъ удержаться, чтобы не выписать нѣсколькихъ строкъ изъ послѣдней главы романа о результатахъ бородинскаго боя. „Когда онъ (Наполеонъ) перебиралъ въ воображеніи всю эту странную русскую кампанію, въ которой не было выиграно ни одно сраженіе, въ которой въ два мѣсяца не взято ни знаменъ, ни пушекъ, ни корпусовъ войскъ, когда глядѣлъ на скрытно-печальныя лица окружающихъ и слушалъ донесеніе о томъ, что русскіе все стоятъ, — страшное чувство, подобное испытываемому въ сновидѣніяхъ, охватывало его, и ему приходили въ голову всѣ несчастныя случайности, могущія погубить его. Русскіе могли напасть на его лѣвое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Все это

было возможно. Въ прежнихъ сраженіяхъ своихъ онъ обдумывалъ только случайности успѣха, теперь же безчисленное количество несчастныхъ случайностей представлялось ему, и онъ ожидалъ ихъ всѣхъ. Да, это было какъ во снѣ, когда человѣку представляется наступающій на него злодѣй, и человѣкъ во снѣ размахнулся и ударилъ своего злодѣя съ тѣмъ страшнымъ усиліемъ, которое, онъ знаетъ, должно уничтожить его, и чувствуетъ, что рука его, безсильная и мягкая, падаетъ, какъ тряпка, и ужасъ неотразимой гибели обхватываетъ безпомощнаго человѣка“. Далѣе авторъ говоритъ, что не одинъ Наполеонъ испытывалъ это похожее на сновидѣнье чувство, но всѣ генералы, всѣ солдаты ощущали ужасъ передъ тѣмъ врагомъ, который, потерявъ *половину* войска, стоялъ такъ же грозно въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія. „Французское нашествіе, какъ разъяренный звѣрь, получившій въ своемъ разбѣгѣ смертельную рану, чувствовало свою гибель; но оно не могло остановиться, такъ же какъ и не могло не отклоняться вдвое слабѣйшее русское войско. Послѣ даннаго толчка, французское войско еще могло докатиться до Москвы; но тамъ безъ новыхъ усилій со стороны русскаго войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью отъ смертельной, нанесенной въ Бородинѣ, раны“.

Изъ „Русскаго Инвалида“ за 1868 г. Статья Н. Л.

* *

*) Подъ заглавіемъ „Война и Миръ“ вышло сочиненіе графа Толстого, въ которомъ онъ, въ видѣ романа, представляетъ намъ не одинъ какой-либо эпизодъ изъ нашего общественнаго и военнаго быта, но довольно длинную эпоху мира и войны. Романъ начинается съ аустерлицкой кампаніи, которая еще такъ больно отзывается въ сердцѣ каж-

*) „Военный Сборникъ“ 1868 г., № 11 и отдѣльное издан. Спб. 1868 г. „Война и Миръ“ 1805—1812 съ исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современника. По поводу сочиненія гр. Л. Н. Толстого „Война и Миръ“. А. Е. Норова.—Изъ этого очень обширнаго очерка вошло сюда только нѣсколько отрывковъ, болѣе или менѣе характеризующихъ весь эту Норова.

Примѣчан. В. Зелинскаго.

даго русскаго; разсказъ доведенъ теперь до бородинскаго сраженія включительно, и, говорятъ, будетъ продолженъ за эту эпоху. Читатели, которыхъ большая часть, какъ и самъ авторъ, еще не родились въ описываемое время, въ ознакомленные съ нимъ съ малолѣтства, по читаннымъ и слышаннымъ ими разсказамъ, поражены при первыхъ частяхъ романа сначала грустнымъ впечатлѣнiемъ представленнаго имъ въ столицѣ пустого и почти безнравственнаго высшаго круга общества, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣющаго влiяніе на правительство; а потомъ отсутствiемъ всякаго смысла въ военныхъ дѣйствiяхъ и едва не отсутствiемъ военныхъ доблестей, которыми всегда такъ справедливо гордилась наша армія. Читая эти грустныя страницы, подobaнiемъ прекраснаго, картиннаго слога, вы надѣетесь, что ожидаемая вами блестящая эпоха 1812 года изгладитъ эти грустныя впечатлѣнiя; но какъ велико разочарованіе, когда вы увидите, что громкій славою 1812 годъ, какъ въ военномъ, такъ и въ гражданскомъ быту, представленъ вамъ мыльнымъ пузыремъ; что цѣлая фаланга нашихъ генераловъ, которыхъ боевая слава прикована къ нашимъ военнымъ лѣтописямъ, и которыхъ имена переходятъ доселѣ изъ устъ въ уста новаго военного поколѣнiя, составляла была изъ бездарныхъ, слѣпыхъ орудiй случая, дѣйствовавшихъ иногда удачно, и объ этихъ даже ихъ удачахъ говорится только мелькомъ, и часто съ ироніею. Неужели таково было наше общество, неужели такова была наша армія, спрашивали меня многіе? Если бы книга графа Толстого была написана иностранцемъ, то всякій сказалъ бы, что онъ не имѣлъ подъ рукою ничего, кромѣ частныхъ разсказовъ; но книга писана русскимъ, и не названа романомъ (хотя мы принимаемъ ее за романъ), и поэтому не такъ могутъ взглянуть на нее читатели, не имѣющіе ни времени ни случая повѣрить ее съ документами, или поговорить съ небольшимъ числомъ оставшихся очевидцевъ великихъ отечественныхъ событiй. Будучи въ числѣ сихъ послѣднихъ (*Guogum pars minima fui*), я не могъ безъ оскорбленнаго патріотическаго чувства дочитать этотъ романъ, имѣющій претензію быть историче-

скимъ, и, несмотря на преклонность лѣтъ моихъ, счелъ какъ бы своимъ долгомъ написать нѣсколько строкъ въ память моихъ бывшихъ начальникомъ и боевыхъ сослуживцевъ.

Не трудно доказать историческими трудами нашихъ почетныхъ писателей, что въ романѣ собраны только всѣ скандальныя анекдоты военнаго времени той эпохи, взятые безусловно изъ нѣкоторыхъ рассказовъ. Эти анекдоты остались бы совершенно въ тѣни, если-бъ авторъ, съ такимъ же талантомъ, какой онъ употребилъ на ихъ разработку, собралъ и изобразилъ тѣ геройскіе эпизоды нашихъ войнъ, даже несчастныхъ, которыми всегда будетъ гордиться наше потомство, оставя даже многіе правдивые анекдоты, бичующіе зло. Если-бъ кто-нибудь сказалъ, что наши писатели или наши современники болѣе или менѣе пристрастны, я укажу, напримѣръ, относительно эпохи 1812 года только на одну книгу нашихъ противниковъ: *Chambray „Histoire de l'expédition de Russie“*, гдѣ слава русскаго оружія гораздо болѣе почитаема, чѣмъ въ книгѣ графа Толстого. Я не стану требовать отъ романа, писаннаго для эффекта, того, что требуется отъ исторіи, но такъ какъ этотъ романъ выводитъ на сцену дѣятелей историческихъ, то не могу не поставить его лицомъ къ лицу съ исторіею, добавивъ это сличеніе собственными воспоминаніями.

Никто изъ насъ, современниковъ столичнаго петербургскаго общества (1805—1812 г.), не узнаетъ салона извѣстной г-жи Шереръ, фрейлины и приближенной императрицы Маріи Ѳеодоровны, въ томъ отношеніи, чтобы къ ней собирался цвѣтъ столичнаго и дипломатическаго общества, и хотя можно угадывать обозначенное лицо, но мы не имѣемъ права его называть. Съ юношескихъ лѣтъ моихъ, со вступленіемъ юнкеромъ въ гвардейскую артиллерію, до производства моего въ офицеры въ 1811 году и до выступленія въ походъ въ мартѣ 1812 года, я жилъ у княгини В. В. Голицыной, супруги генерала-отъ-инфантеріи князя С. Ф. Голицына, командовавшаго тогда нашею обсерваціонною арміею въ Галиціи, съ которыми родители мои были въ близкихъ сношеніяхъ. Съ нею

же вмѣстѣ жилъ сынъ ея, князь Ф. С. Голицынъ, недавно женившійся на дочери фельдмаршала князя Прозоровскаго. Этотъ домъ былъ въ постоянномъ общеніи со всею столичною аристократіею; поэтому я могу назвать всѣ тѣ дома, въ которыхъ сосредоточивалось высшее петербургское общество, и гдѣ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ я самъ былъ принятъ. Вотъ имена лицъ: графъ и графиня Строгоновы, графы Румянцевы, эти два дома преимущественно были посѣщаемы учеными и литераторами (графиня С. В. Строгонова перевела всю поэму Данте),—княгиня Екатерина Федоровна Долгорукая, княгиня Елена Никитична Вяземская, которой внучка очаровывала всѣхъ своею красотою, и куда очень часто ѣздила французскій посланникъ графъ Коленкуръ, вскорѣ отозванный и замѣненный графомъ Лористономъ, князь и княгиня Кочубей, Наталья Кирилловна Загряжская, графъ и графиня Литта, князь и княгиня Юсуповы, графъ и графиня Гурьевы, графъ и графиня Лаваль, князь и княгиня Ливенъ, графъ Н. А. Толстой, Александръ и Дмитрій Львовичи Нарышкины, Софья Петровна Тутолмина, Софья Петровна Свѣчина, и другіе, которыхъ излишне было бы называть, и передъ которыми салонъ фрейлины Шереръ дѣлается темнымъ уголкомъ. Всѣ эти дома отличались или тонкостію образованія или роскошью гостепріимства, и не думаю, чтобы въ какомъ-либо изъ нихъ называли Наполеона антихристомъ и тому подобное. Москву, въ которой я былъ мелькомъ передъ походомъ, я не могъ знать хорошо, и потому назову только моихъ сродниковъ: семейство графа Бутурлина, имѣвшаго огромную библіотеку, сгорѣвшую съ Москвою, семейство графа А. И. Мусина-Пушкина, Маргариты Александровны Волковой, С. С. Валуева, князя С. И. Гагарина, и прибавлю къ нимъ дома С. С. Апраксина и графа Ростопчина. Салоны всѣхъ этихъ домовъ рѣшительно не подходятъ къ тѣмъ, которые описаны въ романѣ графа Толстого.

Общество гвардейскихъ офицеровъ (это былъ блестящій вѣкъ гвардіи) состояло большею частію изъ лицъ старыхъ

дворянскихъ фамилій, и отличалось какъ образованностію, такъ и утонченнымъ воспитаніемъ, и можно было правильно сказать, что у нихъ только и слышно было: „*Жоини да Жоини, а объ водкѣ ни полслова*“. Этотъ стихъ партизана Давыдова, съ которымъ я былъ довольно хорошо знакомъ, относился къ гусарамъ, и таковыми они и были тогда: я говорю—отъ 1809 до 1812 года, и не думаю, чтобы четыре года тому назадъ, т. е. въ 1805 году, когда я еще не былъ на службѣ, общество это было не то же самое. Конечно, были средь насъ шалости, въ нѣкоторыхъ и я участвовалъ, но подобная той, которая описана въ романѣ графа Толстого (ч. I, стр. 43—48), есть совершенно исключительная, и не могла произойти въ хорошемъ обществѣ тогдашнихъ гвардейскихъ офицеровъ.

Относительно аустерлицкой кампаніи,—многіе изъ моихъ старшихъ товарищей участвовали какъ въ этой, такъ и въ прусской кампаніи, и я отъ нихъ слышалъ много подробностей, тогда еще совсѣмъ свѣжихъ. Грустно для русскаго вспоминать объ этой эпохѣ, но еще грустнѣе читать тотъ рассказъ, который сдѣланъ искуснымъ перомъ русскаго офицера-литератора. Лѣтъ тридцать тому назадъ, я плылъ на одномъ пароходѣ съ маршаломъ Мармономъ изъ Лянца въ Вѣну; я съ нимъ познакомился въ 1835 году въ Египтѣ на кавалерійскихъ маневрахъ, которые сдѣлалъ для него Мегметъ-Али въ виду пирамидъ, на самомъ полѣ битвы Бонапарте съ мамелюками, и гдѣ самъ маршалъ Мармонъ былъ дѣйствующимъ лицомъ. Въ этотъ разъ мы проходили вдоль береговъ Дуная, мимо полей нашихъ славныхъ битвъ: Эмсъ, Амштетенъ, Мелькъ, Кремсъ, которыхъ героями были Багратионъ, Милорадовичъ и Дохтуровъ. Французскій маршалъ указывалъ мнѣ на нѣкоторые пункты отчаянныхъ битвъ, и называлъ ретираду Кутузова отъ Браунау и Кремса классически-геройскою. Таковою она считалась и у насъ до романа графа Толстого. Говоря о самомъ аустерлицкомъ сраженіи, которымъ съ такою подробностію занялся графъ Толстой,—маршалъ Мармонъ съ увлеченіемъ восхвалялъ неимовѣрную стойкость нашихъ войскъ до катастрофы,

когда отступающій лѣвый флангъ нашей арміи погразъ въ полузамерзшемъ болотѣ, громимый французскою артиллеріею.

Какое мѣсто можно дать фатализму или случаю, на которомъ графъ Толстой основать военное искусство, если мы рассмотримъ послѣдовательно геніальное отступление Кутузова отъ Браунау до Брюна, когда онъ долженъ былъ постоянно бороться не только противъ несравненно сильнѣйшей арміи знаменитаго полководца, но и противъ неосмысленныхъ повелѣній австрійскаго крйгерата (не выполняя ни одного изъ нихъ) и даже противъ измѣны? Ибо очевидно, что австрійцы, послѣ постыдной капитуляціи Мака, хотѣли и насъ уподобить себѣ, вовлекая въ неминуемое поражение: они уже ясно видѣли свою погибель и всю тщетность своихъ усилій. Повелѣніемъ Кутузову императора австрійскаго удерживать, во что бы то ни стало, переходъ черезъ Иннъ и черезъ Дунай у Кремса, они явно приносили русскую армію въ жертву. Конечно, автора романа нельзя упрекнуть въ томъ, чтобы онъ щадилъ австрійцевъ, но онъ могъ бы въ настоящемъ свѣтѣ выставить искусство и геройство нашихъ генераловъ. Не отступая отъ строгой исторической истины, всякій безпристрастный писатель отнесетъ всю неудачу кампаніи 1805 года къ австрійцамъ. Если-бъ Макъ съ 70,000 арміею не положилъ оружія, если-бъ Мерфельдтъ и Ностицъ не сдѣлали того же самого, то даже безъ соединенія съ войсками эрцгерцоговъ успѣхъ кампаній могъ быть довольно вѣренъ подъ начальствомъ такого вождя, какимъ былъ Кутузовъ. Герой романа графа Толстого, князь Болконскій, присутствуетъ почти во все время славной ретирады Кутузова отъ Браунау, и авторъ имѣлъ случай выказать подвиги нашей арміи. Во всемъ романѣ графа Толстого князь Болконскій гораздо умнѣе и Кутузова, и Багратіона, и всѣхъ нашихъ генераловъ. Найдете ли вы тамъ славную битву Багратіона и Милорадовича подъ Амштетеномъ, гдѣ эти два Суворовскіе генерала воодушевляли другъ друга памятью Требій и Нови, и гдѣ Милорадовичъ прозвалъ своихъ апшеронцевъ: „ce sont des crânes“ (щеголяя французскимъ языкомъ, который онъ плохо

зналъ)? Битва подъ Амштетеномъ останется въ военной исторіи, какъ одна изъ самыхъ яростныхъ, гдѣ русскій штыкъ истинно ознаменовалъ себя. Посмотрите же, какъ графъ Толстой отозвался о томъ: „Были дѣла при Ламбахѣ, Амштетенѣ и Милькѣ; но, несмотря на храбрость и стойкость, признаваемыя самимъ непріятелемъ, съ которымъ дрались русскіе, *последствіемъ этихъ дѣлъ было только еще быстрое отступленіе*“ (1,221) — только что не сказано *быстро*! Но какое же это было отступленіе? Никакія силы французовъ не могли не только сломить, но даже и разстроить нашъ арріергардъ. Это отступленіе, по глубокообдуманному плану, спасало всю армію, и было доведено до конца съ полнымъ успѣхомъ чрезъ соединеніе съ арміею, шедшею изъ Россіи до катастрофы аустерлицкой, гдѣ уже не Кутузовъ, а *юфс-кригеръ и іадкіе проектеры*, какъ говаривалъ Суворовъ, сдѣлались главнокомандующими...

Графъ Толстой только слегка коснулся кампаніи 1807 года; онъ привелъ скандальное письмо Каменскаго къ государю, ни слова не сказавъ о нашихъ подвигахъ въ блестящей для насъ битвѣ подъ Прейсишъ-Эйлау, которой память у насъ ознаменована особымъ орденомъ (этотъ орденъ теперь остался едва ли только не на одномъ генералъ-адъютантѣ графѣ Граббе). Кому же вспомнить объ Эйлау? но зато подробно описать, какъ наша армія голодала въ Пруссіи, набѣгъ Денисова на провіантъ чужого полка, и проч. и проч.

Читая рассказъ графа Толстого о Тильзитскомъ свиданіи двухъ императоровъ, я припомнилъ то, что разсказалъ мнѣ однажды князь Александръ Николаевичъ Голицынъ о дерзости Наполеона. Оба императора представляли другъ другу своихъ приближенныхъ; когда дошла очередь до князя Голицына, Наполеонъ, въ ту минуту, когда нашъ государь отклонился съ какою-то рѣчью въ сторону, сказалъ князю Голицыну въ полголоса: „N'est-ce pas, mon Prince, que vous êtes en partie directeur de la conscience de Sa Majesté?“ Голицынъ нашелся: „Sire — отвѣчалъ онъ ему — Vous oubliez sans doute que nous ne sommes pas des catholiques romains“.

Вотъ и 1812 годъ. Ермоловъ начинаетъ свои записки такъ: „Насталъ 1812 годъ, памятный каждому русскому, тяжкій потерями, знаменитый блистательною славой въ роды родовъ!“ Посмотримъ, какіе эпизоды этой чудной народной эпопеи представилъ намъ графъ Толстой, и какъ онъ ихъ представилъ. Начинаемъ съ Вильны. Авторъ романа говоритъ: „Русскій императоръ болѣе мѣсяца жилъ уже въ Вильнѣ, дѣлая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой всѣ ожидали, и для приготовленія къ которой императоръ пріѣхалъ изъ Петербурга. Общаго плана дѣйствій не было. Колѣбанія о томъ, какой планъ изъ всѣхъ тѣхъ, которые предлагались, долженъ быть принять, еще болѣе усилились...“ Еще до выступленія гвардіи изъ Петербурга, мы, въ началѣ марта, всѣ знали, что, въ виду необычайныхъ приготовленій Наполеона, войска наши стянуты къ границамъ, что мы готовимся предупредить его планы, даже войною наступательною, и что огромные магазины устроены въ Бѣлостокѣ и въ губерніяхъ Гродненской и Виленской. Планы для предстоящей, почти неминуемой войны, давно уже обдумывались въ Петербургѣ. Ложные слухи, которые искусно распустилъ Наполеонъ, будто-бы главныя силы его сосредоточиваются къ Варшавѣ, и что одновременно австрійская армія направится на насъ изъ Галиціи, были причиною того, что мы разобщили наши силы на три отдѣльныя части: на первую западную армію, вторую западную и третью обсерваціонную. Переходъ Наполеона съ главными силами черезъ Нѣманъ у Ковно, межъ тѣмъ какъ корпусъ Даву направленъ былъ на Минскъ, противу князя Багратіона, ясно обнаружилъ его намѣреніе воспрепятствовать соединенію нашихъ армій. Первая западная армія, на которую шелъ Наполеонъ съ 220,000, состояла приблизительно отъ 110,000 до 127,000 человекъ, а вторая западная, на которую шелъ Даву съ 60,000, считала не болѣе 37,000. Отступленіе обѣихъ нашихъ армій для соединенія сдѣлалось уже необходимостью, хотя Барклай рѣшался принять сраженіе одинъ и даже извѣщалъ о томъ Багратіона.

Графъ Толстой говоритъ о девяти партіяхъ, существовавшихъ тогда, изъ которыхъ четвертую можно назвать неслыханною, и во главѣ которой онъ ставитъ великаго князя Константина Павловича, наследника-цесаревича, и канцлера графа Румянцева. Эта партія, какъ говоритъ романистъ, сильно распространившаяся въ высшихъ сферахъ арміи, боялась Наполеона, видѣла въ немъ силу, въ себѣ слабость, и прямо высказывала это. Они говорили: „Ничего, кромѣ горя, срама и гибели, изъ всего этого не выйдетъ... одно, что намъ остается умнаго сдѣлать, это заключить миръ, и какъ можно скорѣе, пока не выгнали насъ изъ Петербурга“. Можно было безотвѣтственно называть и заставлять говорить по-своему князя Андрея Болконскаго, Безухова или Ростова, но безъ положительныхъ фактовъ ставить на сцену, какъ мы видѣли въ первыхъ томахъ, Кутузова, Багратиона, а теперь великаго князя Константина Павловича, Румянцева и другихъ, какъ мы увидимъ далѣе, едва ли позволительно какому бы то ни было талантливому автору. Можемъ завѣрить, что такой партіи вовсе не существовало; то, что сказалъ императоръ Александръ въ рескриптѣ, посланномъ въ Петербургъ къ фельдмаршалу графу Салтыкову: „Я не положу оружія, доколѣ ни единого непріятельскаго воина не останется въ царствѣ моемъ“, было лозунгомъ Россіи и арміи отъ прапорщика до генерала. Эти самыя слова поручено было Балашову, отправленному государемъ съ письмомъ къ Наполеону, заявить ему.

Разговоръ Наполеона съ Балашовымъ смѣшонъ: Наполеонъ является тутъ вполнѣ *le bourgeois gentilhomme* Мольера. То, что можно простить солдату Даву, то самое не извинительно въ лицѣ французскаго императора. Въ этомъ смыслѣ и рассказывалъ Балашовъ свою поѣздку; но графъ Толстой постарался, какъ кажется, выказать униженіе, которому подвергъ себя Балашовъ. Авторъ даже усугубилъ грубость Даву, не упомянувъ, что французскій маршалъ представилъ въ его распоряженіе свою квартиру, багажъ и адъютанта. Въ разговорѣ съ Наполеономъ Балашовъ былъ менѣе находчивъ, чѣмъ князь Голицынъ въ Тильзитѣ, однако, сказалъ.

гордому властелину Франціи, что онъ можетъ придти въ Москву черезъ Полтаву. Надобно замѣтить, что Наполеонъ съ намѣреніемъ замедлялъ принять Балашова, и поручилъ Даву найти предлогъ продержать его, чтобы не останавливать движеній своихъ для разобщенія нашихъ армій. Великій князь Константинъ Павловичъ, о которомъ графъ Толстой говоритъ, что онъ не могъ забыть своего аустерлицкаго разочарованія, гдѣ онъ, какъ на смотрѣ, выѣхалъ передъ гвардіею въ каскѣ и колетѣ, рассчитывая молодецки раздвинуть французовъ, попавъ неожиданно въ первую линію, насили ушелъ въ общемъ смятеніи, (что не совсѣмъ такъ: правда, онъ попалъ, но *не неожиданно* въ первую линію, а по милости австрійцевъ, ибо великій князь долженъ былъ тамъ найти уже князя Лихтенштейна, который пришелъ уже, какъ говорится, къ шапочному разбору)—этотъ самый великій князь показалъ много стойкости: по его распоряженіямъ произведены были нѣсколько блестящихъ атакъ, какъ пѣхотою, такъ и кавалеріею. Подъ Аустерлицемъ онъ былъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ, чѣмъ какимъ мы его видѣли при польскомъ возстаніи въ Варшавѣ... Но обращусь къ своему предмету. Я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ, стоя съ генераломъ Ермоловымъ на нашей батарее, въ виду пылающаго Смоленска, при постепенно умолкающихъ пушечныхъ выстрѣлахъ, онъ громко, но несправедливо порицалъ Барклая, удаляющаго его во второй разъ изъ арміи и не рѣшающагося удерживать непріятеля: „онъ не хочетъ, чтобы я съ вами служилъ, говорилъ великій князь—и раздѣлялъ вашу славу и опасности“. Кто зналъ канцлера Румянцева, тотъ также не вложитъ въ его уста или въ его мысли то, что высказалъ графъ Толстой. Присутствіе великаго князя оказывалось вреднымъ въ главной квартирѣ арміи; онъ не только не былъ во главѣ той партіи, о которой говоритъ графъ Толстой, но находился въ главѣ порицателей Барклая, который не могъ устранить его отъ военныхъ совѣщаній, а между тѣмъ великій князь, по своей непріязни къ Барклаю, громко критиковалъ всѣ его распоряженія, и тѣмъ нарушалъ тайну военныхъ совѣтовъ. На-

добно отдать справедливость Барклаю, что онъ ни мало не придерживался нѣмецкой партіи, которая и тогда, какъ въ 1805 году, едва не взяла верхъ въ военныхъ совѣтахъ, куда Пфуль хотѣлъ внести элементы гофскригерата. Не легко было Барклаю отъ него избавиться, но безсмысленный Дрисскій лагерь оказалъ ему эту услугу и похоронилъ Пфуля.

Описывая первыя дѣйствія въ эту кампанію павлоградскихъ гусаровъ подъ Островной (хотя этотъ полкъ находился въ это время въ арміи графа Тормасова, что можно видѣть изъ сохранившихся расписаній и изъ реляціи Тормасова), авторъ романа представляетъ намъ разговоръ офицеровъ, по случаю полученнаго извѣстія изъ арміи князя Багратіона, и, между прочимъ, объ упорномъ боѣ у Салтановской плотины, гдѣ Раевскій явилъ теплый подвигъ патріотизма, который переходилъ тогда у насъ въ арміи изъ устъ въ уста; когда Раевскій, имѣя по сторонамъ своихъ двухъ, едва входившихъ въ юношество, сыновей, вмѣстѣ съ генераломъ Васильчиковымъ, впереди Смоленскаго полка, подъ сильнымъ картечнымъ огнемъ воодушевлялъ свои геройскіе ряды собственнымъ примѣромъ. Одинъ изъ сыновей Раевского просилъ находившагося возлѣ него подпрапорщика со знаменемъ передать ему знамя, и получилъ въ отвѣтъ: „я самъ умѣю умирать!“ Многіе офицеры и нижніе чины, получивъ по двѣ раны и перевязавъ ихъ, опять шли на бой, какъ на пиръ. Посмотрите, какъ этотъ подвигъ осмѣянъ въ романѣ графа Толстого. Нельзя не выписать циническихъ словъ романиста: „во-первыхъ, на плотинѣ, которую атаквали, *должна была быть* такая путаница и тѣснота, что *если* Раевскій и вывелъ сыновей, то это ни на кого не могло подѣйствовать, кромѣ какъ человѣкъ на десять, которые были около его самого, думалъ Ростовъ; остальные и не могли видѣть, какъ и съ кѣмъ Раевскій шелъ по плотинѣ. Но и тѣ, которые видѣли это, не могли очень одушевиться, потому что—*что имъ было за дѣло до нѣжныхъ чувствъ Раевского, когда тутъ дѣло шло о собственной шкурѣ?*“ Замѣтите: два генерала, Раевскій и Васильчиковъ, со всѣми офицерами

своего штаба, спѣшившись съ своихъ коней, идутъ во главѣ Смоленскаго полка, никто этого не видитъ, и никого это не одушевляетъ, потому что *все думаютъ о своей шкурѣ!*...

Распространяясь объ ничтожной атакѣ павлоградцевъ (эту атаку надобно перенести изъ сраженія при Островнѣ къ сраженію Тормасова при Городичнѣ, (за которую эскадронный командиръ Ростовъ, конечно, по опечаткѣ, награжденъ орденомъ св. Георгія 3-й степени), и коснувшись уже военныхъ дѣйствій подъ Островною, не было ли естественнѣе русскому перу обрисовать молодецкія кавалерійскія дѣла аріергарда графа Палена? Онъ закрывалъ опасное отступление 1-й арміи среди бѣлаго дня въ виду Наполеона, который принялъ это за перемѣну фронта, ибо, по дошедшимъ до него извѣстіямъ, онъ былъ увѣренъ, что мы готовимся принять генеральное сраженіе. И въ самомъ дѣлѣ, Барклай рѣшился на то: всѣ диспозиціи были уже сдѣланы вдоль рѣчки Лучесы. Слушая пушечные выстрѣлы сражающагося авангарда и глядя на застигаемый дымомъ горизонтъ, мы уже разсуждали съ нашей батареей, поставленной на большомъ возвышеніи, какъ мы будемъ обстрѣливать наступающія на насъ колонны, и разсчитывали съ нашими фейверкерами по глазомѣру, какой пунктъ удобенъ для дальней и какой для ближней картечи, какъ вдругъ получили повелѣніе сниматься съ позиціи. Помню нашъ ропотъ... мы не знали обстоятельствъ. Барклай, котораго мы прозвали Фабіемъ-Медлителемъ, своею рѣшимостью принять передъ Витебскомъ генеральное сраженіе, имѣя 80,000 противъ 150,000, предводимыхъ Наполеономъ, не походилъ тогда на Фабія. Привезенныя адъютантомъ князя Баграціона (княземъ Меншиковымъ) извѣстія о неудачѣ его пройти чрезъ Могилевъ и о трудностяхъ, которыя ему предстоятъ для соединенія съ І-ю арміею въ Смоленскѣ, рѣшили главнокомандующаго на отступление послѣ собраннаго имъ военнаго совѣта. На этомъ совѣтѣ Тучковъ І-й предлагалъ оставаться на позиціи до вечера. „Кто же поручится въ томъ, что мы еще до вечера не будемъ разбиты?“ возразилъ Ермоловъ.—„Развѣ Наполеонъ обязался оставить насъ въ по-

коѣ до ночи?" Помню также, что отступление наше въ виду французовъ было совершено въ такомъ строгомъ порядкѣ, какъ бы это было подѣ Краснымъ Селомъ. Черезъ полчаса времени лѣсное мѣстоположеніе скрыло наше отступление отъ глазъ непріятеля. Чтобы не выводить Наполеона изъ заблужденія, приказано было оставить наши бивуаки въ томъ же видѣ, какъ они были, и поручено было казакамъ разложить на ночь костры, какъ бы вся армія тутъ находилась.

Опасеніе, чтобы Даву не занялъ Смоленска прежде Багратіона, ставило Барклая въ необходимость поспѣшать къ Смоленску форсированными маршами; онъ отрядилъ впереди себя корпусъ Дохтурова съ гвардією, которому было предписано идти усиленными форсированными маршами, и, во что бы то ни стало, удерживать Смоленскъ до прихода Барклая. Наша легкая батарея была въ авангардѣ Дебрерадовича, и можно сказать, что мы, *какъ было приказано*, шли по-суворовски. На привалахъ предпочитали часа два заснуть, а ѣли на маршѣ. Мы пришли подѣ Смоленскъ въ глубокую темную ночь, и увидѣли по ту сторону Днѣпра огни бивуачныхъ костровъ. Не зная, чьи это бивуаки, напихъ-ли или непріятеля, намъ не велѣно было раскладывать огней, хотя мы нуждались сварить кашу; немедленно были посланы казаки развѣдать истину. Часа черезъ два возвратились наши развѣдцы съ криками „ура!“ Это былъ авангардъ князя Багратіона, и въ мигъ запылали костры и началась ночная солдатская пирушка. Вскорѣ пришелъ весь корпусъ Дохтурова. На другой день къ вечеру пришла и вся I-я западная армія. Можно ли читать безъ глубокаго чувства оскорбленія не только намъ, знавшимъ Багратіона, да и тѣмъ, которые знаютъ его геройскій характеръ по исторіи, то, что позволилъ себѣ написать о немъ графъ Толстой? Всѣмъ извѣстно, что Багратіонъ былъ противныхъ мнѣній съ Барклаемъ, что онъ письменно и словесно укорялъ его въ ретирадѣ, что онъ считалъ его нѣмцемъ; но самъ-то Багратіонъ считалъ себя вполнѣ русскимъ, и могъ ли этотъ доблестный воинъ рѣшиться изъ нелюбви своей къ Барклаю

заслужить себѣ названіе измѣнника, избѣгая съ *умысломъ*, какъ то говоритъ графъ Толстой, присоединиться съ своей арміей къ Барклаю!.... Могъ ли думать Багратіонъ, что за всѣ принесенныя имъ жертвы отечеству своею кровью, геройскій прахъ его будетъ потревоженъ такимъ неслыханнымъ нареканіемъ? Будемъ надѣяться, что только въ одномъ романѣ графа Толстого можемъ мы встрѣтиться съ подобными оцѣнками мужей нашей отечественной славы, и что наши молодые воины, руководясь свѣточемъ военныхъ лѣтописей, къ которымъ мы ихъ обращаемъ, будутъ съ благоговѣніемъ произносить такія имена, какъ Багратіонъ.

Соединясь подъ Смоленскомъ съ арміею Барклая, Багратіонъ съ нимъ искренно примирился, когда оба главнокомандующіе выяснили другъ другу причины своихъ дѣйствій и разномысліи.

Характеръ князя Багратіона былъ слишкомъ откровенный, а потому, объѣзжая вмѣстѣ съ Барклаемъ ряды его арміи, которую тотъ ему представилъ, онъ бы не сталъ нѣсколько разъ протягивать ему руку въ виду всего войска, чему я былъ самовидцемъ. Но вскорѣ послѣ того они опять разладились. Багратіонъ былъ (какъ я думаю) совершенно правъ: это произошло за отмѣну наступательнаго движенія къ Руднѣ, когда Наполеонъ, находясь въ Витебскѣ, разобщилъ свои силы. И дѣйствительно, тогда все обѣщало намъ успѣхъ. Мы подходили уже къ Руднѣ, какъ вдругъ движеніе было приостановлено, и, наконецъ, совсѣмъ отмѣнено, несмотря на то, что даже дѣйствія были уже начаты. Платовъ разбилъ подъ Инковымъ кавалерійскую дивизію Себастіани, и если-бъ Барклай не сдѣлалъ безполезной дневки, и быстро направился на Витебскъ, то онъ напалъ бы на непріятеля совершенно врасплохъ. Самый добросовѣстный писатель о войнѣ 1812 г. Шамбрэ говоритъ, что движеніе на Рудню было отлично обдуманно, и обѣщало успѣхъ; но онъ же говоритъ, что корпуса, противъ которыхъ предстояло Барклаю сражаться, были сильнѣе его, что успѣхъ не избавилъ бы его отъ своего противника, а неудача могла бы навлечь большія бѣдствія на Россію. Какъ бы то ни было, послѣ

этого Багратионъ, только подъ Бородиномъ, смертельно раненный, будучи свидѣтелемъ геройскихъ подвиговъ Барклая во время битвы, въ то время, какъ докторъ Вилліе перевязывалъ ему рану, увидѣвъ раненаго Барклаева адъютанта Левенштерна, подозвалъ его къ себѣ и поручилъ ему увѣрить Барклая въ своемъ искреннемъ уваженіи*).

А какъ же это, по словамъ романиста, „французы *наткнулись* на дивизію Невѣровскаго“, тогда какъ князь Багратионъ, соединясь въ Смоленскѣ съ Барклаемъ, немедленно отрядилъ дивизію Невѣровскаго для наблюденія пути изъ Орши въ Смоленскъ?... Французы не могли *не наткнуться* на Невѣровскаго. И кто-же на него наткнулся? Мюрать съ кавалерійскими корпусами Груши, Нансути и Монбрена, и наступающія вслѣдъ за ними пѣхотныя колонны корпуса маршала Нея.

Конечно, романистъ не историкъ, и можетъ приводить только тѣ обстоятельства, которыя касаются его героев; вѣроятно, оттого онъ ни слова не сказалъ о славныхъ для русскаго оружія битвахъ графа Витгенштейна, о его побѣдѣ подъ Клястицами, о побѣдахъ подъ Кобриномъ и Городечною Тормасова, и даже о пораженіи генерала Себастьяни казацкими полками атамана Платова при Молевомъ Болотѣ у Инкова. А это сраженіе входитъ уже въ кругъ военныхъ дѣйствій около Смоленска, и авторъ очерчиваетъ общій ходъ дѣлъ кампаніи, даже говоритъ о сраженіи на Салтановской плотинѣ... Какъ же, назвавъ Невѣровскаго, онъ не нашелъ ничего сказать другого, какъ то, что мы привели? Подвигъ Невѣровскаго всѣми военными писателями, какъ нашими, такъ и иностранными, ставится какъ блистательный и достопамятный примѣръ превосходства хорошо обученной пѣхоты, предводимой искуснымъ начальникомъ; это говоритъ и Шамбрэ, прибавляя, что всѣ усиленныя атаки французской кавалеріи (которыхъ было *сорокъ*) остались тщетными. Я помню, съ какимъ энтузіазмомъ мы смотрѣли на

*) Давилевскій, 11.240.

Невѣровскаго и на остатокъ его молодецкой дивизіи, присоединившейся къ арміи.

Коснувшись Смоленска, мы остановимся покуда на этомъ предметѣ. Изъ всѣхъ обстоятельствъ видно, что планъ дѣйствій Барклая былъ имъ уже обдуманъ и рѣшенъ, и что тѣ же причины, по которымъ онъ отмѣнилъ наступленіе къ Руднѣ, заставили его не отстаивать Смоленска. Барклай, не считая еще армію Наполеона достаточно ослабленною, руководствовался правиломъ: не дѣлать того, что желаетъ противникъ, т. е. до поры до времени не вступать въ генеральное сраженіе, котораго такъ добивался Наполеонъ. Одинъ только графъ Толстой говоритъ, будто Наполеонъ *очень мало искалъ сраженія*—зато его статья объ этомъ предметѣ походить на шутку. Онъ говоритъ, между прочимъ, что «въ историческихъ сочиненіяхъ о 1812 годѣ, авторы французы очень любятъ говорить о томъ, какъ Наполеонъ чувствовалъ опасность растяженія своей линіи, какъ онъ искалъ сраженія, какъ маршалы его совѣтовали ему остановиться въ Смоленскѣ» и проч. Итакъ, мы должны вѣрить, что графъ Толстой гораздо лучше, чѣмъ французскіе историческіе писатели и маршалы, знаетъ, чего хотѣлъ и что думалъ Наполеонъ. Графъ Сегюръ оставилъ намъ весьма любопытный разсказъ совѣщанія Наполеона въ Смоленскѣ съ маршаломъ Бертье, съ генералами Мутономъ, Коленкурромъ, Дюрокомъ и министромъ статсъ-секретаремъ Дарю. Когда они отклоняли его идти далѣе Смоленска, онъ воскликнулъ: «я самъ не разъ говорилъ, что война съ Испанією и съ Россією какъ двѣ язвы точатъ Францію, я самъ желаю мира; но чтобы подписать миръ, надобно быть *deux*, а я *одинъ*!...» Это былъ уже крикъ отчаянія! Графъ Толстой говоритъ намъ, будто «Наполеонъ началъ войну съ Россією потому, что не могъ не пріѣхать въ Дрезденъ, не могъ не отуманиться почестями, не могъ не надѣть польскаго мундира, не поддаться предприимчивому впечатлѣнію іюньскаго утра, не могъ воздержаться отъ гнѣва на Куракина и Балашова. Александръ отказался отъ всѣхъ переговоровъ, потому что лично чувствовалъ себя оскорбленнымъ. Бар-

клай старался наилучшимъ образомъ управлять арміей для того, чтобы исполнить свой долгъ и заслужить славу великаго полководца. Ростовъ поскакалъ въ атаку на французовъ потому, что не могъ удержаться отъ желанія проскакаться по вольному полю...“ Но мы удержимся оцѣнивать подобныя разсужденія, которыми преисполненъ романъ графа Толстого, по которымъ и Юлій Цезарь, и Наполеонъ, и Суворовъ, и всѣ полководцы обязаны своими побѣдами впечатлѣніямъ хорошей или дурной погоды, или, какъ Ростовъ, желаніемъ поротовать по избранному ими полю!...

Мы не ставили бы на видъ автору романа главные военные эпизоды нашей славной войны 1812 года, если бы онъ не выходилъ изъ рамки романа, не вставлялъ въ нее военные эпизоды, облекая ихъ стратегическими разсужденіями, рисуя боевыя диспозиціи, и даже планы баталій, давая всему этому характеръ историческій, и тѣмъ вводя невольно въ заблужденіе, конечно, не военныхъ, но общество гражданское, гораздо болѣе многочисленное и которому, не менѣе какъ и военнымъ, дорога слава нашей арміи. Но какое сословіе пощажено въ романѣ графа Толстого? Мы видѣли, какъ онъ обрисовывалъ нашихъ полководцевъ и нашу армію; посмотрите теперь, что такое у него наши дворяне, купечество и наши крестьяне. Прочтите, какъ онъ описываетъ дворянское и купеческое собраніе въ Москвѣ при встрѣчѣ государя, прибывшаго изъ Смоленска съ воззваніемъ къ своему народу. Эти сословія въ романѣ графа Толстого суть не иное что, какъ Панургово стадо, гдѣ, по мановенію Ростопчина, плѣшивые вельможи-старики и беззубые сенаторы, проводившіе жизнь съ шутами и за бостономъ, поддакивали и подписывали все, что имъ укажутъ. Не одно симбирское дворянство, а дворянство всей Россіи исполнило не на словахъ, а на дѣлѣ то, что было имъ опредѣлено: „Внимая гласу Монаршаго воззванія по случаю нашествія на отечество наше непріятелей, дворянство единоголосно изъявило желаніе, оставя женъ и дѣтей своихъ, препоясаться всѣмъ до единого и идти защищать вѣру, царя и дома, не щадя живота своего“. Еще остались дѣти

тѣхъ плѣшивыхъ стариковъ-вельможъ и беззубыхъ сенаторовъ, которыя также теперь беззубыя и плѣшивыя, но которыя помнятъ, какъ ихъ отцы и матери посылали ихъ еще юношами одного на смѣну другого, когда первый возвращался на костыляхъ или совсѣмъ не возвращался, положивъ свои кости на полѣ битвы, какъ ихъ отцы, хотя плѣшивые, но помнившіе Румянцева и Суворова, сами становились во главѣ ополченій. Ихъ имена остались еще и останутся въ нашихъ лѣтописяхъ въ укоръ ихъ насмѣшникамъ *). Тамъ можно также прочесть, что дѣлали тогда *толстые откупщики и узкобородые съ желтымъ лицомъ юловы, кричавшіе: И жизнь и имущество возьми, Ваше Величество!*...

Графъ Толстой рассказываетъ намъ, какъ князь Кутузовъ, принимая въ Царевѣ-Займищѣ армію, былъ болѣе занятъ чтеніемъ романа г-жи Жанлисъ „Les Chevaliers du Cygne“, чѣмъ докладомъ дежурнаго генерала. Всякій, кто помнитъ Кутузова, знаетъ, что онъ, вышедши изъ школы Суворова, любилъ принимать его замашки и странности, не только передъ солдатами, но и передъ своими окружающими. Конечно, тотъ, кто сообщилъ графу Толстому этотъ *пикантный* анекдотъ, буде онъ достовѣренъ, либо не знаетъ, либо не понималъ Кутузова. И есть ли какое вѣроятіе, чтобы Кутузовъ, ѣхавшій прямо изъ Петербурга, напутствуемый своимъ монархомъ, всѣмъ населеніемъ столицы, а въ продолженіе пути всѣмъ народомъ, когда уже непріятель проникъ въ сердце Россіи, а онъ съ прибытіемъ въ Царево-Займище, видя передъ собою всѣ арміи Наполеона и находясь наканунѣ рѣшительной ужасной битвы, имѣлъ бы время не только читать, но и думать о романѣ г-жи Жанлисъ, съ которымъ онъ попалъ въ романъ графа Толстого?! Тутъ же мы видимъ нашего знаменитаго партизана Дениса Давыдова, котораго мы долго не хотѣли узнавать въ старомъ, усатомъ, пьяномъ лицѣ буяна *Денисова*. Могу

*) Михайловскій-Данилевскій и Богдановичъ въ исторіи отечественной войны посвятили особымъ главамъ этому предмету, но они не исчерпали еще всѣ источники.

завѣрить графа Толстого, что Денисъ Давыдовъ, котораго я хорошо зналъ, хотя и былъ усатъ, но былъ тогда въ цвѣтъ возмужалыхъ лѣтъ, и что лицо его было ни *старое* ни *пьяное*, и что онъ всегда принадлежалъ къ кругу высшаго общества...

Графъ Толстой въ своемъ романѣ, гдѣ онъ въ главахъ 33—35 прекрасно и вѣрно изобразилъ общіе фазисы бородинской битвы, позволилъ себѣ, прежде того, слѣдующимъ образомъ выразиться о подвигѣ Ермолова: „это была атака, которую *себѣ приписывалъ* Ермоловъ, говоря, что только его храбрости и счастію возможно было сдѣлать этотъ подвигъ, и атака, въ которой онъ будто бы кидалъ на курганъ георгіевскіе кресты, бывшіе у него въ карманѣ“. Мы считаемъ даже неумѣстнымъ возражать на такое нареканіе: подвигу Ермолова была свидѣтелемъ армія; приглашаемъ однако автора прочесть, по этому предмету, подлинную реляцію Баркляя. Мой бывшій товарищъ, поручикъ Глуховъ, бывъ раненъ, возвращался съ перевязочнаго пункта къ своей батарее; въ самое это время Ермоловъ завладѣлъ имъ, заставилъ его приводить въ порядокъ людей Перновскаго полка, и, соединивъ ихъ съ Уфимскимъ баталіономъ, пошелъ вмѣстѣ съ нимъ на штыки. Тутъ Глуховъ былъ вторично раненъ и вторично былъ отправленъ на перевязочный пунктъ.

Авторъ романа предпочелъ заняться г. Безуховымъ и разсказать намъ, какъ этотъ *баринъ* схватился за шиворотъ съ французомъ... И подлинно, у него героемъ Бородина выставленъ графъ Безуховъ.

А. Е. Норовъ.

* * *

*) Романъ г. Толстого интересенъ для военнаго въ двоякомъ смыслѣ: по описанію сценъ военныхъ и войскового быта и по стремленію сдѣлать нѣкоторые выводы относительно теоріи военнаго дѣла. Первые, т. е. сцены, непо-

*) М. Драгомировъ. „Оружейный Сборникъ“ 1868 г., № 4. „Война и Миръ графа Толстого съ военной точки зрѣнія“.

дражаемы и, по нашему крайнему убѣжденію, могутъ составить одно изъ самыхъ полезнѣйшихъ прибавленій къ любому курсу теоріи военнаго искусства; вторые, т. е. выводы, не выдерживаютъ самой снисходительной критики по своей односторонности, хотя они интересны какъ переходная ступень въ развитіи воззрѣній автора на военное дѣло.

Попытаемся прослѣдить „Войну и Миръ“ съ поставленныхъ двухъ точекъ зрѣнія.

На первомъ планѣ является бытовая мирно-военная картинка; но какая! Десять батальныхъ полотенъ самаго лучшаго мастера, самаго большого размѣра, можно отдать за нее. Смѣло говоримъ, что не одинъ военный, прочитавъ ее, невольно сказалъ себѣ: да это онъ списалъ съ нашего полка.

Пѣхотный полкъ, прибывшій къ Браунау послѣ 30 верстнаго перехода, получилъ увѣдомленіе, что фельдмаршалъ будетъ смотрѣть его на походѣ завтра; начальство—въ мучительномъ недоумѣніи насчетъ формы, въ которой должно представиться, и, наконецъ, послѣ долгихъ колебаній и зрѣлыхъ совѣщаній, на основаніи того начала, что лучше «перекланяться, чѣмъ не докланяться», рѣшаетъ представиться въ парадной формѣ.

Солдаты всю ночь чистятся и чинятся (послѣ 30 верстнаго перехода); на слѣдующее утро полкъ готовъ такъ, «что и на Царицыномъ лугу съ поля не прогнали бы»; полковой командиръ, во всемъ съ иголки, похаживалъ передъ фронтомъ съ видомъ человѣка, счастливо совершающаго одно изъ самыхъ торжественныхъ дѣлъ жизни,—и вдругъ... прискакиваетъ адъютантъ изъ штаба съ подтвержденіемъ того, что главнокомандующій желаетъ видѣть полкъ на походѣ, т.-е. совершенно въ томъ положеніи, въ которомъ онъ шелъ: въ шинеляхъ, чехлахъ и безъ всякихъ приготовленій... Роль перемѣняется. Первая мысль у командира—найти виноватаго парадной формѣ. Михайло Митричъ, одинъ изъ баталіонныхъ командировъ, по всей вѣроятности, тотъ, который первымъ напомнилъ руководящее начало житейской философіи (лучше перекланяться,

чѣмъ не докланяться), получилъ упрекъ въ томъ родѣ, что, вѣдь, говорилъ же ему полковой командиръ, „что на походѣ, такъ въ шинеляхъ“... Что въ его власти было послушать или не послушать совѣтъ, почтенному командиру это въ голову не пришло. Наконецъ, рѣшили переодѣтъ въ шинели.

Когда подчиненный боится, что его распекутъ, онъ чувствуетъ непреодолимый позывъ распечь своего подчиненнаго; такъ было и тутъ: разжалованный изъ офицеровъ солдатъ стоитъ въ тонкой синеватой шинели, которую носить походомъ разрѣшилъ ему самъ же полковой командиръ. И вотъ требуется ротный командиръ, дѣлается ему выговоръ, со всѣми усовершенствованіями тона и выраженій добраго стараго времени. Напускаются и на солдата.

Но вотъ махальный закричалъ не своимъ голосомъ: „ѣдетъ“.

„Полковой командиръ, покраснѣвъ, подбѣжалъ къ лошади, *дрожавшими* руками взялся за стремя, перегнулъ тѣло, оправился, вынулъ шпагу и со счастливымъ рѣшительнымъ лицомъ, на бокъ раскрывъ ротъ, приготовился крикнуть. Полкъ встрепенулся, какъ управляющаяся птица, и замеръ. „Сми-р-р-р-но! закричалъ полковой командиръ потрясающимъ душу голосомъ, радостнымъ для себя, строгимъ въ отношеніи къ полку и привѣтливымъ въ отношеніи къ подбѣжающему начальнику“.

Вотъ начальникъ части, хотя и небольшой, но все же достаточно сильной, чтобы въ хорошихъ рукахъ дать иногда поворотъ большому сраженію,—приготовленъ ли онъ къ тому, чтобы спокойно встрѣчать опасность, чтобы въ тѣ минуты, когда поздно бываетъ ожидать приказанія, имѣть настолько чувства личнаго достоинства и нравственной самостоятельности, чтобы самому принять рѣшеніе и взять на себя за него отвѣтственность: приготовленъ ли онъ ко всему этому—пусть рѣшатъ читатели.

Не одинъ добросовѣстный и искренній начальникъ, посмотрѣвши въ это зеркало, задумается надъ собственнымъ обычаемъ; и не безплодно задумается, если, замѣтивъ въ этомъ обычаѣ черты, общія съ поведеніемъ этого полкового командира, отъ нихъ откажется.

И такова всепримирающая, великая сила художественнаго изображенія! Передъ вами стоитъ, какъ живою, чуждѣмъ, каждый шагъ котораго, въ прямомъ его дѣлѣ, повергаетъ его въ колебанія и ребяческую тревогу; но, лично, она не возбуждаетъ къ себѣ никакого антипатичнаго чувства. Вѣрное изображеніе доказываетъ то, чего непосредственно въ немъ вовсе и нѣтъ: доказываетъ, что этотъ человѣкъ вышелъ такимъ не по своимъ свойствамъ, а что его сдѣлала такимъ система. Вы это видите и на безотвѣтномъ Тимохинѣ, которому подъ Измаиломъ выбито два переднихъ зуба прикладомъ: стало, онъ видалъ виды и боевую упругость имѣеть, а въ ожиданіи мирнаго смотра чуть не дрожить; видите и на миломъ шутникѣ Жерковѣ, который и въ вѣкъ не дождетъ съ порученіемъ въ такое мѣсто, гдѣ летаютъ пули и ядра, но доподлинно расскажетъ потомъ начальнику, что тамъ было и какъ было, и ужъ, конечно, наградою за свои военные подвиги обойденъ не будетъ; видите, наконецъ, на буйномъ, необузданномъ, энергическомъ Долоховѣ, котораго не уняло производство въ солдаты, и который, какъ тѣнь на картинѣ, выставляетъ остальныхъ лица въ свѣтъ еще болѣе рѣзко, чтобы не было уже никакого сомнѣнія въ томъ, что они таковы и почему они таковы.

Вотъ въ какую форму отливала человѣка система, теперь уже, благодаря Бога, отошедшая въ вѣчность, по которой лучшимъ средствомъ для поддержанія порядка считалось не требованіе настоящаго, серьезнаго, дѣла, которое должны знать войска, а такъ называемое взбучиванье за первую попавшуюся мелочь: за не совсѣмъ правильно пришитую пуговицу, за оттѣнокъ шинели и проч. и проч. Если это прошлое,—зачѣмъ же его тревожить, можетъ быть, скажутъ нѣкоторые: зачѣмъ, чтобы возвратъ къ нему былъ возможно менѣе вѣроятенъ, отвѣтимъ мы... Вспоминать старыя ошибки и увлеченія здорово: это тотъ же пѣтушій крикъ, который протрезвилъ увѣреннаго въ своей твердости Петра, твердости, которой не хватило и на нѣсколько минутъ.

А хотите знать, къ чему ведетъ фальшивое убѣжденіе,

будто честь полка страждетъ, если открывшагося въ немъ негодяя выгнать гласно, тѣмъ путемъ, который указываетъ законъ? Всякому извѣстно, что подобнаго господина, чтобы „не марать мундира“, спускаютъ втихомолку, чаще всего устраиваютъ ему переводъ *по его собственному желанію*. Затѣмъ въ части, изъ которой его спустили, — его забываютъ — и дѣлу конецъ. Относительно эгоистическаго, узкаго интереса части — ему дѣйствительно конецъ; но относительно интереса всей войсковой семьи подобное спусканье является дѣломъ до такой степени злостнымъ, что, можетъ быть, сами господа спускатели содрогнулись бы, давъ себѣ трудъ мысленно прослѣдить послѣдствія своего ребяческаго взгляда на зависимость, будто бы существующую между репутаціей, напр., полка и нравственными свойствами какой-либо единичной личности, входящей въ составъ его.

Сцена перемѣняется: передъ нами одинъ изъ кавалерійскихъ полковъ; дышется привольнѣе, люди не особенно заняты своей боевой спеціальностью, но и не погрязли въ тѣхъ ничтожныхъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ боевому дѣлу мелочахъ, которыя въ конецъ измочаливаютъ внутренняго человѣка. Передъ нами небольшой кружокъ: Денисовъ — вполнѣдствіи знаменитый партизанъ Давыдовъ; Ростовъ — юнкеръ его эскадрона, и г. Телянинъ — одинъ изъ офицеровъ того же эскадрона, *за что-то* переведенный въ полкъ изъ гвардіи, передъ походомъ. Онъ держитъ себя очень хорошо; но сердце къ нему не лежитъ. Денисовъ и Ростовъ на минуту отлучаются изъ избы, оставя въ ней г. Телянина одного. Нѣсколько минутъ спустя, Телянинъ уходитъ; а еще нѣсколько минутъ спустя, Денисовъ хватился своего кошелька, и не нашелъ его. Не стану дѣлать блѣднаго очерка этого казуса, ибо увѣренъ, что кто рѣшится прочесть этотъ разборъ, уже давно прочелъ разбираемую сцену въ самомъ романѣ. Дѣло въ томъ, что Ростовъ накрываетъ Телянина съ кошелькомъ въ трактирѣ, и сгоряча, по юношески, — и по здравому смыслу также, — докладываетъ объ этомъ полковому командиру въ присутствіи другихъ офицеровъ. Полковой командиръ сказалъ, что это

неправда, Ростовъ наговорилъ ему „глупостей“; офицеры собрались, чтобы убѣдить Ростова извиниться передъ „Богданычемъ“, какъ они между собою называли полкового командира. Ростовъ упрямится на основаніи того же, не затемненнаго фальшивыми представленіями, убѣжденія, что онъ правъ, и что человѣку, знающему, что ему говорятъ правду, странно называть эту правду ложью.

Его сбиваетъ съ этой точки ветеранъ полка, два раза разжалованный за дѣла чести, два раза выслуживавшійся, сѣдѣющій уже штабсъ-ротмистръ Кирстенъ, прямой, честный, симпатическій, сросшійся съ полкомъ. Полкъ для него родина, семья, все; одинъ изъ тѣхъ людей, которые себя не могутъ понять безъ полка и безъ которыхъ полку не достаетъ чего-то. Кому же и понимать честь полка, какъ не ему?

„... Что теперь дѣлать полковому командиру? Надо отдать подъ судъ офицера, и замарать (?) весь полкъ? Изъ-за одного негодяя весь полкъ осрамить? Такъ, что-ли, по вашему? А по нашему не такъ... А теперь, какъ дѣло хотятъ *замять* (!), такъ вы изъ-за фанаберіи какой-то не хотите извиниться, а хотите все рассказать“. И т. д.

Въ этой аргументаціи, что ни слово, то непослѣдовательность; а между тѣмъ всѣмъ, слушавшимъ почтеннаго штабсъ-ротмистра, рѣчь его казалась торжествомъ логики, проявившей, наконецъ, и самого Ростова, тѣмъ болѣе, что дальше рѣчь приправляется упреками въ томъ родѣ, что ему „своя фанаберія дорога“...

Во-первыхъ, какимъ образомъ полкъ можетъ считаться отвѣтственнымъ за навязаннаго господина и навязаннаго какъ? переведеннаго за *что-то* изъ другой части? во-вторыхъ, если низкій поступокъ офицера мараетъ полкъ, то почему же не мараетъ полка такой же поступокъ, сдѣланный солдатомъ? А это, вѣдь, случается; положимъ не часто, но случается во всякой части, и этого не скрываютъ: въ третьихъ, допуская даже солидарность всего полка со всякимъ, даже и съ гнилымъ членомъ его, — что собственно составляетъ дѣйствительный позоръ: низкій ли поступокъ

или же огласка его? Намъ кажется, что чѣмъ сильнѣе проникнуто извѣстное общество чувствомъ чести, тѣмъ болѣе рѣшительно и явно должно оно извергать изъ себя все то, что оскорбляетъ это чувство: вѣдь, покрываетъ воръ вора; честный человѣкъ не долженъ покрывать вора, или, въ противномъ случаѣ, онъ становится какъ бы его сообщникомъ. Какимъ, наконецъ, образомъ Кирстенъ, который всадилъ бы пулю всякому, кто его заподозрилъ бы въ недостаткѣ правдивости, нравственно казнить въ этомъ случаѣ Ростова именно за правдивость, и съ горечью говорить, что онъ мѣшаетъ „замять“ дѣло? Или этотъ честный служака, въ которомъ нѣтъ ничего показного, которому жизнь копейка, вѣруеть въ ту аксіому, что грѣхъ не бѣда, молва не хороша? Оказывается, что какъ будто такъ, хотя, вѣроятно, это ни самому Кирстену ни его товарищамъ не приходило въ голову.

Намъ кажется, что во всемъ этомъ столько безсознательной и поэтому именно грустной лжи, что становится весьма тяжело, когда подумаешь, къ какимъ она приводитъ послѣдствіямъ: скорѣе часто, чѣмъ рѣдко приводитъ. Впрочемъ, будемъ слѣдить за развитіемъ факта по разсказу гр. Толстого; рядомъ съ логикой, въ которой все построено на предразсудкахъ, этотъ разсказъ покажетъ намъ другую, неумолимую логику—логику природы вещей, въ силу которой нелѣпный поступокъ неминуемо порождаетъ нелѣпныя послѣдствія, казнящія за этотъ поступокъ.

Съ Ростовымъ говорятъ такъ, какъ будто главная вина заключается уже въ его опрометчивости, а не въ томъ, что ей подало поводъ; немножко поупорствуй онъ — и дѣло, можетъ быть, повернулось бы для него очень плохо. Рѣшившись онъ поставить на своемъ, и рано или поздно его почти навѣрное выкурили бы изъ полка, и, можетъ быть, даже со скандаломъ: ибо что же стѣсняться съ человѣкомъ, который такъ равнодушенъ къ „чести“ полка?

Но онъ сдается: „Я виновать, кругомъ виновать! Ну, что вамъ еще?...

— Вотъ это такъ, графъ, поворачиваясь крикнулъ штабс-ротмистръ, ударяя его большой рукой по плечу.

— Я тебѣ говорю, закричалъ Денисовъ, — онъ малый славный“.

Слѣдовательно, начинало уже зарождаться убѣжденіе въ томъ, что онъ не „славный малый“, и это въ Денисовѣ, который зналъ Ростова, и душою лежалъ къ нему... И все изъ-за чего? Изъ за того, что онъ назвалъ воровъ господина, взявшаго изъ-подъ подушки чужой кошелекъ. Но этимъ дѣло не кончилось: г. Телянинъ исключенъ изъ полка *по болѣзни*, которая ему не помѣшала, впрочемъ, въ послѣдствіи поступить въ провіантское вѣдомство. Въ 1807 году мы застаемъ его уже комиссіонеромъ въ штабѣ. Гусарскій полкъ, въ которомъ болѣзнь помѣшала г. Телянину служить, входитъ въ число частей, состоящихъ на попеченіи сказаннаго штаба. Дошло въ полку до того, что солдаты питались какимъ-то горькимъ машиннымъ корнемъ, который они почему-то называли сладкимъ, а лошади—соломой съ крышъ. Денисовъ не въ состояніи былъ болѣе выносить подобнаго положенія, которое тянулось уже около двухъ недѣль и въ одинъ, какъ говорится, прекрасный день отбилъ транспортъ, шедшій по близости его расположенія въ какую-то пѣхотную часть. Некрасиво, слова нѣтъ; но въ подобномъ положеніи на 100 начальниковъ изъ тѣхъ, которымъ ихъ солдатъ дороже личной отвѣтственности, по крайней мѣрѣ, 90 сдѣлали бы то же самое, и оправданіе ихъ было бы то же самое, вѣроятно, которое представилъ, поѣхавъ въ штабъ для объясненій, Денисовъ: „Разбой не тотъ дѣлаетъ, кто беретъ провіантъ, чтобы кормить своихъ солдатъ, а тотъ, кто беретъ его, чтобы класть въ карманъ“. Тѣмъ не менѣе позволили расписаться въ этомъ провіантѣ, якобы принятомъ по всѣмъ правиламъ искусства и съ должнымъ соблюденіемъ формъ. Пошелъ расписываться и встрѣчаетъ — Телянина. „Какъ, ты насъ съ голоду моришь?!“ и т. д., что читателямъ извѣстно. Отбитіе транспорта еще бы согласились, можетъ быть, замазать, хотя отъ этого плохо пришлось цѣлому пѣхотному полку; но оскорбленіе одного изъ тѣхъ, кто былъ прямымъ виновникомъ рѣшимости Денисова на отбитіе — этого ужъ, конечно, нельзя

допустить замазать. По донесенію чиновниковъ, оказалось уже, что онъ побилъ не одного, а двухъ, и ворвался въ комиссію въ пьяномъ видѣ. Конечно, слѣдствіе, судъ. Денисовъ, легко раненый, рѣшился уйти въ госпиталь; какъ человѣкъ, дѣло котораго было рубить, а не судиться, онъ съ внутреннимъ ужасомъ бѣжалъ отъ этой новой дѣятельности, въ которой долженъ былъ явиться паціентомъ, не имѣя и понятія даже о тѣхъ крючкахъ и уверткахъ, при помощи которыхъ онъ могъ бы если не совершенно спастись, то, по крайней мѣрѣ, поплатиться возможно меньше.

И такъ, „честь“ полка заставила прикрыть вора; это дало ему возможность заняться своею спеціальностію въ сферѣ болѣе обширной, болѣе прибыльной и главное болѣе безопасной; затѣмъ „честь“ полка обошлась во все то число людей, которое погибло отъ лишеній; въ то, что Ростовъ могъ вылетѣть изъ полка, хотя представлялъ всѣ задатки на хорошаго члена его; въ то, наконецъ, что одинъ изъ лучшихъ офицеровъ попалъ подъ судъ, и если не будетъ уничтоженъ, то, конечно, благодаря какой-нибудь счастливой случайности, а не обыкновенному ходу дѣлъ. Можетъ быть, возражать: что не Телянинъ, такъ другой; что все это авторская подтасовка; что, наконецъ, на войнѣ лишенія неизбѣжны. На первое замѣтимъ, что не будь это *именно* Телянинъ, — Денисову и въ голову бы не пришло „расписываться“; притомъ же нѣтъ никакого основанія предполагать, чтобы на мѣсто Телянина не попалъ человѣкъ честный, если бы г. Телянина лишили въ полку возможности попасть на какое-либо другое мѣсто. Что же до авторской подтасовки, то противъ нея мы ничего не имѣемъ, если она дышитъ жизненной правдой: при этомъ условіи она перестаетъ быть подтасовкой, а поднимается на высоту художественнаго, поэтически вѣрнаго сопоставленія лицъ и дѣйствій. Все рассказанное произошло естественнымъ образомъ: Телянинъ поступилъ въ провіантское вѣдомство, потому что такіе господа любятъ мѣста теплыя; представился онъ съ формуляромъ незапятнаннымъ — не принять его не было резону. Все остальное пошло какъ по маслу. Одно похоже

на натяжку: что онъ попалъ именно въ тотъ штабъ, отъ котораго зависѣлъ полкъ Денисова; но и подобное сближеніе двухъ дѣйствующихъ лицъ до такой степени просто и естественно, до такой степени часто бываетъ на самомъ дѣлѣ, что было бы смѣшно считать его натяжкой и въ настоящемъ случаѣ. Авторскія подстройки даютъ чувствовать заблаговременно, куда авторъ гнетъ: я, напр., убѣжденъ, что гр. Толстой женить Ростова на княжнѣ Болконской, а Безухова на Наташѣ; я поэтому нахожу, что тутъ какъ будто бы есть подстройка; но во всей исторіи Телянина до такой степени нѣтъ ничего подобнаго, что, провѣривъ свои впечатлѣнія, всякій, читавшій „Войну и Миръ“, вѣроятно, признаетъ сцену о томъ, какъ Денисовъ обезпokoилъ почтеннаго провіантскаго дѣятеля, столь же естественною, сколь неожиданною. Что же до того, что на войнѣ лишенія неизбѣжны, то это совершенно вѣрно; но они могутъ быть *болѣе или менѣе* велики, и, конечно, никто спорить не станетъ, что у комиссіонера со свойствами г. Телянина они должны были выйти *очень* велики. Не знаю, достаточно ли ясно слѣдуетъ изъ сказаннаго та мысль, что *не будь фальшивыхъ представленій о чести полка, войсковой организмъ легко и свободно очистился бы отъ того процента презрѣнныхъ личностей, которыя, бывъ уличены въ чемъ-либо позорномъ въ своей части, все-таки продолжаютъ оставаться въ войскѣ, нанося ему, а иногда даже и прежней своей части, неисчислимый вредъ*; для меня эта мысль представляется какъ естественный и логическій выводъ изъ совершенно объективнаго разсказа гр. Толстого. И въ этомъ, по моему мнѣнію, лучшее свидѣтельство художественности разсказа; авторъ описываетъ самый простой, обыденный случай безъ малѣйшей тенденціозности; а между тѣмъ для всякаго, мало-мальски внимательно читающаго его произведеніе, внутренній смыслъ разсказа представляется самъ собою, безъ малѣйшаго, со стороны автора, усилія, натолкнуть читателя на то либо другое заключеніе.

Мы не продолжаемъ развивать нравственные послѣдствія для Денисова того, что г. Телянинъ былъ спущенъ втихо-

молку изъ полка; не продолжаемъ потому, что всѣ, читавшіе „Миръ и Войну“, вѣроятно, помнятъ сцену свиданія Ростова съ Денисовымъ въ госпиталѣ, при которомъ послѣдній не спрашиваетъ уже ни про полкъ, ни про общій ходъ дѣла, что ему это было даже непріятно; и что все вниманіе его сосредоточивалось на запросахъ, которые получалъ изъ комиссіи, и на отвѣтахъ, которые онъ давалъ на эти запросы. Закончимъ разборъ этого эпизода однимъ вопросомъ: принимая въ соображеніе то обстоятельство, что въ бою великіе подвиги части зависятъ именно отъ двухъ-трехъ человѣкъ, въ родѣ Денисова, во сколько бы обошлось полку отсутствіе его, предполагая серьезное дѣло? А, вѣдь, это отсутствіе, въ концѣ концовъ, произошло бы опять отъ того, что не рѣшились заклеить Телянина, какъ онъ того заслуживалъ.

Боясь наскучить читателю, не буду разбирать другихъ сценъ войскового быта. Всѣ лица въ нихъ до того типичны, что Долоховы, Тимохины и проч. обратятся, вѣроятно, въ имена нарицательныя, подобно тому, какъ обратились уже въ нарицательныя имена Ноздрева, Собакевича, Манилова и другихъ героевъ Гоголя. Но не могу перейти къ боевымъ сценамъ, не упомянувъ еще объ одномъ типѣ, очерченномъ гр. Толстымъ превосходно,—о типѣ офицеровъ, жаждущихъ поскорѣе произойти, и потому изыскивающихъ кратчайшіе и легчайшіе для тогоходы. Борисъ Друбецкой и Бергъ — представители этого типа, конечно, съ различіями, обусловленными мѣрою способностей и характеромъ національности каждаго. Какъ первый ловко подмѣчаетъ, „что въ арміи, кромѣ той субординаціи и дисциплины, которая была написана въ уставѣ и которую знали въ полку, и онъ зналъ, была другая, болѣе существенная субординація, та, которая заставляла генерала почтительно дожидаться въ то время, когда капитанъ князь Андрей, для своего удовольствія, находилъ болѣе удобнымъ разговаривать съ прапорщикомъ Друбецкимъ“; и съ какою похвальною, непоколебимою, быстрою рѣшимостью Борисъ положилъ „служить впредь не по той писанной въ уставѣ, а по этой, неписанной субординаціи!“

Къ несчастію, нѣтъ арміи въ мірѣ, по крайней мѣрѣ, въ настоящую минуту, гдѣ бы эта вторая субординація не была въ ходу, и пройдетъ много времени, пока она выведется; да и выведется ли?...

Бергъ не забирается, конечно, такъ высоко, да и не нуждается въ этомъ, ибо обладаетъ сноровкой не такой утонченной и быстрой, но тоже безъ промаха ведущей къ цѣли. Сноровка его заключается „въ умѣнѣ не потеряться“, т. е. отмалчиваться передъ начальникомъ, съ какими бы онъ настойчивыми вопросами, вызывающими на оправданіе, къ вамъ ни обращался. „Что ты нѣмой, что ли?—онъ закричать. Я все молчу. Что жъ вы думаете, графъ? На другой день и въ приказъ не было: вотъ что значить не потеряться“. Такіе проникательные и находчивые молодые люди не могутъ не пойти далеко, если-бъ даже и хотѣли; не могутъ потому, что ясно видать и разумѣютъ, отъ чего зависить быстрый ходъ.

Боевыя сцены гр. Толстого не менѣе поучительны: вся внутренняя сторона боя, невѣдомая для большинства военныхъ теоретиковъ и мирно-военныхъ практиковъ, а между тѣмъ дающая успѣхъ или неудачу, выдвигается у него на первый планъ въ великолѣпно-рельефныхъ картинахъ. Разница между его описаніями сраженій и описаніями историческими такая-же, какъ между ландшафтомъ и топографическимъ планомъ: первый даетъ меньше, даетъ съ одной точки, но даетъ доступнѣе глазу и сердцу человѣка. Второй даетъ всякій мѣстный предметъ съ большаго числа сторонъ, даетъ мѣстность на десятки верстъ, но даетъ въ условномъ чертежѣ, не имѣющемъ по виду ничего общаго съ изображаемыми предметами; и потому на немъ все мертво, безжизненно, даже и для приготовленнаго глаза. Такъ и въ большинствѣ историческихъ описаній сраженій: знаешь движенія дивизій, рѣдко полковъ, еще рѣже баталіоновъ: „двинулись, несмотря на сильный огонь, ворвались, опрокинули, или были опрокинуты, поддержаны резервами“ и т. д. Нравственная фізіономія личностей руководящихъ, борьба ихъ съ собою и съ окружающими, предшествующая

всякой рѣшимости, все это исчезаетъ — и изъ факта, сложившагося изъ тысячъ человѣческихъ жизней, остается нѣчто въ родѣ сильно потертой монеты: видны очертанія, но какого лица? Наилучшій нумизматъ не распознаетъ. Конечно, есть исключенія: но они крайне рѣдки, и во всякомъ случаѣ далеко не оживляютъ передъ вами событія такъ, какъ оживляетъ его изображеніе ландшафтное, т. е. представляющее то, что могъ бы въ данную минуту съ одной точки видѣть одинъ наблюдательный человѣкъ.

Скажутъ, можетъ быть, что эти Тушины, Тимохины и проч. и проч. не болѣе какъ ложь, что ихъ не было на дѣлѣ, а родились они и жили только въ головѣ автора. Мы, пожалуй, съ этимъ согласимся; но и съ нами должны согласиться въ томъ, что и въ историческихъ описаніяхъ далеко не все правда, и что эти не существовавшія на самомъ дѣлѣ личности поясняютъ внутреннюю сторону боя лучше, чѣмъ большая часть многотомныхъ описаній войнъ, въ которыхъ передъ вами мелькаютъ лица безъ образовъ и въ которыхъ, вмѣсто именъ Наполеона, Даву, Нея и проч. можно было бы, безъ всякой потери, поставить цифры или буквы. Эти „выдуманные“ образы передъ вами живутъ и дѣйствуютъ такъ, что изъ ихъ дѣятельности извлечетъ для себя неоцѣнимыя практическія указанія всякій, рѣшившійся посвятить себя военному дѣлу и не забывающій въ мирное время, къ чему онъ себя готовить. Указанія эти такого рода, что мы смѣло ставимъ ихъ на ряду съ указаніями маршал. Саксонскаго, Суворова, Бюжо, наконецъ, Трошю. Если взять, къ тому, что они являются въ разсказѣ графа Толстого не въ формѣ отвлеченныхъ общихъ мыслей, а въ примѣненіи этихъ мыслей къ дѣлу живыми лицами, представленными такъ, что вы можете слѣдить за ихъ жестомъ, взглядомъ, словомъ, — если взять все это въ расчетъ, то громадное значеніе военныхъ сценъ гр. Толстого для всякаго военного, принимающаго въ серьезную свое ремесло, станетъ ясно какъ день...

М. Драгомировъ.

Характеристики отдѣльныхъ лицъ романа „Война и Миръ“, собранныя изъ критическихъ статей за 1868 годъ.

Андрей Болконскій.

*) Мы называемъ сочиненіе графа Л. Н. Толстого романомъ только для того, чтобъ дать ему какое-нибудь имя; но „Война и Миръ“, въ строгомъ смыслѣ слова, не романъ. Не ищите въ немъ цѣльнаго поэтическаго замысла, не ищите единства дѣйствія: „Война и Миръ“— просто рядъ характеровъ, рядъ картинъ, то военныхъ, на полѣ битвы, то вседневныхъ, въ гостиныхъ Петербурга и Москвы. Главнымъ лицомъ произведенія графа Толстого, все-таки, слѣдуетъ почитать князя Андрея Болконскаго; отношенія къ нему автора наиболѣе субъективныя; на него потрачено наиболѣе того психологическаго анализа, которымъ, даже не безъ излишества, пользуется графъ Толстой и для всѣхъ прочихъ лицъ; у автора и Кутузовъ, и Багратіонъ, и служака полковой командиръ, и мельчайшій субалтернъ-офицеръ постоянно вопрошаютъ самихъ себя о своихъ поступкахъ; простѣйшему слову военной команды приписываетъ авторъ внутренній психологическій поводъ, и въ рѣчахъ его дѣйствующихъ лицъ слѣдуетъ понимать не то, что они говорятъ на самомъ дѣлѣ, а то, что они хотятъ сказать, то, что они думаютъ и чувствуютъ. Но Андрей Болконскій—уже весь сотканъ изъ психологическаго анализа, онъ олицетворенный психологическій анализъ; въ немъ, кажется, нѣтъ плоти и крови живого человѣка: въ немъ только тонкія, тонкія до неуловимости, душевныя ощущенія. Что сдѣлаетъ авторъ изъ своего героя въ четвертомъ томѣ, мы еще не знаемъ, но пока, признаемся откровенно, мы не понимаемъ князя Андрея. Блестящій, умный, образованный, серьезный, онъ выставленъ въ романѣ какимъ-то необыкновеннымъ человѣкомъ, превыше всѣхъ сущихъ; какимъ-то не-

*) „Голосъ“ 1868 г., № 11. „Библиографія и журналистика“.

признаннымъ гениемъ, какимъ-то Печоринымъ или Чайльд-Гарольдомъ. Вѣчно сосредоточенный, вѣчно желчный, онъ постоянно носится со своими внутренними ощущеніями, но, безконечно презирая всѣхъ остальныхъ людей, ни передъ кѣмъ не раскрываетъ души своей, ни съ кѣмъ не дѣлится своими убѣжденіями; подъ формою безукоризненной свѣтской любезности, онъ всякое мнѣніе встрѣчаетъ насмѣшкою, ироніей и презрѣніемъ. Только съ Пьеромъ Безухимъ онъ еще откровеннѣе, чѣмъ съ другими, хотя и съ нимъ у него какія-то странныя отношенія: Пьеръ благоговѣетъ передъ нимъ, и говоритъ ему вы; князь Андрей говоритъ Пьеру ты. Желатый на „маленькой княгинѣ“ (подъ этимъ именемъ жена его слыветъ въ свѣтѣ), веселенькой, пустенькой и, пожалуй, глупенькой свѣтской женщинѣ, князь Андрей и ее также глубоко презираетъ, какъ и всѣхъ, съ нѣкоторымъ развѣ отѣнкомъ той жалости, какую взрослые имѣютъ обыкновенно къ дѣтямъ. Только тогда шевельнулось какое-то нѣжное и грустное чувство въ сердцѣ князя Андрея, когда умерла „маленькая княгиня“ отъ родовъ, которыхъ съ самаго еще начала беременности ужасно боялась, и когда ея печальное личико даже изъ гроба какъ бы обращалось къ окружавшимъ съ кроткимъ упрекомъ („что вы со мною сдѣлали!“ какъ бы говорило это личико). Славолюбивый и честолюбивый, онъ считаетъ Наполеона гениемъ, что не мѣшаетъ ему быть самымъ доблестнымъ и способнымъ офицеромъ изъ всей русской арміи, оказывать чудеса храбрости, критиковать планы диспозиціи и мысленно рѣшать судьбы сраженій. Прилагая тотъ же безпощадный анализъ и тоже высокоумное пренебреженіе къ вопросамъ вѣры, какъ и ко всѣмъ другимъ вопросамъ жизни, молодой Болконскій, въ религіозномъ отношеніи, раздѣляетъ скептическій взглядъ своего отца; но когда тяжело раненый, лежалъ онъ безпомощно на аустерлицкомъ полѣ, и ничего не было между его потухавшимъ взоромъ и далекимъ-далекимъ небомъ, искра вѣры во что-то высшее, чѣмъ земная жизнь, чѣмъ даже его, Андреево, надменное пренебреженіе къ міру, онѣкованъ загоралась въ его сердцѣ, и страница, на которой

изображено это душевное состояніе героя, одна изъ лучшихъ въ романѣ.

Съ этимъ-то человѣкомъ, только потому не раскрывающимъ всѣхъ прекрасныхъ свойствъ своихъ, что не встрѣчается ему въ жизни вполне родственной ему и стоящей его души (Пьеръ уменъ и добръ, но мелокъ и безхарактеренъ), съ этимъ-то замѣчательнымъ человѣкомъ задумалъ авторъ свести другое своеобразное существо—Наташу Ростову. Вообще описаніе семейнаго быта графовъ Ростовыхъ, московскихъ хлѣбосоловъ, поэтически прелестно въ книгѣ графа Л. Н. Толстого, и составляетъ художнически задуманную противоположность съ напыщенною пустотою бесѣдъ въ придворныхъ или аристократическихъ кружкахъ, съ саркастическими выходками Андрея, или съ возвышеннымъ тономъ описанія военныхъ эпизодовъ.

„Голосъ“ 1868 г., № 11.

* * *

*) Сынъ старика Болконскаго, князь Андрей принадлежитъ къ числу очень немногихъ лицъ въ сочиненіи графа Толстого, на которыхъ замѣтны слѣды легкой идеализаціи. Въ немъ есть красота и есть порывы энергіи, такъ что, по недостатку героя въ разсказѣ, мы бы готовы были даже признать за нимъ эту роль, если бы онъ не обманывалъ такъ постоянно всѣхъ возбуждаемыхъ имъ ожиданій. Въ человѣкѣ этомъ нѣтъ цѣлости; его жизнь разбита на части, не связанныя между собою ни единствомъ практической цѣли ни постоянными убѣжденіями. Сердце его никогда не предано цѣликомъ тому дѣлу, которымъ онъ занятъ, и онъ никогда не знаетъ толкомъ, чего ему нужно, не знаетъ, куда дѣваться, что предпринять, чего желать, во что вѣрить? Вѣра въ Наполеона, въ Наташу, въ Сперанскаго, въ свое призваніе къ разнаго рода подвигамъ,—все это исчезаетъ въ немъ безъ слѣда съ первымъ толчкомъ, на который ему случилось наткнуться. Его болѣзненный аппетитъ

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

къ жизни, возвращаясь къ нему припадками, покидаетъ его безпрестанно, и оставляетъ послѣ себя каждый разъ однообразно-глубокое отвращеніе. Въ началѣ разсказа мы видимъ въ немъ человѣка, жестоко-разочарованнаго пустотой свѣтской жизни и томимаго жаждой серьезной дѣятельности. Этой серьезной дѣятельностью онъ считаетъ въ ту пору войну. Слава Наполеона не позволяетъ ему уснуть спокойно. Ему грезятся планы кампаніи и блестящіе подвиги на полѣ чести. Но въ битвѣ подъ Аустерлицемъ его стукнуло что-то въ голову, и въ одинъ мигъ всѣ эти мечты исчезли. Наполеонъ, въ его глазахъ, изъ великана сталъ карликомъ, война—безмысленной бойней.—Дома, въ семействѣ отца, осталась его беременная жена, пустая и глупая женщина, которую онъ самымъ искреннимъ образомъ презиралъ. Возвратясь, онъ застаётъ ее умирающею въ родахъ. Опять новый толчокъ. Все презрѣніе мигомъ исчезло въ немъ, и онъ полонъ нѣжнѣйшей любви къ покойницѣ; онъ не можетъ себѣ простить, что онъ покинулъ ее въ такомъ положеніи. Но отъ нея остается сынъ, и вотъ онъ посвящаетъ себя вполне этому сыну, дрожитъ надъ нимъ при малѣйшей опасности, ночи не спитъ надъ его изголовьемъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ однако припадокъ отцовской любви и сожалѣнія о покойной женѣ остылъ. Аппетитъ къ жизни личной снова вернулся, и вотъ мы видимъ его въ Петербургѣ, въ кругу Сперанскаго, горячимъ сторонникомъ и однимъ изъ самыхъ усердныхъ дѣятелей реформы. Но въ самомъ разгарѣ этого новаго увлеченія, на балѣ у Нарышкиныхъ, онъ влюбился въ Наташу Ростову. Опять новый толчокъ, и опять столь же мгновенно все повернулось вверхъ дномъ у него въ головѣ. Онъ сразу понималъ такія вещи, которыя глубокой сороколѣтней опытъ едва успѣлъ выяснитъ людямъ нашего времени, да и то далеко не всѣмъ; — понималъ, что всякое измѣненіе формы безъ измѣненія содержанія есть дѣло пустопорожнее, отъ котораго никому ни тепло ни холодно, и что, стало быть, всѣ затѣи Сперанскаго вздоръ. Онъ тотчасъ же бросилъ свои переводы изъ иностранныхъ кодексовъ, дивясь и не

постигая, какъ могъ онъ серьезно трудиться надъ этими пустяками. Онъ увлеченъ своей новой привязанностью, и отдается ей съ жаромъ; но привязанность оказывается не довольно сильна, чтобъ пересилить капризъ отца. Въмѣсто того, чтобъ ковать желѣзо, покуда оно горячо, или стараться, по крайней мѣрѣ, чтобы оно не остыло, онъ оставляетъ свою возлюбленную, семнадцати-лѣтнюю дѣвушку, цѣлый годъ томиться въ разлукѣ и странствуетъ по свѣту.

Возвратясь, онъ узнаетъ, что она ему измѣнила. Опять новый толчокъ. Онъ немедленно обрываетъ съ ней всякую связь, бросаетъ надежду на счастье, и дышитъ только одной жаждой мести. Эта жажда заставляетъ его преслѣдовать оскорбителя изъ Москвы въ Петербургъ, изъ Петербурга въ Молдавію, изъ Молдавіи въ главную армію. Но тутъ, на пути отступленія русскихъ къ Москвѣ, его постигаетъ рядъ новыхъ ударовъ. Отецъ его умеръ, отечество гибнетъ, помѣстья разорены непріателемъ, сынъ и сестра въ опасности. Новый могучій потокъ увлеченія обхватываетъ его, и охлаждаетъ въ немъ прежнюю злобу. Ярость противъ другого врага доходитъ въ немъ до того, что онъ не можетъ понять: зачѣмъ плѣнныхъ не рѣжутъ безъ всякой пощады. Но вотъ подъ Бородинымъ его опять стукнуло, и только-что стукнуло, какъ сердце его опять размягчилось, и все озлобленіе изъ него исчезло безслѣдно. На перевязочномъ пунктѣ, увидѣвъ Курагина, котораго онъ хотѣлъ убить,—съ отнятой ногой и въ отчаяніи, онъ забываетъ свою обиду, и плачетъ навзрыдъ, какъ больное дитя..... И все это не какія-нибудь нелѣпости, нѣтъ, все это очень понятно и очень естественно; зная характеръ князя Андрея, мы даже не можемъ представить его себѣ иначе, и мы его любимъ, потому что онъ теплый, живой человѣкъ; потому что въ немъ чистая русская кровь и чистое русское сердце; и мы высоко уважаемъ въ немъ нѣкоторыя черты. Онъ благороденъ и гордъ;—ничто мелочное и низкое не доступно его душѣ; онъ смѣлъ, и готовъ отдать жизнь за то, что онъ любитъ..... Но вся бѣда въ томъ, что никто не можетъ сказать, да и самъ онъ не можетъ сказать, что та-

жое онъ любить. Въ немъ нѣтъ устоя, нѣтъ личной инициативы, пылкія увлеченія не родятся въ его душѣ живымъ плодомъ ея внутренней дѣятельности, а налетаютъ, какъ вихорь, извнѣ, совершенно случайно и, подхвативъ его на-лету, мчатъ нѣсколько времени до тѣхъ поръ, пока ихъ порывъ не истощится, или что нибудь, столь же внѣшнее и случайное, не остановитъ ихъ механическаго размаха. Тогда увлеченіе исчезаетъ безслѣдно, и онъ остается *à ses*, какъ корабль на мели, въ ожиданіи новыхъ приливовъ. Человѣкъ этотъ, пожалуй, и правъ былъ, постоянно критически относясь къ своему прошедшему. Критиковать можно все, и всегда оставаться правымъ; но мы бы крѣпко ошиблись, если-бъ мы приняли эту критику за какой-нибудь шагъ впередъ съ его стороны, и ожидали, что она его приведетъ къ чему-нибудь положительному. Человѣкъ этотъ, несмотря на высокія свои добродѣтели, въ сущности человѣкъ праздный. Ему только мерещится, что онъ куда-то идетъ и дѣлаетъ что-то. Въ сущности, онъ ничего не дѣлаетъ; но ему, какъ больному душой и слабому тѣломъ, нужно какое-нибудь занятіе, разгоняющее хандру, нужно усиленное движеніе, гимнастика. Нужно наполнить жизнь чѣмъ-нибудь, чтобы не умереть съ тоски; но чѣмъ? — не все-ли равно?... Все хорошо и все дурно, все важно и все ничтожно, все можетъ занять и увлечь на минуту, пока не осмотришься и хорошенько не разглядишь, что такъ тебя увлекаетъ и тѣшитъ, а какъ только взглянулъ, — basta!... Очарованіе кончено, свѣтъ волшебнаго фонаря потухъ, и бѣлый, холодный лучъ утра освѣщаетъ передъ тобой дрянныя картинки... Таковъ характеръ князя Андрея, конечно, характеръ не героическій, и такова его философія....

Н. Ахшарумовъ.

* *

*) Блестящее исключеніе изъ всей толпы мужчинъ въ романѣ „Война и Миръ“ представляетъ одинъ Андрей Бол-

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1868 г., №№ 153 и 155. Статья С. И. Сычевскаго.

конскій. Я не могу относиться къ этой личности безъ искреннѣйшаго уваженія, несмотря на то, что я очень ясно вижу недостатки ея. Болконскій представляетъ человѣка, сдѣлавшаго шагъ дальше Пьера на пути цивилизаціи, и стоитъ уже въ той области, гдѣ человѣкъ дѣлается сформированною опредѣлившеюся личностью: у Болконскаго есть характеръ и убѣжденія, которыхъ нѣтъ ни у кого изъ лицъ романа, кромѣ Болконскихъ отца и сына.

Личность Болконскаго отца обрисована Толстымъ прекрасно: это—самодуръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ самаго серьезнаго ума и образованія и желѣзнаго характера и воли. Сохранивъ посреди новыхъ обычаевъ, новыхъ людей и новаго порядка вещей неизмѣнно старый Екатерининскій образъ жизни и образъ мыслей, онъ представлялъ собою утрированно-неизмѣнную самостоятельность и смѣшно неизбѣжную твердость характера. Проводя съ неумолимою логикой свои убѣжденія въ жизнь, онъ окончательно измѣялъ и обезсилилъ бѣдную свою дочь, княжну Марію. Но, несмотря на то, что этотъ человѣкъ стѣсняетъ всѣхъ окружающихъ, несмотря на то, что большинство его поступковъ запечатлѣны неизгладимою печатью необузданнаго, самодурнаго произвола, несмотря на то, что онъ уже давно удалился отъ свѣта,—всѣ его уважаютъ и боятся. Ростопчинъ, остроумный комендантъ Москвы, считаетъ своею обязанностью ѣздить въ торжественные дни „прикладываться къ мощамъ князя Болконскаго“; вся знать смолкаетъ и почтительно клонитъ голову подъ взглядомъ деспотическаго старика; семейство онъ держитъ въ ежевыхъ рукавицахъ. Все у него дѣлается по однажды установленному и до мелочей неизмѣнному порядку. Но подъ мраморной внѣшностью страшнаго старика скрывается нѣжное сердце. Онъ мучитъ свою дочь надъ геометрией — изъ любви къ ней, изъ убѣжденія, что это сдѣлаетъ ее положительною, серьезно развитою дѣвушкой. Какъ величественны всѣ, даже аномальныя явленія его личности! Онъ безбожникъ, каковы были почти всѣ передовые люди Екатерининскаго времени; но посмотрите, какъ грандіозенъ его атеизмъ. Онъ не профанируетъ этого страш-

наго убѣжденія ни одною банальною фразою; для наивнаго суевѣрія княжны Маріи у него находится только строгій взглядъ глубокаго презрѣнія, но ни одна легкомысленная насмѣшка, на которыя такъ щедры современные потомки древнихъ волтеріанцевъ, не опошляетъ глубоко серьезнаго дѣла.

Я сказалъ, что всѣ боятся старика-Болконскаго; слѣдуетъ добавить: за исключеніемъ его сына. Яблоко отъ яблони упало на этотъ разъ очень недалеко: Андрей Болконскій самый лучший продуктъ Александровскаго поколѣнія точно такъ, какъ его отецъ лучший представитель „стаи славной Екатерининскихъ орловъ“. Молодой Болконскій не самодуръ, но человѣкъ съ глубокимъ, непреклоннымъ убѣжденіемъ и страшною силою воли. Яснымъ и свѣтлымъ взглядомъ смотреть онъ на все окружающее, все отлично понимаетъ и дѣйствуетъ сообразно этому пониманію. Каждый шагъ его, слово, дѣйствіе — выказываютъ сильный умъ и сильный характеръ. Онъ до такой степени окруженъ ореоломъ мужественной силы ума, воли, образованія, каждое слово его такъ рѣзко и опредѣленно, каждый поступокъ дѣлается такъ увѣренно, что истинная женщина не могла бы выбрать себѣ лучшаго идеала.

Читатели, конечно, замѣтили, что я предполагаю содержаніе романа извѣстнымъ. Личность Андрея Болконскаго не могла не обратить на себя серьезнаго вниманія cadaго, такъ что останавливаться на анализѣ основныхъ чертъ его характера я считаю излишнимъ, тѣмъ болѣе, что я теперь пришелъ къ той точкѣ, въ которой, какъ въ фокусѣ сосредоточивается для меня весь психологическій интересъ романа. Я говорю про отношенія Болконскаго къ Наташѣ. Несмотря на то, что этимъ отношеніямъ посвящено не болѣе $\frac{1}{3}$ части всего романа, но именно въ нихъ заключается его психологическій центръ, и только съ этой точки зрѣнія романъ представляетъ своеобразную и талантливую попытку поэта рѣшить по своему столько разъ рѣшенный (и все еще не окончательно) вопросъ: чѣмъ должна быть женщина для мужчины, и наоборотъ. Рѣшеніе, представляемое Тол-

стымъ, навѣрное не понравится ультра-эмансипаторамъ и прочимъ либераламъ.

Вглядимся поближе въ князя Андрея. Чего ему недостаётъ? Въ строго опредѣлившейся, мужественно крѣпкой личности князя Андрея есть что-то не ладное. Отпечатокъ меланхоліи, ничѣмъ, повидимому, не мотивированный, лежитъ на всей его личности. Этотъ богачъ, вельможа, красавецъ, идеаль мужнины и гражданина—несчастливъ. Онъ постоянно ищетъ забыться или въ лихорадочно-дѣятельной работѣ, или въ вихрѣ развлеченій, или въ ожесточенномъ бою. Чего-же онъ ищетъ? Что не даетъ ему вполне насладиться вполне заслуженными имъ благами жизни?

Дѣло въ томъ, что то міросозерцаніе, та система основныхъ убѣжденій о главнѣйшихъ вопросахъ природы и жизни, которая усвоена его умомъ, — не удовлетворяетъ его. Съ точки зрѣнія логики, князь Андрей не можетъ разрѣшить этой системы; она выработана на строго-логическихъ началахъ; но князь Андрей живетъ, какъ настоящій человѣкъ, полною жизнью. Онъ не старается душить въ себѣ тѣхъ безотчетныхъ, идеальныхъ побужденій, которыя называются инстинктами, и сродны всякому нормально-развитому человѣку. Страшная пустота, вносимая въ душу человѣка атеизмомъ и матеріализмомъ, чувствуется Андреемъ постоянно, и не даетъ ему того душевнаго спокойствія, той атараксіи, которую греческіе философы считали верхомъ человѣческаго блаженства. Въ вихрѣ жизненной дѣятельности онъ еще кое-какъ справляется съ своимъ внутреннимъ голосомъ, но тогда, когда лишенный способности дѣйствовать, ожидая съ минуты на минуту смерти, онъ лежитъ на Аустерлицкомъ полѣ и надъ своей головой видитъ безграничность, усыпанную звѣздами, тогда всѣ самыя необузданно-идеальныя, безумно-фантастическія представленія наполняютъ его воображеніе. Сухая логика смолкаетъ. Что-то другое начинаетъ говорить громче и громче, и Андрей ясно сознаетъ и глубоко чувствуетъ внутреннее раздвоеніе въ самомъ себѣ. Міръ подергивается для него еще болѣе темнымъ флеромъ. Вотъ въ такомъ-то настроеніи встрѣтился

онъ съ свѣтлымъ ребенкомъ—Наташей. Она была переполнена именно тѣмъ, чего въ немъ не доставало. Въ ней не было именно того, чего въ немъ было чрезчуръ много: онъ былъ меланхоликъ, а у нея и въ душѣ и въ глазахъ свѣтило самое яркое солнце. Задумчивый взглядъ былъ такъ же привыченъ Андрею, какъ дѣтски-беззаботный, звонкій смѣхъ—Наташѣ. Ему міръ хмурился, ей все улыбалось. Онъ видѣлъ все дурное, понималъ его и остерегалъ ее: она дѣтски-довѣрчиво шла навстрѣчу, и въ большинствѣ случаевъ зло и грязь сами уклонялись отъ нея. Онъ былъ невѣрующій ни во-что; она—вѣрующая во все. По мнѣнію Наташи, мужчина долженъ быть именно таковъ, какъ Андрей; по мнѣнію Андрея, дѣвушка должна быть именно такова, какъ Наташа. Графъ Толстой раздѣляетъ, повидимому, оба мнѣнія: иначе онъ не могъ-бы съ такимъ истинно художественнымъ искусствомъ, съ такою всякому замѣтною исключительною любовью останавливаться на этихъ двухъ типахъ.

Я считаю долгомъ предупредить могущее встрѣтиться возраженіе: мнѣ могутъ сказать, что Болконскій расходится съ Наташей, и его мѣсто къ концу четвертой части, очевидно, занимаетъ Пьеръ. Это правда; но слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что чистая Наташа, еще не подвергшаяся тлетворному дыханію свѣтскаго разврата, плѣняетъ Болконскаго, а для Наташи, уже испорченной, насколько было ей возможно испортиться, — сохраняется Пьеръ. И такъ, психологическимъ центромъ романа остаются все-таки отношенія Волконскаго, а не Пьера, къ Наташѣ.

Первымъ результатомъ любви Болконскаго къ Наташѣ, его предложенія и ея согласія—оказывается то безмятежное спокойствіе души, котораго князь такъ домогался: цѣль его жизни достигнута, всякій тревожный внутренній голосъ невольно смолкалъ предъ сознаніемъ того, что теперь ему довѣрилось существо ангельски-чистое, недоступное различнымъ философскимъ сомнѣніямъ, и существо, которое онъ горячо любилъ. Въ этотъ короткій романтическій періодъ, Болконскій былъ безусловно счастливъ тѣмъ разумнымъ счастьемъ мужчины, которое рѣдко кому достается на долю.

И между прочимъ онъ, эгоистъ, оставилъ свою невѣсту одну посреди соблазновъ свѣта. Онъ судилъ объ ней по себѣ. Читателямъ извѣстно, что изъ этого вышло. Дитя — Наташа не могла противустоять соблазнителю красавцу Анатолию Курагину, влюбилась въ него, и едва-едва не дошла до геркулесовскихъ столповъ дѣвической довѣрчивости. Въ припадкѣ оскорбленной гордости и самоуниженія, явившагося, какъ слѣдствіе ея, Наташа вдругъ написала отказъ князю Болконскому. Какое впечатлѣніе произвелъ на него этотъ отказъ, можно догадаться. Онъ убилъ-бы его, если бы у Болконскаго было поменьше гордости; но такъ какъ гордости у него было очень много, то онъ отнесся къ этому отказу исключительно съ точки зрѣнія оскорбленія его личной чести, и потому счелъ нужнымъ притвориться, что пренебрегаетъ Наташею и непритворно горитъ желаніемъ убить Курагина. Между тѣмъ, его душевнаго спокойствія какъ не бывало. Миръ облекся для него еще болѣе темнымъ флеромъ: онъ пересталъ вѣрить въ прекрасное и въ счастье, и сдѣлался ѣдкимъ отъявленнымъ скептикомъ.

Въ такомъ-то положеніи Прометея, внутренній миръ котораго терзается любовью, местию, отсутствіемъ вѣры во все хорошее — оставляетъ Болконскаго четвертая часть. Присудить-ли ему авторъ счастье съ Наташею? Накажетъ-ли онъ его за эгоизмъ вѣчною внутреннею пыткой, — это мы увидимъ въ послѣднемъ томѣ. Между тѣмъ униженная и оскорбленная Наташа находитъ сочувствіе и утѣшеніе въ Пьерѣ. Мало-по-малу она привыкаетъ къ нему; Пьеръ, разумѣется, весьма скоро влюбляется въ нее по уши, и къ концу четвертой части они сходятся такъ коротко, что надобно полагать, что въ пятой можетъ послѣдовать свадьба.

Наташа сдѣлала-бы счастливымъ и Пьера: онъ также мучился, хотя совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ Болконскій: онъ мучился нерѣшительностью, отсутствіемъ опредѣленной цѣли, а также и отсутствіемъ любви и сочувствія. Толстая и неуклюжая фигура Пьера едва-ли не изображаетъ собою средняго русскаго человѣка: очень много талантовъ, готовности, рвенія, и очень мало умѣнья, выдержки, характера.

Живая, пылкая и удивительно поэтическая личность Наташи должна бы была навсегда изгнать изъ жизни этого человѣка то недовольство и сонливость, которыя составляютъ отличительную характеристическую черту жизни такихъ людей. Наташа сама составила бы для Пьера цѣль. Она подѣлилась бы съ нимъ своей неудержимой энергіей. Семейство было-бы совершенно удобною ареною дѣятельности для Пьера, за предѣлами котораго онъ нашелъ-бы миръ, счастье, любовь и полезную дѣятельность.

С. Сичевскій.

* * *

*) Сначала князь Болконскій увлекается военною славой. Онъ говоритъ: „Смерть, рана, потеря семьи, — ничто мнѣ не страшно. И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе люди... я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми“. Вдругъ, на аустерлицкомъ полѣ въ него попадаетъ непріятельская пуля; рана, значить, получена. Эта непріятность перевертываетъ всѣ честолюбивые планы Болконскаго; черезъ нѣсколько страницъ онъ разсуждаетъ уже такимъ образомъ, лежа навзничъ и смотря въ небо: „Какъ тихо, спокойно и торжественно оно (т. е. небо). Какъ же я не видалъ (?) прежде этого неба? Какъ я счастливъ, что узналъ его, наконецъ. Да! Все пустое, все обманъ, кромѣ этого безконечнаго неба. Ничего, ничего нѣтъ, кромѣ его!“ Во второмъ томѣ Болконскій начинаетъ опять саркастически посматривать на небо и вступаетъ въ вольнодумный разговоръ съ Пьеромъ Безухимъ, но вольнодумствуетъ онъ вовсе не такъ, какъ вольнодумствовали умные люди того времени. Онъ глумится, напр., надъ любовью къ ближнимъ и самопожертвованіемъ по поводу разныхъ улучшеній, затѣянныхъ Пьеромъ въ его громадныхъ имѣніяхъ; но онъ не предлагаетъ для этой любви никакого другого раціональнаго исхода, а ограничивается тѣмъ, что называетъ ее „главнымъ источникомъ че-

*) „Недѣля“ 1868 г., ММ 22, 23 и 26. Статья А. П. Пятковского, подъ заглавіемъ: „Историческая эпоха въ романѣ гр. Л. Н. Толстого“.

ловѣческихъ заблужденій“. Общественная дѣятельность кажется ему пустымъ препровожденіемъ времени. „Что справедливо, что добро—внушаетъ онъ своему собесѣднику—предоставь судить тому, кто все знаетъ, а не намъ“. Этотъ финалъ совсѣмъ ужъ несообразенъ съ скептическими взглядами Болконскаго. Вскорѣ послѣ того Болконскій, съ своими не доношенными идейками, начинаетъ работать надъ составленіемъ новаго кодекса гражданскихъ законовъ, по приглашенію и подъ руководствомъ Сперанскаго. Въ первое время своего знакомства съ Сперанскимъ онъ чувствовалъ къ нему полнѣйшее уваженіе; но вдругъ ему, такъ же неожиданно, какъ на аустерлицкомъ полѣ, приходитъ въ голову блистательная мысль: „Какое дѣло мнѣ и Бицкому (одному изъ поклонниковъ Сперанскаго), какое дѣло намъ до того, что государю угодно было сказать въ совѣтъ? Развѣ это можетъ сдѣлать меня счастливѣе и лучше?“ И проникнувшись этимъ размышленіемъ индѣйскаго факира, онъ утратилъ сразу всю свою симпатію къ Сперанскому. Обѣдая послѣ того у знаменитаго реформатора, онъ уже „съ удивленіемъ и грустью разочарованія слушалъ его смѣхъ и смотрѣлъ на смѣющагося Сперанскаго. Это былъ не Сперанскій, а другой человѣкъ, казалось князю Андрею. Все, что прежде таинственно и прелекательно представлялось князю Андрею въ Сперанскомъ, вдругъ стало ему ясно и непривлекательно“. Вотъ вамъ исторія сношеній Андрея Болконскаго со Сперанскимъ. Гдѣ жъ тутъ личность любимаго статсъ-секретаря Александра I-го? Гдѣ его друзья и враги? Вѣдь, у него было много и тѣхъ и другихъ. Онъ осужденъ — и осужденъ безапелляціонно пустымъ великосвѣтскимъ фатомъ, который не сказалъ съ нимъ и двухъ путныхъ словъ. Мы не узнали ни одного задушевнаго желанія, ни одной надежды Сперанскаго, и познакомились только съ его обѣденной сервировкой (кстати, этотъ обѣдъ разсказанъ по книгѣ барона Корфа, и даже одна фраза Сперанскаго: „нынче хорошее вино въ сапожкахъ ходитъ“, почерпнуто оттуда). Чарторижскій также выведенъ мелькомъ, единственно затѣмъ, чтобы показать полнѣйшее пренебре-

женіе къ нему кн. Болконскаго. А напрасно! Имъ не пренебрегаль и Александръ Павловичъ...

А. Пятковский.

* * *

*) Князь Андрей Болконскій — главное лицо въ романѣ: онъ долженъ связывать собою его эпизоды; на нихъ (вмѣстѣ, впрочемъ, съ Пьеромъ Безухимъ) зиждется вся интрига сочиненія. Между тѣмъ, именно князь Андрей, болѣе чѣмъ какое-либо другое лицо романа, до пресыщенія повторяется во всѣхъ положеніяхъ и обстоятельствахъ, въ какія только ставить его авторъ. Раненный подъ Аустерлицемъ, безсильный, безпомощный, брошенный въ полѣ среди другихъ раненныхъ и убитыхъ, князь Андрей засмотрѣлся на голубое, далекое, безконечное небо; вѣра въ Бога стала прокрадываться въ его сердце, на мѣсто владѣвшаго имъ скептицизма, и предъ величіемъ вѣчности ничтожнымъ стало казаться ему все земное; ничтожнымъ сталъ казаться Наполеонъ, съ его мелкимъ тщеславіемъ и радостью побѣды, тотъ самый Наполеонъ, предъ геніемъ котораго онъ такъ благоговѣлъ до тѣхъ поръ; ничтожною стала ему казаться жизнь человека, и еще болѣе ничтожною смерть его. Въ день бородинской битвы, стоя съ полкомъ своимъ подъ убійственнымъ огнемъ непріятеля, когда этотъ полкъ выведенъ былъ во 2-мъ часу дня изъ резервовъ на тотъ промежутокъ между Семеновскимъ и Кургановскою батареею (батарею Раевского), гдѣ были уже побиты тысячи людей, и потомъ, раненный тутъ-же осколкомъ гранаты въ животъ, князь Андрей какъ-то созерцательно содрогался предъ ужасами смерти, и сердцемъ обращался къ Богу, источнику мира, любви и вѣчной жизни. Различіе между тѣмъ и другимъ порядкомъ ощущеній такъ тонко, что нельзя душевное состояніе Болконскаго въ день бородинской битвы счесть за совершенно новый психологическій моментъ, хотя таковымъ думаетъ его представить авторъ. Тождество еще порази-

*) „Голосъ“ 1868 г., № 83. „Библиографія“.

тельнѣе: и тамъ и здѣсь князь Андрей, опасно раненный, думаетъ разстаться съ жизнью, даже увѣренъ, что непременно умереть, и мысль его, отвлекаясь отъ земного, настраивается на возвышенный, созерцательный ладъ... Впрочемъ, при болѣе строгомъ разборѣ, двѣ главныя смѣны настроеній откроются въ характерѣ Болконскаго по отношенію къ историческимъ событіямъ, которыми обставлена интрига романа: сначала князь Андрей благоговѣтъ предъ геніемъ Наполеона, потомъ, въ 12-мъ году, онъ всѣми силами души ненавидитъ завоевателя; сначала, во время искусственныхъ, не вызванныхъ необходимостью войнъ 1805 и 1807 годовъ, князь Андрей сочиняетъ разные стратегическіе и тактическіе планы кампаній и сраженій, потомъ въ отечественную войну, въ день Бородина, онъ уже чуждается штабной жизни, онъ хочетъ только биться, сражаться, и принявъ личную команду надъ полкомъ, идетъ въ линію войскъ. Эта необходимость, отбросивъ всякіе планы и разсужденія, сражаться, только сражаться, идти на бой, на смерть, разсчитывая лишь на неустрашимость и стойкость, превосходно изображена авторомъ, какъ общая черта, на страницахъ, предшествующихъ описанію отдѣльныхъ эпизодовъ бородинской битвы. Князь Андрей, спѣша къ позиціи, вмѣстѣ съ слѣдовавшими туда войсками, проходитъ мимо грязнаго пруда, въ который, спасаясь отъ жару и усталости, побросалось, чтобы освѣжиться, множество солдатъ; Болконскій содрогнулся при видѣ этой массы голыхъ тѣлъ въ грязной лужѣ, какъ-бы предчувствуя предстоящую рѣзню; потомъ, на перевязочномъ пунктѣ, среди кучи раненыхъ, которыхъ раздѣтыми рѣзали и перевязывали вокругъ него доктора и фельдшеры, Болконскому припомнилась эта грязная лужа и эта голая масса *chair à canon*. Пьеръ Безухій, еще не освободившійся отъ своего мистическаго настроенія, далъ ему иное направленіе со дня вторженія Наполеона въ Россію; Пьеръ выставилъ, подобно графу Мамонову, цѣлый полкъ ратниковъ, а самъ тоже поспѣшилъ къ арміи, путемъ разныхъ кабалистическихъ исчисленій вообразивъ себя предназначеннымъ на низложеніе апокалип-

сическаго звѣря (т. е. Наполеона); приближаясь къ позиціи русскихъ войскъ подъ Бородинымъ, Пьеръ встрѣчаетъ и обгоняетъ массы народа и солдатъ, и на всѣхъ лицахъ, во всѣхъ разговорахъ замѣчаетъ одну мысль, одно чувство — ожиданіе страшной рѣзни, страшнаго побоища. Наконецъ, самъ Кутузовъ, одобряя намѣренія Болконскаго не оставаться въ день битвы при штабѣ, какъ ему предлагалъ было главнокомандующій, говорить, что въ этотъ день въ строю офицеры будутъ нужныѣ, чѣмъ при главной квартирѣ, такъ какъ едва-ли нужны будутъ какія-нибудь приказанія, а нужно будетъ только стоять, держаться, биться, терпѣть... Но только этими однѣми указанными чертами князь Андрей Болконскій и принадлежитъ къ тому обществу, къ обществу первыхъ лѣтъ царствованія Александра I, изображеніе котораго составляетъ задачу разбираемой книги. Во всемъ остальномъ, какъ уже и замѣчено было автору, Болконскій является анахронизмомъ въ книгѣ графа Толстого. Въ князя Андрея авторъ вложилъ мысли и страданія человѣка позднѣйшаго, нашего времени; справедливо замѣчено было, что князь Андрей обладаетъ въ книгѣ какимъ-то чудеснымъ, почти сверхъестественнымъ даромъ предвидѣнія: онъ судитъ о грядущихъ событіяхъ такъ, какъ могъ бы судить о нихъ только человѣкъ, уже пережившій ихъ. Гораздо правильнѣе будетъ, поэтому, смотрѣть на Болконскаго не какъ на героя историческаго романа 800-хъ годовъ, а какъ на посторонняго наблюдателя, передъ которымъ, какъ въ панорамахъ, проходятъ лица и событія того времени. Князь Андрей проведенъ черезъ все сочиненіе, какъ испытующая мысль самого автора—словно то самое, что испыталъ и перечувствовалъ авторъ во время чтенія записокъ (которыя—въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія—послужили основою и поводомъ для его труда), то самое выражаетъ собою Болконскій въ романѣ. И это до такой степени справедливо, что, начиная съ четвертаго тома, авторъ многое, что прежде влагалъ въ уста своимъ героямъ, высказываетъ уже прямо отъ себя...

Голосъ 1868 г., № 83.

*) Если князь Андрей и удивлялся видимой бездѣятельности Багратиона, то потому только, что онъ составилъ себѣ прямо противоположное дѣйствительности представленіе о томъ, что можетъ и чего не долженъ дѣлать въ бою командиръ значительнаго отряда.

Гр. Толстой ни слова, къ сожалѣнію, не сказалъ о тѣхъ военныхъ взглядахъ, съ которыми его герой выѣхалъ на войну: если бы это было сдѣлано, удивленіе кн. Андрея получило бы совсѣмъ другой колоритъ, чѣмъ тотъ, который оно имѣетъ теперь. Позволимъ себѣ пополнить этотъ пробѣлъ, припомнивъ эпоху, въ которую дѣйствовалъ кн. Андрей, и огромную дозу самомнѣнія, составляющую, судя по очерку автора, характеристическую черту этой личности.

До кампаніи кн. Андрей видѣлъ, конечно, только мирныя упражненія войскъ, установившіяся тогда на точномъ основаніи Фридриховскихъ формъ, педантическихъ, потерявшихъ смыслъ и духъ со смертью великаго короля. Эти формы, какъ всякому извѣстно, сводились къ восстановленію развернутаго строя изъ колоннъ на полныхъ дистанціяхъ и къ движенію развернутыхъ линій: то и другое — съ идеальною правильностью, „чистотой“, какъ тогда выражались. Опоздай взводъ зайти въ линію на полсекунды, разравняйся строй при движеніи на шагъ — и начальники пускали въ ходъ всю свою безконтрольную власть, дабы устранить безпорядки, столь, по ихъ мнѣнію, ужасные.

Нравственная энергія и другія внутреннія свойства личности не цѣнились ни во что, такъ какъ на первый планъ выступали тѣ качества, чисто внѣшнія, которыя были необходимы для достиженія идеала однообразія, стройности, одновременности движенія; эти качества были: для солдата — умѣнье одновременно съ другими производить всякое движеніе; для офицера и начальника, кромѣ того, — богатырскій голосъ и умѣнье командовать до такой степени одновременно со своими равными, что для этого необходимы были особыя предварительныя спѣвки. Всякое самодѣльное движеніе исполнялось и прекращалось не иначе,

*) М. Драгомировъ. „Оружейный Сборникъ“ 1868 г., № 4.

какъ по командѣ старшаго начальника, которая, по всей командной лѣстницѣ, нисходила до непосредственныхъ исполнителей. Перевести безъ команды выше свой баталіонъ не то, что на сто или полтора, а даже на пять шаговъ—было вольнодумствомъ до того неслыханнымъ, что дерзкая мысль о немъ, вѣроятно, не приходила въ голову современнымъ баталіоннымъ командирамъ даже и во снѣ. Прибавьте къ этому непрерывную и оуетливо-поспѣшную дѣятельность адъютантовъ, скачущихъ по всѣмъ направленіямъ для отдачи приказаній и замѣчаній по самомалѣйшимъ мелочамъ или неправильностямъ,—и предъ вами предстанетъ та среда, въ которой кн. Андрей началъ свое практическое военное воспитаніе.

Были, правда, у насъ преданія чисто русскія, другой тактики и другихъ ученій,—преданія Румянцева, Суворова,—но къ тому времени, когда кн. Андрей долженъ былъ начать свою службу, этихъ преданій какъ будто и не бывало. Оставались дѣятели, сформировавшіеся подъ вліяніемъ этихъ преданій, но, вѣроятно, противное теченіе было слишкомъ сильно; одни не хотѣли, другіе не умѣли ему противостоятъ, и держали про себя то, что приняли, какъ священный завѣтъ, отъ геніальнаго чудака, поднимавшаго свою армію пѣтушьямъ крикомъ, вмѣсто боя, для этого установленнаго.

Обратимся теперь къ теоретической подготовкѣ, какую могъ получить кн. Андрей въ своихъ военныхъ взглядахъ. То было время господства геометрическихъ теорій въ военномъ дѣлѣ. Полагали, что все стратегическое и тактическое знаніе можно свести къ нѣсколькимъ геометрическимъ чертежамъ, заключить его, слѣдовательно, въ рамки точной, вполне определенной науки. Какъ получить перевѣсъ надъ непріателемъ на театрѣ войны? Нужно имѣть охватывающую базу и объективный уголъ въ 90 градусовъ; отступать по расходящимся отъ непріателя дорогамъ, наступать къ нему—по сходящимся. Какъ разбить на полѣ сраженія? Слѣдуетъ принять косвенный боевой порядокъ, т. е. обойти непріателя съ котораго-либо изъ фланговъ. Не правда ли,

какъ все просто и ясно? На бѣду, въ этихъ ясныхъ и простыхъ теоріяхъ проглядѣли самую мелочь, т. е., чело-вѣка со всѣми его слабыми и сильными нравственными сторонами; распорядились, однимъ словомъ, такъ, какъ будто вся война происходитъ не въ полѣ, а на доскѣ, линіями и углами, выводимыми мѣломъ, а не составленными изъ людей. Само собою разумѣется, что, чѣмъ сказанныя теоріи были одностороннѣе, тѣмъ логическое построеніе ихъ было строже, и тѣмъ сильнѣе была увѣренность людей, усвоившихъ эти теоріи, въ томъ, что они знали, что такое война и какъ ее дѣлаютъ. Наталкиваясь на факты, опрокидывавшіе ихъ ребяческіе углы и линіи, эти люди, конечно, должны были находить не то, что они ошибаются, а что дѣло ведется не такъ, какъ слѣдуетъ.

Особенно это было неизбежно въ томъ случаѣ, когда напитавшійся подобными теоріями чело-вѣкъ расположенъ былъ, по врожденнымъ свойствамъ, вѣрить въ безусловную непогрѣшимость своихъ взглядовъ и убѣжденій. Таковъ былъ Пфуль, такъ превосходно нарисованный гр. Толстымъ; кн. Андрей тоже былъ Пфуль, только передѣланный на русскіе нравы, и при томъ не плебей, а аристократическаго происхожденія: Пфуль дилетантъ.

Принявъ въ соображеніе все сказанное о практической и теоретической подготовкѣ кн. Андрея къ военному дѣлу, станетъ понятно, почему онъ былъ такъ удивленъ поведеніемъ Багратіона во время боя подъ Голлабрюномъ. Багратіонъ не суетился и другихъ не суетилъ; разсылалъ адъютантовъ съ приказаніями во много разъ меньше, чѣмъ кн. Андрею случалось видѣть на самыхъ небольшихъ ученіяхъ; не устраивалъ никакихъ ученыхъ боевыхъ порядковъ, а распредѣлил войска на позиціи, какъ мѣстность того требовала: для героя „Войны и Мира“ было ясно какъ день, что этотъ военачальникъ ничего или почти ничего не дѣлалъ. *Несмотря на это*, присутствіе кн. Багратіона, какъ признаетъ кн. Андрей, сдѣлало чрезвычайно много. Я полагаю, онъ былъ бы болѣе правъ, если бы сказалъ, что *именно поэтому* Багратіонъ сдѣлалъ чрезвычайно много.

Но онъ не могъ такъ сказать, потому что распоряженіе боемъ рисовалось въ его сознаніи въ только что очерченномъ видѣ. Не знаемъ, намѣренно или нѣтъ гр. Толстой выдаетъ своего героя въ разбираемомъ случаѣ; находимъ только, что его изображеніе еще болѣе выигрываетъ отъ этого въ художественной правдѣ, являя Болконскаго вполне человѣкомъ своего времени.

Что же до Багратіона, то онъ изображенъ идеально хорошо; въ этомъ убѣждаетъ насъ сличеніе художественнаго портрета гр. Толстого съ тѣмъ, что говоритъ марш. Саксонскій объ обязанностяхъ главнокомандующаго въ день сраженія:

„Нужно, чтобы въ день сраженія главнокомандующій ничего не дѣлалъ; онъ яснѣе будетъ видѣть происходящее, сохранить независимость ума, и будетъ болѣе способенъ пользоваться тѣми мгновеніями боя, въ которыя непріятель станетъ въ невыгодное положеніе; и когда онъ дождется одного изъ такихъ мгновеній (*quand il verra sa belle*), онъ долженъ броситься во весь духъ къ слабому мѣсту, схватить первыя попавшіяся подъ руку войска, двинуть ихъ быстро и не щадить себя (*payer de sa personne*): вотъ отъ чего зависитъ выигрышъ и рѣшеніе боя. *Я отнюдь не говорю, ни идѣть, ни какъ это должно дѣлать, ибо это зависитъ отъ разнообразія мѣстъ и положеній, возникающихъ во время боя; сущность въ томъ, чтобы подмѣтить мгновеніе и уметь имъ воспользоваться*“.

Какъ читатель можетъ видѣть, авторъ „Войны и Мира“ до такой степени вѣрно сдѣлалъ каждый штрихъ своего изображенія, что можно подуматъ, будто онъ создалъ это изображеніе по образцу, указанному марш. Саксонскимъ.

А вотъ идеаль Болконскаго, набросанный тѣмъ же марш. Саксонскимъ, какъ указаніе того, чего *не слѣдуетъ дѣлать*.

„Многіе главнокомандующіе занимаются въ день сраженія только тѣмъ, что двигаютъ войска съ строжайшимъ соблюденіемъ равенія и дистанцій, отвѣчаютъ на вопросы, съ которыми къ нимъ обращаются адъютанты, рассылаютъ своихъ адъютантовъ во всѣ концы, и сами безпрерывно

скачутъ; однимъ словомъ, они хотятъ сами все сдѣлать, и оттого ничего не дѣлаютъ. Я считаю такихъ генераловъ людьми, у которыхъ голова идетъ кругомъ, которые болѣе ничего не видятъ, и которые умѣютъ дѣлать только то, что они дѣлали всю свою жизнь, — разумѣю фронтовые ученія. Отчего это происходитъ? Оттого, что весьма мало есть людей, занимающихся высшими сторонами войны; что большинство офицеровъ занимается только строевыми ученіями и думаетъ, будто все военное искусство заключается въ нихъ однихъ: попадая въ главнокомандующіе, такіе офицеры оказываются полными новичками и, не умѣя дѣлать то, что нужно, они дѣлаютъ то, что умѣютъ“. Мы оставили кн. Багратіона въ ту минуту, когда онъ стоялъ на батарее Тушина и на все отвѣчалъ словомъ или выраженіемъ лица: „хорошо“. По новымъ донесеніямъ онъ счелъ за нужное переѣхать къ правому флангу, гдѣ получилъ донесеніе отъ полкового командира, что полкъ его (сбившійся уже въ кучу) выдержалъ кавалерійскую атаку, „хотя трудно было съ достовѣрностію сказать, была ли отбита атака, или полкъ былъ разбитъ атакой“.

„Кн. Багратіонъ наклонилъ голову въ знакъ того, что все это было совершенно такъ, какъ онъ желалъ и предполагалъ. Обратившись къ адъютанту, онъ приказалъ ему привести съ горы два баталіона 6-го егерскаго, мимо которыхъ они сейчасъ проѣхали. Кн. Андрея поразила въ эту минуту переменна, происшедшая въ лицѣ кн. Багратіона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую рѣшимость, которая бываетъ у человѣка, готоваго въ жаркій день броситься въ воду и берущаго послѣдній разбѣгъ. Не было ни невыспавшихся тусклыхъ глазъ ни притворно *) глубокомысленнаго вида: круглые, твердые, ястребинные глаза восторженно и нѣсколько презрительно смотрѣли впередъ, очевидно, ни на чемъ не останавливаясь, хотя въ его движеніяхъ оставалась прежняя размѣренность и медленность“.

Итакъ минута схвачена; подходятъ баталіоны, живые

*) Такъ казалось кн. Андрею.

баталіоны: такіе, какими умѣть ихъ рисовать только графъ Толстой. Вотъ они поровнялись, вотъ имъ сказали: „Молодцами ребята!“ остановили, приказали снять ранцы. „Багратіонъ объѣхалъ прошедшіе мимо его ряды *), и слѣзъ съ лошади. Онъ отдалъ казаку поводья, снялъ и отдалъ бурку, расправилъ ноги и поправилъ на головѣ картузъ. Голова французской колонны, съ офицерами впереди, показалась изъ-подъ горы“.

Съ человѣкомъ, который въ подобную минуту все это продѣлываетъ спокойно, люди, каковы бы они ни были, не могутъ не быть спокойны; не могутъ допустить даже мысли, чтобы была на свѣтѣ такая сила, которая ихъ бы сломила, и которой они не сломили бы.... Настала торжественная минута, именно та, въ которую главнокомандующій не долженъ щадить себя. Багратіонъ — воспитанникъ суворовской школы — угловъ и линій не зналъ, но эти минуты зналъ.

„Съ Богомъ! проговорилъ Багратіонъ твердымъ, слышимымъ голосомъ, на мгновеніе обернулся къ фронту и, слегка размахивая руками, неловкимъ шагомъ кавалериста, какъ бы трудясь, пошелъ впередъ по неровному полю. Кн. Андрей чувствовалъ, что какая-то непреодолимая сила влечетъ его впередъ, и испытывалъ большое счастье“.

То, что испытывалъ въ эту минуту князь Андрей, конечно, испытывалъ послѣдній изъ солдатъ въ баталіонахъ, предводимыхъ кн. Багратіономъ. Вотъ что выигрываетъ и рѣшаетъ сраженія, скажемъ словами маршала саксонскаго, а не тѣ распоряженія, отсутствіе которыхъ со стороны Багратіона такъ поразило кн. Андрея... Людямъ, незнакомымъ съ этой страшной игрой, въ которой ставками являются тысячи, иногда и десятки тысячъ человѣческихъ головъ, кажется, будто въ бою стрѣляютъ только пулями, ядрами, картечью, — нѣтъ: тамъ стрѣляютъ еще и живою картечью, т. е. массами людей, и одерживаетъ верхъ только тотъ, кому дана внутренняя сила сплотить массу людей въ

*) Т. е. заглянулъ въ лицо каждому солдату — повтореніе того же: „умъ не робѣе ли вы тутъ?“ только въ другой формѣ.

одно существо и устремить ихъ къ цѣли съ неуклонимостью бездушнаго снаряда... Кн. Багратионъ, былъ одинъ изъ искусныхъ стрѣлковъ въ этой стрѣльбѣ. Приготовить снарядъ, захвативъ его въ свой взглядъ, прицѣлить, выпустить, наконецъ, именно въ ту минуту, когда это сдѣлать всего выгоднѣе—не раньше и не позже—все это вещи до такой степени трудныя, что даются избраннымъ, исключительнымъ натурамъ. И всякій безпристрастный наблюдатель долженъ признать, что на такихъ людяхъ лежитъ печать избранія,—какъ бы они ни казались иногда незначущими, иногда пошлы, иногда даже грязноваты, въ другихъ, обыденныхъ сферахъ жизни.

Атака двухъ баталіоновъ, предводимыхъ Багратиономъ, конечно, была удачна и обезпечила отступление на правомъ флангѣ *).

М. Драгомировъ.

* * *

Борисъ Друбецкой.

**) Новый еще не оконченный романъ графа Л. Толстого можно назвать образцовымъ произведеніемъ по части патологии русскаго общества. Въ этомъ романѣ цѣлый рядъ яркихъ и разнообразныхъ картинъ, написанныхъ съ самымъ величественнымъ и невозмутимымъ эпическимъ спокойствіемъ, ставить и рѣшаетъ вопросъ о томъ, что дѣлается съ человѣческими умами и характерами при такихъ условіяхъ, которыя даютъ людямъ возможность обходиться безъ знаній, безъ энергіи и безъ труда.

Очень можетъ быть, и даже очень вѣроятно, что графъ Толстой не имѣетъ въ виду постановки и рѣшенія такого вопроса. Очень вѣроятно, что онъ просто хочетъ нарисо-

*) Любопытно было бы знать, кому князь Андрей приписать бы успѣхъ этой атаки, и кто, по его мнѣнію, въ этомъ случаѣ атаковалъ: онъ ли, Багратионъ, не убивши ни одного человека, или они, стрѣлявшіе и коловшіе?

**) „Отечественныя Записки“ 1868 г., № 2. „Русская Литература“. Статья Д. Писарева, подъ заглавіемъ: „Старое барство“. („Война и Миръ“. Сочин. графа Л. Н. Толстого. Томъ I, II и III).

вать рядъ картинъ изъ жизни русскаго барства во времена Александра I. Онъ видитъ самъ, старается показать другимъ, отчетливо, до мельчайшихъ подробностей и оттѣнковъ, всѣ особенности, характеризующія тогдашнее время и тогдашнихъ людей, людей того круга, который всего болѣе ему интересенъ или доступенъ его изученію. Онъ старается только быть правдивымъ и точнымъ; его усилія не клонятся къ тому, чтобы поддержать и опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею; онъ, по всей вѣроятности, относится къ предмету своихъ продолжительныхъ и тщательныхъ изслѣдованій съ тою невольною и естественною нѣжностью, которую обыкновенно чувствуетъ даровитый историкъ къ далекому или близкому прошедшему, воскресающему подъ его руками; онъ, быть можетъ, находитъ даже въ особенностяхъ этого прошедшаго, въ фигурахъ и характерахъ выведенныхъ личностей, въ понятіяхъ и привычкахъ изображеннаго общества, многія черты, достойныя любви и уваженія. Все это можетъ быть, все это очень даже вѣроятно. Но именно оттого, что авторъ потратилъ много времени, труда и любви на изученіе и изображеніе эпохи и ея представителей, именно поэтому созданные имъ образы живутъ своею собственною жизнью, независимо отъ намѣренія автора, вступаютъ сами въ непосредственныя отношенія съ читателями, говорятъ сами за себя, и неудержимо ведутъ читателя къ такимъ мыслямъ и заключеніямъ, которыхъ авторъ не имѣлъ въ виду, и которыхъ онъ, быть можетъ, даже не одобрилъ бы.

Эта правда, бьющая живымъ ключомъ изъ самыхъ фактовъ, эта правда, прорывающаяся помимо личныхъ симпатій и убѣжденій рассказчика, особенно драгоценна по своей неотразимой убѣдительности. Эту-то правду, это шило, котораго нельзя утаить въ мѣшкѣ, мы постараемся теперь извлечь изъ романа графа Толстого.

Романъ „Война и Миръ“ представляетъ намъ цѣлый букетъ разнообразныхъ и превосходно отдѣланныхъ характеровъ. Мы начнемъ именно съ нихъ, и начнемъ снизу, то-есть съ тѣхъ фигуръ, насчетъ которыхъ разногласіе почти не-

возможно, и которыхъ неудовлетворительность будетъ, по всей вѣроятности, признана всѣми читателями.

Первымъ портретомъ въ нашей картинной галлерей будетъ князь Борисъ Друбецкой, молодой человѣкъ знатнаго происхожденія, съ именемъ и съ связями, но безъ состоянія, прокладывающій себѣ дорогу къ богатству и къ почестямъ своимъ умѣніемъ ладить съ людьми и пользоваться обстоятельствами. Первое изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыми онъ пользуется съ замѣчательнымъ искусствомъ и успѣхомъ — это его родная мать, княгиня Анна Михайловна. Всякому извѣстно, что мать, просящая за сына, оказывается всегда и вездѣ самымъ усерднымъ, расторопнымъ, настойчивымъ, неутомимымъ и неустрашимымъ изъ адвокатовъ. Въ ея глазахъ цѣль оправдываетъ и освящаетъ всѣ средства, безъ малѣйшаго исключенія. Она готова просить, плакать, заискивать, подслуживаться, пресмыкаться, надоедать, глотать всевозможныя оскорбленія, лишь бы только ей хоть съ досады, изъ желанія отвязаться отъ нея и прекратить ея докучливыя вопли, бросили, наконецъ, для сына назойливо требуемую подачку. Борису всѣ эти достоинства матери хорошо извѣстны. Онъ знаетъ также и то, что всѣ униженія, которымъ добровольно подвергаетъ себя любящая мать, нисколько не роняютъ сына, если только этотъ сынъ, пользуясь ея услугами, держитъ себя при этомъ съ достаточною, приличною самостоятельностью.

Борисъ выбираетъ себѣ роль почтительнаго и послушнаго сына, какъ выгодную и удобную для себя роль. Выгодна и удобна она, во-первыхъ, потому, что налагаетъ на него обязанность не мѣшать тѣмъ подвигамъ низкопоклонства, которыми мать кладетъ основаніе его блистательной карьеры. Во-вторыхъ, она выгодна и удобна тѣмъ, что выставляетъ его въ самомъ лучшемъ свѣтѣ въ глазахъ тѣхъ сильныхъ людей, отъ которыхъ зависитъ его преуспѣваніе. Какой примѣрный молодой человѣкъ! должны думать и говорить о немъ всѣ окружающіе. Сколько въ немъ благородной гордости, и какія великодушныя усилія употребляетъ онъ для того, чтобы, изъ любви къ матери, подавить въ

себѣ, слишкомъ порывистыя движенія юной, неразсчитливой строптивости, такія движенія, которыя могли бы огорчить бѣдную старушку, сосредоточившую на карьерѣ сына всѣ свои помыслы и желанія. И какъ тщательно, и какъ успѣшно онъ скрываетъ свои великодушныя усилія подъ личиною наружнаго спокойствія! Какъ онъ понимаетъ, что эти усилія самымъ фактомъ своего существованія могли бы служить тяжелымъ укоромъ его бѣдной матери, совершенно ослѣпленной своими честолюбивыми материнскими мечтами и планами. Какой умъ, какой тактъ, какая сила характера, какое золотое сердце и какая утонченная деликатность!

Когда Анна Михайловна обиваетъ пороги милостивцевъ и благодѣтелей, Борисъ держитъ себя пассивно и спокойно, какъ человѣкъ, рѣшившійся навсегда почтительно и съ достоинствомъ покоряться своей тяжелой и горькой участи, и покоряться такъ, чтобы всякій это видѣлъ, но чтобы никто не осмѣливался сказать ему съ теплымъ сочувствіемъ: „молодой человѣкъ, по вашимъ глазамъ, по вашему лицу, по всей вашей удрученной наружности я вижу ясно, что вы терпѣливо и мужественно несете тяжелый крестъ!“ Онъ ѣдетъ съ матерью къ умирающему богачу Безухову, на котораго Анна Михайловна возлагаетъ какія-то надежды, преимущественно потому, что „онъ такъ богатъ, а мы такъ бѣдны!“ Онъ ѣдетъ, но даже самой матери своей дать почувствовать, что дѣлаетъ это исключительно для нея, что самъ не предвидитъ отъ этой поѣздки ничего, кромѣ униженія, и что есть такой предѣлъ, за которымъ ему можетъ измѣнить его покорность и его искусственное спокойствіе. Мистификація ведена такъ искусно, что сама Анна Михайловна боится своего почтительнаго сына, какъ вулкана, отъ котораго ежеминутно можно ожидать разрушительнаго изверженія; само собою разумѣется, что этою боязнью усиливается ея уваженіе къ сыну; она на каждомъ шагу оглядывается на него, проситъ его быть ласковымъ и внимательнымъ, напоминаетъ ему его обѣщанія, прикасается къ его рукѣ, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, то успокоивать, то возбуждать его. Тревожась и суетясь

такимъ образомъ, Анна Михайловна пребываетъ въ той твердой увѣренности, что, безъ этихъ искусныхъ усилій и стараній съ ея стороны, все пойдетъ прахомъ, и непреклонный Борисъ, если не прогнѣваетъ навсегда сильныхъ людей выходкою благороднаго негодованія, то, по крайней мѣрѣ, навѣрное заморозитъ ледяною холодною обращенія всѣ сердца покровителей и благодѣтелей.

Если Борисъ такъ удачно мистифицируетъ родную мать, женщину опытную и неглупую, у которой онъ выросъ на глазахъ, то, разумѣется, онъ еще легче и также успѣшно морочитъ постороннихъ людей, съ которыми ему приходится имѣть дѣло. Онъ кланяется благодѣтелямъ и покровителямъ учтиво, но такъ спокойно и съ такимъ скромнымъ достоинствомъ, что сильныя лица сразу чувствуютъ необходимость посмотрѣть на него повнимательнѣе, и выдѣлить его изъ толпы нуждающихся кліентовъ, за которыхъ просятъ докучливыя маменьки и тетуски. Онъ отвѣчаетъ имъ на ихъ небрежные вопросы точно и ясно, спокойно и почтительно, не выказывая ни досады на ихъ рѣзкій тонъ ни желанія вступить съ ними въ дальнѣйшій разговоръ. Глядя на Бориса и выслушивая его спокойные отвѣты, покровители и благодѣтели немедленно проникаются тѣмъ убѣжденіемъ, что Борисъ, оставаясь въ границахъ строгой вѣжливости и безукоризненной почтительности, никому не позволить помыкать собою, и всегда сумѣетъ постоять за свою дворянскую честь. Являясь просителемъ и искателемъ, Борисъ умѣетъ свалить всю черную работу этого дѣла на мать, которая, разумѣется, съ величайшею готовностью подставляетъ свои старыя плечи и даже упрасиваетъ сына, чтобы онъ позволилъ ей устраивать его повышеніе. Предоставляя матери пресмыкаться передъ сильными лицами, Борисъ самъ умѣетъ оставаться чистымъ и изящнымъ, скромнымъ, но независимымъ джентльменомъ. Чистота, изящество, скромность, независимость и джентльменство, разумѣется, даютъ ему такія выгоды, которыхъ не могли бы ему доставить жалобное попрошайничество и низкое угодничество. Ту подачку, которую можно бросить робкому замарашкѣ,

едва осмѣливающемуся сидѣть на кончикѣ стула и стремящемуся поцѣловать благодѣтеля въ плечико, до крайности неудобно, конфузно и даже опасно предложить изящному юношѣ, въ которомъ приличная скромность уживается самымъ гармоническимъ образомъ съ неистребимымъ и вѣчно-бдительнымъ чувствомъ собственного достоинства. Такой постъ, на который совершенно невозможно было бы поставить просто и откровенно пресмыкающагося просителя, въ высшей степени приличенъ для скромно-самостоятельнаго молодого человѣка, умѣющаго во время поклониться, во время улыбнуться, во время сдѣлать серьезное и даже строгое лицо, во время уступить или переубѣдиться, во время обнаружить благородную стойкость, ни на минуту не утрачивая спокойнаго самообладанія и прилично почтительной развязности обращенія.

Патроны обыкновенно любятъ льстецовъ; имъ пріятно видѣть въ благоговѣннѣ окружающихъ людей невольную дань восторга, приносимую гениальности ихъ ума и несравненному превосходству ихъ нравственныхъ качествъ. Но чтобы лезть производила пріятное впечатлѣніе, она должна быть достаточно тонка, и чѣмъ умнѣе тотъ человѣкъ, которому льстятъ, тѣмъ тоньше должна быть лесть, и чѣмъ она тоньше, тѣмъ пріятнѣе она дѣйствуетъ. Когда же лесть оказывается настолько грубою, что тотъ человѣкъ, къ которому она обращается, можетъ распознать ея неискренность, то она способна произвести на него совершенно обратное дѣйствіе, и серьезно повредить неискусному льстецу. Возьмемъ двоихъ льстецовъ: одинъ млѣетъ передъ своимъ патрономъ, во всемъ съ нимъ соглашается и ясно показываетъ всѣми своими дѣйствіями и словами, что у него нѣтъ ни собственной воли ни собственного убѣжденія, что онъ, похваливши сейчасъ одно сужденіе патрона, готовъ черезъ минуту произнести другое сужденіе, діаметрально противоположное, лишь бы только оно было высказано тѣмъ же патрономъ; другой, напротивъ того, умѣетъ показать, что ему для угожденія патрону, нѣтъ ни малѣйшей надобности отказываться отъ своей умственной и нравственной само-

стоятельности, что всѣ сужденія патрона покоряютъ себѣ его умъ силою своей собственной неотразимой внутренней убѣдительности, что онъ повинуется патрону во всякую данную минуту не съ чувствомъ рабскаго страха и рабской корыстолюбивой угодливости, а съ живымъ и глубокимъ наслажденіемъ свободного человѣка, имѣвшаго счастье найти себѣ мудраго и великодушнаго руководителя. Понятное дѣло, что изъ этихъ двоихъ льстецовъ второй поидетъ гораздо дальше перваго. Перваго будутъ кормить и презирать; перваго будутъ рядить въ шуты; перваго не пустятъ дальше той лакейской роли, которую онъ на себя принялъ въ близорукомъ ожиданіи будущихъ благъ; со вторымъ, напротивъ того, будутъ совѣтоваться; его могутъ полюбить; къ нему могутъ даже почувствовать уваженіе; его могутъ произвести въ друзья и наперсники. Великосвѣтскій Молчалинъ, князь Борисъ Друбецкой, идетъ по этому второму пути, и, разумѣется, высоко неся свою красивую голову, и не мараючи кончика ногтей, какою бы то ни было работою, легко и быстро доберется этимъ путемъ до такихъ извѣстныхъ степеней, до которыхъ никогда не допознаетъ простой Молчалинъ, простодушно подличающій и трепещущій передъ начальникомъ, и смиренно наживающій себѣ раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Борисъ дѣйствуетъ въ жизни такъ, какъ ловкій и расторопный гимнастикъ лѣзетъ на дерево. Становясь ногою на одну вѣтку, онъ уже отыскиваетъ глазами другую, за которую онъ въ слѣдующее мгновеніе могъ бы ухватиться руками; его глаза и всѣ его помыслы направлены къ верху; когда рука его нашла себѣ надежную точку опоры, онъ уже совершенно забываетъ о той вѣткѣ, на которой онъ только что сейчасъ стоялъ всею тяжестью своего тѣла, и отъ которой его нога уже начинаетъ отдѣляться. На всѣхъ своихъ знакомыхъ и на всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми онъ можетъ познакомиться, Борисъ смотритъ именно какъ на вѣтки, расположенныя одна надъ другою, въ болѣе или менѣе отдаленномъ разстояніи отъ вершины огромнаго дерева, отъ той вершины, гдѣ искуснаго гимнастика ожидаетъ желанное успокоеніе среди

роскоши, почестей и атрибутовъ власти. Борисъ сразу, пронизательнымъ взглядомъ даровитаго полководца или хорошаго шахматнаго игрока, схватываетъ взаимныя отношенія своихъ знакомыхъ и тѣ пути, которые могутъ повести его отъ одного уже сдѣланнаго знакомства къ другому, еще манящему его къ себѣ, и отъ этого другого къ третьему, еще закутанному въ золотистый туманъ величественной недоступности. Сумѣвши показаться добродушному Пьеру Безухову *милымъ, умнымъ и твердымъ молодымъ человекомъ*, сумѣвши даже смутить и растрогать его своимъ умомъ и твердостью въ тотъ самый разъ, когда онъ виѣстъ съ матерью приѣзжалъ къ старому графу Безухову просить на бѣдность и на гвардейскую обмундировку, Борисъ добываетъ себѣ отъ этого Пьера рекомендательное письмо къ адъютанту Кутузова, князю Андрею Болконскому, а черезъ Болконскаго знакомится съ генераль-адъютантомъ Долгоруковымъ, и попадаетъ самъ въ адъютанты къ какому-то важному лицу.

Поставивъ себя въ пріятельскія отношенія съ княземъ Болконскимъ, Борисъ тотчасъ осторожно отдѣляетъ ногу отъ той вѣтки, на которой онъ держался. Онъ немедленно начинаетъ исподволь ослаблять свою дружескую связь съ товарищемъ своего дѣтства, молодымъ графомъ Ростовымъ, у котораго онъ жила въ домѣ по цѣлымъ годамъ, и мать котораго только что подарила ему, Борису, на обмундировку, пятьсотъ рублей, принятыхъ княгиней Анною Михайловною со слезами умиленія и радостной благодарности. Послѣ полугодовой разлуки, послѣ походовъ и сраженій, выдержанныхъ молодымъ Ростовымъ, Борисъ встрѣчается съ нимъ, съ другомъ дѣтства, и въ это же первое свиданіе Ростовъ замѣчаетъ, что Борису, къ которому въ это же время приходитъ Болконскій, какъ будто совѣстно вести дружескій разговоръ съ армейскимъ гусаромъ. Изящнаго гвардейскаго офицера, Бориса, коробитъ армейскій мундиръ и армейскія замашки молодого Ростова, а главное, его смущаетъ та мысль, что Болконскій составитъ себѣ о немъ невыгодное мнѣніе, видя его дружескую короткость съ че-

ловѣкомъ дурного тона. Въ отношеніяхъ Бориса къ Ростову тотчасъ обнаруживается легкая натянутость, которая особенно удобна для Бориса именно тѣмъ, что къ ней невозможно придратъся, что ее невозможно устранить откровенными объясненіями, и что ее также очень трудно не замѣтить и не почувствовать. Благодаря этой тонкой натянутости, благодаря этому, едва уловимому диссонансу, чуть чуть царапающему нервы, человѣкъ дурного тона будетъ постепенно уволенъ, не имѣя никакого повода жаловаться, обижаться и вламываться въ амбицію, а человѣкъ хорошаго тона увидитъ и замѣтитъ, что къ изящному гвардейскому офицеру, князю Борису Друбецкому, лѣзутъ въ друзья неделикатные молодые люди, которыхъ онъ кротко и граціозно умѣетъ отодвигать назадъ, на ихъ настоящее мѣсто.

Въ походѣ, на войнѣ, въ свѣтскихъ салонахъ — вездѣ Борисъ преслѣдуетъ одну и ту же цѣль, вездѣ онъ думаетъ исключительно или, по крайней мѣрѣ, прежде всего объ интересахъ своей карьеры. Пользуясь съ замѣчательною понятливостью всѣми мельчайшими указаніями опыта, Борисъ скоро превращаетъ въ сознательную и систематическую тактику то, что прежде было для него дѣломъ инстинкта и счастливаго вдохновенія. Онъ составляетъ безошибочно вѣрную теорію карьеры, и дѣйствуетъ по этой теоріи съ самымъ неуклоннымъ постоянствомъ. Познакомившись съ княземъ Болконскимъ, и приблизившись черезъ него къ высшимъ сферамъ военной администраціи, Борисъ ясно понялъ то, что онъ предвидѣлъ прежде, именно то, что въ арміи, кромѣ той субординаціи и дисциплины, которая была написана въ уставѣ, и которую знали въ полку, и онъ зналъ, была другая, болѣе существенная субординація, та, которая заставляла этого затянутого съ багровымъ лицомъ генерала почтительно дожидаться въ то время, какъ капитанъ князь Андрей для своего удовольствія находилъ болѣе удобнымъ разговаривать съ прапорщикомъ Друбецкимъ. Больше чѣмъ когда-нибудь Борисъ рѣшился служить впредь не по той писанной въ уставѣ, а по этой не писанной субординаціи. Онъ теперь чувствовалъ, что только вслѣдствіе того, что

онъ былъ рекомендованъ князю Андрею, онъ уже сталъ сразу выше генерала, который въ другихъ случаяхъ во фронтѣ могъ уничтожить его, гвардейскаго прапорщика.

Основываясь на самыхъ ясныхъ и недвусмысленныхъ указаніяхъ опыта, Борисъ рѣшаетъ, разъ навсегда, что служить лицамъ гораздо выгоднѣе, чѣмъ служить дѣлу, и, какъ человѣкъ, нисколько не связанный въ своихъ дѣйствіяхъ нерасчетливою любовью къ какой бы то ни было идеѣ или къ какому бы то ни было дѣлу, онъ кладетъ себѣ за правило всегда служить только лицамъ, и возлагать всегда все свое упованіе никакъ не на свои какія-нибудь собственныя дѣйствительныя достоинства, а только на свои хорошія отношенія къ вліятельнымъ лицамъ, умѣющимъ награждать и выводить въ люди своихъ вѣрныхъ и покорныхъ слугъ.

Въ случайно завязавшемся разговорѣ о службѣ, Ростовъ говоритъ Борису, что ни къ кому не пойдетъ въ адъютанты, потому что это „лакейская должность“. Борисъ, разумѣется, оказывается настолько свободнымъ отъ предразсудковъ, что его не смущаетъ рѣзкое и непріятное слово „лакей“. Во-первыхъ, онъ понимаетъ, что *comparaison n'est pas raison*, и что между адъютантомъ и лакеемъ огромная разница, потому что перваго съ удовольствіемъ принимаютъ въ самыхъ блестящихъ гостиницахъ, а второго заставляютъ стоять въ передней и держать господскія шубы. Во-вторыхъ, понимаетъ онъ и то, что многимъ лакеямъ живется гораздо пріятнѣе, чѣмъ инымъ господамъ, имѣющимъ полное право считать себя доблестными слугами отечества. Въ третьихъ, онъ всегда готовъ самъ надѣть какую угодно ливрею, если только она быстро и вѣрно поведетъ его къ цѣли. Это онъ и высказываетъ Ростову, говоря ему, въ отвѣтъ на его выходку объ адъютанствѣ, что желалъ бы и очень попасть въ адъютанты, затѣмъ что уже разъ пойдя по карьерѣ военной службы, надо стараться сдѣлать, коль возможно, блестящую карьеру. Эта откровенность Бориса очень замѣчательна. Она доказываетъ ясно, что большинство того общества, въ которомъ онъ

живетъ, и котораго мнѣніемъ онъ дорожить, совершенно одобряетъ его взгляды на прокладываніе дороги, на служеніе лицамъ, на не писанную субординацію, и на несомнѣнные удобства ливреи, какъ средства, ведущаго къ цѣли. Борисъ называетъ Ростова мечтателемъ за его выходку противъ служенія лицамъ, и общество, къ которому принадлежитъ Ростовъ, безъ всякаго сомнѣнія, не только подтвердило бы, но еще и усилило бы этотъ приговоръ въ очень значительной степени, такъ что Ростовъ, за свою попытку отрицать систему протекціи и не писанную субординацію, оказался не мечтателемъ, а просто глупымъ и грубымъ армейскимъ буяномъ, неспособнымъ понимать и оцѣнивать самыя законныя и похвальные стремленія благовоспитанныхъ и добропорядочныхъ юношей.

Борисъ, разумѣется, продолжаетъ преуспѣвать подѣ сънью своей непогрѣшимой теоріи, вполне соотвѣтствующей механизму и духу того общества, среди котораго онъ ищетъ себѣ богатства и почета. „Онъ вполне усвоилъ себѣ ту поправившуюся ему въ Ольмицѣ не писанную субординацію, по которой прапорщикъ могъ стоять безъ сравненія выше генерала, и по которой, для успѣха на службѣ, были нужны не усилія на службѣ, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умѣнье обращаться съ тѣми, которые вознаграждаютъ за службу — и онъ часто удивлялся самъ своимъ быстрымъ успѣхамъ, и тому, какъ другіе могли не понимать этого. Вслѣдствіе этого открытія его, весь образъ жизни его, всѣ отношенія съ прежними знакомыми, всѣ его планы на будущее — совершенно измѣнились. Онъ былъ не богатъ, но послѣднія свои деньги онъ употреблялъ на то, чтобы быть одѣтымъ лучше другихъ; онъ скорѣе лишилъ бы себя многихъ удовольствій, чѣмъ позволилъ бы себѣ ѣхать въ дурномъ экипажѣ или показаться въ старомъ мундирѣ на улицахъ Петербурга. Сближался онъ и искалъ знакомства только съ людьми, которые были выше его, и потому могли быть ему полезны“.

Съ особеннымъ чувствомъ гордости и удовольствія Борисъ входитъ въ дома высшаго общества; приглашеніе отъ

фрейлины Анны Павловны Шереръ онъ принимаетъ за „важное повышеніе по службѣ“; на вечерѣ у нея онъ, конечно, ищетъ себѣ не развлеченій; онъ, напротивъ того, трудится по своему въ ея гостиной; онъ внимательно изучаетъ ту мѣстность, на которой ему предстоитъ маневрировать, чтобы завоевать себѣ новыя выгоды, и заполнить новыхъ благодѣтелей; онъ внимательно наблюдаетъ каждое лицо, и оцѣниваетъ выгоды и возможности сближенія съ каждымъ изъ нихъ. Онъ вступаетъ въ это высшее общество съ твердымъ намѣреніемъ поддѣлаться подъ него, то-есть, укоротить и сузить свой умъ настолько, насколько это понадобится, чтобы ничѣмъ не выдвигаться изъ общаго уровня, и ни подъ какимъ видомъ не раздражить своимъ превосходствомъ того или другого ограниченного челоуѣка, способнаго быть полезнымъ со стороны не писанной субординаціи.

На вечерѣ у Анны Павловны, одинъ очень глупый юноша, сынъ министра князя Курагина, послѣ неоднократныхъ приступовъ и долгихъ сборовъ, производитъ на свѣтъ глупую и избитую шутку. Борисъ, конечно, настолько уменъ, что такія шутки должны коробить его и возбуждать въ немъ то чувство отвращенія, которое обыкновенно родится въ здоровомъ челоуѣкѣ, когда ему приходится видѣть или слышать идиота. Борисъ не можетъ находить эту шутку остроумною или забавною, но, находясь въ великосвѣтскомъ салонѣ, онъ не осмѣливается выдержать эту шутку съ серьезною фізіономією, потому что его серьезность можетъ быть принята за молчаливое осужденіе каламбура, надъ которымъ, быть можетъ, сливкамъ петербургскаго общества угодно будетъ засмѣяться. Чтобы смѣхъ этихъ сливокъ не засталъ его врасплохъ, предусмотрительный Борисъ принимаетъ свои мѣры въ ту самую секунду, когда плоская и чужая острота слетаетъ съ губъ князя Ипполита Курагина. Онъ осторожно улыбается, такъ что его улыбка можетъ быть отнесена къ насмѣшкѣ или къ одобренію шутки, смотря по тому, какъ она будетъ принята. Сливки смѣются, признавая въ миломъ острякѣ плоть отъ плоти

своей и кость отъ костей своихъ,—и мѣры, заблаговременно принятыя Борисомъ, оказываются для него въ высокой степени спасительными.

Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, графиня Эллень Безухова, пользующаяся репутаціею прелестной и очень умной женщины, и привлекающая въ свой салонъ все, что блеститъ умомъ, богатствомъ, знатностью или высокимъ чиномъ,—находитъ для себя удобнымъ приблизить красиваго и ловкаго адъютанта Бориса къ своей особѣ. Борисъ приближается съ величайшею готовностью, становится ея любовникомъ, и въ этомъ обстоятельствѣ усматриваетъ не безъ основанія новое немаловажное повышение по службѣ. Если путь къ чинамъ и деньгамъ проходитъ черезъ будуаръ красивой женщины, то, разумѣется, для Бориса нѣтъ достаточныхъ основаній остановиться въ добродѣтельномъ недоумѣніи или поворотить въ сторону. Ухватившись за руку своей глупой красавицы, Друбецкой весело и быстро продолжаетъ идти впередъ къ золотой цѣли.

Онъ выпрашиваетъ у своего ближайшаго начальника позволеніе состоять въ его свитѣ въ Тильзитѣ, во время свиданія обоихъ императоровъ, и даетъ ему почувствовать при этомъ случаѣ, какъ внимательно онъ, Борисъ, слѣдитъ за показаніями политическаго барометра, и какъ тщательно онъ соображаетъ всѣ свои мельчайшія слова и дѣйствія съ намѣреніями и желаніями высокихъ особъ. То лицо, которое до сихъ поръ было для Бориса генераломъ Буонапарте, узурпаторомъ и врагомъ человѣчества, становится для него императоромъ Наполеономъ и великимъ человѣкомъ, съ той минуты, какъ, узнавъ о предположенномъ свиданіи, Борисъ начинаетъ проситься въ Тильзитъ. Попавъ въ Тильзитъ, Борисъ почувствовалъ, что его положеніе упрочено. „Его не только знали, но къ нему приглядѣлись и привыкли. Два раза онъ исполнялъ порученіе къ самому государю, такъ что государь зналъ его въ лицо, и всѣ приближенные не только не дичились его, какъ прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было“.

На томъ пути, по которому идетъ Борисъ, нѣтъ ни остановокъ ни свертковъ. Можетъ случиться неожиданная катастрофа, которая вдругъ изомнетъ и изломаетъ всю отлично начавшуюся и благополучно продолжаемую карьеру; можетъ такая катастрофа застигнуть даже самого осторожнаго и расчетливаго человѣка; но отъ нея трудно ожидать, чтобы она направила силы человѣка къ полезному дѣлу, и открыла широкій просторъ для ихъ развитія; послѣ такой катастрофы, человѣкъ обыкновенно оказывается приплюснутымъ и раздавленнымъ; блестящій, веселый и преуспѣвающій офицеръ или чиновникъ превращается всего чаще въ жалкаго ипохондрика, въ откровенно-низкаго попрошайку или просто въ горькаго пьяницу. Помимо же такой неожиданной катастрофы, при ровномъ и благопріятномъ теченіи обыденной жизни, нѣтъ никакихъ шансовъ, чтобы человѣкъ находящійся въ положеніи Бориса, вдругъ оторвался отъ своей постоянной дипломатической игры, всегда одинаково для него важной и интересной, чтобы онъ вдругъ остановился, оглянулся на самого себя, отдалъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, какъ мельчаютъ и вянутъ живыя силы его ума, и энергическимъ усиленіемъ воли перепрыгнуть вдругъ съ дороги искуснаго, приличнаго и блистательно-успѣшнаго выпрашиванія на совершенно неизвѣстную ему дорогу неблагодарнаго, утомительнаго и совсѣмъ не барскаго труда. Дипломатическая игра имѣетъ такіа затягивающія свойства и даетъ такіе блестящіе результаты, что человѣкъ, погрузившійся въ эту игру, скоро начинаетъ считать мелкимъ и ничтожнымъ все, что находится за ея предѣлами, всѣ событія, всѣ явленія частной и общественной жизни оцѣниваются по своему отношенію къ выигрышу или проигрышу; всѣ люди дѣлятся на средства и на помѣхи; всѣ чувства собственной души распадаются на похвальныя, то-есть, ведущія къ выигрышу и предосудительныя, то-есть отвлекающія вниманіе отъ прогресса игры. Въ жизни человѣка, втянувагоса въ такую игру, нѣтъ мѣста такимъ впечатлѣніямъ, изъ которыхъ могло бы вернуться сильное чувство, не подчиненное интересамъ карьеры. Серьезная, чистая, искренняя любовь, безъ при-

иѣси корыстныхъ или честолюбивыхъ расчетовъ, любовь со всею свѣтлою глубиною своихъ наслажденій, любовь со всѣми своими торжественными и святыми обязанностями, не можетъ укорениться въ высушенной душѣ человѣка, подобнаго Борису. Нравственное обновленіе путемъ счастливой любви для Бориса немислимо. Это доказано въ романѣ графа Толстого его исторіей съ Наташею Ростовою, сестрою того армейскаго гусара, котораго мундиръ и манеры коробятъ Бориса въ присутствіи князя Болконскаго. Когда Наташѣ было 12 лѣтъ, а Борису лѣтъ 17 или 18, они играли между собою въ любовь; одинъ разъ, незадолго передъ отѣздомъ Бориса въ полкъ, Наташа поцѣловала его, и они рѣшили, что свадьба ихъ состоится черезъ четыре года, когда Наташѣ минетъ 16 лѣтъ. Прошли эти четыре года; женихъ и невѣста оба, если не забыли своихъ взаимныхъ обязательствъ, то, по крайней мѣрѣ, стали смотрѣть на нихъ, какъ на ребяческую шалость; когда Наташа уже въ самомъ дѣлѣ могла быть невѣстою, и когда Борисъ былъ уже молодымъ человѣкомъ, стоящимъ, какъ это говорится, на самой лучшей дорогѣ—они увидѣлись и снова заинтересовались другъ другомъ. „Послѣ перваго свиданія Борисъ сказалъ себѣ, что Наташа для него точно такъ же привлекательна, какъ и прежде, но что онъ не долженъ отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней, дѣвушкѣ почти безъ состоянія, была бы погибелью его карьеры, а возобновленіе прежнихъ отношеній безъ цѣли женитьбы—было бы неблагороднымъ поступкомъ“. Несмотря на это благоразумное и спасительное совѣщаніе съ самимъ собою, несмотря на рѣшеніе избѣгать встрѣчъ съ Наташею, Борисъ увлекается, начинаетъ часто ѣздить къ Ростовымъ, проводить у нихъ цѣлыя дни, слушаетъ пѣсни Наташи, пишетъ ей стихи въ альбомъ, и даже перестаетъ бывать у графини Безуховой, отъ которой онъ получаетъ ежедневно пригласительныя и укорительныя записки. Онъ все собирается объяснить Наташѣ, что никакъ и никогда не можетъ сдѣлаться ея мужемъ, но у него все не хватаетъ силъ и мужества на то, чтобы начать и довести до конца такое

щекотливое объясненіе. Онъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе запутывается. Но нѣкоторая временная и мимолетная невнимательность къ великимъ интересамъ карьеры составляетъ крайній предѣлъ увлеченій, возможныхъ для Бориса. Нанести этимъ великимъ интересамъ сколько-нибудь серьезный и непоправимый ударъ — это для него невообразимо, даже подвѣяніемъ сильнѣйшей изъ доступныхъ ему страстей.

Стоитъ только старой графинѣ Ростовой перемолвить серьезное слово съ Борисомъ, стоитъ ей только дать ему почувствовать, что его частыя посѣщенія замѣчены и приняты къ свѣдѣнію, — и Борисъ тотчасъ, чтобы не компрометировать дѣвушку и не портить карьеру, обращается въ благоразумное и благородное бѣгство. Онъ перестаетъ бывать у Ростовыхъ, и даже, встрѣтившись съ ними на балѣ, проходитъ мимо нихъ два раза, и всякій разъ отвертывается.

Проплывъ благополучно между подводными камнями любви, Борисъ уже безостановочно, на всѣхъ парусахъ, летитъ къ надежной пристани. Его положеніе на службѣ, его связи и знакомства доставляютъ ему входъ въ такіе дома, гдѣ водятся очень богатые невѣсты. Онъ начинаетъ думать, что ему пора заручиться выгодною женитьбою. Его молодость, его красивая наружность, его презентабельный мундиръ, его умно и расчетливо веденная карьера — составляютъ такой товаръ, который можно продать за очень хорошую цѣну. Борисъ высматриваетъ покупательницу, и находитъ ее въ Москвѣ. Жюли Карагина, обладательница огромныхъ пензенскихъ имѣній и нижегородскихъ лѣсовъ, двадцати-семи-лѣтняя дѣвушка съ краснымъ лицомъ, съ влажными глазами и съ подбородкомъ, всегда почти обсыпаннымъ пудрою — покупаетъ себѣ Бориса. Передъ совершеніемъ запродажной сдѣлки, Борисъ ведетъ себя какъ чистоплотный котъ, которому голодъ велитъ перебираться черезъ очень грязную улицу, и которому въ то же время до смерти не хочется замочить и запачкать бархатныя лапки. Бориса, какъ того же чистоплотнаго кота, не смущаютъ никакія нравственные соображенія. Обмануть дѣвушку, прикинувшись влюбленнымъ въ нее, взять на себя обязательство составить ей

счастье, и потомъ оказаться передъ нею позорно-несостоятельнымъ, разбить ея жизнь—все это такія мысли, которыя не приходятъ въ голову Борису, и нимало его не озабочиваютъ. Если бы только это — онъ не задумался бы ни на минуту, такъ точно, какъ не задумался бы чистоплотный котъ стащить и съѣсть плохо-прибранный кусокъ мяса. Голосъ нравственнаго чувства, уже достаточно слабый въ 17-лѣтнемъ мальчикѣ, благодаря урокамъ такой искусной матери, какова была княгиня Анна Михайловна—замолчалъ давно въ молодомъ человѣкѣ, создавшемъ себѣ цѣлую стройную теорію не писанной субординаціи. Но въ Борисѣ еще не умерла послѣдняя человѣческая слабость; его старческая мудрость еще не задавила въ немъ способности чувствовать физическое отвращеніе; его тѣло еще молодо, свѣжо и сильно; у этого тѣла есть свои потребности, свои влеченія, свои симпатіи и антипатіи; это тѣло не можетъ всегда и вездѣ быть послушнымъ и безропотнымъ орудіемъ духа, стремящагося къ упроченному положенію въ высшемъ обществѣ; тѣло возмущается, тѣло бунтуетъ, и морозъ подираетъ Бориса по кожѣ при мысли о той цѣнѣ, которую онъ долженъ будетъ заплатить за пензенскія имѣнія и нижегородскіе лѣса. Пройти черезъ будуаръ графини Безуховой, пройти черезъ него по расчету для Бориса было легко и пріятно, потому что и самъ Наполеонъ, увидавъ графиню Безухову въ ложѣ Эрфуртскаго театра, сказалъ объ ней: „C'est un superbe animal!“ Но чтобы пройти черезъ спальню Жюли Карагиной къ той конторкѣ, въ которую кладутся доходы съ пензенскихъ имѣній, Борису понадобилось выдержать упорную и продолжительную борьбу съ мятежнымъ тѣломъ.

„Жюли уже давно ожидала предложенія отъ своего меланхолическаго обожателя, и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращенія къ ней, къ ея страстному желанію выйти замужъ, къ ея ненатуральности, и чувство ужаса передъ отреченіемъ возможности настоящей любви еще останавливало Бориса... Каждый день, разсуждая самъ съ собою, Борисъ говорилъ себѣ, что онъ завтра

сдѣлаеть предложеніе. Но въ присутствіи Жюли, глядя на ея красное лицо и подбородокъ, почти всегда осыпанный пудрой, на ея влажные глаза и на выраженіе лица, выражавшаго всегдашнюю готовность изъ меланхоліи тотчасъ же перейти къ неестественному восторгу супружескаго счастья, Борись не могъ произнести рѣшительнаго слова, несмотря на то, что онъ уже давно въ воображеніи своемъ считалъ себя обладателемъ пензенскихъ и нижегородскихъ имѣній, и распредѣлялъ употребленіе съ нихъ доходовъ“.

Само собою разумѣется, что Борись выходитъ побѣдителемъ изъ этой мучительной борьбы, такъ же точно, какъ вышелъ побѣдителемъ изъ другой борьбы съ тѣмъ же прихотливымъ тѣломъ, тянувшимъ его къ Наташѣ Ростовой. Обѣ побѣды порадовали материнское сердце Анны Михайловны; обѣ были бы, безъ сомнѣнія, рѣшительно одобрены приговоромъ общественнаго мнѣнія, всегда расположеннаго сочувствовать торжеству духа надъ матеріею.

Въ ту минуту, когда Борись вспыхнулъ яркимъ румянцемъ, и платя этимъ румянцемъ послѣднюю дань своей молодости и человѣческой слабости, дѣлаеть предложеніе Жюли Карагиной, и объясняется ей въ любви, онъ утѣшаетъ и подкрѣпляетъ себя тѣмъ размышленіемъ, что „всегда можно устроить такъ, чтобы рѣдко видѣть ее“.

Борись держится того правила, что въ торговомъ домѣ поступаютъ на чистоту только безнадежно-глупые люди, и что ловкій обманъ составляетъ душу коммерческой операціи. И въ самомъ дѣлѣ, если бы продавъ самого себя, онъ вздумалъ выдать покупателю весь проданный товаръ, то какое же удовольствіе и какую пользу доставила бы ему устроенная сдѣлка?

Д. Писаревъ.

Николай Ростовъ.

*) Николай Ростовъ грубъ; но и въ немъ есть черты цивилизующагося человѣка: этимъ онъ обязанъ природѣ и

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1868 г., № 153 и 155. Статья С. И. Сычевскаго.

музыкѣ. Странно, повидимому, что я приписываю такое значеніе музыкѣ. Я и самъ не совсѣмъ твердо увѣренъ въ томъ, что теперь говорю; но я рѣшительно не вижу другой точки опоры, чтобы объяснить ту переходную ступень отъ грубіяна къ цивилизованному человѣку, на которой стоитъ Николай Ростовъ. Взгляните въ самомъ дѣлѣ: онъ такой же отчаянный кутила, какъ и всѣ его окружающіе; онъ, зная дурныя обстоятельства своего отца, проигрываетъ шулеру 46 тысячъ руб.; онъ, въ минуту свалки, дѣлается такимъ-же звѣремъ, какъ и другіе: рѣжетъ и колетъ, очертя голову, направо и налево... но, несмотря на всю эту обстановку, въ немъ далеко еще не оскотинился человѣкъ: его прошибаетъ слеза, когда онъ видитъ, какъ отецъ затрудненъ его проигрышемъ. Когда онъ, бѣдный гусарскій ротмистръ, спасаетъ княжну Болконскую, онъ не поглядываетъ на нее съ улыбкой сладострастнаго бурбона или жаднымъ взоромъ искателя богатыхъ невѣстъ; напротивъ того: онъ почтительно, какъ средневѣковый рыцарь, спасаетъ княжну, почтительно провожаетъ ее до безопаснаго мѣста; ни однимъ словомъ ни однимъ движеніемъ не оскорбляетъ ни ея дѣвической стыдливости ни ея свѣжаго еще горя—и уходитъ, не будучи въ состояніи забыть ея кроткихъ, голубыхъ, плачущихъ глазъ и ея тихаго голоса, и оставивъ по себѣ тоже свѣтлое воспоминаніе въ княжнѣ.

Изъ всѣхъ средствъ, сильно вліяющихъ на такое тонкое развитіе самыхъ деликатныхъ сторонъ чувства, я знаю только одно—музыку. Человѣкъ, глубоко чувствующій музыку—есть непременно человѣкъ съ тонкимъ развитіемъ чувства. Лютеръ, кажется, гдѣ-то сказалъ: смѣло входи въ домъ, гдѣ играютъ и поютъ: тамъ, навѣрное, живутъ добрые люди: это, по моему мнѣнію, такая абсолютно-вѣрная истина—конечно, когда игра и пѣніе происходятъ не изъ слѣдованія модѣ, а по внутреннему побужденію,—какихъ мало высказывается въ психологіи и философіи. Здѣсь не мѣсто говорить о цивилизирующемъ вліяніи музыки и пѣнія, но ссылаюсь на личный опытъ cadaго: не развивается-ли чуткость чувства тою отзывчивостію на тончайшіе оттѣнки

его, которой требуетъ отъ истиннаго любителя всякое геніальное музыкальное произведеніе, и встрѣчалъ-ли когда-нибудь и кто-нибудь изъ моихъ читателей лицъ, любящихъ и чувствующихъ музыку, и въ то же время не одаренныхъ деликатнымъ, тонко развитымъ чувствомъ? Сопоставляя это положеніе съ тою сценою, гдѣ проигравшійся Ростовъ слушаетъ музыку своей сестры и съ тою деликатностью чувства, которую онъ высказалъ въ приведенныхъ мною немногихъ выше случаяхъ и во многихъ другихъ, которыхъ я теперь не могу припомнить, я сдѣлалъ заключеніе, можетъ быть, поспѣшное, о томъ, что именно благодаря музыкѣ Ростовъ перешелъ грань оскотоподобившагося человѣка и усвоилъ себѣ первую черту цивилизованнаго человѣка: развитое чувство.

С. Сычевскій.

* * *

*) Николай Ростовъ, третій любимецъ автора, плохъ до послѣдней степени, хотя и мечтаетъ о томъ, чтобы попасть въ совѣтники къ императору Александру. „О, какъ бы я охранялъ его—воскликаетъ онъ въ умиленіи отъ своей мечты — какъ бы я говорилъ ему всю правду, какъ бы я изобличалъ его обманщиковъ“. Но Россія счастлива, что Богъ избавилъ ея государя отъ такого совѣтника. Этотъ претендентъ въ государственные люди лупить по щекамъ мужика Карпа такъ, что у его жертвы голова мотается съ боку на бокъ отъ сильныхъ ударовъ; свое усердіе царю онъ представляетъ себѣ не иначе, какъ въ формѣ кулачной расправы съ какимъ-нибудь обманщикомъ-нѣмцемъ (Т. I, стр. 102). Онъ былъ въ университетѣ, но не вынесъ оттуда ни одной честной и здоровой идеи. О своихъ служебныхъ обязанностяхъ онъ рассуждаетъ такимъ образомъ: „умирать велятъ намъ—такъ умирать. А коли наказываютъ, такъ значить виноваты; не намъ судить. Угодно признать Бонапарта императоромъ и заключить съ нимъ союзъ—зна-

*) „Неделя“ 1868 г., №№ 22, 23 и 26. Статья А. П. Пятковского, подъ заглавіемъ: „Историческая эпоха въ романѣ гр. Л. Н. Толстого“.

читать такъ надо. А то, коли бы мы стали судить да разсуждать, такъ этакъ ничего не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ“. Гр. Толстой прибавляетъ къ этимъ словамъ, что Ростовъ произносилъ ихъ на пирушкѣ и на-веселѣ, но извѣстна пословица: что у трезваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ. Трезвый Ростовъ говорить и дѣйствуетъ нисколько не лучше Ростова пьянаго...

А. Пятковский.

* * *

*) Сравнивая Николая Ростова съ гр. Пьеромъ Безухимъ, Ахшарумовъ говоритъ: „Съ перваго взгляда кажется, какъ будто это совсѣмъ другой человѣкъ, и, дѣйствительно, въ общемъ итогѣ онъ антиподъ Безухова, а между тѣмъ, вѣдь, и этотъ такой же нравственный недоросль; и у этого мы не находимъ ни полной ребяческой непосредственности, ни зрѣлой увѣренности въ себѣ. Онъ также теряется въ неожиданности, и также мало умѣетъ вести себя съ людьми, и также отлично знаетъ, что не умѣетъ, и это сознаніе дѣлаетъ его также часто смѣшнымъ, неловкимъ, афектированнымъ. Стыдливость у него тоже сильно развита, и онъ тоже часто конфузится; и въ головѣ у него также шатко, на сердцѣ также неопредѣленно, и онъ также мало способенъ къ дѣлу, требующему яснаго замысла или какой бы то ни было выдержки, какой бы то ни было значительной и послѣдовательной настойчивости въ осуществленіи. Всѣ его подвиги—это плодъ слѣпого или хоррадочнаго порыва. Какъ только этотъ порывъ весь вышелъ, онъ на мели. Онъ можетъ, вытаращивъ глаза и не помня себя отъ задора, скакать въ атаку на непріятеля или въ погоню за волкомъ, умолая Творца, какъ о величайшей милости, чтобы онъ помогъ достичь цѣли, чтобы она не ушла. Но когда величайшее счастье случилось, и цѣль достигнута, онъ успѣлъ уже опалѣть до того, что не въ состояніи ни видѣть, ни помнить, ни сообразить, ни сдѣлать что-нибудь,

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

что имѣло бы въ себѣ здравый смыслъ. Короче сказать, онъ славный малый, но человѣкъ въ высшей степени непрактическій, и въ этомъ сродни графу Безухову. Да и не онъ одинъ... Тѣ же черты непрактичности, или неустойчивости, или незрѣлости и распущенности роднятъ съ Безухимъ людей, можетъ быть, еще меньше похожихъ на него въ общемъ, чѣмъ Николай Ростовъ, людей совершенно иного склада.

Н. Ахшарумовъ.

* * *

*) Николай Ростовъ—это совершенная противоположность Бориса. Друбецкой — расчетливъ, сдержанъ, остороженъ, все размѣряетъ и взвѣшиваетъ, и во всемъ дѣйствуетъ по заранѣ составленному и тщательно обдуманному плану. Ростовъ, напротивъ того, смѣлъ и пылокъ, не способенъ и не любитъ соображать, всегда поступаетъ очертя голову, всегда весь отдается первому влеченію, и даже чувствуетъ нѣкоторое презрѣніе къ тѣмъ людямъ, которые умѣютъ сопротивляться воспринимаемымъ впечатлѣніямъ и перерабатывать ихъ въ себѣ.

Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія, умнѣе и глубже Ростова. Ростовъ, въ свою очередь, гораздо даровитѣе, отзывчивѣе и многостороннѣе Бориса. Въ Борисѣ гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающіе факты. Въ Ростовѣ преобладаетъ способность откликаться всѣмъ своимъ существомъ на все, что проситъ, и даже на то, что не имѣетъ права просить у сердца отвѣта. Борисъ, при правильномъ развитіи своихъ способностей, могъ бы сдѣлаться хорошимъ изслѣдователемъ. Ростовъ, при такомъ же правильномъ развитіи, сдѣлался бы, по всей вѣроятности, недюжиннымъ художникомъ, поэтомъ, музыкантомъ или живописцемъ.

Существенное различіе между обоими молодыми людьми обозначается съ перваго ихъ шага на житейскомъ поприщѣ.

*) „Отеч. Записки“ 1868 г., № 2, отд. „Русская Литература“. Статья Д. Писарева, подъ заглавіемъ: „Старое барство“.

Борисъ, которому нечѣмъ жить, протискивается, по милости своей пресмыкающейся матери, въ гвардію и живетъ тамъ на чужой счетъ, чтобы только быть на виду и почаще приходить въ соприкосновеніе съ высокопоставленными особами. Ростовъ, получающій отъ отца по 10,000 рублей въ годъ и имѣющій полную возможность жить въ гвардіи не хуже другихъ офицеровъ, идетъ, пылая воинственнымъ и патріотическимъ жаромъ, въ армейскую кавалерію, чтобы поскорѣе побывать въ дѣлѣ, погарцовать на ретивой лошади, и удивить себя и другихъ подвигами лихого наѣздничества. Борисъ ищетъ прочной и осязательной выгоды. Ростовъ желаетъ прежде всего и во что бы то ни стало шуму, блеску, сильныхъ ощущеній, эффектныхъ сценъ и яркихъ картинъ. Образъ гусара, какъ онъ летитъ въ атаку, машетъ саблей, сверкаетъ очами, топчетъ трепещущаго врага стальными копытами неукротимаго коня, образъ гусара, какъ онъ размахисто и шумно пируетъ въ кругу лихихъ товарищей, прокопченныхъ пороховымъ дымомъ, образъ гусара, какъ онъ, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми снурками венгерки, своимъ орлинымъ взоромъ посѣваетъ тревогу и смятеніе въ сердцахъ молодыхъ красавицъ — всѣ эти образы, сливаясь въ одно смутное обаятельное впечатлѣніе, рѣшаютъ судьбу юнаго и пылкаго графа Ростова и побуждаютъ его, бросивъ университетъ, въ которомъ онъ, безъ сомнѣнія, находилъ мало для себя привлекательнаго, кинуться стремглавъ и окунуться съ головою въ жизнь армейскаго гусара.

Борисъ вступаетъ въ свой полкъ спокойно и хладнокровно, держитъ себя со всѣми прилично и кротко, но ни съ полкомъ вообще, ни съ кѣмъ-либо изъ офицеровъ въ особенности не завязываетъ никакихъ тѣсныхъ и задушевныхъ отношеній. Ростовъ буквально бросается въ объятія павлоградскаго гусарскаго полка, пристращается къ нему, какъ къ своей новой семьѣ, сразу начинаетъ дорожить его честью, какъ своею собственною, изъ восторженной любви къ этой чести дѣлаетъ опрометчивые поступки, ставитъ себя въ неловкія положенія, ссорится съ полковымъ коман-

диромъ, кается въ своей неосторожности передъ синклитомъ старыхъ офицеровъ, и при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости, покорно выслушиваетъ дружескія замѣчанія стариковъ, обучающихъ его уму-разуму и преподающихъ ему основныя начала павлоградской гусарской нравственности.

Борисъ норовить улизнуть какъ можно скорѣе изъ полка куда-нибудь въ адъютанты. Ростовъ считаетъ переходъ въ адъютанты какою-то измѣною милому и родному павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по расчету жениться на богатой невѣстѣ. Всѣ адъютанты, всѣ „пштабные молодчики“, какъ онъ ихъ презрительно называлъ, въ его глазахъ какіе-то бездушные и недостойные отступники, продавшіе своихъ братьевъ по оружію за блюдо чечевицы. Подъ вліяніемъ этого презрѣнія, онъ безъ всякой уважительной причины, къ ужасу и досадѣ Бориса, въ квартирѣ послѣдняго заводитъ ссору съ адъютантомъ Болконскимъ, ссору, которая остается безъ кровопролитныхъ послѣдствій, только благодаря спокойной твердости и самообладанію Болконскаго.

Ростовъ, къ удивленію Бориса, бросаетъ подъ столъ рекомендательное письмо, выхлопотанное ему, Ростову, заботливыми родителями къ князю Багратиону, при этомъ онъ, какъ мы уже знаемъ, прямо называетъ адъютантскую службу лакейской. Онъ не задумывается надъ тѣмъ обстоятельствомъ, что адъютанты совершенно необходимы въ общемъ строѣ военнаго дѣла; онъ не останавливается на томъ соображеніи, что можно быть адъютантомъ, честно исполняя свои обязанности, принося постоянно истинную пользу общему ходу военныхъ дѣйствій и нисколько не унижая ни передъ кѣмъ своего личнаго человѣческаго достоинства. Онъ, очевидно, не въ состояніи уловить и опредѣлить различіе между писанною и неписанною субординаціей, между служеніемъ лицамъ и служеніемъ дѣлу. Онъ съ негодованіемъ отрицаетъ адъютантство для себя и презираетъ его въ другихъ просто потому, что павлоградскіе офицеры, принимая въ соображеніе его графскій титулъ и хорошее состояніе, на первыхъ

порахъ заподозрили его въ намѣреніи выпрыгнуть изъ полка въ адъютанты, а онъ тотчасъ же съ добродѣтельнымъ ужасомъ сталъ отрешиваться и отплевываться отъ такого оскорбительнаго подозрѣнія въ безсердечности.

Борисъ не становится ни къ кому въ восторженно-подобострастныя ученическія отношенія; онъ всегда готовъ тонко и прилично льстить тому человѣку, изъ котораго онъ такъ или иначе надѣется сдѣлать себѣ дойную корову, онъ всегда готовъ подмѣтить въ другомъ, перенять и усвоить себѣ какую-нибудь сноровку, способную доставить ему успѣхъ въ обществѣ и повышение по службѣ; но безкорыстное и простодушное обожаніе кого-бы или чего-бы то ни было ему совершенно несвойственно; онъ можетъ стремиться только къ выгодамъ, а никакъ не къ идеалу; онъ можетъ только завидовать и подражать людямъ, обогнавшимъ или обгоняющимъ его по службѣ, но рѣшительно неспособенъ благоговѣть передъ ними, какъ передъ яркими и прекрасными воплощеніями идеала. У Ростова, напротивъ того, идеалы, кумиры и авторитеты, какъ грибы на каждомъ шагу вырастаютъ изъ земли. У него и Васька Денисовъ—идеаль, и Долоховъ—кумиръ, и штабъ-ротмистръ Кирстенъ—авторитетъ. Вѣроватъ и любить слѣпо, страстно, безпредѣльно, преслѣдуя ненавистью фанатика тѣхъ, кто не преклоняетъ колѣнъ передъ воздвигнутыми идолами—это неистребимая потребность его кипучей природы.

Эта потребность проявляется особенно ярко въ восторженномъ взглядѣ на государя. Вотъ какими чертами графъ Толстой изображаетъ его чувства во время высочайшаго смотра въ Ольмюцѣ. Эти черты характеризуютъ и время, и тотъ слой общества, къ которому принадлежитъ Ростовъ, и личныя особенности самого Ростова.

„Когда государь приблизился на разстояніи 20-ти шаговъ, и Николая ясно, до всѣхъ подробностей, разсмотрѣлъ прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, онъ испыталъ чувство нѣжности и восторга, подобнаго которому онъ еще не испытывалъ“.

Увидавъ улыбку государя, „Ростовъ самъ невольно на-

чалъ улыбаться и почувствовалъ еще сильнѣйшій приливъ любви къ своему государю. Ему хотѣлось выказать чѣмъ-нибудь свою любовь къ государю. Онъ зналъ, что это невозможно, и ему хотѣлось плакать“.

Когда государь заговорилъ съ командиромъ павлоградскаго полка, Ростовъ подумалъ, что умеръ бы отъ счастья, ежели бы государь обратился къ нему.

Когда государь сталъ благодарить офицеровъ, то „каждое слово слышалось Ростову, какъ звукъ съ неба“, и онъ созналъ въ себѣ и сформировалъ совершенно ясно страстное желаніе „только умереть, умереть за него“.

Когда солдаты, „надсаживая свои солдатскія груди“, закричали ура, то „Ростовъ закричалъ тоже, пригнувшись къ сѣдлу, что было его силъ, желая повредить себѣ этимъ крикомъ, только чтобы выразить вполне свой восторгъ государю“.

Когда государь постоялъ нѣсколько секундъ противъ гусаръ, какъ будто въ нерѣшимости, то „даже и эта нерѣшительность показалась Ростову величественной и обворожительной“.

Въ числѣ господъ свиты Ростовъ замѣтилъ Болконскаго, припомнилъ свою ссору съ нимъ у Друбецкаго, случившуюся наканунѣ, и задалъ себѣ вопросъ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ вызывать его. „Разумѣется, не слѣдуетъ, подумалъ теперь Ростовъ... И стоитъ ли думать и говорить про это въ такую минуту, какъ теперь? Въ минуту такого чувства любви, восторга и самоотверженія что значать всѣ наши ссоры и обиды? Я всѣхъ люблю, всѣмъ прощаю теперь“.

Когда полки проходятъ церемоніальныхъ маршемъ мимо государя, когда Ростовъ на своемъ Бедуинѣ самымъ эффектнымъ образомъ проѣзжаетъ вслѣдъ за своимъ эскадрономъ, и когда государь говоритъ: „молодцы павлоградцы!“ тогда Ростовъ думаетъ: „Боже мой, какъ бы я счастливъ былъ, если бы онъ велѣлъ мнѣ сейчасъ броситься въ огонь“.

Всѣ эти черты собраны мною и перенесены сюда съ точностью съ страницъ 70—73 перваго тома.

Три дня спустя, Ростовъ еще разъ видитъ государя и

чувствуетъ себя счастливымъ „какъ любовникъ, дождавшійся ожидаемаго свиданія“. Онъ, *не олядываясь, восторженнымъ чуткомъ* чувствуетъ приближеніе государя. Здѣсь краски, употребляемыя графомъ Толстымъ, вспыхиваютъ такою ослѣпительною яркостью, что я, боясь ослабить или какъ-нибудь испортить то впечатлѣніе, которое онъ должны произвести на читателя, считаю необходимымъ привести цитату во всей ея неприкосновенности.

„И онъ почувствовалъ это (приближеніе) не по одному звуку копытъ лошадей приближавшейся кавалькады, но онъ чувствовалъ это потому, что, по мѣрѣ приближенія, все свѣтлѣе, радостнѣе, и значительнѣе, и праздничнѣе дѣлалось вокругъ него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокругъ себя лучи кроткаго и величественнаго свѣта, и вотъ онъ уже чувствуетъ себя захваченнымъ этими лучами, онъ слышитъ его голосъ—этотъ ласковый, спокойный, величественный и вмѣстѣ съ тѣмъ столь простой голосъ“.

Фанатики жрецы обыкновенно бываютъ болѣе исключительны въ своихъ страстяхъ, чѣмъ то божество, которому они служатъ. пылая всепоглощающею и ослѣпляющею любовью къ своему божеству, эти жрецы доходятъ часто, путемъ этой любви, до такихъ крайнихъ, уродливыхъ и противоестественныхъ чувствъ, которыя могли бы только оскорбить, возмутить и прогнѣвить божество, если бы оно узнало о ихъ существованіи.

Ростовъ видитъ государя на площади города Вишау, гдѣ за нѣсколько минутъ до проѣзда государя происходила довольно сильная перестрѣлка. На площади лежатъ еще неприбранныя тѣла убитыхъ и раненыхъ. Государь, „склонившись на бокъ, граціознымъ жестомъ держа золотой лорнетъ у глаза“, смотритъ на раненаго солдата, лежащаго ничкомъ, безъ кивера, съ окровавленной головою. Государь, очевидно, соболѣзнуетъ о страданіяхъ раненаго; плечи его содрогаются, какъ бы отъ пробѣжавшаго мороза, и лѣвая нога его судорожно бьетъ шпорой бокъ лошади; одинъ изъ адъютантовъ, угадывая мысли и желанія госу-

даря, поднимаетъ солдата подъ руки, а государь, услышавъ стонъ умирающаго, говоритъ: „тише, тише, развѣ нельзя тише?“ и при этомъ, по словамъ графа Толстого, видимо, страдаетъ больше, чѣмъ самъ умирающій солдатъ. Слезы наполняютъ глаза государя и, обращаясь къ Чарторижскому, онъ говоритъ ему: „quelle terrible chose que la guerre!“ Въ это самое время Ростовъ, весь поглощенный своею восторженною любовью, преимущественно устремляетъ свое вниманіе на то обстоятельство, что солдатъ недостаточно опрятенъ, деликатенъ и великолѣпенъ, чтобы находиться вблизи государя и останавливать на себѣ его взоры. Въ солдатѣ Ростовъ видитъ въ эту минуту не умирающаго человѣка, не мученика, мужественно принявшаго страданіе также за дѣло государя, а только грязное кровавое пятно, марающее ту картину, на которую обращены глаза государя, пятно, доставляющее государю непріятныя ощущенія, диссонансъ, способный до нѣкоторой степени разстроить нервы государя,—наконецъ, такой предметъ, который виновать уже тѣмъ, что не можетъ почувствовать *восторженнымъ чутьемъ его приближеніе*, и сдѣлаться, по мѣрѣ этого приближенія, *все свѣтлѣе, и радостнѣе, и значительнѣе, и праздничнѣе*. Вотъ подлинныя слова графа Толстого: „Солдатъ раненный былъ такъ нечистъ, грубъ и гадокъ, что Ростова оскорбила близость его къ государю“. Государь, по всей вѣроятности, не остался бы доволенъ, если бы могъ себѣ представить, что любовь къ нему побуждаетъ молодыхъ офицеровъ его вѣрной и храброй арміи смотрѣть съ отвращеніемъ и почти съ ненавистью на страданія умирающихъ солдатъ.—Борисъ тоже чувствуетъ особенное волненіе, когда приближается къ особѣ государя, но его волненіе совершенно не похоже на то, которое испытываетъ простодушный Ростовъ. Онъ волнуется потому, что чувствуетъ себя возлѣ источника власти, награды, почестей, богатства и вообще всѣхъ тѣхъ земныхъ благъ, добыванію которыхъ онъ твердо рѣшился посвятить всю свою жизнь. Онъ думаетъ: ахъ, если бы мнѣ да пристроиться тутъ по близости, да утвердиться такъ, что-

бы меня изо дня въ день постоянно пригрѣвали солнечные лучи! То корыстное волненіе, которое въ подобныхъ случаяхъ овладѣваетъ Борисомъ, только усиливаетъ его внимательность, расторопность и находчивость. Онъ исполняетъ совершенно удовлетворительно два порученія къ государю, данныя ему во время службы, и приобретаетъ себѣ даже въ глазахъ императора Александра репутаціюмышленаго и рачительнаго офицера.

Волненіе, овладѣвающее Ростовымъ, когда онъ видитъ государя и приближается къ нему, отнимаетъ у него способность размышлять и обсуживать свое положеніе. Въ день аустерлицкаго сраженія, посланный съ порученіемъ, которое онъ, если не обязанъ, то, по крайней мѣрѣ, имѣетъ полное право и даже уполномоченъ передать государю, Ростовъ встрѣчаетъ государя въ то время, когда битва окончательно и безвозвратно проиграна. Увидавъ государя, Ростовъ, по обыкновенію, чувствуетъ себя безмѣрно счастливымъ, отчасти потому, что видитъ его, отчасти и главнымъ образомъ потому, что убѣждается собственными глазами въ невѣрности распространившагося слуха о ранѣ государя. Ростовъ знаетъ, что онъ можетъ и даже долженъ прямо обратиться къ государю, и передать то, что ему было приказано. Но нахлынувшее на него волненіе отнимаетъ у него возможность во время рѣшиться: „какъ влюбленный юноша дрожить и млѣть, не смѣя сказать того, о чемъ онъ мечтаетъ ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности бѣгства, когда наступила желанная минута, и онъ стоитъ наединѣ съ ней: такъ и Ростовъ теперь, достигнувъ того, чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ, не зналъ, какъ подступить къ государю, и ему представлялись тысячи соображеній, почему это было неудобно, неприлично и невозможно“.

Не рѣшившись на то, *чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ*, Ростовъ отъѣзжаетъ прочь, *съ грустью и съ отчаяніемъ въ сердцѣ*, и въ ту же минуту видитъ, что другой офицеръ, увидавъ государя, прямо подѣзжаетъ къ нему, предлагаетъ ему свои услуги, и помогаетъ ему перейти

пѣшкомъ черезъ канаву. Ростовъ издали съ завистью и раскаяніемъ видитъ, какъ этотъ офицеръ долго и съ жаромъ говоритъ что-то государю, и какъ государь жметъ руку этому офицеру. Теперь, когда минута пропущена, Ростову представляются новыя тысячи соображеній, почему ему было удобно, прилично и необходимо подѣхать къ государю. Онъ думаетъ про себя, что онъ, Ростовъ, могъ бы быть на мѣстѣ того офицера, которому государь пожалъ руку, что его подрѣзала его собственная позорная слабость, и что онъ потерялъ единственный случай выразить государю свою восторженную преданность. Онъ повертываетъ лошадь, скачетъ къ тому мѣсту, гдѣ былъ государь — тамъ уже нѣтъ никого. Онъ уѣзжаетъ въ совершенномъ отчаяніи, и въ этомъ отчаяніи — какому бы тонкому и тщательному анализу мы его ни подвергали — нѣтъ ничего сколько-нибудь похожаго на мысль о томъ вліяніи, которое разговоръ съ государемъ могъ бы обнаружить на дальнѣйшій ходъ его службы. Это — простодушное и безкорыстное отчаяніе влюбленнаго юноши, у котораго, по милости его же собственной робости, остались тяжелымъ камнемъ на душѣ невысказанныя и давно накупѣвшія слова почтительной страсти.

Самъ Ростовъ неспособенъ анализировать свое чувство; онъ не можетъ задать себѣ вопроса: почему я испытываю это чувство? не можетъ, во-первыхъ, потому, что вообще не привыкъ пускаться въ психологическія изслѣдованія и отдавать себѣ сколько-нибудь ясный отчетъ въ своихъ ощущеніяхъ; а во-вторыхъ, потому, что въ этомъ вопросѣ ему совершенно справедливо чувствуется опасный зародышъ разлагающаго сомнѣнія. Спросить: почему я испытываю то или другое чувство? значитъ задуматься надъ тѣми причинами и основаніями, на которыхъ держится это чувство, приступить къ измѣренію, взвѣшиванію и оцѣнкѣ этихъ причинъ и основаній, и заранѣе подчиниться тому приговору, который, послѣ зрѣлыхъ размышленій, будетъ произнесенъ надъ ними голосомъ нашего собственного разсудка. Кто ставитъ себѣ вопросомъ: почему? тотъ, очевидно, чув-

ствуешь необходимость указать своей страсти извѣстныя границы, на которыхъ она должна остановиться, чтобы не вредить интересамъ цѣлаго. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже признаетъ существованіе такихъ интересовъ, которые для него важнѣе и дороже его чувства, и во имя которыхъ, и съ точки зрѣнія которыхъ желательно потребовать у этого чувства отчета въ его происхожденіи. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже обнаруживаетъ способность до нѣкоторой степени отрѣшиться отъ своего чувства, и смотрѣть на него со стороны, какъ на явленіе внѣшняго міра, а между чувствами, совершенно не испытывавшими надъ собой этой операціи, и чувствами, на которыя мы хоть разъ, хоть на минуту, взглянули со стороны, взоромъ наблюдателя, *объективнымъ окомъ*, существуетъ огромная разница. Какъ бы побѣдоносно наше чувство ни выдержало испытаніе, все-таки надъ нимъ неизбѣжно совершится одна существенно важная перемѣна: прежде оно, неизмѣренное и неизслѣдованное, казалось намъ необъятнымъ и безпредѣльнымъ, потому что мы не знали ни его начала, ни его конца, ни его возможныхъ послѣдствій, ни его дѣйствительныхъ основаній; теперь же оно, хотя и очень велико, однако, введено въ свои границы, которыя намъ хорошо извѣстны. Прежде оно, само по себѣ, было цѣлымъ міромъ, ни съ чѣмъ не связаннымъ, живущимъ своею самостоятельною жизнью, повинующимся только своимъ собственнымъ законамъ, которыхъ мы не знали, и неотразимо увлекающимъ насъ въ свою таинственную глубину, въ которую мы погружались съ трепетомъ мучительной радости и робкаго благоговѣнія; теперь оно сдѣлалось явленіемъ среди другихъ явленій нашего внутренняго міра, явленіемъ, на которое дѣйствуютъ многія другія, соприкасающіяся и сталкивающіяся съ нимъ чувства, мысли и впечатлѣнія—явленіемъ, которое подчиняется законамъ, существующимъ внѣ его, и вліяніямъ, дѣйствующимъ на него со стороны.

Очень многія и очень сильныя чувства совсѣмъ не выдерживаютъ испытанія. Вопросъ *почему* становится ихъ мо-

гилою. Удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ оказывается невозможнымъ.

Ростовъ не спрашиваетъ *почему?* не знаетъ почему и не хочетъ этого знать. Онъ понимаетъ правильнымъ инстинктомъ, что вся сила его чувства заключается въ его совершенной непосредственности, и что самымъ твердымъ оплотомъ служить этому чувству то постоянно раскаленное настроеніе, вслѣдствіе котораго онъ, Ростовъ, всегда готовъ видѣть оскорбленіе святыни во всякой попыткѣ, своей или чужой, стать къ этому чувству или къ какимъ бы то ни было его проявленіямъ въ сколько-нибудь спокойныя или разсудочныя отношенія. „Я, говорилъ Людовикъ Святой: никогда и ни за что не буду разсуждать съ еретикомъ; я просто пойду на него и мечомъ распорю ему брюхо“. Такъ точно думаетъ и чувствуетъ Ростовъ. Онъ до послѣдней крайности щекотливъ ко всему, что сколько-нибудь отклоняется отъ тона восторженного благоговѣнія. Вотъ какая сцена разыгрывается возлѣ Вишау между Ростовымъ и Денисовымъ:

„Поздно ночью, когда всѣ разошлись, Денисовъ потрепалъ своей коротенькой ручкой по плечу своего любимца Ростова.

— Вотъ на походѣ не въ кого влюбиться, такъ онъ въ Ца'я влюбился,—сказалъ онъ.

— Денисовъ, ты этимъ не шути,—крикнулъ Ростовъ:—это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Вѣ'ю, вѣ'ю, д'ужокъ, и 'аздѣляю, и одоб'яю.

— Нѣтъ, не понимаешь!

И Ростовъ всталъ и пошелъ бродить между костровъ, мечтая о томъ, какое было бы счастье умереть, не спасая жизнь (объ этомъ онъ не смѣлъ и мечтать), а просто умереть въ глазахъ государя.

На Денисова, конечно, не можетъ пасть подозрѣніе въ яacobинствѣ. Въ этомъ отношеніи онъ стоитъ выше всякаго сомнѣнія, и Ростовъ это знаетъ, но, по своей щекотливости, не можетъ воздержаться отъ вскрикиванія, когда Денисовъ позволяетъ себѣ добродушную дружескую шутку. Въ

этой шуткѣ Ростову чувствуется все-таки способность отнестись, хотя на минуту, спокойно и хладнокровно, къ предмету его восторженнаго обожанія. Этого уже достаточно чтобы вызвать съ его стороны вспышку негодованія. Поставьте на мѣсто лихого павлоградскаго гусара и отличнаго товарища Денисова какого-нибудь посторонняго человѣка, замѣните добродушную дружескую шутку словами, выражающими серьезное сомнѣніе, и вы тогда, конечно, получите въ результатъ со стороны Ростова не вскрикиваніе, а какой-нибудь рѣзкій, насильственный поступокъ, напоминающій программу Людовика Святого.

Проходитъ два года. Вторая война съ Наполеономъ заканчивается пораженіемъ нашихъ войскъ при Фридландѣ и свиданіемъ императоровъ въ Тильзитѣ. Множество видѣнныхъ событій, политическихъ и неполитическихъ, множество воспринятыхъ впечатлѣній, крупныхъ и мелкихъ, задаютъ уму Ростова мучительную работу, превышающую его силы, и возбуждаютъ въ немъ рой тяжелыхъ сомнѣній, съ которыми онъ не умѣетъ управляться.

Пріѣхавъ въ свой полкъ весною 1807 года, Ростовъ застаетъ его въ такомъ положеніи, что лошади, безобразно худыя, ѣдятъ соломенные крыши съ домовъ, а люди, не получая никакого провіанта, набиваютъ себѣ желудки какимъ-то сладкимъ машиннымъ корнемъ, растеніемъ, похожимъ на спаржу, отъ котораго у нихъ пухнутъ руки, ноги и лицо. Въ столкновеніяхъ съ непріателемъ Павлоградскій полкъ потерялъ только двухъ раненыхъ, а голодъ и болѣзни истребили почти половину людей. Кто попадалъ въ госпиталь—умиралъ навѣрное; и солдаты, больные лихорадкою и опухолью, несли службу, черезъ силу волоча ноги во фронтъ, лишь бы только не идти въ больницу, на вѣрную и мучительную смерть.

Въ обществѣ офицеровъ господствуетъ то убѣжденіе, что всѣ эти бѣдствія происходятъ отъ колоссальныхъ злоупотребленій въ провіантскомъ вѣдомствѣ; и это убѣжденіе поддерживается тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ подвозимые припасы оказываются самаго дурнаго качества. Ужасное и

отвратительное положеніе госпиталей и безпорядокъ въ продовѣ провіанта также не могутъ быть объяснены никакими естественными бѣдствіями, независимыми отъ воли человѣка.

Васька Денисовъ, добродушный, честный и храбрый гусарскій майоръ, любитъ свой эскадронъ, какъ свою семью, и видитъ съ ожесточеніемъ, какъ на его глазахъ хирѣютъ и мрутъ его солдаты. Прослышавъ о томъ, что въ пѣхотный полкъ, стоявшій по сосѣдству, идетъ транспортъ провіанта, Денисовъ ѣдетъ насильно отбивать эти припасы, и дѣйствительно выполняетъ свое намѣреніе, разсуждая такъ, что не умирать же, въ самомъ дѣлѣ, павлоградскимъ гусарамъ отъ голода и отъ сладкаго машкина корня. Полковой командиръ, узнавъ объ этомъ подвигѣ Денисова, говоритъ ему, что готовъ смотрѣть на это сквозь пальцы, но совѣтуетъ Денисову съѣздить въ штабъ и уладить дѣло въ провіантскомъ вѣдомствѣ.

Денисовъ ѣдетъ и начинаетъ объясняться съ провіантскимъ чиновникомъ, котораго онъ потомъ, въ разговорѣ съ Ростовымъ, называетъ оберъ-воромъ. Съ первыѣ же словъ Денисовъ говоритъ оберъ-вору, что „разбой не тотъ дѣлаетъ, кто беретъ провіантъ, чтобы кормить своихъ солдатъ, а тотъ, кто беретъ его, чтобы класть въ карманъ“. Послѣ такого дебюта, любовное окончаніе дѣла становится невозможнымъ. По приглашенію оберъ-вора, Денисовъ идетъ расписываться у комиссіонера, и тутъ за столомъ видитъ уже настоящаго вора, бывшаго павлоградскаго офицера Телянина, укравшаго у него, Денисова, кошелекъ съ деньгами, уличеннаго въ этомъ Ростовымъ, выключеннаго изъ полка и пристроившагося потомъ къ провіантскому вѣдомству. Тутъ разыгрывается сцена, которую самъ Денисовъ слѣдующимъ образомъ описываетъ Ростову:

„Какъ, ты насъ съ голоду моришь?!“ Разъ, разъ по мордѣ, ловко такъ пришлось... „А... распротаконь-сякой, и... началъ катать. Зато натѣшилъ, могу сказать, — кричалъ Денисовъ, радостно и злобно изъ-подъ черныхъ усовъ оскаливая свои бѣлые зубы.—Я бы убилъ его, кабы не отняли“.

Разумѣется, завязывается дѣло. Майора Денисова обвиняютъ въ томъ, что онъ, отбивъ транспортъ, безъ всякаго вызова, въ пьяномъ видѣ явился къ оберъ-провіантмейстеру, назвалъ его воромъ, угрожалъ побоями, и когда былъ выведенъ вонъ, то бросился въ канцелярію, избилъ двухъ чиновниковъ и одному вывихнулъ руку.

Пока тянется предварительная переписка по этому дѣлу, Денисовъ, въ одной рекогносцировкѣ, получаетъ рану, и уѣзжаетъ въ госпиталь.

Послѣ Фридландскаго сраженія, во время перемирія, Ростовъ ѣдетъ провожать Денисова, и собственными глазами видитъ, какой ухоть достается на долю раненымъ героямъ. При самомъ входѣ докторъ предупреждаетъ его, что *тутъ домъ прокаженныхъ, тифъ; кто ни взойдетъ — смерть*, и что здоровому человѣку не слѣдуетъ входить, если онъ не желаетъ тутъ и остаться. Въ темномъ коридорѣ Ростова охватываетъ такой сильный и отвратительный больничный запахъ, что онъ принужденъ остановиться и собраться съ силами, чтобы идти дальше. Ростовъ входитъ въ солдатскія палаты, и видитъ, что тутъ больные и раненые лежатъ въ два ряда, головами къ стѣнамъ, на соломѣ или на собственныхъ шинеляхъ, безъ кроватей. Одинъ больной казакъ лежитъ навзничъ, поперекъ прохода, раскинувъ руки и ноги, закативъ глаза, и повторяя хриплымъ голосомъ: „испытить-испытить!“ Его никто не поднимаетъ, ему никто не даетъ глотка воды, и больничный служитель, которому Ростовъ приказываетъ помочь больному, только старательно выкатываетъ глаза и съ удовольствіемъ говоритъ: „слушаю, ваше высокоблагородіе“, но не трогается съ мѣста. Въ другомъ углу Ростовъ видитъ рядомъ со старымъ безногимъ солдатомъ молодого мертвеца, и узнаетъ отъ безногаго старика, что его сосѣдъ „еще утромъ кончился“, и что его, несмотря на усиленные и неоднократныя просьбы больныхъ, до сихъ поръ не убираютъ.

Денисовъ сначала горячо толкуетъ о томъ, что онъ выводитъ на чистую воду казнокрадовъ и разбойниковъ, и читаетъ, въ продолженіе часа слишкомъ, Ростову свои ядо-

витыя бумаги, писанныя въ отвѣтъ на запросы военно-судной комиссіи, но потомъ убѣждается, что *плетью обуза не перешибеши*, и вручаетъ Ростову большой конвертъ съ просьбою о помилованіи на имя государя.

Ростовъ ѣдетъ въ Тильзитъ, находитъ случай передать государю просьбу Денисова черезъ одного кавалерійскаго генерала, и слышитъ собственными ушами, какъ государь отвѣчаетъ громко: „Не могу, генераль, и потому не могу, что законъ сильнѣе меня“. Въ Тильзитъ Ростовъ видитъ радостныя лица, блестящіе мундиры, сіяющія улыбки, свѣтлыя картины мира, изобилія и роскоши—самую рѣзкую противоположность всего того, что онъ видѣлъ въ землянкахъ Павлоградскаго полка и на поляхъ сраженія, и въ томъ домѣ прокаженныхъ, въ которомъ изнываетъ раненый подсудимый Денисовъ. Эта противоположность смущаетъ его, нагоняетъ къ нему въ голову вихри непрощенныхъ мыслей, и поднимаетъ въ душѣ его тучу небывалыхъ сомнѣній. Борисъ сразу, безъ малѣйшей борьбы, призналъ генерала Бонапарте императоромъ Наполеономъ и великимъ человѣкомъ, и даже постарался устроить такъ, чтобы его готовность и старательность по этой части была замѣчена начальствомъ, и вмѣнена ему въ достоинство. Борисъ также охотно и съ такою же пріятною улыбкою призналъ бы уличеннаго вора Телянина за честнѣйшаго человѣка и за доблестнѣйшаго патріота, ежели бы такое признаніе могло понравиться начальству. Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія, не позволилъ бы себѣ разбойничьяго нападенія на свои же русскіе транспорты, чтобы доставить обѣдъ и ужинъ голоднымъ солдатамъ своей роты. Борисъ, конечно, не произвелъ бы дикаго насилія надъ особою русскаго чиновника, какими бы двусмысленными поступками ни было наполнено прошедшее этого чиновника. Борисъ, разумѣется, охотнѣе протянулъ бы руку Телянину, котораго начальство признаетъ честнымъ гражданиномъ, чѣмъ Денисову, котораго военный судъ будетъ принужденъ наказать, какъ грабителя и буяна. Если бы Ростовъ былъ способенъ усвоить себѣ беззащитную и неустрашимую гибкость Бориса, если бы онъ разъ навсегда отодвинулъ въ

сторону желаніе любить то, чему онъ служить, и служить тому, что онъ любить — то, конечно, тильзитскія сцены своимъ блескомъ произвели бы на него самое пріятное впечатлѣніе, госпитальные міазмы заставили бы его только покрѣпче зажимать себѣ носъ, а денисовское дѣло навело бы его на поучительныя размышленія о томъ, какъ вредно бываетъ для человѣка неумѣніе обуздывать свои страсти. Онъ не сталъ бы смущаться контрастами и противорѣчіями; довольствуясь тою истиною, что существующее существуетъ, и что, для успѣшнаго прохожденія служебнаго поприща, надо изучать требованія дѣйствительности и приворавливаться къ нимъ, онъ не сталъ бы настоятельно желать, чтобы все существующее было въ самомъ себѣ стройно, разумно и прекрасно.

Но Ростовъ не видитъ и не понимаетъ, за какія заслуги генераль Бонапарте произведенъ въ императоры Наполеоны; онъ не видитъ и не понимаетъ, почему онъ, Ростовъ, сегодня долженъ любезничать съ тѣми французами, которыхъ онъ вчера долженъ былъ рубить саблею; почему Денисовъ, за свою любовь къ солдатамъ, которыхъ онъ обязанъ былъ беречь и лелѣять, и за свою ненависть къ ворами, которыхъ ему никто не приказывалъ любить, долженъ быть разстрѣлянъ, или, по меньшей мѣрѣ, разжалованъ въ солдаты; почему люди, храбро сражавшіеся и честно исполнявшіе свой долгъ, должны, подъ присмотромъ фельдшеровъ и военныхъ медиковъ, умирать медленною смертію въ домахъ прокаженныхъ, въ которые опасно входить здоровому человѣку; почему негодяи, подобные исключенному офицеру Телянину, должны имѣть обширное и дѣятельное вліяніе на судьбу русской арміи.

Опытный человѣкъ, на мѣстѣ Ростова, успокоился бы на томъ соображеніи, что абсолютное совершенство недостижимо, что человѣческія силы ограничены, и что ошибки и внутреннія противорѣчія составляютъ неизбѣжный удѣлъ всѣхъ людскихъ начинаній. Но опытность пріобрѣтается цѣною разочарованій, а первое разочарованіе, первое жестокое столкновеніе блестящихъ ребяческихъ иллюзій съ

грубыми и неопрытными фактами дѣйствительной жизни составляетъ обыкновенно рѣшительный поворотный пунктъ въ исторіи того человѣка, который его испытываетъ.

Послѣ этого перваго столкновенія, цѣльныя вѣрованія дѣтства въ легкое, неизбѣжное и всегдашнее торжество добра и правды, вѣрованія, вытекающія изъ незнанія зла и лжи—оказываются разбитыми; человѣкъ видитъ себя среди колеблющихся развалинъ; онъ старается прицѣпиться къ осколкамъ того зданія, въ которомъ онъ надѣялся благополучно провести всю свою жизнь; онъ ищетъ въ грудѣ разрушенныхъ иллюзій хоть чего-нибудь крѣпкаго и прочнаго; онъ пытается построить себѣ изъ уцѣлѣвшихъ обломковъ новое зданіе, скромнѣе, но зато и понадежнѣе перваго; эта попытка ведетъ за собою неудачу, и порождаетъ новое разочарованіе. Развалины разлагаются на свои составныя части; обломки крошатся на мелкіе кусочки и превращаются въ тонкую пыль подъ руками человѣка, добросовѣстно старающагося удержать ихъ въ цѣлости. Идя отъ разочарованія къ разочарованіямъ, человѣкъ приходитъ, наконецъ, къ тому убѣжденію, что всѣ его мысли и чувства, напущенныя на него неизвѣстно когда, и выросшія вмѣстѣ съ нимъ, нуждаются въ самой тщательной и строгой провѣркѣ. Это убѣжденіе становится исходною точкою того процесса развитія, который можетъ привести человѣка къ болѣе или менѣе ясному и отчетливому пониманію всего окружающаго.

Мужественно выдержать первое разочарованіе способенъ не всякій. Къ числу этихъ неспособныхъ принадлежитъ и нашъ Ростовъ. Вмѣсто того, чтобы взглядѣться въ тѣ факты, которые опрокидываютъ его младенческія иллюзіи, онъ съ трусливымъ упорствомъ и съ малодушнымъ ожесточеніемъ замуриваетъ глаза и гонитъ прочь свои мысли, какъ только онѣ начинаютъ принимать черезчуръ непривычное для него направленіе. Ростовъ не только замуривается самъ, но также съ фанатическимъ усердіемъ старается зажимать глаза другимъ.

Потерпѣвъ неудачу по денисовскому дѣлу и насмотрѣвъ

пись на тильзитскій блескъ, коловшій ему глаза, Ростовъ избираетъ благую часть, которая никогда не отнимется отъ нищихъ духомъ и богатыхъ наличными деньгами. Онъ заливаетъ свои сомнѣнія двумя бутылками вина, и, доведя свою гусарскую лихость до надлежащихъ размѣровъ, начинаетъ кричать на двухъ офицеровъ, выразавшихъ свое неудовольствіе по поводу тильзитскаго мира.

— И какъ вы можете судить, что было бы лучше! — закричалъ онъ съ лицомъ, вдругъ налившимся кровью. — Какъ вы можете судить о поступкахъ государя, какое мы имѣемъ право разсуждать?! Мы не можемъ понять ни дѣли, ни поступковъ государя!

— Да я ни слова не говорилъ о государѣ, — оправдывался офицеръ, не могущій объяснить себѣ его вспыльчивости иначе, какъ тѣмъ, что Ростовъ пьянъ.

Но Ростовъ не слушалъ его.

— Мы не чиновники дипломатическіе, а мы солдаты, и больше ничего, — продолжалъ онъ: — умирать велятъ намъ — такъ умирать (этими словами Ростовъ разрѣшаетъ сомнѣнія, возбужденныя въ немъ *домомъ прокаженныхъ*). А коли наказываютъ, такъ, значить, виновать; не намъ судить (это — по деисовскому дѣлу). Угодно государю императору признать Бонапарте императоромъ и заключить съ нимъ союзъ значить, такъ надо (а это примиреніе съ тильзитскими сценками). А то, коли бы мы стали обо всемъ судить да разсуждать, такъ этакъ ничего святого не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ, — ударяя по столу кричалъ Николай весьма некстати, по понятіямъ своихъ собесѣдниковъ, но весьма послѣдовательно по ходу своихъ мыслей.

— Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все, — заключилъ онъ.

— И пить, — сказалъ одинъ изъ офицеровъ, не желавшій ссориться.

— Да, и пить, — подхватилъ Николай. — Эй ты! Еще бутылку! — крикнулъ онъ.

Во-время выпитыя двѣ бутылки наградили молодого графа Ростова вѣрнѣйшимъ лѣкарствомъ противъ разочарованій.

сомнѣній и всевозможной мучительной внутренней ломки и переборки. Кому посчастливилось во время первой умственной бури открыть спасительную формулу: *наше дѣло не думать*, и успокоить себя этою формулою, хотя бы на минуту, хотя бы при содѣйствіи двухъ бутылокъ — тотъ, по всей вѣроятности, всегда будетъ убѣгать подъ защиту этой формулы, какъ только въ немъ начнутъ шевелиться неудачныя сомнѣнія, и его станетъ одолевать тревожный позывъ къ свободному изслѣдованію. *Наше дѣло не думать* — это такая неприступная позиція, которую не могутъ разбить никакія свидѣтельства опыта, и передъ которою останутся безсильными всякія доказательства. Свободной мысли негдѣ высадиться, и ей невозможно укрѣпиться на томъ берегу, на которомъ возвышается эта твердыня. Спасительная формула подрѣзываетъ ее при первомъ ея появленіи. Чуть только человѣкъ захватить самого себя на дѣлѣ взвѣшиванія и сопоставленія воспринятыхъ впечатлѣній, чуть только онъ подмѣтитъ въ себѣ поползновеніе размышлять и обобщать невольно собранные факты — онъ тотчасъ, опираясь на свою формулу, и припоминая то чудесное успокоеніе, которое она ему доставила, скажетъ себѣ, что это грѣхъ, что это дьявольское навожденіе, что это болѣзнь, и пойдетъ лѣчиться виномъ, крикомъ, цыганами, псовой охотою, и вообще тою пестрою смѣною сильныхъ ощущеній, которую можетъ доставить себѣ плотно-сложенный и состоятельный русскій дворянинъ.

Если вы станете доказывать такому укрѣпившемуся человѣку, что его спасительная формула неразумна, то ваши доказательства пропадутъ даромъ. Формула и съ этой стороны обнаружить свою несокрушимость. Драгоцнѣйшее изъ ея достоинствъ состоитъ именно въ томъ, что она не нуждается ни въ какихъ разумныхъ основаніяхъ, и даже исключаетъ возможность такихъ основаній. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы доказывать разумность или неразумность формулы, чтобы нападать или защищать ее, надо думать, а такъ какъ *наше дѣло не думать*, то и всякаго рода доказыванія, сами по себѣ, независимо отъ тѣхъ цѣлей, къ которымъ

они клонятся, должны быть признаны излишними и предосудительными.

Ростовъ остается неизмѣнно вѣренъ правилу, открытому въ тильзитскомъ трактирѣ, при содѣйствіи двухъ бутылокъ вина. Мышленіе не обнаруживаетъ никакого вліянія на всю его дальнѣйшую жизнь. Сомнѣнія не нарушаютъ больше его душевнаго спокойствія. Онъ знаетъ и хочетъ знать только свою службу и благородныя развлеченія, свойственныя богатому помѣщику и лихому гусару. Его умъ отказывается отъ всякой работы, даже отъ той, которая необходима для спасенія родового имуществва отъ козней плутующаго, но, очевидно, малограмотнаго приказчика Митиньки.

Онъ съ большою энергіею кричитъ на Митиньку и очень ловко толкаетъ его ногой и колѣнкой подъ задъ, но послѣ этой бурной сцены Митинька остается полновластнымъ распорядителемъ въ имѣніи, и дѣла продолжаютъ идти прежнимъ порядкомъ.

Не умѣя даже привести въ порядокъ свои денежные дѣла и унять домашняго вора, Ростовъ тѣмъ болѣе не умѣетъ и не желаетъ осмысливать свою жизнь какимъ-нибудь занятіемъ, требующимъ сколько-нибудь сложныхъ и послѣдовательныхъ умственныхъ операцій. Книги для него, повидимому, не существуютъ. Чтеніе, кажется, не занимаетъ въ его жизни никакого мѣста, даже какъ средство убивать время. Даже московская свѣтская жизнь представляется ему слишкомъ запутанною и мудреною, слишкомъ переполненною сложными соображеніями и головоломными тонкостями. Его удовлетворяетъ вполнѣ только жизнь въ полку, гдѣ все опредѣлено и размѣрено, гдѣ все ясно и просто, гдѣ думать рѣшительно не о чемъ, и гдѣ нѣтъ мѣста для колебаній и свободного выбора. Ему нравится полковая жизнь въ мирное время, нравится именно тѣмъ, чѣмъ она невыносима человѣку, сколько-нибудь способному мыслить: нравится своею спокойною праздностію, невозмутимою рутинностію, соннымъ однообразіемъ и тѣми оковами, которыя она налагаетъ на всевозможныя проявленія личной изобрѣтательности и оригинальности.

Такъ какъ міръ мысли закрытъ для Ростова, то развитіе его на двадцатомъ году жизни оказывается законченнымъ. Къ двадцати годамъ все содержаніе жизни для него уже исчерпано; ему остается только сначала грубѣть и глупѣть, а потомъ дряхлѣть и разлагаться. Это отсутствіе будущности, это роковое безплодіе и неизбѣжное увяданіе скрыты отъ глазъ поверхностнаго наблюдателя внѣшнимъ видомъ свѣжести, силы и отзывчивости. Глядя на Ростова, поверхностный наблюдатель скажетъ съ удовольствіемъ: какъ въ этомъ молодомъ человѣкѣ много огня и энергіи! Какъ смѣло и весело онъ смотритъ на жизнь! Какое въ немъ обиліе неиспорченной и нерастраченной юности! На такого поверхностнаго наблюдателя Ростовъ произведетъ, по всей вѣроятности, отрадное впечатлѣніе, Ростовъ ему понравится, какъ онъ, безъ сомнѣнія, понравился многимъ читателямъ, и даже, быть можетъ, самому автору романа. Поверхностному наблюдателю не придетъ въ голову, что въ Ростовѣ нѣтъ именно того, что составляетъ самую существенную и глубоко-трогательную прелесть здоровой и свѣжей молодости.

Когда мы смотримъ на сильное и молодое существо, то насъ волнуетъ радостная надежда, что его силы выростутъ, развернутся, приложатся къ дѣлу, примутъ дѣятельное участіе въ великой житейской борьбѣ, увеличатъ хоть немного массу существующаго на землѣ живительнаго счастья, и уничтожатъ хоть частицу накопившихся нелѣпостей, безобразій и страданій. Мы еще не знаемъ той границы, на которой остановится развитіе этихъ силъ, и именно эта неизвѣстность составляетъ въ нашихъ глазахъ величайшую обаятельность молодого существа. Кто знаетъ? думаемъ мы: можетъ быть, тутъ вырабатывается передъ нами что-то очень большое, чистое, свѣтлое, сильное и неустрашимое. Молодое существо, полное жизни и энергіи, составляетъ для насъ самую занимательную загадку, и эта загадочность придаетъ ему особенную привлекательность.

Именно этой обаятельной загадочности нѣтъ въ Ростовѣ, и только поверхностный наблюдатель можетъ, глядя на него,

сохранять неопредѣленную надежду, что его нерастраченныя силы на чемъ-нибудь хорошемъ сосредоточатся, и къ чему-нибудь дѣльному приложатся. Только поверхностный наблюдатель можетъ, любуясь его живостью и пылкостью, оставлять въ сторонѣ вопросъ о томъ, пригодится-ли на что-нибудь эта живость и пылкость.

Поверхностный наблюдатель способенъ заливоваться юношескою горячностью Ростова, напримѣръ, во время псовой охоты, когда онъ обращается къ Богу съ мольбою о томъ, чтобы волкъ вышелъ на него, когда онъ говоритъ, изнемогая отъ волненія: „ну, что Тебѣ стоитъ сдѣлать это для меня? Знаю, что Ты великъ, и что грѣхъ Тебя просить объ этомъ; но, ради Бога, сдѣлай, чтобы на меня выгнѣзъ матерый, и чтобы Карай, на глазахъ дядюшки, который вонъ оттуда смотреть, влѣпилъ ему мертвой хваткой въ горло“; когда онъ во время травли переходитъ отъ безпредѣльной радости къ самому мрачному отчаянію, съ плачемъ называетъ стараго кобеля Карая отцомъ и, наконецъ, чувствуетъ себя счастливымъ, видя волка, окруженнаго и разрываемаго собаками.

Кто не останавливается на веселой наружности явленій,—того шумная и оживленная сцена охоты наведетъ на самыя печальныя размышленія. Если такая мелочь, такая дрянь, какъ борьба волка съ нѣсколькими собаками, можетъ доставить человѣку полный комплектъ сильныхъ ощущеній, отъ изступленнаго отчаянія до безумной радости, со всѣми промежуточными полутонами и переливами, то зачѣмъ же этотъ человѣкъ будетъ заботиться о расширеніи и углубленіи своей жизни? Зачѣмъ ему искать себѣ работы, зачѣмъ ему создавать себѣ интересы въ обширномъ и бурномъ морѣ общественной жизни, когда конюшня, псарня и ближайшія лѣсъ съ избыткомъ удовлетворяютъ всѣмъ потребностямъ его нервной системы?

Д. Писаревъ.

Пьеръ Безухій.

*) Дѣйствіе, какое мистицизмъ масоновъ производилъ на лучшихъ людей того времени, показано на примѣрѣ Пьера Безухаго. Незаконный сынъ графа Кирилла Безухаго, добрый, простой, умный, отлично образованный, съ серьезною мыслью въ головѣ, съ самостоятельными убѣжденіями, нѣсколько лѣнивый, но съ жаждою полезной дѣятельности и съ избыткомъ силъ, требующихъ исхода, Пьеръ поставленъ особнякомъ въ русскомъ высшемъ обществѣ: онъ выше всѣхъ этихъ пустыхъ болтуновъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ему неловко въ ихъ блестящей средѣ; онъ не умѣетъ ни такъ ловко держать себя ни такъ ловко лгать. Онъ бѣденъ, потому что еще неизвѣстно, кому достанутся богатства вельможнаго старика — отца его; въ свѣтѣ относятся къ Пьеру съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ пренебреженія за его несвѣтскость и незнатность; но это не оскорбляетъ его: ему пріятна его скромная доля, и онъ ищетъ для себя только полезнаго рода дѣятельности. Вотъ умираетъ Безухій, и Пьера, усыновивъ, дѣлаетъ своимъ единственнымъ наслѣдникомъ. Пьеръ становится богатъ и знатенъ; все обращается къ нему, какъ къ новому свѣтилу. Богатство, однако, не измѣняетъ его, и онъ остается прежнимъ добрякомъ. Онъ хочетъ быть полезнымъ, на что даютъ ему возможность его положеніе и состояніе; но, по необыкновенной мягкости сердца, допускаетъ другихъ распоряжаться своими деньгами, и его неутомимо обираютъ со всѣхъ сторонъ. Его филантропическія и эмансипаціонныя затѣи съ крестьянами какъ-то не удаются; другихъ исходовъ для своихъ стремленій онъ не видитъ, и глубокое недовольство собою и всѣмъ окружающимъ овладѣваетъ его душою. Князь Василій Куракинъ (тогдашній министръ), глава семейства, которое, по родству его со старикомъ Безухимъ, рассчитывало на наслѣдство отъ него, и не пренебрегло никакимъ средствомъ (хотя и вотще), чтобъ не допустить до выполненія завѣщанія (по которому Пьеръ

*) „Голосъ“ 1868 г., № 11. „Библиографія и журналистика“

дѣлался единственнымъ наслѣдникомъ), теперь женить его, такъ сказать, независимо отъ его воли, прежде чѣмъ онъ успѣлъ ее выразить, на старшей своей дочери, бездушной красавицѣ. Пьеру нравилась княжна Эленъ, какъ женщина: онъ не могъ оторваться отъ созерцанія ея роскошныхъ плечъ, но женился на ней только потому, что видѣлъ, что всѣ ждутъ отъ него этого, и, по мягкости сердца, не хотѣлъ обманывать общихъ ожиданій. Семейная жизнь не улыбнулась молодому Безухову: прекрасная Елена, жена его, оказалась развратницей. Оставивъ ее ея любовникамъ и свѣту, Пьеръ зарылся въ мистическое ученіе масоновъ: мечталъ объ усовершенствованіи человѣчества, о самоусовершенствованіи, ломалъ голову надъ разрѣшеніемъ квадрата земли и надъ опредѣленіемъ свойствъ ртути, селитры и соли, какъ трехъ элементовъ міроздаія. Презрѣніе къ себѣ, презрѣніе къ другимъ, небывалая раздражительность и суровость овладѣли душою Пьера послѣ всѣхъ неудачныхъ стремленій къ собственному счастью и къ счастью другихъ. Почти до помѣшательства доходили внутреннія муки Пьера и его мистическія умозрѣнія. Изъ этого состоянія, кажется, выводитъ его въ романъ — на всегда-ли, на долго-ли, мы еще не знаемъ — свѣтлое и чрезвычайно оригинально задуманное существо, о которомъ скажемъ ниже...

„Голосъ“ 1868 г.

* *

*) Пьеръ Безухій, другой любимецъ гр. Толстого, еще меньше Андрея Болконскаго годится въ представители русской мыслящей молодежи. Онъ глупитъ на каждомъ шагу, и потѣшаетъ собою всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа. Его водить за носъ князь Василій, почти насильно выдавшій за него замужъ свою дочь, la belle Hélène, обкрадываетъ управляющій, и наставляетъ, какъ школьника, первый попавшійся на дорогѣ масонъ. Либеральныя взгляды, съ которыми онъ, повидимому, вернулся изъ-за границы,

*) „Недѣля“ 1868 г., №№ 22, 23 и 26. Статья А. П. Пятковского, подъ заглавіемъ: „Историческая эпоха въ романѣ гр. Л. Н. Толстого“.

не выдерживаютъ перваго натиска противоположнаго направленія. Уже во второмъ томѣ Пьеръ философствуетъ: „Людовика XVI казнили за то, что они (кто они?) говорили, что онъ былъ безчестенъ и преступникъ, и они были правы съ своей точки зрѣнія, такъ же какъ правы и тѣ, которые за него умирали мученическою смертію и причисляли его къ лику святыхъ. Потомъ Робеспьера казнили за то, что онъ былъ деспотъ. Кто правъ, кто виноватъ? Никто. А живъ и живи: завтра умрешь“. Когда и гдѣ александровскіе либералы высказывали подобный индифференцизмъ? Затѣмъ масонъ окончательно сбиваетъ съ толку Пьера, и бѣдный графъ ежеминутно несетъ разный мистическій вздоръ. Подумаешь, читая все это, что русское общество прежняго времени начало и кончило мистицизмомъ, не отстаивая никакихъ другихъ мнѣній, не распадаясь на различныя партіи...

А. Пятковский.

* * *

*) Самое полное, индивидуальное воплощеніе переходной эпохи русскаго общества представляетъ собою фигура графа Безухова. Этотъ графъ—идеаль въ своемъ родѣ. Это дѣтская кротость, податливость, искренность, доброта и дѣтская глупость, безхарактерность, но вовсе не дѣтская непосредственность. Онъ безпрестанно осматривается, провѣряетъ и разбираетъ себя. Онъ на каждомъ шагу обдумываетъ то, что ему слѣдуетъ дѣлать, или критикуетъ сдѣланное; но онъ никогда не знаетъ: худо или хорошо, глупо или умно, прилично или позорно то, что онъ дѣлаетъ, и потому у него никогда не хватаетъ рѣшимости выполнить до конца обдуманное. Чувство стыда и, къ несчастію, самаго ложнаго, школьнаго, развито въ немъ до болѣзненной щекотливости. Это самая энергическая пружина во всей его рыхлой, кисельной природѣ. Ему вездѣ и со всѣми неловко, не по себѣ; онъ у всякаго какъ будто бы просить прощенія не

*) „Всемирный Трудъ“ 1869 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

только въ томъ, что онъ тутъ, на лицо, но и въ томъ, что такой человѣкъ, какъ онъ, существуетъ... А между тѣмъ Безуховъ не трусь въ смыслѣ физическомъ. На днѣ этого кисельнаго сердца есть что-то львиное, что Пьеръ унаслѣдовалъ отъ отца, и что иногда выходитъ наружу, какъ увѣряетъ насъ графъ Толстой, который однакожъ не далъ себѣ труда объяснить намъ это противорѣчіе въ характерѣ его Пьера. Онъ не сказалъ намъ ни слова, какое вліяніе исказило и обезсилило нравственно эту природу, въ корнѣ здоровую. Мы видимъ готовый характеръ, но не видимъ, какимъ путемъ онъ сложился, и что породило въ немъ эту крайнюю жидкость, это отсутствіе всякаго рода устоя. Авторъ слегка намекаетъ, что Пьеръ воспитанъ былъ за границей, въ Парижѣ, и что голова у него была набита неперевавленными идеями изъ *Contract Social* и проч. Но вѣдь это похоже немножко на пѣсню:

S' il est un peu sot,
C' est la faute de Rousseau;
S' il néglige ses affaires,
C' est la faute de Voltaire... и проч.

Несмотря на такой пробѣлъ, характеръ Пьера принадлежитъ къ числу самыхъ блестящихъ созданій автора. Вглядываясь въ него, мы не знаемъ, чему удивляться болѣе: его крайней оригинальности и несходству съ другими людьми, или тому, что, при всемъ наружномъ несходствѣ въ цѣломъ, мы находимъ существенныя черты его типа порознь едва ли не въ каждомъ изъ главныхъ актеровъ разсказа.

Н. Ахшарумовъ.

* * *

*) Пьеръ Безухій пошелъ дальше Ростова. Ему, Пьеру, не чужды стремленія развитого ума, порывы гражданской дѣятельности, готовность къ жертвамъ на пользу общую. Добрый и благородный Пьеръ получилъ высшее, безалаберное воспитаніе: отлично говорить по-французски, знаетъ всего понемногу и рѣшительно не имѣетъ характера. Во

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1868 г., №№ 153 и 155. Статья С. И. Сычевскаго.

все продолженіе романа онъ недоумѣваетъ, колеблется, то предпринимаетъ что-нибудь, то идетъ опять назадъ. Это олицетвореніе нравственной и умственной неустойчивости настолько сродни каждому изъ насъ, что мы отъ души готовы простить ему всѣ его недостатки и признать его за прекраснѣйшаго человѣка. Между прочимъ, приглядимся-ка поближе, что это за человѣкъ графъ Петръ Безухій.

Онъ незаконный сынъ русскаго вельможи съ огромнымъ богатствомъ. Въ дѣтствѣ и юншества жилъ онъ на деньги своего отца; самъ никогда не заработалъ ни копейки, да и не такъ поведенъ, чтобы быть въ состояніи заработать. По смерти своего отца онъ наслѣдуетъ все его огромное имѣніе, и дѣлается идоломъ всѣхъ искательницъ богатыхъ жениховъ. Вопреки собственному чувству и убѣжденію, женится онъ на самой свѣтской изъ красавицъ, которая открыто развратничаетъ во все продолженіе романа. Ища дѣятельности, онъ принимается за самыя разнообразныя занятія: интересуется современными вопросами, наукою, гражданскою дѣятельностью, поступаетъ въ масонскую ложу, отпускаетъ на волю крестьянъ, снаряжаетъ на свой счетъ цѣлый полкъ для войны съ Наполеономъ, самъ поступаетъ въ ополченіе, присутствуетъ при Бородинской битвѣ, однимъ словомъ, дѣлаетъ очень много и хорошаго и пустого, и въ результатъ, вѣроятно, женится на Наташѣ, что будетъ совершенно кстати, потому что такія двѣ личности въ состояніи составить цѣлаго человѣка.

Вотъ именно на Пьеръ-то Безухомъ, хотя онъ и не воинъ, положило неизгладимую печать то равнодушіе къ саморазвитію, къ цивилизаціи самого себя, на которое я указалъ, какъ на продуктъ безобразнаго воспитанія русскаго человѣка.

Кажется, какой прекрасный человѣкъ Пьеръ, какъ онъ горячо говоритъ о самыхъ щекотливыхъ вопросахъ въ то время: о революціи, о Наполеонѣ, о свободѣ; какъ смѣло присоединяется онъ къ масонамъ! — а, вѣдь, въ сущности онъ все-таки предпочитаетъ вкусный обѣдъ и хорошій комфортъ и свободѣ, и масонамъ, и всѣмъ идеямъ. Il est un

изъ насъ — сказали-бы о немъ (архивъ въ романѣ г-р. Толстого, если-бы кто-нибудь натолкнулъ нѣтъ вниманіе на эту черту въ характерѣ Пьера.

Но могу не остановиться на масонствѣ и на отношеніи къ нему Пьера, какъ на фактъ въ высшей степени характеристичномъ для тогдашняго общества. Масонство, этотъ русскій іезуитизмъ, какъ видно изъ специальныхъ статей объ немъ изъ романа Толстого, вовсе не было органическимъ продуктомъ русскаго общественнаго развитія, а такою-же эфемерною, извнѣ навѣянною штукою, какъ почти-покойный нигилизмъ и теперешній реализмъ. Основанія всего этого прекрасныя. Эти порывы въ дѣятельную жизнь, эти стремленія къ преобразованіямъ существующихъ несовершенствъ — все это и благородно и прекрасно, только дѣло въ томъ, что для успѣха во всемъ нужно начать, какъ Рахметовъ, съ серьезной подготовки собственной личности; иначе и самыя стремленія нововводителей будутъ не рациональны, и результатъ будетъ сквернѣйшій; надъ нигилизмомъ не глумился только лѣнливый, а реалисты могутъ утѣшаться тѣмъ, что, благодаря имъ, гимназистовъ начали осаждать чуть не вдвое больше латынью, а дѣвочекъ занимаютъ славянщиной, на томъ простомъ основаніи, что это, молъ, классическій языкъ. Прототипомъ вотъ этихъ-то явленій служило въ началѣ нынѣшняго столѣтія масонство. Оно, какъ и современный реализмъ и нигилизмъ, считало въ своихъ рядахъ огромное большинство людей, вознаграждавшихъ недостатки знанія дѣла, развитія и характера — избыткомъ безпредметнаго рвенія и молодого задора. Какъ въ настоящее время фразы, такъ тогда внѣшности и церемоніи служили непроницаемымъ покровомъ внутренней пустоты и несостоятельности и дѣла, и дѣятелей. Есть такіе необузданные идеалисты, которые въ состояніи восторгаться всякимъ опрометчивымъ начинаніемъ, если только оно составляетъ оппозицію злу. Я смѣло объявляю себя непричастнымъ къ такому взгляду. Я уважаю оппозицію тогда, когда она имѣетъ хоть какой-нибудь шансъ на успѣхъ. Иначе она вредна потому, что дѣлаетъ зло еще хуже. Безала-

берность русской жизни въ концѣ царствованія Екатерины и далѣе была велика, но Аракчеевъ и ему подобныя произведенія неразумной оппозиціи—еще хуже. Прежній классицизмъ, конечно, не былъ благомъ, но согласитесь, что систематическое забиваніе гимназическихъ головъ латынью и притупленіе дѣвочекъ славянщиной—продукты нигилизма и реализма еще хуже. Масоны, вмѣстѣ съ Пьеромъ Безу-химъ, могли произвести и произвели только одно зло. „Съ суконнымъ рыломъ въ калачный рядъ не суйся“ *)—говоритъ г. Фетъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, и эта пословица примѣнима болѣе чѣмъ къ кому-либо къ Пьеру Безухову и масонамъ. Прискорбно только то, что такія суконныя рыла встрѣчаются чрезвычайно часто въ романѣ Толстого, который, мнѣ кажется, служить дагерротипно-вѣрнымъ снимкомъ съ фізіономіи тогдашняго общества.

С. Сычевскій.

Наполеонъ.

**) Въ портретѣ Наполеона есть нѣкоторыя черты, отлично схваченныя. Какъ вѣрно изображено, напр., это наивное и даже нѣсколько глуповатое самолюбіе, съ которымъ онъ увѣровалъ въ собственную непогрѣшимость, и эта потребность въ лакейской услужливости со стороны самыхъ близкихъ людей, и это полное криводушіе, эта сплошная фальшь, доходившая до того, что не успѣвъ одурачить другихъ совершенно, онъ, чтобъ дополнить мѣру, дурачилъ себя; и дальше, это отсутствіе, говоря словами князя Андрея, высшихъ и лучшихъ человѣческихъ качествъ: любви, поэзіи, нѣжности, философскаго, пытливаго сомнѣнія, и, наконецъ, та доля тупости и ограниченности, которую неизбѣжно влечетъ за собой отсутствіе этихъ качествъ въ людяхъ съ преобладающимъ, хищнымъ оттѣнкомъ характера... Къ со-

*) Подлинныя слова Фета: „Тебѣ-ли съ рыломъ суконнымъ въ калачный рядъ соваться“ сказаны не помню въ какой изъ его сценъ.

**) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

жатынѣ, много чего существеннаго ускользнуло отъ автора. Отъ него ускользнуло необычайный размѣръ дѣловой, практической силы, рѣзко дѣлившій этого человѣка отъ всѣхъ его современниковъ. Онъ видитъ въ Наполеонѣ только счастливаго игрока или, вѣрнѣе сказать, жонглера, который могъ тысячу разъ оборваться съ веревки и только однимъ дурацкимъ счастьемъ спасаемъ быть долгое время отъ этой позорной развязки. Онъ забываетъ, что рядъ счастливыхъ случайностей, самъ по себѣ, есть не болѣе какъ рядъ чистыхъ нулей, которымъ только одно умѣнье ими воспользоваться можетъ придать какую-нибудь реальную связь и реальную цѣну. Наполеонъ, въ понятіи его, очень мало разнится отъ какого-нибудь безтолковаго пройдохы-гасконца, которому повезло. Это такая же пѣшка, въ массѣ другихъ, пѣшка, рукою судьбы выдвинутая впередъ и проведенная въ ферзь, но не имѣющая въ себѣ никакого другого свойства, кромѣ общаго всякому человѣку—свойства слѣпого орудія въ рукахъ высшей силы. Поступки его такъ же произвольны, какъ и поступки юнкера графа Ростова, расчеты также нелѣпы, взглядъ не менѣе близорукъ и ошибоченъ. Диспозиція Бородинской битвы, которую онъ, если не проигралъ, то, конечно, уже и не выигралъ, была, по увѣренію графа Толстого, еще не такъ бессмысленна, какъ сотни другихъ, ей предшествовавшихъ и громко приносимыхъ въ военной исторіи. Мало того, вся военная исторія, вообще, это—чистѣйшее баснословіе. Дѣло никогда не происходило такъ, какъ объ немъ послѣ рассказывали, и никто даже не можетъ знать, какъ оно собственно происходило, потому что никто не видалъ или не могъ понять того, что дѣлается въ дыму и въ общей сумятицѣ... Но военная философія автора стоитъ того, чтобъ на ней остановиться немного подольше.

Въ сущности, она очень мало разнится отъ философіи князя Андрея, и потому мы приводимъ покуда эту послѣднюю собственными словами автора:... „Тѣ давно и часто приходившія ему, во время его военной дѣятельности, мысли, что нѣтъ и не можетъ быть никакой военной науки,

и поэтому не можетъ быть никакого такъ называемаго военнаго генія, теперь получили для него совершенную очевидность истины. Какая же могла быть теорія и наука въ дѣлѣ, котораго условія и обстоятельства неизвѣстны, и не могутъ быть опредѣлены, въ которомъ сила дѣятелей войны еще менѣе можетъ быть опредѣлена? Никто не могъ и не можетъ знать, въ какомъ положеніи будетъ наша и непріятельская армія черезъ день, и никто не можетъ знать, какая есть сила этого или того отряда. Иногда, когда нѣтъ труса впереди, который закричитъ: „мы отрѣзаны!“ и побѣжить, а есть веселый, смѣлый человѣкъ впереди, который крикнетъ „ура!“ отрядъ въ 5 тысячъ стоитъ 30-ти тысячъ, какъ подъ Шенграбеномъ, а иногда 50 тысячъ бѣгутъ передъ 8-ю, какъ подъ Аустерлицемъ. Какая же можетъ быть наука въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ, какъ во всякомъ практическомъ дѣлѣ, ничто не можетъ быть опредѣлено, и все зависитъ отъ безчисленныхъ условій, значеніе которыхъ опредѣляется въ одну минуту, про которую никто не знаетъ, когда она наступитъ... Заслуга въ успѣхѣ военнаго дѣла зависитъ не отъ нихъ (предводителей), а отъ того человѣка, который въ рядахъ закричитъ: *пропали*, или закричитъ: *ура!* И только въ этихъ рядахъ можно служить съ увѣренностію, что ты полезенъ!“

Все это имѣетъ въ себѣ, конечно, нѣкоторую долю истины, но не нужно быть знатокомъ военнаго дѣла, чтобы понять, до какой степени все это утрировано. Возьмемъ, напримѣръ, то, что авторъ намъ выдаетъ за очевидную истину. *Нѣтъ и не можетъ быть никакой военной науки, и потому не можетъ быть никакого военнаго генія.* Мы не находимъ, чтобы это было ужъ такъ очевидно. Поэзія, какъ наука, такъ же немыслима, какъ и наука войны; но именно потому-то намъ и понятенъ поэтический геній. Чуть-емъ угадать то, что не подчинено законамъ точнаго вычисления, угадать сердце людей и ихъ тайные помыслы; оцѣнить вѣрно скрытыя пружины ихъ побужденій и пророческимъ взглядомъ предвидѣть поступки ихъ;—сосредоточить въ себѣ, какъ въ фокусѣ, вдохновеніе цѣлой націи и об-

ратнымъ путемъ вдохновить нестройную массу своимъ огнемъ, стать душою несмѣтнаго множества, итогомъ обществннаго сознанія: — какая наука можетъ этому научить?.. Это—врожденное дарованіе, и высшую степень этого дарованія мы называемъ *иніемъ*.

Нѣчто подобное мы находимъ въ Наполеонѣ 1-мъ. Онъ не былъ Гомеромъ; но эпопея, которую онъ создалъ, нисколько не хуже какой-нибудь Иліады. Если-бъ это былъ просто ученый тактикъ или стратегикъ, въ родѣ Вейротера или Пфуля, то объ немъ, разумѣется, и рѣчи не было бы; но онъ сумѣлъ сдѣлать то, чего ни Пфулямъ ни Вейротерамъ никогда и во снѣ не снилось. Онъ угадалъ духъ націи, и усвоилъ его себѣ въ такомъ совершенствѣ, что сталъ въ глазахъ милліоновъ людей живымъ его воплощеніемъ. И этотъ-то духъ объясняетъ намъ, почему его армія не была безсмысленнымъ стадомъ, которое какая-нибудь одна пугливая овца могла, въ любую минуту, сбить съ толку. Его армія—это былъ *она*. Сотни тысячъ людей охвачены были вдохновеніемъ одного, и вдохновеніе это для нихъ становилось единой душою, дѣлало ихъ единымъ тѣломъ этой души. Оно-то и было главною причиною его баснословныхъ успѣховъ, а не дурацкое счастье. Какого рода было оно, и это мы знаемъ, не изъ одной военной исторіи, разумѣется. Мы знаемъ, что никакой Наполеонъ не создалъ его, обморочивъ людей фиглярствомъ и звонкими фразами; а что это былъ естественный выходъ, естественное русло, въ которое повернулъ духъ революціи, окончившій первую часть своего дѣла внутри и вырвавшійся съ неудержимою силою наружу. Громадная сила бури, имъ поднятой, сокрушивъ всѣ препятствія, стоявшія у нея на пути, въ старомъ порядкѣ вещей, противъ котораго она первоначально была направлена въ самой Франціи, обратилась вдругъ противъ внѣшняго гнета европейской политики, ей враждебной, и опрокинула дряхлое зданіе этой политики вверхъ дномъ... Мы повторяемъ, Наполеонъ не создалъ силы этой. Онъ только сумѣлъ угадать ея гигантскій размѣръ и, одною рукою давая ей полный ходъ, дру-

гою сумѣлъ ее обуздать и направить. И не одни только выигранныя сраженія нужны были для того. Нужно было вскочить на этого бѣшеннаго коня безъ стремени и усидѣть на немъ безъ сѣдла, и своею рукою продѣть ему въ ротъ желѣзныя удила:—а это было неизмѣримо труднѣе, чѣмъ бить пруссаковъ и австрійцевъ. Но онъ это сдѣлалъ — и конь, который сбросилъ съ себя всѣхъ другихъ сѣдоковъ, не могъ сбросить его... Вотъ истинный смыслъ Наполеоновской эпопеи и единственный ключъ къ разгадкѣ его баснословныхъ успѣховъ. Но когда подвигъ этотъ былъ выполненъ, тогда началось дѣло другого рода:—началась драма личнаго честолюбія и личнаго упоенія. Народный духъ сталъ принимать меньше участія въ ходѣ событій, и вся сила героя мало-по-малу сосредоточилась въ духѣ войска, опьяненнаго блескомъ несчетныхъ побѣдъ, боготворившаго свое знамя и своего предводителя. Наконецъ, однако и войско начало отрезвляться. Горькій опытъ мало-по-малу его убѣдилъ, что интересы его не совпадаютъ съ личными интересами или, вѣрнѣе сказать, страстями его предводителя, — что оно для него не болѣе какъ *chair à canon* и, наконецъ, что не все для него возможно. Тогда оно пало духомъ,—и его начали бить.

Всего этого не нужно бы было рассказывать, если бы мы не имѣли передъ собою военныхъ мудрствованій графа Толстого, звучащихъ какъ-то особенно странно въ виду простыхъ и въ наше время уже весьма очевидныхъ вещей, которыя почему-то кажутся ему непостижимыми безъ его мистическаго и еще менѣе постижимаго объясненія.

Всѣ актеры отечественной войны: русскіе и французы, Наполеонъ, и Барклай, и Кутузовъ, и войско, и русскій народъ: все это, по его объясненію, были простыя пѣшки въ рукахъ судьбы. Ихъ страсти, замыслы, цѣли и ихъ одушевленіе тутъ не при чемъ. Все совершилось такъ, какъ оно совершилось, не потому, чтобы кто-нибудь изъ совершающихъ хотѣлъ этого или сдѣлалъ для этого что-нибудь а потому, что оно такъ должно было быть... Ясно, не правда-ли? Наполеону и войску его предвѣчно опредѣлено было войти въ

Россію и тамъ погибнуть. Это былъ декретъ рока, который игралъ свою игру, а люди служили ему безсознательными игрушками. Но мы позволимъ себѣ спросить у автора: не похоже-ли это отчасти на число 666 и на предѣлъ, положенный власти звѣря? И что это за игра судьбы? И съ кѣмъ это она играетъ? И можетъ-ли она проиграть въ этой игрѣ, или играетъ навѣрняка, а проигрываютъ тоже навѣрняка и постоянно эти несчастныя живыя игрушки, которыми она забавляется? И какъ давно началась эта игра? Не обхватывается-ли она всю исторію человѣчества и всѣ войны отъ Кира до послѣдней кампаніи пруссаковъ въ 66 году? И если такъ, то не входятъ-ли въ ея программу: вся кровь, пролитая на несчастныхъ поляхъ сраженія, всѣ пожары, и грабежи, и обманы, и низости, и всѣ стоны раненыхъ, изувѣченныхъ, слезы осиротѣвшихъ?... И если да, то для какой-же таинственной цѣли нужна судьба этого рода потѣха?... Согласитесь, что это немножко неясно и немножко... какъ бы сказать... возмутительно;—особенно если личныя цѣли миллионовъ живыхъ существъ тутъ ни при чемъ, и никто изъ нихъ не понимаетъ того, что онъ дѣлаетъ, а всѣми поступками ихъ управляетъ рокъ, влекущій ихъ къ цѣли, для нихъ чужой и имъ неизвѣстной... Какая бы ни была эта цѣль и хотя бы она была даже, какъ увѣряетъ насъ авторъ, великая, нельзя-же не согласиться, что средства, употребляемая къ ея достиженію, не совсѣмъ благовидны. Положимъ, нужно было наказать Францію и Наполеона, хотя и трудно сказать за что, если все, и исторія Франціи и карьера Наполеона были продуктомъ той же игры, того же фатальнаго предназначенія; но допустимъ, что Франціи все-таки по дѣломъ:—не суйся; спрашивается: за что же Россія-то тутъ страдала? За что ея села были разграблены, ея города горѣли, и кровь бѣдныхъ ея дѣтей лилась, какъ вода?... Ясно, что, рассуждая этимъ путемъ, мы если и не придемъ прямо къ звѣрю и знаку его, то, конечно, и дальше этого не уйдемъ; а потому: не проще ли уже прямо остановиться на этомъ? Это, по крайней мѣрѣ, осязательно и не требуетъ никакихъ доказательствъ. Число

такое, имя съ нимъ сходится совершенно; ну и конецъ. Мы не стали бы говорить такъ долго объ этомъ призракѣ фатализма, если бы онъ у автора служилъ возраженіемъ только противъ педантства какого-нибудь Пфуля. Но авторъ основывалъ на немъ такіе выводы, которые, если бы ими стали руководиться, могли бы имѣть послѣдствія самыя гибельныя. Онъ говоритъ, напримѣръ, опять устами князя Андрея, что *исходъ битвы никогда не зависѣлъ и не будетъ зависѣть ни отъ позиціи, ни отъ вооруженія, ни даже отъ числа.* Одинъ духъ войска и твердая рѣшимость всѣхъ отъ послѣдняго солдата до генерала выиграть битву что-нибудь значать (конечно, только тогда, если войску назначено побѣдить). Мы говоримъ: выводъ этого рода, если-бъ онъ принятъ былъ къ руководству въ военномъ дѣлѣ однимъ изъ противниковъ, имѣлъ бы самыя гибельныя послѣдствія. Что можетъ сдѣлать самое вдохновенное войско и самымъ непоколебимымъ образомъ увѣренное, что ему суждено побѣдить, если оружіе его заряжается въ десять разъ медленнѣе, а выстрѣлы не хватаютъ на половину того разстоянія, съ котораго непріятель можетъ лупить его безнаказанно? Оно можетъ, конечно, идти на непріятеля и опрокинуть его, если тотъ захочетъ его дожидаться, и если оно успѣетъ дойти, не потерявъ подъ огнемъ три четверти своего числа. Но даже и это средство не всегда для него доступно. Оно можетъ быть въ такомъ положеніи или, технически говоря, *позиціи*, что ему ни впередъ идти ни развернуться нельзя, а иногда и уйти невозможно. Кое-что стало быть значать: и способъ вооруженія, и позиція, и число. Каковъ бы тамъ ни былъ духъ и вѣра въ предназначеніе, а на стѣну не полѣзешь и съ палками вмѣсто ружей не выиграешь сраженія. Короче сказать, есть такія простыя, естественныя механическія или техническія условія, которыя духъ не въ состояніи одолѣть, и отъ которыхъ самый игривый случай не увернется. Но *предназначеніе* увернется; потому что *предназначеніе* весьма осторожно. Оно никогда не рискнетъ дать промахъ, высказавъ свой декретъ прежде, чѣмъ дѣло кончено. Оно втихомолку выждетъ и дастъ людямъ погибнуть или спастись, а

потомъ, когда все уже совершилось и стало извѣстнымъ, вдругъ обнаружится, что все это *предназначено* было такъ. Подобнымъ образомъ оно поступило и въ дѣлѣ Наполеона. Оно, молча, дало ему сыграть партію до конца, и уже послѣ заявило во всеуслышаніе, что партія эта *должна была быть* проиграна не потому, что ее велъ шулеръ (мало ли шулеровъ играютъ всю жизнь безъ проигрыша?),—а потому, что такъ было опредѣлено въ книгѣ судебъ... Не ясно ли, что это только пустая формула, которую можно вывернуть наизнанку, нисколько не измѣнивъ ея содержанія. Существенный смыслъ его останется тотъ же: столь же толковъ или нелѣпъ, справедливъ или несправедливъ, какъ и безъ этой фатальной конструкціи, и ни одной іоты его не убудетъ и не прибудетъ, не станетъ яснѣе или темнѣе. Одно, что можетъ имѣть еще положительный смыслъ, это если кто-нибудь увѣруетъ, какъ увѣровалъ Пьеръ, что мѣра и способъ его участія въ общемъ дѣлѣ опредѣлены предвѣчно, и что поэтому ничего не слѣдуетъ дѣлать, а слѣдуетъ ждать. Что случится, тому значить такъ и слѣдовало быть... Но Пьеръ, къ счастью, не былъ главнокомандующимъ... Ну а если бы былъ, и если-бъ все русское войско, весь русскій народъ раздѣлялъ его вѣрованіе?... Хороши бы мы были тогда, и задали бы намъ такого предопредѣленія!...

Н. Ахшарумовъ.

Александръ I.

*) О царствованіи Александра I у насъ существовало до сихъ поръ въ обществѣ понятіе, если не совсѣмъ ложное, то слишкомъ смутное, неопредѣленное, неуловимое. Мы привыкли повторять въ общихъ выраженіяхъ о безконечной сердечной добротѣ Александра—только. Новѣйшія изслѣдованія и обнаруженные въ послѣднее время документы, по

*) „Голосъ“ 1868 г., № 11. „Библиографія и журналистика“.

отношенію ко второй половинѣ царствованія Александра I-го, указываютъ и на другія стороны этого царствованія, на другія стороны того времени, когда обнаружилось какое-то боязливое обереженіе Россіи отъ мнимыхъ опасностей, сопряженныхъ, будто бы, съ чрезмѣрнымъ умственнымъ развитіемъ. Первые три тома романа графа Толстого еще не вводятъ насъ въ этотъ періодъ, но даютъ уже предчувствовать его характеристическія черты. Хотя у автора вообще очень мало говорится о личности Александра, но мастерскою характеристикой тогдашняго высшаго русскаго общества и нѣкоторыхъ изъ государственныхъ дѣятелей того времени, графъ Толстой психологически объясняетъ свѣтлыя стороны характера Александра и то восторженное обожаніе, которое возбуждалъ онъ во всѣхъ своихъ приближенныхъ, во всѣхъ, кто хоть разъ видѣлъ его или слышалъ, во всемъ, наконецъ, русскомъ народѣ. Выѣстъ съ тѣмъ романъ выводитъ на сцену и тѣ элементы, подъ вліяніемъ которыхъ долженъ былъ такъ измѣниться характеръ эпохи.

Александръ былъ сыномъ своего вѣка. Блестящее внѣшнее образованіе; ранняя привычка разбирать свои недостатки и съ грустью сознать ихъ; стремленіе къ идеализму, неземному совершенству, склонность къ мистицизму, отвлеченный, умозрительный взглядъ на человѣчество вообще и на русскій народъ особенно; восторженное, жгучее желаніе стать благодѣтелемъ человѣчества, раскрыть вселенной свои братскія объятія и въ то же время невольное, воспитаніемъ и образомъ жизни развитое равнодушіе ко всему русскому — вотъ главныя черты характера лучшихъ людей того времени. Эти черты отражались отчасти и въ характерѣ Александра. Присоедините къ нимъ молодость, красоту, впечатлительность натуры, безконечную доброту и мягкость сердца, и вы поймете то обаятельное дѣйствіе, которое производила на всѣхъ личность императора, то сердечное обожаніе, которое онъ возбуждалъ къ себѣ во всѣхъ. Этими чертами объясняется и порывъ лично вести свои войска на бой, порывъ, окончившійся Аустер-

лицемъ; ими объясняется и жажда преобразований, принимавшихся кабинетнымъ путемъ, при непрерывномъ дѣйствіи цѣлаго легіона разныхъ комиссій, и потомъ внезапно оставляемыхъ; этими же чертами объясняются и преимущественныя политическія льготы, дарованныя полякамъ въ ущербъ политическимъ правамъ русскаго народа: любя все человѣчество и желая благоденствія всему миру, невольно дѣлаешься слегка космополитомъ и начинаешь съ благодѣяній, результаты которыхъ виднѣе и непосредственнѣе. Франція не могла не превозносить великодушія побѣдителя, не захотѣвшаго воспользоваться плодами великолѣпныхъ побѣдъ своихъ. Европа не могла не рукоплескать Александру, когда онъ противъ воли, согласившись присоединить къ своимъ владѣніямъ часть Польскаго королевства, не захотѣлъ, однако, совершенно слить ее съ ними, предоставивъ ей политическую автономію и осыпавъ поляковъ милостями и преимуществами. А Россія?.. Слѣдуя только влеченію своего сердца, съ жаромъ принялся Александръ за преобразованія въ своемъ отечествѣ; но благородный порывъ доброй души переносилъ его дальше предѣловъ возможнаго; онъ желалъ бы немедленныхъ благословеній, признательности отъ народа, тогда какъ только медленнымъ путемъ внутренней переработки могли приняты на русской землѣ корни предположенныхъ въ ней преобразований. Притомъ, въ самой средѣ приближенныхъ своихъ не всегда видѣлъ онъ полное сочувствіе, и самыя иногда либеральныя изъ его намѣреній (какъ, напримѣръ, мысль объ освобожденіи крестьянъ) встрѣчали отпоръ со стороны большинства его совѣтниковъ. Александръ охладѣлъ къ преобразованіямъ. А тутъ еще подоспѣли геройскіе подвиги 1812—1815 годовъ, и послѣ ореола этой громкой, этой поэтической славы избавителя народовъ тяжело было уже приниматься за работу, благодѣтельные результаты которой Богъ знаетъ еще когда окажутся. Александръ желалъ идеальнаго совершенства на землѣ: онъ требовалъ этого совершенства и отъ себя и отъ другихъ; не найдя его въ мірѣ, наталкиваясь чаще на слабости и недостатки человѣка, чѣмъ на его

доблестныя свойства, онъ скорбѣлъ, ощущалъ внутреннее недовольство. Склонная къ отвлеченностямъ душа его легко покорилаcь вліянію мистицизма, и, отвернувшись отъ земныхъ дѣлъ, государь предоставилъ вести ихъ хотя Аракчеевымъ, за собою удержавъ только дѣла филантропическія, входившія также въ кругъ ученія тогдашнихъ мистиковъ... Все это нигдѣ не выражено прямо въ романѣ графа Толстого, но это чувствуется въ каждой строкѣ его: общее недовольство, общее разочарованіе, общее мучительное искаженіе идеаловъ составляетъ главный фонъ романа.

„Голосъ“ 1868 г.

Николай Болконскій (отецъ).

*) Фигура стараго князя Николая Андреевича Болконскаго, по силѣ изображенія, превосходитъ все, что авторъ когда-нибудь создавалъ. Этотъ типъ русскаго барина старыхъ временъ до того живъ, что мы видимъ его передъ собою, какъ бы безъ посредства разсказа, рамка котораго исчезаетъ въ цѣлости впечатлѣнія. Мы видимъ передъ собою человѣка съ рѣдкимъ умомъ и съ рѣдкою прямою сердца, человѣка, способнаго сильно любить и ненавидѣть, крутого, брюзгливаго, пылкаго, своенравнаго старика. Говорятъ, будто бы это портретъ, но если такъ, то слѣдуетъ согласиться, что портретъ не польщенъ. Какъ въ самой природѣ этого человѣка все хорошее спрятано было глубоко на днѣ и придавлено ложнымъ стыдомъ, а дурное кидалось открыто и ярко въ глаза; такъ и въ разсказѣ объ немъ авторъ едва намекаетъ на его неоспоримыя достоинства; но онъ казнитъ безпощадно его недостатки. Всѣ мелочи самолюбія, все безобразіе самодурства, всѣ слабыя и смѣшныя стороны выставлены на видъ и описаны до послѣдняго волоска. Въ результатѣ мы видимъ человѣка, весьма замѣчательнаго, конечно, и самобытнаго, но вмѣстѣ видимъ и то, до

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

какой степени человекъ этотъ въ общемъ итогъ мелокъ. Не зная даже ни слова о его прошлой дѣятельности, съ одного взгляда на его рѣзко очерченный типъ, мы убѣждаемся, что люди подобнаго рода, несмотря на ихъ умъ и полный просторъ, открытый ихъ дѣятельности, не могли играть въ жизни общественной никакой крупной роли, потому что у нихъ не доставало практической жилки. У нихъ было слишкомъ много причудъ и мелочной, педантической требовательности. Они неспособны были ни уступить въ чемъ-нибудь, какъ бы ни было это что-нибудь мелко въ сравненіи съ главною ихъ задачею, ни войти въ сдѣлку съ кѣмъ бы то ни было, какъ бы ни былъ имъ этотъ кто-нибудь нуженъ для достиженія предположенной цѣли. Такихъ людей трудно себѣ представить не только въ роли временщика и во главѣ правленія, на аренѣ борьбы политической, но даже и просто въ тѣсной связи съ кѣмъ бы то ни было, не подчиненнымъ слѣпо ихъ произволу. Это особняки, чудаки и упрямцы неизлѣчимые. Они только и могутъ дышать тамъ, гдѣ ничто не перечить имъ, гдѣ каждый взглядъ ихъ подобострастно угадывается, гдѣ каждое слово ихъ составляетъ законъ для всего окружающаго, гдѣ есть возлѣ нихъ какое-нибудь слабое безгранично-преданное имъ существо, надъ которымъ они могутъ съ утра до вечера упражнять свою волю. Поэтому-то единственная привольная для нихъ сфера жизни у насъ, въ Россіи, въ минувшія времена не шла дальше маленькаго тиранства въ кругу своихъ крѣпостныхъ и семейныхъ рабовъ. Заѣсть жизнь какой-нибудь мученицы, княжны Марьи, или выдрессировать какого-нибудь Алпатыча такъ, чтобъ онъ не имѣлъ ни воли, ни мысли внѣ воли и мысли своего господина, были единственные доступные для нихъ подвиги. Таковыми людьми можно было интересоваться, можно было даже любить ихъ на разстояніи; — въблизи, всякій несломанный и непоработоченный ими долженъ былъ неминуемо стать ихъ врагомъ. Человекъ этотъ выходитъ на сцену уже старикомъ, отжившимъ свой вѣкъ и прежде всего требующимъ покоя, что и даетъ ему его мнимо-консервативный оттѣнокъ. Но не трудно замѣтить подъ этимъ

нажитымъ консерватизмомъ нѣчто совсѣмъ иное. Не трудно замѣтить, что духъ обновленія, въ свою пору, коснулся этого чловѣка; что это—натура, уже поступившая въ передѣлку; что онъ былъ протестантъ въ свое время и до конца остался рѣшительнымъ теоретикомъ; — короче сказать, что и онъ представляетъ собой не исконную старину, а типъ переходнаго времени.

Н. Ахшарумовъ.

Долоховъ.

*) Другой воинственный типъ (первый Денисовъ), хотя и до крайности грязный, но съ тѣмъ же геройскимъ закаломъ мы видимъ въ Долоховѣ. Онъ былъ дуэлистъ и шулеръ, негодай и мерзавецъ, стало быть, несомнѣнный; но тамъ, гдѣ нужна отвага, ни передъ чѣмъ не задумывающаяся, или холодная, ясная голова, передъ лицомъ бѣды, почти неминуемой, тамъ этотъ мерзавецъ и негодай является намъ богатыремъ чисто-русской породы. Онъ былъ не изъ тѣхъ, которые, вытаращивъ глаза и обезумѣвъ отъ ужаса и злорадства, наскакиваютъ на непріятеля, не видя и не понимая, что происходитъ вокругъ... „*Это что-то не русская храбрость*“, — говоритъ Лермонтовъ, — и мы вѣримъ Лермонтову.

По поводу этого вопроса о свойствѣ военной храбрости мы не желаемъ, да и не можемъ, конечно, спорить съ графомъ Толстымъ. Мы скажемъ только, что графъ Толстой, какъ художникъ, и графъ Толстой, какъ философъ, часто противорѣчатъ другъ - другу. Авторъ художественнымъ чутьемъ понялъ такихъ людей, какъ Долоховъ. Онъ понялъ, что они не мечтатели, что ихъ сила не тратится преждевременно на мысленное представленіе себѣ дѣла, ихъ ожидающаго, и на то безплодное забѣганіе впередъ, на то сентиментальное заигрываніе съ воображаемыми событіями, которое свойственно людямъ, способнымъ больше страдать и думать, чѣмъ дѣйствовать. Онъ понялъ, что высшій моментъ

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

напряженія ихъ нравственной и физической силы есть именно и почти исключительно моментъ самаго дѣла, что и даетъ имъ возможность въ этотъ моментъ видѣть лучше, думать яснѣе и поступать толковѣе. Сказать объ нихъ, что они сохраняютъ въ опасности обыкновенную степень присутствія духа, будетъ невѣрно; а гораздо вѣрнѣе сказать, что опасность выводитъ ихъ изъ этой обыкновенной степени и приводитъ въ другую, высшую, на которую они неспособны подняться безъ сильнаго возбужденія. Они изъ тѣхъ игроковъ, которые лучше играютъ на крупный кушъ, чѣмъ на мелкій, и чѣмъ крупнѣе ставка, чѣмъ гибельнѣе потеря ея, тѣмъ лучше могутъ они вести игру и тѣмъ меньше ошибокъ способны сдѣлать. Они, можетъ быть, не пройдутъ по узкой дощечкѣ, если она положена на полу и не гнется подъ тяжестью ихъ шаговъ, но если та же дощечка виситъ надъ пропастью, пройдутъ непремѣнно. И авторъ, конечно, видалъ подобныхъ людей, иначе онъ не очертилъ бы такъ мѣтко Долохова... Но авторъ, переходя отъ художественной оцѣнки характеровъ къ ихъ анализу, а отъ анализа къ общимъ психологическимъ выводамъ, теряетъ, повидимому, изъ глазъ всѣ различія этого рода.

Въ его аналитическомъ изображеніи человѣка всѣ люди выходятъ у него одинаковы. Всѣ они скроены на одинъ покрой; всѣ передъ дѣломъ и между дѣломъ и послѣ дѣла мечтаютъ и фантазируютъ, а въ рѣшительную минуту или совсѣмъ теряются и становятся чисто-пассивной игрушкой случая, или дѣйствуютъ подъ вліяніемъ необузданнаго, слѣплаго порыва, не обусловленнаго никакою постоянною складкою въ ихъ характерѣ и въ ихъ образѣ мыслей, а потому тоже случайнаго. Типы свои онъ чертитъ смѣлою, мастерскою рукою, и въ общемъ рисунокъ ихъ вѣренъ; но въ подробности этотъ рисунокъ рѣдко бываетъ оконченъ съ тѣмъ совершенствомъ, какое мы видимъ въ *портретахъ* стараго князя Болконскаго, Кутузова, Васьки Денисова и еще нѣсколькихъ...

Н. Ахшарумова.

Денисовъ.

*) Представители воинственного, боевого типа не жили въ будущемъ и не двигали ничего впередъ. Они были прямые сыны своего времени, исключительные его отпечатки, и съ нимъ оканчивается все ихъ призваніе. Но они были *герои*. Они отстояли Россію въ ту пору, когда все гнулось и трепетало подъ бурей, на нее налетѣвшей. Они безъ хитраго умствованія своимъ практическимъ смысломъ поняли ясно, что нужно дѣлать...

— „Дайте мнѣ 500 человѣкъ“, говоритъ Васька Денисовъ Кутузову; — я г'азог'ву ихъ... Честное, благо'одное слово 'усскаго офице'а, что я г'азог'ву сообщеніе Наполеона“, — и онъ сдержалъ это слово.

Вглядываясь въ черты этой геройской фигуры, мы находимъ въ нихъ что-то знакомое, и безъ ошибки можемъ сказать, что онѣ встрѣчаются намъ не въ первый разъ въ русской литературѣ. Нѣчто до крайности сходное очерчено уже было смѣлой рукой одного изъ живыхъ прототиповъ Денисова, и это даетъ намъ возможность закончить его портретъ, добавивъ, что люди такого закала, на оборотѣ ихъ лицевой стороны, могли быть и чѣмъ нибудь, кромѣ лихихъ удалцовъ. Они могли быть, пожалуй, даже *поэтами*; но и поэзія ихъ носила ту же печать непокривленной, несломанной, цѣльной природы, и въ ней все было такъ же свѣтло, ясно и просто, какъ ясенъ и простъ лежить передъ нами ихъ честный, геройскій путь, и какъ свѣтло рисуются въ памяти нашей ихъ богатырскія лица. Люди этого рода не сомнѣвались въ себѣ, также какъ они не сомнѣвались въ смыслѣ той жизни, которая ихъ окружала. Она отвѣчала вполне на ихъ немудренныя требованія. Они чувствовали себя изъ одного куска съ ней, въ полномъ согласіи съ ней, и имъ было легко дышать ея воздухомъ, привольно двигаться въ ея сферѣ, какъ рыбѣ въ водѣ... И поэзія ихъ

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

В. Зелинскій. Критика о Толстомъ.

прототипа, *Дениса Давыдова*, была не болѣзненный плодъ мечты. Съ большимъ правомъ, чѣмъ Гейне, этотъ поэтъ могъ бы сказать о себѣ:

... Не пугайся, я не тѣнь
И не призракъ съ того свѣта...
Жизнь кипитъ у меня въ жилахъ;
Я вѣраѣйшій жизни сынъ.

Н. Ахшарумовъ.

Наташа Ростова.

*) Наташа Ростова сила не маленькая; это богиня, энергическая, даровитая натура, изъ которой въ другое время и въ другой средѣ могла бы выйти женщина далеко недюжинная, но и надъ нею тяготѣютъ роковыя условія женской жизни, и она живетъ бесплодно и едва не погибаетъ отъ избытка своихъ ненаправленныхъ силъ. Авторъ съ особенной любовью рисуетъ намъ образъ этой живой, прелестной дѣвочки въ томъ возрастѣ, когда дѣвочка уже не дитя, но еще и не дѣвушка, съ ея рѣзвыми дѣтскими выходками, въ которыхъ высказывается будущая женщина! Наташа не знаетъ, что значить робѣть или конфузиться, она за большимъ обѣдомъ рѣшается на шалость, и удивляетъ всѣхъ смѣлостью своего обращенія съ грозной Ахросимовой, которая не даромъ прозвала ее казакомъ; она прожигаетъ себѣ руку каленымъ желѣзомъ въ знакъ вѣчной дружбы; все это ребячество, но другія дѣти не отважатся на это, а только скажутъ: ахъ, ахъ, какъ ты это могла сдѣлать! Наташа растетъ счастливой, вольной птичкой, любимымъ ребенкомъ въ доброй, дружной семьѣ московскихъ баръ, въ которой царствуетъ постоянная атмосфера любви. Описаніе мирныхъ семейныхъ радостей, забавъ молодости, свиданій послѣ разлуки и любовныхъ отношеній

*) „Отечеств. Записки“ 1868 г., № 6. Статья Николаевой, подъ заглавіемъ: „Наши Бабушки“. (По поводу женскихъ характеровъ въ романѣ „Война и Миръ“)

всѣхъ членовъ семьи другъ къ другу, которыя по большей части выходятъ приторны или натянуты, проникнуты у автора искреннимъ и теплымъ чувствомъ, невольно подкупающимъ читателя; онъ готовъ полюбить этихъ милыхъ, любящихъ, добрыхъ людей, пока, взглянувъшися попристальнѣе, не увидить, что эта доброта — грошевая доброта, что она не что иное, какъ хорошее расположение духа послѣ сытнаго обѣда. И въ самомъ дѣлѣ, отчего имъ быть не добрыми? Имъ не приходится не только дрожать надъ каждой копейкой, считать каждый кусокъ, чувствовать, что одинъ отнимаетъ у другого мѣсто въ жизни, имъ даже не приходится стѣснять другъ друга въ мельчайшихъ привычкахъ, прихотяхъ; всѣмъ имъ полный просторъ, они могутъ жить въ полное свое удовольствіе, они даже могутъ великодушничать по временамъ. Графинюшка даетъ нѣсколько сотенъ пріятельницѣ на обмундировку ея сына; Николай заставляетъ мать проливать слезы умиленія, благородно разрывая вексель Бориса Друбецкаго, который, сдѣлавъ карьеру, знать не хочетъ своихъ благодѣтелей; но та же графинюшка растрчиваетъ тысячи, и тотъ же Николай ставитъ на карту десятки тысячъ. Правда, что они все-таки безспорно лучше многихъ другихъ; они довольны своимъ сытнымъ обѣдомъ, и не станутъ дѣлать подлостей, чтобы прибавить къ нему новыя блюда, какъ дѣлаютъ многіе другіе, обладающіе обѣдомъ поситнѣе; но въ этомъ сытномъ обѣдѣ вся ихъ жизнь. Отнимите у нихъ этотъ сытный обѣдъ, и прощай счастливое расположение духа, такъ восхищавшее насъ. Первая опасность, угрожающая этому сытному обѣду, вызываетъ несогласія между любящими супругами и между нѣжной матерью и обожаемымъ сыномъ, котораго она хочетъ женить на старшей его, смѣшной и противной ему невѣстѣ; чтобъ упрочить ему сытный обѣдъ, заставляетъ великодушную благодѣтельницу оскорблять и преслѣдовать бѣдную сироту-племянницу, которую любила, какъ дочь, за то, что та осмѣливается быть любимой сыномъ ея, когда не можетъ принести ему сытный обѣдъ. Эти милые, добрые люди нѣжно обожаютъ дѣтей своихъ,

но не могутъ дать имъ никакого другого понятія о жизни, приготовить ихъ къ чему-либо, кромѣ наслажденія сытнымъ обѣдомъ. Старый графъ Ростовъ, который находитъ все славнымъ въ наилучшемъ изъ міровъ, и проливаетъ слезы умиленія при каждомъ удобномъ случаѣ, умѣетъ только отсыпать тысячи на учителей дѣтямъ и предоставлять имъ полную свободу потому, что заботы о дѣтяхъ, совѣты, замѣчанія, все это мѣшаетъ хорошему расположенію духа. Графинюшка, та въ началѣ попробовала было мудрить со старшей дочерью, и сдѣлала изъ нея вполнѣ благовоспитанную барышню, безукоризненно разсуждающую и поступающую, но которая, какъ все черствое и холодное, производитъ отталкивающее впечатлѣніе на каждого живого человѣка, достойную супругу филистера Берга, для которой жизнь—возможность носить перелинку какъ у такой-то графини, и давать вечера совершенно какъ въ большемъ свѣтѣ. Съ Наташей не мудрили. Молодые силы ея развивались на свободѣ, захватывали у жизни то, что она могла имъ дать: потребность радостей, наслажденій, любви. Воспитаніе ея было разсчитано на то, чтобъ приготовить ее къ этой жизни. Наташу, какъ и всѣхъ дѣвушекъ, учили исключительно языкамъ, то-есть знакомили съ обрывками литературы и поэзіи безъ всякой мысли и связи, танцамъ, пѣнію и музыкѣ—какъ пріятнымъ искусствамъ, необходимымъ дѣвушкѣ, чтобы нравиться,—однимъ словомъ, всему, что возбуждаетъ воображеніе и шевелить чувство. Наташа отдается этимъ занятіямъ со всею пылкостью своей натуры; она мечтаетъ быть танцовщицей, она въ четырнадцать лѣтъ поетъ такъ, что у слушателей захватываетъ духъ отъ восхищенія, а мать пугается страстности и выразительности этого пѣнія. „Будетъ ли она счастлива?“ думаетъ графиня, угадывая эту молодую силу. Графиня не даромъ прожила столько лѣтъ на свѣтѣ: она видѣла, что въ жизни бываютъ счастливы только такія натуры, какъ ея Вѣра со своимъ Бергомъ, Борисъ Друбецкой, Анатолий и Елена Курагины, что страданіе—удѣлъ всѣхъ тѣхъ, кто стоитъ выше этихъ людишекъ; понять, почему это такъ,

она не могла: она могла только замѣтить неизбежное явленіе и страшилась за участь Наташи. Не одной матери знакомъ этотъ страхъ; не одна изъ нихъ, встрѣчая первыя проявленія молодыхъ силъ дочери и зная жизнь, которая ожидаетъ ее впереди, съ ужасомъ спрашивала себя: „къ чему ей онѣ?“ и пыталась задавить эти молодыя силы, для которыхъ, когда онѣ выростутъ, станутъ тѣсны рамки жизни. Многимъ удавалось это. Графиня осталась при одномъ опасеніи.

Наташа выросла прелестной дѣвушкой; жизнь молодая, счастливая, такъ и бьетъ въ ея смѣхъ, взгляды, въ каждомъ словѣ, движеніи; въ ней нѣтъ ничего искусственнаго, рассчитаннаго, никакой дрессировки барышень; каждая мысль, каждое впечатлѣніе отражается въ свѣтлыхъ глазахъ ея; она вся—порывъ и увлеченіе. Она очаровываетъ всѣхъ: рубака Денисовъ пишетъ стихи молодой волшебницѣ, когда ей всего пятнадцать лѣтъ; благодушный Борисъ забываетъ свои планы о карьерѣ и влюбляется въ бѣдную дѣвушку; князь Андрей, несмотря на свой первый горькій опытъ, увидѣвъ ее на балѣ, рѣшаетъ, что она будетъ его женой; масонъ Безуховъ освѣжается любовью къ ней отъ своихъ мучительныхъ думъ надъ жизнью. Чтобы имѣть такое чарующее вліяніе на людей самыхъ противоположныхъ характеровъ, мало одной внѣшней красоты — великолѣпная красавица Эллень Безухая не имѣетъ его, для этого нужна сила, жизнь, таящаяся подъ этой внѣшней красотой, то, что князь Андрей звалъ прекрасной душой Наташи. Это чарующее вліяніе имѣетъ Наташа и на домашнихъ: братъ Петя безпрекословно повинуется ея слову; слуги, самые угрюмые и ворчливые, съ радостью кидаются исполнять ея приказанія, хотя она часто тормозитъ и рассылаетъ ихъ понапрасну. Наташа знаетъ свою силу и любить пробовать ее. Она кокетка, но кокетство ея не привычное, игривое кокетство хорошенькихъ женщинъ, не ребяческія ужимки, надуванье губокъ, глазки маленькой княгини, не цѣховое кокетство невѣсты, рассчитывающее на жениховъ повыгоднѣе, не обдуманное кокетство опытной

свѣтской красавицы, хладнокровно увлекающей въ свои сѣти повня жертвы для потѣхи своего тщеславія,—кокетство Наташи совершенно невольно, естественно, оно часть ея самой. Она съ дѣтства привыкла восхищать всѣхъ собою, ей необходимо это восхищеніе, она счастлива имъ, какъ счастлива прекрасной лѣтней ночью, своимъ пѣніемъ, милымъ славнымъ братомъ, своей красотой. „Вотъ она—я“, говоритъ она любуясь собой, „вотъ какова я, любуйтесь мною“, говоритъ ея кокетство. Кокетство въ Наташѣ—это молодая сила, которая кипитъ въ ней, ея потребность радостей жизни, наслажденій. Оно еще тѣмъ неотразимѣе, что въ Наташѣ въ высшей степени обладаетъ чуткость сердца, которую считаютъ отличительнымъ свойствомъ женской природы, и которая даже, по мнѣнію многихъ, вполне можетъ замѣнить женщинѣ умъ, опытъ, знаніе жизни. Что женщины обладаютъ этимъ свойствомъ—это неоспоримый фактъ, но оно можетъ развиваться единственно благодаря полному бездѣйствію мысли; умъ, не занятый болѣе серьезными интересами, весьма естественно сосредоточивается на мелочахъ; способность понимать и подмѣчать малѣйшіе оттѣнки голоса, взглядъ, малѣйшія выраженія лица изощряется: а въ этихъ мелочахъ именно всего труднѣе слѣдить за собой, въ нихъ невольно прорывается мысль, чувство, которое желали бы скрыть, и женщины, на основаніи этихъ едва уловимыхъ мелочей, угадываютъ иногда безошибочно характеры и дѣлаютъ поразительно вѣрные заключенія; но эта чуткость можетъ служить отличнымъ руководителемъ въ гостинныхъ, въ дружескомъ и семейномъ кругу; но чуть только женщинѣ приходится выйти на широкій путь жизни или рѣшиться на смѣлый шагъ, эта чуткость оказывается вполне несостоятельной. Въ Наташѣ много еще природнаго ума; во всѣхъ ея спорахъ съ братомъ Николаемъ она постоянно одерживаетъ верхъ, она очень мѣтко опредѣляетъ характеръ Бориса, говоря, что онъ узкій и сѣрый:—это и есть именно то впечатлѣніе, которое производятъ люди, подобные Борису, неспособные къ крупной подлости и чернотѣ, но которые рядомъ нечистыхъ,

сѣренкихъ поступковъ идутъ своей узенькой дорожкой къ своей маленькой цѣли. Но все это какъ искра вспыхиваетъ въ Наташѣ, и погасаетъ, не разгорѣвшись въ свѣтлое пламя—въ ней развито одно чувство: страстность, жажда любви. Еще тринадцатилѣтней дѣвочкой она влюбляется въ Бориса и цѣлуется съ нимъ, обѣщая быть его женой; потомъ въ учителя пѣнія, потомъ въ Пьера Безухова, потомъ опять въ Бориса, того самаго Бориса, котораго зоветъ узкимъ и сѣрымъ. Она мечтаетъ о любви, поетъ о ней, рассуждаетъ съ Соней. Она влюбляется въ князя Андрея на балѣ и чувствуетъ, что любовь ея не похожа на прежнія мимолетныя увлеченія. „Вотъ она настоящая“, говоритъ она,—та любовь, о которой она мечтала, которая должна составить счастье ея жизни. Наташа разгадываетъ со свойственной ей чуткостью все превосходство князя Андрея надъ другими; она, эта избалованная, своевольная дѣвочка подчиняется ему совершенно. „Чего онъ ищетъ во мнѣ? что если онъ не найдетъ во мнѣ того, что онъ ищетъ?“ спрашиваетъ она себя въ тревогѣ. Мысль готова пробудиться въ ней. Если бы князь Андрей понялъ силы, бродившія въ Наташѣ, онъ поспѣшилъ бы привязать къ себѣ эту богатую натуру, но князь Андрей ничего особеннаго и не искалъ въ ней, онъ только хотѣлъ знать, не такая-ли она куколка, какъ его первая жена, и остался вполне доволенъ Наташей, какою она была: чистой ея прекрасной души и отзывчивостію ея на каждое чувство. Князь Андрей, опасаясь молодости Наташи, хочетъ дать ей время испытать свое чувство, но болѣе всего онъ повинуется выживающему изъ ума отцу, который считаетъ родство съ Ростовыми унижительною для рода Болконскихъ,—и уѣзжаетъ, отложивъ свадьбу на годъ. Наташа оскорблена; она понять не можетъ, какъ можно жертвовать чему-либо любовью, она тоскуетъ. „Кромѣ отсутствія любимаго человѣка, Наташу неотступно пугаетъ мысль, что у ней даромъ, ни для кого пропадаетъ время, которое ушло бы на любовь къ нему“. Этими словами авторъ очень мѣтко опредѣлилъ женскую любовь. Любовь для мужчины счастье, отдыхъ, наслажденіе,

для женщины, при тѣхъ условіяхъ, въ которыя она поставлена — это дѣло жизни, это самая жизнь. Нѣтъ любви — и жизнь ея пропадаетъ даромъ, не для себя живетъ женщина, а для другого. „Ей оскорбительно было думать, говорить далѣе авторъ, что тогда, когда она живетъ мыслью о немъ, онъ живетъ настоящей жизнью, видитъ новыя мѣста, новыхъ людей, которыхъ она не знала“. Какой любящей женщинѣ не приходила на умъ эта мысль, что тогда, какъ все для нея въ любимомъ человѣкѣ, у него есть своя собственная, особенная жизнь, въ которой ей нѣтъ мѣста, настоящая жизнь. Изъ узкихъ эгоистическихъ натуръ и такихъ же пылкихъ, какъ Наташа, эти мысли вырабатываютъ тѣхъ несносно нѣжныхъ женъ, которыя за то, что у нихъ ничего нѣтъ въ жизни, кромѣ любимаго человѣка, требуютъ, чтобъ и у него нечего не было, кромѣ ихъ собственной особы, терзаютъ его ревностью за каждую минуту, которая потрачена не на нихъ, за каждую мысль, которая не посвящена имъ. Въ Наташѣ это былъ первый проблескъ пробуждающагося въ женщинѣ сознанія бѣдности своей и неравенства жизни съ жизнью мужчины, сознанія, которому суждено было высказаться вполнѣ черезъ цѣлое поколѣніе. Князь Андрей не дѣлаетъ никакой попытки ввести Наташу въ свою настоящую жизнь, и Наташа, потосковавъ, утѣшается, потому что здоровая натура ея неспособна вздыхать и томиться годами. Она съ новымъ увлеченіемъ отдается всѣмъ увеселеніямъ деревенской жизни. Скачка верхомъ, охота, русская пляска и пѣніе возбуждаютъ ее; подъ вліяніемъ этихъ ощущеній, Наташа чувствуетъ, что для нея прошелъ періодъ тихаго дѣвческаго чувства съ его свѣтлыми радостями. Для нея слишкомъ рано, вслѣдствіе ея организма и воспитанія, наступаетъ періодъ страсти. Она не хочетъ долѣе ждать своего счастья; оно нужно ей сейчасъ, сію минуту, и она съ горячими слезами кидается на шею матери и проситъ: „Дай мнѣ его, мама, дай мнѣ!“ Но князь Андрей далеко, и неудовлетворенная страсть кидаетъ ее въ объятія Анатоля Курагина. Князь Андрей нашелъ потомъ, что все это очень

просто и гадко, но вольно же ему было мечтать о неземной дѣвѣ.

Наташа встрѣчается съ дерзкимъ волокитой, привыкшимъ къ побѣдамъ, и способнымъ испытывать къ женщинамъ только звѣрское чувство. Онъ дѣйствуетъ дерзко, наступательно, и смущаетъ неопытную дѣвушку своими взглядами. „Ей тѣсно и тяжело становится отъ нихъ, и она съ ужасомъ чувствуетъ, что между нимъ и ею нѣтъ нравственныхъ преградъ стыдливости, что она близка къ нему, какъ не была близка ни къ одному мужчинѣ въ жизни“. И Наташа смотритъ на отца, ища у него объясненія этому тяжелому чувству, но старикъ Ростовъ способенъ только утѣшаться своими славными дѣтьми, да огорчаться, когда они больны, но не способенъ понять, что дѣлается съ его любимой дочерью. Наташѣ страшна эта непонятная власть надъ нею чужого человѣка; она не знаетъ, кого она любитъ, упрекаетъ себя въ измѣнѣ князю Андрею. Она не знаетъ у кого спросить совѣта. У Сони, но она, вѣрная своему прекраснодушному Николаю, не пойметъ ее. Она такая добродѣтельная, — говоритъ Наташа, — не понимая, что добродѣтель Сони—слѣдствіе ея натуры, вполне удовлетворяющейся вышиваньемъ въ пальцахъ да ожиданіемъ той минуты, когда ея прекраснодушный Николай назоветъ ее своей женой. Наташѣ не приходитъ въ голову спросить совѣта у матери, наслаждающейся блаженной увѣренностью, что дѣти ничего не скрываютъ отъ нея. Власть, которую имѣютъ родители надъ взрослыми дѣтьми, мѣшаетъ ихъ нравственному вліянію; останавливаясь въ нерѣшимости передъ неизвѣстнымъ шагомъ въ жизни, мы не пойдемъ спрашивать совѣта у людей, которые могутъ помѣшать этому шагу, и вся опытность родителей, которая могла бы предохранить дѣтей отъ многихъ горькихъ ошибокъ, пропадаетъ даромъ оттого, что ее насильственно навязываютъ. Сверхъ того, изъ примѣра Николая и Сони Наташа знаетъ, что для родителей ея всего важнѣе въ жизни сытный обѣдъ, и они рады доставить его дѣтямъ, даже цѣной ихъ собственнаго счастья. Поцѣлуй, насильно вырванный у ней Анатодемъ, оканчи-

ваетъ борьбу Наташи. Это любовь, — рѣшаетъ она, — и не колеблется ни минуты; она сама, не спросясь никого, пишетъ отказъ жениху — своеволие, неслышанное въ дѣвушкѣ того времени, — соглашается на бѣгство съ Анатолеми, и едва не погибаетъ жертвою того невѣдѣнія жизни, въ которомъ считаютъ необходимымъ воспитывать дѣвушекъ для сохраненія ихъ чистоты и невинности. Знай Наташа какого рода чувство влекло ее къ Анатолю, она поняла бы, что оно прилично развѣ такой женщинѣ, какъ Эллентъ Безухая — этому *superbe animal*, какъ прозвалъ ее Наполеонъ, и недостойно женщины, уважающей себя; она не дала бы громкаго имени любви чувству, котораго втайнѣ стыдилась, она сознательно устыдилась бы его, и оно, шевельнувшись на мигъ, пропало бы безъ слѣда. Какъ скоро предметъ названъ своимъ настоящимъ именемъ, онъ теряетъ свою прізрачную силу. Но невѣдѣніе, молодость, жившая исключительно мечтами любви, романическій духъ времени — все раздуло нечистую искру въ огонь; пустой, бездушный повѣса превратился въ лучшаго, благороднѣйшаго, великодушнѣйшаго человѣка въ мірѣ; жертвовать для него всѣмъ: семьею, друзьями, будущностью стало величайшимъ счастьемъ въ жизни. Бѣгство открыто. На Наташу обрушивается благодѣтельное негодованіе ея крестной матери. Мерзавка, безстыдница и т. п. эпитеты щедрой рукой отсыплются убитой дѣвушкѣ. О, мудрые руководители юности! вы кидаете въ омутъ свѣта пылкаго, неопытнаго ребенка, не научивъ его понимать ни жизни, ни себя самого, и ставите ему въ преступленіе неизбѣжную ошибку его, вы сами, не понимая ея, восхищались этой молодой силой; вы не умѣли указать ей никакой другой цѣли, кромѣ радостей и наслажденій, и когда эта сила рвется къ нимъ за указанныя вами рамки, вы безжалостно обрушиваете на нее свое негодованіе, свое презрѣніе. Наташа сдѣлалась предметомъ сплетенъ цѣлой Москвы. Женихъ принимаетъ ея отказъ. Напрасно Пьеръ Безухій уговариваетъ его простить ее, припоминая ему тѣ прекрасныя вещи, которыя князь Андрей говорилъ ему по поводу его разрыва съ же-

ной; князь Андрей отдѣливается жалкой уверткой: „Я сказалъ, что должно прощать, но не сказалъ, что могу простить“. Отъ человѣка дюжняго никто не въ правѣ требовать такого великодушія, но отъ одного изъ лучшихъ людей своего времени, мы имѣемъ полное право ожидать согласія между словомъ и дѣломъ. И притомъ, какая же разница! Онъ находилъ, что должно простить женщину развратную, неспособную къ искрѣ человѣческаго чувства, купившую великолѣпнымъ тѣломъ своимъ безхарактернаго мужа, котораго ненавидитъ, женщину, которая, благодаря своимъ связямъ и безстыдству, всегда сумѣла бы сохранить свое положеніе въ свѣтѣ, а не можетъ простить неопытной дѣвушкѣ увлеченія ея, когда онъ самъ оставилъ ее въ жертву всѣхъ искушеній, когда знаетъ, что его вторичное сватовство можетъ поднять въ глазахъ свѣта дѣвушку, искренно и горячо любившую его и все еще привязанную къ нему, потому что болѣе стыда, болѣе тоски о своей разбитой жизни ее мучаетъ мысль о томъ, что она заставила страдать его. И не чувство оскорбленной любви говорить въ немъ, а мелкое чувство оскорбленнаго самолюбія; князь Андрей Болконскій не можетъ идти по слѣдамъ Анатоля Курагина: „je ne puis pas marcher sur les brisées de ce monsieur“. Вотъ ради чего лучший человѣкъ своего времени выказываетъ такую жалкую несостоятельность между словомъ и дѣломъ, и въ этой жалкой несостоятельности лучшаго человѣка своего времени высказывается вѣковой эгоизмъ мужчины, привыкшаго къ мысли, что женщина живетъ для него, что, разъ отдавшись ему, она составляетъ его неотъемлемую собственность. Невольно задаешь себѣ вопросъ: если такъ поступалъ въ отношеніи любимой женщины лучший изъ людей своего времени, какъ же поступали остальные?

Наташа надолго потрясена. Она больна, но медицина оказывается несостоятельной излѣчить ее; раны любви излѣчиваетъ мистическая любовь; новыя, еще неиспытанныя ею впечатлѣнія страшныхъ прожитыхъ ею дней — религія, которая никогда не занимала большого мѣста въ жизни Росто-

выхъ, какъ въ жизни счастливыхъ людей. Но еще болѣе религія налѣчиваетъ Наташу безмолвная, почтительная любовь Пьера Безухова,— слова его въ отвѣтъ на жалобу Наташи, что теперь для нея все кончено въ жизни: „что будь онъ свободенъ, и не онъ, а лучший человѣкъ въ мірѣ, онъ былъ бы счастливъ предложить ей руку“, что для нея не все кончено въ жизни, что для нея еще возможны любовь и счастье. Нѣтъ вѣроятія, чтобы Пьеръ сталъ когда-нибудь свободнымъ, потому что такія женщины, какъ его супруга, неспособны ни къ какому чувству, которое бы нарушило ихъ спокойствіе, и обожающія свое тѣло, вообще очень живучи; скорѣе всего ударъ положить конецъ безмолвной и почтительной любви добраго толстяка и лишить Наташу преданнаго друга и утѣшителя. Кѣмъ тогда утѣшится Наташа? Кромѣ любви, у нея нѣтъ ничего.

И все-таки Наташа, несмотря на всѣ ея ошибки, одна изъ лучшихъ женщинъ, скажемъ, рискуя навлечь на себя обвиненіе въ безнравственности. Она готова бросить своихъ родителей, но она, какъ натура пылкая, несравненно болѣе любитъ ихъ, чѣмъ сотни дѣвушекъ, которыя никогда не рѣшатся на такой поступокъ вовсе не изъ привязанности къ родителямъ, а чтобы не испортить свою карьеру. Она безъ сожалѣнія отказывается отъ одной изъ самыхъ блестящихъ партій въ Россіи, самое слово „партія“ не существуетъ для нея; она не признаетъ ни за кѣмъ власти рѣшать за нее; она, не сомнѣваясь, не колеблясь, идетъ, слышавъ призывъ жизни. Разумѣется, это слѣпой порывъ, увлеченіе дѣвочки, которое едва не губитъ ее, а не сознательная сила самостоятельной женщины; но каждая сила въ первыхъ своихъ проявленіяхъ надѣлаетъ много бѣдъ, прежде чѣмъ успѣютъ обуздать и направить ее, да не въ томъ бѣда,—плохо, когда нечего ни обуздывать, ни направлять. Наташа не виновата въ своей ошибкѣ, какъ не виноваты дѣти, которыя, прельстившись блуждающими огнями, кинутся за ними и увязнутъ въ болотѣ; разумѣется тѣ, которыя трусили и не пошли, какъ ни манили ихъ эти красивые огоньки, поступили съ похвальной осторожностью

и благоразуміемъ, но отчего же все наше сочувствіе постоянно на сторонѣ этихъ смѣльчаковъ, какъ бы дорого они ни заплатились за свою ошибку? Оттого, что сила, даже въ уклоненіяхъ ея, всегда притягиваетъ къ себѣ, и нѣтъ ничего возмутительнѣе для живыхъ людей, какъ безсиліе—оно смерть.

Николаева.

* * *

*) Возлюбленная Андрея Болконскаго, Наташа Ростова, имѣетъ съ нимъ нѣчто родственное въ томъ смыслѣ, что и она не знаетъ, чего ей нужно и что именно она любитъ. Только у этой нѣтъ критики, разлагающей жизнь на мертвые и холодные элементы ея, и нѣтъ ничего болѣзненнаго. Это натура въ корнѣ здоровая и полная свѣжаго, сильнаго аппетита. Это огонь, который то свѣтитъ ярко, какъ солнце, то грѣетъ и жжетъ; но никогда не тухнетъ и не чадитъ. Въ ней есть что-то дикое, что никогда не знавало узы и не способно носить ее; и это-то дикое, эта сила природы, несломанной, цѣльной, эта естественная свобода движеній, не выдрессированныхъ никакою школой развитія, не заложенныхъ никакою условною формой, даетъ ей ту прелесть чарующую, которую испытываютъ всѣ, близко къ ней прикасающіеся, начиная отъ Васьки Денисова до князя Андрея. Наташа—русская женщина до конца ногтей; но не это еще отличаетъ ее отъ другихъ лицъ, созданныхъ авторомъ, большая часть которыхъ оттого такъ и милы намъ, что русскій народный характеръ въ нихъ не затертъ и пробиваетъ живымъ ключомъ сквозь всѣ наносные элементы развитія. Въ Наташѣ не только онъ не затертъ, но онъ незнакомъ совершенно ни съ чѣмъ чужимъ и наноснымъ. Онъ весь налицо, и это лицо никогда не знавало маски. Все, что въ немъ есть хорошаго и дурного, все ясно, открыто. Это природа, не сглаженная, не тронутая рѣзцомъ

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4. Статья Н. Ахшарумова.

искусства, потому неосѣдлая, неустойчивая. Стихійныя силы ея бродятъ въ просторѣ неограниченномъ; мотивы измѣнчивы, явленія неразумны и безсознательны, въ порывахъ нѣтъ удержу и нѣтъ мѣры. Она визжитъ въ дикомъ задорѣ, когда стая собакъ, на ея глазахъ, затравила зайца. Вспышка простой, половой горячности можетъ заставить ее забыть все на свѣтѣ и отдаться безъ всякой любви какому-нибудь красивому дураку въ родѣ Курагина... Она изъ баръ, но она не барыня. Эта графиня, воспитанная французской-эмигранткой и блестящая на балѣ у Нарышкиныхъ, въ главныхъ чертахъ своего характера ближе къ простому народу, чѣмъ къ своимъ свѣтскимъ сестрамъ и современницамъ. Она воспитывалась по-барски, но барское воспитаніе не привилось къ ней, или, вѣрнѣе сказать, отъ этого воспитанія къ ней привилось одно баловство. Наташа балованное дитя и останется имъ всю жизнь, какая бы перемѣна ни ожидала ее впереди. Нравственной высоты и благородства въ ней такъ же мало, какъ и въ ребенкѣ, и, какъ ребенокъ, она не знаетъ великодушія; вѣрность ей незнакомая; она неспособна жить чужою жизнью, быть счастливой счастіемъ другихъ; неспособна стерпѣть ничего, ничѣмъ пожертвовать. Она понимаетъ одну только личную жизнь и личное наслажденіе. Но, при всѣхъ недостаткахъ своихъ, она имѣетъ живое чутье и живое сочувствіе ко всему живому. Это натура не только страстная, но вмѣстѣ и поэтически-впечатлительная. Тончайшій оттѣнокъ поэзіи ей понятенъ. Сила народной пѣсни имѣетъ надъ сердцемъ ея волшебную власть, и можетъ вывести ее изъ себя, можетъ увлечь въ любую минуту.

Такую-то женщину графъ Толстой выбралъ своей героинею и, надо признаться, выборъ этотъ вполне оправданъ былъ ею до той минуты, когда она вдругъ проиграла въ нашихъ глазахъ все геройство, сбросивъ съ своей головы вѣнокъ дѣвической чистоты къ ногамъ Курагина... Мы далеки отъ того, чтобы поставить это въ упрекъ графу Толстому. Наоборотъ, мы высоко цѣнимъ въ немъ эту искренность и отсутствіе всякой наклонности идеализировать

созданныя имъ лица дальше того, насколько идеализація свойственна ихъ природѣ и правдѣ характера, имъ усвоеннаго. Въ этомъ смыслѣ онъ реалистъ и даже изъ самыхъ крайнихъ. Никакія условія требованія искусства, никакія художественныя или другія приличія неспособны зажать ему ротъ тамъ, гдѣ мы ждемъ отъ него, чтобы онъ обнаружилъ голую истину. Нужды нѣтъ, что нагота ея часто бываетъ такъ безобразна; за то мы вѣримъ ему безъ задней мысли тамъ, гдѣ онъ указываетъ намъ красивую сторону чело- вѣчества; мы ужъ имѣемъ ручательство, что онъ въ эту сторону не прибавитъ ни іоты, и такая увѣренность воз- награждаетъ съ лихвою.

Въ группѣ фигуръ, олицетворяющихъ собою характеръ эпохи, очаровательная фигурка Наташи стоитъ на рубежѣ между тою сферою, самое яркое воплощеніе которой мы ви- димъ въ Безукомъ, и другою, совершенно противоположною. Въ Наташѣ мы видимъ еще ребяческую неопредѣленность, мечтательность, неустойчивость, непрактичность; но мы не видимъ уже и слѣдовъ раздумья, робкой оглядки на самого себя и безпрестанной повѣрки себя. Въ ней есть что-то воинственное и боевое, есть та недѣлимость мысли и дѣла, та невозможность желать въ одну сторону, а рѣ- шиться — въ другую, которую мы находимъ въ основѣ ха- рактеровъ чисто-практическихъ, и которая выступаетъ ярче всего въ типѣ воинственномъ, боевомъ.

Н. Ахшарумовъ.

* * *

*) Маленькая Наташа никакъ не можетъ затеряться въ блестящей толпѣ Курагиныхъ, Безухихъ, Ростовыхъ, Дру- бецкихъ, Берговъ, Долоховыхъ и т. д. Посторонитесь-же, господа. Дайте первое мѣсто маленькой Наташѣ.

Въ русской жизни встрѣчаются, славу Богу, такія лич- ности. Наташа въ то время, когда Болконскій дѣлаетъ ей

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1868 г., №№ 153 и 155. Статьи С. И. Сычевскаго подъ заглавіемъ: „Очерки новѣйшей русской литературы. *Война и Миръ* гр. Л. Н. Толстого“.

предложеніе, еще дитя. Все ея обаяніе заключается въ дѣской чистотѣ, наивности, несформированности. Само собою разумѣется, что характеристическая черта такихъ дѣтей есть необыкновенная воспримчивость къ впечатлѣніямъ жизни, необыкновенная чуткость и отзывчивость ко всѣмъ окружающимъ вліяніямъ, рѣшительно недоступнымъ для тѣхъ психологическихъ носороговъ, которые называются людьми съ желѣзно-выработаннымъ характеромъ, закаленной волею и прочими прекрасными качествами. Такая чуткость и отзывчивость имѣетъ очень много невыгоднаго для личностей, обладающихъ ими, но за то онѣ же сообщаютъ имъ такое поэтическое обаяніе, противъ котораго смѣшно-безсильны всѣ ухищренія самаго утонченнаго кокетства. Взгляните на Наташу: что она такое? Шестнадцатилѣтняя дѣвочка, не особенно хорошенькая, совершенно не свѣтская, говорящая по-французски съ ошибками, незнакомая съ политикой, тогда какъ всѣ только ею и бредятъ... Что же дѣлаетъ ее героинею такого великосвѣтскаго романа? Что заставляетъ насъ слышать ея голосокъ, распѣвающий баркароллу, гораздо яснѣе, чѣмъ безчисленные пушечные выстрѣлы и военные громы Аустерлицкаго сраженія? Я ссылаюсь на личное ощущеніе каждаго: прочтите мастерское описаніе Аустерлицкаго сраженія у Толстого и слѣдующія строки, — и скажите откровенно, что на васъ сильнѣе подѣйствуетъ? „Наташа поетъ въ гостиной. Ея проигравшійся братъ лежитъ въ своей спальнѣ и „слушаетъ“. Она пѣла теперь не по-дѣтски, уже не было въ ея пѣніи этой комической, ребяческой старательности, которая была въ ней прежде, но она пѣла еще не хорошо, какъ говорили всѣ знатоки-судьи, которые ее слушали“. — „Не обработанъ, но прекрасный голосъ, надо обработать“, — говорили всѣ. Но говорили это обыкновенно уже гораздо послѣ того, какъ замолкалъ ея голосъ. Въ то же время, когда звучалъ этотъ необработанный голосъ съ неправильными придыханіями и съ усилями переходовъ, даже знатоки-судьи ничего не говорили и только наслаждались этимъ необработаннымъ голосомъ, и только желали еще разъ

услыхать его. Въ голосѣ ея была та дѣвственная нетронутость, то незнаніе своихъ силъ и та необработанная еще бархатность, которыя такъ соединялись съ недостатками искусства пѣнія, что, казалось—нельзя было ничего измѣнить въ этомъ голосѣ, не испортивъ его.

„Что-же это такое? подумалъ Николай (братъ Наташи), услышавъ ея голосъ и широко раскрывая глаза. Что съ ней сдѣлалось, какъ она поетъ нынче? подумалъ онъ, и вдругъ весь міръ сосредоточился для него въ ожиданіи слѣдующей ноты, слѣдующей фразы, и все въ мірѣ сдѣлалось для него раздѣленнымъ на три темпа: „oh mio crudele affetto... разъ, два, три... разъ, два, три... oh mio crudele affetto... разъ, два, три... Эхъ, жизнь наша дурацкая! подумалъ Николай. Все это—и несчастье, и деньги, злоба, и Долоховъ, и честь—все это вздоръ!... а вотъ оно, настоящее... Ну, Наташа, ну, голубчикъ! Ну, матушка!... Какъ она этотъ сі возьметъ? Взяла!... Слава Богу. И онъ, самъ не замѣчая того, что онъ поетъ, чтобы усилить этотъ сі, взялъ втору въ терцію высокой ноты *). Боже мой! Какъ хорошо! Неужели это я взялъ? Какъ счастливо! подумалъ онъ. О! какъ задрожала эта терція, и какъ тронулось что-то лучшее, что было въ душѣ Ростова. И это что-то было независимо отъ всего въ мірѣ и выше всего въ мірѣ. Какіе тутъ проигрыши и Долоховы, и честное слово! — Все вздоръ!... Можно зарѣзать, украсть, и все-таки быть счастливымъ“...

А, вѣдь, Наташа не пѣвица; но что-же можетъ сдѣлать голосъ Гризи, Кеталони, Бозио—противъ такого формирующагося дѣтскаго голоса, въ которомъ, какъ въ зеркалѣ, видна чистая душа, полная самыхъ разнообразныхъ и свѣжихъ впечатлѣній жизни, видно безсиліе справиться со всѣмъ этимъ, вслѣдствіе этого нетвердость, нервность...

Какова Наташа въ области звуковъ, такова она и во всемъ. То-же богатство естественныхъ силъ и даровъ, та же воспримчивость ко всему живому и свѣжему—и то же без-

*) Я не понимаю, что это значить, а потому если тутъ есть ошибка или безсмыслица, то дѣлать это на ответственности автора. С.С.

силѣ справиться съ разнообразнымъ матеріаломъ, и то-же незнаніе себя и своихъ силъ. Что-же привлекаетъ въ такихъ личностяхъ? Что сообщаетъ имъ необыкновенное обаяніе? По моему мнѣнію, причина всего этого — заключается въ томъ, что онѣ совершенно видны и понятны всякому. Той способности уйти въ свою раковину передъ наблюдательнымъ взоромъ собесѣдника, которою обладаетъ большинство людей сформировавшихся, у нихъ нѣтъ; а если и есть, то всегда напоминаетъ милый жестъ ребенка, закрывающаго себѣ глаза для того, чтобы не быть видимымъ другими. Именно это чувство слабости, беспомощности и полнѣйшей открытости заставляетъ насъ такъ искренно-доброжелательно относиться къ такимъ личностямъ, какъ Наташа. Сознаніе того, что онѣ безконечно чище насъ, что „leurs mains bénites et douces n'ont point fait mal encore; leurs pieds n'avaient jamais touché toute notre fange *)“ наполняютъ насъ если не благоговѣніемъ, то умиленіемъ, и невольно принуждаютъ подчиниться, хотя на время, ихъ дѣтскимъ шалостямъ и капризамъ, которые насквозь проникнуты „обаяніемъ поэзіи дѣтства **).“

А та атмосфера беззаботнаго веселья, чистаго и свѣтлаго, какъ солнечный лучъ, которую они разливаютъ вокругъ насъ—развѣ это ничего? Развѣ, потерявъ это, жизнь наша не лишилась бы одного изъ самыхъ дорогихъ своихъ украшеній?

И этакая-то барышня выросла на почвѣ русскаго аристократизма. Естественно, что онъ долженъ былъ положить на нее свой отпечатокъ. И положилъ. Съ пеленокъ въ блескѣ и довольствѣ, всегда въ обществѣ посреди интригъ и сплетенъ, чистая натура Наташи не испортилась радикально, но приняла въ себя дурные элементы; ее „оголяли ***“) съ молоду“; съ молоду показывали ея тѣло и таланты разнымъ жаднымъ взглядамъ миллионеровъ съ притворливою чувственностью падкаго на все необыденное.

*) Слова Виктора Гюго изъ стихотворенія L'enfant.

**) Слова Некрасова въ стихотвореніи „Крестьянскія Дѣти“.

***) Слова Толстого.

Огромная публика и привычка нестѣсненія со всѣми—развили въ ней ту степень разврата, которая допускается и санкціонируется всѣми въ свѣтскихъ отношеніяхъ.

Чистая, почти дитя—Наташа—и развратъ—это, кажется, такія несовмѣстимыя вещи, что, повидимому, трудно и сопоставить ихъ; а между тѣмъ это печальная истина. Изъ свѣтской жизни изгнаны всѣ не только грубыя, но даже шероховатыя слова (нечего говорить о движеніяхъ); но тонкіе намеки, но многое, горячащее воображеніе, имѣетъ тамъ мѣсто. Привычка обнажать многочисленной публикѣ свое тѣло и свои таланты, быть фокусомъ, въ которомъ сосредоточиваются тысячи разныхъ взглядовъ—есть привычка въ высшей степени скверная, въ особенности въ молодой дѣвочкѣ, съ живымъ воображеніемъ и не малою долей самолюбія. Наташа это очень скоро испытала на себѣ. Та дѣтская застѣнчивость, которая такъ очаровательно отличала ее на балѣ отъ всѣхъ кокетокъ, равнодушныхъ ко всей публикѣ, исчезла очень скоро, а вмѣстѣ съ нею исчезло то незнаніе своихъ физическихъ совершенствъ, которое парализуетъ всякое женское самолюбіе и дѣлаетъ изъ всякаго кокетства невинную дѣтскую шалость. Наташа узнала, что она мила и хороша, и что ею восхищаются, и чистоты ея дѣтской души—какъ не бывало. Послушайте, что съ ней сдѣлалось.

Наташа—невѣста Болконскаго, котораго она любитъ и уважаетъ. Онъ въ отсутствіи. Она съ своимъ семействомъ пріѣхала послушать новую оперу.

„Въ четвертомъ актѣ былъ какой-то чортъ, который пѣлъ, махая рукою до тѣхъ поръ, пока не выдвинули подъ нимъ доски и онъ не опустился туда; Наташа только и видѣла это изъ четвертаго акта; что-то волновало и мучило ее, и причиной этого волненія былъ Курагинъ, за которымъ она невольно слѣдила глазами *). Когда они выходили изъ театра, онъ подошелъ къ нимъ, вызвалъ ихъ

*) Князь Курагинъ красивый оatzъ, очень нахальный, котораго Наташа видѣла всего одинъ разъ.

карету и подсаживалъ ихъ. Подсаживая Наташу, онъ пожалъ ей руку, повыше локтя. Наташа, взволнованная и красная, оглянулась на него. Онъ, блестя своими глазами и нѣжно улыбаясь, смотрѣлъ на нее...“ Какъ вамъ это нравится, господа? Какъ вы думаете, какъ отнеслась-бы къ этому Наташа, если бы на ея тѣлѣ не сосредоточивались уже нѣсколько разъ, вѣдомо для нея, тысячи самыхъ разнообразныхъ взоровъ? Согласитесь сами, что кто привыкъ къ наглымъ взглядамъ и сознательно имъ поддается, тому очень немного надобно, чтобы пріобрѣсти привычку и къ наглымъ жестамъ. Наташа не только съ большимъ усиліемъ перенесла жестъ Курагина, но еще и влюбилась въ него...

И такъ вотъ что далъ аристократизмъ Наташѣ: онъ далъ ей изящную фигуру, свѣтское, ничтожное воспитаніе, и содѣйствовалъ западенію въ ея чистую душу первыхъ сѣмянъ разврата. Все остальное дали ей природа и воспитаніе, и среда въ этомъ нисколько не виновата.

Просматривая всѣхъ женщинъ въ романѣ Толстого, мы видимъ, что въ этихъ трехъ отношеніяхъ онѣ всѣ схожи съ Наташею, отъ которой во всемъ прочемъ разнятся какъ небо отъ земли. Графиня Елизавета Болконская служитъ прекраснымъ типомъ безпомощнаго свѣтскаго воспитанія женщины, а блестящая графиня Елена Безухая, урожденная Курагина, служитъ представительницей свѣтскаго разврата. Я не хочу останавливаться на разборѣ этихъ личностей. Пониманіе ихъ не представляетъ ни малѣйшей трудности, и каждый, читая романъ, непременно остановится на указанныхъ мною чертахъ, составляющихъ существенную принадлежность русской аристократки прошлаго времени.

Возвратимся лучше снова къ Наташѣ. Бывши еще дѣвочкой, она бросалась всѣмъ въ глаза милою и умною шаловливостью своего нрава. Она, какъ выражается одинъ изъ моихъ знакомыхъ, своими дѣйствіями отрицала дѣтское благонравіе, и своею шумною шаловливостью была рѣзкою противоположностью аристократически сдержанному характеру прочихъ великосвѣтскихъ дѣтей. Очень часто въ са-

мой возвышенно-натянутой, погребально-торжественной свѣтской жизни, Наташа выкидывала наивно-дѣтскую штуку, дѣйствовавшую всегда на читателя, какъ внезапная струя свѣжаго воздуха, проникшая въ атмосферу, насквозь пропитанную одеколономъ, флеръ д'оранжемъ и буке де л'императрицъ. Припомните ея громкій вопросъ о пирожномъ посреди благоговѣйно-торжественнаго молчанія многочисленнаго общества на званомъ обѣдѣ у Ростовыхъ. Но свобода жить не была предоставлена Наташѣ: она постоянно видѣла и чувствовала около себя притворство и стѣсненіе. Рядомъ со стѣсненіемъ она видѣла много сценъ, дѣлавшихся потихоньку, — потому что имъ нельзя было выйти на свѣтъ Божій, не оскорбляя свѣтскости. Подъ вліяніемъ этихъ скрытыхъ сценъ, съ одной стороны, и своей живой, здоровой натуры, съ другой, Наташа сочинила себѣ любовь къ Борису Друбецкому въ то время, когда ей было всего 12 лѣтъ. Скажите, что дѣлать дѣвчкѣ, такой какъ Наташа и въ такой обстановкѣ? Играть въ любовь было въ обычаѣ въ свѣтскомъ мірѣ. Наташа была одарена способностью истинно любить, а не играть въ любовь, но свѣтъ сдѣлалъ свое, и она съ 12 лѣтъ, постоянно любя и постоянно возбуждая любовь, обращала ее все-таки въ игрушку, муча и себя и другихъ, и страдая вдвойнѣ вслѣдствіе этого. Первый обожатель и женихъ Наташи — галантный и ловкій Борисъ Друбецкой — не пострадалъ только потому, что его невѣстѣ было всего 12 лѣтъ, такъ что сама природа обратила въ дѣтскую штуку Наташину опасную игру въ любовь.

Денисовъ-кутила и виверъ, безпощадный гусаръ, попавшій вторымъ въ хронологическомъ порядкѣ обольстительному вліянію Наташи, не вышелъ изъ него цѣль и невредимъ. Онъ, человѣкъ немолодой и совершенно безъ средствъ, до такой степени увлекся голоскомъ и обаяніемъ чистой дѣтской прелести, которую Наташа распространяла около себя, что сдѣлалъ ей предложеніе, забывши, что ей всего 15 лѣтъ, что она, по своему общественному положенію и богатству, совершенно ему не пара. Наташа, къ величайшему удивленію своей маменьки, отнеслась къ этому предложенію

не съ насмѣшкой, а съ сочувствіемъ, хотѣла дать свое согласіе и изъ жалости выйти за Денисова замужъ,—но маленька не допустила ее до этого, и Наташа, хотя не безъ боли, но скоро успокоилась. Наконецъ, третье серьезное столкновение съ мужчиной произошло уже тогда, когда Наташа уже была не ребенкомъ. Мужчина, съ которымъ судьба ее свела—былъ однимъ изъ русскихъ идеаловъ тогдашняго времени, въ которомъ самымъ яркимъ образомъ выразилась и эпоха и народный духъ. Отношенія его къ Наташѣ служатъ центромъ романа, требуютъ разбора тогдашняго общества и его стремленій, а потому о нихъ—до слѣдующей статьи.

С. Сычевскій.

* * *

*) Наташа Ростова одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ типовъ русской литературы. Въ ней такъ же много недосказаннаго, ея характеръ такъ же неуловимъ, какъ и у Андрея, хотя, далекая отъ его отталкивающей сосредоточенности, она, напротивъ, высказывается безпрестанно и съ полною откровенностью; но она сама себя не понимаетъ; она лишена всякаго контроля надъ своими ощущеніями, надъ движеніями своихъ страстей. Маленькая, черненькая, живая, пылкая, съ глубокимъ внутреннимъ смысломъ и чувствомъ, съ прелестнымъ голосомъ и взоромъ, способная, острая, наблюдательная, Наташа просто „обворожительна“, какъ ее пробуетъ въ одномъ словѣ опредѣлить Пьеръ Безухій. Съ самаго ранняго возраста Наташа безпрестанно влюбляется то въ того, то въ другого, но не по легкости своего характера, а скорѣе вслѣдствіе серьезности и глубины его: въ ней до послѣдней тонкости изощрено чувство изящнаго, а по добротѣ и возвышенности своей натуры, она умѣетъ отыскать въ каждомъ свѣтлыя стороны и искренно плѣняется ими, крѣпко и искренно ими увлекается. Князь Андрей Болконскій—самый солидный характеръ изъ всѣхъ,

*) „Голосъ“ 1868 г., № 11. „Библиографія и журналистика“.

кого она доселѣ знала, и, сближаясь съ нимъ, она подмѣчаетъ въ себѣ чувство, не похожее на прежнія ея ребяческія, мимолетныя увлеченія: любовь къ Андрею овладѣваетъ всѣмъ существомъ ея, дѣлаетъ ея взглядъ на жизнь серьезнѣе и строже. Сердце князя Андрея тоже размягчается подъ вліяніемъ этого необыкновеннаго и свѣтлаго созданія. Наташа такъ не похожа на всѣхъ другихъ женщинъ, такъ чужда свѣтскаго обмана и свѣтской пустоты, что въ Андреѣ невольно падаетъ и ослабляется высокомерное презрѣніе къ человѣческому роду; онъ болѣе не считаетъ своей жизни лишнимъ бременемъ, и вѣрится въ любовь. Какимъ-то священнымъ трепетомъ и страхомъ наполняется сердце дѣвушки, когда завязываются у нея серьезныя отношенія съ Болконскимъ, и они становятся женихомъ и невѣстой. Этотъ страхъ отражается и на всемъ семействѣ Ростовыхъ: они чувствуютъ, что здѣсь не простая забава и веселье, не одна выгодная партія и шумная свадьба, но что тутъ рѣшается судьба цѣлой жизни. Отношенія между Андреемъ Болконскимъ и Наташею Ростовой вводятъ читателя въ кругъ новыхъ, чисто уже романтическихъ событій, которыя принимаютъ къ концу третьяго тома трагическій оборотъ, и развязка которыхъ ожидается въ четвертомъ томѣ.

Отецъ Болконскаго, опальный, но всѣми уважаемый вельможа, старикъ необычайно умный, суровый, непреклонный, строго осуждающій и критикующій большую часть дѣйствій правительства и почти всегда съ замѣчательнымъ даромъ ироничности и предугадыванія; невыносимый деспотъ въ семьѣ, по своему, эгоистически любящій свою дочь Марію (некрасивое, но поэтическое въ своей преданности существо) и ежедневно мучащій ее какою-то почти нечеловѣческою аккуратностью образа жизни, уроками не дающей ей математики, постоянными ѣдкими насмѣшками надъ ея набожностью и всякими другими экспериментами и пытками,—этотъ старикъ Болконскій не даетъ согласія на бракъ Андрея съ Наташей, ранѣе, по крайней мѣрѣ, какъ черезъ годъ. Князь Андрей покоряется рѣшенію отца, и прощается съ невѣстой, чтобъ ѣхать за границу, лѣчиться. Но пылкая,

живая, не знающая мѣры своимъ порывамъ и требующая для нихъ немедленнаго удовлетворенія, натура Наташи неспособна на терпѣливое ожиданіе. Съ болью и мукою въ сердцѣ, эта „обворожительная“ дѣвушка выражаетъ князю Андрею свое недоумѣніе: неужели такъ уже ему необходимо покориться волѣ отца? Она проситъ, молить его не уѣзжать, остаться. Но Андрей не предчувствуетъ бѣды: онъ еще не вполнѣ знаетъ Наташу.

Въ отсутствіе жениха нѣсколько разъ чувствовала Наташа, что ей необходимъ Андрей, необходимъ любимый человѣкъ; часто душа ея рвалась къ нему; часто звала она его къ себѣ мысленно; часто съ томленіемъ и плачемъ кидалась въ объятія матери и восклицала: „дайте мнѣ Андрея! дайте мнѣ его, дайте, мама, скорѣе, скорѣе!“ Чувство требовало удовлетворенія. И вотъ къ концу урочнаго года, когда Ростовы въ Москвѣ готовили уже приданое, подвернулся, не безъ участія „прекрасной Елены“, блестящій братъ ея, Анатолий Курагинъ, глупый и пустой малый, но необыкновенно красивый. Въ чаду своего сильно возбужденнаго состоянія, въ жару любви, требовавшей взаимности и, вмѣсто того какъ бы покинутой, какъ бы отвергнутой на цѣлый годъ, Наташа сама не замѣтила, какъ плѣнилась красотой Анатолия, и такъ какъ эта красота была только физическая (душевными качествами не блисталъ молодой Курагинъ), то и самое увлеченіе дѣвушки было физическое. Пали всѣ нравственныя преграды между нею и соблазнителемъ (выдавшимъ себя за холостого, тогда какъ онъ былъ женатъ гдѣ-то въ Варшавѣ), и дѣло дошло бы до побѣга, не спохватись во время родственница Ростовыхъ, Ахросимова, у которой они остановились въ Москвѣ. Пріѣхалъ Андрей, произошелъ разрывъ и катастрофа. Прежняя надменность, прежнее высокомерное презрѣніе, но еще съ большею раздражительностью и желчью, поднялись со дна души молодого Болконскаго. Онъ не хотѣлъ болѣе слышать о Ростовыхъ и Наташѣ; онъ не хотѣлъ никакихъ объясненій, никакихъ оправданій, и самолюбіе, сатанинское, отцовское самолюбіе возобладало въ немъ надъ всѣми остальными чувствами...

Повторяемъ, четвертый томъ романа многое долженъ будетъ досказать намъ въ характерахъ Андрея и Наташи, и мы пока бродимъ ощупью. Какъ бы то ни было, добрая душа Пьера Безухова, несмотря на его тогдашнюю раздражительность и мистическое настроеніе, скорѣе Андрея откликнулась на страданіе дѣвушки, когда Анатолий оказался обманщикомъ, и любовь Андрея Наташа сама отвергнула подѣ влияніемъ внезапной страсти къ Курагину. Пьеръ сердцемъ почувствовалъ невинность Наташи; онъ разгадалъ и понялъ ее больше, чѣмъ способенъ былъ понять ее князь Андрей, и когда, ломая руки, она говорила ему, что не стоитъ добраго съ нею обращенія, онъ воскликнулъ, что если-бъ онъ былъ красивѣйшій, умнѣйшій и лучшій человекъ въ мірѣ и былъ свободенъ, то на колѣняхъ просилъ бы у нея любви и руки ея.

На этомъ моментѣ, на начинающемся просвѣтленіи и возрожденіи Пьера посредствомъ любви къ Наташѣ, первой любви его въ жизни, останавливается пока развитие романа, и дальнѣйшаго его теченія должно ожидать уже въ четвертомъ томѣ.

„Голосъ“ 1868 г.

Княгиня Болконская.

*) Маленькая княгиня Болконская одна изъ самыхъ очаровательныхъ женщинъ въ Петербургѣ; когда она говоритъ, бѣличья губка ея такъ граціозно притрагивается къ нижней, глазки ея такъ свѣтлы, дѣтски-капризные выходки такъ милы, кокетство такъ игриво: обо всемъ этомъ необходимо упомянуть, потому что въ этой губкѣ, глазкахъ, выходкахъ и кокетствѣ—вся маленькая княгиня. Она одинъ изъ тѣхъ прелестныхъ цвѣтковъ, назначеніе которыхъ украшать жизнь, одна изъ тѣхъ милыхъ дѣтей-куколокъ, для которыхъ жизнь—сегодня балъ у одной княгини, завтра

*) „Отеч. Записки“ 1868 г., т. 178, № 6, отд. 2. Статья Николаевой, подѣ заглавіемъ: „Наши Бабушки“. (По поводу женскихъ характеровъ въ романѣ „Война и Миръ“).

раутъ у другой, толпы поклонниковъ, наряды, болтовня о послѣднемъ спектаклѣ и анекдотъ при дворѣ, да легкое злословіе о фальшивыхъ зубахъ одной графини и волосахъ другой. Никогда ни одна серьезная мысль не мелькнула въ этихъ свѣтлыхъ глазкахъ, ни одинъ вопросъ о значеніи жизни не слеталъ съ этой мило приподнятой губки.

Этотъ прелестный цвѣтокъ перенесенъ изъ взростившей его теплицы и украшаетъ собою жизнь князя Андрея Болконскаго, это дитя-куполка — жена и готовится быть матерью. Въ князѣ Андрѣ авторъ желалъ представить одного изъ лучшихъ людей своего времени. Онъ честолюбивъ, но не мелкимъ честолюбіемъ, отличія и власть для него не цѣль, а средство сдѣлать что-либо истинно великое; онъ отказывается служить въ штабѣ, гдѣ занялъ бы одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ арміи, но сражается въ рядахъ, потому что именно тамъ рѣшается настоящее дѣло; онъ принимаетъ дѣятельное участіе во всѣхъ преобразованіяхъ того времени и даже критически относится къ нимъ; онъ изъ первыхъ обращаетъ крестьянъ своихъ въ вольныхъ хлѣбопашцевъ, хотя руководится при этомъ вовсе не понятіями о правахъ человѣка и сознаніемъ угнетеннаго положенія народа, но сознаніемъ глубоко растлѣвающего вліянія неограниченной власти одного человѣка надъ другимъ на самихъ помѣщиковъ, — сознаніемъ, невольно напоминающимъ намъ прискорбіе Митрофанушки о томъ, что матушка его устала, колотя батюшку. Князь Андрей человѣкъ мыслящій; онъ привыкъ останавливаться передъ каждымъ явленіемъ жизни, отдавать себѣ отчетъ въ каждомъ впечатлѣніи и доводить это даже до болѣзненности, и этотъ человѣкъ — мужъ очаровательнаго ребенка-куполки. Какъ это случилось, намъ не говоритъ авторъ. Вѣроятно, онъ, какъ и всякій смертный, увлекся игривымъ кокетствомъ хорошенькой куполки и, благодаря романическому духу времени, украсилъ свое увлеченіе громкимъ именемъ любви, напелъ смыслъ въ этой дѣтской болтовнѣ и смѣхѣ, въ этихъ хорошенькихъ глазкахъ много чувства и мысли, и вообразилъ, что эта куполка есть именно подруга, созданная для

него. Разумѣется, онъ не замедлилъ убѣдиться въ своей ошибкѣ. Мы застаемъ ихъ черезъ полгода послѣ свадьбы. Хорошенькая куколка и послѣ замужества осталась тою же хорошенькой куколкой. Близость съ такимъ человѣкомъ, какъ князь Андрей, не принесла рѣшительно ничего маленькой княгинѣ. Она и съ мужемъ выдѣлываетъ тѣ милыя штучки невинно-игриваго кокетства, какъ и съ идютомъ Ипполитомъ Курагинымъ; мужъ обращается съ нею съ холодной вѣжливостью, какъ съ посторонней женщиной. Онъ тяготится жизнью, въ которой нѣтъ простора его силамъ, мечтаетъ о славѣ, о подвигахъ, а она пристаётъ къ нему съ упреками, отчего мы женщины всѣмъ довольны и ничего не хотимъ; онъ собирается ѣхать въ армію, потому что война единственно доступный ему путь къ его цѣлямъ, а она плачется тономъ обиженнаго ребенка, зачѣмъ онъ покидаетъ жену свою въ такомъ положеніи,—и безъ того, при помощи ея дяди, онъ могъ бы устроить себѣ блестящую карьеру и быть флигель-адъютантомъ! Разладъ между ними растетъ, страдаютъ оба. Страдаетъ маленькая княгиня, насколько можетъ страдать, когда забудетъ о балахъ, поклонникахъ и придворныхъ новостяхъ; она все-таки любить своего мужа, насколько ея маленькое сердечко способно любить, какъ любила бы всякаго прекраснаго молодого человѣка, который бы сдѣлался ея мужемъ. Избалованная свѣтомъ, вѣроятно, избалованная дома, какъ всѣ хорошенькія невѣсты, привыкшая къ поклоненію, къ обожанію, она ожидала того же отъ мужа, она оскорблена его холодною и пренебреженіемъ. „За что ты ко мнѣ перемѣнился, я ничего тебѣ не сдѣлала“,—упрекаетъ она. И въ самомъ дѣлѣ, за что ему было мѣняться къ ней. Глазки ея такъ же свѣтлы, кокетство такъ же мило-игриво, бѣличья губка ея, все такъ же граціозно слетая, притрогивается къ нижней, она попрежнему очаровательна, поклонники ея безпрестанно увѣряютъ ее въ томъ,—за что же мужу не любить ее, особенно теперь, когда она приобретаетъ новыя права на любовь его, готовясь быть матерью его ребенка? Никогда не понять этого ея хорошенькой го-

ловкѣ. Князь Андрей, какъ натура впечатлительная и нервная, страдаетъ несравненно болѣе; каждая дѣтски-капризная выходка, каждая игриво-кокетливая штучка жены дѣйствуетъ на него раздражительно до боли, какъ раздражающая фальшивая нота на музыкальное ухо, пустота и ничтожество жены составляютъ несчастіе его жизни, и въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда человѣкъ чувствуетъ неодолимую потребность высказаться, вызываютъ у него слѣдующую горькую филиппику противъ женщинъ. „Эгоизмъ, тщеславіе, тупоуміе — вотъ женщины, когда онѣ показываются, какъ онѣ есть“, и слѣдующій совѣтъ другу: „Никогда не женись, братъ, пока ты не скажешь себѣ, что ты сдѣлалъ все, что могъ, и до тѣхъ поръ, пока ты не перестанешь любить ту женщину, которую ты выбралъ, пока не увидишь ее ясно. Женись старикомъ никуда не годнымъ, а то пропадетъ все, что есть въ тебѣ хорошаго и высокаго, все истратится по мелочамъ“. Изъ этихъ словъ видно, что князь Андрей считаетъ любовь чѣмъ-то въ родѣ темной воды, застилающей зрѣніе, и роковой неотразимой силы, переворачивающей всего человѣка. „Если ты ждешь отъ себя что-нибудь впереди“, — продолжаетъ онъ свои жалобы, — „то на каждомъ шагу ты будешь чувствовать, что для тебя закрыто все, кромѣ гостинной, гдѣ ты будешь стоять на одной доскѣ съ лакеемъ и идиотомъ“. Мудрено понять, почему неудачная женитьба могла закрыть для князя Андрея все, чего онъ могъ ждать отъ себя впереди, а и онъ самъ и всѣ знавшіе его ждали многого. Съ неудачной женитьбой для него закрывалась одна сторона жизни — любви, семейнаго счастья; любовь и счастье необходимы человѣку, любовь поддержитъ его въ минуту утомленія, придастъ ему силы на трудъ и борьбу, но она далеко не все въ жизни, и если неудачная женитьба закрыла для князя Андрея эту радостную сторону жизни, то не могла же она закрыть остальныхъ — полезную дѣятельность, науку, славу. Еще мудренѣе понять, почему неудачная женитьба могла погубить въ князѣ Андрѣе все, что было въ немъ хорошаго и высокаго, или все, что есть хорошаго и высокаго въ человѣкѣ, все, что составляетъ

его нравственное достоинство? Такая жалоба могла бы вырваться у человѣка дюжиннаго, которому недоступны никакія другія стороны жизни, кромѣ тѣснаго міра семейныхъ радостей и печалей, но она совершенно неумѣстна и непонятна въ такомъ человѣкѣ, какъ князь Андрей. „Гостинная, сплетни, балы — вотъ тотъ міръ, изъ котораго я не могу выйти“, — жалуется онъ далѣе. Но почему же? Если жена его не могла жить безъ этого міра гостинныхъ, сплетенъ и баловъ, то развѣ она не могла жить въ нихъ безъ него? Стеречь жену было бы недостойно его самолюбія, да и напрасно; онъ самъ сознавалъ, что жена его „одна изъ тѣхъ рѣдкихъ женщинъ, съ которыми мужъ можетъ быть спокоенъ за свою честь“: маленькая княгиня не заразилась нравственною распушенностью своего круга, блестящей представительницею которой была великолѣпная красавица Эллень Безухая; увлечъся сильнымъ чувствомъ къ человѣку, способному внушить его, не могло ея кукольное сердечко, не то она поняла и оцѣнила бы мужа, и ей незачѣмъ было бы далеко искать. Что же могло заставить князя Андрея тратить такъ много своей жизни въ этомъ такъ презираемомъ имъ мірѣ гостинныхъ, сплетенъ и баловъ и по цѣлымъ часамъ показывать тамъ свою пренебрежительную усмѣшку и скучающее отчасти напускной слухой лицо? А вотъ что: хорошенькая женщина, окруженная поклонниками, неизбежно дѣлается предметомъ сплетенъ, и князь Андрей, презирая на словахъ этотъ міръ гостинныхъ, баловъ и сплетенъ, на самомъ дѣлѣ преклонялся передъ его законами — его имени не должна была коснуться ни малѣйшая сплетня. Ради этого, уѣзжая въ армію, онъ поступаетъ съ женой совершеннымъ деспотомъ: отвозитъ беременную женщину къ отцу своему, котораго та страшно боится, разлучаетъ съ ея друзьями, привычками, чтобы избавить ее отъ ухаживанья идиота Ипполита, къ которому почти ревнуетъ, несмотря на свою увѣренность къ женѣ. Маленькая княгиня, насильственно вырванная изъ родного ей мірка, скучаетъ невыносимо въ деревнѣ, хотя сознаніе, что она готовится быть матерью, могло бы открыть ей другой

міръ ощущеній, надеждъ, мыслей, который не одного ребенка превращалъ въ женщину. Авторъ часто упоминаетъ о ея счастливомъ спокойномъ взглядѣ беременной женщины, который смотритъ внутрь себя, но взглядъ этотъ чисто-физическое слѣдствіе ея положенія, взглядъ этотъ не отражаетъ ни одной разумной мысли объ ожидающихъ ее обязанностяхъ, ни тревоги о томъ, достойна ли она ихъ: ни одно слово, доказывающее это, не срывается съ ея теперь неграціозно-оттянутой бѣличьей губки; она даже сердится на свое положеніе, когда пріѣздъ свѣтскаго красавца напоминаетъ ей о ея родномъ мірѣ гостинныхъ, успѣховъ, поклонниковъ, и она, какъ „боевой конь, заслышавшій трубу“, готовится предаться привычному галопу кокетства, и чувствуетъ, насколько оно мѣшаетъ ея милымъ ребячествамъ и игриво-кокетливымъ выходкамъ. Даже въ минуту разрѣшенія, къ которой она могла бы приготовиться, она остается тѣмъ же жалкимъ ребенкомъ: она пугается и плачетъ дѣтски-капризными и даже нѣсколько притворными слезами, умоляя всѣхъ разувѣрить ее, что это не то, „не страшное, неизбежное то“.

Она умираетъ въ родахъ. Мужъ возвращается съ воскресшимъ чувствомъ любви къ куколкѣ-женѣ. Истекая кровью на Праценскихъ высотахъ и чувствуя смерть надъ собой, разочарованный въ своихъ мечтахъ и славѣ, князь Андрей вдругъ почувствовалъ, что жизнь дорога ему, и дорога именно семьей и женой. Отдаленіе сглаживаетъ черныя тѣни и угловатости предметовъ, все представляется въ смягченномъ видѣ, все, что больно терзало насъ, перестаетъ раздражать насъ, и мы можемъ спокойнѣе и потому безпристрастнѣе отнестись ко всему; тѣмъ сильнѣе это чувство, когда смерть грозитъ навсегда скрыть все отъ нашихъ глазъ, тутъ уже безпристрастно-спокойное отношеніе переходитъ въ любовное; передъ мракомъ открытой могилы, мы видимъ однѣ свѣтлыя стороны предметовъ, какъ бы незначительны онѣ ни были, и забываемъ остальные — это весьма естественное слѣдствіе живучести человѣка, отвращеніе природы его къ уничтоженію, заставляющее

жизнь цѣпляться за соломинку, лишь бы только поддержать послѣднюю искру. Подъ вліяніемъ этого чувства, и князь Андрей захотѣлъ жить для своей жены, этой пустой, ничтожной женщины, которой не хотѣлъ поручить воспитаніе сына (для дочери — эта пустая, ничтожная женщина была вполнѣ прекрасной воспитательницей), и его собственная холодность и пренебреженіе къ куколкѣ-женѣ показались жестокими и несправедливыми. Онъ возвращается съ твердымъ намѣреніемъ загладить все, но застаётъ жену при послѣднемъ издыханіи и читаетъ на безжизненномъ и прелестномъ личикѣ ея слѣдующій упрекъ: „Ахъ, зачѣмъ вы это, и что вы это со мной сдѣлали? Я никому зла не сдѣлала“. Князь Андрей глубоко потрясенъ и чувствуетъ, что виновать въ винѣ, которую ему не поправить и не забыть. Тяжело должно лечь на совѣсть каждого человѣка сознаніе, что онъ заставилъ страдать другого, хоть бы ребенка, тѣмъ болѣе, когда этотъ ребенокъ былъ близокъ и дорогъ ему; но князь Андрей обладаетъ особенной способностью мучить себя; онъ тоскуетъ цѣлые годы, воображаетъ, что все счастье въ жизни погибло для него, въ немъ даже совершается нравственный переворотъ: изъ скептика онъ дѣлается вѣрующимъ. „Не то убѣждаетъ“ — говоритъ онъ своему другу, масону Безухому, приводившему ему разныя умозрѣнія и доводы: „а то, когда чувствуешь, что оскорбилъ близкое и дорогое существо, и знаешь, что ничѣмъ загладить нельзя; заглядываешь, и видишь это страшное — тамъ ничего“. Такой переворотъ въ человѣкѣ, какъ князь Андрей, могла бы еще произвести смерть существа, съ которымъ онъ былъ бы связанъ крѣпкой связью пониманія и любви, съ которымъ онъ бы привыкъ дѣлить каждое чувство и мысль. При жизни жены, онъ, какъ скептикъ, не могъ чувствовать себя связаннымъ съ нею религіозными узами брака; какъ человѣкъ, проникнутый семейнымъ началомъ, онъ могъ чувствовать къ ней родъ привязанности, какъ къ женщинѣ, носившей его имя и матери его ребенка; но всѣ эти связи не крѣпкая живая связь чувства, все это привито къ человѣку извнѣ; разрывъ ихъ не за-

ставить сердце дрогнуть мучительной болью, — оставалось только влеченіе мужчины къ хорошенькой женщинѣ, отдавшей ему свою молодость и свѣжесть, съ чего же было взаться вдругъ годамъ тоски, какъ могла смерть куколки произвести такой переворотъ? Подъ вліяніемъ своей нервной, впечатлительной натуры, еще слабый отъ вынесенной болѣзни и недавней раны, князь Андрей на лицѣ умершей жены читаетъ цѣлую повѣсть глубокихъ затаенныхъ страданій, которыхъ маленькая княгиня никогда не была способна перечувствовать. Она весьма естественно огорчалась холодностью мужа, его обиднымъ пренебреженіемъ, чувствовала себя оскорбленной, но по-дѣтски, мимолетно, и вспыхнувъ немножко, она черезъ минуту готова была въ сотый разъ также звонко смѣяться, рассказывая о фальшивыхъ зубахъ одной графини, о волосахъ другой. Она любила своего мужа; но балы, наряды и успѣхи въ свѣтѣ столько же; и если бъ ей пришлось выбирать между мужемъ и всѣмъ этимъ, она была бы еще несчастнѣе, лишившись всего этого, чѣмъ любви мужа. Не въ холодности и отчужденіи своемъ къ женѣ долженъ былъ упрекать себя князь Андрей: она была естественнымъ, невольнымъ и потому вполне законнымъ слѣдствіемъ ничтожества самой маленькой княгини; но въ томъ, что онъ позволилъ себѣ увлечься ею, связавъ ее съ собой, и лишивъ ее возможности счастья съ другимъ человѣкомъ по плечу ей, который могъ бы восхищаться ея милымъ ребячествомъ, игриво-кокетливыми выходками, и былъ бы первымъ изъ ея поклонниковъ въ свѣтѣ. Зачѣмъ вы выбрали меня, когда не могли любить такой женщины, какъ я? Я не общалась вамъ ничего, я ничего не знала, а вы, вы умный человѣкъ, вы, у котораго есть и опытъ и знаніе жизни и людей, зачѣмъ же вообразили, что я могу быть той женой, которая нужна вамъ, общали мнѣ любовь и счастье для того, чтобы потомъ съ презрѣніемъ оттолкнуть меня — вотъ тотъ упрекъ, который князь Андрей долженъ бы былъ прочесть на лицѣ умершей жены, и котораго маленькая княгиня не умѣла въ жизни высказать такъ сознательно.

Останься въ живыхъ маленькая княгиня, — послѣ первыхъ радостей свиданія, жизнь ихъ пошла бы прежнимъ порядкомъ. Темныя тѣни и угловатости, смягченныя отдаленіемъ, выступили бы снова, по прежнему ея милое ребячество и игривое кокетство стали бы коробить до боли князя Андрея; разавѣ что подѣ вліяніемъ предсмертнаго раскаянія и чувства къ ней, какъ къ матери своего ребенка, онъ сталъ бы искуснѣе скрывать свое пренебреженіе къ хорошенькой куколкѣ-женѣ, и бросать ей въ подачку снисходительную ласку; но женщину, хоть бы и такую куколку, какъ маленькая княгиня, трудно провести на этотъ счетъ, и снова надувая сердито бѣличью губку, маленькая княгиня дѣтски-капризнымъ голосомъ стала бы упрекать мужа за то, что онъ не любитъ ее, и удивляться, отчего это мужчины ничѣмъ не довольны, а намъ, женщинамъ, ничего не надо въ жизни. И раскаяніе князя Андрея и любовь, воскресшая на Праценскихъ высотахъ, все изгладилось бы передъ ежедневнымъ всеильнымъ вліяніемъ жизни, передъ тѣми неумышленными безпрестанными оскорбленіями, которыя неизбѣжно наносятъ другъ другу люди совершенно разныхъ характеровъ, понятій, связанные вмѣстѣ неразрывными для нихъ цѣпами. Но маленькая княгиня умерла, оставивъ по себѣ репутацію отлетѣвшаго ангела, какую всегда оставляетъ для чувствительныхъ душъ каждая умершая молоденькая и хорошенькая женщина, если она только не положительно вѣдьма, а въ многочисленныхъ поклонникахъ своихъ воспоминаніе о прекрасномъ цвѣткѣ, скошенномъ такъ рано безжалостною рукою смерти. Но мы, увы, настолько жестокосерды, что не можемъ признать эту руку слишкомъ безжалостной.

Николаева (М. К. Цебрикова).

Марія Болконская (княжна).

*) Некрасивая сестра князя Андрея, княжна Марія Болконская не похожа на свою куколку-невѣстку — это натура, при всей ея ограниченности, несравненно болѣе глубокая и симпатичная; она не можетъ удовлетвориться блестящей внѣшностью, даже если бы она была хорошенькая: наряды, выѣзды, балы, успѣхи въ свѣтѣ не могли бы наполнить ея жизнь; ей нужно другое, лучшее, сознаніе исполненнаго долга, свое дорогое святое, къ чему привязаться. Для нея возможна одна жизнь — жизнь сердца, которую столько мыслителей и поэтовъ считаютъ единственно доступной для женщины.

Авторъ часто упоминаетъ о мысли, свѣтившейся въ прекрасныхъ лучистыхъ глазахъ ея, но именно мысли и вѣтъ въ жизни княжны Марьи. Робкая и покорная, какъ всѣ ограниченныя натуры, она живетъ жизнью безграничной преданности и самоотверженія, она умѣетъ только любить и безотвѣтно покоряться. Умъ ея совершенно не развитъ, хотя она и имѣла случай получить такое воспитаніе, какое не получали другія дѣвушки въ ея время. Отецъ ея, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей вѣка Екатерины, самъ воспитывалъ ее, но рѣзкій, нетерпѣливый, онъ запугалъ и безъ того не блестящія способности ея, и ученіе было для княжны Марьи однимъ изъ многочисленныхъ мученій ея жизни. Когда умъ спитъ, тѣмъ сильнѣе потребности сердца. Но некрасивая наружность княжны Марьи, непривлекательность которой она преувеличиваетъ себѣ, дѣлаетъ для нея невозможною любовь мужчины и семейное счастье. Она видитъ въ этомъ перстъ Божій, начертавшій ей ея путь въ жизни, и заглушаетъ въ себѣ малѣйшую мечту о счастьи, какъ дьявольское навожденіе; „моя жизнь есть жизнь са-

*) „Отеч. Записки“ 1868 г., № 6. Статья Николаевой (М. К. Цебриковой), подъ заглавіемъ: „Наши Бабушки“. (По поводу женскихъ характеровъ въ романѣ „Война и Миръ“.

моотверженія и любви“, говоритъ она, и свою жажду любви переносить на немногихъ близкихъ людей, отца, брата, племянника, и всю жизнь свою отдаетъ имъ, но самоотверженіе ея бесплодно, и любовь ея не приноситъ ей самой ничего, кромѣ страданій. Она страстно обожаетъ отца и страдаетъ. Отецъ ея, вліятельный человѣкъ при Екатеринѣ и сосланный при Павлѣ въ деревню, какъ и всѣ честолюбивые и энергическіе люди, осужденные на насильственное бездѣйствіе, тратитъ на пустяки свою потребность дѣятельности и административныя способности, которыя, не находя сродной имъ почвы, вырождаются въ мелочной неумолимый деспотизмъ и самодурство. Все въ домѣ преклоняется передъ его желѣзной волей, все трепещетъ его взгляда, жизнь домашнихъ должна идти какъ хорошо устроенная машина по указанному имъ пути. Дѣятельность — вотъ счастье, говоритъ онъ, и занять цѣлый день; у него на все опредѣленные часы: на точенье, постройки, занятія съ дочерью, писаніе записокъ, — и онъ воображаетъ, что дѣлаетъ дѣло, какъ бѣлка въ колесѣ воображаетъ, что бѣжитъ. Онъ и дочери устраиваетъ то же счастье. Княжна Марья безропотно сноситъ все; она не только не смѣетъ жаловаться, она рада бы и не это снести, лишь бы обожаемый отецъ взглянулъ на нее съ любовью, сказалъ ей ласковое слово; въ любви своей къ нему она доходитъ до полнѣйшаго униженія человѣческаго достоинства, до самаго рабскаго подобострастія. Отецъ зоветъ ее дурой, упрекаетъ въ безобразіи, и она не думаетъ возмущаться; она не позволяетъ себѣ не только понимать недостатки отца, но нарочно отводитъ себѣ глаза, чтобы не видѣть ихъ; отецъ ея въ минуту гнѣва бьетъ стараго вѣрнаго слугу, а она терзается одной мыслию, какъ держать себя прилично такому случаю: сохранить-ли печальный видъ, чтобы выказывать сочувствіе къ дурному расположенію отца и тѣмъ вызвать привычный упрекъ, что она вѣчно готова хныкать, или сдѣлать видъ, что ничего не замѣчаетъ и тѣмъ, еще хуже, заставить подозрѣвать себя въ преступномъ равнодушіи къ огорченію отца. Когда выжившій изъ ума

старикъ, со злобы, на ненавистную ему женитьбу сына, приближаетъ къ себѣ ловкую интриганку, Бурьенъ. которая, пользуясь его слабостью, хочетъ выгодно обезпечить себя, она и тутъ упрекаетъ себя въ черныхъ мысляхъ. И въ награду за эту безграничную преданность, на которую уходятъ ея лучшіе годы, она видитъ пренебреженіе, холодность; она чувствуетъ, что между нею и отцомъ никогда не будетъ той крѣпкой связи, какъ между имъ и ея братомъ; она сознаетъ, что она для отца не болѣе ничтожнаго винта въ машинѣ, что она нужна ему лишь для того, чтобъ онъ могъ положенные часы тратить съ нею на уроки геометріи, и видѣть лицо ея на привычномъ мѣстѣ, какъ необходимую принадлежность домашняго порядка—и страдаетъ. Она обожаетъ брата и невѣстку, и страдаетъ за разладъ ихъ, причины котораго не можетъ понять; она страдаетъ вдвойнѣ, чувствуя, что, несмотря на всю любовь свою къ брату, она ничѣмъ не можетъ быть въ его жизни, что у него есть свой міръ идей, занятій, плановъ, въ которомъ ей нѣтъ мѣста; она страдаетъ несчастіями брата, но она не можетъ утѣшить его: она можетъ только плакать съ нимъ да указать ему тотъ путь, въ которомъ она нашла утѣшеніе, которое не можетъ утѣшить брата. Она страстно привязывается къ племяннику, но любовь ея и самоотверженная преданность бесполезны и даже вредны для ребенка, а ей самой приносятъ новыя мученія. Она терзается и за здоровье ребенка и за его ученіе. Она сама учитъ его, но эта болѣзненная любовь усиливаетъ ея раздражительность, неизбежное слѣдствіе ея жизни, гнета и страха; она въ свою очередь запугиваетъ ребенка и отталкиваетъ его отъ ученья; за лѣнностью слѣдуетъ неизбежное наказаніе, послѣ котораго она ужасается своей злобы и обливается слезами раскаянія, а ребенокъ выбѣгаетъ изъ угла утѣшать ее. А между тѣмъ воспитаніе дѣтей есть именно то дѣло, всегда доступное жещинѣ, въ которомъ любящая натура княжны Марьи могла бы найти цѣль жизни; но для того, чтобъ быть воспитательницею, ей надо было сначала перевоспитать себя, — а это удѣлъ не-

многихъ сильныхъ натуръ,—или самой вырости въ рукахъ воспитателей, которые смотрѣли бы на нее не какъ на живой матеріалъ для выдѣлки по той или другой теоріи, но какъ на личность, имѣющую свои права, изъ которой надо приготовить полезнаго члена обществу. Князь Андрей, чтобы сынъ не сдѣлался „слезливой старой дѣвкой“, какъ говоритъ старый Болконскій, спѣшитъ взять ему гувернера, и княжнѣ Маріи остается одно—изливать свои чувства въ перепискѣ съ пріятельницей и въ молитвѣ.

Разъ всего эта томительно-однообразная жизнь гнетает и страха была нарушена—пріѣздомъ жениха. Сердце княжны Марьи вспыхнуло любовью, когда она еще не успѣла видѣть этого человѣка, посланнаго ей Провидѣніемъ, и узнало новыя терзанія. Она терзается мыслью о томъ, отдастъ ли ее отецъ; она терзается страхомъ, что некрасивая наружность ея оттолкнетъ жениха; она видитъ, наконецъ, жениха, и терзается опасеніемъ, что не умѣла показать ему свою внезапно вспыхнувшую любовь, и заставляетъ отца злиться на нее за недостатокъ чувства собственнаго достоинства, когда онъ самъ все дѣлалъ, чтобы забыть его въ ней, и на то, что стоитъ явиться мужичи—и отецъ забыть. Такіе легкомысленные кутилы, какъ Анатолий Курагинъ, обладаютъ, къ несчастію, особенной способностью увлекать женщинъ, особенно тѣхъ, которыя выросли подъ гнетомъ; ихъ лица, сіяющія беззаботной радостью, кажутся еще прекраснѣе для глазъ, привыкшихъ къ хмурымъ лицамъ и угрюмымъ взглядамъ; свобода и непринужденность ихъ въ обращеніи, происходящая отъ полного довольства собой и жизнью, тѣмъ неотразимѣе дѣйствуютъ на робкія забитыя существа, привыкшія дрожать за каждое слово, взглядъ. Съ перваго взгляда на Анатолия княжна Марья убѣждается, что этотъ прекрасный мужчина съ открытымъ, свѣтлымъ взглядомъ, добръ, великодушенъ, словомъ, одаренъ всевозможными добродѣтелями, и непременно сдѣлаетъ ея счастье; въ мечтахъ своихъ она видитъ себя уже счастливой женой и матерью съ ребенкомъ у груди, а этого прекраснаго мужчину мужемъ, который съ любовью смотритъ на нее. Надежды на любовь жестоко

обманываютъ бѣдную дѣвушку, и ей остается одно прибѣжище отъ жизни самоотверженія, которая начинается уже утомлять ее,—религія. Но нравственно искалѣченная княжна Марья неспособна понять человѣческую сторону евангельскаго ученія, ученія дѣятельной любви и братства; счастье не далось ей, ни брату ея, и она убѣдилась въ невозможности и грѣховности счастья: неспособная понять, насколько само челоѣчество виновато въ своихъ страданіяхъ и несчастіяхъ собственнымъ неумѣньемъ разумно устроить жизнь сею, она сочла страданье неизбѣжнымъ закономъ жизни, отдалась мечтамъ о страданіи, подвигахъ, стала собирать около себя разныхъ божьихъ людей, благоговѣнно слушать рассказы о томъ, какъ у матушки изъ щечки потекло миро, а во лбу засіяла звѣзда. Въ княжнѣ Марьѣ находятъ повтореніе Лизы „Дворянскаго Гнѣзда“; нѣкотораго сходства отрицать нельзя: обѣ считаютъ счастье грѣхомъ, и монастырь, которымъ кончается Лиза, стоитъ божьихъ людей княжны Марьи; но выстѣ съ тѣмъ какая разница: Лиза возмущена неправдами окружающей ее жизни, не одна разбитая надежда на счастье, но и желаніе замолить всю эту неправду гонитъ ее въ монастырь; въ княжнѣ Марьѣ нѣтъ ни малѣйшаго сознанія неправды, окружающей ее жизнь; Лиза несравненно болѣе женщина, чѣмъ княжна Марья; она знаетъ, за что любитъ; она полюбила Лаврецаго, увидѣвъ, что они любятъ и не любятъ одно и то же, его невѣріе тревожитъ ее; ей нужно, чтобы между ею и любимымъ челоѣкомъ была полная нравственная связь,—а княжна Марья, узнавъ, что Анатоль Курагинъ пріѣхалъ женихомъ, уже пылаетъ къ нему страстью, и видитъ себя въ мечтахъ уже матерью съ ребенкомъ у груди—его ребенкомъ, и потомъ, заставъ Бурьенъ въ его объятіяхъ, она оправдываетъ ее по чувству христіанской любви и снисхожденія, но сознавая въ душѣ, что на ея мѣстѣ, она сдѣлала бы то же самое. И это для челоѣка, котораго она видѣла въ первый разъ въ жизни, чья репутація кутилы и развратника, котораго сочли за нужное отдалить отъ родной сестры, должна была бы оттолкнуть ее. Ея готовность не размышляя принять въ су-

пруги человѣка, указаннаго ей Провидѣніемъ, потому что бракъ есть божеское установленіе, которому женщина обязана подчиняться, — какъ она писала своей подругѣ, — въ сущности, оказывается готовностью кинуться въ объятія перваго встрѣчнаго мужчины — очень грубая и некрасивая подкладка для мистицизма, но мы это встрѣчаемъ въ жизни на каждомъ шагу.

Княжна Марья старѣется, продолжая самоотвергаться для отца, жизнь ея становится все нестерпимѣе. Отецъ находитъ злобное удовольствіе мучить и оскорблять ее на каждомъ шагу; онъ презираетъ ее и какъ неудавшуюся попытку воспитанія по своей теоріи и какъ дуру за ее божьихъ людей, которые ненавистны ему, какъ ненавистно умному человѣку всякое уродство. То растлѣвающее вліяніе неограниченной власти одного человѣка надъ другимъ человѣкомъ, которое, какъ замѣтилъ князь Андрей, имѣло на стараго Болконскаго крѣпостное право, выказывается во всемъ своемъ безобразіи и безнравственности и въ отношеніяхъ отца къ дочери. Человѣкъ, поставленный надъ другими, обязанными безпрекословно повиноваться ему, весьма естественно привыкаетъ считать за ничто права этихъ людей; ихъ удобства, желанія, самое счастье — ничто передъ его волей, передъ его малѣйшей прихотью. Если онъ уменъ, въ немъ можетъ проснуться сознаніе несправедливости такого порядка, но привычка беретъ свое. Старикъ Болконскій понималъ очень хорошо, что жизнь дочери въ его рукахъ, что онъ лишаетъ ее счастья, обрекаетъ на одиночество. Ея печальный видъ служить ему постояннымъ упрекомъ и становится нестерпимъ ему, какъ нестерпимъ каждому деспоту видъ его жертвы; ея безотвѣтная покорность, неустанная преданность и любовь раздражаютъ его еще болѣе; если бъ княжна Марья жаловалась, упрекала его, ему было бы легче, онъ могъ бы счесть себя оскорбленнымъ въ своихъ правахъ отца и найти себѣ оправданіе въ своихъ собственныхъ глазахъ; но ея безропотная покорность лишаетъ его всякой возможности оправданія, и тяжелое чувство собственной виновности онъ вымещаетъ на ней же. Онъ самъ

несчастенъ оттого, что мучить ее и не можетъ не мучить. Кажется, чего бы проще было ему, сознавая себя виновнымъ въ душѣ,—сознаніе, которое высказалось въ немъ въ минуту смерти,—измѣнить свое обращеніе съ дочерью и постараться устроить ей ту жизнь, которая была нужна ей; но для этого, во-первыхъ, нужно нарушить установленный имъ самимъ ходъ жизни, а это, не говоря уже о трудности измѣнить въ его лѣта привычкамъ годовъ, немислимо было для него, какъ деспота, потому что деспоты вообще, за недостаткомъ уваженія къ чужимъ правамъ, питаютъ глубочайшее благоговѣніе къ малѣйшему дѣянію собственной особы; во-вторыхъ, это значило бы признать себя виновнымъ въ глазахъ другихъ, а этого онъ не могъ допустить, этому мѣшало и всосанное съ молокомъ матери понятіе о власти родителей надъ дѣтьми, и пренебреженіе мужчины къ этому низшему и подчиненному существу — женщинѣ. Еще проще было бы при такихъ отношеніяхъ развѣхаться, но хотя старикъ Болконскій въ минуту бѣшенства, сжимая кулаки, кричитъ: „И никто не возьметъ эту дуру замужъ!“ онъ былъ бы очень недоволенъ, если бы эта дура вышла замужъ, и потому отваживается всѣхъ жениховъ. Что бы случилось тогда съ его потребностью мучить и оскорблять эту дуру, имѣть въ рукахъ еще одну подвластную ему жизнь! Мысль оставить отца не приходитъ на умъ княжнѣ Марьѣ; перстъ Божій, опредѣлившій ей жизнь въ домѣ отца, указываетъ одинъ выходъ—въ домъ мужа, и княжна Марья лучше вынесетъ всѣ муки, чѣмъ не подчинится этому указанію.

Съ отцомъ ея дѣлается ударъ, и княжна Марья переноситъ во время болѣзни его ту мучительную борьбу, которую переносить и придется переносить тысячамъ женщинъ, когда онѣ видятъ, что жизнь свободная, жизнь безъ вѣчнаго гнета и страха открывается имъ единственно смертью дорогого, близкаго имъ человѣка, съ которымъ онѣ связаны священнымъ и страшнымъ для нихъ долгомъ. Княжна Марья ухаживаетъ за отцомъ со всею своею не измѣняющеюся ни на минуту преданностію, но страшно сказать, несмотря на

всю свою страстную любовь къ отцу, несмотря на всю свою религіозность, она испытываетъ странное чувство: облегченіе при видѣ умирающаго отца. И она часто невольно слѣдитъ за отцомъ не съ надеждой найти признаки облегченія болѣзни, но—желая найти признаки приближающагося конца. Страшно было княжнѣ Марьѣ сознавать въ себѣ это чувство, но оно было въ ней. „И что было еще ужаснѣе для княжны Марьи,—говоритъ далѣе авторъ,—это было то, что со времени болѣзни ея отца (даже едва ли не ранѣе, когда она, ожидая чего-то, осталась съ нимъ), въ ней проснулись всѣ заснувшія, забытыя личныя желанія и надежды. То, что годами не приходило ей въ голову—мысли о свободной жизни безъ страха отца, даже мысли о возможности любви и семейнаго счастья, какъ искушенія дьявола безпрестанно носились въ ея воображеніи“.

Напиши эти строки другой кто, а не писатель, такъ глубоко проникнутый семейнымъ началомъ, какъ Л. Толстой, какая поднялась бы буря криковъ, намековъ, обвиненій въ разрушеніи семьи и подрываньи общественнаго порядка. А между тѣмъ нельзя ничего сильнѣе сказать противъ порядка, закрѣпляющаго женщину, что сказано этимъ примѣромъ любящей, безотвѣтной, религіозной княжны Марьи, привыкшей всю жизнь свою отдавать другимъ и доведенной до противоестественнаго желанія смерти родному отцу. Не Л. Толстой учить насъ, но сама жизнь, которую онъ передаетъ, не отступая ни передъ какими проявленіями ея, не нагибая ея ни подъ какую рамку.

Княжна Марья съ ужасомъ давитъ въ себѣ это чувство, настраиваетъ себя на мысль о томъ, что смерть отца страшное несчастье для нея, и успокоивается; но утромъ, въ минуту пробужденія, когда міръ привычныхъ понятій, естественныхъ условій и отношеній не успѣлъ еще охватить человѣка, и онъ бываетъ правдивъ и искрененъ, бываетъ вполне самимъ собой, какъ бываютъ искренни люди только въ минуту смерти,—она съ содроганіемъ чувствуетъ, что это страшное, безчеловѣчное желаніе именно и есть ея настоящее чувство. Какъ ни дави, какъ ни насилуй жизнь во

имя теорій, она скажется и восторжествуетъ. Какъ ни заглушала въ себѣ годами княжна Марья свою грѣховную жажду счастья и свободы, все-таки эта жажда жила въ ней; какъ ни устремляла она всѣ надежды свои и желанія къ блаженству загробной жизни, все-таки она сознавала, что эта вѣчная загробная жизнь для вѣрующихъ есть отдыхъ, успокоеніе, безмятежное пристанище; а жизнь съ ея стремленіями, надеждами, тревогами, настоящая жизнь есть жизнь земная, и она не могла не чувствовать, что отецъ ея стоялъ между нею и этой грѣшной, но такъ дорогой жизнью. „И она чувствовала, — говоритъ авторъ, — что со смертью отца ее охватываетъ другой міръ, міръ трудной и свободной дѣятельности“. Она хочетъ молиться, но молитва въ эти минуты, когда рѣшается вопросъ ея жизни, оказывается безсильна. Женщину, въ которой зашевелилась бы мысль, это состояніе навело бы на цѣлый рядъ размышленій, которыя произвели бы благодѣтельный переломъ; очнувшись отъ мистическихъ стремленій, она стала бы трезво глядѣть на жизнь, потребность сознанія исполненнаго долга перешла бы въ жизнь пользы и дѣла, и потребность горячо, крѣпко привязаться нашла бы себѣ достойную цѣль. Но для княжны Марьи нѣтъ выхода въ міръ „трудной и свободной дѣятельности“. Она уничтожена разрушеніемъ прежняго міра безотвѣтной преданности и самоотверженія, на который она потратила лучшіе годы своей жизни, и жизнь ея со смертью отца теряетъ смыслъ; нѣтъ болѣе мѣста для борьбы между грѣховными желаніями и покорностью волѣ Провидѣнія, этимъ душевнымъ подвигамъ, которые были ей необходимы, какъ отцу ея его постройки, теченье, уроки. „Да онъ не придетъ болѣе мѣшать тебѣ“, — злобно упрекаетъ она себя за свои преступныя желанія, и съ радостью вспоминаетъ послѣднія ласковыя слова отца къ себѣ въ минуту смерти, когда естественная привязанность отца къ дочери, задавленная годами деспотизма, нелѣпыми отношеніями, высказалась, наконецъ; она цѣпляется за нихъ какъ за единственное доказательство, что она была нужна ему, что она прожила столько лучшихъ годовъ не даромъ. Но те-

перъ, что ей дѣлать со своею жизнью? Впрочемъ, княжна Марья не остается долго въ неизвѣстности, куда пристроить свою самоотверженную любовь. Рыцарь Ростовъ, двумя оплеухами усмирившій бунтовавшихъ крестьянъ, является ей какъ спаситель, посланный небомъ; встрѣча съ нимъ въ то время, когда свадьба сестры его съ ея братомъ разстроилась, кажется особенно знаменательной княжнѣ Марьѣ, и она чувствуетъ, что любить и будетъ вѣчно любить этого прекраснаго, благороднаго, великодушнаго спасителя. Самъ Ростовъ, какъ слѣдуетъ рыцарю, очаровывается лучистыми глазами спасенной дамы, которые заставили его забыть некрасивость ея лица. Здѣсь останавливается разсказъ. Будетъ ли княжна Марья всю жизнь томиться безнадежной вѣчной любовью къ своему спасителю, или эта участь выпадетъ на долю вѣрной Сонѣ, характеръ княжны Марьи обрисованъ вполне: — останется ли она плаксивой старой дѣвой, утѣшающейся своими божьими людьми, или сдѣлается счастливой супругой и будетъ самоотвергаться для страстно-обожимаго мужа, который отдастъ ей время, свободное отъ охоты, пировъ полковой службы, она останется все тѣмъ же бесполезнымъ существомъ, неспособнымъ къ разумной жизни. А между тѣмъ нельзя не задуматься надъ жизнью княжны Марьи; это жизнь многихъ женщинъ. Для того, чтобъ годами калѣчить себя, подавляя естественную жажду счастья и свободы, для того, чтобъ отстаивать хоть бы божьихъ людей отъ деспота отца — нужна сила. Эта сила не крупная, она сама собой не найдетъ дорогу во мракъ, она не сдѣлаетъ ничего сама собой, но все-таки жалъ и этой силы, погибшей безплодно, потому что этихъ силъ много. Соберите въ одно эти разбросанныя, задавленные, угасающія силы, укажите цѣль этой способности привязаться, этому самоотверженію, этой потребности подвиговъ — и эти силы пойдутъ за учителемъ всюду, куда онъ ни поведетъ ихъ, онъ не измѣнитъ ему для мелкихъ личныхъ выгодъ, для мишуры свѣта; труды, лишенія, страданія не испугаютъ ихъ, и много сдѣлаютъ эти маленькія силы, собранныя воедино и направленные на прямой путь.

Николаева (М. К. Цебрикова).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

собственныхъ именъ, названій журналовъ, газетъ,
книгъ, статей и т. п., встрѣчающихся на страницахъ
четвертой части „Русской критической литературы
о произведеніяхъ Л. Н. Толстого“.

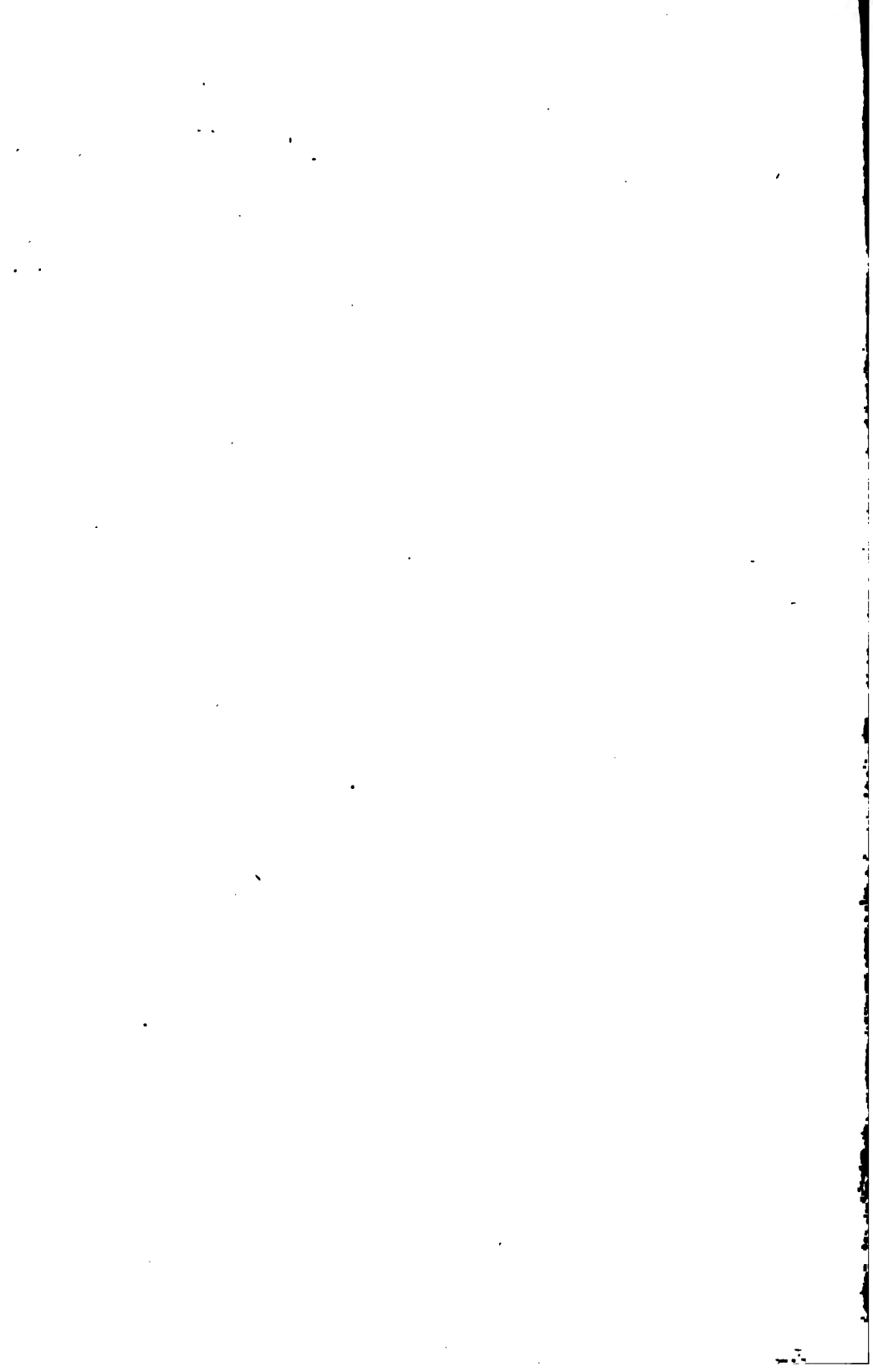
- | | |
|---|--|
| <p>Александръ І. 2, 4, 6, 12, 23,
24, 25, 27, 28, 31, 40, 43,
53, 54, 63, 67, 73, 78, 101,
108, 136, 139, 165, 202, 203,
204.</p> <p>Апраксинъ, С. 96.</p> <p>Аракчеевъ. 2, 3, 6, 8, 18, 19,
21, 27, 31, 195, 205.</p> <p>Ахшарумовъ. 62, 126—129, 166,
167, 191, 192, 195—202,
205—210.</p> <p>Багратіонъ. 2, 6, 16, 23, 24, 32,
46, 80, 97, 98, 100, 103,
104, 105, 106, 107, 124, 140,
142, 143, 144, 145, 146, 169.</p> <p>Балашовъ. 31, 32, 41, 54, 71,
72, 101, 102, 108.</p> <p>Барклай-де-Толли. 32, 46, 57, 76,
83, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 111, 199.</p> <p>Бенингсенъ. 31, 32.</p> <p>Бертъ. 108.</p> <p>Билибинъ. 4, 25.</p> <p>Бицкой. 136.</p> <p>Богдаповичъ. 110.</p> <p>Буренинъ, В. П. 10—22, 64—76.</p> <p>Бутурлинъ, гр. 96.</p> <p>Бюжо. 123.</p> | <p>Валуевъ. 74, 96.</p> <p>Вальтеръ-Скоттъ. 52, 53.</p> <p>Васильчиковъ. 103.</p> <p>Вейротеръ. 5, 16, 17, 198.</p> <p>Викторъ. 90.</p> <p>Вилліе. 107.</p> <p>Вистицкій. 84.</p> <p>Витгенштейнъ. 76, 107.</p> <p>«Военный Сборникъ». 75, 93.</p> <p>Волкова, М. 96.</p> <p>Вольтеръ. 192.</p> <p>«Всемирный Трудъ». 126, 166,
191, 195, 205, 207, 209, 221.</p> <p>Вяземская, Е., кн. 96.</p> <p>Гагаринъ, С., кн. 96.</p> <p>Гейне. 210.</p> <p>Гоголь. 121.</p> <p>Голицына, В., кн. 95.</p> <p>Голицынъ, А., кн. 99, 101.</p> <p>Голицынъ, С., кн. 95.</p> <p>Голицынъ, Ф., кн. 96.</p> <p>«Голось». 22—25—27, 36—51,
52—55—59, 62, 124—126,
137—139, 188—190, 202—
205, 230—233.</p> <p>Гомеръ. 7, 198.</p> <p>Граббе, гр. 99.</p> <p>Гурьева, гр. 96.</p> |
|---|--|

Гурьевъ, гр. 96.
 Гюго, В. 37, 226.
 Даву. 31, 100, 101, 102, 105, 123.
 Давыдовъ. 97, 110, 111, 115, 210.
 Данилевскій. 53, 107.
 Дантъ. 96.
 Дарю. 108.
 «Дворянское Гнѣздо». 246.
 Деңдельсъ. 90.
 Депперадовичъ. 105.
 Донгоружая, Е., кн. 96.
 Дохтуровъ. 97, 105.
 Драгомировъ, М. 111—123, 140—146.
 Дюма-сынъ, А. 37.
 Дюрофъ. 108.
 «Дѣтство». 10, 23.
 Жанлисъ. 110.
 Жолини. 47.
 Жуковскій. 76.
 Жуковъ. 46, 57.
 Загряжская, Н. 96.
 «Илиада», Гомера. 7.
 «Историческая эпоха въ романѣ графа Л. Н. Толстого», ст. А. Пятковского. 135, 165, 190.
 «Исторія Наполеона», Вальтеръ-Скотта. 52.
 «Исторія отечественной войны». 58.
 «Histoire de l'expédition de Russie», Chambray. 95.
 Моленкуръ. 54, 96, 108.
 Компанъ. 89.
 «Кому и въ какой степени принадлежить честь бородинскаго дня». 57.
 Корфъ, бар. 136.
 Кочубей, гр. 6.
 «Кочубей», кн. 96.
 Крестьянскія Дѣти», Некрасова. 226.
 Куракинъ. 108.
 Кутайсовъ. 76.

Кутузовъ. 2, 5, 6, 17, 23, 24, 45, 46, 47, 54, 56, 57, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 97, 98, 99, 110, 124, 139, 153, 199, 209.
 Лаваль, гр. 96.
 «L'affaire Clémenceaux», Ал. Дюма-сына. 37.
 Левенштернъ. 107.
 Лермонтовъ. 207.
 «Le mie Prigioni», Пеллико. 52.
 «Les Misérables», Виктора Гюго. 37.
 «Les Travailleurs de la mer», Виктора Гюго. 37.
 «Les Chevaliers du Cygne», Жанлисъ. 110.
 Ливенъ, кн. 96.
 Липранди, Н., 45, 46, 55—59.
 Литта, гр. 96.
 Лихтенштейнъ, кн. 102.
 Лористонъ. 96.
 Людовикъ Святой. 177, 178, 191.
 Магницкій. 23.
 Македонскій, Александръ. 70.
 Макъ. 90, 98.
 Мармонъ. 97.
 «Матеріалы для отечественной войны 12-го года», Липранди. 46, 56, 57.
 Мегметъ-Али. 97.
 Меньшиковъ, кн. 104.
 «Мертвыя Души», Гоголя. 52.
 «Мертвый Домъ», Достоевскаго. 52.
 Мерфельдтъ. 98.
 Милорадовичъ. 76, 97, 98.
 Михайловскій - Данилевскій. 83, 110.
 Мольеръ. 101.
 Монбренъ. 107.
 Муравьевъ, Н. 79.
 Мусинъ-Пушкинъ, А. И., гр. 96.
 Мутонъ. 108.
 Мюратъ. 24, 107.
 Нансutti. 107.

- Наполеонъ I. 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 123, 125, 126, 127, 137, 138, 139, 158, 162, 178, 181, 182, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 218.
- Наполеонъ III. 62.
- Нарышкинъ, А. 96.
- Нарышкинъ, Д. 96.
- «Наши Бабушки», Николаевой. 210, 233, 242.
- Невѣровскій. 107, 108.
- «Недѣля». 135, 165, 190.
- Некрасовъ. 226.
- Ней. 107, 123.
- Николаева. 210—221, 233—251.
- Норовъ, А. Е. 93—111.
- Ностицъ. 98.
- «Одесскій Вѣстникъ». 129, 163, 192, 223.
- «Оружейный Сборникъ». 111, 140.
- «Отечественныя Записки». 146, 167, 210, 233, 242.
- «Отрочество». 23.
- Павель I. 14.
- Паленъ, гр. 104.
- Пеллико. 52.
- Писаревъ, Д. 146—163, 167—188.
- Платовъ. 47, 87, 106, 107.
- «Полководецъ», Пушкина. 76.
- Понятовскій. 89.
- Потемкинъ. 33.
- Прадтъ. 55.
- «Прошлая Недѣля» («Романъ графа Льва Толстого и различіе между нынѣшнимъ обществомъ нашимъ и русскимъ обществомъ временъ Александра I-го»). Статья X. Л. 25, 36.
- Пушкинъ. 76.
- Пфуль. 32, 33, 50, 73, 103, 142, 198, 201.
- Пятковскій, А. 135—137, 165, 166, 190, 191.
- Раевскій. 76, 103, 137.
- Ренанъ. 37.
- Робеспьеръ. 191.
- Росточинъ, гр. 96, 101, 102, 110, 141.
- Румянцевъ, гр. 96, 101, 102, 110, 141.
- «Русскій Архивъ». 53, 79, 88.
- «Русскій Вѣстникъ». 1, 23.
- «Русскій Инвалидъ». 1—10, 76—93.
- «Русско-Славянскіе Отголоски». 59—64.
- Салтыковъ, гр. 101.
- Свѣчина, С. 96.
- Себастіани. 106, 107.
- «Севастопольскіе Разказы». 10.
- Сегюръ, гр. 108.
- Сиверсъ, гр. 54, 84.
- Сперанскій. 2, 3, 6, 8, 18, 19, 21, 23, 126, 127, 136.
- «С.-Петербургскія Вѣдомости». 10—22, 64—76.
- «Старое Барство», Д. Писарева. 146, 167.
- Строгонова, С., гр. 96.
- Строгоновъ, гр. 96.
- Суворовъ. 44, 45, 54, 63, 91, 99, 109, 110, 123, 141.
- Сычевскій, С. 129—135, 163—165, 192, 195, 223—230.
- Толстой, Н., гр. 96.
- Тормасовъ. 83, 103, 104, 107.
- Трошю. 123.
- Тутолмина, С. 96.
- Тучковъ. 89, 104.
- Тюренъ. 54, 63.
- «1805 годъ». 1, 3, 23.
- Тьеръ. 53.
- Уваровъ. 47, 87.
- Фетъ. 195.

Францъ, имп. Австрійскій. 4.	Шамбрэ (Chambray). 95, 106,
Фридрихъ Великій. 54, 63, 70.	107.
«Харьковскія Вѣдомости». 28—	Юлій Цезарь. 54, 62, 63, 109.
36.	«Юлій Цезарь», Наполеона III.
Чарторижскій. 173.	62.
Чичаговъ. 83.	Юсупова, кн. 96.
«Чтенія Исторіи и Древностей	Юсуповъ, кн. 96.
Россійскихъ». 45, 46, 56, 57.	



11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

12. Объяснительный словарь болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 коп. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска «Справочника по русскому правописанію»).

13. Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію. Опытъ группировки орфографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку).

14а. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приѣмовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. Изд. 3-е. М. 1902 г. Ц. 1 р.

15б. Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1891 г. Ц. 1 р.

16в. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1892 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

17. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ I. Изд. 4-е. М. 1902 г. Ц. 2 рубля. Выпускъ II. Изданіе 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.

18. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. Ц. 3 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Ц. 7 р. (1, 2, 3, 4, 5 и 6 части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. М. Ц. 8 р. (1, 2, 3 и 4 части вышли 2-мъ изд.).

22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Изд. 2-е. Ц. 3 р.

23. Критическіе разборы романа Тургенева „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

24. Критическіе разборы романа Достоевскаго „Братья Карамазовы“. Ц. 50 к.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Ц. по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изд.).

26. Критическіе разборы „Дворянскаго Гибзда“ и „Наканунъ“ — Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть отдѣльно по 1 руб.).

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ «Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина». Ц. 2 р.

29. Критическіе разборы «Записокъ Охотника» — Тургенева. Оттискъ изъ «Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева». М. 1902 г. Ц. 40 к.

IV. Серія разныхъ книжекъ:

30. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

31. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

32. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для внѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII. Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

33. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

34. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 25 к.

35. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патриаршіе пруды,
домъ Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 20 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За ведеженіи платятъ 10 к. Вмѣсто денегъ, можно высылать почтовые маркі въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

